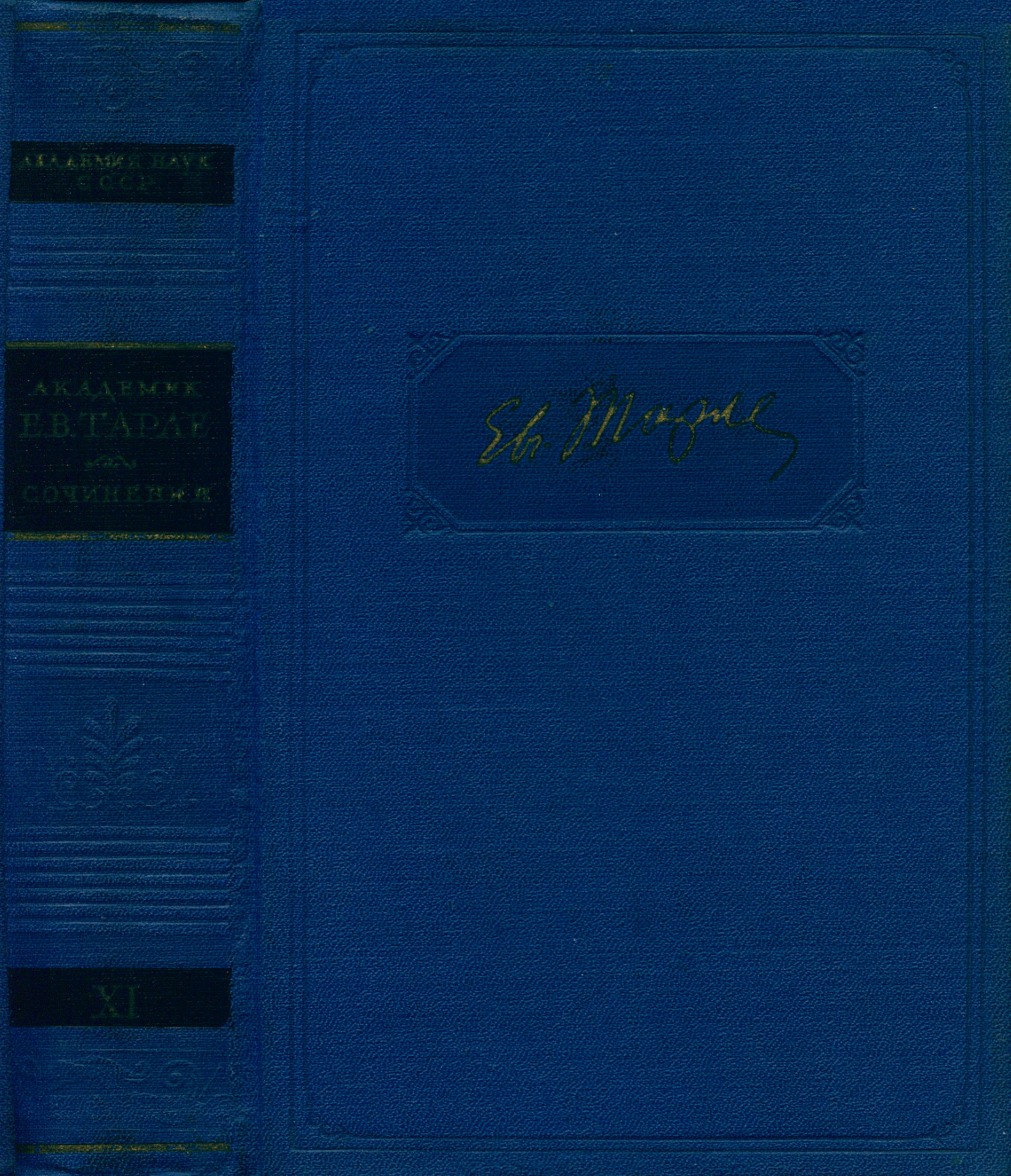

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
АКАДЕМИК Е.В. ТАРЛЕ
СОЧИНЕНИЯ
XI
Ев. Тарле

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

АКАДЕМИК
ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ
ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ
В
ДВЕНАДЦАТИ
ТОМАХ

1961

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

АКАДЕМИК

ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

ТАРЛЕ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

XI

1961

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА

Е. В. ТАРЛЕ

ОТ РЕДАКТОРА

Настоящий том сочинений Е. В. Тарле состоит из двух неравновеликих разделов. Первый из них представляет собой работу «Талейран». Во второй, большой по объему, включены статьи и рецензии на различные темы, напечатанные в дореволюционных и советских научно-исторических, общественно-политических и литературно-критических журналах, а также в газетах. Эти статьи и рецензии относятся к периоду с 1896 г. по 1940 г. В том включены далеко не все статьи и рецензии Е. В. Тарле того периода, а только те, которые, на наш взгляд, сохраняют научно-исторический, историографический или общественно-политический интерес. В целом, а в особенности вместе с материалом, который будет включен в XII том сочинений, они дают представление о развитии идейно-теоретических и общественно-политических воззрений Е. В. Тарле на различных этапах его научной деятельности. В этом отношении они служат ценным дополнением к его основным, большим и малым, монографическим работам. Вместе с тем они имеют и самостоятельное значение, поскольку характеризуют творческий путь Е. В. Тарле не только как историка, но и как публициста.

Работа Е. В. Тарле «Талейран» хорошо известна советскому читателю, она известна и за рубежом. Написанная с большим литературным мастерством, на широком конкретно-историческом, отчасти архивном, материале, эта работа принципиально отличается от всех существующих буржуазных работ о Талейране. Реакционная историография немало потрудилась, чтобы представить биографию Талейрана в апологетическом духе, как сложный психологический роман выдающейся исторической личности. Более того, она стремилась, и до сих пор стремится, поставить фигуру Талейрана, чудовищную по своей беспринципности, на высокий исторический пьедестал. Прославляя Талейрана, как воплощение дипломатической мудрости, она призывает использовать его опыт и в настоящее время. Заслуга

Е. В. Тарле заключается в том, что, показав Талейрана, как одного из наиболее крупных политических хамелеонов Франции конца XVIII — начала XIX в., он нарисовал портрет дипломата раннего буржуазного периода. При этом, в отличие от многочисленных буржуазных биографов, Е. В. Тарле раскрыл в портрете Талейрана не только личные, отвратительные в своем своеобразии, черты этого эгоистического, алчного и продажного человека, но и наиболее типичные и наиболее характерные общие черты, присущие буржуазии и ее дипломатии, начиная с первых шагов ее деятельности на международной арене. Таким образом, поставив перед собой задачу написать исторический портрет Талейрана, Е. В. Тарле как истинный ученый и художник стремился найти общее в индивидуальном: в данном случае это означало показать и разоблачить подлинные мотивы, методы и цели господствующих классов, интересы которых энергично и цинично выражал и защищал Талейран, как и свои личные. В эпоху империализма эти черты буржуазной дипломатии — аморальность и беспринципность — не только не сгладились, но, наоборот, стали доминирующими. Как справедливо отмечает Е. В. Тарле, «традиции лукавства, непрерывных и разнохарактерных обманов, полной бессовестности, предательского нарушения и буквы и смысла самых торжественных трактатов и обещаний — все это благополучно передавалось буржуазным дипломатам от Талейрана через поколение в поколение вплоть до сегодняшнего дня». Таким образом, биография Талейрана, написанная Е. В. Тарле,— это не только портрет одного из наиболее крупных французских дипломатов раннего буржуазного периода, но и разоблачение всей буржуазной дипломатии и ее исторических традиций вплоть до нашего времени. В этом большая и впечатляющая сила «Талейрана».

Второй раздел настоящего тома показывает, как рано у Е. В. Тарле пробудилось мастерство исторического портретиста. Советскому читателю уже известны некоторые работы Е. В. Тарле, написанные в этом жанре [1]. Теперь он сможет ознакомиться и с некоторыми другими. В 1908 г. в связи с выходом мемуаров французского политического деятеля второй половины XIX в. Эмиля Олливье Тарле опубликовал большую статью «Неудавшийся компромисс» — по сути дела обширную политическую биографию Олливье. На примере Олливье Е. В. Тарле показал, что беспринципный компромисс, при известных условиях, является одним из излюбленных методов, при помощи которого

[1] См. статьи «Чарльз Парнель», «Английская годовщина 1827—1902. (К семидесятипятилетию со дня смерти Джорджа Каннинга)» — наст. изд. т. I; «Граф С. Ю. Витте», «Наполеон» — наст. изд., т. V и т. VII.

политические деятели буржуазии стремятся осуществить свои узкоклассовые и карьеристские цели. Напомним, что эту статью Е. В. Тарле опубликовал в годы, когда в России после подавления революции 1905—1907 гг. временно восторжествовала царская реакция и многие представители буржуазии и буржуазной интеллигенции под видом политического компромисса с царизмом по сути дела пошли к нему в услужение.

Через несколько лет, в 1913 г., Е. В. Тарле написал еще один — небольшой, но яркий — портрет французского памфлетиста Поля Луи Курье. Замечательный стилист, которым восхищался даже строгий Сент-Бёв, Курье, выступив в годы Реставрации, поднял свой голос против «духа лакейства», в защиту идей буржуазного либерализма, попранных Бурбонами и господством иезуитов. И хотя, как показывает Е. В. Тарле, позитивная программа Курье не шла дальше рекомендации герцога Орлеанского, его памфлеты, яркие, острые, обличающие, имели немалое значение, поскольку они бичевали привилегированные слои общества и призывали народ объединиться вокруг буржуазии в интересах борьбы против сохранившихся пережитков феодального режима. Мы, вероятно, не ошибемся, если скажем, что в тот период, когда Е. В. Тарле писал портрет Курье, ему самому еще импонировали эти идеи французского либерализма. Однако присущий Е. В. Тарле историзм всегда накладывал свой отпечаток на его публицистические работы и часто вносил существенный корректив в направлении к большему демократизму, пониманию исторической роли народных масс, значения экономических условий их жизни и их социалистических идеалов и чаяний. Характерно, что в статье, написанной в 1905 г., Е. В Тарле-портретист критиковал Вандаля, известного историка-биографа Наполеона I, за то, что он «много говорит нам о психологии момента и очень мало о почве, на которой эта психология проявилась». В работе, посвященной Н. А. Добролюбову, Тарле-публицист, анализируя статьи Добролюбова об итальянских делах, прежде всего стремился выяснить ту цель, которую этот выдающийся представитель русской революционной демократии ставил перед собой, когда задумывался над вопросом — кто объединил Италию — Кавур или Гарибальди? Разумеется, это был не академический вопрос, и Е. В. Тарле показал, в чем заключался его животрепещущий политический смысл: «...Добролюбов,— писал он,— под весьма прозрачным покровом иронического удивления, проводит оптимистический взгляд, что даже такой народ, который считается безнадежно-неспособным к проявлению какой-либо активности, может совершенно неожиданно обмануть все расчеты и обнаружить внезапную и твердую решимость к перемене своей участи». Значительно позднее, спустя более четверти века, Е. В. Тарле в

небольшой работе «Уроки публицистики» обращается к другому великому революционному демократу — Н. Г. Чернышевскому, напоминая читателям о том большом идейном богатстве, которое имеется в его статьях и заметках о текущей политике, в частности, о внешней политике западных держав в связи с Крымской войной, объединительным движением в Италии и гражданской войной в Соединенных Штатах Америки. Нельзя не отметить, что Е. В. Тарле был замечательным знатоком и ценителем трудов А. И. Герцена и на протяжении всей своей творческой жизни часто обращался к трудам великого русского публициста [2].

Статьи и рецензии, включенные в настоящий том, показывают, что, начиная с ранних лет, публицистика наряду с монографическим исследованием исторических проблем являлась второй, и притом немаловажной стороной деятельности Е. В. Тарле. Уже первая критическая статья, опубликованная в 1896 г., раскрывает публицистический дар Е. В. Тарле, который решительно, горячо и смело выступал в ней с критикой взглядов на социологию, изложенных в труде одного из наиболее видных представителей буржуазной науки, Б. Чичерина. С молодым задором (Е. В. Тарле исполнилось тогда 20 лет) автор обрушился на Чичерина за его приверженность к метафизике и за то, что тот посмел объявить учение К. Маркса об обществе «чистейшей бессмыслицей». В другой критической статье, посвященной разбору русского перевода книги Блосса «Очерки по истории Германии в XIX веке», Е. В. Тарле открыто объявляет себя сторонником материалистического взгляда на историю, считая, что «названная теория более всего реальна и доказательна» и что ей предстоит «оказать исторической науке еще больше услуг, чем те, которые ею уже оказаны». Высказываясь в пользу исторического материализма, Е. В. Тарле не был марксистом и был весьма далек от последовательно-революционных выводов из этого учения. Как видно из помещенных в томе статей, Е. В. Тарле считал себя «экономическим материалистом», а в некоторых случаях явно склонялся к позитивизму. В этом отношении общие теоретические взгляды Е. В. Тарле, нашедшие свое отражение как в исторических монографиях, так и в публицистике, в тот период приближались к взглядам его учителя — И. В. Лучицкого.

Включенные в том две статьи о Лучицком представляют немалый интерес: они важны, во-первых, как материал для изучения биографии Лучицкого и его характеристики как ученого

---

[2] До последнего дня своей жизни Е. В. Тарле активно работал как член редакционной коллегии по академическому изданию Сочинений А. И. Герцена.

и педагога, во-вторых, для уяснения места Лучицкого в развитии русской историографии по вопросам истории Западной Европы и, в-третьих, для понимания исторических взглядов самого Е. В. Тарле в период, предшествовавший началу первой мировой войны. Читателю интересно будет узнать, что Лучицкий, сделавший столь крупный вклад в изучение истории крестьянства во Франции накануне Великой буржуазной революции XVIII в. живо интересовался также и историей Парижской Коммуны.

Мировая империалистическая война 1914—1918 гг. застала Е. В. Тарле на позициях буржуазного патриотизма. Чуждый ленинским идеям пролетарского интернационализма и борьбе за революционный выход России из войны, Е. В. Тарле, однако, не стоял на позициях «квасного патриотизма». В этом отношении весьма характерна его статья «К истории русско-германских отношений в новейшее время», в которой, на примере немецкого реакционного публициста В. Гена, друга и сподвижника Шимана, имевшего столь большое влияние на кайзера Вильгельма II, он стремился показать ту атмосферу зоологической ненависти к России и русскому народу, которой были охвачены правящие круги Германии. Но было бы ошибкой, считал Е. В. Тарле, отождествлять германских реакционных идеологов типа Гена, мечтавшего «отбросить Россию в Азию», с немецким народом. И, как бы заглядывая в будущее, Е. В. Тарле писал: «От Гена и его братьев по духу немало страдала и еще настрадается германская демократия...» Он был уверен, что рано или поздно русский народ внесет крупный вклад в дело борьбы за избавление Европы от реакционных и агрессивных сил, одним из идеологов которых был и Ген. «А за Европой,— заключал Е. В. Тарле,— несомненно, избавится от Гена и сама Германия». Но выполнить эту задачу русский народ мог только при условии, что он прежде всего освободит самого себя.

Великая Октябрьская социалистическая революция, вырвавшая Россию из империалистической войны, пробудила у Е. В. Тарле огромный интерес к вопросам новейшей истории. Открывая секретные архивы царского правительства, она предоставила историкам самые широкие возможности научного исследования, и Е. В. Тарле погружается в изучение русских архивных документов по вопросам истории мировой войны 1914—1918 гг. В этих исследованиях Е. В. Тарле не всегда шел по правильному пути, и некоторые его статьи и этюды того периода являются тому свидетельством. Не все написанные им тогда статьи имеют одинаковую ценность (например, его этюд «Германская ориентация и П. Н. Дурново в 1914 г.» дает недостаточно глубокий и точный анализ классовых интересов отдельных групп русского империализма, но все они заключают в себе большой

фактический материал и ряд интересных наблюдений; некоторые из них впоследствии были использованы им в большом труде «Европа в эпоху империализма». Как ученый и патриот Е. В. Тарле гордился отличным состоянием советских архивов. Сравнивая их с состоянием иностранных архивов, знатоком которых он являлся[3], Е. В. Тарле не раз отмечал большой вклад в науку советских архивистов, в особенности по истории мировой войны 1914—1918 гг. Движимый своим публицистическим темпераментом, Е. В. Тарле вторгался и в вопросы, имевшие в то время самый актуальный и злободневный интерес, в особенности в области международной политики. Откликаясь на попытки французского империализма использовать Версальский договор для утверждения своего господства в Европе, он написал большую историко-публицистическую статью «Гегемония Франции на континенте в прошом и настоящем». Пользуясь методом широких, но конкретных исторических сопоставлений, он стремился показать обреченность этих попыток. Его интересные сопоставления имели, однако, существенный недостаток: в них не учитывалась возрастающая международная роль Советского Союза, а также уже тогда намечавшееся стремление господствующих классов Франции и других западных держав использовать агрессивные силы германской реакции для борьбы против СССР и против международного рабочего и демократического движения в Европе. В заключительной части этой статьи, написанной в 1924 г., Е. В Тарле характеризовал положение, сложившееся тогда в Европе, как «все еще продолжающееся извержение кратера и колебание почвы». Между тем к этому времени уже начался период частичной стабилизации капитализма и германский империализм при финансовой и политической помощи иностранных монополий сделал первые шаги на пути к своему возрождению. Попытки сговора французских и германских монополий остались Е. В. Тарле незамеченными.

В середине 30-х годов критическое и публицистическое перо Е. В. Тарле становится еще более острым. В рецензии на книгу Шалле он приводит чудовищные факты, разоблачающие позорную политику колониализма. В рецензии, написанной по поводу «Архива полковника Хауза», он использовал новые документальные свидетельства, изобличающие агрессивную политику германского и американского империализма накануне первой ми-

---

[3] Следует отметить одну явную ошибку, допущенную Е. В. Тарле в статье «Архивное дело на Западе». Касаясь германской публикации дипломатических документов «Большая политика европейских кабинетов», он писал: «Это издание имеет целью опубликовать большинство документов, касающихся германской политики с 1870 г. до настоящего времени» (т. е. до 1927 г.). Между тем в это издание включены документы с 1871 г. до начала 1914 г.

ровой войны. В отзыве на книгу Дэвиса по истории Испании он приводил факты, обличающие профашистский характер реакционной историографии, которая, в частности, встала на путь идеализации такого института, как инквизиция. Сюда же примыкает ряд других статей по актуальным вопросам истории, историографии и политики.

Особо стоят несколько статей, написанных в 1937 г. на историко-литературные темы: «Заметки читателя», «Постскриптум», «Неловкие увертки», «Пушкин и европейская политика». В основном это статьи, критикующие издания сочинений А. С. Пушкина под редакцией Б. В. Томашевского. Е. В. Тарле доказывал, что эти издания имеют ряд недостатков, поскольку редакция воспроизводила пушкинские тексты, не всегда учитывая то важное обстоятельство, что Пушкин писал в условиях жестокой царской цензуры. Е. В. Тарле обращал внимание на то, что Пушкин нередко бывал вынужден по цензурным соображениям и сам менять написанное. Не менее важны и те замечания Е. В. Тарле, в которых он как знаток политической истории раскрывал содержание некоторых остававшихся в тени пушкинских строф. Упреки, брошенные Б. В. Томашевскому, не остались без ответа, и читатель, ознакомившись с этой полемикой, убедится, что с обеих сторон она носила острый, порой запальчивый характер[4]. И хотя не все критические замечания Е. В. Тарле были приняты, но то ценное, что в них содержалось, в особенности по комментариям, в следующих изданиях было учтено. В целом, дискуссия, начатая по инициативе Е. В. Тарле, была полезной: она привлекла внимание не только специалистов, но и широких кругов общественности к вопросу об исторически правильном подходе к изданию текстов великого поэта. Она показывает также, как широк был диапазон научных и литературных интересов Е. В. Тарле.

Однако направление главного удара публицистики Е. В. Тарле находилось в те годы в сфере вопросов международной политики. Можно с полным правом утверждать, что, по мере роста угрозы миру со стороны агрессивных фашистских государств, публицистика Е. В. Тарле приобретала все более ясно выраженное антифашистское содержание. Он поднимает свой голос в защиту испанского народа — первой жертвы фашистской агрессии в Европе. Он разоблачает реакционный курс западных держав, которые «боятся не Гитлера, а исчезновения Гитлера». В большой статье «Восточное пространство и фашистская геополитика» он разоблачает наукообразные попытки идеологов германского фашизма обосновать захватниче-

---

[4] См. Б. Томашевский. За подлинного Пушкина.— «Литературный критик», 1937, № 4, стр. 155—156.

скую и истребительную войну против Советского Союза. Еще в 1937 г. в статье «Рождение войны» он разоблачает фашистскую концепцию «превентивной войны» и с тревогой пишет, что агрессоры могут совершить свое разбойничье нападение внезапно. Вместе с тем, вспоминая опыт наполеоновского вторжения (к этому он возвращается много раз), Е. В. Тарле высказывает в своих публицистических работах твердое убеждение в неизбежности краха любого агрессора, который посмел бы вторгнуться в пределы нашей Родины. В серии статей «Исторические параллели» он на большом материале доказывает огромные преимущества Советской конституции, ее глубоко прогрессивный и подлинно демократический дух по сравнению с любой буржуазно-демократической конституцией, и при этом особое внимание обращает на анализ тех статей Конституции, которые выражают и гарантируют миролюбивый характер внешней политики Советского Союза. В одной из публицистических статей (июль 1939 г.) он выражает свои исторические раздумья в следующих словах: «Наступили сумерки капитализма. На смену ему идет новый строй — социалистический». Ненавистью к фашизму, призывом к борьбе за мир, заботой о повышении роли исторической науки в деле воспитания советской молодежи — вот чем были проникнуты публицистические статьи Е. В. Тарле последних предвоенных лет.

А. Ерусалимский.

Талейран

Глава I

ТАЛЕЙРАН — ДИПЛОМАТ РАННЕГО БУРЖУАЗНОГО ПЕРИОДА

Раньше чем перейти к рассказу о жизни и характерных свойствах этого человека, остановимся на вопросе: каково было отличие талейрановской дипломатии от традиционной деятельности его предшественников, старых виртуозов этого искусства? В немногих словах это отличие может быть охарактеризовано так: Талейран был дипломатом восходящего буржуазного класса начинавшегося периода буржуазного владычества, победоносного наступления капитала и крушения феодально-дворянского строя, и именно Талейран первый уловил, в каком направлении следует видоизменить старые дипломатические навыки.

Следует сказать, что новая история дипломатии поддается точному изучению, в сущности, лишь с XIV—XVI столетий, с образования и постепенного усиления больших «национальных» государств, когда впервые стали возможны крупные внешние столкновения между державами. Во времена мелких феодальных драк между помещиками — государями раннего средневековья — дипломатии в феодальной Европе в точном смысле слова почти не существовало. Полная фактическая независимость феодалов от призрачной центральной королевской или императорской власти превращала Европу в средние века (до XV—XVI столетий) в конгломерат из нескольких тысяч карликовых «государств», непрерывно ссорившихся, мирившихся, снова дравшихся, снова мирившихся, и все это с непосредственной целью урвать лишний кус земли или ограбить соседний замок, или угнать скот, принадлежащий чужой деревне.

В XIV—XVII вв., когда социально-экономические перемены создали крупные государства, когда буржуазия стала уже поднимать голову и кое-где (в Голландии, потом в Англии) определенно влиять на дела, когда широко развернулась погоня европейских держав за заморскими богатыми странами, когда захват и раздел Америки, Индии, Индонезии стал на очередь

дня, когда развилась борьба за преобладающую роль в Европе — искусная дипломатия как средство земельных захватов, как «инструмент» подготовки войны в наиболее выгодных условиях стала считаться могущественным орудием успеха для любого из соперничавших государств. Но именно на истории дипломатии этих последних предреволюционных столетий мы наблюдаем любопытнейшее подтверждение справедливости старинного изречения о том, что часто «мертвый хватает живого», что старые навыки далеко не сразу уступают место новым приемам и что иной раз основные условия работы давно изменились, а работающие не хотят или не в состоянии этого понять.

Возьмем наиболее ярких представителей старорежимной дипломатии. Если исключить гениального шведа, канцлера первой половины XVII в. Акселя Оксеншерну или Ришелье, то что нас поражает и в Шуазеле, французском министре середины XVIII столетия, и в графе Верженне, и в талантливом австрийском канцлере Кауннце, не говоря уже о людях средних? Все они, руководители политики великих держав, сплошь и рядом ведут себя как прежние майордомы, «палатные мэры» или как добрые, бравые, рачительные приказчики одного из былых феодалов-помещиков. Понимание постоянных, длительно действующих исторических потребностей государства им почти всегда чуждо. Это люди сегодняшних капризов и настроений их повелителя. И вместе с тем слова «двор» и «правительство» для них всегда и во всех отношениях совпадают так же, как слова «двор» и «государство». Они служат абсолютному монарху, но лишь постольку, поскольку сам этот абсолютный монарх служит дворянству, аристократической, крупноземлевладельческой верхушке. Горе ему, если он попробует хотя бы робко отклониться от этой линии! Когда Иосиф II, император австрийский, вздумал только коснуться крепостного права, его дипломаты предали и продали его. Когда глава португальского правительства министр Помбаль попробовал проводить самые умеренные буржуазные реформы, португальские дипломаты за его спиной стали подкапываться под его политику и прозрачно намекать и англичанам и испанцам, что хорошо бы сократить слишком ретивого реформатора. Внешняя политика дипломатии в этой отрасли государственной службы попала в прочное потомственное и вполне монопольное обладание к аристократическим родам; их представители, естественно, долго смотрели на эту монополию, как на незаменимое средство поддерживать интересы своего класса всеми могущественными силами государственной внешней политики.

И вот, сперва при революции, потом при вышедшем из недр революции военном диктаторе Франции, а вскоре и повелителе Европы, на сцене, в одной из первых ролей в великой историче-

ской драме, появляется утонченный, проницательнейший, талантливый аристократ, который сразу же вполне безошибочно предугадывает неизбежную политическую гибель своего собственного класса и полное торжество чуждого и антипатичного ему лично класса буржуазного. Он знает наперед, что в этой борьбе будут всякого рода остановки, попятные шаги, новые порывы, новые превратности в борьбе сторон, и всегда предугадывает наступление и правильно судит об исходе каждой такой схватки. Это чутье всегда заставляло его вовремя становиться на сторону будущих победителей и пожинать обильные плоды своей проницательности. Что такое «убеждения» — князь Талейран знал только понаслышке, что такое «совесть» — ему тоже приходилось изредка слышать из рассказов окружающих, и он считал, что эти курьезные особенности человеческой натуры могут быть даже очень полезны, но не для того, у кого они есть, а для того, кому приходится иметь дело с их обладателем. «Бойтесь первого движения души, потому что оно, обыкновенно, самое благородное»,— учил он молодых дипломатов, которым напоминал также, что «язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли».

Но предавая и продавая по очереди за деньги и за другие выгоды всех, кто пользовался его услугами, менявшийся, как хамелеон, не продавший на своем веку только родную мать (да и то, по выражению одного враждебного ему журналиста, исключительно потому, что на нее не нашлось покупателей), князь Талейран по существу не изменял только прочно победившему, чуждому ему лично буржуазному классу, и именно потому, что считал победу буржуазии несокрушимо прочной. Даже когда он совершил в 1814 г. очередное предательство и стал на сторону реставрации Бурбонов, он изо всех сил старался втолковать в эти безнадежные эмигрантско-дворянские головы, что они могут сохранить власть *исключительно* при том условии, если будут своими руками делать нужную новой послереволюционной буржуазии политику. И только изредка по мимолетным личным соображениям и он подпевал роялистским реакционерам.

Но Талейран оказался человеком нового, буржуазного периода не только потому, что всю жизнь, изменяя всем правительствам, неуклонно служил и способствовал упрочению всего того, чего достигла крупная буржуазия при революции и что она старалась обеспечить за собой при Наполеоне и после Наполеона. Даже в самых приемах своих, в методах действия Талейран был дипломатом этого нового, буржуазного периода. Не аристократический «двор» с его групповыми интересами, не дворянство с его феодальными привилегиями, а новое, созданное революцией буржуазное государство с его основными внешнеполитическими потребностями и задачами — вот что обозначал

Талейран термином «Франция». И он знал, что все эти затейливые придворные и альковные интриги, все эти маскарадные посылки эмиссаров и негласных сотрудников, все эти расчеты на влияние такой-то любовницы или на религиозное суеверие такого-то монарха, что все эти ухищрения и погремушки дипломатии XVIII столетия теперь хотя и могут быть с успехом пущены в ход, но что наступило время, когда нужно больше считаться и у себя и в чужой стране с банкиром, а не с королевской фавориткой, с биржевыми облигациями, а не с перехваченными интимными записочками, с дуэлями, где дерутся при помощи таможенных тарифов, а не при помощи рапир. Сообразно с этим он и действовал непосредственными словесными заявлениями, нотами, меморандумами, посылкой официально аккредитованных дипломатических представителей и старался влиять при этом либо (впрочем, совсем уже редко) демонстрацией готовности к военным действиям, когда это было уместно, либо ловким, своевременно проведенным маневром сближения с той или иной великой державой. И в этом он оказался замечательным мастером. Слуга буржуазного государства, Талейран отличался от дипломатов старой школы, абсолютно не понимавших, что первая половина XIX столетия не очень похожа ни на середину, ни даже на конец XVIII в., он нисколько не походил и на русского канцлера Карла Васильевича Нессельроде, который гордость свою полагал в том, что был всю жизнь верным слугой и прислужником Николая I.

Талейран не похож и на Бисмарка, который все-таки не изжил до конца некоторых вреднейших для дипломата буржуазной эпохи иллюзий. Бисмарк, например, долго думал (и говорил), что франко-русский союз абсолютно невозможен, потому что царь и «Марсельеза» непримиримы, и когда Александр III выслушал на кронштадтском рейде в 1891 г. «Марсельезу», стоя и с обнаженной головой, то Бисмарк тогда только, уже в отставке, понял свою роковую ошибку, и его нисколько не утешило глубокомысленное разъяснение этого инцидента, последовавшее с российской стороны,— что царь имел в виду не слова, а лишь восхитительный музыкальный мотив французского революционного гимна. Талейран никогда не допустил бы такой ошибки: он только учел бы возможный факт расторжения русско-германского пакта и справился бы вовремя и в точности о потребностях русского казначейства и о золотой наличности французского банка и уже года за два до Кронштадта безошибочно предугадал бы, что царь без колебаний почувствует и одобрит музыкальную прелесть «Марсельезы».

Поскольку Талейран, совершенно независимо от своих всегда своекорыстных субъективных мотивов, способствовал упрочению победы буржуазного класса, *постольку* он объективно вре-

менами играл положительную, прогрессивную историческую роль. Его личные качества возбуждали негодование, смешанное с омерзением. Он многим казался каким-то «духом зла». Член Французской академии Брифо при общем смехе саркастически утверждал, будто дьявол сказал Талейрану, когда тот, прибыв после смерти в ад, явился к нему с визитом: «Милейший, благодарю вас, но сознайтесь, что вы все-таки пошли еще несколько дальше моих инструкций!» Но нас больше интересует другое.

Талейрана стали усердно поминать после первой мировой войны, и поминают чаще всех именно критики современных дипломатов. «И не стыдно Жоржу Боннэ, который сидит в кресле великого Талейрана, что он был так позорно обманут Гитлером!» — читали мы в январе 1939 г. во французской радикальной печати. Тут все неверно. Во-первых, министр иностранных дел в кабинете Даладье Жорж Боннэ вовсе не был «обманут» Гитлером, а сознательно и с полнейшей готовностью сговорился с Гитлером и умышленно ему помог. Он, а затем Лаваль просто продали Францию немецким фашистам. Во-вторых, нынешний критик действий Жоржа Боннэ не понимал (или не хотел понять), что Талейран жил и действовал в годы круто идущего в гору капиталистического развития, в годы начавшегося и быстро прогрессировавшего расцвета буржуазного класса Франции, когда этот класс еще мог и хотел отстаивать свои интересы и претензии перед лицом буржуазии других стран всеми имеющимися у него средствами: то огнем и мечом, то дипломатическим искусством. И тогда к этому классу шли на помощь самые могучие воины, самые блестящие дипломаты, самые нужные ему таланты во всех сферах политической деятельности и тонкости того же Жоржа Боннэ, или Рейно, или Даладье, который уже думает не о борьбе с чужой буржуазией, но часто о союзе с ней, чтобы вместе ударить на общего врага — на пролетариат, идущий на смену буржуазии. Вчера хватались за союз с Гитлером, сегодня за союз с нью-йоркской биржей. Дело вовсе не только в различии размеров умственных средств, дело вовсе не в том, что сравнивать в области дипломатического искусства, в отношении дальновидной проницательности, хитрости и тонкости того же Жоржа Боннэ или Рейно, или Даладье, или Леона Блюма, или Бидо с Талейраном — приблизительно то же самое, что сравнивать, например, в области поэзии Тредьяковского с Пушкиным. Дело в совсем разных *заданиях,* которые ставила могучая, молодая, хищная, алчная буржуазия своим слугам в начале XIX в. и которые дряхлая, трусливая, чующая конец, разбогатевшая, пресытившаяся, трясущаяся над своим бумажником французская буржуазия ставит им сейчас.

Нельзя требовать от человека, чтобы он одерживал дипломатические победы, когда его в лучшем случае напутствовали та-

кими словами: «Делай вид, что борешься с врагом, с Гитлером, но помни, что очень сильно его бить все-таки не следует, потому что он, чего доброго, и всерьез может грохнуться на землю, а без него что мы тогда будем делать с мировой революцией?» Или когда ему внушают, что нужно делать вид, что ты в союзе с Советской державой, однако помнить, что этот союз кое-каким могущественным биржам неприятен и что поэтому должно при случае обнаруживать по отношению к СССР вражду и даже наглость. Традиции лукавства, непрерывных и разнохарактерных обманов, полной бессовестности, предательского нарушения и буквы и смысла самых торжественных трактатов и обещаний — все это благополучно передавалось буржуазным дипломатам от Талейрана через поколение в поколение вплоть до сегодняшнего дня. И уже поэтому советский читатель, который никогда не должен забывать о капиталистическом окружении, имеет основание желать, чтобы его ознакомили с исторической фигурой Талейрана и с его биографией.

Но, знакомясь с этим в самом деле абсолютно аморальным индивидуумом, читатель должен помнить, что история вырыла непроходимую пропасть между *объективными* результатами деятельности Талейрана и результатами ухищрений его нынешних последышей.

«Социальный заказ», который буржуазия Франции *некогда* дала Талейрану, был по самому существу исторически прогрессивен; «социальный заказ», который она дала и дает талейрановским потомкам, повел прямо и непосредственно в черную ночь подчинения озверелому фашистскому деспотизму и в пучину ярого мракобесия. Талейран помогал буржуазии хоронить феодальное средневековье — и ему суждены были успехи. Его позднейшие наследники времени до второй мировой войны стремились во имя спасения той же буржуазии круто повернуть историю вспять и изо всех сил помогали в Европе фашистским варварам, которые нагло воскрешали наихудшие стороны того же давно сгнившего средневековья. Немудрено, что этих последышей постигали на их безнадежном пути только позорные неудачи и разочарования. У Талейрана были два основных воззрения, руководствуясь которыми, как путеводным маяком, он и совершал последовательно свои всегда выгодные ему лично измены. Вот как можно эти воззрения формулировать.

Во-первых: удержать или реставрировать дворянско-феодальный строй во Франции конца XVIII и начала XIX столетия абсолютно невозможно. Поэтому он изменил монархии Людовика XVI и перешел в 1789 г. на сторону буржуазной революции, а затем вторично изменил Бурбонам и перешел на сторону буржуазной июльской монархии Луи-Филиппа после победоносной июльской революции 1830 г.

Во-вторых: создание всемирной монархии путем завоевательных войн, подчинение всех европейских монархий французскому самодержцу есть предприятие несбыточное, абсурдное, которое безусловно должно окончиться провалом и катастрофой для Франции. Поэтому он изменил Наполеону сначала (в 1808—1813 гг.) тайно, а потом (в 1814 г.) открыто и перешел на сторону врагов императора.

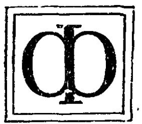
Как оценка реальной исторической ситуации, оба эти основные воззрения Талейрана были по существу правильны и были оправданы действительным ходом событий, и он сам, заметим, хочет ими же объяснить всю свою политическую биографию. Он только при этом скромно умалчивает о том, что никогда не служил этим своим двум основным идеям прямой борьбой, а всегда долгими тайными подкопами, за которые получал вознаграждение от тех, в пользу которых он вел свою подрывную работу, одновременно продолжая получать в изобилии все блага земные и от тех, под кого подкладывал свои мины, кого предавал и продавал и кого при случае даже намеренно сбивал с толку своими всегда корыстными советами.

Чем дальше потомство удалялось от времен Талейрана, тем больше мысль новых поколений останавливалась на доказанной исторически правильности отмеченных двух воззрений Талейрана и тем больше забывались его методы действия, позорные стимулы личного его поведения, абсолютное (без единого исключения) игнорирование чего бы то ни было похожего на совесть. Престиж конечной победы его основных воззрений и постоянный личный его успех как-то совокупно повышали всегда, а особенно к концу жизни, его авторитет в глазах буржуазной массы не только Франции, но и всей Европы и Америки.

Глава II

ТАЛЕЙРАН ПРИ «СТАРОМ ПОРЯДКЕ» И РЕВОЛЮЦИИ

1

игура князя Талейрана в памяти человечества осталась в том кругу людей, которые если и не направляли историю по желательному для них руслу (как это долго представлялось историкам идеалистической и особенно так называемой «героической» школы), то являлись характерными живыми олицетворениями и действующими лицами происходивших в их время великих исторических сдвигов.

Характеристика, которую я попытаюсь тут дать, не преследует и не может преследовать цели представить вполне исчерпывающую картину событий, дающих материал для выяснения исторического значения личности Талейрана.

Мы ставим в центре внимания вопрос о причинах широко распространенного безмерного преувеличения в буржуазной литературе исторической роли французского дипломата и о том, на какое действительное место в истории дает Талейрану право сколько-нибудь научно обоснованный анализ материалов, относящихся к его личному вмешательству в события.

Нельзя пройти прежде всего мимо одного любопытнейшего факта. Можно назвать ряд исключительных людей, которые иной раз признавали замечательные умственные способности Талейрана, а иной раз отрицали их. Начиная от Наполеона, считавшего, что Талейран удобен, очень способен, ловок, но что настоящего государственного ума и широты мысли у него нет, продолжая Луи Бланом, Пальмерстоном, Герценом, не говоря уже о Карле Марксе,— эти замечательные люди, совсем друг на друга не похожие, время от времени чувствовали побуждение сказать приблизительно то, что так ярко сказано у Энгельса в статье «Начало конца Австрии», где Талейран признается наряду с Меттернихом и Луи-Филиппом одним из подходящих посредственных людей «для нашего посредственного времени»,

хотя они и «являются в глазах немецкого бюргера теми тремя богами, которые в течение 30 лет управляли всемирной историей, как кукольным театром на веревочках» [1].

А. Герцен почти в одно время с Энгельсом и совершенно независимо от него писал в своем дневнике в июне 1843 г.: «Талейран доказал, наконец, что плутовство не значит гениальность» [2]. Герцен только решительно ошибся, прибавив в том же дневнике, но в другом месте (и тоже в связи с Талейраном): «Плутовство в дипломатии осталось мерзкой привычкой — оно невозможно» [3]. Увы! Оно оказалось весьма «возможным» вплоть до новейших времен. В молодом Герцене говорили еще романтизм и оптимизм, попозже он бы этого не сказал.

И те же мыслители и выдающиеся люди в другие минуты и по иным поводам высказывались об уме Талейрана совсем по-другому, признавали за ним ум тонкий и обширный, поразительную проницательность и остроумие. Тот же Герцен, например, всегда поминает Талейрана как синоним высокоодаренного дипломата [4].

В чем же секрет этих противоречивых отзывов? Прежде всего, конечно, в естественной реакции против нелепых преувеличений роли личного вмешательства Талейрана в исторические события. Сравнивая Талейрана с каким-либо в самом деле совсем посредственным Друэн де Люисом, министром Наполеона III, Маркс издевался над претензиями восторженных хвалителей Друэн де Люиса, которые осмеливаются сопоставлять его с Талейраном [5]. Но когда Маркс или Энгельс читали, что Талейран и Меттерних — «боги», делающие по своему произволу всемирную историю, то, естественно, они чувствовали законную потребность как можно резче квалифицировать этих «богов». Или, когда Наполеону почтительно намекали, что без мудрого Талейрана не обойтись, то император, долгие годы ежедневно наблюдавший своего покорного царедворца и знавший, что ни одной творческой инициативы ни во внутренней, ни во внешней политике империи не изошло от Талейрана, тоже чувствовал, как впоследствии другие, потребность поставить на место своего «великолепного» министра. Но вещи познаются сравнением, и подобно тому как впоследствии Маркса смешило, когда обыкновенного дипломата Друэн де Люиса осмеливались уподоблять Талейрану, так и Наполеон сказал уже перед смертью, что Талейран был самым умным из всех министров, которых он когда-либо имел. Сухая, неэмоциональная, часто как бы мертвенная натура Талейрана совсем лишена была творчества, лишена была идейных, не узколичных стимулов, и уже поэтому истинно государственным умом его никак нельзя назвать. «Великие мысли происходят от великого чувства»,— сказал в XVII столетии Ларошфуко. А никаких «великих чувств», кото-

рые владели бы Талейраном, управляли бы его стремлениями и планами, у него не было никогда и в помине, если, конечно, не говорить о планах и предначертаниях, продиктованных ему личными, карьеристскими соображениями. Но если у него не было «великих чувств», то он одарен был могучим, вечно бдительным, совершенно безошибочным инстинктом самосохранения, который всегда вовремя давал ему предостережения. Талейран этим инстинктом распознавал, где сегодняшняя сила и где у кого будет сила завтра, и спешил без колебаний перейти на ее сторону. А так как он делал свою карьеру именно в политике, то это инстинктивное предвидение, будившее в нем всю энергию мысли, на какую только он был способен, указывало ему наиболее верную (т. е. лично ему выгодную и лично его ограждающую от опасностей) политическую дорогу.

Но так как он жил в пору великой буржуазной революции, потом буржуазной империи, потом бессильных, обреченных на провал попыток феодально-дворянской реакции подавить крепнущую с каждым десятилетием буржуазию, потом в годы окончательно восторжествовавшей крупной буржуазии при Луи-Филиппе, то князь Талейран, епископ Отенский, отвернулся от своего класса, обреченность которого он понял, и стал служить чужому классу, которому суждено было историческое торжество.

На биографии Талейрана легче всего проследить этапы этой борьбы отживающего класса с тем, который идет ему на смену. Легче и удобнее всего именно потому, что никаких сомнений, угрызений, раскаяний в этой долгой жизни мы не найдем и следа, и, смотря на историю как на непрерывную игру сил, Талейран лишь с недоумением и пренебрежением взирал на тех, кто не сразу перебегал на сторону победителя, а еще задерживался и мучился какими-то совсем непонятными ему колебаниями. Его измены, переходы из одного лагеря в другой, все эти манипуляции, которые он проделывал с необычайной легкостью «без борьбы, без думы роковой»,— все это было отчетливыми вехами в истории «становления» буржуазии, начиная от того времени, когда устами Сийеса она впервые провозгласила, что должна быть «всем», вплоть до момента, когда Казимир Перье и Гизо торжественно поздравили ее с конечным достижением этой цели.

Творческого, конструктивного ума у Талейрана не было вовсе, и в этом отношении он не идет ни в какое сравнение с такими, например, его современниками, как Тюрго во Франции или М. М. Сперанский в России, или Джордж Каннинг в Англии, чтобы уже не поминать о совсем исключительных индивидуальностях. От названных только что деятелей Талейрана отличает не только их преданность известной идее, их бескорыстное служение тому, что они, правильно или неправильно, считали благом для государства, но и способность этих умов давать

инициативные толчки законодательству, предлагать и проводить новые предначертания во внутренней или внешней политике, прокладывать новые пути для видоизменения правительственного механизма. Ничего даже отдаленно похожего за Талейраном никогда не было. Громадная хитрость, природный поразительный такт, тонкость, инстинктивная чуткость, понимание людей (особенно врагов) — все это у него было, хотя тут нужно тоже ввести оговорки: Александра I, например, он никогда в точности не понимал и из-за этого иной раз попадал впросак.

Известный французский критик и историк литературы Сент-Бёв в своих статьях о Талейране тоже не склонен сверх меры восторгаться мудростью князя. Напоминая о совершенно неудачном пророчестве Талейрана касательно испанского похода французских войск в 1823 г., Сент-Бёв пишет: «Когда говорят о непогрешимой мудрости г. Талейрана, слишком охотно забывают его речь (о войне 1832 г.). Но в отношении предсказаний люди вспоминают только те из них, которые оправдались» [6].

Несравненно реже предвидение Талейрана изменяло ему, когда дело шло о его карьере и его непосредственных интересах, но и тут иной раз ему случалось попадать в беду. Достаточно вспомнить о том, как в 1815 г. (после Ста дней) он хотел только сманеврировать, пригрозив Людовику XVIII своей отставкой, а тот взял да и принял эту отставку совершенно всерьез, и на пятнадцать лет Талейран, к величайшему своему удивлению и огорчению, был отстранен от всякого участия в политической деятельности.

Мы упомянули выше имя Тюрго. Ведь Тюрго, старший современник Талейрана, тоже понял (гораздо раньше Талейрана), что французская монархия губит себя, все теснее и теснее связывая свои исторические судьбы с судьбой дворянства, не желающего расставаться со своими привилегиями. Тюрго тоже считал, что растущая буржуазия — класс, которому принадлежит будущее, и Тюрго пошел и в своих законодательных проектах и в своей административной практике по тому пути, который он считал спасительным для Франции и для монархии. И когда враждебная ему дворянско-придворная реакция во главе с Марией-Антуанеттой сломила его, он ушел в отставку и в ссылку и после своего скоротечного (1774—1776) министерства навсегда удалился от дел. Но можно ли себе представить, что перед угрозой отставки Тюрго вдруг перебежал бы на сторону королевы и придворной своры, окружавшей ее, и стал бы немедленно разглагольствовать в духе, противном всем своим убеждениям, и все это затем только, чтобы его не лишили его звания и сопряженных с ним доходов?

Прошло ровно сорок лет со времени отставки Тюрго. Давно уже в могиле Тюрго, давно уже гильотинированы король и коро-

лева и многие из их окружения, отгремели громы революции и наполеоновской эпопеи. Перед нами Париж 1814 г. На престоле снова только что вернувшиеся Бурбоны. Вокруг них сыновья и внуки тех, кто так легко и с таким ликованием прогнал вон Тюрго. Группируются они не вокруг Марии-Антуанетты, а вокруг тупого фанатика дворянской реакции, еще гораздо вреднее и глупее ее, вокруг графа Карла д'Артуа, брата короля. Волей обстоятельств Бурбоны застают на первом месте князя Талейрана, который, подобно Тюрго, уверен что единственное спасение для династии — отвернуться от дворянско-феодальной реакции и пойти по стезе не дворянской, а буржуазной монархии. Он и старается действовать в таком духе. Но опять повторяется в других формах кризис 1776 г., реакционеры крепнут при дворе, перед Талейраном выбор: отставка или подчинение. И Талейран мигом берет назад все, что он *только что* говорил, и пишет позорное письмо Александру I, в котором упрашивает царя не настаивать на конституции для Франции... Читатель дальше найдет анализ этого письма,— здесь мы хотели лишь иллюстрировать разницу между государственным умом Тюрго и пронырливой хитростью и тонкостью беспринципного, корыстолюбивого карьериста и царедворца Талейрана.

Князя Талейрана называли не просто лжецом, но «отцом лжи». И действительно, никто и никогда не обнаруживал такого искусства в сознательном извращении истины, такого умения *при этом* сохранять величаво-небрежный, незаинтересованный вид, безмятежное спокойствие, свойственное лишь самой непорочной, голубиной чистоте души, никто не достигал такого совершенства в употреблении фигуры умолчания, как этот в своем роде необыкновенный человек. Даже те наблюдатели и критики его действий, которые считали его ходячей коллекцией всех пороков, почти никогда не называли его лицемером. Этот эпитет к нему как-то не подходит, так как слишком слаб и невыразителен. Талейран сплошь и рядом делал вещи, которые по существу скрыть было невозможно уже в силу самой природы обстоятельства: взял с американских уполномоченных взятку сначала в два миллиона франков, а потом, при продаже Луизианы, гораздо бо́льшую; почти ежедневно брал взятки с бесчисленных германских и негерманских мелких и крупных государей и державцев, с банкиров и кардиналов, с подрядчиков и президентов; потребовал и получил взятку от польских магнатов в 1807 г.; был фактическим убийцей герцога Энгиенского, искусно направив на него взор и гнев Наполеона; предал и продал сначала католическую церковь в пользу революции, потом революцию в пользу Наполеона, потом Наполеона в пользу Бурбонов, потом Бурбонов в пользу Орлеанов; способствовал больше всех реставрации Бурбонов, изменив Наполеону, а после их свер-

жения помогал больше всех скорейшему признанию «короля баррикад» Луи-Филиппа английским правительством и остальной Европой, и так далее без конца. Вся его жизнь была нескончаемым рядом измен и предательств, и эти его деяния были связаны с грандиозными историческими событиями, происходили на открытой мировой арене, объяснялись всегда (без исключения) явно своекорыстными мотивами и сопровождались непосредственно материальными выгодами для него лично. При своем большом понимании Талейран никогда и не рассчитывал, что простым, обыденным и общепринятым, так сказать, лицемерием он может кого-нибудь в самом деле надолго обмануть уже после совершения того или иного акта. Важно было обмануть заинтересованных лишь во время самой подготовки и затем во время прохождения дела, без чего немыслим был бы успех предприятия. А уже самый этот успех должен быть настолько решительным, чтобы гарантировать князя от мести обманутых, когда они узнают о его ходах и проделках.

Что же касается так называемого «общественного мнения», а еще того больше — «суда потомства» и прочих подобных чувствительностей, то князь Талейран был к ним совершенно равнодушен, и вполне искренне,— в этом не может быть никакого сомнения.

Вот эта-то черта непосредственно приводит нас к рассмотрению вопроса о позиции, которую занял князьТалейран-Перигор, князь Беневентский и кавалер всех французских и почти всех европейских орденов, в годы повторных штурмов, которым в продолжение его жизни подвергался родной ему общественный класс — дворянство — со стороны революционной в те времена буржуазии.

Талейран родился, когда только что умер Монтескье и только что успели выступить первые физиократы, когда уже гремело имя Вольтера и на сцене появился Жан-Жак Руссо, когда вокруг Дидро и д'Аламбера уже постепенно сформировался главный штаб Энциклопедии. А умер в 1838 г., в эпоху полной и безраздельной победы и установившегося владычества буржуазии. Вся его жизнь протекала на фоне упорной борьбы буржуазии за власть и — то слабой, то свирепой — обороны последышей феодального строя, на фоне колебаний и метаний римско-католической церкви между представителями погибающего феодального строя и побеждающими буржуазными завоевателями, действовавшими сначала во Франции гильотиной, потом вне Франции — наполеоновской великой армией. Что, кроме дворянства, буржуазии, церкви и собственнического крестьянства, есть еще один (голодающий, а потому опасный) класс людей, который, начиная с апреля 1789 г., с разгрома фабрикантов Ревельона и Анрио, и кончая прериалем 1795 г., много раз выходил из своих убогих

троглодитовых пещер и нищих чердаков Сент-Антуанского и Сен-Марсельского предместий и улицы Муффтар и, жертвуя геройски жизнью, своим вооруженным вмешательством неоднократно давал событиям неожиданный поворот,— это князь Талейран знал очень хорошо. Знал также, что после 1-го (а особенно после 4-го) прериаля 1795 г. эти опасные (для его интересов) голодные люди были окончательно разбиты, обезоружены и загнаны в свои «логовища», причем эта победа оказалась настолько прочной, что вплоть до 26 июля 1830 г., целых тридцать пять лет сряду, ему, Талейрану, можно было почти уже вовсе не принимать их в расчет при своих собственных «серьезных», т. е. карьеристских, соображениях и выкладках. Это он твердо усвоил себе. Знал также, что и после 26 июля 1830 г. с этим внезапно вставшим грозно после тридцатипятилетнего оцепенения, голодающим по-прежнему «чудовищем» нужно было как-то возиться и считаться всего только около двух недель, но что уже с 9 августа того же 1830 г. вновь появились те знакомые элементы, с которыми «приличному и порядочному» человеку, думающему только о своей карьере и доходах, всегда можно столковаться и сторговаться: появились новый король и новый двор, однако с прежними банкирами и прежним золотом. И опять все пошло, как по маслу, вплоть до мирной кончины в 1838 г., которая одна только и могла пресечь эту блистательную карьеру и которая поэтому вызвала, как известно, тогда же наивно-ироническое восклицание: «Неужели князь Талейран умер? Любопытно узнать, зачем это ему теперь понадобилось!» До такой степени все его поступки казались его современникам всегда преднамеренными и обдуманными, всегда целесообразными с карьеристской точки зрения и всегда, в конечном счете, успешными для него лично.

Итак, рабочий класс, если игнорировать редкие указанные выше моменты, Талейрану можно было пока не принимать во внимание как решающую политическую силу. Крестьянство, т. е. та часть его, которая является серьезной силой, в политике активно не участвует и пойдет за теми, кто стоит за охрану собственности и против воскрешения феодальных прав. Значит, остаются три силы, с которыми Талейрану нужно так или иначе считаться: дворянство, буржуазия и церковь. Он только позже окончательно разглядел, что церковь в игре социальных сил имеет лишь подсобное, а не самостоятельное значение, но, впрочем, уже с 1789 г. при самых серьезных своих шагах он никогда не принимал церковь за власть, способную в самом деле сыграть роль ведущую и решающую.

Дворянство и буржуазия — вот две силы, находящиеся в центре событий, силы, из которых каждая в случае победы может осыпать, кого захочет, золотом, титулами, лентами, звез-

дами, одарить поместьями и дворцами, окружить роскошью и властью. Но важно лишь не ошибиться в расчете, не поставить ставку на дурную лошадь, по стародавному спортивному английскому выражению. Талейран в своем выборе не ошибся.

2

Князь Шарль-Морис Талейран-Перигор появился на свет 2 февраля 1754 г. в Париже, в очень знатной, аристократической, но обедневшей семье. Предки его родителей были при дворе еще с X в., при первых Капетингах.

У него было нерадостное детство. Мальчика никто не любил, никто на него не обращал никакого внимания. Мать постаралась поскорее сбыть его с рук, чтобы он не мешал ее светским развлечениям.

Ребенка отправили к кормилице, жившей близ Парижа, и просто забыли его там на время. Первые четыре года своей жизни маленький Шарль провел у этой чужой женщины, которая очень мало была занята уходом за ним. Однажды, уходя из дому, она посадила ребенка на высокий комод и забыла его там. Он упал и настолько сильно повредил себе ногу, что остался хромым на всю жизнь, причем хромал так, что на каждом шагу его туловище круто клонилось в сторону. Передвигаться он мог с тех пор до конца жизни только при помощи костыля, с которым не расставался, и ходьба была для него довольно мучительным процессом. Его правая сломанная нога была всегда в каком-то специально сделанном кожаном сапоге, похожем на кругловатый футляр.

Взяв Шарля от кормилицы, родители поместили его у одной старой родственницы, княгини Шалэ. Мальчик тут в первый раз в жизни почувствовал, что его любят, и сейчас же привязался к своей старой тетке. «Это была первая женщина из моей семьи, которая выказала любовь ко мне и она была также первой, которая дала мне испытать, какое счастье полюбить. Да будет ей воздана моя благодарность... Да, я ее очень любил. Ее память и теперь мне дорога»,— писал Талейран, когда ему было уже шестьдесят пять лет.— «Сколько раз в моей жизни я жалел о ней. Сколько раз я чувствовал с горечью, какую ценность для человека имеет искренняя любовь к нему в его собственной семье».

Он всей детской душой привязался было к старухе, но пробыл у нее всего полтора года — шести лет его навсегда увезли от старой женщины, единственного существа, которое его любило и которое он любил в своем детстве. По-видимому, чем больше он рос, тем острее становилось в нем сознание обиды, и чувство горечи по отношению к забросившим его родителям, и вос-

поминание о детстве, из которого он вышел искалеченным физически, навсегда осталось какой-то душевной травмой у этого человека. При всей его скупости на слова это можно рассмотреть довольно ясно.

Забрав мальчика от тетки, родители распорядились поместить его в коллеж, в Париже. Они не полюбопытствовали даже взглянуть на ребенка, семнадцать суток проведшего в дилижансе. «Старый слуга моих родителей ожидал меня на улице д'Анфер, в бюро дилижансов. Он меня отвез прямо в коллеж... В двенадцать часов дня я уже сидел за столом в столовой коллежа»,— вспоминает Талейран.

Он никогда не забыл и не простил. «То, как проходят первые годы нашей жизни,— влияет на всю жизнь, и если бы я раскрыл вам, как я провел свою юность, то вы бы меньше удивлялись очень многому во мне»,— говорил он уже в старости придворной даме императрицы Жозефины, госпоже де Ремюза.

Он жил на полном пансионе в коллеже и только раз в неделю посещал дом родителей. Когда он двенадцати лет заболел оспой, родители его не посетили. «Я чувствовал себя одиноким, без поддержки,— вспоминает он,— я на это не жалуюсь». А не жалуется он потому, что, по его словам, именно это чувство одиночества и привычка к самоуглублению способствовали зрелости и силе его мысли.

Учился он не очень прилежно, но пятнадцати лет все же окончил коллеж и перешел в духовную семинарию при церкви Сен-Сюльпис. Родители решили сделать его аббатом, потому что к военной службе он не годился из-за искалеченной ноги.

Он не желал принимать духовное звание, терпеть не мог длиннополой черной сутаны, которую на него нацепили по выходе из коллежа, но делать было нечего. Отец и мать даже и не спросили, желает ли он быть священником или не желает. Духовное звание было способом подкармливать дворянских сыновей, которые почему-либо не годились для военной службы и у которых не было достаточно денег, чтобы «купить» себе какую-нибудь почетную и прибыльную должность по гражданскому ведомству.

Так окончилось отрочество и наступила молодость Талейрана. Он выступил на жизненную арену холодным, никому не верящим, никого не любящим скептиком. Самые близкие родные оказались по отношению к нему бессердечными эгоистами. На себя и только на себя, и притом не на свои физические силы, а исключительно на свою голову возлагал юноша все свои надежды. Умерла любившая его старая тетка, потухло с ней единственное светлое воспоминание безрадостных детских лет. Кругом были только чужие люди, начиная с наиболее чужих, т. е. с собственных родителей. А чужие люди — это конкуренты,

враги, волки, если показать им свою слабость, но это — послушные орудия, если уметь быть сильным, т. е. если быть умнее их.

Такова была основная руководящая мысль, с которой Талейран вышел на жизненную дорогу.

Он начинал жизнь и с первых же шагов обнаружил те основные свойства, с которыми сошел в могилу. В двадцать один год он был в моральном отношении точь-в-точь таким, как в восемьдесят четыре года. Та же сухость души, черствость сердца, решительное равнодушие ко всему, что не имеет отношения к его личным интересам, тот же абсолютный, законченный аморализм, то же отношение к окружающим: дураков подчиняй и эксплуатируй, умных и сильных старайся сделать своими союзниками, но помни, что те и другие должны быть твоими орудиями, если ты в самом деле умнее их,— будь всегда с хищниками, а не с их жертвами, презирай неудачников, поклоняйся успеху!

Окончив обучение в семинарии Сен-Сюльпис и посвященный в духовное звание, Талейран стал искать прибыльного аббатства, а пока отдался любовным приключениям. Им не было счета. Он вовсе не был хорош собой, был искалечен, но женщин он брал своим всепобеждающим тонким умом и остроумием, и не они его покидали, а он их покидал первый, и они говорили потом, что после него им было со всеми скучно. Связи у него были в самых аристократических кругах. Все женщины без исключения были для него лишь орудием наслаждения или выгоды — и только. За всю свою жизнь он встретил — да и то уже в старости — лишь одну, к которой привязался надолго: это была жена его племянника, герцогиня Дино. В молодости и зрелом возрасте у него подобных привязанностей не было. «Отчего вы так грустны? — спросила его раз фаворитка Людовика XV, госпожа Дюбарри, когда он в числе других знатных молодых людей был в ее салоне.— Неужели у вас нет ни одного романического приключения?» — «Ах, мадам,— вздохнул в ответ Талейран,— Париж — это такой город, где гораздо легче найти себе женщину, чем хорошее аббатство!»

Но ему недолго пришлось вздыхать по этому поводу: уже в 1775 г., двадцати одного года от роду, он стал аббатом в Реймсе, и карьера его развивалась быстрыми темпами.

Вскоре он уже был генеральным викарием Реймса. Он жил то в Реймсе, то в Париже, его командировало духовенство на собрания делегатов от церкви, которые сговаривались с правительством по вопросу о налогах и по другим финансовым вопросам, касавшимся церкви. Он вел беспечальную жизнь, полную всяких развлечений, имел новые и новые любовные связи и умудрялся даже через женщин споспешествовать своей духовной карьере. При дворе шансы молодого аббата стояли высоко: он умел вкрасться в милость к влиятельным людям, и разница

между ним и обыкновенными карьеристами заключалась в том, что он задолго умел распознавать, какой именно невлиятельный человек со временем непременно будет влиятельным, и заблаговременно расстилал вокруг него сети и начинал маневрировать.

Накануне революции, 2 ноября 1788 г., король Людовик XVI подписал приказ о назначении генерального викария города Реймса Шарля-Мориса Талейрана-Перигора епископом Отенской епархии.

3

Взрыв революции застал Талейрана делающим блестящую карьеру. Он, потомок, правда, очень аристократического и старинного, но обедневшего рода, при отсутствии настоящих серьезных связей, к тридцати четырем годам был уже епископом, кандидатом в кардиналы; вступив в свет без всяких средств, он имел разнообразные и довольно значительные, хотя и очень неверные доходы, пополняемые удачными финансовыми спекуляциями. Правда, положением своим он был недоволен. Вступив в духовное звание, как сказано, исключительно потому, что вследствие несчастного случая хромал и был неспособен к военной службе, он ненавидел свой священнический сан всеми силами души и делал все, чтобы заставить себя и других забыть о нелепом костюме, который должен был носить. Он вел светскую жизнь, имел несколько любовных связей с аристократическими и неаристократическими дамами, вел жизнь отчасти царедворца, отчасти биржевого спекулянта; но несмотря на ловкое добывание денег (тут же спускаемых на женщин, на кутежи и карты), ничего похожего на сколько-нибудь прочный, обеспеченный капитал у него не было и в помине вплоть до самого начала революции. И, кроме того, к тому времени налицо было еще одно неприятное и беспокойное обстоятельство: его ближние успели за это время довольно хорошо раскусить молодого и преуспевающего епископа. «Это человек подлый, жадный, низкий интриган, ему нужна грязь и нужны деньги. За деньги он продал свою честь и своего друга. За деньги он бы продал свою душу,— и он при этом был бы прав, ибо променял бы навозную кучу на золото»,— так отзывался о нем за два года до революции, в 1787 г., Мирабо, имевший несчастье нуждаться в дорого покупавшихся услугах Талейрана. Есть еще и еще отзывы в том же роде. Никто не отрицал громадных способностей этого человека, но и никто не сомневался в полной готовности его на любой, самый черный поступок, если это может принести ему выгоду.

К чему он стремился? Что в нем было сильнее? Честолюбие или корыстолюбие? Подавляющее большинство современников

полагало, что корыстолюбие и документы, которые мы теперь знаем, но которых они не знали, вполне это подтверждают. «Прежде всего — не быть бедным»,— прежде всего. Этот совет-афоризм неоднократно высказывался Талейраном. Проходят Бурбоны, проходят Дантоны и Робеспьеры, проходят Директории и Бонапарты, но земли, и дворцы, и франки (если они в золотой чеканке) — остаются. Что земли и франки тоже (изредка) подвергаются большой опасности, в особенности пока не загнаны в свои трущобы и не обезоружены люди Сент-Антуанского предместья, это Талейран тоже хорошо понимал, но именно поэтому он и не сомневался, что на его веку, по крайней мере, эти опасные для него люди всегда будут в конечном счете загнаны в свои «пещеры». Значит, об этом нечего и говорить, и можно для практических целей, при деловых соображениях, считать земли и франки вечными благами, а титулы и министерские кресла — преходящими.

Власть для него — большая ценность, только власть и дает деньги, это главная ее функция; конечно, власть дает, сверх того, и приятное ощущение внешнего почета и могущества, но это уже на втором плане.

То же можно сказать и о женщинах, в которых некоторые биографы видели другую основную страсть Талейрана. Женщины хороши главным образом потому, что через их посредство и протекцию можно легче и скорее всего добиваться назначения на хорошие (т. е. доходные) места. Правда, полагал он, женщины и сами по себе дают, сверх того, много хороших минут, но это для Талейрана тоже было на втором плане.

И власть и женщины нужны прежде всего для достижения богатства. Деньги, деньги — все остальное приложится. Если мы вглядимся внимательно в поступки и движения Талейрана, мы увидим, что от этого основного принципа он никогда не уклонялся, не в пример всем прочим своим «принципам».

Вот первая, молодая предреволюционная эпоха его жизни, первые его тридцать пять лет. Известны классические слова Талейрана: «Кто не жил до 1789 года, тот не знает всей сладости жизни». Этой сладости ничуть не мешали такие досадные обстоятельства, что, во-первых, у Талейрана не было никакой власти и, во-вторых, была довольно твердо установленная репутация сомнительного дельца, если даже не просто мошенника. Зато были в изобилии женщины и если не в изобилии, то в довольно большом количестве деньги: женщины помогали его карьере, помогали ему пробираться на весьма теплые местечки по части расчетного баланса католического духовенства с правительством; женщины облегчали добывание нужных сведений и связей по бирже, по подрядам, по откупам, по спекуляциям; женщины создавали ему успех во влиятельных салонах.

Что же касается репутации, то эта статья — заметим с самого начала — занимала Талейрана чрезвычайно мало. И в переходные эпохи, когда дворянско-феодальный класс и поддерживаемый им политический строй все больше и больше вынуждаются не только считаться с напором буржуазии, но и брать к себе на службу, включать в служилое сословие людей новых общественных слоев, в эпохи, подобные, например, последним предреволюционным десятилетиям Франции XVIII в. или России конца XIX и начала XX в.,—это чуть ли не намеренное, презрительное бравирование «общественным мнением» становится явлением весьма характерным и почти обыденным, и именно для представителей отходящего, гибнущего аристократического класса. Стоит ли считаться с общественным мнением, когда его представляют какие-то неведомые разночинцы? Появляется цинизм откровенности, прежде немыслимый. И при Людовике XIV министры воровали весьма часто и обильно. Но только при Людовике XVI, за пять лет до взятия Бастилии, на вопрос: «Как вы решились взять на себя управление королевскими финансами, когда вы и свои личные дела совсем расстроили?» — генеральный контролер Калонн осмелился с юмором громогласно ответить: «Потому-то я и взялся заведовать королевскими финансами, что личные мои финансы уж очень оказались расстроены». Процветали казнокрадство и взяточничество в России и при Александре I и при Николае I, но только в период между 1 марта 1881 г. и 28 февраля 1917 г. на слова подрядчика: «Я дам вашему превосходительству три тысячи,— и никто об этом и знать не будет», стал возможен переданный потомству директором Горного департамента К. А. Скальковским классический ответ его превосходительства: «Дайте мне пять тысяч и рассказывайте, кому хотите».

В подобной атмосфере, свойственной предреволюционным эпохам, проходила молодость Талейрана. Кого ему было стесняться? Спекулянты, биржевики, откупщики, маклеры — весь этот люд, кишевший на Rue Vivienne и от которого так зависел молодой аббат, а потом епископ в своих аферах, считал удачное мошенничество высшим проявлением ума и таланта. Мирабо, так в Талейране разочаровавшийся, сам был не очень чист на руку, при дворе все покупалось, продавалось и выменивалось. Стесняло досадное, долгополое аббатское платье, стесняло иногда безденежье: хотя деньги и плыли в руки, как сказано, но уплывали так же быстро и даже еще быстрее. На вечный праздник роскоши, на женщин, на вино и на карты иногда не хватало. Стесняло в особенности сознание, что досадное платье, во-первых, нельзя никак, при нормальных условиях, до конца жизни сбросить с плеч, во-вторых, если бы и было возможно по каноническому праву, то немыслимо по бюджетным соображениям:

епископу Отенскому, завтрашнему кардиналу, наживать деньги было несравненно легче и удобнее, чем простому князю Талейрану. Вот это в самом деле, как мы знаем фактически, заставляло изредка пригорюниваться Талейрана. Правда, эти минуты неприятного раздумья приходили редко. «Сладость жизни» от этого в общем для него не уменьшалась.

Но вот грянула революция.

4

Предвидел ли Талейран революцию? Ее наступление предвидели и не такие проницательные умы, но мало кто предсказал хотя бы даже в общих чертах ее дальнейшее развитие и особенно ее формы; пресловутое пророчество Казотта о казни королевской семьи и гибели всех его друзей-аристократов сочинено впоследствии, хотя оно и прельстило историка Ипполита Тэна, а еще до Тэна вдохновило Лермонтова («На буйном пиршестве задумчив он сидел...»). Пиршества, на которых так часто сиживал Талейран, не омрачались никакими зловещими пророчествами. Этому избалованному легкой и беспечальной жизнью кругу людей революция еще весной 1789 г. представлялась интересной пикировкой просвещенных умов с придворными реакционерами и с их главной покровительницей, королевой Марией-Антуанеттой, состязанием в красноречии на разные великодушные и популярные темы. Революция казалась также прежде всего перераспределением мест, пенсий, министерских портфелей. А потом, когда наступит к концу лета каникулярный перерыв, то члены Генеральных штатов разъедутся на отдых по своим деревням и замкам, где и будут пожинать лавры за свои либеральные подвиги среди облагодетельствованных ими поселян. Самая деятельность Генеральных штатов, созванных на 5 мая 1789 г. в Версале, вовсе не представлялась протекающей в атмосфере ожесточенной, а тем более вооруженной борьбы.

Но уже очень скоро, в первые недели после начала заседаний, Талейрану стало ясно, что надвигаются такие времена, когда и бесполезно и опасно сидеть между двух стульев и когда наибольшая ловкость заключается именно в самой отчетливой постановке вопроса. Что третье сословие подавляюще, вне всяких сравнений сильнее двух других и в Генеральных штатах и везде,— это он понял с первых дней, а поэтому, как он сам говорит, «оставалось лишь одно разумное решение — уступать до того времени, как к этому принудят силой и пока еще можно было поставить себе эти уступки в заслугу». Он и занял позицию самую прогрессивную, позицию епископа, который хочет быть другом народа, врагом привилегий, защитником угнетенных. Он даже стоически отказался на первых порах от взятки,

которую поспешил предложить ему потихоньку королевский двор. Ему приписывают замечательные слова при этом геройском для него и совсем исключительном в его биографии отказе: «В кассе общественного мнения я найду гораздо больше того, что вы мне предлагаете. Деньги, получаемые через посредство двора, впредь будут лишь вести к гибели».

Талейран без колебаний покинул погибающий корабль,— точнее, те части погибающего корабля, где так беспечально и роскошно протекала до сих пор его жизнь,— и поспешил пока что перебраться в более безопасные помещения: в Версале он перешел из зала духовенства в зал третьего сословия.

Но события развивались. Взятие Бастилии было для него страшным ударом грома, который показал, что опаснейшая политика, которую вел королевский двор, политика бессильного, но явно злостного сопротивления, ставит на очередь борьбу за власть с оружием в руках между революцией и контрреволюцией. Буря заливала водой уже не те или иные помещения корабля, а грозила немедленно потопить его. Необходимы были быстрые и притом окончательные, бесповоротные решения.

Талейран твердо знал, что старый режим нужно немедленно пустить на слом и провести все требуемые буржуазией реформы. Но сделать это нужно было, по его мнению, «самим»: правительство должно было делать дело буржуазии, не выпуская руля из рук. Для Талейрана революционный процесс был с самого начала и остался до конца его дней по существу в полной мере неприемлемым, враждебным, губительным. Он никогда, ни на один момент не принимал искренне, не мирился от души с полной передачей власти восставшей народной массе. В этом отношении никогда у него не было даже и мимолетного увлечения новыми идеями, новыми перспективами, освободительными и «уравнительными» мечтаниями, как бывали эти скоропреходящие увлечения у некоторых других аристократов, у Лафайета, у Ларошфуко-Лионкура, у Монморанси в последние годы перед революцией. Отвращение и боязнь — других чувств к восставшей массе Талейран никогда не питал.

Но проницательный и отчетливый ум ясно указывал ему, что перемежающаяся политика слабости и насилия, уступчивости и упрямства есть наихудшая из возможных позиций. А страх перед надвигающимся крутым, кровавым переворотом был в нем так силен, ненависть к предстоящему уничтожению самой обстановки беспечальной жизни так велика, что Талейран — в первый и в последний раз в жизни — решил раньше, чем перейти в стан сильного врага, попытаться повести с ним борьбу открытой силой. Никогда больше с ним этого не случалось.

Через два дня после взятия Бастилии, когда Париж был уже вполне во власти революционной Национальной гвардии, а ко-

роль готовился съездить из Версаля в столицу, чтобы заявить свое одобрение случившемуся и украсить свою шляпу трехцветной кокардой,— в ночь с 16 на 17 июля в Марли, во дворец явился епископ Отенский, князь Талейран, и просил свидания с братом короля, графом д'Артуа. Карл д'Артуа уже успел прослыть именно тем членом королевской семьи, кто решительнее всех стоит за энергичное военное сопротивление наступившей революции. Более двух часов сряду продолжалась эта беседа.

Талейран настаивал, что нужно немедленно начать действовать открытой силой, подтянуть наиболее надежные войска и сражаться, что это — единственный возможный еще шанс спасения. Карл говорил, что король не согласится. Талейран настаивал, что нужно немедленно разбудить короля и убедить его начать сопротивление.

Граф д'Артуа пошел будить Людовика XVI. Но когда граф вернулся к Талейрану, он сообщил ему, что король решил уступить революционному потоку и ни в каком случае не допустит пролития хотя бы одной капли народной крови. Решение обоих собеседников было тогда принято немедленно, тут же. «Что касается меня,— сказал граф д'Артуа,— то мое решение принято: я еду завтра утром, и я покидаю Францию». Талейран сначала пытался отговорить его от этого намерения, а в заключение разговора заявил: «В таком случае, ваше высочество, каждому из нас остается лишь думать о своих собственных интересах, раз король и принцы покидают на произвол судьбы свои интересы и интересы монархии». На предложение Карла эмигрировать вместе с ним Талейран ответил категорическим отказом.

Бурбонов Талейран презирал за их слабость, глупость, неумелость, трусость, нежелание ни предвидеть опасность, ни бороться, когда она наступает. Людовик XVI был ему всегда противен именно тем, что он «обладал храбростью женщины в момент, когда она рожает» [7].

Подобное «уважение» питал он впоследствии и ко всем Бурбонам: и к Карлу X, которого всегда считал старым дураком, и к Людовику XVIII, который по трусости превосходил своего старшего брата, погибшего на гильотине.

Он остался. Не затем, конечно, он остался, чтобы спасать, что еще можно было спасти, как он писал и говорил впоследствии. Он в данном случае лжет так же отъявленно, так же бессовестно, с таким же величавым спокойствием и с таким же видом умудренного жизнью философа, как и везде и всегда, едва лишь дело доходит до мотивирования его поступков.

Ничего и никого он не спасал ни при революции, ни при Наполеоне; напротив, с полной готовностью толкал людей, где это было ему выгодно, к гильотине или к венсенскому рву (куда, например, именно он и никто другой толкнул герцога Энгиен-

ского в марте 1804 г.). Он остался во Франции, чтобы не влачить нищенского эмигрантского существования, чтобы попытаться поладить с новыми господами положения и раздавателями земных благ, чтобы «переседлаться», заменив павшую лошадь новым скакуном. С того момента, как граф д'Артуа сообщил ему после ночного разговора с своим братом, что королевская власть отказывается от вооруженной борьбы, Талейран без колебаний отвернулся от Бурбонов и перешел в стан победителей.

Он тотчас же сообразил, что хотя они и победители, хотя буржуазия одним ударом вымела прочь дворянско-абсолютистский строй, но что кое в чем такие люди, как он, еще могут, если не терять попусту золотого времени, очень и очень пригодиться и выгодно продать свои услуги, и не только потому, что у него голова хорошая, но и потому, что на этой голове находится епископская митра. Оказалось, что и при революции этот ставший старомодным головной убор может иметь свою меновую ценность. Дело в том, что как раз в это время, в конце лета и осенью 1789 г., Учредительное собрание было очень озабочено гнетущим вопросом о финансах. Предстоял обильный выпуск бумажных денег, для которых следовало найти хоть некоторое обеспечение. Таким обеспечением мог послужить огромнейший земельный фонд, принадлежавший католической церкви во Франции. Следовало его отнять у духовенства и перечислить в казну. И вот тут-то предстояли некоторые трудности.

Во-первых, как нарушить священный и неприкосновенный принцип частной собственности? Торжествующая буржуазия столько раз и так велеречиво его провозглашала, подтверждала, внедряла и славословила, и в то же время она так боялась, чтобы до сих пор помогавшие ей массы не обратились от штурма Бастилии к мануфактурам, домам и меняльным лавкам, что всякий раз, когда вопрос хоть отдаленно касался перемен имущественного характера, в речах и поведении Собрания замечался какой-то разнобой, наблюдались колебания, трения, некоторая растерянность и нерешительность. А тут ведь дело шло об экспроприации колоссальных церковных земельных фондов. Не могло ли это послужить соблазнительным примером, например, толчком к требованию перераспределения всех вообще земельных имуществ, поощрением к «аграрному закону», к земельной реформе в стиле братьев Гракхов, о которых так часто и с таким беспокойством поминали в те времена?

А во-вторых, эта экспроприация касалась ведь большого, прекрасно организованного сословия, того самого духовного сословия, которое хотя и было очень многими и крепкими нитями связано со старым режимом, но до сих пор вело себя с большою осторожностью, вовсе еще не становилось в ряды врагов революции и, обладая значительным влиянием в деревне,

нигде не было пока замечено в контрреволюционной агитации среди крестьян. Сразу сделать эту громадную, сплоченную, полуторатысячелетнюю организацию своим врагом буржуазные законодатели тоже отнюдь не желали. Если бы еще, отнимая эту землю у церкви, ее отдали немедленно крестьянам, было бы основание надеяться на то, что материальные выгоды, получаемые крестьянами, обезвредят контрреволюционную пропаганду обиженного и раздраженного духовенства.

Но ведь эти земли вовсе не предназначались к раздаче: они должны были поступить в казну, которая уже и озаботилась бы их продажей с публичного торга. Опасное и полное соблазна насилие над принципом частной собственности, переход духовенства в контрреволюционный лагерь—вот перспективы, вставшие пред обеспокоенным взором Национального учредительного собрания.

Без конфискации этих колоссальных земельных богатств обойтись было никак нельзя. Как бы сделать так, чтобы и земли оказались в руках казны и чтобы конфискации никакой при этом не было?..

Вот тут-то и пригодились князю Талейрану его епископское облачение и пастырский посох, тут-то он и понял, что подвертывается сам собой случай и (уже, конечно, последний случай) получить за эти красивые, но несколько устаревшие вещи гораздо больше, чем мог бы дать за них самый щедрый антикварный магазин.

Восстание парижского народа 5 и 6 октября 1789 г. в ответ на монархические провокации в Версале, перевезение королевской семьи в Париж, новый и яркий триумф революционного движения — все это сломило последние колебания Талейрана, если бы таковые еще оставались с лета, после взятия Бастилии. 9 октября, готовясь на другой день выступить в Учредительном собрании с предложением национализации земельных владений церкви, Талейран пишет своей былой интимной приятельнице, княгине Ламбеск, замечательное письмо, в котором оправдывает свой переход на сторону революции [8]. «Мне кажется, что часто вы должны меня бранить, но смею думать, что я могу оправдаться. Обо мне всегда говорят или слишком дурно или слишком хорошо». (Тут князь Талейран жестоко ошибался: о нем никогда никто не говорил ни «слишком хорошо», ни даже просто хорошо.) «Одна истина должна дойти до вас: революция, которая теперь происходит во Франции, необходима в порядке вещей, при котором мы живем, и эта революция в конце концов окажется полезной. Нынешние смуты и несчастья происходят оттого, что одни делают с целью помешать им, а другие с целью ускорить их. Дворянство и духовенство вообразили, что старые предрассудки будут продолжать идти им на пользу и что

во Франции изменились лишь притязания людей, которые не принадлежали к их сословию. Придираясь к формам, они дали (противникам — *Е. Т.*) возможность затронуть дело по существу. Проиграв первую тяжбу, они затеяли более живую и более важную ссору. У первых двух сословий были только одни страсти, поэтому они не могли составить план действий и действовать в согласии с ним. Третье сословие говорило о своих правах, оно их имело и оно должно было восторжествовать. Все, что произошло, произошло в состоянии войны. При данной позиции невозможно было сомневаться в том, что случилось. Поэтому стало необходимым иметь определенное мнение, настолько мужественное, насколько того требовали обстоятельства. Должно было вырваться из узкого круга притязаний и условностей, чтобы рассмотреть гораздо более широко отношения и встретить новую эпоху, до которой дожили». Никто не умел, когда это ему казалось нужным, писать так темно, как Талейран. Но дальше эта своеобразная исповедь становится яснее: «Тогда принимать полурешения (prendre des demi-partis) становилось опасным для людей слабых и позором для тех, которые ценили себя больше. Единственное поведение, достойное некоторого уважения, заключалось в том, чтобы высказаться громогласно. Все, что затем произошло, не раскрыло глаз тем, кто не хочет видеть. Еще тешат себя иллюзиями, которые уже стали преступными, еще питают себя химерами, чтобы утешиться в удручающей действительности, которой нельзя противиться. Сил идти вслед (за движением — *Е. Т.*) нет, и является претензия задержать его. Мы еще не дошли, может быть, до конца бедствий, которым нас уже подвергло это настроение, столь же ребяческое, как и жестокое. Когда-нибудь, княгиня, мне отдадут должную справедливость...

. Конечно, вам будут говорить, что я очень худо обошелся с духовенством. Ответ на это: я очень хорошо с ним обошелся, и я убежден, что я дал единственное возможное средство, чтобы избавить его от отвратительного положения, близкого к абсолютному уничтожению духовенства».

Подобным рассуждениям Талейран на всякий случай перестраховывал (или думал, что перестраховывает) себя в глазах духовенства и аристократии. Но трезвая и отчетливая оценка нелепой политики двора и двух привилегированных сословий, приведшей к взрыву 5 и 6 октября, очень характерна для Талейрана.

10 октября 1789 г.— утром Учредительное собрание, а вечером весь Париж были потрясены неожиданным, изумительным и радостным известием. Оказалось, что живы еще в греховном веке святые христовы заповеди, повелевающие во смирении и нищете видеть истинное блаженство! Сами высшие слу-

жители алтаря, пастыри душ людских, без всякого давления со стороны, движимые одной лишь беззаветной любовью к ближним, возжелали отдать все, что имеют, в пользу отечества, вспомнили, что они являются прямыми наследниками и продолжателями босых и нищих рыбаков, палестинских апостолов, и добровольно отказались от всех своих земель! Даром! Без выкупа! И кто же совершил этот подвиг, достойный блаженнейших угодников божиих? Скромный епископ Отенский, он же (в миру) князь Талейран-Перигор! Именно он, не предупредив даже никого из других духовных лиц, увлекаемый индивидуальным сердечным порывом, внес в Учредительное собрание предложение — взять в казну церковные земли и представил тут же разработанный проект закона об этом. В пояснительной записке подчеркивалось, что церковная собственность не похожа на обыкновенную частную собственность, что государство смело может ею овладеть и что эта мера «согласуется с суровым уважением к собственности». «Иначе я бы эту меру отвергнул»,— бестрепетно заявлял при этом принципиальный автор.

Все эти оговорки, а главное духовный сан автора законопроекта сразу снимали прямо гору с плеч революционной буржуазии. Это было именно то, что требовалось: церковь сама брала на себя инициативу, дело шло отныне не о конфискации, а о добровольном пожертвовании.

Правда, чувствовалась некоторая неувязка: епископ Отенский уже с давних пор снискал себе моральную репутацию, значительно отличающуюся от той, которая подходила бы к такому вот древле-благочестивому святителю и подвижнику господню, желающему вернуть церковь к евангельской нищете. Известно было, например, что, не говоря уже о грехах юности, за епископом Отенским, даже и в тот момент, о котором идет речь, числились две любовные связи одновременно и что эти связи как-то сложно, но неразрывно переплетались с его финансовыми делами, и трудно было понять, кто у кого сколько берет и получает. Говорили (Камилл Демулен даже печатал об этом в своей газете прозой, а другие журналисты в стихах), что епископ Отенский, посвящая дни своей работе в Национальном учредительном собрании, отдыхает вечером от своих законодательных трудов в игорных клубах и притонах, где ведет очень крупную и азартную картежную игру. Все это было совершенно справедливо. Враги епископа Отенского не хотели понять, что карты — дело неверное, что серьезные люди (а Талейран был прежде всего человеком касательно дел своего кармана серьезным и вдумчивым) должны неминуемо заботиться о более верных заработках и что только этим и объясняются две операции, к которым принужден был прибегнуть приблизительно тогда же епископ-законодатель: во-первых, он обратил внимание

испанского посла в Париже, приехавшего возобновить договор с Францией, на то, что он, Талейран, между многим прочим, заседает также в дипломатическом комитете Национального собрания, и испанский посол в ответ на это сообщение подарил Талейрану сто тысяч долларов американской монетой в знак уважения испанского правительства к его душевным качествам, а во-вторых, Талейран той же осенью 1789 г. выпросил у своей любовницы, графини Флао, драгоценное ожерелье, которое немедленно и заложил в парижском ломбарде за девяносто две тысячи ливров.

Обе эти операции стали широко известны и были приняты общественным мнением без всякого сочувствия к практическим талантам первосвятителя отенской епархии.

Но теперь (на время) значительное большинство Учредительного собрания и задававшего всему тон буржуазного общественного мнения решительно превозносило Талейрана. Услуга, оказанная им по части церковных земель, даже преувеличивалась. Сразу он выдвинулся в первые ряды руководящих законодателей. Даже те, кто не верил его искренности, считали, что он бесповоротно сжег за собой все корабли и что уж по одной этой причине революция может отныне вполне доверять ему. Зато ярости в лагере аристократии и особенно среди духовенства не было предела. «Без таланта, с небольшим умом, с большим самодовольством, мошенничая при Калонне на бирже, оскорбляя пристойность в своем серале»,— так жил и таков был прежде епископ Отенский; «а теперь он холодно воспринимает уколы презрения, он советует воровать, преподает клятвопреступление и сеет раздоры, возвещая при этом мир». Так (в стихах) воспевала Талейрана контрреволюционная газета «Les Actes des Apôtres» по поводу секвестра церковных имуществ.

Зато популярность Талейрана в Учредительном собрании с этого момента быстро возрастала.

5

Парламентская карьера Талейрана развернулась блестяще. Ему поручались доклады по важнейшим вопросам, наконец, ему, как горячему и преданному делу революции человеку, Учредительное собрание в феврале 1790 г. доверило политическое дело первостепенной важности. Провинцию еще больше, чем Париж, забрасывали контрреволюционными брошюрами, листками, стихами, памфлетами всякого рода. Поэтому Талейрану было поручено обратиться как бы с речью к французской нации, чтобы от имени Учредительного собрания воодушевить граждан и вдохнуть в них революционный энтузиазм. Талейран немедленно исполнил это поручение с полнейшим успехом: «Депутаты *плакали,* аплодировали, предавались восторгам умп-

ления и радости». Это происходило 10 февраля, а 16 февраля Талейран был избран председателем Учредительного собрания. «Революционный епископ» решительно шел в гору, не обращая ни малейшего внимания на яростные нападения на него в роялистских или полуроялистских органах и памфлетах.

Перед праздником федерации популярность Талейрана выросла в необычайной степени. Газеты отмечали, что прохожие, встречая его на улице, собираются гурьбой и бурно его приветствуют. Толпа народа, узнав, что Талейран присутствует на одном банкете, собирается под окнами и громкими криками вызывает его, и когда в окне показывается Талейран, имея по левую руку Сийеса, а по правую Мирабо, то овация бурно возрастает, переходит в «бурю криков и рукоплесканий» [9]. Он в этот момент популярнее всех, он затмевает даже прославленного трибуна Мирабо... Революционно настроенные люди с восторгом повторяют горячую революционную речь Талейрана, произнесенную им в два приема — 7 и 8 июня, когда он поддержал декрет об устройстве 14 июля 1790 г. праздника федерации в Париже.

В 1790 г. Талейрану было поручено выработать проект введения метрической системы взамен старой, неудобной, неодинаковой для разных частей страны системы мер. Такой проект уже разрабатывался в Англии, и Талейран намерен был работать совместно с английским инициатором реформы Риггс-Мюллером [10]. Однако Вильям Питт нисколько не поощрил не только этой реформы вообще, но и сколько-нибудь последовательно проведенного хотя бы на данной чисто научной и технической почве сближения с французскими революционерами, и дело замерло, к огорчению Талейрана, который уже успел очень оптимистически обнадежить Учредительное собрание перспективой будущего укрепления научных и дипломатических связей между обеими странами.

Метрическая система была проведена во Франции, но лишь впоследствии, когда Талейран уже давно находился в эмиграции. Как увидим дальше, Талейран именно под предлогом дальнейших переговоров о том же предмете получил в 1792 г. заграничный паспорт от Дантона.

Пойдя по новой дороге, работая для Учредительного собрания, Талейран не обращал на стрелы враждебной прессы ни малейшего внимания. Ему важно было теперь мнение его новых хозяев, к которым он пошел на службу, презирая их точно так же, как он презирал оставленных им аристократов и епископов, и еще вдобавок холодно осмеивая тайком новых людей, так как они раздражали его своими манерами, своим тоном и языком, своей полнейшей бытовой отчужденностью от него. Но в их руках была власть, а потому и деньги. Талейран никогда

не блистал ораторским искусством, да и опасался он выступать на этой неспокойной трибуне. Он пристроился к разным интересным комитетам — вроде дипломатического и финансового, где негласно и без особого риска можно было подзаработать. «Видите ли,— поучал он впоследствии барона Витролля,— никогда не следует быть бедняком, il ne faut pas être pauvre diable. Что до меня,— то я всегда был богат». На самих Людовиков и на самих Наполеонов нельзя полагаться, но на золотые кружочки с чеканными портретами Людовиков и Наполеонов можно вполне и при всех условиях положиться. Таков был руководящий жизненный принцип князя Талейрана вплоть до гробовой доски.

Духовенство и дворянство яростно его возненавидели за инициативную роль в реквизиции церковных имуществ. Но они были бессильны и поэтому нисколько Талейрана не интересовали. Торжествовавшая в Национальном собрании буржуазия демонстративно возблагодарила так кстати выступившего епископа Отенского, избрав его президентом Национального собрания, как уже сказано выше. Он быстро шел в гору.

Во время громадного торжества праздника федерации (14 июля 1790 г., в первую годовщину взятия Бастилии) Талейран появился в своем импозантном епископском одеянии во главе духовных лиц, примкнувших к новому устройству церкви. Он изображал своей особой слияние братства евангельского и братства революционного в единое гармоническое целое. Он оказался в центре действия. Он величаво благословил королевскую семью, Национальную гвардию, членов Национального собрания, несметные толпы обнажившего перед ним свои головы народа, он отслужил молебен у алтаря, воздвигнутого посередине колоссальной площади. Этот смиренный служитель Христа, этот аристократ, так бескорыстно служащий возрождению отечества, возбуждал в теснившихся вокруг него доверчивых массах в этот день даже некоторое умиление.

Сам Талейран, впрочем, тоже всегда с удовольствием об этом дне вспоминал, но вот почему: к вечеру он освободился и, не теряя времени, поехал в игорный дом, где ему так неслыханно повезло, что он сорвал банк. Сорвав банк, он отправился на веселый обед к знакомой даме (графине Лаваль). После обеда он снова съездил в игорный дом, но уже в другой, и тут произошел изумительный в картежной истории случай: он снова сорвал банк! «Я вернулся тогда к госпоже Лаваль, чтобы показать ей золото и банковые билеты. Я был покрыт ими. Между прочим и шляпа моя была ими полна». Так с воодушевлением повествовал он об этом отрадном событии много лет спустя легитимисту барону Витроллю, когда речь зашла о дне праздника революционного братства 14 июля 1790 г. [11]

Вскоре снова пригодилась Талейрану его епископская митра: он посвятил в епископы тех присягнувших новому устройству церкви священников, которых папа воспретил посвящать и которых другие епископы не желали посвятить.

Папа ответил на это отлучением Талейрана от церкви. Но тот и ухом на это отлучение не повел и продолжал свое дело. Он решительно и публично отверг право папы запрещать французскому духовенству присягать новому устройству церкви. Он представил (осенью 1791 г.) Собранию обширный доклад о народном образовании, составленный вполне в духе совершившейся революции. Полностью закончив все, что он мог сделать для своей карьеры в Собрании в качестве епископа, Талейран сбросил, наконец, свое епископское одеяние окончательно и бесповоротно: ведь папское отлучение в сущности отвечало всегдашнему его желанию отвязаться от духовного звания и стать светским человеком.

Очень скоро услуги Талейрана понадобились революции на том поприще, на котором ему и суждено было снискать себе историческую славу,— на поприще дипломатии. Французское правительство уже с конца 1791 г. должно было думать о предстоящей войне против монархической Европы. В январе 1792 г. Талейран был командирован в Лондон с целью убедить Вильяма Питта остаться нейтральным в предстоящей схватке. «Сближение с Англией — не химера,— заявил тогда же Талейран:— две соседние нации, из которых одна основывает свое процветание главным образом на торговле, а другая — на земледелии, призваны неизменной природой вещей к согласию, ко взаимному обогащению».

Приняли его в Лондоне крайне враждебно. Французские эмигранты презирали и ненавидели «этого интригана, этого вора и расстригу», как они его величали. С эмигрантами сам Питт считался мало, но королевская семья с Георгом III во главе и вся английская аристократия очень с ними считались. Королева на аудиенции, когда Талейран со всеми должными церемониями и поклонами в три темпа подошел к ней, повернулась и ушла. На улицах Лондона Талейрана иногда вполголоса, а иногда и во весь голос ругали, на него и его спутников показывали пальцами.

Но Талейран и тут, на международной сцене, обнаружил впервые, каким он был первоклассным дипломатическим интриганом. Он с такой царственной величавостью умел не замечать того, чего не хотел заметить, так спокойно и небрежно, где нужно, держал себя и говорил, так артистически симулировал сознание глубокой своей моральной правоты, что не этим уколам и демонстрациям было его смутить. Миссия ему почти удалась, во всяком случае выступление Англии было отсрочено больше чем на год. Англичан поразила, между прочим, самая личность

французского представителя. Они единодушно нашли, что он вовсе не похож на француза. Он был холоден, сдержан, говорил свысока, скупо и намеренно не очень ясно по существу, очень умел слушать и извлекать пользу из малейшей необдуманности противника.

В первых числах июля 1792 г. Талейран, закончив свою миссию в Лондоне, уже вернулся в Париж, а через месяц после его возвращения, 10 августа, пала французская монархия, после полутoратысячелетнего своего существования.

6

Наступали такие грозные времена, когда всей ловкости бывшего епископа могло не хватить для того, чтобы спасти свою голову. Конечно, Талейран тотчас же взял на себя поручение составить ноту, извещающую великобританское правительство о провозглашении республики. «Король нечувствительно подкапывался под новую конституцию, в которой ему было отведено такое прекрасное место. С самой скандальной щедростью из рук короля лилось золото и расточались подкупы, чтобы погасить или ослабить пламенный патриотизм, беспокоивший его». С таким праведным революционным гневом изъяснялся в этой ноте князь Талейран, оправдывая низвержение Людовика XVI перед иностранными державами и прежде всего перед Англией.

И буквально чуть не в тот же самый день, когда он писал эту проникнутую суровым революционным пафосом ноту, Талейран уже предпринял первые шаги для получения возможности немедленно бежать без оглядки за границу. Он явился к Дантону просить заграничный паспорт под предлогом необходимости войти в соглашение с Англией о принятии общих мер длины и веса. Предлог был до курьеза явственно придуманный и фальшивый. Но не мог же Дантон заподозрить, что эмигрировать в Англию собирается тот самый человек, который пять дней назад за полной подписью писал Англии ноту о совершеннейшей необходимости низвержения монархии и о самой безусловной правоте и обоснованности того углубления революции, которое произошло 10 августа. Дантон согласился. Паспорт был окончательно оформлен к 7 сентября, а спустя несколько дней Талейран ступил на английский берег.

Опоздай он немного — и голова его скатилась бы с эшафота еще в том же 1792 г. Это можно утверждать совершенно категорически: дело в том, что в знаменитом «железном шкафу» короля, вскрытом по приказу революционного правительства, оказались два документа, доказывавшие, что еще весной 1791 г. Талейран тайно предлагал королю свои услуги; дело было сейчас же после смерти Мирабо, и Талейран имел тогда все основа-

ния рассчитывать, что именно ему пойдет приличное вознаграждение, которое за подобные же тайные услуги получал Мирабо. Конечно, Талейран имел в виду обмануть короля. Сделка почему-то расстроилась, но следы остались, хотя и очень слабые (он был крайне осторожен), и, как сказано, обнаружились. 5 декабря 1792 г. декретом Конвента было возбуждено обвинение против Талейрана. Присланное им объяснение не помогло, и он официально был объявлен эмигрантом.

Это было — или казалось — до известной степени жизненным крушением для Талейрана.

Путь во Францию был закрыт если не навсегда, то очень надолго. Денег было при себе 750 фунтов стерлингов, и никаких доходов не предвиделось. В Лондоне кишмя-кишели эмигранты-роялисты, которые печатно поспешили заявить, что бывший епископ Отенский заслужил за свое поведение, чтобы в случае реставрации его не просто повесили, но колесовали. Правда, были там и другого типа эмигранты — «люди 1789 года», как их называли,— они относились к Талейрану гораздо терпимее, так что составился небольшой кружок, принимавший его в свою среду. Кстати, приехала в Лондон и госпожа Сталь, у которой были с Талейраном тогда интимные отношения. Зажил он в конце концов спокойно, как всегда не показывая вида какой бы то ни было растерянности или угнетенности. Роялистов-эмигрантов он презирал от всей души, главным образом за убожество их умственных средств, в частности за полнейшее, детское непонимание ими всей грандиозности того, что случилось.

Для Талейрана было уже тогда (и даже раньше, сразу после взятия Бастилии) ясно, что, какие бы сюрпризы и перемены ни ждали Францию, одно вполне доказано: старый феодально-дворянский режим в том виде, как он существовал до 1789 г., никогда уже не вернется. Мало того: не вернется ни единая сколько-нибудь характерная его черта, и это — даже если бы каким-нибудь чудом вернулась династия Бурбонов. Но он пока даже и в возвращение Бурбонов ни в малейшей степени не верил.

Оттого-то Талейран и не считался нисколько со всеми этими негодующими демонстрациями и яростными выходками против его особы со стороны роялистов-эмигрантов, которые истощали весь словарь французских ругательств, едва только заходила речь о ненавистном «расстриге». С его точки зрения, эти белые эмигранты были мертвецы, которых почему-то забыли похоронить, и только. Однако кое-какие и даже очень крупные неприятности косвенным путем эмигранты все-таки могли ему доставить: они не преминули воспользоваться случаем.

В один прекрасный день (дело было в январе 1794 г.) английское правительство приказало ему немедленно покинуть Англию и ехать, куда пожелает. Но куда? В монархическую кон-

тинентальную Европу ему показаться нельзя было: там его имя возбуждало еще больше злобы, чем в Англии, а эмигранты, враги его, имели там еще больше влияния, чем в Лондоне. Оставалась Америка, и Талейран выехал в Филадельфию. Сам по себе юный и совсем тогда неведомый Новый Свет нисколько его не интересовал. «Я прибыл туда, полный отвращения к новым вещам, которые обыкновенно интересуют путешественников. Мне трудно было возбудить в себе хоть немного любопытства». Тут характерно самодовольство, с которым это высказывается, но еще более характерно для этой смолоду опустошенной души, что в самом деле у него ни к чему и никогда не было «любопытства»,— ни к какому предмету, событию или человеку, если они не имели отношения к его собственным материальным соображениям и интересам. Оттого он так скуп и тускл в тех случаях, когда ему приходится говорить обо всем, что не имело к нему лично прямого отношения.

В 1942 г. в Вашингтоне вышло собрание неизданных документов,— писем и мемуаров Талейрана, относящихся ко времени его пребывания в Америке в 1794—1796 гг. [12] Эти документы не представляют большого интереса с точки зрения анализа политической деятельности князя, скорее они могут быть любопытны для истории экономических и финансовых отношений в Соединенных Штатах в последние годы XVIII в. Ясно одно: Талейран полагал, что ему придется остаться в Америке гораздо более продолжительное время, чем оказалось в действительности. Документы сплошь посвящены экономическим и финансовым вопросам и комбинациям. Талейран явно хочет спекулировать на покупке и продаже земель, на привлечении в Европу американских капиталистов: кое с кем из них он ведет даже обстоятельную деловую переписку.

Документы обнаруживают основательное изучение Талейраном условий, при которых вложение капитала в земельные спекуляции в Америке может принести значительные выгоды. Он предвидит, что Америка станет богатым рынком сбыта для европейских мануфактурных товаров и фабрикатов, потому что, по его соображениям, еще долго американская промышленность не сможет идти в своем более медленном росте вровень с быстро увеличивающимся населением и развитием вкуса к роскоши в высшем классе [13].

С политическими кругами в Соединенных Штатах Талейрану сблизиться не удалось. Вашингтон не пожелал принять Талейрана, зная достаточно много о его разнообразных добродетелях из очень хорошо известных писем американского резидента в Париже, губернатора Морриса. Но горячая защитница и восторженная современная нам почитательница Талейрана Анна Додд старается объяснить отказ Вашингтона главным образом

причинами дипломатическими: протестом французского официального представителя (от Конвента) Фоше, придавая этому протесту решающее значение [14]. Так или иначе, знаменитый президент отказал себе в удовольствии познакомиться с бывшим епископом Отенским, амурные и биржевые похождения которого были ему давным-давно известны. Все домогательства Талейрана остались тщетны.

В Америке он деятельно занялся разными земельными спекуляциями и, по-видимому, небезуспешно.

Но французская политика с каждым месяцем все более и более отвлекала Талейрана от вопросов американской экономики. И только после воцарения Директории с ее «новыми богачами», с ее ажиотажем и культом наживы, с ее Тальенами, Баррасами, хищниками-подрядчиками и банкирами Увраарами пробил долгожданный час возвращения Талейрана на родину. А до той поры приходилось промышлять чем попало на новом месте. Но его стала томить в Америке такая скука, что он ждал только случая завязать связи с революционным правительством, чтобы просить разрешения вернуться. Конечно, думать об этом ему можно было лишь после 9 термидора, а в особенности после 1 прериаля, после неудавшегося восстания и последовавшего разоружения рабочих предместий в начале лета 1795 г. Он начал деятельно хлопотать, и уже 4 сентября 1795 г. ему было дано разрешение вернуться во Францию. Сильно ему помогла именно та ярая ненависть, которой он был окружен в эмиграции. Докладывая о нем в Конвенте, на заседании 4 сентября 1795 г., Шенье сказал: «Я прошу о нем во имя республики, которой он может еще пригодиться своими талантами и своими трудами; я прошу о нем во имя вашей ненависти к эмигрантам, жертвой которых он был бы подобно вам самим, если бы эти подлецы могли восторжествовать».

Получив (в ноябре того же 1795 г.) известия об этом событии, Талейран тотчас стал ликвидировать свои американские дела и собираться в Европу. Только 20 сентября 1796 г. он прибыл в Париж.

7

Началась новая эпоха его жизни, а одновременно начинался и новый период мировой истории. «Революция кончилась во Франции и пошла на Европу»,— говорили одни. «Революция вышла из своих берегов»,— говорили другие. За Альпами уже гремела слава Бонапарта, молодого завоевателя, которого феодальная Европа назвала впоследствии «Робеспьером на коне». Предстояли великие перемены и во Франции и в Европе. Буржуазная революция, победившая во Франции, готовилась помериться силами с абсолютистской Европой, с полуфеодальным

строем, решившим дорого продать свою жизнь. На авансцену истории выступали армии; ораторы готовились уступить место генералам. Буржуазная революция, отбросив врагов от границ Франции, преследовала их на их собственной территории. Революционная война сменялась постепенно войнами захватническими. Талейран не сомневался ни минуты относительно того, на чьей стороне в этой борьбе буржуазии против пережитков феодализма будет победа. Оттого-то он и приехал во Францию из Америки. Его час пришел.

В этом самом 1796 г. в одну бессонную ночь завоеватель Италии, генерал Бонапарт, по собственному своему позднейшему признанию, впервые спросил себя: неужели же ему всегда придется воевать «для этих адвокатов»? А в то же время в далеком Париже только что вернувшийся князь Талейран, у которого за время террора было конфисковано и продано все имущество и который теперь проживал остатки того, что успел заработать на своих мелких земельных спекуляциях в Америке, прощенный эмигрант князь Талейран, внимательно присматриваясь к новым владыкам, к пяти директорам республики, тоже решал вопрос: искать ли себе нового господина или довольствоваться «этими адвокатами», как они ни плохи? Он решил, что прежде всего нужно вкрасться в милость и в ближайшее окружение нынешних владык, а потом уже думать о будущем властелине. Что страна безусловно идет к военной диктатуре,— это Талейран ясно предвидел.

Во всяком случае, нужно было прежде всего предложить свои услуги Директории. Тут дело пошло весьма негладко. Обнаружилось досадное обстоятельство: слишком уж оказалась громкой в известном смысле репутация бывшего епископа Отенского. «С медным лбом он соединяет ледяное сердце»,— писал о нем Лебрэн в стихах. А в прозе о нем выражались настолько непринужденно, что наиболее красочные эпитеты приходилось обозначать в печати лишь первой буквой и несколькими точками: печатная бумага не выдерживала наплыва чувств его критиков. Хуже всего для его карьеры было то, что в самой пятичленной Директории трое считали его взяточником, четвертый считал его вором и взяточником, а пятый (Ребель) — изменником, вором и взяточником. «Талейран состоит на тайной службе у иностранных держав! — восклицал Ребель на заседаниях Директории.— Никогда не было на свете более извращенного, более опасного существа». Остальные четверо внимали этим речам без малейшего протеста. Да и как бы мог протестовать хотя бы тот же честный и убежденный Карно, когда сам он говорил о нашем «герое»: «Талейран потому именно так презирает людей, что он много изучал самого себя... Он меняет принципы, как белье».

Уже в эти годы говорить о бесчестности Талейрана считалось наскучившим общим местом, набившей оскомину азбучной истиной.

Одно из действующих лиц романа Стендаля, «Люсьен Левен», поучает собеседника: «У вас недостаточно толстая кожа, чтобы не ощущать презрение общества. Но к этому привыкают, нужно лишь иначе направить свое тщеславие. Пример: князь Талейран. Можно даже заметить по поводу этого знаменитого человека, что когда презрение становится общим местом, то выражают его только глупцы» [15].

Якобинцы считали Талейрана изменником, случайно ушедшим от гильотины, а термидорианцы впоследствии в своем отношении к нему ни в малейшей степени не отличались от якобинцев. «Без души, без совести, без стыда, без нравственности... *слишком достойный презрения, чтобы заслуживать доверие, слишком презираемый, чтобы его можно было бояться*»,— так отзывался о нем Буасси д'Англа, которого издатель документов «Mélanges» Лакур-Гайе почему-то называет «героем первого прериаля» [16]. Что «геройского» видит Лакур-Гайе в поведении Буасси д'Англа, председательствовавшего в Конвенте в день первого прериаля, понять мудрено. Своими показаниями перед военной комиссией Буасси д'Англа способствовал осуждению на смерть Ромма, Бурботта, Субрани и других *подлинных* «героев первого прериаля», но решительно никакого другого отношения к героям и героизму у него не было ни первого прериаля, ни позже. В приведенном отзыве Буасси д'Англа все верно, кроме последнего утверждения: как бы презираем ни был Талейран, он показал всей своей жизнью, что его очень и очень можно и должно было бояться. Это был осторожный, зоркий, терпеливый хищник, опасный своим тонким, проницательным умом, своим даром далекого предвидения, своей способностью найти каким-то инстинктом правильную тактику в самых запутанных случаях и затейливых комбинациях. Термидорианцы и затем созданная ими Директория вскоре испытали эти качества Талейрана на самих себе. И ее члены это как будто предчувствовали.

Все упования Талейрана были возложены на Барраса. Баррас тоже знал, что Талейран способен решительно на все, но он знал также, что правительству во что бы то ни стало нужен хороший дипломат, тонкий ум, нужен человек, обладающий способностью к долгим извилистым переговорам, к словесным поединкам самого трудного свойства. Баррас понимал, что эта сложнейшая дипломатическая функция и есть та служба, та техника, та специальность, которая сейчас, в 1797 г., имеет и в близком будущем будет иметь колоссальное значение и которую не могут взять на себя ни «адвокаты», ни генералы. Не буду передавать во всех деталях (они все известны и даже приведены в

систему вследствие стародавней любви французской историографии к мелочам и к альковным сплетням), не буду даже касаться того, как госпожа Сталь, бывшая его любовница, помогла в этом деле Талейрану, как он для этого позорно льстил и унижался не только пред нею, но и пред ее (в тот момент) любовником, Бенжаменом Констаном, как он умолял госпожу Сталь, чтобы она *разжалобила* Барраса и уверила долго колебавшегося директора, что ему, Талейрану, жить нечем, что если его не назначат министром иностранных дел, то он принужден будет немедленно утопиться в Сене, ибо у него в кармане осталось всего десять луидоров, и т. д. «Il m'a dit, qu'il allait se jeter à la Seine, si vous ne le faites pas décidément ministre des affaires étrangères». Баррас не скрыл от своей гостьи (она семь раз почти подряд побывала у него в эти горячие дни), что вся Директория относится к покровительствуемому госпожой Сталь другу, как к отъявленному плуту, и что вообще она, Сталь, ему, Баррасу, очень уж надоела с этими назойливыми приставаниями. Госпожа Сталь, выслушав, явилась спустя два дня в восьмой раз. В конце концов Баррас при всесильном своем влиянии, убежденный, как сказано, что Талейран может пригодиться и что у них подходящей замены нет, ускорил решение и в самом деле поставил в Директории вопрос о назначении Талейрана. После прений три голоса оказались за назначение, два — против.

Когда Бенжамен Констан вбежал к Талейрану с этим известием, тот чуть ли не в первый и в последний раз в своей долгой жизни прямо потерялся от радости. Он бросился на шею Констану, а в карете, в которой он сейчас же поехал с Констаном и с одним своим собутыльником благодарить Барраса, он, как будто забыв о существовании слушателей, повторял всю дорогу, как помешанный, одну и ту же фразу: «Место за нами! Нужно себе составить на нем громадное состояние, громадное состояние, громадное состояние!» («Nous tenons la place! Il faut y faire une fortune immense, une fortune immense, une fortune immense!»).

Такова была та основная пружина, тот самый глубокий, основной нерв деятельности, тот в тайниках сердца выношенный руководящий мотив, который Талейран высказал, как только узнал, что назначен министром Французской республики, высказал в пароксизме стихийной, пьянящей радости, единственный раз в своей жизни забыв собственное свое правило, что *«язык дан человеку затем, чтобы скрывать свои мысли»*. Он попал на такое место, сидя на котором можно легко стать из нищего миллионером. Вот истинный пафос его деятельности. В этой карете, в эти четверть часа, он был вполне правдив и искренен. Конечно, он скоро очнулся. Уже на другой день, 18 июля 1797 г., получив официальную бумагу о своем назначе-

нии, князь Талейран совершенно опомнился и взял себя в руки. Перед служащими министерства иностранных дел, перед просителями, перед дипломатическим корпусом стоял, величаво опираясь на свой красивый костыль, спокойный и чуть-чуть надменный вельможа, бесстрастный государственный деятель, законный представитель победоносной великой державы, бьющей Европу, полномочный представитель великой французской революции, борющейся со всеми этими английскими Георгами, русскими Павлами, австрийскими Францами, а главное — человек, спокойно и глубоко убежденный в своей непорочной чистоте и в том, что если какие-нибудь завистники и клевещут на него, то это никак не может осквернить его нравственную красоту. Всякий внешний успех всегда усиливал в нем это величавое и просветленное спокойствие, и после всякого своего торжества он как бы говорил своим хулителям и вообще всему окружающему его обществу: «Вы сами теперь видите, как я хорош!»

Итак, он министр, он настоящая власть и сила! Некоторое время уцелевшие аристократы или начавшие возвращаться во Францию эмигранты побаивались мести этого человека, которого они так яростно бранили и преследовали своей ненавистью и даже, как мы видели, выгнали его из Англии в свое время. Думали, что ему, члену правительства, теперь ничего не будет стоить жестоко расправиться со своими недругами и ненавистниками. Но никаких преследований он не предпринял, хотя имел полную к тому возможность. Это тоже характерная его черта: он вовсе не был мстителен. При полнейшем, законченном своем аморализме он был бы способен деятельно поработать, чтобы хоть живьем закопать совсем перед ним ни в чем не повинного человека, если это хоть сколько-нибудь требовалось в карьеристских целях, но он пальцем о палец не ударил бы, чтоб покарать самого лютого врага, если, конечно, этот враг впредь уже не мог ему вредить. Месть сама по себе ни малейшего удовольствия или даже простого развлечения ему не доставляла, потому что он в самом деле не умел сильно ненавидеть, а умел только презирать. То, что у позднейших романтиков так часто звучит фальшивой фразой в устах их ходульных героев, то в Талейране было самой реальной правдой, хоть он никогда никаких тирад о ненависти и презрении не говорил. Он забывал о своих врагах, как только они не стояли у него на дороге; а если становились поперек пути, он их либо отшвыривал, либо растаптывал пятой, после чего снова забывал о них. Да и были у нового министра гораздо более его интересовавшие заботы и устремления. Буквально с первых же дней принятия им министерства в дипломатическом корпусе стали с любопытством наблюдать за тем, что творит новый хозяин французской иностранной политики.

В эпоху Директории, в годы развеселых кутежей директора Барраса, в разгар спекуляций финансиста и хищника Уврара. во времена оргий крупных и мелких казнокрадов и поставщиков было трудно, казалось бы, удивить кого-либо взятками, их обилием и повседневностью. Но Талейран все-таки удивил даже своих современников, давно отучившихся в этом смысле чему-либо удивляться. Он брал взятки с Пруссии, брал с Испании, брал с Португалии, брал с Соединенных Штатов, брал с колоний и метрополий, с материков и островов, с Европы и с Америки, с Персии и с Турции; брал со всех, кто так или иначе зависел от Франции или нуждался во Франции, или боялся Франции. А кто же в ней тогда не нуждался и кто ее не боялся? Взятки он брал огромные, даже как бы не желая обидеть, например, великую державу, запрашивая с нее маленькую взятку. Так, он сразу же дал понять прусскому послу, что меньше трехсот тысяч ливров золотом он с него не возьмет. С Австрии — по случаю Кампоформийского мира — он взял миллион, с Испании — за дружеское расположение — миллион, с королевства Неаполитанского — полмиллиона. В современной ему печати еще при его жизни неоднократно делались попытки сосчитать, хотя бы в общих итогах, сколько Талейран получил взятками за время своего пребывания на посту министра. Но эти враждебные ему счетоводы обыкновенно утомлялись и сбивались в своих подсчетах и останавливались лишь на первых годах его управления делами. Так, писали, что за 1797—1799 гг. Талейран получил больше тринадцати с половиной миллионов франков золотом (собственно 13 650 000). Но ведь эти первые два года были, можно сказать, лишь детской игрой сравнительно с последующими годами, с годами полного владычества Наполеона над всей Европой, когда Талейран продолжал оставаться министром.

И взятки вовсе не были единственным средством обогащения. Через своих любовниц и своих друзей, и через друзей своих любовниц, и через любовниц своих друзей Талейран почти беспроигрышно играл на бирже: ведь он заблаговременно знал, как сложится ближайшее политическое будущее, он предвидел биржевые последствия подготовляемых им или заблаговременно известных только ему политических актов, и соответственные его указания золотым потоком возвращались затем к нему с биржи. Наконец, кроме взяток и биржевой игры, был еще и третий заработок: подряды. Талейран имел в своем распоряжении тьму агентов, которые рыскали по вассальным или полувассальным, зависимым от Франции странам и просили там у правящих лиц подрядов на поставку тех или иных товаров и припасов. Курьезный случай на этой почве произошел в Испании. Когда туда явились из Парижа какие-то проходимцы и

чуть не с шантажными намеками и угрозами стали вымогать у испанского короля разные поставки, то французский посол, адмирал Трюгэ, убежденный, что проходимцы действуют на свой собственный риск и страх, выслал их вон из Испании. Но послу Трюгэ очень скоро пришлось убедиться, что за спиной этих пострадавших предпринимателей стоит величественная фигура самого министра Французской республики, князя Талейрана-Перигора. Посол был за недостаточно проворную сообразительность уволен в отставку, а проходимцы, после краткого своего затмения, вновь воссияли в Мадриде.

Могут спросить: неужели на общее направление европейских дел в самом деле оказывали влияние эти взятки и подкупы? Конечно, нет. Не требовалось обладать умом и хитростью Талейрана, чтобы понять, что, например, если генерал Бонапарт завоевал Италию, то никак нельзя заставить ни Директорию, ни генерала вдруг великодушно освободить из когтей свою добычу. Или если Франция требует от Испании помощи флотом в борьбе против Англии, то ни за что французское правительство от этого требования не откажется. Талейран знал, что даже простая его попытка советовать своему правительству явно невыгодные для Франции действия может для него кончиться в лучшем случае немедленным увольнением, а в худшем случае — казнью. Он никогда (до 1808 г.) и не делал и не пытался делать таких нелепых и отчаянных вещей. Он брал взятки лишь за снисходительную редакцию каких-либо второстепенных или третьестепенных пунктов договоров, соглашений, протоколов; за пропуск в той или иной ноте слишком точной и жесткой формулировки, за обещание «содействия» по вопросу, по которому, как он знал, и без его содействия дело уже решено верховной властью Франции в принципе благоприятно для его просителя. Ему платили за ускорение каких-нибудь реализаций; за то, чтобы на три месяца раньше эвакуировать территорию, которую Франция уже согласилась эвакуировать, за то, чтобы на полгода раньше получить субсидию, которую Франция уже обещала дать, и так далее. Лишь с эрфуртских дней 1808 г. он стал на путь настоящей государственной измены в точном смысле.

С точки зрения психологической любопытно отметить, что Талейран желал обнаруживать — и обнаруживал — суровую этику в своих делах со взяткодателями: если взял — исполни: если не можешь — возврати взятку. Например, когда Наполеон, стоя зимним лагерем в Варшаве, приказал Талейрану в январе 1807 г. приготовить проект восстановления самостоятельной Польши, то министр тотчас же потребовал от польских магнатов четыре миллиона флоринов золотом. Они устроили складчину, сколотили поспешно четыре миллиона и в срок доставили. Талейран обещал зато уж в самом деле сделать дело старатель-

но и на совесть. И действительно, он сделал императору доклад, в котором с глубоким чувством говорил о непростительной ошибке Франции, допустившей некогда разделы Польши, и о провиденциальной обязанности его величества восстановить несчастную страну. Но дело повернулось так, что Наполеон, вступив спустя полгода в Тильзите в союз с Александром I, не мог сделать для поляков то, что раньше в самом деле собирался было сделать. Тогда Талейран возвратил четыре миллиона. Правда, этот героический жест мог быть объяснен также страхом, что обиженные и обманутые поляки доведут обо всем до сведения императора. Могли выйти неприятности...

Во всяком случае Талейран осторожно и умно обделывал эти темные дела и прежде всего никогда не делал даже отдаленной попытки влиять на ход событий в основном и сколько-нибудь важном в ущерб французским политическим интересам. Но при всяком удобном дипломатическом случае он ухитрялся сорвать со своих контрагентов более или менее округленную сумму. Иногда (на первых порах) дело доходило, впрочем, и до скандала; это бывало, когда князю Талейрану случалось нарваться на людей, еще сравнительно недавно приобщенных к старой европейской цивилизации. Так, например, в 1798 г. произошла следующая неприятная история. В Париже (еще с осени 1797 г.) сидели специальные американские уполномоченные, прибывшие по поводу очень затянувшегося дела об исходатайствовании законно причитающихся американским судовладельцам денежных сумм. Талейран тянул дело, подсылая своих агентов, которые, объясняясь по-английски, заявили туго соображавшим американцам, что министр хотел бы предварительно получить от них «сладенькое»; the sweetness — так они перевели «les douceurs». «Сладенькое» потребовалось в таких несоответственно огромных размерах, что терпение американское лопнуло. Не только делегаты обратились с формальной жалобой к президенту Соединенных Штатов, своему прямому начальнику, но и сам президент Адамс в послании к конгрессу 3 апреля 1798 г. повторил эти обвинения. Американские представители укоризненно вспомнили по этому случаю недавнюю эмиграцию Талейрана. «Этот человек, по отношению к которому мы проявили самое благожелательное гостеприимство, он и есть тот министр французского правительства, к которому мы явились, прося только справедливости. И этот неблагодарный наш гость, этот епископ, отрекшийся от своего бога, не поколебался вымогать у нас пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на «сладенькое» the sweetness, пятьдесят тысяч фунтов стерлингов на удовлетворение своих пороков».

Скандал получился неимоверный. Все это было напечатано. Талейран ответил небрежно и свысока, сославшись на каких-то

неведомых обманщиков и на «неопытность» американских уполномоченных [17]. Затем министр поспешил удовлетворить их требования, уже махнув рукой на «сладенькое». Но эти неприятности у него выходили только с такими неуклюжими, упрямыми пуританскими дикарями от Миссисипи и Скалистых гор. Европейцы были гораздо терпеливее и избегали скандалов. Да и положение их было опаснее: их не охранял от Франции Атлантический океан.

Одновременно с быстрым наживанием огромных сумм Талейрана озабочивали и другие вопросы. Он тогда не хотел возвращения Бурбонов, потому что если и не боялся «колесования», которым ему грозили эмигранты, то все же понимал, как невыгодна и даже опасна для него реставрация. Поэтому, когда буржуазная реакция стала частично принимать форму реставрационных мечтаний, он очень приветствовал событие 18 фрюктидора — внезапный арест роялистов и ссылку их и разгром роялистской партии. Ему нужна была другая форма этой реакции,— ему нужна была монархия или даже диктатура, но без Бурбонов, т. е. ему нужно было то же, что было или казалось нужно в тот момент «новым богачам» и новым земельным собственникам, всей новой буржуазии: строй, который предохранял бы их не только от Бабефа, не только от прериальцев, но и от нового Робеспьера и который в то же время делал бы невозможной феодальную реакцию, попытку реставрировать дореволюционные социально-экономические порядки.

Когда победы Бонапарта заставили Австрию подписать перемирие в Леобене 20 апреля 1797 г., Талейран, давно предвидевший «чудесный удел» победоносного генерала, писал в Америку своему тамошнему «другу» по финансовым делам, Оливу: «Вот и мир вскоре будет окончательно заключен, так как прелиминарные условия подписаны, и какой прекрасный мир! Но и какой же человек наш Бонапарт! Ему еще нет и 28 лет, а над его главой все роды славы, слава войны, мира, умеренности, благородства. У него все есть». И он с радостью сообщает, что «Париж совершенно спокоен» и что через год здесь можно будет делать хорошие дела (т. е. спекуляции), потому, что «капиталы извне начинают прибывать» во Францию [18].

Лучезарное будущее открывалось перед Талейраном. И старая, дореволюционная, и новая, послереволюционная, денежная буржуазия, раздавив последние попытки плебейских масс Парижа, обезоружив в прериале 1795 г. Сент-Антуанское и Сент-Марсельское предместья, торжествовала свою победу и над своими противниками слева и над противниками справа. И одновременно уже восходила звезда молодого завоевателя, которому суждено было стать выразителем стремлений и интересов крупной буржуазии. Талейран чуял, что его час пришел,

что политическое возвышение, этот прямой для него путь к личному обогащению,— не за горами.

И все внимательнее и льстивее, все почтительнее и сердечнее делались талейрановские деловые письма к воевавшему за Альпами молодому генералу. Талейран уже в 1797 и 1798 гг. писал ему не как министр генералу, командующему одной из нескольких армий республики, а скорее как верноподданный, влюбленный в своего монарха. Он один из первых предугадал Бонапарта и понял, что это не просто победоносный рубака, а что-то гораздо более сложное и сильное. Он понял, что этот человек посильнее «адвокатов» и что следует поэтому заблаговременно прикрепить свою утлую ладью к этому выплывающему на простор большому кораблю. Тут уместно было бы сказать хоть несколько слов для общей характеристики отношений Талейрана к Наполеону, тем более что значительная часть его мемуаров касается именно эпохи наполеоновского единодержавия. Конечно, собственные заявления Талейрана можно тут оставить в стороне: они дают понятие только о том, в каком свете ему хотелось бы представить свои отношения к императору, и больше ничего не дают. Вглядимся в факты и наблюдения посторонних лиц.

Несомненно, что Талейран постиг раньше очень многих, какие дарования, какие возможности заложены в этом угрюмом молодом полководце, такими неслыханными подвигами начавшем свою военную карьеру. Казалось бы, что общего могло быть между этими двумя людьми? Один — изящный, изнеженный представитель старинной аристократии, другой — из обедневших дворян далекого, дикого, разбойничьего острова. Один — всегда (кроме времени эмиграции) имевший возможность прокучивать за пиршествами или игорным столом больше денег за один вечер, чем другой мог бы истратить за несколько лет своей скудной казарменной жизни. Для одного все было в деньгах и наслаждениях, в сибаритстве и даже внешний почет был уже делом второстепенным; для другого слава и власть, точнее, постоянное стремление к ним, были основной целью жизни. Один к сорока трем годам имел прочную репутацию вместилища чуть ли не всех самых грязных пороков, но был министром иностранных дел. Другой имел репутацию замечательного полководца и к двадцати восьми годам был уже завоевателем обширных и густо населенных стран и победителем Австрии, а пожирающее честолюбие влекло его дальше и дальше. Для одного политика была «наукой о возможном», искусством достигать наилучших из возможных результатов с наименьшими усилиями; у другого — единственное, чем никогда не мог похвалиться его необычайный ум, было именно недоступное ему понимание, где кончается возможное и где начинается химера. Но и родни-

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

АКАДЕМИК

Е. В. ТАРЛЕ

ТАЛЕЙРАН

*

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ

1939

Титульная страница первого издания книги «Талейран»

ло их тоже очень многое. Во-первых, в тот момент, когда история их столкнула, они стремились к одной цели: к установлению буржуазной диктатуры, направленной острием своего меча и против нового Бабефа, и против нового Робеспьера, и против повторения прериаля, и одновременно против всяких попыток воскрешения старого режима. Было тут, правда, и отличие, но оно еще более их сблизило: Бонапарт именно себя, и никого другого, прочил в эти будущие диктаторы, а Талейран твердо знал, что сам-то он, Талейран, ни за что на это место не попадет, что оно и не по силам ему, и не нужно ему, и вне всяких его возможностей вообще, а что он зато может стать одним из первых слуг Бонапарта и может получить за это гораздо больше, чем все, что до сих пор могли дать ему «адвокаты». Во-вторых, сближали этих обоих людей и некоторые общие черты ума: например, презрение к людям, абсолютный эгоизм и эгоцентризм, нежелание и непривычка подчинять свои стремления какому бы то ни было «моральному» контролю, вера в свой успех, спокойная у Талейрана, нетерпеливая и волнующая у Бонапарта. Эмоциональная жизнь Бонапарта была интенсивной, посторонним наблюдателям часто казалось, что в нем клокочет какой-то с трудом сдерживаемый вулкан; а у Талейрана все казалось мертво, все застыло, подернулось ледяной корой. В самые трагические минуты князь еле цедил слова, казался особенно индифферентным. Было ли это притворством? В таком случае он артистически играл свою роль и никогда почти себя не выдавал. Бонапарт был гораздо образованнее, потому что был любознательнее Талейрана. Затруднительно даже представить себе, чтобы Талейран тоже мог заинтересоваться каким-то средневековым шотландским бардом Оссианом (хотя бы в макферсоновской фальсификации) или гневаться на пристрастия Тацита, или жалеть о страданиях молодого Вертера, или так беседовать с Гете и с Виландом, как Наполеон в Эрфурте, или толковать с Лапласом о звездах и о том, есть ли бог или нет его. Все сколько-нибудь «абстрактное» (т. е., например, вся наука, философия, литература), не имеющее прямого или косвенного отношения к кошельку Талейрана и к его карьере, было ему глубоко чуждо, не нужно, скучно и даже, кажется, попросту противно.

Понимали ли эти две себялюбивые натуры друг друга? «Это — человек интриг, человек большой безнравственности, но большого ума и, конечно, самый способный из всех министров, которых я имел»,— так отзывался к концу жизни Наполеон о Талейране. И все-таки Наполеон его недооценивал и слишком поздно убедился, как может быть опасен Талейран, если его интересы потребуют, чтобы он предал и продал своего господина и нанимателя. Что касается Талейрана, то весьма может

быть, что он и не лжет, когда утверждает, будто искренне сочувствовал Наполеону в начале его деятельности и отошел от него лишь к концу, когда начал понимать, какую безнадежно опасную игру с судьбой и какое насилие над историей затеял император, к какой абсолютно несбыточной грандиозной цели он стремится. Конечно, тут надо понимать дело так, что Талейран убоялся не за Францию, как он силился изобразить, ибо «Франция» тоже была для него «абстракцией», но за себя самого, за свое благополучие, за возможность спокойно пользоваться, наконец, нажитыми миллионами, не прогуливаясь ежедневно по самому краю пропасти.

Во всяком случае, если бы князь Талейран вообще был способен «увлечься» кем-нибудь, то можно было бы сказать, что в последние годы перед 18 брюмера и в первые годы после 18 брюмера он именно «увлекся» Бонапартом. Он считал, что над Францией нужно проделать геркулесову работу, и видел тогда именно в Бонапарте этого Геркулеса. Он не тягался с ним, не соревновался, с полной готовностью, признавал, что их силы и их возможности абсолютно несоизмеримы, что Бонапарт будет всегда повелителем, а он, Талейран, будет его слугой.

Уже 10 декабря 1797 г. (20 фримера VI года по революционному календарю), когда в Париже происходило торжественное чествование только что вернувшегося из Италии в Париж победоносного Бонапарта, Талейран произнес в присутствии Директории и массы народа речь, полную самой верноподданнической лести, как будто Бонапарт уже был самодержавным монархом, а не простым республиканским генералом, и вместе с тем Талейран умудрился подчеркнуть мнимую «скромность» генерала, его (никогда не существовавшее) желание удалиться от шумного света под сень уединения и так далее,— все то, что было необходимо, чтобы ослабить подозрения директоров касательно будущего диктатора и уже проснувшееся неопределенное беспокойство Директории за собственное свое существование.

«Дружба» этих двух людей была непосредственно вслед за тем скреплена грандиозным новым предприятием генерала Бонапарта: нападением на Египет. Для Бонапарта завоевание Египта было первым шагом к Индии, угрозой англичанам. Для Талейрана, как раз тогда выдвинувшего идею создания новых колоний, Египет должен был стать богатой французской колонией. Талейран горячо защищал этот проект перед Директорией, особенно подчеркивая огромные торговые перспективы, связанные с завоеванием этой страны. Экспедиция была решена. Бонапарт с лучшими войсками уехал в Египет, а для Директории наступили вскоре трудные дни. Снова пол-Европы шло на Францию. В Италию явился в 1798 г. великий русский

полководец Суворов, и плоды бонапартовских побед 1796—1797 гг. были потеряны. Непопулярность Директории росла со дня на день: министров — и особенно Талейрана — обвиняли в измене, в том, что они нарочно, в угоду врагам, услали в Египет Бонапарта, который мог бы спасти отечество.

Талейрану непременно нужно было отделиться вовремя от непопулярного правительства, и он, придравшись к одному делу о клевете, за которую он привлек к суду клеветника, но не получил удовлетворения, подал довольно неожиданно в отставку. Случилось это 13 июля 1799 г. Неделю спустя, 20 июля, отставка была принята, а спустя три месяца, 16 октября, в Париж прибыл из Египта неожиданный и неприятный для Директории гость — Бонапарт.

Следует сказать, что у Талейрана, который и предвидел и приветствовал грядущего диктатора, были некоторые причины все-таки сомневаться в особой теплоте будущей первой встречи с внезапно вернувшимся завоевателем Египта. Дело было вот в чем. Отправляясь в египетскую экспедицию, генерал Бонапарт взял с Талейрана обещание, что тот проедет в Константинополь в качестве французского посла немедленно по отбытии эскадры из Тулона. Бонапарту казалось необходимым сохранить фикцию мирных и даже вполне дружелюбных сношений Франции и Турции во время завоевания Египта, бывшего тогда турецкой провинцией. Это достаточно головоломное дипломатическое дело мог с полным успехом выполнить именно Талейран. Так надеялся генерал Бонапарт. Обещание было Талейраном дано, но исполнено не было, и никогда Талейран в Турции до конца своих дней не побывал.

Чем этот поступок Талейрана объясняется? Новейшего американского ученого Локка (C. L. Lokke) не удовлетворяет ни одно из высказанных мнений: ни Раймон Гюйо, который в своей большой книге (Le Directoire et la paix de l'Europe. Paris, 1911) считает, что Талейран не хотел удаляться из Парижа, когда предстояли выборы на освободившееся место члена Директории; ни Булэ де ла Мерт (Le Directoire et l'expédition d'Egypte. Paris, 1885), считающий, что просто Талейрану показалось удобнее и безопаснее оставаться в качестве министра иностранных дел в Париже, чем ехать на опасный пост константинопольского посла, да еще к туркам, раздраженным против французов атакой Бонапарта на Египет. К мнению Булэ де ла Мерта примыкает и автор трехтомной биографии Талейрана, Лакур-Гайе (Talleyrand, t. I. Paris, 1930). Локк не согласен с этими суждениями и дает свое собственное. Он связывает этот отказ Талейрана от путешествия в Константинополь с тем поручением вести важные деловые переговоры с американцами, которые на него возложила

Директория. А когда как раз в апреле и в мае разразился этот так называемый скандал с «иксом, игреком и зетом», т. е. с обвинением Талейрана во взяточничестве, то Директория сначала приняла на веру доклад, который представил ей в пылу благородного негодования «оклеветанный» американскими судовладельцами Талейран 31 мая 1798 г., а затем уже и не смогла сместить Талейрана с поста министра, чтобы, так сказать, не дезавуировать его. Но так как переговоры с американцами летом и осенью 1798 г. пошли успешно и видоизменились обстоятельства, то и отпала вся комбинация с отправлением Талейрана в Константинополь. Умозаключение Локка: и Директория искренне хотела сначала послать Талейрана в Константинополь, и министр тоже вполне добросовестно хотел сполна сдержать обещание, данное Бонапарту. И если Бонапарт потом сердился и обвинял Талейрана в обмане, то он действовал под влиянием несправедливого раздражения [19].

Все эти новейшие объяснения не весьма убедительны. Переговоры с Америкой не так интересовали Директорию, как это представляется профессору Колумбийского университета Локку, а назначение полномочным и чрезвычайным послом в Константинополь ничем бы не выразило, что Директория дезавуирует Талейрана. Этот поступок, т. е. нарушение во имя эгоистических мотивов данного обещания поехать в Турцию, до такой степени похож на Талейрана, на все его приемы и ухватки, что выдумывать слишком мудреные объяснения нисколько не приходится. Бросать доходнейшее и высокое место министра в Париже и ехать к туркам, которые сажают под сердитую руку иностранных послов в Семибашенный замок и держат их там годами (как они держали русского посла Якова Булгакова), Талейрану никакого личного расчета не было, тем более при таких щекотливых условиях: Бонапарт сражается с турками и их вассалами в Египте, а Талейран должен в это же время отводить глаза туркам в Константинополе и уговаривать их ласково, что французы, отнимая у султана Египет, в сущности хотят ему добра...

Конечно, нарушив слово, Талейран учинил очень большое коварство по отношению к своему другу Бонапарту. Генерал так правильно это и понял. Это было первое по отношению к нему предательство со стороны Талейрана. Оно оказалось первым, но далеко не последним.

Но теперь, в октябре 1799 г., все опасения Талейрана оказались напрасными. Не только он нуждался в Бонапарте, но и Бонапарт нуждался в Талейране. Бонапарт шел к прямому захвату власти, и такие люди, как Талейран, были нужны завоевателю. Талейран знал всю правительственную машину Директории, весь высший служебный аппарат, все слабые стороны администрации и уязвимые места обороны.

Восторги и овации, которыми Наполеон был встречаем на всем долгом пути от Фрежюса, где он высадился с корабля еще 9 октября, до Парижа, куда прибыл 16 октября, ясно показали всем и каждому, что Директории осталось жить недолго. И в самом деле: она просуществовала ровно двадцать три дня, считая с момента появления Бонапарта в столице.

Эти двадцать три дня были временем сложнейших и активнейших интриг Талейрана. Завоеватель Италии, завоеватель Египта, популярнейший человек во всей Франции нуждался в нем, в опытном политическом дельце, знающем все ходы и выходы, все пружины правительственного механизма, все настроения директоров и других первенствующих сановников. И Талейран верой и правдой служил в эти горячие три недели восходящему светилу, расчищая путь для государственного переворота. В самый день переворота, 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), на долю Талейрана выпала деликатная миссия — побудить директора Барраса добровольно подать немедленно в отставку. Бонапарт при этом вручил Талейрану для передачи Баррасу довольно крупную сумму, размеры которой до сих пор не установлены в точности. Талейран встретил, однако, у струсившего на сей раз, хотя вообще неробкого, Барраса полную и немедленную готовность подать в отставку и так обрадовался этой неожиданно подвернувшейся возможности оставить за суматохой в собственном кармане приготовленную было для Барраса сумму, что в порыве благодарности бросился... целовать руки директора, с жаром изъявляя ему за его «добровольную» отставку признательность от имени отечества. Обо всем этом повествует Баррас, разузнавший лишь впоследствии, как дорого в денежном смысле обошлась ему излишняя поспешность в самоустранении, проявленная им в утренние часы 18 брюмера при разговоре с Талейраном. Сам Талейран, конечно, скромно умалчивает обо всем этом происшествии, очевидно, считая, что не стоит утруждать внимание потомства такими мелочами.

Дни 18 и 19 брюмера 1799 г. отдали Францию в руки Бонапарта. Республика кончилась военной диктатурой. А спустя одиннадцать дней после переворота первый консул Бонапарт назначил Талейрана своим министром иностранных дел.

Эти решающие дни, вечер 18 и весь день 19 брюмера, Талейран провел на месте действия, в Сен-Клу. Он предусмотрительно все-таки запасся экипажем и двумя кровными рысаками, в породистости которых был вполне уверен. Удастся генералу Бонапарту переворот — можно будет спокойно иноходью возвратиться в Париж, прямо в министерство иностранных дел. Не удастся переворот и убьют Бонапарта — можно будет на рысях, переходящих в галоп, умчаться за границу.

Глава III

ТАЛЕЙРАН ПРИ КОНСУЛЬСТВЕ И ИМПЕРИИ

1

Талейран и при империи и после империи, до конца дней своих утверждал то, о чем говорит и в мемуарах: «Я любил Наполеона; я даже чувствовал привязанность к его личности, несмотря на его недостатки; при его выступлени я чувствовал себя привлеченным к нему той непреодолимой обаятельностью, которую великий гений заключает в себе; его благодеяния вызывали во мне искреннюю признательность... Я пользовался его славой и ее отблесками, падавшими на тех, кто ему помогал в его благородном деле». Мы теперь знаем также, что даже в своем политическом завещании [1], составленном 1 октября 1836 г., когда ему было восемьдесят два года, когда царствовал Луи-Филипп, когда престарелому князю уже ничего ни от кого не было нужно, когда династия Бонапарта считалась актом Венского конгресса навсегда исключенной из престолонаследия и никто не мог предвидеть, что этой династии еще раз суждено в будущем царствовать, Талейран писал' «Поставленный самим Бонапартом в необходимость выбирать между ним и Францией, я сделал выбор, который мне предписывался самым повелительным чувством долга, но сделал его, оплакивая невозможность соединить в одном и том же чувстве интересы моего отечества и его интересы. Но тем не менее я до последнего часа буду вспоминать, что он был моим благодетелем, ибо состояние, которое я завещаю моим племянникам, большей частью пришло ко мне от него. Мои племянники не только должны не забывать этого никогда, но и должны сообщить это своим детям, а их дети — тем, кто родится после них, так, чтобы воспоминание об этом было увековечено в моей семье из поколения в поколение, чтобы если какой-либо человек, носящий фамилию Бонапарта, очутится в таком положении, когда он будет иметь надобность в поддержке или помощи, чтобы мои непосредственные наследники

или их потомки оказали ему всевозможную зависящую от них помощь. Этим способом более, чем каким-либо другим, они покажут свою признательность ко мне, почтение к моей памяти».

В чем тут дело? Зачем он всегда твердил и писал все это? Почему он выделял так упорно Наполеона из всех правительств и людей, которых он на своем долгом веку предал и продал? Могло быть отчасти, что единственно только Наполеон из всего множества жизненных встреч Талейрана в самом деле ему импонировал своим умом, своими гениальными и разнообразными способностями, своей гигантской исторической ролью. Отчасти же могло быть и то, что Талейран наиболее сильные свои эмоции обнаруживал хотя, правда, в редчайших единичных случаях, но всегда исключительно в связи со своей неутолимой страстью к стяжанию, к золоту; мы уже видели, например, как он вел себя в первые минуты после назначения его министром в 1797 г. или 18 брюмера 1799 г., когда сообразил, что может присвоить себе тишком сумму, предназначенную для подкупа Барраса. Если в этой холодной, мертвенной душе могло зародиться нечто похожее на чувство благодарности за быстрое обогащение, то, в самом деле, это чувство могло больше всего быть заронено в нее именно Наполеоном, его «благодетелем», как он говорил.

Что такое была для Талейрана наполеоновская империя? Блеск и неслыханная роскошь придворной жизни, которые изумляли даже видавшего виды русского посла, екатерининского вельможу Куракина; положение министра, служащего самодержавному и могущественнейшему владыке и грабителю богатейших в мире земель и народов, конгломерат которых превышал в Европе размеры былой Римской империи; пресмыкающиеся перед ним, Талейраном, короли, королевы, герцогини, великие герцоги, курфюрсты; непрерывная лесть, раболепное преклонение, заискивание со стороны бесчисленных коронованных и некоронованных вассалов; и — золото, золото, золото, бесконечным потоком льющееся в его карманы.

В счастливую для себя пору вступил Талейран в управление иностранными делами Франции при первом консуле. Австрия была побеждена в 1800 г., Пруссия была в выжидательном нейтралитете еще с Базельского мира 1795 г. С Россией в 1800 и начале 1801 г. дело шло к тесному сближению, и хотя убийство Павла прекратило ходившие в Европе толки о союзе, но и при его наследнике отношения довольно долго оставались терпимыми.

Император Павел уже два дня лежал в гробу с закрытым кисеей лицом, когда курьер из Парижа, прибывший в Петербург 14 марта (ст. ст.) 1801 г., привез графу Федору Василье-

вичу Ростопчину, русскому министру иностранных дел, следующее письмо князя Талейрана (оно очень значительно по намекам, почему и приводим его полностью): «Господин граф. Курьер Нейман, который везет его императорскому величеству ответ первого консула, был бы отправлен раньше, если бы (мы) не ждали известия о прибытии во Францию господина графа Колычева. Теперь у нас есть уверенность, что он будет в Париже через несколько дней, и я должен выразить удовлетворение, которое я испытываю, видя, что пришел момент, когда путем откровенных и углубленных переговоров обо всех предметах общего интереса будет возможно укрепить мир на континенте и подготовить свободу морей. Примите, господин граф, выражение моего высокого уважения. Шарль-Морис Талейран» [2].

Каков внутренний, скрытый, но совершенно ясный смысл в этих вылощенных французских фразах талейрановского письма, фатально и непоправимо опоздавшего на двое суток? Речь идет об оформлении франко-русского соглашения, которое установит прочный мир на континенте, т. е. в понимании Наполеона, с одной стороны, и Ростопчина — с другой, обеспечит владычество франко-русского союза на европейском континенте. Вторая задача — «освобождение морей» — означает войну Франции и России против Англии, войну всеми средствами как на море, так в особенности и на суше, на путях в Индию.

Подобное соглашение стало после убийства Павла, в ночь на 12 марта 1801 г., конечно, невозможным, но и ни малейших враждебных намерений против Франции со стороны России ни первый консул, ни его министр иностранных дел усмотреть на первых порах не могли. Новый император только осматривался и не спешил примкнуть ни к французской, ни к английской группировке держав. Продолжать после ночи на 12 марта политику тесного сближения с Бонапартом было, разумеется, совершенно немыслимо. Но, с другой стороны, у русской дипломатии не было никаких особых побудительных причин открыто стать на сторону Англии и этим сразу же навлечь на Россию вражду первого консула и его вассалов. Документы нашего Архива внешней политики показывают даже, что Александр вовсе не чуждался в некоторых случаях прямого делового дипломатического сотрудничества с Бонапартом.

Нужно сказать, что первые сношения Талейрана с Александром, начавшиеся вскоре после смерти Павла, были отмечены полной любезностью и предупредительностью. В 1801—1802 гг. новый император еще только осматривался и зондировал почву в разных направлениях. В момент гибели Павла отношения между Россией и первым консулом были необычайно дружественными, и в Европе усиленно говорили о предстоящем

франко-русском наступательном и оборонительном союзе. Александр на союз не пошел, казаков, посланных разведывать дорогу в Индию, немедленно вернул, с Англией вошел в самые мирные отношения, но ссориться с могущественным Бонапартом ни в коем случае еще не собирался. В эти годы, когда первый консул стал распоряжаться в Западной Германии как хозяин, тасовать владетельных князей, герцогов, епископов, как карточных королей, одних вознаграждать за счет других и т. д., французской дипломатии важно было обеспечить за собой поддержку России, чтобы вполне обезвредить возможное противодействие со стороны Габсбургской державы и Прусии. И Талейран в это время вовлек в работу по всему этому переустройству Западной Германии и перераспределению земель русского представителя в Париже графа Моркова. В нашем Архиве внешней политики есть письмо (черновик, «проект письма») князя Куракина Талейрану, очень интересное и по содержанию и особенно по тону. Поведение графа Моркова в Париже обыкновенно рисуется в таких красках, что выходит, будто его сварливость, несговорчивость, нескрываемая вражда к консульскому правительству были виновны в резкой порче отношений между Парижем и Петербургом. Это было, во всяком случае в 1802 г., вовсе не так. Между Талейраном и Морковым наладились отношения такого типа, как бывает между представителями совсем дружественных держав. Достаточно ознакомиться с текстом этого письма, чтобы увидеть, до какой степени еще летом 1802 г. были не только любезны, но близки и «дружественны» в то время отношения обоих правительств. Талейран с русским послом вдвоем решали вопросы о разных возмещениях и вознаграждениях всех этих маленьких германских потентатов, и никаких затруднений, не говоря уже о протестах, со стороны России не возникало [3]. Мало того: Куракин очень доволен, что это «могущественное посредничество» и вмешательство Франции и России в германские дела должны и будут иметь «консолидирующее» влияние на все принимаемые им и Талейраном сообща решения. При этом царь только просит, чтобы были приняты во внимание два его «протеже»: герцог Мекленбург-Шверинский и владетельный епископ Любекский. Все это совсем по-новому рисует и роль Моркова в Париже и общий характер франко-русских отношений накануне Амьенского мира между Францией и Англией.

2

После Люневильского мира с Австрией в 1801 г., после Амьенского договора с Англией в 1802 г., после установления корректных отношений с Александром I руки у Бонапарта оказались развязанными для ограбления соседей.

В эти годы почти непрерывных захватов и перетасовок территорий роль французского министра иностранных дел была не весьма затруднительной: первый консул (вскоре превратившийся в императора) захватывал чужую землю, а Талейран стилистически оформлял сообщение о случившемся. Так, например, осенью 1802 г. первый консул ввел войска в Швейцарию,— и Талейран спешит циркулярно разъяснить, что это сделано «не затем, чтобы лишить Швейцарию свободы, но затем, чтобы успокоить раздирающие ее смуты» (каковых вовсе не было) [4].

Таковы были методы как властелина, так и исправного исполнителя его велений, князя Талейрана, который впоследствии с такой благороднейшей грустью изъяснял, как ему бывало тяжело «быть палачом Европы».

Наполеон проявлял благоволение к своему министру, а это благоволение сказывалось усилением его влияния и, параллельно, увеличением его доходов в неслыханной степени. Талейрану везло в эти годы во всех отношениях.

Его светские успехи в это время были неимоверны, и в свои пятьдесят лет он оказывался так же неотразим для женщин, как и в самую цветущую пору молодости.

Одна из этих авантюр окончилась неожиданно для князя досаднейшей и крупнейшей неприятностью — женитьбой. Инцидент интересен для истории быта.

Еще в 1798 г. Талейран, министр иностранных дел при Директории, познакомился с молодой разведенной женой одного служившего в Индии чиновника, госпожой Гран, которая и родилась и воспитывалась в Индии. Ее заподозрили в переписке с эмигрантами, когда она поселилась в Париже, и арестовали. Талейран и устно и письменно ходатайствовал за нее перед Баррасом, и Директория (не без труда) ее освободила. Госпожа Гран была необыкновенно красива лицом и обладала классически прекрасной фигурой. Талейран увлек ее, как он всегда умел очаровывать женщин, которыми желал овладеть. Она в конце концов поселилась у него в доме. Дело было в 1802 г. Но тогда жены послов и другие дипломатические дамы дали понять, что они, де, оскорблены в своих непреодолимо высоконравственных чувствах и что поэтому отныне не будут посещать балов в министерстве иностранных дел. Неприятная история эта дошла до Наполеона. Сначала он предложил Талейрану на выбор: или прогнать немедленно из дома госпожу Гран, или (тоже немедленно) с ней обвенчаться. А повидавшись с госпожой Гран, первый консул стал настаивать именно на женитьбе своего министра. По слухам, ходившим в тогдашних светских кругах в Европе, Бонапарта деликатно уведомили (может быть, по наущению самого Талейрана), что госпожа Гран отличается

совсем непозволительными, из ряда вон выходящими размерами глупости. Но, как известно, Наполеон вовсе не считал для женщин ум предметом первой необходимости. Он остался поэтому непреклонен. Талейран знал, что Наполеон, будучи деспотом с ног до головы, кого угодно женил на ком хотел, и выдавал замуж за кого хотел, и разводил с кем хотел. Именно по поводу брака Талейрана Фредерик Лолье привел из неизданных семейных архивов следующий случай. Наполеон однажды приказывает явиться владетельному западногерманскому князю Аренбергу и объявляет ему без малейшего предупреждения: «Вы завтра женитесь».— «Государь, мое сердце не свободно, избранная мной невеста рассчитывает на мое слово и на то, что мы с ней связаны навеки». «Ну что же, развяжитесь (désengagez vous). Вы женитесь завтра и женитесь на той, которую я вам назначаю. Если же вы будете представлять возражения, то мы с вами увидимся в Венсеннском замке!» Сватовство после этого обещания возымело моментальный успех. На другой же день вечером свадьба состоялась. Новобрачная, которая давно уже была тоже со своей стороны обручена с другим, узнала о своей участи и об имени своего нового жениха так же внезапно, как Аренберг об имени своей новой невесты.

Талейран понимал, что если так обращаются с суверенными князьями, то с ним и подавно не будут церемониться. Да при наполеоновском дворе даже и в голову не могло прийти сопротивляться воле владыки. Раздумывать было бесполезно. Талейран махнул рукой и вступил в законный брак.

По преданию, Талейран, еще когда при Директории хлопотал об освобождении этой красавицы, в которую был уже тогда влюблен, говорил об этой своей будущей жене властям: «Примите во внимание, что она глупа до самой крайней степени вероятия и не в состоянии ничего понимать».

Большой роли эта особа в жизни Талейрана не играла. «Ведь глупая жена не может компрометировать умного мужа,— говаривал князь Талейран:— компрометировать может только такая, которую считают умной». Впрочем, у нас есть точные данные, что легендарная глупость княгини Талейран нисколько не мешала ей тоже брать взятки с просителей, например, с графа Бентгейма. Для выполнения такого рода поручений своего мужа у нее ума хватало.

Супруги впоследствии жили раздельно с тех пор, как Талейран приблизил к себе и поселил у себя жену своего племянника, герцогиню Дино, которая и стала хозяйкой его дома до самой смерти князя.

При дворе карьера Талейрана развертывалась с каждым годом все шире и ярче. Его звезда была в зените.

Наполеон последовательно сделал его министром иностран-

ных дел, великим камергером, вице-электором, владетельным князем и герцогом Беневентским. Даже не считая оклада министра иностранных дел, Талейран получал за все эти должности без малого полмиллиона франков золотом в год (495 тысяч, а с министерским окладом — больше 650 тысяч в год). Для сравнения напомню, что в эти самые годы рабочая семья в Париже, получавшая от общей работы всех ее членов полторы тысячи франков в год, считалась благоденствующей и на редкость взысканной милостями судьбы.

Кроме колоссальных законных доходов, у Талейрана были и тайные доходы, несравненно более значительные, о точных размерах которых можно лишь догадываться по некоторым случайно ставшим известными образцам. Эти нелегальные доходы исчислялись не сотнями тысяч, а миллионами. Наполеон, завоевывая Европу и превращая в вассалов и покорных данников даже тех государей, которым он оставлял часть их владений, постоянно тасовал и менял этих подчиненных ему крупных монархов и мелких царьков, перебрасывал их с одного трона на другой, урезывал одни территории, прирезывал новые уделы к другим территориям. Заинтересованные старые и новые, большие и маленькие монархи вечно обивали пороги в Тюильрийском дворце, в Фонтенебло, в Мальмезоне, в Сен-Клу. Но Наполеону было некогда, да и не легко было застать его и получить аудиенцию при непрерывных его войнах и походах. И, кроме того, Наполеон принимал свои решения, только выслушав доклад своего министра иностранных дел.

Можно легко себе представить, какие беспредельные возможности открывались на этой почве перед князем Талейраном. Тут же дело могло идти не о скромном «сладеньком» (sweetness) в каких-нибудь пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, по поводу которых так неприлично скандалила в свое время «неотесанная деревенщина» из Соединенных Штатов. Впрочем, даже и эти «косолапые дикари» из девственных прерий в конце концов попривыкли к столичному обхождению, и, например, когда Роберт Ливингстон заключал от имени Штатов торговый договор с Францией, то он уже беспрекословно выложил Талейрану предварительно два миллиона франков золотом, во избежание проволочек. (Проволочек не последовало.) Когда Наполеон заключил мир с Австрией после победы своей при Маренго, то он подарил Талейрану за труды триста тысяч франков, что не помешало Талейрану получить одновременно и от императора австрийского Франца четыреста тысяч франков, а кроме того, ловко маневрируя в деле о замаскированной контрибуции, которую должна была уплатить Австрия, Талейран заработал на внезапном подписании и обнародовании мирного (Люневильского) трактата в 1801 г. около пятнадцати миллионов

франков. Из этих пятнадцати миллионов семь с половиной миллионов были им получены «авансом» еще во время переговоров. По существу дела далеко не всегда можно определить цифру его взяток. Например, когда Наполеон приказал продать Луизиану Соединенным Штатам, то переговоры о сумме вел Талейран, и американцы вместо восьмидесяти миллионов, о которых шла речь вначале, уплатили Франции всего пятьдесят четыре миллиона: точная цена аргументов, которыми американцы вызвали широкую уступчивость со стороны французского министра иностранных дел Талейрана, осталась невыясненной и доселе.

Знал ли Наполеон о том, как его обманывает и обворовывает его министр? Конечно, знал, точно так же, как Петр I знал о проделках Александра Даниловича Меншикова. И Наполеон по той же самой причине долго не прогонял прочь Талейрана, по которой Петр не гнал, а только бил Меншикова дубиной. Наполеон, впрочем, не колотил Талейрана дубиной, а только один раз (хотя, правда, с затратой мускульной энергии) схватил его публично за шиворот; но расстался с ним нехотя, не скоро и в сущности не только из-за взяток. Очень уж он был нужен и полезен Наполеону.

Для «бытовой», так сказать, истории Талейрана в годы его министерства при Наполеоне можно привести довольно много любопытных документов. Хотя обыкновенно и взяткодатели и взяткополучатели очень скромно, скупо и неохотно повествуют на бумаге о своих деяниях, но при ежедневной практике Талейрана все-таки кое-какие детали сохранились.

Приехал граф Бентгейм-Штейнфурт из мелких немецких князьков, обивавших неделями, месяцами, годами пороги у Талейрана, хлопоча о своих владениях и приращении таковых. Ничего как-то не выходит. Датский посол Дрейер его учит, что без взятки не обойдется и что лучше бы всего в данном случае действовать через жену Талейрана. Князек боится. Тогда Дрейер берет на себя щекотливые переговоры с супругой министра иностранных дел, которая отличалась не только поразительной красотой и выходящей за всякие пределы глупостью, но и неимоверной жадностью. Месяц идет за месяцем, приехал Бентгейм в декабре 1803 г., уже идет май 1804 г., а дело — ни с места. Он вручает другу Дрейеру пятьдесят тысяч франков золотом для передачи княгине. Но не тут то было, «Дрейер,— пишет князь Бентгейм,— имел страшную сцену с г-жой Талейран, которая потребовала у него в самых оскорбительных выражениях сто тысяч франков, не желая довольствоваться пятьюдесятью тысячами» [5]. Пришлось дать,— и мигом все было сделано: Талейран доложил, наконец, Наполеону дело, и император, ничего этого не знавший, подписал без всяких споров. Такова была ежедневная практика.

Сент-Бёв, поместивший в 1869 г. несколько статей в газете «Temps» о Талейране по поводу довольно поверхностной книги английского историка и романиста Бульвер-Литтона, прибавляет от себя кое-какие интересные черты на основании рассказов и устных воспоминаний людей, которых французский критик еще застал в живых. Вот одно из этих воспоминаний.

«Господин Талейран, что вы сделали, чтобы так разбогатеть?» — неблагосклонно спросил Наполеон.— Государь, средство было очень простое: я купил бумаги государственной ренты накануне 18 брюмера и продал их на другой день»,— ответил тонкий льстец, напоминая этим Наполеону, как сразу же после переворота, сделавшего Наполеона самодержцем, все французские ценные бумаги повысились в цене. «На этот раз не было возможности рассердиться; лисица, ловким приемом, свойственным ей, выскользнула из когтей льва»,— прибавляет, рассказав это, Сент-Бёв [6].

Интереснее всего, что оба были правы: и государь и подданный. Наполеон был прав, явно подозревая Талейрана в плутнях и взяточничестве, а Талейран, отвечая грозному вопрошателю, тоже по-своему был прав, потому что он в самом деле сильно нажился на биржевой игре после переворота 18 брюмера. Талейран всю свою жизнь плутовал и играл на бирже, и одно нисколько не мешало другому,— напротив.

Обогащение шло в грандиозных размерах. Такие наблюдатели, как Стендаль, всегда подчеркивали, что сам Талейран приучил людей «презирать маленькие низости, когда они не приносят абсолютной пользы» [7].

Золотой дождь лился над империей, захватившей постепенно, прямо или косвенно, почти весь континент Европы. Императорская казна была неистощима, подрядчики быстро пополняли кадры крупной буржуазии и составляли себе громадные состояния. «Во время империи никто не торговался, кроме Талейрана, и то только когда он продавал свои ноты и мнения. Недостало денег в одном месте,— контрибуция в другом, две контрибуции в третьем»,— это замечание Герцена, случайно им брошенное по поводу владычества Наполеона в Швейцарии в путевых заметках («Альпийские виды»), необычайно подходит к тому, что только что нами рассказано и о времени Наполеона вообще и о деяниях его величественного министра иностранных дел в частности.

3

Император, разумеется, знал и презирал Талейрана за его характер и за его «мораль» (если позволительно тут до курьеза некстати употребить этот термин), но он восхищался тем, как

умеет работать эта голова, как умеет она искать и сразу находить разрешение сложных и запутанных дипломатических проблем. А за это он прощал все. В огромной апокрифической литературе о Наполеоне, распространявшейся во Франции уже в половине XIX столетия, передается фраза, будто бы сказанная Наполеоном относительно министра полиции Фуше после провокаторского раскрытия Фуше одного террористического заговора: «Те, кто хочет меня убить, дураки; а те, кто меня от них спасает,— подлецы». Вероятно, он ничего подобного, во всяком случае, во всеуслышание, не говорил. Но такой *апокриф* мог легко возникнуть, потому что всем хорошо было известно, как император относится к Фуше. Талейрана он, в смысле нравственных качеств, иногда приравнивал к Фуше, но в оценке интеллекта, конечно, никогда не ставил их на одну доску.

Полицейская, шныряющая, подпольная хитрость и провокаторская ловкость Фуше были нужны Наполеону для охраны своей жизни, а ум Талейрана был ему нужен для оформления, систематизации и для дипломатических функций по окончательной реализации тех грандиозных задач, в которых Наполеон видел свою историческую славу. Талейран не подсказывал ему, что нужно сделать, но давал превосходные советы о том, как лучше оформить желаемое императором.

Талейран, по своим манерам старорежимный вельможа, умел передать как следует повеление Наполеона, умел провести трудное объяснение с иностранными дипломатами без той резкости и казарменной грубости, без тех приступов гнева, которые далеко не всегда были чисто актерскими выходками у Наполеона и которые именно в тех случаях, когда не были умышленным комедиантством, очень вредили императору.

Талейран жил «душа в душу» с Наполеоном все первые восемь лет диктатуры, и — что бы он впоследствии ни утверждал — никогда он в эти годы не отваживался остановить Наполеона, уговорить его хоть несколько умерить территориальное и всяческое иное завоевательное грабительство, никогда он не пытался давать советы умеренности и благоразумия, на которые он так щедр задним числом в своих мемуарах. Он изменил Наполеону лишь тогда, когда убедился в своевременности и выгодности для себя этого поступка. Но это было лишь впоследствии. Талейран хотел бы навязывать себе в глазах читателей его мемуаров роль шиллеровского маркиза Позы, говорившего правду Филиппу II, или (если бы он знал русскую историю) роль, аналогичную позиции князя Якова Долгорукого при Петре,— словом, опасное, но почетное амплуа бесстрашного правдолюбца, видящего честную свою службу в том, чтобы удерживать государя от необузданного произвола. Эта претензия до курьеза необоснованна: он и пальцем не двинул, чтобы

хоть раз удержать или успокоить Наполеона, предостеречь его от несправедливости или жестокости. Лучшим в этом отношении примером может послужить кровавое дело о казни герцога Энгиенского, с которым крепко связано имя Талейрана, несмотря на упорные его усилия скрыть и извратить истину; а ведь Талейран доходил даже до специальных поисков и истребления официальных документов уже в начале Реставрации (в апреле 1814 г.).

Роль Талейрана в этой драме такова. Именно Талейран ложно указал Наполеону (в разговоре 8 марта 1804 г.), будто живущий на баденской территории герцог Энгиенский руководит заговорщиками, покушающимися на жизнь первого консула, и заявил при этом, что очень легко и удобно приказать начальнику *пограничной жандармерии*, генералу Коленкуру, просто-напросто послать отряд жандармов на баденскую территорию, схватить там герцога Энгиенского и привезти его в Париж. Маленькое затруднение было в том, что приходилось, таким образом, среди мира вдруг вопиюще нарушить неприкосновенность чужой территории. Но Талейран сейчас же взялся уладить и оформить дело и написал соответствующую бумагу баденскому правительству, причем, чтобы не дать герцогу Энгиенскому возможности как-нибудь проведать и бежать из Бадена, Талейран поручил генералу Коленкуру передать это письмо, полное лживых обвинений, баденскому министру уже после ареста и увоза во Францию герцога Энгиенского.

Герцог Энгиенский был схвачен французскими жандармами, привезен в Венсеннский замок, немедленно судим военным судом и в ту же ночь, 21 марта 1804 г., расстрелян, несмотря на полнейшее отсутствие улик. Сам Наполеон, никогда не любивший сваливать на кого бы то ни было ответственность за свои поступки, через много лет в припадке гнева, как увидим далее, в глаза и публично бросил Талейрану роковые слова: «А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним?» И Талейран ничего не посмел ответить. Он, таким образом, принял деятельное и по существу инициативное участие в этом кровавом событии. Ему это было нужно, во-первых, чтобы доказать Наполеону свою ретивость в охране жизни от покушающихся, во-вторых, чтобы терроризовать роялистов казнью принца Бурбонского дома, так как Талейран продолжал все время опасаться за свою участь в случае реставрации старой династии. Словом, ему это убийство показалось тогда полезным,— он и подтолкнул на это дело Наполеона и активно помог в совершении самого акта.

Вот что сообщил Наполеон английскому доктору Уордену на острове св. Елены, говоря о герцоге Энгиенском:

«Министры настаивали на аресте герцога Энгиенского, хотя он жил на нейтральной территории. Я все еще колебался. Князь Беневентский дважды мне подносил приказ и со всей энергией, на какую он был способен, настаивал, чтобы я подписал... Мне прожужжали уши (j'avais les oreilles rebattues) тем утверждением, что новая династия никогда не будет упрочена, пока останется хоть один Бурбон. Талейран никогда не отклонялся от этого принципа. Это было основой, краеугольным камнем его политического кредо... Результатом моих размышлений было то, что я всецело примкнул к мнению Талейрана» [8].

Говоря об этом же деле с лордом Элбрингтоном, Наполеон прибавил, что его тронуло, когда ему сказали, что герцог Энгиенский (уже после приговора) хотел с ним говорить. «Но Талейран мне помешал, сказав: не компрометируйте себя с Бурбоном! Вы не знаете, какие могут от этого быть последствия!» [9]

Письмо, которое герцог Энгиенский перед расстрелом написал Наполеону и которое безусловно повело бы к помилованию, именно поэтому было задержано Талейраном, который вручил его Наполеону тотчас после состоявшейся казни. Стендаль видел копию этого письма в руках Ласказа [10].

Это ничуть не помешало Талейрану представить потом дело так, будто он был решительно ни в чем не повинен и всецело осуждал несправедливый, варварский поступок Наполеона. Это ему не помешало также (что гораздо любопытнее и с психологической стороны гораздо сложнее) разыграть впоследствии в самом деле потрясающую сцену встречи с отцом расстрелянного герцога Энгиенского, сцену, которую ни Шекспир, ни Достоевский не выдумали бы.

Дело было в 1818 г., уже при Реставрации. Князь Талейран состоял тогда великим камергером при короле Людовике XVIII (на той же самой придворной должности, как и при Наполеоне I), и ему было очень неприятно, что как раз тогда, в 1818 г., переселился в Париж старый принц Конде, отец расстрелянного за четырнадцать лет до того герцога Энгиенского. Старик все не мог утешиться в потере своего единственного, обожаемого им с детства сына. Предстояла тягостная встреча этого королевского родственника с великим камергером Талейраном. Было неловко. Тогда Талейран очень искусно устраивает себе знакомство с близкой принцу Конде женщиной и рассказывает ей великую, святую тайну, которую доселе скромно хранил в благородной груди своей, но теперь, так и быть, поведает: не только на него напрасно клевещут, укоряя в убийстве герцога Энгиенского, но он, князь Талейран, даже своей собственной головой рискнул, лишь бы спасти несчастного молодого человека! Да! Он послал тайком письмо с предупреждением герцогу,

чтобы тот немедленно спасался, но герцог не внял совету остался — и на другой день был схвачен французскими жандармами и увезен в Венсенн. Ясно, что, узнай Наполеон об этом отчаянном поступке своего министра,— и голова Талейрана скатилась бы с гильотины. Можно ли требовать от человека большего благородства и великодушия?.. Излишне прибавлять что-либо о полной вздорности этой курьезнейшей выдумки. Но, как это ни странно, принц Конде поверил (не следует забывать, что улики против Талейрана тогда еще не были полностью известны), и при ближайшей встрече старик бросился со слезами благодарить Талейрана за самоотверженные, почти геройские, хотя, увы, и безуспешные усилия спасти его несчастного сына. Талейран принял эти изъявления признательности с тем же тактом, с той же спокойной сдержанностью и достойной скромностью, с какими тогда при Наполеоне он принял особые награды (в том числе командорскую ленту Почетного легиона), посыпавшиеся на него вскоре после расстрела герцога Энгиенского, за его заслуги в деле обнаружения и ареста герцога. Эти награды Талейран получил как раз перед принятием Наполеоном императорского титула.

Принятие императорского титула Наполеоном в 1804 г. было лишь чисто внешним переименованием самодержца, захватившего верховную власть 18 брюмера 1799 г. Но вот как красноречиво объяснял Талейран в официальной бумаге к французским послам за границей значение коронования 2 декабря 1804 г.: «Помазание и коронование его императорского величества окончило революцию. Они поставили Францию под управление правительства, которое приличествует ее пространству и ее привычкам и от которого отказались после четырнадцати столетий только затем, чтобы броситься в туманные умствования, не имеющие связи с прошлым и не дающие никакой гарантии для будущего». Описывая далее все великолепие коронования, «энтузиазм» народа по адресу «того, кто спас государство, укрепил внутренний мир, исполняет надежды всех», Талейран подчеркивает, что «отныне власть императора освящена» [11].

4

Прошли торжества коронации Наполеона, на которых Талейран играл блестящую роль, и замелькали феерические события императорской эпопеи: непрерывные великолепные балы в Париже и окрестных дворцах, изредка поездки Талейрана в новый его собственный замок Валансэ, колоссальный и роскошно убранный, поездки в свите императора то в Булонь, откуда готовилось нападение на Англию, то в поход против Австрии, в Вену и к Аустерлицу, то в поход против Пруссии, в Берлин,

в Варшаву, в Тильзит, то опять в Париж, где жизнь для осыпаемого милостями и наградами императорского министра протекала в роскоши, в почете, в новых любовных приключениях, в наслаждениях всякого рода, в аудиенциях и доверительных беседах с императором, когда он первый узнавал о предстоящих переменах в судьбах Европы и получал инструкции. По-прежнему он не отваживался противоречить Наполеону,— напротив, поддакивал ему во всем, даже не заикнулся, например, о том, что считает губительной мерой континентальную блокаду, провозглашенную Наполеоном 21 ноября 1806 г. в Берлине. А Талейран считал ее таковой. Разгром Пруссии окончательно сделал Наполеона полным хозяином всей Германии. Все пресмыкались во прахе перед императором, и все чаяли себе спасения только в милостивом заступничестве со стороны Талейрана. Саксонский король в знак благодарности за разные милости дал Талейрану миллион франков золотом. Вообще говоря, золотой дождь продолжал литься на министра иностранных дел. Тратил он деньги тоже совсем без счета: и на украшения своего великолепного замка в Валансэ и дворца в Париже, и на волшебно-роскошные балы, банкеты и ужины, где бывало по пятьсот человек приглашенных, и на охоты, и на карточную игру,— а новые и новые груды золота пополняли его кассу.

Но в эту новую войну, 1806 и 1807 гг., Талейран стал впервые серьезно ставить перед собой один вопрос: чем все это кончится? Правда, счастье продолжало сопутствовать Наполеону. Пруссия была разделена и ампутирована Тильзитским трактатом, так, что от нее остался лишь какой-то небольшой обрубок; русская армия потерпела поражение под Фридландом; в Тильзите Александр принужден был вступить с Наполеоном в союз. Но Талейран хорошо помнил недавнее страшное побоище при Эйлау, где легли десятки тысяч с каждой стороны и где в сущности русские вовсе не были разбиты, вопреки наполеоновскому бюллетеню. Талейран с беспокойством провел эти четыре месяца между Эйлау и Фридландом. Все в конце концов обошлось и на этот раз благополучно: Наполеон вернулся в Париж с новой силой, с новым блеском, с новым колоссальным приращением могущества. Но надолго ли?

Талейран всегда утверждал также, что еще весной и летом 1806 г., перед войной с Пруссией, он делал все от него зависящее, чтоб этой войны избежать. Он жаждал мира с Англией и Россией. Именно он вел сложные переговоры сначала с лордом Ярмутом, а потом с лордом Лаудердэлем о мире с Англией. Именно ему удалось совсем пленить русского дипломата Убри (Oubril) и даже составить проект мира с Россией, не ратифицированный Александром I. Наполеон нехотя склонялся летом 1806 г. к этой мирной программе. Талейран решительно видел

еще до разгрома Пруссии в 1806—1807 гг., что незачем все снова и снова рисковать и ставить на карту великолепное положение Франции, которого страна достигла в первые годы наполеоновской диктатуры.

Но император уже утратил представление о границах возможного и неудержимо шел к дальнейшему расширению своего могущества.

Талейран видел ясно, что на этом пути остановиться трудно и что Наполеон хочет идти и уже идет прямой дорогой к созданию мировой империи, которая для своей консолидации потребует опрокинуть два оставшихся препятствия — Англию и Россию. Князь убежден был, что дело затеяно фантастическое, несбыточное и что Наполеон не может не погибнуть, если будет упорствовать.

Всемирная монархия если и осуществлялась бы, то на мгновение, и неизбежная гибель ненасытного завоевателя повлечет за собой катастрофу для Франции. Именно этим соображениям Талейран и приписывает внезапную свою отставку, последовавшую сейчас же после Тильзитского мира, 10 августа 1807 г. Именно ненасытная завоевательная жадность и жестокость Наполеона в Тильзите и заставила будто бы Талейрана решиться на этот шаг. «Я не хочу быть палачом Европы»,— якобы сказал при этом уходящий министр. В тираническом самовластии победителя и повелителя Европы он видел неминуемый зародыш новых войн и конечной гибели Наполеона и хотел вовремя отойти и «думать о будущем». Таково объяснение отставки со стороны наиболее заинтересованного лица, т. е. самого Талейрана. Послушаем теперь объяснение Наполеона: «Это талантливый человек, но с ним ничего нельзя сделать иначе, как платя ему деньги. Король баварский и король вюртембергский приносили мне столько жалоб на его алчность, что я отнял у него портфель». Где же правда? Как иногда (далеко не всегда) бывает, истина на этот раз, вероятно, обретается «посередине». Талейрана в самом деле напугал Тильзит именно тем, что полная победа над всей Западной Европой и одновременное принуждение императора Александра I к союзу делали Наполеона хозяином порабощенного европейского континента, что по существу не могло не быть причиной новых отчаянных и кровопролитнейших войн; и действительно, министр Талейран уже искал себе нужного положения в том далеком будущем, когда выгоднее будет быть не с Наполеоном, а против Наполеона. Он поэтому не прочь был уйти после Тильзита, может быть, даже еще после Эйлау. Но, с другой стороны, прав по-своему и Наполеон, полагавший, что это он, император, прогнал Талейрана за слишком бесцеремонные вымогательства у вассальных королей. Было и то и другое. Наполеон, конечно, стал выговаривать

Талейрану по поводу этих грабительских и взяточнических поступков. Но ведь император не первый, а десятый раз говорил со своим величавым министром на эту щекотливую тему, и тот всегда умел тактично выслушать, с достоинством раскланяться и сановито помолчать или перевести разговор на менее щекотливые предметы. Но на этот раз, когда Талейран уже сам подумывал об уходе, он, конечно, мог ухватиться за предлог, мог обнаружить внезапную обидчивость и подать в отставку.

Он и сделал это так тонко и умно, что еще сам же Наполеон почел нужным щедро вознаградить своего уходящего министра, и спустя четыре дня после подачи в отставку император дал указ сенату, которым объявлял о назначении Талейрана, князя Беневентского, великим вице-электором, с титулом «высочества» (как принцы императорской фамилии) и с наименованием «светлейшего» (serenissime), а сверх того — с окладом в триста тысяч франков золотом в год. Обязанности же Талейрана со-*стояли отныне лишь в том*, чтобы являться в торжественные дни ко двору в костюме из красного бархата с золотым шитьем и белых атласных панталонах и становиться сбоку императорского трона. Все это очень устраивало Талейрана. Можно было издали и в безопасности ждать развития событий, отделив отныне личную свою судьбу от судьбы Наполеона, с которым, однако, после этого милостивого назначения отношения установились самые лучшие.

Конечно, Наполеон знал, что ни первый преемник Талейрана по должности министра иностранных дел герцог де Кадор, ни преемник де Кадора статс-секретарь Марэ не идут по своим способностям ни в какое сравнение с Талейраном.

Наблюдая надменное поведение Марэ, сразу же очень возгордившегося, когда Наполеон пожаловал ему титул «герцога Бассано», Талейран сказал: «Теперь есть во Франции человек, который глупее Марэ; а именно герцог Бассанский» [12].

Подобные выходки Талейрана становились известными далеко за пределами Франции и возбуждали непримиримую к нему ненависть со стороны новых министров, которыми приходилось обзаводиться Наполеону после отставки Талейрана и Фуше. Именно герцог Бассано и его жена помешали в 1812 г. назначению Талейрана полномочным представителем в Варшаву вместо Прадта, о чем подумывал некоторое время Наполеон. Император впоследствии жаловался на эти «интриги» супругов Бассано герцогу Коленкуру.

Вообще Талейран решил, что есть полная возможность, уже не неся никакой формальной ответственности, пользоваться беспрепятственно всеми выгодами, которые может дать близость к *императору. Затеял Наполеон в 1808 г. (собственно, еще* в 1807 г., вскоре после Тильзита) завоевание Испании и Пор-

тугалии. Талейран и впоследствии относился к этому предприятию, как к проявлению самого дикого, возмутительного и, главное, ненужного произвола, так как обе династии, царствовавшие на Пиренейском полуострове — и Браганца в Португалии, и Бурбоны в Испании,— рабски повиновались Наполеону, трепетали от каждого его слова, ловили на лету его приказы, угадывали и исполняли все желания. Поэтому Талейран много раз утверждал, что нападение на Испанию и Португалию было грубейшей, губительной ошибкой, что император себя этим поступком ослабил.

Но все эти благоразумные мнения Талейран стал выражать лишь попозже...

Теперь может считаться доказанным, что еще в 1807 г. Талейран очень одобрял планы Наполеона, касавшиеся Испании, и громогласно говорил (например, придворной даме Ремюза), что испанские Бурбоны — неудобные соседи для императора и что хорошо бы эту династию ликвидировать («я не думаю, чтобы возможно было их сохранить»). И в Испании это знали. По крайней мере, когда наследник испанского престола Фердинанд был отправлен на подневольное жительство в замок Талейрана в Валансэ, то гости не могли скрыть своего страха и отвращения к изящному и «гостеприимному» хозяину замка. Это не помешало Талейрану, когда испанские дела Наполеона запутались, пустить слух, будто он, мол, не советовал императору начинать испанское предприятие, но что же с государем поделаешь, когда он не слушается благоразумных советов своих верных слуг?

Приведем еще показание участника наполеоновских войн, Стендаля: «Талейран не переставал твердить Наполеону, что не будет безопасного существования для его династии, пока он не уничтожит Бурбонов. Лишить их престола было недостаточно...» Это он говорил по поводу низложения династии испанских Бурбонов с престола в 1808 г. [13] Стендаль был очень осведомлен в испанских делах Наполеона, и это показание современника подкрепляет другие аналогичные свидетельства.

Несмотря на то, что Талейран, по-видимому, в самом деле подталкивал Наполеона к тому, чтобы отправить на тот свет всю испанскую ветвь Бурбонов, император на это не решился и удовольствовался их арестом и отсылкой на долгие годы в плен во Францию.

Когда затем, весной 1808 г., испанский народ начал совсем неожиданно свое яростное сопротивление завоевателю, тогда и подавно Талейран стал смотреть на этот не потухавший пожар народной войны в Испании, как на начало грядущей катастрофы великой империи. Талейран все это весьма красноречиво излагает и в своих мемуарах и в разговорах с современниками

(которым доверял, вроде госпожи де Ремюза), но самого Наполеона он не только не предостерег от гибельного шага, а, напротив, похваливал его, льстил ему и все норовил урвать что-нибудь и для себя лично от этого нового наполеоновского завоевания. Словом, он столь верноподданнически и преданно поддакивал императору, что тот, захватив Фердинанда, наследника испанского, и еще двух принцев испанского дома в Байонне (куда завлек их обманом), отправил этих испанских принцев в качестве пленников в замок Талейрана, в Валансэ, где они и прожили почти до конца империи. Талейран с горечью говорил впоследствии в мемуарах, что император выбрал его поместье, «чтобы сделать его замок тюрьмой» для испанских Бурбонов. Талейран забывает при этом прибавить, что, очевидно, с целью хоть несколько смягчить свою великодушную скорбь по этому поводу, сам он спустя некоторое время стал настойчиво выпрашивать у казны два миллиона франков на ремонт замка Валансэ, якобы необходимый ввиду содержания там принцев. На самом деле колоссальнейший и уже до той поры роскошно убранный и меблированный замок с многочисленными пристройками ни малейшего ремонта не требовал для размещения трех человек и нескольких служителей. На их содержание, впрочем, деньги обильно отпускались казной с первых же дней их плена.

Испанский пожар начинал разгораться. Испанцы заставили при Байлене капитулировать целый французский корпус генерала Дюпона. Европейские вассалы и коронованные вассалы и рабы Наполеона, глядя на Испанию, начали смутно надеяться; ходили слухи об австрийских вооружениях; среди германской университетской молодежи возникало брожение против грозного завоевателя. И вдруг Талейран получает извещение, что Наполеон желает взять его с собой, хотя он уже и не министр, в Эрфурт, на свидание с Александром I.

Так наступил новый решающий миг, новый поворот в судьбе Талейрана.

5

Александр Павлович, император всероссийский, ехал в Эрфурт к Наполеону в сентябре 1808 г. в не весьма бодром состоянии духа. Перед самым отъездом он получил большое письмо от матери. Мария Федоровна выражала в этом письме не только общедворянские и общепридворные озлобленные, растерянные настроения касательно дружбы и заключенного в 1807 г. в Тильзите союза царя с французским завоевателем, но и еще более острые и злободневные тревоги, вызванные этой поездкой царя в далекий город, занятый наполеоновскими войсками. У всех свежо было в памяти, как всего за четыре месяца

пред тем, в мае того же 1808 г., дружески приглашенная Наполеоном в Байонну испанская королевская семья была в полном составе предательски арестована и разослана — кто в Фонтенебло, кто (как упомянуто выше) в замок Валансэ. Где было ручательство, что Наполеон не проделает того же в Эрфурте с Александром, который будет там всецело в его руках? Экономические интересы русского дворянства и купечества жестоко подрывались навязанной Наполеоном России континентальной блокадой и прекращением сбыта русского хлеба и сырья в Англию. В Зимнем дворце получались анонимные письма, которые напоминали царю об участи, постигшей его отца, Павла, именно как только он тоже вступил в дружбу с Бонапартом. Рубль быстро падал в своей прежней покупательной силе. Конечно, Александр ответил своей матери твердо и обстоятельно, подчеркивая необходимость оставаться в мире с колоссальной Французской империей. Аустерлиц, Фридланд и Тильзит, две проигранные войны и «позорный» мир научили осторожности. Но хорошего от свидания с «союзником» ни Александр I, ни его свита не имели оснований ожидать. Мощь Наполеона казалась в тот момент монолитной гранитной скалой. На континенте царило безмолвие, прерываемое только неясными слухами, шедшими из далекой Испании,— слухами о поголовном крестьянском восстании, о яростных партизанских боях и массовых расстрелах этих партизан французами. Но остальная Европа покорялась, страшилась и молчала.

28 сентября 1808 г. оба императора съехались в Эрфурте. В свите Наполеона было столько королей и прочих монархов, французская императорская гвардия была так огромна и великолепна, смотры и парады, чуть не по два в день, были так блестящи, что впечатление несокрушимого могущества Наполеона должно было еще более усилиться у русских гостей.

И вот Александра ждало тут одно изумительнейшее и абсолютно неожиданное для него происшествие. Это событие было связано со встречей царя и Талейрана.

Предварительно следует сказать несколько слов о репутации Талейрана в России.

В России не только очень хорошо знали вообще о душевных красотах князя Талейрана, но были с давних пор подробно осведомлены и о многих конкретных фактах из его обширной деятельности. Знали, например, что в конце 1804 г. Талейран, успешно поторговывая большими и малыми княжествами и герцогствами средней Европы, прицениваился к продаже Голландии и готов был получить с одного из претендентов четырнадцать миллионов франков [14]. У нас очень хорошо знали, что окончательное порабощение Голландии было оформлено, согласно приказам Наполеона, именно Талейраном в специальных

декретах и декларациях: «Виданы ли были когда-нибудь более возмутительные (заявления — *Е. Т.*) чем те, которые изложены в „Монитере" от 18 апреля и которые, конечно, могут быть только делом рук подлого Талейрана, этого монаха-расстриги, такого же порочного в моральном, как и в физическом отношении?» — так писал Нессельроде, бывший русским представителем в Гааге 25 апреля 1806 г. [15]

И вот Талейран собственной особой предстал перед русским императором, приехавшим в Эрфурт.

Когда Александр сидел вечером, после одного из утомительных парадных эрфуртских дней, в гостиной княгини Турн-и-Таксис, туда пришел Талейран и повел странные речи.

Нужно сказать, что до тех пор личные отношения между Александром и Талейраном не отличались никакой особой теплотой. Александр прекрасно помнил, что именно Талейран нанес ему кровное оскорбление в 1804 г. знаменитым своим ответом на протест Александра по поводу нарушения неприкосновенности баденской территории и ареста герцога Энгиенского. Талейран тогда ответил в таком духе, что, мол, если бы Александр узнал, что убийцы его покойного отца, Павла I, находятся недалеко от русской границы, хотя бы на чужой территории, и если бы Александр велел их схватить, то Франция не протестовала бы. Александр знал, что это написано было тогда по прямому повелению Наполеона, но все-таки ведь именно Талейран составлял эту ноту с прозрачным намеком на участие Александра в убийстве отца. Царь был очень злопамятен, но и очень лицемерен, и Талейран не знал истинных чувств Александра.

И вот теперь, в Эрфурте, этот самый оскорбитель, этот самый князь Талейран без особых предисловий и объяснений говорит русскому царю: «Государь, для чего вы сюда приехали? Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ — цивилизован, французский же государь — не цивилизован; русский государь — цивилизован, а русский народ — не цивилизован; следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». Это была увертюра, за которой последовало еще несколько секретных свиданий. Конечно, с чисто внешней стороны дело представляется так, что Талейран, начиная подобную беседу, ставил на карту свою голову: он совершал, в самом точном смысле слова, государственную измену, и решительно ничто не гарантировало его от возможности быть на другой же день арестованным.

Стоило только Александру захотеть доказать Наполеону свои дружеские чувства откровенным рассказом о поступке Талейрана — Талейран погиб бы безнадежно. Но проницательность Талейрана и его способность точно оценивать чужую

натуру помогли ему и тут. Никогда он не оправдывал собой поверхностного ходячего афоризма о том, будто человек судит о других людях по себе. Если бы он судил других по себе, то никогда не решился бы так, без предварительного зондирования почвы и гарантий, совершить этот опасный шаг в Эрфурте. Но он твердо знал, что Александр ни за что его не выдаст, что с этой стороны риска нет, и не потому, что Александр будто бы вообще чист душой и безупречен,— напротив, Талейран был, например, убежден, что Александр человек очень фальшивый и что он принял участие в убийстве своего отца и сделал это для того, чтобы получить корону,— а просто потому, что у каждого свои особенности и методы действия и что предать на гибель доверившегося ему человека не есть прием, свойственный Александру, даже если царь сразу и не сообразит, что ему вообще выгодны сношения с князем Талейраном. Точно так же, например, Наполеон, хищнически, без тени права, закона, справедливости присваивая себе чуть не ежедневно и войной, и без всякой войны чужие страны и безжалостно грабя чужие народы, в то же время с гадливостью относится (Талейран знал это по грустному опыту) к малейшей попытке своих ближних принять от просителя «сладенькое» (les douceurs); брать открыто, по мнению Наполеона,— хорошо, а украдкой — постыдно. Словом, все дело в том, чтобы понять, какой кому свойственен жанр и какая у кого брезгливость.

Такова была всегда философия князя Талейрана, и она его не обманула и на этот раз.

Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную еще пока другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании великой империи. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своими земельными богатствами, дворцами, миллионами, титулом «высочества», царскими почестями, вдруг решился на тайную измену! Любопытно, что Александр в Эрфурте больше слушал Талейрана, чем говорил с ним сам. Он почти все время молчал. Царь, по-видимому, сначала не вполне исключал и возможность провокационной игры, зачем-либо затеянной Наполеоном при посредстве князя Талейрана. Но эти подозрения Александра скоро рассеялись.

Наполеон не подозревал ничего. Каждый день императоры были вместе, обменивались любезностями, демонстративно обнимались, производили вдвоем смотры и парады; каждое утро Наполеон интимно совещался с командором Почетного легиона Талейраном о том, как лучше укрепить франко-русский союз, и почти каждый вечер в уютной квартире княгини Турн-и-Таксис кавалер ордена Андрея Первозванного Талейран информировал Александра и вдохновлял его на борьбу с Наполеоном.

Рейн, Альпы, Пиренеи—вот завоевания Франции, остальное — завоевания императора: Франция в них не заинтересована (la France n'y tient pas), повторял он Александру. «Остальное» — это были: Испания, Португалия, Италия, Бельгия, Голландия, почти вся Германия, половина Австрии, Польши, часть Балканского полуострова, земли от Лиссабона до Варшавы, от Гамбурга до Ново-Базарского санджака, от Данцига до Неаполя и до Бриндизи. Талейран от имени Франции от всего этого отказывался; все это он как бы отдавал в награду тем, кто избавит Францию от Наполеона.

Александр видел вместе с тем, что Наполеон вполне доверяет своему бывшему министру, что вообще эта тогда многим непонятная отставка от министерства иностранных дел ничего фактически не изменила во влиянии Талейрана на французскую внешнюю политику. Именно через Талейрана, там же в Эрфурте, Наполеон довел впервые до сведения Александра, что собирается разводиться с Жозефиной и искать себе новую жену среди сестер Александра. Утром Талейран, по повелению Наполеона, составлял и окончательно редактировал проект конвенции между Россией и Францией, а вечером тот же Талейран выбивался из сил, доказывая колебавшемуся Александру, что не следует эту конвенцию подписывать, а нужно сначала выбросить такие-то и такие-то пункты. Царь так и поступил. Наполеон просто не понимал, чем объяснить это внезапное странное упрямство, обнаруженное Александром, и все жаловался Талейрану, приписывая это непонятное явление неблагоприятному для французов обороту, который принимала народная война в Испании; и Талейран почтительно при этом разводил руками и соболезновал его величеству.

Талейран пошел по новой дороге бесповоротно. Читателей своих мемуаров он хочет уверить, что имел при этом в виду единственно благо Франции в будущем. Вероятно, он думал о себе, а не о Франции. Но объективно это было решительно все равно: он предвидел неминуемую катастрофу в самые блестящие годы мировой империи, за шесть лет до ее окончательного крушения. Вернувшись из Эрфурта в Париж, он стал осторожно сближаться с Меттернихом, а спустя четыре месяца, как увидим, он завел уже и тайные переговоры с Меттернихом и продолжал путем конспиративных писем сношения с Александром.

6

Австрийский посол в Париже Меттерних сразу же учуял после Эрфурта, что Талейран повел какую-то новую и очень сложную игру. Да и сам Талейран в конце концов знал, что в этой новой игре ему без Австрии не обойтись.

«Надо быть в Париже, и быть здесь в продолжение довольно долгого времени, чтобы иметь возможность судить о действительной позиции г. Талейрана,— писал Меттерних министру Стадиону в Вену 24 сентября 1808 г.,— следует в Талейране отделять человека с нравственной точки зрения от человека политического. Он не был тем, что он есть, если бы он был морален... Он, с другой стороны, политик по преимуществу и, как политик, человек систем. Как таковой он может быть полезен или опасен; в данный момент он полезен». И дальше Меттерних очень проницательно угадывает, что налицо — две «системы» французской политики: во главе первой — император, а представителем второй является Талейран. «Система» Наполеона — дальнейшие завоевания, бесконечные войны, разрушение Европы; система Талейрана и министра полиции Фуше — стабилизация, упрочение достигнутых успехов, установление прочного мира. «Несомненно, Талейран более опасен, чем какой-либо неспособный министр, и он это нам доказал в течение двенадцати лет. Но то, что было опасностью, пока он способствовал разрушительной системе, становится полезным в нем как в главе оппозиции». Конечно, опасно ему очень довериться, но что же делать? «Люди, подобные Талейрану,— как режущие лезвия, играть с которыми опасно; но при больших язвах нужны большие средства лечения, и человек, которому поручено лечить, не должен бояться пользоваться тем инструментом, который режет лучше всего» [16].

Прошло несколько месяцев после Эрфурта, и для Меттерниха уже не подлежит никакому сомнению, что Талейран и Фуше окончательно отошли от «системы» Наполеона и что они уже учитывают неминуемое будущее падение мирового владычества. «Я их вижу, Талейрана и его друга Фуше, по-прежнему твердо решившихся воспользоваться случаем, если этот случай представится, но они недостаточно храбры, чтобы самим этот случай вызвать. Они находятся в положении пассажиров, видящих руль в руках сумасбродного кормчего, готового разбить корабль о скалы, которые он сам по своему капризу (de gaîté de cœur) ищет: они готовы овладеть рулем в тот самый момент, когда их спасение окажется под еще большей угрозой, чем теперь, и когда первое столкновение корабля опрокинет самого рулевого»,— так доносил Меттерних в Вену 17 января 1809 г. [17]

Корреспонденция эта была, конечно, строго законспирирована, и Талейран обозначался самыми разнообразными именами. Он передавал, что́ нужно члену русского посольства Нессельроде, а тот уже писал Румянцеву или Сперанскому. Дело шло о жизни и смерти Талейрана, и необходима была в письмах самая крайняя осторожность. Сношения с Меттернихом

были еще опаснее: готовилось новое столкновение с Австрией, которая решила воспользоваться грозно бушевавшей в Испании народной войной против Наполеона.

Позиция Талейрана не могла долго укрываться от министра полиции Фуше. Он не знал, конечно, всего об изменнических сношениях Талейрана с Россией и с Австрией, но он знал о том, как отрицательно отзывается Талейран о безумном завоевании Пиренейского полуострова, об опасностях наполеоновского безудержного произвола во внешней политике и т. д. И вот, к изумлению всего великосветского Парижа, разнеслась весть о тесном сближении, чуть ли не дружбе между обоими государственными людьми. Действительно, Фуше стал убеждаться в правильности предвидений Талейрана и решил, по-видимому, не бороться с ним, а занять позицию внимательного и как бы дружественного нейтралитета.

Но Талейран еще пока медлил вступить в тайные сношения с Меттернихом. Он довольствовался упрочением связей с Россией.

Между ним и советником русского посольства в Париже Нессельроде происходили секретные беседы, о которых Нессельроде и сообщал регулярно в Петербург.

Талейран обозначался в секретной переписке между Нессельроде и Петербургом несколькими «псевдонимами»: «мой кузен Анри»; «Та»; «Анна Ивановна»; «наш книгопродавец»; «красавец Леандр»; «юрисконсульт». Так уведомил Нессельроде графа М. М. Сперанского, которому он часто писал из Парижа, считая его адрес более безопасным. чем непосредственный адрес канцлера Румянцева [18].

7

Войдя в дружбу с министром полиции Фуше и частично приобщив и его к своей изменнической деятельности, Талейран, казалось бы, обеспечил себя от страшного разоблачения и даже от опасных слухов.

Но у Наполеона было несколько полиций: одна во главе с Фуше, следившая за всем населением империи, и другая, еще более тайная, специально следившая за самим Фуше. И был еще Лавалетт, главный директор почт, который следил за этой другой полицией, следившей за Фуше.

Таким путем император в середине января 1809 г., в разгаре кровопролитнейшей войны с испанскими «мятежниками» (т. е. с испанскими крестьянами и ремесленниками, решившими героически защищать от наполеоновской агрессии свою землю), в глубине Пиренейского полуострова получил разом несколько известий, сводившихся к двум следующим основ-

ным данным: во-первых, Австрия с лихорадочной поспешностью вооружается, сильно надеясь на трудное положение, в которое попал Наполеон в Испании; во-вторых, Талейран и Фуше о чем-то подозрительно сговариваются, причем Талейран недружелюбно отзывается о политике императора. Сейчас же Наполеон передал командование армиями маршалам, а сам помчался в Париж, почти не делая остановок. Едва приехав, он приказал главным сановникам и некоторым министрам явиться во дворец.

Тут-то 28 января 1809 г. и произошла знаменитая, сотни раз приводившаяся в исторической и мемуарной литературе сцена, о которой некоторые присутствовавшие не могли до гробовой доски вспоминать без содрогания. Император в буквальном смысле слова с кулаками набросился на Талейрана. «Вы вор, мерзавец, бесчестный человек! — бешено кричал он. — Вы не верите в бога, вы всю вашу жизнь нарушали все ваши обязанности, вы всех обманывали, всех предавали, для вас нет ничего святого, вы бы продали вашего родного отца! Я вас осыпал благодеяниями, а между тем вы на все против меня способны! Вот уже десять месяцев, только потому, что вы ложно предполагаете, будто мои дела в Испании идут плохо, вы имеете бесстыдство говорить всякому, кто хочет слушать, что вы всегда порицали мое предприятие относительно этого королевства, тогда как это именно вы подали мне первую мысль о нем и упорно меня подталкивали!.. А этот человек, этот несчастный? Кто меня уведомил о его местопребывании? Кто подстрекал меня сурово расправиться с ним? Каковы же ваши проекты? Чего вы хотите? На что вы надеетесь? Посмейте мне это сказать! Ну, посмейте! Вы заслужили, чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это, но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке Карусельской площади? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы — грязь в шелковых чулках! Грязь! Грязь!..»

Его высочество светлейший князь и владетельный герцог Беневентский, великий камергер императорского двора, вице-электор Французской империи, командор Почетного легиона, князь Талейран-Перигор стоял неподвижно, совершенно спокойно, почтительно и внимательно слушая все, что кричал ему разъяренный император. Присутствовавшие сановники дрожали, почти не смея глядеть на Талейрана, но он, единственный в комнате, казалось, сохранял полнейшую безмятежность и ясность духа. Было очевидно, что Наполеон уже что-то проведал, но во всяком случае не знает ничего ни об эрфуртских похождениях своего бывшего министра, ни о том, что перед ним стоит «Анна Ивановна», шпионящая и теперь,

после Эрфурта, в пользу и за счет императора Александра I. Значит, непосредственной опасности расстрела нет. А больше пока Талейрану ничего не требовалось.

Весь двор волновался, ломая себе голову над догадками, как будет вести себя Талейран после всех этих страшных и публичных оскорблений, которых никогда не выслушивал от императора даже ни один из его бесчисленных камер-лакеев, форейторов и кучеров, после этого гневного обвинения Талейрана в фактическом убийстве герцога Энгиенского, наконец, после этой прямой угрозы повешением.

Это любопытство было удовлетворено на другой же день, 29 января. При дворе был очередной большой раут, и съехавшиеся сановники и царедворцы с изумлением увидели в тронном зале князя Талейрана в его роскошном красном бархатном с золотом костюме, во всех орденских звездах и кавалерских лентах. Он стоял на своем официальном, по церемониалу назначенном месте, между самыми высшими чинами империи, в двух шагах от трона. Наполеон говорил с его соседями, а Талейрану не ответил на низкий поклон и не обратил на него никакого внимания. Но Талейран этого старался не заметить, величаво стоял и спокойно молчал весь вечер...

Царедворцы удивлялись этому спокойствию. Они упустили из виду, что если чужая душа — потемки, то душа Талейрана — совершенно непроницаемая мгла. Наполеон со временем тоже в этом убедился, но слишком для себя поздно.

Талейран, молча вытерпевший позорнейшую пытку публичного неслыханного надругательства и неукоснительно продолжавший исполнять свои придворные обязанности, на самом деле был так смертельно оскорблен, что решился на новый шаг, не менее опасный, чем тот, который он совершил в Эрфурте. Конечно, ведя свою линию и начав уже ставить ставку в Эрфурте на низвержение империи в более или менее далеком будущем, Талейран логически непременно был бы со временем приведен и к расширению, так сказать, диапазона своей измены, т. е. к тайным сношениям со второй (после России) еще пока оставшейся великой державой европейского континента — с Австрией. Но жгучая обида всенародного позора побудила его, вопреки всякой осторожности, круто ускорить дело. В первый раз этот человек, так не любивший риска, так умевший обуздывать свои чувства, не выдержал. В воскресенье 29 января 1809 г. он, как сказано, явился во дворец и выполнял там невозмутимо, под удивленными и презрительными взглядами царедворцев, свои придворные функции. Но никто не знал, что за несколько часов до появления своего во дворце, в тот же день, 29 января, он побывал в другом месте: он повидался с австрийским послом.

Вот что доносил об этом знаменательном факте Меттерних в Вену: «Х. (Меттерних обозначает Талейрана „иксом“ — *Е. Т.*) снял передо мной всякую маску. Он, мне кажется, очень решился не ждать... партию. Он мне сказал позавчера, что момент наступил, что он считает своим долгом вступить в прямые сношения с Австрией. Он мне сказал, что в свое время он отказался от предложений, которые ему сделал граф Людвиг Кобенцль, но что в данный момент он бы их принял. Он мотивировал первый свой отказ местом, которое он тогда занимал. „Теперь я свободен, и у нас дело — общее. Я говорю вам об этом с тем меньшей сдержанностью, что я думаю, что у вас хотят мне оказать услугу“. Он мне намекнул, что нуждается в нескольких сотнях тысяч франков, так как император (Наполеон) подорвал его состояние, поручив ему содержание испанских принцев... Я ему ответил, что император (Франц I) не прочь доказать ему свою признательность, если он желает послужить общему делу. Он ответил, что это дело — и его дело, что ему остается только либо восторжествовать вместе с этим делом, либо с ним же погибнуть. „Удивлены ли вы предложением, которое я вам делаю?“ — спросил он у меня „Нет,— сказал я ему,— я смотрю на это как на истинный залог, данный для общего дела“» [19].

Весь Талейран тут перед нами. Он публично оскорблен, смешан с грязью, опозорен, он полон жажды мести до того, что, пренебрегая всякой осторожностью, когда за ним следит императорская тайная полиция, отваживается искать где-то свидания с Меттернихом,— и все-таки не может даже и тут отрешиться от своего всегдашнего корыстолюбия: он и «мстит» Наполеону государственной изменой, и тут же просит, на бедность, у австрийцев «несколько сот тысяч франков». Он не только *предает* императора, но и *продает* его за наличный расчет, соединяя, по своему обыкновению, приятное с полезным.

Итак, у Талейрана завелось отныне с Австрией «общее дело», une cause commune,— низвержение Наполеона. Александр в Эрфурте упорно молчал. Меттерниху, представителю державы, готовой спустя несколько месяцев воевать против Наполеона, незачем было проявлять такую осторожность в разговоре с новоявленным другом и сотрудником. Нечего и говорить, что Талейрану с полной готовностью дали просимые им за его измену деньги. Министр Стадион сообщил из Вены Меттерниху: «Император приказал мне дать вам все полномочия (carte blanche) по поводу Х., и вы уполномочены обеспечить за ним все, что он может разумно пожелать, как только вы убедитесь, что он может и хочет оказать нам действительно важные услуги». Австрийская служба Талейрана началась немедленно.

7 марта 1809 г. Меттерних сообщил в Вену министру Стадиону: «Мои сношения с X. очень активны. По большей части это именно через его посредство я узнаю постоянно то, что может нас интересовать. Я очень прошу ваше превосходительство благоволить дать сумму, которую я просил. Я достал из кабинета императора (Наполеона — *Е. Т.*) два мемуара огромного интереса о нынешнем положении». Так как в мае 1809 г. уже открылись военные действия между Францией и Австрией, то Талейран прежде всего был ценен именно военно-шпионскими сведениями. «Как бы ни велика казалась эта сумма (просимая Талейраном — *Е. Т.*), она гораздо ниже обычных жертв, а результаты его найма (les résultats de son emploi) могут быть громадны... X. только что предупредил меня, что генерал Удино получил приказ двинуться на Аугсбург и Ингольштадт. X. полагает, что нужно было немедленно воспользоваться как предлогом для мобилизации (mise sur le pied de guerre) этим движением, которое сделает Удино». Таким образом, Талейран не только сообщает о секретных распоряжениях Наполеона по направлению армейских корпусов, но даже дает советы, как австрийцы могут целесообразно воспользоваться сообщаемыми им сведениями. И Меттерних и австрийский император Франц очень озабочены, конечно, тем, как бы продолжать получать во время самой войны сообщения от своего ценного нового друга, и решают, что шпионским центром и передаточным пунктом на время войны должен быть город Франкфурт.

Когда весной 1809 г. началась давно ожидавшаяся война Наполеона с Австрией, многие, и в том числе Талейран, предвидели, что на этот раз борьба будет гораздо более тяжелой, чем в аустерлицкую кампанию 1805 г. По догадке Эмиля Дара, когда Меттерних еще в январе 1809 г. в донесении министру Стадиону в Вену жаловался, что хотя Талейран и его «друг» Фуше решили использовать удобный «случай», если он представится, но «не обладают достаточно активной храбростью, чтобы вызвать этот случай», то здесь под «случаем» нужно разуметь убийство императора. Эмиль Дар вспоминает по этому поводу «английских агентов», организовавших покушение на Наполеона при помощи «адской машины» в 1800 г. [20] Но Дар безусловно ошибается. Ни в Талейране, ни в Фуше не было и тени того фанатизма и бесстрашия, какие были у тогдашних заговорщиков, а у Меттерниха не было той решимости, какая нашлась в 1800 г. у Вильяма Питта и его окружения. Конечно, и Меттерних, и Талейран, и Фуше мечтали весной 1809 г. о смерти Наполеона, но они надеялись не на себя и не на заговорщиков, а на меткость австрийских стрелков и на точную стрельбу австрийской артиллерии в предстоявшей войне. И ведь эта их на-

дежда чуть-чуть не оправдалась: уже в первой стадии войны, в битве под Регенсбургом, император был ранен. Но, осведомившись, что рана оказалась не смертельной, Талейран немедленно садится за письменный стол (за которым он тогда же изготовлял для Вены свои шпионские донесения о движении французских войск) и пишет Наполеону самое теплое поздравление: «Государь! Ваша слава составляет нашу гордость, но ваша жизнь дает нам самое наше существование (mais votre vie fait notre existence!)».

Наполеон воевал с Австрией; Россия, в качестве союзницы французского императора, формально тоже считалась воюющей против Австрии. Положение для тайного агента одновременно и Австрии и России и явного великого камергера императора Наполеона оказалось нелегким. Требовалась усиленная осторожность, чтобы как-нибудь не запутаться при выполнении этих трех крайне разнохарактерных функций. Очень хлопотлив вообще был для Талейрана этот 1809 год. Нужно было и бывать во дворце, делая все усилия, чтобы склонить Наполеона сменить гнев на милость, и давать секретные сведения австрийцам, и не прерывать сношений с Нессельроде, хотя Россия формально оказалась в войне с Австрией. Ведь Нессельроде не смел (не имея на то полномочий от царя) объяснить Талейрану, что Россия фактически вовсе не воюет с Австрией.

Новые сношения с Австрией ничуть не заставили Талейрана забыть о самом для него главном: о секретных передачах в Россию. Среди собственноручных писем Талейрана к императору Александру, имеющихся в нашем Архиве внешней политики, очень характерно одно, писанное 10 февраля 1809 г., т. е. как раз спустя две недели после ужасной сцены, которую император устроил своему обер-камергеру в Тюильри 28 января. Талейран благодарит Александра за его милости, за всемогущую помощь царя в деле брака племянника Талейрана (с дочерью и богатой наследницей герцогини Курляндской), благодарит и за милости к нему лично. Какого рода были эти милости («bontés»), это мы знаем. Но, кроме этих любезностей и благодарностей, в письме Талейрана содержится и еще кое-что, больше напоминающее некую криптограмму, чем обыкновенную корреспонденцию. Эта криптограмма, впрочем, не весьма загадочна по существу: Талейран рекомендует царю наиболее целесообразные и безопасные этапы для дальнейшей секретной переписки. Очевидно, царь сообщил, что письма должно вручать в Петербурге Сперанскому, который и будет передавать их Александру. А Талейран, со своей стороны, уже запасся верным человеком, некиим Дюпоном, который и будет «ловко следить» за этой секретной корреспонденцией. Должно лишь Сперанскому войти в непосредственные сношения с г. Дюпоном. Кто такой

т. Дюпон — не сказано. И Талейран очень благодарит государя за его «благородное и мудрое постоянство» в намерении вести с Талейраном переписку [21].

«Кузен Анри» выдал весной 1810 г. графу Нессельроде ряд важных деталей, касающихся нового брака Наполеона и ряда соображений, с этим событием связанных. Он получил за это 3000 франков. Работа была сдельная, поштучная. И уже через два дня после получения трех тысяч «кузеном Анри», «Анна Ивановна» потребовала еще четыре тысячи за новые сообщения. Ввиду неудержимого роста аппетитов «Анны Ивановны» Нессельроде просит прислать ему сразу от 30 до 40 тысяч франков [22].

Сообщения Талейрана вначале были очень ценны. Он уведомлял о том, что состав французской армии стал хуже, чем был прежде; указывал на необходимость (вопреки советам Наполеона) поскорее кончать войну с Турцией; излагал сведения о ближайших планах Наполеона, доходивших до него. Взяв установку на будущий неминуемый разрыв Наполеона с Россией, Талейран выражал в своих секретных разговорах с Нессельроде свое полное удовлетворение мероприятиями русского правительства, направленными к укреплению русских финансов. «Кузен Анри очень этим удовлетворен»,— сообщает Нессельроде в Петербург: «Его всегдашний совет состоит в том, чтобы мы воспользовались этим моментом спокойствия и стали сильными... Он хочет, чтобы я успокоил (не сказано кого — *Е. Т.*) насчет Австрии; в настоящий момент он с этой стороны не опасается ничего, и он убежден, что князь Меттерних покинет Париж, не взяв на себя опасных для России обязательств». Талейран внушал русской дипломатии, что «тесное единение венского и петербургского двора является средством внушить Франции более миролюбивые взгляды» и что подобное «единение» все еще возможно, невзирая на брак Наполеона с Марией-Луизой [23].

В бумагах нашего Архива внешней политики сохранилось любопытное собственноручное письмо Талейрана к Румянцеву от 9 мая 1809 г. Н. П. Румянцев, русский министр иностранных дел, с октября 1808 г. до 3/15 февраля 1809 г. прожил в Париже и здесь сблизился с Талейраном.

Соглядатайствуя в этот момент за счет и в пользу Австрии, Талейран в «легальном» собственноручном и подписанном письме не мог, конечно, писать иначе, чем пишет. Да он и не знал, известны ли Румянцеву все его секреты. Он в восторге от побед великого императора над австрийцами, он всегда этих чудес ждал и т. п. Но что поделаешь, когда человек уже не молод, невольно «дрожишь», становишься немного трусом (un peu trembleur). Это намек на очень затруднительное положение Наполеона, ввязавшегося на этот раз, решительно против своего

желания, в новую и очень нелегкую войну с Австрией. Льстит Талейран русскому вельможе самым бесстыдным образом. Оказывается, «ежедневные мирные удовольствия» Талейрана и его друзей в Париже состоят в том, чтобы беседовать о графе Румянцеве: «Часто говорят, что вы соединяете французскую любезность с английской глубиной, итальянскую ловкость с русской твердостью». Все письмо в таком духе [24]. Вельможа был в силе, и Талейран решил уж лучше пересластить на всякий случай, полагая, что избыток лести люди прощают очень охотно. Он всегда этому правилу следовал и редко оставался в убытке.

А звезда Николая Петровича Румянцева сияла в это время очень ярко. После долгих и нелегких переговоров со Швецией Румянцеву удалось подписать 5 сентября 1809 г. мирный договор, по которому Россия получала всю Финляндию до реки Торнео. А через два дня, 7 сентября, Александр сделал Румянцева канцлером Российской империи.

Талейран восторгался Румянцевым, и далеко не все в его восхищении объясняется только желанием подольститься к сильному вельможе.

Дело в том, что Талейран считал этот заключенный Румянцевым Фридрихсгамский мир именно проявлением умеренности, расчета на дальнейшие дружеские отношения между победителем и побежденным, наконец, косвенным проявлением готовности со временем пойти и на мир с Англией, словом, проявлением всех тех свойств, которых он не усматривал ни в одном из мирных трактатов, которые заключал Наполеон и до и после отставки самого Талейрана от должности министра иностранных дел. До отставки Талейрана, правда сам изготовлял подобные жестокие трактаты, делая это против своего убеждения, по воле своего господина; после отставки, в опале, он хвалился, что не захотел, наконец, и дальше быть «палачом Европы». В сравнительно «либеральной» мягкости русского канцлера после победы России над шведами Талейран поэтому усмотрел верх государственной мудрости.

Граф Румянцев послал Талейрану свой мемуар, касающийся мира России со Швецией и присоединения Финляндии.

Талейран ответил новым письмом, полным и лести и некоторых характерных для его политической позиции в этот момент намеков. Прежде всего он поздравляет русского канцлера и называет его «великим государственным человеком»: «Вы обеспечиваете за вашим государем и вашей страной большую провинцию, очень важную для вашей столицы. Вы вознаграждаете тех, кто вам ее уступает, за жертву, приносимую ими, очень реальной выгодой, весьма способной польстить чувствам жителей городов», т. е. хоть и самой малочисленной и не лучшей части населения, но именно той, «которая одна только

говорит, которую слушают и (высказывания — *Е. Т.*) которой называют общественным мнением». Талейран в либеральных политических и экономических мероприятиях русской политики относительно Финляндии и Швеции усматривает также кое-что «благосклонное» относительно английской торговли. В нешифрованном письме к русскому сановнику, и притом приверженцу франко-русского союза, Талейран не может выдать свою всегдашнюю мысль о вреде континентальной блокады для Франции, России, Европы вообще и для прекращения бесконечной войны в частности. Поэтому свою тайную мысль он излагает следующим, истинно дипломатическим стилем: «Вы также оказываете маленькую ласку англичанам. Она показывает, что ваша верность континентальной системе не исключает некоторого рода примирительной благосклонности. Этим самым вы приоткрываете у других держав путь к более либеральным идеям, и вы указываете, что ваш кабинет с удовольствием усмотрел бы, что на этот путь вновь вступают». Это собственноручное письмо не издано, а русский перевод не передает всех оттенков нарочно завуалированной многозначительной осторожной фразы Талейрана. Даем поэтому также в подлиннике эту фразу, сохраняя грамматические ошибки[25]. Истый, природный аристократ старого режима, Талейран пренебрегал правилами грамматики, обязательным для разночинцев, les roturiers, и его собственноручные письма на французском языке полны ошибок, хотя никакого другого языка, кроме французского, он не знал и ни одной не французской строки от него не осталось.

Талейран, впрочем, беспристрастно ставит французскую прозу Румянцева выше своей собственной: «Все это высшая и очень искусная политика, и вы изложили ее sic: vous l'avez rédigée на нашем языке, как самый точный публицист, как самый изящный и самый корректный член французской академии. Мое самолюбие могло бы заставить меня почувствовать поэтому ревность, но моя дружба к вам, которая гораздо сильнее, живо этим тронута»[26].

Талейран, соблюдая всю осторожность и все нужные оговорки, как бы подталкивал канцлера Румянцева к несоблюдению континентальной блокады и к сближению с Англией. Это был пробный шар. Но не исполнились еще «исторические сроки». Румянцев не подхватил намека.

Предавая Наполеона в пользу России, Талейран в то же время, заведя тайные сношения с Австрией, предавал, при случае, и Россию в пользу Австрии, чего не знал Нессельроде, потому что Талейран маскировал это настойчивыми советами о необходимом сближении России с Австрией. Нессельроде не знал, что Талейран ведет не двойную, а тройную игру: «Анри хотел бы, чтобы мы в этой негоциации проявили некоторое вни-

мание к Австрии, а именно в соглашениях, касающихся сербов, чтобы не затруднить впоследствии всякую возможность сговориться с ней (Австрией — *Е. Т.*)»[27].

Меттерних, как хорошо было известно Талейрану, вовсе не желал разгрома (la destruction) России, считая подобное событие опасным для Австрии[28]. И это настроение Меттерниха облегчало Талейрану его сложную и опасную тайную игру при начинавшихся франко-русских неполадках.

Война Наполеона с Австрией окончилась.

Снова разгромив Австрию в 1809 г., вынудив ее в Шенбрунне к новому позорному и убийственному миру, женившись сейчас же после этого на дочери австрийского императора, владычествуя прямо или косвенно, через своих наместников и вассалов, над всей Европой, Наполеон принялся уже не войнами, а простыми декретами присоединять новые и новые страны к своей колоссальной державе.

И с каждым годом, приносившим новые и новые проявления совсем уж безудержной агрессии завоевателя, Талейран все более и более убеждался в том, что дело идет к новому грандиознейшему побоищу и непременно к конечному крушению неестественно колоссального конгломерата стран и народов, созданного насилием и державшегося насилием.

8

Потянулись годы, когда, отстраненный и от активного участия в делах и от близкого общения с Наполеоном, Талейран, вельможа и миллионер, владелец дворца в Париже и замка в Валансэ, вел жизнь, полную комфорта и наслаждений, но лишенную того захватывающего интереса, который ему давало его прежнее положение. Наполеон внешне смилостивился, снял опалу, но доверия не вернул. Талейран появлялся в полном параде и в тронном зале, и в бальных залах, и в приемных гостиных в Тюильри, но к рабочим кабинетам императора его уже не подпускали. Его величество на больших выходах кивал милостиво головой, но помалкивал и шагал своим солдатским шагом мимо.

В этих затруднительных для получения секретной информации условиях очень помогал Талейрану его сообщник, министр полиции Фуше.

Фуше знал о сношениях Талейрана, и именно от Фуше шли в высшей степени интересовавшие Талейрана и его русских корреспондентов сведения о внутреннем брожении во Французской империи. В тайной переписке Нессельроде Фуше обозначался конспиративными условными словами: «*Наташа*», «*президент*» и «*Бержьен*». А внутреннее брожение во Франции

обозначалось словами: «английское земледелие» или «любовные шашни Бутягина» (фамилия секретаря русского посольства в Париже).

Но вот летом 1810 г. случилась неприятная заминка: «Мне дали надежду на новые произведения *по английскому земледелию* (курсив Е. Т.), но не сдержали слово»,— жалуется Нессельроде 6/18 июня 1810 г. И немудрено: главный источник сведений о внутренних делах Французской империи (об «английском земледелии») внезапно иссяк, Наполеон удалил 3/15 июня 1810 г. Фуше в отставку: «Уход президента очень мне мешает, именно от него наш юрисконсульт (Талейран — *Е. Т.*) почерпал сведения, которые я вам пересылал...». «Я предвижу, что на моей корреспонденции это отразится»[29]. Так писал Нессельроде в Петербург 6/18 июня 1810 г.

Внезапная отставка Фуше была тяжким ударом для Талейрана. Информация Талейрана суживалась. Его тайные сношения с Александром продолжались, но становились все опаснее и казались осужденными на политическое бесплодие. Очень уж могуществен был по-прежнему Наполеон, несмотря на все предсказания Талейрана...

Как и предчувствовал Нессельроде, уход Фуше в самом деле тотчас же отразился на качестве и количестве секретных сведений, доставлявшихся Талейраном в русское посольство. Трудно работалось с тех пор, как ушла «Наташа». Да и вообще как-то неспокойно без нее стало жить. Новый министр полиции генерал Савари (герцог Ровиго) был верным военным служакой императора Наполеона, готовым без малейших колебаний перегрызть горло любому изменнику, невзирая ни на титулы, ни на звезды, ни на ленты. При нем рекомендовалось поберечься, не очень любознательно расспрашивать великосветских знакомых в парижских салонах, не слишком тепло и не очень часто встречаться с советником русского посольства графом Нессельроде.

Сообщения Талейрана становились решительно тусклы. Так длилось несколько месяцев.

Может быть, поэтому Александр как будто несколько охладел — не к Талейрану, к которому никогда никаких симпатий не обнаруживал, а просто охладел временно в самом интересе своем к его извещениям и советам. А тут еще Талейран написал царю (15 сентября 1810 г.) письмо, в котором в самых достойных и красноречивых выражениях, редкой у него изящнейшей прозой, достойной пера Шатобриана или Жан-Жака Руссо, с теплым оттенком сердечности и дружеской доверчивости сообщал Александру, что он, Талейран, в последнее время несколько поиздержался, и что очень бы это удачная мысль была, если бы царь дал, например, своему верному тайному коррес-

нонденту полтора миллиона франков золотом. Далее следовала уже наперед любезно наведенная Талейраном на всякий случай деловая справка, как технически удобнее всего прислать эти деньги, через какого именно банкира во Франкфурте, о чем генеральному русскому консулу в Париже Лабенскому написать, и что именно прибавить, чтобы Лабенский не вздумал сомневаться, и т. д.

Но тут нашла коса на камень. Александра I особенно раздражало, когда кто-нибудь слишком уж спекулировал на его наивности. На этом ведь сорвалась, по слухам, впоследствии и карьера баронессы Крюднер, а потом и других чудотворцев, через посредство которых святой дух господний повадился внушать царю озарения свыше насчет каких-то кредитов по кассе Опекунского совета. Талейрану все дело испортила его ссылка в начале письма на эрфуртские заслуги и деликатный намек, что именно оттого-то и пошатнулись его финансовые дела, что со времени Эрфурта Наполеон на него сердится. Александр ответил любезным по форме, но ехидным по содержанию отказом: царь ему денег этих, к сожалению, не может и не хочет дать именно затем, чтобы не подвергнуть князя Талейрана подозрениям и как-нибудь не скомпрометировать его. Талейран с достоинством выждал некоторое время, а потом стал выпрашивать через Нессельроде русские торговые лицензии и другие более скромные подачки.

Но вот стали слышаться, пока еще глухие, раскаты грома и изредка мелькать зарницы далеких молний. Уже во второй половине 1810 г. с каждым месяцем все заметнее становилось охлаждение в отношениях обоих тильзитских союзников. Декабрьский указ о новом русском тарифе, резко нарушившем, по мнению Наполеона, экономические интересы Франции и прежде всего ее экспортной торговли, очень раздражил французского императора. Новые захваты Наполеона на севере Германии превращались уже в довольно неприкрытую угрозу по отношению к России. До Петербурга доходили зловещие слухи.

В декабре 1810 г. Талейран доставил русской дипломатии ряд секретных сведений, подтвердивших наихудшие опасения петербургского двора. Наполеон готовит восстановление самостоятельной Польши. Он отнимет у Пруссии Силезию и отдаст ее саксонскому королю, чтобы вознаградить его за потерю герцогства Варшавского, которое у него будет отнято. У Австрии Наполеон отнимет (тоже в пользу Польши) Галицию, а чтобы вознаградить своего вассала (и тестя) австрийского императора, он отдаст Австрии города Триест и Фиуме, а также Далмацию «и все побережье». Одновременно с выработкой подобных планов последовал новый набор (в 120 000 человек). «Вот каковы должны быть идеи императора в Фонтенебло... как они

мне сообщены кузеном Анри»,— пишет Нессельроде в Петербург 5/17 декабря 1810 г.[30] И снова и снова в одном донесении Нессельроде за другим звучит тот же мотив: «кузен Анри» настойчиво советует России как можно скорее заключить мир с Турцией[31]. Он предостерегает от слишком больших надежд на затруднения Наполеона в Испании, так как считает ресурсы императора громадными[32]. Он не верит также в какую бы то ни было возможность мира Наполеона с Англией[33].

На учащающиеся раздражительные жалобы Наполеона по поводу плохого соблюдения со стороны России правил континентальной блокады Талейран советует русским отвечать мнимой всенародно изъявляемой покорностью и в то же время продолжать тайком нарушать блокаду: «В деле о колониальных продуктах Анри советует производить много шума — и мало исполнять по существу. Вообще платить большой лживостью (payer d'une grande fausseté) тем, кто пускает в ход ту же монету относительно нас»[34]. Одновременно Талейран ставил в известность Нессельроде о тех секретных мерах, которые пускал в ход французский император с целью воспрепятствовать заключению мира между Россией и Турцией.

Когда наметились (а потом и начались) долгие, тягучие мирные переговоры между Россией и Турцией в Бухаресте, Талейран, ведя свою *тройную* игру, с одной стороны, советует, как всегда, России поскорее соглашаться на мир, чтобы иметь возможность дать отпор всеми силами Наполеону, а с другой стороны, столь же «дружески» дает русским совет не настаивать на уступке Турцией Молдавии и Валахии в пользу России, но «согласиться» на уступку этих обеих провинций в пользу... Австрии, которая вовсе и не воевала с Турцией. Что же за это получит Россия? А вот именно дружбу Австрии для последующей успешной борьбы обеих империй против Наполеона[35]. И безмятежный Карл Васильевич Нессельроде пресерьезно излагает все эти дружеские советы «кузена Анри», и ему невдомек, что «кузен», продающий ему Наполеона, одновременно продает его самого Меттерниху, чем и удваивает свою заработную плату. Но в *одном* Талейран говорит несомненную правду: он не перестает предварять, что Наполеон деятельно готовится к нападению на Россию. Талейран уже в марте 1811 г. предсказывает начало войны в близком будущем и даже уточняет дату: война, по его мнению, начнется как раз через год, к 1 апреля 1812 г. Он советует уже теперь, в марте 1811 г., завести соответствующие тайные переговоры с Англией[36]. Английские, внезапно вспыхнувшие, симпатии Талейрана совпадают со следующими обстоятельствами: Наполеон начал (с целью улучшения финансов Франции) выдавать некоторым лицам лицензии на торговлю с Англией,— и Талейран советует русским

делать то же самое, раз уж сам Наполеон делает отступления от правил континентальной блокады. И за свой мудрый совет «кузен Анри» просит: нельзя ли и ему лично получить подобные лицензии, и даже так, чтобы поскорее, ибо «было бы существенно для его интересов, чтобы он мог получить их прежде всех» [37].

Приготовления к войне идут во Франции уже полным ходом. Соответствующие меры принимаются и в России.

Сообщения и советы Талейрана стали снова приобретать интерес для его русских корреспондентов. Но в это время, в 1811 г. и в первые месяцы 1812 г., в Париже действовал уже полковник Александр Иванович Чернышев, прекрасно организовавший военный шпионаж. Он узнавал такое, что Талейрану и присниться не могло.

Талейран не советовал ни в коем случае России начинать войну первой, но не переставал настойчиво указывать на необходимость крепить оборону, так как война все равно неизбежна весной 1812 г. А до этой поры уже разрешить себе широкую торговлю, не очень считаясь с континентальной блокадой. «Таково мнение нашего юрисконсульта»,— пишет Нессельроде [38].

В конце марта (нов. ст.) 1812 г. русский посол князь Куракин, уже вполне убежденный в неизбежности войны Наполеона с Россией, пишет графу Румянцеву о тревожных слухах. Министр иностранных дел, миролюбивый герцог Бассано уходит будто бы в отставку, а на его место прочат Талейрана, князя Беневентского, который во всяком случае будет сопровождать императора в предстоящем походе. «Что касается князя Беневентского, то несмотря на благодарность, которую он выражает относительно нашего августейшего повелителя и которой он обязан за покровительство, его импер. величеством оказанное ему, особенно по случаю женитьбы его племянника, и несмотря на любовь к миру, которую он столько раз выставлял на показ,— он все-таки слишком царедворец и слишком стремится снова войти в милость к императору Наполеону, чтобы можно было рассчитывать на какую-либо твердость и постоянство в отстаивании своих мнений и на то, что он не будет готов пожертвовать ими для видов императора». Куракин тем более боится этой эволюции Талейрана, что князь как раз находится в затруднительном положении, продал свой дом, уже обращался к императору Наполеону за помощью и воспользуется случаем, чтобы получить что-нибудь. Тем более, добавляет князь Куракин, что у Талейрана уже нет теперь надежд «на новые столь обильные *урожаи*» (nouvelles récoltes aussi abondantes), какие он трудолюбиво собирал прежде по случаю разных возмещений и компенсаций в германских странах [39]. В это время уже денежные подачки из России, по-видимому, прекратились. Никаких

назначений на самом деле Талейран в этот момент не ждал и ждать не мог. Сам ли он пускал эти слухи с указанием, что он, с одной стороны, поиздержался, а, с другой стороны, еще может быть полезен царю,— этого мы не знаем. Во всяком случае слух о том, что император берет Талейрана с собой, получил иное объяснение.

Это объяснение мы находим в позднейшем донесении князя Александра Куракина канцлеру графу Румянцеву от 23 марта (4 апреля) 1812 г. Куракин берет назад прежнее объяснение, а совсем иное дает на основании новых и вполне, по его мнению, достоверных данных. Оказывается, что Талейран нисколько не вошел вновь в милость, напротив, Наполеон хочет взять его с собой только затем, «чтобы лично наблюдать за человеком, которому он не доверяет и которого считает слишком опасным, чтобы оставить его во Франции, когда самого его там не будет, и в такое критическое для него время». Куракин говорит о неспокойном настроении и напряженном положении, о недовольстве в империи Наполеона и прибавляет: «Никого во Франции ему не приходится так опасаться, как Талейрана и Фуше. Оба недовольны им, оба глубоко осведомлены в истинном положении Франции и оба знают партии, которые — в молчаливом брожении... Он тем менее желает оставить их вместе во время своего отсутствия, что между ними с 1809 г. водворилось полное согласие...» Куракин вместе с тем определенно подтверждает достоверность известия о том, что Наполеон решил взять Талейрана с собой в поход, хотя сам князь Талейран крайне этим недоволен и даже заявил, что во время отсутствия Наполеона он не будет проживать в Париже. Но и эта попытка устроить так, чтобы его оставили в покое и не тащили в русский поход, показалась недостаточной [40].

В конце концов Талейрану удалось отделаться: Наполеон забыл о нем за множеством дел и оставил его во Франции. Много раз впоследствии вспоминал он об этой своей рассеянности...

В России вплоть до начала войны очень интересовались вопросом о том, поедет ли Талейран с Наполеоном. Действительно ли император намерен назначить его своим уполномоченным в Варшаву? Лишь накануне вторжения Наполеона последовало решение вопроса. «В назначении князя Беневентского воспоследовала весьма для него неприятная и мало ожиданная перемена и как бы от подвигов дюка Бассано, которому присутствие его при императоре было бы весьма тяжело. Наполеон, прощаясь с князем Беневентским, ничего ему не приказал о его приезде с ним в Варшаву, где, как говорили, предназначено было ему преобразование и временное первое управление Польши в готовимом ей новом ее виде. Посему Талейранд (sic!), не получив от Государя своего решительного повеления, должен теперь

здесь оставаться и забыть важное препоручение, которое его опытности в делах предопределяемо было. Часто его видящие уверяют, что он от сей перемены в расположении императора на его щет (sic!) в крайнем сокрушении, и чтоб себя от оного несколько отвлечь, он собирается скоро к целительным водам... Я прошу ваше сиятельство сие известие государственному канцлеру пожаловать скорее препроводить: ибо он в ожидании совсем противном находится»[41].

Так донес Куракин, уже получивший свои паспорты и покинувший Париж.

9

Наступали сроки исполнения предсказаний Талейрана; Наполеон пошел на Москву. Приближаются трудные времена, говорил Талейран уже тогда, когда в Париже еще ждали новых привычных бюллетеней о победах. Когда начался разгром французских войск при катастрофическом отступлении великой армии из Москвы, Талейран осмелел в своих беседах (правда, с наиболее близкими людьми). «Вот момент, чтобы его низвергнуть»,— сказал он как-то в самом конце 1812 г. маркизе Куаньи. Но Наполеон не мог быть низвергнут внутренней революцией. И дело было вовсе не в совершенстве полицейской машины, созданной Фуше и сделавшейся недосягаемым образцом всех политических полиций в грядущем, начиная с корпуса жандармов Николая I и кончая фашистским гестапо.

Сила Наполеона заключалась в том, что и в 1813 г. для громадных и материально сильных классов он казался единственно возможным правителем. Крестьяне по-прежнему боялись, в случае возвращения Бурбонов, отнятия приобретенных при революции земель и восстановления феодализма; среди буржуазии были колебания, особенно росло недовольство среди торговой буржуазии, среди судовладельцев, среди купечества мертвых при Наполеоне морских портов, но промышленники видели в Наполеоне избавителя от английской конкуренции и завоевателя чужих рынков, хотя, правда, отсутствие колониального сырья (особенно хлопка и красящих веществ) начало уже давно раздражать и их. Многое еще поддерживало власть Наполеона. Армия — солдаты еще больше, чем офицерский и генеральский состав,— любила его в своей массе, в особенности же старослуживые и унтерофицерские кадры. При этих условиях у Наполеона еще хватило сил создавать в 1813—1814 гг. армию за армией, и, нанося союзникам страшные удары при Люцене, при Бауцене, при Вейссенфельсе, при Дрездене, медленно отступая из Германии, принуждать союзников дважды предлагать ему почетный мир. Талейран видел поэтому, что торопиться открыть свои карты еще опасно.

5 декабря (нов. ст.) 1812 г. в 10 часов вечера Наполеон, сопутствуемый Коленкуром, польским офицером Вонсовичем, мамелюком Рустаном и двумя пикерами, сел в сани в местечке Сморгони и начал свое далекое путешествие. В своих воспоминаниях правдивый Коленкур посвящает много места разговорам с императором «в санях», и даже одна очень большая глава (142 страницы убористого шрифта) в новом издании его мемуаров (т. II, стр. 305—342) так и называется: «В санях с императором». Наполеон всегда чувствовал расположение к Коленкуру и уважал если не его ум, то характер. Честные и преданные люди были при его дворе величайшей редкостью. А тут, в долгом пути, под впечатлением чудовищной катастрофы в России, прямым виновником которой он был, Наполеон особенно разоткровенничался и в этих беседах с глазу на глаз высказывался о многом, о чем в более нормальных условиях молчал.

Нас интересует в этих речах лишь то, что прямо относится к князю Талейрану. Прежде всего ясно, что Наполеон все-таки никакого понятия не имел о государственной измене Талейрана, начавшейся в 1808 г. в Эрфурте и не окончившейся вплоть до конца империи. Император, например, сказал Коленкуру: «Я очень был неправ, что сердился на Талейрана». Он жалел, что не назначил своим представителем в Варшаве Талейрана, который, по его мнению, сумел бы лучше использовать поляков, чем Прадт [42]. «Это ваш друг,— сказал он мне (Коленкуру — *Е. Т.*) и затем прибавил: — Это человек интриги, человек большой безнравственности, но и большого ума и, конечно, самый способный из министров, которых я имел. Я долго на него сердился, но у меня уже нет раздражения против него. Он бы еще теперь был министром, если бы захотел этого». Император жаловался, что интриги герцогини Бассано и «денежные интриги» (sic!) самого Талейрана раздражили снова императора, и он чуть не арестовал князя [43]. Он признал перед Коленкуром, что хотя Талейран и не возбуждал его против Испании в тот момент, когда Наполеон напал на эту страну, не тот же Талейран был вполне убежден, что только «частичная оккупация» французами Испании и Португалии могла бы заставить лондонский кабинет заключить мир. Мало того: именно Талейран был «душой негоциации», направленной к достижению этой цели таким путем [44]. В расстреле герцога Энгиенского Наполеон, как известно, никогда не высказывал раскаяния. Но тут, перед Коленкуром, он признал, что помиловал бы герцога, если бы того не поторопились расстрелять ночью, сейчас же после суда. «Бертье и Камбасерес колебались, арестовать ли его (герцога — *Е. Т.*)... Талейран настоял на арестовании так же, как Мюрат и Фуше» [45]. Наполеон не сердился за

это на Талейрана, не повторил гневного упрека, который некогда, во время знаменитой сцены 28 января 1809 г. сделал ему в Тюильри. А когда проезжали через Варшаву, то император еще раз с досадой упомянул, что «из-за глупых интриг» не назначил в Варшаву Талейрана [46]. Наполеон до такой степени был обманут лестью «невинного» Талейрана, якобы «простившего» все оскорбления императору, что он открыл Коленкуру следующий, изумительный с психологической стороны, факт: заметив непонятную перемену в Александре во время эрфуртских свиданий, император приписал это каким-то нескромностям и некорректным высказываниям маршала Ланна, вернейшего солдата, преданного Наполеону до глубины души [47]. Ни Наполеон, ни слушавший его Коленкур никакого представления не имели о том, кто был истинным изменником в Эрфурте. Это ослепление многое объясняет в последующих событиях, когда Талейран мог нанести в решительный момент тяжкий удар Наполеону, уже совсем открыто выступив против погибающего императора.

10

Наступила зима с 1813 на 1814 г. Враги приближались к Рейну. Наполеон дни и ночи работал над созданием новой большой армии, с которой готовился к отчаянной обороне страны. Шарль Ремюза застал в один из рождественских вечеров в салоне своей матери гостей, среди которых находился и Талейран. Один только Талейран говорил, все молчали. Он прямо заявлял, что Наполеон погибает. «Самое большое, самое непоправимое зло — это его одиночество»,— говорил Талейран. «Он — один, как он того и хотел, одинок в Европе, но это ничего еще, а он и во Франции одинок». Что такое страсть и сила без рассуждения, когда сила уходит, а страсть остается? Император в пустом пространстве: «Нет сопротивления, но нет *и опоры. Это великая ошибка власти во Франции,*— нет доверия к нужным людям... Он слушает только тех, которые отвечают ему то самое, что он им говорит. Дюрок видел зло, Бертье тоже немного видел. Но у Дюрока было слишком мало ума, чтобы уметь сказать то, что он думал. То же самое должно сказать и о Бертье. Дарю — рабочий вол, у Камбасереса нет мужества». Общее заключение этой интимной беседы Талейрана в кругу друзей сводилось к тому, что больше уже нечего ждать императору от окружающих его и нечего ждать подданным от самого императора [48].

После поражения при Лейпциге, прибыв на короткое время в Париж, Наполеон на утреннем выходе своем во дворце Сен-Клу 10 ноября 1813 г. среди царедворцев увидел и Талейрана.

«Зачем вы тут?» — вдруг гневно обратился он к нему и между прочими раздраженными фразами сказал и такую: «Берегитесь: ничего нельзя выиграть, борясь против моего могущества! Я объявляю вам, что если бы я опасно заболел, то вы умерли бы до меня!» Это была угроза расстрелом. И тогда же, в конце 1813 г., Наполеон внезапно предложил Талейрану снова стать министром иностранных дел. Тот отказался. Наполеон, презирая и ненавидя Талейрана, уже теперь почти убежденный в его измене, все-таки думал, что Талейран слишком осыпан его милостями, которые побоится потерять в случае падения империи, и имеет слишком много причин опасаться возвращения Бурбонов.

Он не знал, что Талейран после Лейпцига окончательно утвердился на той мысли, что все-таки Наполеон будет низвергнут, и притом не революцией, но напором союзных европейских армий, «восстанием Европы», а не восстанием Франции против его владычества. Император не знал, что и Бурбоны все забудут и простят охотно Талейрану все его бывшие и даже будущие предательства против них, если он теперь совершит еще новое предательство, на этот раз уже в их пользу. Не зная еще всего этого, в январе 1814 г., когда борьба шла уже на французской территории и когда Наполеон готовился нанести союзникам ряд новых и страшных ударов, а они опять, по совету Меттерниха, предложили Наполеону мирные переговоры, император в присутствии министров снова предложил Талейрану вести эти переговоры. Но Талейран снова отказался. Придя в бешенство, Наполеон, потрясая кулаками, стал наступать на Талейрана, схватил за плечо, занес кулак... Князь, попятившись, избежал удара. Эта безобразная сцена произошла 16 января 1814 г.

Зачем Наполеону так нужно было, чтобы именно Талейран, которому он уже совершенно определенно теперь не доверял, поехал на этот мирный конгресс, который открылся 4 февраля 1814 г. в Шатильоне? Мы знаем, что даже верному Коленкуру, герцогу Виченцкому, командированному в Шатильон, пришлось испытать гнев Наполеона, который на пересылаемые ему Коленкуром из Шатильона предложения союзников отвечал: «Перестаньте меня оскорблять». Но Наполеон вовсе и не хотел мира в этот момент, а конгресс в Шатильоне (из которого ровно ничего не вышло и не могло выйти) ему нужен был больше для проволочки, для выигрыша времени, с точки зрения чисто тактических соображений. Но если так, то, конечно, Талейран был более пригоден, чем Коленкур: самая посылка Талейрана могла гораздо больше ввести союзников в заблуждение и дольше заставить их думать, будто Наполеон всерьез хочет мира.

Император уехал в армию. Талейран остался в Париже. Тут ему пришлось в феврале и начале марта пережить критические минуты. Началась серия новых побед Наполеона, когда их уже никто не ждал. «Я снова надел сапоги, в которых проделал свою первую итальянскую кампанию»,— говорил впоследствии Наполеон об этом времени. И военные специалисты до сих пор находят кампанию 1814 г. одной из самых замечательных в долгой и кровавой карьере полководца. Чуть ли не каждые три дня в Париж приходили известия о новых победах Наполеона, и Талейрана охватывало иной раз такое лютое беспокойство, что он писал герцогине Дино, своей племяннице (и любовнице), и ее матери, герцогине Курляндской, записки, похожие на духовное завещание. Наполеон в случае полной и окончательной победы мог расследовать тайные сношения Талейрана с союзниками, мог и просто в гневную минуту расстрелять его. Спасти его могло только поражение Наполеона. И вот, вместе с Витроллем (и через посредство Витролля) он торопит поход союзников на Париж, дает им знать о недостаточности сил для сопротивления, дает знать через верных лиц Бурбонам, что он хочет благоприятствовать именно им: все знали, что среди союзников есть сильное течение в пользу воцарения маленького сына Наполеона, «римского короля», и Бурбоны очень беспокоились.

Но вот идут битвы уже под самыми стенами Парижа. Императрица Мария-Луиза с маленьким сыном, наследником императорского престола, уезжает из столицы в глубь страны. Талейран — в труднейшем положении: ехать ему за императрицей, как велел Наполеон всем главнейшим сановникам, или оставаться в Париже? Если ослушаться императора и остаться в Париже, то, в случае победы Наполеона или даже в случае его отречения и воцарения римского короля («Наполеона II»), ему, Талейрану, может дорого обойтись это изменническое поведение. А с другой стороны, если союзники победят и войдут в Париж, то необычайно возрастут шансы Бурбонов, и тут-то Талейран может, если он останется в столице, взяв на себя деятельную роль, сделавшись естественным звеном между союзниками и Бурбонами, с одной стороны, и сенатом и прочими имперскими учреждениями — с другой, создать со своей обычной ловкостью такую обстановку, чтобы вышло, будто сама Франция, устами сената, низлагает династию Бонапартов и призывает династию Бурбонов. Он знал прекрасно, что союзникам очень нужно соблюсти такую видимость, да и особенно это нужно Бурбонам, чтобы с самого начала был сколько-нибудь приличным фиговым листком прикрыт слишком уж грубый и болезнетворный для французского национального самолюбия факт прибытия предполагаемого короля Людовика XVIII в

«фургонах союзников». Об этих «фургонах», сыгравших потом такую роль в антибурбоновской агитации, именно тогда и начали уже говорить. Значит, Талейран мог надеяться, что ему простят решительно все его прошлое, даже убийство герцога Энгиенского, если он теперь оформит и облегчит воцарение Бурбонов.

Поэтому ему непременно нужно оставаться в Париже... Как же быть? Биографы Талейрана формулируют раздиравшее в этот момент душу его противоречие такими строжайше точными словами: «Как сделать так, чтобы разом и уехать из Парижа и не уезжать из Парижа?» Задача, на первый взгляд противоречащая элементарным законам физики и совершенно неразрешимая. Но не князя Талейрана могли смутить трудности. Он, напротив, в самые безвыходные минуты жизни и обнаруживал наибольшую находчивость. Он сначала отправился вместе с одной старинной своей приятельницей (у него они были припасены на все случаи жизни), с госпожой де Ремюза, к префекту полиции Паскье, и тут (на всякий случай предоставив говорить госпоже де Ремюза и ограничившись со своей стороны лишь неопределенными междометиями) он дал понять Паскье, что хорошо было бы, если б, например, при выезде из города его, князя Талейрана, «народ» не пустил бы дальше и принудил «силой» вернуться домой. Госпожа де Ремюза даже подала недогадливому префекту мысль, что еще лучше было бы, если бы он поручил своим агентам слегка взбунтовать «народ», чтобы устроить это насильственное возвращение Талейрана. В конце концов условились на том, что не «народ», а национальная гвардия задержит Талейрана и вернет назад. Важно было выиграть день, когда все решалось.

Тотчас после этого сговора Талейран с багажом, с секретарями и слугами в открытой карете выехал из своего дворца во имя честного исполнения своего верноподданнического долга, согласно приказу его величества императора Наполеона, чтобы присоединиться к пребывавшей в Блуа императрице и наследнику императорского престола, маленькому римскому королю. Но вот, к прискорбию Талейрана, ему, на глазах всех, помешали исполнить его долг перед Наполеоном национальные гвардейцы, которые у барьеров Пасси задержали, по досадному недоразумению, его карету и вернули в город! Сейчас же он отправил рапорт о случившемся печальном инциденте великому канцлеру империи Комбасересу. Застраховав себя таким образом от гнева Наполеона, Талейран немедленно стал работать над подготовкой реставрации Бурбонов. Он подсылал эмиссаров к маршалу Мармону и убеждал колебавшегося маршала не сражаться с подступившими к городу союзниками и сдать столицу, отведя в сторону свой корпус. Наполеон с остатками

армии спешил к городу. Но 31 марта во дворце Фонтенебло он узнал об измене Талейрана...

Александр I, еще до того как союзные войска вошли и прочно заняли Париж, откомандировал Нессельроде к Талейрану, и они вместе сочинили ту знаменитую, подписанную Александром декларацию, помеченную 31 марта 1814 г., в которой заявлялось, что союзники не будут более вести переговоры ни с Наполеоном, ни с его семьей, но что они признают и гарантируют то новое устройство, которое дает себе французская нация. Прибавлялось, что союзники приглашают сенат назначить временное правительство.

Глава IV

ТАЛЕЙРАН И РЕСТАВРАЦИЯ БУРБОНОВ. ПАРИЖСКИЙ МИР 30 мая 1814 г.

1

После торжественного въезда в Париж Александр и король прусский прежде всего посетили Талейрана в его дворце. Тут Талейран не переставал убеждать обоих монархов, что Франция хочет именно Бурбонов, именно Людовика XVIII. Но Александр колебался. Ему, судя по некоторым признакам и даже прямым свидетельствам, хотелось бы посадить на французский престол трехлетнего сына Наполеона, римского короля, с регентством его матери Марии-Луизы, а Людовик XVIII был в высшей степени лично антипатичен русскому императору. «Как могу я узнать, что Франция желает династии Бурбонов?» — недоверчиво спросил он у Талейрана. Но тот, не моргнув глазом, отвечал: «Через посредство решения, которое я берусь провести в сенате, государь, и последствия, которого вы немедленно увидите». — «Вы в этом уверены?» — «Отвечаю за это, государь».

На другой день Талейран созвал сенат. Это учреждение не играло при Наполеоне ни малейшей роли и ограничивалось положением и службой послушных и исправных кодификаторов и исполнителей императорской воли. Они привыкли пресмыкаться перед силой, без рассуждений повиноваться приказу, и если из ста сорока одного на призыв Талейрана откликнулось всего семьдесят четыре [1], то, конечно, главным образом потому, что еще не все освоились с мыслью о крушении империи, еще не отвыкли от страха перед Наполеоном. Талейран, опираясь на все союзные армии, стоявшие в столице и во Франции, без малейшей затраты красноречия достиг того, чтобы, во-первых, сенат постановил избрать «временное правительство» из пяти членов, с поручением им вести текущие дела и выработать проект новой конституции, и, во-вторых, чтобы во главе этого правительства был поставлен именно он, Талейран. Остальные были роялистские бесцветности, фигуры второго порядка.

Было это 1 апреля, и тогда же произошло любопытное свидание между Талейраном и посланным от Бурбонов графом Семаллэ. Талейран, в качестве центрального лица, в качестве главного деятеля происходящей реставрации, самым очаровательным образом встретил этого Семаллэ, личного друга Карла д'Артуа, т. е. брата намечаемого короля Людовика XVIII. Талейран тотчас же посоветовал передать Бурбонам, чтобы они приняли трехцветное знамя,— и сейчас же получил негодующий отказ: Бурбоны желают вернуться со своим белым знаменем, знаменем старого режима. И совет и отказ были одинаково многознаменательны.

Талейран всей своей колоссальной опытностью понимал твердо, что для Франции Бурбоны — совсем чужие, неведомые люди, которых новые поколения вовсе не знают, что крестьянство уже наперед их не любит и боится, и старое белое знамя будет в глазах крестьян как бы эмблемой восстановления феодальных пережитков, уничтоженных революцией, что, с другой стороны, для всей армии белое знамя — это ненавистное знамя, которое они до сих пор видели только в руках эмигрантов, поднявших оружие на отечество, в руках белых изменников; их-то эти солдаты и били еще в годы революции. А трехцветное знамя было знаменем победоносной революции и победоносного Наполеона. Талейран понимал, что Бурбоны этой заменой трехцветного знамени белым начинают сами копать себе яму, что они, действительно, ничему не научились. Но спорить было немыслимо. Вспомним, что не только в 1814 г., но и в 1871—1873 гг., после новых двух революций и Коммуны, Бурбоны, в лице графа Шамбора, отвергли трехцветное знамя и этим самым отвергли снова предлагавшийся им французский престол.

Положение осложнялось тем, что Александр не только не терпел Бурбонов, но специально выискивал кого угодно и что угодно, лишь бы избежать воцарения старой династии. Он был убежден, что не усидеть им на французском престоле ни за что, даже если они при помощи иностранных армий туда взберутся. Талейран знал, в какое отчаяние привел Александр агента Бурбонов барона де Витролля, когда тот ровно за две недели до въезда царя в Париж был им принят и горячо умолял Александра согласиться на воцарение династии Бурбонов. «Что же,— сказал тогда Александр Витроллю с выражением неудовольствия и сожаления,— если бы вы их (Бурбонов — *Е. Т.*) знали, вы были бы убеждены, что тяжесть подобной короны слишком для них велика... Мы уже много искали, что могло бы подойти Франции, если бы Наполеон исчез. Некоторое время тому назад мы думали о Бернадотте. Его влияние на армию, расположение, которое он должен иметь в кругу друзей революции.

остановили на один момент нашу мысль на нем. Но затем некоторые мотивы нас отдалили от этой мысли. Говорили и о Евгении Богарне, его уважают во Франции, его любит армия, он вышел из рядов дворянства. Может быть, он имел бы многочисленных сторонников. А потом, может быть, благоразумно организованная республика больше подошла бы к духу французов? Ведь не бесследно же идеи свободы долго зрели в такой стране, как ваша! Эти идеи делают очень трудным установление более концентрированной власти». Выслушав это от самодержца всероссийского, роялист, легитимист, ревностный католик Витролль остолбенел: «Где же мы, великий боже, были 17 марта? Император Александр, король королей, объединившихся для спасения всего света, говорил мне о республике!» Витролль называет его точь-в-точь так, как его называли тогда в России, говоря о 1814 и 1815 гг.: «вождь вождей, царей диктатор» (Жуковский в «Бородинской годовщине»); «...и скоро силою вещей мы очутилися в Париже, а русский царь главой царей» (Пушкин, варианты уцелевших отрывков X главы «Евгения Онегина»). Заметим, что, именуя Александра «главой царей», собравшихся в 1814 г. в Париже, Пушкин вовсе и не думает возвеличивать царя, которого он не любил, называл «арлекином. к противочувствиям привычным», и, иронизируя о царе, считал, что «теперь коллежский он асессор по части иностранных дел». Великий поэт словами «глава царей» просто констатирует факт. Точно так же очевидец и участник событий 1814—1815 гг. французский легитимист Витролль тоже терпеть не мог Александра Павловича, и если называет его почти дословно так, как Пушкин («le roi des rois» — король королей), то делает это совсем не для комплимента, но со скрежетом зубовным, в отчаянии оттого, что этот всемогущий самодержец вдруг стал разглагольствовать о республике. Витролль тоже лишь констатирует факт всемогущества Александра или то, что в тот момент всем казалось бесспорным фактом. Великая победа 1812 г., упорная и в конечном счете победоносная борьба 1813—1814 гг. сделали весной 1814 г. Россию на известный момент вершительницей судеб Франции и континентальной Европы. Витролль был вне себя от этой неожиданной выходки Александра [2].

Конечно, в «республиканизм» царя Талейран, которому Витролль передал всю сцену, ничуть не верил, но уже то обстоятельство, что Александр говорил о ком угодно — о Бернадотте, о Евгении Богарне, о Луи-Филиппе, о маленьком сыне Наполеона, «римском короле», и даже о республике, лишь бы только показать, что он хочет отстранить Бурбонов,— могло смутить. В политической силе Александра Талейран в тот момент был убежден не меньше, чем Витролль. Предстояло заставить «царя

царей» (le roi des rois) отказаться от своих антибурбоновских настроений.

Франция примирится на любом правительстве, лишь бы основные достижения буржуазной революции, укрепленные буржуазной империей, остались незыблемы; Франция примирится с удалением Наполеона, если созданный революцией и кодифицированный Наполеоном строй останется непоколебим. Эта мысль заставляла в критические апрельские дни 1814 г. называть то Бернадотта, то Луи-Филиппа. Сила же Талейрана была в том, что его кандидат, Людовик XVIII, имел за себя принцип легитимизма, престиж традиционной монархии, могущественно влиявший на ненавидевших революцию монархов, вошедших в Париж. «Когда был взят Париж, то в государи предлагали кто сына Наполеона, с назначением регентства, кто Бернадотта, кто, наконец, Луи-Филиппа. Но Талейран ответил: или Людовик XVIII, или Наполеон. Это — принцип, все остальное — интрига»,— напоминает по одному случаю Маркс в письме к Руге [3].

Талейран, живший интригами, на этот раз был в выгоднейшем положении, потому что в самом деле вполне логически прикрывал свою программу очень сильным в тот момент принципом,— сильным в глазах тех, кого ему больше всего необходимо было убедить. Маркс дважды, в разное время и по разным поводам, останавливается на этой позиции Талейрана, который «сразу положил конец его (Бернадотта — *Е. Т.*) ребяческим надеждам, заявив совету союзных государей, что „нет иного выбора, как только между Бонапартом и Бурбонами, все иное явилось бы только интригой“» [4]. Шансов у Бернадотта не было никаких. Но вопрос о регентстве Марии-Луизы и о воцарении маленького «римского короля» беспокоил Талейрана гораздо больше.

Конечно, Талейран был вполне убежден, что кандидатура Людовика XVIII пройдет при непременном условии: признать незыблемыми основы социально-экономического строя, созданного буржуазной революцией и окончательно утвержденного буржуазной империей. Наследие Наполеона должно остаться, но наследником должен быть не его сын, а «легитимный монарх» Людовик XVIII. Такова была идея Талейрана весной 1814 г.

2

Коленкур и маршалы, пребывавшие с Наполеоном и с остатками французской гвардии и армии в Фонтенебло, сделали попытку склонить союзников и прежде всего Александра к тому, чтобы начать переговоры с Наполеоном.

31 марта Коленкур, в качестве официального представителя императора Наполеона, явился к Талейрану, которому накануне якобы «помешали» силой выехать из Парижа. Но так как 31 марта союзные войска уже начали входить в Париж, то ломать дольше комедию Талейрану уже не было ни малейшей надобности.

«Я спешил к нему,— вспоминал впоследствии Коленкур,— чтобы осведомиться (pour prendre langue), будучи вполне уверен, что именно на нем мне следовало основывать свои надежды или свои опасения, потому что все покинули Париж после отъезда императрицы. Незначительные люди, которые остались, были немы и, впрочем, ни к чему не были пригодны... Проникнуть в планы г. Талейрана не было делом легким. Но я не сомневался, что наши старые отношения побудят его откровенно мне высказать, друзья ли мы с ним или враги. Казалось, он удивился, увидя меня. „Император нас погубил, не дозволив вам заключить мир в Шатильоне", таково было его первое слово. „Можно ли в нашем несчастье рассчитывать на вас?" — спросил я его. „Вы узнаете, что я еще два дня назад сделал все, чтобы спасти его трон, чтобы удержать императрицу и ее сына, но император тайком отдает приказы, которые губят все. Он никому не доверяет, его письмо к его брату (с приказом о выезде императрицы из Парижа — *Е. Т.*) испортило все. Страх не угодить ему, не послушаться его парализует все. Он погубил себя и погубил Францию. Теперь уже ни от кого из нас не зависит спасти его. Почему он довел дело до этого? Зачем было предпочесть советы Марэ и некоторых льстецов советам людей, преданных его славе и Франции?" — „Теперь не время заниматься его ошибками,— возразил я.— Он меня послал к императору Александру, чтобы защитить себя, чтобы подписать мир, которого все желают. Поможете ли вы мне в наших несчастьях? Покинете ли вы его, когда он несчастлив? Принесете ли вы в жертву императрицу, римского короля, истинные интересы Франции?" — „Еще на последнем совете я все сделал, чтобы их спасти, чтобы помешать их отъезду. Как бы несправедлив ни был ко мне император, я почти один только боролся за него, за них,— и совершенно тщетно, так как император отдал свои особые приказания. Он все потерял даже в совете регентства. Вы узнаете и это и то, что я сделал все, что должен был сделать"» [5].

Тут разговор был прерван графом Толстым, русским гофмаршалом, а почти вслед за Толстым явился и русский министр Нессельроде. Коленкур ушел, не дождавшись больше ни одного слова от Талейрана. В передней, в приемном зале во дворце Талейрана, уже полно было людей: представители иностранных монархов, просители, чающие движения воды, перепуганные

иностранным войском граждане — все жаждали лицезреть человека, в котором победителям выгодно было условиться видеть представителя Франции, якобы говорящего от имени страны. Александр милостиво согласился поселиться во дворце Талейрана того же 31 марта, около шести часов вечера.

Сюда перед вечером (сейчас после приезда Александра) прибыли прусский король, представители Австрии Шварценберг и Лихтенштейн, Карл Васильевич Нессельроде, Поццо ди Борго, Прадт и барон Луи. Всех этих именитых гостей хозяин Талейран пригласил в великолепный зал своего дворца, где и открыл заседание. Тут-то и было окончательно оформлено и подписано решение союзников: ни в каком случае не вести переговоров ни с Наполеоном и ни с кем из его семьи. Дело Талейрана было выиграно: он знал, что Александр ничего не имел против воцарения прямого наследника Наполеона, маленького римского короля. А Талейрана устраивала лишь реставрация семьи Бурбонов.

Еще когда шло заседание в большом зале, Александру доложили о приезде Коленкура. Император велел передать, что он примет герцога в десять часов вечера, после заседания. Это была уже вторая беседа Коленкура с Александром. Первая произошла накануне вступления войск союзников в столицу, и уже тогда Александр решительно отказался вести с Наполеоном какие бы то ни было переговоры. Теперь, после совещания, он и подавно мог лишь вполне категорически повторить свое решение. В переговорах с Коленкуром Александр несколько раз подчеркнул, что он не желает навязывать Франции какое бы то ни было правительство, а будет считаться только с желанием самой Франции. «Но что же понимать под желанием Франции? — возразил Коленкур.— До сих пор я вижу, что это желание г. Талейрана, что это цель его интриг, которым и хотят дать преобладающую силу». «А что если это желание нации?» — спросил Александр. «Однако Франция ведь не в Париже, а желания и Парижа тоже — не в передних этого дома!» — прибавил Коленкур и поясняет читателю своих мемуаров: «Я намекал на дом князя Беневентского (Талейрана — *Е. Т.*), где мы находились». Разговор окончился. Коленкур мог понять, что дело Наполеона проиграно. Он еще не знал тогда, что уже начиная с 28 марта Талейран деятельно агитировал между оставшейся в Париже группой сенаторов в пользу призвания Бурбонов. Он лживо уверял их, будто таково желание Александра, запугивал их (а через них весь город), распуская ложный слух, что русские предадут огню и мечу столицу, если заподозрят, что французы хотят оставить императора на престоле. Следует сказать, что вообще в Париже было полное смятение уже начиная с первых известий о прямом движении русских

войск на Париж. Мы знаем, что в эти дни в русской армии повторялось: «Здравствуй, батюшка Париж! Как-то ты заплатишь за матушку Москву?» Точь-в-точь такая самая мысль (но, конечно, с иным настроением) неотступно сидела в головах парижан, когда русская гвардия, не встречая сопротивления, вступила в столицу.

Мы знаем из обильнейших показаний, что в момент вступления русской гвардии паника в Париже достигла кульминационной точки. И вдруг нежданная, счастливейшая весть! Александр никого не велел обижать, русская армия ведет себя дружелюбно, велено продолжать торговлю на рынках и в магазинах, ни о какой мести за Москву, за двенадцатый год русские и не думают.

Чувство огромного облегчения опьянило, околдовало город. Коленкур так и употребляет это слово: «околдовать» (ensorceler): «Действия князя Беневентского, присутствие войск союзников и полные благоволения слова императора Александра, которые повторялись и комментировались в пользу перемены (династии — *Е. Т.*), вскружили всем головы. Эти старые сенаторы были околдованы. Уже не боясь позора, не страшась себя скомпрометировать, они торопились действовать, как потерявшие разум... Их увлечение и их страх (а было в наличии то и другое) граничили с безумием». Талейран торжествовал. В эти дни он успел внушить и сенату и Парижу, что Александр именно к нему, князю Беневентскому, питает доверие, что именно он спасает Париж от разгрома, пообещав русскому царю восстановление Бурбонов. Заметим кстати, что Талейран сам-то при этом отлично знал, что Александр хотел бы видеть на престоле скорее маленького римского короля (Наполеона II), а вовсе не Бурбонов. Но в эти критические часы и добраться-то до Александра можно было больше всего именно через него, хозяина дома, столь гостеприимно пригласившего русского царя погостить у него. К таким, хорошо делающим свою карьеру и неплохо на белом свете поставленным гостям, как Александр, князь Талейран всегда относился крайне любезно. А этот гость к тому же имел при себе или поблизости, только пока на первый случай, уже около ста тысяч человек с артиллерией и кавалерией, непрерывным потоком подходивших и входивших в Париж.

Герцена поразило как-то, когда он вычитал, что Талейран, встретивший уже в старости начинавшего свою карьеру юного дипломата А. М. Горчакова, «поучал Горчакова тайне учтиво и сообразно силе и слабости гостей предлагать говядину» [6]. Ясно, почему, принимая и угощая Александра, князь Беневентский проявлял максимум «учтивости» или, точнее, низкопоклонства.

В лицемерии и фальшивости, в умении надевать на себя любое обличье и произвольно долго носить какую угодно маску, в искусстве напускать на себя или, точнее, симулировать всякое, какое желательно в данный момент, настроение, Александр среди тогдашних дипломатов не знал себе достойных соперников, кроме разве одного только князя Талейрана.

Именно эти-то качества и могли сильно беспокоить любезного хозяина в его обворожительном госте. Талейран, мы это знаем, держался об Александре по существу того же мнения, которое спустя сто лет сформулировал, говоря о царе, в своем беспощадном отзыве великий автор «Хаджи-Мурата»: «лицемер и отцеубийца». Второе качество нисколько не касалось и не интересовало Талейрана; в семейные предания и, так сказать, родственные чувства русской царской фамилии он не вмешивался. Но он знал твердо, что ему предстоит борьба с опасным лицемером и симулянтом, не хуже его самого. Предчувствие не обмануло радушного хозяина, восхищенно встретившего на улице (у входа) своего всемилостивейше улыбавшегося ласкового и фальшивого гостя.

Современники, даже такие умные и проницательные люди, как, например, близко наблюдавший лично события в Париже Стендаль, склонны были очень уж преувеличивать решающее значение «талейрановской интриги» в эти дни: «Император Александр поселился у г. Талейрана. Это незначительное обстоятельство решило участь Франции и, вероятно, участь Европы... Это было решающим... Талейран имел счастье поселить у себя монарха, который в течение одного месяца был хозяином и законодателем Франции» [7].

Стендаль, весь апрель 1814 г. пробывший в Париже, в своем знаменитом романе «Красное и черное» повторяет имя Талейрана как творца реставрации Бурбонов, наряду с совсем уже неосновательным указанием на Поццо ди Борго и Прадта [8]. Поццо ди Борго был как русский дипломат лишь простым исполнителем воли Александра в 1814 г., а аббат Прадт никакой заметной роли при воцарении Бурбонов не играл.

3

Решающее заседание союзников и затем окончательная беседа Александра с Коленкуром состоялись 31 марта вечером, а на другой день Талейрану удалось созвать, как мы уже отметили, 74 сенаторов — половину всех членов сената, числившихся по закону, и они избрали, согласно требованию Талейрана (хотя фактически пришло лишь 63 человека), временное правительство из пяти лиц, сплошь ярых легитимистов. Во главе этого правительства, конечно, стал Талейран. Комедия этих

выборов нужна была Талейрану затем, чтобы инсценировать в глазах Александра правильную, законную передачу власти от императорского сената к новому «правительству». Для полного удобства Талейран перевез к себе в дом (где жил уже с 31 марта Александр) еще и все это новоявленное «временное правительство». При моральном параличе, растерянности, запуганности населения Талейрану и сгруппировавшейся вокруг него активной группе роялистов удалось сорганизовать несколько манифестаций, чтобы доказать союзникам, как Франция желает реставрации Бурбонов.

Буржуазия, успокоенная благосклонным отношением Александра к побежденной стране, быстро стала переходить на позиции Талейрана. Императорские сановники один за другим являлись в дом Талейрана с изъявлением полной покорности. Биржа реагировала уже 1, а особенно 2 апреля крутым повышением ренты — с 45 франков 29 марта до 63 франков 1 апреля. Класс, интересам которого больше всего служила империя, явно изменял ей. Безнадежность продолжения военной борьбы против всей Европы, раздражение против многих и многих черт наполеоновской политики, давно уже проявлявшееся в разных слоях буржуазии, сказывалось. Но рабочие угрюмо молчали. Для большинства их Бурбоны и призрак воскрешения дворянского феодализма казались тогда еще бо́льшим злом, чем военный деспот. Наконец, наполеоновская армия еще не совсем была разбита, еще была непоколебимо верна своему вождю и стояла недалеко, в Фонтенебло. Александр еще 1—2 апреля колебался, и мысль о воцарении римского короля при регентстве Марии-Луизы не вполне покидала его. Талейран удвоил свои усилия. Ему помогало и то соображение союзников, что если бы после отречения императора на престоле оказался его трехлетний сын при регентстве Марии-Луизы, то рано или поздно Наполеон снова овладел бы фактически верховной властью. Помогали Талейрану и полная апатия и покорность столицы. Союзники не могли надивиться такому умонастроению парижан.

Железный деспотизм Наполеона отучил французских граждан от активности. Страшная усталость этого поколения, видевшего так много перемен за последнюю четверть века, пережившего почти двадцатилетнее непрерывное побоище наполеоновской эпопеи, сказывалась тоже, помимо всего прочего, о чем сказано выше. На некоторых русских военных людей поведение парижан производило отталкивающее впечатление. Например, возмущался в 1814 г. отсутствием у них патриотизма и особенно их «изменой» Наполеону партизан Денис Давыдов, герой русской народной войны 1812 г., и позднейшие отголоски подобных же передававшихся потомству настроений русских наблю-

дателей тогдашнего Парижа слышатся в укорах Лермонтова по адресу французов:

В испуге не поняв позора своего,
Как женщина, ему вы изменили,
И, как рабы, вы предали его!

Любопытно, что когда роялисты вздумали (2 апреля) низвергнуть наполеоновскую Вандомскую колонну, то их быстро прогнал прочь с площади и спас колонну подоспевший Семеновский полк русской гвардии. Но вообще говоря, роялисты без помощи союзников не могли все-таки рассчитывать, даже после устранения Наполеона, посадить на престол глубоко непопулярную династию Бурбонов, низвергнутую еще 10 августа 1792 г. в славные, незабвенные времена революции. И все происки Талейрана в первые дни апреля 1814 г. сосредоточились на том, чтобы не допустить реализации мысли о римском короле (Наполеоне II) и регентстве Марии-Луизы, так как подобная мысль еще держалась в уме Александра. Эта идея исчезла, когда 4 апреля совершенно неожиданно для многих, но не для Талейрана, маршал Мармон изменил Наполеону и по соглашению с союзниками отвел свой корпус из Эссона па запад, к Версалю. К этому поступку уже несколько дней побуждал его Талейран, зная, что с изменой маршала Мармона для Наполеона теряется всякая возможность предпринять вновь приостановившуюся на несколько дней военную борьбу.

С этого момента Александр уже не имел никакой нужды согласиться на предлагаемый Коленкуром компромисс, т. е. на воцарение наследника Наполеона и регентство императрицы Марии-Луизы. А ведь Александр только и мог иметь тот аргумент, когда говорил со своими союзниками, что если согласиться на регентство, то Наполеон окончательно сложит оружие и опасность дальнейшего кровопролития отпадет. Подтолкнув маршала Мармона на измену, Талейран выбил из рук Коленкура единственное оружие, еще остававшееся в руках сторонников сохранения империи.

Наполеон учел этот страшный, непоправимый для него удар, отрезавший сразу же всякую возможность дальнейшего военного сопротивления. В своем предсмертном завещании, писанном на острове Св. Елены, он называет имя маршала Мармона наряду с именем Талейрана как главных предателей. Мармон всю жизнь силился снять с себя пятно, которое, как он признавал, омрачило навсегда его честь и лишило его доброго имени. Он настаивал впоследствии на том, что эмиссары, присланные из Парижа (стараниями Талейрана), сбили его с толку, обманули и запутали его и что он думал, «что делает дело, полезное

для императора»... «Я обесчещен!» — восклицал он уже 5 и 6 апреля в отчаянии.

Так или иначе, поступок Мармона оказался непоправимым, на что и рассчитывал Талейран. Наполеон в Фонтенебло решил отказаться от престола в пользу своего сына с регентством своей жены, императрицы Марии-Луизы. Но когда 5 апреля утром Коленкур и маршалы Ней и Макдональд прибыли в Париж, чтобы передать это императору Александру, то они сразу увидели, что их дело безнадежно. Во-первых, царь ссылался на то, что сенат, по наущению Талейрана, уже вынес постановление о низложении династии Бонапартов. Во-вторых, как это выяснилось при *втором* свидании маршалов с Александром, происшедшем после завтрака, того же 5 апреля, союзники (австрийцы и пруссаки) уже нисколько не опасались военных столкновений и не видели никаких причин идти на такой компромисс с Наполеоном, как воцарение его сына и регентство его жены. Опомнившийся, терзаемый сомнениями и страхом позора, уже нависавшего над ним, Мармон, правда, лично присоединился к Коленкуру, Нею и Макдональду, когда они снова явились к русскому императору, который, по свидетельству Коленкура, «казался немного удивленным», увидев Мармона в этой делегации, пришедшей отстаивать идею регентства. Но уже ровно ничего, конечно, добиться они не могли.

Еще в ночь с 5 на 6 апреля уполномоченные Наполеона старались уловить при новом свидании с царем некоторые колебания. Но именно в ночь с 5-го на 6-е в Париже были получены точные известия, что корпус Мармона уже весь прошел через союзные линии и фактически выбыл из строя наполеоновской армии. С этого момента все было уже вполне закончено. 6 апреля Александр объявил, что регентство невозможно и что союзники окончательно остановились на возвращении династии Бурбонов как на единственном выходе.

6 апреля уполномоченные императора вернулись из Парижа в Фонтенебло с известием о провале их миссии, и Наполеон подписал свое отречение от престола.

4

Дело Талейрана было сделано. Опасность позднейшей мести со стороны династии Бонапартов, которую он предал, миновала. Лучезарные перспективы, связанные с благодарностью династии Бурбонов, в пользу которой он предал Бонапартов, открывались перед «князем Беневентским», ревниво и заботливо сохранившим этот данный ему Наполеоном титул.

И, можно сказать, немедленно же после того, как старания и интриги старого князя увенчались полным успехом, обнаружилась неизбежная трещина между ним и любезными ему Бур-

бонами. Собственно, любезными для него они никогда не были, ибо он их презирал, а они его и презирали и ненавидели. Но на глазах союзников Талейран так суетился, так хлопотал, так распинался в своих стараниях посадить Бурбонов на престол в течение последних трех дней марта и всей первой недели апреля 1814 г., что кое-кто из союзников (но никак не Александр) всерьез стали верить, что в самом деле роялистский блудный сын вернулся, наконец, в отчий дом после многих и разнообразных политических странствий и отныне пробудет до конца жизни верным белому знамени.

Но этого не случилось и не могло случиться. Талейрана от Бурбонов и особенно от вернувшейся с ними белой эмигрантщины отделяло больше всего то, что он был проницателен, а эмигранты были почти сплошь на редкость политически тупы. Они абсолютно ничего не понимали в новой Франции. Из того факта, что Наполеон со своей непрерывной военной бойней, со своим безудержным военным деспотизмом, со своими опустошающими деревню постоянными наборами утомил и измучил многих, эмигранты делали вывод, что, не поддержав Наполеона, пассивно приняв навязанную Талейраном и роялистами старую династию, буржуазия и крестьянство (рабочий класс они просто игнорировали) легко откажутся от всего, что сделала буржуазная революция 1789 г., и от всего также, что в области гражданского и административно-судебного законодательства и организации государственной власти сделал император. Вот здесь-то люди поумнее, вроде Талейрана, и видели страшную опасность для Бурбонов если не сейчас, то впоследствии. Даже такие реакционеры и в полном смысле слова неистовые клерикальные мракобесы, как Жозеф де Местр, и те считали, что Бурбоны возвращаются не на «прародительский престол», а на бонапартовский престол, потому что никакого другого во Франции уже быть не может. И даже король Людовик-Станислав (назвавший себя Людовиком XVIII) тоже если и не понимал этого разумом, то чуял инстинктом самосохранения, что начинать говорить о воскрешении старого режима значит работать себе на погибель. Но родной брат его, глава необузданной роялистской («легитимной») реакции, Карл д'Артуа, ровно ничего не понимал, и с ним-то прежде всего столкнулся Талейран. Правда, дело шло пока только о символе, об эмблеме, но Талейран сразу же мог видеть, что в самом деле Бурбоны, как и он и Александр I, не сговариваясь, почти одинаково о них выразились: «ничего не забыли и ничему не научились», «не исправились и неисправимы» (incorrigés et incorrigibles). Едва только можно было с полной уверенностью счесть реставрацию Бурбонов совершившимся фактом, в самый день отречения императора, Талейран написал Витроллю, роялисту и другу графа

Карла д'Артуа, что он настоятельно советует при въезде в Париж надеть на шляпу трехцветную кокарду. Эта эмблема возникла в первые же месяцы революции 1789 г., и если бы Бурбоны ее приняли, а следовательно, приняли бы и трехцветное знамя, то это означало бы примирение возвращенной династии с теми достижениями революционной эпохи и наполеоновского законодательства, которыми больше всего дорожила в первую очередь новая буржуазия, собственническая Франция в городе и деревне. Этот символический жест королевского брата сразу же внес бы некоторое успокоение в умы всех, кто боялся, что Бурбоны начнут восстанавливать разрушенный революцией феодализм. Талейран просил Витролля подчеркнуть в разговоре с Карлом д'Артуа, что и сам *император Александр* I, *тогдашний* вершитель судеб Франции, также этого хочет: «Все сходятся на желании, чтобы монсеньер граф д'Артуа надел трехцветную кокарду. Армия, по-видимому, очень за это стоит. И русский император чувствует, что это был бы пункт примирения, на который было бы благоразумно пойти».

Но не тут-то было. Бурбоны приняли не трехцветную, а старую, белую кокарду, старое королевское белое знамя, символ феодальной монархии, ненавистной и буржуазии, и крестьянству, и рабочим. Династия в лице Карла д'Артуа в эти буквально первые моменты своего возвращения 6 апреля 1814 г. вступила именно на тот путь, который через шестнадцать лет и привел ее к июльской революции 1830 г. и к бесповоротной, окончательной потере престола. Их нисколько не просветило и ничему не научило впоследствии даже и грозное предостережение Ста дней. Талейран, впрочем, видя их упорство, не очень и настаивал и принял белую кокарду.

Тут крайне кстати будет отметить следующее. Своей тонкой проницательностью, размеры которой не уступали размерам моральной развращенности этого человека, Талейран уже тогда, в первые дни реставрации Бурбонов, предвидел не только опасность для старой династии от непонимания новой Франции, но и страшную угрозу для Бурбонов от слишком близкого к ним соседства Наполеона на острове Эльбе. За очень многое ненавидел Талейран Александра: и за то, что этот фальшивый, хитрый «византийский грек», подозрительный, неискренний царь давно и до дна разгадал и понял даже его самого, маститого князя Беневентского, мудрейшего отца лжи и патриарха предательства; и за то, что со времени, когда Талейран поступил в 1808 г. в Эрфурте на тайную русскую службу, Александр никакими благосклонными улыбками все же не мог вполне скрыть своего неуважения к нему; и за то, что даже и теперь, в апреле 1814 г., *когда они действовали в значительной степени заодно*, царь, отказывая во всем Коленкуру, ведя линию, которую вел и Та-

лейран и которая привела к реставрации Бурбонов, все-таки горячо, сердечно, дружески жмет руку Коленкуру, громогласно хвалит герцога Виченцского за верность павшему императору, всячески демонстративно выражает ему свое полное уважение и личное безусловное сочувствие, а относительно него, Талейрана, ограничивается по-прежнему благосклонными улыбками и официальными любезностями, всю фальшь которых князь видел насквозь. Но особенно раздражал его Александр своими «претензиями на великодушие», причем эти «претензии», в которые не верил Талейран, привели в конце концов к очень опасному, по мнению старого князя, решению: к отдаче Наполеону в его державное обладание острова Эльбы. Талейран с первого же момента боялся этой комбинации, на которую подтолкнул царя Коленкур, настоявший и на сохранении за Наполеоном титула императора и на отдаче ему острова, так близко лежащего и от берегов Франции, и от берегов Италии, т. е. двух стран, над которыми Наполеон долго царствовал.

Предвидя в будущем и нелепые ошибки ничего не понимающих в своем положении роялистских реакционеров, и характер Наполеона, и нескрываемую злобу французской армии к белому знамени, знамени «изменников» — белых эмигрантов, которое навязали армии Бурбоны с первого же дня своего возвращения, и преданность солдат Наполеону,— Талейран считал физическую близость «императора острова Эльбы» к Франции грозной опасностью. Когда в марте 1815 г. все эти предвидения Талейрана полностью оправдались, Меттерних хвалился тем, что он, как и Талейран, считал опасным пребывание Наполеона на Эльбе. Руководимое Талейраном «временное правительство» делало все возможное и невозможное, чтобы повлиять на Нессельроде и всякими иными путями на Александра и заставить его взять назад свое слово, данное Коленкуру. Но из этих усилий ничего не вышло,— Александр отказался нарушить данное им обещание.

Талейран никогда не уважал Бурбонов. Они не вняли его разумному совету насчет знамени, и он вскоре стал вообще замечать, что реставрация будет, может быть, не весьма продолжительна. Но тут выбирать уже было поздно. Он стал доделывать начатое. В ближайшие дни сенат, по наущению Талейрана, разрешил армию и народ от присяги Наполеону, династия которого была провозглашена низложенной. Наполеон, независимо от этого, подписал в Фонтенебло отречение. Людовик XVIII воссел на престоле.

Итак, Талейран настоял на своем. «Он продал Директорию, он продал Консульство, Империю, императора, он продал Реставрацию, он все продал и не перестанет продавать до последнего своего дня все, что сможет и даже чего не сможет про-

дать»,— говорила о нем впоследствии госпожа Сталь, которая горько каялась, что помогла его карьере в 1797 г., упросив Барраса дать ему портфель министра иностранных дел. Появившиеся вскоре ультрароялистские карикатуры и листовки начинали список измен Талейрана не с Директории, а со старого режима и католической церкви.

Но положение было таково, что, даже хорошо зная, что собой представляет Талейран, люди начинали о нем мечтать, как о спасителе от безумств нахлынувшей во Францию жадной, наглой, неосмысленной эмигрантской дворянской орды.

«Я видел тут очень близко большой спектакль. Все произошло с величайшей простотой. Великие и малые действовали сообразно со своими интересами, не думая о том, что об этом скажут *(sans songer au qu'en dira-t-on)* (курсив Стендаля — *Е. Т.*). Я думаю, граф Артуа в затруднении, как примирить все претензии: 30 000 дворян стекаются со всех сторон, они ничего не умеют делать и всего требуют. К счастью, есть тут один человек большого ума, г. Талейран, достойный быть первым министром»,— так писал Стендаль своей сестре 15 апреля 1814 г.[9]

Он писал это через неделю после того, как официально заявил, что «с готовностью» (avec empressement) подчиняется решению сената, только что провозгласившего низложение Наполеона и призвание Бурбонов[10].

Собственный оппортунизм в 1814 г. не мешал Стендалю, как всегда, быть внимательным созерцателем происходящего.

5

13 мая 1814 г. Людовик XVIII сделал то же самое, что сделала Директория в 1797 г., а Бонапарт в 1799 г.: он назначил Талейрана министром иностранных дел. Вот в каких выражениях благоговейно-верноподданный Талейран (подписавшийся, впрочем, и тут титулом, пожалованным ему от «узурпатора и тирана»: «Князь Беневентский») извещает о своем назначении русского министра графа Нессельроде: «В ту минуту, когда, возвращенный на трон своих предков, его величество занят восстановлением и укреплением уз мира и согласия, которые во время царствования его предков делали общими интересы всей Европы, важные функции, которые король мне доверил, приобретают новую цену» [11] и т. д.

Курьезнейшая, похожая на откровенно циничную насмешку, ложь Талейрана об аркадской идиллии «общеевропейских интересов» при «предках» Людовика XVI особенно забавна в устах Талейрана, лучше кого-либо знавшего, какую открыто враждебную позицию занимала дипломатия версальского двора

относительно именно России в течение не десятилетий, а почти полутора веков, за очень немногими перерывами.

Назначение Талейрана министром иностранных дел было принято Александром с полным видимым удовольствием, и Нессельроде написал новому министру самое ласковое письмо, удостоверяя его высочество (в качестве владетельного князя Беневентского Талейран продолжал быть «Son Altesse»), что царь видит в его назначении «ручательство» в желании короля Людовика XVIII поддерживать «самые интимные» сношения с Россией: «Никакой другой выбор не мог быть более приятен императору» [12].

В Архиве внешней политики России есть целый ряд документов, показывающих, как упорно старались Александр и его представитель при новом французском дворе Поццо ди Борго втолковать Людовику XVIII и его родным и друзьям понятие о серьезности и шаткости их положения: «Я не пренебрег ни одним аргументом, не скрыл ни одного сведения, которое пригодилось бы, чтобы (правильно — *Е. Т.*) направить ум короля и дать ему точное представление о положении вещей»,— с ударением доносит Поццо ди Борго министру Нессельроде 18 апреля 1814 г. [13] И сколько раз приходилось русскому послу бороться с этим глубочайшим, детским непониманием всего окружения короля, так влиявшего на Людовика XVIII!

Александр совсем не доверял Людовику XVIII и искренности его «конституционных» чувств и именно поэтому потребовал, чтобы король созвал законодательный корпус, который должен был выработать конституцию, не на 10 июня, а на 31 мая, потому что царь непременно желал, чтобы это случилось еще до его отъезда из Парижа.

Автор двухтомной монографии, точнее, издатель документов о министерстве Талейрана в 1814 г. Шарль Дюпюи, останавливаясь с иронией на вопросе, почему Александр обнаруживал, будучи самодержцем, такое конституционное рвение относительно Франции в 1814 г., дает совершенно неправильный ответ: он объясняет это желанием смягчить дарованием конституционных вольностей раздражение французов по поводу мирных условий и уменьшения французской территории [14]. Решительно никаких доказательств он не приводит, да их и нет. Во-первых, французы в массе считали, что они очень легко отделались, и что Европа, а особенно всемогущая тогда Россия поступила с ними необычайно мягко после пожара Москвы, грабительств и деспотического угнетения со стороны Наполеона. А во-вторых, у них весной 1814 г. не было ни малейших средств к сопротивлению. Нет, Александр, по словам умного министра полиции Паскье, страшился «неосторожностей» (т. е. безумных реакционных провокаций) со стороны ультрароялистов и коро-

левского брата графа д'Артуа, так как знал, что усмирять революцию, которую эти тупые и наглые реакционные фанфароны могут вызвать, придется непременно русским и иным иностранным войскам, потому что французская армия Бурбонов не терпит и в душе продолжает считать своим единственным законным государем Наполеона. Талейран по этой же самой причине тоже был тогда всецело на стороне воззрений Александра, пока царь не уехал из Парижа.

Там, где «либерализм» не грозил прямым конфликтом с роялистами и королем, Талейран продолжал придерживаться примирительной политики по отношению к тем, кто был повинен в симпатиях к революции или к Наполеону. Так, он долго не хотел подписывать мирный договор с Испанией, пока вернувшийся в Испанию из французской ссылки после падения империи испанский король Фердинанд VII не объявит амнистии всем, кто служил при правлении Иосифа Бонапарта [15]. Но когда Талейран увидел, что этого не добьется, то уступил.

Конституционный проект, выработанный сенатом при деятельном участии Талейрана и вполне одобренный Александром, был отвергнут Людовиком XVIII. Александр I раздражен был до крайности. «Я не знаю, не раскаюсь ли я в том, что возвел Бурбонов на престол,— сказал царь принцу Евгению Богарнэ.— Поверьте мне, мой дорогой Евгений, это нехорошие люди, они у нас побывали в России, и я знаю, какого мнения мне о них держаться». Александр прямо заявил Лафайету (с которым был демонстративно любезен), что он ничего хорошего от Бурбонов не ждет, потому что они полны старорежимных предрассудков. Когда Лафайет выразил мнение, что Бурбоны, может быть, исправились, то царь воскликнул: «Исправились! они не исправились и неисправимы!.. » «Если таково ваше мнение, государь, то зачем же вы нам их привезли?» — довольно резонно возразил Лафайет, который все-таки, несмотря ни на что, никак не мог забыть взятия Бастилии и первых светлых дней революции. «Это не моя вина»,— отвечал царь и настаивал, что ему навязали себя Бурбоны, что Бурбоны его «затопили, как наводнение». «Это дело неудавшееся (c'est une affaire manquée), и я уезжаю очень опечаленным»,— заключил царь [16]. Он выехал из Парижа 3 июня 1814 г.

6

Если Талейран обнаружил проницательность насчет будущей участи Бурбонов и последствий пребывания Наполеона на Эльбе, то справедливость требует признать, что Наполеон выказал не меньшую проницательность относительно судьбы самого Талейрана, по крайней мере в более или менее близком буду-

щем: «Талейран призвал Бурбонов, так как он опасается, что регентство (Марии-Луизы — *Е. Т.*) будет благоприятствовать моему возвращению. Но Бурбоны его прогонят, когда они обоснуются и не будут уже больше в нем нуждаться»,— так сказал Наполеон, уже подписав отречение, в разговоре с Коленкуром вечером 6 апреля 1814 г. в Фонтенебло [17]. В одном только Талейран, несомненно, согласился бы с Наполеоном, если не вслух, то про себя: это с предсказанием, которое Наполеон тогда же вечером 6 апреля сделал относительно Бурбонов. «...Нация примирится с ними только если они удалят от себя эти головы в париках и отбросят старые претензии, но это значит требовать от них невозможного. Через год они надоедят сверх головы (au bout d'un an on aura donc d'eux pardessus la tête)»,— так сказал он Коленкуру, записавшему это пророчество. Император ошибся лишь в том, что Бурбоны «надоели» не через год, а уже через одиннадцать месяцев, и настолько, что он же их и низверг и прогнал с престола в марте 1815 г., не сделав для этого ни единого выстрела.

Для Талейрана начинался новый, впрочем, далеко не последний этап в его карьере. Многое раздражало его и кое-что беспокоило. С одной стороны, решительно все считали, что именно он больше всех содействовал призванию Бурбонов на престол, насколько можно уследить в подобных исторических событиях роль отдельного человека. Низвергла Наполеона Европа, низвергли его три кровопролитные войны 1812, 1813 и 1814 гг. Но что на освободившийся престол посадил Бурбонов именно Талейран, в этом был убежден и сам Наполеон, назвавший эти апрельские дни 1814 г. «революцией Талейрана»; в этом были уверены и Александр, и император Франц, и король Фридрих-Вильгельм, с этим не спорили и сами Бурбоны, ни Людовик XVIII, ни его брат Карл д'Артуа, ни герцоги Ангулемский и Беррийский, сыновья графа д'Артуа.

Но почему же Бурбоны и их новый двор так странно посматривают на него, творца их благополучия, а некоторые из вернувшихся не торопятся пожать ему руку? Правда, ему поручают первое министерство Реставрации, но даже и это мало помогает, придворная атмосфера остается для него ледяной. А что еще важнее: почему император Александр, в течение первых 12 дней его гость, уехал из Парижа, несмотря на все домогательства и просьбы об аудиенции, *не пожелав проститься* со своим любезнейшим хозяином? Почему царь, уже перед тем перебравшийся в Елисейский дворец, не захотел никак даже объяснить свой оскорбительный отказ принять его? Это было хуже всего, беспокойнее всего. И эта всенародная пощечина от царской руки жестоко подрывала положение Талейрана при новом дворе.

Немало раздражало князя Беневентского и то, что этот же император Александр, у которого не хватило простой вежливости проститься с ним, не только моментально принял приехавшего проститься Коленкура, но и тепло обласкал его. Кого? Герцога Виченцского, изо всех сил боровшегося сначала против отречения Наполеона, потом так настойчиво хлопотавшего о воцарении наследника Наполеона и регентстве Марии-Луизы! Почему Александр громко, демонстративно восхвалял верность Коленкура императору Наполеону, врагу России, кровавому узурпатору, и так грубо обошелся с ним, Талейраном, призвавшим столь быстро и ловко «законную» династию на прародительский престол? Какой политический расчет руководил всеми этими поступками лукавого «византийца»? Почему, наконец, царь заявил Коленкуру, что он берет на себя гарантию выполнения всех обязательств, касательно устройства личной судьбы Наполеона, на которые, под прямым влиянием царя, согласились союзники? Гигантская тень с острова Эльбы нависла над Францией.

Все это явилось черной тучей на лучезарном горизонте, казалось, открывавшемся перед Талейраном после водворения Бурбонов в Тюильрийском дворце.

Непосредственно, впрочем, могло озабочивать лишь одно: какую позицию намерен занять Александр осенью на конгрессе всех монархов или представителей Европы, который должен был собраться в Вене.

Что он не будет в дальнейшем продолжать разыгрывать полное великодушие и абсолютное бескорыстие, это Талейран чуял, уже наблюдая Александра в Париже. Предстояла борьба. Это знала и возвратившаяся династия. Людовик XVIII понимал, уже по своим собственным чувствам, как отвратителен Талейран девяносто девяти сотым его двора. Но что же было делать? Не посылать же на конгресс сражаться с Александром, с Меттернихом, с Кэстльри верного, преданного, но пустоголового Полиньяка или кого-нибудь из подобных ему вернувшихся эмигрантов? Скрепя сердце, пришлось обратиться к князю Беневентскому.

Положение осложнялось еще и тем обстоятельством, что между Бурбонами и Александром отношения успели уже довольно заметно испортиться за то короткое время, которое им пришлось провести в Париже между их приездом в столицу и отъездом оттуда царя. Во-первых, Александр навязывал им конституцию, во-вторых, Людовик XVIII всячески старался показать свою полную независимость и поэтому допустил несколько «жестов», затронувших самолюбие царя; в-третьих,— и это было главное, именно ввиду предстоявшего Венского конгресса,— Александр выразил желание, чтобы именно Коленкур,

герцог Виченцский, был снова немедленно назначен французским послом в Петербург, где он уже пробыл несколько лет в качестве посла Наполеона I (1808—1811). Бурбоны приняли это за прямое оскорбление, в особенности потому, что этому предложению предшествовал в высшей степени неприятный эпизод, связанный с тем же Коленкуром. Граф Карл д'Артуа не пожелал принять Коленкура, обвиняя его в участии в аресте герцога Энгиенского в 1804 г. Тогда Александр устроил торжественный обед, на который пригласил и Коленкура и графа д'Артуа. Не прийти граф д'Артуа не решился, но просидел, почти не раскрывая рта, и ушел сейчас же после обеда. Раздраженный этим до крайности, Александр разрешил Коленкуру опубликовать свое письмо к нему, в котором Александр выражал уверенность в полной непричастности Коленкура к делу герцога Энгиенского. Это опубликование было новой пощечиной Талейрану, потому что виновность именно Талейрана в этом деле очень и очень многими уже тогда считалась вполне доказанной. И когда после всех этих неприятностей царь намекнул о своем желании, чтобы к нему в Петербург прислали в качестве посла именно герцога Виченцского, который только что сделал столько усилий, чтобы не допустить старую династию занять наполеоновский престол, то и королевская семья и Талейран были этим предложением жестоко уязвлены. Александру было отказано в его просьбе, выраженной ясными намеками. А царь, не привыкший, чтобы ему вообще в чем-либо отказывали, в особенности, чтобы ему отказывали Бурбоны, которые только благодаря победе русского оружия и сели на престол, удвоил свои старания, чтобы как-нибудь еще задеть Людовика XVIII. Случаев было сколько угодно. Александр стал бывать очень часто, всячески выражая ей глубочайшее почтение, у императрицы Жозефины, первой (разведенной) жены Наполеона, демонстративно посещал и королеву Гортензию Богарне, дочь Жозефины от ее первого брака и жену бывшего короля голландского Людовика Бонапарта, младшего брата Наполеона. Когда в Париже была назначена торжественная панихида по казненным во время революции Людовику XVI и Марии-Антуанетте, то как раз почти весь этот день Александр провел в семье Гортензии. А двор возвращенных Бурбонов он посещал лишь с чисто официальными визитами.

Таким образом, еще до заключительного жеста Александра перед отъездом из Парижа, т. е. еще до того, когда Александр отказал Талейрану в просьбе проститься с ним, Талейран и Людовик XVIII достаточно хорошо были осведомлены о настроениях Александра. Конечно, Талейран шел на все, чтобы поправить свое дело, и поспешил написать царю низкопоклонное, стелящееся, смиренное, льстивое письмо с кротким, ласковым уко-

ром, что, вот, царь уехал, даже не допустив его до лицезрения своей «августейшей особы». Это был тон влюбленного, который огорчен холодностью возлюбленной. Но и письмо не помогло. «Властитель слабый и лукавый», как назвал императора Александра Пушкин, был все же очень упорен в своих антипатиях, хотя и умел прятать до поры до времени острые когти.

«Лукавства» в нем было в 1814—1815 гг. гораздо больше, чем «слабости», а способности к длительной фальшивой игре не меньше, чем у Талейрана. За четыре дня до отъезда Александра из Парижа союзники подписали (30 мая 1814 г.) мирный договор с Францией.

7

Если историк хочет быть вполне точным, то он должен сказать, что главное дело, которое ставилось в актив князю Талейрану защитниками его памяти и считалось большой исторической заслугой перед Францией и перед прогрессом (т. е. сохранение целостности французской территории) было, во-первых, совершено не в Вене на конгрессе, начавшемся в конце сентября 1814 и окончившемся в июне 1815 г., а в Париже, 30 мая 1814 г. [18] И, во-вторых, успех Талейрана во время этих майских парижских переговоров был обусловлен в серьезнейшей степени не столько его личными талантами, хотя они и были вполне в тот момент проявлены, сколько интересами, настроениями и соотношением сил союзников, победивших Францию и принимавших столь решающее участие в этих совещаниях.

Это важное дело заключалось в том, что старая Франция, то есть та территория, которая называлась Францией 1 января 1792 г., до начала войн революции и империи, была оставлена в неурезанном виде за французским народом, который притом сохранял полностью свой государственный суверенитет. Мало того. Сверх этой территории за Францией оставались еще некоторые новоприобретенные территории, примыкающие к Эльзасу (к департаменту Верхнего Рейна), некоторые сопредельные части Южной Бельгии, часть Савойи, Авиньон и еще кое-какие местности.

С отличающей многих французских историков своеобразной патриотической наивностью они выражают, говоря о мирном договоре 30 мая 1814 г., некоторую грусть: как это после столь славных и победоносных войн, длившихся двадцать два года, Франция ничем не была «вознаграждена». Конечно, истина заключается в том, что, потерпев полное, безнадежное поражение, не проявляя в тот момент решительно никакой ни способности, ни решимости к борьбе, Франция, находясь всецело во власти победителей, могла ждать (и в самом деле ждала), что Париж

разгромят, что страну ампутируют, оторвут от нее лучшие территории, наложат тяжкие контрибуции, словом, сделают с ней в свою очередь то самое, что она сама столько лет делала при Наполеоне с ними же. Франция от этого возмездия спаслась, она осталась великой державой, она сохранила все, отдав лишь свои завоевания, плоды ряда веденных ею агрессивных войн. Буржуазная, послереволюционная Франция, побежденная дворянско-феодальными державами, спаслась от расчленения, от низведения ее на уровень второстепенной или даже третьестепенной страны, спасла и свой полный суверенитет.

Бесспорно, трактат 30 мая 1814 г. был еще лучшим, неожиданно счастливым исходом и для Франции, а также с точки зрения интересов общего политического и социального прогресса Европы, поскольку в тот момент буржуазия представляла собой прогресс.

Все это так, но Талейрану могущественно помогла при этом борьба интересов России против стремлений Пруссии. Пруссия была заинтересована в увеличении своих владений, в приобретении Эльзаса, а если дадут, то и Лотарингии, в наложении на Францию тяжкой контрибуции, во всемерном ослаблении Франции. А русская дипломатия была заинтересована в обратном, т. е. в том, чтобы Франция, отныне безопасная для русских границ, была достаточно сильна, чтобы служить противовесом как против Пруссии и Австрии на континенте, так и против Англии на море. «Дружи не с соседями, а через соседа» — было правилом русской дипломатии чуть ли не со времен боярина Ордын-Нащокина. Александр, желая «дружить» и с соседями, все-таки никак не хотел, чтобы эти соседи были очень уж прочно обеспечены со своего западного тыла. Русская армия в момент, когда велись переговоры в Париже в мае 1814 г., была гораздо сильнее и прусской и австрийской. Александр являлся вершителем судеб, по крайней мере так казалось. И якобы «мстя великодушием» французам за разорение России и пожар Москвы, прикидываясь человеком благостного христианского всепрощения, царь попросту делал казавшееся ему нужным и в самом деле важное политическое дело. Он уже тогда решил инкорпорировать Польшу и «вознаградить» Пруссию за отнимаемые у нее польские провинции, отдав ей Саксонию. Но именно это грядущее увеличение прусского могущества, с точки зрения русских государственных интересов, особенно настойчиво требовало, чтобы Франция, остающаяся в тылу Пруссии, отнюдь не оказалась слишком слаба. «Русские хотят, чтобы Германия осталась уязвимой!» — с отчаянием сказал ярый прусский патриот Штейн, и в 1814 и в 1815 гг. натолкнувшись дважды на категорический отказ Александра дать пруссакам что-либо из французской территории. Очень характерно, что Штейн пра-

вильно учел основную мысль Александра: дело шло не только о Пруссии, но именно о всей *Германии,* о всем конгломерате германских государств, который мог стать опасен для России.

Талейран, внушавший лживо в начале апреля, что только он спас Париж от разрушения и разграбления, стал внушать и проповедовать, что опять именно он теперь, 30 мая, спас Францию от расчленения. Обстоятельства сложились так, что абсолютистская, дворянско-крепостническая русская империя, имея в виду свои собственные задачи, обеспечивая свои западные границы от слишком сильного соседа, спасла целостность и суверенитет Франции, страны, еще за двадцать пять лет до того совершившей революционный путь от дворянско-феодального социального режима к порядку буржуазному. А роль Талейрана главным образом сводилась к полной поддержке всех основных предложений русских представителей об оставлении Франции в границах 1792 г. и в аргументации в пользу передачи Франции указанных выше некоторых новых территорий. Важно было и то, что союзники немедленно после подписания договора 30 мая 1814 г. очистили полностью территорию Франции.

Итак, жизненно важное, наиболее существенное для Франции дело было сделано 30 мая. Предстоявшему осенью конгрессу в Вене нужно было лишь оставить *это* дело, т. е. определение границ Франции, неприкосновенным.

Но предстояли решения по двум другим, тоже капитальным проблемам, имевшим для Франции свое очень большое значение: вокруг этих двух проблем, саксонской и польской, неразрывно между собой связанных, и развернулась борьба, в которой Талейрану предстояло пустить в ход все свои силы.

8

Капитальную важность для Талейрана представлял вопрос: как отнесется к Франции и к нему лично Александр? Талейран был далек на этот раз от оптимизма: он понимал обстоятельства отъезда царя из Парижа 3 июня 1814 г.

В Архиве внешней политики сохранилось в подлиннике собственноручно написанное от начала до конца и подписанное письмо Талейрана к императору Александру[19]. Оно заслуживает самого внимательного чтения!

«Я не видел ваше величество перед вашим отъездом, и я осмеливаюсь сделать вашему величеству упрек, со всей почтительной искренностью самой нежной привязанности»,— так начинается письмо. Талейран писал собственноручные письма мало и неохотно, его эпистолярная проза была суха, как его натура, его тугой, истинно суконный язык, выражавший всегда неискренние чувства и не подлинные мысли, сказывается и

в этом длинном послании в каждой фразе. «Государь, важные сношения уже давно открыли вам мои тайные чувства, и последствием этого было ваше уважение. Оно меня утешало в течение многих лет и помогало мне выносить тягостные испытания. Я уже заранее разглядел ваше предназначение, и я почувствовал, что я могу оставаясь французом (tout français que j'étais), приобщиться к вашим проектам, потому что они не переставали быть великодушными. Вы полностью выполнили ваше прекрасное предназначение. Если я следовал за вами в вашей благородной карьере, не лишайте меня моей награды, я прошу этого у героя моего воображения и, осмелюсь добавить, у героя моего сердца». Так объясняет Талейран свои действия в Эрфурте и затем годами выпрашиваемые и получаемые за шпионские услуги денежные подачки от «героя его воображения и сердца». «Вы спасли Францию, ваш въезд в Париж знаменовал конец деспотизма»,— продолжает Талейран и переходит к истинной цели своего письма. Чтобы понять содержание второй и третьей страниц этого послания, необходимы некоторые предварительные пояснения. Александр полагал, что единственным средством укрепить шаткий трон Бурбонов, является конституция, которая могла бы сколько-нибудь успокоить «недовольных», под каковыми понимались (что более всего беспокоило) армия и часть буржуазии и крестьянства. Наблюдая Людовика XVIII, который именно в это время был очень озабочен тем, чтобы всячески показать Александру, насколько династия Бурбонов знатнее и древнее династии Романовых, царь охотно склонялся к тому, что при подобной невероятно нелепой психике, при таком непонимании действительности, при таких истинно допотопных воззрениях король долго не усидит на престоле. И ведь притом еще Людовик XVIII был самым «умным» из Бурбонов, гораздо умнее своего брата и наследника Карла д'Артуа, в окружении которого открыто стали поговаривать о возвращении кое-каких упраздненных нечестивыми революционерами сеньериальных прав на землю. Не из «либерализма» Александр оказывал давление на Бурбонов, желая ограничить их власть, а исключительно из страха нового революционного переворота, который вызовет нахлынувшая во Францию эмигрантщина своими провокационными и наперед осужденными на неудачу поползновениями. Талейран прекрасно понимал нелепость стремлений к реставрированию старого режима. «Что с ними поделаешь,— повторялись приписываемые Талейрану слова: — природа поместила глаза вообще у всех людей спереди, чтобы они смотрели вперед, а у Бурбонов глаза находятся сзади, и они смотрят назад» [20].

Положение Талейрана при этих условиях становилось нелегким.

Казалось бы, он, тоже видевший все безумие, всю опасность для возвращенной династии подобного поведения, должен был бы сочувствовать мысли об ограничении власти Бурбонов, так мало понимавших шаткость своего положения. И в апреле Талейран вполне сочувствовал мысли о *конституции. А в июне*, когда уже царь уехал, когда русские войска собирались домой, когда, наконец, *Париж и страна обнаруживали покорность*,— король и его брат (и их ближайшее окружение во главе с князем Полиньяком) *стали обнаруживать* нетерпение по поводу этих «либеральных» советов и настояний, шедших с русской стороны. Со стороны ультрароялистов шло большое давление на короля с целью заставить его свести будущие законодательные учреждения, по возможности, к роли совещательных органов. Талейран без поддержки царя уже не рисковал особенно настаивать перед Людовиком XVIII на конституционных ограничениях королевской власти. Хамелеон и оппортунист сказался немедленно: не ему было рисковать окончательной ссорой с роялистами, которые, можно сказать, и без того едва пересиливали свое отвращение и глубочайшее недоверие к нему. И вот он заводит совсем другие песни, он пишет Александру вдогонку это письмо, в котором фантазирует и лжет что-то невразумительное о мнимой патриархальной любви французов к своему королю, о том, что французы вовсе не хотят всей той политической «свободы», которую им навязывает царь и т. п. Талейран тут начинает плести какую-то, по-своему любопытную, затейливую словесную ткань, которая представляет собой образец заведомой лжи, облеченной в нарочито бессмысленную по существу, хотя на первый взгляд имеющую грамматическое благообразие форму. Талейран хочет доказать Александру, что вообще никакой особой конституции французам не требуется. «Наши мнения или, скорее, наши вкусы часто управляли нашими королями (Бонапарт более безнаказанно проливал бы французскую кровь, если бы он не захотел подчинить нас своим мрачным манерам). Формы, манеры наших государей нас создали в свою очередь (nous ont façonnés à notre tour). Из этого взаимодействия (de cette réaction mutuelle) выйдет, вы увидите, такой способ управлять и такая манера повиноваться (un mode de gouverner et d'obéir), которые в конце концов смогут заслужить имя конституции (qui, après tout, pourrait finir par mériter le nom de constitution)».

Весь этот вздор Талейран излагает царю, который ему никогда и ни в чем не верил, даже когда французскому дипломату случалось сказать правду.

Итак, значит, только что, в марте, апреле и мае 1814 г., вполне ясно понимая всю основательность опасений Александра, желавшего предохранить Бурбонов от неизбежных послед-

ствий их же глупостей, совершенно соглашаясь с царем, что главным средством для достижения этой цели является конституция,— теперь, в середине *июня* того же года, Талейран садится за стол и пишет царю это письмо, диаметрально противоположное по содержанию. Никакой конституции французам не нужно, им и отечество не очень нужно. Им король нужен: «Во Франции король всегда был гораздо больше, чем отечество. Нам представляется, что отечество превратилось в человека». А посему пусть царь не сердится, «даже если ему покажется, что монархия расположена захватить вновь («ressaisir») немного более власти, чем ему, царю, это казалось бы необходимым и даже если ему представится, что французы не очень заботятся о своей независимости (et les français — négliger le soin de leur indépendance)!»

Ничего не поделаешь: таков уж образ мыслей у французов! Слишком уж преданы они своему возлюбленному королю Людовику XVIII! Так преданы, что и без конституции им хорошо... И дальше:

Конечно, Александр не должен думать, что Талейран забывает роль России *в только что окончившейся* войне: русские штыки вернули французам их обожаемого отца отечества, короля Людовика XVIII, без каковой помощи отец отечества ни за что в Тюильри не попал бы. Но пусть же царь не стесняет ничем короля, который уж сам от мудрости своей найдет, чем именно осчастливить свой народ: «Не сомневайтесь, государь, если король, которого вы нам отвоевали (sic: «que vous nous avez reconquis»), пожелает дать нам полезные учреждения, то он должен будет, приняв некоторые предосторожности, поискать в своей счастливой памяти: чем мы были некогда, для того, чтобы судить о том, что нам подходит».

Другими словами, Талейран рабски повторяет здесь все то, что на все лады твердили как раз в эти дни и князь Полиньяк и граф д'Артуа, и вся эта неистовая, изголодавшаяся в долгом изгнании обозленная свора эмигрантов, вернувшихся в обозе неприятеля во Францию: они допускали еще в своих политических проектах существование в будущем старых дореволюционных совещательных учреждений, вроде нотаблей или генеральных штатов, но никак не ограничивающую власть короля конституцию. И вот Талейран, считавший и всегда называвший эту аристократическую компанию ничего не понимающими, тупыми болтунами, послушно повторяет эти курьезные, нелепые, допотопные советы, все эти химеры людей, для которых двадцать пять лет революции и империи были каким-то нереальным сновидением, не больше. Много масок носил последовательно одну за другой князь Талейран, чем угодно мог прикинуться, но притвориться глупцом ему было труднее всего. Это письмо

к Александру — лучшее доказательство: у него даже ясных, точных слов не хватает, чтобы выразить эти сумбурные, пошло глупые, чужие мысли, так легко укладывавшиеся в просторной пустой голове Карла д'Артуа и которые все-таки с большим трудом и усилиями втискивались в голову Талейрана, привыкшую к иному содержанию.

Талейран знал, что Александр общается в Париже с многими, в том числе и с наполеоновскими маршалами, которые после отречения императора и с его особого разрешения остались на службе. Александр узнал очень многое о том, что делается при новом королевском дворе и как успешно роялисты типа князя Полиньяка роют сами под собой яму. Да и Талейран лично ему о многом докладывал, когда искал всемогущей *протекции царя. Но это было в марте — апреле — мае, а в середине июня пришлось, живя с волками, завыть по волчьи.* Ничего не поделаешь. «Государь, я согласен, что в Париже вы видели много недовольных», но чем это объясняется, помимо слишком быстрых перемен? Очень просто: «Париж — город жалованья», чиновничьей заработной платы (les appointements) [21]. Даже от тирана Бонапарта Париж отошел тогда, когда перестали платить жалованье. А если бы он продолжал оплачивать видных чиновников, то и сидел бы дальше. Вся мелкая пошлость этих «объяснений» тем более курьезна, что по существу тут преподносится чистейшая фантазия: жалованье чиновникам платили исправно до конца империи, а краткий перерыв был именно обусловлен тем, что в критические дни, когда много казенной золотой монеты уже ушло от Наполеона и еще не дошло до Бурбонов, часть ее заблудилась по дороге в обширных карманах князя Талейрана.

Насквозь фальшивое и по содержанию и по тону письмо Талейрана к Александру кончается одной из тех выходок, которые ему никогда не удавались и к которым (курьезно отметить это) он прибегал особенно охотно, обращаясь к Александру, подозрительность которого он недооценивал, а сентиментальность безмерно преувеличивал и поэтому всегда на этом деле срывался: мы имеем в виду его якобы «внезапные», а на самом деле весьма обдуманные обращения к чувствам царя, к предполагаемым у него религиозным и монархическим идеалам. «Государь! Пусть ваша благородная душа сумеет запастись небольшим терпением. Позвольте мне, настоящему доброму французу, каким я являюсь, просить у вас разрешения сохранить *старинный навык* любви к нашим королям. Ведь не вам отказаться понять влияние, которое оказывает это чувство на великий народ!» [22] Другими словами: пусть Александр поверит, что французский народ столь же патриархально любит своих Бурбонов, как русский народ «любит» своих царей. А если так, то и с конституционными гарантиями можно не торопиться!

Конечно, Талейран не мог думать, что всей этой фальшиво-патетической шумихой он убедит в чем-нибудь Александра. Но ему ведь важно было не это; существенно было перед отъездом на конгресс в Вену укрепить свои фонды при дворе Людовика XVIII в Париже, где, как он знал, уже ведется против него сильный подкоп со стороны крайних роялистов. Этого он частично и достиг. По крайней мере он мог собираться на конгресс, не боясь внезапной отставки.

Но Талейран знает, что все-таки в письме к Александру нельзя писать такие вещи, которые с полным участием и доверием проглотит и даже не поморщится какой-нибудь Карл д'Артуа. Поэтому, наговорив эти пошлости о страстной любви французского народа к Бурбонам, Талейран вдруг на один-полтора абзаца в письме снова становится либералом: «Впрочем, либеральные принципы подвигаются с духом века, и придется к ним прийти, и если ваше величество захотите поверить моему слову, то я вам обещаю, что мы будем иметь монархию, связанную со свободой...» [23]

В умении отпускать пустейшие, ни к чему и никого не обязывающие фразы князь Беневентский не знал соперников.

9

Напечатанные в 1919—1920 гг. Шарлем Дюпюи неизданные донесения как из прусского, так и из австрийского государственных архивов вполне единодушно утверждают один и тот же факт: с середины июня и почти до самого отъезда Талейрана в Вену Талейран старается сблизиться с Россией, а фактический первый министр и любимец Людовика XVIII, граф Блака́, идет, напротив, на сближение с Австрией и Англией. «Князь Беневентский, по-видимому, сближается с русским послом все более и более... Он, может быть, ищет в своей позиции относительно России не только средства достигнуть своих целей, но и средства удержаться у власти», так как его влияние в министерстве слабеет,— так пишет в Берлин прусский представитель граф фон Гольтц [24].

То же самое подтверждает и австрийский агент Бомбелль в донесении Меттерниху от 14 июня. Бомбелль был принят Людовиком XVIII, который так же, как его любимец и министр граф Блака́, стоит за сближение Франции с Австрией. С другой стороны, «влияние князя Беневентского в данный момент не существует вовсе. Он даже часто жалуется на это, проявляя при этом отсутствие ловкости. Хорошо информированные лица тем не менее думают, что он останется у власти и что король,

сильно ограничивая его сферу деятельности, слишком отдает справедливость его действительным талантам, чтобы вовсе без него обойтись»,— так доносил Бомбелль Меттерниху [25].

Вообще, когда приехал новый король и Бурбоны и их приверженцы стали прочно оседать на месте, устраиваться и осматриваться, положение Талейрана оказалось не из очень приятных. Правда, за его последние, мартовско-апрельские, заслуги он мог выпросить себе у Людовика XVIII портфель министра иностранных дел, а своим близким — разные назначения и подачки. К тому же за время, когда он был (до приезда Бурбонов) главой правительства, он успел выискать в ведомственных архивах и документы о казни герцога Энгиенского, и об испанской войне, и целый ряд других компрометирующих его бумаг и благополучно их уничтожить; успел также разными путями заполучить очень много казенной золотой монеты. Мне лично не кажется убедительной приводимая Баррасом цифра взяток и хищений Талейрана, совершенных им в 1814 г. в связи с реставрацией Бурбонов (или за реставрацию Бурбонов): двадцать восемь миллионов франков. Баррас был врагом Талейрана, да у него самого вообще глаза на взятки были завидущие. Во всяком случае миллионы новые были за эти дни приобретены (хоть и не двадцать восемь) и благополучно присоединились к прежним основным миллионам, оставшимся от службы Талейрана при Наполеоне. Кроме денег, сохранил он и владетельное княжество Беневентское (в Италии), пожалованное ему Наполеоном, и все знаки отличия, полученные от Наполеона. Все это было ему приятно.

Но неприятно было, что очень уж скоро и новый король и вся бурбонская семья, а за ними и придворные и новые сановники стали обнаруживать признаки более нежели отрицательного отношения к моральным качествам Талейрана и, казалось, совсем не желали считать его главным автором реставрации старой династии и своим благодетелем. Герцог и герцогиня Ангулемские (т. е. племянник и племянница короля) обнаруживали даже нечто очень похожее на гадливость. Сам король был скептичен и насмешлив, умел (и хотел) говорить неприятности. Довольно резок бывал и брат короля, Карл д'Артуа, впоследствии Карл X.

Наконец, среди придворной аристократии фонды князя Талейрана тоже стояли не очень высоко. Эта аристократия состояла из старой, в значительной мере эмигрантской, части дворянства, вернувшейся с Бурбонами, и новой, наполеоновской, за которой остались все ее титулы, данные императором.

И те и другие тайно ненавидели и презирали Талейрана. Старые аристократы не прощали ему его религиозного и политического отступничества в начале революции, отнятия церков-

ных имуществ, антипапской позиции в вопросе о присяге духовенства, всего его политического поведения в 1789—1792 гг. Возмущались его участием в деле герцога Энгиенского, его деятельной дипломатической помощью полиции в гонениях на аристократов-эмигрантов, ютившихся в чужих краях. С другой же стороны, наполеоновские герцоги, графы и маршалы гордились тем, что они, за немногими исключениями, присягнули Бурбонам *лишь после отречения императора и сделали это только по прямому разрешению отрекшегося Наполеона,* а на Талейрана, Фуше, Мармона они смотрели, как на позорных изменников, предавших Наполеона, вонзивших кинжал ему в спину как раз тогда, когда он боролся изо всех сил против всей Европы, отстаивая целость французской территории. Наконец, те и другие не только знали о свободном обращении Талейрана с казенными деньгами и о бесчисленных и непрерывных взятках, но и преувеличивали полученные им суммы. Они повторяли словцо, неизвестно кем пущенное и в начале 1815 г. даже попавшее в печать (в газету «Le Nain jaune»): «Князь Талейран оттого так богат, что он всегда продавал всех тех, кто его покупал». Эта двуединая торговая операция, лежавшая в основе всех финансовых оборотов Талейрана в течение всего его земного странствия, очень усердно отмечалась не только в салонных разговорах за спиной заинтересованного лица, но и в прессе.

Тут впервые после революции Талейран почувствовал все для себя лично неудобства хотя бы такой ограниченной свободы печати, какая стала возможна в 1814 г. при установлении конституционной хартии. Еще при Директории иной раз приходилось терпеть дерзости журналистов, но зато при Наполеоне, с 1799 по 1814 г., не только о таких особах, как Талейран, но даже о поварах и лакеях таких сановников никто не осмелился бы ничего неодобрительного напечатать. Но в конце концов все эти колкости и неприятности князь Талейран мог до поры до времени игнорировать. Он был нужен, он был незаменим, и Бурбоны хотели его использовать полностью. Он снова шел в гору. Его назначили первым министром, с оставлением в его руках министерства иностранных дел. Наконец, осенью его послали в качестве представителя Франции на Венский конгресс.

Новые документы из Венского государственного архива, ставшие доступными французам и англичанам лишь после разгрома Австрии в конце первой мировой войны, в 1918 г. напечатаны, к большой досаде, лишь в укороченном виде Шарлем Дюпюи в его издании, куда они вкраплены в беспорядке. Они дают кое в чем новое освещение обстановки деятельности Талейрана в Вене по подготовке тайного договора 3 января 1815 г. Оказывается, что королевская семья (Людовик XVIII и граф

д'Артуа) и министр Блака́ не переставали поддерживать секретные сношения с агентом Меттерниха Бомбеллем, остававшимся в Париже. Эти сношения были обусловлены прежде всего тем, что Бурбоны не очень доверяли своему искусному, но не весьма равнодушному к русскому золоту представителю в Вене, и их позиция, определенно враждебная Александру и очень поэтому дружественная Австрии, обусловила и ускорила сближение Талейрана с Меттернихом и Кэстльри.

А Меттерних еще в сентябре 1814 г., в начале конгресса, опасался сближения Талейрана с Александром, и Бомбелль из Парижа должен был его успокаивать. «Я не сомневаюсь,— писал Бомбелль австрийскому канцлеру,— что вы с ним (Талейраном— *Е. Т.*) справитесь, несмотря на то, что найдете его очень злонамеренным (beaucoup de mauvaise volonté)... Я думаю, что интересы Франции и ее короля всегда будут для г. Беневентского (M. de Bénévent) вопросом второстепенным и что интересы г-на Талейрана, несомненно, будут ближе его сердцу»,— иронически пишет Бомбелль 15 сентября 1814 г. из Парижа [26].

В биографии Талейрана открылась новая страница, и притом такая, которая имеет огромный исторический интерес, еще больший, чем вся его предшествовавшая деятельность.

Глава V

ТАЛЕЙРАН НА ВЕНСКОМ КОНГРЕССЕ. СТО ДНЕЙ

(Сентябрь 1814 г.— июнь 1815 г.)

1

Талейрану приходилось выступать в Вене в 1814—1815 гг. против таких противников, которые, за вычетом Меттерниха и Александра, не возвышались над уровнем дипломатической обыденщины и могли в лучшем случае считаться «средними служебными полезностями». Кэстльри, например, и других английских дипломатов, как и прусских представителей, он мог нисколько не опасаться. Эти люди были свидетелями и даже участниками величайших событий и сплошь и рядом не понимали их истинного характера и внутреннего значения. Они все еще плелись в традиционных колеях доброго, старого, изящного XVIII века, который вел, по тогдашнему выражению, «кабинетные войны», признавал лишь «кабинетную дипломатию», менял, продавал, перепродавал «души» подданных, подобно помещикам в крепостных деревнях (и даже так и назывались эти обмениваемые верноподданные в дипломатических документах Венского конгресса «душами», les âmes). С народными стремлениями, привычками, национальными чувствами и т. д. на Венском конгрессе не считались ни в малейшей степени. «Народ безмолвствовал». Талейрану тоже ни в малейшей степени не казалось это ненормальным, и в этом отношении между ним, Меттернихом и Александром нельзя усмотреть отличий.

В свое время Вильяма Питта Младшего, который, однако, несколькими головами был выше своих преемников, упрекали его критики в том, что он в борьбе с Францией был загипнотизирован местом, географическим пунктом, с которым смолоду боролся, и проглядел смену людей на этом месте. Он не заметил, что на том месте, в том самом Париже, где так долго сменяли друг друга и говорили от имени Франции элегантные и жеманные пудреные старорежимные щеголи версальского двора, стоит перед ним уже не пудреный щеголь, а Чингис-хан

и что речь идет уже не о прирезках и отрезках земель в Индии и не о правах на ловлю трески около Ньюфаундленда, но о существовании Английского королевства.

Теперь, в 1814 г., этот Чингис-хан был только что низвергнут после отчаяннейших усилий всей Европы, но государственные люди, съехавшиеся осенью 1814 г. в Вене, чтобы установить новое политическое перераспределение земель и народов, все-таки не очень понимали исторический смысл истекшего кровавого двадцатипятилетия. Средний дипломат, средний политик Венского конгресса, подобно большинству дворянского класса тогдашней Европы, склонен был думать, что революция и Наполеон были внезапно налетевшими шквалами, которые, к счастью, окончились, и теперь следует, убрав обломки, починив повреждения, зажить по-прежнему.

Лишь сравнительно немногие понимали, что полная реставрация главного, т. е. *социально-экономического старого режима*, не удастся ни во Франции, где его разрушила революция, ни в тех странах, где ему нанес страшные удары Наполеон, и что поэтому не может удаться и полная реставрация политическая или бытовая. Из реакционеров это понимали и с горечью отмечали лишь единичные мыслители. Напрасно Людовик XVIII говорит, что он воссел на прародительский престол: он воссел и сидит на троне Бонапарта, а прародительский трон уже невозможен,— со скорбной иронией говорил Жозеф де Местр, указывая на то, что во Франции весь социальный, административный, бытовой строй остался в том виде, как существовал при Наполеоне, только наверху вместо императора сидит король и имеется конституция. В области международных отношений иллюзий было еще больше, с просыпающимися в буржуазии «национальными» стремлениями считаться никто не желал, а к совершенно бесцеремонному обращению с народами и целыми державами, к купле-продаже-обмену в этой области, ко всем этим привычкам старорежимной дипломатии прибавились еще воспоминания о только что пережитой наполеоновской эпопее. Если народы Европы терпели и молчали при том обхождении с ними, какое практиковал Наполеон, то стоит ли и впредь считаться с их стремлениями и упованиями?

Из идеи «легитимности», которую приняла и не могла, конечно, не принять вся абсолютистская реакционная Европа и правящая в Англии аристократия, Талейран сделал аргумент при отстаивании интересов Франции, которая могла при сложившихся условиях только выиграть от возвращения ей старого великодержавного положения, старых границ, потому что отстаивать военной силой она была бы не в состоянии. И та же идея «легитимности», идея возвращения к государственным границам дореволюционных времен, помогла ему отстоять Сак-

сонию от присоединения к Пруссии, что было так важно для Франции.

Талейран проявил на Венском конгрессе в полном блеске свои дипломатические способности. Он всю остальную жизнь всегда указывал на Венский конгресс, как на то место, где он упорно отстаивал — и отстоял — интересы своего отечества от целого полчища врагов, и притом в самых трудных, казалось безнадежных, обстоятельствах, в каких только может очутиться дипломат: не имея за собой в тот момент никакой реальной силы. Франция была разбита, истощена долгими и кровавыми войнами, подверглась только что нашествию.

Против Франции на конгрессе, как и прежде на поле битвы, стояла коалиция всех первоклассных держав: Россия, Пруссия, Австрия, Англия. Если бы этим державам удалось сохранить на конгрессе хоть какое-нибудь единство действий, Талейрану пришлось бы всецело подчиниться. Но интересы этих держав были противоречивы, и для действий Талейрана существовала реальная почва.

С первого дня приезда своего в сентябре 1814 г. в Вену Талейран принялся ткать сложную и тончайшую сеть интриг, направленных к тому, чтобы вооружить одних противников Франции против других ее противников и ускорить и без того неизбежный распад антифранцузской коалиции. Первые шаги были трудны. И репутация князя еще осложняла его положение. Не в общих оценках личности князя Талейрана было дело, не в том, что его на самом конгрессе называли (конечно, не в глаза) наибольшей канальей всего столетия (la plus grande canaille du siècle). И не то было существенно, что богомольная, ханжеская католическая Вена со всеми этими съехавшимися монархами и правителями, для которых мистицизм в тот момент казался наилучшим противоядием против революции, презирала расстриженного и в свое время отлученного от церкви епископа Отенского, который предал и продал католицизм революционерам. Даже и не то было самое важное, что его, несмотря на все его ухищрения, упорно считали убийцей герцога Энгиенского. Раздражало в нем другое: ведь все эти государи и министры именно с Талейраном имели дело в течение всей первой половины наполеоновского царствования. Именно он всегда после наполеоновских побед оформлял территориальные и денежные ограбления побежденных, согласно приказам и директивам Наполеона. Никогда, ни единого раза он не сделал даже и попытки хоть немного удержать Наполеона и от начальных конфликтов, и от дипломатической агрессии, и от войн, и от конечных завоеваний. Самые высокомерные, вызывающие ноты, провоцировавшие войну, писал именно он; самые оскорбительные и ядовитые бумаги при любых дипломатических

столкновениях сочинял именно он — вроде, например, вышеупомянутой отповеди в 1804 г. императору Александру по поводу казни герцога Энгиенского с прямым указанием на убийство Павла и намеком на участие Александра в этом деле.

Талейран был послушным и искусным пером Наполеона, и это перо ранило очень многих из тех, которые теперь съехались в Вене. Впоследствии между прочим и в своих мемуарах, Талейран очень прочувствованно и с укоризненным покачиванием головы поминал всегда о том, что Наполеон не щадил самолюбия побежденных, топтал их человеческое достоинство и т. д. Он совершенно прав, но забывает прибавить, что именно он же сам и был исправнейшим и неукоснительным выполнителем императорской воли. Теперь представители так долго унижаемых и беспощадно эксплуатируемых держав и дипломаты, помнившие жестокие уколы, молчаливо ими переносимые столько лет, были лицом к лицу с этим высокомерным и лукавым вельможей, с этим «письмоводителем тирана», иго которого, наконец, удалось свергнуть.

Но к общему удивлению этот «письмоводитель тирана» держал себя на конгрессе так, как если бы он был министром не побежденной, а победившей страны, и недаром раздраженный Александр I сказал о нем тогда же в Вене: «Талейран и тут разыгрывает министра Людовика XIV». Талейран поистине артистически вел свою труднейшую, почти безнадежную вначале игру и ускорил распад антифранцузской коалиции.

Этот дипломатический успех повлек за собой и другой успех, не меньший. Пруссия претендовала на получение всех владений саксонского короля, которого соединенная против Наполеона Европа собиралась наказать за его союз с Наполеоном. Такое усиление Пруссии Талейран ни за что не хотел допустить и не допустил. Пруссия получила лишь наименее выгодную часть саксонской территории. Удержать Польшу от «поглощения» Россией он не мог, несмотря на все усилия. За Францией не только осталось все, что она, благодаря поддержке России, удержала по Парижскому миру, но Талейран не допустил даже и постановки в Вене вопроса о пунктах, которые в этой области некоторым державам очень хотелось бы пересмотреть. Талейран выдвинул «принцип легитимизма», как такой, на основе которого отныне должно быть построено все международное право. Этот «принцип легитимизма» должен был прочно обеспечить Францию в тех границах, которые она имела до начала революционных и наполеоновских войн, и, конечно, этот принцип был в данной обстановке, повторяем, французам выгоден, так как силы для победоносного сопротивления в случае немедленных новых войн они в тот момент не имели.

Отстояв — с успехом — интересы *буржуазной новой Франции* против феодальной Европы, Талейран со свойственной ему находчивостью пустил в ход для этого дела как раз архифеодальную, архимонархическую аргументацию: «принцип легитимизма». Звериные клыки прусских претендентов, уже готовые растерзать ненавистную «страну революции», не получили своей добычи. Расчленить побежденную и ослабевшую Францию не удалось ни в Париже, ни в Вене. Тут помогла Россия. Однако тогда же, на Венском конгрессе, Талейран окончательно убедился, что если обмануть Кэстльри и даже Меттерниха, не говоря уже о Фридрихе-Вильгельме III прусском,— дело хоть нелегкое, но возможное, то обмануть Александра, которого сам Наполеон называл «хитрым византийцем», несравненно затруднительнее. Талейран наперед мог знать, что Александр воспользуется потом этим же «принципом легитимизма», если попытается в иных формах заменить павшую наполеоновскую гегемонию над Европой русской гегемонией, но старый дипломат в то же время отдавал себе полный отчет и в том, что Франция от этих возможных поползновений потеряет по сути дела, уже вследствие географических и иных условий, гораздо меньше, чем Центральная Европа, чем та же Пруссия, Австрия и другие германские страны. Все-таки хотел он (и очень хотел) не отдавать Польшу России, но тут потерпел полное поражение.

И тут же, на Венском конгрессе, Талейран сделал смелую и удавшуюся попытку: отколоть от этой, всегда наиболее опасной для Франции, Центральной Европы Австрию. Ведь против кого был в первую голову направлен тайный январский англо-франко-австрийский договор 1815 г., сочиненный и осуществленный в Вене Талейраном? Конечно, против России и Пруссии. Но кто от него фактически пострадал? Не Россия, а Пруссия. Александр I хотел получить Польшу — и получил Польшу, и никакие договоры, ни тайные, ни явные, как бы ни были они заострены против него, не заставили его очистить Варшаву. А вот Пруссия действительно потеряла, и именно потеряла ту компенсацию, которую уже совсем готова была получить с полного согласия России: Саксонию. «Проблема Центральной Европы», т. е. проблема борьбы против усиления Пруссии,— вековая проблема французской дипломатии,— была разрешена на несколько поколений вперед. Нужны были сначала губительные ошибки Наполеона III в 1866—1870 гг., а потом сознательное предательство французских национальных интересов из-за шкурных соображений французской капиталистической верхушки уже в наши времена, в годы гитлеровщины — 1937, 1938 и 1939 гг., чтобы таким образом в два приема подорвать дело, сделанное в 1814—1815 гг. в самых трудных условиях, в каких когда-либо находилась Франция, и чтобы

подготовить во имя классовых интересов крупной буржуазии позорную капитуляцию несчастной страны в июне 1940 г.

Такова была общая схема деятельности Талейрана в Вене в 1814—1815 гг. Мы предпослали эту общую схему достижений и главных действий Талейрана в Вене, чтобы читателю легче было разобраться в этом сложном материале. Теперь рассмотрим, останавливаясь на наиболее характерных моментах, как рисуются нам главные победы и поражения французского министра в хронологическом порядке, в каком развертывалась эта дипломатическая борьба.

2

23 сентября 1814 г. французская делегация прибыла в Вену.

Программа действий у Талейрана была уже вполне выработана, но он твердо знал, что его положение будет очень нелегкое: лично презираемый представитель побежденной державы...

Талейран выставил устно («verbalement») уже 30 сентября следующие три основных требования: во-первых, Франция признает лишь те решения конгресса, которые будут приняты на пленарных заседаниях конгресса, с участием всех членов конгресса. Во-вторых, Франция желает, чтобы Польша была либо возвращена к тому положению, в каком была в 1805 г., либо была бы восстановлена в том виде, как была до первого раздела в 1772 г. В-третьих, Франция не согласится ни на расчленение, ни, тем менее, на уничтожение самостоятельности Саксонии [1]. Одновременно Талейран начал агитацию среди представителей малых держав, выставляя себя борцом за их права против засилия великих держав: России, Австрии, Англии и Пруссии. Но уже очень скоро он наметил ближайшую линию поведения: сближаться с англичанами и с Австрией против России и Пруссии.

Обширная сеть интриг против России, раскинутая Талейраном с первых же дней его прибытия в Вену, не осталась, конечно, незамеченной (тоже с первых дней). Австрийская тайная полиция уже 13 октября (1814 г.) имела возможность донести императору Францу о том, как проболтался граф де Латур дю Пэн, один из свиты французского посла: «Франция желает лишь противовеса против России. Соединялось же христианство против мусульман несколько веков тому назад, почему же ему не соединиться против калмыков, башкир и северных варваров... Мы не позволим, чтобы над нами насмехались. У нас есть 400 000 человек, которые готовы к действию по первому свистку. Мы собираемся ежедневно в 4 часа утра (sic!) у Талейрана, и он дает каждому из нас *тему*» [2].

И сам князь не забывал также своей личной темы: «Находясь у князя де Линь, Талейран говорил против русских и высказывал опасение, которое ему внушают их успехи. Посреди его речи докладывают о прибытии одного русского генерала. Талейран сейчас же меняет тему разговора и распространяется в похвалах России. Князь де Линь говорит ему вполголоса: сознайтесь, мой милый, что вы настоящий Тартюф. На что Талейран отвечает: я все могу говорить, так как вы меня считаете болтуном» [3].

Бесчисленная тьма шпионов, соглядатаев и других агентов, австрийских и неавстрийских, реяла вокруг Талейрана и его квартиры в доме французского посольства с первого же момента его прибытия в Вену.

Агент Шмидт жалуется своему начальнику полицей-президенту барону Гагеру на трудный характер французского делегата: «Кто хоть немного знает характер Талейрана и, кроме того, даст себе труд отдать себе отчет в месторасположении его дома, сразу же поймет трудности, которые представляет установление серьезного наблюдения за князем и за тем, что он делает. Сейчас его дом — своего рода крепость, в которой он держит гарнизон, состоящий только из тех людей, в которых он уверен. Несмотря на это, мы кончили тем, что могли перехватить несколько бумаг из его бюро. А, кроме того, удалось подкупить старого слугу, который уже был на службе при трех французских послах, так же, как одного сторожа или канцелярского служителя, благодаря которому можно было достать некоторые разорванные бумаги, найденные в самом письменном столе Талейрана» [4].

На первых порах Талейрану приходилось иной раз нарываться на язвительные замечания. «Не побежденному принадлежит право что-либо решать»,— так ему, по слухам, кто-то заметил (в донесении агента барону Гагеру не сказано — кто именно) 15 октября, когда князь вздумал возражать против присоединения Бельгии к Голландии. Но именно в эти первые, трудные для него дни конгресса Талейран усиленно старался «не спускать тон» (Rapport à Hager. Vienne, le 15 octobre). Талейран всячески старался побудить Кэстльри к большей энергии в «саксонском деле» и сам усвоил себе некий «диктаторский» тон при сношениях с ним по этому делу. Этот тон, конечно, относился не к Кэстльри, а к тем, кому Кэстльри покажет это письмо [5].

«Талейран и Кэстльри снова в хороших отношениях. Талейран по-прежнему очень раздражен против русских и пруссаков»,— пишет в своих заметках барон Гагер 16 октября 1814 г. [6]

Доживал тогда (уже давно в отставке) свой долгий век в Вене старый австрийский фельдмаршал и дипломат (бельгиец

родом), знаменитый в свое время князь де Линь, отчасти друг, отчасти клеврет Екатерины II. Он с интересом старого профессионала наблюдал людей и дела конгресса.

Князь де Линь сказал Талейрану, едва только тот прибыл в Вену: «Вы теперь играете большую роль, вы — французский король, а Людовик XVIII должен танцевать по вашему желанию, иначе ему худо придется». Талейран ответил: «Князь, вот уже семь лет, как Бонапарт начал меня подозревать». «Как,— воскликнул де Линь,— всего семь лет! А я вас вот уже двадцать лет подозреваю» [7]. Остроумный де Линь выразил этими словами общее мнение о Талейране, как о деятеле, вся жизнь которого была цепью предательств.

Талейрану приходилось в начале его пребывания в Вене выслушивать подобные сомнительные комплименты на каждом шагу.

Но на французском языке существует немало афоризмов, соответствующих русскому присловью «брань на вороту не виснет», и князь Талейран вскоре увидел, что он не всегда будет в Вене совсем одинок.

Талейран мог заметить уже в первые дни своего пребывания в Вене, что Россия на конгрессе довольно изолирована; даже Пруссия, ждавшая от Александра великих и богатых милостей, боялась России. Это подтверждают и секретные агенты Меттерниха.

Пруссия, как всегда, была тайно враждебна России, несмотря на то, что политически оказалась так тесно связанной с ней... «Пруссия, видимо так связанная с Россией, очень ею на самом деле недовольна, потому что Россия питает ужасающие мысли о господстве. Если бы России удалось овладеть Польшей, то она оказалась бы в самом сердце прусских владений, как только этого захотела бы, и очутилась бы в Берлине раньше, чем Пруссия могла бы собрать необходимые силы, разбросанные по восточной Пруссии... Поэтому прусские министры хотели бы не иного чего, как тесного и сердечного союза с Австрией, чтобы этим помешать увеличению России и по крайней мере помешать возрастанию общей опасности». Вообще же, если бы дело дошло до войны между Россией и Австрией, то Пруссия всегда будет на стороне Австрии [8].

Таковы были эти «вернейшие друзья» России на Венском конгрессе, для спасения которых русские солдаты пролили столько крови. Нечего и говорить о тайной (а вскоре и вполне откровенной) враждебности самого Меттерниха. Он окружил царя и его свиту целой шпионской сетью.

Слежка за русскими была организована с особой полнотой и законченностью. С огорчением тайный агент доносит своему непосредственному шефу барону Гагеру 10 октября о внушаю-

щей досаду подозрительности генерала Жомини (из свиты Александра): «Генерал Жомини, который запирает на ключ свои бумаги, велел переделать все замки и уносит с собой все ключи. Было бы трудно и опасно в настоящий момент пытаться открыть его ящики. Все же можно попробовать, когда он выздоровеет и снова выйдет из дому, и таким путем можно будет на несколько часов извлечь одну из его тетрадей. Уже и сейчас сняли отпечаток с его новых замков» [9]. А русские беспокоили Австрию не меньше, чем Талейрана и чем англичан. Зрел дипломатический заговор против России.

Агенты секретной службы доносили Гагеру 11 октября: «Русские уже разговаривают как владыки всего света. Я знаю лицо, которому один из их министров сказал, что их цель сохранить преобладание, которое они приобрели столькими жертвами, усилиями и успехами... Александр, уезжая из Петербурга в Вену, сказал: я еду, потому что этого хотят, но я не сделаю ни больше, ни меньше того, что я хочу» [10].

3

Агитация и интриги Талейрана против России имели ближайшей целью распространение среди великих держав тревоги по поводу будто бы грозящей мировой гегемонии русского императора. Герцог Дальберг, один из членов французской делегации на конгрессе, повторял всем, кто хотел его слушать, то, что он уже в самом начале октября заявил австрийскому полицейпрезиденту барону Гагеру, доверенному лицу императора Франца: «Талейрана мистифицируют. Ему сказали, что уже существует соглашение о многих вещах, а когда Талейран пожелал узнать, в чем дело, ему ответили, что это секрет, и что условились сказать только в известное время... Мы знаем очень хорошо, в чем дело. Это — герцогство Варшавское, это — польская корона, которую уступили России; это — Саксония, которую уступили Пруссии. Они знают хорошо, что Талейран, Лабрадор (один из французских делегатов — *Е. Т.*) и я — мы садимся в почтовый дилижанс и возвращаемся в Париж в тот момент, как нам откроют этот секрет. Мы ничего не понимаем в политике г. Меттерниха. Если он отдает польскую корону России, то меньше чем через пятнадцать лет Россия выгонит турок из Европы и Россия станет для свободы Европы более опасной, чем когда-либо был Наполеон. Пруссия отдаст себя России, быть может, вследствие своего географического положения. Но Австрия, вместо того чтобы содействовать и работать на пользу русского преобладания, почему Австрия не стремится вполне искренно к тому, чтобы воспротивиться этому колоссу, который раздавит Австрию и другие державы?» [11].

Этим «угрозам» французской делегации покинуть конгресс мало кто верил, и никого они не пугали. Совсем иначе воспринимались угрозы Александра, что если конгресс не будет идти в желательном для России направлении, то он, император, может быть, и уедет в Петербург [12]. А требовал Александр именно того, чего не желал бы ему уступить Талейран: Польши. Неравной была борьба. Талейран лгал напропалую, направо и налево, сегодня говоря, что у французов наготове армия в 200 000 человек [13], а завтра, что у них уже целых 400 000.

Стендаль, при всем своем скептицизме, поверил легенде, что в самом деле именно Талейран («человек самого живого ума и самых низких страстей»), искусно распустив на Венском конгрессе через своего агента, генерала Ринара, слух о том, будто бы Франция имеет двухсоттысячную армию, этой «превосходной мистификацией» спас Саксонию [14]. Ничего подобного не было. На конгрессе никто этому слуху не верил. Спасло Саксонию нежелание Александра энергично отстаивать прусские интересы, после того как сам он «благополучно» получил Польшу.

Талейран, конечно, изо всех сил старался с первых же дней конгресса делать вид, будто Франция вовсе не так слаба, как думают. «Французская делегация решилась занять на конгрессе самую энергичную позицию. Она приготовила три ноты, которые и представит на первом же заседании конгресса: в одной Франция протестует против присоединения Бельгии к Голландии, во второй излагает свои воззрения на устройство Германии, причем южная Германия была бы под покровительством Австрии, а северная — под покровительством Пруссии; третья же нота имеет отношение к Польше». Но сколько бы слухов ни пускал Талейран со своей свитой о происходящей якобы концентрации французских войск и прочее, никто этому не верил и никто не пугался. «Однако склонны думать, что Талейран усиливает свой голос (grossit la voix) только затем, чтобы поднять престиж своего короля и своей страны, но что он думает так же мало, как и его государь, пустить в ход силу, что не обещало бы ничего хорошего. Армия не привязана к новому режиму (Бурбонов — *Е. Т.*), и в ее рядах много сторонников Наполеона» [15].

Уже 3 октября австрийские секретные агенты знали, что Талейран преувеличил свои умственные силы и недооценил Александра, когда вздумал и его пугать войной французов против России. «Хорошо, вы будете иметь войну», —сказал царь, и на это французский дипломат был в состоянии возразить только словами, которые не могли иметь ни малейшего влияния на его собеседника: «Государь, вы потеряете вашу славу миротворца всего света, единственную славу, на которую

вы претендовали в Париже»[16]. Столь возвышенные речи из уст человека, которому Александр долгие годы платил звонкой монетой поштучно за систематические шпионские сообщения о Наполеоне, конечно, никак не могли произвести на царя назидательного действия. Талейран, как увидим, ушел с первой аудиенции с тем же, с чем пришел.

Гумбольдт, прусский уполномоченный, сказал об Александре: «Русский император фальшив и упрям, и, ведя с ним переговоры, никогда нельзя принять достаточно предосторожностей»[17]. Гумбольдт несравненно глубже понял Александра, чем Талейран. Это вполне ясно доказала первая большая аудиенция Талейрана у царя.

Первая встреча Александра с Талейраном в Вене произошла 3 октября, на аудиенции, которую Александр дал Талейрану в присутствии Нессельроде. После нескольких вопросов о положении вещей во Франции Александр перешел к двум, тесно между собой связанным проблемам, которые царя больше всего интересовали: к Польше и Саксонии. «Я удержу то, что я занимаю»,— заявил Александр. «Ваше величество пожелаете удержать лишь то, что законно вам принадлежит».— «Я — в согласии с великими державами».— «Я не знаю, считаете ли, ваше величество, Францию в числе этих держав?» — «Да, конечно, но если вы не желаете, чтобы каждый нашел то, что ему подходит (ses convenances), так на что же вы претендуете?» — «Для меня,— возразил Талейран,— прежде всего — право, а уж потом то, что подходит».— «То, что нужно для Европы, и составляет право».— «Этот язык, государь,— не ваш язык, он вам чужд и ваше сердце его отвергает!» — «Нет, я повторю: то, что нужно Европе, и есть право». «Тогда,— продолжает свое донесение Людовику XVIII Талейран,— я оборотился к гипсовому панно, у которого я стоял, прислонился к нему головой и, ударив рукой по стене, я воскликнул: „Европа! Несчастная Европа!“ Повернувшись к императору, я сказал: „Должно ли будет сказать, что вы погубили Европу?“ Он мне ответил: „Скорее война, чем я откажусь, от того, что я занял“. Тогда я опустил руки и в позе удрученного, но решившегося человека, которая как бы говорила ему: вина будет не моя,— я хранил молчание». Князь Талейран редко обнаруживал на своем веку отсутствие чувства смешного, но на сей раз явно обнаружил. Он, продававший за деньги долгий ряд лет своего «благодетеля» Наполеона Александру, получавший вознаграждение за это систематическое предательство через Нессельроде, теперь он, перед лицом этого самого Александра и в присутствии этого самого Нессельроде, ломает глупейшую комедию расстроенных благородных чувств, призывает царя к велениям суровой

морали, стукается лбом о гипсовые украшения, в мнимой неисходной скорби опускает руки, сокрушается с театральным отчаянием о «несчастной Европе» и полагает, очевидно, что этим курьезным кривляньем он может расстрогать Александра, знающего его как отъявленного вора, взяточника и общепризнанного предателя... Нессельроде стоял тут же, наблюдая, как получавший годы через его руки свою тайную заработную плату шпион русского правительства (кличка: «Анна Ивановна») ломается и кривляется, изображая мнимую скорбь и фальсифицированное отчаяние, и явно при этом надеется, что из внимания к огорчениям его доблестной и чистой души Александр, так и быть, откажется от Польши и выведет оттуда свои войска.

4

Талейран не скрывал своего раздражения и огорчения после этой аудиенции.

Бутягин, временно управляющий русским посольством в Париже, доносил оттуда графу Нессельроде, что, по слухам, в Париже утверждают, ссылаясь на какое-то письмо Талейрана, что он недоволен ходом дел на конгрессе [18].

23 октября 1814 г. состоялся тот второй решающий дипломатический бой Талейрана с Александром, который не только снова был проигран французским представителем, но и не мог быть не проигран им. Слишком неравны были силы, стоявшие за каждым из антагонистов. «Я в Польше, посмотрим, кто меня оттуда выгонит». Александр повторял эту фразу в Вене несколько раз и до 23 октября и после 23 октября. Что мог противопоставить ему Талейран? Ухищрения, которые показывают, что он понимал царя гораздо меньше, судил о нем несравненно поверхностнее, чем Наполеон, который, отправляя графа Нарбонна к Александру в Вильну перед началом нашествия 1812 г., предостерегал его: «Не забывайте, что вы будете говорить с человеком, хитрым в высшей степени».

Вот как излагает решающую беседу сам Талейран в донесении в Париж королю Людовику XVIII, через два дня после события [19].

Замечу, кстати, что Альбер Сорель довольно небрежно воспользовался этим документом. Во-первых, ложно утверждение Сореля, будто Александр был инициатором свидания: Талейран пишет о разных причинах, «которые заставили меня просить у него аудиенции». Во-вторых, самая аудиенция была не 22-го, а 23 октября, т. е. за день до аудиенции Меттерниха у Александра.

Начал Александр, после нескольких формальных учтивостей, так: «В Париже вы были того мнения, что необходимо

царство польское; как же случилось, что вы изменили мнение?» — «Мое мнение, государь, осталось прежним. В Париже шла речь о восстановлении всей Польши. Я хотел тогда, как я хочу и теперь, ее независимости. Но теперь речь идет совсем о другом. Вопрос подчинен определению границ, которые давали бы безопасность Австрии и Пруссии».— «Они не должны беспокоиться. А впрочем, у меня в герцогстве Варшавском двести тысяч человек, пусть же меня оттуда выгонят. Я отдал Пруссии Саксонию, Австрия на это согласна».— «Я не знаю,— возразил Талейран,— согласна ли на это Австрия. Мне бы трудно было этому поверить, до такой степени это не в ее интересах. Но даже и согласие Австрии может ли сделать Пруссию владелицей того, что принадлежит саксонскому королю?» — «Если саксонский король не отречется (от престола — *Е. Т.*), его увезут в Россию. Он там и умрет. Другой король уже умер там».— «Ваше величество позволите мне не поверить вам. Конгресс собрался не затем, чтобы видеть подобное покушение».— «Как? Покушение? Разве король Станислав не поехал в Россию? Почему бы и саксонскому королю туда не отправиться? Положение одного из них подобно положению другого. Для меня тут нет никакой разницы». Приведя эти слова, Талейран пишет королю Людовику XVIII: «У меня было слишком много для ответа. Я признаюсь вашему величеству, что я не знал, как сдержать свое негодование. Император говорил быстро. Одна из его фраз была такова: я думал, что Франция мне обязана кое-чем. Вы мне все говорите о принципах: ваше международное право для меня — ничто, я не знаю, что это такое. Как вы думаете, много ли для меня значат ваши пергаменты и все ваши трактаты?» В этом изложении выходит, что беспринципный царь никак не может возвыситься до благороднейшего, взирающего на него со скорбной укоризной праведника Талейрана. Но мы ведь знаем, с какой презрительной насмешкой дипломаты конгресса говорили о всех этих благородных выходках и моральных негодованиях прожженного плута и обманщика, вора и взяточника, сначала купленного Наполеоном, потом продавшего Наполеона. Ведь вполне ясно, что Александр именно с язвительной иронией, глядя в глаза продажному предателю, который от него лично получал взятки с 1808 г. вплоть до 1814, подчеркивал о «*ваших* трактатах», «*вашем*» международном праве и «*ваших*» пергаментах... Все эти словесные презрительные пощечины, все эти язвительные напоминания по его личному адресу Талейран силится представить, вопреки всякому вероятию, как совсем не свойственные осторожному Александру циничнейшие признания в собственной политической безнравственности, в том, будто он вообще презирает *всякое* международное право, *всякие* трактаты.

Видя, что ровно ничего от Александра в польском вопросе он не добьется, Талейран перевел разговор на то, что его интересовало гораздо больше, т. е. на «саксонскую проблему». Тут тоже дело пошло не гладко. «Для меня есть нечто выше всего — это мое слово. Я обещал Саксонию прусскому королю в тот момент, как мы соединились», —заявил царь. «Ваше величество обещали прусскому королю от девяти до десяти миллионов душ. Вы можете дать их ему, не уничтожая Саксонию». Это Талейран имел в виду свой проект «вознаграждения» Пруссии за счет мелких немецких владений. «Саксонский король изменил»,— сказал Александр. Талейран возражал. Помолчав, Александр закончил аудиенцию словами: «Прусский король будет королем Пруссии и Саксонии, как я буду русским императором и королем польским. Уступчивость, которую Франция обнаружит по отношению ко мне в этих двух вопросах, будет соразмерна с той, которую я обнаружу относительно Франции во всем, что может интересовать Францию».

Меттерних, который уже от имени Австрии возобновил на другой день (24 октября) атаку на Александра, точно так же ровно ничего не добился, как и Талейран. Мало того, между австрийским министром и русским императором произошла такая бурная озлобленная ссора, дело дошло до таких резких выражений, что оба собеседника с тех пор почти до конца конгресса старались как можно меньше встречаться. Меттерних полуоткрыто стал угрожать, а Александр совсем открыто дал понять, что нисколько этих угроз не боится. Но во всяком случае Меттерних воздержался от таких пошлых, комедиантских выходок, до которых унизился 3 октября Талейран, рассчитывавший взять царя патетическими восклицаниями и благородными призывами к великодушию и бескорыстию.

«Рассказывают, что после своего знаменитого разговора с Александром Талейран сказал, что раздражение императора заставило его думать, что он находится перед лицом второго Наполеона. Шведский министр сделал подобное же замечание» [20]. Так сообщают в своих секретных донесениях австрийские агенты, шпионившие за съехавшимися в Вене дипломатами и государями.

Об истинном отношении Людовика XVIII к Талейрану во время Венского конгресса австрийский агент Бомбелль доносит 22 ноября (1814 г.) Меттерниху из Парижа: «Король еще сохраняет немного преувеличенное мнение о талантах князя Талейрана. Несмотря на это, у меня есть большое основание думать, что король далек от того, чтобы оказывать этому министру безграничное доверие. При дворе Талейрана больше боятся, чем любят, но партия, которую этот ловкий хамелеон сумел создать себе в обществе, оказывает влияние...» Тут же Бом-

белль передает о своем секретном разговоре с графом д'Артуа, который определенно высказался за «полное» соглашение между Австрией, Францией и Англией, направленное против России и Пруссии [21].

Все эти сношения велись секретно. О них знали: с австрийской стороны — Бомбелль и Меттерних, и не знал официальный глава австрийского посольства в Париже — барон Винцент. С французской стороны об этих переговорах короля, графа д'Артуа и министра Блака́ не знал никто, кроме этих трех лиц,— не должен был знать и Талейран.

Но князь Талейран обыкновенно устраивался так, что особенно обстоятельно знал именно то, чего не должен был узнать. Да и Меттерниху, решительно обеспокоенному упорством Александра и грозящим Австрии увеличением могущества России и Пруссии, не было особых причин долго таить от Талейрана, что, по его данным, в Париже не хотят потерпеть соглашения с Александром против Австрии. Меттерниху, напротив, было выгодно предварить какие-либо (всегда, по его мнению, возможные) интриги Талейрана в пользу России. Но самое важное заключалось в том, что еще в те недели, предшествовавшие Венскому конгрессу, когда Бомбелль вел с королем, с графом д'Артуа и с министром Блака́ переговоры за спиной Талейрана, сам Талейран уже начал переговоры за спиной короля, графа д'Артуа и министра Блака́, но не с Австрией, а с Англией. Через английского уполномоченного в Париже, Чарльза Стюарта, Талейран еще с августа 1814 г. знал, что по двум важным для Англии пунктам Кэстльри непременно пойдет на соглашение с Францией рано или поздно: во-первых, по вопросу о Польше, которую англичане не желают отдавать России, и, во-вторых, по вопросу об окончательном удалении из Неаполя короля Мюрата и о возвращении королевства Обеих Сицилий Фердинанду IV Бурбону. Англия считала это возвращение неаполитанских Бурбонов наиболее соответствующим британским интересам на Средиземном море.

Мудрено ли, что разговоры графа д'Артуа с Бомбеллем о желательном соглашении Франции, Австрии и Англии дошли при всей их секретности до агентов Талейрана? Ведь знавшие графа д'Артуа всегда говорили, что его болтливость не уступает по своим размерам его легкомыслию.

Эти предрасположения французского двора, ставшие известными Талейрану, нисколько не внушили ему новой линии поведения, потому что он, как сказано, уже и сам вел дело к сближению с Австрией и с Англией против России и Пруссии. Но эти новые сведения очень укрепили его решимость и, главное, ускорили все предприятие, потому что, помимо общих соображений о выгодах для Франции, тут дело шло лично для него

о том, чтобы опередить своих врагов — графа д'Артуа и министра Блака́, фаворита Людовика XVIII,— и собственными усилиями как можно скорее достигнуть четкого дипломатического успеха.

5

Итак, все «атаки в лоб» были отбиты Александром. Было ясно, что Польшу царь ни за что не уступит и что ему удалось также добиться определенной поддержки влиятельнейшей части руководящих кругов польской аристократии. Князь Адам Чарторыйский побывал у Талейрана и объявил о том, что действует заодно с Александром, обещающим создать из герцогства Варшавского «царство польское», причем сам «царь польский» будет в Польше конституционным королем, оставаясь в то же время самодержавным императором в России. Талейран ответил, что если так, то Франция устраняет свою оппозицию польским планам Александра. После провала, испытанного 3-го и затем 23 октября, Талейран окончательно сосредоточил свои усилия на саксонском вопросе, с самого начала несравненно больше интересовавшем Францию, чем польское дело. И здесь ему удалось достигнуть очень многого. Правда, и борьба за Саксонию была легче. Во-первых, могущественнейшее лицо Венского конгресса, Александр, не был непосредственно заинтересован в том, чтобы Саксония попала в руки Пруссии, а прусский король был недостаточно силен, чтобы обеспечить за собой эту обещанную ему царем компенсацию. Во-вторых, проиграв польское дело, Меттерних решил ни за что не соглашаться на переход Саксонии к Пруссии: такое одновременное усиление и географическое приближение к Австрии обоих соседей — России через Польшу и Пруссии через Саксонию являлось для Габсбургской монархии явной угрозой в будущем. На этой почве сближение с Францией представлялось Меттерниху совершенно натуральным. Талейран, со своей стороны, рядом ловких маневров подталкивал Меттерниха к тому, чтобы оформить это сближение всех противников России и, присоединив всегда готовую пойти на подобные комбинации Англию, составить нечто вроде тайного соглашения между тремя великими державами с целью совместной борьбы на самом конгрессе против притязаний как Пруссии, так и России. Дело шло на лад, хотя и не так скоро, как Талейрану было бы желательно. В конце ноября он уже мог с радостью сообщить Людовику XVIII: «До сих пор император Александр не поколебался. Лорд Кэстльри, лично уязвленный, хотя он недавно получил от России мягко составленную ноту, говорит (не нам), что если император не хочет остановиться на Висле, то его нужно к этому прину-

дить войной; что Англия сможет выставить лишь мало войск вследствие ее войны в Америке, но что она даст субсидии и что ее ганноверские и голландские отряды могут быть пущены в дело на нижнем Рейне». А со своей стороны Австрия тоже настроена воинственно: «Князь Шварценберг стоит за войну, говоря, что вести ее теперь выгоднее, чем несколькими годами позже». Словом, дело кипит: «Австрия, Бавария и другие германские государства выставили бы триста двадцать тысяч человек. Двести тысяч под начальством князя Шварценберга отправились бы через Галицию и Моравию на Вислу. Сто двадцать тысяч под командой генерала Вреде пошли бы из Богемии в Саксонию, а оттуда — к Одеру и Эльбе...». Война должна начаться в конце марта: «Этот план требует содействия ста тысяч французов» [22]. Все, словом, идет прекрасно, но вот только неприятно, что ни лорд Кэстльри, ни Меттерних не говорят об этом с французами, а Талейрану именно этого хочется больше всего: подобная негоциация Англии и Австрии с побежденной Францией, направленная против России и Пруссии, сразу уничтожила бы «коалицию победителей».

Весь декабрь 1814 г. (особенно его вторая половина) прошел в совершенно бесплодной переписке между прусским уполномоченным и Меттернихом и в столь же бесплодных разговорах Александра с Меттернихом и Францем I. Дело о Саксонии не сдвигалось с мертвой точки. А казавшееся уже достигнутым согласие держав на присоединение Польши к владениям Александра снова было поставлено под вопрос: лорд Кэстльри стал протестовать гораздо сильнее, чем он это делал в октябре и даже в ноябре. Казалось, что никакими дипломатическими средствами ни Пруссию нельзя склонить к отказу от захвата всей Саксонии, ни Александра к отказу от Польши [23]. И усилия Талейрана если не относительно Польши и Саксонии, то относительно самого важного для него вопроса увенчались успехом.

25 декабря лорд Кэстльри приехал к Талейрану, и после нескольких вступительных слов Талейран предложил заключить «маленькую конвенцию», в которой приняли бы участие он сам, Кэстльри и Меттерних. «Конвенцию? Значит, вы мне предлагаете союз?» — спросил Кэстльри. «Эта конвенция,— ответил Талейран,— может очень хорошо состояться и без союза, но если хотите, это будет и союзом. Что касается меня, то у меня нет против этого никакого чувства противоречия».— «Но союз предполагает войну, а мы должны сделать все, чтобы ее избежать». На это Талейран возразил: «Я тоже так думаю, нужно все сделать, кроме того, чтобы пожертвовать честью, справедливостью и будущим Европы». Дальше Талейран стал уверять Кэстльри, что война, которая восстановит Польшу, будет популярна в Англии. Сошлись на том, чтобы назначить комиссию (из трех

держав) для рассмотрения вопроса о конвенции. Лорд Кэстльри все-таки упирался и дал знать Талейрану через своего брата лорда Стюарта, что подписи Талейрана при таком соглашении не нужно. Талейран пишет королю, что он вышел из себя от гнева при таком предложении и заявил, что уезжает из Вены, если по-прежнему Англия и Австрия будут себя считать союзниками против Франции, как во времена Наполеона. Конечно, ни за что бы он из Вены не уехал, и гневаться на самом деле он вовсе и не умел никогда. Он стал выжидать, зная, что его контрагенты уступят. Ждать пришлось недолго. Уже 28 декабря Талейран мог сообщить королю, что комиссия действует с участием делегированного Талейраном Дальберга. А 3 января 1815 г. секретный договор между Францией, Англией и Австрией был подписан.

6

Неожиданное, счастливое для Талейрана событие ускорило развязку и покончило с нерешительностью Кэстльри. Лорд Кэстльри получил в Вене как раз на новый год, 1 января 1815 г., известие, что в Генте 24 декабря состоялось подписание мирного договора между Англией и Америкой. Этот договор, окончивший очень трудную, разорительную и хлопотливую войну, длившуюся с 1812 г., сразу вполне развязал руки английскому министру. Талейран и до той поры, еще при заключении общего мира 30 мая 1814 г. в Париже, был крайне уступчив относительно англичан. Слишком нужна была ему в Европе поддержка Англии, чтобы вести с ней, совсем безнадежный в тот момент, спор из-за колоний.

Все английские приобретения, утвержденные за Великобританией в 1814 г., находились вне Европы. Эти приобретения были колоссальны. Ряд британских генерал-губернаторов вели больше четверти века перед 1814 годом в сущности почти непрерывно одну за другой ими же самими провоцируемые войны на необъятном Индостанском полуострове. Лорд Корнуэлс с 1786 по 1793 г., сэр Джон Шор, его преемник, с 1793 по 1798 г., лорд Уэлсли (старший брат герцога Веллингтона) с 1799 по 1807 г., лорд Минто с 1807 по 1814 г. произвели огромные по размерам завоевания и на севере, и в центре, и на юге Индии. Целые богатые царства: Бенгал, Мадрас, Майсор, Карнатик, затем ряд громадных областей, населенных мараттами, город и область Дели и т. д.— все это попало в руки англичан. Мало того, не только было положено очень прочное начало покорению всей остальной Индии, но и заняты все нужные исходные пункты и плацдармы для полного в будущем завершения этого дела. Французские владения (Пондишери, Чандернагор, Кархал,

Маге, Янаон) свелись к нескольким сиротливым и бессильным городам и участкам. Ни о какой политической или экономической конкуренции с Великобританией в Индии французы с тех пор уже не смели и помыслить. Кончился их вековой спор с англичанами из-за Индии. Все эти приобретения и остались за Англией. При этих условиях не весьма большим утешением для Талейрана могло быть «великодушное» согласие Кэстльри возвратить захваченный лордом Минто в 1810 г. остров Бурбон, причем за Англией оставался другой, гораздо более богатый остров этой же группы — Иль-де-Франс (он же остров св. Маврикия). У берегов Северной Америки англичане вернули Франции захваченные ими при революции и Наполеоне острова Сен-Пьер и Микелон, из Антильской группы — Мартинику и Гваделупу и еще три небольших острова около Гваделупы, в Южной Америке — Гвиану. Англичане отступились и от острова Сан-Доминго, который, однако, фактически признал французский суверенитет лишь значительно позже.

Один из главных результатов участия Англии в борьбе против Наполеона заключался также не только в исчезновении континентальной блокады, но и в согласии правительства Бурбонов на установление таможенного тарифа, сразу сделавшего Францию необычайно выгодным и богатым рынком сбыта английских товаров. Отныне только и стало возможно англичанам полностью пожать обильные плоды промышленного переворота второй половины XVIII в. Все это читатель должен помнить, чтобы понять, почему так сравнительно гладко шла на лад затеянная Талейраном комбинация, которая требовала для своего успеха участия Англии. Едва только Кэстльри получил (1 января 1815 г.) известие о подписанном мире с Америкой, как он официально примкнул к договору, и через два дня тайный договор 3 января 1815 г. был подписан.

Торжество Талейрана было полное. Вот в каких выражениях он пишет об этом событии королю Людовику XVIII: «Коалиция и дух коалиции пережили парижский мир. Моя корреспонденция до сегодняшнего дня дала вашему величеству многочисленные доказательства этого (факта — *Е. Т.*). Если бы проекты, которые я нашел здесь по прибытии, осуществились, Франция на полстолетия оказалась бы изолированной в Европе, не имея ни одного хорошего сближения (с кем-либо — *Е. Т.*). Все мои усилия направлялись к тому, чтобы предупредить подобное несчастье, но самые радужные мои надежды не шли до того, чтобы льстить себя мыслью о полном успехе. Теперь, государь, коалиция уничтожена и уничтожена навсегда. Не только Франция уже не изолирована в Европе, но ваше величество оказались в такой системе союзов, которую не могли бы дать и пятьдесят лет переговоров». Франция действует в согласии с

двумя великими державами, тремя государствами второстепенными «и скоро все государства, следующие не революционным принципам», пойдут за Францией[24]. Так ликует консервативный и благочестивый Талейран, столь удачно и быстро написавший после низвержения Людовика XVI 10 августа 1792 г., по поручению Дантона, истинно революционную ноту, прекрасно объясняющую англичанам, почему французский народ был вправе совершить свою славную революцию. Но теперь это все (против «революционных принципов») Талейран прибавил в письме и родному брату Людовика XVI больше для красоты слога: никаких государств, «следующих революционным принципам», в 1815 г. и в помине не было. А громадное значение для Франции этого акта 3 января, в самом деле нанесшего самый тяжкий удар антифранцузской коалиции держав, Талейран понимал глубоко и оценивал с объективной точки зрения вполне правильно.

Этот секретнейший трактат 3 января 1815 г., если бы стал известен Александру, мог бы до самой крайней степени в тот момент ухудшить отношения между великими державами. Называется он так: «Секретный трактат об оборонительном союзе, заключенном в Вене между Австрией, Великобританией и Францией, против России и Пруссии, 3 января 1815 г.»[25] В объяснительной части говорится, что указанные три державы, во имя ограждения своей безопасности и независимости (état de sécurité et d'indépendance), принуждены «вследствие недавно обнаружившихся претензий» озаботиться тем, чтобы обеспечить себе «средства отразить всякую агрессию», которой могли бы подвергнуться их владения. А посему все три державы обязываются в случае нападения на любую из них немедленно прийти на помощь имеющимися в их распоряжении средствами. Уточняется, что каждая из трех держав (статья III) обязывается выставить армию в 150 тысяч человек, причем (статья IV) *из них* должно быть 120 тысяч пехоты и 30 тысяч кавалерии, с соответственным количеством артиллерийских парков. Сделана оговорка: если Великобритания не выставит условленного числа полностью, то за каждого отсутствующего солдата она уплачивает 20 фунтов стерлингов. Под договором подписались: Талейран, Меттерних, Кэстльри.

7

Нужно сказать, что в Англии, где никогда не доверяли ни одному слову князя Талейрана, даже в тех случаях, когда он говорил правду, были в начале конгресса очень недовольны князем. Герцог Веллингтон, находившийся осенью 1814 г. в Париже, был крайне раздражен и не скрывал этого. Он открыто заявлял (в конце октября 1814 г.), что «г. Талейран обманул

всех, говоря о мирных предрасположениях Франции», что едва только прибыв в Вену, он уже создал себе партию из государей бывшего (рейнского) союза, чтобы импонировать четырем великим державам с целью вмешательства в дела Германии и восстановления там французского влияния...»[26] Веллингтон сам норовил попасть на Венский конгресс, будучи убежден, что одному Кэстльри с Талейраном не справиться и что подобная задача по плечу только ему, герцогу Веллингтону. Герцог был прав относительно Кэстльри, но заблуждался относительно себя самого. Договор 3 января 1815 г. был, впрочем, вполне одобрен британским кабинетом. Он клонился к ослаблению дипломатической позиции России, а больше ничего для англичан и не требовалось. Что касается Талейрана, то к концу конгресса даже наиболее недоверчивые члены лондонского кабинета уже не подозревали его в воинственных намерениях касательно Англии: никаких попыток к пересмотру договора от 30 мая Талейран не предпринимал.

Но и англичане уже не представляли себе (еще за месяц до подписания договора 3 января 1815 г.), что возможно предпринять что-либо на конгрессе без участия и ведома Талейрана.

«Мне кажется, что г. Талейран делает здесь чудеса. Когда он сюда прибыл, хотели изолировать Францию от всего, а теперь она повсюду. Нет ни одного комитета, в котором она не принимала бы участия и где с ее голосом очень бы не считались»; и это мнение Латур дю Пэна, высказанное им 8 декабря 1814 г. в письме к маркизу де Боннэй, разделялось в сущности всем конгрессом[27].

Таков был путь «хитроумного Одиссея», как прозвали его, французского делегата, за три месяца с небольшим от конца сентября 1814 г., когда Талейран прибыл на конференцию и когда его еще не хотели допускать к общим совещаниям представителей четырех «союзников», до 3 января 1815 г., когда тот же Талейран подписал секретный военный договор с двумя из этих четырех «союзников», направленный против двух других. Антифранцузская коалиция была непоправимо разрушена, была разбита на куски. Границы Франции, на которые согласились победители в Париже по договору 30 мая 1814 г., остались прочными и нерушимыми. Кэстльри и Меттерних тоже были довольны, хоть и в меньшей степени, чем Талейран. Им незачем было «выходить из изоляции», потому что они никогда и не были в изоляции; им не приходилось радоваться за дипломатическую консолидацию своих границ, потому что границам Англии и Австрии ничто и не грозило в тот момент. Но договор 3 января, в котором ни звука нет ни о Саксонии, ни о Польше, имел для подписавших держав гораздо большее, общее значение: он обеспечивал оборону в случае, если бы Александр

вздумал, пользуясь отныне далеко выдвинутым форпостом — «царством польским», напасть оттуда на Австрию и поставить тем самым вопрос о воскрешении всеевропейского владычества, но уже под эгидой не Парижа, а Петербурга. Что с Польшей уже ровно ничего нельзя поделать и что нужно оставить ее в руках Александра,— с этим все трое, подписавших тайный трактат, были согласны: затевать в самом деле немедленно войну из-за Польши они не хотели и не могли. Гнезен (Гнезно) и Познань и прилегающую территорию с 850 000 жителей Александр согласился уступить Пруссии, Величку и Тарнопольский округ — в общем 400 000 человек — Австрии, Краков был объявлен вольным городом, а все остальное «царство польское» попало в руки Александра.

Зато в саксонском вопросе «заговорщики 3 января» достигли известного и немалого успеха. Еще 29 декабря на совещании представителей России, Пруссии, Австрии и Англии прусский король, всецело поддержанный Александром, требовал включения всего саксонского королевства в состав владений Пруссии, т. е. требовал того, от чего не отступался с самого начала конгресса. А на окончательном, решающем заседании по этому вопросу 8 февраля 1815 г., под влиянием очень обострившейся оппозиции Австрии, Англии и Франции, король прусский, который не мог взять в толк, чем объясняется это обострение (так как он, конечно, понятия не имел о тайном договоре 3 января), принужден был уступить. «Хотя присоединение всей Саксонии является единственным средством дать прусской монархии ту целостность и то округление (cet ensemble et cet arrondissement), которые ей гарантируют трактаты; хотя неудобства, проистекающие от дележа Саксонии и которые указаны в меморандуме 29 декабря 1814 г., являются очень важными и для этой страны, и для Пруссии, и для самого же саксонского короля,— его величество (прусский король — *Е. Т.*) решил... принести эту жертву, *которой, по-видимому, придают такую цену* и согласен, чтобы король саксонский был восстановлен в части своих прежних владений»,— с такой горечью Фридрих-Вильгельм III принужден был покориться неизбежности [28]. Саксонский король удерживал в своих руках 1 314 337 подданных, Пруссии досталось 723 380 жителей. Территория Саксонии (744 кв. мили) была разделена почти пополам. Лучшая часть Саксонии, с 28 городами, с наиболее богатыми и промышленными местами осталась в руках саксонского короля. Кое-какие позднейшие изменения не внесли больших перемен в этот план раздела Саксонии. Нечего напоминать (это слишком общеизвестно), что дележ саксонских «душ», как и решение польского вопроса, были актами, не считавшимися с чем бы то ни было хоть отдаленно похожим на опрос населения и на истинные его желания.

Итак, проиграв польское дело, Талейран в значительной мере выиграл саксонское и полностью выиграл самую главную свою ставку: новая, буржуазная Франция не только не была расхватана по кускам феодально-абсолютистскими великими державами и их союзницей, экономически первенствовавшей Англией, от чего Францию спасла Россия еще 30 мая 1814 г., но она вошла как равноправный член в среду великих европейских держав, и комбинация 3 января 1815 г. разбила грозную для французов коалицию. А это уж было направлено прямо против царя.

Таковы были главные дипломатические победы Талейрана, выигранные его проницательностью и настойчивостью, притом в борьбе против таких совсем незаурядных контрагентов, как Александр I и Меттерних.

Обстоятельства сложились так, что уже в первые месяцы 1815 г. и затем после сумятицы Ста дней, среди которой наскоро закончился Венский конгресс, благоприятно, с точки зрения Талейрана, разрешены были и еще два вопроса, в которых Франция была заинтересована: вопрос об «устройстве» Германии и вопрос об Италии. Но здесь дело обошлось без активного участия Талейрана. Германия осталась в раздробленном состоянии, и то же самое случилось с Апеннинским полуостровом. И в том и в другом случае определяющую роль сыграли интересы Габсбургской монархии, представленные на конгрессе Меттернихом. Но объективные результаты этих усилий австрийской политики оказались, с точки зрения Талейрана, благоприятными условиями безопасности французских границ.

Итак, Талейрану удалось помочь отстоять самостоятельное существование и бóльшую часть территории Саксонии, но он согласился без особых споров на то, чтобы к Пруссии присоединена была рейнская провинция. Много было впоследствии споров относительно того, что́ было выгоднее для Франции: чтобы Пруссия забрала всю Саксонию или чтобы она овладела рейнской провинцией. В первом случае она усилилась бы гораздо больше, чем во втором; но зато она все-таки была бы дальше от Франции, чем оказалась, овладев рейнскими городами и землями. Следует заметить, что легенды окружили венские переговоры такой дымкой, сквозь которую не всегда можно уловить вполне точные контуры событий. Очень мало вероятны слова, якобы сказанные Талейраном Александру в ответ на упрек императора, что саксонский король — изменник, сражавшийся на стороне Наполеона: «Он провинился лишь боязнью перед Наполеоном, а разве большинство государей, присутствующих на конгрессе, не могут упрекнуть себя в том же? Не следует обращаться к прошлому, государь, нам всем пришлось бы краснеть».

Всех этих смелых выходок не было, вероятно, потому уже, что даже сам Талейран их вовсе не приводит. А уж он ли не любил прихвастнуть своей мнимой нелицеприятной «правдивостью» перед царями...

Но он всячески старался поддержать опасение Меттерниха и Кэстльри, что «вместо колосса на Сене может отныне возникнуть колосс на Неве». Это запугивание «русской опасностью» стало с тех пор одним из шаблонов французской внешней политики. Теперь уже Александр не мог лично ничего дать Талейрану, и они расстались в холодных отношениях после этой решающей политической встречи в их жизни.

8

Союз и дружба с Англией и, по возможности, с Австрией для общего отпора Пруссии, борьба против России, если она будет поддерживать Пруссию,— вот базис, на котором Талейран желал отныне основать внешнюю политику и безопасность Франции. Ему не суждено было долго управлять делами в период Реставрации, но едва лишь в 1830 г. Июльская революция дала ему важнейший в тот момент пост французского посла в Лондоне, он, как увидим дальше, сделал все зависящее, чтобы провести свою программу в жизнь. Ближайшие поколения молодой французской буржуазии всегда расценивали очень положительно работу, проделанную Талейраном на Венском конгрессе.

И недаром бальзаковский «герой» Вотрен в романе «Le père Goriot» с таким восторгом говорит о Талейране (не называя его): «...князь, в которого каждый бросает камень и который достаточно презирает человечество, чтобы выплюнуть ему в физиономию столько присяг, сколько оно потребует их от него, воспрепятствовал разделу Франции на Венском конгрессе. Его должны были бы украшать венками, а в него кидают грязью» [29]. Эта горячо проповедуемая мысль, что клятвопреступник может «плевать» в лицо «человечеству», если конечный результат его предательств приносит буржуазии реальную пользу, приносит политический капитал; эта циническая убежденность в первенстве «интеллекта над моралью» в политике — необычайно характерны для времени перелома, передавшего власть в руки буржуазии. И более всего характерно именно торжественное, всенародное провозглашение этого принципа и нескрываемое восхищение человеком, в котором самым законченным образом олицетворялся указанный идеал полного аморализма, т. е. князем Талейраном-Перигором.

Но своеобразная откровенность этого хищного героя Бальзака была далеко не всем свойственна. И даже те из политиче-

ских деятелей, кто изо всех сил старался подражать Талейрану как недосягаемому образцу, не переставали поносить его за глаза, наблюдая, как этот маэстро коварства и циничнейший комедиант артистически разыгрывает на мировой сцене совсем новую для него роль. Конечно, более всего злобились на его безмятежную наглость его прямые противники, дипломаты феодально-абсолютистских держав и прежде всего Пруссии, одурачить которых он поставил себе первоочередной задачей. Эти дипломаты видели, что он в Вене ловко выхватил у них собственное их оружие, раньше чем они опомнились, и теперь их же этим оружием побивает, требуя во имя «принципа легитимизма» и во имя уважения к вернувшейся во Францию «законной» династии, чтобы не только французская территория осталась неприкосновенной, но чтобы и Центральная Европа возвратилась полностью в свое дореволюционное состояние и чтобы поэтому «легитимный» саксонский король остался при всех старых своих владениях, на которые претендовала Пруссия.

Противников Талейрана больше всего возмущало, что он, в свое время продавший так быстро легитимную монархию, служивший революции, служивший Наполеону, расстрелявший герцога Энгиенского только за его «легитимное» происхождение, уничтоживший и растоптавший при Наполеоне всеми своими дипломатическими оформлениями и выступлениями всякое подобие международного права, всякое понятие о «легитимных» или иных правах,— теперь с безмятежнейшим видом, с самым ясным лбом заявлял (например, русскому делегату на Венском конгрессе Карлу Васильевичу Нессельроде): «Вы мне говорите о сделке,— я не могу заключать сделок. Я счастлив, что не могу быть так свободен в своих действиях, как вы. Вами руководят ваши интересы, ваша воля; что же касается меня, то я обязан следовать принципам, а ведь принципы не входят в сделки (les principes ne transigent pas)». Его оппоненты прямо ушам своим не верили, слыша, что столь суровые речи ведет и нелицеприятную мораль им читает тот самый князь Талейран, который, как о нем около того же времени писала уже упомянутая газета «Le Nain jaune», всю жизнь продавал всех тех, кто его покупал. Ни Нессельроде, ни прусский делегат Гумбольдт, ни Александр не знали еще, что даже в те самые дни Венского конгресса, когда Талейран давал им суровые уроки нравственного поведения, верности принципам и религиозно-неуклонного служения легитимизму и законности, он получил от саксонского короля взятку в пять миллионов франков золотом, от баденского герцога — в один миллион; они не знали также, что впоследствии все они прочтут в мемуарах Шатобриана, что за пылкое отстаивание во имя легитимизма прав неаполитанских Бурбонов на престол Обеих Сицилий Талейран тогда же, в Вене, должен был

получить от претендента Фердинанда IV обещанные ему шесть миллионов (по другим показаниям, три миллиона семьсот тысяч) и для удобства пересылки денег даже был так любезен и предупредителен, что отправил к Фердинанду своего личного секретаря Перре.

Остановимся, кстати, на этом любопытном эпизоде, тем более, что мы нашли в нашем Архиве внешней политики кое-какие интересные и не известные никому из писавших о Талейране уточнения.

Англия и Австрия вполне поддержали французское предложение о возвращении в Неаполь на престол королевства Обеих Сицилий династии неаполитанских Бурбонов (короля Фердинанда IV). Фердинанд очень боялся, что престол останется за ставленником и маршалом Наполеона королем Иоахимом Мюратом, и пообещал Талейрану взятку в случае содействия и усердия. Король Людовик XVIII настойчиво требовал в письмах к Талейрану, чтобы тот настоял на изгнании Мюрата и возвращении Фердинанда в Неаполь, и Талейран, конечно, это провел, конгресс согласился. Тогда Талейран, искусно утаив от Фердинанда уже состоявшееся, но еще не обнародованное постановление держав, потребовал от неаполитанского короля шесть миллионов франков за доброжелательное содействие и услуги. Король Фердинанд, введенный в заблуждение, пообещал эту сумму. Но Фердинанд IV все-таки дал Талейрану не шесть миллионов, которые пообещал, и не три миллиона семьсот тысяч, а гораздо меньше.

В конце июля 1815 г. неожиданно прибыл в Неаполь секретарь князя Талейрана. Русский представитель в королевстве Обеих Сицилий, Мочениго, донося об этом графу Нессельроде, передает сначала слух, что причиной приезда секретаря являются дела Талейрана по его княжеству Беневентскому. Но уже спустя несколько дней Мочениго в шифрованном донесении поясняет, в чем дело: секретарь послан получить с неаполитанского короля Фердинанда IV деньги в пользу князя, ибо король секретно обязался уплатить ему деньги за восстановление свое на неаполитанском престоле[30]. В одном из позднейших донесений (тоже шифрованном) Мочениго сообщает уже совершенно точно цифру взятки, полученной Талейраном: два миллиона франков[31]. Но и эти два миллиона очень легко могли не попасть в ожидавший их карман.

Когда Талейран уже в июле 1815 г. с большим опозданием (из-за Ста дней) командировал своего личного секретаря Перре в Неаполь, то имел все основания беспокоиться: уже теперь, в июле 1815 г., Фердинанд IV, не смотря на все хитрости и утайки Талейрана, наверное знал, что от Талейрана его воцарение уже не зависит. Словом, король мог теперь совершенно безопас-

но для себя прогнать прочь Перре, явившегося с таким запозданием за взяткой. Но Фердинанд все-таки выдал треть обещанного. Когда Перре возвратился из Неаполя к Талейрану, привезя достодолжно оформленный чек на банкирскую контору Баринга, то потрясенный неожиданностью величавый князь Беневентский не в силах был совладать со счастьем, переполнившим до краев его душу, и бросился на шею Перре, обнимая и целуя своего посланца. Такой бурной эмоции он, по крайней мере по имеющимся у нас данным, не переживал с 1797 г., когда, тоже прямо потерявшись от радости при известии о своем назначении впервые министром иностранных дел, он, как бы в забытьи, восклицал, что на этом месте можно составить себе громадное состояние. Только подобные мотивы, по-видимому, и были способны вывести этого сдержанного, высокомерного, холодного, глубоко равнодушного человека из душевного равновесия.

Но и тут, на Венском конгрессе, он действовал в деле взятковзимания точь-в-точь так, как в первые годы при Наполеоне. Он по возможности не делал за взятки тех дел, какие шли бы прямо вразрез с интересами Франции или, иначе говоря, с основными дипломатическими целями, к достижению которых он стремился. Но он попутно получал деньги с тех, что был лично заинтересован в том, чтобы эти цели были поскорее и как можно полнее Талейраном достигнуты. Так, Франция, например, была прямо заинтересована в том, чтобы Пруссия не захватила владений саксонского короля, а Талейран отстоял Саксонию. Но так как саксонский король был заинтересован в этом еще гораздо более, чем Франция, то этот король для возбуждения наибольшей активности в Талейране и дал ему, со своей стороны, пять миллионов. А Талейран их взял. И, конечно, взял со всегда ему свойственными сдержанностью и «величием», с какими некогда, в 1807 г., принял взятку от этого же самого саксонского короля за заступничество перед Наполеоном.

Конгресс подходил к концу. Съехавшиеся государи и представители держав весело проводили блестящий зимний светский сезон в Вене и не очень утруждали себя работой. «Конгресс танцует, но не подвигается вперед» (Le congrès danse, mais ne marche pas),— иронизировал старый наблюдатель, австрийский вельможа князь де Линь.

К концу января 1815 г. все наиболее острые, опасные вопросы были более или менее разрешены. Победа в саксонском вопросе в глазах Талейрана компенсировала его поражение в вопросе польском. Сближение с Англией и Австрией вознаграждало за холодные отношения с Россией. Для особого эффекта и подкрепления пресловутого «принципа легитимности» французский министр вдруг решил воспользоваться наступающей

годовщиной казни Людовика XVI (21 января) и отметить ее в Вене особым траурным чествованием.

Талейран, так успешно продавший Людовика XVI в начале революции, возбудил (конечно, за глаза) не мало иронического смеха на Венском конгрессе, когда вздумал использовать эту годовщину для архиторжественной панихиды, куда пригласил всех членов конгресса, причем произнес крайне прочувствованную речь. «Тот, кто не знал бы, *что такое* Талейран,— вспоминает один из очевидцев,— мог бы сказать: вот, вероятно, это один из старых друзей короля, один из тех, кто последовал за его семьей за границу; наконец, это человек, которому не в чем себя упрекнуть. Но так как свидетели этой декламации все знали прошлое поведение Талейрана, то нашли, что он плоско (platement) играет комедию...» «Этот мерзавец Талейран неприглядно должен выглядеть в Вене»,— заметил тогда же брат Наполеона Люсьен Бонапарт [32].

Впрочем, прочувствованная речь министра обошлась французской казне очень недешево: за церемонию 21 января 1815 г., состоявшую лишь из церковной панихиды, князь Талейран не преминул представить счет почему-то... в восемьдесят тысяч франков золотом, не более и не менее (реальная покупательная сила одного франка золотом в 1815 г. признается равной покупательной силе приблизительно десяти франков в валюте 1934 г.) [33]. Столь высоко оценил Талейран порыв своих горестно-монархических чувств, вызванный в нем траурной датой *21 января.*

9

И вдруг среди совсем ясного неба грянул гром. Наполеон внезапно отплыл с острова Эльбы, высадился у мыса Жуан и ровно через три недели после высадки восстановил империю и вошел 20 марта 1815 года в Париж с триумфом, не сделав во время всей этой экспедиции ни единого выстрела, не испытав ни малейшего сопротивления.

Возвращение Наполеона с острова Эльбы, паническое бегство Бурбонов и восстановление империи застали Талейрана совершенно врасплох. Не так давно (в мае 1933 г.) в Париже вышла фантазерская книга Фердинанда Бака «Le secret de Talleyrand». Этот раскрытый одним только Баком «секрет» заключается в том, что Талейран... сам устроил бегство Наполеона с Эльбы. Отмечаю эту дилетантскую фантазерскую книгу тут только в виде курьеза для доказательства, что и далекое потомство продолжает считать Талейрана способным не только на самый изумительный по коварству и хитрости план, но и доста-

точно ловким и сильным, чтобы осуществить любой проект. Нечего и говорить, что даже и тени научной аргументации в этой книге нет. Для Талейрана бегство Наполеона было тяжким ударом.

Восстановив империю в марте 1815 г., Наполеон дал знать Талейрану, что возьмет его снова на службу. Но Талейран остался в Вене; он не поверил ни в милостивое расположение императора (приказавшего тотчас по своем новом воцарении секвестровать все имущество князя), ни в прочность нового наполеоновского царствования. Венский конгресс закрылся.

Возвращение Наполеона мгновенно превратило Талейрана, автора секретного антирусского соглашения от 3 января, в смиренного просителя, и в главном и во второстепенном зависящего от Александра. И христианнейший король французский, Людовик XVIII, отсиживаясь в Генте, тоже сразу забыл о своем глубоком убеждении, что Бурбоны знатнее Романовых, и, подобно своему министру, не переставал докучать царю своими челобитьями. В Швейцарии во время Ста дней (особенно в кантоне Ваадт) обнаружились некоторые бонапартистские интриги и сношения с Жозефом Бонапартом. Князь Талейран извещал Нессельроде, что король Людовик XVIII очень добивается от швейцарских властей удаления Жозефа Бонапарта из Швейцарии, но, увы, одного лишь желания его христианнейшего величества, сидящего в изгнании в Генте, маловато. Так вот, не соблаговолит ли император всероссийский помочь, поддержав в Швейцарии эту просьбу французского короля?[34] Александр «всемилостивейше» согласился[35].

13 марта 1815 г. представители восьми держав, собравшиеся на Венском конгрессе, опубликовали знаменитую декларацию, объявлявшую Наполеона Бонапарта «вне гражданских и общественных отношений», «врагом и возмутителем мирового спокойствия» и подлежащим каре (il s'est livré à la vindicte publique). Эта декларация в тот момент была оценена как призыв к убийству Наполеона, поставленного вне покровительства законов. На первом месте в списке представителей Франции под этим документом подписано: «Князь Талейран».

Однако Наполеон ни в малейшей степени не обратил на это внимания. Своего Талейрана он знал довольно хорошо, хотя ему известны были далеко не все его поступки. Только поэтому император его и не повесил в свое время, а лишь примеривался это сделать, облюбовав уже и место для этой операции: решетку на Карусельской площади. Как мы видели, он даже поделился с самим князем этим своим намерением во время знаменитой сцены 28 января 1809 г., на приеме в Тюильри.

Но теперь Талейран был ему снова нужен, и возвращение старого дипломата на его службу произвело бы колоссальное

впечатление в Европе. А что Талейран подписал декларацию 13 марта, то мало ли он разных деклараций на своем жизненном пути подписывал! Наконец, 13 марта ведь было еще за неделю до триумфального въезда Наполеона в Тюильри. Словом, решено было попытаться перекупить, по случаю, маститого князя у союзников. Ничего особенно странного в этом намерении не было: ведь сам Талейран к концу жизни добродушно подшучивал, что ему привелось на своем веку по самым различным поводам принести четырнадцать крайне разнохарактерных присяг.

Одним из первых действий Наполеона после его нового воцарения было назначение Коленкура, герцога Виченцского, министром иностранных дел, а 22 апреля (1815) император дал *следующее распоряжение своему министру: «Господин герцог* Виченцский! Я вас уполномочиваю удостоверить князя Беневентского, что его имения будут ему возвращены, если он поведет себя, как француз, и *окажет мне некоторые услуги»* [36]. Но Талейран оставался в Вене, потом уехал из Вены, однако не в Париж. Он не верил в прочность восстановленной империи. Предложение императора было переслано Талейрану в Вену в собственноручном письме Коленкура от 24 апреля: «Мой дорогой князь, вы знаете мою старинную дружбу. Я надеюсь, что вы вполне поверите всему, что вам скажет и в чем вас удостоверит от нашего имени г. де Сен-Леон, который, как друг, занялся вашими делами» [37].

Во всяком случае эти документы, найденные в частном архиве семьи герцога Виченцского и впервые напечатанные в новом (цитируемом тут) издании его «Мемуаров», показывают, что даже после активнейшего участия Талейрана в водворении Бурбонов в марте и апреле 1814 г. Наполеон все еще полагал возможным купить Талейрана и считал эту покупку, по случаю, если бы она состоялась, выгодной для себя.

Но Талейран был глух и к письменным и к устным обещаниям. А все-таки приезд Сен-Леона с его посулами пошел на пользу Талейрану: союзники обеспокоились и сочли более надежным, на всякий случай, в спешном порядке обильно одарить князя деньгами, чтобы он не перебежал неожиданно к Наполеону. Они-то знали, что хотя Талейран не очень верит в прочность империи и, вероятно, не соблазнится, но — чего с князем Беневентским не случалось? Излишняя предосторожность не мешает никогда. Талейран деньги принял с полной готовностью и пребыл верен союзникам.

А попытки императорского окружения залучить его на службу все-таки, по-видимому, прекратились не сразу.

Не забудем, что у Наполеона были некоторые основания думать, что положение Талейрана в Вене станет очень трудным: ведь вернувшийся так внезапно с острова Эльбы в свой дворец

в Тюильри 20 марта 1815 г. император нашел в письменном столе бежавшего накануне короля Людовика XVIII копию (одну из трех существовавших) секретного антирусского договора 3 января 1815 г., составленного в Вене Талейраном и подписанного, как уже выше было сказано, Талейраном, Кэстльри и Меттернихом. Король Людовик XVIII с такой предельной быстротой бежал вечером 19 марта из Парижа, что впопыхах забыл захватить с собой этот роковой акт. Конечно, Наполеон немедленно отправил этот документ со специальным курьером в Вену для вручения императору Александру. Царь был глубоко взволнован, внезапно узнав таким, совсем неожиданным, способом, какую мину изготовил и подложил в Вене против России князь Талейран. Да и Талейрану в голову не могло прийти, что Бурбоны, убегая в панике, забудут в столе такую важную бумагу. С этой поры к недоверию и антипатии Александра к Талейрану прибавилась уже настоящая ненависть, которая и сказалась, как увидим, в том же 1815 г.

Александр не изменил, правда, своей политики, как рассчитывал Наполеон. Но было ясно, что положение Талейрана стало щекотливым.

Ни Меттерних, ни Кэстльри, казалось, до такой степени не раздражили царя, когда он столь внезапно (и неопровержимо) был информирован о подкопе, тайно против него вырытом. Ни Англия, ни Австрия не были так обязаны России, как Франция, которую Россия спасла от расчленения. Но царь решил продолжать общую борьбу против вернувшегося Наполеона и не подал Талейрану пока и вида, что сердится.

А из Парижа повторялись, по-видимому, попытки завязать с Талейраном сношения.

«Распространился здесь слух, что Монрон, человек позорной репутации и связанный с г. Талейраном, отправился в Вену. Это обстоятельство возбудило живейшую тревогу», — сообщает Поццо ди Борго из Брюсселя графу Нессельроде. Выехал он почти в одно время с Сен-Леоном. Сам посол не испуган: «ни тот, ни другой индивидуумы» не могут уже повредить. И хотя король Людовик XVIII оказывает Талейрану полное доверие, но публика не верит ему: «доверия по приказу не бывает» [38].

Заметим, к слову, что со своей стороны Талейран относился в душе к Людовику XVIII с чувством не только антипатии, но прямо гадливости.

Когда в 1823 г. Людовик XVIII напечатал свой дневник (о бегстве в Брюссель и в Кобленц при революции в 1791 г.), то князь Талейран так отозвался (устно) об этом произведении: «Это — путешествие арлекина, он (Людовик — *Е. Т.*) ел и боялся, боялся и ел». Стендаль, знавший короля, был согласен вполне с этим отзывом [39].

В Архиве внешней политики России сохранились следы каких-то и дальнейших сношений между Парижем и князем Талейраном во время Ста дней. Так, Нессельроде доносит 16 мая 1815 г. из Вены императору Александру, что в Вену прибыл с письмами к Талейрану и к Меттерниху выехавший из Парижа некий де Брэан, личность «незначительная» и интриговавшая в свое время, чтобы получить придворное местечко при наполеоновском дворе. Но содержание привезенных писем осталось неизвестным Нессельроде[40].

Глава VI

МИНИСТЕРСТВО ТАЛЕЙРАНА — ФУШЕ. ВТОРОЙ ПАРИЖСКИЙ МИР

(9 июля — 24 сентября 1815 г.)

1

В 1815 г. 18 июня кровопролитная битва под Ватерлоо покончила с вторичным царствованием Наполеона.

Король Людовик XVIII, отсиживавшийся все Сто дней нового наполеоновского владычества в городе Генте, стал немедленно собираться в Париж. Свора озлобленных своим вторичным изгнанием эмигрантов окружала его.

Русский посол в Париже Поццо ди Борго взирал на ближайшее развитие внутренних событий пессимистически, ввиду ожидаемых реакционных неистовств. На Талейрана и его умеряющее, образумливающее воздействие он не надеялся. В нашем Архиве внешней политики мы нашли доказательство, что русский дипломат еще осенью 1814 г. не верил в реальное, твердое сопротивление Талейрана ультрароялистской реакции.

Поццо ди Борго, проницательный корсиканец, давно и превосходно изучивший Талейрана, очень хорошо понимал, что как бы здраво ни судил хитроумный князь о положении вещей во Франции и о глупостях Бурбонов и вернувшихся эмигрантов, все равно толка большого от него не будет. «Его лень и его сдержанность» и нежелание себя ни в чьих глазах компрометировать таковы, что он всегда будет поддакивать тому тону и тем речам, какие будут наиболее приняты при дворе, независимо от истинных достоинств этих речей [1].

В этих сжатых строках служебного донесения русского посла в Париже графу Нессельроде чувствуется самая реальная и точная историческая правда, известная нам из весьма обильной документации. А когда же Талейран говорил то, что думал, если при дворе думали по-другому? Когда же он не поддакивал сегодня Людовику XVI, завтра Дантону, послезавтра Наполеону?

Еще во время Ста дней не только Поццо ди Борго, но и сам Александр I делали попытки доказать Людовику XVIII, что все

это позорнейшее для династии Бурбонов новое изгнание их из Франции вернувшимся Наполеоном обусловлено прежде всего ненавистью населения к разнузданной роялистской реакции.

19 апреля (1 мая) 1815 г. в Гент прибыл граф Алексис де Ноайль из Вены с депешами от Талейрана для короля Людовика XVIII. Но важнее всяких депеш был привезенный Ноайлем доклад Талейрана о разговоре, который он имел с императором Александром перед отъездом Алексиса де Ноайля. «Главной целью этого сообщения, по-видимому, является доказать королю необходимость на будущее время составить министерство согласно конституции, т. е. образовать кабинет, который имел бы свою систему управления, который был бы единодушен в своих решениях и солидарно ответственен за все свои шаги, одним словом, такой кабинет, который, как в Англии, занимал бы свое место между нацией и королем, чтобы он мог заслужить доверие за свое поведение или подвергнуться порицанию, не компрометируя величие трона и особу монарха». Поццо ди Борго подчеркивает, что он и раньше старался королю внушить (тут нетерпеливый Поццо ди Борго употребляет более сильный глагол: inculquer, несколько приближающийся к русскому «вдолбить») эти принципы. Теперь, по мнению русского посла, Блака́, представитель «персонального режима», типичный ультрароялист, фаворит Людовика XVIII, разглагольствовавший о божественном происхождении королевской власти, должен уйти из министерства, а Талейран должен стать во главе конституционного кабинета. Хоть он и царедворец, хоть он и интриган, но он необходим[2].

Но вот прибыл из Вены, как раз спустя четыре дня после Ватерлоо, и сам князь Талейран.

У нас в Архиве внешней политики сохранилось документальное доказательство, что накануне приезда своего в Монс Талейран виделся 22 июня в Брюсселе с Поццо ди Борго, имел с ним «долгое совещание», после чего русский посол выражает надежду, что «направление дел будет самым приличествующим» (de la manière la plus convenable) [3].

Это свидание, совершенно очевидно, и вдохнуло в Талейрана полную уверенность в прочности своего положения.

Талейрану случалось изредка попадать впросак, когда он не учитывал соотношения сил и преувеличивал собственное значение и нерешительность противника. Это случилось с ним, например, как уже сказано, при переговорах с Александром о Польше. Но редко попадал он в такое унизительное и курьезное положение, как в июне 1815 г., когда так внезапно обнаружилось, что его политическая карьера держится на волоске...

Дело было так. Перед вечером, около шести часов 23 июня 1815 г., Талейран прибыл в город Монс (в Бельгии) к королю

Людовику XVIII, который выехал из Гента, где он укрывался в течение Ста дней царствования Наполеона. Людовик XVIII направлялся теперь в Париж, и в Монсе у него была только краткая остановка. Дело было лишь спустя пять дней после битвы при Ватерлоо, и англичане и пруссаки непрерывно шли к Парижу, преследуя остатки разбитой французской армии.

Талейрану совершенно без всяких оснований представилось, что он так же точно нужен для вторичного возвращения Бурбонов на престол, откуда их в марте того же 1815 г. прогнал прочь Наполеон, как он оказался им нужен в апреле 1814 г., когда сделал все зависящее, чтобы склонить в их пользу Александра. Но он решительно ошибался. Во-первых, теперь уж ни малейшего сомнения не было, что ни с Наполеоном и ни с кем из его семьи или его окружения никаких переговоров никто вести не будет и что союзники, со всех сторон спешившие со своими армиями к побежденной столице, признают Людовика XVIII единственным законным монархом. Во-вторых, что Талейран в Вене прочно рассорился с Александром и лишился главной своей былой поддержки,— это тоже хорошо знала и Франция и Европа. В-третьих, если Людовик XVIII всегда не терпел Талейрана и переносил его как неизбежное зло, то теперь ультрароялисты, полные жажды мести за свое позорное изгнание из Франции во время Ста дней, решившие действовать совсем непримиримо, ни за что не желали мириться с пребыванием у власти этого ренегата. Они твердо решились на этот раз сделать то, на что они не могли отважиться в 1814 г., произвести генеральную чистку всех высших правительственных мест от бывших деятелей времен революции и империи.

Талейран лишь постепенно все это понял, но когда 23 июня, через пять дней после Ватерлоо, он прибыл в Монс, то он был полон сладостных иллюзий и вел себя, по наблюдению Шатобриана, так, как если бы именно он сам был королем. Ему хотелось сразу же показать королю, как тот должен расценивать значение своего министра. Вместо того чтобы пойти к королю, Талейран объявил, что он устал с дороги и посетит короля завтра. В ответ на эту выходку Людовик XVIII объявил, что уезжает в три часа. Это он сказал в разговоре с окружающими, вовсе не поручая им сообщить об этом Талейрану. Знал ли об этом намерении Талейран или «друзья» нарочно сбили его с толку и он неправильно истолковал слова, думая, что речь идет о трех часах пополудни следующего дня, но король ровно в три часа ночи выехал, и разбуженный, поспешно одевшийся Талейран еле-еле успел захватить его на выезде и перекинуться несколькими словами. Слова были неутешительные. Король ни с того, ни с сего сказал: «Князь, вы нас покидаете? Воды вам принесут пользу. Вы нам дадите о себе известия».

Талейран и не думал говорить ни о каких водах. Король уехал, ничего больше не прибавив. Все это было достаточно ясно. Унижение было тем нестерпимее, что все происходило в присутствии Шатобриана, презиравшего князя Беневентского так, как только можно презирать кого-либо. Шатобриан и оставил описание всей сцены. Собственно, это и было преддверием к отставке. Но Талейран цеплялся за власть и решил «не понять» того, что произошло в Монсе. Однако его пребывание у власти стало совсем невозможным уже очень скоро, и ровно через три месяца после этой «встречи» в Монсе Талейран получил отставку.

В эти три месяца во Франции всем сделалось постепенно известно, что Александр определенно враждебно настроен к Талейрану. И для Людовика XVIII стало ясно, что пало последнее препятствие, которое мешало ему покончить с министерством Талейрана.

Но все-таки обстоятельства сложились так, что Людовику XVIII еще не представлялось возможным сразу же, в конце июня и начале июля 1815 г., на другой день после своего вторичного возвращения в Париж, избавиться от Талейрана. Мало того, Фуше, герцог Отрантский, о котором говорили, что, не будь на свете Талейрана, он был бы самым лживым и порочным человеком из всего человечества, этот самый Фуше целым рядом ловких маневров достиг того, что и его хоть на первое время, а все же пришлось пригласить в новый кабинет, хотя Фуше числился среди тех членов Конвента, которые в 1793 г. вотировали казнь Людовика XVI («цареубийцы», les régicides, как их называли).

Эти два человека, Талейран и Фуше, оба бывшие духовные лица, оба принявшие революцию, чтобы сделать себе карьеру, оба министры Директории, оба министры Наполеона, оба получившие от Наполеона высшие титулы, оба нажившие при Наполеоне миллионное состояние, оба предавшие Наполеона,— и теперь тоже вместе вошли в кабинет «христианнейшего» и «легитимного» монарха, родного брата казненного Людовика. Фуше и Талейран уже хорошо узнали друг друга и именно поэтому стремились прежде всего работать друг с другом. При очень большом сходстве обоих в смысле глубокого пренебрежения к чему бы то ни было, кроме личных интересов, полного отсутствия принципиальности и каких-либо сдерживающих начал при осуществлении своих планов, они во многом отличались один от другого. Фуше был очень не робкого десятка, и перед 9 термидора он смело поставил свою голову на карту, организовав в Конвенте нападение на Робеспьера и низвержение его. Для Талейрана подобное поведение было бы совершенно немыслимо. Фуше в эпоху террора действовал в Лионе так, как ни-

когда бы не посмел действовать Талейран, который именно потому и эмигрировал, что считал, что в лагере «нейтральных» оставаться очень опасно в настоящем, а быть активным борцом против контрреволюции станет опасно в будущем. Голова у Фуше была хорошая, после Талейрана —самая лучшая, какой только располагал Наполеон. Император это знал, осыпал их обоих милостями, богатством, высокими отличиями, но потом положил на них опалу. Он их поэтому и поминал часто вместе. Например, уже после отречения от престола он выразил сожаление, что не успел повесить Талейрана и Фуше. «Я оставляю это дело Бурбонам»,— так, по преданию, добавил император.

Однако Бурбоны волей-неволей должны были сейчас же после Ватерлоо и после своего вторичного возвращения летом 1815 г. на престол не только воздержаться от повешения обоих,— как князя Беневентского, так и герцога Отрантского,— но и призвать их к управлению Францией. Трубадур и идеолог дворянско-клерикальной оголтелой реакции в тот момент, Шатобриан, даровитый поэт, но в политике — бестолковый фантазер, не мог скрыть своей ярости при виде этих двух деятелей революции и империи, из которых на одном была «кровь Людовика XVI» и множества других казненных в Лионе, а на другом — кровь герцога Энгиенского. Шатобриан был при дворе, когда хромой Талейран, под руку с Фуше, прошел в кабинет к королю: «Вдруг дверь открывается; молча входит *Порок,* опирающийся на *Преступление,—* господин Талейран, поддерживаемый господином Фуше; адское видение медленно проходит предо мною, проникает в кабинет короля и исчезает там».

Не только роялистам сильно не хотелось иметь дело с Талейраном. Сформирование нового министерства Талейрана затруднялось отчасти и тем, что даже те наполеоновские маршалы и генералы, которые во время Ста дней не стали на сторону вернувшегося с острова Эльбы императора, заявляли теперь, после Ватерлоо, что им отвратительно сидеть «рядом с двумя изменниками» — Талейраном и Фуше. Например, старый наполеоновский генерал Кларк, герцог Фельтрский, который был уже военным министром Людовика XVIII в 1815 г. и последовал за королем в Гент во время Ста дней, теперь в июне 1815 г., при возвращении и новом воцарении Людовика XVIII, узнав, что Талейран назначается первым министром, прямо объявил, что подает в отставку. Роялист граф де Рошешуар, друг и адъютант Ришелье, эмигрант, долго служивший на юге России под начальством герцога Ришелье, передает следующий свой разговор с Кларком: «Герцог Фельтрский признался мне, что он питает большое презрение к князю Талейрану и что он этого не скрывал никогда от Талейрана. Это чувство было ему внушено Наполеоном, который однажды ему сказал: «Кларк, я вам

запрещаю связываться с князем Талейраном, потому что он... дальше Наполеон употребил абсолютно нецензурное слово... и он вас перепачкает»[4]. Сообщив эту чуждую всякой уклончивости квалификацию личности Талейрана со стороны императора и выразив полное согласие с такой предельно энергичной терминологией, Кларк, герцог Фельтрский окончательно ушел из министерства.

Проскрипционные списки были составлены Фуше. Они включали имена лиц, способствовавших возвращению и воцарению Наполеона во время Ста дней. В списке было и имя Карно, старого деятеля революции, честного, убежденного республиканца, который не шел на службу к Наполеону и был в опале в течение всего долгого первого царствования императора, но пошел на службу к нему во время Ста дней, потому что, подобно очень многим тогда уцелевшим былым якобинцам и подобно большинству рабочей массы парижских предместий, считал в тот момент Наполеона меньшим злом, чем Бурбонов. Теперь, после Ватерлоо, при новом возвращении Бурбонов министр Фуше (некогда заседавший вместе с Карно в революционных комитетах) осудил Карно на изгнание. «Куда же мне удалиться, изменник?» — спросил Карно министра полиции. — «Куда пожелаешь, дурак!» — ответил без малейшего замешательства Фуше[5].

2

Прежде всего необходимо было формально заключить новый мир с союзниками после войны, только что окончившейся битвой под Ватерлоо. Талейран был нужен для новой дипломатической борьбы. Пруссаки громко кричали о необходимости «навсегда» ослабить Францию, чтобы, наконец, иметь покой. Блюхер решительно хотел взорвать Иенский мост в Париже только потому, что он напоминает о разгроме пруссаков в 1806 г. под Иеной. И на этот раз, как и в 1814 г., Россия спасла Францию от расчленения по тем же мотивам, о которых у нас уже была речь.

Сто дней формально уничтожили Парижский мирный договор от 30 мая 1815 г., и Пруссия надеялась уже на этот раз получить Эльзас и Лотарингию.

Упорная борьба Гарденберга, Штейна, Фридриха-Вильгельма III, фельдмаршала Гнейзенау против Александра разыгралась в июле — августе — сентябре 1815 г., когда речь шла о новом мирном договоре с Францией. Здесь прусские претензии натолкнулись на решительный отпор, причем Англия отчасти поддержала Россию в отстаивании неприкосновенности французской территории. Захватнические аппетиты пруссаков начали беспокоить даже Веллингтона и Кэстльри. Штейн, к которому

благоволил Александр, просто не давая проходу, не отставал от царя, «благоволение» которого, впрочем, имело крайне малую цену, когда на весах были дипломатические интересы. 14 августа 1815 г. царь даже обнял и расцеловал Штейна, когда тот явился к нему в Париже. Но не успел Штейн растаять от восторга при этой царской ласке, как услышал от Александра: «Эльзасцы испытывают очень большое отвращение к плану присоединения к Германии; их торговые интересы требуют соединения с Францией» [6]. Это было похоронами по первому разряду всех надежд пруссаков урвать у Франции Эльзас и Лотарингию. Так называемый «второй» Парижский мир, окончательно выработанный 19 сентября 1815 г., в общем подтверждал прежний договор 30 марта 1814 г., кроме нескольких незначительных исправлений границ в пользу союзников. На Францию налагалась контрибуция в 800 миллионов франков, и в восточных и северных департаментах союзники оставляли оккупационную армию в 150 тысяч человек «минимум на три года, максимум на семь лет».

Немцы негодовали. Они приписывали упорство Александра поддержке англичан, а поддержку англичан — влиянию Талейрана, Фуше и «интригам» русского посла Поццо ди Борго.

Курьезно, что такой ученый, как Пертц (знаменитый издатель коллекции документов по средневековой истории Германии — «Monumenta Germaniae historica»), пресерьезно повторяет в своей многотомной «биографии» барона Штейна нелепую обывательскую легенду о том, что Александр, отказывая Пруссии, Вюртембергу и другим в отдаче им Эльзаса, действовал под влиянием мистической веры в пророчицу, г-жу Крюднер, которая якобы внушила ему, что господь-бог повелевает оставить французские границы в неприкосновенности [7]. Пертц и тут показал себя довольно слабым историком, хотя превосходным издателем документов, каким всегда и был. Его многотомная книга о Штейне — вовсе не история и не биография в точном смысле слова, но собрание писем и документов, имеющих отношение к деятельности этого прусского политика. И Пертцу совсем незачем было бы нелепо фантазировать с глубокомысленным видом о мистических повелениях г-жи Крюднер императору Александру касательно Эльзаса и Лотарингии, если бы он вчитался в им же самим напечатанные *подлинные документы*.

Вот что писал фельдмаршал Гнейзенау Арндту 17 августа 1815 г., т. е. ровно через три дня после решающего разговора Штейна с царем: «Если Россия говорит таким языком, то это объясняется своекорыстной политикой, которая не желает, чтобы Пруссия и Австрия были в безопасности в своих западных границах, русская политика думает сохранить для себя в лице Франции всегда готового союзника» [8]. Старый вояка и умный

человек, фельдмаршал Гнейзенау мыслил несравненно реалистичнее, чем ученый профессор Пертц, искренно и до курьеза простодушно негодующий на русскую дипломатию, недостаточно чутко заботившуюся, по его мнению, об усилении Пруссии.

Хотя в деле борьбы за целость французской территории, конечно, действия Талейрана теперь всецело совпадали с интересами и целями Александра, но царь вообще уже не скрывал своей вражды к нему. Да Талейран ему был совсем и не нужен на этот раз. Восстания против Бурбонов *теперь*, после Ватерлоо и при 150 000 солдат оккупационных войск во Франции, Александр уж ни в малейшей степени не боялся. И не только Талейран стал бесполезен, но и дальнейшее царское либеральничанье можно было очень сильно поубавить. Для присмотра за Бурбонами, от которых Александр все-таки ждал всяких непредвиденных нелепостей и неосторожностей, достаточно было посадить первым министром герцога Ришелье, умеренного конституционалиста, бывшего (с 1803 г.) генерал-губернатором Новороссийского края и Крыма и лично преданного царю.

Дни кабинета Талейрана были сочтены.

Рассмотрим теперь, при каких обстоятельствах пало его министерство.

3

В этом министерстве, назначенном 6 июля и официально объявленном 9 июля 1815 г., в котором председателем совета министров был Талейран, а министром полиции Фуше, наполеоновский генерал Гувьон Сен-Сир стал военным министром; были и еще подобные назначения. Талейран особенно ясно видел, что Бурбоны могут держаться только, если, махнув рукой на все свои обиды, примут революцию и империю как неизбывный и огромный исторический факт и откажутся от мечтаний о старом режиме. Но не менее ясно он вскоре увидел и другое: именно, что ни королевский брат и наследник Карл, ни дети этого Карла — герцог Ангулемский и герцог Беррийский, ни вернувшиеся во Францию эмигранты ни за что с такой политикой не согласятся. Он увидел, что при дворе в 1815 г. берет верх партия разъяренных и непримиримых дворянских и клерикальных реакционеров, находящихся под властью абсурдной мечты об уничтожении всего сделанного при революции и удержанного Наполеоном, т. е., другими словами, они желают обращения страны, вступившей на путь буржуазного торгово-промышленного развития, в страну феодально-дворянской монархии. Талейран понимал, что эта мечта совершенно неисполнима, что эти ультрароялисты могут бесноваться, как им угодно, но что всерьез начать ломать новую Францию, ломать учреждения, по-

рядки, законы гражданские и уголовные, оставшиеся от революции и от Наполеона, даже только поставить открыто этот вопрос — возможно, лишь окончательно сойдя с ума. Однако он стал вскоре усматривать, что ультрароялисты и в самом деле как будто окончательно сходят с ума — по крайней мере утрачивают даже ту небольшую осторожность, какую проявляли еще в 1814 г.

Дело в том, что внезапное возвращение Наполеона в марте 1815 г., его стодневное царствование и его новое низвержение, опять-таки произведенное не Францией, а исключительно новым нашествием союзных европейских армий,— все эти потрясающие события вывели дворянско-клерикальную реакцию из последнего равновесия. Они чувствовали себя жесточайше оскорбленными. Как мог безоружный человек среди полного спокойствия страны высадиться на южном берегу Франции и в три недели, непрерывно двигаясь к Парижу, не произведя ни единого выстрела, не пролив капли крови, отвоевать Францию у ее «законного» короля, прогнать этого короля за границу, снова сесть на престол и снова собрать громадную армию для войны со всей Европой? Кто был этот человек? Деспот, не снимавший с себя оружия в течение всего своего царствования, опустошивший страну рекрутскими наборами, узурпатор, ни с кем и ни с чем на свете не считавшийся, а главное — монарх, новое воцарение которого неминуемо должно было вызвать сейчас же новую, нескончаемую войну с Европой. И к ногам этого человека без разговоров, без попыток сопротивления, даже без попыток убеждений с его стороны, в марте 1815 г. пала немедленно вся Франция, все крестьянство, вся армия, вся буржуазия.

Ни одна рука не поднялась на защиту «законного» короля, на защиту вернувшейся в 1814 г. династии Бурбонов. Объяснить этот феномен страхом за приобретенную при революции землю, который питало крестьянство, опасениями перед призраком воскрешения дворянского строя, которые испытывало не только крестьянство, но и буржуазия, вообще объяснить это изумительное происшествие, эти Сто дней, какими-либо общими и глубокими социальными причинами ультрароялисты были не в состоянии — не хватало ни ума, ни кругозора, да и просто не хотели. Они приписывали все случившееся именно излишней слабости, уступчивости, неуместному либерализму со стороны короля в первый год его правления, с апреля 1814 до марта 1815 г. Если бы тогда, уверяли они, успеть беспощадно истребить крамолу,— такая всеобщая и внезапная «измена» была бы в марте 1815 г. невозможна, и Наполеон был бы схвачен тотчас после его высадки на мысе Жуан. Теперь к этому позору изгнания Бурбонов в марте прибавился еще позор их возвращения

в июне, июле и августе, после Ватерлоо, и уж на этот раз действительно «в фургонах» армии Веллингтона и Блюхера. Бешенство ультрароялистов не имело пределов. Если король еще несколько сопротивлялся им и если они еще позволили ему сопротивляться, то это было именно только в первый момент: все-таки нужно было осмотреться, можно было ждать еще сюрпризов.

Только поэтому и стало возможно правительство с Талейраном и Фуше во главе. Но по мере того как во Францию вливались все новые и новые армии англичан, пруссаков, потом австрийцев, позднее — русских, по мере того как неприятельские армии, на этот раз уже на долгие годы, располагались для оккупации целых департаментов и для полнейшего обеспечения Людовика XVIII и его династии от новых покушений со стороны Наполеона, а также и от каких бы то ни было революционных попыток,— крайняя реакция решительно поднимала голову и вопила о беспощадной мести, о казни изменников, о подавлении и уничтожении всего, что враждебно старой династии.

Талейран понимал, к чему поведут эти безумства. И он даже делал некоторые попытки удержать исступленных. Он долго противился составлению проскрипционного списка тех, кто способствовал возвращению и новому воцарению Наполеона. Эти преследования были бессмыслицей, потому что вся Франция либо активно способствовала, либо не сопротивлялась императору и этим тоже способствовала ему. Но тут выступил Фуше. Гильотинировав или потопив в Роне сотни и сотни лионцев в 1793 г. за приверженность к дому Бурбонов, вотировав тогда же смерть Людовика XVI, годами расстреливая при Наполеоне в качестве министра полиции людей, обвиненных опять-таки в приверженности к дому Бурбонов,— Фуше, снова министр полиции теперь, в 1815 г., горячо настаивал на новых расстрелах, но на этот раз уже за недостаточную приверженность к дому Бурбонов. Фуше поспешил составить список наиболее, по его мнению, виновых сановников, генералов, вроде Нея, и частных лиц, прежде всего и раньше других активно помогавших вторичному воцарению Наполеона.

Талейран решительно протестовал. Полицейский ум Фуше и яростная мстительность королевского двора восторжествовали над более дальновидной политикой Талейрана, который понимал, до чего непоправимо компрометирует и губит себя династия, пачкаясь в крови таких людей, как знаменитый маршал Ней, легендарный храбрец, любимец всей армии, герой Эльхингена и участник Бородинской битвы. Талейрану удалось спасти только сорок три человека, остальные пятьдесят семь остались в списке Фуше. Расстрел маршала Нея состоялся и, конечно,

сделался благодарнейшей темой для антибурбонской агитации в армии и во всей стране.

Это было лишь началом. По Франции, особенно на юге, прокатилась волна «белого террора», как тогда же было (впервые в истории) названо это движение. Страшные избиения революционеров и бонапартистов, а заодно уже и протестантов (гугенотов), разжигаемые католическим духовенством, раздражали Талейрана, и он пробовал вступить с ними в борьбу, но ему не суждено было долго продержаться у власти.

Дело началось с Фуше. Как министр полиции ни усердствовал, но простить ему казнь Людовика XVI и все его прошлое ультрароялисты не желали. Фуше прибегнул было к приему, который ему часто помогал при Наполеоне: он представил королю и своему начальнику, т. е. первому министру Талейрану, доклад, в котором старался припугнуть их какими-то заговорами, якобы существовавшими в стране. Но Талейран явно не поверил и даже не скрыл этого от своего коллеги. Фуше только казалось, будто он видит Талейрана насквозь, а вот Талейран в самом деле видел хитроумного министра полиции насквозь.

Талейран считал, во-первых, нелепой и опасной политику репрессий и преследований, которую желал проводить Фуше с единственной целью: угодить ультрароялистам и удержать за собой министерский портфель. Во-вторых, Талейран ясно видел, что все равно из этого ничего не выйдет, что ультрароялисты слишком ненавидят Фуше, залитого кровью их родных и друзей, и что кабинет, в котором находится «цареубийца» Фуше, не может быть прочен при полном неистовом разгуле дворянской реакции и воинствующей клерикальной агитации. По всем этим соображениям князь Беневентский решительно пожелал отделаться от герцога Отрантского. Совершенно неожиданно для себя Фуше получил назначение французским посланником в Саксонию: он уехал в Дрезден. Но, выбросив этот балласт, Талейран все-таки не спасся от кораблекрушения. Ровно через пять дней после назначения Фуше в Дрезден Талейран затеял давно подготовлявшийся принципиальный разговор с королем. Он хотел просить у короля свободы действий для борьбы против безумных эксцессов крайне реакционной партии, явно подрывавших всякое доверие к династии. Он закончил свою речь внушительным ультиматумом: если его величество откажет министерству в своей полной поддержке «против всех», против кого это понадобится, то он, Талейран, подает в отставку. И вдруг король на это дал неожиданный ответ: «Хорошо, я назначу другое министерство». Случилось это 24 сентября 1815 г., и на этом оборвалась служебная карьера князя Талейрана на пятнадцать лет.

4

Конечно, эта решимость короля удалить в отставку Талейрана диктовалась и желанием русского царя. Если бы можно было еще чем-либо усилить в Александре то презрение и недоверие, которое он всегда питал к Талейрану (и именно с первых же времен, когда «Анна Ивановна» поступила к нему на платную шпионскую службу), то, конечно, это чувство еще более усилилось после комедиантских выходок Талейрана на Венском конгрессе, когда маститый дипломат разыграл перед ним (без всякого успеха) сцену отчаянья по поводу Польши. А когда Наполеон во время Ста дней немедленно переслал Александру найденный им в кабинете поспешно бежавшего Людовика XVIII секретный договор 3 января 1815 г. Талейрана, Меттерниха и Кэстльри против России, то царь повел себя после этого при встречах с Талейраном так, что Талейрану должно было стать вполне очевидно: больше никакой благосклонности от Александра и ни одного рубля от Российской империи ему уже не видать. Русский посол в Париже Поццо ди Борго, теперь уже совершенно разочаровавшийся в «конституционности» князя, делал все от себя зависящее, чтобы ускорить отставку кабинета Талейрана. Эта отставка была вызвана прежде всего, конечно, усилившейся после Ста дней и после нового возвращения в Париж Людовика XVIII роялистской реакцией. Долго сдерживаемая стародавняя ненависть роялистов (особенно эмигрантов) против расстриги, предателя, убийцы герцога Энгиенского сдерживалась еще в 1814 г., но теперь Талейран был им уже не нужен, и известие, что Александр от него отвернулся, разумеется, ускорило его отставку.

Сэр Генри Бульвер-Литтон, много важных фактов узнавший из личных бесед с руководящими британскими дипломатами и участниками событий 1814—1815 и следующих годов, утверждает даже, что отставка Талейрана была вызвана прямым вмешательством и чуть ли не угрозами русского императора: «...император Александр, который никогда не простил г. Талейрану его поведения на недавнем конгрессе, теперь не скрывал своей личной антипатии к нему и сказал Людовику XVIII, что королю нечего ждать от петербургского кабинета, пока Талейран остается во главе кабинета тюильрийского, но что если его величество отдаст пост г. Талейрана герцогу Ришелье, то он, император, сделает все, что может, чтобы смягчить суровость условий, на которых теперь все союзники решительно настаивали» [9]. Дело было после Ватерлоо, после новой оккупации Парижа и части страны, после свирепых заявлений Блюхера и других представителей прусской военщины о расправе со вторично побежденной страной. Спорить с Александром не приходилось,

даже если бы Людовик сам хотел оставить у власти Талейрана, а этого желания у него не было и в помине.

Генерал граф Рошешуар, близкий человек и императору Александру и герцогу Ришелье, бывший в самом центре событий в 1815 г., вносит все уточнения в историю отставки Талейрана: «Большая туча поднялась между императором Александром и князем Талейраном. Я вовремя не узнал об этом разногласии, которое повлекло за собой падение министерства Талейрана... Вот что произошло: император Александр открыл, что во время работ Венского конгресса князь Талейран предложил князю Меттерниху план секретного договора...» Дальше, изложив историю и содержание известного нам секретного договора 3 января 1815 г., так неожиданно ставшего известным Александру, Рошешуар говорит, что Александр не скрывал своего неудовольствия при мысли, что «этот же самый дипломат будет в качестве председателя совета министров направлять политику Франции» [10].

Рошешуар должен был бы только добавить, что не только перед битвой при Ватерлоо, но и в самое первое время после этого события (пока войска союзников не оккупировали прочно побежденную страну) Александр еще считал присутствие Талейрана и даже Фуше в правительстве необходимым злом, с которым до поры до времени приходится мириться. Но теперь, через два с половиной месяца, уже можно было обойтись без обоих.

Царь отшвырнул прочь уже бесполезного для него Талейрана. Другого дипломата, подписавшего договор 3 января, австрийского канцлера Меттерниха, он «простил», потому что взаимная страховка абсолютизма России, Австрии и Пруссии против революции показалась ему нужной на том пути, по которому он с 1815 г. пошел, впредь уже не делая даже и вида, что хочет от него уклониться в сторону.

24 сентября 1815 г. Талейран вышел в отставку, а через два дня, 26 сентября, Александр, Франц I, император австрийский, и Фридрих-Вильгельм III, король прусский, подписали (инициатива принадлежала Александру) акт о «Священном союзе»... Мы знаем, как высказывались классики марксизма о жандармской роли, навязанной России царизмом, как отзывалась об этой роли вся революционная общественность Европы и России впоследствии.

Вот как характеризует политику Александра в описываемый момент Герцен в своем знаменитом «С того берега»: «Наполеон поднял против себя целый народ (русский), который решительно схватился за оружие, перешел за ним следом в Европу и взял Париж. Судьба этой части света была несколько месяцев в руках императора Александра, но он не сумел воспользоваться

ни своей победой, ни своим положением. Он поставил Россию под то же знамя, что и Австрию, точно у этой гнилой и умирающей империи было что-нибудь общее с молодым государством, которое только что явило себя во всем своем великолепии; точно самый энергичный представитель славянского мира мог иметь те же интересы, что и самый ярый угнетатель славян». Так квалифицировал Герцен роль Александра, конечно, по своему обыкновению, преувеличивая вообще решающее значение воли отдельной личности в истории, как бы ни была эта личность могущественна, и игнорируя общие классовые социально-политические интересы, связывавшие австрийскую реакцию с русской.

Начинались времена Священного союза, времена меттерниховщины в Европе, аракчеевщины, Рунича и Магницкого и юродствующего Фотия в России, ультрароялистских неистовств во Франции. Но эта мировая реакция раньше всего стала наталкиваться на организованный отпор со стороны прогрессивных сил буржуазии, а затем и рабочих именно во Франции.

Вглядимся теперь в то, как отражались на политическом поведении отставного министра Талейрана, члена верхней палаты (палаты пэров), зигзаги французской политики в долгие пятнадцать лет, когда он был не у дел.

Глава VII

ТАЛЕЙРАН В ОТСТАВКЕ

(24 сентября 1815 — 6 сентября 1830 г.)

1

Для отставленного так внезапно министра это было полнейшей неожиданностью, вопреки всему тому, что он пишет в своих мемуарах, придавая своей отставке вид какого-то добровольного патриотического подвига и связывая ее ни с того ни с сего с отношениями Франции к ее победителям. Дело было не в том, и Талейран лучше всех, конечно, понял, в чем корень событий. Людовик XVIII, старый, больной, неподвижный подагрик, хотел только одного: не отправляться в третий раз в изгнание, умереть спокойно королем и в королевском дворце. Он был настолько осторожен, что понимал правильность воззрений Талейрана и опасность для династии белого террора и безумных криков и актов ультрареакционной партии. Но он должен был считаться с этой партией хоть настолько, чтобы не раздражать ее такими сотрудниками, как Фуше или Талейран.

Нужна была талейрановская политика, но делаемая не руками Талейрана. Талейран не хотел замечать, что его-то самого еще больше ненавидят, чем Фуше, что большинство ультрароялистов (да и большинство во всех других партиях) охотно повторяет слова Жозефа де Местра: «Из этих двух людей Талейран более преступен, чем Фуше». Если Фуше был излишним балластом для Талейрана, то сам Талейран был излишним балластом для короля Людовика XVIII. Вот почему не успел еще Фуше выехать в Дрезден, как удаливший его Талейран сам оказался выброшенным за борт. При отставке он получил придворное звание великого камергера, с жалованием в сто тысяч франков золотом в год и с «обязанностью» заниматься чем угодно и жить там, где ему заблагорассудится. Он, впрочем, и при Наполеоне имел это самое звание (наряду со всеми другими своими званиями и титулами), и при Наполеоне обязанности эти были столь же мало обременительны, а оплачивались еще более щедро.

Он оставался, конечно, и пожизненным членом палаты пэров. Освободившись от министерства, Талейран занялся давно обдуманной им операцией, о которой до последних лет,— точнее, до 15 декабря 1933 г., когда некоторые секретные документы были во Франции опубликованы,— никто не знал.

12 января 1817 г. Талейран, окончательно удостоверившись, что удален от участия в правительстве надолго, решил затеять выгодную продажу одного ценного товара и написал Меттерниху письмо. Со спокойной и величавой миной, которой он никогда не утрачивал, Талейран откровенно сообщает о себе, что он тайком «унес» (emporté) из государственных архивов (сектор министерства иностранных дел) громадную массу документов из корреспонденции Наполеона. И хотя Англия и Россия, да и Пруссия, очень много дали бы, даже пятьсот тысяч франков, но он, Талейран, во имя старой и теплой дружбы к канцлеру Меттерниху, желает продать эти украденные им документы только Австрии и никому другому. Так вот: не угодно ли купить? Он сообщает при этом, что украл не только переписку Наполеона с ним, Талейраном, начиная с египетской экспедиции и кончая 1807 г., но и переписку императора с преемниками Талейрана по министерству иностранных дел: герцогом де Кадором (Шампаньи) с 1807 по 1811 г. и с герцогом Бассано (Марэ) с 1811 по 1813 г. Все это — с собственноручными подписями Наполеона, в оригинале. Так выхваляет Талейран свой удачно выкраденный из архивов товар. Меттерних сейчас же откликнулся, тем более, что Талейран дал понять, что среди продаваемых документов есть кое-что австрийского императора компрометирующее, и, купив документы, австрийское правительство — так советует Талейран — «могло бы или похоронить их в глубине своих архивов, или даже уничтожить». Сделка состоялась, и Талейран продал за полмиллиона эти украденные им лично архивные документы. Украл он их заблаговременно, в 1814 и 1815 гг., когда мимолетно дважды побывал во главе правительства.

Цена, правда, была немалая: полмиллиона франков. Да и сверх того, понимая вполне ясно, что если он на этот раз попадется, то подлежит по всем законам суду за государственную измену, осложненную воровством, Талейран предусмотрительно требует от своего покупателя, князя Меттерниха, чтобы в случае каких-либо неприятностей (по части уголовного преследования) Австрия предоставила ему, Талейрану, и его семье убежище «в Вене или в какой-либо другой части австрийских владений, если бы обстоятельства потребовали... его удаления из Франции». Меттерних пошел на все эти условия, и с соблюдением всех нужных предосторожностей и строжайшей конспирации документы (832 номера) оказались в Вене у Меттерниха, а 500 тысяч франков золотом очутились в Париже у Талейрана.

Это ничего не значит, что Талейран крайне бесстыдно обманул Меттерниха, ибо из проданных 832 документов только 73 оказались в самом деле оригиналами, подписанными Наполеоном, а все остальные простыми служебными копиями, и притом не очень интересными. Издатель «Mélanges» Лакур-Гайе, напечатавший всю документацию об этой воровской сделке, замечает, что вовсе не надо представлять себе дело так, будто Меттерних стал при этой покупке жертвой «ловкого мошенника»: «Канцлер не был дураком, который покупает кота в мешке, а князь Талейран не был таким мошенником, который обманывает насчет качества товара. Он торговал, но как честный торговец... Один продавал документы, „драгоценные и часто компрометирующие", а другой заведомо покупал „именно их"»[1]. Тонко ввернув в своем письме шантажный намек, Талейран заставил своего корреспондента сразу согласиться на эту покупку,— среди малоинтересной служебной архивной трухи Меттерних получил все-таки за свои деньги нужные ему неприятные для Австрии документы. Сообщники прекрасно друг друга понимали,— ведь они не первый день работали вместе.

Может быть, эта догадка Лакур-Гайе и произвольна. Но если бы его гипотеза была и неверна, то ведь австрийский канцлер все равно был лишен возможности как-нибудь реагировать на поступок Талейрана, который, лишь получив деньги, отдал документы в австрийское посольство в Париже. Меттерних согласился на все и все уплатил сполна. А уже потом, когда все это краденое добро было вывезено из Франции (под видом не подлежащих осмотру австрийских посольских бумаг) и прибыло в Вену, австрийский канцлер мог убедиться, что продавец и его тоже отчасти обманул; что многие документы оказались, как сказано, вовсе не подлинниками, а копиями, без подписи Наполеона. Но в таких деликатных случаях кому же будешь жаловаться? Укрыватель и скупщик всегда рискует пострадать, если вор и сбытчик склонен к лукавству. На том дело и кончилось. Во всяком случае дальнейшие отношения Меттерниха к Талейрану отмечены большой сухостью. Но за сердечностью отношений с кем бы то ни было маститый князь Беневентский никогда и не гнался.

2

Талейран,— так казалось на первых порах,— удалился на спокойное житье в отставке. Громадное богатство, великолепный замок в Валансэ, великолепный дворец в Париже, царственная роскошь жизни — вот что ждало его на закате дней. Безделье не очень тяготило его. Он и никогда вообще не любил работы. Он давал руководящие указания своим подчиненным в

министерстве, своим послам, наконец, своим министрам, когда был первым министром. Он давал советы государям, которым служил,— Наполеону, Людовику XVIII; делал это в интимных разговорах с глазу на глаз. Он вел свои дипломатические переговоры и интриги иной раз за обеденным столом, иной раз на балу, иной раз в перерыве карточной игры; он достигал главных результатов именно при разных обстоятельствах той светской, полной развлечений жизни, которую всегда вел.

Но работа терпкая, ежедневная, чиновничья была ему неведома и не нужна,— для этого существовал штат опытных подчиненных ему сановников и чиновников, секретарей и директоров. Теперь, в отставке, так же как и в годы своей опалы при Наполеоне, он внимательно наблюдал за политической шахматной доской и за ходами партнеров, сам же до поры до времени не принимал участия в игре. И он видел, что Бурбоны продолжают подкапывать свое положение, что единственный между ними человек поосторожнее, Людовик XVIII, изнемогает в своей безуспешной борьбе против крайних реакционеров, что, когда король умрет, на престол попадет легкомысленный старик Карл д'Артуа, который не только не станет противиться планам восстановления старого режима, но и сам охотно возьмет на себя инициативу, потому что у него не хватит ума понять страшную опасность этой безнадежной игры, этого нелепого и невозможного поворачивания истории вспять, не хватит даже того инстинкта самосохранения, который один только и мешал его старшему брату, Людовику XVIII, вполне примкнуть к ультрароялистам.

Отойдя временно от активной политики, Талейран засел за мемуары. Он написал пять томов (имеющихся в сокращенном русском переводе). С чисто биографической стороны, в точном смысле слова, эти пять томов особого интереса для нас не представляют. Скажем здесь лишь несколько слов об этом произведении Талейрана.

Мемуары буржуазных деятелей, игравших первостепенную роль, редко бывают сколько-нибудь правдивы. Это весьма понятно: автор, знающий свою историческую ответственность, стремится построить свой рассказ так, чтобы мотивировка его собственных поступков была по возможности возвышенной, а там, где их никак нельзя истолковать в пользу автора, можно постараться и вовсе отречься от соучастия в них. Словом, о многих мемуаристах этого типа можно повторить то, что Анри Рошфор в свое время сказал по поводу воспоминаний первого министра конца Второй империи, Эмиля Олливье: «Олливье лжет так, как если бы он до сих пор все еще был первым министром». Лучшим из новейших образчиков такого рода литературы могут послужить девять томов воспоминаний покойного

Пуанкаре (готовилось еще десятка полтора, судя по принятому масштабу и по известному трудолюбию автора). Все девять томов Пуанкаре — почти сплошное, по существу, повторение патриотической казенщины, печатавшейся в эпоху нескольких его министерств и его президентуры.

Мемуары Талейрана имеют некоторое преимущество. Во-первых, в том, что они,— хотя, правда, после первоначальных явственных колебаний,— предназначались лишь для потомства, и ни в коем случае не должны были появиться при жизни автора (они впервые вышли в 1891 г., т. е. спустя пятьдесят три года после смерти Талейрана). Во-вторых, как я уже отмечал, Талейран понимал, что, действуя на мировой арене, оказав несколько раз громадное влияние на ход дел в самые решающие исторические моменты, проявляя всегда абсолютную беззастенчивость и не пытаясь даже оправдываться почти ни в чем впоследствии,— он и не может рассчитывать, что ему будут очень верить в его мемуарах. Поэтому он избрал такой метод. Он прежде всего загромоздил свои мемуары перепечаткою официальных документов или служебных и полуслужебных донесений, которые составлял за время своей активной политической жизни, а затем просто обошел молчанием все те случаи, где лгать было бы совсем бесцельно вследствие слишком уже большой известности и твердой установленности бесспорных фактов. Конечно, по этой причине мемуары должны были неминуемо очень много потерять в своем внешнем интересе. В самом деле: вспомним, кого только не видел, с кем только не имел дела этот человек! «Он говорил о себе самом, что он — великий поэт и что он создал трилогию из трех династий: первый акт — империя Бонапарта, второй акт — дом Бурбонов, третий акт — Орлеанский дом. Он сделал все это в своем дворце, и, как паук в своей паутине, он последовательно привлекал в этот дворец и забирал героев, мыслителей, великих людей, завоевателей, королей, принцев, императоров, Бонапарта, Сийеса, госпожу Сталь, Шатобриана, Бенжамена Констана, Александра российского, Фридриха-Вильгельма прусского, Франца австрийского, Людовика XVIII, Луи-Филиппа и всех золотых и блестящих мух, которые жужжат в истории последних сорока лет»,— так писал о нем Виктор Гюго через несколько дней после его смерти. Талейран сравнительно мало говорит о них всех,— значительно меньше, чем мог бы сказать.

И при всех этих недостатках воспоминания его — не бесполезная часть того мемуарного фонда исторической литературы, который желательно иметь интересующемуся историей человеку.

Именно потому, что Талейран об очень многом умолчал, мы можем с несколько бо́льшим доверием отнестись к тому, о чем

он говорит. Ведь он умалчивал о таких событиях, о которых заведомо до него знали все на свете, и потому своим умалчиванием не стремился их «скрыть», а просто давал понять, что не хочет о них распространяться. Говорил же он лишь о том, о чем, по его мнению, еще можно спорить, что еще можно пытаться осветить в благоприятном для него свете и что, быть может, в глубине души он считал нисколько не зазорным для своей чести.

Талейран в своем завещании сделал полной распорядительницей всех своих бумаг свою племянницу, герцогиню Дино, причем обусловил, чтобы его мемуары были опубликованы не раньше чем спустя тридцать лет после его смерти. После смерти герцогини Дино бумаги перешли, по ее завещанию, к Бакуру, который и принялся готовить их к печати. Умирая, он завещал эти бумаги двум светским дилетантам, к которым присоединился впоследствии и академик герцог Бройль, известный лидер французских легитимистов и министр в начале Третьей республики. Бройль и приготовил окончательно к печати эти мемуары, первый том которых появился в Париже в феврале, второй и третий — в июне, а четвертый и пятый — в октябре 1891 г.

Теперь уже может считаться вполне установленным, что все свои воспоминания, относящиеся ко времени от первых лет своей жизни вплоть до своей отставки в сентябре 1815 г., Талейран написал в эпоху Реставрации, и едва ли не больше всего именно в первые годы Реставрации. Затем в мемуарах следует глубокий провал, ровно ничего не говорится о годах отставки, и затем — непосредственный переход к Июльской революции 1830 г. и к последней фазе активной деятельности Талейрана — к его пребыванию в качестве посла Луи-Филиппа в Лондоне в 1830—1834 гг. Эта часть написана, очевидно, в 1835—1837 гг., так как в 1838 г. он часто болел и уже не мог работать.

Что касается первой части, то на ней очень явственно отразилось время, когда Талейран писал ее. Он принимает тон человека, всегда в душе скорбевшего об ошибках и злоключениях «законной» династии Бурбонов, тон умеренно-либерального аристократа, который, лишь скрепя сердце,— чтобы по мере сил спасать отечество,— стал служить и Учредительному собранию, и Законодательному собранию и Директории, и Наполеону, личное же его предпочтение было (хочет он внушить читателю) всегда на стороне Бурбонов. С этой нотой вполне гармонируют и две другие, также очень слышные в первой части мемуаров: Талейран с удовольствием останавливается на старорежимных бытовых подробностях, которые помнит с детства, предается горделивым размышлениям о том, что невозможно неаристократу играть ту же роль, быть так же поставленным в глазах населения, как поставлены люди старинных дворянских родов; с другой стороны, он настойчиво обращает внимание читателя

на то, как он до революции отстаивал права и преимущества церкви, споря против светской власти, желавшей наложить на церковь более тяжелые поборы. Ясно, что он, думая о читателях 1815—1816 и следующих годов, имел в виду прикинуться совсем их человеком, со всеми дворянскими и даже отчасти клерикальными симпатиями, свойственными тогдашней торжествовавшей реакции. Мы можем по некоторым признакам судить, что он не сразу отказался от мысли печатать свои мемуары еще при жизни. Ясно, что некоторое время он думал о том читателе, который задавал тон при Реставрации, и именно в первые ее годы.

Это у него отразилось не только на заведомо лживой оценке собственной роли и мотивов своих действий при революции и империи, но и на умышленном почти полном умолчании о самых важных событиях (вроде секвестра, по его предложению, всех земельных имуществ церкви в 1789 году и т. д.). Посвящая особую главу свиданию императоров Наполеона и Александра в Эрфурте, он только беглым и глухим намеком говорит о своих изменнических деяниях в тот момент. Поминая мельком о казни герцога Энгиенского, он внушает читателю мысль о полнейшей своей моральной непричастности к этому событию. Говоря о 1814—1815 гг., он представляет дело так, что, кроме как о спасении отечества, он ни о чем не думал. И чтобы окончательно замаскировать перед читателем свою инициативную роль в расстреле герцога Энгиенского, он не забывает (правда, ни к селу, ни к городу) прибавить, что именно принц Конде (т. е. отец расстрелянного герцога Энгиенского) поздравлял его с результатами Венского конгресса. Он забывает прибавить, что это поздравление было им получено значительно позже, и именно после того, как он бесстыдно обманул принца Конде и этой беззастенчивой ложью оправдался в его глазах.

Впрочем, читатель, ознакомившись с моей характеристикой Талейрана и с бесспорными фактами, которые я привожу, без труда разберется в причинах, почему автор мемуаров о многом предпочитает вовсе не говорить, а о многом говорит не то, и не так, как было.

И, тем не менее, без этих мемуаров не всегда может обойтись историк Франции конца старого режима, революции, империи, Реставрации, Июльской революции, монархии Луи-Филиппа; пригодятся они и историку европейской дипломатии в этот период. Они содержат порой важные детали, тонкие замечания и оценки как лиц, так и событий. В этих томах выгодно сказывается отмеченная мной характерная черта Талейрана: отсутствие мстительности, происходящее, правда, не от благодушия, но от способности и склонности не столько ненавидеть, сколько презирать людей и пользоваться ими для личных целей.

Его мемуары не носят характера боевого памфлета, написанного для посрамления врагов и наказания обидчиков, как аналогичные книги Тирпица или Клемансо, или леди Асквит, или графа Витте, или фальсифицированные мемуары Бурьенна или Бисмарка. Напротив, к тем, кто умер или уже не может ему помешать, он относится со спокойствием и равнодушием, которые вообще были ему свойственны. Наконец, в его мемуарах есть неуловимая, но очень важная черта, которая свойственна только тем, кому пришлось самим быть главными актерами исторической драмы: Талейран как-то интимно,— можно было бы сказать, фамильярно,— рассказывает о великих исторических событиях, реальное сцепление фактов иной раз само собою выявляется под его пером. Этому отчасти способствует даже та небрежность, та скупость на самостоятельный труд, которые тоже были всегда очень заметны в этом человеке. «Не слишком усердствуйте»,— учил он молодых дипломатов. «Тот, кто придал бы его величеству императору Наполеону немножко лени (un peu de paresse), был бы благодетелем человечества»,— говорил со вздохом Талейран в годы самого расцвета «великой империи». Талейран полагал, что иногда не спешить, уметь выжидать, не очень вмешиваться, вообще поменьше работать — единственно полезная для дипломата тактика. Он и в мемуарах своих скуп на работу. Он явно почти не обрабатывал этих набросков и стремился быть как можно лаконичнее и поскорее перейти к «бумагам за номером», за которыми, очевидно, по его мнению и от потомства укрыться как-то надежнее.

Для предлагаемого анализа жизни и деятельности Талейрана я, конечно, лишь в самой малой степени использовал эти пять томов мемуаров. Для читателя несравненно интереснее не то, о чем говорит Талейран, но то, о чем он совершенно умалчивает,— и я основал свою работу сплошь на совсем другого рода источниках. Я старался при этом из необъятной массы фактов выбрать и проанализировать лишь те, которые считал наиболее характерными и показательными.

Но писание мемуаров не очень князя развлекало. Он еще вовсе не хотел сдавать себя в архив.

3

Талейран в первые годы Реставрации, конечно, хотел вернуться к власти, брюзжал, ругал — и даже публично — министров, за что однажды в виде наказания был «лишен двора», т. е. ему было воспрещено появляться в Тюильри (несмотря на сан великого камергера). Он иронизировал над глупостью и бездарностью правящих лиц, острил, составлял эпиграммы. Он давал понять, где нужно, что он незаменим. Но его не взяли. Судя

по разным признакам, он уже тогда полагал, что час падения Бурбонов не весьма далек. Он их никогда не только не любил (он никого не любил), но и не уважал, как он, например, уважал Наполеона, и он видел, что Бурбоны и их приверженцы стремятся к цели, по-своему ничуть не менее фантастической, чем «всемирная монархия» их грозного предшественника на престоле Франции.

Талейран отчетливо сознавал, что дворянство, как класс, ранено насмерть еще Великой буржуазной революцией и не только уже никогда не воскреснет, но заразит трупным ядом самую династию.

Талейран очень скоро уже показал королю, что он отнюдь не намерен развлекать свою старость только писанием мемуаров. Не назначить его членом палаты пэров Людовик XVIII никак не мог,— а назначив, уже и вовсе не мог от него отвязаться, ибо должность члена верхней палаты была пожизненной.

Убедившись, что он самым неприятным образом промахнулся и что король Людовик XVIII довольно ловко воспользовался этим промахом, чтобы отделаться от давно беспокоившей его и всегда ему антипатичной личности своего новоявленного «друга и верноподданного», Талейран начал терпеливо ткать новую паутину интриг против «неблагодарных» Бурбонов.

Вот что писал русский посол Поццо ди Борго из Парижа в Петербург: «Г-н де Талейран, взяв себе за правило с горечью фрондировать против всего, что тут делается, вызвал против себя, как и следовало ожидать, равным образом неприятные возражения. В том положении, в каком он находится, его оппозиция, основательная или несправедливая, всегда объясняется его честолюбием или коварными планами, когда на самом деле это только легкомыслие, сарказм и раздраженное самолюбие. Интриганы всякого рода, окружающие его, стараются его скомпрометировать и, потеряв почву в Париже, они избрали своей ареной Лондон, где им удалось установить публичную корреспонденцию, публикуемую через газеты. Эта корреспонденция состоит из документов, сфабрикованных из неверно передаваемых разговоров и зложелательной критики против короля и его семьи. Г-н де Талейран там изображается как преследуемый мудрец, отсутствие которого в составе министерства порождает все недостатки, против которых они протестуют...» Эта работа направляется и «против нашего (русского — *Е. Т.*) двора, причем порицают „почтение" французского правительства по отношению к России и стремятся повредить влиянию России на французские дела». Поццо ди Борго явно побаивается, как бы теперь, в 1816 г., Талейран не пустил в ход «либеральные» разговоры, которые Александр с ним имел в марте — апреле — мае 1814 г.[2] Судя по нескольким завуалированным строкам Поццо

ди Борго, Талейран и его друзья пропагандируют идею, будто король отставил Талейрана за верное следование князя «либеральным» советам царя. А теперь, в 1816 г., после образования Священного союза, уже очень много воды утекло с весны 1814 г., когда эти либеральные разговоры велись, и обо многом царю вспоминать уже не хотелось.

Что «либеральные» и «конституционные» тенденции царя в области французской (но никак не русской) внутренней политики диктовались *исключительно* опасением возможности новой революции во Франции и не чем иным,— это Талейран понимал, конечно, очень давно и очень хорошо. Ему для этого даже не потребовалось дождаться разгула аракчеевщины, военных поселений, голицынского мракобесия, расцвета Священного союза, поведения царя в Троппау, в Лайбахе и в Вероне.

Хотя Талейран был отныне, с 24 сентября 1815 г., в отставке, которая оказалась продолжительной и длилась пятнадцать лет, вплоть до Июльской революции 1830 г., но все-таки король и двор, ненавидевшие его, продолжали его бояться и, по-видимому, далеко не сразу сами сообразили, что для них лично окажется возможным уже никогда больше не быть вынужденными прибегнуть к его услугам. Боялись его холодной злобы, его беспощадного языка, его зловещих пророчеств.

«Князь Талейран возвратился в Валансэ перед окончанием празднеств по случаю свадьбы (герцога Беррийского — *Е. Т.*). Король и принцы вели себя по отношению к нему так, чтобы не дать ему никакого предлога к жалобам. Хотя этот человек показывает вид, что ушел от дел, он еще будет некоторое время не совсем безразличен (ne sera pas encore de quelque temps tout-à-fait indifférent en France). Самое лучшее средство притупить его критику заключалось бы в том, чтобы не оправдывать эту критику своими ошибками. Таков аргумент, который я чаще всего пускаю в ход относительно тех, кто боится и кто поддается его интригам только вследствие собственных неосторожностей» [3]. Так доносил русский посол в Париже Поццо ди Борго летом 1816 г.

4

Вражда Талейрана к королю и его министрам, кто бы они ни были и какую бы политику ни проводили, не знала предела. В палаты вносится (в 1817 г.) закон, несколько понижающий ценз активного избирательного права: вотировать имеет право отныне гражданин, платящий 300 франков прямого налога в год. Крайние реакционеры поднимают бурную агитацию, им этот закон кажется субверсивным, революционным, разрушающим монархию. И Талейран, член палаты пэров, зная, что тупая, не-

непримиримая аристократическая реакция губит монархию, становится во главе этой реакционной клики, лишь бы провалить министерство. Русский посол Поццо ди Борго, понимая, какую комедию играет Талейран и зачем он ее играет, доносит графу Нессельроде и царю: «Все эти элементы интриги дали г. Талейрану надежду одержать успех. Он притворился, что становится на сторону предполагаемых интересов дворянства, что он разделяет опасения принцев (родни короля — *Е. Т.*), и он объявил себя ревностным защитником легитимности, которую может поставить в опасное положение дурной выбор депутатов... В этом качестве он снова появился в палате пэров, окруженный гг. Полиньяком, Матье де Монморанси, Шатобрианом и другими, о которых говорят, что они действуют только согласно желаниям принцев» [4]. Под «принцами» тут понимаются королевский брат Карл д'Артуа и его сыновья (племянники короля: герцоги Ангулемский и Беррийский).

Как активен и деятелен был Талейран, интригуя против короля и правительства, и как тесно он, по-видимому, увязывал свои интриги с английскими внешнеполитическими происками против Ришелье, которого правильно считали ставленником Александра, мы узнаем из одного важного документа. Этот очень ответственный документ был составлен первым министром, герцогом Ришелье, в сентябре 1817 г., в ответ на запрос русского министерства относительно того, насколько безопасно для восстановленной династии Бурбонов вывести из Франции оккупационные войска союзников.

Ришелье дает очень успокоительный ответ, уверяя, что опасности восстания против правительства и династии нет, но не отрицает, что еще совсем недавно ультрароялистские реакционеры внушали беспокойство: «Эта партия, мятежная и бурливая (factieux et turbulent), то поддерживала самые абсолютистские доктрины, то спускалась до самой безудержной демократии (sic!), лишь бы доставить затруднения государю. Она прибегала ко всем крайностям (à tous les exrêmes), к г. Талейрану, г. Каннингу, герцогу Веллингтону, английским газетам, к клевете, к ложной тревоге,— все было пущено в ход, лишь бы произвести смуту» [5]. Во всем длинном отчете герцог Ришелье не поминает ни одного собственного французского имени, кроме имени Талейрана, когда говорит об английских политических деятелях, интригующих вместе с Талейраном против французского правительства. Это показание Ришелье очень подкрепляет вышеприведенные свидетельства Поццо ди Борго.

Так действует в пользу сторонников абсолютистской реакции Талейран, столько раз высказывавшийся о полной нелепости, губительности и невозможности политики этих самых Полиньяков, графов Блака и графов Артуа. А вот какие средства

пускает в ход «патриот» Талейран, оправдывавший все свои предательства тем, что он изменял не Франции, а лишь правительствам, политика которых была, по его мнению, вредна национальным интересам; вот о чем пишет в Петербург Поццо ди Борго в дополнительном донесении, помеченном тем же днем 2(14) февраля 1817 г. Министерство Ришелье вело трудную негоциацию о постепенном уходе войск союзников с французской территории. Талейран, делавший все от него зависящее, чтобы привлечь в свой дом герцога Веллингтона, британского представителя в Париже, и войти с ним в самые теплые отношения, нашел возможность довести до сведения герцога, что управляющий отделом косвенных налогов Барант, говоря об оккупационных войсках союзников, стоявших еще во Франции, выразился о них грубым словом. Это слово не попало в печать, но, узнав в доме Талейрана об этом факте, Веллингтон, распалясь гневом, поднял большой шум, требовал удовлетворения, и перепуганный Ришелье уже готов был уволить Баранта и т. д. Благодаря вмешательству русского посла дело уладилось, Веллингтон успокоился, так что Талейрану не удалось вызвать международный инцидент: разрушены были «все надежды, которые были возбуждены интригами г. Талейрана среди его сторонников»,— добавляет Поццо ди Борго [6].

Действия Талейрана приобрели, наконец, такой вызывающий характер, что Людовик XVIII запретил ему являться при дворе, но все-таки не посмел лишить его при этом звания «великого камергера королевского двора». Это курьезнейшее «наказание», обличавшее страх короля и министерства перед дальнейшими действиями многоопытного великого камергера, было очень скоро (в феврале 1817 г.) снято «по просьбе герцога Ришелье», как сообщает Поццо ди Борго [7]. Конечно, в этом «великодушии» играли роль опасения будущих интриг Талейрана. Ришелье знал, как его не терпит Талейран, как он распускает слухи о том, что Александр сначала дал Ришелье в управление Новороссию и Крым, а потом Францию, причем Талейран острил, что главное право герцога Ришелье на управление Францией заключается в том, что из всех французов он лучше всех знает Крым.

Соответствующая благодарность за королевскую «милость» последовала довольно скоро. «Я уже известил ваше превосходительство, что герцог *Ришелье по чувству деликатности* клонил короля позволить князю Талейрану снова явиться при дворе и отправлять обязанности великого камергера. Последствием этой снисходительности была новая интрига»,— сообщает с сокрушением русский посол граф Нессельроде [8].

«Интрига», собственно, в данном случае не заслуживала столь громкого наименования. Говоря старинным простодушным слогом русских приказных, поступок Талейрана был на этот

раз лишь «подвохом и ехидством». Талейран просил Людовика XVIII (минуя министерство — как первого министра Ришелье, так и хранителя печати Паскье), чтобы тот дал ему титул герцога Валансэ по названию его великолепного дворца в Валансэ. Король, принимая во внимание все уже имевшиеся гораздо более пышные титулы — «князя Беневентского» и «князя Талейрана-Перигора» и т. д., не подумав, взял да и подписал подсунутую Талейраном бумагу. Министерство, узнав об этой проделке, пришло в смятение: ведь Талейран, в свое время, по приказу Наполеона именно у себя в Валансэ держал в качестве пленников часть испанской королевской семьи, коварно арестованной императором в Байонне в 1808 г.! Выходило, что Людовик XVIII задним числом как бы одобряет этот поступок Наполеона с испанскими Бурбонами!

Хранитель печати Паскье, к которому явился Талейран с подписанной королем бумагой, бросился к Ришелье, тот — к королю, и Людовик XVIII, сообразив, на какой громкий политический скандал подталкивает его Талейран, взял сейчас же назад свое согласие: ведь в этом, 1817, году на престоле Испании сидел именно Фердинанд VII, для которого замок Валансэ в 1808 г. был тюрьмой.

Эта притушенная в самом зародыше история с «герцогством Валансэ» по-своему знаменательна. Отныне оппозиция Талейрана приобретает уже не реакционный, как это было еще в 1816 г. и в самом начале 1817 г. и изредка также в 1818—1819 гг., характер, но «либеральный». Талейран начинает понемногу вспоминать о своей деятельности при революции и, при случае, похваливать «великого императора».

Борьба Талейрана в 1817—1819 гг. против «либеральных» министерств — сначала Ришелье, потом Деказа — была прямым продолжением той тактики, которую он обнаружил в своем письме к Александру в июне 1814 г.: он желал тогда, вопреки основному и правильному своему взгляду на гибельность ультрароялистских вожделений, подладиться (с целью удержаться у власти) именно к ультрароялистам и отстранить «конституционное» влияние Александра. Затем, когда ультрароялисты, ненавидевшие его за прошлое, удалили его в отставку, он, назначенный членом палаты пэров, стал все-таки снова маневрировать с целью сблизиться с ними на почве борьбы против Ришелье и Деказа, чтобы хотя таким путем вернуться к власти. Но вот наступает 1820 год, происходит убийство герцога Беррийского, уходят «либеральные» министры и начинается безудержная реакция. Тут уж и не Талейрану становится вполне ясно, что тот отпор, который либеральная буржуазия твердо решила дать дворянско-абсолютистским тенденциям, будет расти из года в год и непременно окончится либо переходом дина-

сти на позиции буржуазной, конституционной монархии, либо новой революцией. Безнадежная политическая слепота, тупость и, вместе с тем, слабость реакции становятся вполне очевидными и с каждым годом все яснее.

5

И тут Талейран решил снова и круто сманеврировать налево, к либералам, окончательно и уж на этот раз бесповоротно порвав с реакцией, которой он только что мимолетно по чисто личным (и ошибочным) карьеристским соображениям служил. В 1821, а затем в 1822 г. он произносит в палате пэров речи в защиту свободы печати (против реакционных проектов правительства о цензуре); в 1823 г. борется против реакционно-клерикальной авантюры — посылки французской военной экспедиции в Испанию с целью подавления испанских революционеров и восстановления абсолютизма Фердинанда VII.

Эта линия политического поведения все более и более сближает его с молодыми лидерами буржуазного либерализма, с Тьером, с Минье и со старым вождем либеральных доктринеров Ройе-Колларом.

Выступления его в палате пэров были очень редки, но производили впечатление. Речь Талейрана против затеянной ультрароялистами и иезуитами французской вооруженной интервенции в Испании в 1823 г. очень ему удалась. Либералы восхваляли ее, а такой тонкий литературный ценитель, как Стендаль, написал о ней восторженный отзыв для одного лондонского журнала, где он сотрудничал. Стендаль настаивал, что эта речь — не только политическое, но и литературное событие, и что общественное мнение признает, что «ничего равного не слышно было со славных дней Мирабо» [9].

«Гг. Тьер, Минье, Стапфер, переводчик Гёте, и Каррель, офицер, основали газету „Le National", пока еще довольно плоскую. Они вложили в это все свое небольшое состояние, а г. Талейран дал остальное...

...Старый, умирающий Талейран, которому 73 года, сказал публично, что он призвал Бурбонов в 1814 г., чтобы заключить мир, а что в 1829 г. их должно прогнать, чтобы иметь спокойствие»,— писал Стендаль в частном письме в Лондон за полгода до Июльской революции [10].

В эти последние годы Реставрации Талейран, впрочем, охотно сближался не только с либералами и конституционалистами вроде Армана Карреля, Тьера, Ройе-Коллара, Минье, но и с бонапартистами вроде графа Флао (близкого друга королевы Гортензии). Именно в гостях у графа Флао Талейран в 1829 г.

сказал крылатое слово о необходимости прогнать Бурбонов, «чтобы иметь спокойствие».

Стендаль вовсе не желал наступления надвигавшейся революции, но ждал ее. И он, всегда интересовавшийся Талейраном и ни малейших иллюзий не делавший себе на его счет, все более и более приковывается мыслью к этому «порочному старцу», который один только мог бы спасти Францию от пугающих последствий глупости и нахальства крайних реакционеров. Как характерны с этой точки зрения иные его корреспонденции в английские журналы в 1825 г., когда реакция во Франции окончательно закусила удила! «Этот ловкий государственный человек (Талейран — *Е. Т.*), который вот уже тридцать лет обнаруживает такое политическое ясновидение, предвидя грядущие судьбы Франции, доказал ультрароялистам в различных мемуарах, что невозможно восстановить старый режим»,— пишет Стендаль 1 февраля 1825 г.[11] «Старый и хитрый Талейран — наилучшая голова Франции», но «окружающие Карла X ничтожества», сознавая недостаточность своих сил «в присутствии гения Талейрана», не хотят вверить ему руководство делами. И почему? «Под смешным предлогом, что он один из самых безнравственных людей во Франции». Все эти аристократы, главари былой эмиграции, бездарные люди, и «если они не позволят руководить собой Талейрану, самому ловкому мошеннику Европы, они только будут нагромождать одну глупость на другую».

Стендаль выражал в эти последние годы перед Июльской революцией мнение многих представителей французской буржуазии.

Что Талейран «мошенник», для Стендаля не подлежит ни малейшему сомнению. Но он и всякого политического деятеля склонен иной раз считать мошенником — даже ничем особенно позорным не проявившего себя Мартиньяка; хотя все-таки Талейрана, конечно, считает хуже. «Мне нужен первый министр, который был бы мошенником и занимательным человеком, как Вальполь или г. Талейран». И отец Люсьена Левена советует своему сыну «быть мошенником», как Талейран[12]. Талейран видел, что и «со стороны», «извне» никто Бурбонов не предупредит и не спасет. Полевевший Талейран в эти годы уже иронически-сожалительно говорил о «голове бедного императора Александра», набитой контрреволюционными и мистическими бреднями и запуганной Меттернихом: еще в 1814 г. Александр понимал, что Бурбоны погибнут, если не примирятся с новой Францией, но в двадцатых годах он уже перестал об этом говорить. Любопытно, что в эти годы Реставрации Талейран всегда вспоминал Наполеона со сдержанным почтением и при случае любил делать сопоставления, мало выигрышные для преемников императора. Байроновское чувство к Наполеону,

выразившееся в словах: «затем ли свергнули мы льва, чтоб пред волками преклоняться?», не находило себе, конечно, никакого отзвука в сухой и ничего общего с романтизмом не имевшей душе Талейрана, но поскольку он думал об историческом имени своем, о своей исторической репутации (он, впрочем, не очень много по сему поводу кручинился), постольку сознавал, что историческое бессмертие обеспечено прежде всего тем, кто связал свою деятельность с деятельностью этого «раздавателя славы», как выразился о Наполеоне русский партизан 1812 г. Денис Давыдов. И князь, составляя как раз в эти годы свои мемуары, особенно настойчиво подчеркивал, что если бы Наполеон не начал вести губительную для него самого и для Франции необузданно завоевательную политику, то никогда бы он, Талейран, не перестал верой и правдой служить императору.

А в ожидании дальнейшего, со времени смерти Людовика XVIII и восшествия на престол Карла X в 1824 г., князь Талейран начал сходиться с вождями либерально-буржуазной оппозиции — Ройе-Колларом, Тьером, историком Минье. Дело явно шло к катастрофе, и новый король очертя голову устремлялся к пропасти. Талейран, принимая и угощая в своих великолепных дворцах в Париже и в Валансэ вождей буржуазной оппозиции, с которыми счел теперь полезным сблизиться, в то же время бывал и у короля. Но он с Карлом X уж совсем не стеснялся, именно потому, что ждал со дня на день его гибели. «Тот король, которому угрожают, имеет лишь два выбора: трон или эшафот»,— сказал однажды Талейрану Карл X, любивший повторять, что только уступки погубили в свое время Людовика XVI. «Вы забываете, государь, третий выход: почтовую карету»,— заметил Талейран, который, предвидя, что Бурбоны вскоре перестанут царствовать, охотно допускал, что на этот раз дело обойдется без гильотины, а кончится лишь изгнанием династии.

Как сказано, с 1829 г. Талейран начал сближаться и с герцогом Луи-Филиппом Орлеанским, кандидатом на престол, потому что установления республики буржуазный класс в его целом, так же как особенно деревенская его часть — собственническое крестьянство, определенно боялись и не хотели. 8 августа 1829 г. Карл X назначил первым министром Жюля Полиньяка, который никогда и не скрывал, что стремится к восстановлению всей полноты королевской власти, как к первому шагу по пути нужных «реформ» в государстве. Другими словами, следовало ждать нападения на конституцию, государственного переворота с целью в дальнейшем воскрешения феодально-абсолютистского строя.

Талейран твердо знал, что Карл X погибнет на этой попытке лишить буржуазию и собственническое крестьянство того, что

им дала революция. Что рабочему классу революция дала гораздо меньше, а Наполеон и Бурбоны отняли и то, что она дала, и что рабочие теперь впервые после 1—4 прериаля 1795 г. начинают проявлять стремление к активности и непременно поддержат любое восстание, даже если оно начнется не по их инициативе,— этого Талейран не предвидел. Но даже и без этого шансы династии спастись, в случае, если будет произведена попытка государственного переворота со стороны короля, были довольно сомнительны. Полиньяк еще менее, чем Карл X, блистал умственными качествами, еще меньше короля понимал, что он шутит с огнем, но отличался эмоциональностью и узколобым реакционным фанатизмом, который повелительно требовал немедленных военных действий против всех, не согласно с ним мыслящих.

Либеральная буржуазия, чувствуя за собой всю силу, твердо решила сопротивляться. В кабинете у Талейрана собрались вожди либералов: Тьер, Минье и Арман Каррель. Дело было в декабре 1829 г. Решено было основать новый, резко оппозиционный орган (знаменитую впоследствии газету «Le National») для последовательной борьбы против Полиньяка и, если понадобится, против династии Бурбонов. На совещаниях этих трех молодых деятелей либеральной буржуазии председательствовал хозяин дома, вельможа старорежимного двора, бывший епископ, присутствовавший и при коронации Людовика XVI, и при коронации Наполеона, и при коронации этого самого Карла X; человек, служивший и старому режиму, и революции, и Наполеону, и опять Бурбонам, посадивший в 1814 г. Бурбонов на престол во имя «принципа легитимизма». Теперь он готовился способствовать их же свержению во имя принципа революционного сопротивления «легитимному» королю... В его кабинете и при его серьезной финансовой поддержке родился таким образом самый радикальный из органов буржуазной оппозиции, какие только прославились борьбой против Полиньяка и стоявшего за ним короля в эти последние месяцы пребывания Бурбонов на французском престоле. Эти молодые деятели, вроде Тьера, взирали на величавую фигуру семидесятишестилетнего, больного и хромого старика с большим почтением: слишком уж много — как никто из еще живших тогда людей — был он овеян воспоминаниями о величайших исторических событиях, во время которых играл роль и с которыми, так или иначе, навеки соединил свое имя.

Талейран еще до революции был связан довольно сложными отношениями с герцогом Орлеанским (Филиппом Эгалитэ), казненным потом в годы террора. Теперь, в 1829—1830 гг., он очень усердно стал поддерживать отношения с сыном его, Луи-Филиппом, и с сестрой Луи-Филиппа, Аделаидой. Он знал, что

оппозиционная буржуазия прочит Луи-Филиппа на престол в случае низвержения «старшей линии» Бурбонов, т. е. Карла X (герцоги Орлеанские были «младшей линией» Бурбонов).

Больной, глубокий старик, Талейран не желал сдаваться смерти. Он все еще думал о будущем, о новой карьере, все еще копал яму врагам и расчищал дорогу друзьям; а его друзьями всегда были те, кого исторические силы несли в данный момент на высоту. Его предвидение и на этот раз его не обмануло...

Он был в Париже, в великолепных чертогах своего городского дворца, когда, наконец, Полиньяк и король решились на свой безумный поступок и издали фактически уничтожавшие конституцию знаменитые ордонансы 25 июля 1830 г. Революция на другой день уже, 26-го, казалась несомненной; она вспыхнула 27 июля и в три дня снесла прочь престол Карла X. Личный секретарь Талейрана, Кольмаш, был в эти дни при князе. Ежеминутно поступали новые и новые известия о битве между революцией и войсками. Слушая неумолкающий грохот выстрелов, бой барабанов и звуки набата, несшиеся со всех колоколен, Талейран сказал Кольмашу: «Послушайте, бьют в набат! Мы побеждаем!» — «Мы?! Кто такие мы! Кто же именно, князь, побеждает?» — «Тише, ни слова больше: я вам завтра это скажу!»

Этот характерный для Талейрана разговор происходил 28 июля.

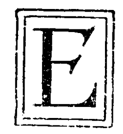
На другой день, 29 июля 1830 г., битва кончилась. Революция победила. Династия Бурбонов снова — и на этот раз уже навеки — была низвергнута с французского престола. Она вернулась после того, как ее низвергла революция 10 августа 1792 г., она вернулась после того, как ее низверг 20 марта 1815 г. явившийся с о. Эльбы Наполеон. Но после того, как ее низвергла Июльская революция 1830 г., она уже не вернулась никогда.

Глава VIII

ТАЛЕЙРАН ПРИ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ. ПОСОЛЬСТВО В АНГЛИИ. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

(6 сентября 1830 — 17 мая 1838 г.)

1



Еще 29 июля, как раз когда те войска, которые еще не перешли на сторону революции, начали свое отступление из города, Талейран послал записку сестре Луи-Филиппа, герцога Орлеанского, с советом — не терять ни минуты и немедленно встать во главе революции, свергавшей в этот момент старшую линию династии Бурбонов.

Авторитет князя Талейрана как политического пророка, твердо знающего ближайшее политическое будущее, был так колоссален, что именно после этого его совета новый кандидат в короли прибыл в Париж (из Ренси, где он находился). Мало того. Когда 31 июля, собравшись в Пале-Рояле, оппозиционные депутаты предложили Луи-Филиппу временное звание «главного наместника королевства», но с тем, чтобы он немедленно объявил о полном своем разрыве с Карлом X и вообще со старшею линиею, Луи-Филипп заколебался; он уже знал, что Карл X накануне, 30 июля, отрекся от престола и передал свои права маленькому своему внуку, герцогу Бордоскому (графу Шамбору), а его, Луи-Филиппа, назначает опекуном и тоже «главным наместником». Следовательно, Луи-Филиппу предстояло либо стать «главным наместником» по назначению Карла X и опекуном до совершеннолетия «законного» короля, либо сразу порвать с «легитимной монархией» и принять корону из рук победившей буржуазной революции, потому что «наместничество», принятое не от короля Карла, а от оппозиции, было прямым шагом к восшествию Луи-Филиппа на престол.

В нерешимости пред этим выбором Луи-Филипп заявил депутатам, что даст им ответ, лишь посоветовавшись с Талейраном. Он спешно отрядил к старому князю генерала Себастьяни, чтобы тот спросил у Талейрана: что ему, Луи-Филиппу, делать? Князь сейчас же ответил: «принять», т. е. принять престол из рук победившей революции, отвернуться навсегда от «принципа

легитимизма», ловко пользуясь которым, этот самый князь Талейран за шестнадцать лет до того посадил на престол ныне свергаемых опять при его же деятельном участии Бурбонов. Совет Талейрана покончил со всеми колебаниями: спустя девять дней, 9 августа 1830 г., Луи-Филипп Орлеанский был торжественно провозглашен королем.

В первые же дни нового царствования обнаружилось, что хотя только что победившая Июльская революция была окончательной и уж самой бесспорной победой буржуазии над аристократией, но есть на свете один аристократ, самый подлинный и чистокровный, без которого ни в каком случае торжествующая буржуазия не может обойтись: это все тот же князь Талейран-Перигор, больной семидесятишестилетний старик на костылях, которого газеты уже неоднократно хоронили. И не только потому он вдруг снова оказался на первом плане, что с обычной своей дальновидностью успел вовремя, задолго до июля 1830 г., тесно сблизиться с будущими победителями, с Луи-Филиппом, Аделаидой, Тьером, но и потому, что работа его головы потребовалась и показалась незаменимой Луи-Филиппу, как она казалась необходимой и Учредительному собранию, и Директории, и Наполеону, и Бурбонам, и снова Наполеону (предложение императора в эпоху Ста дней), и снова Бурбонам — после Ста дней.

Положение Луи-Филиппа было на первых порах нелегким, в особенности же перед лицом иностранных держав. Ни для кого не было тайною, что могущественнейший жандарм Европы, русский царь Николай I, решительно стоит за интервенцию, прямо направленную к свержению «короля баррикад» Луи-Филиппа и восстановлению Бурбонов на престоле, откуда они только что были изгнаны. Известно было даже, что царь отправил в Берлин генерала Дибича, чтобы ускорить соглашение с Пруссией об общем вторжении во Францию. Некоторое время царь упорно носился с мыслью о «непризнании» Луи-Филиппа королем. При этих условиях Луи-Филиппу необычайно важно было заручиться дипломатической поддержкой Англии. После Июльской революции Франция оказывалась в опаснейшей для себя изоляции. Чтобы покончить с этой изоляцией, новый король и новое правительство обратились именно к Талейрану. С изумлением Европа прочла через месяц с небольшим после Июльской революции, что князь Талейран назначается французским послом в Лондон. При официальной встрече его фрегата загремели салюты дуврских береговых батарей,— и Талейран не может отказать себе в удовольствии припомнить именно по этому поводу, как он уезжал из Англии в 1794 г.— гонимым, нищим, преследуемым интригами французских роялистов, высылаемым из Англии по приказу полиции...

У нас есть прямые показания о том, какой существенной если не была, то казалась многим поддержка Талейрана для Луи-Филиппа в момент его воцарения. «Известие, что г. Талейран признал и даже содействовал установлению новой династии, имело не малое влияние на суждения при других дворах и, более точно можно сказать, что это заставило решиться на немедленное признание (новой династии — *Е. Т.*)»,— утверждает сэр Генри Бульвер-Литтон, известный писатель и политический деятель Англии, пользовавшийся доверием Пальмерстона и Эдуарда Грея [1]. Так обстояло дело в Англии, когда пришла весть о провозглашении в Париже Луи-Филиппа королем.

Англия была одной из тех двух великих держав, где Луи-Филиппу важнее всего было незамедлительно получить признание. Другой из этих великих держав была Россия.

Как уже сказано, из Петербурга шли зловещие слухи. Правда, ни Фридрих-Вильгельм III в Берлине, ни Меттерних в Вене не откликнулись на приглашение царя выступить сообща против «ограбившего сироту» «короля баррикад», так именовали в петербургских салонах в 1830 г. (и позже) Луи-Филиппа, «узурпировавшего» престол у маленького внука Карла X, герцога Бордоского (графа Шамбора).

Но Николай был в сильнейшем раздражении и ничего не ответил Луи-Филиппу на его собственноручное письмо. Так шло дело до 6 сентября 1830 г., когда в газетах появился указ Луи-Филиппа о назначении князя Талейрана французским послом в Лондон. Вот какое прямое последствие это известие будто бы имело в Зимнем дворце, как о том уведомили 29 сентября 1830 г. французского министра иностранных дел графа Моле, причем корреспондент (Монлозье) привел даже подлинные слова, будто бы произнесенные самим Николаем: «Так как г. Талейран присоединяется к новому французскому правительству, то непременно это правительство имеет шансы на длительное существование» [2].

Во всяком случае самый факт, если не предрешивший, то ускоривший перемену решения Николая под влиянием назначения Талейрана в Лондон, не подлежал сомнению для современников. Правда, этот факт мог повлиять на царя прежде всего потому, что означал и подтверждал окончательное признание нового короля британским правительством. Оба известия пришли в Петербург почти одновременно, и, конечно, решение британского правительства оказало на царя гораздо большее действие, чем назначение Талейрана.

Очень хорошо в своих шифрованных донесениях характеризует Талейрана в момент его назначения послом в Англию русский представитель в Париже Поццо ди Борго, один из умнейших и опытнейших дипломатов того времени.

Поццо ди Борго приписывает назначение Талейрана влиянию британского кабинета (герцога Веллингтона): «...Говорят, что король обратил взор на г. Талейрана не только затем, чтобы удовлетворить пожелание герцога, но также и затем, чтобы показать Англии и всему миру вообще, что такая личность, как та, о которой идет речь и которая всегда руководилась только своим интересом (qui... n'a jamais été conduit que par son intérêt), рассчитывает найти свою выгоду, основываясь на устойчивости (трона — *Е. Т.*) нынешнего французского государя, принимая такую выдающуюся миссию и, следовательно, соединяя с ним (этим государем) свою судьбу». Поццо ди Борго не скрывает в этом доверительном письме истинных чувств, которые в нем возбуждает личность Талейрана, снова выдвинутого историческими обстоятельствами на первый план: «Трудно воздержаться от чувства отвращения, думая о том, что человек в возрасте 77 лет, удрученный недугами, желает снова броситься (se précipiter) в деловую карьеру, после того как он за всю свою жизнь приобрел такую печальную известность...» В глазах Поццо ди Борго особенно отвратителен поступок Талейрана в том отношении, что он будет отныне служить «узурпатору» (Луи-Филиппу), когда только что пал «легитимный» монарх (Карл X), коему тот же Талейран служил в качестве великого камергера. И где он будет служить узурпатору? В Англии, где «несчастный монарх» (Карл X) ищет убежища в качестве изгнанника. Конечно, здесь Поццо ди Борго подлаживается под тон Николая, когда говорит об «узурпаторе» Луи-Филиппе и «несчастном легитимном» монархе Карле X. Но он имел основание прибавить в своем донесении также следующие строки: «Тут все возмущены этим цинизмом, и либеральные газеты больше, чем всякие другие, разъярены (se sont dechaînés) против такого скандального и такого в стольких отношениях неприличного выбора» [3].

2

Талейран отправлялся в Лондон, сопровождаемый очень большими подозрениями также и со стороны более или менее либеральных и радикальных кругов, наперед убежденных, что он, с согласия короля Луи-Филиппа, будет делать в бельгийском вопросе все угодное англичанам. Но крайне любопытно даваемое Архивом внешней политики России свидетельство, что даже кабинет министров подозревал его — и не только в том, что он будет угождать Англии в бельгийском вопросе, но и в том, что он, по указке Англии, готов даже и отказаться от имени Франции от завоевания Алжира.

Вот что мы читаем в другом шифрованном донесении русского посла Поццо ди Борго в Петербург от 11/23 сентября 1830 г.: «Князь Талейран пожелал меня видеть. Я его застал озабоченным бельгийскими делами и решившимся отдать ее (Бельгию — *Е. Т.*) в руки Англии с целью достижения более легкого соглашения». Талейран знал, чем можно прельстить представителя Николая I: «А в ожидании этого бельгийские и французские революционеры толкают (Бельгию — *Е. Т.*) к отделению и, следовательно, к разрыву». Но ведь Поццо ди Борго говорил не с одним лишь Талейраном и знал всю подноготную маститого князя: «Г. Моле (министр иностранных дел Франции — *Е. Т.*) доверил мне, что князь Талейран предложил ему оставить совершенно Алжир. Когда министр не согласился с этим планом, то князь обратился к королю, и, по-видимому, последний примкнул к проекту посла сделать приятное Англии. Г. Моле этому воспротивился и обещал Совету министров представить доклад об этом. Вероятно, Совет будет того же мнения, как министр, так как очевидно, что посол отправляется в Лондон, чтобы отдаться (pour se livrer) Англии». И, по мнению Моле, горячее англофильство Талейрана объясняется не только желанием укрепить Луи-Филиппа на его шатком престоле, обеспечив королю поддержку британского правительства, но и еще кое-какими соображениями более «персонального» характера: «Г. Моле убежден в этом (в том, что Талейран «отдался» Англии — *Е. Т.*), и он прибавил, что это тем более, что только это и приносит выгоду (il n'y a que cela qui profite). Таково мнение, которое он (Моле — *Е. Т.*) имеет о своем представителе»[4]. Столь откровенно выражался французский министр о моральных качествах отъезжающего в Лондон французского чрезвычайного и полномочного посла.

Конечно, «другом Англии» Талейрана ни в коем случае назвать было нельзя,— мы это знаем. Нам документально известно также, что он очень опасался английского торгово-промышленного преобладания. Талейран считал «химерической и невыполнимой» мысль о всемирной монархии (monarchie universelle), но ему при этом казалось странным, что никто не страшится «еще гораздо более губительных последствий того положения, в котором находится всемирная торговля, в руках одной единственной державы». Так он оценивал экономическое всемогущество, которое, в ущерб всему человечеству, договоры Венского конгресса обеспечили за Англией[5].

Таково было его мнение. Но зачем же все это высказывать, когда гораздо уместнее помолчать и, напротив, убедить герцога Веллингтона, а затем сменивших его кабинет лорда Пальмерстона, Грея и Холлэнда и все британское правительство в непреодолимой и самой теплой своей симпатии к Англии?

Положение Талейрана в Лондоне в 1830 г. вскоре стало самым блестящим, какое только можно себе вообразить.

С одной стороны, консерваторы и все высшее общество видели в нем представителя самой подлинной (а в Англии эта «подлинность» крайне тогда и даже много позже ценилась) родовой аристократии; вместе с тем вспоминали, что никто больше, чем он, и красноречивее, чем он, не говорил на Венском конгрессе о легитимизме. Вспоминали также, что еще с 1792 г. он был сторонником дружбы с Англией. Что теперь он взялся за роль посла Луи-Филиппа, который «узурпировал» при помощи революции престол у той же «лигитимпой» династии Бурбонов,— это обстоятельство Талейран крайне ловко повернул в свою пользу: уж если он, он сам, легитимист из легитимистов,— можно сказать, выдумавший этот самый легитимизм в 1814 г.,— теперь от него отрекся и стал на сторону «короля баррикад», то, значит, были же крайне важные причины! Значит, не выдержало прямое и честное сердце правдивого князя Талейрана и вознегодовало по поводу клятвопреступного поведения Карла X, нарушившего конституцию, коей присягал! Особенно огорчало прямодушного, благородного князя это нарушение присяги королем Карлом. Что касается вигов, либералов, представителей английской либеральной буржуазии, которой суждено было спустя всего полтора года, в 1832 г., добиться «мирной революции», т. е. парламентской реформы, то эти люди с восторгом приветствовали Талейрана, официального посла этой самой, победившей уже во Франции, либеральной буржуазии и ее короля Луи-Филиппа. Толпы народа бежали по лондонским улицам за каретой Талейрана с криками «ура», едва лишь его замечали и узнавали.

С другой стороны, некогда (например, в 1814 г.) не любивший Талейрана герцог Веллингтон, глава консервативного кабинета, был очарован Талейраном, который умел, как никто, вкрадываться в душу тех людей, которые были ему необходимы. Веллингтон возмущался и не постигал, почему всегда — вот уже больше пятидесяти лет сряду — и главное, все люди без исключения так злобно клевещут на Талейрана, тогда как это честнейший и благороднейший человек? Талейран, правда, и не *таких, как герцог Веллингтон,* вводил в заблуждение, а Веллингтон и не таким, как Талейран, поддавался.

Но и вообще с Талейраном было бы трудно в тот момент справиться: великолепно оценив положение Англии, видя, что рабочие демонстрации, статьи и речи либеральной оппозиции, растерянность короля и правительства явно грозят Англии революционным взрывом и предвещают этот взрыв, старый князь сразу — там, где и когда было нужно и уместно,— принял личину истинного «посла от революции», даже стал охотно

поминать свое поведение в Учредительном собрании в 1789—1791 гг.,— словом, добился того, что лондонская рабочая масса при встречах во время частых тогда шествий и скоплений громовыми криками приветствовала трехцветный флажок на французской посольской карете и трехцветные кокарды на шляпах служащих посольства. Кричали: «Да здравствует французская революция!» А иногда прибавляли: «Да здравствует Талейран!» Все импонировало в Талейране, особенно то, что он долго был министром Наполеона и что тот очень ценил его таланты.

Талейран заметил, что вообще после Июльской революции очень усиливается так называемая «наполеоновская легенда» и в Европе и во Франции, и сейчас же этим воспользовался. При столкновениях своих по службе он высокомерно ставил на вид министрам Луи-Филиппа, графу Моле и другим, что он так работал при императоре и что сам император его научил работать именно вот так, и не иначе. В Лондоне дом французского посольства сделался местом самых пышных приемов и блестящих балов; никто из всего дипломатического корпуса не пользовался в тот момент такой силой и разнохарактерной, если можно так выразиться, и огромной популярностью в самых разнообразных слоях английского общества, как князь Талейран. Не только Николай, но и Англия увидела в этом назначении, а главное, в согласии Талейрана принять это назначение — признак прочности нового французского престола.

В течение нескольких месяцев Талейрану удалось установить тесный контакт между Францией и Англией, да и вообще фактически направлял французской внешней политикой он, а не парижские министры, которых он не всегда удостаивал даже деловой переписки, а, к величайшему их раздражению, сносился прямо с королем Луи-Филиппом или сестрой короля Аделаидой. Министры жаловались королю, но тот настолько нуждался в своем лондонском после, что все жалобы ни к чему не приводили. Граф Моле, министр иностранных дел, собирался даже уйти из-за этого в отставку.

Главное (и очень трудное), что сделал Талейран во время своего пребывания на посту посла Луи-Филиппа в Лондоне, было участие в образовании Бельгийского королевства. Бельгийская революция, вспыхнувшая сейчас же вслед за Июльской и приведшая к фактическому отпадению Бельгии от Голландии, являлась причиной жестокого беспокойства для Франции. В самой Франции боролись два течения: одни желали присоединения Бельгии к Франции, другие — установления новой, самостоятельной державы — Бельгийского королевства. Польское восстание, вспыхнувшее в ноябре 1830 г., надолго лишило Николая свободы рук в бельгийском вопросе, и Талейран очень искусно этим воспользовался.

Присоединение Бельгии к Франции он отверг, правда, после некоторых колебаний (о которых он в мемуарах своих умалчивает). Он знал, что Англия непременно воспротивится такому решению вопроса. Он выдвинул и стал отстаивать образование самостоятельного Бельгийского государства. Это ему и удалось после долгих и трудных усилий на Лондонской конференции европейских держав, созванной по его настоянию.

Остановимся и повнимательнее ознакомимся с «бельгийским вопросом» и ролью Талейрана в нем.

Нужно сказать, что ненависть к Талейрану, несколько приутихшая в либеральных и даже радикальных кругах после Венского конгресса, когда старый дипломат вернулся в ореоле «спасителя Франции от раздела», вспыхнула с новой силой в 1830—1833 гг. Причиной было именно поведение князя на конференции держав, собравшейся в Лондоне для урегулирования «бельгийского вопроса» и заседавшей в 1830—1832 гг. Как известно, в Бельгии, насильственно, без учета желаний населения присоединенной в 1815 г. на Венском конгрессе к Нидерландскому королевству, вспыхнула в 1830 г. революция, тотчас же после Июльской революции в Париже. Бельгия объявила себя независимой и отложилась от Голландии, хотя в самой стране наметились два течения: одно — в сторону провозглашения полной независимости и другое — в пользу присоединения к Франции. Первое течение было сильнее второго, да к тому же и все остальные великие державы во главе с Англией и Россией решительно не желали усиливать Францию присоединением богатой промышленной страны. Пруссия и Австрия шли в этом вопросе за Англией и Россией. Традиционная английская политика ни в каком случае не желала примириться с тем, чтобы Бельгия попала в руки Франции и чтобы в руках ее снова, как при Наполеоне, оказался Антверпен, этот «пистолет, направленный в английскую грудь», как называл его Наполеон. Николай I, долго не желавший вообще мириться с успехом бельгийской революции, и подавно не хотел и слышать о том, чтобы «король баррикад», воспринявший корону из рук революции, ненавистный русскому самодержцу Луи-Филипп получил такое значительное приращение своего политического могущества.

Одним словом, как только открылась Лондонская конференция, князь Талейран сразу же увидел, что о присоединении Бельгии к Франции речи быть не может. А так как он никогда не брался за ведение наперед проигранных процессов, то соответственным путем расположил свои дипломатические батареи. Между тем в Париже боевые революционные элементы, еще овеянные пороховым дымом июльских битв, республиканцы, жаловавшиеся на то, что крупная буржуазия «украла у народа

его победу», бонапартисты, возмущавшиеся национальным унижением Франции и говорившие о реванше,— все они, больше всего мечтавшие о присоединении Бельгии,— зорко следили за ходом лондонских совещаний и со все растущим раздражением следили за не очень понятными шахматными ходами и без того подозрительного им и с давних пор презираемого ими Талейрана. А поведение Талейрана начинало удивлять уже не только республиканцев. Конечно, король голландский Вильгельм должен был в конце концов примириться с потерей Бельгии. Но зато как щедр стал по отношению к нему Талейран, когда речь пошла об определении точных границ Бельгии от Голландии! Какой приятной для Англии, для Николая I, для Австрии, Пруссии неожиданностью оказалась готовность французского представителя идти на широкие земельные уступки в пользу Голландии за счет Бельгии! А ведь французский представитель должен был явиться единственным «защитником» бельгийских интересов на Лондонской конференции. Да и, кроме того, конференция непомерно затягивалась, что также по разным причинам было выгодно голландскому королю и невыгодно освободившейся от него Бельгии. Республиканцы и вся левая пресса в Париже яростно нападали на Талейрана за его уступчивость в пользу Голландии, за его полное равнодушие к интересам Бельгии. Молодая бельгийская королева Луиза, жена только что избранного в бельгийские короли Леопольда I, дочь Луи-Филиппа, прямо обвиняла Талейрана в том, что он получил взятку от голландского короля.

Королева Луиза строила лишь то, что в науке называется «рабочей гипотезой». Но ровно через сто лет, в 1934 г., эта гипотеза превратилась в математически точное доказательство, и тайна загадочных зигзагов и таинственных уступок Талейрана на Лондонской конференции была исчерпывающе полно разъяснена. Брюссельский профессор Мишель Юисман (Huisman) опубликовал, на основании точных архивных данных, следующее. Голландское правительство через своего представителя на Лондонской конференции, Фалька, вошло в секретный сговор с маститым князем: за разграничение в пользу Голландии Талейран получает от голландского короля 20 тысяч фунтов стерлингов, из коих 15 тысяч немедленно, а 5 тысяч позже. Затем, если князь будет столь же широко снисходителен и внимателен к интересам Голландии также и при разграничении денежных долговых обязательств между обеими странами, т. е. если он согласится взвалить побольше на плечи Бельгии и поменьше на плечи Голландии, то за это в будущем получит еще и другие 15 тысяч фунтов стерлингов [6]. Получил ли он эти вторые 15 тысяч фунтов фактически, и если получил, то целиком или только частью,— из разоблачений, по-

явившихся в 1934 г., неясно; во всяком случае Голландии роптать и тут не пришлось. Окончательный договор с Бельгией был подписан 14 октября 1832 г.

Этими проделками Талейрана, конечно, отчасти и объясняется то, что на конференции он сегодня брал назад свои слова, сказанные вчера, а на послезавтра можно было ожидать, что он изменит формулировку, данную им же сегодня.

Теперь нам, знающим с 1934 г. документально, как бойко и продуктивно торговал Талейран в Лондоне в 1832 г. вверенными ему интересами Бельгии и Франции, курьезно читать в отрывке из не изданных полностью до сих пор мемуаров Шарля Ремюза, посетившего Талейрана как раз в это самое время в 1832 г. в Лондоне: «Талейран дорожил своей репутацией и даже думал об истории. У него было мужество, была смелость, был патриотизм. Как жаль, что все это портилось и время от времени уничтожалось привычками лени и тайными коррупциями!» [7] Французское слово «les corruptions» выражает на русском языке несколько оттенков понятий, и его не всегда подходит переводить лишь слишком конкретным русским словом: подкуп, подкупность; может быть, уместнее был бы здесь перевод понятием: порча, порок, порочность, развращенность, растление. Во всяком случае, если бы Шарль Ремюза, очень неглупый политический деятель, впоследствии министр Луи-Филиппа, знал, какие именно «тайные коррупции» действуют на величавого хозяина французского посольства в Лондоне и в *этот самый момент*,— он, вероятно, поминал бы о них не в прошлом, а в настоящем времени, и не так восхищался бы «патриотизмом» «дорожащего своей репутацией» и «думающего об истории» князя Талейрана. Начинать «дорожить репутацией» восьмидесятилетнему дипломату было поздно, а вот английскими фунтами он в самом деле искренне дорожил всегда, и особенно эта привязанность усилилась в нем именно в 1832 г., когда их курс на фондовой бирже стоял высоко, и 20 тысяч фунтов были равны в тот момент более чем полумиллиону франков золотом. «Думал ли» он об «истории»? Это Шарль Ремюза возвел на покойника совершенную напраслину. Князю Талейрану случалось, как мы видели, воровать исторические документы и очень выгодно их сбывать тайком иностранным покупателям вроде Меттерниха. Случилось и так, что он крал и истреблял документы, если они могли повредить ему немедленно, непосредственно: именно таким образом он истребил, например, документы об аресте и казни герцога Энгиенского. Но нет ни малейших указаний, чтобы он интересовался тем, что́ о нем расскажут архивные документы «истории» лет через сто или триста.

Таковы были эти «интимные детали» поведения Талейрана в «бельгийском вопросе».

Это совсем новое документальное открытие может несколько удивить даже тех, кого, казалось бы, уже ничто не в состоянии удивить в князе Талейране. Миллионер, чрезвычайный и полномочный представитель Франции, старик на краю могилы, продолжал брать и брать совсем ему уже ненужные взятки,— очевидно, просто по привычке, как другие до старости отдаются любимому спорту,— как Гладстон, например, до восьмидесяти лет колол дрова или как Кант до глубокой старости в любую погоду совершал свою ежедневную прогулку.

3

Даже и не зная всех этих деталей поведения Талейрана в Лондоне, на него жестоко нападали французские патриоты (а таковыми, в особенности, были тогда республиканцы) за то, что он не желает присоединять Бельгию к Франции, тогда как сами бельгийцы будто бы этого хотят. «Воплощенная ложь, живое клятвопреступление, нераскаянный Иуда, он продал всех — бога, республику, императора, королей»,— так писали о нем в стихах и в прозе французские оппозиционные органы в 1831—1832 гг., когда проходило бельгийское дело. Печатались и распространялись в Париже бесчисленные карикатуры на него (в эти же годы и тоже по поводу Бельгии), под его изображениями помещались такие «объявления»: «Талейран, по прозвищу подсолнечник (всегда поворачивается к солнцу), фабрикует намордники, цепи и цензуры, составляет остроты, эпиграммы, программы и эпитафии, продает и покупает короны как новые, так и по случаю, делает конституции, хартии, реставрации, имеет на складе кокарды, знамена и ленты всех цветов. Согласен также на выезд за границу».

Талейран окончательно укрепился на том, что лишь в союзе с Англией можно разрешить бельгийский вопрос так, чтобы Бельгия была освобождена от Голландии, а союз с Англией в этом деле возможен лишь при условии, чтобы Франция не покушалась на самостоятельность бельгийцев. Одного Талейран ни за что не хотел допускать — это возвращения Бельгии под голландское владычество. Наконец, ему удалось, несмотря на упорное сопротивление России, Австрии и Пруссии, достигнуть признания самостоятельности Бельгии. И сейчас же он потребовал от нового бельгийского правительства уничтожения всех крепостей, построенных на французской границе голландским правительством после Венского конгресса, для чего великие державы дали Голландии в свое время на нужные расходы сорок пять миллионов франков. Эта цепь крепостей должна была служить обеспечением от Франции. Теперь, по требованию Талейрана, бельгийское правительство срыло укрепления.

Этот блистательный успех талейрановской дипломатии настолько возвысил его в глазах Луи-Филиппа, что шла речь о назначении его первым министром (после смерти Казимира Перье в мае 1832 г.), но старый князь решил, что в Лондоне ему будет спокойнее. В 1832 г. ему пришлось провести новое дело: тайно (хотя эта тайна была весьма прозрачна) подстрекаемый Николаем I, голландский король решил силою сопротивляться постановлению держав и не уступать Антверпен, еще бывший в его власти. Тогда Талейран вошел в особое соглашение с Пальмерстоном, и французская армия, войдя в Бельгию, осадила Антверпен с суши, а английский флот блокировал его с моря. Конечно, Антверпен очень скоро сдался. Франция и Англия этим дали пощечину всему тому, что еще оставалось от «Священного союза»; три абсолютные монархии, несмотря на все угрозы свои, не решились двинуть ни одного полка на помощь голландскому королю. Но еще до сдачи Антверпена бельгийское дело было покончено. 15 ноября 1831 г. представители великих держав подписали в Лондоне соглашение о признании самостоятельного королевства Бельгии, 23 января 1832 г. новый бельгийский король Леопольд подписал обязательство срыть все крепости на французской границе, а 5 мая 1832 г. гора свалилась с плеч Луи-Филиппа и Талейрана: сам грозный северный повелитель, жандарм Европы, Николай I ратифицировал «договор 15 ноября 1831 г.» и этим санкционировал результат ненавистной ему бельгийской революции.

Однако еще до того, как окончательно и формально завершилось бельгийское дело, произошла не весьма благоприятная для видов Талейрана смена английского кабинета: ушли консерваторы, ушел Веллингтон, которого называли единственным человеком на земном шаре, верящим в благородство князя Талейрана, и пришли к власти виги, либералы, возглавляемые формально лордом Греем, а фактически лордом Пальмерстоном, статс-секретарем министерства иностранных дел. А Пальмерстон уже зато ни в малейшей степени в данном случае не расходился в мнениях с «земным шаром»: Талейрана он считал способным абсолютно на все.

И некоторые непосредственные наблюдения Пальмерстона при начавшихся по обязанностям службы частых личных его свиданиях с французским послом отнюдь не способствовали повышению его уважения к Талейрану.

Вот, например, одна из деталей, о которой со злорадством впоследствии вспоминал Пальмерстон.

Следует сказать, что, как и в течение всего своего существования, начиная с молодых лет, восьмидесятилетний князь Талейран и в Лондоне, зарабатывая по мере сил на секретных обильных приношениях со стороны нуждавшихся в его дипло-

матических услугах «доброхотных дателей» (как назывались у нас в старину такие лица), в то же время ничуть не забывал и о другом, не менее серьезном источнике возможного дохода: о биржевой игре, которую он всегда ревностно культивировал через подставных лиц. Специально имея в виду участие в биржевых махинациях, он с обычной предусмотрительностью взял с собой, отъезжая в 1830 г. в Лондон, давно уже помогавшего ему по части разных сомнительных дел некоего Монрона. Напомним читателю, что еще в апреле 1815 г. в одном донесении русского посла Поццо ди Борго графу Нессельроде говорится об этом Монроне, клеврете Талейрана, как о человеке позорной репутации. Вот какова была функция этого Монрона в Лондоне, со слов лорда Пальмерстона, переданных в свое время Сент-Бёву, когда французский писатель собирал материалы для своих газетных статей о Талейране: «Лорд Пальмерстон говорил, что когда Талейран приезжал, чтобы повидаться с ним по делам, то́ почти всегда он имел в своей карете Монрона, чтобы передавать ему быстро полезные указания для игры и ажиотажа (afin de lui expédier vite ses indications utiles pour jouer et agioter)» [8]. Дело, таким образом, было сорганизовано на самых рациональных началах: разговаривая с главой британской дипломатии и фактически первым человеком британского правительства, Талейран каждые пять минут мог узнавать ближайшие решения, учитывать предстоящие события, которые только на другой день или, во всяком случае, лишь через несколько часов могли стать известными на бирже. Монрон получал украдкой соответственные биржевые ордеры от Талейрана, мчался на биржу, выполнял ордеры, возвращался мигом обратно и был в полной готовности, чтобы вторично в той же карете слетать на биржу, в случае, если за время его отсутствия Талейрану удавалось в дальнейшем разговоре выудить от Пальмерстона еще какие-нибудь полезные и никому пока неведомые новости. Конечно, наблюдательному англичанину, в конце концов, стали вполне ясны все эти странные манипуляции его маститого визитера, которому не сиделось на месте, и загадочные быстрые передвижения шныряшего взад и вперед в княжеской карете Монрона. Это так поразило Пальмерстона, хотя он, кажется, ничему никогда не удивлялся, что заинтересованный милорд запомнил эти проделки полномочного и чрезвычайного французского посла на всю жизнь. Но там, где дело шло о заработке, величавому князю Беневентскому всегда было абсолютно все равно, что́ о нем могут подумать. То ли он еще на своем веку проделывал...

Конечно, личные суждения Пальмерстона о моральных свойствах князя Талейрана не могли играть особой роли в вопросе о сближении Англии с Францией. Но все-таки глубочайшее недоверие к французскому послу, испытываемое Пальмерстоном,

оказывало тормозящее влияние. «Мы с лордом Пальмерстоном уже не ладим, мы с лордом Пальмерстоном не нравимся друг другу»,— писал в 1834 г. Талейран из Лондона сестре короля Луи-Филиппа Аделаиде, с которой он был в постоянной деловой и дружеской переписке.

Дарья Христофоровна Ливен, жена русского посла в Лондоне, писала своему брату, А. Х. Бенкендорфу, что «вражда Пальмерстона парализует совершенно Талейрана». Но от нее, умной и очень осведомленной интриганки, не укрылось, что в недрах английского кабинета Талейрану удалось запастись несколькими очень важными друзьями: «Лорд Грей обожает его, лорд Пальмерстон ненавидит его, лорд Холлэнд передает ему все секреты правительства». И хотя Пальмерстон своей враждой и «парализовал» французского посла,— но, видно, этот «паралич» все же был, так сказать, частичным, а не полным. Все-таки тому же Пальмерстону было ясно, что некоторое сближение с Францией диктуется натянутыми отношениями Англии с Николаем I, вызванными обострением восточного вопроса. И поэтому пришлось ему подписать вместе с князем Талейраном нужное и Англии и Франции соглашение, направленное к ограждению испанского и португальского правительств от угроз претендентов. А Талейран упорно настаивал давно уже перед королем Луи-Филиппом и всеми министрами, менявшимися за время его лондонского посольства, что спасение Франции и особенно династии Луи-Филиппа — именно в теснейшем союзе с Англией, и очень был доволен, когда ему удалось (22 апреля 1834 г.) подписать конвенцию с Англией, Испанией и Португалией по ряду крайне важных вопросов, касающихся Пиренейского полуострова. Дипломаты даже враждебных держав изумлялись энергии и дарованиям восьмидесятилетнего хилого старика. Та же Дарья Христофоровна Ливен, бывшая значительно умнее своего супруга и получившая поручение лично систематически доводить до сведения Николая обо всем, что творится в Лондоне, через своего брата, генерала Бенкендорфа, шефа жандармов, писала о князе Талейране по поводу его блистательных дипломатических достижений в это время: «Вы не поверите, сколько добрых и здравых доктрин у этого последователя всех форм правления, у этого олицетворения всех пороков. Это любопытное создание; многому можно научиться у его опытности, многое получить от его ума, в восемьдесят лет этот ум совсем свеж... Но это — большой мошенник,— c'est un grand coquin»,— настаивает княгиня Ливен. Она пустила крылатое слово о том, что герцогу Веллингтону не удаются «портреты»: князя Полиньяка он считает умным человеком, а князя Талейрана — порядочным.

4

Старик слабел физически. В конце ноября 1834 г. он упросил Луи-Филиппа дать ему отставку. Князь Талейран, по его собственному выражению, за время пребывания на посту посла в Лондоне успел «дать Июльской революции право гражданства в Европе», укрепил престол Луи-Филиппа, содействовал созданию самостоятельного Бельгийского королевства. В семьдесят шесть лет он начал этот последний перегон своего долгого и замечательного пути и в восемьдесят лет окончил его.

Он удалился в свой великолепный замок Валансэ, превосходивший размерами и неслыханной роскошью дворцы многих монархов в Европе, и здесь, спокойно, без излишнего любопытства и бесполезных волнений, как и все, что он делал в жизни, он стал ждать прихода той непреодолимой силы, для борьбы против которой даже и его хитрости было недостаточно (по злорадному предвкушению одного из враждебных ему публицистов). «Я ни счастлив, ни несчастлив..,— писал он в эти последние годы своей жизни.— Я понемногу слабею и... хорошо знаю, как все это должно кончиться. Я этим не огорчаюсь и не боюсь этого. Мое дело кончено. Я насадил деревья, я выстроил дом, я наделал много и других еще глупостей. Не время ли кончить?» Жена его умерла. У него постоянно жила его племянница, герцогиня Дино, интимный и самый близкий для него человек. Детей «законных» за ним не числилось. Сын его от госпожи Делакруа, знаменитый уже с двадцатых годов гениальный французский художник Эжен Делакруа, мало общался с отцом и скрывал свое родство.

Но Талейран и сам искал в эти последние свои годы полного уединения и покоя. Его корыстолюбие уже было удовлетворено, честолюбие его не мучило. После окончательного ухода от дел он прекратил даже игру на бирже. В газетах, журналах, отдельных памфлетах, иллюстрациях постоянно поминалось его имя, оценивалась по-разному его долгая деятельность, отдельные фазисы этого изумительного существования. Но князь не читал большинства из этих бесчисленных статей,— а когда и читал, никогда на них не возражал и никак не реагировал.

Обошел он молчанием и ту знаменитую характеристику свою, которую прочел во второй октябрьской книжке «Revue des deux mondes» за 1834 г.: эта статья принадлежала перу уже входившей тогда в славу Жорж Санд и носила заглавие «Князь». Фамилия не была названа, но изложение было более чем прозрачным. Курьезно, что самая статья была вызвана посещением замка Валансэ, куда Жорж Санд и Альфред де Мюссе явились для осмотра его достопримечательностей (Талейран разрешал путешественникам осматривать его прославленные

по всему свету роскошные палаты, хоть и не допускал никого в свои жилые комнаты). На Жорж Санд пахнуло в этих великолепных залах князя Талейрана такими трагическими воспоминаниями, что она не воздержалась от самой резкой филиппики: «Никогда это сердце не испытывало жара благородного деяния, никогда честная мысль не проходила через эту неутомимую голову; этот человек — исключение в природе, он — такая редкостная чудовищность, что род человеческий, презирая его, все-таки созерцал его с глупым восхищением». Ей ненавистна даже наружность Талейрана: презрительное, надменное и вызывающее выражение его лица; она все думает и думает о его прошлом и о том, почему все властители Франции в нем нуждались: «Какие же кровавые войны, какие общественные бедствия, какие скандальные грабительства он предупредил? Значит, так уж он был необходим, этот сластолюбивый лицемер, если все наши монархи, от гордого завоевателя до ограниченного ханжи, навязывали нам позор и стыд его возвышения».

Для Жорж Санд отвратительна даже и самая дипломатия вообще, если она служит оправданием для деяний Талейрана. «Какие же позорные гнусности (turpitudes honteuses) прикрывает пышный плащ дипломатии?» — спрашивает Жорж Санд. И именно по поводу Талейрана она, истая представительница тогдашнего романтизма, повторяет во французской прозе знаменитые стихи своего немецкого современника — Гейне:

Отчего под ношей крестной
Весь в крови влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой? [9]

Жорж Санд вторит этим словам, применяя их к Талейрану: «Пусть я прокляну этого врага рода человеческого, который овладел людьми, только чтобы награбить богатства, удовлетворить свои порочные наклонности и внушить одураченным и ограбленным им людям унижающее их признание его неправых талантов (de ses iniques talents). Благодетели человечества умирают в изгнании или на кресте... А ты, старый коршун, умрешь в своем гнезде, медленно, окруженный сожалениями!..»

Талейран привык к такому тону; о нем редко писали иначе при его жизни, в те периоды, конечно, когда французская пресса была сколько-нибудь свободна. И почти всегда наблюдалась раздвоенность в настроении пишущих: полнейшее, безусловное, безоговорочное презрение к характеру, к полной бессовестности,— и столь же безусловное, хотя и не у всех, преклонение перед умственными средствами, перед хитростью, ловкостью, пронырливостью, проявленными им на дипломатическом попри-

ще. Талейран по-прежнему очень «философски» относился ко всему, что писалось о нем, и даже эта портретная живопись Жорж Санд ненадолго и очень незначительно его огорчала.

Следует заметить, что современники, уже весьма много зная о денежных похождениях и приключениях князя Талейрана, все же понятия не имели о всем том, что очень нескоро после его смерти, очень постепенно, урывками, начала узнавать о нем история. Возьмем хотя бы того же знаменитого Стендаля, участника наполеоновских войн, мыслителя, скептического наблюдателя, тонкого аналитика. Он находился в Марселе, когда до него дошел номер газеты «Journal des Débats» от 21 мая 1838 г., откуда он узнал о смерти князя Талейрана. Он тотчас же садится писать и оставляет в своих черновых заметках маленькую статью о Талейране (так и оставшуюся не напечатанной до 1926 г., когда она впервые увидела свет). На этой черновой рукописи сверху находятся характерные слова, показывающие, что Стендаля раздражала высокопарная хвалебная ложь о Талейране, которую он нашел в некрологе газеты: «В раздражении [10] от громких фраз „Débats"». А в конце на полях статьи еще более ясная помета: «Вследствие негодования против громких фраз». Казалось бы, от написанной в таком настроении статьи Стендаля мы были бы вправе ждать беспристрастной, неумолимо справедливой оценки очень многого в деятельности знаменитого дипломата. Но ничего подобного мы там не находим: «Г-н де Талейран был человеком бесконечно умным и всегда нуждавшимся в деньгах. В этом отношении он был истинным вельможей (un vrai grand seigneur). У него не было никакого порядка в его делах, никакой осторожности. Очень тонкий человек, без иллюзий и без всяких страстей, кроме страстного желания содержать дом на большую ногу и жить, как приличествует человеку высокого происхождения...» Так начинается эта совсем коротенькая характеристика. И дальше идут довольно поверхностные, не похожие на Стендаля, замечания, сравнения, легонькие анекдоты о том, как князя причесывали куаферы, совершенно неверное указание — будто Талейран «заставил» «испугавшихся» монархов в Вене идти против вернувшегося с о. Эльбы Наполеона и т. д., и затем еще анекдоты, как князь бывал мил с подчиненными, с прислугой — и больше ничего. И, заметим, что и этих незначащих строк, которые Стендаль подписал — «бывший офицер», он все-таки не решился даже анонимно напечатать. Так и бросил эту статью в хлам черновых бумаг. Совершенно ясно, что не в таком добродушном тоне писал бы Стендаль о Талейране, если бы знал все то, что узнало далекое потомство. Курьезно, что единственный пример недобросовестности Талейрана, который приводит тут Стендаль (о контрибуции с Испании), как раз случайно оказывается

не доказанным фактически. Впрочем, Стендаль тут ограничивается лишь намеком. Но он правильно указывает в своей статье на развращающее влияние, которое косвенно оказал Талейран на общество: «Дурной в моральном отношении стороной этой долгой жизни Скапена является то, что теперь, как только служащий человек крадет сто луидоров, то вместо того, чтобы думать о перспективе попасть на галеры, он говорит: „Что же, я подражаю г. де Талейрану“». Скапен, с которым Стендаль отождествляет Талейрана,— герой мольеровской комедии, который много и ловко плутовал, но которому все же и не снилось делать то, что сверх того проделывал князь Беневентский. Масштабы совсем были не те, психология не та, и арена всемирной истории — не скапеновское поприще забавного плутовства. Иметь также и черты Скапена вовсе не значит быть *только* Скапеном...

Жорж Санд судила Талейрана исключительно с моральной точки зрения. Почти одновременно с ней высказался о Талейране молодой блестящий публицист германской радикальной буржуазии Людвиг Бёрне, который отрицает даже самую разумность чисто моралистического подхода в данном случае. Он оценивает лишь объективные результаты деятельности знаменитого дипломата,— и оценивает их высоко. Читатель найдет это по-своему замечательное место в тридцать седьмом письме Бёрне из Парижа, от 24 февраля 1831 г. [11]

«...Наконец Талейран. Я никогда его не видел даже на портрете. Бронзовое лицо, мраморная доска, на которой железными буквами написана необходимость. Я никогда не мог понять, почему люди всех времен так не понимали этого человека! Что они порицали его, это хорошо, но слабо; добродетельно, но неразумно; эти порицания делают честь человечеству, но не людям. Талейрана упрекали за то, что он последовательно предавал все партии, все правительства. Это правда: он от Людовика XVI перешел к республике, от нее — к директории, от последней — к консульству, от консульства — к Наполеону, от него — к Бурбонам, от них — к Орлеанам, и, может быть, до своей смерти от Луи-Филиппа снова перейдет к республике. Но он вовсе не предавал их всех: он только покидал их, когда они умирали. Он сидел у одра болезни каждого времени, каждого правительства, всегда щупал их пульс и прежде всех замечал, когда их сердце прекращало свое биение. Тогда он спешил от покойника к наследнику, другие же продолжали еще короткое время служить трупу. Разве это измена? Потому ли Талейран хуже других, что он умнее, тверже и подчиняется неизбежному? Верность других длилась не больше, только заблуждение их было продолжительнее. К голосу Талейрана я всегда прислушивался, как к решению судьбы. Мне еще помнится, как я испугался,

когда, после возвращения Наполеона с Эльбы, Талейран остался верен Людовику XVIII. Это предвещало мне гибель Наполеона. Я обрадовался, когда он объявил себя сторонником Орлеанских: из этого я заключил, что Бурбонам конец. Мне хотелось, чтобы этот человек жил у меня в комнате: я бы приставил его, как барометр, к стене и, не читая газет, не отворяя окна, каждый день знал бы, какова погода на свете».

Для буржуазного публициста того времени повсеместная и полная победа буржуазии — в одних странах раньше, в других позднее — именно и была неизбежным роком, благим велением исторических судеб, которое с самого начала своей деятельности правильно угадал Талейран.

Для Стендаля Талейран всегда был синонимом низкого человека и предателя. «Парижская публика (говорит один из его героев), когда слышит о какой-либо низости или выгодной измене, восклицает: браво, вот хорошая штука в духе Талейрана. И публика восхищается» [12].

Но у Стендаля, как и у многих писавших о Талейране в те времена, борется признание большой одаренности этого человека с полнейшим презрением к его «морали». И неизвестно, какой эпитет замечательный писатель чаще применяет к Талейрану: «гений» (un génie, un vaste génie) или «мошенник» (le coquin). «Не могу я жить с людьми, неспособными к утонченным мыслям, как бы они ни были добродетельны. Я сто раз предпочел бы изящные нравы испорченного двора. Вашингтон мне бы наскучил смертельно, и я бы лучше хотел очутиться в одном салоне с г. Талейраном»,— восклицает один из героев Стендаля [13]. В Талейране Стендаль усматривает своего рода политического «философа», который откровенно служит только тем, кто ему платит и устраивает его благополучие. А о народном благе говорят при этом «только глупцы или лицемеры». Нельзя служить, одновременно думая о благе правящих и управляемых, «воображать, что интересы пастуха и интересы баранов совпадают». Талейран этого никогда и не думал: «Данный человек мне платит и устраивает мое счастье. Я буду ему помогать, а на остальное не обращаю внимания (et je me fiche du reste), каждый для себя. Я доволен... Таково рассуждение Талейрана и многих умных людей»,— утверждает Стендаль [14]. Во всяком случае эта психологическая догадка удовлетворительно объясняет ему все поведение Талейрана.

Откровенен (и грустен) Талейран, доживая век, бывал только с самим собой, в те редкие моменты, когда ночная тоска заставляла его браться за карандаш.

«Вот и протекли восемьдесят три года... Сколько забот. Сколько волнений. Сколько зложелательности я внушил. И все это без иных результатов, как большая физическая и моральная

усталость и глубокий упадок духа перед грядущим, и отвращение к прошлому». Так, лежа на одре долгой болезни, писал только для одного себя в конце жизни Талейран. Приведя эти думы, случайно ставшие впоследствии достоянием гласности, всегда отрицательно относившийся к князю Луи Блан пишет: «Оставаясь наедине с самим собой в ночной тишине, Талейран с высоты своей притворной гордости низвергался в невыразимое уныние, и при свете лампы, которая освещала его одинокое бдение, ему случалось писать строки, в которых сказывалось и множество мыслей и падение душевных сил» [15].

«*Притворная* гордость»: эти слова объясняются убеждением Луи Блана, что Талейран, презирая людей вообще, презирал в душе и всю жизнь и самого себя, и что его всегдашняя холодность, надменная, пренебрежительная насмешливая мина была маской, прикрывавшей безотрадное чувство, изредка, к концу, им овладевавшее.

5

Смерти Талейрана уже с первых месяцев 1838 г. ждали со дня на день. Газеты писали о быстром ухудшении, о грозно прогрессирующем упадке его сил. И вдруг — в Париже разнеслась удивительная новость.

На 3 марта 1838 г. в Академии моральных и политических наук было назначено чествование памяти академика графа Рейнара, довольно бесцветного французского дипломата, некогда управлявшего очень недолго министерством иностранных дел, бывшего талейрановского подчиненного. Совершенно неожиданно старый князь, давно и опасно больной, заявил, что он желает произнести поминальную речь в Академии, где он состоял с 1797 г., но уже очень давно перестал бывать.

Он задумал воспользоваться случаем, чтобы всенародно заявить свое мнение о дипломатах. Никогда решительно он об этом не говорил. Это сенсационное выступление Талейрана в Академии было определенной попыткой доказать или хоть прозрачно намекнуть, что именно он сам и является образчиком всех добродетелей, носителем которых должен быть министр иностранных дел. Присутствовавшие навсегда запомнили это *3 марта 1838 г. Талейран обратился одновременно и к современникам* и к грядущему потомству. Судя по одушевлению и жару этого выступления, редко когда ему так сильно хотелось, чтобы его лукавые уста обрели дар внушать доверие.

Эффект выступления был полный и своеобразный. Очень уж большое впечатление произвела сама личность оратора, который много лет не выступал нигде публично. На него глядели с жадностью, слушали, затаив дыхание, этот тембр старческого голоса, и он волновал, независимо от прямого смысла произно-

симых слов. Слишком много страниц истории навсегда связалось с этим мертвенно-бледным, уходящим в могилу, иссохшим стариком. Видения старорежимного Версаля, тени Людовика XVI и Марии-Антуанетты, образы Мирабо, революционеров, Дантона, участников феерии императорской коронации, герцога Энгиенского, Наполеона, испанских пленных принцев, Александра I, Карла X, Людовика XVIII — все эти образы, которые преследовали и пугали воображение Жорж Санд, когда она осматривала замок князя в Валансэ, все эти укоризненные, трагические, саркастические, гневные, уличающие, проклинающие призраки как бы оживали и толпились неотступно вокруг оратора и не хотели отходить от воображения собравшихся.

И только потом, уже писавшие об этом дне очевидцы признали, что именно все воспоминания, все эти исторические тени, вызванные в их сознании и чувстве присутствием Талейрана, опровергали и отрицали все то, что оратор своей речью хотел внушить о себе самом своим загипнотизированным слушателям.

Больной восьмидесятичетырехлетний старик уже двигаться самостоятельно не мог, и его почти на руках внесли в залу и проводили под руки на трибуну. Академики и переполнившая зал публика при его появлении встали и стоя приветствовали рукоплесканиями этого иссохшего полумертвеца, которому оставалось прожить на свете еще только два с половиной месяца. Он начал говорить и говорил долго, и речь его имела громадный успех как среди слушателей, так затем и в значительной части прессы. О чем же он говорил, чему поучал?

Он назидательно указывал, какими свойствами должен обладать идеальный дипломат, совершенный и безукоризненный министр иностранных дел. Любовь к родине, постоянное чувство патриотического долга. Никогда добросовестный министр иностранных дел не должен забывать о своих возвышенных государственных функциях, о святости и ответственности своего призвания... Одним словом, отечество должно себя чувствовать за своим верным министром иностранных дел, как за каменной стеной, если тот, кто носит это высокое звание, в самом деле достоин его, если он самозабвенно внемлет велениям своей патриотической совести!

Так вещал тоном мудрого старца, убеленного сединами учителя жизни, его высочество светлейший князь Беневентский, урожденный князь Талейран-Перигор, о котором все, без исключения, его слушатели (как и вся Франция, как и вся Европа, как и весь остальной мир) знали, что он предал сначала Людовика XVI, потом республику, потом Наполеона, которому так горячо целовал руки за пожалование ему владетельного княжества Беневентского и титула высочества и светлейшего князя; потом предал вторично Бурбонов. Правда, в то время

многие не были еще осведомлены, что случалось князю также несколько лет подряд состоять на тайной службе у Александра I и поторговывать после Эрфурта французскими государственными секретами за приличное поштучное вознаграждение; случалось ему извещать и Меттерниха о передвижениях французских войск во время войны Наполеона с Австрией в 1809 г.; случалось выкрадывать из государственных архивов документы объемистыми пачками и продавать их по сходной цене тому же Меттерниху. Не знали также, хотя кое-кто смутно уже тогда догадывался, что совсем недавно, всего за три года с небольшим до этой прочувствованной патриотической речи в Академии об истинно честных и благородных дипломатах, маститый академик продал в Лондоне голландскому королю кое-какие вверенные его защите интересы Франции и Бельгии за пятнадцать тысяч фунтов стерлингов звонкой монетой и еще, по-видимому, намекал при этом, что хорошо бы удвоить эту сумму. Но зато уж похождения князя в области внутренней политики были всем известны и всем понятны. Чем же объяснить овации, триумф академической речи, ореол успеха, окруживший после этой лебединой песни сходящего в гроб старика, который поднялся с одра болезни, чтобы дерзко заявить, что он вправе безбоязненно смотреть в глаза новым поколениям? Почему и его слушатели и ближайшее потомство постарались забыть всю глубочайшую аморальность этого человека, существование которого, если рассматривать его с точки зрения нравственности, было сплошным и циничнейшим издевательством над самыми скромными, нетребовательными правилами чести и примитивной порядочности, даже простой морали чистоплотности?

На этот вопрос ответ нами уже дан. Поколения буржуазии, при которых протекали последние десятилетия жизни и деятельности Талейрана, помнили и хотели помнить лишь следующую полубыль-полулегенду: в 1814—1815 гг., сначала заключая Парижский мир 30 мая 1814 г., потом успешно добившись полного его подтверждения на Венском конгрессе в осень и зиму 1814—1815 гг., Талейран отстоял границы Франции от феодально-абсолютистской Пруссии, от клерикально-монархической Австрии, спас часть французских колоний от английских хищников; Талейран хотел затем заставить Бурбонов примириться с наступавшим царством буржуазии, но тщетно,— его мудрые советы не были услышаны, и Бурбоны, связав себя с клерикально-феодальной реакцией, окончательно погибли; тогда тот же Талейран, как он сам о себе поспешил выразиться после своего лондонского посольства 1830—1834 гг., «дал Июльской революции право гражданства в Европе» и, отстаивая Бельгию от дипломатического натиска абсолютистских держав, снова и тут оказал услугу делу освобождения и политической консолидации

буржуазии во Франции и в Бельгии, а тем самым и в Европе. А потому, заявляли люди вроде Бёрне, какие бы за ним ни числились грехи,— в конце своей жизни он сыграл прогрессивную историческую роль... «Я служил Франции при всех режимах», повторялись слова самого старого лукавца.

Такова была эта полубыль-полулегенда, эта крайне «стилизованная» в пользу Талейрана буржуазными либералами история его жизни и деятельности. Преувеличивалась безмерно личная роль Талейрана в 1814—1815 гг. в Париже и Вене в деле спасения целостности французской территории, причем почти вовсе игнорировалось *решающее* влияние России, в прямых интересах которой было предохранить Францию от расчленения; а об этом расчленении мечтали многие победители, в особенности в Пруссии, где долго не могли утешиться, когда им отказали в отдаче Эльзаса и Лотарингии. Одного дипломатического «искусства» Талейрана, конечно, не хватило бы, чтобы спасти Францию от хищных клыков Блюхера и ему подобных ни в 1814, ни в 1815 г. Что касается роли Талейрана как поборника буржуазии и борца против дворянской реакции при Реставрации, то здесь тоже читатель припомнит приведенные нами документы 1814—1817 гг., показывающие, что в данном случае «быль» была приукрашена легендой, и о «зигзагах» Талейрана в сторону реакции умалчивалось. Наконец, хотя бесспорно деятельность Талейрана в Лондоне способствовала политической консолидации Июльской буржуазной монархии и укреплению тогдашних крайне шатких позиций Франции в международных отношениях, в особенности именно вначале, в 1830 г., но и тут нужно много отнести к внутреннему положению Англии, к ярой классовой борьбе перед избирательной реформой 1832 г., когда сначала консерваторы были парализованы и лишены возможности более активной внешней политики; многое объясняется (именно в бельгийском деле, в 1831—1832 гг.) и тем, что у Николая I заняты были руки Польшей. Все подобные безмерные преувеличения личной исторической роли Талейрана, как одного из «богов», «делающих» всемирную историю, и вызвали упомянутое нами во введении справедливое отрицательное высказывание Энгельса о роли Талейрана, Меттерниха и Луи-Филиппа.

Такие преувеличения и прежде, когда их высказывали «немецкие бюргеры», которые этим раздражали Маркса и Энгельса, и впоследствии, когда их стали повторять и французские и английские «бюргеры» и многие и многие историки, проистекали из неумения или нежелания сколько-нибудь серьезно учесть решающее значение всего комплекса социально-экономической и политической обстановки во Франции и Европе, среди которой Талейрану пришлось жить и действовать.

Но этому человеку, которому всегда так везло при жизни, повезло и после смерти. Победившая буржуазия решила признать его одним из крупных соратников, который очень способствовал ее конечному торжеству, одним из деятелей «героического» периода этой борьбы. И уж тогда забыты и прощены были все многочисленные личные прегрешения Талейрана, из которых каждого было бы достаточно, чтобы опозорить и лишить доброго имени любого политического деятеля. Еще в последние годы жизни Талейрана суровонравственный, безукоризненный Ройе-Коллар стал дружить с ним, тот самый Ройе-Коллар, которого называли совестью либеральной партии, светочем и непреклонным блюстителем общественной морали. А с другой стороны, модный культ героев, подоспевший и быстро распространившийся в историографии под влиянием знаменитой книги Карлейля «Герои и героическое в истории» [16], вышедшей очень скоро после смерти Талейрана, поощрял и тогдашних и позднейших биографов Талейрана видеть в нем именно «делателя» и «бога» истории, «спасителя» новой, послереволюционной буржуазной Франции от феодально-абсолютистской реакции, готовой пожрать без остатка все приобретения Великой буржуазной революции. Это возвеличение продолжалось и тогда, когда о нашумевшей книге Карлейля забыли и думать. Талейрана не только стали считать олицетворением буржуазной Франции борющейся против феодализма, и в этом смысле сопоставлять с Наполеоном (не более и не менее!), но все эти курьезные увлечения, как уже сказано, не вполне ликвидированы в буржуазной исторической литературе о Талейране до сих пор: например, книга Гульельмо Ферреро выпущена в 1940 г., а кажется, будто написана она в разгар увлечения «культом героев» [17].

Такова была посмертная талейрановская легенда. И начала твориться эта легенда еще за два с половиной месяца до смерти старого князя, когда он произнес свою последнюю речь в Академии и достиг такого апофеоза и в Академии, и в прессе. и во Франции, и за границей. Эта речь в его устах была, в сущности, сплошным дерзновенным вызовом, сознательным забвением, игнорированием той правды, которую он сам за собой знал. И его слушатели, проводившие оратора бурными овациями, и очень многие, писавшие о нем впоследствии, тоже как бы условились предать забвению или прощенью эту страшную правду его долгой жизни.

Его полная уверенность в себе, его способность с безмятежным челом и высоко поднятой головой шествовать по жизненному пути, милостиво, как нечто само собой разумеющееся, собирая дань почтения, сбивала с толку, приводила в недоумение далеко не одних только его слушателей в Академии моральных и политических наук в день 3 марта 1838 г.

Люди, не любившие и не уважавшие Талейрана, вроде, например, Герцена, терялись и недоумевали иной раз перед этим абсолютным аморализмом Талейрана, соединенным с совершеннейшим всегдашним спокойствием духа и сознанием какой-то своей мнимой «правоты». Им иногда даже казалось, что Талейран чувствует себя не действующим лицом, каким он был, но чем-то вроде зрителя, созерцателя, наблюдателя, чуждого суете мирской мыслителя. «Откуда взять увлеченному в омут событий, в самом круговороте их, ровное и мудрое беспристрастие зрителя? Не будет ли это ниже или выше достоинства человеческого, не надобно ли для этого сделаться Талейраном или Гёте?» — вопрошал Герцен [18]. И он как-то не решался, говоря о политической «беспартийности» Талейрана, провести знак равенства между Талейраном и Фуше и признать, что они были совсем одинаково эгоистичны («ячны»): «Есть другого рода люди, которые потому не принадлежат к партии, что или это не серьезно, что они ниже всеобщих интересов,— например, Талейран,— или гнусно ячны и подчиняют подлому расчету интересы общие,— например, Фуше» [19]. К сожалению, в этом своем раннем, интимном, исключительно для себя писанном дневнике, где он часто не доканчивает своей мысли, Герцен не поясняет точнее и вразумительнее — в чем именно он усматривает некую разницу между «моралью» Талейрана и «моралью» Фуше.

Стоящий на противоположном от Герцена политическом полюсе легитимист Витролль, так много работавший в 1814 г. под эгидой и по указке Талейрана по делу о призвании Бурбонов на престол, высказывается более категорично. Его монархическое благоговение к коронованным лицам возмущено тем, что Талейран, «этот старец, над челом которого отяготело столько позора, прогуливался по улицам Лондона в сопровождении короля Великобритании», принимавшего его как гостя своей страны; и что французский король «счел себя обязанным присутствовать при пышной кончине (la mort fastueuse) этого великого комедианта!» И Витролль, узколобый, фанатически-ограниченный, но лично честный, восклицает: «Никогда еще общественная нравственность не была смущена подобным примером, зрелищем такой развращенности и стольких пороков, увенчанных постоянным успехом и видимой славой! Вот в чем его гений, и в этом отношении никого нельзя с ним сравнить» [20].

Оценку себе пытался давать Талейран иной раз не только на публичных заседаниях Академии... «Знаете ли вы, дорогой мой,— сказал он (незадолго до смерти) Тьеру,— что я всегда был человеком, наиболее в моральном отношении дискредитированным, какой только существовал в Европе за последние сорок лет, и что, однако, я всегда был либо всемогущим у власти, либо накануне возвращения к власти?»

В своем предсмертном политическом завещании он прибавлял: «Я ничуть не упрекаю себя в том, что служил всем режимам, от Директории до времени, когда я пишу, потому что я остановился на идее служить Франции, как Франции, в каком бы положении она ни была». Конечно, его противники и позднейшие критики заявляли, что подобными фразами нельзя было бы успокоить совесть, если бы она у Талейрана была в самом деле в наличии.

Но слова, сказанные Тьеру, несомненно, выражали искренне философию князя Талейрана. И он, с самого начала своей карьеры, поставивший ставку на буржуазию и против того класса, к которому по рождению, по воспитанию, по вкусам, по связям, по манерам сам принадлежал, всегда выигрывал, потому что в этот исторический период буржуазия всегда побеждала, и ничто не могло противиться,— и всегда он был нужен, потому что и у буржуазии не было в распоряжении много таких голов, как сидевшая на плечах князя Талейрана. А что его при этом будут ругать — это он знал наперед, и знал, что сколько бы ни ругали, а без него не обойдутся. Знал (и предсказал) политическое могущество Тьера, в те времена молодого либерального министра, но уже имевшего на своем политическом счету при всем своем либерализме зверское усмирение восстания республиканцев в 1834 г. Талейран знал, что буржуазия еще очень долго будет прочно «сидеть в седле», в том седле, в котором он сам ей помогал усаживаться, и еще очень долго будет в состоянии роскошно награждать своих слуг. А Тьер уже резней на улице Транснонэн во время усмирения восстания в 1834 г. явно обещал в будущем, в случае надобности, превратить весь Париж как бы в одну сплошную улицу Транснонэн (что в самом деле и исполнил при варварском подавлении Коммуны в мае 1871 г.). Следовательно, Тьеру могло предстоять блестящее будущее, не хуже талейрановского прошлого; хозяином и для престарелого знатнейшего аристократа и для молодого выходца из мелкой марсельской буржуазии являлся один и тот же общественный класс. Талейран служил этому буржуазному классу в его борьбе против дворянства. Тьер служил этому же классу в его борьбе против пролетариата. И Талейран, преуспевший карьерист, приветствовал в лице Тьера карьериста, которому суждено преуспеть, потому что Тьер тоже поставил жизненную свою ставку «удачно», на «хорошую лошадь».

Но если говорить о сравнении этих двух так несхожих во многом людей, то нужно признать, что для Тьера дело буржуазии было делом не только карьеры, но и делом кровным; классовое чувство было сильнее в нем, потому что он был сам буржуа с ног до головы. А Талейран только, так сказать, со стороны нанялся к буржуазии, был как бы кондотьером, отдав-

шим за плату свои силы тому классу, который, по его предвидению, должен был скорее победить и щедрее заплатить; сам же он с ног до головы, по привычкам, вкусам, мироощущению, оставался всегда, до могилы, старорежимным вельможей и, как в шекспировском короле Лире «каждый вершок был король», так и в князе Талейране каждый вершок был аристократ.

Для Тьера, как и для Лафитта, как и для Гизо, и для Казимира Перье, и для всего их поколения, буржуазия была венцом мироздания и цветом человечества, а буржуазная Июльская революция была окончательной и восхитительной, идеальной развязкой, завершающей точкой, которую всеблагое провидение поставило в книге судеб. Для Талейрана же буржуазия была только тем классом для которого как раз в тот момент, когда вот он, Талейран, живет и действует, условия оказались очень благоприятны, почему и следует именно работать и идти с этим классом, а не против него. А революция 1830 г., с точки зрения политической философии старого дипломата, была лишь одним из эпизодов французской истории, за которым в свое время последуют другие эпизоды, очень может быть, совсем противоположного характера по своим результатам. Но об этих далеких будущих событиях Талейран не любил рассуждать. Да он и не забывал, что ему перевалило за восемьдесят и что уже во всяком случае для него-то лично Июльская революция, конечно будет последней, которую ему суждено было увидеть.

Весной 1838 г. после заседания в Академии болезненное состояние 84-летнего старика резко ухудшилось. Перед самой смертью, по настоянию своей племянницы, герцогини Дино, он примирился с католической церковью и получил от самого папы римского «отпущение грехов», чем в глазах верующих должен был спасти свою многогрешную душу от совсем уже готовых ухватить ее когтей дьявола: «Князь Талейран всю свою жизнь обманывал бога, а пред самой смертью вдруг очень ловко обманул сатану»,— таково было чье-то широко распространившееся в те дни суждение об этом неожиданном, курьезном «примирении» абсолютно ни во что не веровавшего старого вольтерьянца и насмешливого циника,— отлученного некогда от церкви бывшего епископа Отенского,— с римским папой и с католической религией.

17 мая 1838 г. король Луи-Филипп со своей сестрой, принцессой Аделаидой, прибыл проститься с умирающим, который поражал всех совершеннейшим своим спокойствием и успел даже отпустить Луи-Филиппу коснеющим языком какой-то изящный царедворческий комплимент.

Спустя несколько часов после королевского визита князь Талейран скончался.

1939 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

I. ВЫСКАЗЫВАНИЯ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА О ТАЛЕЙРАНЕ И БУРЖУАЗНОЙ ДИПЛОМАТИИ[1]

О Талейране

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 7, стр. 317. (Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса).

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. I. М.— Л., 1929, стр. 531; Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 10, стр. 301, 434. (Высказывания К. Маркса)

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 4, стр. 471; т. 13, стр. 630; Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XVI, ч. 2. Партиздат, 1936, стр. 21. (Высказывания Ф. Энгельса)

О Венском конгрессе

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 6, стр. 424—425; т. 9, стр. 4. (Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса)

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 9, стр. 375, 380, 384, 385, 411, 412, 413, 414, 550; т. 10, стр. 161; т. 12, стр. 682—683; письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 26 октября 1854 г.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XXII. М.— Л., 1929, стр. 65; письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 22 апреля 1859 г.— там же, стр. 401; письмо К. Маркса к Ф. Энгельсу от 27 июня 1867 г.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XXIII. М.— Л., 1932, стр. 424. (Высказывания К. Маркса).

Положение в Германии.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 2, стр. 568, 570; т. 13, стр. 277. Какое дело рабочему классу до Польши.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XIII, ч. 1. Партиздат, 1936, стр. 154; т. XVI, ч. 1. Партиздат, 1937, стр. 206; Роль насилия в истории,— там же, стр. 452, 453, 457. Внешняя политика русского царизма.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XVI, ч. 2, стр. 21. (Высказывания Ф. Энгельса).

Есть также упоминания о Венском конгрессе: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 12, стр. 98, 99; т. 13, стр. 443; т. 14, стр. 504, 516, 594; Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XIII, ч. 1. Партиздат, 1936, стр. 191; т. XXII. М.— Л., 1929, стр. 96, 400; т. XXIV. М.— Л., 1931, стр. 371, 380.

О буржуазной дипломатии

Русская нота. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 5, стр. 309—315. Новый «Священный союз», т. 6, стр. 156—157; Внешняя политика Французской республики, там же, стр. 424—425. (Высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса).

Маркс К. Англо-французское посредничество в Италии.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 5, стр. 468—470, Подвиги Гогенцоллернов, т. 6, стр. 519—523; Лорд Пальмерстон, т. 9, стр. 363, 369, 373, 374—385, 402—407, 424—425, ср. письмо К. Маркса — Фердинанду Лассалю от 22/II 1858 г.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, т. XXV. Партиздат, 1936, стр. 222. Документы о разделе Турции.—

[1] Более полная библиография марксистско-ленинской литературы о международных отношениях и дипломатии в XIX—XX вв. дана в приложениях к трем томам «Истории дипломатии».

Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 10, стр. 137—148; К истории союза с Францией, т. 11, стр. 115—117; Традиционная английская политика, там же, стр. 606—609; т. 13, стр. 318—319; т. 15. стр. 70. (Высказывания К. Маркса).

Энгельс Ф. Третий в союзе.— Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения, 2 изд., т. 6, стр. 510—511; Царь и его вассальные князья, там же, стр. 517—518; Политическое положение Швейцарской республики, т. 9, стр. 90—97; т. 13, стр. 627—628. (Высказывания Ф. Энгельса).

Ленин В. И. Сочинения, 4 изд., т. 9, стр. 147; т. 15, стр. 168; т. 23, стр. 169, 199; т. 24, стр. 380; т. 26, стр. 218—219; т. 33, стр. 124. (Высказывания В. И. Ленина).

II. ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

1. Использованные архивы

Архив внешней политики России (АВПР). Москва.

Архив французского министерства иностранных дел. Париж.

2. Сочинения Талейрана

Rapport sur l'instruction publique, fait au nom du Comité de constitution à l'Assemblée Nationale les 10, 11 et 19 septembre 1791 par M. de Talleyrand-Périgord. Imprimé par l'ordre de l'Assemblée Nationale. P., 1791. 216 p.[1]

Memoir concerning the commercial relations of the United States with England. By citizen Talleyrand. Read at the National institute, the 15th germinal, in the year V (April 5, 1797). To which is added an essay upon the advantages to be derived from new colonies in the existing circumstances. By the same author. Read at the institute, the 15th messidor in the year V (July 3, 1797). Boston, 1809. 22 p. (Лондонское изд. в «Pamphleeter». L., 1814).

Eclaircissements donnés par le citoyen Talleyrand à ses concitoyens. P., an VII [1799]. 35 p.

Talleyrand Ch. Etude sur la république des Etats-Unis d'Amérique. N. Y., Hurd, 1876.

III. ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ПЕРЕПИСКА

Correspondance diplomatique de Talleyrand. La mission de Talleyrand à Londres en 1792. Correspondance inédite de Talleyrand avec le département des affaires étrangères, le général Biron etc. Ses lettres d'Amérique à lord Landsdowne. Avec introduction et notes par G. Pallain. P., Plon, 1889. XXXII, 479 p.

Talleyrand. Le ministère de Talleyrand sous le Directoire. Avec introduction et notes par G. Pallain. P., Plon-Nourrit, 1891.

Correspondance de Talleyrand avec le premier consul pendant la campagne de Marengo. Publ. par comte Boulay de la Meurthe.— Revue d'histoire diplomatique, t. 6 (1892), p. 182 и след.

Lettres inédites de Talleyrand à Napoléon (1800—1809). Publ. d'après

[1] Многочисленные ораторские выступления, обращения и докладные записки Талейрана в Национальном собрании см. «Archives parlementaires» и «Moniteur» (по индексу имен).

les originaux conservés aux Archives des affaires étrangères. Avec une introduction et des notes par P. Bertrand. 2 éd. P., Perrin, 1889. XLI, 491 p.

Дипломатические сношения России с Францией в эпоху Наполеона I. Под ред. проф. А. Трачевского.— «Сборники Русского исторического общества», т. 70, 77, 82, 88. СПб., 1890—1893.

Здесь приводится ряд писем и дипломатических нот как самого Талейрана, так и обращенных к Талейрану.

Lettres de M. de Talleyrand à Madame de Staël.— «Revue d'histoire diplomatique», t. 4. (1890), p. 79—94; 209—221.

Talleyrand. Lettres à Caulaincourt. Publ. par J. Hanoteau.— «Revue des deux mondes», 1935, 15 octobre, p. 782—816.

Talleyrand intime, d'après sa correspondance inédite avec la duchesse de Courlande. La restauration en 1814. P., Kolb, [1891]. 282 p.

Correspondance du comte de Jaucourt avec le prince de Talleyrand pendant le congrès de Vienne. P., Plon, 1905. XV, 361 p.

Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII pendant le Congrès de Vienne, publ. sur les manuscrits conservés au Dépot des affaires étrangères. Avec préface, éclaicissements et notes par G. Pallain. 3 éd. P., Plon, 1881. XXVIII, 528 p.

Lettres et billets du prince de Talleyrand et de M. Royer-Collard avec une introduction par P. Royer-Collard. P., 1903. 26 p.

Talleyrand et Royer-Collard. Correspondance inédite. P., 1927.

Correspondance diplomatique de Talleyrand: Ambassade de Talleyrand à Londres (1830—1834). Avec introduction et notes par G. Pallain. P., Plon-Nourrit, 1891. XVI, 443 p.

Le prince de Talleyrand et la maison d'Orléans. Lettres du roi Louis-Philippe, de m-me Adélaïde et du prince de Talleyrand. Publ. avec une pref. par la comtesse de Mirabeau. P., Calmann-Lévy, 1890. 290 p.

Lacour-Gayet G. Talleyrand (1754—1838), t. IV. Mélanges. P., Payot, 1934. 350 p.

Talleyrand in America as a financial promoter (1794—1796). Transl. a. ed. by H. Huth a. W. J. Pugh. T. II. Washington, 1942. VII, 181 p.

Le congrès de Vienne et les traités de 1815. Précédé et suivi des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introduction historique par M. Capefigue. T. 1—2. P., Amyot, [1864].

Nesselrode Chr. R. Lettres et papiers (1760—1850). Extraits de ses archives. Publiés et annotés par A. Nesselrode. T. III. (1805—1811). P., Lahure, s. a. 441 p.

IV. МЕМУАРЫ ТАЛЕЙРАНА И МЕМУАРЫ О ТАЛЕЙРАНЕ [1]

Mémoires du prince de Talleyrand. Publ. avec une préface et des notes par le duc de Broglie. T. 1—5. P., 1891—1892. 5 vol. (Тогда же вышел английский перевод, сделанный R. Redos de Beaufort, с предисловием Whithelot Reid, американского посла в Париже[2]).

[1] Современные Талейрану памфлеты перечисляются в библиографии, приложенной к книге Бритона (см. ниже в отд. V), стр. 303—304. Там же, стр. 307—311, перечислены мемуары, посвященные не специально Талейрану, но его касающиеся. Более старые книги и журнальную литературу см. Thieme H. P. Bibliographie de la littérature française de 1800 à 1930, t. II. P., 1933, p. 845—848.

[2] Сразу же после появления в свет этих мемуаров возникла горячая полемика по поводу их подлинности. Скептиков возглавлял А. Олар, главой противоположного лагеря был Альбер Сорель. Герцог де Бройль не мог предъявить подлинной рукописи самого Талейрана, но лишь копию,

З о т о в В. Записки Талейрана — «Исторический вестник», 1891, март, стр. 804—816; апрель, стр. 214—231; май, стр. 463—478.

Отрывки из мемуаров Талейрана сочетаются с отдельными оценками его деятельности.

Т а л е й р а н. (1754—1838). Мемуары. Старый режим.— Великая революция.— Империя.— Реставрация. Пер. и примеч. С. и Л. Фейгин. Ред. и статья Е. В. Тарле. М.— Л., Academia, 1934. 750 стр. [*Примеч. ред.* То же. М., Изд. Ин-та Междун. отношений, 1959. 440 стр.]

Т а л л е р а н - П е р и г о р. Записки. Собр. и изд. графинею О... дю К... Пер. с франц. Ч. 1—4. М., 1840—1841. То же. М., 1861.

C a u l a i n c o u r t. Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence. T. I—III. P., Plon, 1933—1934.

D i n o D. d e. Chronique de 1831 à 1862, publiéeavec des annotations et un index biographique par la princesse Radziwill. T. I—IV. P., Plon-Nourrit, 1909—1910. 4 vol.

Memoirs of the duchesse de Dino (1831—1835). Ed. by the princess Radziwill. Lond., Heinemann, 1909. VIII, 349 p.

M e t t e r n i c h C. L. Mémoires, documents et écrits divers. T. II. P., Plon, 1886. 545 p.

Souvenirs intimes de M. Talleyrand recueillis par A. Pichot. P., Dentu, 1870. 329 p.

V i t r o l l e s. Mémoires et relations politiques. T. I—III. P., 1884. 3 vol.

V. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЖИЗНЕОПИСАНИЯ ТАЛЕЙРАНА

Б ё р н е Л. Парижские письма. Пер. А. Ромма и П. Вейнберга. Предисл. Ф. П. Шиллера. Примеч. Ю. Л. Мотковской. М., Гослитиздат, 1938. XXXII, 782 стр.

Г е р ц е н А. И. Собрание сочинений в 30 томах. Т. 2, 16. М., изд. АН СССР, 1954—1959. См. указатель имен.

B a c F. Le secret de Talleyrand. P., 1933.

B e r t a u t J. Talleyrand. Lyon, Lardanchet, 1945. 288 p.

B l a n c L. Histoire de dix ans 1830—1840. 11 éd. T. V. P., s. d.

B l e i F. Talleyrand. Berl., 1932.

B l e n n e r h a s s e t C. J. Talleyrand. Eine Studie. Berl., 1894. VI, 572 S.

B r i n t o n C. The lives of Talleyrand. Lond., Allen a. Unwin, 1937. 316 p. (Библ. р. 301—311).

B u l w e r - L y t t o n H. Talleyrand, the politic man. In: Bulwer-Lytton H. Historical characters. T. I. Lpz., Tauchnitz, 1868, p. 9—338.

каллиграфически сделанную рукой барона де Бакура, в ведении которого был архив Талейрана в 50—60 годы. Верность копии была удостоверена собственноручной надписью герцогини Дино. В настоящее время Лакур-Гайе удалось раздобыть часть (102 стр. главы об испанских делах) автографа самого Талейрана. Сличение текста этой рукописи с текстом Бакура и Бройля якобы обнаруживает не только стилистические разночтения, но и ряд как выкидок, так и обширных интерполяций, остающихся целиком на совести душеприказчиков Талейрана. Текста автографа Талейрана Лакур-Гайе (бонапартист), однако, не публикует, ограничиваясь приведением отдельных примеров. См. выше в отд. III, L a c o u r - G a y e t. Mélanges, заключительная статья: «О подлинности мемуаров Талейрана» (стр. 301—311). Ср. S o r e l A. Lectures historiques. P., 1894 (Taleyrand et ses mémoires, p. 71—112).

Cooper D. Talleyrand. Lond., Cape, 1935. 399 p.
Dard E. La vengeance de Talleyrand.— «Revue des deux mondes», 1934, 1 mars, p. 215—229.
Dard E. Napoléon et Talleyrand. P., Plon, 1947. XXX, 424 p.
Deschanel P. Orateurs et hommes d'état. P., Calmann-Lévy, 1888. 357 p.
Dodd A. B. Talleyrand. The training of a statesman 1754—1838. N. Y., Putnam, 1927. XIII, 531 p.
Dupuis Ch. Le ministère de Talleyrand en 1814. T. 1—2. P., Plon-Nourrit, 1919—1920.
Ferrero G. Reconstruction. Talleyrand à Vienne. P., Plon, 1940. 373 p.
Ferrero G. The reconstruction of Europe. Talleyrand and the Congress of Vienna 1814—1815. N. Y., Putnam, 1941. XIV, 351 p.
Lacombe B. Talleyrand éveque d'Autun. D'après des documents inédits. P., Perrin, 1903. VIII, 302 p.
Lacombe B. La vie privée de Talleyrand: son émigration, son mariage, sa retraite, sa conversion, sa mort. P., Plon-Nourrit, 1910. 432 p.
Lacour-Gayet G. Talleyrand 1754 — 1838. T. 1—3. P., Payot, 1932—1947. T. I. (1754—1799). 1933; t. II (1799—1815). 1930; t. III (1815—1838). 1932; t. IV. Mélanges. 1934.
Leroy A. Talleyrand économiste et financier. P., 1907. Диссертация в продажу не поступала.
Lockhart J. S. Talleyrand. In: Balch M. ed. Modern short biographies. N. Y., 1935, p. 278—302.
Lokke C. L. Pourquoi Talleyrand ne fut pas envoyé à Constantinople.— «Annales historiques de la révolution française», 1933, mars-avril, p. 153—159.
Loliée F. Du prince de Bénévent au duc de Morny, t. 1. Talleyrand et la Société française depuis la fin du règne de Louis XV jusqu'aux approches du Second Empire. P., Emile-Paul, 1910. VI, 497 p.
Talleyrand et la société européenne. Vienne.— Paris.— Londres. Suivi d'une galerie anecdotique et critique des principaux personnages cités dans la première et la deuxième partie de cette histoire d'un homme et d'un siècle. P., Emile-Paul, 1911. II, 365 p.
Paléologue M. Romantisme et diplomatie. P., 1925. (То же. По-немецки под заголовком: Drei Diplomaten: Talleyrand, Metternich, Chateaubriand. Berl., 1929).
Pertz G. H. Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein. Bd. IV. Berl., Reimer, 1851. XX, 756 S.
Rosenthal W. Fürst Talleyrand und die auswärtige Politik Napoleons I. Nach den Memoiren des Fürsten. Lpz., 1905.
Saint Aulaire A. de. Talleyrand. P., Dunod, 1936. 435 p.
Sainte-Beuve C. A. Monsieur de Talleyrand. P., Calmann-Lévy, 1880. 243 p.
Sand G. Prince.— «Revue des deux mondes», 1834, 7 octobre.
Stendhal. Correspondance. T. IV—VI. P., 1934.
Stendhal. Courrier anglais. Etablissement du texte et préface par H. Martineau. T. III—IV. P., Le Divan, 1935. 2 vol.
Stendhal. Lucien Leuwen. T. 1—2. P., Ed. du Trianon, 1929. 2 vol.
Stendhal. Napoléon. Vie de Napoléon.— Mémoires sur Napoléon. Texte établi et annoté avec un avant-propos par L. Roger. Préf. de A. Pingaud. T. 1—2. P., Champion, 1929.
Weil M. H. Les dessous du Congrès de Vienne, d'après les documents originaux des archives de ministère impérial et royal de l'Intérieur à Vienne. T. I—II. P., 1917. 2 vol.

Статьи и рецензии 1896–1940 гг.

ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ И УЧЕНЫЕ ОТВЕТЫ

Чичерин Б. Курс государственной науки. Часть II. Социология. Москва, 1896. 433 стр. Цена 3 руб.

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые,
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!
Гейне

I

Новое произведение г. Чичерина имеет еще и подзаглавие: «Наука об обществе, или Социология». Признаюсь, я с большим интересом принялся за чтение названной книги. В последнее время и за границей и у нас появилось и продолжает появляться такая масса книг, брошюр и статей, посвященных разнообразнейшим отделам обществоведения, и в большинстве случаев эти новинки до того бесцветны, что искушенный читатель, усмотрев в витрине книжного магазина какую-нибудь, например, «Мировую и социальную эволюцию» уже наперед знает, что встретится либо с привычными quasi-научными фразами и терминами, прикрывающими полное отсутствие всякой мысли, либо с пересказом своими словами давно и хорошо известных идей, тех идей, которые появились в прежнее, менее плодовитое, но более размышлявшее время. И, несмотря на все эти соображения, мне кажется, что не только я один с любопытством стал читать книгу г. Чичерина. Правда, автор ее частенько был застаеваем критикой en flagrant délit на попытке объять необъятное; правда, тон его произведений всегда носил какой-то странный полемический характер даже и в тех редких случаях, когда г. Чичерин ни с кем не полемизировал, так что в этом отношении оказывалось некоторое сходство между нашим автором и щедринским полководцем Редедею, который даже и в мирное время в Петербурге жил «во дворе, в палатке», но, тем не менее, у г. Чичерина читатели находили далеко немаловажные достоинства: большую эрудицию, умение располагать добытый из первоисточников материал, ясный и точный язык, и все это давало г. Чичерину довольно видное место в научной литературе. Его «История политических учений», несмотря на

все свои очевидные недостатки, еще долго будет оставаться необходимым пособием для всякого интересующегося предметом; его «Очерки Франции и Англии» еще и в наше время прочтутся с интересом. И если теперь человек, знакомый с приемами и методами научного изложения, берется за такой ответственный труд, как изложение собственной социологической системы, то мы вправе ожидать от него, во всяком случае, больше, чем от какого-нибудь monsieur Камилла Дрейфуса или ему подобных новоявленных социологов. Но, увы! Как будто г. Чичерин умышленно не хотел вносить диссонанса в хор дряблых и писклявых голосов, на разные лады повторяющих азбуку науки, как будто намеренно постарался на этот раз сохранить за собой все свои недостатки и отрешиться от всех своих достоинств. При общей вялости и бледности социологической литературы последних лет книга г. Чичерина выдается своей бесцветностью и безжизненностью. Я вовсе не задаюсь целью представить подробный разбор «Социологии» г. Чичерина: прочтение такого разбора потребовало бы от читателей такой затраты мужества и терпения, на какую я вовсе не вправе рассчитывать. Да это и вполне бесполезно; достаточно указать на центральные положения, выдвигаемые автором, на те выводы, которые он считает возможным добыть из этих положений и на те странности, которыми поражает читателя механизм мысли г. Чичерина в процессе перехода от конкретных фактов к абстрактным заключениям.

II

Что такое социология? «Исследование общества в его составных элементах и влияния (?) его на государство составляет предмет *Науки об обществе*»,— отвечает г. Чичерин. Это плохое, растянутое и туманное определение может неприятно удивить всякого, знакомого с трудами Спенсера, Уорда и многих других писателей по социологии. Несмотря на то, что эти люди нередко понимали общественную науку каждый несколько отлично от других, все они ставили широко рамки социологического знания, все они понимали также, что социология не есть государственное право, что она относится к государственному праву, как целое к своей части. Теперь, в конце XIX в., изобретать для социологии какое-то прокрустово ложе — есть предприятие, заранее осужденное на неудачу... «Влияние его (общества — *Е. Т.*) на государство составляет предмет социологии... *наоборот* (курсив Е. Т.), исследование воздействия государства на общество составляет предмет *Политики*». Это «наоборот» неподражаемо. Почему «наоборот»? Зачем это деление? С какой стати совершенно однородные объекты знания растас-

живаются друг от друга и рассаживаются по разным клеткам? Мы бросаем в стакан с водой кусок сахара. Чтобы быть вполне последовательным, г. Чичерин должен заявить: «Тот факт, что сахар растаял, относится к области явлений, которыми занимаются физика и химия, *наоборот*, то что вода стала насыщенной сахаром, уже составляет предмет особой науки». И тут г. Чичерин, конечно, изобрел бы для этой науки особое название. Но искажение основного характера явлений стало давно немыслимым в естествознании так же, как произвольное подведение вполне однородных фактов под разные научные рубрики. Что же касается бедных общественных дисциплин, то здесь, к сожалению, такие элукубрации вполне мыслимы даже в трактате, претендующем на ученость.

В дальнейшем изложении автор ни с того, ни с сего говорит о производстве, о потреблении и о «воздушных за́мках», которые без всякого научного основания и без малейшей философской подготовки строятся фантазирующими экономистами и выдаются ими за идеал будущего (стр. 17). Зачем все это наговорено в одной из начальных глав («Элементы общества»)? Ну, что бы, кажется, подождать еще немного, до 94 страницы, с которой начинается громовая глава об «экономическом быте»? Так нет же, не терпится. А в результате внутренняя путаница, производимая неясностью основных мыслей, усложняется путаницей внешней, вносимой невозможным техническим построением всей книги. Вторая часть посвящена вопросу о влиянии природы на людей. Здесь г. Чичерин ведет себя сравнительно спокойнее: не воевать же разом и с природой и с людьми. Но за то в этой части особенно ярко обнаруживается компилятивный характер всего труда: ни одной оригинальной мысли, ни одного своего собственного примера, в подтверждение общепризнанных и старых мнений о влиянии географических условий на общественный быт и строй. Разве вот новость: «В России... земледелец почти половину года принужден оставаться в относительном бездействии, а это естественно развивает лень». Вообразим себе, что явится человек, желающий отбить у г. Чичерина социологические лавры, и сообщит нам: «В России земледелец почти половину (летнюю) года принужден находиться в чрезмерно-напряженной работе, а это естественно развивает прилежание». Спрашивается, кого же возвеличить похвалами: этого моего предполагаемого мыслителя или г. Чичерина?

Согласно своему обещанию, я не буду останавливаться на томительно скучных и никому и ни для чего ненужных главах этой части о народонаселении. «Народонаселением называется народ, заселяющий страну»,— берет на себя смелость утверждать г. Чичерин (стр. 57). И дальше буквально все в таком же духе: «Количество смертей может зависеть от чисто внешних

обстоятельств: от войн, голода, эпидемии и т. п.». «Тесное народонаселение имеет свои весьма крупные невыгоды. Средства пропитания, которые доставляет страна, могут быть недостаточны, и тогда образуется пролетариат, со всеми сопровождающими его бедствиями». «Чем выше нравственный уровень поколения, тем более родители чувствуют свои обязанности относительно производимых на свет детей» [1]. В этой же части г. Чичерин протестует против расторжения браков (стр. 83) и говорит, что в Риме высшая похвала для матроны заключалась в том, что она сидела дома и пряла шерсть [2]. Нестройная, хаотическая масса сваленных в одну кучу фактов, масса неподчиненная и неподчиняемая никакой систематизации — вот главная характерная черта этой части сочинения г. Чичерина.

Я сказал, что тон этого отдела сравнительно спокоен; утверждения, на которые отваживается здесь автор, очень стары и очень уважаемы и слишком очевидны. Говоря, например, что народонаселением называется народ, заселяющий страну, автор, конечно, не может себе представить, чтобы нашелся человек, в здравом уме, который бы стал протестовать против этой невинной фразы. Нет воображаемого врага, нет поэтому и психологического источника раздражения в пишущем.

III

Третья часть вся посвящена «экономическому быту». Кардинальная мысль, выдвигаемая здесь г. Чичериным, такова: новейшие представители экономической науки в Германии стремятся к смешению областей экономической науки и этики. Они, изучая экономические факты, хотят, чтобы эти факты определялись с этической точки зрения и считались нравственными или безнравственными. А г. Чичерин не хочет. Г. Чичерин говорит: «Нравственная политическая экономия столь же мало имеет смысла, как и политическая экономия религиозная или эстетическая». Что это, умышленная или неумышленная перефразировка? Когда и какой «новейший экономист» говорил, что *наука* политической экономии должна быть нравственной? Говорилось, что направление экономической действительности, вытекающее из знания и понимания законов экономики, не должно противоречить здоровому нравственному чувству людей. В этой главе г. Чичерин слишком страстен и слишком волнуется, чтобы можно было с ним спорить на той почве, на которую он перенес центр тяжести вопроса. Он, например, говорит: «Утописты... хотят сделать людей вовсе не такими, какими они созданы богом». Эта сердитая и темная фраза не допускает ведь ни малейшей контраргументации. Что из того, что очень многие сторонники новых экономических идеалов — глубоко набожные

люди, думающие, что они осуществлением этих идеалов вовсе не изменяют человека к худшему, а, напротив, сделают его более похожим на образ и подобие божие, чем теперь. Что из того, что христианские социалисты — не меньшие, надо полагать, христиане, чем г. Чичерин — домогаются à peu près установления христианской нравственности в экономических отношениях, той нравственности, против которой с юношеским пылом восстает г. Чичерин. И как же опять все это старо, неоригинально и бесцветно... Даже горячее негодование на «новейших экономистов» не согревает этих выцветших, неинтересных, ничего не доказывающих фраз. Что же сказать об этой части? Дальше все то же: те же порывы страстной полемики, которая известна читателю наперед, как свои пять пальцев, и которая поэтому даже и страстной не кажется; то же противопоставление своей «научности» утопизму противников, своего мира «с природой» — вражде с нею «новейших экономистов». Задорный тон г. Чичерина становится не только скучным, но и прямо потешным, когда он говорит, что Маркс идет от нелепости и приходит к нелепости, что в основании его учения лежит «чистейшая бессмыслица». Что за ухватки, что за киргиз-кайсацкое обращение с признанным всеми представителем европейской науки! Прибавлю еще вот что: г. Чичерин, увлекшись борьбой с недругами, очевидно, забыл, что пишет книгу по социологии, в которой полемика с отдельными экономическими школами ненужна и неуместна. Зачем все это здесь? Разве так распределяют общественно-научный материал истинные социологи? Разве *этим* они интересуются в политико-экономических частях своих работ? Никакого представления о том, как г. Чичерин смотрит на влияние экономического фактора в жизни общества, никакого понятия об отношении законов экономики к другим скрытым и явным социальным силам не выносишь из чтения этой сердитой, скучной и ненужной части книги г. Чичерина.

IV

Г. Чичерин метафизик. Это мы знаем как из прежних его писаний (см. Положительная философия и единство в науке, основания логики и метафизики), так и из первых глав настоящего труда. Для экономии места я не выделял до сих пор всюду разбросанных черточек смутного метафизического символа веры нашего автора, тем более что теперь мы имеем случай коснуться этого предмета, потому что подошли к двум последним частям его труда («Духовные интересы» и «Историческое развитие»). Надо отдать справедливость г. Чичерину: сюда уже он не приплетает никакой полемики с фантазерами, утопистами и новейшими экономистами, подобно тому, как он это делал в пер-

вых главах своей работы; в отделе об экономическом быте он облегчил свою душу расправой с социалистами, dixit et animam levavit и в дальнейших частях своей работы уже не говорит о социализме, повинуясь, конечно, тому благородному чувству, которое запрещает победителю глумиться над трупом поверженного врага. Эти последние части гораздо интереснее всех других. Тем не менее, и здесь, как мы увидим, широта взглядов и обоснованность принципов не таковы, чтобы их можно было пожелать человеку, озаглавившему свой труд: «Наука об обществе, или Социология»; и здесь много азбучностей приравнено к открытию Америки, но зато нет той подавляющей бесжизненности, того серого фона, той назойливой брани, как в только что разобранных главах.

Г. Чичерин — метафизик-пиэтист; этим определяются и его взгляды на явления жизни духа и на всемирную историю. Пиэтизм — чувство, а спорить с чувством и аргументировать против него — предприятие донкихотское. Можно только робко вопросить: зачем излагать в ученом трактате по социологии так страшно пространно все, что только взбредет в голову, под влиянием чувства? Шопенгауэр говорит, что наше чувство — капризный ребенок, а наш ум заботливая нянька, старающаяся всячески ублажать капризного ребенка сказками и песенками, причем сказки и песенки ума получают всегда такое содержание, какое угодно капризному ребенку — чувству. Эта параллель великого пессимиста вполне применима и в данном случае: глаза г. Чичерина видят то, что он хочет видеть, история является к его услугам, когда ему этого угодно, и все идет как по маслу. Г. Чичерин с большой последовательностью доказывает (или думает, что доказывает) верность своей основной idée-force и фактами всемирной истории, и наблюдениями над текущей жизнью, и главным образом априористическими положениями. Но, замечательное дело: когда вы читаете Ламеннэ или блаженного Августина, вы вчуже чувствуете, что эти люди действительно любят то, за что они стоят, и верят в то, что любят. А г. Чичерин... Конечно, я не имею никакого права сомневаться в его искренности; но, когда я читал его последние главы, мне вдруг пришли на память слова, сказанные когда-то об англичанах: «холодное суеверие». Пусть г. Чичерин не посетует на меня за эту невольную ассоциацию мыслей.

Наш автор силится доказать, что метафизика — наука, наука отвлеченная, подобная математике. То, что логически необходимо, необходимо и в действительности. Г. Чичерин чувствует, что метафизика сама по себе слишком скомпрометирована в умах его легкомысленных читателей, а потому желает как-нибудь приискать ей солидную компаньонку, с которой не стыдно было бы показать ее добрым людям. И компаньонка найдена:

«Кроме метафизики, есть другая наука, которая, исходя от чисто умозрительных начал и действуя путем отвлеченно-логических выводов, *приходит к совершенно точному и достоверному* знанию. Эта наука есть математика». Дальше г. Чичерин с победоносным видом фокусника, успевшего-таки провести и в трудный момент доверчивых зрителей, вытаскивает из бокового кармана следующий поразительный аргумент в доказательство метафизичности математики и возможности одним разом постигнуть вселенную: «Математик, сидя в своем кабинете, целые годы делает отвлеченные выкладки и по окончании их утверждает, что в такую-то минуту, на таком-то месте на небе должна находиться никому неизвестная планета, и когда на это место наводится подзорная труба, то действительно эта планета там обретается».

Слабо, то есть так слабо, что я даже не знаю, как г. Чичерин сказал то, что он сказал. Разве математик, когда начинал свои вычисления, не знал целой массы физических и астрономических законов? Разве не знал он карты звездного неба, разве не имел подробных сведений о других планетах нашей системы? И это метафизика? Это вы называете действовать силою *одного* разума? Нет, вот вы посадите какого-нибудь математика, не имеющего понятия об астрономии и небесной механике, да попросите его выдумать силой своего разума новую планету. А потом наведите трубу на то место, куда он после своих вычислений укажет,— и если там действительно окажется планета, тогда я признаю метафизику сестрой математики, и вас замечательным мыслителем.

V

Пора, однако, окончить, потому что если приняться доказывать несостоятельность философских воззрений г. Чичерина на судьбы мира и людей, их необоснованность и вопиющую произвольность, тогда можно исписать десятки печатных листов и то не исчерпать всех pensées vagabondes, которые в таком изобилии украшают произведение г. Чичерина.

Подведем итоги.

1. Автор не дал никакой новой социологической системы и даже не изложил толком ни одной старой, а потому не имел никакого права называть свою книгу «Наукой об обществе, или Социологией». Отдельные части его труда ничем между собой не связаны. Он трактует об основных элементах общества и ни слова не говорит о генезисе общества, об эволюции его дифференцированных групп; говорит о природе и ее влиянии на людей и не упоминает ни единым словом о тех богатейших данных, которые имеются на этот счет в целой массе изданных ме-

муаров и описаний, касающихся жизни диких племен Океании, Африки и в особенности южной островной Азии; говорит об экономическом быте и не касается совершенно вопроса об относительной важности экономики, как социологического фактора; говорит о духовных интересах (какое туманное, ненаучное обозначение!) и считает возможным для себя совершенно игнорировать рост рационализма, пуританской идеи, бесчисленной массы других научных, метафизических и мистических понятий, ограничивая свой кругозор только лишь мировыми, утвердившимися религиями. Итак, повторяю, социологии в точном смысле здесь не ищите: ее нет и следа, нет и намека на нее; ее здесь нет так же, как нет ее, например, в сочинении о сельском хозяйстве или в трактате по химии.

2. Автор, написав ровно 432 страницы, не нашел местечка, чтобы хоть полусловом помянуть тех лиц, которых он в качестве социолога должен был считать своими предшественниками. Неужели взгляды Конта, Спенсера, Лестера Уорда, их многочисленных последователей и противников и продолжателей, неужели взгляды этих лиц, тоже что-то такое писавших о социологии, не заслуживают ни малейшего внимания в книге, называющейся «Наукой об обществе, или Социологией»? И не только нет ничего об их системах, но, поверите ли, читатель, *ни единого раза не упоминается даже имя* которого-либо из этих мыслителей. Мы с г. Чичериным и без них хороши.

3. Не будучи стройно связанными составными частями одного целого, не имея порознь ни малейшего касательства ни друг к другу, ни к социологии, отдельные главы сочинения не представляют никакого значения и интереса, даже взятые сами по себе. Некоторые из этих глав наполнены неприятной и грубой бранью против антипатичных автору учений, а некоторые так бессодержательны, что решительно нельзя понять, зачем они написаны.

4. Одна черта странного сходства есть у г. Чичерина с американским социологом [3]: г. Чичерин, по-видимому, того мнения, что общественная наука может указать просвет в темном социальном будущем. По крайней мере явно мысль эта просвечивает в двух последних частях его работы. Он тоже не прочь predict in order to control, но только другие у него общественные идеалы, другие мерила добра и зла... Наш автор как будто хочет справедливости в свете, но, принадлежа по натуре к людям самодовольным и неувлекающимся, он пошел по той дороге, которую обозначил еще несчастный Паскаль, сказав о подобных умах: «...ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce que est fort fût juste».

Новое слово, 1896, № 8, отд. II, стр. 23—31.

СЕАЙЛЬ Г. ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ КАК ХУДОЖНИК И УЧЕНЫЙ (1452—1519).

Опыт психологической биографии. Пер. с французского. СПб., изд. Л. Ф. Пантелеева, 1898. 336 стр.

О Леонардо да Винчи писались и будут писаться монографии, статьи, этюды — десятками, и все-таки его колоссальная фигура остается и, вероятно, долго останется окутанной каким-то туманом, не вполне отчетливой и ясной. Строгонаучное историческое исследование может определить значение и силу Леонардо да Винчи как художника-живописца, затем как художника-ваятеля, как гениального инженера-новатора, наконец, как теоретика-философа,— но живой концепции этой личности такая работа не даст ни за что. Да и вопрос еще, позволительно ли требовать подобной непосильной задачи от скромного научного труда, имеющего дело с памятниками деятельности великого человека, т. е. с холстами, мраморами, исписанными пожелтевшими страничками,— и только. И в холстах целый космос мыслей и чувств, и в мраморах хаос причудливых фантазий, и в пергаменте — широкий размах творческого ума... Чтобы оживить перед собой это титаническое до загадочности явление, требуется нечто большее, чем трезвая и сухая аналитическая мысль,— нужно воображение, способное представить вместо отвлеченного и непонятного образа медузы с несколькими гениальными головами — живого человека en chair et os,— нужна поэтическая интуиция, которая в универсальном гении разглядит итальянца времен Ренессанса. Историк же принужден по необходимости иметь дело с несколькими Леонардо да Винчи и каждого из них рассматривать отдельно, и хорошо уже, если он и с этим справится удовлетворительно. Габриель Сеайль понял свою задачу именно так. Первая часть книги посвящена изложению биографии Леонардо, вторая — научным теориям и третья — его художественной деятельности и применению к ней новых научных методов, выработанных самим художником. «Психологической» биография названа потому, что автор, анализируя творения Леонардо, старается в каждом из них открыть настроение и руководящую мысль художника; он делает это в большинстве случаев очень оригинально и живо и прихо-

дит (в каждом отдельном случае) к интересным и положительно новым результатам. Он смотрит на героя своего этюда глазами Вазари, кроме, конечно, отзыва о божественности. «Мы видим,— говорит этот современник Леонардо,— что, благодаря божественному влиянию, величайшие дары изобильно сыплются на людей,— чаще всего естественным образом, но иногда и сверхъестественным путем. Случается, что в одном человеке соединяются красота, грация и талант, и в такой сильной степени, что в какую бы сторону ни направлялась деятельность такого человека,— она во всем по своей божественности превосходит других людей, и всем становится ясно, что такой человек действует не силою человеческого искусства, а даром божиим. Именно так и смотрели люди на Леонардо да Винчи. Не говоря уже о красоте его тела, которая была выше всякой похвалы, в каждом его действии была бесконечная прелесть; он обладал таким талантом, что легко одолевал всякие встречавшиеся ему затруднения. Его громадная физическая сила соединялась с ловкостью; ум и смелость его всегда отличались каким-то царственным и великодушным характером, а обаяние его имени было так велико, что он был знаменит не только при жизни, но после своей смерти еще более прославился. Поистине дивным и божественным был Леонардо, сын Пьера да Винчи». Прочитавший труд Сеайля не скажет, что биограф XIX в. расходится с писателем XVI, но из этого вовсе не следует, что Сеайль болен той болезнью, которую Маколей называл furor biographicus и которая состоит в непомерном восхвалении героя автором его жизнеописания; да и по самому существу дела при характеристике Леонардо простое констатирование фактов сбивается на панегирик.

Один из последовательнейших учеников Тэна, Сеайль, подчеркивает в начале труда обстоятельства, окружавшие появление на свет великого человека. Леонардо был незаконным сыном нотариуса и крестьянки. «Я чувствую какой-то восторг(?),— восклицает биограф,— при мысли, что изящнейший живописец родился от дюжего нотариуса и дочери гор. Жизнь, зачатая в минуты страстного восторга, становится гением Леонардо». Детские годы он провел в доме отца. Уже в это время проявилась разносторонность его натуры: на его вопросы учитель математики не знал, что отвечать; играл он превосходно на нескольких струнных инструментах, импровизировал стихи и даже музыку и с особенной страстностью лепил и рисовал. Он беспрестанно бросал одно занятие и переходил к другому; по мнению Сеайля, в этом сказывался свободный полет гения, а не та неустойчивость, которая свойственна в молодые годы самым ординарным людям. Лет с двадцати пяти он весь отдался живописи. Бесподобно хорошо (это, может быть, одна из лучших де-

финиций Леонардо как художника) Сеайль говорит о характере его изобразительного творчества: «Сложность творений природы не пугала Леонардо. Он хочет выражаться, как она, говорить ее языком с точностью, воспроизводящей все ее элементы. Но эта точность служит для него только средством. Он говорит языком природы только для того, чтобы передать свою собственную мысль... Его внимание направляется на разные предметы, но не разбрасывается; он концентрирует впечатление, не упуская никаких деталей. В эту эпоху (25 лет от роду — *Е. Т.*), он является уже тем, чем будет впоследствии: несравненным реалистом, который устремляет свой проницательный взгляд на предметы и находит идеальные формы без всяких усилий, непринужденно, *как бы продолжая действительность* (курсив Е. Т.), сближая свои произведения с созданиями природы». Самый необузданный полет фантазии и всюду какое-то неожиданное правдоподобие — вот две черты, крайне редко встречающиеся в соединении. Любопытный образчик этого странного синтеза дает нам история со щитом (рассказанная, собственно, Вазари, но повторенная Сеайлем).

Один крестьянин вырезал из фигового дерева щит и принес его к отцу Леонардо, прося, чтобы тот заказал в городе сделать на нем некоторые эмблемы. Пьеро да Винчи поручил это дело своему сыну. У молодого человека явилась мысль нарисовать фигуру, которая соответственно назначению щита внушала бы ужас и отвращение. В комнате, куда входил только он один, он собрал ящериц, сверчков, змей, бабочек, кузнечиков, летучих мышей «и тому подобных странного вида животных; искусно скомбинировав разнообразные их формы, он создал поистине ужасное и страшное животное, дышащее ядом и огнем и окруженное огненной атмосферой». Некоторое время спустя, отец пришел посмотреть на его работу. Он заставил его подождать, осветил щит и внезапно отворил дверь. Когда отец его в ужасе отскочил, он сказал: «Возьмите щит, — именно такого эффекта я и добивался». Щит был впоследствии за большие деньги приобретен миланским герцогом. Эта реальность в фантастическом, стремление заставить жизненную правду служить прихотям своего воображения и делает композиции Леонардо такими глубоко занимательными даже для профана. Сеайль мог бы сопоставить в этом отношении с мастером кисти мастера слова: Эдгар По (другого мы назвать затрудняемся) в чудовищные создания своей больной души умел вкладывать такое же неизъяснимое правдоподобие. Действительно, изучать природу и дополнять ее миром человека всегда было коренной идеей Леонардо да Винчи.

Очень живо описано пребывание Леонардо при дворе миланского правителя Людовика Мора. Здесь он стал кумиром обще-

ства. Добрейшая душа этого человека делала приятным и радостным пребывание в его обществе; как собеседник, как импровизатор аллегорий, мадригалов, каламбуров он был незаменим и неистощим. Сеайль (правда, довольно гипотетично) объясняет совсем особую, ему только присущую прелесть: «Фантазия миланских знатных дам разыгрывалась тем сильнее, что ко всем его очарованиям присоединялась еще какая-то таинственность. Из-за блестящего кавалера выступал не только величайший художник Италии, но чувствовался еще кто-то совершенно неизвестный, ученый, мыслитель, взоры которого были обращены совсем к другому миру. Так как никто не мог видеть границ этого ума, то получалось впечатление чего-то бесконечного...» Предлагая свои услуги миланскому герцогу, Леонардо рекомендовал себя как изобретателя всевозможных военных орудий, до тех пор неизвестных. В самом деле он был и Эдиссоном, и Лессепсом эпохи Возрождения, так как помимо усовершенствования почти всех орудий наступательной и оборонительной войны он составил несколько проектов таких каналов, которые проведены лишь теперь и оказались выполнимыми вполне. Но не только этим пригодился художник герцогу: Людовик, заискивавший у императора Максимилиана, поручил Леонардо написать для императора картину «Рождество Христово». Это как будто напомнило Леонардо о важнейшей стороне его дарования. Едва успев окончить заказанную картину, Леонардо принимается за «Тайную вечерю». Как известно, подлинник уничтожен почти вполне, и об этом произведении можно судить лишь по копиям. Вот что говорит Леонардо о том, как он, начиная работу, представлял себе сцену: «Один, который пил, оставил свой стакан в том же положении и повернул голову к говорившему; другой протягивает пальцы обеих рук и с суровым лицом поворачивается к своему товарищу; третий, с протянутыми руками и высоко приподнятыми плечами, изумленно смотрит; этот что-то шепчет на ухо своему соседу, который, внимательно слушая его, поворачивается к нему, держа в одной руке нож, а в другой — полуразрезанный хлеб; тот поворачивается с ножом в руках и ставит стакан на стол; один, держа руки на столе, смотрит, другой дует на свою пищу. Еще один наклоняется, чтобы лучше рассмотреть говорившего и прикрывает глаза руками; другой отодвигается позади от наклонившегося и видит говорившего, стоящего между стеной и наклонившимся». Эти люди живут на картине, как они жили в голове Леонардо пред началом работы. *Кто видел* хотя бы луврскую копию, считающуюся далеко не лучшей, вполне согласится с Сеайлем, который главную прелесть картины видит в резко выраженной индивидуальности каждого из апостолов. Действительно, только «дыхания недостает этим людям», чтобы стать живыми существами. Иуда,

один из наиболее тяжелых и трагических образов всемирной истории, особенно много беспокоил и задерживал художника. Настоятель монастыря, где рисовалась «Тайная вечеря», видя, что все готово, что нет на картине только головы Иуды, а между тем Леонардо больше года не берет кисти в руки, пожаловался герцогу, что художник лентяйничает. Герцог призвал Леонардо — и вот какого рода разговор произошел между ними: «Разве монахи что-нибудь понимают в живописи?.. Верно, что нога моя давно уже не переступала порога их монастыря; но они неправы, говоря, что я не посвящаю этому произведению по крайней мере два часа в день».— «Каким это образом, если ты туда не ходишь?» — «Вашей светлости известно, что мне остается только нарисовать голову Иуды, этого всем известного, отменного мошенника. Но ему необходимо придать такую физиономию, которая соответствовала бы его злодейскому характеру. Ради этого я уже год,— а, может быть, даже более, ежедневно утром и вечером отправляюсь в Боргетто, где,— как вашей светлости хорошо известно,— живет всякая сволочь; но я не мог найти злодейского лица, соответствующего моему замыслу. *Лишь только такое лицо мне встретится, я в один день окончу картину* (курсив Е. Т.). Однако, если мои поиски останутся тщетными, я возьму черты лица настоятеля, приходившего к вашей светлости жаловаться на меня: его лицо вполне соответствует моей цели». Здесь опять-таки любопытно, что Леонардо и палестинского Иуду I в. ищет в конце XV в. в Боргетто и не хочет без этого кончить картину! Эти плодотворнейшие и счастливейшие годы жизни Леонардо описаны Сеайлем гораздо лучше, нежели печальный закат художника. «Батальные картины, создавшие не существовавшую до тех пор батальную живопись, портреты женщин, мелкие эскизы, следовали друг за другом. От живописи он отрывается, чтобы работать над удивительной моделью конной статуи; от конной статуи обращается к светским удовольствиям: к устройству фейерверков, таких причудливых и гигантских, что о них говорит потом вся Европа; от фейерверков — к своим заметкам», к тем записям в памятных книжках, которые, положительно, одни дали бы ему право на бессмертие, если бы он ни одного мазка кистью в своей жизни не сделал. Эти записи становятся все чаще к концу жизни Леонардо; если бы Сеайль оттенил этот факт, он, может быть, отвел бы более важное значение конечному периоду жизни своего героя. Жизнь на чужбине, у французского короля, приближающаяся дряхлость, дрязги из-за тяжебных дел с родственниками — все это, действительно, отравляло жизнь Леонардо в последние годы, но не омрачало его великого ума. В краткой заметке не приходится говорить о значении записей Леонардо для истории европейской мысли; интересующихся этим вопросом (а им, по

правде, стоит заинтересоваться) отсылаем к очень краткому, но и очень толковому отчету о теориях Леонардо, имеющемуся в книге Сеайля. (Еще лучше и гораздо полнее эта тема обработана в книге Гроте. Leonardo da Vinci als Ingenieur und Philosoph и в статье И. Л., помещенной в журнале «Знание», 1876 г.). Здесь удовольствуемся только тем, что приведем некоторые наиболее важные и новые мысли Леонардо. Что Леонардо не схоластик — это не удивительно для человека эпохи гуманизма, но что он не гуманист — это делает его одиноким среди современников. В самом деле, за 100 лет до Бэкона, он восстает против «суеверного поклонения древним». «Кто спорит, ссылаясь на авторитет древних, тот пускает в ход свою память, а не разум (ingegno). Науки порождены хорошими природными дарованиями, а причину следует больше хвалить, чем следствия; поэтому я больше ценю человека без образования, но с хорошими способностями, чем большого ученого, но без природных дарований». «Признавать авторитет, это значит сделать из себя призрак, тень, следующую за действительным телом...»

Никого он не выносит менее, нежели компиляторов классических писателей. «Если сопоставить изобретателей, этих посредников между человеком и природой, с этими бахвалами, тщеславящимися чужими творениями, то между ними будет такое же отношение, как между предметом, стоящим пред зеркалом и образом, отражающимся в зеркале. Предмет имеет сам по себе некоторое значение, а образ — никакого».

Но где же источник знания? опять-таки великий предшественник Бэкона отвечает: «Многие думают, что могут разумно порицать меня, ссылаясь на то, что мои доказательства идут против авторитета некоторых людей, к которым они относятся с великим подобострастием, принимая на веру их мнения; они совсем не принимают во внимание, что мои идеи выведены из *чистого и простого опыта, этого истинного наставника*» (курсив Е. Т.). Но одного опыта мало. Он нужен, чтобы добыть истину, а чтобы проверить ее, *нужна дедукция*. «Никакое человеческое исследование не может считаться истинной наукой, пока оно не проверено математическим путем». Наука всемогуща, говорит Леонардо. Пусть практический деятель бережется от одностороннего увлечения практикой и пусть не пренебрегает теорией: его практическая деятельность должна обосновываться на верной теории. «Кто увлекается (s'inamoran) практикой, пренебрегая теорией, походит на мореплавателя, который садится на корабль без руля и компаса: он никогда не знает, куда плывет. Практика всегда должна строиться на верной теории». Эти слова *впервые* раздались в Европе. Разумеется, над верой в ведовство, над многообразным оккультизмом своего времени Леонардо смеется беспощадным образом, но смеялся в то время уже не

он один: вспомним, что это была эпоха разгара деятельности Помпонацци. Но в чем он опять вполне оригинален — это в своем ignorabimus, сказанном за четыреста лет до Дюбуа-Реймонда: «Суди, читатель, можем ли мы довериться древним, которые хотели определить, что такое душа, что такое жизнь, т. е. вещи, совершенно недоступные поверке,— между тем, как вещи, могущие путем опыта во всякое время быть познаны и ясно доказаны, остались в течение стольких столетий неизвестными или ложно истолкованными». И именно по поводу материй, о которых никто ничего не может знать, люди больше всего и спорят, и кричат, и из-за них именно и дерутся. «...Всегда так случается, что там, где отсутствуют доказательства, на место их являются крики...» Сеайль приводит много аргументов в подтверждение того мнения, что Леонардо не был верующим человеком; эти страницы очень интересны, но мы их касаться не будем, так как здесь он вполне самостоятелен не был, а являлся просто сыном своей эпохи. Чтобы закончить нашу слишком уже разросшуюся заметку, приведем только некоторые моральные сентенции Леонардо. Добродетель — дочь истины, дочь знания. От прогресса и накопления знаний зависит подъем уровня нравственности. Это прямо фраза, точно взятая из Бокля. Вообще мысли Леонардо отдает предпочтение пред чувством; мысль есть источник всех чистых радостей человека, а чувство чаще всего приносит горе: «Где больше чувства, там больше муки». Какова же цель художественной деятельности, которой посвятил себя Леонардо? «Предметом живописи служит не подражание существующему, но и не изобретение любопытных, но бессмысленных форм; ее предмет — сама душа, жизнь с бесконечными оттенками, которые беспрерывно исходят от нее; ее предмет — эмоция, симпатия, любовь, приобщающие нас ко всему человеческому и обогащающие нас чувствами, которые мы разделяем». Художественная деятельность сближает людей и увеличивает их наслаждения, в этом — ее смысл, так как наслаждение — цель жизни. «Всякое бесполезное страдание ненавистно» Леонардо. Он ценит человеческую жизнь; к сожалению, и в этом для своей эпохи он был слишком оригинален! К коронованному ценителю своих произведений он обращается со следующими словами: «И ты, человек,— рассматривающий мои работы, как удивительное произведение природы, и считающий преступлением их уничтожение,— подумай только, насколько более преступно отнять у человека жизнь!» Кто не ценит по достоинству чужой жизни, тот не заслуживает своей.

На его поразительных открытиях в области физики и механики мы не будем останавливаться, так как о них надо говорить подробно или ничего не говорить. Укажем лишь, что Сеайль,

к сожалению, почти не приводит в тексте книги рисунков, которые бы иллюстрировали сделанное великим художником в этой области. Заметим при этом, что довольно затруднительно было бы спорить с Сеайлем, считающим Леонардо, а не Бэкона, не Декарта и не Галилея создателем новой науки: здесь очевидные факты говорят за подобную оценку.

«Гений Винчи представляет полное слияние науки и искусства»,— говорит его биограф в конце книги. Можно было бы прибавить к этому: сам Леонардо — силач, гнувший подковы, поразительный красавец, великий художник и ученый, олицетворенное незлобие и глубоко гуманная, сознательно гуманная натура — представляет собой удивительнейший образчик совмещения всех красот в одной личности. «Природа уже не даст таких»,— замечает старик Вазари, оканчивая жизнеописание. Пределы исторического предвидения в данном случае, по необходимости, сводятся к нулю, но за эти четыреста лет Вазари не был еще опровергнут.

Кончаем нашу рецензию самой положительной рекомендацией книги Сеайля вниманию читателей.

Начало, 1899, январь — февраль,
отд.: новые книги, стр. 233—239.

ГЮЙО М. ИСКУССТВО С СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. С портретом автора, исполненным фирмой Дюжардена в Париже. СПб., 1901. 464 стр. Цена 2 руб.

Важнейшие вещи Гюйо уже переведены почти все на русский язык («История и критика современных английских учений о нравственности», «Происхождение идеи о времени», «Задачи современной эстетики», «Наследственность и воспитание», «Стихи философа»). Трактат, заглавие которого выписано выше, был предпоследним в короткой грустно оборвавшейся жизни французского философа. В настоящее время, когда только немецкая философская мысль продолжает самостоятельную и энергичную работу, когда западные (да и восточные) соседи немцев слишком часто довольствуются готовыми каштанами, вытащенными Паульсеном, Авенариусом, Вундтом, Гюйо являет собой образец вдумчивого и глубокого, а главное, вполне оригинального мыслителя. Он далек от наивного материализма, но для него отрицание этого учения вовсе не составляет прелюдии к беззаветному обожествлению старых и новых метафизических философов или к столь же беззаветному, но гораздо менее невинному обкрадыванию современных немецких представителей критической философии.

Прежде всего Гюйо — настоящий философ, как понимает это Шопенгауэр: «Всякое хотение замирало в авторе «Мира, как воля и представление», когда он создавал свою систему (по собственному его признанию)». Для непредубежденного читателя Гюйо совершенно ясно, что и в нем «замирали» всякие личные страсти, стремления и тенденции, когда он писал свои книги.

Все созданное им — работа беспристрастного и сильного интеллекта, не смущаемая ни суетливым и беспокойным желанием заявить свое «первенство» в раскрытии истины, ни другими страстями и страстишками, часто так неприятно сказывающимися даже в самых почтенных научных трудах. Свежестью, искренностью, силой веет от каждой страницы Гюйо; в смысле эстетического удовольствия чтение этого философа есть сущий отдых для современного читателя.

Основные идеи трактата об искусстве таковы. Искусство вызывает общность чувств, «социальную симпатию». Вот слова Гюйо по этому поводу: «Искусство есть расширение идеи общества (посредством чувства) на все существа на земле и даже на существа превосходящие природу или, наконец, на существа, созданные людским воображением. Художественная эмоция, таким образом, непременно социальна. Результатом ее является расширение индивидуальной жизни, приобщая ее к более широкой мировой жизни. Внутренний закон искусства — создание эстетической эмоции социального характера». В написанной Фулье вступительной статье к этой книге автор говорит, что ощущения и чувства — прежде всего наиболее разъединяют людей между собой. «О вкусах и цветах не спорят, потому что их считают субъективными, и, однако же, есть средство некоторым образом социализировать их, сделать их в большинстве случаев тождественными для различных индивидуумов. Средство это — искусство. Из глубин несвязных и несходных индивидуальных ощущений и чувств искусство выделяет такую совокупность их, которые могут находить отзвук сразу у всех или у большинства и которые, таким образом, могут вызвать ассоциацию наслаждений».Из всех родов искусства — искусство реальное, по мнению Гюйо, едва ли не наиболее сильно в распространении «социальности», но реализм только тогда способен производить действительно сильные эмоции, когда успеет отделиться от того, что Гюйо называл «тривиализмом». Художник должен «найти поэзию в предметах, которые кажутся нам часто менее всего поэтичными по той простой причине, что эстетическое ощущение притупилось от привычки». Но самый реализм, рамки реалистического творчества Гюйо понимает чрезвычайно широко: «Для настоящего творческого гения действительная жизнь, среди которой он находится, есть только случайность среди всех форм возможной жизни, которую он охватывает в каком-то внутреннем видении. Точно так же, как для математика наш мир беден в смысле комбинаций линий и чисел, а размеры нашего пространства есть только частичное осуществление бесконечных возможностей, так для истинного поэта характер, который он охватывает в живом человеке, личность, которую он наблюдает, не есть цель, но средство отгадать бесчисленные комбинации, которые может представить природа. Гений занимается возможностями еще больше, чем действительностью; ему тесен реальный мир...» По мнению Гюйо, нельзя жаловаться на то, что гений стремится непрерывно превзойти действительность; идеализм, по его понятиям, есть не зло, а скорее условие существования гения: «Нужно только, чтобы задуманный идеал, если даже он не принадлежит к реальному, обыденно ощущаемому для нас, не выходил бы из серии возможностей, кото-

рые мы предвидим: все заключается в этом. Истинный гений узнается потому, что он достаточно широк, чтобы подняться выше реального, и достаточно логичен, чтобы никогда не блуждать в стороне от возможного».

Одна из характернейших черт художественного гения — сила воображения, а сам он есть не что иное, как «необыкновенно интенсивная форма симпатии к общественности, которая может удовлетвориться только создавая новый мир и мир живых существ». Понимаемое таким образом художественное творчество создает искусство, которое Гюйо называет «сгущением реальности»: «Часто мы наблюдаем больше действия и решительных мыслей в драме», которая длится несколько часов и развертывается в комнатке, имеющей 10 квадратных аршин, чем в целой человеческой жизни. Гюйо много останавливается на одной из любимых своих мыслей, что весьма часто произведения художественного творчества важны и значительны не тем, что они непосредственно говорят, не прямым смыслом своего содержания, но тем, о чем они вовсе не говорят, а что они *внушают*. Великие типы, созданные лучшими драматургами и романистами, говорит Гюйо, типы, которые можно было бы назвать высшими индивидуальностями в области искусства, являются одновременно глубоко реальными и, несмотря на это, символическими. Одно из разветвлений этой мысли находим в следующих словах (взятых нами уже из другой главы и сказанных в иной связи): «Прекрасное никогда не бывает абсолютно простым: оно есть сложность в соединении с простотою; оно всегда выражалось в нескольких определенных формулах, скрывающих в себе, в обыкновенных и глубоких терминах, очень разнообразные идеи и образы». Мы можем сопоставить с этими словами мнение русского критика о стихотворении Лермонтова («Ночевала тучка золотая» etc.), где расположение фраз, подлежащих, сказуемых и т. д. почти ничем не отличается от форм прозаической речи, слова и термины также совсем обыденны, и где, вместе с тем, глубина поэзии, сила вызываемой поэтической эмоции поистине удивительны. Вообще суждения Гюйо о природе художественного творчества отличаются замечательной для этой темной области отчетливостью. Он думает, что самая прочная основа поэтических созданий — воспоминание, т. е. воспоминание обо всем, что художник видел и перечувствовал, *прежде чем стал профессиональным художником*. Воспоминания об эмоциях юности всегда неизменны, всегда свежи, и, «только работая над этим не поддающимся порче материалом, художник создает свои лучшие, долговечные произведения». Наша литература, насчитывающая в числе своих шедевров «Детство, отрочество и юность», «Записки Багрова внука», «Пунин и Бабурин», отчасти подтверждает мысль Гюйо. «Отча-

сти»,— потому что художники, создавшие замечательные картины по своим детским и отроческим воспоминаниям, в огромном большинстве случаев создавали столь же долговечные творения и по впечатлениям позднейших лет.

По мысли Гюйо, истинный художник всегда понимает, насколько жизнь богаче, ярче, шире искусства, и поэтому всегда вкладывает в искусство как можно больше жизни. Рассматривая искусство со стороны его общественного значения, автор, как мы уже заметили, признает реализм наиболее социально-важным и значительным жанром художественного творчества. Но какая *форма* литературных явлений может быть названа по преимуществу социальной, социологически-важной? Гюйо склонен примкнуть к мнениям Бальзака и Золя, что роман есть социальная эпопея в полном смысле слова. «Роман заключает в себе всю сущность поэзии и драмы, психологии и социальной науки». Художественный роман, утверждает Гюйо, это приведенная в систему и сконцентрированная история, в которой участие человеческой воли ограничено строгой необходимостью... «В силу этого, роман есть упрощенное и более яркое изложение социологических законов». Входя в пространный (и чрезвычайно интересный) анализ европейского — преимущественно французского — романа, Гюйо говорит о натуралистических тенденциях много такого, что неминуемо должно было вывести из себя весьма преувеличивающего свои дарования нынешнего «патриарха натурализма». Гюйо останавливается на неудачности набивших уже всем оскомину параллелей между «экспериментальным романом» и наукой. Наука, говорит он, никогда не бывает бесстыдна, потому что она исследует все с бескорыстной целью... «Наши же современные натуралисты далеко не невежественны в этом отношении; они очень хорошо знают, чем оскорбить чувство стыдливости, и очень часто оскорбляли его умышленно, чтобы вызвать один из тех скандалов, которые создают также книгопродавческий успех». «Теперешний учитель натурализма,— продолжает Гюйо,— несомненно, стремится к скандалам... Необходимо отдать ему ту справедливость, что только в его романах, и нигде больше, наблюдается такое постоянство в изыскании и разработке скабрезных сюжетов». В виде действительно поучительного примера Гюйо приводит ту смешную, вследствие неправдоподобия, сцену из «Жерминаля», когда герой, тотчас после *семидневного погребения под обвалом и семидневного голода,* все-таки думает об удовлетворении полового инстинкта... Золя и его последователи, по словам Гюйо, «находят удовольствие» в изображении противоестественной любви и долго, больше, чем нужно для «научной точности», распространяются на эту тему. Недавно в «Revue des deux mondes» появилась статья о Горьком Мельхиора де

Вогюэ; автор, говоря о скользком сюжете рассказа «Васька Красный», ставит Горького и его сдержанность в пример своим соотечественникам, которые, как он думает, не преминули бы всячески разработать и украсить садистические мотивы рассказа. Горького Гюйо не знал, но, что несравненно печальнее, он, по-видимому, весьма неохотно обращался вообще к русской литературе: кроме двух случаев, он не говорит ни о Тургеневе, ни о Достоевском, ни о Толстом. Если бы критик такой силы, такого проникновенного взгляда оперировал бы над этими величайшими гениями реалистического романа, его книга обогатилась бы рядом самых ярких иллюстраций к тезисам и гипотезам, рассеянным в трактате. Три обширные (и наименее интересные) главы посвящены введению философских и социальных идей в поэзию; тема могла бы сделать эту часть работы одной из наиболее значительных, но, к сожалению, предмет трактуется в теснейшей связи с поэтическими произведениями Ламартина, Виньи, Альфреда де Мюссе, Виктора Гюго и его последователей... Блестки поэзии и страницы напыщенных, то сентиментальных, то барабанных виршей, к чему-то выписанных Гюйо в огромном количестве,— вот добрая половина содержания этих глав... Философ, радующийся в поэзии не столько искусству, сколько втиснутому, насильно пригнанному, вымученному изложению важных и глубоких идей (взятых часто, впрочем, поэтом напрокат из чужих произведений), берет верх над критиком. «Мы испытываем неожиданность, счастливую и приятную неожиданность, читая поэтов, одновременно мыслящих и чувствующих»,— чистосердечно признается Гюйо. Очевидно, благодарный за эти «неожиданные сюрпризы», философ заставил замолчать на время тонкого и строгого критика.

Последняя глава имеет для нас интерес современности: она посвящена литературе «декадентов и неуравновешенных». Гюйо полагает, что во французскую современную литературу вошли плотной гурьбой в качестве любимых героев невропаты и преступники. Характерной особенностью неуравновешенных невропатов Гюйо считает чувство болезненного состояния, смутного страдания в соединении с мучительными порывами. В их литературе болезненный анализ преобладает над действием. Кроме грусти, меланхолии, часто, по-видимому, беспричинной, им свойственно тщеславие, также болезненное, часто высокомернейшее и нетерпимое. Внешний признак этой черты «увлечение автобиографиями», «стремление записывать и увековечивать даже маловажные черты повседневной жизни, наблюдать себя и особенно свои страдания, возвеличивать себя в собственных глазах, стремление превращать малейшее действие (свое — *Е. Т.)* в сюжет эпопеи». Далее, неуравновешенные любят страшные образы; писатели из этой категории любят описывать сце-

ны преступлений и кровавых происшествий. Кроме всех этих черт, у них поражает то, что переводчик неудачно выразил термином: «одержимость словом». Не они владеют словом, а слово ими владеет, случайное сочетание звуков, запавшее в голову, не только вызывает ассоциации, но нередко прямо руководит и направляет мысль. С социальной стороны искусство «неуравновешенных», по мнению Гюйо, способно вызвать симпатию к их страданиям, но не к их характерам: они часто уходят в себя, не особенно склонны к общительности, они не умеют жалеть других. «Они боятся, что, начав жалеть других, перестанут жалеть себя; а, между тем, лучшее средство восстановить в себе равновесие,— это отдать часть себя другому. Излечением для неуравновешенных было бы то, если б они *научились жалеть* и прониклись бы продолжительной и активной жалостью». Разбирая Бодлера, Верлена, Габриеля Росетти, Гюйо иллюстрирует живыми примерами сказанное в первой части этой заключительной главы. Литература декадентов отличается, по мнению Гюйо, «преобладанием инстинктов, которые стремятся к разложению самого общества, и судить об этой литературе должно с точки зрения законов индивидуальной и коллективной жизни». Вывод его один — литература декадентов носит характер антиобщественный.

Мы рекомендуем читателю эту книгу; кроме отмеченных экскурсов в область французского стихотворства, она способна не только заинтересовать, но прямо увлечь наших современников, изголодавшихся в пустыне эстетических и всяких иных трюизмов и (что не лучше) вымученных оригинальничаний. Интересующийся социологией, эстетикой, критикой, историей культуры не пожалеет о времени, потраченном на чтение Гюйо, и поблагодарит переводчика, прекрасно справившегося со своей задачей.

Мир божий, 1902, № 2, отд. II, стр. 97—101.

ПЕТРУШЕВСКИЙ Д. ВОССТАНИЕ УОТА ТАЙЛЕРА. Очерки из истории разложения феодального строя в Англии. Часть II. М., 1901. 367 стр.

Первая часть исследования г. Петрушевского вышла в свет в 1897 г.; она была посвящена главным образом описанию самого события, анализу летописной традиции, характеристике и разъяснению инсуррекционных тенденций и планов. Лежащая теперь перед нами вторая часть работы посвящена исключительно социально-экономическим условиям, подготовившим восстание, его причинам отдаленным и ближайшим. Нельзя сравнивать научной ценности обеих частей, настолько вторая для современной историографии феодализма важнее и нужнее первой.

Разумеется, мы не хотим сказать, что описание внешних деталей события и вообще все содержание I тома уклоняется от научных методов, что оно грешит натяжками и т. п. Этого нет, но по самому сюжету своему эта часть работы могла быть посвящена лишь выяснению второстепенных внешних обстоятельств и критике источников, уже нашедших и раньше довольно разностороннюю и внимательную оценку. Мы склонны рассматривать весь первый том работы г. Петрушевского, как обширное введение ко второй части, несколько месяцев тому назад появившейся и представляющей действительно выдающийся интерес. Автор вполне самостоятельно изучил социальное состояние Англии, приведшей страну к бунту Уота Тайлера, и в своем «введении», а также в четвертой главе (об экономической эволюции и социальной борьбе во второй половине XIV в.) пришел действительно к своеобразным заключениям; первая, вторая и третья главы, необходимые для связанности изложения и обработанные (как и вся книга) совершенно самостоятельно, дали результаты, которые для изучавших эту эпоху не могли оказаться неожиданными. Выводы, которые извлекаются из книги г. Петрушевского, сводятся к следующему.

Бунт 1381 г., получивший по имени одного из вождей название возмущение Уота Тайлера, был подготовлен целым рядом фактов, вторгшихся в эволюцию английского хозяйственного

строя и, в известной мере, усиливших ее интенсивность. В первые времена английского феодализма, как он сложился после нормандского завоевания, между лордом, имевшим власть чисто политическую, над сельской общиной и самой этой общиной антагонизма не было, ибо хозяйственный быт того времени был такого свойства, что по удовлетворению нужд барской усадьбы дальнейшая эксплуатация общины была бесполезна лорду. Но к концу XIV столетия обстоятельства изменились. В поместье проникли денежно-хозяйственные тенденции, натуральные повинности заменились денежными податями, начались систематические захваты лордами общинных земель, и, в связи с этими явлениями, даже объясняя их, поместья коснулись сложные отношения рыночного спроса и предложения. Внешний мир вторгся в хозяйственную доселе замкнутую жизнь поместья,— и кризис начался. Появились уже довольно резко очерченные классы землевладельцев, арендаторов и рабочих, что автор совершенно верно считает признаками начала «народного хозяйства». Чрезвычайно живо описано развитие рабочего законодательства в XIV столетии, которое действительно составляет самый яркий и знаменательный аргумент в пользу существования многочисленного общественного класса, жившего исключительно трудами рук своих. Особенную остроту рабочему вопросу придало разразившееся над Англией в конце первой половины XIV столетия бедствие, известное под названием «черная смерть». Так называлась эпидемия чумы, опустошавшая Европу с 1347 г. и проникшая в Англию осенью 1348 г. Она унесла не меньше половины всего английского народонаселения и выдвинула перед хозяйственной жизнью страны самые серьезные проблемы. Недостаток рабочих рук был так велик и ощутителен, что огромная масса земель оставалась совсем невозделанной в течение ряда лет, следовавших за чумой. Плата за рабочие руки неимоверно повысилась, и английское правительство, желая смягчить ожесточенную борьбу между рабочими и работодателями, желая охранить социальный мир и спокойствие, издало ряд статутов, имевших целью урегулировать рабочую плату и избавить государство от острого хозяйственного кризиса. Эти статуты всей своей юридически-обязательной силой подрывали основы устаревшего феодального строя, ибо заставляли, как оттеняет автор, лорда поместья поступаться своими правами в отношении к вилланам и предоставляли полную возможность посторонним поместью людям вмешиваться в хозяйственную жизнь поместья путем найма рабочих из вилланов. Но классовые отношения развивались и усложнялись с каждым годом и разрушали не только этот старый средневековый хозяйственный уклад, но и узкие искусственные рамки рабочего законодательства. Правительство, видя неудачу всех своих мер,

убеждаясь, что и наниматели и рабочие нарушают все его статуты, прибегло к самым драконовским мероприятиям, чтобы наказать своих ослушников и превратить свои законы из мертвой буквы в нечто реальное. Но ничего не помогало. Автор подчеркивает (и это — один из самостоятельных его выводов), что правительство, прикрепляя рабочего человека к определенному месту, вовсе не думало этим всецело восстановить старые средневековые порядки: оно лишь стремилось «так направить деятельность нового хозяйственного механизма, чтобы он, оставаясь самим собой, в то же время давал такие же результаты, какие вполне обеспечивались прежней хозяйственной организацией». А одной из главных целей было сохранение в государстве порядка; другой — защита угрожаемых интересов фиска. После черной смерти было и такое течение среди лордов, недовольных новыми порядками, которое стремилось упрочить падавший и расползавшийся по всем швам натурально-хозяйственный режим. Раздражаемые, с одной стороны, этими феодалистическими поползновениями, с другой стороны, варварским поведением правительства в деле осуществления стеснительных рабочих статутов, вилланы не остановились и перед решительной борьбой со своими угнетателями. Восстание 1381 г., где инсургенты были побеждены, тем не менее, не имело (и не могло иметь) никаких роковых последствий для непрерывно развивавшегося нового экономического режима. Еще в первой части своей работы автор указывал на то, что крестьяне вполне сознательно требовали ликвидации старого строя, упразднения всех следов личной несвободы,— и эта основная тенденция, сказывающаяся в программе инсургентов, вполне соответствовала естественному разложению старого хозяйственного режима. Автору почему-то кажется, что этот процесс до черной смерти был бессознательным, стихийным, а лишь черная смерть создала условия, внесшие в него элемент сознательности. По нашему мнению, антагонизм интересов сеньоров и крестьян и до черной смерти сказывался вполне сознательно (автор признает «малое участие сознательности», но такие произведения, как стихи Ленгленда, несомненно, были подготовлены обширной устной литературой, бродившей в народе до их сознания и до черной смерти). Но в качестве выработанной социальной идеи, весьма точной в основных своих частях,— мысль о необходимости решительной борьбы с реакционными вожделениями лордов является на сцену действительно лишь во второй половине XIV столетия. Строго обоснованное на источниках исследование этого стихийного процесса превращения натурального хозяйства в денежное в связи с рабочим законодательством и социальными последствиями названного процесса и составляет, как сказано, содержание книги г. Петрушевского. Если она будет переведена на

английский язык (как была переведена близкая по теме работа г. Виноградова — «The villinage in England»), она, конечно, привлечет в Англии большее внимание, нежели у нас, ибо круг специалистов у нас слишком узок. Вероятно, для английского издания автор сочтет нужным расширить ту часть работы, где говорится о положении крестьянской аренды (с конца XIII в.). Эти страницы (197, 198, 199 и сл.) — одни из интереснейших, и они получат еще большую яркость, будут производить еще более определенные впечатления, если автор приложит к своей книге таблицы с подсчетом земель, упоминаемых в арендных сделках и в документах, касающихся дробления крестьянской собственности. Примеры, приводимые автором, весьма характерны, но лишь подсчет покажет воочию всю их типичность. Исчерпывающий подсчет слишком труден для сил одного исследователя, но, сделанный для нескольких местностей в разных графствах, он все равно будет достаточно убедителен.

Весьма важно с социологической стороны «введение», предшествующее рецензируемой второй части исследования. Оно является общим выводом относительно истории английского феодализма, насколько этот предмет разработан современной наукой. Введение имеет интерес и для неспециалистов, ибо дает такого рода обобщения, без которых вся английская история, весь ход ее — могут показаться непонятными и случайными. И Стэбс, и Виноградов, и автор настоящей работы, и другие исследователи способствовали выработке этих обобщений, но нельзя не признать весьма удачной самую мысль скомбинировать эти выводы и предпослать их своей работе. Г. Петрушевский в этом введении обнаружил, что ясно видит перед собой основные цели научной историографии, и более нежели оправдал выбор своей темы, если только этот выбор нуждался в оправдании. Эта работа по праву дает ему видное место среди медиевистов, посвятивших себя английскому средневековью.

Мир божий, 1902, № 5, отд. II, стр. 121—124.

РАЕВСКИЙ А. А. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАПОЛЕОНА III О ПЕЧАТИ. Томск, 1903. IV, VIII, 331 стр. Цена 2 руб. 50 коп.

Если бы проф. Раевский мог доказать, что тема, избранная им, действительно, нуждается в особой научной разработке, тогда вся его книга получила бы в глазах читателя серьезный интерес, которого так заслуживает вложенный в нее труд. Но мы погрешили бы пред истиной, если б сказали, что автор уже доказал это неопровержимо. Вот что говорит он в относящемся сюда месте: «одним словом, изучая законодательство Наполеона III о печати, мы ясно видим в нем такой же постепенный переход от автократического режима к более либеральному, как и в общем юридико-политическом строе второй империи... Проследить этот постепенный переход от вполне развитой административно-полицейской системы регламентации печати к более либеральному порядку, указать, от каких именно мер воздействия на печать должен был отказаться раньше всего законодатель при начавшемся разложении автократического строя второй империи,— все это представляется нам заслуживающим серьезного научного изучения». Сопоставление текста нескольких декретов, выпущенных в свет во Франции в течение 20 лет, по существу своему сводящееся к пересказу этого текста своими словами,— дело довольно для науки ненужное, особенно если оно уже раз шесть сделано французскими историками и публицистами в виде ли специальных работ или особых глав в монографиях по общей политической истории Франции. Каемся, мы не нашли в разбираемой книге ни единого нового факта, ни одного вывода, который давно уже не был бы трюизмом в историографии Второй империи. Это тем более обидно, что серьезный и добросовестный труд, вложенный г. Раевским в свою книгу, совершенно очевиден и несомненен. Но что же делать, если и материалы, т. е. первоисточники (текст декретов) использованы давным-давно до последней строки, и вся-то тема такого свойства, что она есть только привесок, аксессуар, подробность в сравнении с общим (тоже достаточно разработанным и описанным) сюжетом, т. е. в сравнении с политической историей Второй империи? Темы также habent sua fata: о рабочем вопросе, крестьянском землевладении, мобилизации земельной собствен-

ности, финансовой политике времен Реставрации, Луи-Филиппа, февральской республики, Второй империи — писать бы и писать, и все-таки даже после двух десятков работ понадобился бы, вероятно, еще третий десяток,— и это гнетуще нужно было бы для ясного понимания, для документального опознания подспудных социальных сил, придавших французской истории тот, а не другой характер, но об этом пишут мало и редко, чуть же дело коснется дипломатической истории или истории перемен политических и т. п.,— и не оберешься монографий, часто вполне самостоятельных по своему происхождению, но убийственно однообразных и повторяющих друг друга по существу, в своих выводах.

Быть может, работа г. Раевского отчасти любопытна вот по какому обстоятельству: выпущенная в «юбилейный» год русской прессы, она напоминает, с каких образцов списан русский закон о «свободе» печати (1865 г.). Любитель патриотических размышлений с понятным удовлетворением сообразит, что считавшееся во Франции реакционным — в России после сугубо-консервативной переработки, все-таки было приветствуемо многими чуть ли не как эра новой жизни: «так отразилась и тут — русская доблесть — смирение».

Вследствие своих размеров и сухости чисто юридически разработанной темы книга проф. Раевского едва ли проложит себе дорогу в широкий круг читателей. Но если этот труд попадет в руки неспециалистов, мы посоветуем им читать преимущественно те места, где описывается законодательная история излагаемых декретов. Там можно встретить иногда кое-какие интересные справки. Когда во время обсуждения одного реакционного законопроекта во время прений Одиллону Барро сказали: «...но ведь законы о печати никогда не спасали правительств», то он, не смущаясь, заявил: «Это быть может и так, но они, во всяком случае, давали им жить некоторое время». Таких поучительных фактов г. Раевским собрано не мало. Дикая реакция начала царствования Наполеона III, лукавство и лицемерие второй половины этой эпохи — все это отражалось на законодательстве, касающемся прессы, необыкновенно живо и полно. Характерны добровольцы, обращавшиеся время от времени к правительству Наполеона III с проектами вящего обуздания прессы. Вот, например, что предлагал один из них (Керверан): «...все совершеннолетние французские избиратели, а также совершеннолетние женщины и девицы получают право помещать в газетах и политических сборниках какие угодно статьи за своей личной ответственностью и за определенную плату (как платят, например, за помещаемые в газете объявления). Дабы успешно удовлетворять этому новому праву публики, все политические издания должны были печататься в одно-

образной форме, оставляя вторую и третью свои страницы в полное распоряжение публики». (На 4-й странице должны были печататься объявления, а на 1-й редакция имела право печатать что-нибудь и сама от себя). «С целью все того же обеспечения прав публики редакции газет должны были иметь особые корешковые регистры, прошнурованные и заштемпелеванные председателем соответствующего коммерческого суда. Корешок и отрывной листок этих регистров должны были заключать в себе указание дня и часа, в которые была представлена статья в редакцию, внесенной за нее платы, имени и адреса лица, ее представившего». Все статьи публики (кроме неблагонамеренных) *непременно* должны были печататься без отказа на отведенных для того 2-й и 3-й страницах. Таким образом, для крамольнических поползновений самой редакции оставалась лишь одна страница...

Да, всего 35 лет с небольшим тому назад во Франции подавались пресерьезно такие щедринские проекты, шипели на литературу из всех углов ядовитые и сильные гады. Но — ударил гром, прошел ливень — и безвозвратно унес гадов с их ядом и шипением. А литература осталась.

Вообще при большей краткости в изложении книга г. Раевского могла бы для читающей публики явиться недурным пособием для ознакомления с вопросом: какие именно фатально-неизбежные отношения всегда и всюду устанавливаются между прессой и правительством, вроде французского 50—60 гг. XIX столетия, и для кого именно — для прессы или ее врагов — эти отношения оказывались гибельными в конце концов.

Из внешних погрешностей изложения мы заметили лишь 4—5 неважных. Например Тролона автор называет «Троплонгом» [1], Фиески (покушавшегося на Луи-Филиппа) он называет «Фиеши», хотя в итальянской фамилии Fieschi согласные sch произносятся по итальянски, а не по немецки, кое-где (например, на стр. 69 в третьем примечании) совершенно неправильно понятие «подстрекательство путем печати» выражено словами «провокаторство путем печати» и т. п. В общем же изложение отличается точностью и литературностью, что лишний раз заставляет пожалеть о выборе темы.

Мир божий, 1903, № 10, отд. II, стр. 121—123.

ФЮСТЕЛЬ ДЕ КУЛАНЖ. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ ДРЕВНЕЙ ФРАНЦИИ.

Перевод *под редакцией* проф. И. М. Гревса. Т. II. Германское вторжение и конец империи. СПб., 1904. XVII, 717 стр.

Каждый том этого замечательного произведения представляет собой нечто цельное и вполне понятное, нечто дающее полную характеристику затрагиваемого периода. Конечно, кто хочет познакомиться обстоятельно с общей исторической концепцией Фюстель де Куланжа, как она выразилась в анализе фактов переходного времени от средних веков к новому времени, тот будет читать и изучать эту работу систематически, том за томом, но и каждая из отдельных частей совершенно самостоятельно обрисовывает известный период и представляет вполне самостоятельный интерес. Большую пользу принесет нашей учащейся молодежи (слишком часто не владеющей новыми языками) превосходный перевод «Истории общественного строя древней Франции», второй том которого лежит перед нами. Мы бы сказали, что ни Нибур, оперируя над римской историей, ни Роджерс, при анализе экономического быта старой Англии, ни безвременно отнятый у науки Роде, так тщательно и тонко разбиравшийся в фактах и домыслах о духовной жизни Греции,— никто из этих людей, давших столь могучие образчики строжайшей критики и искусного пользования историческими документами, никто из них, действовавших в столь различных областях, но так похожих друг на друга по *впечатлению,* которое производят их труды, независимо от природы излагаемых ими фактов, никто из них не может возбудить в читателе такого чувства удивления и преклонения перед строгой систематичностью истинно-научного ума, перед той сосредоточенной силой, с которой перед глазами читателя постепенно отметаются прочь всякие фантазии, необоснованные гипотезы, мнимые аксиомы и т. д. Любовь к науке, почтение к великому ее принципу — строгому и недоверчивому анализу внушаются каждой страницей каждой работы Фюстель де Куланжа; в этом отношении воспитательная роль его произведений совершенно непререкаема и несомненна.

Что касается, в частности, до истории французских учреждений, то эта задача, не доведенная Фюстель де Куланжем до конца, в той части, какую судьба позволила ему выполнить, является, конечно, лучшим трудом всей продуктивной жизни этого замечательного человека. Известна та запальчивая полемика, которая возникла между германскими учеными и оскорбившим их «патриотические» чувства французским автором. Мы склонны подобно многим думать, что в данном случае обе стороны преувеличивали и были неправы, что, по немецкому выражению, «die Wahrheit liegt nicht immer, aber *hier* in der Mitte», что принесенное германскими племенами сыграло, конечно, не решающую, но существенную роль в образовании социального уклада в романских землях в течение первой половины средневековья, но мы решительно отказываемся видеть какую-нибудь вину, какое-нибудь преувеличение, какой-нибудь пристрастный национальный задор там, где Фюстель де Куланж с фактами в руках доказывает, что целые поколения немецких ученых питались собственными домыслами и гипотезами, имевшими целью опоэтизировать родную старину. Например, как хороша в лежащем перед нами томе глава о характере источников для изучения древней Германии и как полезно почаще вспоминать основные принципы великого ученого: «Всякий, обладающий историческим чутьем, хорошо знает, как трудно схватить точно и верно социальную организацию какого-нибудь народа, даже тогда, когда под руками находятся многочисленные документы, как, например, при изучении прошлого греков и римлян... Когда изучаешь какое-нибудь общество, самыми драгоценными и самыми достоверными документами являются... те, которые составлены во время рассматриваемой эпохи, на языке изучаемого народа и проникнуты его духом. Что знали бы мы о египтянах, их учреждениях и верованиях, если бы у нас были в распоряжении одни греческие документы? Между тем у нас нет ни одного памятника древнегерманского происхождения». Мало того, и иностранных источников сохранилось ничтожнейшее количество; вот конечный вывод и подсчет: «Две страницы из Цезаря, две или три из Страбона и Плиния, десятка два из Тацита, несколько строк из Диона Кассия и Аммиана Марцеллина, одно сочинение Иордана — вот к чему сводятся источники наших сведений о социальном строе древней Германии». А между тем, как на грех для исторической науки, расцвет изучения средних веков совпал в Германии с продолжавшимся в течение всего девятнадцатого столетия сильным национальным движением, и историки испытывали сильное искушение приукрашивать и дополнять своими домыслами отрывочные и часто неясные показания источников. Сколько есть у немецких медиевистов самых живых описаний древних

народных сходок, полных изображений быта; размышлений о «могучем, свежем элементе», который влился в «разлагавшуюся римскую культуру» из тевтонских лесов и т. д. и т. д. В большой степени Гизебрехт и Дан, в гораздо меньшей Вайтц, но даже они не всегда свободны от желания модернизировать германскую старину. Даже они, а в недостатке добросовестности их упрекнуть мудрено. Любопытно, что не только историков и юристов коснулось (особенно в первой половине XIX в.) это увлечение и отразилось в виде стремления давать картину полного правового института иногда там, где, кроме обрывков и намеков, источники ничего не давали. Все это, конечно, прежде всего приходит в голову, когда читаешь у Фюстель де Куланжа: «Среди современных немецких ученых существует историческая школа, которая с особенною любовью трактует о древних германцах, как во Франции существует другая, увлекающаяся вопросом о древних галлах. О первых известно не больше, чем о вторых; но многие воображают, что патриотизм поможет осветить мрак, покрывающий далекую старину, и что под его действием удесятерятся скудные сведения, какие находятся в распоряжении науки». В смысле корректива к чужим увлечениям сочинение Фюстель де Куланжа незаменимо, так же как незаменим он в уже сказанном воспитательном отношении.

Но, спросит читатель, исчерпывает ли Фюстель де Куланж все вопросы о происхождении европейского феодального строя? К сожалению, нет, как и никто из его предшественников или преемников, как никто из его сторонников или противников. Потому мы говорим «к сожалению», что материал-то исчерпан им едва ли не весь до последней буквы. Экономика феодализма была, есть и остается доныне — во многих и многих чертах — не отчасти, а совершенно темной и загадочной, и в этом смысле наиболее безнадежно поставлены как раз века назревания феодального строя. Картина юридических и социальных отношений раскрывается все яснее и полнее, а подлинная первооснова его — по-прежнему в тумане: мы не знаем (и, верно, не узнаем) мало-мальски точно относительных размеров землевладения разных социальных групп в начале средних веков, мы никогда не установим, даже с самыми произвольными натяжками, примерных средних бюджетов отдельных общественных слоев, мы не вскроем, словом, главного фундамента отношений, социально-юридическая природа которых, в весьма важных своих чертах, определяется теперь все более и более. Даже *относительная распространенность* различных форм земельного держания в первые времена после вторжения варваров не может быть и приблизительно определена ни для одной провинции,— впрочем, и для конца средних веков и даже для XIV—XV вв. это можно сделать очень и очень гипотетически и совсем неточно —

и то, едва ли не для одной только Англии, которая в смысле сохранения документов, относящихся к экономическому прошлому, находится в *совершенно исключительных условиях*.

Но будем учиться у Фюстель де Куланжа говорить «не знаем» там, где воображение толкает нас на путь фантастических догадок, и будем довольствоваться точным выяснением тех сторон исторической жизни, которые такому выяснению поддаются. И если (хотя бы и не всесторонне) наука много может рассказать о феодальном строе, то этим многим она обязана именно таким строгим критикам, как Фюстель де Куланж.

Перевод (сверенный нами во многих местах) очень точен и, кроме того, очень литературен и читается легко. Маленькую стилистическую неловкость мы нашли на 300-ой странице. Там читаем: «Одним был Кассиодор, скорее ловкий делец, чем крупный ум, сумевший сделаться одним из первых сотрудников Теодериха Остготского и его преемника. Нам хотелось бы верить, что он составил свою книгу в чисто деловом направлении» и т. д. Тут слово «деловой», да еще после слова «делец», дает фразе не тот смысл, какой желателен автору.

Читатели перевода будут очень благодарны редактору и переводчице за их большой и так хорошо исполненный труд. Заметим кстати, что редактору принадлежит прекрасная статья о Фюстель де Куланже в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона. Статья эта указывает на то же чувство, какое обличается как предисловиями к обоим томам рецензируемого труда, так и самим исполнением перевода на искреннюю любовь к научной индивидуальности покойного французского историка.

Мир божий, 1905, № 2, отд. II, стр. 52—54.

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ В XIX ВЕКЕ.

Т. I. Происхождение современной Германии. Перевод с немецкого В. Базарова и И. Степанова. СПб., изд. С. Скирмунта, 1905. IV, 594 стр. Цена 2 руб.

Давно уже следовало иметь в переводе эту книгу популярного партийного историка, хорошо известного в Германии. Достоинства работы Блоса несомненны, недостатки же не таковы, чтобы могли сильно понизить значение ее. Ибо недостатки в книге Блоса (как и во всяком деле рук человеческих) все же имеются, и вольтерианцы не напрасно об этом говорят. Переводчики в своем предисловии, говоря о Блосе, об этих недостатках вовсе не упоминают, что и обязывает рецензента сказать об этом несколько слов раньше, нежели перейти к указанию на положительные стороны работы.

Основная точка зрения Блоса очень выдержана и вполне определенна: он приверженец материалистического истолкования истории (как, быть может, точнее всего определяется экономический материализм). Для пишущего эти строки совершенно несомненно, что из всех пока выставленных человеческим умом историко-философских теорий названная теория более всего реальна и доказательна и меньше, нежели другие, побуждает адептов заниматься словесными построениями и фантастическими измышлениями. Этой теории (в ее главном, в ее основных принципах) предстоит, вероятно, оказать исторической науке еще больше услуг, нежели те, которые ею уже оказаны, ибо, конечно, экономическая историография последних трех десятилетий в самой серьезной степени стимулирована быстрым распространением материалистической точки зрения. (Тут хронологически теория предшествовала применению ее к разработке фактического материала). Но именно людям, убежденным в могучей силе и великом будущем этого социологического взгляда, не может не казаться совершенно ненужным тот прием, который иногда пускается в ход популярной литературой: есть налицо политическое явление, значит, оно должно быть выведено из экономических отношений; эти отношения во всей их конкретности наукой еще не раскрыты, не выяснены с полной определенностью, значит, можно выдумать (в аксиоматической более или менее форме) соответственную фразу, и все

пойдет как по маслу. Этот прием и вреден, потому что фантазировать в науке значит лгать, и ненужен, потому что и априорные и эмпирически доказанные основы теорий слишком могучи, чтобы нуждаться в словесных карточных домиках, и унизителен, потому что показывает поверхностное не совсем убежденное отношение к своим собственным воззрениям. Экономическая историография только теперь стала шагать так быстро и успешно, но за тридцать лет не сделаешь всего, что нужно, и пустых мест (или вернее, нерасчищенных дебрей) в этой области знания еще очень и очень много. Вот почему, вероятно, и отмеченный прием является столь искусительным. Блос не совсем свободен также от этого недостатка. Когда он уверенно говорит о разных типах предпринимателей в домартовской Германии и о степени их классового самосознания и прочем, то это больше экзерциции на предустановленную тему, нежели передача реальных и известных фактов. Когда он пишет, что в 1849 г. «крестьяне по большей части *чувствовали* себя удовлетворенными», это также не опирается ни на какие определенные факты, ибо степень их «удовлетворенности» реформами 1848 г. не «учтена», а просто нужно написать эту фразу, чтобы потом написать другую фразу: «при огромном перевесе сельского населения, настроение деревни должно было тогда явиться решающим моментом для всего дальнейшего хода движения», и издали может показаться, что это не просто словесное сцепление, а в самом деле объяснение и вывод. А в 1527 г. крестьяне тоже чувствовали себя удовлетворенными? Ведь и тогда они уже перестали шевелиться почти вовсе!

К второстепенным недостаткам Блоса нужно отнести излишние стратегические подробности там, где речь идет о войнах, излишние анекдотические справки там, где речь идет о лицах. Вообще много у Блоса анекдотов, и вопреки основному своему воззрению он склонен распространяться о них так, как если бы они имели какое-либо значение. Ничтожное бурление мюнхенцев из-за ничтожной Лолы Монтес тоже зачем-то обстоятельно рассказано им, и он, возвращаясь к этому сюжету не однажды, говорит: «Баварцам, конечно, стоило бы огромных усилий добиться чего-нибудь от иезуитского управления... Но вот в Мюнхене появилась Лола Монтес, красивая и пикантная, но в тоже время легкомысленная и фривольная испанка, танцовщица». Между Лолой и министрами произошла борьба: «Король дал отставку ультрамонтанским министрам, правление иезуитов было низвергнуто и Лола смело утвердила свою прелестную ножку на его развалинах. То, чего не могли бы тогда добиться самые серьезные усилия либеральных „патриотов", танцовщица совершила шутя и, *таким образом*, преднамеренно или непреднамеренно *оказала серьезную услугу либерализму*». Вся эта

игривость с неожиданным концом уже сама по себе тут только затемняет дело, но в довершение курьеза, рассказывая (через несколько страниц) о победе иезуитов и бегстве Лолы из Мюнхена, наш автор забывает то, что он сказал, и видит уже в травле *против* Лолы, травле, поднятой бюргерами под влиянием иезуитов, также нечто вроде «серьезной услуги либерализму», по крайней мере называет эту «революцию» единственным сравнительно крупным проявлением политической жизни в Германии. Вот и разбирайтесь! Целых два исключающих друг друга взгляда и все по поводу «прелестной ножки», которой историческое значение, казалось бы, совсем не заслуживает внимания со стороны приверженца теории классовой борьбы!

Таких эпизодов в книге не один, не два и не три, но мы останавливаться на них уже не будем. Наконец, еще один недостаток (чисто) внешний: преувеличенно бойкий стиль, изобилие подмигивающих словечек, часто слишком развеселая манера писания,— à la longue утомительная.

Что касается достоинств книги, то их много и они очень существенны. Роль пролетариата и буржуазии в событиях 1848—1849 гг. выяснена отчетливо; борьба против абсолютизма рассказана необыкновенно ярко и драматично, с глубоким знанием дела; группировка партий, их перетасовка и видоизменения — все это пояснено так, что даже вполне несведущего читателя сразу может ввести в курс дела. Последовательный рост пароксизма трусости, овладевший буржуазией и погубивший все завоевания революции, изображен Блосом с беспощадной остротой анализа. Вообще классовая психология в ее крупных и мелких проявлениях замечательно очерчена в этой работе. Эта книга — и живая популяризация истории и целый арсенал материалов по патологии западноевропейского общества. Продуманные и удачные добавления к тексту Блоса, сделанные переводчиками, окончательно ставят точки над теми «i», над которыми они не были поставлены автором. Это — лучшая на русском языке книга по истории «безумного года» в Германии. Перевод, в общем, хорош. Попались нам, впрочем, и некоторые неточности.

На стр. 43, во фразе «поставленные лицом к лицу с великим переворотом» и т. д. оставлено без перевода имеющееся в подлиннике слово «Fortentwickelung», а слово «Allgemein» передано словом «великий». На стр. 58 характерный именно к Вене применявшийся термин «царства феакийского» (Phäakenthum) переведен почему-то словами «здешнему населению». На стр. 99 русского перевода читаем: «Австрийское правительство постаралось задушить ее (политическую жизнь — *Е. Т.*) при помощи суровых бюрократических мероприятий», тогда как в подлиннике говорится только «...ersuchte... niederzuhalten»; это придает

в переводе фразе неверный смысл (и фактически тоже вовсе неправильный). На стр. 152 сказано: «... подавляющее большинство этих господ с *полным разумением управляемых* (курсив Е. Т.) носило золотую цепь» и т. д., тогда как в подлиннике — иронические слова «mit vollem Unterthanenbewustsein», что точнее могло бы быть, например, переведено «с полным сознанием верноподданничества». На стр. 285 словом «ограниченность» переведено слово «Engherzigkeit», что меняет смысл фразы, ибо речь идет вовсе не об «ограниченности», а именно об узкосердечии, о классовом себялюбии, противополагаемом общественному идеализму: «в них не было и следа идеализма левой»,— так кончается фраза. На стр. 591 фраза подлинника: «der Kreislaut war vollendet» переведена, неизвестно почему, так: «великое народное движение улеглось», хотя ни одного слова перевода не имеется в подлиннике (и обратно). Там же, во фразе: «Союзный сейм, *этот оплот старого порядка* (курсив Е. Т.), восстановился во всем своем до мартовском величии и народ совершенно спокойно отнесся к его возрождению» прибавлены переводчиком отмеченные курсивом слова, но зато оставлено без перевода придаточное предложение: «den drei Jahre zuvor der Anprall der Revolution hinweggeschleudert hatte».

Мы заметили еще несколько недочетов, которые, однако, не могут заставить нас изменить общую высокую оценку качеств работы, исполненной переводчиками. Им приходилось считаться с весьма серьезными трудностями, представляемыми несколько затейливым, часто утрированно бойким и хлестким стилем Блоса. В подавляющем большинстве случаев они удачно расчленяли слишком сложные и длинные немецкие фразы, не отделяясь от текста. Основательное понимание духа и немецкого и русского языков обнаружено ими вполне. Извлечения из других сочинений, которые вставлены в тексте, помещены в нем весьма умело; вообще эти дополнения так ценны, что русскому читателю, даже знающему немецкий язык, мы бы посоветовали предпочесть русское издание: он при этом потерял бы лишь прекрасные иллюстрации, которым снабжен подлинник, и приложения, не имеющиеся в переводе (тексты конституции, некоторых законов, факсимиле письма, написанного Робертом Блюмом перед казнью, и т. д.). Но зато в добавлениях к русскому переводу читатель найдет многое, поясняющее и освещающее более ярко пеструю вереницу излагаемых фактов. Для лиц, желающих облегчить пытливому уму современного рабочего труд знакомства с историей, эта книга окажется полезной: они ее, наверно, захотят и излагать и рекомендовать для чтения своим слушателям.

Мир божий, 1905, № 3, *отд.* II, стр. 108—111.

ЗАГОСКИН Н. П. ИСТОРИЯ КАЗАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ЗА СТО ЛЕТ ЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. 1804—1904.

Т. 1—3. СПб., 1902—1903. Т. 1. XLV, 567 стр. Т. 2. XVIII, 697 стр. Т. 3. XV, 593 стр. Цена 15 руб.

Три монументальные тома, лежащие перед нами, составляют лишь начало предпринятого г. Загоскиным исследования и доводят историю Казанского университета лишь до первых лет Николая I, до 1827 г. Нельзя отказать составителю в умелом расположении огромного материала, в признании ясной для всякого упорной работы, которую ему пришлось совершить в университетских архивах. Конечно, такие монументальные издания не предназначаются для широкой публики и едва ли найдут себе туда доступ, но историк русского просвещения никогда не оставит без внимания и этой книги и аналогичных ей трудов по истории других наших университетов.

В интересном введении, предпосланном «Истории», находим несколько иллюстраций той мысли, что правительство, заводя университеты, преследовало свои исключительно утилитарные в самом узком смысле цели: подготовку будущих кадров образованной бюрократии. «...Университетский устав 1804 года, формулируя основную задачу университета, заявлял, что „в нем приуготовляется юношество для вступления в различные звания государственной службы“». Профессора точно также «представлялись в глазах правительства не свободными представителями свободной науки, но чиновниками», а проф. Загоскин приводит «обычные выражения доброго старого времени»: *«чиновник по философии», «чиновник по словесности», «чиновник по естественному праву»*. Прочли мы это и с невольной грустью подумали о том, насколько пали теперь такие качества сердца, как простодушие, искренность, откровенность и как в былые годы просто и ясно выговаривались бюрократией задушевные ее желания и воззрения! Впрочем, и то сказать,— взять бы хоть «чиновников по естественному праву»: совсем они теперь другие пошли.

Проф. Загоскин правильно отмечает, что история нашего высшего просвещения есть история борьбы с внешними условиями. «На долю отечественных университетов выпадала

трудная задача шаг за шагом отвоевывать себе почетное и подобающее им место среди других элементов русского общественного и государственного строя; неустанно бороться с тупым равнодушием или даже неприязненным к себе отношением и всячески популяризировать свое значение, наглядно выясняя обществу практические результаты, каковых вправе оно ожидать от университетской науки и от ее представителей. Не будучи продуктами свободного общественного самосознания и духовного развития, не имея за собой, подобно университетам западноевропейским, многовековых традиций, которые сделали бы их неотъемлемыми и нерушимыми элементами общего строя культурной жизни народов, русские университеты были лишены значения „очагов науки", деятельность которых произвольно затушена быть не может... Напротив, в истории русских университетов наблюдались моменты, в которые совершались святотатственные попытки не только загасить светоч русской университетской науки, но в которые на волоске висел самый вопрос о целесообразности ее дальнейшего существования».

Довольно безотрадные годы были пережиты Казанским университетом на заре его существования. Перед читателем длинной вереницей проходят начальники (вроде Яковкина), игравшие роль наушников и ябедников перед высшим начальством и тиранов относительно профессорской коллегии; профессора, которые в совете требовали производства дознаний касательно нравственности особы, ставшей женой их товарища; другие профессора, занимавшиеся чуть ли не исключительно донжуанством и т. д. и т. д. Нет-нет и проскользнут такие черточки, которые очень внушительно напоминают читателю, на каком общем фоне должна была развиваться высшая наука в то время... «Сего мая 11-го числа,— пишет в правление университета университетский экзекутор,— найдена мною в Тенишевском саду, позади колодца, на решетке удавившаяся г. ординарного профессора Арнгольдта жены его крепостная женщина Василиса Николаева, неизвестно мне отчего, о чем оному правлению на благорассмотрение честь имею донести». Начался допрос, причем обнаружилось, что и свидетели по делу ударились в бега и показали, что «они возвратиться к госпоже своей не могут, по причине опасности их от побоев». Дело, конечно, ничем неприятным для профессорской семьи не кончилось, труп же повесившейся женщины отправился в анатомический театр университета... В Казанской губернии наряду с крепостным правом существовало и рабовладельчество (относительно киргиз и калмыков), не стесненное уже решительно ничем, так что дети и взрослые, оптом и в розницу, открыто продавались на ярмарках. И тут гг. профессора вели себя вполне благонамеренно, т. е. не уклонялись от общепринятых обычаев: «Встречались случаи, в которых пред-

ставители университета *выступали рабовладельцами* уже в прямом и самом суровом значении этого слова, причем объектами таких рабовладельческих отношений являлись восточные инородцы...» Вообще чуть ли не большинство профессоров только и думало о своих материальных нуждах и о средствах к улучшению своего положения, ибо мизерное жалованье их не обеспечивало. Даже профессора медицинского факультета (в значительной степени иностранцы) горько сетовали на равнодушие русских людей к медицинской помощи, что лишало их доходов, ожидавшихся от практики. «Практикующему врачу,— пишет, например, проф. Браун,— составить себе здесь благосостояние не удастся... Русскому человеку, вообще говоря, редко требуется помощь врача. Чувствуя хворь,— он парится в бане, натирает себе спину тертым хреном или пьет настоенный медом огуречный рассол. При недостаточности этих средств — пьет водку, и тогда только решается послать за врачом, когда смертельный исход уже не может быть предотвращен». Масса отдельных замечаний и бытовых черточек, собранных составителем, рисуют ярко полную зависимость, приниженность, мелкое корыстолюбие многих и многих представителей университета. Они и взятками (более или менее замаскированными) не брезгали, и у начальства чуть ли не милостыню просили, и какие ни на есть «добывательные» курсы брались читать,— и все-таки очень многие были в относительно больших и безнадежных долгах. Губернское общество относилось к ним большей частью либо индифферентно, либо явно недружелюбно; непосредственно начальство (вроде директора Яковкина) играло по отношению к ним роль обер-шпионов, готовых предать их по малейшему поводу и окружному управлению и, если понадобится, общей полиции. Талантами и учеными заслугами они в общем не блистали. Лекции читались профессорами часто на латинском и немецком языках, ибо профессора-иностранцы о русском языке имели весьма слабое понятие. Студенты, ничего не смыслившие ни в немецком, ни особенно в латинском языке, на лекциях, конечно, присутствовали только по обязанности, а на практических занятиях, быть может, для курьеза, если только все такие занятия были вроде устраиваемых профессором Германом: Герман «в лицах изображал с своими слушателями античные мифологические группы, в которых сам он представлял Юпитера-Громовержца, а его студенты — трех граций».

Жизнь студентов была подчинена строгой регламентации и администрация вмешивалась самым деятельным и мелочным образом в распределение студенческого дня. Неутешительно было и их умственное и нравственное состояние; такое общее впечатление остается от описаний студенческих подвигов в Казани первой четверти XIX в. То студенты на улице останавливают

сани и бьют по щекам сидящих в санях барышень; то секут розгами товарища; то постоянно дерутся между собой; то крадут со взломом; то крадут без взлома; то секут крапивой маленькую дочь университетского служителя; то занимаются неестественными пороками и т. д. и т. д. Особенно же пьянствуют. Этот порок был развит, судя по всему, в гомерических размерах. «Зато», по-видимому политическая благонадежность царила архипримерная, что и делает удивительно поучительной картину наглого, бессмысленного разгрома Казанского университета, учиненного Магницким в 1819 и следующих годах. Эта история, подробнейшим образом изложенная проф. Загоскиным, читается нами, людьми, прикосновенными к университетскому преподаванию, поистине с захватывающим интересом, и, право, не только «исторический» этот наш интерес.

Наполеон был побежден, русский народ ценой неисчислимых жертв изгнал завоевателя, стал на некоторое время вершителем европейских судеб — и получил в награду Аракчеева, военные поселения, усугубленную свирепость мелкой и крупной опричнины. Бюрократия была в каком-то восторге реакции, если можно так выразиться. Она была тогда на самом деле сильна и стремилась себя показать. Мистицизм, к которому нагло «примазался» (выражение Панаева) и Магницкий, назначенный в 1819 г. ревизовать Казанский университет, давал всему этому разгулу произвола какой-то особенно отталкивающий, лицемерный, приторно-елейный колорит. По разным своим соображениям министр народного просвещения кн. Голицын вздумал, если возможно, Казанский университет совсем закрыть. В таких случаях посылались предварительные ревизии, причем ревизору давалось наперед понять, какой именно отчет он должен привезти в Петербург, чтобы получить орден. Ретивый и юркий карьерист, расторопный до неугомонности (в конце концов он этим испортил свою карьеру) Магницкий, получив подобный прозрачный намек в письме Голицына, пустился раскрывать не существовавшую в Казани крамолу. Магницкий был сыщик в душе, шпион по призванию, и в порученное ему трудное дело — найти то, чего не было — он действительно вложил недюжинные дарования. Тотчас по приезде в Казань, обзавелся он сотрудником из местных профессоров. «Профессор Никольский,— читаем мы на стр. 285 третьего тома труда проф. Загоскина, в рапорте Магницкого министру,— находился неотлучно при мне во время обозрения всех заведений, подведомственных университету; деятельность, кротость и бескорыстие суть отличительные достоинства сего профессора». Бескорыстные заслуги проф. Никольского были, впрочем, награждены через три месяца после начала ревизии орденом св. Владимира четвертой степени. Нашлись и помимо проф. Никольского овцы среди ка-

занских козлищ; так, например, профессор Городчанинов публично приветствовал Магницкого нижеследующим стихотворным обращением:

Питомец чистых муз, исполненный заслуг,
Любви к отечеству, усердия ко Трону,
От юности твоей равно ты музам друг,
Как собеседник ты Фемиде и закону.
Воззри и ободри беседою твоей,
Ты здесь для нас один из фебовых лучей!

Этот «фебов луч» довольно любопытно вышел из затруднения, из своей, казалось бы, неразрешимой задачи найти в студентах, отличавшихся в общем больше пьянственным образом жизни, крамольников, а в профессорах, читавших часто нечто вполне невразумительное, проповедников революции и безбожия. Например: студенты не знали ничего из закона божия не по «принципиальным» причинам, но просто по глубокому невежеству. Магницкий по сему поводу укоряет профессоров: «Разве забыли они, что почти вчера, недалеко от сего самого университета, пылали дома и храмы столицы нашей, зажженные пламенником, так называемого — просвещения? Разве забыли, что сей самый город недавно еще затеснен был несчастными жертвами безбожия образованнейшего народа?» и т. д. и т. д. В таком же духе производилась и дальнейшая «ревизия». Магницкий нашел в конспектах лекций «дух деизма», «общественный вред» и чуть ли не оправдание революции, нельзя сказать даже, что придираясь к словам, ибо и слов никаких не указал, мало-мальски подходящих к обвинениям, а так просто, взял да и выдумал, «творя волю пославшего». В заключительных же пунктах своего доклада он заявлял, что «Казанский университет... по непреложной справедливости и по всей строгости прав *подлежит уничтожению.* Уничтожение сие может быть двух родов: а) *в виде приостановления университета* и б) *в виде публичного его разрушения.* Я бы предпочел последнее...» И вот почему он «предпочел последнее»: поступок не столь отважный, без публичного обвинения университета, позволит «ожесточенным... ученым всей Европы» клеветать на русское правительство. А ежели все обвинения высказать публично, тогда «все честное и благомыслящее из современников и потомства будет на стороне правительства», а также этот акт «публичного разрушения» университета заставит все европейские правительства обратить «особое внимание на общую систему их учебного просвещения, которое, сбросив скромное покрывало философии — *стоит уже посреди Европы с подъятым кинжалом...»* Университета не закрыли, но девять профессоров были уволены от службы, целый ряд курсов уничтожен, введено преподавание «бого-

познания и христианского учения», и вскоре сам Магницкий был назначен попечителем казанского округа в знак благодарности за учиненную им победу над революционной гидрой.

Скорбное время наступило для университета. Магницкий открыто заявлял: «Я положил себе правилом *посвятить всю жизнь свою борьбе с лжеучением»*. Начав с генерального разгрома университета, Магницкий в течение всего времени своего командования казанским просвещением не переставал держать себя тем же опричником, обнаглевшим от сознания собственной силы и холопства окружающих, каким он прибыл в Казань. Одних профессоров выгонял вон, других назначал, совершенно ни с кем и ни с чем не считаясь. Так, выписал он из Петербурга не имевшего никаких прав и научных степеней учителя гимназии Сергеева и назначил его профессором «по кафедре прав». Вот истины, какие Сергеев с кафедры проповедовал своим слушателям: главная задача преподавания правоведения — «внушение учащимся лживости и суемудрия умозрительных систем и предоставление им орудия для защищения себя от тех гибельных и возмутительных понятий, которые распространяют ныне революционизм и неверие»; «единственными источниками юридических истин могут быть только положительные законы государства» и т. д. и т. д. В таком же духе были, в большинстве случаев, и другие креатуры Магницкого. «Можно без всякого преувеличения сказать, что, в эту смутную для истории русского просвещения пору, вверх дном поставлена была в злосчастном казанском университете вся система преподавания, едва начавшая принимать более или менее правильный и определенный вид». Доносы, интриги, мерзости всякого сорта стали обычным явлением в этой новой среде «профессоров», назначенных Магницким со стороны, либо запуганных им до потери всякого человеческого достоинства уцелевших старых преподавателей университета. Шпионское подкарауливанье и сыск, чинимые попечителем относительно университетских программ даже в эпоху этого уже «реформированного» состава профессоров, прямо поражает нас, привыкших все-таки к несколько большей стесненности действий со стороны бюрократии в этих вопросах. В придирках Магницкого видна душа сыщика, тщетно тоскующая по «настоящем» материале и выискивающая, что бы такое сотворить для окончательного удушения здравого смысла и совести, каковые по упущению могли бы еще где-нибудь в преподавании сказаться. То он приказывает «обличать» английскую конституцию, то рекомендует возможно решительнее искоренять «лжеименный разум», изливающийся из западноевропейской науки, то, наконец, проницательно обнаруживает руководящее участие сатаны в университетских беспорядках, бывших в Европе. «Ак-

ты разных государств Европы, обнаружив в одно и то же время, на разных ее концах, совершенно одинакие *начала нечестия и буйства в университетах и училищах*, открывают достаточно сей план врага божия: ибо единомыслие разрушительных учений в Мадриде, Турине, Париже, Вене, Берлине и Петербурге не может быть случайным». В качестве ректора посадил он некоего Фукса, который хвалился, что следит за профессорами при помощи таких средств: «...личным, сколько возможно, ближайшим опознанием образа мыслей, и, даже, чувств каждого из преподавателей», для чего специально устраивал «обеды и беседы у себя», а также «частым и внезапным посещением лекций» и «приватным расспросом студентов». Профессора Солнцева Магницкий выжил из университета, обвинив его в [том, что он] «оскорбил духа Святого господня... и власть общественную», после чего этого оскорбителя св. Духа почти тотчас же назначали губернским прокурором: Магницкий в полном смысле слова оказался plus royaliste que le roi, да и другие ведомства вообще уступали в бурно-пламенном усердии министерству народного просвещения... О падении Магницкого будет, верно, рассказано в IV томе. На этом пока кончается труд г. Загоскина. С интересом ждем продолжения его исследования.

Мир божий, 1905, № 6, отд. II, стр. 83—87

ВАНДАЛЬ А. ВОЗВЫШЕНИЕ БОНАПАРТА. Т.I.

Происхождение Брюмерского консульства. Конституция III года. Перевод с 11 французского издания З. Н. Журавской. СПб., 1905. 616 стр.

Эта книга является интересным исследованием по истории гибели директориального правительства во Франции. Вандаль весьма обстоятельно характеризует тот памятный момент в истории Франции, когда люди думали уже не о спасении принципов революции, а о спасении тех, которые «сделали» революцию. Это было время, когда демократия, утомленная, отчасти разочарованная, отчасти достигшая исполнения тех требований, которые ей казались наиболее существенными, отошла в сторону от политической жизни и якобинцы напрасно старались расшевелить в рабочих массах Сент-Антуанского предместья совершенно потухший интерес к политическим делам.

Народ уже выпускал из рук завоеванную с такими жертвами свободу, буржуазия, крестьянство думали только о сохранении приобретенных во время революции экономических благах и нужных для их социально-экономического процветания новых принципах гражданского права, установленных также в эпоху революции, а о свободе политической продолжали беспокоиться лишь одинокие и в силу своего одиночества бессильные «идеологи».

Почва для Бонапарта была вполне готова. «Бесспорно не было еще страны, более созревшей для диктатуры, чем Франция в то время; но все же она шла к этому бессознательно, увлекаемая скорее силою обстоятельств, чем обдуманным соглашением умов, способных хотеть. Зоркие наблюдатели, свидетели, не захваченные *вихрем бури, смотревшие на нее сверху и потому* видевшие дальше других, давно уже предвещали появление диктатора и, еще не видя его, видели его тень, поднимающуюся на горизонте. Екатерина II с гениальной прозорливостью предсказала его перед смертью». Директория сознавала грозившую ей опасность. Это развращенное и беспринципное правительство давно уже старалось править исключительно при помощи наси-

лия, внезапных уловок, хитростей и авантюр и только и думало о своем самосохранении. Ему приходилось бороться и «справа» с роялистами, желавшими восстановить Бурбонов (в лице скитавшегося за границей Людовика, графа Прованского), и «слева» — с якобинцами, стремившимися к более демократической конституции. Балансируя между разными фракциями, не давая народу ни желанного спокойствия и чувства обеспеченности, ни внешнего мира, ни нормального управления, правительство было бессильно установить хотя бы порядочную администрацию, безопасность дорог, упорядочение финансов.

Представительные учреждения (Совет пятисот и Совет старейшин) и de jure были несильны, а de facto обратились в пешки в руках директоров. «Советы состояли из революционеров, более и менее крайних; директория опиралась поочередно то на одну, то на другую фракцию, превращая ее в большинство присоединением рабски угоднических голосов. Если директории угодно провести крутую меру, она сейчас же находит поддержку у якобинцев. Если ей нужен мудрый закон, она опирается на умеренных. Таким образом, она больше хозяйка в стране, чем покойный Людовик XVI, у которого отняли все полномочия. И все же положение ее с каждым днем становилось более критическим, а вместе с тем росли и насилия, ибо крутые меры, повторяемые до бесконечности, оставались для нее единственным законом самосохранения». Вандаль убежден, что если бы только директория действительно предоставила населению свободно высказаться, оно «в своей ненависти к правящей группе» никогда не удержалось бы на той точке, на которой правительство желало его удержать. Насилием директория жила и насилием погибла.

Автор рисует с глубоким знанием деталей широкую картину нравственной растерянности, цинизма, беспечности и испорченности правящих кругов, индифферентизма населения, общего хаоса начатых и неоконченных дел,— и перед читателем возникает сам собой грустный вопрос: да тот ли это народ, который всего за десять лет до этого момента брал Бастилию и провозглашал принципы свободы, равенства и братства? Нужно заметить, что Вандаль слишком рассказчик и слишком мало социолог. Для него социально-экономические корни упадка революционного духа не вполне ясны, и касается он этой стороны дела совершенно вскользь. Он историк старой школы,— и внутренняя связь событий у него начинается не от начала цепи, а от одного из звеньев ее: он много говорит нам о психологии момента и очень мало о почве, на которой эта психология проявилась.

Но как рассказчик — он превосходен,— и лучшие его страницы ничуть не уступают ни Тьерри, ни Маколею, ни Косто-

марову. Грозное memento может извлечь из его книги общество, переживающее бурные события: стоит поддаться усталости, слишком близоруким соображениям,— и после расцвета революционизма и свободы легко очутиться под сапогом диктатора. И даже *правильно понятый* классовый эгоизм не должен был этого допускать, ибо потом той же буржуазии пришлось после ряда потрясений и перемен опять завоевать власть, которая уже побывала в ее руках.

Прекрасно изображены у Вандаля те решительные дни Брюмера 1799 г., когда Бонапарт захватил власть. Еще лучше охарактеризовано настроение «свободомыслящего» общества, которое все хотело обмануть себя пустыми фразами о свободе, стесняясь прямо сознаться в своей радости по поводу наступления, наконец, владычества «сильной руки». Вот одно из таких изъявлений (из одного письма к г-же Сталь): «Я не писал вам, дожидаясь, пока вы вернетесь в Париж, но из газет мы узнали, что вы прибыли туда в день торжества Бонапарта, которое мы считаем и торжеством свободы. Если восстановление законного правительства дело его рук,— он еще более Фабия достоин того, чтобы на памятнике его красовалась надпись» и т. д. и т. д.

Республиканцы (даже искренние) говорили: «Положение до переворота было невозможное; все равно, не было ни конституции, ни свободы, республика умирала от гангрены. Примкнуть к совершившемуся (т. е. к насильственному, беззаконнейшему вооруженному нападению Бонапарта на конституцию — *Е. Т*). было единственным шансом спасти республику и направить ее на лучший путь». И это говорилось, когда штык царил над молчаливой и покорной страной.

Это не только говорилось, но и чувствовалось: «рабочие массы выказывали сочувствие Бонапарту», вообще же «в городе почти у всех были довольные лица. У каждого отлегло от сердца... Финансовые, деловые, коммерческие круги также вздохнули свободнее». Это все было в стране, бурно и грозно свергшей абсолютизм всего за несколько лет до того. Невольно вспоминаются старые слова о французах, «умеющих завоевывать, но не умеющих сохранять свободу». Впрочем, эти «расовые» объяснения всегда являются не столько научным выводом, сколько более или менее хлестким bon-mot. Вот почему и остальным «расам», переживающим революцию с их сложными перипетиями, не мешает вспоминать о тех аберрациях мысли и чувства, которые могут возникать под влиянием классового эгоизма и которые бывают бесконечно опасны и для так называемых «отвлеченных» благ — вроде свободы политической, и, *в конечном счете,* даже для тех же классовых интересов. Имущие круги, приветствовавшие 18-е брюмера, не предвидели ни почти сплош-

ной пятнадцатилетней войны с Европой, ни двойного нашествия внешних врагов, ни торговых застоев, крахов и разорений.

При всей слабости (или, точнее, отсутствии) социологического объяснения излагаемых фактов Вандаль дает самое полное, насколько нам известно, в исторической литературе изображение внешних условий и обстановки конечного периода французской революционной эпохи.

Перевод очень хорош.

Мир божий, 1905, № 11, отд. II, стр. 94—96.

ВИППЕР Р. Ю., проф. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. —Современный мир, 1906, № 11, стр. 257—273.

Статья проф. Виппера, написанная с присущей этому ученому ясностью мысли и изяществом изложения, имеет целью познакомить широкую публику с теми завоеваниями, которые сделала историческая наука в самое последнее время в области истории древнего Востока. «Новые открытия раздвинули горизонт до такой степени, что прежняя история кажется теперь в 4—5 раз короче открывшейся позади нее другой, настоящей древней»,— таков один из выводов проф. Виппера. Выясняющееся теперь колоссальное значение вавилонской культуры для культуры европейской также подчеркивается автором усиленно. Нам кажется, что в последнее время часто многие склонны несколько переоценивать научное значение материала, который касается древнего Востока: это значение громадно,— и не теперь, не после открытия законов Хаммураби, это отрицать,— но все-таки много бесконечно важного мы о Вавилоне еще не знаем, и узнаем ли? — неизвестно. Социально-экономическая структура месопотамских обществ дана нам в обрывках, отрывках и намеках и даже такой единственный по колоссальной своей важности памятник, как законы Хаммураби,— проливая яркий свет в том отношении, что в общем указывает на весьма сложный характер социально-юридического развития Вавилона,— не дает, тем не менее, возможности построения сколько-нибудь связной картины жизни и быта. Мы уже имели случай в другом месте указать на всю основательность недоверчивого отношения некоторых государствоведов (вроде, например, Еллинека) к историческому материалу, касающемуся Востока. К сожалению, несмотря на быстро следующие одно за другим открытия, царство гипотез все еще слишком медленно уступает здесь место непререкаемым фактам. Но проф. Виппер подчеркивает мысль, против которой бессильны были бы спорить самые решительные скептики, когда он напоминает о совершенно выяснившейся теперь тесной зависимости так называемых «великих семитических религий» от вавилонских культов и религиозных представлений.

Сдержанным научным энтузиазмом, верой в, быть может, даже неподозреваемое нами теперь, быть может, вовсе неожиданное по своим результатам будущее развитие исторической науки — веет от этой статьи, которую мы рекомендуем прочесть даже и не занимающимся специально историей.

Книга, 1906, № 4, стр. II.

ШАМПЬОН Э. ФРАНЦИЯ НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ ПО НАКАЗАМ 1789 г.

СПб. 1906. 223 стр. Цена 50 коп.

Шампьон — один из довольно заметных исследователей революционного периода и сотрудников оларовского журнала «La révolution française» делает в этой работе попытку сжатой сводки тех главных требований, тех жалоб и просьб, которыми французские избиратели напутствовали зимой и весной 1789 г. своих избранников в Генеральные Штаты. Роль этих «наказов» очень спорная в науке, и пусть читатель не особенно увлекается тем восхищением, с которым Шампьон говорит о них как об источнике для истории предреволюционной Франции. Есть целая школа, склонная смотреть на эти «наказы» как на источник, к которому надо относиться с большой осторожностью. Шампьон — представитель другой школы, склонной с энтузиазмом (ничем, в сущности, не оправдываемым) ставить значение наказов выше других, гораздо более солидных источников, вроде, например, цифровых данных, оставленных сборщиками земельного налога. Мало того, Шампьону был поставлен упрек еще вскоре после выхода его книжки на французском языке, что он далеко не полно использовал эти «cahiers», эти наказы, что он нередко умалчивает о том, что в них содержится и что идет в разрез с его личными предвзятыми мнениями. Указывалось в виде примера на замалчивание таких фактов в этих cahiers, которые явственно противоречат утверждению Шампьона касательно якобы ничтожных размеров крестьянской собственности накануне революции и т. д. Профессор И. В. Лучицкий, изучивший эти наказы гораздо детальнее, нежели Шампьон, во всем, что касается земельной собственности, весьма доказателен в своей оценке, когда он говорит (см. «Крестьянское землевладение во Франции накануне революции». Киев, 1900, стр. 22): «...нередко мы встречаемся в cahiers с фразами, которые опускает Champion, но которые далеко не служат подтверждением тому, что он утверждает, опираясь на них».

Весьма поверхностен, по нашему мнению, Шампьон и там, где он затрагивает те тактические советы, которые даются в этих наказах депутатам насчет того, что им делать в случае,

если дворянство и духовенство будут упорствовать в своем желании заседать и голосовать отдельно, «посословно», а «не поголовно». Как известно, с этого спора и началась великая революция и поэтому напрасно Шампьон (опять-таки в угоду своему предвзятому мнению) совсем обошел молчанием именно те наказы, которые рекомендуют депутатам особенно решительный образ действий, в случае если первые два сословия не захотят уступить в том вопросе. Шампьону нужно было подтвердить свою априорную мысль, что третье сословие было чуждо «повелительности» в этом вопросе, и вот он для пущей доказательности, совсем умолчал о чисто революционных советах, которые дают, например, наказы Оксерра или Кэмпэра, или Макона и т. п. Ведь в этих и подобных cahiers прямо идет речь об объявлении Штатов Национальным собранием,— и читатель, который удовольствуется одним только Шампьоном и ему поверит, никогда не узнает, таким образом, что часть третьего сословия еще до созыва Генеральных Штатов предвидела неизбежность революционного выступления (каковым, конечно, и стало впоследствии провозглашение Национального собрания). Если этот пропуск у Шампьона объясняется неведением, то это странно у человека, пишущего о наказах специальную книгу (тем более, что уже задолго до него исследователи затрагивали эту тему, не делая из резко-настроенных cahiers никакого секрета); если же это — умышленное замалчивание, то научная ценность подобного метода понятна без комментариев. В данном случае подобный прием, кроме всего прочего, еще и излишен, ибо ведь в общем утверждение Шампьона довольно близко к истине и «революционизм» в советах этих наказов является именно лишь исключением, подтверждающим общее правило. Но тем более обязан был исследователь ознакомить читателя с этим исключением. Главы о финансах, об армии и флоте, о провинциях, о церкви довольно пригодны для ознакомления с предметом.

Перевод исполнен очень хорошо.

Книга, 1906, № 6, стр. 11—12.

НЕУДАВШИЙСЯ КОМПРОМИСС

(Эмиль Олливье о себе самом)

I

Одной из самых любопытных фигур нынешних аристократических и клерикальных салонов Франции является живой, вечно беспокойный, вечно ораторствующий об упадке отечества старик, для которого давно уже главной заботой жизни стало постоянное устное и литературное самовосхваление и оправдание своего прошлого.

Уже двенадцать томов написал он о себе самом, и этих двенадцати толстых книг все-таки еще оказалось недостаточно: если старческие немощи позволят, будет еще и еще продолжаться эта бесконечная защитительная речь... Пред кем или чем она произносится? Кто адресат? История? Современники? Европа? Или собственное самолюбие? Если вспомнить кое-какие места из его двенадцатитомной оправдательной записки, то и это последнее предположение, высказанное некоторыми критиками, иной раз может показаться вовсе не наивным. Он гордо носит свою голову, он не перестает повторять, что ему не в чем каяться, он при случае охотно декламирует о порче века сего — а глухое беспокойство, как ноющая, хроническая боль, его не покидает. Что он человек конченный, навсегда и бесповоротно, это он понял уже несколько десятков лет тому назад, а между тем и тени желания сколько-нибудь объективно разобраться в прошлом у него нет и никогда не было. Старая вражда, наполняющая его сердце, ничуть не ослабела с годами, он борется, аргументирует, клевещет, ловит противников на противоречиях с такой страстностью, что порой забываешь, что вокруг него давно уже могильная тишина и что все эти мертвецы, окружающие автора, воскрешены исключительно только для его фантазии и исключительно силой его ненависти.

«Эмиль Олливье лжет так, как будто бы он еще теперь первый министр»,— выразился о его воспоминаниях один критик. Он, в самом деле, очень часто расходится с истиной, и все-таки историк Второй империи непременно должен будет считаться в известной степени с этими записками. А еще интереснее они

будут для всякого, интересующегося психологией оппортуниста вообще и политического честолюбца в частности, ибо если республиканские оппортунисты яростнее всего нападали на оппортуниста империалистического, то именно потому, что чувствовали в нем плоть от плоти своей и кость от кости своей и стремились возможно резче отделаться от компрометирующих уподоблений.

Лежащий пред нами только что вышедший двенадцатый том Эмиля Олливье [1] особенно любопытен потому, что здесь автор обстоятельно излагает историю своего министерства, т. е. описывает кульминационный момент своей политической карьеры. Правда, он доводит эту историю лишь до конца марта 1870 г., но едва ли следующий том будет интереснее нынешнего: последний плебисцит империи, гогенцоллернская кандидатура на испанский престол и низвержение династий — все это факты, слишком хорошо известные и притом такие, которые давно уже освещены, несмотря на все старания Олливье извратить и затемнить их, ибо и эти старания очень хорошо известны и с давних пор не прекращались. Момент же, когда Олливье окончательно предался империи, сжег свои корабли, бесповоротно связал свою судьбу с судьбой виновника государственного переворота — этот момент освещается не только последним томом, но и предшествующими. Посмотрим же, что эти показания дают. Говорить об одном последнем томе нельзя, коснемся же мемуаров в их автобиографической полноте [2].

Напомним сначала в нескольких словах главнейшие факты биографии Олливье, предшествующие занимающему нас времени. Вскоре после февральской революции 1848 г. министр внутренних дел Ледрю-Роллен назначил молодого и совершенно еще никому не известного Эмиля Олливье комиссаром республики в департаменте Устьев Роны. Это неожиданное возвышение обусловливалось прежде всего прочной репутацией отца Эмиля, Демостэна Олливье, как одного из заметных в провинции республиканцев во время Луи-Филиппа, а затем, конечно, и затруднительностью положения Ледрю-Роллена, принужденного безотлагательно переменить весь состав администрации. Выбирать много не приходилось. Пробывши в своем департаменте несколько месяцев, Эмиль Олливье, показавшийся слишком крайним,— когда после июньского восстания возобладала реакция,— был смещен генералом Кавеньяком и назначен префектом в менее значительный департамент верхней Марны. Вскоре после выбора Луи-Наполеона в президенты республики новый министр внутренних дел Леон Фошэ уволил Олливье в отставку, и в продолжение девяти лет оставленный префект жил в Париже, перебиваясь кое-как частными уроками; хотя он был юристом по образованию и адвокатом по специальности, но дела

его шли в высшей степени плохо: мешала республиканская репутация, так как клиенты хорошо знали как смотрят судьи на защитников, обладающих такой репутацией. Поэтому скудно и неверно вознаграждаемый труд репетитора был единственным источником существования Олливье в первые годы империи. Так шло до 1857 г., когда начались приготовления к выборам в Законодательный корпус. Это был трудный и знаменательный момент для республиканской партии. Нужно было прежде всего решить важный вопрос: воздерживаться ли по-прежнему от участия в выборах или нет. Выборы 1857 г. должны были быть уже вторыми со времени захвата власти Луи-Наполеоном: первыми были выборы 1852 г., произведенные несколько месяцев спустя после декабрьского переворота. Тогда, в 1852 г., все казалось безнадежно, руки опускались у самых энергичных людей. Установление фактической диктатуры, полнейшее и самое откровенное ниспровержение какой бы то ни было законности, неистовства военных судов и административных «смешанных комиссий», отправлявших тысячами людей в заокеанскую ссылку по одному только подозрению,— все это еще не так угнетало, как то всеобщее повиновение и гробовая немота, которыми страна встречала акты самого необузданного правительственного произвола. Пресса была задавлена до невозможности изъясняться даже намеками; правительство совершенно открыто решило пустить в ход весь бюрократический механизм с целью проведения официальных кандидатов, при общей запуганности всех лиц, со сколько-нибудь оппозиционным прошлым было совершенно ясно, что республиканская партия не соберет при выборах даже и того ничтожного количества голосов, которые она еще насчитывала в стране. Идея воздержания от выборов нашла полное сочувствие среди огромного большинства республиканцев; и теперь, в 1857 г., приверженцев тактики воздержания было еще довольно много, как среди очень влиятельных лондонских и брюссельских эмигрантов, так и между республиканцами Парижа и провинции. Но восторжествовала противоположная точка зрения. Сторонники участия в выборах соглашались, что при полнейшем отсутствии какой бы то ни было свободы печати, при все еще длящемся безграничном и вполне безнаказанном произволе центральных и местных властей, при отсутствии собраний, при безудержном давлении на избирателей и при системе официальных кандидатур надежд на сколько-нибудь значительный успех нет и быть не может; они соглашались также, что реальная сила Законодательного корпуса равна нулю и что даже агитационного значения их деятельность там иметь не может, ввиду непубличности заседаний и запрещения печатать отчеты иначе, как в официальной версии которая утверждается председателем (не выбираемым, а назна-

чаемым императорской властью). Наконец, они соглашались, что обязательная присяга в верности императору, требуемая от депутатов пред началом сессии, должна претить совести и чувству людей, для которых Наполеон III есть клятвопреступник и насильник, растоптавший все законы. И тем не менее на этот раз воздержание от выборов им казалось равносильным самоубийству. Они говорили, что за пять лет гробовой тишины народ их стал забывать и забудет окончательно, если они себя не проявят; что в 1852 г. было возможно хоть в издаваемых за границей манифестах писать о вооруженном восстании, как о единственной допустимой для честных людей форме отношений к «банде Луи Бонапарта», но что теперь, в 1857 году, смешно было бы надеяться на нечто подобное. Уже очень скоро обнаружилось, что за участие в выборах стоит больше людей в партии, нежели против участия. Но и приверженцы участия в выборах делились на две категории,— именно, по вопросу о присяге.

Одни из них с Луи Бланом (находившимся в эмиграции) во главе говорили, что «трудности положения — неисчислимы, стена штыков окружает безоружный Париж, народ задыхается в атмосфере доносов», никакое общее движение немыслимо там, где «собрание из двадцати человек признается преступлением», но воздержаться от выборов, «значило бы возвести паралич — в систему».

Но «другой вопрос — что будут делать выбранные кандидаты, если позволительно верить в победу, хотя бы даже частичную?» Принести присягу — бесчестно. Нужно коллективно отказаться от присяги и вызвать грандиозный парламентский скандал, удаление депутатов полицейской силой. А дальше? Может быть, народ пробудится, «Франция выкупит свой позор» и т. д. Другие приверженцы участия в выборах абсолютно не верили в то, что народ хотя бы даже пошевелится с целью помочь республиканским депутатам в случае отказа от присяги; они полагали, что депутатам нужно исполнить требуемую формальность и принять возможно более активное участие в законодательной деятельности. Во главе этой группы, решительно расходившейся с Луи Бланом по вопросу о присяге, стоял редактор газеты «Siècle», Авэн. Он-то и выдвинул кандидатуру Эмиля Олливье, прозябавшего в Париже до тех пор без всякой видимой надежды на возвращение к политической деятельности. Поведение Эмиля Олливье в этот момент было весьма характерным. Когда он еще не знал, что редактор единственной, сколько-нибудь влиятельной, оппозиционной газеты желает выставить его кандидатуру, он с жаром стоял за полное воздержание всей республиканской партии от какого бы то ни было участия в выборах.

Встретив Эмиля Олливье на пороге кабинета Авэна, один сотрудник «Siècle'»я сказал ему: «Итак, вы — кандидат?» На что Олливье с живостью возразил: «Нет, я не мог бы согласиться взять на себя роль в той комедии, которая ставится в Бурбонском дворце, и я приглашаю вас последовать моему примеру». И всего *час* спустя этот сотрудник узнал, что Олливье желает выставить свою кандидатуру [3].

Авэн предложил сорганизовавшемуся тогда комитету партии, который должен был вести выборную кампанию, внести имя Олливье в список республиканских кандидатов (конечно, они так не смели называться в печати, но публика их обозначала именно так). Нужно сказать, что список, выработанный этим комитетом, состоял как из лиц, которые твердо решили отказаться от присяги, так и из таких, которые решили принять присягу; были, наконец, и люди, совершенно не высказывавшиеся по этому поводу и колебавшиеся до последнего момента. Комитет никаких директив в этом смысле не давал и никаких обещаний не требовал. Вообще интересовали всех самые выборы, а вовсе не деятельность будущих депутатов; да и выборы интересовали не как случай победить врага (в сколько-нибудь серьезный успех никто не верил), а только как своего рода перекличка, которая заставит отозваться всех, не примирившихся душой с царящим гнетом. Авэн предложил выставить кандидатуру Олливье в 10-м парижском избирательном округе. В комитете много спорили по этому поводу; предлагали в этом округе кандидатуру сына Виктора Гюго, кое-кто выражал недоверие к Эмилю Олливье, но, в конце концов, большинством 11 голосов против 10, в комитете решено было отдать 10-й избирательный округ Олливье. Нужно заметить, что недоверие к Эмилю Олливье в этот момент могло быть разве что инстинктивным; это был человек, абсолютно в Париже неизвестный, несмотря на свою былую административную службу в 1848 г. Правда, указывали тогда еще (в департаменте Устьев Роны) на его колеблющееся, двойственное поведение во время рабочих беспорядков, но относительно рабочих едва ли не три четверти республиканских вождей (не говоря уже о рядовых) могли быть уличены и в двоедушии, и в неискренности, и в нерешительном образе действий; и, конечно, не этому выборному комитету 1857 г., лидером которого был генерал Евгений Кавеньяк, приходилось порицать кого бы то ни было за дурное отношение к рабочим. Это был единственный республиканский лидер, отнесшийся вполне определенно к рабочим в кровавые июньские дни 1848 г., когда он залил их кровью весь Париж.

Самая примитивная политическая корректность требовала, чтобы в газете «Siècle» был напечатан список кандидатов именно в том виде, как он был выработан комитетом. Но в это глухое

время полнейшей растерянности партии, вялости в обществе, решительного отсутствия какого бы то ни было активного интереса к политике общественное мнение давным-давно уже перестало оказывать сколько-нибудь сдерживающее влияние там, где только к нему и возможно было апеллировать и когда члены комитета с изумлением увидели, что Авэн по-своему переделал список и напечатал его в таком виде в своей газете, то им так этим изумлением и пришлось ограничиться. Газета «Siècle» была единственной читаемой газетой из всех немногочисленных органов оппозиций, и ее редактор полностью учитывал это обстоятельство. В списке, опубликованном газетой, Эмилю Олливье отдавался уже не 10-й округ, где республиканцы имели мало шансов, а 4-й округ, где шансов было больше, но где комитетом был намечен в качестве кандидата не Олливье, а Гарнье-Пажес. Сделано это было с полнейшего согласия Олливье. «По какому праву переделали вы комитетский список?» — спросил Эмиля Олливье Эрнест Пикар. «По праву более сильного»,— был ответ. В слабой и без того партии возник вследствие такого самоуправства острый конфликт. Комитет решил бороться и напечатал в двух малораспространенных (сравнительно с «Siècle'» ем) изданиях свой список. Тогда Олливье, боясь, что голоса оппозиции в 4-м округе разобьются и что имя комитетского кандидата Гарнье-Пажеса покажется избирателям более веским, нежели имя никому не известного адвоката, написал своему конкуренту патетическое письмо, где, «обращаясь к сердцу» Гарнье-Пажеса, просил его уступить: «Сила нашей идеи всегда заключалась в бескорыстии и жертве!» Он, Олливье, не колеблясь, уступил бы, но ведь он связан обещанием, данным газете «Siècle» и газете «Presse» еще до составления комитетского списка. «Я не могу не сдержать своего слова» и т. д. Все письмо проникнуто характерными для Олливье чертами: напыщенной неискренностью и наивной уверенностью, что возможно явно эгоистический интерес прикрыть шумихой слов. Гарнье-Пажес, посоветовавшись с комитетом, решил отказать Олливье наотрез. В письме, которым он ответил своему сопернику, Гарнье-Пажес холодно заявлял, что Олливье «странно ошибается» относительно положения дел: «поверьте мне, это дурное начало политической жизни. Я искренно жалею вас, видя, как вы губите блестящее будущее, которое улыбается вам, благодаря вашему таланту». Олливье закончил эту переписку новым письмом, в котором раздраженно инсинуировал против Гарнье-Пажеса и прямо заявлял, что не признает обязательности решений комитета. Все эти письма были опубликованы, и партия в критический момент выборов была предоставлена раздорам и интригам. Правительство в самый день выборов, утром, арестовало на улице Гарнье-Пажеса и одновременно произвело у не-

го на дому обыск, вполне, впрочем, безрезультатный. Друзья Гарнье-Пажеса употребили все усилия, чтобы скрыть от избирателей этот факт, ибо тогда слух об аресте или даже об обыске страшно понижал шансы кандидата,— избиратели были слишком запуганы. В результате Олливье был выбран в 4-м избирательном округе, а в 10-м (которого Олливье не пожелал, вопреки назначению со стороны комитета) республиканский кандидат провалился, как и еще в четырех других округах Парижа. Конечно, правительство, пустившее в ход по обыкновению самое бесцеремонное давление и ряд насилий над волей избирателей, одержало блестящую победу: из 267 депутатов всего семь, приблизительно, человек принадлежали к оппозиции; вся остальная масса состояла либо в подавляющем большинстве из прямых ставленников администрации, либо из клерикалов и реакционеров легитимистской или орлеанистской окраски, тоже готовых беспрекословно и даже с одушевлением поддерживать реакционные мероприятия министров. Из семи оппозиционных депутатов — генерал Кавеньяк умер вскоре после выборов — двое (Карно и Гудшо) отказались присягнуть и были исключены из палаты, а четверо (Кюрэ, Даримон, Олливье и Энон) принесли присягу. Впоследствии (27 апреля и 10 мая 1858 г.) на частичных выборах в Париже прошли еще Жюль Фавр и Эрнест Пикар. Пять республиканских депутатов и составили знаменитую группу «пяти» (les cinq), Кюрэ, избранный в Бордо от «демократической оппозиции», сюда не входил.

II

Положение горсточки республиканских депутатов среди правительственного большинства, пред лицом назначенного императором президиума, во главе которого был поставлен главный деятель декабрьского переворота герцог Морни, это положение, и без того трудное, стало особенно тяжелым после того, как Орсини бросил свои бомбы в императорскую карету; случилось это 14 января 1858 г., за чётыре дня до открытия первой сессии вновь избранного Законодательного корпуса. Самые свирепые репрессии обрушились после покушения Орсини на совершенно мирную страну, где не было и тени какого бы то ни было революционного настроения в это время и где порядок даже в самом узкополицейском смысле слова не нарушался решительно ничем. Правительство прекрасно знало, что покушение это не имеет абсолютно ничего общего с внутренними делами Франции и вызвано исключительно внешней политикой императора,— все участники, попавшие в руки полиции, были

итальянцы и ни малейших связей между ними и французскими республиканцами не было установлено. Тем не менее в стране воцарился настоящий белый террор, напомнивший времена после декабрьского переворота 1851 г. Тронная речь выражала надежду императора, что Законодательный корпус поможет правительству «заставить замолчать» партию «крайней оппозиции». В сущности правительство с самого декабрьского переворота применяло всегда репрессии, не руководствуясь ничем, кроме личного усмотрения, и не стесняясь ни в малейшей степени никакими правовыми нормами и законоположениями, но теперь, пользуясь особенно благоприятным моментом, Наполеон III решил, очевидно, больше всего с целью достижения одного из тех «моральных эффектов», до которых он был охотник, потребовать от Законодательного корпуса санкции для репрессивной деятельности администрации. Был внесен правительством проект «закона общественной безопасности», предназначенный, как официально было заявлено, для того, чтобы покончить с вождями «армии беспорядка». Главное содержание законопроекта заключалось в том, что тюремным заключением сроком от 2 до 5 лет карался всякий, кто каким бы то ни было образом будет призывать к совершению государственных преступлений, предусмотренных 86 и 87 ст., если эти призывы *не* повлекли за собой преступного деяния; заключению в тюрьме сроком от одного месяца до двух лет и штрафу до 2000 франков должен был подвергаться всякий, «кто с целью смутить общественное спокойствие или возбудить ненависть или презрение к правительству императора прибегнет к каким-либо маневрам (a pratiqué des manœuvres)» или станет агитировать в таком духе внутри страны или за границей; администрация уполномочивалась либо изгонять с имперской территории, либо насильственно интернировать в любом департаменте «империи или Алжира» всякого, кто так или иначе подвергся административному или судебному наказанию вследствие событий в мае и июне 1848 г., в июне 1849 г., или в декабре 1851 г., если «важные факты» покажут администрации, что такой человек еще и теперь опасен для общества и т. д. и т. д. Этот закон, собственно, ничего особенно нового не вносил во французскую жизнь того времени, и без того протекавшую в атмосфере полнейшего произвола администрации; но, конечно, становилось вполне легким и, так сказать, общедоступным для самого неопытного члена прокурорского надзора засадить в тюрьму, например, любого редактора на несколько лет: неопределенные фразы законопроекта именно на это и были рассчитаны.

По поводу этого-то законопроекта Эмиль Олливье и произнес свою первую речь. Эта речь не была ни сильна, ни содержательна, другие оттенили ярче умышленную неопределенность и

даже нелепость фраз, из которых состоял законопроект и которые наперед уполномочивали администрацию сажать в тюрьму людей за разговор даже в семейном кругу. Олливье мягко протестовал против законопроекта на том основании, что этот закон имеет обратное действие, так как пострадают люди, нарушившие его положения еще до его издания; указывал большинству, что оно должно отвергнуть этот законопроект «из преданности к правительству», что и без этого закона правительство хорошо вооружено для борьбы с заговорщиками и т. д. Подавляющим большинством закон был принят.

Группе «пяти» с Эмилем Олливье во главе приходилось выступать в эти трудные годы редко; положение их было таково, что лично знакомые с ними депутаты *страшились* на глазах у президиума здороваться с ними, не говоря уже о разговорах. И президент (по назначению) Морни иной раз с демонстративным великодушием просил палату «не прерывать» оппозиционного оратора, давая последнему слово (например, Жюлю Фавру 30 апреля 1859 г.). Полицейский террор с бесчисленными обысками, арестами, ссылками свирепствовал в стране; новый министр внутренних дел генерал Эспинасс закрывал газеты за малейшую тень оппозиционного настроения. Впрочем, газеты были так надежно запуганы, что даже и намеками уже говорить не решались.

Война с Австрией, как и вообще вмешательство Наполеона III в итальянские дела, сильно поссорила империю с клерикалами и, напротив, как бы обязала правительство к некоторому ослаблению слишком натянутой узды: во внутренней политике стал замечаться упадок полицейского террора, а в 1859 г., после победы над Австрией, была дана политическая амнистия. Кое-кто из изгнанников воспользовался амнистией, другие отказались, но оппозиция в общем несколько оживилась и приободрилась. Эмиль Олливье произнес в начале мая 1860 г., по поводу торгового договора с Англией, большую речь, где он указывал на необходимость дать стране гарантии политической свободы вслед за провозглашаемыми принципами свободы торговли; он приглашал «любить свободу, не такую-то или такую-то свободу, не экономическую свободу, даже не гражданскую свободу, но свободу без эпитета, свободу, которая есть источник добра и зла, но которая в себе самой содержит противоядие против зол, какие она может породить». Вскоре после того Олливье пытался расширить бюджетные права Законодательного корпуса по поводу требования со стороны правительства кредита в 45 миллионов франков на общественные работы без малейших более обстоятельных указаний. Олливье, конечно, предавался иллюзиям, если думал, что его речь по этому поводу может сыграть какую-либо практическую роль: кредит был воти-

рован, как всегда, чуть не единогласно. Наконец, уже пред закрытием сессии, Олливье произнес блестящую речь по поводу действий правительства вообще и, в частности, гонений на печать, поставивших прессу, сколько-нибудь независимую, в самое тягостное положение. Президент (Морни) сильно мешал ему говорить, обрывая беспрерывно и указывая, что пресса управляется на основании конституции, «которой оратор присягал!». Даже сдержанное недоумение оратора по поводу правительственной политики квалифицировалось президиумом как воспрещенные законом попытки интерпелляции. Депутатам, желающим изложить свои воззрения на текущие дела, рекомендовалось правительственными ораторами впредь издавать соответственные брошюры, а не говорить такие речи, на какие конституция их не уполномочивает. Когда же Жюль Фавр потщился обратить внимание, что ведь сделать это нельзя, так как свободы печати не существует, то ему со стороны представителя правительства было сентенциозно замечено: «Пресса свободна для добра, но она несвободна для зла, и этого должно быть достаточно!» [4] И, действительно, печать, задавленная предостережениями и закрытиями, могла делать очень мало «зла» правительству; Дамоклов меч закрытия был тем страшнее, что разрешения на издание новых органов давались очень туго, очень редко и с весьма большим разбором.

В сессию 1861 г. Олливье еще раз вернулся к вопросу о положении печати, и этот момент был знаменательным в его карьере. За несколько времени до открытия сессии 1861 г. особым постановлением сената были несколько расширены бюджетные права Законодательного корпуса и давалось право обсуждения ответного адреса. Группа «пяти» решила возбудить вопрос: 1) об уничтожении закона общественной безопасности и всех других исключительных законов; 2) об избавлении прессы от «режима произвола» и 3) о средствах к оживлению муниципальной жизни, а также об уважении к закону и правильности избирательных операций, чтобы всеобщее голосование получило действительную силу. Группа «пяти» мотивировала эту свою поправку к адресу тем обстоятельством, что иначе и расширение бюджетных прав не принесет пользы. Жюль Фавр произнес яркую речь в защиту этой поправки, причем указал, что подавляющее большинство Законодательного корпуса выбрано при содействии администрации. Это была сдержанная, но истинно и искренно оппозиционная речь, чрезвычайно уязвившая правительство, представитель которого (Барош) ответил, что нельзя шесть миллионов вотирующих предоставить себе самим, *так как они могут совершить большие ошибки*; вот почему префекты и должны брать на себя разумное руководство.

Вслед за Жюлем Фавром и выступил Эмиль Олливье. Он

говорил о свободе печати и ограничивал свои требования уничтожением разрешительной системы для вновь открываемых органов и восстановлением суда присяжных для преступлений, совершаемых путем печатного слова. Абсолютной свободы он не требовал, «ибо абсолютное — не от мира сего». Конец его речи был (совершенно неожиданно для всех) посвящен восторженному восхвалению императора, якобы вступившего на путь либеральных реформ. «Государь,— сказал он,— когда человека так приветствуют 35 миллионов людей, как, говорят, вас, когда человек распоряжается миром в том смысле, что счастье следует за ним туда, куда он идет... то остается познать еще одну несказанную радость: быть мужественным инициатором, приобщающим великий народ к свободе». Он просил, риторически обращаясь к отсутствовавшему императору, не слушаться малодушных людей, приблизиться к нации — и обещал, что тогда хоть и могут оказаться во Франции люди, привязанные к воспоминаниям о прошлом или к надеждам на будущее, но «огромное большинство» будет восхищаться Наполеоном III и бескорыстно ему помогать. Это он явно намекал на легитимистов и орлеанистов, с одной стороны, и на республиканцев, с другой: к первым относились слова о воспоминаниях, ко вторым — слова о надеждах.

Весьма понятно, что в республиканской партии в Париже и провинции многие насторожились и ожидали, что остальные четыре депутата будут протестовать против внезапных излияний их товарища. Олливье в своей речи [5] не усомнился назвать последний декрет императора «благодеянием», благородным и отважным поступком; вообще и по смыслу и по тону эта речь была речью империалиста, как ее тогда же понял Жюль Фавр. Однако четыре депутата не протестовали. Они больше недоумевали, нежели высказывали какое-либо раздражение. Обстоятельства сложились так, что поведение Олливье приобрело в глазах публики особенно знаменательный смысл: в своей речи он между прочим сказал фразу: «moi qui suis républicain», которую президент Морни вычеркнул из отчета, утверждавшегося им ежедневно к печати. На другой день один депутат (*не* из группы «пяти») полюбопытствовал у президента о причинах его поступка. Морни заявил, что речь Олливье была запечатлена характером «умеренности и честности» и антиконституционная фраза, вырвавшаяся случайно у оратора, не могла поэтому заставить Морни остановить его и призвать к порядку. Олливье — промолчал.

Холодность и подозрительность по отношению к Олливье распространялись с тех пор медленно, но неудержимо в рядах республиканцев. Конечно, нечего было и думать вести против него кампанию в прессе: предостережения и закрытия посы-

пались бы на те газеты, которые посмели бы напасть на депутата за его любезности по адресу империи. Олливье, вспоминая об этом начальном периоде своего отступничества, силится показать читателю, что будто бы, невзирая на эту холодность и подозрительность со стороны вчерашних друзей, он испытывал тогда «истинное моральное благополучие» вследствие сознания, что откровенно высказал свою мысль. Ведь это было сделано бескорыстно, не затем, чтобы стать министром, горячится Эмиль Олливье [6], спустя 40 лет после этой речи и спустя 30 лет после того как он *был* министром: «для толпы — министерский пост кажется высшим блаженством, министр представляется лицом, имеющим в своем кабинете сундук, наполненный золотыми монетами, откуда он черпает полными пригоршнями; толпа не допускает, чтобы эволюция, ведущая к власти, могла быть бескорыстной». Впрочем, о министерском сундуке было еще рано рассуждать; министры и приближенные Наполеона III чувствовали себя еще настолько прочно и благополучно, что вовсе не желали делиться ни с какими раскаявшимися республиканцами, и весенняя сессия 1861 г. окончилась грубым окриком со стороны представителя правительства (Бильо), заявившего, что декрет 24 ноября 1860 г. (несколько расширявший, как было уже упомянуто, права Законодательного корпуса) «вовсе не есть одна из тех первых уступок, при помощи которых враг, имея возможность удобнее занять местность, в конце концов овладевает этой местностью совершенно». Правительство приглашало вполне категорически гг. депутатов «не верить» в отмену законов об общественной безопасности, законов против прессы, против права собраний, в уничтожение системы официальных кандидатур, наконец, в установление парламентского правительства. «Не верьте этому, господа. Правительство не дозволит — проникнуть в крепость, охранять которую Франция ему поручила,— ни врагу открытому, ни врагу переодетому». Все и в том числе Эмиль Олливье (по собственному признанию) поняли, к кому относятся слова о переодетом враге. Однако, любезности молодого депутата были замечены: в течение следующей сессии (1862 г.) президент Законодательного корпуса не переставал оказывать ему особое внимание и в конце концов пригласил его к себе побеседовать.

Характерный был человек Морни для того режима, который он вместе с Наполеоном III создал. Его называли иногда кондотьером, и у него, в самом деле, были черты, свойственные этому историческому типу. Человек ловкий, очень решительный, очень хитрый, очень смелый, азартный игрок в политике, всегда выигрывавший, Морни являлся, бесспорно, самой крупной величиной в плеяде, окружавшей последнего французского императора и возведший его на престол. Это не был Малюта

Скуратов или Дуббельт. Русский, например, абсолютизм в XIX—XX вв. не видел близ себя ни одного человека типа Морни, а в XVIII в. в России они бывали; Алексей Орлов тоже не задумался бы рискнуть устроить 2 декабря, а Морни тоже не задумался бы посягнуть на Петра III. Люди риска и авантюры, люди, жаждущие наживы, вина, женщин, но пожалуй, превыше всего ценящие ощущение азартной игры, где ставкой служат их и чужие головы, деятели этого типа как бы самой судьбой предназначены играть роль в дворцовых революциях, в переворотах сверху. Циник и торжествующий насильник, насмешливо и свысока смотревший на всех и все, вступил в личные сношения с молодым, беспокойным честолюбцем, уже обдумавшим разрыв с собственным прошлым и еще размышлявшим над теоретическим обоснованием и оправданием этого своего предстоящего шага. Долго и интимно, по признанию Олливье, говорил с ним Морни. Суть беседы заключалась в том, что «несмотря на противодействия — *вернуться* к конституционному режиму»; что он, Морни, рассчитывает составить первый конституционный кабинет и вот не может ли он в таком случае рассчитывать на содействие Олливье (конечно, в качестве члена министерства). Олливье «притворился непонимающим» и «гипотеза» по его признанию показалась ему тогда «отдаленной». Он подтвердил только, что будет держаться образа действий, намеченного в его речи 1861 г., т. е. будет поддерживать империю, если она «даст, действительно, свободу». Не ограничиваясь этим, Олливье преподал еще следующее наставление своему собеседнику: «Дайте им (противникам империи — *Е. Т.*) все, что они требуют и, даже больше,— они никогда не будут вам признательны за это, они воспользуются новыми льготами только затем, чтобы сильнее с вами сражаться;— вы в этом могли убедиться; но, в свою очередь, вы в самой свободе почерпнете ту силу сопротивления, которую вам не дают ваши диктаторские законы». Так говорил депутат, прошедший в Законодательный корпус *как республиканец* и от республиканской партии, и говорил он, обращаясь к человеку, прежде всего повинному в самых страшных репрессиях и проскрипциях, которыми сопровождался захват диктатуры Луи-Наполеоном.

Тогда же Олливье вошел в близкие сношения и с другой фигурой, близкой к дворцу: с принцем Наполеоном, двоюродным братом императора. Это был будирующий принц, либеральное высочество, как его называли в салонах. Он прямо предложил Олливье свою могущественную поддержку, но благоразумно заметил, что не хочет Эмиля Олливье слишком своей особой компрометировать (в глазах оппозиции, конечно). Он даже предложил Олливье познакомиться домами, представить г-жу Олливье ее высочеству, но и тут оговорился «делайте, как захо-

тите, я не хочу вас компрометировать». Принц понимал, что Эмиля Олливье нужно возможно дольше использовать в качестве республиканца и оппозиционера; что в *этой* роли Олливье пока более выгоден для империи. Олливье тоже понял, и его визиты к принцу стали редки и происходили украдкой. Не нужно забывать, что этот самый принц очень незадолго до сближения с Олливье публично заявил, что если бы республиканцы и легитимисты устроили высадку во Франции, то они без дальнейших околичностей были бы расстреляны. «Скромные и редкие» визиты Олливье к автору этого заявления, о которых он рассказывает, не могли быть не понятны и для визитера и для хозина. К сожалению, Олливье не передает подробно, о чем они говорили во время всех этих свиданий; вообще же он кстати и некстати не устает развертывать пред читателем ту свою основную идею, которой он, по его словам, увлекался, во имя которой якобы он только и действовал: империя должна стать истинно либеральной, должна дать народу свободу, и этим она застрахует и себя и подвластное население от возможности анархии. Напрасно читатель ищет во всех двенадцати томах записок Эмиля Олливье ответа на ряд вопросов: почему он считал допустимым надеяться на внезапное нисшествие духа свободы на правительственный организм, насилием созданный и насилием державшийся? Почему он, оставаясь формально республиканским депутатом, полагал приличным и уместным давать дружеские советы правительству относительно того, каким способом лучше сопротивляться противникам? Наконец, почему он старался делать «скромные и редкие» визиты принцу Наполеону украдкой, если в этих визитах не видел ничего дурного? Почему хитрил с своей партией и обманывал ее? Он силится изобразить себя фанатиком идеи либеральной империи, а пред читателем, помимо воли автора, с каждым томом яснее и яснее выступает фигура политического честолюбца, для которого честолюбие — цель, оппортунизм — средство, а примирение с империей — диктуемая обстоятельствами форма оппортунистической сделки. И уже в 1861—1862 гг. из двух будущих контрагентов больше колебаний и сдержанности проявляла империя, а не Эмиль Олливье. Империя была еще очень сильна. Близилось время, когда она должна была усвоить более любезный тон относительно республиканца, готового раскаяться, но пока еще это время не наступало.

III

В 1863 г. в последний раз заседал Законодательный корпус пред новыми выборами, и Эмиль Олливье произнес большую речь, которая должна была еще раз обратить на него внимание

властей. Тут были и либеральные требования гарантий истинно-конституционного строя, и деликатные указания на излишнюю щедрость в раздавании газетам предостережений, и протест против давлений на волю избирателей, что явно предвиделось на выборах и в 1863 г., как уже было раньше, в 1852 и в 1857 гг. Свобода превозносилась в этой речи «как средство против двух причин анархии — против той, которая происходит от власти одного лица, и против той, которая рождается от шумного движения всех». Олливье видел в свободе средство приступить к разрешению социального вопроса «без насилия и без утопий». Он великодушно заявил, между прочим: «... уступаю даже больше: всякий раз, когда существует разногласие между оппозицией и правительством относительно меры вещей относительно уместности поступков — ну что же я, оппозиционный депутат, смело говорю это,— можно предположить, что право именно правительство; на нем лежит ответственность, которая на нас не лежит и которая может побудить его считать в высшей степени трудным то, что нам кажется легким. Мы отвечаем только за слова, а оно отвечает за действия, с которыми связаны судьбы нации, это более серьезно». Тут же многозначительно Олливье напомнил слова: «якобинец, ставший министром, не будет якобинским министром». Вместе с тем Олливье постарался удержать и все оппозиционные видимости: империя, настаивал он, так могущественна, в стране все так спокойно и так беспрекословно послушно воле императора, что ни малейших оснований притеснять печать и общество не имеется, за двенадцатью годами произвола должна последовать обещанная свобода и т. д. Это было последнее большое выступление Олливье, вскоре Законодательный корпус был распущен, и начались новые выборы.

Эти выборы происходили по-прежнему при абсолютном отсутствии свободы собраний, при удвоенной (против обычного) суровости репрессий по делам печати, при всевозможных уловках со стороны властей, при угрозах и насилиях над избирателями.

Крестьянство и буржуазия по-прежнему почти всей массой поддерживали правительство, рабочие уже не были так апатичны и утомлены, как в 1852 или в 1857 гг., но все-таки не находили достаточно энергии, чтобы успешно бороться с предвыборными манипуляциями правительства. Министр внутренних дел Персиньи широчайшим образом пользовался системой официальных кандидатур. Префекты, согласно циркуляру министра, обязаны были рекомендовать угодных им кандидатов, «чтобы население знало, кто друзья — империи, а кто ее враги, более или менее скрытые». Префекты открыто и официально заявляли (как это сделал например префект Верхней

Луары), что прежде, действительно, «избиратели выдумали (avaient imaginé) подготовительные собрания, куда кандидаты являлись и излагали свои принципы», но эти собрания «часто бывали шумны»; зато теперь «администрация исполняет, так сказать, обязанность подготовительных собраний»; теперь «мы, администраторы, незаинтересованные в вопросе и,— в конечном счете, представляющие совокупность ваших интересов,— мы рассматриваем, мы оцениваем, мы обсуждаем ставящиеся кандидатуры и, после зрелого рассмотрения, с согласия правительства мы вам представляем ту кандидатуру, которая кажется нам наилучшей и обладающей наибольшими симпатиями...» и т. д. Никакая борьба против произвола префектов, даже в самых сдержанных выражениях, не была мыслима. Провинция особенно была ими терроризована. К этому нужно присоединить массу крупных и мелких мошенничеств, производившихся coram populo властями всех наименований, в руки коих отдан был подсчет голосов; нужно вспомнить и о праве администрации перед каждыми выборами перераспределять избирательные округи по своему желанию и, без всякой мотивировки, соединять города с деревнями и т. д. Префекты грубейшим образом позорили личную честь кандидатов оппозиции — и те не имели фактической возможности защищаться, ибо ни одна местная типография обыкновенно не решалась печатать защиту. Всякий сторож, учитель, жандарм, мэр, префект мог быть уверен, что лишится должности, если шпионы донесут в Париж, что он недостаточно ретиво действовал на выборах.

Так ответила империя на приглашения и воззвания Эмиля Олливье касательно водворения «истинной свободы». Но, несмотря на все ухищрения, в 1863 г. было выбрано около 35 депутатов, не рекомендованных избирателям правительственной властью; правительственное большинство состояло приблизительно из 230 человек. Но и этот результат был для правительства неприятен; ведь все понимали, что при том страшном давлении, какое существовало на выборах, для проведения 35 депутатов оппозиции необходимо было очень уж большое напряжение враждебных к правительству чувств. Эти три десятка с небольшим независимых депутатов делились на легитимистов, орлеанистов, республиканцев (последних было 20 человек), и нельзя сказать, чтобы недоброжелательство относительно империи особенно сплачивало все эти группы между собой. Напротив, для большинства легитимистов и орлеанистов республиканцы были более страшны и ненавистны, чем империя.

Эмиль Олливье, снова избранный, все яснее и яснее раскрывал свои карты. Положение вещей было таково, что республиканские депутаты подозревали его, но до поры, до времени, избегая скандала, молчали; отношения между ними и Олливье

делались все более и более сухими и официальными. Общество же и подавно очень мало говорило о странных поступках и словах Олливье, ибо почти ничего об этом не знало; оппозиционные газеты никаким путем протестовать против шагов Олливье не осмеливались, боясь правительственных репрессий. Когда же в выборную кампанию 1863 г. республиканцы официально включили снова Олливье в число своих кандидатов, то подавно в широких кругах общества его республиканская репутация должна была только укрепиться. Но наступил момент, когда республиканские депутаты увидели, наконец, что покрывать поступки Олливье далее было бы совершенно недобросовестно с их стороны.

Тотчас после выборов, в июне 1863 г., герцог Морни пригласил к себе Эмиля Олливье и уже прямо предложил ему союз и дружбу с целью «при помощи демократии организовать свободу». Он и пояснил снова эту мысль: не пожелает ли Олливье вступить в кабинет, если образование министерства будет поручено герцогу Морни? Олливье сказал, что он изложит герцогу свои мысли о политике, но что без своей партии он в эту комбинацию не вступит. В ноябре того же 1863 г. Олливье эти свои мысли о политике представил герцогу Морни, но на сей раз нашел герцога «в унынии»: оказалось, что император уже отдалился от либеральных намерений, и сейчас ничего сделать нельзя! Так повествует Олливье [7]. Все это явственно сочинено post factum: и благороднейший отказ от министерства, и «уныние» Морни, якобы ничего не могущего поделать с консерватизмом императора, и едва ли не самое предложение со стороны Морни. Абсолютно невероятно допустить, чтобы герцог Морни мог в 1863 г. вести переговоры с Олливье *как с членом республиканской партии* о вступлении в кабинет; еще более невероятно было со стороны Олливье ставить свое согласие в зависимость от партии: разве не полнейшим абсурдом было бы ожидать, что партия даст такое позволение? И если Олливье все-таки ждал этого разрешения, то почему он ничего не сообщил своим товарищам о предложении герцога? Не проще ли предположить, что Морни, продолжая играть свою (легкую в данном случае) роль демона-искусителя, просто предложил Олливье вопрос, желая, как он любил это делать, окончательно позондировать человека: готов ли он уже теперь отречься от всей своей прошлой жизни и продать себя за министерский пост? Олливье и принялся писать свою «программу» в виде «мыслей» о политических вопросах; когда же он представил эту свою работу герцогу Морни, то герцог, узнавший то, что ему нужно было узнать, сослался на консерватизм императора, ибо, повторяем, империя в эти годы еще так сильна, что для нее покупка Эмиля Олливье *тогда* являлась больше прихотью, щегольством, чем политической

необходимостью. Удостоверившись в его готовности, они и дали ему понять, что до министерства пока еще далеко. Олливье, во всяком случае, немного обиделся. Герцог Морни, чтобы его утешить, по-видимому, предложил представить его императору: «Нет, ответил я ему, смешно идти с советами к тому, кто у вас их не спрашивает!»

Тем не менее, секретная дружба герцога с депутатом продолжалась. Герцог Морни был опять назначен (императорской властью) президентом Законодательного корпуса, и направление законодательных трудов зависело всецело от него, тем более, что и на министров он имел огромное влияние вследствие личной дружбы и близости с Наполеоном III. В первую же сессию вновь избранного Законодательного корпуса (в сессию 1864 г.) правительство внесло законопроект об изменении статей закона, абсолютно запрещавших какие бы то ни было коалиции и соглашения между рабочими. Согласно правительственному законопроекту должны были быть разрешаемы такие рабочие коалиции и стачки, которые являются «мирными» по своим целям и методам действий, всякие же другие должны были по-прежнему караться. Эмиль Олливье заявил герцогу Морни, что необходимо пойти дальше и вовсе отменить старые статьи закона. На это герцог ответил советом Эмилю Олливье — постараться попасть в комиссию, где герцог всячески будет ему помогать, и потом стать докладчиком этого законопроекта, измененного согласно видам Олливье. Одним ударом достигались две цели: безопасной уступкой подновлялась в глазах рабочих масс старая бонапартистская легенда о Наполеоне III как о покровителе рабочего пролетариата и *республиканец* Олливье выступал пред всей Францией в роли докладчика правительственного (хотя бы и в новой редакции) законопроекта. Притом можно было надеяться, что во имя «демократизма» законопроекта республиканская партия протестовать не будет против такой роли Эмиля Олливье, и получится картина примирения республиканцев с империей или хоть иллюзия «первого шага». И все это покупалось очень дешевой ценой: даже ни одним портфелем не нужно было пожертвовать. Олливье попал в комиссию и изо всех сил стремился стать докладчиком. В комиссии решено было отменить законы, облагавшие наказаниями всякое соглашение, всякую стачку между рабочими, и взамен представить законы о наказании за попытку нарушить «свободу труда». Всякий, кто путем угроз или насилия будет препятствовать другому работать, наказуется тюремным заключением сроком от шести дней до трех лет и штрафом от шестнадцати франков до трех тысяч; сверх того, если преступление совершено вследствие соглашения между несколькими лицами, виновные, по отбытии наказания, отдаются под надзор полиции

сроком от двух до пяти лет. Далее. Слово «бойкот», конечно, еще не существовало тогда, но явление было прекрасно известно, и комиссия решила обложить наказанием всех авторов и участников всякого коллективного «морального интердикта», направленного против нарушителей стачки и мешающего работе: виновные в такого рода моральном давлении на нарушителей стачки подвергаются тюремному заключению от шести дней до трех месяцев и штрафу от 16 до 300 франков. Такова была репрессивная сторона законопроекта, «либерализм» же его заключался в том, что соглашения между рабочими и стачки становились дозволенными и преследовались не стачечники, *как таковые,* а лишь те из них, кто тем или иным способом пожелает препятствовать работе товарищей, не примкнувших к соглашению.

Конечно, и это было некоторым шагом вперед, сравнительно с предыдущим законодательством, хотя шагом чрезвычайно робким и нерешительным. Следует заметить, что товарищи Олливье по партии (с Жюлем Симоном во главе) были в огромном большинстве типичнейшими буржуазными политиками во всем, что касалось рабочих и рабочего вопроса. Нужны были десятилетия, чтобы уже Третья республика принялась, нехотя, за рабочее законодательство; нужно было смениться нескольким поколениям, чтобы средний французский республиканец привык к мысли, что у государства и у предпринимателей относительно рабочих имеются не только права, но и обязанности, и что у рабочих могут быть не только обязанности, но и права. Не социально-экономическое значение законопроекта, но его непосредственный политический смысл — вот что стояло на первом плане у оппозиции (так же, как и у правительства, этот проект внесшего). Этот смысл заключался в том, что, во имя бонапартистской агитации, правительство становилось в позу друга рабочих и проделывало все это при видимом одобрении главных своих противников, республиканцев, ибо Эмиль Олливье все-таки продолжал считаться республиканцем. Поэтому с момента, когда благодаря герцогу Морни Олливье был выбран правительственным большинством комиссии в докладчики, республиканские депутаты, наконец, открыто выступили против него. Начал кампанию Жюль Симон. Почва была благодарнейшая: Жюль Симон еще в комиссии указывал, что не нужно создавать никаких специальных репрессий, а держаться почвы общего законодательства (относительно угроз и насилий против непримыкающих к стачке). Жюль Фавр поддержал Симона, но Олливье старался сделать все от него зависящее, чтобы убедить Фавра в своей правоте и чистоте. Между тем и в оппозиционных газетах началась правильная атака против Эмиля Олливье: на почве несовершенств выработанного при его содей-

ствии и защищаемого им законопроекта на него можно было нападать, не боясь цензурных кар. Долго сдерживаемое раздражение против Олливье вырвалось наружу. Его бывшие друзья стали совсем холодны, встречали его с угрюмыми либо с ядовито улыбающимися лицами; те, с которыми он заговаривал, только вздыхали или высказывали печальные предположения, «сдержанно порицали» его «смелость».

Но докладчик не смущался; запершись на несколько недель дома (уже перед самым заседанием), он готовил свой доклад «с ясностью духа,— говорит он,— которую... черпал в спокойствии своей совести». Жюль Симон, Гарнье-Пажес уже не сомневались, что он предаст республиканскую идею в самом скором времени; Жюль Фавр и Пикар еще относились к нему с несколько большим доверием. Новые друзья, с министром Руэ и герцогом Морни во главе, были полны предупредительности и ласки. При таких условиях началась генеральная битва 27 апреля 1864 г.

Первые оппоненты были с консервативной стороны, полагавшие, что не следует отменять закона, воспрещающего безусловно всякие стачки, уже потому, что с самого 1791 г., когда этот закон создан, все режимы, все правительства его сохраняли, находя его безусловно нужным для процветания промышленности и спокойствия общества; они высказывали опасение, что при свободе стачек явятся агитаторы, которые сделают устройство стачек своей специальностью и т. д. Отвечать этим противникам было очень легко, и если Эмиль Олливье попросил сейчас же слова (до того, как выступили республиканцы), то не затем, чтобы ответить противникам справа,— бесконечно выгодным правительству в данном случае, ибо они своими речами оттеняли императорский «демократизм»,— а чтобы уже наперед скомпрометировать ожидаемых противников слева. «Не хорошо отказываться от прогресса,— восклицал Олливье,— под предлогом, что прогресс этот не совершенен. О! Я знаю эту теорию, я читал о ней в «Мемуарах» Малле-Дюпана. Это — теория пессимизма; она заключается в следующем: когда какое-нибудь правительство не нравится в принципе, то вместо того, чтобы подобно всякому честному и здравомыслящему человеку одобрять хорошее и порицать дурное, согласно этой теории нужно все критиковать, на все нападать, особенно на хорошее, потому что хорошее может принести пользу тем, кто его делает. Так действовали эмигранты, когда вместо того, чтобы остаться в стране, вместо того, чтобы идти в собрания, идти в секции и там препятствовать владычеству дурных людей, они отправлялись за границу, надеясь облегчить триумф этих дурных людей, триумф, который уже ввиду своих крайностей должен был (по расчетам эмигрантов) повлечь за собой их, эмигрантов, успех. Так

слишком часто действовали партии, которые у нас сменяли друг друга. И что же остается в нашей стране после стольких волнений? Много развалин, много красивых и великих речей — и нет у нас свободных учреждений; и все мы, каково бы ни было прошлое (нашей партии), принуждены часто сожалеть, что не поддержали добронамеренных людей, которые в одно время носили имя Ролана, в другое время Мартиньяка, а позже будут называться иным именем; мы принуждены сожалеть, что не приняли частичных реформ, которые они нам предлагали, и что мы слишком многим пожертвовали в угоду неумолимой нашей личной неприязни. Я не принадлежу к этой школе; я не пессимист; я принимаю добро от всякой руки, от которой оно исходит; я никогда не говорю: все или ничего, это — бунтовская максима; я говорю: понемногу ежедневно, довлеет дню злоба его, сегодня закон о коалициях, завтра — закон об ассоциациях... Я не ограничиваюсь критикой того, чего мне не достает. я благодарю за то, что мне дают».

Правительственное большинство палаты устроило овацию Эмилю Олливье за эту речь. В следующем заседании против Олливье выступил Жюль Симон. Смысл речи Жюля Симона заключался в том, что правительство желает обмануть рабочих, обещая им на бумаге право стачек, а в действительности делая всякую стачку невозможной в виду репрессивных пунктов законопроекта. Сказав все это, он сделал ни к чему не обязывающую оговорку: «Я не сомневаюсь в совершенной искренности членов комиссии, но они ошиблись». Эти слова как бы устраняли обвинение, что докладчик Эмиль Олливье сознательно помогает правительственному обману, но обвинение это возвращалось в следующей фразе Жюля Симона: «Люди начинают входить в компромисс с затруднительного положения. Да сохранит нас бог от того, чтобы мы от компромисса с затруднительностью положения когда-либо бросились к компромиссу со своей совестью». Следующий республиканский оратор Гарнье-Пажес говорил еще прозрачнее: «Вы, разумеется, не хотите, вы очень далеки, и комиссия, и правительство очень далеки от мысли расставить западню кому бы то ни было, но я вас удостоверяю, что ваш закон есть мнение западни». Это смешение воедино — Эмиля Олливье и правительства — в устах непримиримого врага и ненавистника империи могло иметь только один смысл. Затем выступил самый яркий оратор республиканцев — Жюль Фавр.

Жюль Фавр протестовал против закона тоже потому, что считал его совершенно противоречивым: наказуемость морального воздействия рабочих против нарушителей стачки, казалось ему, сводит к нулю все значение принципиального разрешения, легализации самой стачки, ибо каким же путем рабочие будут

эту стачку проводить, если запрещено то, без чего стачка невозможна? Но так как и для Жюля Фавра главное было не в законопроекте, а в докладчике, то интерес и его речи весь сосредоточился на критике взглядов, высказанных Эмилем Олливье. «Нет в этой палате,— сказал Жюль Фавр,— столь дурно направленного ума, столь заблуждающегося сердца, чтобы проклинать добро только потому, что это добро может принести пользу правительству, противником политики которого является тот или иной человек; но, если правильно то, о чем нам так сурово напомнили,— именно, что пессимисты могут всему помешать,— зато, с своей стороны, я не доверяю легким хвалителям, которые могут все разрешить; и именно потому, что таково происхождение — по моему — закона, который мы теперь обсуждаем, мы не можем дать ему нашего одобрения. В политике существуют две школы: школа принципов и школа уловок, и мы также знаем, что общественная совесть не ошибается относительно них».

Это уже всецело было направлено против Эмиля Олливье, который в ответной большой речи «своему красноречивому другу», как он называл Жюля Фавра, старался подчеркнуть свою добросовестность и искренность. «Воспретить работу себе самому — есть акт свободы; запретить работать другим — есть акт тирании; новый закон разрешает акт свободы и наказывает акт тирании». Вот в чем, по мнению Олливье, заключался смысл нового закона, тогда как до сих пор каралось даже одно только добровольное соглашение нескольких лиц прекратить работу с целью добиться тех или иных уступок от предпринимателя; вот почему закон этот очень выгоден для рабочих, а вовсе не есть западня. Касательно же того, почему насилия и угрозы при стачке должны быть обложены специальными, более тяжелыми наказаниями, докладчик ограничился трогательной картиной, как стачечник бьет штрейкбрехера, имеющего «жену и детей в мансарде», и не сказал абсолютно ничего убедительного по существу. Но он напрасно думал отделаться от еще не вполне для него своевременного разрыва с партией такими невинными словесными украшениями, как частое повторение «мои друзья» (относительно республиканцев), и изумительно мягким и примирительным тоном в ответ на их больно задевавшие нападки.

В третьем заседании Жюль Фавр жестоко обрушился на те пункты законопроекта, которые трактовали об отдаче осужденных стачечников под надзор полиции после отбытия наказания. «Если эта статья будет одобрена,— воскликнул он,— то она оживит исключительные законы, к признанию которых ваш почтенный докладчик не всегда столь снисходительно присоединялся». Он напал также на неясность и растяжимость

формул, дававших простор произволу (подобно большинству законов империи), и в полной ярости, «позеленевший и ужасный», Жюль Фавр закончил: «Вы вносите путаницу и моральный беспорядок. Нужно, чтобы всякий обладал мужеством иметь свое мнение». Тут его прервал кто-то: «Мы все обладаем этим мужеством». Тогда Жюль Фавр опять заговорил: «Мы протестуем против двусмысленности; никто двусмысленности не желает, и именно поэтому мы требуем, чтобы всякий объяснился, так как в этих стенах были произнесены слова, которых мы не забывали, так как тут обращаются к дружеским чувствам, которые относятся к лицам, но не могут ничего изменить в мнениях; мнения же остаются сегодня те же, что были и накануне. Необходимо, чтобы нам сказали, каким образом покидаются теперь эти прежние мнения и предлагается то, что абсолютно им противоречит». Когда Эмиль Олливье поднялся, чтобы ответить, герцог Морни, давая ему слово, просил его ограничиться возражениями по существу и заявил по адресу Жюля Фавра, что «никто не имеет права спрашивать у товарищей отчета об их мнениях». Всем этим он желал облегчить докладчику выход из весьма щекотливого положения. Олливье ухватился за это. С видом человека оскорбленного, но презирающего обидчиков, человека, не желающего заниматься в сущности крайне легким будто бы для него истреблением врагов, чтобы не тормозить дела — с той симуляцией искреннего чувства, которая была ему свойственна в критические мгновения,— Эмиль Олливье заявил, что «одна из привилегий правды — есть спокойствие» и что поэтому, каково бы ни было его «горестное удивление» по поводу выслушанных слов, но он будет говорить лишь по существу. По существу же было повторение уже раньше сказанного. Закон прошел большинством 222 голосов против 35: правительственное большинство было за Эмиля Олливье, оппозиция против. Секреты Олливье и его тайных собеседников стали выясняться.

IV

После заседания Олливье и Жюль Фавр уже не раскланивались. Защитники у Эмиля Олливье еще некоторое время находились; все-таки не все и не всем пока было вполне открыто, а газеты тоже не смели говорить вполне определенно то, что многие из их сотрудников поняли после прений по закону о стачках. Уличная и очень распространенная газета Жирардена «La Presse» яро защищала Олливье и нападала на Жюля Фавра и других его врагов. Но все-таки нападения становились частыми и колкими. Вместе с тем люди правительственного лагеря, с беспокойством усматривая в умном и бойком прозе-

лите соперника по части дележа благ земных, относились к нему совершенно не по-товарищески. «Империалисты... не защищали меня или высмеивали; люди оппозиции рвали меня в куски; только и говорили, что о моем отпадении, меня забрасывали ругательными письмами». Его сравнивали с Иудой и указывали на то, что Иуда в конце концов удавился. Письма лишь пускали в ход выражения, которые не смела употреблять подневольная пресса; смысл был в общем тот же.

Олливье говорит, спустя 40 лет, что он спокойно относился ко всему этому, не утрачивая ясности души, так как он был в полном мире со своей совестью. Мы в этот темный вопрос вдаваться и не будем. Некоторые историки в виде одного из аргументов в пользу тезиса, что первый самозванец искренно верил в свое царское происхождение, приводят такое соображение: этому человеку очень уж трудно было бы так долго выдержать роль, сделать из всего своего существования сплошной обдуманный обман. Можно быть какого угодно мнения об Эмиле Олливье, но ничего не дает нам права и в нем предположить такие огромные силы, которые позволили бы ему сделать из всего своего существования сплошную игру, притом многолетнюю, где он совершенно сознательно считал бы себя лишь загримированным актером и вполне умышленно каждым своим словом обманывал публику, тех, кого покидал и тех, к кому переходил. Он, несомненно, был честолюбцем прежде всего и больше всего; он считал империю незыблемо прочной и думал и высказывал, что непримиримая позиция республиканской партии осуждает и партию и его, пока он в ней числится, на бездействие и прозябание; его идеалом было бы примирить партию с империей, но он понял безнадежность предприятия и выступил на эту дорогу один. «Интеллект» тотчас же подыскал и теоретическое оправдание для тенденции «воли»: невозможность демократизировать и освободить Францию иначе, как в союзе с империей. И Олливье ухватился за это оправдание, и более чем вероятно, что действительно в конце концов в это уверовал, убедил себя,— и теперь, через сорок лет — кто знает? Может быть, он и в самом деле думает, что не честолюбие, а именно эта политическая идея определила его участь? Может быть, ему и в самом деле не приходит в голову, что для посторонних все-таки останется, в случае такого предположения, совершенно неясной таинственность его сношений с правительством, отсутствие смелости высказать гласно и открыто свой новый символ веры, отсутствие попыток вести открытую пропаганду в обществе в этом направлении, неизменно любезное и кроткое отношение к правительству, особенно пока оно было сильно, хотя бы правительственные акты самым решительным образом мешали идеям Олливье осуществиться и т. д. и т. д. Но нас мало

интересует тут моральная сторона вопроса; мы видели, как произошел разрыв между Олливье и его партией, посмотрим теперь, как встретились они врагами.

Даже самый интимный друг Олливье, Пикар, больше всех и дольше всех его защищавший, не веривший никаким слухам, в конце концов отвернулся от него и перестал его узнавать при встречах; вне палаты также, хоть и сравнительно медленно, вокруг Олливье делалась пустота.

Отказавшись от своего прошлого, порвав связи, долгие годы создававшиеся и укреплявшиеся, Олливье предался размышлениям: как ему держать себя теперь. У него так и называется особая глава в истории этого периода: «Méditations personnelles». Попробовать опять занять место в республиканском лагере — он ни минуты не думал, так как партия именно и отреклась от него, не желая следовать по пути, который он считал единственно правильным. С другой стороны, правительственное большинство тоже не прельщало Олливье: «оно презирало бы меня, если бы я смешался с его стадом»,— размышлял он. «Но я не был доведен ни до одной из этих двух крайностей,— продолжал он размышлять далее: — со времени моего соглашения с Морни я опирался на могущественного помощника, к которому я питал полное доверие. Я бы продолжал свое либеральное начинание один, без него, даже против него, насколько же сильнее укреплялся я в решимости продолжать это дело с его помощью. Итак, я провел эти несколько месяцев (каникул) в полном спокойствии человека, который не сожалеет о том, что сделал и нисколько не сомневается относительно того, что он сделает». Тут Олливье явственно выдает одну из основных роковых ошибок всей своей политической карьеры: он считал империю незыблемо прочной и всемогущей, и ему суждено было до конца карьеры пребывать в этом заблуждении. Судьба готовила ему нечто вроде предостережения.

Пред началом сессии 1865 г. он побывал у Морни, и герцог порадовал Олливье известием, что император и Руэ оба очень довольны им. Они условились, что Олливье опять должен выступить докладчиком по какому-нибудь важному законопроекту. Морни по-прежнему держался удобной тактики: он говорил о необходимости либеральных реформ, о сформировании либерального кабинета, и вместе с тем все грустил, что император противится этим благим начинаниям. Заходила речь и о назначении Олливье министром, но все это было как-то вскользь. Все-таки Олливье всякому слуху о мнимом начинающемся либерализме высших сфер придавал огромную важность; в Морни он уже давно был уверен.

Вдруг герцог Морни заболел и неожиданно для всех 10 марта 1865 г. скончался. После императорской четы об этом чело-

веке больше всего горевали реакционер министр Руэ и либерал Эмиль Олливье. Руэ повторял: «Он был головой, а я — рукой, как же я буду действовать теперь?» А Эмиль Олливье видел в смерти герцога «крушение всех политических планов, готовых уже осуществиться». Конечно, нечего и говорить, что Руэ говорил истину, а Олливье — фантазировал. Первый работал, а второй только разговаривал с герцогом Морни.

Итак, случайно рухнула твердая стена, о которую хотел опереться раскаившийся республиканец, не любивший ни большинства, ни меньшинства в Законодательном корпусе. Оставалось стучаться в другие двери. Олливье заводит более тесные сношения с принцем Наполеоном и занимается с ним либеральными комбинациями и выработкой ближайшей программы; Олливье встречается с министром народного просвещения Дюрюи и пускается с ним в откровенности, говорит об императоре «с восхищением и признательностью»; говорит министру «многозначительно»: «Еще один закон вроде закона о коалициях — и рабочие лет на пять перестанут заниматься политикой»; считает своим долгом заявить министру о своем вчерашнем товарище по партии: «Как жаль, что г. Жюль Симон проституирует свой талант, льстя страстям»; дальше Олливье показал себя решительным сторонником твердой власти («с императором Наполеоном во главе нас») и «мудро демократичным». Обо всех этих изъяснениях Эмиля Олливье Дюрюи немедленно дал знать, конечно, императору, для которого они предназначались. Последствий все эти выходки пока не имели.

Человек самолюбивый, человек, не желавший ни «льстить страстям», будучи в оппозиции, ни смешаться «со стадом» большинства, Олливье и не заметил, как очутился в положении деятеля, жаждущего улыбки свыше, ибо без этой улыбки он — ничто. И читая страницу за страницей, том за томом эти мемуары, мы вполне понимаем, что это случилось незаметно и как-то само собой: мы сами не можем, читая, уследить, как развивался этот медленный, но непрерывный процесс в отношениях между Олливье и двором, не можем именно потому, что перед нами как бы развертывается длинный свиток, где жизнь Олливье рассказана чуть не день за днем. Он обманывается или обманывает мало сведущих читателей, когда уверяет, будто его речь в начале сессии 1865 г. ожидалась всеми с нетерпением. Напротив, кроме Жирардена и бонапартистских органов нигде и ни в ком особого интереса это его выступление, по-видимому, не возбудило. Он определился почти вполне; и если не все, то большинство его бывших друзей знали, для кого и зачем он будет говорить. Олливье высказал почтительную грусть по поводу смерти герцога Морни, президента Законодательного корпуса, затем воздал должное какому-то либерализму.

который он усмотрел в некоторых действиях правительства, и, наконец, полемизировал с мнением оппозиции, что правительство «не только не приближается к свободе, но удаляется от нее».

Было также высказано им туманное по форме, но необычайно ясное и всем понятное по существу политико-философское соображение: «...демократии, столь могущественной, но и столь неопытной, как наша, необходима, как противовес, энергичная и концентрированная власть». Вся речь была усеяна почтительными приглашениями правительству вступить на путь реформ. «Я не колеблясь заявляю громко с сегодняшнего дня, что мое самое искреннее, самое пламенное желание заключается в том, чтобы правительство императора укрепилось свободой. Я думал некоторое время, что образ правления в высшей степени важен и что этот вопрос главенствует над всеми другими: это была ошибка. Лучшее правительство есть то, которое существует,— с того времени как нация его приняла». Ибо если, «к несчастью», вопрос о прогрессе люди подчиняют вопросу о форме правления, то приходится прибегать к революционным средствам.

А революционными средствами Олливье, как он категорически поспешил заявить, считает не только восстания и насилия, но также опорочение (правительства), преувеличение обид, умаление того, что клонится к исправлению зла, «критику с целью лишить уважения, а не исправить» и «тысячу маневров» в таком роде. Это уже было со стороны бывшего республиканца такое расширение понятия о революционности, к которому могла лишь с восторгом присоединиться самая реакционная группа наполеоновского двора. При таких заявлениях все либеральные пожелания и ожидания, сказывавшиеся в этой речи, должны были истинным либералам (не говоря уже о республиканцах) показаться словесными побрякушками, лишенными всякого реального содержания; Олливье упоминает, правда, будто Жюль Фавр хорошо отозвался «об ораторе, если не об его доктрине». И это могло быть. Олливье говорил, как оратор, очень хорошо. Зато доктрина очень понравилась императору, который об Олливье, наконец, отозвался благосклонно.

Республиканцы в эту сессию старались возможно решительнее подчеркнуть всю непримиримость своей позиции, насколько это вообще было возможно при драконовском регламенте и чрезвычайно обидчивом новом председателе (Шнейдере), назначенном после смерти Морни. Им как будто не терпелось оправдаться пред обществом в своем долгом молчании и «попустительстве» Эмилю Олливье. А для него «идея» окончательно сосредоточилась на жажде поскорее стать лицом к лицу с единственной, по его суждению, реальной силой, руководившей де-

лами. И это ему удалось, хотя этот первый шаг не повлек за собой никаких непосредственных последствий.

Удалось Эмилю Олливье сначала пробраться в какую-то комиссию по улучшению быта малолетних преступников. Дело было не в комиссии и не в малолетних преступниках, а в императрице Евгении, которая все это затеяла после случайного посещения Рокетской тюрьмы. Попав туда, попал он и на частную аудиенцию к императрице, а у императрицы увиделся, наконец, и с самим Наполеоном III. Разговор зашел о разных предметах. Наполеон III спросил у Олливье, каково настроение рабочего класса (неизвестно почему полагая, что тот может это знать). Олливье настроения рабочего класса, конечно, не знал, но зато знал истинно придворным инстинктом — хотя впервые был во дворце,— что именно ему следует сказать. Он ответил, что со времени закона о коалициях антидинастические чувства рабочих уменьшились, но что возрастают требования свободы. Затем Олливье пишет, будто он говорил императору о вреде официальных кандидатов и о свободе печати. Защита свободы печати была на этот раз довольно своеобразна. Он сказал о вреде системы предварительных разрешений на издание и предостережений за провинности и тут же добавил: «Правительство вашего величества более либерально, нежели ваше величество предполагаете. В действительности свободы не достает в провинции, но в Париже пресса имеет достаточно свободы, чтобы делать вам все зло, какое возможно» и т. д. Не надо забывать, что пресса была тогда подавлена, но за ней была серьезная вина: она не переставала (в лице независимых органов) преследовать, насколько было возможно по цензурным условиям, Олливье за его перемену, которая прозрачно квалифицировалась, как предательство. И «защита» угнетенной прессы пред лицом угнетателя вышла в устах Олливье достаточно страстной по тону. Оба собеседника чрезвычайно пришлись друг другу по вкусу. Император сказал между прочим: «Г. Эмиль Олливье не есть, как меня хотели уверить, честолюбец; довольно его видеть одно мгновение, чтобы убедиться, что это — человек честный, человек убежденный». И уже придворная атмосфера, как вино у непривычного человека, ударила в голову Эмиля Олливье: уже он трепещет от удовольствия, когда Евгения ему протягивает карандашик, уже он польщен, что император говорил с ним, молчал при нем, вставал, ходил, сидел — все это важно и значительно в его глазах, монарх его гипнотизирует и становится для него магнитом.

«Он продается, а его все не покупают»,— в таком роде иронизировали враги Эмиля Олливье. Но, во-первых, ему казалось, что он не продается, а отдает свои таланты империи, если империя согласится с его программой, так он себя убедил; а во-вто-

рых, его пробовали купить уже в эти годы. Дело в том, что его приняли за слишком уж обыденного политического авантюриста, который за деньги мгновенно пойдет на что угодно. А Олливье, если даже допустить самый беспощадный над ним приговор, все-таки был потоньше и посложнее. Министр Лавалетт предложил ему от имени каких-то неясных «банкиров или капиталистов» основать большую газету; на это отпускалось $1^{1}/_{2}$ миллиона франков, а жалованье Эмилю Олливье назначалось в 40 000 в год. Императрица Евгения была умнее Лавалетта,— она уже раньше сказала по поводу этого плана: «Он не согласится». И, действительно, Олливье отказался. Он хотел власти, а не денег, но в 1866 г. империя еще крепилась, и Олливье напрасно ждал приглашения в Тюильери.

Император, открывая сессию 1866 г., произнес тронную речь, в которой давал решительный отпор всем либеральным поползновениям и ожиданиям. Олливье ставит как бы в заслугу себе твердость своих убеждений касательно империи, даже в эти тяжелые для его оптимизма времена. Как будто он мог уже сойти с этой дороги, как будто он не зависел теперь всецело от капризов людей, к которым он перебежал! «Политика Мирабо,— пишет Олливье,— очищенная от всего, что ее компрометировало, есть единственная, какую подобает усвоить во всех странах, где новые идеи борются с монархом, который им противится. Есть предприятия, которые необходимо пытаться осуществить, даже если вероятен неуспех». И Олливье продолжал осуществлять свое «предприятие». Он еще раз виделся с императрицей и убеждал ее в пользе либерализма для империи. Он все подчеркивал необходимость для империи «привлечь к себе молодежь», которая, сказал он «не будет у вас, если вы не дадите ей возможности прийти к вам, сохраняя свое достоинство».— «Вы правы,— *с живостью* сказала императрица: — те, которых приобретаешь, заставляя их утрачивать свое достоинство, ни к чему не нужны». Что это было в последней фразе? Ядовитая ирония по адресу собеседника? Ведь он-то «пришел» к империи *до* того, как была дана (по его же словам) возможность прийти к ней, сохраняя свое достоинство? Или это не имело такого смысла, и нужно было больше верить банальному приветствию, которым потом закончилось свидание?

Руэ и реакция были всемогущи, на Олливье не обращали во дворце никакого внимания, время от времени отделываясь небрежными комплиментами, передаваемыми через третьих лиц. Мало того: Руэ, явный враг «идеи» Олливье, считал возможным ни в малейшей степени не считаться с ним и третировал его иной раз довольно заметно. Для роли Мирабо Эмилю Олливье решительно недоставало «революции», которую он так ненавидел. В эти годы он сделал было попытку образовать свою

партию в Законодательном корпусе, и об этой «попытке» даже поговорили. Но и партия эта и весь Законодательный корпус — все это было для Олливье — психологически — то же самое, приблизительно, что, например, комиссия о малолетних преступниках, посредством которой он познакомился с императрицей: все это были средства и уловки обратить на себя внимание, попасть в советники к императору. И вот грянул, наконец, гром над империей — и Олливье решил, что его час приближается. В общем он в этом отношении не ошибся, хотя и слишком предвосхищал события.

V

1868 год нанес страшный удар Наполеону III. Политика Бисмарка восторжествовала на всех пунктах, создание Германской империи стало наполовину совершившимся фактом, грозный враг возник по соседству с Францией — и ни малейшей компенсации вследствие длинного ряда промахов французский император не получил. Даже лица, не имеющие никакого касательства к дипломатическим делам и к внешней политике, понимали, как сильно пошатнулось международное положение Франции. Трагическое фиаско нелепой мексиканской авантюры и расстреляние наполеоновского ставленника и вассала, Максимилиана, в 1867 г., возбудили уже довольно громкий ропот. Многомиллионные убытки, полнейшая бесцельность всей экспедиции, гибель массы жизней, позор неудачи — все это было предметом беспрерывных толков во Франции и в остальной Европе. Что было для империи хуже всего,— крупно-капиталистическая буржуазия стала сильно беспокоиться: личный произвол и авантюризм во внешней политике оказывались на взгляд людей этого слоя гораздо нестерпимее и опаснее, нежели в политике внутренней. В буржуазии начинался разброд, «красный призрак» рабочего восстания слишком долго пускался в ход и уже не особенно пугал, ибо в него и на сотую долю в конце 60-х годов так не верили, как за 20 лет до того. Конечно, до революционного подъема было еще не близко, но уже беспокойство и раздражение сильно ощущались. Рабочие были молчаливым сфинксом, таившим для империи неприятные неожиданности, и вместе с тем, этот сфинкс уже не выполнял так успешно той роли, которая ему была предназначена Наполеоном III. Буржуазия о нем думала теперь мало, и передовой ее отряд — республиканская партия — не переставал указывать, что главный враг «национального спокойствия» сидит в Тюильери, а не в Сент-Антуанском предместье. Об этом *говорилось*, ибо печать все еще продолжала находиться в совершенно подневольном положении.

Престиж империи пошатнулся, и это почувствовалось мгновенно в области и внутренних и внешних дел. Хаос и произвол — вот как характеризуют положение вещей в 1866 и следующих годах и Олливье и другие современники. Министры противоречили друг другу, и, например, за две статьи, анонимно помещенные одним министром в газете, этот орган получил два предостережения от Персиньи, министра внутренних дел. Машина скрипела, и здание давало заметные трещины. И вот Олливье, который, казалось, уже вышел из поля зрения императорского двора и был забыт, получает записку от Валевского (нового президента Законодательного корпуса) с приглашением пожаловать. В беседе с Олливье Валевский намечает ряд либеральных реформ: 1) министры отныне будут присутствовать на заседаниях Законодательного корпуса и давать разъяснения; 2) депутатам будет дано право интерпелляции; 3) закрытие газет будет зависеть от государственного совета. К этому сводилось главное. А затем, заявил Валевский («глядя мне в глаза и отчеканивая каждый слог»): «Я вам скажу, что император поручил мне предложить вам министерство народного просвещения, с командированием вас вообще в палату, в качестве правительственного оратора». Олливье обещал, после нескольких стыдливых запирательств, «подумать». Он, между прочим. осведомился, кого же ему дадут в качестве коллег, но собеседник ответил, что император еще не решил.

Олливье, спустя день, прислал письмо, в котором не говорил ни да, ни нет; из «либеральных условий» он мягко просил «прекращения произвола, тяготеющего над прессой и учреждения для нее какого-либо режима законности». Император принялся размышлять. Олливье говорит, что пока и он тоже размышлял — и вдруг решил отказаться от портфеля! Тут — явный «пропуск»: совершенно несомненно, что император не только «размышлял», но и дал понять, что Олливье ему еще не столь нужен, как самому Олливье это было показалось. Ибо дальше произошло нижеследующее: когда «отказ» Олливье был получен, то Валевский предложил ему повидаться с его величеством: «...но если вы не измените вашего решения, то это свидание излишне»,— добавил Валевский. И Олливье мгновенно ухватывается за предложение аудиенции и идет во дворец; во всем этом явственно нет ни складу, ни ладу, если поверить Олливье, будто бы он первый отказался, а не император ему отказал. Валевский же, очевидно, пожелал попытаться уладить все путем аудиенции, так как он пессимистичнее Наполеона III смотрел на положение вещей и приобретение Эмиля Олливье ему казалось более нужным, нежели оно казалось его государю.

10 января 1867 г. Олливье вошел в императорский салон Гипнотическая сила близости царствующего лица всегда подав-

ляла нашего бывшего республиканца. Вспомним, что говорят и историки и современники о том, как эта сила сказывалась на людях с бесконечно более сильной головой и волей, вроде лорда Четама (Вильяма Питта старшего[8]): «...лорд Четам,— самый высокомерный и самый надменный из английских государственных людей и чуть ли не первый английский государственный человек, ставший у власти, вопреки желаниям короля и аристократии, первый народный министр. Мы могли бы ожидать, что гордый народный трибун будет высокомерен и в сношениях со своим государем, будет с королем таким же, каким был и со всеми другими. А он, напротив, оказался рабом своего собственного воображения. Монарха окружало какое-то мистическое очарование, которое делало Четама другим человеком». «Стоит ему только заглянуть в кабинет короля,— говорил Борк,— и он уже охвачен упоением, и так будет до конца его жизни...» Говорил, что «даже при королевском выходе Четам кланялся так низко, что между ногами был виден кончик его крючковатого носа». Олливье поддавался этому чувству еще более. Он не был Четамом и, кроме того, всю свою политическую жизнь сам поставил в полнейшую зависимость от милости или немилости Наполеона III. И по самому смыслу событий всегда так выходило, что Олливье себя предлагал, а император медлил брать, хотя Олливье и полагает, что он может смягчить это впечатление читателя, если присочинить, спустя 40 лет, длинные речи от своего имени, речи покороче от имени императора. Этот геродотовский прием пускается им в ход необычайно аляповато. Олливье выступает вечно не то в роли маркиза Позы перед Филиппом II, не то в виде Якова Долгорукого пред Петром Великим, а император вечно задумывается над благородными откровениями своего либерального собеседника, повторяет все: «c'est vrai, c'est vrai!» и т. д. Так вышло и тут. Якобы в конце беседы император спросил: «А вы? Мне сказали, что вы не считаете возможным принять участие в делах (т. е. в министерстве — *Е. Т.*)?» На что Олливье разразился неясной, но самоотверженной тирадой. Император моментально ею удовлетворился и уже не настаивал. Во всяком случае Олливье вынес убеждение, что готовится либеральное выступление со стороны правительства, и он называл это «победою» своей «политики».

Действительно, 20 января 1867 г. появилось подписанное накануне «письмо» императора. В «письме» намечалось дарование Законодательному корпусу права интерпелляции и присутствие министров во время заседаний, но подчеркивалось при этом, что «никакой министерской солидарности конституция не допускает и каждый министр зависит единственно только от главы государства», намечалась также передача преступлений по делам печати в руки судов исправительной полиции и ста-

вился на очередь вопрос о законодательном урегулировании права собраний «в границах, требуемых общественной безопасностью». Это письмо страшно перепугало и раздражило двор и крайних реакционеров. Впрочем, их вождь Руэ остался в министерстве, и уже это должно было показать, что фактически дела будут идти по-прежнему, несмотря ни на какие манифесты. «Если бы Эмиль Олливье был у дел, то это являлось бы гарантией искренности реформы»,— такие слова Олливье приписывает людям, «жалевшим» о нем. Но если это так (а он не опровергает этих слов) и если о нем можно было в 1867 г. «жалеть», то в чем же была *его* победа? И почему он полагает, что при этих противоречиях, при этой прорывающейся па каждой странице досаде неудачника читатель хоть на одну минуту поверит, что он сам отказался от портфеля, а не ему отказали? Он пишет, что «революционеры» называли его нераскаянным изменником, друзья Руэ считали его опасным человеком, а «остряки райка», видя, что Олливье остался все-таки вне министерства, а Руэ — в министерстве, забавлялись над тем, как Олливье одурачен. Сам же автор «записок» дает понять, что не были правы ни первые, ни вторые, ни третьи, но не поясняет. почему.

Намеченные «реформы» были проведены. Все это было весьма скудно и несущественно: например, самое важное право — право интерпелляции — было даровано с тем условием, что Законодательный корпус не имеет права вотировать *никакой* резолюции по выслушании прений, связанных с запросом, кроме *простого* перехода к очередным делам. А если палата отвергнет простой переход, тогда интерпелляция возвращается правительству, и на этом дело кончается, мотивированные же переходы к очередным делам — недопустимы.

Даже малоразборчивые друзья Эмиля Олливье, вроде его «единственного защитника» Жирардена, были возмущены тем. что Олливье без всяких оговорок поспешил с трибуны одобрить «либеральную» программу правительства, явно рассчитанную па мистификацию публики и не сопровождавшуюся ни малейшими принципиальными переменами в министерстве. Немного спустя, опытный газетчик Жирарден сообразил, что Олливье еще может пригодиться, и, смирив досаду, мотивировал поступок Олливье «преувеличенной лояльностью, которую легче объяснить, чем оправдать, избытком личного бескорыстия, доведенного до крайнего самоотвержения» и т. д. А прозрачная тайна Эмиля Олливье оставалась все той же: он должен все прощать, все оправдывать, смиренно принимать щелчки вроде неприглашения в министерство, глядеть в глаза императору, императрице, Руэ, ненавидящему его, как конкурента, он должен, всех опережая, вскакивать на трибуну, чтобы приветство-

вать «либеральные» реформы, которые по совести, как он признается, его не удовлетворяли,— и все это потому, что если он посмеет обидеться или рассердиться, то идти ему будет некуда: мосты сожжены. Положение его было не только обидное, как оно было бы и для всей оппозиции, если б оппозиция вступила на тернистый путь, на который вступил Олливье, но и вполне безвыходное, что могло случиться только вследствие его одиночества, вследствие того, что он рискнул пуститься в дорогу один, без партии.

Более ловкие, более умные и осторожные деятели никогда и нигде не делали и не делают таких опасных шагов; они предпочитают более медленный, но зато и лично для них более безопасный путь; они дожидаются курьера с приглашением из Тюильери в помещении своего партийного комитета, а не на частной своей квартире. Обиды для партии будут, долгие ожидания тоже, умильные заигрывания с властью тоже, но риск личной политической гибели зато исчезнет. Правда, может взамен того явиться риск политической гибели всей партии, но с этим уже ничего нельзя поделать. Qui ne risque rien — ne gagne rien.

Перейдем теперь к тому моменту, когда Эмиль Олливье пожал, наконец, скоропреходящую награду за все свои труды, за гибель своей репутации, за полное забвенье всех своих старых убеждений, старых традиций и старых друзей.

VI

Час Эмиля Олливье быстро приближался, но его честолюбию суждены были еще испытания. Расстрел Максимилиана (19 июня 1867 г.) произвел ошеломляющее впечатление при парижском дворе. В Законодательном корпусе Жюль Фавр, Тьер, Пикар произнесли ряд речей в неслыханном до сих пор тоне. Они горько обвиняли правительство в авантюризме, в ряде непонятных поступков, достойно увенчавшихся крушением мексиканской затеи и падением французского престижа в обоих полушариях. В ответе на все это Руэ лгал с изумительной готовностью, не задумываясь над извращением даже общеизвестных фактов. Оратор республиканской оппозиции Пикар между прочим назвал «ужасающим» то спокойствие, которое царило тогда во Франции, имея в виду, что это спокойствие таит бурю. Руэ очень высмеивал это выражение. «Спокойствие, о котором нам говорил г. Пикар с наивностью, какой я от него не ожидал, заключает в себе в одно и то же время и оправдание правительства, и осуждение оппозиции. Страна — не с вами. Страна смотрит на ваши нападки, как на пустое раздражение бессильной оппозиции». Дружный смех большинства приветствовал министра.

Это спокойствие, в котором столь уверены были Руэ и большинство Законодательного корпуса, стало весьма проблематично уже в следующем 1868 г. Республиканцы завоевывали себе сочувствие в кругах средней и мелкой буржуазии больших городов; во Франции и вне Франции стали очень много говорить об интернациональном обществе, стремившемся пробудить самосознание и революционное настроение в рабочем пролетариате. Эмиль Олливье не верил в революцию, но верил в то, что правительство испугается революционных симптомов больше, нежели они того заслуживают, и удалит Руэ. В этом «вице-императоре», как он первый его окрестил, Олливье усматривал едва ли не главного своего конкурента, мешающего ему войти в доверие при дворе. С конца 1867 г. во Франции не прекращался экономический и финансовый кризис; широкие круги буржуазии жаловались на фритредерскую политику императора, приписывая его произвольным действиям в этой области все зло. «Освобождение от произвола» — этот лозунг был провозглашен в 1868 г. Тьером именно по поводу торговой политики. Для сурового старика кризис, переживавшийся империей, мог оказаться полезным, если он побудит буржуазию потребовать, наконец, для себя права фактического контроля над действиями правительства. А для Олливье кризис мог оказаться полезным только, если император прогонит Руэ и пригласит его, Олливье, спасать отечество. Он, в ожидании, будировал против Руэ, но вяло и без успеха.

Пресса, избавленная, теперь уже по закону, от прежнего вполне безграничного усмотрения министерства внутренних дел, а еще более защищаемая возраставшим оппозиционным настроением общества, заговорила в 1868 г. с такой смелостью, от которой Франция со 2 декабря 1851 г. совершенно отвыкла. Появилось много новых оппозиционных газет, а 31 мая 1868 г. вышел знаменитый отныне орган Рошфора «La Lanterne». Начались преследования, и Рошфор бежал на время в Брюссель, но газеты, взявшие не столь уже личный и резкий тон относительно императора, остались и продолжали кампанию. Правительство, недавно столь грозное и беспощадное, теперь уже как будто начинал охватывать какой-то паралич. Прежнее почтение у тех, у кого оно было, исчезало, страх тоже исчезал, хотя и медленнее. Кризис внутренний, кризис внешний — все это оказывалось не под силу одряхлевшей машине. Против нее выступили люди, еще бессильные ее разрушить, но уже имевшие возможность серьезно обеспокоить ее охранителей. Делеклюз, чистый, благородный, фанатически настроенный революционер, был виновником первой антиправительственной манифестации: он устроил сборище на могиле Бодэна, народного представителя, убитого во время декабрьского переворота на баррикаде,

и он же организовал подписку для постройки памятника. Суд над Делеклюзом (по этому поводу) дал возможность его защитнику Гамбетте обратить свою речь в новый грандиозный протест против правительства.

Эмиль Олливье давно уже сознавал, что борьба против революционеров будет одним из могущественных рычагов его карьеры. И давно уже, и совершенно логично с своей точки зрения, он стал смешивать воедино всех, не желающих «искренно» помириться с империей, и всех их причислять к революционерам. Остановки на той дороге, по которой давно уже одиноко шагал Эмиль Олливье, не было и быть не могло: еще в 1863 г. он мог, глядя налево от себя, в Законодательном корпусе говорить «mes amis», но с тех пор эти левые «друзья» с каждым годом становились в его глазах все злокачественнее и вредоноснее. Две причины (как часто при подобных комбинациях случается) действовали тут: во-первых, непримиримые враги империи были eo ipso врагами и самого Эмиля Олливье и всей его политики, всех этих попыток заставить Францию забыть об истинно демократических идеалах и о реальной политической свободе; если Делеклюз исступленно ненавидел Олливье как действительно непримиримый революционер, то люди гораздо более умеренного образа мыслей и настроения считали политику Олливье вредной не потому, что это была политика компромисса и оппортунизма, но потому, что они со стороны ясно видели, до какой степени Олливье ошибается, до какой степени с ним хитрят и он сам с другими хитрит, до какой степени реального компромисса не будет, ибо Наполеон III будет уступать только под непосредственным напором враждебных ему сил и, значит, всегда поздно; они в конце концов все больше переставали даже думать, что Эмиля Олливье обманывает правительство, ибо слишком уж ясно было, что Наполеон III почти никакого внимания на него не обращает, несмотря на все милостивые аудиенции, и они все больше укреплялись в убеждении, что Олливье хочет обмануть других своей идеей «либеральной империи», в которую, будучи умным человеком, не может серьезно верить. И вражда и презрение к нему возрастали поэтому, и соответственно возрастала решимость Олливье со всеми этими «революционерами» бороться не на жизнь, а на смерть. Во-вторых, он не мог не уловить в 1868—1869 гг. той ноты при дворе, которая не могла в прежние, более счастливые, годы империи звучать так явственно: ясно было, что портфели будут отныне доставаться в руки тем, кто искуснее покончит с возникающим брожением, покончит атакой ли в лоб или обходным маневром. Значит, и с этой точки зрения борьба против оппозиции выступила в программе Олливье на первый план.

Любопытно, что все-таки еще существовало у некоторых

наивных членов республиканской партии предположение, будто Олливье вовсе не ищет личного сближения с империей; и когда объявлена была подписка на памятник Бодэну, то настояли, чтобы парижский комитет партии предложил Эмилю Олливье также подписаться. Ему дали понять, что это ему предлагается как бы амнистия слева: если он подпишется, все будет прощено и забыто. Конечно, едва ли люди, следившие внимательно за карьерой Олливье, ожидали, что он подпишется, но ведь и риска при таком предложении никакого не могло быть: согласится подписаться — правительству будет нанесена лишняя нравственная пощечина; не согласится — он будет бесповоротно заклеймен в глазах даже самых наивных и доверчивых людей, ибо это будет значить, что он одобряет не только нынешние будто бы существующие либеральные поползновения империи, но и переворот 2 декабря со всеми расстрелами, и убийство народного представителя, и все кровавые страницы, которые Наполеон вписал в историю в первые дни своей диктатуры.

И вот, как всегда у нашего автора, читателю преподносится картина благородной борьбы в великодушном сердце: если бы «принимать во внимание только личный интерес,— нечего было бы и рассуждать, нужно было подписаться» [9]. Но нет! Пусть лучше гибнет окончательно личная репутация: ведь если он подпишется, это будет революционным выступлением, «с этих пор либеральная империя будет мертва, император — оттиснут, отброшен к реакции... было ли честно, было ли предусмотрительно, было ли патриотично содействовать от себя созданию такого положения? Я этого не полагал». Подчеркивая на нескольких страницах все великодушное значение своего поступка, Олливье перечисляет горькие обиды, которые ему нанес император: еще будучи президентом, Луи-Наполеон выгнал его вон со службы; заточил в Мазас «возлюбленного брата» Олливье; потом арестовал и изгнал его отца; потом императорское правительство преследовало его самого и мешало ему заниматься адвокатской практикой; наконец — наигоршая из всех обид — император недавно пожаловал звезду, осыпанную бриллиантами,— кому же? Ненавистному Руэ, главному врагу и конкуренту, травившему Олливье, «как опасного зверя!» И в ответ на все зло,— он все-таки теперь не подпишется на памятник Бодэну: вот как мстит за обиды Эмиль Олливье!

Как он сам ожидал, современники не поняли всей возвышенности подобной позиции. Оппозиционные газеты с безграничным презрением отозвались об его отказе; они объясняли этот отказ не христианскими чувствами Эмиля Олливье, но соображениями карьериста, потерявшего даже всякое представление о том, что допустимо приличиями и что недопустимо, и все себе разрешавшего в погоне за милостью императора. Его страшно

поносили в газетах; в то же время на собраниях, которые теперь стало возможно устраивать, Делеклюз, Рауль Риго и т. д. держали речи в совершенно непривычном еще тогда тоне. И вот Олливье начинает протестовать: он усматривает в обществе распущенность, а в политике Руэ — явную попытку устроить «западню», в которой погибла бы «свобода», попытку скомпрометировать «свободу» всеми этими «эксцессами» и взять обратно «либеральные реформы» 1867—1868 гг. Злоба так и рвется из Олливье, когда он рассказывает об этих «сумасшедших», «одержимых», «молодых преступниках» (вроде Риго) и т. д. Он хорошо понимает, что уже навсегда теперь связал себя с империей и уже склонен сильно сердиться на нее за то, что она так вяло защищает себя и своих верных слуг. И прежде всего — он ждет выборов.

Выборы 1869 г. застали страну в положении, совсем не похожем на то, которое было в 1863 г. Оппозиция наступала, правительство отступало. Даже официальные кандидаты считали долгом говорить либеральные речи, уже не надеясь столь безмятежно, как прежде, на жандармов и чиновников министерства внутренних дел. Насильственные действия и давления со стороны администрации опять повторились, конечно, но результат был для правительства хуже.

В Париже Эмиль Олливье наткнулся на отчаянное сопротивление со стороны радикальных элементов всех оттенков. Его выступление пред собранием избирателей превратилось в бурный митинг протеста против него. С пяти часов огромные массы стали стекаться к назначенному месту из рабочих кварталов. К вечеру нельзя было пробраться сквозь всю эту необозримую толпу. Только благодаря вмешательству полиции Олливье пробрался в переполненный зал. Появление Олливье на эстраде возбудило неслыханную бурю свистков, бранных криков, угроз. Было уже 10 часов вечера,— так долго пришлось хлопотать и бороться, чтобы получить возможность пробраться сквозь толпу,— а в 11 часов на основании закона о собраниях полицейский комиссар должен был объявить заседание закрытым. Четыре раза Олливье пробовал говорить, но из-за ужасающего хора враждебных криков должен был отказаться от своего намерения. Наконец, ему удалось начать речь, но он ее не окончил, ибо между слушателями возникло бурное столкновение, воспользовавшись которым комиссар и закрыл собрание. Толпа разошлась с пением Марсельезы. Олливье провожали свистками, и даже около дома его еще освистывали. Он возмущен был поведением полиции, склонен был приписывать ее недостаточную энергию в борьбе с его врагами проискам могущественных противников (без сомнения Руэ), хотя, в видах беспристрастия, оговаривается, что «не проник» вполне в эту тайну.

В Париже Олливье на выборах (24 мая 1869 г.) провалился. Упадок духа постиг его под непосредственным впечатлением этой неудачи. Он было принялся в этот миг за тяжелое в его положении дело; ум и совесть как будто потребовали подведения итогов. «В эту ночь звезды блистали ярким блеском, как в ту январскую ночь (1867 г.), в средине которой я, столь доверчивый, вышел из кабинета императора. Но мне казалось, что они насмешливым, а не ободряющим взором смотрят на меня. Один, в своей маленькой комнате, куда не доходил никакой шум, не имея около себя никого, кто бы мог услышать мою жалобу, сломленный моральным напряжением этих последних месяцев, я упал на свою постель в несказанной тоске: не ошибался ли я в продолжении десяти лет?» И он рассказывает читателю о том, что передумал в часы этой ночной тоски. Мысли его текли все по тому старому руслу, по которому они устремлялись в течение этих десяти лет: ему приходило в голову, что ненависть врагов империи неумолима, что истинную «свободу» во Франции не любят, а любят лишь замену чужого владычества своим собственным и т. д. И уже пробивалась все явственнее новая нота: не бежать ли к императору, не молить ли его взять назад уже сделанные уступки, задавить силой начавшееся брожение? В эти ночные часы раздумья, сомнений не пропала ли даром вся жизнь — Олливье не переставал понимать, что мосты его сожжены и что вне Тюильери спасенья нет. И хотя компромисс не выходил — одна сторона слишком мало и поздно давала, а другая — не хотела принимать,— все равно магический круг замыкался: Олливье будет с империей, если империя пойдет за его «идеей», и он будет с империей, если империя не пойдет за его «идеей». И опять интеллект подыскал оправдание тому, что уже предрешила воля: революционеры, «молодые преступники», «одержимые» и «непримиримые», все испортили! Да падет же на их голову вина за гибель освободительных планов Эмиля Олливье, сам же он мужественно станет на защиту порядка и общества, против безумных разрушителей!

Эволюция завершилась; новый министр для Наполеона III был окончательно готов. Утром консьерж подал Эмилю Олливье телеграмму, извещавшую его, что он выбран в департаменте Вар.

Ночная тоска рассеялась. Пред читателем начинают проходить радостные картины, которые заставят быстро забыть о «кошмарах» [10], душивших Олливье в эту ночь.

VII

Огромное большинство все еще оставалось в руках правительства, располагавшего громадными средствами влияния и

давления и, кроме того, опиравшегося на действительную поддержку крестьянства.

Но оппозиция сильна была тем, что ей удалось собрать 3 200 000 голосов, тогда как правительство собрало 4 455 000 с небольшим. При условиях, в каких обе стороны действовали, успех оппозиции должен был, в самом деле, показаться огромным. Еще более сильна была именно республиканская часть оппозиции своей блестящей победой в Париже, Марселе, Лионе, показавшей, что столица и большие города враждебны империи. Тучи сгущались все более и более и внутри и вне Франции; опасности, встававшие перед империей, смущали и раздражали старого императора. Он решил, наконец, произвести эксперимент, который составлял «идею» Эмиля Олливье. Император, правда, уже $2^1/_2$ года не имел охоты и времени видеться с Олливье, он забыл о своем либеральном советнике. Но он должен был знать также долгим опытом царствующего государя, что свойственно человеку всепрощение, когда ему предлагают портфель. И, в самом деле, при первых же шагах со стороны Тюильери, обнаружилось, что «условия», которые ставит Эмиль Олливье, крайне мало затруднительны: 1) он, *«вовсе не желая»* уменьшать политического значения его величества, полагал бы только, что его величеству надлежит управлять «в духе общественного мнения» и с помощью общественного мнения; 2) он хотел бы, чтобы прекратилась «министерская анархия», которую сам же его величество осуждал неоднократно,— другими словами, он желал бы, чтобы в случае, если он войдет в кабинет, другие члены кабинета против него не интриговали. Возобновление сношений с Эмилем Олливье почти совпало с новыми уступками, которые правительство решило сделать в смысле расширения конституционных прав. Депутатам официально было сообщено (11 июля 1869 г.), что сенату поручено рассмотреть ряд реформ; предположено предоставить Законодательному корпусу выбирать свое бюро с президентом во главе (до сих пор — бюро назначалось императорским декретом), а также выработать свой регламент; упростить способ представления и обсуждения поправок; обязать правительство вносить в Законодательный корпус на рассмотрение изменения в тарифах торговых договоров, заключаемых с другими державами; даровать право вотирования бюджета по статьям; расширить право интерпелляций; уничтожить право о несовместимости звания депутата с занятием некоторых должностей, например, должности министра. Одновременно Руэ получил отставку. Эмиль Олливье был, как он пишет, в восторге от сделанных обещаний и сейчас же решил отказаться от участия в подготовлявшейся «интерпелляции», в которой правительству предлагалось приобщить страну более действительным образом к управлению дела-

ми. (Нужно заметить, что сам император благосклонно относился к этой «интерпелляции», вследствие чего члены правительственного большинства охотно подписывали ее). После императорских обещаний «интерпелляция», конечно, не состоялась. 6 сентября (1869 г.) решением сената были выполнены эти обещания, но зато сам сенат получал отныне значение верхней палаты, которая фактически могла до крайности затруднить деятельность Законодательного корпуса. Таковы были последние «уступки» империи. Это всецело избавляло императора от каких бы то ни было беспокойств в случае нежелания утвердить тот или иной закон; однако прочное большинство, которым располагало правительство в только что выбранном Законодательном корпусе, являлось гарантией, что сенату не предстоит много трудиться на его новом поприще.

Все шло прекрасно. Даже «революционеры» делали пока то, что, по-видимому, нужно было Эмилю Олливье: они беспокоили императора, хотя Олливье они казались нестрашны. Почему они казались ему нестрашны? Потому что в Обэне (8 октября 1869 г.) войска стреляли в стачечников, убили 14 человек и ранили 20,— и все это из-за явно раздутого, если не просто вымышленного, «сопротивления». Офицер, приказавший стрелять, получил орден и с восторженной гордостью пишет Олливье: «...армия узнала таким образом, что во время ежедневно грозящих конфликтов она не будет оставлена правительством». У Олливье был измельчавший ум, ум беспокойного и заждавшегося карьериста, совершенно неспособный понять и принять к сведению, что положение империи *в самом деле* серьезно, что усмирение обэнской стачки или беспорядков в Рикамари ровно ни от чего не гарантирует, что самая стачка — только один из бесчисленных симптомов. Его успокаивали пустяки. Он счастлив был, например, когда не состоялась назначенная на 26 октября демонстрация: левые депутаты желали немедленного созыва сессии и решили (по инициативе Кератри, поддержанной Гамбеттой) собраться во что бы то ни стало на заседание 26 октября, в зале обычных заседаний. Ожидалась грандиозная манифестация на Place de la Concorde, пред дворцом Законодательного корпуса, но правительство не уступило, и демонстрация не состоялась: сами-же левые депутаты отменили ее, не желая брать на себя ответственность за грозившее кровопролитие. Олливье восторгался и злорадствовал. И как было беспокоиться, когда сам префект полиции, любивший точность, сообщил ему, что в Париже — всего-навсего 2000 опасных людей? Трудно ли при таких условиях спасать французскую империю?

1 ноября Эмиля Олливье позвали к императору. Поехал он вечером, закутав лицо в кашне, чтоб его не узнали репортеры на вокзале (Наполеон III жил тогда в Компьене). И опять

гипноз охватил его. Какие могли быть затруднения, условия, когда император пошел навстречу при входе Олливье в кабинет, подал руку, велел принести чаю, сел с Олливье за стол, благодарил за то, что Олливье обеспокоился? Сорок лет без малого прошло, а Олливье до сих пор явственно всем этим взволнован, и читатель не может не понимать, что если и были у Олливье какие-нибудь программные затруднения, осложнения, то все это как дым разлетелось, когда он увидел пред собой государя. Читатель как будто слышит внутреннее решение Олливье: теперь уж не уйти отсюда без портфеля, как три года тому назад! И Олливье торопится, торопится пред его величеством из всех сил: «...чем больше дано свободы, тем сильнее власть должна быть. Противупоставить разнузданной прессе колеблющееся или атакуемое министерство,— это не либерализм, это слабость. Разве вы думаете, что если бы я был у дел, я бы потерпел хоть одну минуту, чтобы г. Гамбетта и его друзья проповедовали безнаказанно возмущение и чтобы с трибуны, в газетах, в общественных собраниях люди могли называть себя непримиримыми?» Он не будет щадить приверженцев восстания именно потому, что он представлял бы собой «правительство свободы»; если вспышка будет, «мы ее подавим» и т. д. и т. д. Министерство Эмиля Олливье было в принципе решено. 29 ноября открылась сессия; большинство в Законодательном корпусе было уже наперед обеспечено за всяким кабинетом, значит, в том числе и за кабинетом Эмиля Олливье. Было несколько десятков (больше 50) крайних правых, о которых Олливье любит распространяться, чтобы оттенить свой либерализм, но, конечно, и речи не могло быть о том, что они способны на какую бы то ни было искреннюю и реальную борьбу против министра, назначенного императорской властью, каких бы убеждений этот министр ни держался.

2 января 1870 г. сформировалось министерство Эмиля Олливье. Счастливые настали дни для этого человека. К нему приходили на поклон, пред ним заискивали и хлопотали; члены всех этих «правых центров», «левых центров» и других эфемерных подразделений правительственного большинства наперебой стремились попасть в кабинет, хотя Олливье и изображает дело так, будто ему нужно было сначала считаться с нерасположением «левого центра». Необычайно характерная сцена произошла в день окончательного сформирования нового кабинета. Когда император подписал декреты о назначении новых министров, рассказывает Олливье: «Я встал и, положивши руку на назначения, сказал: государь, если завтра эти декреты не будут встречены с общим удовлетворением, то могу дать только один совет вашему величеству — обнажить шпагу и приготовиться к битве». Вот каковы были первые слова министра, 10 лет по-

вторявшего, что империей следует «управлять при помощи общественного мнения». Он уже наперед призывал кровопролитие и объявлял Франции войну, если она встретит без удовольствия его назначение в министры.

К великому восхищению Олливье оказалось, что управлять Францией не так трудно, как могло бы прийти в голову с первого взгляда: дело в том, что чиновники были «превосходны» и весь бюрократический механизм — в полном порядке. «Ничего не нужно было изменять в этом восхитительном механизме... Нужно было только пользоваться им, не портя его». Этот «восхитительный механизм» мог и свободу обеспечить, и порядок поддержать, словом, выполнять какую угодно функцию. Олливье получил в свое распоряжение «префекторальную, финансовую, судебную администрацию, которая была выше всего, что существовало и будет существовать во все времена и во всех странах». Но зато политическое положение вещей было запутано и страсти были возбуждены. На борьбу против этих страстей, как и следовало ожидать, и устремился Эмиль Олливье, вспомоществуемый «восхитительным механизмом».

Если чиновники оказались выше всего, что в природе существовало и будет существовать, зато пресса обнаруживала разнузданность. «Не то, чтобы *все* газеты были революционны»,— снисходительно готов допустить Эмиль Олливье. Например, «Journal des Débats» (где писал Ренан) не был революционен, и еще несколько, пожалуй, тоже не могут быть названы революционными. Но зато другие, и притом самые распространенные, были ужасны! Настроение в Париже тоже было ужасно: обнаруживалось, что опасных людей, «готовых на все», быть может, больше двух тысяч, и даже, быть может, больше двухсот тысяч! Всего хуже, с точки зрения, на которой *теперь* стоял Олливье, было то, что правительство сильно запустило свои дела, отвыкло от крутой расправы со смутой, впало в излишнюю мягкость и слабость и, особенно, совершило роковую ошибку, дав политическую амнистию! Революционеры становились влиятельнее, громко говорилось о том, о чем прежде не смели разговаривать даже у себя дома с членами семьи.

Но Олливье не сомневался, что он со всем этим справится. *Он держался самого лестного взгляда на себя самого и на* своих коллег, в большинстве навязанных ему императором. «Мы все, в самом деле, были честными людьми в наиболее широком значении этого слова»,— с убеждением сообщает он читателю, давая характеристику своих товарищей. Он не сомневался, что «раздавит агитаторов» при помощи своей честности и других данных, а прежде всего при содействии «решившегося императора и верного народа». Приготовляясь действовать, он усвоил несколько правил, вполне необходимых для главы правитель-

ства, по его мнению: во-первых, не читать никаких газетных статей о себе, кроме тех, на которые ему указывают, как на подлежащие наказанию; во-вторых, быть терпеливым; в-третьих, быть почтительным к императору, стараться не задевать его обидчивости, избегать сталкиваться с его привычками и чувствами (конечно, из гуманных соображений: из «сознания», что «необходимость» навязала его императору); в-четвертых, давать свободу, сохраняя решимость, когда потребуется — «пойти по пути репрессий так далеко, как это представится нужным». Нужно ли прибавлять, что к этим принципам присоединялся еще один: избегать «знаков личного отличия», чтобы вульгарные циники не подумали, будто Эмиль Олливье честолюбив. «Благо императора сделалось первым моим долгом»,— с гордостью говорит Олливье в конце всех этих принципиальных своих предначертаний.

С бесконечными подробностями говорит Олливье об этих самых счастливых моментах своей жизни: какие у них советы бывали и где сидели, и какие портреты висели на стенах, и что сказал его величество, и с каким видом приветствовала министров ее величество и т. д.

Конечно, Олливье решительно отсоветовал императору распустить палату: таково, правда, было желание не только «революционеров», но и «либералов», которые говорили, что огромное правительственное большинство составилось вследствие всяких ухищрений и беззаконных давлений на выборах 1869 г., что странно говорить о либеральной эре, оставляя на пять лет заведомо подтасованный Законодательный корпус. Олливье с «Либеральным союзом», т. е. очень и очень умеренной группой депутатов решил не считаться; «их успех был бы не менее гибелен», чем успех революционеров, и вот почему: они слишком много разговаривали «о парламентаризме и законности», и поэтому могли бы пожелать подвергнуть императора «таким унижениям», что это вызвало бы государственный переворот. Вот почему Законодательный корпус хорош именно в том виде, как создал его ненавистный Руэ. И вообще (не на словах, а на деле) само собой вышло так, что и прежде все у императора и вокруг императора было хорошо, а для идеального совершенства нужно было только вместо Руэ пригласить Эмиля Олливье. Все же остальные «либералы», как бы умеренны они ни были, являлись «опасными», ибо для них, даже для «либерального консерватора» Тьера, «*первым* долгом» было не «благо императора», а нечто иное.

Первые же встречи нового министерства с Законодательным корпусом, несмотря на внешне примирительный тон Олливье, ознаменовались самым бурным столкновением оппозиции с военным министром Лебефом, причем Лебеф прямо пригласил

республиканцев испытать, если им угодно, на деле, останется ли армия верна императору и крепка ли дисциплина. Гамбетта отвечал на эту вызывающую речь гневным напоминанием о бывших во Франции раньше и павших правительствах и заявил, что слова военного министра недостойны собрания и выражают мысль людей, которые «могут остаться у власти только при помощи насилия». Олливье в ответ на это протестовал: «Мы — правительство законное, правильное, конституционное, намеренное основать свободу, но не забывающее, что свобода невозможна без основного условия — порядка, безопасности, социального мира» и т. д. Гамбетта в ответ категорически заявил от лица своей партии о полнейшей невозможности для них думать о каком бы то ни было примирении с империей.

Выступить в роли охранителя порядка Олливье пришлось гораздо раньше, нежели он предполагал: 10 января 1870 г., всего через неделю после сформирования министерства, Париж с быстротой молнии облетело известие, что принц Пьер Бонапарт убил сотрудника оппозиционной газеты «La Marseillaise», Виктора Нуара.

Принц Пьер Бонапарт, двоюродный брат императора, как известно, убил револьверным выстрелом секунданта (Виктора Нуара), пришедшего вызвать его на дуэль от имени оскорбленного принцем журналиста Паскаля Груссэ,— стрелял и только случайно не убил другого секунданта. Он оправдывал свой поступок тем, будто Нуар дал ему пощечину, хотя единственный свидетель категорически это отрицал. Нет той клеветы, которую не возвели бы еще тогда все правительственные органы на убитого и которую не повторил бы Эмиль Олливье спустя 40 лет в своих мемуарах, рассказывая о жизни и характере Нуара. С юношеской силой чувства он и теперь еще ненавидит Нуара за те часы острого беспокойства, которое ему, министру юстиции «либеральной империи», пришлось из-за этой смерти перенести. Нас тут интересует не самый факт убийства, а поведение Эмиля Олливье во время последующих событий. Прежде всего он моментально сообразил, что ему нужно арестовать принца, открыть сейчас же следствие, словом, проделать все так, как если бы дело происходило в Англии, с английским министром юстиции и английским принцем: времена стояли неспокойные, и император сейчас же одобрил эти шаги правосудия относительно кузена. Ведь важнее всего было соблюсти в первые же минуты декорум законности; недаром Олливье кстати и некстати поминал Англию и английские порядки. На другой день (11 января) Рошфор напечатал крайне резкую статью, оскорблявшую всю династию, члены которой, «не довольствуясь тем, что расстреливают республиканцев на улицах, завлекают их в гнусные ловушки, чтобы зарезать их у себя дома». Статья

кончалась словами: «Французский народ, не находишь ли ты, положительно, что этого уже довольно?» Олливье решил преследовать Рошфора судебным порядком. В заседании же Законодательного корпуса, отвечая на возмущенную речь того же Рошфора, закончил словами: «Мы — закон, мы — право, мы — умеренность, мы — свобода. Если вы нас принудите, мы будем — силой!» Конечно, бурные аплодисменты правительственного большинства приветствовали этот ауто-панегирик.

Весь демократический Париж страшно волновался, всюду 11-го числа только и говорили о похоронах Виктора Нуара, назначенных на следующий день. Готовилась не только грандиозная демонстрация, первая после почти двух десятков лет владычества Луи-Наполеона (та, что была на могиле Бодэна в 1868 г., не могла идти в сравнение). Флуранс и другие вожди утверждали, что нужно постараться, «чтобы завтра восторжествовало знамя Республики». Рошфор убеждал «доказать тирану» единство республиканцев и нежелание далее жить при режиме деспотизма и убийства. Он, впрочем, верил больше в манифестацию, нежели в возможность восстания.

«С своей стороны,— пишет Олливье,— мы не оставались в бездействии. Продажа фотографического снимка мертвого Виктора Нуара была воспрещена, в разрешении хоронить его на Пер-Лашезе было отказано, против статьи Вермореля было возбуждено судебное преследование. Наконец, мы собрались в Тюильери на своего рода военный совет, на котором присутствовали: генерал Лебеф, маршал Канробер, командовавший 1-м корпусом парижской армии, маршал Базэн, командовавший императорской гвардией, Шевандье, министр внутренних дел, префект полиции и я».

На этом военном совете было решено предоставить родне Виктора Нуара похоронить его в Нельи, где он и жил; и пока толпа будет в пределах Нельи, не трогать ее. Но если вожаки движения поведут собравшихся на кладбище Пер-Лашез, то встретить их у входа из Парижа и тут пустить в дело оружие. Пехота, кавалерия и очень многочисленная артиллерия должны были пойти в дело. Несметная толпа, приблизительно в двести тысяч человек (по словам Делеклюза), собралась в Нельи, на улицах, прилегающих к дому, откуда должен был последовать вынос тела. Тут между вождями движения возникло разногласие: «Флуранс хотел, во чтобы то ни стало, идти в Париж,— он утверждал, что солдаты откажутся убивать народ. Рошфор, напротив, умолял не идти безоружными против прекрасно вооруженного врага, ожидающего своих жертв при входе в Париж. Мнение Рошфора восторжествовало. Похороны состоялись в Нельи, были произнесены самые революционные речи вокруг могилы, и толпа, разбившись, начала уже пред вечером медлен-

но вливаться в Париж. Часть толпы последовала за Рошфором, который желал явиться на заседание Законодательного корпуса. Полиция разогнала сопровождавших; было еще несколько подобных отдельных столкновений. Революционеры оказались не готовы. Олливье торжествовал победу. Не его вина была, что день прошел без колоссального кровопролития: он сделал все, чтобы в случае естественного желания провожавших гроб — нести его куда раньше было условлено — толпу встретил расстрел. Многие республиканцы и тогда и впоследствии объясняли даже позволение собраться беспрепятственно в Нельи провокационной целью,— составить толпу, которая пошла бы в Париж. Нужно сказать, что запрещение похорон на Пер-Лашезе состоялось так поздно, что большинство, лишь собравшись у дома Виктора Нуара, узнало о необходимости хоронить тело тут же, в Нельи. Но, так или иначе, избиение не произошло. Пришлось вместо победы довольствоваться только насмешками над отступившим пред артиллерией безоружным врагом.

Олливье торжествовал еще и потому, что буржуазия, обеспокоенная этой огромной манифестацией, на некоторое время как бы опять вспомнила «красный призрак». Лавочники, с восторгом повествует Олливье, выходили из лавок и палками били в этот вечер манифестантов, убегавших от полиции. Еще симптоматичнее было то, что влиятельные органы умеренной оппозиции вдруг принялись поздравлять Олливье с успехом, говорить о «низких инстинктах» толпы и приписывать «победу» министерства нравственной силе его «либеральных» тенденций.

Олливье возбудил против Рошфора, как сказано, преследование и так как Рошфор был депутатом, то потребовал от Законодательного корпуса прекращения неприкосновенности преследуемого. Во время прений по этому поводу министр заявил, что революции он не боится, «так как нация ее не хочет. „Нация" удовлетворена тем, что, как она видит, правительство готово принять ее законные просьбы, осуществить те либеральные реформы, которые созрели». Мало того. Олливье сообщил своим слушателям, что нация «поражена восхищением» при виде своего конституционного правительства. Но, хотя нация восхищена, может случиться вспышка из-за необузданных статей; тогда правительство подавит эту вспышку, даже ценой пролития крови. А пока оно будет преследовать таких писателей, как Рошфор, за революционные призывы. Конечно, все это было встречено овациями и большинством (222) голосов против 34 Рошфор был выдан. Республиканцы, особенно в лице Гамбетты, выражали Олливье неоднократно, как они о нем думают. «У вас подвижная совесть,— сказал Гамбетта министру с трибуны: я не оспариваю вашего права менять свои мнения, но есть нечто, чего вы не будете в состоянии объяснить людям,

обладающим французскими понятиями о нравственности,— именно, что ваше изменение в мнениях совпало с вашей карьерой». Тут Гамбетту прервали враждебные крики большинства. Олливье отвечал, что власть — для него есть бремя и т. д. и что Гамбетта дает повод, говоря так, заподозрить, что сам он в политике усматривает лишь возможность сделать карьеру. Гамбетта на эту выходку опять очень резко пытался ответить, но был заглушен шумом, не дававшим ему говорить.

Со всех сторон на Олливье пытались повлиять, чтобы он оставил Рошфора в покое: просили его даже самые рабоденные друзья всякого министерства, находящегося у власти (с момента назначения и у Олливье их появилось несчетное количество). В этом судебном преследовании теперь видели ненужную месть. Но Олливье пребыл тверд: «Бунтовщиков делают страшными, если их бьют не как следует, если с ними то круты, то мягки; но когда неумолимо твердою рукой их заставляют подчиниться закону, они впадают в ничтожество»,— такой тирадой разражается он, вспоминая о попытках со стороны даже его «друзей» смягчить его в пользу Рошфора. Республиканцы решили, ввиду неминуемого суда над Рошфором, устроить ряд сочувственных ему демонстраций. На всех публичных и так называемых *частных* собраниях (т. е. куда можно было проникнуть лишь по приглашению) говорились речи о предстоящем суде и о деле Виктора Нуара, читались письма эмигрантов. Возбуждение не могло улечься. Рошфор был приговорен к шестимесячному заключению в тюрьме и 3000 франков штрафа. Прокурорский надзор предложил Рошфору самому явиться для заарестования. Рошфор ответил в газете насмешливым письмом, в котором заявлял, что и не подумает этого сделать. Не только он сам, но и такие лица, как Тьер, думали, что народ не позволит арестовать Рошфора, и произойдет свалка. Домой Рошфор, конечно, не являлся; арестовать его при выходе из Законодательного корпуса тоже было признано неудобным. Тогда Олливье запретил все публичные собрания *«даже те, которые, чтобы избегнуть надзора, ложно именовали себя частными собраниями»*. Правда, это было не совсем законно для столь строгого любителя законности, как Олливье, но цель — «благо императора» — оправдывала средства. Исключение было сделано для единственного только собрания (на Фландрской улице): это собрание должно было сыграть роль ловушки для Рошфора, который, как предполагалось, непременно сюда придет именно потому, что оно — единственное. Действительно, Рошфор приехал, и когда хотел войти, два полицейских агента схватили его под руки (что было сделано *«мягко»*, считает долгом своим довести до сведения истории премьер либеральной империи) и «углубились» со своим пленником в пассаж, решетка которого

мгновенно за ним захлопнулась. У другого выхода их ждала карета, которая и доставила Рошфора в тюрьму Сен-Пелажи. В тот же вечер вся редакция газеты «Marseillaise» была тоже арестована и доставлена в эту же тюрьму. Председатель собрания, на котором ждали Рошфора, Флуранс, узнав об аресте, провозгласил начало революции и, захватив с собой в качестве военнопленного присутствовавшего полицейского комиссара, вышел в сопровождении толпы на улицу. Тут он сдал комиссара одному мнимому революционеру («который был одним из наших агентов»,— с удовольствием вспоминает Олливье), а затем принялись, по словам Олливье, за постройку баррикад, но вскоре полиция разогнала инсургентов, и ко второму часу ночи все было окончено.

Олливье торжествовал новую победу над неприятелем: «агитаторы прессы и клубов страшны только тогда, когда их боятся. Призраки! Сущие призраки! Подите на них — и они исчезают!» Олливье любил обобщения и политико-философские выводы.

Бурные прения последовали за этими событиями, но теперь уже Олливье окончательно ничего не боялся. Ведь республиканцев было так мало в Законодательном корпусе, что никакой роли их вражда играть не могла. Олливье называл их «нулем», а на улице они тоже оказывались пока слабыми, слабее, чем многие думали. Жюль Ферри и другие ораторы республиканской оппозиции указывали на произвол и беззакония, допущенные Эмилем Олливье (вроде запрещения всех частных собраний и т. п.), говорили о том, что правительство развратило суд, что правосудие во Франции по политическим делам не существует и т. д. Олливье забылся до того, что закричал президенту Законодательного корпуса, когда тот начал в ответ на крики правительственного большинства объяснять, почему он не лишает слова Ферри: «Вы не правы! Как глава магистратуры я требую призыва к порядку!» Жюль Ферри заявил сейчас же в защиту президента, что президент не должен выслушивать приказаний от министра юстиции. Конечно, победа по какому угодно вопросу не могла в такой палате не остаться на стороне министерства, так что и эти прения имели лишь агитационный смысл с точки зрения оппозиции.

Враг был, казалось, побежден в палате и на улице. Оставалась пресса, против которой и повелась правильная война. Почти ежедневно происходили конфискации. «Повестки от судебных властей приходили так часто, что наш главный редактор уже не трудился даже их прочитывать. Что касается до арестов по постановлению и без постановления, полицейских обысков, путешествий в фиакре с комиссарами, ночей, которые внезапно приходилось провести в Мазасе, бесед tête-à-tête с судебным следователем, то это были обыденные происшествия

нашей жизни»,— так вспоминает об эпохе министерства Олливье журналист Паскаль Груссэ. При таких условиях все предположения относительно введения юрисдикции присяжных заседателей в области суда над преступлениями печати не могли иметь реального значения: вырабатывая и уже наперед рекламируя новый законопроект, Олливье одновременно рекомендовал прокурорам неукоснительно возбуждать преследования и вообще старался о ревностном исполнении тех законов, которые, как он уверял, были предназначены к сломке, поясняя этот образ действий так: «...пока какой-нибудь закон не отменен, он должен быть применяем, и относительно прессы это было более чем необходимо тогда, когда некоторые газеты открыто выступали в качестве орудий революции».

Не только по вопросу о прессе, но и по самым невинным, самым мелким, самым безопасным вопросам «либерализм» Эмиля Олливье оказывался крайне уступчивым пред требованиями новой обстановки. Например, императрица, находившаяся под сильным влиянием духовенства, всегда была на стороне охраны школы от свободомыслия, многие министры — тоже, и Олливье не захотел даже и попытаться отстоять Ренана, когда на очереди стал вопрос об его утверждении в качестве профессора: два учреждения, наиболее компетентные, Collège de France и Академия надписей, представили в министерство два списка кандидатов, причем в обоих списках Ренан стоял на *первом* месте. Мало того: Ренан, желая во что бы то ни стало получить кафедру, по собственной инициативе объявил, что берет на себя обязательство «замкнуться в экзегетическом изучении текстов». Олливье пишет, что вполне верил в искренность этого обещания, он вспомнил, что Ренан никогда в сущности не был агрессивен против католицизма, и все-таки «отложил» утверждение Ренана. С грустью, с сожалением, но отложил: не хотелось, как он пишет, *обижать* других министров, которые высказывались против Ренана. Столь велика была чуткость и деликатность Олливье к меньшей братии, т. е. к другим министрам: *такие* проявления своей гуманности Олливье вообще очень ценит и рекомендует вниманию читателя. Обезврежена была и другая, давно уже рекламируемая тенденция Эмиля Олливье, одна из тех либеральных тенденций, которыми он долгие годы оправдывал свое стремление занять руководящую роль: он всегда высказывался против системы выставления официальных кандидатур на выборах, и всех интересовало, что он *теперь* ответит на запрос Греви по поводу того, намерено ли правительство и впредь прибегать к этому способу извращения выборов. Министр внутренних дел (Шевандье), а за ним и сам Эмиль Олливье, отвечая на запрос, заявили, что вовсе они не желают отказываться от «права, которое принадлежит всякому правитель-

ству, признавать, пред лицом избирателей, своих друзей и объявлять, кто его друзья, а кто противники». Вообще теперь не будет официальных кандидатур, а будут предпочитаемые, и хотя давления не будет, но «министры вовсе не обязаны присутствовать со скрещенными руками при избирательной борьбе, где ставкой является существование министерства». Греви заявил, что не видит ни малейшей разницы между официальными кандидатурами и *предпочитаемыми*. Олливье старался утопить в массе либеральных фраз это возражение. Конечно, огромным большинством голосов после этих прений была принята правительственная формула перехода к очередным делам.

Таким образом все шло прекрасно, и либеральный словесный декорум, по мере надобности, соблюдался: «революционеры» не осмеливались выступать, и все, казалось, пророчило министерству безмятежную будущность. Нужно ли прибавлять, что принц Пьер Бонапарт, отданный под суд столь мгновенно в первую тревожную минуту после совершения преступления, был признан невиновным и дело закончилось для него без малейших последствий? Случилось это 27 марта 1870 г., когда было признано Эмилем Олливье, что положение страны — самое благоприятное и что успокоение наступило окончательно. Финал этого дела об убийстве Виктора Нуара рассматривался Эмилем Олливье, как один из триумфов правительства, а еще большим триумфом было то, что республиканцам не удались манифестации по поводу этого оправдания.

На этих триумфах и обрываются пока двенадцатитомные записки Олливье. Через пять месяцев после описываемых триумфов империя перестала существовать, но разве Олливье когда-нибудь признавался прежде или признается в XIII томе, что ошибался, что и внешняя и внутренняя политика империи фатально должны были окончиться крушением? Разве он не сердится до сих пор на своих врагов за то, в сущности, что они отказывались довольствоваться фразами, а в делах его видели либо прямое продолжение старой системы, либо вынужденные, запоздалые и поэтому совершенно уже недостаточные и мало кого интересующие уступки? Разве он сознает, что внешняя, в частности, германская политика Наполеона III, приведшая к гибели, являлась логическим и непременным последствием всей системы внутренней политики империи? Разве он понимает, чем для Франции являлись и сам он и его министры, с готовностью исполнившие тайное желание Бисмарка вызвать войну, и в частности самый дорогой ему из всех его коллег, военный министр Лебеф, внимание которого *всецело* было направлено на внутреннего врага, а не на внешнего? И самое главное, разве хоть когда-нибудь в прежних своих писаниях он старался проанализировать вопрос, почему империя так бы-

стро, в один час, без всякого сопротивления, рухнула, едва только она потерпела военную неудачу и войск в Париже под рукой не оказалось?

Все это было и, конечно, останется для него навсегда закрытой книгой. Он будет, быть может, издавать и дальше том за томом, излагать свои речи, цитировать себя самого, и никогда не догадается, что самыми историческими, самыми бессмертными его словами навсегда останутся слова, сказанные им, когда решался вопрос о войне с Пруссией: *«Я с легким сердцем* беру на себя ответственность за эту войну». Никогда не поймет он также, что его фатум всегда и заключался именно в легком принятии на себя самой тяжкой ответственности.

Что касается компромисса, на котором он построил свое возвышение, то его постигла участь большинства компромиссов, совершаемых при таких обстоятельствах: сначала империя еще была сильна и даже свою силу переоценивала; сроки, так сказать, для уступок, которые ее могли бы в самом деле переродить и укрепить, были пропущены, а те уступки, которые предлагал Олливье, даже тогда, когда он только начал их предлагать, могли ее уже только ослабить, дезорганизуя ее защитный механизм, ослабляя ее сопротивляющуюся энергию, и с точки зрения *продления* существования своей власти Руэ и император были более проницательны, нежели Олливье: они поняли инстинктом, что только о продлении уже и надлежит мечтать. Далее. Для успеха даже такого компромисса, как предлагавшийся Эмилем Олливье, ему нужна была хоть какая-нибудь помощь со стороны той «революции», которую он потом так преследовал. Этой помощи все не было, и в долгие годы ожидания Олливье вскормил горькое чувство злобы и ненависти к людям, которые медлят проливать свою кровь для того, чтобы этим дать ему недостающий аргумент для Тюильрийского дворца.

Но вот политика продления существования, политика жизни изо дня в день привела к внешним неудачам, престиж пошатнулся, буржуазия возроптала, недовольная экономической и общеполитической программой (или, вернее, отсутствием всякой программы) правительства. Олливье, наконец, позвали. Было уже совсем поздно давать даже то, о чем он говорил 10 лет тому назад, а ему и того сделать не позволили, да он и сам уже об уступках реальных думал мало: совершенно незаметно и естественно он сам стал только вывеской, которой можно было не на долгий срок сбить с толку малосознательные слои народившейся оппозиции. То, что Руэ и император понимали давно, понял и Олливье, и на полицейскую борьбу с начавшимся революционным брожением употребил все силы и все время.

Что нужно было сделать для того, чтобы именно империя, а не республика Тьера стала прочной формой буржуазного владычества во Франции, этого Олливье даже не начал понимать. Он думал, что буржуазия согласится на гибельную римскую политику только потому, что Пий IX крестил «дитя его величества», он думал, что она простит зигзаги и блуждания торговой политики. Хаос в делах, вечный Дамоклов меч ненужных и опасных войн, отсутствие реального представительства, оставление на пять лет подтасованного Законодательного корпуса, выбранного в 1869 г. Он радовался, что солдаты без промедления убивают стачечников, и упустил из виду, что истинной владычице — буржуазии — нужно, сверх того, еще кое-что. Валя в одну кучу республиканцев и социалистов «Интернационала», он не понял, во-первых, что и социалисты гораздо сильнее, нежели он полагает, а во-вторых, что тем-то особенно и страшны для империи республиканцы, что они *не* социалисты и тоже будут стрелять в стачечников и что буржуазия это начинает уяснять себе.

Ум беспокойный и живой измельчал и опустился в годы отвержения слева и непризнания справа; чем бы ни был политический компромисс для Олливье вначале, к концу его карьеры, в момент успеха, компромисс приобрел для него совсем узкий смысл, являясь в его глазах прежде всего средством удержаться у власти, а для этого важнее всего было угодить императору. Худая ли, хорошая ли политическая идея окончательно отступила на задний план, а изголодавшееся честолюбие теперь окончательно оглушило и ослепило этого человека. «Ночная тоска», о которой он говорит, была у него и раньше редкой и мимолетной гостьей; посещала ли она его после падения, когда потянулись долгие годы его политической смерти, мы не знаем. Знаем только из его записок, что относительно коренной ошибки своей нерадостной жизни он остается по-прежнему глух и слеп.

Современный мир. 1908, № 2, стр. 98—130; № 3, стр. 40—66.

О ФРАНЦУЗСКИХ РАБОЧИХ В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ

(Ответ А. Н. Савину)

В сентябрьской книге «Русской мысли» появилась заметка о моей книге *, написанная А. Н. Савиным. За общую оценку моей книги мне приходится лишь благодарить автора, но, при полном нежелании «полемизировать» с ним, я все же не могу обойти молчанием те критические замечания, которые он делает. Конечно, имея в своем распоряжении лишь очень небольшое место, я поневоле ограничусь только самым существенным, представляющим общий интерес (по крайней мере для тех читателей, для которых писалась заметка Савина).

1) Савин упрекает меня в «невнимании» к М. М. Ковалевскому, Жоресу, Годару. Но относительно Ковалевского он вполне соглашается с приводимым им мнением Анри Сэ (Henri Sée), что мои (в первой главе) и Ковалевского выводы особенно надежны *именно* потому, что мы пришли к ним совершенно независимо друг от друга (речь идет о моей первой главе). Весь смысл моей первой главы в том и заключается, что я привлек (как признает Савин) новый, неиспользованный материал и пришел к самостоятельным выводам. 2) Относительно Жореса Савин говорит: «...нет никакого сомнения в том, что с точки зрения специального исследования Тарле делает огромный шаг вперед по сравнению с Жоресом... Жорес тоже опирается на архивный материал, но как незначительна его осведомленность по сравнению с ученым аппаратом Тарле!» А если так, то чему же особенно важному могли научить меня (хорошо мне известные) 10 страниц Жореса, трактующие о применении максимума? Савин *совершенно правильно* называет жоресовскую оценку «риторической» и признает, что я разрушил жоресовское утверждение, но говорит, что для него «неясно», «в какой мере (моя — *Е. Т.*) собственная конструкция согласуется с природой вещей». Савин склонен думать, что я слишком сгустил краски при описании революционной разрухи. Он высказывает при этом методологически вполне правильный взгляд, что документы, исходящие от людей, переживших революцию, склонны преувеличивать дезорганизацию народного хозяйства. В этом частном случае скептицизм Савина, однако, совершенно лишен

* Тарле Е. В. Рабочий класс во Франции в эпоху революции. Исторические очерки. Ч. I. СПб., 1909. 317 стр.; ч. II. СПб., 1911. XVI, 581 стр. (см. наст. изд., т. II — *Ред.*).

оснований: могу его уверить, что и власти, поддерживающие максимум, и потребители, для которых он был создан, и купцы, и фабриканты, от него страдавшие, одинаково мрачно рисуют положение вещей. Такое *полное* единодушие историк не вправе не принять к серьезнейшему соображению. Ведь, вот, нет же такого единодушия, например, в отзывах о чисто аграрных обстоятельствах, и я, отмечая брюзжание одного землевладельца, отбрасываю его свидетельство как недостоверное. 3) Опираясь на книгу Годара (говорящую о шелковом производстве *до* революции), Савин говорит: «Читатели Годара будут удивлены самым именем, которое Тарле дает мастерам-ткачам (ouvriers-fabricants): это имя редко встречается в документах, обычным именем является maîtres-ouvriers». Это — положительно *неверно*: не Тарле дает мастерам это имя, а *именно* документы революционной эпохи, и дают не редко, а, напротив, *очень часто*, и для меня это, конечно, важнее, чем то название, которое для дореволюционной эпохи, может быть, чаще встречал Годар. Далее. У меня (стр. 76, примечание) сказано о domestiques, «едва ли не правильнее счесть их — в социальном смысле — в одной категории с compagnons». А Савин из этого выводит, что я их вполне отождествляю, и приводит из того же Годара место, указывающее, что в 60-х годах XVIII в. «разбирается вопрос, может ли девушка, определенный срок дергавшая нитки, работать на станке в качестве компанионки». Что же отсюда следует? Я совершенно не понимаю этого возражения: *в социальном смысле*, в эпоху революции в особенности, все-таки domestiques и compagnons были *одно*, ouvriers-fabricants *другое*, а marchands третье, и *ни одного* документа, говорящего о розни между compagnons и ouvriers-fabricants — для *революционной эпохи* — Савин мне не укажет, а розни между domestiques и compagnons не укажет и для *до*революционной эпохи. 4) Савин думает, что «нужны оговорки» к моему утверждению об исчезновении сырья при максимуме («что же делали с шелком-сырцом?.. Что делали с французской шерстью, коноплей, льном?») Но у меня ведь есть прямой ответ, подтверждаемый многими документами: прятали, прятали и прятали, *не* продавали, *не* выносили на рынок, ибо *продать* сырье при максимуме — значило *разориться*. Савин должен признать, что время максимума было ведь совершенно исключительным временем *даже* для революционной эпохи. Людей *казнили* за сокрытие сырья, а его все-таки скрывали, и у меня же Савин найдет данные о дальнейших судьбах сырья *после* максимума. 5) Савин пишет: «Весьма свежо и поучительно изложение борьбы между коммуной и конвентом, между жирондинцами (*жирондистами* — лучше — *Е. Т.)* и монтаньярами, но это отнюдь не исчерпывающее изложение». Но на каком же основании я заставлял бы

своих читателей читать не относящиеся прямо к моей теме подробности? Ведь я писал (и категорически оговорил это) *не историю закона* о максимуме, а историю рабочих *при* законе о максимуме: ведь это существенная разница! Вот, если бы Савин упрекнул меня, что я слишком *много* говорю о самом установлении закона о максимуме, мне труднее было бы ответить на этот упрек. 6) Савин приводит свидетельства, что и в городах была промышленная деятельность, и говорит: «Я не знаю, как распределялись между городом и деревней прядение, отбелка и другие операции, но ясно, что они производились не только в деревне». Читатель заметки, *не* читавший моей книги, может вообразить, что я отрицаю этот факт: напротив, я всецело его признаю (и в частности настаиваю даже, что некоторые отрасли производства были организованы почти исключительно, как *городская* промышленность, стр. 77). Поэтому возражение Савина относится не ко мне, а к воображаемому автору, который стал бы отрицать очевидный факт. «Замечу, что у самого Тарле приводится любопытное известие 1792 г., по которому из 30 000 городского населения гор. Труа $^{2}/_{3}$, т. е. 20 000, работают на бумагопрядильных мануфактурах»,— пишет Савин, и он мог бы найти в моей работе и еще подтверждения этого бесспорного факта. Если я должен был *больше* внимания уделить деревне, а не городу, то это произошло потому, что до меня (в этом Савин, верно, согласится с другими моими критиками — Н. И. Кареевым и Сэ в «Annales de Bretagne» за 1911 г.) эта роль деревни была мало выяснена. Но отсюда, повторяю, вовсе не следует, что я думаю, будто *только* в деревне производилась вся промышленная работа. 7) Наконец, Савин усматривает как бы противоречие в моих отзывах о значении закона 1762 г., узаконившего деревенскую промышленность. Один раз я говорю, что указ «узаконял то, что практиковалось с давних пор», а другой раз, что «час пробил для цехов», когда был подписан этот закон. Ни малейшего противоречия здесь нет: именно *узаконение* факта нанесло цехам смертельный удар, именно с того времени, когда появились *легально-неповинующиеся* цеховым правилам производители, стало трудно поддерживать цехи в городе. Закон 1762 г. не создал деревенской промышленности — она была до него,— но он погубил цехи, *легализовавши* эту промышленность.

В конце своего ответа снова поблагодарю автора за общее лестное заключение о моем труде, особенно ценное в устах выдающегося исследователя западноевропейской экономической истории. Его указанием о распорядке глав я отчасти воспользуюсь, если моей книге суждено дожить до второго издания.

Русская мысль, 1912, № 11, отд. XV, стр. 31—33.

ПОЛЬ-ЛУИ КУРЬЕ

(1772—1825)

Поль-Луи Курье принадлежит к числу людей, которым в смысле литературной славы необыкновенно повезло и при жизни и после смерти. Человек, бесспорно, весьма одаренный, замечательный стилист, литератор, прекрасно симулировавший грубоватый народный юмор и владевший всеми тайнами как народного говора, так и утонченнейшего литературного языка,— Курье, вероятно, не затерялся бы в писательских рядах и в другие времена; но, например, в эпоху дореволюционного расцвета общественной мысли во Франции или уже в период боевой революционной журналистики (1789—1794 гг.), или, впоследствии, в памятные 30—40-ые годы, предшествовавшие февральской революции, едва ли возможно было бы выдвинуться на первое место публицисту с таким скромным теоретическим багажом, с таким отсутствием сколько-нибудь *оригинальной* политической мысли, как П.-Л. Курье. Но в тот краткий момент, который дал этому человеку бессмертие, в первое десятилетие Реставрации, его голос звучал необыкновенно сильно, и вся его деятельность сыграла крупную историческую роль. Его голос звучал сильно потому, что не путем теоретических размышлений, но инстинктивно (и тем решительнее) Курье стал на ту почву, которая казалась уже давно и безвозвратно забытой к началу Реставрации: на почву прежнего, как в 1879 г., воссоединения *всего* народа (peuple) против привилегированных или их эпигонов, на почву воссоздания прежней роли буржуазии как гегемона всего народа, борющегося против пережитков феодального режима. То, что не выходило вовсе в речах Ройе-Коллара и часто выходило фальшиво и неясно в статьях Бенжамена Констана, само собой укладывалось в простое и гармоническое миросозерцание П.-Л. Курье,— не потому, чтобы он был глубже и разностороннее их, напротив, именно потому, что и Ройе-Коллар и Бенжамен Констан весьма отчетливо помнили и понимали, что после 1789 г. был 1791 г., с кровавой расправой на Марсовом поле, была Директория с ликвидацией «якобинизма», было многое другое, после чего тому классу, выразителями чаяний которого они являлись, нужно еще весьма

много подумать раньше, нежели искать союзов внизу для борьбы против социально-политических верхов. А Курье ни о чем этом не размышлял, ни тем, что было, ни тем, что будет, не интересовался, а писал о том, что видел в настоящем; в настоящем же он усматривал такое упорное стремление некоторых властных кругов вернуть Францию к старому режиму, наблюдал такие безобразные насилия над крестьянами и такое демонстративное (особенно в провинции) пренебрежение к *menu peuple*, к *roturiers*, словом, к недворянам, такие яростные усилия церкви вернуть себе утраченное положение, что когда он писал свои памфлеты,— а его читатели их читали, то все глубокомысленные историко-философские соображения и оговорки сами собой оказывались совсем не ко двору, и необходимость общей борьбы всех недворян и недуховных лиц против реакционных крайностей являлась подразумеваемым, но вполне логическим выводом из каждого памфлета, чуть ли не из каждой страницы каждого памфлета. В этом смысле он как бы *стремился* уничтожить деления, сделать единодушной ту массу врагов Реставрации, из которой выходили его читатели; и если мы вспомним, что, спустя пять лет после убиения Курье, на парижских улицах дралась против Бурбонов (и низвергла их) тоже совершенно аморфная масса, где рядом действовали бывшие (и будущие) враги, то должны будем признать, что историческую стихию своей эпохи Курье разгадал правильно, потребности ее оценил по достоинству. В век, создавший (тоже, по-своему, славную) страницу истории французского политического сознания, в век либерального доктринерства Курье повел свою линию, которая была в подмогу этому же либеральному доктринерству, но в то же время была от этой школы вполне независима.

Б. Констан и Гизо очень радовались в 1830 г. победе того политического принципа, которому они служили так долго и с таким талантом и блеском; но, повторяем, те люди, которые *одержали* эту победу, не принадлежали к их школе и не принадлежали вообще ни к какой определенной партии: они были, как сам Курье был всю свою жизнь, деятелями, желавшими прочно и окончательно обеспечить от дальнейших посягательств минимум гражданских и политических завоеваний, уцелевших от революции. Что дело шло именно о минимуме, красноречиво доказал последующий упорный, длительный неуспех всех врагов Людовика-Филиппа, тщетно стремившихся (особенно это нужно сказать о республиканцах) воссоздать в 1832, 1834, 1839 гг. то единство, которое в три дня в 1830 г. низвергло династию Бурбонов.

О невозможности обойтись без этого минимума и проповедовал в последние (единственно для истории важные) годы своей жизни Курье,— и проповедь эта была тем влиятельнее

и действительнее, чем естественнее вытекала одна и та же мораль из разнообразных конкретных данных, давших пищу остроумию памфлетиста. Когда он выступил в 1816 г., в момент разгула реакционных страстей, он сразу заставил прислушаться к своей речи. В эпоху общей растерянности, и главное страшной усталости, которая была так естественна после грандиозных событий революции и наполеоновского царствования, все, кто принимал то или иное участие в этих событиях, кто играл в них хоть какую-либо активную или страдательную роль, были уже неспособны немедленно же приняться за деятельную, даже чисто литературную борьбу. Свежие, неутомленные силы, горячность темперамента, азарт ненависти — все это в 1815—1816 гг. и ближайшие годы оказалось преимущественно у той *единственной* во всей нации кучки людей, которые целых 25 лет как бы были вычеркнуты из жизни. Эмигранты, вернувшиеся с Бурбонами, чувствовали себя хозяевами в покоренной земле, победителями на разоренном и брошенном пепелище. И в эти-то годы, когда в либеральном лагере подавленность и утомление овладели даже теми, которые вскоре, уже спустя несколько лет, оправились, в эти годы, когда Бенжамен Констан либо удрученно молчал, либо издавал оправдательные разъяснения о своей роли в эпоху Ста дней, когда даже Ройе-Коллар, например, злобно радовался, что пред неблагонамеренным Шамполлионом (гениальным египтологом, начинавшим тогда свою деятельность) закрыта возможность университетской карьеры,— в эти годы в лагере *врагов* реакции один только Курье заговорил, как человек неутомленный, как человек, обладающий свежими нетронутыми силами, неизрасходованной горячностью.

Почему же он был ничуть не утомлен в это тяжкое для других время? Факты его биографии дают нам вполне убедительный ответ.

Несложная биография Курье была неоднократно уже рассказана, и факты ее общеизвестны. Он родился в Париже в 1772 г. в семье зажиточного (хоть и некрупного) буржуа-землевладельца, экономного и сварливого собственника, который успешно управлял своим имением, расположенным в Турени, и успел дать сыну довольно основательное классическое образование. Его учителем был, между прочим, ученый Вовилье, член академии надписей и первоклассный знаток греческого языка. Девятнадцати лет, в 1791 г., он поступил в Шалонское артиллерийское училище, где пробыл недолго: нужда в офицерах была громадная (так как эмиграция лишила армию очень многих офицеров), время обучения искусственно укорачивали,— и уже в 1792 г. Курье выдержал экзамен и вошел в состав армии. Тут потянулись долгие годы военной службы, которую Курье не лю-

бил, которой он тяготился страшно и для которой не имел ни малейших способностей. Был он и лейтенантом, и приемщиком казенных заказов, и начальником кавалерийского эскадрона,— и хотя долго (до 1809 г.) продолжалась его военная служба, но все время она была для него только необходимым источником для некоторого увеличения бюджета и только. Отец его умер (в 1796 г.), но по тогдашним временам трудно было всецело связать свою участь с доходами от небольшой земли, доставшейся ему в наследство; жалованьем нельзя было пренебрегать ни в каком случае. «Как военный, он совсем никуда не годился»,— так отзывался о нем впоследствии его начальник генерал Гриуа, а почему он оставался на службе, это поясняет сам Курье в письме к своему другу (в 1805 г.): «Мое настоящее положение не неприятно, мне хорошо платят, я мало занят. Мне ничего лучшего не надо». Служил он плохо, не являлся в срок из отпусков, попадал иной раз в такое положение, что его разыскивала полиция как дезертира, в начале 1809 г. должен был подать в отставку, вскоре, в том же году, опять попросился на службу, но, побывав в сражении под Ваграмом, сказался раненым и в конце концов покинул армию без отпуска. Лишь впоследствии ему удалось легализовать свое положение,— после долгих передряг и неприятностей (например, в 1810 г. был уже отдан формальный приказ арестовать его, но Курье успел бежать в Грецию, а оттуда на Восток — в Египет и Сирию). С 1812 г., когда все уладилось, он, окончательно исключенный из списков, мирно поселяется во Франции.

К большому своему счастью, он провел почти все это время военной службы в Италии. Это было для него великим счастьем, во-первых, потому, что при сравнительно мягком режиме Евгения Богарне ему легко сходило с рук многое, за что он жестоко поплатился бы, будь он поближе к суровому императору и к таким начальникам, как Даву, а, во-вторых, долголетнее пребывание в Италии дало ему полную возможность посвящать все свои законные и незаконные досуги усердной работе над древними авторами и изучению классического искусства и литературы. Его письма к разным лицам, писанные из Италии, живо свидетельствуют о том, что настоящим душевным интересом его были не служба, не политика, не грандиозные потрясения и перевороты, которые в это время совершал Наполеон во всей политической системе Европы, а именно классическая древность. Он в восторге, что его занесло в Барлетту (в 1805 г.): «Мне хорошо здесь, где у меня есть все, чего хочешь: восхитительная страна, античность, природа, могилы, руины, Великая Греция»; попавши в Рим, он спешит сообщить своему ученому другу (поляку Хлеваскому) о надписи, которую открыл на вилле Боргезе; из Калабрии (в апреле 1806 г.) он жаждет попасть

в Сицилию, в древние Сиракузы: «Между нами будь сказано,— пишет он неизвестной приятельнице,— меня мало заботит, платит ли Сицилия налоги Иосифу или Фердинанду», т. е. его не интересует, завоюет ли брат Наполеона, неаполитанский король Иосиф, этот непокорный остров; но увы! пока остров в руках Фердинанда, Полю-Луи Курье не видать «родины Прозерпины». Во Флоренции он работает над «Дафнисом и Хлоей», в Неаполе переводит Ксенофонта, и хотя пишет о происшествиях, в которых приходится принимать участие, о переходах и солдатских грабежах, которые совершаются пред его глазами, но все это никогда не приводится им в связь с общими великими событиями, которые переживала и Франция, и Италия, и Европа при Наполеоне. Как он сам относился к Наполеону? Известно и много раз цитировалось то знаменитое описание «плебисцита» касательно учреждения Империи, которое находится в письме к неизвестному (помечено маем 1804 г.). Это письмо заподозрено критикой; лично мне кажется, что оно целиком сочинено впоследствии. Не только бросаются в глаза (отмеченные еще Оларом) неточности и анахронизмы, но, прежде всего, совершенно нельзя себе представить, чтобы П.-Л. Курье вдруг так расхрабрился и написал подобные строки, будучи офицером в маленьком гарнизоне в Пьяченце и, конечно, зная, что наполеоновская полиция с корреспонденцией не стесняется. Ведь мы тщетно будем искать в достоверно написанных из Италии письмах его, что бы то ни было, хоть отдаленно напоминающее эти саркастические выходки по адресу всемогущего властелина. Но так как нас тут интересует не вопрос о точной дате составления письма, а только его содержание, которое характеризует отношение к Наполеону,— принадлежность же письма самому Курье ни малейшему сомнению не подлежит,— то напомню некоторые строки этого знаменитого впоследствии послания: «Мы только что сделали императора, и что касается меня, то я этому не повредил. Вот какая история: сегодня утром д'Антуар (полковник — *Е. Т.*) собирает нас и говорит нам, о чем идет дело, но просто, без предисловий и увещаний. Император или республика? Что больше по вашему вкусу? Подобно тому, как говорят: жаркое или вареное мясо, бульон или суп, чего желаете? Когда он окончил свою речь, вот мы все смотрим друг на друга, усевшись в кружок.— «Господа, ваше мнение?» Ни слова: никто не раскрывает рта. Это продолжалось с четверть часа или больше, и начало становиться затруднительным для д'Антуара и для всех, когда Мэр, молодой человек, лейтенант, которого ты, может быть, видел, встает и говорит: «если он хочет быть императором, пусть будет, но если вы спрашиваете мое мнение, то я не нахожу это хорошим, нисколько».— «Объяснитесь, говорит полковник: хотите вы или не хотите?» —

«Не хочу»,— отвечает Мэр. Опять молчание. Снова мы начинаем глядеть друг на друга, как люди, которые видятся в первый раз. Мы бы еще до сих пор были на том же месте, если бы я не взял слово: «Господа,— сказал я,— мне кажется, с вашего позволения, что *это* нас не касается. Нация хочет императора, нам ли об этом рассуждать?» Это размышление показалось столь сильным, столь ярким, столь ad rem... Что бы ты думал, я увлек собрание. Никогда оратор не имел столь полного успеха. Люди встают, подписывают и идут играть на бильярде. Мэр мне сказал: «Commandant, вы говорите, как Цицерон, но почему вам так хочется, чтобы он был императором, скажите, пожалуйста?» «Чтобы покончить с этим и сыграть партию на бильярде. Не оставаться же было здесь на целый день? А вы-то почему не хотите этого?» «Я не знаю,— ответил он мне, но я думал, что он (Наполеон — *Е. Т.*) создан для чего-то лучшего». Вот слова лейтенанта,— продолжает Курье,— которые я нахожу не так уж глупыми. В самом деле, что это значит, скажи мне,.. такой человек, как он, Бонапарт, солдат, вождь армии, первый полководец в мире,— хочет, чтобы его называли Величеством! Быть Бонапартом и сделаться государем! Он мечтает о понижении; но нет, он думает, что возвысится, если сравняется с королями! Ему больше нравится титул, нежели имя. Бедный человек! его идеи ниже его судьбы. Я заподозрил это, видя, что он выдает свою сестру за Боргезе и думает, что Боргезе оказывает ему слишком много чести». Дальше он спрашивает у своего неизвестного корреспондента, «как фарс разыгрался у них?»

Письмо, повторяю, сочинено, вероятно, значительно позже (даже не переделано, как предполагает Сент-Бёв, а именно сочинено),— и, вероятно, уже в эпоху Реставрации [1]. Но что чувства Курье к Наполеону были далеко не восторженными и в эпоху полного расцвета могущества императора, показывает другое многозначительное письмо, уже, несомненно, писанное именно в эпоху Империи к де Сент-Круа 27 ноября 1807 г. Речь идет об Александре Македонском, но едва ли императорская цензура пропустила бы такие, например, строки, если бы Курье вздумалось их напечатать: «Не хвалите мне вашего героя; он обязан своею славою веку, когда он появился. Без этого что же у него было кроме того, что имели Чингис-ханы, Тамерланы? Хороший солдат, хороший полководец,— но ведь эти качества обычны. Всегда в армии есть сотня офицеров, способных хорошо ею командовать; даже иному государю это удается, а то, что хорошо делает государь, все могут сделать. Что касается до него (Александра — *Е. Т.*), то он не сделал ничего такого, что не было бы сделано и без него. Задолго до его рождения, было решено, что Греция заберет Азию. Особенно, прошу Вас, остерегайтесь сравнивать его с Цезарем, который был не только

«давателем битв» (un donneur de batailles). Ваш — ничего не основал. Он всегда опустошал, и если бы не умер, то все еще продолжал бы опустошать. Судьба ему отдала мир, что же он сумел с ним сделать? Не говорите мне: „если б он жил!“, ибо он с каждым днем становился все более жестоким и бо́льшим пьяницею».

Но вот обстоятельства, и личные и общие, круто изменяются. Курье окончательно бросает службу, с 1812 г. живет то в Париже, то у себя в имении, присутствуя посторонним и безучастным зрителем при общеевропейском кровопролитии, которым сопровождалось падение Империи.

И вот почему, когда наступили времена Реставрации и когда Поль-Луи Курье засел провинциальным землевладельцем у себя в Турени и стал приглядываться к новым, вплотную окружившим его условиям, когда старинная ненависть к дворянским претензиям и к феодальным пережиткам, внушенная ему еще отцом, заставила его с раздражением и вниманием отнестись к пришельцам, 25 лет жаждавшим мести и, наконец, дождавшимся ее,— вот почему в это время он не только взялся за боевую публицистику, но и нашел в себе непочатый запас сил, неистощенную энергию, способность так свежо и *молодо* чувствовать: до сих пор, как мы видели, политическая жизнь шла мимо него; революция сначала, Наполеон впоследствии были для него явлениями, которым он мог не симпатизировать, о которых мог при случае колко отзываться в более или менее замаскированных выражениях, но с которыми он считался, как с неизбежностью; да этим внешним условиям не удалось помешать ему упиваться чтением латинских и греческих классиков и совершать длительные научные экскурсии по Италии под предлогом военной службы в итальянских войсках французского императора. *Теперь*, при Реставрации, он впервые зажил оседлой, обывательской жизнью и впервые же мог в ежечасных впечатлениях переживать все те неудобства и неприятности, которыми полна была провинциальная действительность в первые годы по возвращении Бурбонов и эмигрантов.

Мало того, Курье нисколько не стремился к мученическому венцу (и ничуть этого никогда не скрывал). Если бы даже ему и очень мешал, например, режим Робеспьера или режим Наполеона, он, конечно, все равно и не подумал бы выступить против этих режимов. Его оружием было перо, а казнь Камилла Демулена или, например, опала и изгнание г-жи Сталь показывали ясно, что ни революционный террор, ни военный деспотизм ни в каком случае даже с минимальной свободой прессы не примирятся. Впрочем, окончательное установление беспощадно-строгой и необыкновенно придирчивой цензуры при Империи вообще сделало невозможным даже самое скромное по-

поползновение высказать сколько-нибудь самостоятельную мысль в печати. Разумеется, ничто, даже отдаленно похожее на памфлеты Курье, не было бы мыслимо в печати наполеоновских времен.

При Реставрации и это условие изменилось. Та очень умеренная доля свободы прессы, которая была признана конституционным правительством, оказалась достаточной, чтобы во Франции возникла не существовавшая при Наполеоне оппозиционная печать, сдержанно, иногда обиняками, но выражавшая *свои* мысли, а не внушенные ей правительством. Таким образом, оказалась и *возможность* бороться пером, не жертвуя своей жизнью, а платясь только в крайнем случае некоторыми неприятностями, несколькими месяцами тюрьмы и передрягами с королевской прокуратурой и судом. На этот скромный риск Курье пошел.

Что знало читающее общество о Курье пред выходом в свет его первого политического памфлета? Очень немногое. Он перевел трактат Ксенофонта (об управлении конницей и верховой езде) и издал этот перевод в 1813 г. Еще раньше, в 1810 г., он издал,— но всего в нескольких десятках экземпляров (64),— перевод пасторалей, приписываемых Лонгусу, «Дафнис и Хлоя», но это издание мало кому было известно, да и перевод этот, собственно, не принадлежал целиком П.-Л. Курье: он только дополнил и сильно исправил старинный французский перевод этой пасторали, сделанный Amyot еще в 1558 г. Правда, он много поработал над текстом Amyot, исправил очень много ошибок и неточностей; самый стиль после его редакторской работы получился иной; впоследствии, как известно, Гёте восторгался этим произведением в переработанном Полем-Луи Курье переводе. Но до поры, до времени, впредь до следующих изданий, почти никто и не знал бы о нескольких экземплярах 1810 г., если бы не одно особое обстоятельство. Дело в том, что работая в 1809 г. над найденным им неизданным отрывком из пасторалей Лонгуса в Медицейской (Лоренцо Медичи) библиотеке во Франции, Курье нечаянно пролил чернила на эту рукопись. Библиотекарь, профессор Фуриа, обвинил Курье в том, что он сделал это нарочно, и издал даже специальный памфлет, обвиняющий Курье. «Брошюры были редки при великом Наполеоне,— писал впоследствии Курье,— и эта брошюра (проф. Фуриа — *Е. Т.*) была прочтена за Альпами и даже дошла до Парижа... Кричали, что Курье хотел уничтожить оригинальный текст, с целью сделаться единственным обладателем Лонгуса».

Курье сначала хотел прибегнуть к третейскому суду издателя Ренуара, а когда Ренуар высказал не удовлетворившее его

суждение по этому делу, то Курье не только не дал Ренуару обещанного уже ранее текста пасторалей и перевода (для издания), но обратился к другому издателю, а против Ренуара и, уже разом, против профессора Фуриа опубликовал особую брошюру (в конце 1810 г.), которую назвал «Lettre à M. Renouard, libraire». Этот памфлет, местами остроумный, но чаще грубобранный, гораздо больше даже направлен против Фуриа, нежели против адресата (которого он обвиняет, однако, в недобросовестном желании неосновательно присвоить себе честь соучастия в открытии рукописи) [2]. Эта полемика, собственно, и произвела некоторый шум и привлекла внимание к совершенно до тех пор неизвестному офицеру-эллинисту. Но, конечно, она не могла особенно заинтересовать сколько-нибудь широкие круги общества (чисто сутяжный, личный характер её этому воспрепятствовал бы); да и не такие стояли времена, чтобы общество очень было занято новооткрытой рукописью. (Самый перевод «Дафниса и Хлои» стал общедоступен лишь с 1821 г., когда Курье перепечатал его).

Итак, Курье был, можно сказать, совсем неизвестен, когда вдруг в декабре 1816 г. о нем заговорили и в палате депутатов и в обществе: причиной был первый его политический памфлет, названный «Pétition aux deux Chambres» и появившийся 10 декабря 1816 г. Памфлет начинается очень характерно: «Господа, я — туренец; я живу в Люине, на правом берегу Луары, местечке, некогда значительном, которое сведено было к одной тысяче жителей отменой Нантского эдикта и которое будет совсем уничтожено новыми преследованиями, если ваше благоразумие не прекратит их». Он говорит дальше о нескольких вопиющих фактах из местной жизни: кюре во главе похоронной процессии встречается с крестьянином, который не снимает шапки и не уступает дороги, — и крестьянина заковывают и бросают без суда в тюрьму, где он и проводит два месяца, а семья пока нищенствует. Другой обыватель, Жорж Моклэр, «дурно говорил о правительстве», и его исключительно за это сажают в тюрьму и держат там шесть недель. Все зависит в стране от людей, которые могут влиять на жандармов («qui font marcher les gendarmes»). Свобода человека зависит всецело от влиятельных в округе лиц. «Вели вы процесс против такого-то, забыли ему поклониться, поссорились с его служанкой, бросили камень в его собаку?» — и вы — бунтовщик. Иногда происходят в деревне целые облавы: так, ночью явились в Люине жандармы и на рассвете ворвались в указанные им дома, арестовали десять человек, среди шума и смятения испуганного населения, и увели в тюрьму. «*Власть*, господа, вот великое слово во Франции. В других местах говорят *закон*, а здесь — *власть*». Некоторые из арестованных по полгода оставались в

тюрьме, были семейные драмы,— дочь одного из арестованных умерла и т. п. Причина ареста — подозрение в бонапартизме. Но ведь эти же судьи, восклицает Курье, сажали незадолго до того в тюрьму людей, уклонявшихся от военной службы,— и сажали их во имя того же Бонапарта! Из десяти арестованных двое еще сидят в тюрьме (с марта до декабря), двое уже осуждены на ссылку («так как нельзя было допустить, чтобы власть была неправа»), и шестеро, в конце концов разоренные, измученные до потери работоспособности, отпущены домой. И все это — в Турени, самой мирной из всех провинций Франции, так как она больше понаслышке знала о бурях революции, о войнах Империи. Курье просит о защите от нелепых, ничем не мотивированных притеснений, обращаясь к законодательным палатам и к королю: «Нужно, чтобы ваша мудрость и доброта короля вернули этой несчастной стране спокойствие, которое она утратила».

Этот первый памфлет, написанный очень живо, остроумно, в том выдержанном мнимо простодушном стиле, который так удавался Курье, сделал его имя известным. По тогдашнему времени, очень хорошо помнившему еще белый террор, памфлет казался очень смелым и привлек сочувственное внимание многих. Но обстоятельства сложились так, что Курье не скоро принялся за новую работу в том же роде. Дело в том, что невесело сложилась его личная жизнь. Он женился, не имея, по собственным словом, нужных качеств для счастливой семейной жизни; и действительно, семейная жизнь его была далеко не счастливой, и поведение его жены делало его часто смешным в глазах ненавидевших его соседей. А соседи-крестьяне ненавидели его за сутяжничество, беспощадно-крутое отстаивание своих собственнических прав, за упорное преследование малейших, столь частых в деревенском быту правонарушений со стороны крестьян. В Veretz, недалеко от Тура, он купил новую усадьбу и там поселился,— и сейчас же у него пошли процессы за процессами. Стычки с соседями не прекращались. Он раздражался, болел, уже с 1817 г. у него время от времени шла кровь горлом, а тут еще прибавился негласный,но фактически общеизвестный надзор за ним со стороны полиции, которая с появления первого памфлета обратила на него свое внимание. На почве непрерывной войны с местными властями у Курье снова явился позыв к перу. Его сторож, некий Блондо подвергся преследованию со стороны мэра (де-Бона) и был приговорен к тюремному заключению. Курье написал и напечатал памфлет против мэра (в форме защитительной речи, якобы обращенной этим Блондо к судьям): «Pierre Clavier dit Blondeau à messieurs les juges de police correctionnelle à Blois». Вышел в свет этот памфлет в 1819 г. Внимания особого он все же привлечь не мог, по неяс-

ности и ничтожеству сюжета (хотя написан так живо и остроумно, что трудно и теперь оторваться, раз начавши читать).

Не имел, по-видимому, большого успеха (по крайней мере в прессе времен Реставрации мне ни разу не пришлось встретить ни одного упоминания, ни одной цитаты) и вышедший в свет весной 1820 г. небольшой сборник отдельных корреспонденций, которые почти все (десять из двенадцати) уже печатались раньше, но не в полном виде, в оппозиционной газете «Le Censeur». Назывался этот сборник «Lettres au rédacteur du Censeur». Курье говорит здесь о самых разнообразных вещах, но нельзя сказать, чтобы эти «Письма» представляли особый интерес для истории развития оппозиционной журналистики при Реставрации. Время, когда писались эти письма (от середины 1819 — до весны 1820 г.), было эпохой умеренной, примирительной политики правительства, предшествовавшей новому взрыву реакционных страстей после убийства герцога Беррийского. И Курье говорит здесь злобно не о Бурбонах, а о Наполеоне. «Между причинами увеличения населения не в малой степени нужно принимать во внимание покой, в котором находится Наполеон. Не будь Наполеон на о. Св. Елены, «три миллиона молодых людей умерли бы для его славы, а они имеют теперь жен и детей; миллион находился бы под оружием, без жен, развращая жен других». Он, впрочем, подчеркивает, что наполеоновский дух остался и после Ватерлоо в стране: «человек представляет собой нечто в той мере, в какой он может делать зло. Земледелец — ничто; человек, который обрабатывает землю, строит, работает с пользой — ничто. Жандарм кое-что. Префект это много. Бонапарт был всем. Вот ступени в общественном уважении, лестница почета, где каждый хочет быть Бонапартом, а не то префектом или жандармом».

А в другом «письме» автор ядовито поясняет эту мысль о желании всякого получить частицу власти: «*Что народ платит* это аксиома для всех стран, всех времен, всех правительств. Но французский народ в этом отношении отличается между всеми, непременно хочет платить щедро, великолепно содержать тех, которые берут на себя заботу о его делах, какой бы нации, какого бы сословия, каких бы достоинств и качеств они ни были; а поэтому и недостатка в них он никогда не испытывает». И дальше идут иронические намеки на обстоятельства, при которых вернулись Бурбоны. Когда ушли прежние господа, управлявшие французским народом, пришли новые, которых никто не просил, и водворились; «затем вернулись первые,— когда об этом меньше всего думали,— с несколькими соседями,— большой спор, большое столкновение, которое уладил народ, заплативши всем, и также всем тем, которые вмешались в дело: так он добр по природе: восхитительный народ, легкий,

легкомысленный, подвижный, изменчивый,— но всегда платящий. Кто это *сказал — я не знаю*, Бонапарт или кто другой: *народ создан, чтобы платить*». И вообще, «дух Бонапарта — не на Св. Елене, он здесь, в высших классах». Вместе с тем он отмечает, как великое благо (уцелевшее от революции), широчайшее развитие крестьянской собственности и с раздражением говорит о поползновениях к искусственному воссозданию крупной собственности [3]: можно сказать, что в мелкой собственности Курье усматривает главное счастье Франции, залог ее будущего, а в упорной борьбе за сохранение этой собственности, и главное за *свободу* земли, в борьбе против всяких поползновений к феодализации, к закрепощению земли он видит общенародное дело [4]. Тут между ним и досаждающими ему деревенскими соседями, между буржуазией и крестьянами нет и не может быть никаких споров, тут они — всегда должны быть и будут — единодушны.

Там и сям в его письмах и корреспонденциях, писанных в эту эпоху, разбросаны характерные замечания, запоминающиеся картинки. Вот он беседует с солдатом, «земляком» своим. Солдат ему сообщает полковые новости: есть у них сержант, храбрец, побывавший и в египетском и в русском походах,— и вот теперь его ведут «к первому причастию». Почему? «Потому что сегодня пятый номер, а завтра шестой».— «Как? что ты хочешь сказать?» — «Мы причащаемся по-ротно, по номерам, справа налево».— «А офицеры?» — «Есть у них полковник».— «Скажи мне, он служил?» — «Да, в Англии он служил обедню», и он «до сих пор любит Англию и любит обедню», так как вырос в эмиграции. Так иронизирует Курье над стремлением Бурбонов (особенно после Ста дней) заполнить офицерские места эмигрантами, и так выражает он свою симпатию к солдатам и унтер-офицерству, заподозренным раз навсегда в бонапартизме, подвергающимся выслеживанию и доносам со стороны полкового духовенства.

Но гораздо больший успех, нежели все до сих пор им написанное, встретил новый памфлет Курье, изданный им в апреле 1821 г. под названием: «Simple discours de Paul Louis, vigneron de la Chavonnière aux membres du conseil de la commune de Veretz à l'occasion d'une Souscription proposée par Son Excellence le ministre de l'Intérieur pour l'acquisition de Chambord». Этот памфлет был направлен против правительственных сфер, открывших всенародную подписку на покупку у вдовы маршала Бертье знаменитого старинного замка Шамбор, пожалованного маршалу Наполеоном. Вдова маршала все равно решила продать этот грандиозный замок, и, если бы замок попал в руки скупщиков, то едва ли он уцелел бы в полной сохранности. Но всенародная подписка должна была его выкупить не в пользу

государства, а в качестве *подарка* только что родившемуся внучатному племяннику короля Людовика XVIII, маленькому герцогу Бордосскому (сыну герцога Беррийского, убитого незадолго до его рождения). Вот против этой подписки и ополчился «винодел Поль-Луи» в своем памфлете. При замке есть 12 тысяч арпанов земли, говорит Курье своим землякам: «Вы и я — мы знаем людей, которые знали бы, что с этой землей делать, и которым это очень пригодилось бы». Но герцог Бордосский? «Что вы хотите, чтоб он с ней сделал? Его ремесло — царствовать когда-либо... и лишний замок ему ни в чем не поможет». Ему нужны не замки и народная любовь. Правда, придворные скажут ему, что «чем больше мы платим, тем более мы становимся любящими и верными подданными; что наша преданность возрастает вместе с бюджетом». Но на самом деле это не так: «Наши чувства весьма отличны от чувств придворных: они любят государя постольку, поскольку им *дают*; а мы — постольку, поскольку нам *оставляют*». И он напоминает о «добром короле Генрихе IV, короле народа, единственном короле, о котором народ сохранил память»: когда город Ларошель поднес его новорожденному сыну 100 тысяч экю золотом, король сказал: «Это слишком много, мои друзья... употребите это на новую постройку того, что у вас разрушила война, и никогда не слушайте тех, которые будут советовать вам делать мне подарки, ибо такие люди не друзья ни вам, ни мне». «Так думал этот король, заведомый покровитель мелкой собственности»,— прибавляет Курье.

Автор, далее, хотел бы, чтобы маленький принц воспитывался со своими сверстниками в учебном заведении. «Чему он выучится в Шамборе? Тому, чему могут выучить Шамбор и двор. Там все полно его предками. И именно поэтому я нахожу, что ему там не следует быть, и мне бы больше хотелось, чтобы он жил с нами, нежели со своими предками». В старом замке он увидит всюду гербы и знаки былых королевских любовниц, услышит о разврате минувших времен. Ведь galanterie, замечает Курье, есть придворное слово, «которое нельзя честно перевесть». Будет он окружен придворными. А что такое придворный? Человек, вечно выпрашивающий подачки. «Деятельный и неутомимый, он никогда не спит; он бодрствует днем и ночью, так караулит время, когда бы попросить, как вы выжидаете время сеять». «Если бы мы вкладывали в наш труд половину такого постоянства, наши амбары каждый год ломились бы». «Нет оскорбления, презрения, пренебрежения, обиды, которые могли бы его оттолкнуть. Его выводят — он настаивает; его отталкивают — он держится; его выгоняют — он возвращается; его бьют — он ложится на землю. Бей, но выслушай — и дай». Еще не выдумано такой гнусности, которую

придворный «не то, чтобы отказался сделать,— это вещь неслыханная, невозможная», но исполнение которой он не поставил бы себе в заслугу и в доказательство своей преданности.

Наконец, из жителей деревень, окружающих Шамбор и его колоссальную землю, «нет ни одного, который с бо́льшим удовольствием не купил бы кусок Шамбора для себя, нежели *весь* Шамбор — для придворных». И это опять заставляет его обратиться мыслью к коренному социальному антагонизму той эпохи: к борьбе мелкой собственности за свое существование, против разрушенной при революции феодальной собственности, желающей воскреснуть к новой жизни. «Есть люди, которые понимают дело иначе. Земля, по их мнению, не для всех, и особенно не для землевладельцев, а принадлежит она по божественному праву тем, которые ее никогда не видят и живут при дворе. Не заблуждайтесь: мир был создан для дворян. Часть его, которую нам дают, есть чистейшая уступка, исходящая из высокого места, и, следовательно, могущая быть взятой обратно. Мелкая собственность, лишь пожалованная, может быть, как таковая, уничтожена, и будет уничтожена, ибо мы ею злоупотребляем так же, как хартией». И Курье иронически повторяет жалобы знати: «самое худшее — это то, что раздробленная земля, раз попавшая в руки податного сословия (une fois dans les mains de la gent corvéable), уже из них не выходит». «Крупная собственность, раз подвергшаяся разделению, уже не восстанавливается». И — увы! — кто поможет в этой беде? «О вы, законодатели, назначенные префектами»,— вот к кому взывает в конце памфлета иронический автор, становящийся якобы на сторону «людей благомыслящих», «самых смертельных (*les plus* mortels) врагов мелкой собственности». И торжествующим признанием полной безнадежности борьбы за феодальные права, признанием, скрытым под этой иронической фигурой отчаяния, кончается замечательный памфлет.

Прокуратура возбудила процесс против Курье за это произведение, и этим еще более увеличила и без того громадный успех памфлета. Курье прибыл в Париж, и тут его носили на руках, осыпали похвалами и чествовали в оппозиционных кругах. Суд приговорил его (28 августа 1821 г.) к двухмесячному заключению в тюрьме и 200 франкам штрафа за усмотренное прокурором «нападение на монархический принцип». Наказание он отбыл в тюрьме Сен-Пелажи.

Успех окрылил его. Очень скоро по выходе из тюрьмы он издает новый памфлет под названием «Pétition à la Chambre des députés pour des villageois que l'on empêche de danser». Это маленькое произведение направлено против клерикальной реакции, и вызвано оно было (давнишним, правда) распоряжением мэра,— распоряжением, согласно которому воспрещено

было устраивать танцы в деревне неподалеку от церкви. Это распоряжение было затем подтверждено префектом. Курье жалуется на это притеснение. По праздникам, после обеда, говорит он, являются к нам скрипки и жандармы. «Жандармы очень размножились во Франции, еще больше, нежели скрипки, хотя они и менее необходимы при танцах. Мы обошлись бы без них во время деревенских праздников,— и, по правде говоря, не мы их и требуем: но правительство нынче — повсюду, и эта вездесущность (cette *ubiquité*) распространяется и на наши танцы, где не делается ни одного шага, о котором префект не хотел бы быть уведомленным, дабы дать отчет министру». Тут он делает отступление: крестьяне так много работают, что им некогда думать о злонамеренных вещах. Они работают шесть дней в неделю и даже часть седьмого. Лучше бы, впрочем, они по воскресеньям учились «стрелять и владеть оружием и думали бы об иностранных державах, которые каждодневно думают о нас». Мало ухаживать за виноградниками, выделывать вино. «Ты приготовишь, с божьей помощью, хорошее вино. Но кто его будет пить? Ростопчин, если ты не будешь готов отстоять свое вино от него».

Возвращаясь к главной теме, Курье жалуется на типичного для этой эпохи «молодого кюре, кипящего усердием, едва вышедшего из семинарии, рекрута воинствующей церкви, нетерпеливо ждущего возможности отличиться», который, действуя через префекта, запрещает крестьянам танцевать, а «скоро запретит нам петь и смеяться» и даже повадился выговаривать крестьянам за песни и смех. Курье согласен, что «народ более умен и также более счастлив, нежели до революции, но, нужно признать, он гораздо менее набожен». Причина же, по мнению Курье, все в том же, в чем он видит главное благо послереволюционной Франции: «народ — со вчерашнего дня собственник; он еще пьян своею собственностью, влюблен в нее, она завладела им; он только это видит, ни о чем другом не мечтает... весь отдается работе, забывает остальное — и религию. Прежде он был рабом... он мог... думать о небе, на которое возлагал надежды, где искал утешения. Теперь он думает о земле, которая принадлежит ему и дает ему возможность жить». Он думает только о своем поле, о своем доме, «и желать отвлечь его от этих мыслей, говорить ему о другом,— значит терять только время». И помочь этому, вернуть крестьянина к религии, возможно во всяком случае мягкими, привлекающими средствами, ибо иные средства произведут лишь обратное действие.

Памфлет был конфискован, и прокуратура опять возбудила процесс против Курье; но на этот раз он был оправдан. Имя его пользовалось в эти годы (1822—1823) широчайшей извест-

ностью. Отдельные статейки в газетах, «Réponse aux anonymes», заметки под названием «Gazette de village» — все это не имеет большого литературного значения, но было в свое время очень замечено. В его «Ответе» (на некоторые анонимные письма, им полученные) заслуживает быть отмеченной в высшей степени смелая и ядовитая выходка против династии. Не забудем, что либеральная буржуазия (особенно с последних лет царствования Людовика XVIII) не переставала с демонстративным почтением относиться к герцогу Орлеанскому (впоследствии королю Луи-Филиппу); он как бы намечался уже желанным «королем буржуазии»; об его конституционализме и либеральном умонастроении ходили самые определенные слухи. Все это нужно вспомнить, чтобы оценить следующие строки Курье об опальном (при дворе) принце: «Я не знаю и не угадываю, что вас заставило думать, что я не люблю ни герцога Орлеанского, ни других принцев. Напротив, я люблю всех принцев, и всех вообще; и особенно герцога Орлеанского (видите, как вы ошибались!), так как, родившись принцем, он удостаивает быть честным человеком. По крайней мере, я не слышу, чтоб он обманывал людей. Правда, у нас с ним нет никаких общих дел, ни договора ни контракта. Он ничего мне не обещал, не клялся ни в чем пред богом; но, если случится, я ему доверюсь, хотя от доверия к другим мне приходилось плохо. Но ведь нужно же кому-нибудь довериться. Мне с ним, я уверен, нетрудно будет вместе поладить, а когда соглашение состоится, я думаю, что он его будет исполнять без обмана, без кляуз, без ссор, не рассуждая об этом со старыми соседями, с дворянами и другими, которые не желают мне добра, и не советуясь с иезуитами... Он — нашего времени, этого века, а не другого, так как, я полагаю, он мало видел то, что называют старым режимом. Он сражался вместе с нами, почему, как говорят, он и не боится унтер-офицеров [5]; а затем будучи эмигрантом, помимо своей воли, он никогда не сражался против нас, слишком хорошо зная, чем он обязан родной земле, и что нельзя быть правым, будучи против своего отечества. Он это знает и еще другие вещи, которым вовсе не выучиваются, будучи в его сане». Яснее нельзя говорить, но Курье еще поясняет, что он бы с удовольствием видел герцога Орлеанского мэром своей деревни, да и считает его способным «ко всем прочим должностям».

Это маленькое произведение («Réponse aux anonymes») Курье напечатал без подписи, и прокуратура предпочла промолчать; не трогала она его и за другие (правда, мелкие и довольно незначительные) заметки, которые он писал в газетах в эту пору. Прошли благополучно, например, и две заметки (из серии «Gazette de village»): одна о провокаторах, другая — о непопулярной войне 1823 г. против испанских кортесов (в поль-

ву Фердинанда VII). Между прочим, он отметил факт наплыва провокаторов в деревне: «В наших деревнях видят людей, которые ничего не зарабатывают, много тратят, людей неизвестных, чужих. Один торгует спичками, другой пришел продавать лошадь, которая стоит 20 франков; они устраиваются в гостинице, проедают по 10 франков в день. Они заводят знакомства, играют и угощают выпивкой по воскресеньям, в дни праздников и собраний. Они говорят о Бурбонах, об испанской войне, разговаривают и вызывают на разговор. Это — их занятие. Для этого они ходят по деревням, а не для другого какого-либо дела. Этих людей называют в городах шпионами, в армии — «*copains*», при дворе — тайными агентами; в деревнях у них еще нет названия, так как известны там лишь с недавнего времени. Они распространяются, расширяются, по мере того как организуется общественная нравственность». То же явление, вспомним, воспел и Беранже в эти же годы («Monsieur Judas»).

Еще удивительнее, что Курье оставили в покое после выхода в свет (в марте 1823 г.) его маленького «Livret de Paul-Louis vigneron», где он, между прочим, обращался к солдатам, которых посылали на усмирение Испании. «Солдаты,— писал он между прочим,— вы идете восстановлять в Испании старый режим... а когда вы восстановите старый режим в той стране, вас возвратят сюда, чтобы сделать то же самое и здесь. А знаете ли, мои друзья, что такое старый режим? Для народа это — налоги; для солдат — черный хлеб и палочные удары... При старом режиме солдаты никогда не могут быть офицерами... Отправляйтесь же, калечьте себя, чтобы не быть офицерами и получать палочные удары. Вас заставляют идти туда иностранцы; ибо король этого не хотел бы. Но его союзники заставляют его посылать вас туда. Его союзники, король прусский, император России, император австрийский, следуют старому режиму... Солдаты, летите к победе, а когда сражение будет выиграно, вы знаете, что вас ждет: дворяне получат повышение, а вы получите удары палкой... По возвращении из экспедиции, вы получите всю недоимку палочных ударов, какая вам приходится с 1789 года». Могло быть, что правительство (члены которого далеко не с одинаковым энтузиазмом относились к испанской экспедиции) не хотело возбуждать политические страсти еще более, мстя Курье снова тюремным заключением, может быть, и популярность его к 1823 г. настолько возросла, что Виллель (всегда с этим считавшийся) вообще решил стать снисходительнее к памфлетисту, но Курье не обеспокоили на этот раз. Он приступил тогда к работе над новым произведением, которому суждено было стать последним. В 1824 г. (в марте) появился «Le pamphlet des pamphlets». Курье разбирает здесь вопрос о том, что такое памфлет, каково может быть его значе-

ние. Он вспоминает, как его бранил во время процесса прокурор, называя «гнусным памфлетистом», и как после процесса, случайно встретившись с одним из обвинивших его присяжных, Артуром Бертраном, он спросил Бертрана, что именно показалось ему заслуживающим осуждения в этом памфлете (это был, как выше указано, «Simple discours»). «Я его не читал»,— ответил он мне,— но это — памфлет, этого мне достаточно». Тогда я спросил его, что такое памфлет, и каково значение этого слова, которое, не будучи для меня новым, нуждалось в некотором пояснении. «Это,— ответил он,— сочинение, имеющее немного страниц, как ваше, в один или в два листа только».— «А в три листа,— опять начал я,— будет ли это все еще памфлет?» — «Может быть,— сказал он мне,— в обычном понимании; но собственно говоря (proprement parlant), памфлет имеет лишь один лист; два или более составляют брошюру».— «А десять листов? пятнадцать? двадцать?» — «Составляют том, сочинение»,— сказал он мне. К этим не совсем убедительным пояснениям присяжный прибавил, что в памфлете заключается всегда яд, ибо так сказал прокурор. «Пресса — свободна; печатайте, публикуйте все, что хотите, но не ядовитое». С большой энергией и обычным остроумием Курье отстаивает принцип свободы печати от этих примитивных воззрений робкого обывателя, запуганного прокурорским авторитетом. Паскаль, автор «Lettres provinciales», Цицерон, автор речей, «которые были настоящими памфлетами», Франклин в Америке, Демосфен, апостол Павел, св. Василий — вот люди, которые не гнушались коротенькими речами и произведениями влиять на людей. Приводя эти славные имена, Курье подчеркивает, что самая форма памфлета требует от автора много ума и много труда. «Самое маленькое „письмо“ Паскаля было труднее написать, чем целую энциклопедию». Цитируя (все время) якобы полученное им письмо одного английского приятеля, Курье объясняет отрицательное отношение к памфлетистам во Франции всеобщим «духом лакейства» (l'esprit de valetaille) и по этому поводу дает такую краткую характеристику занятий отдельных наций: «Англичанин плавает по морю, араб грабит, грек — сражается за свободу, француз — делает реверанс и служит или хочет служить, он умрет, если не будет служить. Вы — не самый рабский, но самый лакейский из всех народов». Там, где всякий жаждет попасть в услужение, естественно, что к печати должны относиться с неодобрением. За правду, высказанную в печати, человека «во Франции отлучают, проклинают в виде милости, сажают в Сен-Пелажи; лучше бы ему было не родиться». Что же делать памфлетисту? Уехать «за Океан»? Нет, «быть может, с божьей помощью, мы будем иметь здесь столько же свободы, как в другом месте»,— и даже не придется жерт-

вовать собой для проповеди истины. Мир движется вперед, и «если его движение нам кажется медленным, так это потому, что мы живем лишь одно мгновение. Но какой путь он совершил за пять или шесть веков!» Теперь его уже ничто не может остановить.

Когда Курье писал, что человек живет лишь одно мгновение, он не знал, как мало мгновений осталось еще жить ему самому. Крестьяне, служившие у него на ферме, составили против него заговор, и 10 апреля 1825 г. он был убит ружейным выстрелом. Обстоятельства дела выяснились не в 1825 г., когда судили и оправдали за недостатком улик сторожа Луи Фремона, а спустя пять лет, когда Фремон сознался и рассказал все. (Некоторое время у суда было даже подозрение против жены Курье, но в конце концов ее оставили в покое).

Погиб он, конечно, на почве непрекращавшихся соседских дрязг и ссор, которые отравляли ему жизнь уже давно и в которых немало были виноваты его тяжелый, раздражительный нрав и хозяйская подозрительность.

Характерно, что в последние несколько лет его жизни его самочувствие было, по-видимому, гораздо лучше, нежели прежде, в первые годы по выходе в отставку. Успех памфлетов, широкая известность — все это сильно скрашивало его невеселую личную жизнь.

Впечатление, произведенное его смертью, было очень велико. Дело было в первые месяцы царствования Карла X,— и, конечно, не обошлось без подозрения относительно участия иезуитов и властей в убийстве Курье. Когда в 1829 г. Арман Каррель, один из самых выдающихся журналистов оппозиционной прессы, писал заметку о Курье для первого собрания его сочинений, он с горьким чувством отметил, что много раз приходится по поводу тех или иных действий властей вспоминать о безвременно погибшем памфлетисте.

Об историческом смысле деятельности Курье я уже высказался в начале этой статьи. Ему не пришлось дожить до полнейшего торжества — до июльской революции и воцарения того самого герцога Орлеанского, которого, как мы видели, он так горячо рекомендовал своим согражданам, как человека, «которому можно довериться». Люди умонастроения Курье только с июльской революцией окончательно успокоились насчет участи мелкой собственности и конституционной хартии,— двух благ, которым, по мнению Курье, грозила вечная опасность: опасность, правда, не в смысле *уничтожения,*— в эту возможность Курье не верил,— а опасность от покушений, хотя бы и с негодными средствами, но все же мешавших спокойно жить и работать.

Что касается значения Курье в истории французской прозы,

то даже строгий Сент-Бёв, например, не находил слов, чтобы выразить свое восхищение пред стилем Курье, его фразой, полной неожиданностей, блеска и красоты. Это — один из тех исключительных авторов, которых можно прекрасно знать, которых открываешь только, чтобы навести справку, вспомнить то или иное место, и, раз раскрывши книгу, непременно дочитываешь до конца весь памфлет, всю статью. Его памфлеты свободны в общем и от того (единственного) недостатка, который так портит его произведения, внушенные личной злобой или личными интересами (вроде письма к Ренуару или письма к членам Академии надписей, написанного после того, как его забаллотировали в 1820 г.),— именно от излишней грубости, слишком явного, торопливого желания оскорбить. Памфлеты Курье — классический образчик боевой публицистики; они же — исторический источник, без которого никогда не должен обходиться ни один добросовестный исследователь Реставрации.

В кн.: История западной литературы (1800—1910), т. 2. М., 1913, стр. 188—209.

БИБЛИОГРАФИЯ

Русский перевод политических памфлетов Курье издан Л. Ф. Пантелеевым. СПб., 1897, 369 стр. (Сочинения, ч. 1). [*Примеч. ред.* Памфлеты. Пер., вступит. статья и сост. Ф. С. Наркирьера. М., Гослитиздат, 1957, 366 стр]. — О П.-Л. Курье писали: Carrel A. Essai sur la vie et les écrits de P.-L. Courier. Много раз прилагался к собраниям сочинений памфлетиста; Sainte-Beuve (в серии «Nouveaux lundis»); Giraud (в нижеуказанном издании «Œuvres choisies»). Ср. также об обстоятельствах кончины Курье. André L. L'assassinat de P.-L. Courier. Paris, 1913, 308 p.— Памфлеты Курье издавались отдельно при его жизни и в первые годы после смерти. Из собрания сочинений Курье должно отметить: Collection complète des pamphlets politiques et opuscules littéraires de P.-L. Courier, ancien canonnier à cheval. Bruxelles, 1826.— Mémoires, correspondance et opuscules inédits. Paris, 1828.— Œuvres complètes. Bruxelles, 1828. (В 4-х томах).— Œuvres complètes. Paris, 1829—1830. (В 4-х томах). — Pamphlets politiques et littéraires. Paris, 1831. (В 2-х томах).— То же. Paris, 1839.— Œuvres complètes. Paris, 1834. (В 4-х томах).— То же. 1861; 1878.— Œuvres de P.-L. Courier. Т. 1—2. Paris, Didot, 1845.— То же. 1857.— Chefs-d'œuvre de P.-L. Courier (изд. David, 1864). (В каталоге Нац. библ. показано семь повторных изданий: 1864, 1865, 1866, 1868, 1882, 1896, 1897, 1898).—Œuvres de P.-L. Courier, précédés d'une préface, par F. Sarcey. Paris, 1876—1877. (В 3-х томах).— Œuvres de P.-L. Courier... avec notice et note, par Fr. de Caussade. Paris, 1880 (В 2-х томах). Из последних сокращенных изданий превосходно проредактировано издание: Œuvres choisis. Pamphlets politiques et littèraires, œuvres diverses, correspondance. Préface et notices par J. Giraud. Paris, 1913, 460 p.

СТАТЬИ ДОБРОЛЮБОВА ОБ ИТАЛЬЯНСКИХ ДЕЛАХ

Статьи Добролюбова об Италии написаны в тот важный исторический момент, когда были пройдены первые и самые важные этапы в борьбе за объединение Италии: в эпоху войны Франции и Пьемонта против Австрии (1859 г.), присоединения Тосканы, Пармы, Модены и Лукки, экспедиции Гарибальди в королевство Обеих Сицилий (1860 г.) и провозглашения Итальянского королевства (1861 г.). Когда Добролюбов умер, только Венеция и Рим еще оставались вне новой монархии.

Прежде чем говорить в отдельности об этих статьях, нужно было бы определить ту публицистическую цель, которую Добролюбов совершенно ясно ставил себе, когда говорил об итальянских делах в «Современнике». Что все его симпатии были на стороне итальянского объединения, об этом, конечно, нечего и говорить, и в этом отношении вообще в руководящих органах русской печати и во всех слоях русского общества сколько-нибудь существенных разногласий нельзя отметить. Даже самые ревнивые хранители николаевских традиций сочувствовали Пьемонту или, вернее, злорадствовали по поводу австрийских неудач. «Австрийская измена» 1854—1855 гг. была еще свежа в памяти. «Прочь, прочь австрийского Иуду от гробовой его доски»,— восклицал Тютчев по поводу приезда австрийского эрцгерцога на похороны Николая. Это чувство продолжалось не только до войны с Австрией Наполеона III, но и до войны Австрии с Пруссией в 1866 г. Таким образом, итальянский вопрос оказался одним из тех, относительно которых разнохарактерные слои русского общества совершенно сходились между собой, по крайней мере в самом существенном пункте.

Но в деле итальянского объединения была одна проблема, которая и приковала внимание Добролюбова: кто объединил Италию? Кавур или Гарибальди? Чья заслуга больше: государственного человека, осторожно комбинирующего и подготовляющего благоприятную политическую ситуацию, или революционера, идущего на отважный риск и готового немедленно пожертвовать своей жизнью и жизнью товарищей? Эта проблема больше всего занимала Добролюбова не столько с тактической, сколько с моральной, так сказать, своей стороны. Он не брался

доказывать, что Италию можно было объединить без войны 1859 г. (которая и была подготовлена и ускорена в немалой степени именно благодаря Кавуру) или что гарибальдиевской «тысячи» хватило бы для довершения объединения. Но ему хотелось противопоставить психологический тип политического деятеля-постепеновца, умеренного оппортуниста (выражаясь термином еще тогда не придуманным), типу революционера. В виде примера, образчика первого типа, он берет Кавура, представителей другого типа он находит в Гарибальди, в революционерах Молодой Италии, в Александро Гавацци. Отдельно от статей, проникнутых указанной тенденцией, стоит очерк «Непостижимая странность», где Добролюбов, под весьма прозрачным покровом иронического удивления, проводит оптимистический взгляд, что даже такой народ, который считается безнадежно-неспособным к проявлению какой-либо активности может совершенно неожиданно обмануть все расчеты и обнаружить внезапную и твердую решимость к перемене своей участи.

Мы сначала коснемся указанной первой группы статей, а затем перейдем к «Непостижимой странности».

Что «Современник» уделял такое серьезное внимание итальянским делам, удивляться не приходится. Итальянское движение конца 50-х годов было первым событием, нарушившим то состояние оцепенения, в котором западноевропейские прогрессивные элементы находились с самого 1849 г., и нанесшим первый удар царившей в 50-х годах реакции. Но в то время как для Западной Европы это движение явилось, в самом деле, первой грозой после затишья, продолжавшегося десять лет, в России лед николаевского режима уже с конца севастопольской кампании стал таять и надламываться. Поэтому получилась такая любопытная картина: в Западной Европе даже более крайние прогрессивные элементы не очень интересовались тем, чтобы разграничить отдельных деятелей итальянского движения — особенно в такой жгучий момент, как в 1859 г.,— а больше противопоставляли их всех (en bloc) деятелям австрийской государственности, эпигонам меттерниховского режима: в России же публицистика радикального лагеря желала отчетливо выяснить свое суждение относительно этической неравноценности представителей правительственного либерализма, к каковым причислялся Кавур, и сторонников крайних способов борьбы, знаменосцем которых являлся, в глазах Европы, Гарибальди.

Кавуру посвящена Добролюбовым особая статья.

Название этюда Добролюбова — «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» — напоминает заглавие брошюры Antonio Watripon'a, вышедшей тотчас после смерти министра, «La

vie et la mort du comte de Cavour» [1], замечу, что и вообще, как мне кажется, эта брошюра была под руками у Добролюбова, когда он писал свою статью.

Статья написана в том тоне, в котором радикальное общественное мнение Италии отзывалось о Кавуре в последний год его жизни: Кавур — приказчик Наполеона III, предающий интересы родины и т. д. Французы «вдруг... теряют доверенного человека, который вел все их счеты и выносил на своих плечах большую долю ответственности!.. Понятно, что для них эта потеря гораздо ужаснее, чем для самих опекаемых» итальянцев. Снова и снова повторяется упрек Кавуру в уступке Наполеону III Савойи и Ниццы, причем Добролюбов и здесь не пытается хоть в самых общих чертах проанализировать вопрос, была ли хоть какая-нибудь возможность для Пьемонта получить французскую помощь против Австрии без этой уступки. Делается совершенно произвольное предположение, что в случае похода Гарибальди на Рим французским войскам было бы «нравственно невозможно» сражаться против него и что, следовательно, опасения Кавура были не основательны и только обличают трусливость его души. Добролюбов в этом своем предположении ссылается на французских офицеров, с которыми разговаривал, но, разумеется, вся эта гипотеза о «нравственной невозможности» для французов сражаться против волонтеров Гарибальди нисколько не убедительна: через каких-нибудь шесть лет после смерти Добролюбова, в 1867 г., Гарибальди сделал свою попытку войти в Рим, и французский гарнизон расстрелял его мужественных, но немногочисленных соратников из ружей Шаспо. Нужно, впрочем, заметить, что Добролюбов избегает того, чтобы определенно высказать свое мнение по центральному, принципиальному вопросу всей дипломатической деятельности Кавура: нужен или не нужен был для объединения Италии союз с Наполеоном III? Можно было или нельзя было без него обойтись? Затронув этот вопрос, он приводит два мнения, одно — враждебное (Мадзини), другое — похвальное (Петручелли делла Гаттина). Но, приведя оба мнения, он предоставляет читателю разобраться в них: «А наше дело — летописное». Правда, не решая прямо этого вопроса, он не скрывает, что его-то личные симпатии вообще лежат на стороне Мадзини, что было пренебреженное, по его мнению, Кавуром «средство национальное, прямое, решительное, рассчитывавшее на силы и участие народа всей Италии», средство, проповедуемое Мадзини и вообще «людьми слишком горячими и опрометчивыми». Но каким образом возможно было бы справиться с Австрией без помощи другой великой военной державы, он при этом не говорит, и вообще не развивает сколько-нибудь конкретно этой программы. Намека, что если Пьемонту не под силу была

борьба с Австрией, то вся Италия могла бы ее выдержать, конечно, недостаточно. Невыдержанность общей критической позиции Добролюбова относительно кавуровской дипломатии в том и заключается, что, оставляя в общем в тени принципиальный вопрос о союзе с Францией, русский публицист приберегает все свои удары для тех действий Кавура, которые явились прямым следствием этого союза (вроде уступки Савойи и Ниццы, временного отказа от занятия Рима и т. д.).

Но, повторяем, Кавур больше всего интересовал Добролюбова и больше всего был ему ненавистен как политический и психологический тип, и с этой точки зрения не имеет особенного значения некоторая голословность и невыдержанность критики отдельных проявлений кавуровской дипломатии.

Добролюбов хочет сделать Кавура представителем антипатичных ему либералов, сблизить этот образ с русской действительностью, с «людьми сороковых годов»; это чувствуется, например, в характеристике молодых лет Кавура: «И вот он предался тому образу жизни, который так обыкновенен и так знаком многим „передовым“ людям недавних времен в разных странах Европы... Это жизнь созерцательного, платонического либерализма, крошечного, умеренного и не иначе переводящегося из слов в дело, как тогда, когда уже оставаться в бездействии становится невыгодно и, даже, пожалуй, опасно». Эти люди «или по темпераменту, или по своему внешнему положению... никак не могут дойти до последних выводов, не в состоянии принять решительных радикальных воззрений, которые честного человека обязывают уже прямо к деятельности, к пожертвованиям». Наш критик, стремясь сделать этот образ вполне законченным, закрывает глаза на те подробности, которые могли бы хоть немного нарушить цельность его. Например, разбирая статью об Ирландии, написанную молодым Кавуром, Добролюбов не заметил, что Кавур идет дальше, чем шли многие из бесспорно революционно настроенных ирландцев той эпохи, членов так называемой «Молодой Ирландии»: ведь он требует для прочного умиротворения Ирландии, не более не менее, как перехода землевладения из рук лендлордов в руки фермеров. Оставив без внимания самую важную и самую смелую по тому времени мысль статьи, Добролюбов отмечает только то, что ему нужно для стройности и законченности характеристики: восхваление Кавуром «половинчатой» политики О'Коннеля. Что касается министерской деятельности Кавура, то хотя, как мы уже видели, Добролюбов не углубляется в основной вопрос о французском союзе, эта часть статьи весьма ярко и талантливо уясняет внутренний облик итальянского государственного деятеля с той точки зрения, с которой он Добролюбова интересовал. Оппортунист, постепеновец, тип, ненавистный Добролю-

бову в русской жизни, подвергается в лице Кавура язвительно-иронической критике. Горечь обиды за погибших итальянских революционеров, которых он противопоставляет счастливому и прославляемому министру, сообщает всей статье (особенно ее заключению) тот характер затаенной, сдержанной страстности, который был так свойственен нашему критику.

В другой статье, где тоже речь идет специально о Кавуре, именно в сатирическом наброске «Два графа», основная тенденция Добролюбова выступает особенно ярко потому, что он рисует не один, а два портрета людей, принадлежащих к несимпатичному ему психологическому типу. Ни с какой иной точки зрения параллель между Кавуром и Монталамбером не имеет смысла. Нужно сказать, что, может быть, для большей яркости обрисовки этого типа Добролюбов не дает читателю исторического Монталамбера, а вносит в его портрет нечто от себя. Кто такой Монталамбер добролюбовский? Умеренный либерал, который из трусости «не хочет быть первым» в борьбе против деспотизма Наполеона III. А кто такой Монталамбер исторический? Человек, который, имея всегда в виду интересы ультрамонтанства, и только их, от души доволен был и переворотом 2 декабря, и вообще крушением революционных чаяний, и установлением фактической диктатуры, ибо все эти обстоятельства обусловливали длительный и тесный союз между клерикализмом и сильными мира сего, делали клерикализм нужным в глазах правящих властей, обеспечивали ему после двадцатилетнего уничижения новый, неожиданный расцвет. И со своей точки зрения, конечно, Монталамбер был совершенно прав. Он готов был и с Наполеоном III поссориться (и ссорился и попадал под суд), но в основе этих ссор могли лежать обиды, чинимые императором католицизму, а никак не либерализму. Либеральный налет у графа Монталамбера был несущественным и никогда ничего в его карьере неопределявшим обстоятельством. Добролюбов совершенно не принял во внимание, что вплоть до 1859 г., до вмешательства в итальянские дела, Монталамбер ни за что не хотел бороться с бонапартизмом, и вялые отписки и отговорки графа в первые годы после переворота 2 декабря он опять-таки объясняет робостью умеренного либерала.

Что касается характеристики Кавура, то она здесь дополняет и развивает то, что мы уже отметили в (позднее написанной) статье о «Жизни и смерти графа Камилло Бензо Кавура»: «Он любит выступить на борьбу, оградивши себя справа и слева, и сзади и спереди, или выждавши такое время, когда уже и ограждать себя не от кого». Конечно, только полемическим выпадом можно признать такое объяснение союза с Францией: «Для того, чтобы свобода не была уже слишком свободна, оба

графа готовы на все. И, во-первых, они любят, чтобы она была не взята, а дарована, пожалована, так сказать... Вот почему граф Кавур хотел, чтобы освобождение Италии совершилось непременно Наполеоном III». Разумеется, он не повторяет этой пришедшейся к слову бутады в том, например, месте статьи о «Жизни и смерти графа Камилло Бензо Кавура», где речь идет о французском союзе.

Добролюбов относится к Кавуру не только с пренебрежением, но даже более, с презрением; он его считает не просто представителем несимпатичной ему умеренно-либеральной тенденции, но одним из *худших* ее представителей. Образ честолюбца, для которого «защита итальянской национальности» не более как «штука, на которой он мог упражнять свою деятельность шумно и самостоятельно», образ эгоиста, никогда не забывающего о личных своих выгодах, «упрочивающего себе... состояние в 40 000 000 франков»,— вот что рисует в отмеченных двух статьях Добролюбов перед своими читателями. Это впечатление у читателя усиливается, когда он принимается за «Письмо из Турина». Добролюбов писал эту корреспонденцию в марте 1861 г., в эпоху открытия первого итальянского парламента, в момент наивысшей популярности графа Кавура. Русский критик не видит ничего хорошего в подобном отношении к Кавуру: «Полезно ли для итальянцев такое доверие к Кавуру и министерству — это другой вопрос; но что оно полезно для Кавура, в этом не может быть никакого сомнения. Оно удерживает за ним власть, а власть дает ему не только почет, но и замечательные материальные выгоды». Добролюбов приводит при этом несколько примеров, подтверждающих тот (в самом деле бесспорный) факт, что Кавур весьма внимательно относился к делу приумножения своего личного состояния. Характеристика антипатичной автору личности Кавура, вообще, сделана в «Письме из Турина» в высшей степени метко и ярко, но и тут не обошлось (наряду с очень верной хоть и жестокой критикой) без упреков, не имеющих прочного основания. Например, Добролюбов говорит: «В Италии, может быть, нет человека, который бы менее Кавура знал, что и как будет с Римом. Все в Италии уверены, что Рим в этом году, в это лето, в ближайший месяц будет итальянским; а Кавур не уверен». Теперь мы знаем, что «все в Италии» ошибались, а Кавур был прав, не предаваясь оптимизму: Рим стал итальянским не в 1861 г., когда писалась статья, а в 1870, спустя девять лет после того, как и Добролюбов и Кавур были положены в гроб... Чтобы уж покончить с «Письмом из Турина», заметим, что Добролюбов описывает историческое заседание 14 марта парламента, на которое он попал, в полном согласии со всеми описаниями этого дня. (Может быть только при передаче речи Броф-

ферно слово *почти* было вставлено в статью, которая должна была считаться с цензурными условиями) [2]. По тонкой наблюдательности, по меткости и остроумию отдельных замечаний, по общей значительности содержания «Письмо из Турина» может смело быть названо идеальной политической корреспонденцией.

Статьи о «Жизни и смерти графа Камилло Бензо Кавура», о «Двух графах» и, отчасти, «Письмо из Турина» характеризуют несимпатичный Добролюбову тип политического оппортуниста и умеренного либерала. В статьях «Отец Александр Гавацци и его проповеди» и «Непостижимая странность» Добролюбов обращается мыслью к революционному оратору и к внезапной неаполитанской революции.

Собственно, Александр Гавацци никогда не играл в истории итальянского объединения сколько-нибудь значительной роли; он был одним из популяризаторов идеи объединения среди простого народа, популяризатором искренним и горячим, которого духовный сан делал, конечно, весьма авторитетным в глазах аудитории. Добролюбова подкупило в этом ораторе, что «каждый раз темы его проповеди были жизненны и близки к положению народа и сопровождались более или менее ощутительными практическими последствиями»; священник-демократ, священник-народный агитатор, «сын и друг народа», знающий, что не нужно оскорблять религиозные чувства неаполитанского простонародья, и знающий, чем взволновать и умилить своих слушателей, проповедник-гарибальдиец — пленил Добролюбова, и критик нашел для него тот сердечный, теплый тон, который на страницах его сочинений не часто встречается. Конечно, читая о рядовом деятеле-гарибальдийце, можно пожалеть, что Добролюбов не успел посвятить особой статьи самому Гарибальди, которого он так горячо любил и так высоко ставил; помимо яркости и значительности характеристики, которая, конечно, удалась бы Добролюбову, публицистический замысел критика, отдавшего столько внимания Кавуру, требовал, казалось бы, такого противопоставления либералу-министру — народного вождя и героя. Фигура Гавацци для подобной антитезы, конечно, была слишком незначительна.

Отдельно от всех «итальянских» статей Добролюбова стоит этюд «Непостижимая странность»: эта статья посвящена не столько моменту объединения Италии, сколько предшествовавшему, дореволюционному периоду.

Статья «Непостижимая странность» также имеет в виду вполне определенную публицистическую цель, которую я уже отметил. Автор стремится показать, что история не всегда

оправдывает самые уверенные суждения и оценки, касающиеся того или иного народа, и что под внешним покровом безмолвия и покорности может незаметно и неожиданно созреть готовность к самому решительному и крутому перевороту.

Нужно сказать, что автор для доказательства своей мысли пользуется литературой, касающейся Неаполя и относящейся к последним десятилетиям перед походом Гарибальди, но совершенно оставляет в стороне историю Неаполя и всего королевства Обеих Сицилий с 1798 по 1815 г. и взрыв 1847—1848 гг. Если бы он принял во внимание эту категорию фактов, его тезис много потерял бы в своей отчетливости и яркости, но статья выиграла бы в полноте и исторической точности. Правление неаполитанских Бурбонов в сущности никогда не отличалось особенной прочностью, и династия при сколько-нибудь решительном толчке извне всегда оказывалась лишенной корней в населении. Неаполитанские Бурбоны и получили трон вследствие игры дипломатических комбинаций в начале XVIII столетия и держались на троне все теми же дипломатическими влияниями и воздействиями. Когда французская Директория решила занять королевство своими войсками, то при первом приближении генерала Шампионнэ династия бежала, бросив все на произвол судьбы, и в Неаполе была провозглашена республика; стоило Суворову показаться в Италии, а Шампионнэ уйти, и династия восстанавливается. Проходит несколько месяцев — генерал Бонапарт бьет австрийцев при Маренго,— и опять Бурбоны шатаются на престоле, а после Аустерлица следует приказ Наполеона об их низложении, и Неаполь с полнейшим равнодушием видит замену Бурбонов Иосифом Бонапартом, а затем маршалом Мюратом. За весь этот период (1798—1806 и сл. гг.) так называемые народные движения в пользу Бурбонов, поддерживаемые сначала Руффо и королевой Каролиной, а затем — одной Каролиной и ее клевретами, ограничивались грабежами и нападениями искусственно сорганизованных шаек бандитов и представителей подонков населения, причем, если уж говорить о какой-либо «руководящей» идее, эти шайки прикрывались знаменем защитников веры; привязанность к династии —в качестве движущей пружины — здесь может быть прослежена с величайшим трудом и большими натяжками: столь мало была она заметна в действительности. В 1815 г. Бурбоны были восстановлены европейской дипломатией на престоле, а в 1820, как известно, достаточно было военного мятежа, чтобы король Фердинанд тотчас пошел на все уступки, не найдя ни малейшей поддержки в народе (и снова власть его была восстановлена европейским вмешательством). Наконец, полный и быстрый провал королевской власти в 1848 г. доказал еще раз, что ни малейшей внутренней

силой династия Бурбонов не обладает. Между восстановлением королевского абсолютизма (опять-таки вследствие восторжествовавшей общественной реакции) и окончательным падением династии под ударами Гарибальди прошло 10 лет с лишком, и за это десятилетие Бурбоны держались напряженным полицейским террором, который в свою очередь подкреплялся политикой Австрии. Это все относится к королевству, рассматриваемому как нечто целое; что же касается, в частности, Сицилии, то она активно ненавидела династию, проявляла в массе населения сепаратистские тенденции, и само правительство неаполитанское никаких иллюзий в этом отношении не питало. Писать, что народ «скорее расположен был всеми силами защищать Бурбонов, нежели восстать против них», Добролюбов не имел ни малейших исторических оснований: династия Бурбонов за последние 60—65 лет своего существования была в состоянии неустойчивого равновесия именно вследствие полного отсутствия сколько-нибудь существенной, сколько-нибудь заметной поддержки среди населения. Она низвергалась иногда под влиянием внешних толчков, иногда ее принуждали капитулировать ее внутренние враги, но торжествовала она всегда исключительно вследствие внешней поддержки; так было и в 1799, и в 1815, и в 1848 гг.

С другой стороны, нельзя отрицать, что Добролюбов сделал весьма удачный подбор цитат из произведений публицистов разных лагерей и если что доказал в самом деле вполне основательно, это то, что публицистика, рассчитанная на европейскую публику, осведомляла читателей о неаполитанских делах весьма поверхностно и обнаруживала значительное легковерие и верхоглядство.

Правда, что касается книги Жюля Гондона, которую обильно цитирует Добролюбов, то это — безусловно, неаполитанский правительственный памфлет, написанный услужливым французским журналистом (полное название его такое: De l'état des choses à Naples et en Italie. Lettres à Georges Bourjes Esq. membre du Parlement britannique. Par Jules Gondon. Paris et Londres, 1855). Написан этот памфлет с самой неприкрытой целью воздействовать на французское и английское общественное мнение в желательном для короля Фердинанда духе. Одним из излюбленных приемов автора является сравнение английских установлений (например, тюрем — стр. 135—137 и сл.) с неаполитанскими, и, конечно, сравнение будто бы невыгодное для первых. Разумеется, для того, чтобы ярче оттенить свою мысль, Добролюбов не мог и придумать ничего лучше тех цитат, которые он привел из книги Гондона. Можно только заметить, что для уразумения не только действительного положения вещей в Неаполитанском королевстве, но даже и среднего

общественного мнения о неаполитанских делах, книга Гондона никакого значения иметь не может.

Но зато весьма характерны и показательны выдержки из других публицистических произведений, путевых заметок и воспоминаний; положительно, Добролюбов использовал почти все, наиболее замечательное, что относилось к интересовавшему его вопросу. Между прочим, серьезной заслугой Добролюбова является то обстоятельство, что он впервые указывает здесь русской публике на знаменитые письма Гладстона к графу Эбердину об ужасах неаполитанского строя и дает некоторые выдержки из этой классической книги [3]. Полное бессилие пестрой европейской публицистики разобраться в неаполитанских делах, совершенное отсутствие в этой литературе сколько-нибудь правильного прогноза ближайшего будущего, очень смелые и очень легкомысленные огульные характеристики неаполитанского народа и народного духа — все это весьма остроумно и ядовито напоминается Добролюбовым как раз после внезапного и безнадежного провала династии, после низвержения Бурбонов экспедицией Гарибальди.

Этими краткими замечаниями мы и ограничимся. Добролюбов умер как раз в тот момент, когда главный «героический» период итальянского объединения был закончен. Венеция и Рим в момент смерти Добролюбова еще были вне нового государства и чтобы дождаться их освобождения от австрийцев и от Пия IX понадобились две европейских войны — австро-прусская 1866 г. и франко-прусская 1870 г. И в обоих случаях не народному элементу, а дипломатическому действию досталась главная роль. Добролюбов пережил, передумал и перечувствовал именно ту эпоху итальянского risorgimento, которая больше всего отмечена печатью народного одушевления и окутана поэтической легендой. Если бы итальянское общество знало статьи Добролюбова и герценовскую Camicia rossa, оно бы убедилось, что лучшие представители двух русских поколений всем сердцем переживали великую историческую драму 1859—1861 гг.

В кн.: Добролюбов Н. А. Полное собр. соч., т. 8. Публицистика, ч. 3—4. СПб., [1913],стр. 159—171.

GOOCH G. P. HISTORY AND HISTORIANS IN THE NINETEENTH CENTURY. 2 ed. London, 1913. VI, 600 p.

Редко приходится читать книгу в шестьсот убористых страниц, носящую ученое название, имеющую внешний вид «учености» и вместе с тем столь легкомысленно состряпанную, написанную с таким явным пренебрежением и к своему предмету и к читателю, с такой убогой осведомленностью и с такими в то же время претензиями, как это произведение Гуча (Gooch), посвященное анализу судеб исторической науки в XIX столетии. Автор намерен был, как он пишет в предисловии, «суммировать многообразные результаты» исторической науки за последние сто лет, характеризовать «мастеров» науки и их произведения, «проанализировать их влияние на жизнь и мысль» их времени. Он с удовлетворением отмечает, что доселе «не было еще подобной попытки ни на одном языке». Что правда, то правда, подобной попытки не было, но отнюдь не потому, что не находилось вплоть до появления г. Гуча лиц, которым по плечу была бы подобная задача, а потому, конечно, что они лучше, нежели он, знали объем и содержание этой задачи и по тем или иным причинам не могли или не хотели посвятить многие годы жизни этому труду. Мне очень хотелось бы, с одной стороны, предостеречь других от бесполезной потери времени (от которой не уберегся я, прочитавший этот том, как только он вышел в свет), а с другой стороны, я не считаю возможным занимать много места в серьезном научном журнале подробным разбором этой непродуманной груды случайных набросков, объединенных одним лишь красным английским переплетом. Поэтому я укажу только на две кричащие, бросающиеся в глаза черты этой книги: 1) полное отсутствие чего бы то ни было похожего на план и 2) поразительное незнание целого ряда фактов, которые обязан знать даже хороший студент, кончающий факультет по историческому отделению. Остановлюсь на этих двух пунктах.

1. Мне легко быть кратким в доказательствах правдивости первого утверждения: достаточно привести полностью оглавление, состоящее из коротеньких названий всех двадцати восьми

глав: I. Нибур. II. Вольф, Бек и Отфрид Миллер. III. Эйхгорн и Савиньи. IV. Яков Гримм. V. «Monumenta Germaniae historica». VI. Ранке. VII. Критика и ученики Ранке. VIII. Прусская школа. IX. Возрождение исторического изучения во Франции. X. Романтическая школа — Тьерри и Мишле. XI. Политическая школа — Гизо, Минье и Тьер. XII. Средние века и старый порядок. XIII. Французская революция. XIV. Наполеон. XV. От Галлама до Маколея. XVI. Стрэуэл, Грот и Арнольд. XVII. Карлейль и Фруд. XVIII. Оксфордская школа. XIX. Гардинер и Лекки, Сили и Крейтон. XX. Актон и Мэтланд. XXI. Соединенные Штаты. XXII. Меньшие страны. XXIII. Моммзен и изучение Рима. XXIV. Греция и Византия. XXV. Древний Восток. XXVI. Евреи и христианская церковь. XXVII. Католицизм. XXVIII. История цивилизации.— Вот и все. Ведь уже это оглавление походит на злую карикатуру, но вся бессистемность, все столпотворение, царящее в книге, вся случайность ее содержания — все это вырисовывается вполне отчетливо только, когда читаешь главу за главой. Автор то выхватывает отдельных авторов — и посвящает им беглые характеристики, то, вдруг, заинтересовывается каким-либо историческим вопросом и пишет о состоянии разработки этого вопроса, а потом опять переходит к отдельным авторам, и все это он проделывает даже без малейшей попытки мотивировать свой образ действий, пояснить читателю все эти курьезные скачки и переходы. Эта полнейшая бессистемность, совершенное бессилие классифицировать явления, неумение и нежелание разделять разнородное — все это свидетельствует о таком отсутствии наукообразных навыков мышления, что невольно начинаешь удивляться: какой таинственный зов побудил автора, столь, по-видимому, далекого от научной психологии, взяться за историю труднейшей из научных дисциплин?

2. Эти хаотически-нагроможденные обрывки и отрывки не имеют ценности и взятые отдельно: у автора нет и десятой доли тех материалов, не распоряжаясь которыми нельзя браться за гигантский труд изображения эволюции исторической науки на всем земном шаре за сто плодотворнейших для этой науки лет. Правда, земной шар в представлении автора несколько сокращен — отнесением России к числу «меньших стран» (minor countries),— но, даже и с такой поправкой, земной шар все же слишком велик для скромных познаний нашего автора. Приведу несколько образчиков. Чтобы уж покончить с Россией, скажу, что ей отведено ровно две страницы (из шестисот). Из этих двух страниц мы узнаем, что при Екатерине и Павле Карамзин был «либералом и отчасти космополитом», а потом писал «в славянофильском духе», что затем были Соловьев (22 строки) и Костомаров (10 строк), а уж после Костомарова

появились: 1) Ключевский (8 строк) и 2) Мартенс (5 строк). Кроме них, Россия произвела: Брикнера и Валишевского. Затем в двух строках названы проф. Виноградов и П. Н. Милюков,— и автор спешит к Польше. Он так прочно не знает русской науки (и даже не подозревает этого), что в главе, специально посвященной изучению Византии в XIX столетии, ни одним звуком не поминает ни Василевского, ни Федора Успенского, ни Кондакова, ни Беляева, и вообще *никого* из русских ученых, сыгравших такую роль в византиноведении. Еще П. Г. Виноградову повезло из русских несколько больше: о нем есть шесть строк в главе, посвященной Мэтланду. Ниже всякой критики и главы, занимающиеся революцией и Наполеоном: в первой — избитые фразы о Токвиле, Тэне и Оларе, во второй — о Вандале, а затем о Массоне, Уссэ (Houssaye) и анекдотической литературе (которую, впрочем, наш автор считает «настоящей»). Сюда же, кстати, пристегнут и Эмиль Олливье: он тоже писал о Наполеоне, правда, не о первом, а о третьем, но это, по-видимому, особой роли в глазах автора не играет.

Но зачем говорить о русских или французах, когда английский автор настолько чужд представлению о движении исторической науки и роли отдельных ученых в этом движении, что считает возможным о *Роджерсе* упомянуть в *двух* строках (стр. 585), когда без Роджерса — со всеми его ошибками и методологическими заблуждениями — нельзя понять целого течения в *английской* и европейской историографии! Конечно, о Густаве Шмоллере сказана лишь неопределенная любезность в шести ничего не значащих строчках, конечно, экономическая история не фигурирует отдельно, а включена в общую *Kulturgeschichte*, причем о самой этой Kulturgeschichte (автор употребляет немецкий термин) рассказывается в наиболее сумбурной из всех 28-ми глав, носящей наименование: «The history of civilisation». А насколько автор осведомлен в том, что на самом деле имеет касательство к разработке вопросов «культурной истории» (да и к основным течениям европейской историографии вообще), явствует из того невероятного факта, что о Лацарусе и Штейнтале, об их школе, об их журнале, об их влиянии он не имеет ни малейшего представления и даже не знает этих имен. Целые направления, огромные полосы в истории науки остаются вне поля зрения нашего автора. Путая немилосердно, на каждом шагу, эволюцию историко-философских направлений с историей последовательного расширения фактических познаний в области изучения прошлого, автор оказывается одинаково мало осведомленным и в той и в другой области. В первой категории явлений — он не имеет понятия о многом, даже самом близком к нам, например, хотя бы о Риккерте и возбужденной им полемике, во второй области — мимо него

пропало бесследно тоже очень многое не только относящееся к средине или к началу, но и к самому концу XIX в., например, он ничего не знает об успехах папирологии и значении этих успехов для всех наших представлений о древнем мире, нельзя же принимать в расчет, что он (на стр. 464, в главе о *Моммзене*) говорит в *4 строках* об интересе, который питал Моммзен к этой возникавшей науке. Некоторые небрежности прямо изумительны: у него есть глава о христианской церкви, другая глава — о католицизме, и ни в той, ни в другой ничего нет о трудах аббата Луази! Автор «Синоптических Евангелий» и «Четвертого Евангелия» должен был бы его сильнейшим образом занять, во-первых, с точки зрения характеристики интереснейших новейших течений в разработке основных вопросов истории христианства, а во-вторых, и с точки зрения анализа позиции, которую занял воинствующий католицизм по отношению к профессору Collège de France в последнее время, и, однако,— решительно ничего о Луази нет. Это тем более странно, что наш автор знает Луази (по крайней мере по имени) и даже, говоря о Дюшене, считает нужным вставить слова: «his lectures aroused the enthusiasm of his pupils among whom was Loisy» (571). Но если Луази так замечателен, что достойно особого внимания одно только его присутствие в числе учеников и слушателей на лекциях Дюшеня, то естественно, что читатель ждет, когда же автор пояснит, чем именно столь интересен сам Луази? А этого-то как раз автор и не говорит, да и вообще не поминает более Луази даже вскользь. Очевидно, сознание важности Луази у нашего автора было, да потом он просто забыл о нем поговорить.

Как уже сказано, книга Гуча является ничем внутренне не связанным собранием отдельных набросков. Поэтому нельзя даже и думать серьезно о критике основных представлений автора об эволюции европейской историографии в XIX столетии. Остается прибавить, что он *даже не делает и попытки* как-нибудь обосновать ту «классификацию», которую читатель находит в оглавлении. Что это такое: «прусская школа»? Есть ли смысл в таком делении: «школа романтическая» и «школа политическая»? «Прусская школа» это «группа профессоров, которая устно и письменно проповедовала евангелие национальности, прославляла подвиги Гогенцоллернов и вела соотечественников от идеализма к реализму». И точка, а за точкой непосредственно начинается биография Дальмана. А «политическая школа» — это «группа писателей, цель которых была скорее объяснять, чем рассказывать, учить, а не рисовать (rather to explain than to narrate, to teach than to paint), для которых индивидуум был менее интересен, нежели государство»,— и дальше еще четыре строчки, столь же пустые по

содержанию. А там опять блаженная точка, а за точкой: «Гизо был сыном протестантских родителей» и т. д. и т. д.— безмятежный пересказ биографий и биографий, легонькие характеристики, рассказ своими словами содержания отдельных трудов и пр. Нет следа ни попыток, хотя бы неудачных, ни сознания, хотя бы бесплодного, самой *необходимости* каких бы то ни было обобщений, каких бы то ни было аргументов в пользу намеченной «классификации». Да, впрочем и «классификации» никакой на самом деле нет, так что, быть может, автор по-своему и прав, считая бесполезным окружать лесами здание, которого и не начинал строить. С большим разочарованием закроет эту книгу читатель, прельщенный заманчивым названием и многообещающим предисловием.

Журнал министерства народного просвещения, новая серия, ч. 48, 1913, № 12, стр. 414—418.

И. В. ЛУЧИЦКИЙ

К пятидесятилетию его научно-литературной деятельности. 1863—1913

В этой заметке я хочу поделиться вкратце с читателем тем, что знаю о жизни и деятельности моего учителя и друга Ивана Васильевича Лучицкого. Его книги я изучал, его лекции я слушал, о его влиянии в науке мне было бы известно, даже если бы я его никогда не видел. Что касается его жизненного пути, то много и часто я заставлял его рассказывать о своей жизни, и на этих рассказах основана чисто биографическая часть предлагаемой заметки; кроме того, предо мной были некоторые беглые наброски, которые И. В. как-то начал делать по моим настояниям, хотя я имел в виду другое,— обширные его мемуары, так и ненаписанные, а не отрывки и схематические листки... В этих листках нашел я и воспоминание о встрече с Пироговым, о чем И. В. рассказал как-то в сборнике, посвященном памяти великого ученого и педагога. Остальное было мне подробнее известно из давних и недавних устных бесед с И. В., и листки только освежили в моей памяти даты. Жаль, что так не любит он говорить в печати сам о своей жизни. Приходится другим сделать это за него в тот момент, когда кончилось полвека его служения науке...

Родился И. В. 2 июня 1845 г. в Каменец-Подольском, в семье преподавателя семинарии (впоследствии гимназии). Эта семья — старая в Волынском крае; один из предков был в XVI столетии наборщиком первой типографии Острожского (и даже судился за «оппозицию» начальнику типографии). Предки матери И. В.— выходцы из Рязанской губернии. Отец И. В. оставил очень хорошую память у своих учеников (года два тому назад один из них с чувством вспоминал о нем в «Русской старине»). Единственный сын в семье, И. В., не имел товарищей и рос в обществе взрослых до тринадцатилетнего возраста; в 1857 г. он поступил в каменец-подольскую гимназию, в третий класс. Времена стояли еще очень суровые, начавшаяся в столицах и крупных центрах оттепель совсем не чувствовалась пока в глуши. Военные упражнения, маршировка, ежедневные беспощадные телесные наказания учеников — вот

что встретил мальчик в гимназии. Инспектором был некий Шульгин (впоследствии помощник попечителя виленского округа), моривший учеников бесконечным стоянием в церкви, требовавший механического заучивания («отсюда до сюда») учебника протоиерея Скворцова, написанного весьма неудобопонятным языком.

В первый же день мальчик был напуган угрозой телесного наказания, а на другой день — и наказан за какой-то пустяк. Результатом этих первых впечатлений была нервная горячка, от которой он оправился только через три месяца. К счастью, этот школьный режим был уже при последнем издыхании. С 1858 г. повеяло иным: прекратились маршировки, появились новые преподаватели, совсем по другому обращавшиеся с учениками. А еще через год (И. В. был тогда в 5-м классе) посетил гимназию и новый попечитель округа, знаменитый Пирогов. «До тех пор,— рассказывал И. В.,— мы представляли себе наивысшее начальство в лице директора, который приходил в класс раза два в год, с палкою в руке, кричал, бранил учеников болванами, размахивал палкою — и, наведя надолго ужас, удалялся». Каково же было радостное изумление учеников, когда попечитель оказался начальством совсем в другом духе. Пирогов вошел в класс в довольно обтрепанном сюртуке, подошел к скамьям, уселся подле И. В. и начал просто и ласково разговаривать с учениками и задавать им вопросы. Мальчики приободрились и вскоре уже наперебой отвечали посетителю, а когда урок окончился, гурьбой окружили его, ловя его ласковые слова и добрый взгляд. Впечатление было огромное, радостное, о котором и теперь И. В. не вспоминает без волнения. «Для меня в тот день стало ясным, *каким* должен быть педагог». «Это впечатление, беседы с новыми, молодыми учителями — все это укрепляло во мне то, что я впервые узнал от отца, идею правды и справедливости, идею любви к ближнему»,— рассказывал И. В. впоследствии. Ему пришлось тогда же увидеться с Пироговым уже в качестве пациента, которого родители привели к знаменитому врачу,— и последние слова Пирогова, сказанные И. В., были: «Надеюсь, что вы будете хорошо учиться и что из вас выйдет хороший деятель в будущем». Учиться стало полегче. Латынь проходили с четвертого класса; вообще же во всех старших классах бывало не более четырех уроков в день. Любопытно, что в эти до-толстовские времена латыни учились довольно охотно и весьма недурно читали авторов. Заинтересовались и историей, которую изучали по учебнику Шульгина (не инспектора, а профессора Киевского университета), но И. В. увлекался тогда больше всего математикой. «Я еще с 5-го класса мечтал сделаться математиком и поступить на математический факультет, исключительно ее

стал изучать, проникся ее методами, и эти занятия оставили на моем уме и складе его значительные следы: стремление к точности и к полноте аргументации». Что касается истории, то еще по всеобщей истории учебник был сносен, но по русской — процветал по-прежнему Устрялов: «...этот учебник с его знаменитым: „едва ли не жид" относительно второго самозванца — вызывал у меня смех»,— признается И. В.

Собственно первое, что живо заинтересовало И. В. в истории — это борьба Нидерландов с Филиппом II, и любопытно почему,— потому что это была борьба против церковного принуждения: «...это совпадало с настроением, созданным принудительными хождениями по воскресеньям и праздникам в церковь, под ферулою ханжи-инспектора» и тягостной зубрежкой учебника протоиерея Скворцова. Увлечение математикой все же продолжалось до 7-го класса, когда в руки И. В. попали книги Гизо («История цивилизации в Европе») и Шлоссера («История XVIII века»). Эти книги произвели в его умственной жизни полный переворот. Особенно сильно на него подействовал нравственный ригоризм Шлоссера, суровая честность его мысли, его ненависть к увлечениям и фантазиям. Влиянию Шлоссера И. В. приписывает окончательное сформирование своих этических взглядов и, в частности, укрепление ненависти ко всякому насилию. Шлоссер закончил то, что начато было влиянием отца и некоторыми особыми впечатлениями детства. «В городе большинство населения состояло из поляков и евреев. В детстве,— рассказывает И. В.,— я играл с детьми евреев-соседей, и мне приходилось терять этих товарищей, так как еще и тогда их отнимали у их семей, чтобы забрать в кантонисты. Я выслушивал не раз и не два крики, плач и рыдания и товарищей, и их отцов и матерей, когда являлись власти в соседние с нами дома и забирали детей. На мою нервную натуру это производило ужасающее впечатление. Я просыпался среди ночи, мне слышались и во сне крики и стоны, и не мало усилий стоило матери успокоить меня и напичкать бромом. И много лет спустя эти воспоминания и на яву, и во сне мучили меня... А было еще и другое. Мой отец знал древнееврейский язык, был между прочим преподавателем и этого языка в семинарии, к нему поэтому нередко приходили старики-евреи для бесед. То были почтенные старцы, и отец постоянно подчеркивал свое уважение к ним. И когда в 1905—1906 гг. мне пришлось участвовать,— рассказывает И. В.,— в комитете подания помощи пострадавшим во время октябрьского погрома в Киеве,— образ одного из посетителей отца, Абрума, его облик, длинная, седая борода, величавые движения — все это вдруг и с поразительною живостью воскресло передо мною, когда один из членов комитета, седой еврей, на просьбу одного рабочего, *участвовавшего*

в погроме, категорически заявил, что он подаст голос за выдачу ему пособия, ибо пособия должны даваться и эллину, и иудею, безразлично, раз есть налицо страдание. Я протестовал, но еврей настоял на своем, и выдача состоялась». Эти столь живучие впечатления детства были связаны у И. В. не только с евреями, но и с поляками; он был со многими из них, погибшими впоследствии в 1863 г., в близких и дружеских отношениях. «Вообще о национальной исключительности, о человеконенавистнических тенденциях тогда не было и помину, и семья и гимназия воспитывали меня в иных чувствах,— и в книге Шлоссера я находил отзвук того же, его история учила тому же».

Увлечение историей было полное, математика и все прочее было заброшено. И. В. поглощал книги по истории одну за другой, читал и труды по политической экономии, «особенно те, в которых затрагивались исторические вопросы». В конце 1861 г. И. В. переходит в первую киевскую гимназию (в тот же 7-й класс) и умудряется одновременно и готовиться к концу курса и слушать (контрабандой) лекции В. Шульгина в университете. «Он читал в последний раз в университете, и его лекции произвели на меня огромное впечатление,— рассказывает И. В.— Он подробно излагал историю античных политических учреждений, это захватывало меня всецело, открывало новые горизонты, новые точки зрения на историческое развитие человечества. Этот курс был несамостоятелен, конечно, но излагал его профессор хорошо».

Но вот гимназия окончена, и И. В. вошел в Киевский университет уже полноправным студентом, с самыми розовыми надеждами. Однако ожидания не оправдались. Шульгин как раз ушел (по личным мотивам; совет хотел его вернуть, но факультет воспротивился); вообще же «факультет представлял собой картину полного разложения; профессоров было мало, всего два классика, один историк, один славист, один философ да один историк русской литературы». Это прозябание продолжалось еще годы и годы, так что не хватало кворума для экзамена магистрантов, и, например, несколько лет спустя Драгоманову пришлось для экзамена съездить в Одессу. Чтение лекций и по всеобщей и по русской истории храбро взял на себя С., вышедший из Педагогического института и написавший единственную небольшую (справедливо забытую теперь) книжку «Значение средних веков». Студенты его не уважали, рассказывали о нем, что он при посещении одной его лекции министром Норовым целый час доказывал, что республика в Риме не существовала и что выдумали ее революционеры. Лекции его не имели ничего общего с наукой, он рассказывал студентам сомнительные анекдоты о Франциске I,

Людовиках XIV и XV и т. п. О каком бы то ни было руководстве занятиями студентов и речи быть не могло. Зато И. В. увлекался в эти годы Гервинусом и другими историческими трудами, а вместе с тем Бюхнером, Молешоттом, Фейербахом (вся эта запретная или полузапретная литература добывалась им от одной группы студентов духовной академии, так же как «Колокол» и сочинения Кельсиева и т. п.). Плох был факультет, но зато хороша была устроенная по инициативе Пирогова очень богатая и доступная студенческая библиотека, управлявшаяся, по желанию Пирогова, самими же студентами. А читать приходилось и по другим наукам очень много, так как и прочие кафедры ровно ничего слушателям не давали. Славянские древности читались буквально по печатной книге Шафарика. По истории русской литературы проф. Селин пробавлялся только фразами вроде нижеследующей: «ода XVIII столетия есть пенящаяся чаша, выпитая в честь великого преобразователя», «Сумароков — светильник российского Парнаса», «нашествие 12-го года — есть поезд железной дороги, мчащийся на всех парах в сердце России» и т. п. И все это требовалось в полной точности повторять на экзамене, под страхом провала. В том же роде обстояло дело с философией. «Нас убеждали, что душа — есть, ибо иначе мы бы чувствовали и сознавали все процессы наши, например, пищеварение»; «Локка не одобряли, и профессор выражался о нем так: он был бы философом, если бы признавал априорные идеи». Но все-таки у этого профессора были знания. Отталкивала от него студентов его постоянная уклончивость, его двоедушие; он не оставил после себя ни одного ученика, так как не любил окружать себя способными людьми. При этих условиях влияние профессоров на студентов, естественно, сводилось к нулю, хотя отношения были мирные и даже, со стороны профессоров, предупредительные: студентов звали на журфиксы, охотно принимали у себя. Если студент хотел работать, то он должен был полагаться исключительно на себя, разыскивать нужную литературу по библиографическим обзорам и каталогам,— и во всяком случае обращаться к профессору было довольно бесполезно. Самые занятия, чтение — иногда знакомившее с серьезными трудами, расширявшее горизонты — все это было отмечено печатью случайности, какое бы то ни было руководство — отсутствовало. «Понял я это,— говорит И. В.,— в первый же год, когда я кидался от одного сюжета к другому, прочитывая массу разного рода книг и по всеобщей, и по русской истории. Отчаявшись в возможности найти руководителя работ, я, пользуясь еще существовавшим правом сходок, решил выставить объявление и созвать студентов-историков для обсуждения вопроса о наших занятиях. Сходка состоялась. Я изложил положение дел в факультете, отсутствие про-

фессора по новой и русской истории и предложил обратиться к факультету с просьбой избрать на кафедру русской истории Костомарова. Кандидата по новой истории тогда не было ни единого». Предложение было принято единогласно, и сходка сообщила о нем факультету. Факультет *согласился*, и — несколько позже — Костомаров был избран на кафедру русской истории, но министерство не утвердило его. Тогда появился новый кандидат, некто Добряков, приехавший из Петербурга и представивший ввиду этой цели магистерскую диссертацию «Русская женщина в удельно-вечевой период», а одновременно на кафедру новой истории явился Авсеенко, представивший pro venia legendi небольшую и вполне компилятивную работу о походе Карла VIII в Италию. Его вступительная лекция оказалась крайне слабой, и на новой сходке решено было не посещать его лекций. Та же сходка, мало доверяя факультету, возложила на юного И. В. разбор книги Добрякова. Этот разбор И. В. и напечатал, в виде двух критических фельетонов, в «Киевлянине», в июне 1863 г. Это был первый литературный опыт восемнадцатилетнего студента, только что перешедшего на 2-й курс. Разбор обнаруживал всю слабость книги Добрякова. На кафедру он не попал. И так пришлось до конца курса работать без тени какого бы то ни было руководства. Но в зиму 1863 г. в умственной жизни И. В. произошла одна из тех «встреч», которые откладывают отпечаток на всю дальнейшую деятельность человека. Совершенно случайно, ища пособий для подготовки к полукурсовому экзамену по философии, молодой студент натолкнулся на книгу под названием «Cours de philosophie positive», неизвестного ему до тех пор автора — Огюста Конта. Он начал с 4-го тома (читал он на французском и немецком уже тогда свободно, а Конт еще тогда не был под запретом и выдавался для чтения). Конт дал ему то, в чем И. В. ощущал наибольшую нужду: методологические указания для изучения в широком масштабе исторических явлений, а не одного только метода исторической критики, который давали ему Гервинус, Дройзен и другие, до той поры интересовавшие его авторы. Мало того, Конт могущественно повлиял на выработку всего философско-научного миросозерцания И. В. В частности, резко отрицательное отношение ко всякой нетерпимости, к притязаниям на господство над совестью укрепилось в нем под прямым влиянием Конта. «Эта сфера,— рассказывает он,— более поглощала, более занимала нас, поколение начала 60-х гг., нежели, например, вопросы чисто политические». Эти вопросы пришли позже.

Увлечение Контом определенно сказалось и на чисто научных интересах И. В. На первом плане для него стало изучение истории мысли и мнений, истории религиозных движений.

Поэтому, когда факультет объявил медальную тему о влиянии Византии на Европу и Россию, то он с жаром взялся за этот труд, ограничивши тему рассмотрением влияния Византии на умственную жизнь Европы, на развитие отдельных наук и т. п. Медали он не получил, и работа была признана весьма неблагонадежной. Эта работа привела его к изучению религиозных движений в Европе вообще и в частности движений XVI столетия. В 1866 г. он окончил университет и был оставлен на два года стипендиатом для приготовления к профессуре. Уже в 1868 г. он выдержал магистрантский экзамен и всецело отдался разработке темы, которую он наметил еще тотчас по окончании университета. Его заинтересовали судьбы кальвинизма во Франции в XVI в. Печатные источники были в библиотеке университета налицо в большом количестве, а кое-что И. В. нашел в петербургской Публичной библиотеке, куда отправился со специальной целью пополнить материал. В Публичной библиотеке, по указанию Костомарова, он нашел даже некоторые рукописи, очень ему пригодившиеся (переписку некоторых современников религиозных войн XVI в.). Результатом почти четырехлетней напряженной работы были книги: «Аристократия и буржуазия на юге Франции» (СПб., 1870) и диссертация на степень магистра: «Феодальная реакция во Франции XVI в.» (Киев, 1871). В том же году И. В. прочел (и выпустил затем в печати) две пробные лекции «Мишель Лопиталь, к истории идеи веротерпимости» и «Генерал Монк» (Киев, 1871). О магистерской диссертации тогда же были даны лестные отзывы во французской печати. Между молодым ученым и французским обществом, специально изучающим историю протестантизма (Sosiété de l'histoire du protestantisme), завязались сношения: председатель общества как раз знал русский язык и дал в журнале общества подробный отчет о ней. Обстоятельный отзыв дал о ней Альфред Мори в «Journal des Savants» (тот же Мори познакомил спустя несколько лет французскую публику с книгой Н. И. Кареева о крестьянах в XVIII в.). В России о книге И. В. дал отзыв, между прочим, К. К. Арсеньев в «Вестнике Европы» за 1872 г.

Защитив диссертацию в Казани, в октябре 1871 г., И. В. получил заграничную командировку на два года (впоследствии продолженную еще на один год) и уехал во Францию. Он решил дальше углубиться в изучение истории Франции в эпоху религиозных войн и особенно пристально заняться наименее разработанными сторонами истории кальвинизма: его отношениями к политическим силам страны, его собственной политической организацией. Прежде всего, конечно, он устремился к сокровищам Национального архива и рукописного отдела Национальной библиотеки, но то, что он там нашел, мало его удовлетвори-

ло. История кальвинизма носит резко выраженный областной отпечаток; в частности, юг Франции сохранил много документальных сказаний о XVI в. Поэтому молодой исследователь поспешил в Гренобль, оттуда в Ним, Тулузу, Монтобан и другие провинциальные центры юга, архивы которых блестяще оправдали все возлагавшиеся на них надежды. И. В. удалось добыть большой материал для характеристики чисто теократических стремлений пасторов, их политики, направленной к полному, политическому порабощению паствы. Не мало данных собрал он и для истории политического влияния кальвинизма на историю Франции вообще. Он нашел целый ряд протоколов политических съездов и собраний пасторов, какие до него было совершенно неизвестны французским историкам; достаточно сказать, что даже такой историк, как Vaissette, ничего не знал о многих из этих документов. В частности, И. В. первый открыл (в архиве Монтобана) протоколы заседаний церковных консисторий, позволившие ему вскрыть глубоко знаменательную борьбу кальвинистской церкви с кальвинистскими же светскими властями, пасторов с дворянской знатью. Полный список всех политических собраний И. В. напечатал в «Bulletin de l'histoire du protestantisme français», вместе с неизвестными до тех пор протоколами заседаний консисторий в 60-х годах XVI столетия. Почти одновременно И. В. напечатал в том же «Bulletin» и раньше найденную им в петербургской Публичной библиотеке и отчасти использованную для магистерской диссертации переписку, относящуюся к первым годам после Варфоломеевской ночи. Эти документы выпущены были затем и отдельным изданием (Les documents inédits pour servir à l'histoire de la réforme en France). Тогда же он напечатал в «Revue historique» ряд писем кардинала д'Арманьяка, Маргариты Наваррской и др. Не довольствуясь французскими архивами, И. В. пополнил найденные там данные изысканиями, произведенными в германских библиотеках и архивах (в Гейдельберге, Лейпциге и др.) и отчасти в Италии (главным образом во Флоренции). Во Флоренции И. В., помимо главного предмета своих занятий, увлекался также историей великой республики, особенно социальными и политическими движениями (вроде восстания ciompi или позднейшего движения, связанного с именем Франческо Феруччи; материал, который он собрал здесь относительно Феруччи, был им передан в распоряжение ученика его Пискорского, впоследствии казанского профессора, трагически погибшего).

Но богато одаренной натуре И. В. всегда было свойственно увлекаться не только любимой наукой, для которой он так много делал и сделал, но и окружавшей его жизнью, политической и культурной действительностью. Он приехал в Париж в 1872 г., когда еще далеко не улеглись страсти, возбужденные военным

разгромом Франции и кровавым усмирением коммунаров. Мне жаль, что я не могу подробно передать в этой краткой заметке необычайно яркие рассказы И. В. о людях и делах, о встречах и впечатлениях, какие навсегда остались в его памяти связанными с этим первым трехгодичным пребыванием во Франции; еще более жаль, конечно, что сам И. В. до сих пор пренебрегает настойчивыми советами и моими и других близких ему людей написать подробно свои воспоминания хоть об этом одном периоде своей жизни. Знакомство с Вырубовым и с Литтре открыло ему возможность войти в круги лиц, близких к позитивизму; в этом кругу вращались многие весьма заметные деятели старого и молодого поколений французских республиканцев. Встречался здесь И. В. и с людьми, пережившими 48-ой год, спасшимися обломками великого крушения 2 декабря, гонимыми жертвами второй империи; познакомился он со стариком Луи Бланом, с Альбером, с Барни, Арну, со многими изгнанниками, только после падения Наполеона III получившими возможность вернуться на родину; впервые увидел он здесь и более молодое поколение — Гамбетту, Бриссона, Клемансо и других, менее прославившихся впоследствии, но все же видных членов республиканской партии. Французские знакомые поставили И. В. в курс событий и закулисных течений тогдашней политической жизни, и он с живейшим интересом следил за ходом упорной борьбы только что народившейся Третьей республики за собственное существование. Борьба партий очень его занимала, и он часто ездил в Версаль, на заседания Национального собрания. Русская учащаяся молодежь, которой уже тогда не мало было в Париже, заставила И. В. прочесть ей целый «перипатетический курс» новейшей истории Франции; лекции эти читались на тех самых местах Парижа, где происходили исторические события, и с особенным интересом слушалось изложение истории трагических дней недавней Коммуны. А Коммуну сам лектор изучил по рассказам свидетелей шаг за шагом, час за часом. По просьбе той же молодежи И. В. излагал им и философию Огюста Конта. Между прочим, он много тогда встречался и спорил с покойным Фойницким, которого, как говорит, «совращал в позитивистскую веру», бродя с ним до глубокой ночи по Парижу. (Именно по настояниям Ивана Васильевича Фойницкий занялся законодательством о печати,— плодом чего явилась интересная работа в «Сборнике государственных знаний»). Еще с осени 1872 г. И. В. был введен в кружок, собиравшийся у Вефура и насчитывавший в числе своих сочленов Тургенева, П. Л. Лаврова и др. Члены кружка тотчас же ввели И. В. в состав сотрудников журнала «Знание», и вскоре И. В. напечатал в этом журнале ряд статей под общим заглавием: «История скептической мысли в Западной Европе» (1873), ряд

разборов вновь вышедших работ по социологии и истории, рецензии и т. д. В скитаниях И. В. в видах изучения тогдашней Франции громадную пользу, по его признанию, принесло ему знакомство с известным деятелем Унковским и особенно с Глебом Успенским. «Его наблюдательность редко встречающаяся в такой степени, живость, неутомимая жажда изучить доподлинно жизнь страны до самого дна — все это делало его совершенно незаменимым спутником, и помогло мне глубже понимать совершавшееся вокруг»,— рассказывал И. В. Между прочим, они вместе присутствовали на нескольких заседаниях версальского военного суда, судившего пленных коммунаров: Глеб Успенский рассказал впоследствии в печати об одном из таких посещений. И. В. всегда поражался одним обстоятельством: стоило им с Успенским явиться куда-нибудь, где собиралось простонародие или близкие к простому люду слои, и Глеб Иванович почти тотчас же становился центром и душой общества, хотя почти не говорил по-французски.

Научные занятия сблизили И. В. и с другой группой людей. Желая ознакомиться с ходом и характером практических занятий по истории в высших учебных заведениях Франции, И. В. посещал Ecole des Chartes и Ecole des Hautes études. Он очень сошелся с директором Ecole des Chartes, известным медиевистом Кишера (Quicherat), который очень его утешил, когда И. В. стал жаловаться на то, что был лишен с самого начала какого-либо научного руководства: «...и тем лучше,— возразил Кишера,— чем меньше руководства, переходящего нередко в опекание, тем больше простора для мысли, для самостоятельной работы, тем оригинальнее мысль и тем больше есть шансов оставить свой след в науке». Кроме Кишера, сильное и глубокое впечатление произвел на И. В. систематический и глубокий ум Поля Мейера; его остроумные обобщения, крайне оригинально формулируемые политические мнения — все это очень интересовало и привлекало. Очень близко сошелся тогда же И. В. с Габриелем Моно, зятем Герцена, руководителем семинария в Ecole des Hautes études. У Моно познакомился он с Артюром Жири и Огюстом Молинье, которые сделались вскоре самыми близкими друзьями И. В., помогавшими ему в работе, поддерживавшими его энергию, делившимися с ним своими мыслями и знаниями.

В конце лета 1874 г. в судьбе И. В. произошла перемена: он получил известие об избрании доцентом по кафедре всеобщей истории в Киеве. Он должен был проститься со своими русскими и французскими друзьями и вернуться в Киев — начать чтение лекций. Для пополнения материалов по докторской диссертации И. В. пришлось еще дважды съездить в Париж, в 1875 и в 1876 гг. Обработка материалов и чтение лекций поглощали

почти все время; все же И. В. удалось урывать немногие часы для сотрудничества в «Знании» и участия в газете «Киевский телеграф», в редакции которой состояли тогда Драгоманов, Зибер, Беренштам и др. Докторская диссертация вышла в свет в 1877 г., еще раньше отдельным томом появились документы — приложение к диссертации. В марте 1877 г. И. В. защитил ее в Петербургском университете и получил степень доктора.

Книги Лучицкого по истории французского XVI в. являются, по моему убеждению, образцом того, как должно подходить к истории религиозных движений, вскрывать их сущность, анализировать стоящие за ними силы. Без его двух дессертаций очень трудно усвоить себе реально и отчетливо социально-политический смысл жестоких коллизий реформационного века во Франции. После велеречивых книг Мишле, после конфессиональной полемики, облеченной в форму исторических исследований и составлявшей в сущности главное содержание историографии французской реформы, книги Лучицкого были струей свежего воздуха, проникшей в затхлое помещение, они давали реальное, научное объяснение всей «героической» эпохе политических выступлений гугенотов и отпора, данного им католической реакцией. Все это особенно характерно именно потому, что ведь, приступая к самостоятельным исследованиям, И. В. был, как уже сказано, весьма увлечен именно представлением о силе идеи, умственных и нравственных течений, об их чуть ли не руководящей роли в истории человечества. Но широкий кругозор, прирожденный реализм и отчетливость мышления помогли И. В. не упустить из вида той социально-политической почвы, на которой разыгрались религиозные войны XVI в.

Почти тотчас же после получения докторской степени И. В. был избран экстраординарным профессором Киевского университета. Теперь ему приходилось действовать на более широкой арене, нежели до сих пор,— в качестве члена совета. Времена он застал уже не такие, какие помнил по собственному студенчеству. Отношения между профессорами и студентами сделались несравненно более сухими и холодными, официальными, нежели прежде. Открытых дверей для студентов у профессуры уже не было. Да и вообще новый воздух повеял. У студентов были отняты их читальня и библиотека, созданные Пироговым и так скрашивавшие студенческое существование; уничтожена была и студенческая касса взаимопомощи. И. В. и его коллега по кафедре Драгоманов держались прежних традиций, и общение между ними и студентами никогда не порывалось. По просьбе студентов И. В. открыл для них на дому специальный курс об Огюсте Конте и Спенсере. Это вызвало не мало заподозриваний и неприятностей, но курс удалось довести до конца.

К концу 70-х и началу 80-х годов центр научных интересов И. В. резко и решительно перемещается: экономическая история начинает поглощать почти все его внимание. Движение в исторической науке, связанное с именем Маркса и приведшее к большому оживлению интереса к экономической истории, нашло в И. В. убежденного сторонника и последователя. Это как раз совпало с временем, когда И. В., в качестве земского деятеля, к тому же проводившего несколько месяцев ежегодно в деревне, ближе присмотрелся к материальному быту крестьянства, его тяготам, нуждам и неурядицам. Случайное показание в суде по одному делу, при разборе которого И. В. присутствовал, заставило его изучить земельные порядки Малороссии, в частности в казачьих селах. И. В. заинтересовался ясными следами общинного землепользования и в журнале «Устои» за 1882 г. дал статью о земельных порядках в Полтавщине и вообще в Малороссии (эта работа была потом дополнена и перепечатана в «Земском обзоре» Полтавской губернии за 1883 г.). Но как настоящего историка И. В. ничуть не менее интересовала задача проследить судьбы малороссийского землевладения и его форм в прошлом, в их эволюции. Это стало в его глазах неотложной задачей. Он обратился к систематическому изучению Румянцевской описи, этого коренного источника по социально-экономической истории Малороссии в новое время. Результатом был ряд в высшей степени важных работ, с которыми считались дальнейшие исследователи и которые привлекли к себе всеобщее внимание богатством новых данных и методом их обработки. В «Отечественных записках» за 1882 г. появилась его статья «Следы общинного землевладения в Малороссии», затем он издал в 1883 г. таблицы земельных владений казачьих по Золотоношской сотне, издал (в 1885 г.) сборник документов по истории общинного землевладения в Левобережной Украине, написал (по архивным же документам) статьи о сельской общине и духовенстве в Малороссии, о «Сябрах и сябринном землевладении» (1889 г.), о «Заимках и заимочном владении» (в Московском «Юридическом вестнике») и много статей, критических разборов, заметок в «Киевской старине». Вообще русская историческая наука должна добром помянуть этот превосходный журнал, а в частности большое значение имел он в 80-х и 90-х годах. Для ученых, которые его издавали и в нем писали, этот журнал был любимым детищем, как бы знаменем изучения родной старины. Известны общие материальные условия издания у нас научных органов: «Киевская старина» требовала жертв, требовала часто дарового или мало вознаграждаемого труда — и ее редакторы и сотрудники с полной готовностью на это шли. Н. И. Лазаревский, В. И. Науменко, И. В. Лучицкий, Н. В. Молчановский, В. Беренштам, несколько позже

Н. П. Василенко, Е. А. Кивлицкий — вот кружок, который успел привлечь к «Киевской старине» немало свежих и ценных сил, который был долгое время душой этого журнала. Это было идейное предприятие высокой культурной и научной ценности, и И. В. всегда был к нему очень близок.

С Малороссийской социально-экономической стариной и своими и чужими исследованиями в этой области И. В. познакомил также европейский ученый мир. В заседании парижского «Социологического общества» в 1903 г. он прочел доклад о процессе формирования сословий в Малороссии, и этот доклад издан был отдельной брошюрой. Статьи о сябрах и о заимке были напечатаны в «Revue de sociologie» (1897) и в «Jahrbücher» Шмоллера. Но начатые исследования малороссийского экономического прошлого шли параллельно с интенсивной работой над западноевропейской экономической историей и постепенно эта работа стала требовать от И. В. всего внимания и всего времени.

С конца 70-х годов он читал в университете курс истории земельных отношений на западе Европы, и только небольшую часть его он напечатал в виде «Истории крестьянской реформы в западной Европе» и затем в виде обширных добавлений к «Истории нового времени» Зеворта. Но его все менее и менее удовлетворяло то, что было налицо в литературе предмета: пробелов оказывалось несравненно больше, нежели прочных и несомненных результатов. Ни литература, ни даже изданные источники, касавшиеся истории крестьян и крестьянского землевладения в Германии, в Англии, во Франции, не давали ответа на целый ряд вопросов. Уже в 1882 г. И. В. работал в архивах южной Франции и Испании, исследуя вопрос об общинных землях в Пиренеях, и знал с тех пор вполне определенно о массе неразобранных, иногда хаотически сваленных рукописных громадах, какие там хранятся и, по всей видимости, имеют прямое отношение к истории землевладения и крестьянского класса (эта поездка дала в результате небольшое исследование об общине в Пиренеях, напечатанное И. В. в 1883 г. в «Отечественных записках» и переведенное впоследствии, в 1897 г., в журнале «La administración» на испанский язык). Но обстоятельства сложились так, что до начала 90-х годов И. В. не мог приняться за систематическое обследование архивных сокровищ Франции по интересующему его вопросу. Впрочем, 80-е годы были заполнены новыми и новыми трудами («Рабство и рабы во Флоренции» (1885), «Рабство и рабы в Руссильоне» (1886), о Роджерсе (1880, в «Юридическом Вестнике»), «Крестьяне и крестьянская реформа в Дании» (1890), «Крестьяне и крестьянская реформа в Лифляндии» (1891), «Вопрос о населенности городов в XIV—XV вв.» (1893), «Рабочее население и экономическая политика германских городов XV—XVI вв.» (1894),

«Проповедник религиозной терпимости в XVI в.» (1894) и т. д.). Но с начала 90-х годов внимание И. В. все более и более сосредоточивается на одном вопросе.

Это был, так сказать, двуединый вопрос, обе части проблемы были тесно связаны: каково было изменение, внесенное Французской революцией в историю крестьянского класса и в социальный состав землевладения? Каково было, другими словами: 1) положение землевладения до продажи национальных имуществ и 2) какие последствия имела продажа национальных имуществ для французского землевладения? Можно повторить компетентный отзыв Н. И. Кареева, что Лучицкий напоминает другого иностранца — Артура Юнга,— тоже изучившего Францию конца XVIII в. так, как не изучил ее в его время ни один из французов; но то, что для Юнга было современностью, то для Лучицкого было историей, которую нужно было выкапывать из архивов. С 1894 г. начались постоянные поездки И. В. по французским архивам с целью добывания нужных материалов — и до настоящего времени они продолжаются, по нескольку месяцев ежегодно, и только с 1903 по 1908 г. был перерыв в этих научных паломничествах. Так как мне приходилось бывать в некоторых из посещенных И. В. архивов, то случайно я узнал от архивариусов, как он работает: с раннего утра, за несколько часов до официального открытия архивов, до позднего вечера, пользуясь любезностью архивариусов и провинциальных архивных стражей, которые сначала изумлялись, а потом махнули рукой и стали его пускать в любые часы. Это объяснило мне те колоссальные количества выписок и копий, какие он постоянно привозил из своих экскурсий. По мере хода работы расширялся план исследования, а по мере выхода отдельных отчетов И. В. о его материалах и исследований в ученом мире в России, Франции, потом Германии усиливался интерес к пересмотру установившихся мнений, предпринятому Лучицким. С каждой поездкой, с каждым расширением географического поля исследования старой Франции росла уверенность И. В. в том: 1) что крестьянское землевладение было гораздо более распространено в дореволюционной Франции, нежели это принято думать; 2) что «сила» дворянства перед революцией заключалась не только и не столько в обладании земельными имуществами, сколько в том обстоятельстве, что феодальное право прочно держалось вплоть до революции, мало того, что перед самым началом революции Франция пережила обострение реакции в этом смысле; 3) что продажа национальных имуществ в эпоху революции пошла на пользу далеко не одним только скупщикам и крупной буржуазии, но что крестьянское землевладение в весьма серьезной степени этой мерой воспользовалось и многое от нее выиграло. Кроме этих выводов, И. В. добыл целый ряд других,

примыкающих к основным положениям и подкрепляющих их. Я не буду на них тут останавливаться, как бы ни были они важны сами по себе (напомню хотя бы указание И. В. на общую скудность свободных капиталов во Франции XVIII в., сильно препятствовавшую прогрессу в агрономически-целесообразном ведении сельского хозяйства и т. п.). Замечу лишь, что постепенно эти взгляды И. В. прочно входят в научный обиход,— и даже ученые, решительно не соглашавшиеся с ними, когда И. В. только начал свое исследование, теперь уже не стоят на столь непримиримой позиции; а целый ряд выдающихся представителей науки (у нас Кареев, во Франции Анри Сэ, историк бретонских крестьян,— Саньяк, известный автор «Гражданского законодательства во Франции в эпоху революции», в последнее время Олар и др.) вполне разделяют основные положения, высказанные Лучицким. Его исследование об области Ланнуа (по вопросу о распределении земельной собственности) вышло в 1896 г., а в 1897 г. было переведено разом на немецкий и французский языки: большое исследование о Лимузене («Крестьянская земельная собственность во Франции, преимущественно в Лимузене») вышло в свет в 1900 г.; затем, ряд новых исследований лег в основу книжки «Les classes agricoles en France à la veille de la révolution» (1911 г.); совсем недавно (1912 г.) вышла на французском языке книга о Лимузене, и в начале 1913 г.— книга о продаже национальных имуществ («Quelques remarques sur la vente des biens nationaux»). Эти работы встречались во Франции с неослабевающим интересом (выводы Лучицкого цитировал в 1897 г. Жорес с трибуны палаты депутатов). В обильных критических отзывах, статьях, заметках недостатка не было. За вышеназванную работу «La propriété paysanne» французская академия (моральных и политических наук) наградила И. В. присуждением ему премии Audiffred (в 1913 г.).

Эта кипучая научная деятельность по-прежнему не мешала И. В. живо откликаться на запросы общественной жизни. Работа в земстве, с перерывами, продолжалась; широко развилась и деятельность его по развитию народно-просветительных учреждений в Киеве (особенно в 90-х годах; он, между прочим, весьма много содействовал постройке народного дома в Киеве); много работал он и в качестве гласного городской думы: между прочим, по его предложению, дума решила выстроить для публичной библиотеки особое здание (в эту библиотеку И. В. пожертвовал и свою собственную огромную библиотеку). С конца 90-х годов и в начале 1900-х И. В. принимал деятельное участие в организации публичных лекций в Киеве, а в 1902 г. ему удалось добиться разрешения вновь открыть некогда существовавшие в Киеве Высшие женские курсы; разрешение было дано

Г. Э. Зенгером, с которым у И. В. были давнишние хорошие отношения.

С 1904 г. И. В. принимает живое участие в политической жизни страны. Он участвует в съездах представителей земств и городов, редактирует газету «Отклики», затем «Свободу и право»; на первом городском съезде 1905 г. вместе с А. А. Мануйловым выработал формулу политической резолюции, принятой съездом. При выборах в 1-ю Думу И. В. был избран выборщиком и намечен кандидатом в члены Думы, но всему помешало привлечение его к суду по 129 ст., как редактора газеты «Свобода и право». Депутатом ему суждено было стать лишь при выборах в 3-ю Думу. С 1908 г. И. В. переехал в Петербург. В свободное от Думы время он читал лекции на высших женских курсах, деятельно сотрудничал в «Русском богатстве», с редакцией которого его связывали и традиционные отношения — со времен П. Л. Лаврова и «Отечественных записок» — и личная дружба с В. А. Мякотиным, который еще в ранней молодости, собирая в Киеве огромный архивный материал, впоследствии легший в основу его капитальных исследований социальной истории Малороссии в XVIII в., пользовался советами и указаниями И. В.; несколько раз выступал И. В. в Петербурге, в Историческом обществе с рефератами, в которых излагал результаты своих последних архивных изысканий.

Еще в 1899 г. И. В. получил звание заслуженного профессора Киевского университета; в 1901 г. получил диплом почетного доктора университета Глазго; в 1913 г., по предложению Э. Д. Гримма и Н. И. Кареева, избран почетным членом Петербургского университета.

Я окончил эту краткую заметку, а воспоминания о том, что я видел, и о том, что слышал от И. В. и об И. В., так и влекут одно другое. Вспоминается и деятельное участие его в организации вместе с М. М. Ковалевским русской высшей школы в Париже, вспоминается И. В. на кафедре Киевского университета, где я его слушал, где под его руководством начал готовиться к научной деятельности, вспоминается тот киевский кружок, который в годы моего студенчества так сердечно привязан был к И. В., вспоминается, как нас всех, более близких к нему, тянуло кстати и некстати, по приглашению и без приглашения на Липки, в ту сердечную и искреннюю атмосферу, которая всегда царила в доме И. В. и Марии Викторовны, жены его, известной переводчицы и знатока скандинавских писателей. Я говорю об этом в прошлом времени только потому, что сам не живу в Киеве; для тех, кто там остался, все это — не воспоминания, а живая действительность.

Вклад, сделанный И. В. в науку, был велик еще до того, как он приступил к главному труду своей жизни, к исследованию

французской аграрной истории XVIII в.; теперь этот вклад поистине громаден. Как раз с 50-летием юбилея И. В. совпало празднование 40-летия юбилея Н. И. Кареева, тоже вписавшего надолго свое имя в историю русской науки. С их именами приходят в голову еще два имени, их сверстников или почти сверстников,— М. М. Ковалевского, П. Г. Виноградова; И. В. старше их на несколько лет, он старше и Н. И. Кареева на пять лет, но все четыре имени часто поминаются в связи. Эти поколения дали ученых первой величины, работавших и продолжающих работать, не покладая рук, ученых, обеспечивших признание русской исторической науки на Западе. У них разные научные темпераменты, неоднородные качества исследовательского таланта, но много есть таких черт, которые роднят их. Одной из таких черт является их отвращение к каким бы то ни было философским или религиозным предвзятостям, цепям, сковывающим свободное исследование. Может быть, и много грехов числится за позитивизмом 70-х годов, но умственные *навыки* — и именно историкам, хотя бы вовсе и не принявшим целиком этого миросозерцания, а только подвергшимся в той или иной мере его влиянию — он давал хорошие...

Пожелаем представителям этих поколений еще долго стоять на их поистине славных постах. Пожелаем старшему из них по возрасту И. В. Лучицкому еще многие годы сохранять ту юношескую живость, которая так изумляет людей, когда они с ним впервые встречаются, но которая так мила нам, давно его знающим и давно его любящим.

Голос минувшего, 1914, № 1, стр. 42—61.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС В ЛОНДОНЕ

(3—9 апреля нов. ст. 1913 г.)

Едва ли кто будет несогласен с тем, что лондонский конгресс прошел весьма живо и удачно. Организация, подготовка дела оказались в руках людей весьма толковых, и, очевидно, времени и усилий они не пощадили. Уже в конце ноября прошлого года был вполне выработан план занятий и распределение часов, и этот план осуществился почти во всех деталях впоследствии.

Нельзя сказать, чтобы на съезде царил какой-либо особый подъем духа, «научный экстаз» и тому подобные редкостные настроения, о которых упоминалось в кое-каких речах. Начать с того, что «собирались» приехать чуть не три тысячи человек, записалось в члены съезда и внесло плату, кажется, не более восьмисот человек, а бывало, даже на общих собраниях, человек полтораста — двести (кроме первого, на котором было несколько больше народу). Объясняется ли это (как мне говорили) тем обстоятельством, что весна несравненно менее удобный сезон для съездов, нежели конец лета (когда обыкновенно международные конгрессы устраиваются), или были еще какие-либо причины, я не знаю, но что съезд не блистал многолюдством, это — факт, не подлежащий сомнению. Особенно это сказывалось в заседаниях секций, где иной раз из трех намеченных рефератов читался один вследствие неприбытия референтов. Быть может, сравнительная немноголюдность конгресса отвратила от него внимание руководящей английской печати, а вернее, обостренности политического момента была такова, что газетам было не до мирного собрания историков (все органы печати были переполнены длинными телеграммами и статьями о русско-австрийском разногласии и тревожными известиями с Балканского полуострова): кроме «Times'а», печатавшего, правда, на последних страницах и весьма мелким шрифтом, заметки о конгрессе и поместившего даже одну редакционную статью (о вопросах истории английского флота, затронутых на конгрессе), я не видел ни одной крупной газеты, которая сколько-нибудь внимательно отнеслась бы к нашему съезду.

Но если вся внешняя обстановка съезда не заключала в себе ничего, настраивавшего «экстатически» и преувеличенно торжественно, то на самом съезде чуть не с первого дня воцарилась очень желательная (я бы сказал даже *единственно* желательная) атмосфера,— деловая, рабочая атмосфера серьезной

заинтересованности специалистов, приехавших из разных стран и имеющих так мало случаев обменяться мнениями в живой личной беседе.

Один кэмбриджский профессор выразил после съезда мнение, что в течение всех занятий съезда бросались в глаза две особенности: деятельнейшее участие в работах русских делегатов и почти полное отсутствие французов (кстати скажу, что обе эти черты констатируются и редактором «Revue historique», проф. Шарлем Бемоном в статье его о конгрессе в июльской книге этого журнала [1]. Как мне говорили впоследствии некоторые французские профессора, они не поехали в Лондон потому, что поздно узнали о съезде, что у них всюду еще шли занятия, что министерство не давало ни денег, ни даже отпусков (хотя, впрочем, они соглашались, что отпуски-то можно было бы получить, если бы начать хлопотать вовремя). Французы с хвалой при этом отзывались о щедрости русских университетов, давших своим делегатам 300—350 рублей на поездку, и забывали при этом, что проезд из Парижа в Лондон (и обратно) стоит на русские деньги около 30 рублей... Говорили также, что l'Institut (а в особенности академия моральных и политических наук) без особенно большого участия взирает на международные исторические конгрессы, собирающиеся не в Париже, и что, при огромном авторитете академии, это не может не сказываться во всем французском ученом мире, но ничего положительного лица, передававшие эти слухи, не приводили в подтверждение.

Что касается русской делегации, то, в самом деле, и рефератов было прочитано немало и подавляющее большинство их было очень замечено, вызывало оживленные комментарии, находило публично выражаемую лестную оценку и признание. Между прочим, и один из ораторов (англичанин) на заключительном заседании конгресса приветствовал решение собраться через пять лет в России, которая «так блестяще» была представлена на только что закончившемся конгрессе. Из других стран большую делегацию прислала Германия (с такими светилами, как Вилламовиц-Меллендорф, Мейер, Лампрехт — во главе).

Всего секций было образовано на конгрессе девять: 1) восточная история; 2) греческая, римская и византийская; 3) средневековая; 4) новая история; 5) история религии и церковная; 6) правовая и экономическая история; 7) средневековая и новая цивилизация; 8) археология и изучение доисторического периода; 9) философия и методология истории и вспомогательные исторические науки.

Спешу заметить, что общие вопросы философии истории не затрагивались почти вовсе на съезде; в соответствующей рубрике обозначены были такие, например, рефераты: Лампрехт —

«Организация изучения истории в высшей школе», Гуч — «Кафедра новой истории в кэмбриджском университете», Бэркер — «Римское наследие в средневековой и новой государственности» и т. п., т. е. темы, не имеющие никакого отношения к философии истории (намеченный реферат Массона-Урселя — единственный — имел в виду, в самом деле, историко-философскую тему).

В *этом* конгресс правильно отразил характерный для нашего времени разброд и растерянность обобщающей мысли, с одной стороны, и сильно возросшую *требовательность,* с другой стороны. Можно сожалеть, что не являются новые принципиальные постановки методологических проблем, новые интересные и способные двинуть науку вперед обобщения, но нельзя, вместе с тем, не заметить, что, к счастью, сильно сократился в последние годы тот дилетантизм, который (особенно в Германии) еще весьма недавно очень легко и разнообразно разрешал сложнейшие историко-философские вопросы.

Из отдельных секций в высшей степени интересными, по общим отзывам, оказались: восточная, археологическая и экономическая. Весьма интересны были на общем собрании конгресса (7 апреля) рефераты: Эдуарда Мейера (о последних завоеваниях науки в области древней истории), А. С. Лаппо-Данилевского (об идее государства в России от смутного времени до Петра Великого), Лампрехта (об умственных течениях в Германии в новейшее время). Большое впечатление произвел (в экономической секции) реферат проф. Dopsch'а о денежном хозяйстве в эпоху Каролингов (против него с решительными, но не всегда убедительными возражениями выступил Лампрехт); впрочем, со взглядами Dopsch'а ученый мир уже был знаком и еще должен будет сильно считаться в ближайшем будущем. Выступление Лампрехта на съезде лишь эпизод в борьбе против концепций Допша.

Участие русских делегатов сказалось в археологической секции так сильно, что были намечены особые Russian sessions, где читали: граф Бобринский (о полтавском кладе), проф. М. И. Ростовцев, проф. Б. Н. Фармаковский, проф. Штерн, г. Придик. Кроме этих рефератов, русские делегаты участвовали еще в секции новой истории, где проф. Митрофанов прочел реферат о Леопольде II и Кауница, проф. Ростовцев в секции греческой и римской истории — об ионизме и иранизме в южной России, в секции экономической истории — реферат г-жи Любименко о Елизавете Тюдор и Иване Грозном по их переписке, и мой реферат об экономических последствиях континентальной блокады, в подсекции вспомогательных наук проф. Бубнов — о происхождении и истории арабских цифр и в III секции — о Вильгельме Мэмсберийском в связи с вопросом о папе Сильвестре II. П. Г. Виноградов открыл своею речью заседания VI секции,

председателем и главным организатором которой он являлся. П. Н. Ардашев принимал участие в занятиях секции новой и экономической истории.

Разумеется, вся огромная работа, выполненная многими десятками референтов, не может здесь быть даже затронута по существу; рефераты будут напечатаны и, таким образом, войдут в научный оборот. В этой беглой заметке я бы хотел только коснуться еще одного вопроса, всегда острого на международных конгрессах: о языке. Разговорным языком конгресса, и в частности языком оппонентов, норовил, так сказать, сделаться язык английский, но это ему плохо удавалось. В конце концов каждый обращался к тому из «допущенных» языков, которым лучше владел (но которым иногда вовсе не владел стоявший на кафедре его собеседник). Конечно, критика рефератов при этих условиях чрезвычайно затруднялась иногда. Бывали случаи — и вовсе нередкие,— когда собеседники прекрасно владели одним из «допущенных» языков и могли договориться до конца (но при этом в разных концах залы раздавался шопот: это соседи-полиглоты наскоро переводили соседям, чуждым лингвистике, происходящую полемику). Что касается вопроса о допущении русского языка, то он фактически предрешен в утвердительном смысле приглашением конгресса в Россию.

Блестящий прием конгресса, экскурсии, банкеты, рауты и т. п.— все это сильно развлекало (даже утомляло иногда) конгрессистов. Предупредительность и гостеприимство англичан, впрочем, хорошо известны всем участникам таких международных съездов. Жаль только, что, например, не было организовано *ни одной* специальной экскурсии для цельного ознакомления с исторической топографией Лондона; правда, трем секциям (II, VII и, кажется, VIII) показывали (8 апреля, накануне закрытия съезда) «*римский Лондон*», но ведь, кроме этих древних остатков, поразительно интересно, например, постепенное (особенно с XVII в.) расширение Лондона, завоевание деревни городом; и до сих пор прекрасно определимы чуть не по двадцатипятилетиям раздвигавшиеся постепенно границы этого завоевания. В этом смысле история Лондона гораздо точнее и яснее установима, нежели история Парижа или любого другого города в мире.

Научный исторический журнал, 1914, №1
стр. 130—133.

СТО ЛЕТ НАЗАД

Трудно оторваться от недавно вышедших одновременно новых двух томов (точнее двух частей третьего тома) переписки Фридриха Гентца [1]. Австрийский реакционный журналист и доверенный человек Меттерниха выступает и в этих томах тем же, чем он представлялся читателю первых двух томов недюжинной натурой и посредственным *умом,* хорошим наблюдателем и плохим аналитиком, страстным бойцом и ничтожным стратегом. Теперь уже не может быть сомнения, что он *не* был наемным писателем, только получавшим заказы от Меттерниха, что это мнение о нем должно быть бесповоротно сдано в архив: темперамент, упорство, убежденность Гентца сделали его не слугой, а другом австрийского канцлера, позволили ему оказывать даже известное влияние на Меттерниха (несравненно более умного и одаренного человека).

В лагере, где Гентц находился, мы видим, в его эпоху, немного людей, которые по своей преданности идее и упорству в ее отстаивании могут быть поставлены на одну доску с ним. Конечно, и сравнения, например, не может быть в этом отношении между ним и Шатобрианом, между ним и резонером де Местром, хотя, разумеется, и Шатобриан и де Местр были людьми гораздо более крупного умственного калибра. Он слепо ненавидел все, что имело (или в чем он подозревал) какую бы то ни было связь с философией XVIII в., с революцией, и его ненависть была основана на непреодолимом страхе, на убеждении, что новые принципы знаменуют собой не трансформацию, а конечную *гибель* Европы. Уже в следующем за Гентцем поколении не нашлось — и не могло найтись — *такого* искреннего страха и такой ярой ненависти, не знающей снисхождений и исключений. Оттого его письма так необыкновенно интересны: они не дают нам много новых важных фактов, которых бы мы не знали еще, не блещут глубиной мысли, но представляют собой психологический документ первостепенного исторического значения.

Ненависть Гентца, сказал я только что, слепа; и не только его ненависть к революции. Для иллюстрации возьму два примера, его отношение к двум крупнейшим деятелям эпохи.

Наполеона и Александра он ненавидит едва ли не одинаково (отчасти по той же причине,— за причастность к «революционным» идеям).

И он отказывается видеть действительность, а сочиняет своего собственного Наполеона и собственного Александра. С самого начала он отказывается признавать даже таланты Наполеона: «Что касается Бонапарта, то я твердо убежден, что Виланд оказывает слишком много чести ему, как государственному человеку»,— пишет он в 1799 г. [2]; и дальше: «Бонапарт во всяком случае понимает искусство *начинать* революции, но не искусство гораздо более тяжелое — *кончать* их» (курсив в подлиннике).

Это писалось в марте 1799 г., а в ноябре Наполеон уже совершил свой государственный переворот! Наступает страшный для Австрии 1805 год, а Гентц вне себя от радости: он тоже хочет внести свою лепту в общее дело Европы «низвержения тирана»; он так торопится низвергнуть Наполеона, что даже писем писать некогда [3]. Это радостное волнение охватило его 2 октября, а через 18 дней Мак сдался со своей армией, а 2 декабря произошел Аустерлицкий разгром.

Но вот пришли первые вести об Аустерлице, о позорном перемирии, о неизбежном мире с «тираном»-победителем. Гентц не сдается: «Я — так как я тоже держава — не заключаю мира, ни даже перемирия, и чем хуже идут дела, тем более святым долгом считаю я не уступать...». «И этого божка, этого Ваала, этого театрального короля на троне — и на каком троне! — должны мы обожать? Ему должны мы служить? Нет!» И так всегда: он еще в 1796 г., по собственным словам, *именно потому был «неутешен»*, что Бонапарт по его глубокому убеждению *должен* был погибнуть, а на самом деле, вместо этого, завоевал вдруг Италию. Но эти горькие уроки нисколько не идут на пользу Гентцу. Он пишет весьма укоризненное письмо самому Меттерниху за то, что тот принял назначение посланником в Париж; он не может привыкнуть к мысли, как это «чистая и возвышенная» душа Меттерниха войдет в соприкосновение с таким капищем пороков и преступлений, как наполеоновский Париж! (une âme pure et élevée telle que la vôtre n'aurait jamais dû se trouver en contact avec la résidence de tant de crimes et d'horreurs) [4]. И в то же время он опять полон надежд: готовится война Наполеона с Пруссией, и, конечно, Гентц опять полон самых радужных надежд, и ему даже кажется, будто в прошлом, 1805, году, он был настроен мрачно, а теперь-де совсем по-иному, значит, предчувствие его не обманет (он забыл, что и в 1805 г. он ликовал). Мало того: он с восхищением говорит о грядущем улучшении в положении дел, об «упорном ослеплении» Наполеона, готовящего себе гибель, о грандиозной

перемене в настроении, якобы заметной в Германии, о «всеобщей» и «решительной» войне и т. п. Все это — 23 сентября 1806 г., а спустя три недели — в один день две кровавых битвы, где Наполеон и Даву стерли с лица земли всю прусскую армию. На этот раз даже Гентц почувствовал, как разительно судьба уничтожает все его надежды и расчеты. Спустя 12 дней после Иены и Ауэрштедта Гентц, по собственному уподоблению, является человеком, медленно оправляющимся «от долгой и страшной болезни».

После Тильзита Гентцу уже кажется, что война Пруссии против Наполеона была бессмысленной (reiner Unsinn), и что все, к чему следует стремиться,— это сохранить по возможности силы для новых «лучших» войн. Гентц отходит на задний план, у Меттерниха он не ко двору, пока с конца 1808 г. Австрия не начинает готовиться к новой войне с Наполеоном. Конечно, Гентц опять полон «счастливых предчувствий» [5], о которых и пишет Меттерниху.

Опять за счастливыми предчувствиями следует разгром,— Ваграмский бой, тяжкий для Австрии Шенбруннский мир. Гентц пишет Меттерниху, предостерегая его только от одного: от мысли о *союзе* с Наполеоном, так как «моральный эффект» подобного акта был бы гибелен; недопустимо также отдать Тироль, недопустимо признать Иосифа Бонапарта испанским королем, недопустим разрыв с Англией. Иными словами, Гентц толкал Меттерниха к продолжению безнадежно проигранной войны. Конечно, все «недопустимое» было допущено, и даже дочь австрийского императора должна была по первому требованию стать женой Наполеона. Гентц продолжает ненавидеть Наполеона, но он был так подавлен, что чрезмерная заносчивость сменилась теперь непреодолимым страхом. Например, когда начиналась война 1812 г. Гентц смотрел на нее как на зло, на русскую политику как на «совершеннейшую глупость» (vollendeste Narrheit), боялся за Австрию и т. д. Мало того: после первых побед Наполеона в 1813 г., Гентц до такой степени не предвидел даже отдаленно Лейпцига, что советовал, пока есть время, мириться с французским императором. Даже в марте 1814 г. он еще «дрожал за будущее». Но когда Наполеон погибал, Гентц (впервые за всю жизнь) стал говорить о нем временами спокойнее, и вот его суждение: «Этот человек всю свою жизнь вел только большую военную игру с французами, со всею Европою, с собою самим и со своею судьбой. Он остается одинаковым на вершине счастья и на краю гибели». Он — не Цезарь, но и не Нерон: «редкостное мировое явление, которое мы называем Бонапартом, должно измеряться особым масштабом» [6]. Тут же Гентц сознается, что ему именно Меттерних разъяснил характер Наполеона. И *в то же время* он объявляет,

что и в 1814 г. сохраняют свою силу стихи, направленные против Наполеона Клейстом:

> Schlagt ihn tot! das Weltgericht
> Fragt euch nach den Grunden nicht!

Отношение его к Александру остается с начала до конца враждебным,— и эти только что вышедшие томы переписки изобилуют показаниями в этом смысле. В 1807 г. он считает безумной, общей и гибельной ошибкой мысль, будто Россия может спасти Европу от Наполеона. В 1812 г., когда уже Отечественная война была в разгаре, Гентц не находит достаточно слов, чтобы выразить свое возмущение по поводу воззвания русских властей к немцам. В глазах Гентца это воззвание окончательно губит Александра [7]. «Не возможно, чтобы такой жалкий государственный человек (so ganz elender Staatsmann) был хорошим полководцем». Ему воззвание кажется революционным в высшей степени (дело шло о сформировании немецкого полка против Наполеона; из этого ничего в 1812 г. не вышло). Призывать подданных судить правительства — при всех обстоятельствах преступно и недостойно закономерного правителя, а в *нынешнем положении* Германии — совсем смешно и возмутительно, если это приходит с *такой* стороны» (курсив в подлиннике). Гентц имеет в виду, что ведь официально немецкие правительства — в союзе с Наполеоном; следовательно, воззвание Александра есть революционный призыв. Он признает «бесстыдством» обращение к немцам, к тем, кого столько раз «обманывали, предавали, продавали»: Тильзита он Александру не простил никогда. Впервые лично познакомился Гентц с русским императором только в 1813 г., и Александр временно очаровал его [8]; Александр и не таких умел очаровывать. В этом. 1813, году Гентцу еще кажется, что союз России с Австрией — залог «возрождения мирового спокойствия», но уже 16 января 1814 г. он пишет Меттерниху, предостерегая его от «тайного ропота» и будущего сопротивления Александра. Он даже не прочь от мира Австрии с Наполеоном; *боязнь нового врага* одолевает его [9]; между двумя чувствами вражда к торжествующему Александру берет верх над ненавистью к побежденному Наполеону. «Александр и с ним тысячи фанатиков» [10] желают идти на Париж; Гентцу это не нравится. Вообще он разделяет время Александра на «фанатические» часы и трезвые; в последнем случае он «всегда» якобы обращается к Меттерниху.

Но вот русские в Париже, и Александр настаивает на конституции для Франции. Гентц вне себя: он осыпает Александра в письме к Меттерниху совершенно неприличной руганью, которую я считаю излишним приводить. Брань повторяется и в письме 1816 г. [11]; и в искренность Александра, в его предан-

ность Священному союзу Гентц не верит нисколько. И опять ненависть рисует пред его глазами желательную картину: Александр в тисках неслыханных финансовых затруднений, армию не на что содержать, внутреннее управление расстроено, все жалуются, все в России ненавидят Александра и т. д. «В собственной семье он не в безопасности». Временно Гентца утешает «разрыв между императором и демагогами», когда Александр выступил против германских студенческих беспорядков (письмо 15 марта 1819 г., III_1, 361). Но в том же году Меттерних весьма серьезно указывает Гентцу, что «русские агенты разъезжают по Италии и возбуждают в сектах надежды на либерализм императора Александра» [12],— и Гентц с своей стороны обращает иронически внимание Меттерниха на «глубокое молчание» Александра по поводу убийства Коцебу (das tiefe Stillschweigen des Kaisers von Russland... ist eine höchst seltsame Erscheinung).

Впрочем, спустя несколько времени (17 июня 1819 г.) Меттерних с удовольствием извещает своего друга: «Настроение русского императора — тоже [13] хорошее. Он тоже испуган». И спустя год Меттерних еще доволен Александром: «донские крестьяне,— сообщает он Гентцу 10 августа 1820 г.,— подняли восстание на том основании, что, как они узнали, его величество объявил свободными эстляндских и курляндских крестьян; так и они тоже хотят быть свободными. Много войск пошло туда, чтобы изгнать кнутом либерального чорта» (um mit der Knute den liberalen Teufel auszutreiben).

Но наступают греческие осложнения, и «либеральный чорт», которого всюду искали Гентц и Меттерних, появляется снова в русском кабинете. «Для сумасшествия русского кабинета нет имени»,— пишет Гентц канцлеру (27 марта 1825 г.). Гентц и по поводу декабристов делится мыслями с Меттернихом. Прочтя отчет следственной комиссии, он ужаснулся. «Более страшного документа я еще не видел. Сравнительно с этими русскими заговорщиками наши немецкие революционеры — невинные дети... Я понимаю, что император был в необходимости опубликовать доклад; но на его месте я считал бы это величайшим несчастьем своей жизни, так как клеймо, которое он положил на лоб своей русской нации, не изгладится столетиями» [14]. Встревожил его отчасти и слух о возвращении Сперанского к делам. «Я не считаю его ни революционером, ни даже открытым либералом»,— пишет он Меттерниху, но прибавляет, что не считает его правильно и практично мыслящим человеком. Сперанский слишком много занимался «масонскими нелепостями», слишком близок был с Александром, и толку выйти из него, словом, не может. Как бы только не пришлось «вторично осуждать на виселицу и каторгу сотни заговорщиков из первых

фамилий»,— иронизирует Гентц. Он и Николая I на первых порах заподозрил в либерализме.

Переписка Гентца дает много любопытных черт для истории европейской реакции начала XIX столетия, а может быть, и больше для истории Европы вообще в наполеоновские и посленаполеоновские годы. Читатель все время видит перед собой человека хотя и узкого, часто слепо-злобного, но живого, горячего, с упорными симпатиями и болезненными антипатиями, слышит биение давно умолкшей жизни, переносится в эти отделенные от нас всего одним столетием, но уже такие далекие годы.

Русская мысль, 1914, № 1, отд. XXI, стр. 43—47.

WOHLWILL A. NEUERE GESCHICHTE DER FREIEN UND HANSESTAAT HAMBURG, INSBESONDERE VON 1789 BIS 1815.

Gotha, Perthes, 1914. 568 S.

Автор этой первой полной истории Гамбурга в эпоху революции и Наполеона — далеко не новичок в научной литературе. Он — известный в Германии знаток истории Гамбурга, один из тех не только трудолюбивых, но и талантливых местных историков, которые так много света внесли в самые темные вопросы общей истории страны, исследуя историю отдельных городов, княжеств, провинций. Немудрено, что Лампрехт, под главной редакцией которого теперь продолжается знаменитая Staatengeschichte, начатая Геереном и Уккертом, обратился именно к Вольвиллю с предложением написать историю Гамбурга. Вольвилль, впрочем, отклонил от себя эту честь и дал для коллекции только историю Гамбурга с 1789 до 1815 г., над которой он больше всего работал.

Эта книга представляет собой ценное исследование, хотя автор дает лишь немногие точные ссылки на документы и вообще, в согласии с традициями этой коллекции, избегает внешнего научного аппарата. Предшественников у автора почти не было. Но тем более жаль, что книга Сервьера «L'Allemagne française sous Napoléon I» (Paris, 1904) осталась, по-видимому, совсем неизвестной Вольвиллю. Он не только не упоминает о ней и ни разу на нее не ссылается, но, что более заслуживает сожаления, совсем не пользуется целым рядом документальных свидетельств, которые приводит Сервьер в своем труде. Может быть, заглавие книги Сервьера ввело Вольвилля в заблуждение? По странной манере, свойственной многим французским авторам, Сервьер, действительно, дал своему труду гораздо более общее название, нежели на то уполномочивал его текст книги: его труд называется «L'Allemagne française», а на самом деле посвящен *исключительно* ганзейским городам, и прежде всего Гамбургу. Сервьер основывался исключительно на данных Парижского Национального архива и *этот* материал известен ему гораздо лучше, нежели Вольвиллю, который пользовался преимущественно архивами ганзейских городов. А всякому зани-

мавшемуся Наполеоновской эпохой хорошо известно, что для данного периода парижское хранилище оказывается сплошь и рядом богаче архивов той или иной завоеванной страны и именно для истории этой страны. Вообще же Вольвилль оставил без внимания некоторые весьма полезные для его темы материалы, например, часть брошюрной литературы. Наконец, он не пользовался теми (чрезвычайно существенными) документами, которые я привожу отчасти в ссылках, отчасти в приложениях в своей книге «Континентальная блокада», хотя эти документы взяты мной именно из Гамбургского государственного архива. Впрочем, более обстоятельно я коснусь этих пропусков Вольвилля при печатании в ближайших книгах Jahrbuch'а Шмоллера соответствующих глав моей «Континентальной блокады». Здесь достаточно сказать, что книга Вольвилля есть работа по дипломатической и политико-административной, но отнюдь не по социально-экономической истории Гамбурга. Уже с первых лет консульства город был под прямым влиянием Франции, с 1806 г. он был занят французскими войсками, с декабря 1810 г. формально присоединен к наполеоновской империи. Освободился он очень поздно, лишь с падением наполеоновской империи, уже после отречения императора, лишь в конце апреля 1814 г. Жестокое правление Даву, континентальная блокада разорили несчастный город. Страдания Гамбурга обрисованы обстоятельнее и лучше, нежели те стороны французского владычества, которые бесспорно принесли пользу городу (вроде хотя бы уравнения всех граждан в правах, проведения принципов торгового кодекса, гражданского кодекса и т. п.). Но и при (верной, в общем) характеристике деспотического правления Даву автору остались неизвестными в высшей степени любопытные распоряжения маршала касательно обуздания местной прессы и воспрещения ввоза в ганзейские города периодических изданий из других германских стран (я цитирую эти документы в своей работе «Печать при Наполеоне I», помещенной в Русском богатстве за октябрь и ноябрь 1913 г.) * А ведь это прямо касалось его темы! И все эти документы он нашел бы в Национальном архиве. Эти замечания ни в каком случае не клонятся к умалению заслуги Вольвилля, давшего живую, беспристрастную и широкую картину судеб Гамбурга в одну из самых бедственных эпох его долгого исторического существования.

* См. наст. изд., т. IV. — *Ред.*

Голос минувшего, 1914, № 2, стр. 249—250.

И. В. ЛУЧИЦКИЙ КАК УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

И. В. Лучицкий принадлежит к числу тех профессоров, которые, обращаясь к аудитории, имеют в виду прежде всего будущих специалистов-историков. Конечно, такие университетские преподаватели волей-неволей должны считаться и с ничтожной (обыкновенно) предварительной подготовкой слушателей и с тем очевидным обстоятельством, что лишь самая незначительная часть слушателей выберет научную дорогу, но все-таки основное их умонастроение остается одно: они стремятся больше всего приохотить слушателей к самостоятельной работе над источниками. Это для преподавателей данного типа самое существенное, все остальное — второстепенное. Хотя, в идее, университет и создан тоже *прежде всего* для того, чтобы способствовать развитию и обогащению науки, но у него есть ряд и других задач, возлагаемых на него повелительными потребностями общества и государства. В частности историко-филологический факультет должен готовить не только будущих исследователей, но и будущих учителей средней школы. Сердце Ивана Васильевича лежало *всегда* к подготовке именно будущих исследователей, хотя, повторяю, считаться с указанным условием приходилось в той или иной мере и ему.

Он избегал чтения общих курсов, хотя и признавал их далеко не бесполезными; но когда он и объявлял общий курс, этот общий курс в конце концов все равно сводился к обширному, обставленному всей научной аргументацией анализу истории определенного круга социально-политических, экономических, культурных отношений в известной стране, в известную эпоху. При этом он останавливался, обыкновенно на такой стране, история которой выявляет с особенной яркостью характернейшие черты общей исторической эволюции, переживавшейся европейским обществом в данный период. Вполне привольно он чувствовал себя (и это были самые лучшие стороны его преподавания), читая строго специальный, часто необязательный, курс. Для таких курсов он выбирал обыкновенно тему, мало или односторонне освещенную в исторической литературе, и на лекциях добросовестно излагал положение вопроса в литературе, основания для пересмотра установившихся мнений, результаты

собственного своего начавшегося или продолжавшегося исследования проблемы. Например, в мои студенческие годы он прочел целый ряд интереснейших курсов по аграрной истории Франции в XVIII в., по истории продажи национальных имуществ, по истории обострения феодальной реакции перед революцией и т. п. На лекциях этих, читаемых для кружка студентов, уже специально интересовавшихся социально-экономической историей XVIII в., он указывал, почему не может принять суждений о крестьянском землевладении, распространенных в литературе, почему — и в каком направлении — необходимо предпринять их тщательнейший пересмотр, какие данные для этого пересмотра он нашел в архивах и т. д. Он с щепетильной добросовестностью и обстоятельностью излагал при этом возражения, которые выдвигались против него другими русскими и французскими исследователями, и приводил свою аргументацию против этих возражений. Все это было так живо, захватывающе интересно, так вводило в лабораторию научной работы, что я не могу себе представить, что могло бы больше привлечь, толкнуть на научную дорогу молодого человека, у которого вообще были бы хоть минимальные для того данные. Любил он для этих частных курсов выбирать также историю стран, которые являются в программе преподавания на наших факультетах, так сказать, Сандрильонами и которыми русская кафедра всеобщей истории обыкновенно занимается очень мало. Он читал (еще задолго до моего студенчества) историю Дании, историю Швеции, в особенности часто и охотно историю Испании. «Для историка не должно быть интересных и неинтересных народов,— говорил он нам с кафедры: — может быть неинтересен сам историк, а история всегда интересна». Историей Испании он занимался очень много и самостоятельно, особенно увлекаясь XII—XV вв., временем начала и развития сословно-представительных учреждений. У него образовалась огромная библиотека не только испанской исторической литературы, но и изданий источников. Когда мне пришлось писать реферат о барселонской торговле (для одного из его семинариев), то все, что мне было нужно, я нашел не в университетской, а в собственной библиотеке И. В. (считаясь с убогостью библиотечных сумм, он избегал выписывать для университета в больших количествах очень уже специальные издания источников). Один из учеников И. В., безвременно погибший несколько лет тому назад, казанский профессор, всю свою научную деятельность посвятил именно разработке вопросов испанской истории (работы Пискорского о кастильских кортесах и о крестьянстве в Каталонии очень ценятся в Испании, где они стали частично известны). Темы для своих специальных курсов И. В. выбирал самые разнообразные, но всегда именно те, которые почему-либо привлекали

в данный момент особенно сильно его научное любопытство. Это его любопытство было всегда огромно, напряженно, но не раскидчиво; его интересовали ближе всего две категории явлений: 1) основные черты социально-экономической эволюции Европы в XVI—XVIII вв.; 2) эволюция европейского государственного быта, приведшая от сословно-представительной монархии к абсолютизму в одних странах, к выработке более современных конституционных норм — в других странах. И анализируя отдельный круг явлений, историю той или иной «неинтересной» страны, он с замечательным мастерством неожиданно не только вовлекал эту «неинтересную» страну в изображение общего исторического потока, но иногда весьма доказательно обнаруживал, что для понимания всего исторического типа, всего общеевропейского цикла данных явлений именно эта страна «интереснее» всех остальных.

Семинарии, которые вел в университете (и ведет теперь на Высших женских курсах в Петербурге) И. В., были всегда строго специальными по общей теме и по заданиям. Он, например, охотно давал (и дает) участникам семинариев, посвященных аграрной истории Франции, копии тех рукописных документов, над которыми сам работает. В других случаях, когда необходимо пользоваться изданными, печатными источниками, он старается давать такие темы, которые бы требовали непременно самостоятельного выбора нужного материала из изданий и современных показаний, трактующих о самых разнообразных вещах. На занятиях у И. В. нам приходилось перечитать и пересмотреть ряд увесистых томов, чтобы написать сравнительно очень скромный по размерам реферат. Он при этом старательно избегал даже случайного подсказа участнику семинария, боялся хоть в малой степени предрешить выводы, к которым тот должен был прийти вполне независимо от его влияния. Мало того, он даже не всегда облегчал пишущему реферат ту необходимейшую первоначальную работу, без которой ни малое, ни крупное исследование не может обойтись: работу по определению исторической ценности, т. е. того главного, что нужно в данном случае, в данных материалах искать. Зато его критика уже написанного реферата бывала замечательно полна и обстоятельна. Он вообще всегда держался того мнения, что следует давать возможно больший простор научной индивидуальности начинающего и с удовольствием вспоминал слова, сказанные ему еще в его молодые годы директором Ecole des Chartes известным Кишера (Quicherat), о том, что, чем меньше руководства, переходящего часто в опекание, тем более шансов имеет начинающий ученый оставить свой след в науке. И. В. был далек от опекания. Все ученики его и оставленные им при университете — и Н. В. Молчановский, и В. П. Клячин, и Д. М. Петру-

шевский, и В. И. Пискорский, и я — все мы пользовались часто очень ценными критическими и методологическими указаниями И. В., но никто из нас не мог бы никогда пожаловаться на какую-нибудь попытку оказать давление, покуситься на нашу самостоятельность, предрешить наши выводы. Таким он был в Киевском университете, таким остался и на Высших женских курсах в Петербурге, где вокруг него уже сгруппировался кружок учениц, оставленных им при курсах и отчасти уже выступивших со специальными и весьма интересными работами в печати.

И на университетской кафедре он был прежде всего тем, чем был в своем кабинете: ученым исследователем. Но так как для него деятельность исследователя была всегда главным делом жизни и отдавался он этому делу со всей страстью, на какую способен его порывистый и живой темперамент, то немудрено, что он так легко заражал этой страстью других. Показная любовь к научному труду была всегда чужда Ивану Васильевичу. И тем сильнее действовало и действует на всех начинающих работать под его руководством это могучее чувство, о котором он никогда не говорит, но которое сделало всю его жизнь долгой, часто неблагодарной, всегда тяжелой борьбой за расширение исторического видения.

Научный исторический журнал, 1914, № 4, стр. 5—9.

К ИСТОРИИ РУССКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ

Без маски

Когда редактор «Русской мысли» потребовал от меня очерка истории русско-германских отношений, мне показалось *прежде всего* интересным коснуться не того, что писали германские дипломаты и как поступали германские государи, но того, о чем они думали и *мечтали,* когда имели дело с Россией. Судьбе угодно было до последней степени облегчить разрешение этой задачи: историку незачем в данном случае заниматься чтением в мыслях и сердцах. Ему достаточно внимательно изучить одну у нас почти забытую, но в Германии отнюдь не забытую, напротив, весьма популярную книжку. Эта книжка, с восторгом встреченная влиятельнейшей консервативной немецкой печатью, есть основная догма русоведения в тех сферах германской империи, которая единственно и является там ответственным за внешнюю (да, в сущности, и за внутреннюю) политику государства. Всякий сколько-нибудь постоянный читатель «Kreuzzeitung», «Tägliche Rundschau», «Münchener Neueste Nachrichten» — я нарочно назвал довольно несхожие в оттенках органы,— прочтя предлагаемую заметку, признает, что идеи Гена о России — с прямой ссылкой на его книгу или без ссылки — широчайшим образом распространены и постоянно попадаются в консервативной, империалистической, патриотической прессе Германии. Но только там они все же более или менее замаскированы (хотя и там иногда являются почти без маски). Ген говорит полным голосом то, о чем Теодор Шиман и «Kreuzzeitung» говорят вполголоса и о чем Вильгельм с Бетманом-Гольвегом принуждены были только шептать (по крайней мере до 19 июля 1914 года, когда стало возможным выбрать любой диапазон).

Более поучительного психологического документа, нежели книжка Гена, не выдумать. Могу по крайней мере признаться в следующем: зная — смею думать — довольно полно всю достаточно поучительную дипломатическую и военную историю взаимоотношений германского правительства и России, я все-таки *только* после прочтения книжки Гена вполне отчетливо понял, в соседстве с каким смертельным врагом живет Россия.

Ген договорил то, от чего стремятся отвлечь внимание ласковые дипломатические депеши и чего не досказывают самые резкие газетные статьи.

И всякому рассказу о *словах* и *поступках* германских правящих сфер должно быть предпослано, повторяю, хотя бы краткое повествование об их *мыслях* и *чувствах*. После Гена для нас в этой области *все* будет ясно, как на ладони,— все, от громадного Бисмарка до крошечного кронпринца. Редко историку попадается в руки такая крепкая и надежная Ариаднина нить, как в данном случае.

Виктор Ген (1813—1890 гг.) сам по себе — целый психологический роман на тему о русско-немецких отношениях, роман, автором которого была сама жизнь. Прибалтийский уроженец, сначала лектор Дерптского (Юрьевского) университета, потом библиотекарь Публичной библиотеки, выслуживший пенсию, получивший на службе чин действительного статского советника и потомственное дворянское достоинство и сейчас же перебравшийся доживать свой долгий век в Берлин, Ген,— так представляется читателю его книги,— все семьдесят семь лет своей жизни проклокотал какою-то неступленной злобой и ненавистью к стране, которая его кормила, давала ему чины и награды, от которой он получил то, что едва ли caeteris paribus ему дала бы Германия. Мне вспоминается тяжелое недоумение, вызванное появлением его книжки «De moribus ruthenorum» (Stuttgart, 1892) в покойном Н. К. Михайловском, который как-то выразился (в печати), что именно подобные произведения вполне могут пробудить в обществе дремлющий инстинкт национального озлобления, породить ответный взрыв.

Интересный ученый, автор замечательного и выдержавшего много изданий исследования о миграции животных и растений («Kultur-Pflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang aus Asien nach Europa») Ген был, вообще говоря, человеком умным и начитанным. По убеждениям своим он, особенно к концу жизни, окончательно застыл в упорном и раздраженном консерватизме, в «культе» внешней и внутренней политики Бисмарка (что немецкие биографы Гена отмечают с видимым восхищением). Его книжка, единственно тут нас интересующая, составилась из дневников и заметок, найденных, собранных и изданных уже после его смерти весьма родственным ему по духу историком (и передовиком из Kreuzzeitung) Теодором Шиманом, одним из его близких друзей.

Эта книжка — поэма ненависти и злобного презрения к русскому народу. Нечего и говорить, что Ген органически *не понимает* ни русской натуры, ни русской истории и вместе с

тем искреннейше считает себя глубоким, проникновенным знатоком русской души, русского человека. Нечего и говорить также, что критики по существу, опровержений и протестов афоризмы Гена не заслуживают: это значило бы оказывать им слишком много чести. Русский народ и Виктор Ген — величины слишком несравнимые, и книжка Гена есть прежде всего явление своеобразно-патологическое, интересное с точки зрения характеристики автора (буде подобная тема кого-либо привлекала бы). Если с его произведением все же следует ознакомиться (отнюдь не унижаясь при этом до критики), то, повторяю, исключительно потому, что эта книжка имела в Германии немалый круг читателей, что профессор и публицист, личный приятель Вильгельма II Шиман и его последователи вполне с Геном согласны, что, словом, бешеная злоба Виктора Гена говорит о многом таком, о чем другие либо не имели случая высказаться, либо высказывались с меньшим темпераментом. Без Гена мы не поймем вполне точно, каково истинное отношение к русскому народу той юнкерской клики, которая устами своих призванных представителей объявила теперь России войну.

Так как книжка состоит из заметок и записей, расположенных в форме дневника, в хронологическом порядке, то и мы не будем особенно менять этот порядок; тем более, что немногих выдержек нам вполне хватит для характеристики этого посмертного пасквиля русского благонамеренного чиновника, действительного статского советника и немецкого патриота.

Дневник начинается 8 февраля 1857 г., а кончается 11 августа 1873 г. и *ничего,* кроме многообразной ругани и хулы на Россию и русских, он не содержит в себе. Для большей точности я буду приводить некоторые места также в подлиннике.

«В России нет ничего идеального... Из России не начнется новой эры, разве только это будет эра огрубления, разрушения (von Russland wird keine Aera ausgehen, als eine der Brutalisierung, der Zerstörung, стр. 41). Даже русские черепа, лица, глаза кажутся нашему автору неприятными, пошлыми. (N. B. Курьезно отметить, что сам Ген, судя по портретам, был в высшей степени безобразен). Честь и чувство долга у русских неизвестны, господствующий характер — склонность к мошенничеству (Ehre und Pflicht sind unbekannt, übertünchte Schufterei ist vorherrschend, стр. 41). В глазах у русских никогда нельзя подметить мечтательность, одна только хитрость во взоре; и вообще глаза у них стеклянные (das russische Auge ist ein merkwürdig gläsernes, schwärmerische Verzückung spricht nimmer aus diesem Blick, bloss Pfiffigkeit). И не только глаза у русских стеклянные, но и голосов у них нет: лучшие певцы — немцы, а в русской опере нет ни у кого голоса, и *нигде* в России нет ни одного голоса (nicht eine Stimme! Ein Königreich für eine Stim-

me! Es findet sich Keine und giebt nirgends eine. Die Besseren darunter sind Deutsche, стр. 67). И не только голосов у них нет, но и совести (Die Russen haben kein Gewissen, стр. 52). И не только совести, но и вкуса и т. д. и т. д. Если русские ненавидят Германию, то это потому, что они не имеют понятия об организованном обществе (sie haben keinen Begriff von organisierter Gesellschaft darum hassen sie Deutschland, стр. 189). В России все *«антиидеально»*, грубо, пошло. *Все* лучшее идет в Россию от немцев; и Ген самым *серьезным*, немецко-педантским образом указывает на то, что даже «знаменитейшие» (die berühmtesten) «лоретки» (как он выражается) в России «всегда только немки, большей частью из остзейских провинций», ибо русским женщинам для этого занятия *«не достает внутреннего благородства»*. Эти отзывающие карикатурой, но *серьезные* строки находятся на стр. 24 (es fehlt der innere Adel, die Menschlichkeit). И лучшие «лоретки» и лучшие чиновники — всегда из немцев, по словам Гена, и тоже «meist aus den Ostseeprovinzen». Он ненавидит русских не только в их настоящем, но и в их будущем, во всех их стремлениях. Ему не нравится, что Чернышевский многого ждет от общины, ибо русские неспособны все равно ни к чему. Народ «без творческой силы», «забывающийся в водке», «чувствующий себя в повиновении приказу, как в природной стихии, народ, с которым посредством приказаний и розог можно все сделать... безличная масса для повелителей, варягов, немецких экзерцирмейстеров) (стр. 40). Ген с раздражением отрицает за русскими всякую способность к самоуправлению; он злобно осмеивает реформу 60-х годов и возмущен, что в России отменены телесные наказания; он только *надеется,* что закон этот не будет исполняться: *«к счастью* в этом случае законы бессильны,— жизнь вносит в них поправки» (das Leben corrigiert sie). Вот «и в школах были применены кротость и вежливость. Что же вышло?» Ничего хорошего, по мнению Гена. (Он для пущей ядовитости пишет русское слово: «auch in den Schulen wurde *Krotost* und Höflichkeit angewandt», стр. 96). Он пресерьезно уверяет, что любовь к телесным наказаниям исходит из самой глубины русской народной души (aus dem Innersten der Seele dieses Volkes entnommen), и в доказательство приводит глупый анекдот о каком-то рабочем, который будто бы желал, чтобы его высекли (стр. 214). Вот почему Гену не нравится и министр Милютин со своими гуманными затеями, особенно из-за уничтожения сеченья в армии (стр. 201). Вообще он с особым азартом стремится облить грязью именно все попытки России выйти на широкий путь европейской культуры. Суд присяжных вызывает в нем лишь желание рассказать какую-то сплетню об оправдании мошенника, похитившего 30 000 у одного знатного лица;

оправдание последовало только мол потому, что Шувалов, начальник 3-го отделения, и министр юстиции Пален интересовались этим делом и требовали справедливости и наказания виновного (а присяжные им в пику виновного оправдали). И еще такие же обывательско-злобненькие соображения (стр. 161—162), и вывод предоставляется читателю сделать самому: не ясно ли, что русский народ не способен иметь суд присяжных? К суду присяжных он возвращается несколько раз, всегда со злобной иронией.

Есть нечто почти столь же изумительное по размерам, как злоба Гена: это его непроходимое *невежество* относительно всего, что касается русской жизни, русской культуры и особенно русской психики, и Теодор Шиман, восторгающийся его глубоким знанием России, выдает этим лишь аттестат самому себе. *В 1868 г.* Ген пишет о русских: «Тридцать лет тому назад они говорили только по-французски и сочиняли стихи и писали свои книги на этом языке... теперь они, к сожалению, грамотные...» (jetzt sind sie leider *gramotnije* geworden, стр. 163). Итак, значит, в 1838 г. русские писали *только* на французском языке, спустя год после смерти Пушкина, в расцвете деятельности Гоголя и Лермонтова! Разве найдется в России историк или публицист, который унизится до полемики с Геном, до опровержения Гена? С ним нужно не полемизировать, но рассматривать и изучать его как любопытное этнопатологическое явление. Последуем дальше. О существовании русских писателей, тех же Пушкина, Гоголя, он все-таки знает (интересно лишь было бы выяснить, к какой эпохе он их относит?). Но, конечно, вся русская литература не бог весть что: «я читаю теперь Пушкина и до сих пор не натолкнулся ни на что особенное...» Зато Ген добрался до того, в чем именно порок Пушкина и чем Пушкин национален: мало в нем нравственности и души (wo eigentlich der Schaden des Dichters und die Nationalität steckt: Mangel an Sittlichkeit und Seele, стр. 156). Это еще наиболее приличное с внешней стороны место, которое относится в книге Гена к русскому реалистическому искусству; есть и другое, настолько гнусное не по смыслу лишь, но и по употребленным выражениям, что читатель разрешит мне его не приводить. Гоголь — не лучше Пушкина: у него полное отсутствие какой-либо цели, возвышенного взгляда, идеальной точки зрения в его писаниях (Abwesenheit irgend eines Zweckes bei diesen Darstellungen, irgend einer höheren Auffassung, irgend eines idealen Gesichtspunktes). Вообще нет у Гоголя «истинного юмора и благородства души» (стр. 177); кроме того, Гоголь в «положительном поэтическом» творчестве — «очень ограниченная голова». Не просто ограниченная, но *очень* (sehr beschränktes Kopf, стр. 210). В области музыки Глинка, Серов и т. д. — ничтожны,

даже прямо отвратительны (abstossend, trivial, gemein, roh, стр. 221), и вообще русские совсем неспособны понимать и создавать настоящее искусство, истинную музыку, оригинальную живопись. Да и к чему они способны? Что они любят? Впрочем вот что они любят, по мнению Гена: повиноваться немцам; и *чем грубее и своевольнее немец, тем меньше ему сопротивляются* (je gröber der Deutsche ist, je starrer und eigenwilliger, destoweniger wird er angefochten, стр. 173). Русский народ нужно презирать, погрубее с ним обращаться, а главное — бить, бить и бить его. И Ген в постоянном отчаянии, что Александр II уничтожил телесные наказания: к этой ране своего сердца наш автор снова и снова возвращается. «Быть может, наихудшей из всех введенных в последнее время реформ была отмена телесных наказаний. На русских ничто, совсем ничто не действует, коме телесного наказания, но оно действует волшебно» (auf den zauberisch, Russen wirkt sonst nichts, gar nichts, aber gerade dieses, стр. 171). Есть у Гена одно горькое нападение на правительственный деспотизм в России; горестным последствием проявления деспотической власти явилась отмена крепостного права: «...что дворянство потерпело при этом неслыханные потери, это не было принято во внимание в деспотическом государстве, в нации, которая привыкла к несчастью, ниспосылаемому свыше» (стр. 86),— скорбно иронизирует Ген.

Я прошу читателя поверить мне, что я выбрал отнюдь не *самые* наглые по форме и не *самые* гнусные по содержанию страницы Гена. Есть много хуже. Повторяю: большей злобы и презрения к России и русским *нельзя* себе представить; автор отрицает за русским народом хоть какое-либо *одно*, самое скромное моральное качество; при этом Ген алчет лишь того, чтобы русский народ на веки веков оставался в том безотрадном, унизительном, рабском, забитом, нищенском положении, которое он с упоением расписывает, безмерно преувеличивая, выдумывая, болтая зря, со злорадством изображая вместо России эпохи реформ Александра II какую-то Дагомею и с жаром одобряя именно пережитки николаевщины, остатки крепостничества. Я настаиваю также на том *невежестве*, которое implicite постоянно проявляет автор, на поразительной поверхности во всем, что касается русской жизни на курьезнейшей самоуверенности ослепленного ненавистника, полагающего, что он проник в самые глубины русской народной души.

Теперь обратимся к тому, что дает этой книжке Гена не только исторический, но и злободневный интерес. Мы не имеем никакого права сказать: таковы *были* воззрения одного злобного немецкого реакционера в средине XIX столетия; мы не можем даже ограничиться признанием, что таковы были идеи и пожелания касательно России, распространенные вообще среди

немецких реакционеров и крепостников *того* времени. Подобное благодушно-успокоительное утверждение было бы чрезвычайно неосновательным. Г. Теодор Шиман, ныне здравствующий ученый, друг императора Вильгельма II, был бы в праве обидеться на такое игнорирование его особы.

Дело в том, что при жизни Виктор Ген не издал своей книжки «De moribus ruthenorum»: очевидно, боялся, как бы не отняли пенсии, ибо трудно в данном случае предположить именно с его стороны иной мотив. Но его друг и апологет, Теодор Шиман, издал это произведение вскоре после смерти Гена, в 1892 г. Он предпослал этому изданию небольшое предисловие, в котором торжественно объявляет Гена *первоклассным знатоком* русского народа, русского народного естества (dass hier ein Kenner ersten Ranges sein Urtheil über das russische Volksthum niedergelegt hat; предисловие, стр. 12); по мнению Шимана, Ген «основательно» изучил «русскую литературу, журналистику и русскую науку». Мало того. За последние 17 лет жизни Гена, т. е. именно за те годы, которые Ген провел в Берлине, Шиман с ним беседовал устно о «тех же предметах», т. е. о России и русских; Ген не изменил своего суждения, констатирует его собеседник, и прибавляет, что «ничего не могло быть более поучительным», нежели эти разговоры. Заметим хорошо эти отзывы Шимана и перейдем к другой книжке, к особой монографии Шимана о Викторе Гене, появившейся в 1894 г. («Viktor Hehn. Ein Lebensbild». Stuttgart, 1894). Это уже не коротенькое предисловие,— и здесь Шиман дает простор своему восторгу и преклонению пред личностью, умом, познаниями, талантами и заслугами своего героя; не думаю, чтобы с большей теплотой и любовью, с большим восхищением и взволнованным признанием можно было бы писать о Гарибальди или Белинском. И в этом житии мы читаем (на стр. 180) внушение Шимана читателям «De moribus ruthenorum», чтобы они отнюдь не принимали суждений Гена о России *только* за «выражение национальной антипатии»: нет, Ген «глубоко» и полно понял «славянскую натуру». Вообще же, по мнению Шимана, как бы «жестка» ни была «формулировка» оценки русского народа, сделанная Геном, все же «*в существенном Ген, без сомнения, прав*» (стр. 179). Ген, по сообщению Шимана, не переставал мечтать о конечной победе Германии над Россией: «он видел, как приближается Немезида».

В противоположность распространенной в Германии переоценке мощи русского колосса он указывал на глиняные ноги великана; mores ruthenorum, казалось ему, опровергают мнение, будто эта раса обладает внутренним содержанием, чтобы совладать с культурой, вырабатывавшейся веками. Русский формальный реализм казался ему бессильным против идеальных сил

Запада, и если у него чем дальше, тем больше пропадала надежда пережить великое решение (борьбы) между Востоком и Западом... у него оставалась уверенность, что решение должно последовать, а каков будет исход, об этом ему говорило его знание «mores ruthenorum» (предисловие, стр. 14).

Очень жаль, что Шиман позабыл прибавить тут, что в одном месте своей книги Ген вполне точно говорит, на чем основываются его надежды на победу Германии (стр. 125): «И все-таки опасность велика для Европы. Масса славян — огромна, они уже теперь охватывают Европу двумя сильными руками. Казаки явятся на своих лошадях, со своими нагайками и пиками и все снесут прочь. Потребностей у них нет, в разрушении они мастера, сердца у них нет, они бесчувственны. И если перебить сотни тысяч их, то явятся другие сотни тысяч, как саранча. И опять может дойти дело до шалонской битвы, относительно которой никто не может сказать, каков будет ее исход... *До поры, до времени их еще уничтожает водка, которая при таких обстоятельствах еще может оказаться благодетельницею человечества*». Смерть, унесшая Гена за 24 года до воспрещения продажи спиртных напитков в России, избавила его, таким образом, от слишком тяжкого беспокойства за судьбу «человечества». И, судя по показаниям Шимана, в последние годы своей жизни Ген уже не боялся войны Германии с Россией, а как бы жалел только, что не дождется столкновения.

Эта грусть действительного статского советника Гена, что ему не удастся дожить до войны Германии с Россией,— грусть, смягчаемая светлой надеждой на победу Германии (и даже *уверенностью* в такой победе), кажется Шиману в высшей степени трогательной в человеке, который всю жизнь ел русский хлеб (и продолжал его есть также в Берлине, грустя и надеясь). Тут особая психология, с которой ничего не поделаешь,— психология не только Гена, но и Шимана (она, впрочем, и вся у них обоих общая. Ибо Шиман тоже совершенно не понимает, какие чувства может в сколько-нибудь беспристрастном и брезгливом человеке возбуждать его герой, всю жизнь получающий деньги от России и плюющий в ту же Россию бешеной слюной, призывающий на нее «Немезиду», желающий русскому народу всякой гибели (я подчеркиваю: *народу*, потому что самое ненавистное для Гена в России — не русское правительство, не те или иные черты русского строя, но весь русский народ, как целое, и особенно демократические слои народа).

И Шиман тоже, конечно, вполне убежден, как и Ген, что Пушкин и его почитатели — грубые, чувственные, безнравственные низменные реалисты, а Бисмарк и его почитатели суть «идеальные силы Запада», с которыми эти низменные ашантии, открытые Геном, конечно, не справятся. *Ни одной* оговорки, *ни*

одного смягчения, *ни одной* поправки к Гену Шиман не делает. При этом Моисее он Аарон, при этом Лютере он Меланхтон; его роль — роль почтительного и любящего глоссатора, а вовсе не критика. Шиман — серьезный историк (и даже много работавший в области именно русской истории). Но там, где речь идет о России, обязательное, азбучное для историка правило — считаться с эволюцией, подмечать перемены — совсем теряет для него свою силу. Допустим, что весь злобный вздор, написанный Геном о России, правдив от первой буквы до последней; допустим по крайней мере, что Шиман в этом уверен. Почему же он *и в этом случае* принимает безусловно выводы и характеристики Гена *вообще,* признает их правдивость *на веки вечные*? Ведь от 1857 г., когда начинаются записи Гена, до 1894 г., когда Шиман написал восторженный гимн в форме биографии Гена, могло же что-нибудь в России и русском народе измениться? С этим соображением Шиман совсем не сталкивается. Все то, что Дюмон-Дюрвиль рассказывал о дикарях в начале XIX столетия или Миклуха-Маклай в конце XIX столетия, рисует картины, мало отличающиеся от воспоминаний моряков и путешественников XVI—XVII вв.: у «не-исторических» народов эволюция неуследима. Что русский народ — исторический, этого при всей суровости его немецких бытописателей они отрицать не могут; но признать возможность *эволюции* в его жизни они все-таки никак не хотят. Ген в 1860-х годах прямо пишет, что характеристика, сделанная Олеарием (посетившим Россию при Михаиле Федоровиче), применима и к середине XIX в.; а Шиман в средине 90-х годов XIX в. признает без оговорок то, что Ген говорит о 50-х и 60-х годах. Может ли немецкого Миклуху-Маклая остановить то соображение, что у живописуемых им полинезийцев оказались в наличности Пушкин (хотя бы грубый и низменный), Гоголь (хотя бы лишенный «истинного юмора») и другие подробности, встречаемые все же не у всех диких племен? Все-таки на то, чтобы признать за Россией возможность эволюции, ни Ген, ни Шиман не пошли.

Психология Гена *теперь* для нас тем и интересна, что она есть в то же время всецело и психология Шимана, как явствует вполне точно из вышеприведенного. А Шиман — это деятель 1914 г., сегодняшний и завтрашний, друг и конфидент Вильгельма II; он разъезжает с Вильгельмом II на яхте «Гогенцоллерн», он пишет внушенные правящими сферами передовицы в «Kreuzzeitung», он — перо консервативной партии рейхстага и особенно прусского ландтага, словом, он один несравненно ближе к *реальному* влиянию на текущие государственные дела, нежели, например, вся многомиллионная социал-демократическая партия со всеми ее Зюдекумами, сколько бы они ни демонстрировали свой патриотизм.

Вывод ясен: прусские реакционеры, «восточноэльбские» юнкеры, наиболее тесно сплоченный вокруг Вильгельма II кружок его друзей, словом, все те люди, знамя которых высоко держит Шиман и которые в июле 1914 г. более всего жаждали открытия военных действий против России, ведут нынешнюю войну не затем только, чтобы урезать в свою пользу часть русской территории, даже не затем только, чтобы экономически поработить Россию, навязавши ей разорительный для нее торговый договор, но и затем, чтобы, если дела пойдут уж очень хорошо, по возможности посодействовать прочному превращению русского народа в подъяремных, нищих, пьяных, забитых рабов. Это — идеал, мечта, быть может, далекая, несбыточная, но искренняя и горячая мечта. «Наихудшая (die shlimmste) из всех русских реформ — это отмена телесных наказаний!» — говорит из гроба покойный Ген. «В высшей степени плодотворные мысли, höchst fruchtbare Gedanken!» — с восторгом отзывается с борта яхты «Гогенцоллерн» благополучно здравствующий Теодор Шиман, живое звено между Геном и Вильгельмом, личный друг того и другого.

Мы все знаем, что, кроме Гена (и в том же XIX веке), в России жили и увековечены художественной литературой и другие немцы: и тургеневский Лемм, и доктор Герценштубе из «Братьев Карамазовых», и доктор Веймар, до последнего издыхания облегчавший беды и врачевавший болезни страдальцев и страдалиц в далекой Сибири, и доктор Гааз, одной жизни которого хватило бы на несколько канонизаций, и несчастный, благородный мечтатель Кюхельбекер; и только те, кто сами внутренно похожи на Гена, могут отождествить с Геном *всех* людей его национальности или даже большинство их. Мы знаем также, что в самой Германии ни социал-демократы, ни свободомыслящие, ни люди близких к ним направлений не повторят о России того, что о ней говорит Ген; мы знаем, что было бы в высшей степени легкомысленно и прямо предосудительно изображать дело так, будто Ген является выразителем мнений хотя бы средней интеллигенции Германии, больших масс германского общества. Личное мое мнение, что *численно* поклонники взглядов Гена в *их интегральной целостности* составляют в Германии весьма и весьма скромную по размерам группу людей.

Но ведь была же достаточно сильна эта группа, чтобы вопреки возмущению миллионных народных масс удержать в Пруссии такое издевательство над здравым смыслом, справедливостью, народным достоинством, как трехклассовую избирательную систему; остается же она достаточно сильной, чтобы сохранить в своих руках всю полноту исполнительной власти и *фактически* всегда почти проводить свою волю и в законодатель-

стве; оказалась же она настолько могущественной, чтобы совсем уж бесконтрольно распоряжаться внешней политикой империи. От Гена и его братьев по духу немало страдала и еще настрадается германская демократия, но пока именно с ним и с его умонастроением соседям Германии приходится считаться больше всего.

Кончаю тем, с чего начал: без понимания Гена мы не поймем и кронпринца; без понимания Шимана не поймем и Вильгельма II, главное, не поймем в точности *истинного* их отношения к России и русскому народу, не разберемся в прочном, несокрушимом воззрении на Россию, царящем в потсдамско-берлинских верхних слоях, потеряемся в часто противоречивых с внешней стороны, хотя и *всегда* однотонных по существу поступках и изъявлениях берлинского двора и правящих сфер касательно России. Ген водил рукою Вильгельма I, когда тот благожелательно предостерегал в письме русского императора от введения в России народного представительства; Ген произнес, забравшись в канцлера Бюлова, гнусно-игривую речь о развращенности русских курсисток; Ген похвалялся в июле 1914 г. отбросить Россию в Азию; Ген бесчинствовал в Калише, и от Гена, будем надеяться, избавит теперь Европу тот самый русский народ, который так многообразно и долго от него терпел. А за Европой, несомненно, избавится от Гена и сама Германия. Жаль только, что такой дорогой ценой приходится за это общее избавление платить.

Русская мысль, 1914, № 11, отд. XVI, стр. 83—93.

ПО ПОВОДУ РОМАНА ЗОЛЯ

(Вступительный очерк)

Роман Золя «La débâcle» живописует франко-прусскую войну 1870—1871 гг. и падение Второй империи. Автор особенно подчеркивает две основные черты, обусловившие страшное поражение Франции: во-первых, несоответствие общественного настроения той тяжкой задаче, которую возложил на страну своей необдуманной, авантюристичной внешней политикой Наполеон III, и, во-вторых, полнейшая неподготовленность армии и недостаточность военных средств Франции в завязавшейся внезапно ожесточенной борьбе. Обе эти черты весьма характерны и вполне соответствуют исторической действительности.

1. Уже после кровавого подавления июньского восстания рабочих в 1848 г. во французской общественной жизни стал сказываться глубокий маразм: во всех классах французского общества начала проявляться полнейшая усталость, жажда прочного порядка и покоя, какой бы ценой этот покой не был куплен. Когда 2 декабря 1851 г. президент республики Людовик-Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот и овладел властью, то этот переворот не встретил почти никакого сопротивления, и немногие попытки такого сопротивления окончились мгновенно совершенной неудачей. Рабочие определенно *не хотели* защищать ненавистную республику, утопившую в крови июньское восстание 1848 г., владельческие классы (буржуазия и крестьянство) в массе своей приветствовали водворение режима сильной власти (в частности, финансовые круги были в восторге от прекращения политических треволнений); даже старые монархические партии — как легитимисты, так и орлеанисты — молча мирились до поры до времени с совершившимся фактом, который они рассматривали как наименьшее из возможных зол. При таком настроении общества император Наполеон III и его ближайшие помощники легко установили в стране фактический абсолютизм, который заглушил окончательно всякую общественную самодеятельность, задавил печать, сосредоточил всю полноту власти в руках крепко сплоченной бюрократии.

Успехи внешней политики империи — Крымская война, победы над Австрией (1859 г.) при Мадженте и Сольферино — еще более упрочили всевластие правительства и содействовали глубокой спячке общества. Широкое развитие торговли, бросавшийся в глаза подъем благосостояния земледельческих слоев, значительное усиление промышленной деятельности, колоссальная биржевая игра — все эти характерные особенности экономической жизни Франции в годы империи способствовали в могущественнейшей степени глубокому общественному индифферентизму, овладевшему страной. Только со второй половины 60-х годов началось некоторое общественное оживление. Причин тому было несколько. Во-первых, торговая политика императора, убежденного сторонника принципа свободы торговли, начинала смущать и раздражать представителей торгово-промышленного класса все более и более, особенно со времени заключения выгодного для англичан англо-французского торгового договора 1860 г., причем правительство не обратило ни малейшего внимания на протесты и жалобы заинтересованных лиц; во-вторых, фантастическая авантюра в Мексике, стоившая много тысяч солдат и много миллионов денег, совершенно непроизводительно затраченных, причем все предприятие кончилось победой мексиканских республиканцев и расстрелом наполеоновского ставленника Максимилиана; в-третьих, тяжелая неудача, постигшая политику Наполеона III в 1866 г., когда он не получил никакой компенсации от Пруссии при австро-прусском конфликте и войне,— все это весьма сильно подорвало престиж империи внутри страны. Пробуждение оппозиции сказалось в оживлении прессы, в явном усилении республиканского течения. Правда, благодаря безграничному произволу и подтасовкам при выборах и подсчетах голосов этот рост оппозиции не мог быть вполне учтен, но все же в законодательном корпусе после выборов 23—24 мая 1869 г. оказалось несколько десятков республиканцев, тогда как в законодательном корпусе 1857—1863 гг. их было всего пять человек. Мало того: в так называемой третьей партии, требовавшей либеральных установлений и либерального режима, оказалось 116 человек, т. е. с республиканцами они составили большинство. Император увидел себя вынужденным пойти на некоторые уступки еще до выборов 1869 г. Уже в 1868 г. прошли два в высшей степени важных закона: во-первых, 11 мая 1868 г. была отменена система предостережений и закрытия периодических изданий административной властью и пресса была подчинена юрисдикции судов исправительной полиции; для открытия новой газеты или журнала отныне требовалось простое заявление, а не разрешение от министра внутренних дел, как до тех пор; во-вторых, декретом 11 июня того же 1868 г. даровано было право собраний, кото-

рые отныне могли устраиваться также явочным порядком, но лишь в закрытых помещениях и при непременном присутствии полиции, которая могла во всякий момент закрыть заседание. Эти уступки нисколько не успокоили оппозицию. После выборов 1869 г. пришлось сделать дальнейшие шаги в сторону либеральных реформ. 6 сентября 1869 г. был издан сенатус-консульт, вносивший ряд изменений в конституцию: законодательный корпус получил вместо назначаемого бюро выборное (до сих пор президент и секретари назначались императором), даровано было право вотировать бюджет по отдельным статьям, а не непременно принимать или отвергать его целиком, как было до тех пор, расширялась законодательная инициатива собрания при обсуждении законопроектов. Но и эти уступки не привели к желанной цели, недовольство распространялось в стране все более и более.

Вместе с тем у оппозиции не было, однако, сил, чтобы предпринять сколько-нибудь серьезную попытку ниспровергнуть империю. Рабочий класс, правда, уже стал приходить в себя после тяжкого поражения, испытанного в 1848 г., уже проявлялось стремление к организации, к самопомощи; участие рабочих в «Международном обществе», основанном в Лондоне в 1862 г., способствовало этому оживлению. В 1868—1869 гг. произошло несколько больших стачек, которые, благодаря репрессиям, окончились в общем неудачно для рабочих, но показали, что в этой среде существует довольно серьезное брожение. Тем не менее чисто политический интерес в рабочей среде был еще до крайности слаб. Пылкие республиканцы были нередкостью среди студенчества, молодых адвокатов, журналистов, провинциальных врачей и лиц иных свободных профессий, но это были «вожди без армии»: ни один большой общественный класс, как бы он ни был недоволен личным режимом и неудачами внешней политики императора, не стремился в эти годы к немедленному государственному перевороту и к провозглашению республики. В ноябре 1868 г. произошла небольшая демонстрация на могиле убитого в декабрьские дни 1851 г. республиканского депутата Бодэна; большое впечатление произвела затем речь Гамбетты, защищавшего редактора оппозиционной газеты Делеклюза (обвинявшегося за сбор денег на сооружение памятника Бодэну); большое внимание обратили на себя в январе 1870 г. похороны журналиста Виктора Нуара, убитого принцем Пьером Бонапартом, к которому Нуар пришел в качестве секунданта,— эти похороны собрали стотысячную массу народа, которая порывалась устроить враждебную полиции демонстрацию. Все это были признаки некоторого брожения, но брожения чрезвычайно далекого от *революционного* настроения, в точном смысле слова. 2 января 1870 г. император назначил первым мини-

стром Эмиля Олливье, бывшего республиканца, перешедшего в правительственный лагерь и мечтавшего о проведении политики «либеральной империи». Но старания Олливье не приводили к желанному результату. С одной стороны — оппозиция ненавидела его за «измену», а с другой — придворная партия, приверженцы старой политики сурового подавления всяких признаков свободы, сплошь и рядом оказывались перед лицом императора сильнее первого министра, и Олливье должен был подчиниться их реакционным указаниям. Весной 1870 г. были внесены еще кое-какие изменения в конституцию (сенат был сделан верхней палатой, расширены были полномочия законодательного корпуса), а 8 мая состоялся плебисцит — всенародное голосование — по вопросу, одобряет ли народ внесенные в конституцию с 1860 г. изменения? Вопрос был поставлен так, что ответившие *«нет»* как бы заявляли этим, что они — против этих в общем либеральных изменений. С другой стороны, оппозиция с раздражением указывала, что, отвечая *«да»*, народ как бы одобряет империю со всем ее прошлым, с переворотом 2 декабря, полицейским деспотизмом и т. п. Республиканцы призывали к воздержанию от голосования, но успеха не имели — 7 358 786 голосов сказали «да», 1 571 939 сказали «нет». Это был последний триумф империи. Придворная партия, во главе которой стояла императрица Евгения, все же не считала положение достаточно упрочненным. Ей казалось, что только блестящий успех во внешней политике может покончить с оппозицией. «Война необходима, чтобы это дитя царствовало»,— говорила она окружающим, указывая на маленького наследника.

Таково было настроение во Франции, когда внезапно разразилась катастрофа и вспыхнула война с Пруссией. Ни правительство, ни оппозиция не были достаточно сильны, чтобы с надеждой и верой смотреть на будущее. Ненависть к правительству поглощала все внимание, все силы оппозиции. Глубокие внутренние разногласия, глухое недовольство, неуверенность в будущем царили во французском обществе. Сам император хирел все более и более; в 1869 г. он перенес опасную болезнь; старость подошла как-то вдруг, и он временами производил впечатление одряхлевшего человека. Вялость, нерешительность, апатия овладевали им все более и более. Все труднее ему было бороться с императрицей и партией, требовавшей войны. Но он опасался этой войны и мечтал ее избегнуть.

2. Уже вышеизложенные обстоятельства показывают, до какой степени Франция к концу империи не была, по своему настроению, готова к увлечению какой-либо общенациональной идеей, до какой степени общество было далеко от единения и способности к дружному действию. И уже это ставило Францию в худшие условия сравнительно с Пруссией, или, говоря шире,

сравнительно с немецким народом, переживавшим как раз в этот период величайшее патриотическое возбуждение: объединение Германии стало уже почти свершившимся фактом, и не только Бисмарк, но и значительная часть германского общественного мнения видела в удачной внешней войне лучшее средство сломить все еще продолжавшееся сопротивление южно-германских правительств, не вошедших пока в «Северо-германский союз». Но и помимо этого чисто нравственного (и в высшей степени важного, несоответствия в общественных настроениях Франции и Германии, было налицо еще одно обстоятельство, сыгравшее роковую для Франции роль в страшной войне 1870—1871 гг.: Франция вступила в борьбу совершенно неподготовленной ни в дипломатическом, ни в военном отношениях.

Разумеется, главной, естественной союзницей Франции могла бы быть Россия, и руководящий деятель первой половины царствования Наполеона III герцог Морни прекрасно это понимал и мечтал о таком союзе. Но еще раньше, чем умер Морни (1865 г.), всяким надеждам на союз был положен конец польским восстанием, во время которого французская дипломатия стала на сторону Польши и взяла на себя инициативу вмешательства (оказавшегося безрезультатным). Напротив, политика Пруссии в этот момент была решительно русофильской, и без того теплые и родственные отношения между Александром II и королем прусским Вильгельмом I особенно упрочились, и Бисмарк получил основание рассчитывать впредь на «благодарность» со стороны России. Меньшую, нежели Россия, но все же значительную помощь могла бы оказать Наполеону III Австрия, которая после испытанного ею в 1866 г. поражения ждала удобного момента отомстить Пруссии и воспрепятствовать довершению германского объединения, и император Франц-Иосиф был очень расположен к заключению союза с Наполеоном III. Но французский император медлил, колебался, не решался, хотя польза от такого союза была очевидна, и пропустил удобный момент.

Когда же началась война 1870 г., то, конечно, после первых же поражений Франции, Австрия перестала и помышлять о союзе. Третья держава, которая была вне всяких сравнений слабее России и Австрии, но все же могла бы быть полезной Франции,— Италия — была глубоко обижена и раздражена Наполеоном III, который не только не выводил из Рима своих войск, но и определенно заявлял, что ни в каком случае не допустит присоединения Рима к итальянскому королевству (т. е. уничтожения светской власти папы). Таким образом, к 1870 г. обнаружилось, что Франция на континенте Европы совершенно одинока. Что касается Англии, то было наперед ясно, что она будет придерживаться полного нейтралитета, но, конечно,

будет желать возможного ослабления Франции, которая как колониальная держава была для нее опаснее, нежели не имевшая ни флота, ни колоний Пруссия.

Итак, Франции оставалось надеяться лишь на себя самое. Всеобщей воинской повинности в том виде, как она уже была налицо в Пруссии, во Франции еще не существовало. Наем заместителей, вполне дозволенный законом, и практиковался имущими слоями в самых широких размерах. Размеры этой армии были на бумаге — 434 356 человек, но из них в отпуску находилось около 108 000 человек, так что действительный состав армии был равен 325 525 человек. Но из этой цифры нужно еще вычесть 5 250 человек, стоявших в Риме, и 63 900 человек, находившихся в Алжире. Получалась в остатке цифра в 256 000 человек с небольшим. Когда в июле 1870 г. решался вопрос о войне, военный министр Лебеф уверял, что Франция может через две недели выставить 350 000 человек, да еще 100 000 так называемых любителей, и, кроме того, внутри страны и в Алжире еще останутся войска. Все это оказалось на деле сплошной фантастикой. Целый ряд полков не насчитывал и половины предполагаемого на бумаге состава, а сплошь и рядом вообще не оказывалось войсковой части там, где ей, по имевшимся в главном штабе сведениям, надлежало быть. На деле, по самым оптимистическим расчетам, к началу военных действий во французской действовавшей против неприятеля армии оказалось всего 220 000 человек, и недостача пополнялась в высшей степени медленно. Что касается армии Северо-германского союза, действовавшего с Пруссией во главе, то, благодаря всеобщей воинской повинности и превосходно разработанным генералами Мольтке и Рооном мобилизационным планам, против Франции было выставлено войско в 385 000 нижних чинов пехоты, 48 000 человек кавалерии и 1284 пушки. Но, кроме этих сил, против Франции, вопреки ожиданиям и расчетам плохо осведомленного французского правительства, двинули свои армии также южно-германские правительства: Бавария — 129 000, Вюртемберг — 37 000, Баден — 35 000 человек. Были, кроме того, приготовлены громадные резервы, которые потом постепенно и вводились в дело. Что касается интендантской части, то во Франции эта часть обстояла весьма неутешительно; неслыханное казнокрадство, небрежность, невероятная запутанность отчетности, полное отсутствие действительного контроля — все это стало обнаруживаться с первых же дней войны. Не хватало провианта, палаток, пушек, снарядов, пороховых запасов, тогда как германские войска были превосходно оборудованы и вооружены. Организация французского главного штаба была из рук вон плоха: маршалы Базэн, Мак-Магон, Дуэ интриговали и подкапывались друг под друга; единства действий

не было, плана общих действий не было выработано; даже карт порядочных в распоряжении штаба не оказалось, так как французские генералы собирались вести наступательную, а не оборонительную войну и запаслись поэтому картами западной Пруссии... Сам император явился в армию только потому, что ему и императрице казалось неудобным, чтобы он оставался в Париже; его присутствие все путало и затрудняло, парализуя свободу действий генералов. В германской же армии планы нашествия разрабатывались годами. Мольтке и Роон нашли многочисленных способных и энергичных помощников и исполнителей, помогших им довести до совершенства армию еще во время мира. Командующие тремя армиями, на которые разделилась германская военная сила уже во время войны, генерал Штейнметц, принц Фридрих-Карл и кронпринц Прусский дружно и удачно исполняли общие указания, данные им главным штабом и его начальником Мольтке. Единство командования было обеспечено фактически — руководящей ролью Мольтке, формально — принятием со стороны прусского короля Вильгельма титула главнокомандующего. Местность, в которой велась война, особенно в первые, самые роковые для Франции месяцы, была до мельчайших деталей известна Мольтке, который годами содержал там перед войной обширнейший штат шпионов и соглядатаев. При всех этих условиях победа Пруссии была обеспечена. Как известно, война вспыхнула внезапно, из-за вопроса о кандидатуре принца Леопольда Гогенцоллерна на испанский престол, причем французское правительство (под прямым влиянием императрицы) вело себя самым вызывающим образом, считая войну необходимой для блага династии, а победу почти несомненной. Нужно заметить, что не только французское правительство, но широкие круги общества, даже и не одобрявшие разрыва с Пруссией, все же убеждены были в победе Франции, первые же вести о поражениях, о нашествии ошеломили всех. Но следует помнить также, что уже после гибели регулярных армий в августе — сентябре — октябре 1870 г., когда в Германии думали о близком мире, уже после низвержения империи (последовавшего 4 сентября, чрез два дня после сдачи Наполеона III в плен при Седане), новое правительство *национальной обороны*, как оно стало называться, сумело организовать новые и новые армии и затянуло ожесточенное сопротивление на несколько месяцев. Мольтке чрез много лет признавался, что это сопротивление внушало ему серьезное беспокойство. В романе Золя эта часть войны мало затронута, так как его целью было прежде всего описать разгром империи, что у него детально и выполнено. Что касается восстания и усмирения Коммуны (18 марта — 28 мая 1871 г.), то эти страшные 70 дней навсегда останутся одним из кровавейших периодов французских граж-

данских войн. Это восстание обусловлено было несколькими причинами: во-первых, голодом и раздражением натерпевшегося всяких ужасов за время осады Парижа бедного населения столицы, в частности, населения рабочего; во-вторых, негодованием и опасением радикально-настроенных республиканцев, когда они узнали о монархических наклонностях большинства только что выбранного Национального собрания, от покушений которого, как им казалось, необходимо теперь же защитить республику; в-третьих, многие (например, генерал Россель) примкнули к Коммуне, надеясь, что таким путем станет возможным нарушить только что заключенный мир с Германией и возобновить войну, продолжения которой требовало их оскорбленное патриотическое чувство. Наконец, этим движением части парижского населения думали воспользоваться некоторые убежденные теоретики и пропагандисты социалистической мысли, усматривавшие в восстании 18 марта начало социальной революции.

Беспощадное усмирение, которым Тьер утопил Коммуну в крови, покончило с этим движением лишь в конце мая 1871 г., но, собственно, уже в апреле, недели через две после начала Коммуны, стало вполне ясно, что это движение осуждено на скорое поражение: Париж оказался совсем отрезанным от Франции и никакой поддержки нигде не нашел.

После ужасающих ран, нанесенных войной, восстание и усмирение было новым, неожиданно-огромным кровопролитием, которым закончилась трагическая эпопея этого «страшного года», как его назвал Виктор Гюго. Когда резня прекратилась, на очередь стала задача, которую решали и решают уже несколько французских поколений: *пересоздать всю Францию*. Эту задачу и ставит себе в последних словах романа Золя его юный герой.

Нужно прибавить еще несколько слов об одном обстоятельстве.

Роман Золя рисует картину бедствий французской армии и всего населения в эпоху германского вторжения; и следует сказать, что в настоящее время во Франции считают общепризнанной истиной тот факт, что причиной несчастий явилась не «измена» Базэна, не «подкупленность» генералов прусскими деньгами, как это долго говорилось и в народе, и даже в кое-каких кругах образованного общества, а именно роковые ошибки французской дипломатии, полная военная неподготовленность французских и поразительная по своему совершенству организация неприятельских сил. Лишь в одном вопросе французские историки стараются теперь снять упрек со своей родины и даже отчасти с правительства Наполеона III: после признания, сделанного Бисмарком в последние годы своей жизни, они не перестают подчеркивать, что несмотря на вызывающий тон фран-

цузской дипломатии в июле 1870 г., даже несмотря на предъявленное к Вильгельму I требование о запрещении на будущие времена принцу Гогенцоллерну выступать кандидатом на испанский престол,— все же война могла бы быть избегнута, если бы Бисмарк не обнародовал в урезанном и оскорбительном для Франции виде депешу прусского короля из Эмса, излагавшую беседу с французским послом Бенедетти. Этот «подлог» и был, по выражению Бисмарка, «красным платком на галльского быка». Что Бисмарк изо всех сил жаждал войны, это давно было известно; но его признание и похвальба этим поступком явились новым фактом, отчасти облегчавшим в глазах французов тяжкие вины императрицы Евгении, министра иностранных дел Граммона и самого императора.

Но уже самые требования, предъявленные в последнее свидание Бенедетти с Вильгельмом I, были безумной провокацией. Французская империя заглянула в пропасть, подойдя к самому краю ее; от Бисмарка изошел лишь последний толчок. Золя обходит молчанием эту дипломатическую прелюдию к войне. Но надлежит помнить, что в первые недели войны, с которых начинается роман, и во французской армии, и среди населения много говорилось о «кровавой обиде» со стороны Пруссии, о том, что Вильгельм I осмелился «выгнать» французского посла и т. п.

Неслыханные бедствия, посыпавшиеся на Францию осенью 1870 г., быстро заслонили собой это впечатление. Только спустя двадцать с лишком лет признание Бисмарка разъяснило, как с его стороны было инсценировано это «оскорбление».

В кн.: Золя Э. Собрание сочинений, т. 18. Разгром. СПб., [1914], стр. V—XV.

ЭЛЬЗАС-ЛОТАРИНГСКИЙ ВОПРОС НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ВОЙНЫ

Стремление Франции к возвращению Эльзас-Лотарингии не было непосредственной причиной войны, и, собственно, за все сорок четыре года ни разу Германия не имела причины опасаться, что французская республика объявит ей войну из-за Эльзас-Лотарингии. Но отторгнутые провинции создали между Германией и Францией непроходимую пропасть, явственный отказ Франции нравственно санкционировать франкфуртский договор поддерживал ту общую неуверенность в прочности европейского мира, которая вызвала гигантский и повсеместный рост вооружений. «Из Франции всегда до нас доносится как бы вой ветра в трубе в осеннюю бурю»,— таковы слова, приписываемые Бисмарку. Не подлежит никакому сомнению, что и франко-русский союз и франко-английское соглашение, приведшее к тройственному согласию, были в серьезнейшей степени обусловлены отторжением Эльзас-Лотарингии. В последние годы во Франции было целое общественное течение, склонявшееся к идее примирения с Германией, на основе дарования этой области широкой автономии (Жорес, Эрве) и создания из нее как бы буфера между двумя державами. Но это течение не имело в общем никакого успеха. «Расчлененная родина», «обезображенная граница», «братья, стонущие под ярмом» — вот что отвечала полемика на все призывы к компромиссному решению трагического вопроса. В конце концов оправдалось предсказание Бисмарка, что Франция (даже если и не самолично начнет войну) всегда примет участие во *всякой* антигерманской коалиции...

На очень немногих страницах, которыми мы располагаем, попытаемся напомнить читателям, в каком положении находились эти две провинции перед войной. Эта сторона дела менее заметна и менее известна, чем настроение Франции в данном вопросе, но и она имеет свое немаловажное значение.

I

Эльзас-Лотарингский вопрос, бесспорно, является в последние четыре с половиной десятилетия европейской истории

одним из серьезнейших, предопределяющих факторов в создании основных дипломатических комбинаций, разделявших великие державы на враждебные лагери. Еще в 1884 г. на женевском конгрессе лиги мира было торжественно признано, что *главной* причиной гигантских вооружений, разоряющих Европу, является именно вопрос об Эльзасе и Лотарингии. С тех пор прошло 30 лет, и за это время в Европе накопилось еще много иных горючих веществ, но *никогда* этот вопрос не сходит с очереди. Бисмарк очень отчетливо это выразил в своих посмертных мемуарах, сказав, что Франция всегда примкнет тотчас же ко всякой европейской державе, которая объявит войну Германии. Несомненно, понимал он и то, что эта ничем неистребимая вражда Франции, в сущности, серьезнейшим образом ухудшает общее дипломатическое положение Германии. Мало того, в 1879 г., беседуя у себя в имении с приглашенным погостить французским послом, Бисмарк определенно заявил ему, что отнятие у Франции части Лотарингии было ошибкой, что он, Бисмарк, и тогда, в 1871 г., был против этого и т. д. Но это заявление не совсем соответствует истине. Оно характерно только как свидетельство, что уже в 1879 г. условия Франкфуртского мира самому Бисмарку начинали казаться не вполне обеспечивающими европейский мир. На самом же деле в сентябре 1870 г., тотчас после Седана, Бисмарк поспешил официально оповестить европейские дворы, что не только Страсбург, но и Метц, т. е., значит, именно отрезок Лотарингии, необходимы Германии для оборонительных целей, для обеспечения себя впредь от нападений со стороны Франции. Но, вместе с тем, в интимных разговорах со своим подчиненным (и журналистом) Бушем Бисмарк тогда же (точнее, в начале 1871 г.) высказывался в том смысле, что отнятие у Франции Метца, собственно, не его идея, а желание военной партии; он же был бы согласен заменить Метц надбавкой контрибуции, так как ему кажется излишним приобретать столько французов в качестве подданных. Во всяком случае, никакой сколько-нибудь ощутимой борьбы с целью отстоять свое мнение Бисмарк не предпринял, и «военная партия», на которую он вообще любил неопределенно ссылаться, одержала полную победу. Что же касается до Эльзаса, то в этом Бисмарк никогда не допускал никаких колебаний и сомнений, следовательно, если бы даже восторжествовала более скромная программа, которую Бисмарк приписывал себе, и если бы Германия отказалась бы от Метца с лотарингскими округами, расположенными вокруг него, все равно прочный европейский мир после этого становился невозможен. Дело в том, что французское народное сознание не делало в 1871 г. и не делает в 1914—1915 гг. ни малейшего различия между Эльзасом и Лотарингией, считая обе утерянные провинции одинаково французскими, хотя Эльзас

и говорит по-немецки. «Как можно спрашивать мать, у которой украли двух детей, кто из них ей дороже?» — возмущенно воскликнул по этому поводу Поль Дерулед в одной из своих агитационных речей.

Лотарингия, стародавняя французская земля, и Эльзас со Страсбургом, принадлежавшим Франции со времен Людовика XIV, не переставали с 1871 г. чувствовать себя насильственно оторванными от родины, насильственно инкорпорированными «имперскими землями», не имеющими никаких нравственных связей с германской империей.

Со времени завоевания в Эльзас-Лотарингии, объявленной «имперской землей» и поставленной под непосредственное управление назначаемого императором наместника, сменилось несколько режимов: пока у власти был Бисмарк, преобладал режим подозрительности, суровости, насильственного онемечения, придирчивого гонения на французский язык (в Лотарингии), на французские симпатии (в Эльзасе и Лотарингии); после Бисмарка иногда этот режим сменялся временными послаблениями, периодами умеренного административного либерализма. Вильгельму II случалось даже (раза три в течение царствования: в 1892—1893, в 1899—1900, в 1903—1904 гг.) мечтать о полном примирении населения имперской области с германским владычеством. Но все это были очень редкие моменты; в общем режим притеснения продолжался почти вплоть до последнего времени. В этом отношении очень мало изменений внесла и реформа 1909—1911 гг., введшая в Эльзас-Лотарингии некоторое подобие местного самоуправления, или, торжественнее выражаясь, областной конституции. Что нельзя будет ни в каком случае управлять страной впредь до бесконечности исключительно при помощи наместнической диктатуры, это признавал уже Бисмарк; признавали и его преемники по канцлерству, но все они, откладывая реформы с десятилетия на десятилетие, ссылались на беспокойный, враждебный, антигосударственный дух Эльзас-Лотарингии, на «франкофильство» населения, на продолжающиеся массовые уклонения молодежи от отбывания воинской повинности (причем уклоняющиеся уходили во Францию и там натурализовались). Наконец, «автономия» была дана, как говорят, не без некоторого давления со стороны южно-германских правителей, не совсем довольных исключительной властью, которой пользовался император в Эльзас-Лотарингии, в этом общем достоянии, или, как пишут французские авторы, «общей добыче» *всех* германских государств. Впрочем, чисто административная часть по-прежнему была оставлена в руках наместника, назначаемого императором и ответственного исключительно перед императором; но узаконения, касающиеся Эльзас-Лотарингии, и бюджета области должны были отныне проходить через две

палаты ландтага: верхнюю и нижнюю. Верхняя палата состоит из членов, непосредственно назначаемых императором, а также высших сановников, заседающих ex officio, и из нескольких выборных делегатов (один от четырех муниципалитетов — Страсбурга, Метца, Кольмара и Мюльгаузена, трое от торговых палат, трое от сельскохозяйственного совета, один от ремесленной палаты).

Нижняя палата состоит из 60 членов, выбираемых прямой и всеобщей, но *не равной* подачей голосов (избиратели различаются по возрастному составу: лица старше 35 лет имеют два голоса, старше 45 лет — три голоса). В среднем каждый избирательный округ имеет населения 30 000 душ. Закон и бюджет проходят через обе палаты и утверждаются императором; если нижняя палата ландтага отвергнет бюджет (с верхней палатой, где ровно половина членов по назначению, это случиться, конечно, не может), то в силу вступает бюджет предыдущего года. Вот главные черты «автономных» учреждений, дарованных Эльзас-Лотарингии. Ни малейших законных возможностей ограничить произвол или притеснения административных властей эти учреждения не дают и не могут дать населению имперской области; но, во всяком случае, явилась возможность гораздо свободнее высказывать (попутно, при обсуждении законопроектов) свои жалобы, чем это было до тех пор мыслимо в прессе, неуклонно преследуемой придирчивой и подозрительной прокуратурой. Собственно, это было едва ли не главным реальным благом, полученным Эльзас-Лотарингией от введения областного ландтага, так как, не говоря уже о полном отсутствии какого бы то ни было контроля над управлением, не говоря также о широкой возможности для правительства обойтись без вотированного бюджета, не распространяясь о всегдашнем Дамокловом мече, висящем над всеми решениями нижней палаты ландтага — *veto* верхней палаты и императорском неутверждении,— достаточно вспомнить, что всякий общеимперский закон, если он противоречит областному закону, *уничтожает* этот последний, чтобы оценить более нежели скромные рамки, отведенные законодательному самоопределению Эльзас-Лотарингии.

Итак, в настоящее время, Эльзас-Лотарингия, страна, занимающая 15 518 квадратных километров, насчитывающая более 1 870 000 жителей, в сущности, по-прежнему управляется бесконтрольной властью наместника. Муниципальная жизнь здесь тоже стеснена больше, чем в остальных государствах Германии, *в особенности постоянными, не терпящими никаких возражений*, вмешательствами военных властей в хозяйственную жизнь городов, имперской области, их претензиями и требованиями, захватами и незаконным пользованием городскими помещениями, городскими земельными угодьями и т. д. Три главных горо-

да области — Страсбург, со своими 168 000 жителей, Мюльгаузен (около 95 000), Метц (69 000), не говоря уже о меньших городах — очень и очень должны считаться с произволом военных властей, от которых нет обыкновенно никакой защиты, так как гражданские чиновники, подчиненные наместнику, всячески избегают вступать в конфликт не только с начальниками гарнизонов, но и с любым офицером любого из этих гарнизонов; были случаи, когда на почве таких конфликтов погибала блестяще начатая карьера гражданского чиновника, а дело фон Ферстнера, о котором будет речь дальше, показало, что и для судебных властей не совсем безопасно приходить в столкновение с эльзас-лотарингским офицерством. Собственно, в окончательном своем виде, со всеми ныне действующими поправками, эльзас-лотарингская «конституция» прошла и была окончательно утверждена и введена в действие лишь в 1911 г. Что касается состава хотя бы того ландтага, который был выбран в октябре 1911 г., то по нем судить довольно трудно об истинном настроении избирателей: сепаратистская программа, конечно, не выставляется и не может выставляться ни одним кандидатом; на социал-демократов имперское правительство смотрит чуть ли не как на самую надежную опору против сепаратистских тенденций; клерикалы и люди, близкие к ним, в одних местах идут на выборах под флагом, враждебным правительству, а в других — произносят горячие речи против антиклерикальной политики французской республики и восхваляют «широкую терпимость» германских властей к католической церкви... Политическое credo этих шестидесяти депутатов нижней палаты ландтага, кроме того, крайне редко вообще может сказаться в узких рамках чисто деловых, местных вопросов, подлежащих их суждению. Вот, впрочем, подсчет депутатов ландтага по партиям:

Центр	25
Лотарингский блок	10
Социал-демократы	11
Либералы и демократы	12
Независимые	2
Итого	60

Во всяком случае при всей невольной замаскированности «франкофильских» тенденций «лотарингского блока», при всей умеренности требований «либералов» и «демократов» касательно расширения свободы преподавания и «управления Эльзас-Лотарингии *исключительно* эльзас-лотарингцами», при всем равнодушии социал-демократов к местным сепаратистским тенденциям правительство могло насчитать в самом деле несколько

преданных ему сторонников *только* среди двадцати пяти клерикалов «центра». Таков состав этого *первого* местного парламента Эльзас-Лотарингии. Следует заметить, что выборы совершались еще сравнительно в спокойный период. В последние годы наместник имперской области, Ведель, сделал кое-что для смягчения затаенной вражды населения к победителям. С его стороны не было особых придирок, его жена, графиня Ведель, довольно демонстративно выразила однажды свое расположение к одному из вождей «местной» партии (называющихся иногда «националистами» и входящих в «лотарингский блок»), аббату Веттерлэ,— и вообще в последние годы там водворилась некоторая благожелательность в отношениях гражданских властей к населению.

II

Нет никакого сомнения, что с 1 февраля 1871 г., когда был обнародован закон о присоединении Эльзас-Лотарингии к германской империи, много воды утекло и что германская пресса, неоднократно отмечавшая с большим удовлетворением упадок старого «непримиримого» настроения в имперской области, была не совсем неправа. Рост промышленности в городах (особенно Страсбург и Мюльгаузен) могущественно способствовал нарастанию и укреплению социал-демократии, по всей своей психологии совершенно чуждой идее местного патриотизма и особенно сепаратистских тенденций. Выше уже сказано, что правительство, *враждебное социал-демократам*, на всем пространстве империи, здесь, в Эльзас-Лотарингии, с удовольствием взирало на их победы в тех округах, где им пришлось бороться против местных «националистов» толка Веттерлэ. С другой стороны, во Франции большая пресса относилась всегда к эльзасским социал-демократам с нескрываемой враждой (ср. типичную негодующую статью сенатора Бодэна в газете «Action» от 1 ноября 1911 г. по поводу результатов выборов в Эльзас-Лотарингии). Далее, нельзя отрицать, что и в широких слоях буржуазии, особенно в лотарингских строго католических семьях, последовательная антиклерикальная политика целого ряда французских кабинетов, начиная с Вальдека-Руссо, продолжая Комбом и кончая Клемансо, возбуждала много горечи и раздражения. Соответственная агитация со стороны не местной, ненавистной населению, чиновничьей, пангерманистской «Strassburger Post», не имеющей ни малейшего морального авторитета, но влиятельнейшего католического органа «Germania» не прошла для Эльзас-Лотарингии бесследно.

Наблюдатели эльзас-лотарингских настроений утверждали положительно, что демонстративно-любезный визит, сделанный Вильгельмом II папе, произвел в имперской области сильное

впечатление, особенно после комментариев германской католической прессы и сопоставлений этого факта с официальным и окончательным разрывом сношений между французским правительством и папским престолом. Нужно заметить также, что германские власти (в последние 15 лет в особенности) относились, в самом деле, с большой предупредительностью и любезностью к католическому духовенству в имперской области, а духовенство пользуется здесь огромным влиянием (в Эльзас-Лотарингии на каждую тысячу жителей приходится 765 католиков). Но зато целый ряд условий препятствовал и препятствует сколько-нибудь значительным успехам «имперской идеи» в Эльзас-Лотарингии.

Начнем с условий экономических. Чем занимается, чем живет Эльзас-Лотарингия? По данным последней профессиональной переписи, произведенной в Германии, в Эльзас-Лотарингии экономически-самодеятельна почти половина *всего* населения, 906 000 человек с лишком.

Из них в сельском хозяйстве и лесоводстве занято 339 000 с лишком, промышленностью как обрабатывающей, так и добывающей — 350 300 человек, торговлей и транспортом — 97 500 человек, государственной и общественной службой — около 110 000 человек. Таковы не все, но главные слагаемые указанной общей суммы. Если мы, даже намеренно и очень сильно преувеличивая, признаем, что все 110 000 чиновников и служащих в общественных учреждениях сплошь — верные слуги правительства и ратоборцы «имперской идеи», то все же, совершенно очевидно, что остальные слагаемые, и только они, могут иметь определяющее значение. Есть ли у лиц, кормящихся при сельском хозяйстве в Эльзас-Лотарингии, какие бы то ни было побудительные причины дорожить принадлежностью к Германии? Статистика сбора зерновых хлебов и картофеля показывает, что Эльзас-Лотарингия стоит в этом отношении ниже Пфальца, Саксонии, Бадена, Гессена, королевства Пруссии, Мекленбург-Шверина, Саксен-Веймара, почти во всех отношениях (кроме сбора ячменя) ниже Баварии и ниже еще целого ряда входящих в состав германской империи государств. Крупных латифундий в Эльзас-Лотарингии чрезвычайно мало; из 339 000 человек, кормящихся в сельском хозяйстве (и при лесоводстве), 116 000 человек — самостоятельные хозяева или руководители хозяйств и 229 000 человек — служащие и рабочие. Психология «восточно-эльбских» юнкеров и даже общегерманского «союза сельских хозяев» осталась вполне чуждой эльзас-лотарингскому мелкому землевладению, а оно там — почти все мелкое (23% участков от 2 до 5 гектаров, 39% участков от 5 до 20 гектаров, 11% участков *менее* 2 гектаров и т. д.; всего $6^1/_2$% участков свыше 100 гектаров). Этот слой населения и оказался, быть

может, наиболее упорным хранителем старых местных преданий, «молчаливо-франкофильским», как злобно называет эльзас-лотарингское крестьянство «Strassburger Post». Никаких побудительных экономических соображений, которые могли бы с успехом начать борьбу против этих стародавних культурно-исторических навыков и привязанностей, в названном слое эльзас-лотарингского населения не возникало. Переходим теперь к населению, занятому промышленностью. Нужно сказать, что Эльзас-Лотарингия была промышленной страной еще тогда, когда принадлежала Франции. Промышленная деятельность (в особенности текстильная индустрия) была здесь распространена с давних пор, в особенности в пяти городах: Страсбурге, Цадерне, Кольмаре, Мюльгаузене и Сааргемюнде. Хлопчатобумажные, ситценабивные, шерстоткацкие фабрики широко распространены в Эльзасе, шелковое производство — в Лотарингии. Кроме текстильной промышленности, славятся в имперской области бумажные фабрики, стекольные заводы, сталелитейни, красильни; очень развито и горнозаводское дело (добывается железо, медь, каменная соль). Как уже сказано, всех лиц, занятых промышленным трудом, в Эльзас-Лотарингии числится 350 300 человек. Из них — хозяев и руководителей предприятий считается 54 500 человек, а рабочих и служащих — 295 800 человек. О широком распространении социал-демократии среди рабочих имперской области сказано уже точно так же, как о том, что социал-демократия относится вполне равнодушно к местным преданиям и франкофильским тенденциям.

Но все же неоднократные (и очень резкие) выступления социал-демократов как в рейхстаге, так, в последние годы, и в эльзас-лотарингском ландтаге по поводу притеснений и гонений, воздвигнутых на французский язык, по поводу придирок гражданских властей, произвола военных и т. д. показали правительству, что на социал-демократию в имперской области оно может в конце концов смотреть разве только как на меньшее из двух зол, но ни в коем случае не как на благо (с точки зрения последовательного онемечения населения). Тем не менее, всем знакомым с настроениями европейского рабочего класса в последние десятилетия хорошо известно, что целые категории рабочих (и категории немаловажные) часто попадают под влияние некоторых особых тенденций и начинают признавать *совпадение до известной степени* своих интересов с интересами их хозяев. Достаточно вспомнить дебаты об «империализме» рабочих, занятых в германской сталелитейной промышленности, о «милитаризме» рабочих Шнейдера во Франции и Круппа в Германии и т. д. Значит, нужно еще спросить себя, есть ли в Эльзас-Лотарингии такие побудительные причины, которые заставляли бы *хозяев* положительно дорожить связью их области с Германией?

На это можно дать скорее отрицательный ответ,— уже a priori даже не зная еще, что и на самом деле эльзас-лотарингские промышленники отнюдь не считаются добрыми немецкими патриотами. Дело в том, что неслыханное, грандиознейшее развитие промышленности в германской империи делает конкуренцию чрезвычайно трудной, предъявляет весьма высокие требования к промышленникам и для окраинной индустрии становится все труднее отвоевывать место на центральном внутреннем рынке, не говоря уже о соперничестве с германскими фирмами на рынках внешних. Хозяева германских промышленных предприятий, которым все теснее и теснее становилось в последние годы, могли мечтать о завоевании новых рынков, о широкой колониальной политике и т. д.; может быть, отчасти о том же мечтали и хозяева эльзас-лотарингских фабрик, но у многих из них сказывалось (и гораздо ярче, по-видимому) другое чувство: сожаление о том, что их родина насильственно отторгнута от земледельческой, мелко-ремесленной, богатой свободными капиталами, но сравнительно бедной *крупными* промышленными предприятиями Франции и вошла как составная часть в страну гигантски развитой индустрии. Во Франции Эльзас-Лотарингия теперь была бы одной из *самых* промышленных областей, ничуть не уступая, например, Пикардии, а кое в чем и превосходя Пикардию,— и Франция была бы для нее обильным, богатым, обеспеченным рынком сбыта, где конкуренция была бы несравненно легче; да и колониальные владения Франции по своей покупательной способности несравненно важнее, чем колонии германские. Из всех этих соображений отнюдь не следует, конечно, что промышленники Эльзас-Лотарингии должны были бы проникнуться пламенным желанием отторгнуться от Германии и воссоединиться с Францией, чтобы они были готовы на все для этой цели и т. п.; мы хотим только пояснить, что у этого класса нет и не может быть никаких побудительных причин содействовать и сочувствовать *слиянию* Эльзас-Лотарингии с империей.

Их «франкофильство» тоже «молчаливое», но оно — налицо. Наконец, что касается класса торгового, то его умонастроение в значительной мере связано с настроением окружающего местного населения, так как никаких широких и далеких торговых сношений область эта почти не ведет, торговый обмен ее по преимуществу внутренний, клиенты торговцев — те же крестьяне и мелкие сельские хозяева, те же промышленники и рабочие о которых шла выше речь. По наблюдениям местных публицистов, торговцы составляют в значительнейшей мере кадры отчасти «лотарингского блока» (и прежде всего *местных* «националистов», т. е. франкофилов), отчасти же клерикального центра. Заметим еще, что если промышленники в Эльзасе и Лотарингии жалуются, что они далеко не пользуются таким покро-

вительством властей, как промышленник остальной империи, то еще чаще и резче жалуются негоцианты на систематический отказ в устройстве нужных водных путей и железнодорожных веток в области (ср. об этом особенно H i n z e l i n. L'Alsace sous le joug, стр. 156—157).

Итак, мы можем прийти относительно подавляющего большинства нечиновничьего населения к выводу, что *экономических побуждений к полному забвению прошлого, к искреннему и тесному слиянию с империей* у него нет. Французской патриотической публицистике подобная наша формулировка показалась бы слишком скромной, скупой, умеренной, так как, если судить по наиболее читаемым органам французской прессы, по тем статьям, которые *годами* появлялись в этой прессе, эльзас-лотарингское население не переставало с самого 1871 г., подавляя в себе гнев, горячо мечтать «о новой, освободительной войне, о воссоединении со — старым отечеством» и т. д. О них часто писалось как о людях, которые не устраивают восстания *единственно* вследствие того, что это предприятие — явно безумное, что их страна превращена в военный лагерь и т. д. Конечно, с этой шаблонной французско-патриотической, традиционно-обязательной точки зрения, на население Эльзас-Лотарингии, с точки зрения, прочно привитой среднему французскому обывателю покойным Деруледом и ныне здравствующим Барресом и Мильвуа, а за ними уже — всей наиболее читаемой прессой, только что формулированный вывод может показаться слишком бедным по «настроению» и неполным по содержанию.

Но даже и приняв только это скромное воззрение, только усвоив мысль, что никакие повелительные *экономические* побуждения не толкали и не толкают большинство населения имперской области к слиянию с завоевателями, мы уже поймем, почему все усилия германизаторов в данном случае остаются тщетными.

Дело в том, что *культурные* симпатии, *идейные* связи, исторические воспоминания, семейные традиции, теснейшие узы, веками связывавшие население Эльзас-Лотарингии с Францией — все это от 1871 г. до настоящего времени могущественно влекло эльзасцев и лотарингцев к «старому отечеству», и все эти крепкие духовные стремления не находили ни малейшего *внутреннего*, психологического противовеса хотя бы, например, в новых экономических интересах, которые бы тянули к Германии.

Оттого, что целый ряд французских патриотов и прославившихся генералов вышел из Эльзас-Лотарингии, оттого, что *Марсельеза* родилась в Страсбурге, оттого, что все душевные симпатии огромного большинства населения склонялись на сторону Франции,— еще не могло произойти восстания, но все эти воспоминания и все эти чувства, не встречавшие никакого внутрен-

него противодействия, сделали население Эльзаса и Лотарингии *глухим* к убеждениям и угрозам германской прессы, к онемечивающим усилиям государственной низшей, средней и высшей школы, сделали бесплодными все мероприятия германской власти, рассчитанные как на популярность, так и на устрашение.

Нужно сказать, что в общем германизаторские усилия выражались в течение всех сорока четырех лет преимущественно в мероприятиях не культурного, но полицейско-принудительного характера.

1. Прежде всего преследования были воздвигнуты против всего, напоминавшего о французском владычестве, в первую голову — против французского языка. Преследовались вывески на французском языке, воспрещалось вписывать в метрические свидетельства французские имена и т. п. Эта мелочная борьба чрезвычайно раздражала и раздражает население. Борьба против французского языка тесно связана со стремлением вытравить из памяти все касающееся прошлого страны. Воспрещаются французские надписи на могилах французских солдат, павших в бою в 1870 г.; преследуется соединение цветов белого, синего и красного, так как это — цвета французского знамени; в деревнях, в которых почти никто не говорит по-немецки (в Лотарингии), вводится — и именно в последние годы — делопроизводство на немецком языке, хотя по закону 1872 г. для этого требуется, чтобы по крайней мере 50% населения говорило по-немецки. Общество для охранения памятников, а также задававшееся целью культивирования памяти погибших в 1870 г., так называемое общество Souvenir français было закрыто властями; возникшее вслед за тем общество Souvenir alsacien-lorrain постигла та же участь. Это была единственная ассоциация, члены которой ставили своей задачей культивирование былых традиций; конечно, никакими чисто политическими целями оно не задавалось и не могло задаваться.

2. Местная пресса существует не только в лице пангерманистской «Strassburger Post», читаемой больше всего пришлым элементом (чиновничеством и т. д.), но и в виде нескольких немецких и даже французских газет (из последних наиболее читаемым является «Journal d'Alsace-Lorraine»). Эти газеты находятся под бдительнейшим надзором как прокуратуры и полиции, так и всей империалистской и пангерманистской прессы империи, под постоянным страхом печатных доносов и обвинений в государственной измене.

Преследования против них возбуждаются по малейшему поводу, так как правительство совершенно не верит в искренность их лояльных чувств (в чем, впрочем, оно нисколько не ошибается). Степень свободы, которой пользуется общеимперская пресса, совершенно неизвестна в Эльзас-Лотарингии.

3. Наконец, свобода и безопасность личности в Эльзас-Лотарингии совсем не те, что в остальной империи. Одной из самых характерных черт царящего в имперской области полицейского режима нужно признать то обстоятельство, что внезапные обострения и столь же внезапные послабления в этом режиме обусловливаются, обыкновенно, совсем независящими от населения фактами, именно — теми или иными отношениями, царящими в данный момент между Германией и Францией. Устраивает (в 1891 г.) Париж враждебную демонстрацию находящейся проездом вдовствующей германской императрице,— и в Эльзас-Лотарингии тотчас же ни с того ни с сего вводятся драконовские паспортные правила; улучшились отношения, и паспортные правила смягчаются; Франция соглашается прислать свои суда на торжество открытия Кильского канала,— и в Эльзас-Лотарингии полицейские придирки утихают почти совершенно; начинается дипломатическое франко-германское единоборство из-за Марокко,— и имперские власти в Страсбурге и Метце свирепеют. «Импульсивность» Вильгельма II поразительно сказывалась всегда в этих мгновенных переходах. Во всяком случае, справедливость требует заметить, что в самые последние годы (особенно с введением ландтага) произвол гражданских властей, хоть они и совершенно независимы от ландтага, уменьшился. Зато, как уже сказано, военный элемент, всегда державший себя в Эльзас-Лотарингии необычайно нагло и высокомерно, нисколько не изменился. «Цаберский инцидент» это показал весьма наглядно. Напомним вкратце об этом инциденте, о котором до сих пор беспрестанно говорят французские газеты, хотя он случился еще в 1913 г., а с тех пор утекло много и воды и крови. Барон фон Ферстнер, лейтенант пятой роты 99 пехотного полка, усмотрев, что один солдат наказан за то, что ударил ножом своего товарища по роте, эльзасца родом, воскликнул, что не стоило наказывать солдата из-за эльзасского *wake* (местное бранное слово) и что, напротив, он бы дал солдату за это десять марок. Когда об этом узнали в Цаберне (город, где происходило дело), толпа граждан устроила Ферстнеру ряд враждебных манифестаций, после чего он стал появляться на улице под вооруженной охраной. Это помогало мало; происходили постоянные столкновения, недоразумения, произвольные аресты мирных граждан солдатами и офицерами (однажды были арестованы, между прочим, чины судебного ведомства, в том числе прокурор за то, что осмелился вслух сказать при появлении вооруженного кортежа: «Это невероятно»). Дело дошло до имперского рейхстага, где представители самых умеренных партий выразили свое недоумение и возмущение по поводу безобразий фон Ферстнера и покрывающего его начальства, но правительство решительно стало на сторону цаберских военных.

Это дело произвело длительное и глубокое раздражение во Франции и было обильно использовано французской патриотической печатью.

Эльзас-Лотарингский вопрос был одной из постоянно сочившихся европейских ран. В настоящей заметке мы старались с необходимой краткостью указать как на причины, не дающие населению этой области побудительных мотивов к прочному слиянию с Германией, так и характеризовать те условия, которые постоянно раздражают, обижают и волнуют население, постоянно растравляют страшные воспоминания 1870 г. Об этом годе не забыла ни Эльзас-Лотарингия, ни Франция. Для Франции вопрос о реванше был не только вопросом об исправлении изуродованной вогезской границы. Потеря этих двух провинций страшно ухудшила оборонительную позицию Франции, обнажила богатейшие части страны, открыла дорогу в Париж. Правда, усиленная постройка крепостей в конце концов несколько ослабила опасность, но все-таки не устранила ее. Мечта о возвращении отторгнутых провинций всегда соединялась гармонически с мыслью о воссоздании и укреплении поколебленного чувства национальной безопасности и в то же время чувства национальной чести. В начале нынешней войны, в августе 1914 г., маститый историк Эрнест Лависс напечатал в газете «Temps» необычайно интересную страничку своей, так сказать, психологической биографии, даже вчуже хватающую за душу: он рассказал, как постепенно менялись его чувства и мысли относительно Эльзас-Лотарингии, вернее, как постепенно он переходил от надежды на *реванш* к мучительному сознанию почти полной неосуществимости этих надежд; как минутами эти надежды вновь воскресали и опять потухали. Он пережил потерю Эльзас-Лотарингии и дожил до времени, когда история, кажется, намерена пересмотреть свой приговор... Франция не хотела этой новой войны; но когда война сделалась неизбежной, Франция *вся* объединилась под знаменем, на котором были написаны слова: возвращение Эльзаса и Лотарингии.

Эльзас и Лотарингия не восставали против Германии, хотя жилось им невесело, не высказывали никогда мечтаний о мировом пожаре, который должен их освободить, но когда пожар возник, они оказались психологически совершенно *готовыми*, им не пришлось создавать программу своих пожеланий. Не нужно быть пророком, чтобы предвидеть, если судьбе угодно будет исполнить желание Франции, что во всей возвращенной области обнаружатся те чувства бурного ликования, которые проявились в пока завоеванной французами части Верхнего Эльзаса, в январе 1915 г., при посещении президента Пуанкаре.

В сб. ст.: Вопросы мировой войны. Пг., 1915, стр. 118—134.

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ И ПОСТАНОВКА ЕЕ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ

(К пересмотру университетского устава)

Среди немалочисленных аномалий нашего университетского преподавания не последнее место занимает, конечно, постановка кафедры всеобщей истории. Зависит это от многих причин, и не все они устранимы даже при доброй воле факультетов. К числу таких причин должно быть отнесено и то обстоятельство, что историко-филологический факультет должен volens-nolens брать на себя также и ту роль, от которой фактически и в громадном большинстве случаев отказывается средняя школа: он должен заботиться о приобретении слушателями хотя бы минимального количества знаний конкретных фактов, таких фактов, без знания которых не только «специалист», но и просто грамотный человек обойтись не может. В той или иной мере, тем или иным способом факультеты стараются бороться со злом: обращение преимущественного внимания на «общие курсы», невольное при этом пренебрежение важнейшей задачей университетского преподавания, задачей подготовки будущих работников научного исследования,— таковы сплошь и рядом прямые последствия подобного положения дела. Некоторые высшие учебные заведения университетского типа, например, Петроградские высшие женские курсы, прибегают к иному способу: профессора читают те курсы, которые считаются по существу нужными и важными для специально посвятивших себя изучению истории, но, вместе с тем, требуют непременной сдачи экзамена по общему курсу западноевропейской истории. Для подготовки к этому экзамену рекомендована в качестве пособия известная книга покойного проф. Петрова с дополнениями проф. П. Н. Ардашева. Это, так сказать, обязательная *домашняя* работа слушательниц, работа, не связанная органически с научно-преподавательской жизнью на курсах ничем, кроме экзамена. Конечно, даже хорошее знание рекомендованного серьезного пособия не может всетаки светом своим озарить до дна всю пучину той неосведомленности, которую выносят из средней школы окончившие курс этой школы (и, например, на вопрос, когда открыт морской путь в Индию, экзаменатору иногда приходится довольствоваться

ответом, что у Петрова об этом ничего не сказано, так как изложение в его книге начинается с XVI в.). Но, во всяком случае, некоторый комплекс необходимейших конкретных познаний все же в конце концов получается. Пишущему эти строки (и знающему, как живо, усердно и продуктивно работают слушательницы курсов в самых трудных семинариях, как блистательно сплошь и рядом отвечают они на самые замысловатые вопросы, когда экзаменуются по специальному курсу) совершенно ясно, что средняя школа в общем совсем не справляется со своим делом и что дело тут не в учащихся, а в учащих. С глубочайшим недоумением я читал, что во время недавно происходивших совещаний по переустройству средней школы г. Кораблев с горячностью напал на нынешнее положение среднего образования, требуя скорейшей «славянизации» преподавания истории. Он указывал при этом (совершенно справедливо) на то, что учащиеся ничего не знают в истории славян, и считал это недопустимым в нынешнюю эпоху. Увы! они ничего не знают также ни в истории наших союзников англичан, французов и итальянцев, ни в истории наших врагов. В *этом* отношении наша средняя школа вполне беспристрастно относится к истории как стран четверного согласия, так и центральных империй, к истории как защищаемой нами Сербии, так и неприязненно себя ведущей Болгарии *. Дело, вполне очевидно, одной «славянизацией» не исправишь. Что именно нужно сделать в средней школе, я не знаю, так как в вопросах средней школы некомпетентен, знаю только (и знаю твердо), что результаты шестилетнего прохождения курса истории в нынешней средней школе получаются в общем удручающие и что школе высшей приходится много, к прямому ущербу для ее собственного дела, с этим считаться.

Но если есть в области преподавания всеобщей истории по истине заброшенный угол, то это, конечно, так называемая новейшая история, период от Венского конгресса до настоящего времени. И в этом отношении университет сплошь и рядом оказывается так же неудовлетворителен, как средняя школа. Чтобы уж покончить со средней школой, укажу лишь, что даже лучшие из существующих учебников обычно отводят (да и не могут делать иначе) всего по нескольку десятков страниц на весь XIX в.: изложение поневоле оказывается самым беглым и суммарным. Винить составителей учебников никак нельзя: масштаб у них должен быть, конечно, единый для всего изложения,— и не их вина, если на усвоение всей истории XIX в. приходится

---

* Имеется в виду политический курс правящих кругов Болгарии. В октябре 1915 г. Болгария вступила в мировую войну в качестве союзника империалистической Германии.— *Ред.*

мало уроков. Но, повторяю, здесь рассматривается не причина, а результат, результат же оказывается самый неутешительный. Была ли Крымская кампания в XIX в. или в XVIII? Что такое хлебные законы? Что произошло раньше февральская революция или июльская? Кто такой Кавур? Таковы проблемы, осаждающие нередко студента на первом курсе и иногда очень терпеливо ждущие своего разрешения до последних лет его пребывания в университете. Ни один из приведенных только что примеров, конечно, мной не выдуман, все взяты из экзаменационной практики, в особенности настойчиво заявляю я это ввиду именно полной карикатурности, например, указанного отнесения Крымской кампании к XVIII столетию. Более богатые опытом экзаменаторы передают о десятках подобных же ответов. Впрочем, в частных беседах большинство студентов не только охотно признают полнейшую свою неосведомленность в истории XIX столетия, но часто жалуются, что им трудно даже читать газеты, так как ни о фактах, ни о лицах, ни о датах недавнего прошлого они не имеют ясного представления и не понимают беглых намеков и указаний, постоянно попадающихся в политических известиях. Что такое доктрина Монро? Или женевская конвенция? Или закон Фаллу? Или «культуркампф»? Или гомруль? Почему папа — «ватиканский *узник*» и что именно означают эти слова?

Таков фонд познаний по части истории XIX столетия, получаемый, в слишком многих случаях, в средней школе. Поступая в университет, студент встречается с общими курсами новой истории, с курсами специальными, но далеко не во всех университетах и далеко не каждые четыре года читается курс, посвященный XIX в. И тут является принципиально важный вопрос: как читать этот курс? И чем *считать* его: общим или специальным? На последний вопрос, по существу дела, может быть дан только один ответ. В самом деле: на каком основании называть «специальным» курс истории всех или хотя бы главнейших стран западной Европы в продолжение столетия, которое по своему значению, грандиозности и сложности экономических, политических, культурных изменений, по интенсивности эволюционного процесса, наконец, просто *по количеству достоверных сведений о нем* занимает огромное и резко своеобразное место и в истории и в правильно поставленном преподавании истории? Принимая во внимание, к тому же, только что отмеченную убогость того багажа, с которым средний студент является в университет, мы придем к несомненному убеждению, что желателен общий курс истории XIX столетия (*всего* столетия, а не первой его половины, как обыкновенно приходится читать) и что на этот общий курс необходимо отвести не меньше четырех недельных часов в учебном году.

Но это далеко не все. Специалист-историк, студент исторического отделения, конечно, не может удовольствоваться только тем, что в состоянии дать подобный общий курс. Углубленное изучение обильнейшего подавляющего материала требует планомерной постановки как специальных курсов из области истории XIX в., так и организации соответствующих семинариев.

Дело в том, что без правильной и зрело продуманной организации семинариев по разработке и анализу источников из области XIX столетия едва ли может обойтись рационально поставленное преподавание истории на историко-филологических факультетах. Материал, касающийся истории XIX в., *количественно* резко отличается от всякого иного, и это *количественное* отличие влечет за собой качественное несходство в приемах работы. При анализе пятнадцати страниц тацитовской «Германии» руководитель семинария не перестанет настаивать на необходимости вчитываться в каждую строку, в каждое слово этих скупых страничек, в каждый звук этого одинокого голоса, прервавшего молчание веков, между Цезарем и писателями эпохи переселения народов. Принцип *отнесения к ценности* в данном случае будет играть сравнительно неяркую роль: *все* ценно в этих пятнадцати страницах, но только одно — больше, другое меньше. Подчиненное и условное значение будет иметь и принцип сравнивания и сопоставления,— за скудостью материалов, с которыми вообще возможно сравнивать этот одиноко стоящий источник, за отсутствием в особенности материалов синхронистических. Сам собой выдвинется в беседах между руководителем семинария и участниками вопрос о допустимости и пределах гипотез, о степени законности привлечения этнографического материала при работе над историческими источниками и т. д.

Источники по отдельным вопросам истории позднего средневековья, Ренессанса, реформации, даже XVII—XVIII вв., несравненно более обильные, дающие для целого ряда тем семинарских занятий много материала, все же *предлагаются* работающим в более или менее ограниченном количестве: профессор русского университета не может повести работающих по истории Франции XVI—XVIII вв. в Национальный архив, как это делают профессора Сорбонны, не может предоставить им документы Record office'а, если тема семинария взята из истории Англии. Приходится, конечно, довольствоваться материалом изданным, а его в общем для XVI—XVIII вв. не так уж много, если тема взята из истории не культурной, а политической или особенно экономической. (Известное издание наказов, предпринятое во Франции,— одно из немногих исключений, но не правило).

Совсем иное положение участников семинария в том случае, когда им нужно работать по истории XIX столетия. Работа над

единым источником или над ограниченным их количеством имеет огромное значение, освоиться с методами такой работы совершенно необходимо, семинарии по древней, средней и новой истории могут иметь (и имеют) в высшей степени важный смысл в подготовке самостоятельного исследователя, но эта работа и усвоение этих методов недостаточны для подготовки к труду над темами XIX столетия. Издания дипломатической переписки в неслыханных никогда размерах, стенограммы отчетов представительных собраний, политических и иных съездов, обширнейшие официальные и неофициальные анкеты по разнообразнейшим вопросам социально-экономического быта, документы по истории отдельных политических партий, огромная периодическая пресса, мемуарная литература, количественно во много раз превосходящая мемуарную литературу предшествующего периода, обширные, с историческими комментариями и мотивировками издания законодательных актов — таковы не все, но главные рубрики того *изданного* и, следовательно, более или менее доступного материала, с которым должен считаться по целому ряду вопросов участник семинария в указанном случае. Научиться *выбирать* из этой подавляющей горы фактов нужное и ценное, отбрасывать неважное, устанавливать однообразный масштаб, разбираться в пестрых, многочисленнейших и уже поэтому неоднородных показаниях об одном и том же событии, считаться с необычайной широтой и исключительной разбросанностью анализируемого материала, не отказываясь от углубленного *допроса* этого материала,— все это совершенно необходимо для того, кто берется за работу из области XIX в.

А между тем, от этой задачи, от подготовки рядом с иными также и исследователей новейшей истории историко-филологические факультеты отказаться не имеют никакого права и никакого основания, этого от них в праве требовать и наука и государство. Прежний взгляд, представлявший собой курьезную смесь старомодного педантизма с легкомыслием, взгляд на новейшую историю как на область, которую университетское преподавание может оставить вне своего внимания, этот взгляд теперь уже никем не защищается. Наука *должна* разобраться в пучине того фактического материала, без опознания и понимания которого не только в текущей жизни, но даже и в предшествовавшей истории не все может быть анализировано и охвачено до глубины. Без 1859 г. нельзя всесторонне понять многовековых усилий французской дипломатии относительно Савойи, без полемики Виндгорста и Бисмарка многое и многое останется темным в истории германского католицизма XVI—XVIII вв., без понимания фениев и Дэвитта, Парнеля и аграрной лиги для нас глухи и загадочны будут обрывки и отрывки, по которым мы только и можем изучать экономическую исто-

рию Ирландии с XVI столетия. XIX век был в особенности веком многих завершений, и вместе с тем события протекали при таком ярком свете, как никогда раньше. Если правильно давнишнее воззрение, что при изучении истории мы должны отправляться не от более раннего к более позднему, но от более известного к менее известному, от несомненного к сомнительному, от легче установимого к труднее установимому, то методологическая ценность работы над материалом XIX столетия должна еще более возрасти в наших глазах.

Далее, решившись серьезно поставить дело преподавания новейшей истории, историко-филологические факультеты сделали бы и государственно-полезное дело. Во всем, что касается внешней политики, ближайшей истории международных политических и экономических отношений России,— задач, устремлений, изменений, ошибок дипломатии как России, так и европейских стран,— у нас царят поразительные темнота и малограмотность, и не только в широких слоях образованного (в других отношениях) общества, но сплошь и рядом в тех кругах, которые по смыслу своей службы обязаны были бы знать и понимать в истории последнего столетия больше, чем обывательская масса. Передают, что кн. Горчаков неоднократно высказывал нечто близкое к отчаянию по поводу полнейшего невежества тех лиц, которые наполняли его ведомство, совершенной темноты их во всем, что касалось как истории отдельных дипломатических проблем, так и прошлого культуры и истории европейской страны, где тот или иной из них был аккредитован.

Все это я привожу лишь как иллюстрацию общего отсутствия у нас сколько-нибудь удовлетворительного знания новейшей истории. Не дело, конечно, историко-филологических факультетов обучать исторической грамоте будущих дипломатов и популяризовать в русском обществе сведения из новейшей истории, но их дело широко и целесообразно поставить научное преподавание этого отдела истории в университете, воспитать кадры исследователей, подготовленных к разработке этой области, сделать университет *и в этом* отношении тем, чем ему вообще быть надлежит и чем он стремится быть: насадителем живой научной энергии, направленной к дальнейшему расширению и углублению знания и совершенствованию исследовательских методов. Все остальное — приложится, пусть только университет сделает это свое дело. Результаты уже скажутся сами собой.

Университет может сделать это дело: 1) увеличив число университетских преподавателей и 2) озаботившись устройством *ныне почти совершенно отсутствующих специальных отделов университетских библиотек.* Если наравне с древней, средней и новой историей новейшая история будет тоже признана достойной того, чтобы ей обязательно и регулярно посвящался и

«общий» курс, и ряд курсов специальных (по странам, эпохам, отдельным историческим проблемам), и постоянные семинарии,— этим будет сделано очень многое, но не все. Гнетуще нужна целесообразная организация рабочего аппарата.

Необходимо, чтобы университетские библиотеки были готовы, с своей стороны, к такому изменению учебных факультетских планов. Выше было сказано, что ни для одного периода новых времен нельзя указать столь колоссального количества *изданных* источников, как именно для новейшей истории. Прибавлю, что вместе с тем нет ни одного исторического периода, относительно которого наши университетские библиотеки были бы столь бедны, как именно относительно той же новейшей истории. Как ни недостаточен этот отдел и в Публичной библиотеке, все же хоть кое-что там найдет студент Петроградского университета. Но куда пойдет студент московский, юрьевский, харьковский, одесский, казанский? Достаточно взглянуть в каталоги библиотек этих университетов, чтобы понять, до какой степени скудно представлен там указанный отдел. Ненормальное положение предмета в общей системе факультетского преподавания в точности отражалось всегда на университетских библиотеках. Отдел, о котором идет речь, в некоторых университетских библиотеках придется значительно пополнить, а в большинстве — создавать с начала. К слову будь сказано, коечто из этого отдела (именно — все, касающееся истории международных отношений) очень пригодится также тем слушателям международного права на юридическом факультете, которые захотят чтением пополнить столь для них неудобные и так им вредящие пробелы своего исторического образования. (Едва ли можно, кстати, сомневаться, что при надлежащем расширении и прочной постановке преподавания новейшей истории на историко-филологическом факультете студенты-юристы, и не только интересующиеся международным правом, но и занимающиеся государственным правом и политической экономией, не преминут воспользоваться возможностью пополнить свои сведения: всякий профессор-историк, которому приходилось читать курсы из истории XIX столетия, знает, как значителен бывает процент юристов среди его слушателей.) Создание в университетской библиотеке научно-ценного рабочего аппарата по новейшей истории будет, конечно, приветствуемо представителями не одной кафедры на юридическом факультете.

Несомненно, что пополнение библиотек многотомными коллекциями потребует затрат так же, как потребует издержек и некоторое увеличение преподавательского персонала. Возможно, что последние издержки будут отчасти покрыты кое-какими сокращениями университетских смет, в случае, если план преподавания подвергнется со стороны факультетов частичному

пересмотру. Впрочем, число кафедр именно на историко-филологическом факультете и без того так ограничено, что вообще нужно думать об увеличении, а вовсе не о сокращении их числа. Пусть экономия достигается чем угодно, пусть лучше останется без перемены явно недостаточное нынешнее профессорское вознаграждение, но лишь бы экономия не выражалась в отказе ввести новые кафедры, нужные для рациональной постановки научного преподавания! Столь же недопустима преувеличенная экономия и в деле пополнения университетских библиотек теми книгами и изданиями, без которых нельзя будет организовать широко и планомерно семинарии и специальные курсы по новейшей истории. Историко-филологический факультет, расширяя свою научную работу и этим исполняя свое важнейшее прямое назначение, в то же время принесет государству непосредственную, ближайшую и огромную пользу, могущественно способствуя повышению уровня исторических знаний в обществе. В трудные времена упорной борьбы народов за существование и силу, борьбы, которая, конечно, не прекратится между европейскими нациями после окончания нынешнего великого столкновения, способность разбираться в недавнем прошлом, и поэтому видеть лучше в настоящем, если эта способность широко распространена, есть один из залогов успеха. Если не ошибаюсь, Поль Лакомб заметил как-то, что государство охотно тратит деньги на тех людей, которые занимаются текущей действительностью и ее потребностями, и очень скупо тратится на то, что способствует выяснению прошлого, ибо это прошлое ему, государству, не так уж интересно. В том случае, о котором у нас идет речь, даже этот грубоутилитарный аргумент недействителен...

Но это — обстоятельство при всей своей общественной важности, все же с точки зрения, с которой здесь рассматривается вопрос, производное, а не примордиальное. Главное заключается в том, что в настоящее время факультетское, научное преподавание новейшей истории в общем остается почти вне поля зрения университетской науки. Думается, что тот университет, который примет действительные меры к изменению этого ненормального положения дел, окажет крупнейшую услугу высшему образованию в России.

Журнал министерства народного просвещения, новая серия, ч. 59, 1915, № 10, Совр. летопись, стр. 85—93.

LORD GRANVILLE LEVESON GOWER. PRIVATE CORRESPONDENCE 1781 TO 1821.

London, 1916. Vol. I. XIX, 510 p. Vol. II. 597 p.

Лорд Грэнвиль (раньше лорд Гоуэр) принадлежал по происхождению к высшим кругам английской аристократии. Он родился в 1773 г., учился в Оксфорде вместе с Джорджем Каннингом (другом которого был всю жизнь), много путешествовал по континенту, уже в 1795 г., 22 лет от роду был избран от одного из «гнилых местечек» в нижнюю палату, а в 1797 г. исполнил первую свою дипломатическую миссию: ездил в качестве чрезвычайного посла в Берлин поздравлять нового короля Фридриха Вильгельма III с восшествием на престол. В 1804 г. Вильям Питт послал его в Петербург, в качестве посла, и он оставался там, с перерывом в несколько месяцев, до 31 октября 1807 г., когда Россия, согласно условиям Тильзитских переговоров, объявила Англии войну. В 1809 г. он побывал несколько месяцев военным министром, но, выйдя в том же году в отставку, вернулся на службу лишь в 1823 г., когда его сделали послом, сначала назначив его в Гаагу, а затем в Париж (где он оставался до 1841 г.). В 1846 г. он умер.

Еще в юности он сблизился с леди Бессборо,— и оба тома, ныне изданные, наполнены письмами от нее к лорду Грэнвилю и от Грэнвиля к ней. Бурная эпоха борьбы Англии с Францией сначала при Директории, потом при Наполеоне, первые годы мира после Наполеона — вот время, отражающееся в этой живой и интересной переписке. Мы встречаем тут и картины великосветской жизни в Лондоне, Париже (в коротенький промежуток времени пока держался хрупкий Амьенский мир), Петербурге, слухи, пересуды, эпиграммы, меткие суждения о событиях и лицах — все это дает впечатление истинного веяния жизни и переносит читателя в среду и эпоху. Пересказывать даже вкратце содержание тысячи страниц этих двух томов, конечно, невозможно. Я только обращаю внимание читателя на эту интересную новинку. Историки, интересующиеся эпохой Александра I, могут найти здесь, между прочим, кое-какие строки, которые им покажутся любопытными. Нужно заметить, впрочем, что, вообще говоря, ценность этой переписки больше в

материалах для характеристики великосветского быта и нравов, чем в каких-либо новых откровениях относительно политических событий и т. п. Император Александр I сначала произвел на посла чрезвычайно благоприятное впечатление, а молодая императрица Елизавета поразила его печальным выражением лица: «император обходится с ней почтительно, но между ними большая взаимная холодность (great mutual coldness). Интересен спор посла в салоне княгини Голицыной (в 1805 г.). Грэнвиль встретился там с генералом Хитрово. Генерал, заговорив о Робеспьере, настаивал, что Робеспьер был герой, патриот, что Франция, на которую враги напали со всех сторон, только и могла спастись путем установления системы беспощадного террора, что Робеспьер жил и умер в бедности, что он был совершенно бескорыстен и т. д. Посол не приводит своих возражений, но, конечно, ему, представителю поколения, выросшего на знаменитых «Размышлениях о французской революции» Борка, этот разговор должен был показаться неожиданным. Александр I был очень ласков с послом перед кампанией 1805 г., но до последнего момента Грэнвиль не знал, намерен ли император воевать с Наполеоном. Корреспондентка посла, выражая нетерпение всего английского общества, так пишет об Александре (вставляя французскую фразу в свое английское письмо): «...se rejettant toujours sur les préparatifs pour gagner du temps, écoutant tout, donnant des espérances, sans s'engager trop avant, sans se compromettre, et surtout sans rien faire».

После заключения Тильзитского мира лорд Грэнвиль еще несколько месяцев оставался в Петербурге. К своему удивлению и удовольствию он убедился, что русское высшее общество очень не одобряет Александра за заключение мира и союза с Наполеоном. «Это необычайная вещь, что в деспотической стране, там, где можно было бы предполагать, что двор дает обществу образец того, как себя держать и как мыслить,— меня принимают не только не холодно, но даже лучше, чем когда-либо раньше, и хотя воля государя заставляет многих лиц принимать французскую миссию (миссию Савари, посольство еще не было назначено — *Е. Т.*),— но они (члены миссии — *Е. Т.*) крайне разочарованы приемом». Так писал английский посол 5 октября 1807 г.

Весьма интересны очерки парижских впечатлений при Консульстве и письма эпохи Ста дней, писанные Грэнвилю леди Бессборо, которая в момент высадки императора жила в Марселе, т. е. совсем близко от места первого акта этой финальной трагедии Наполеона.

Исторические известия, 1916, № 3—4, стр. 132—134.

«DE CIVE» ГОББСА И ЕГО РУССКИЙ ПЕРЕВОД

ГОББС Т. ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ УЧЕНИЯ О ГРАЖДАНИНЕ. Перевод с латинского В. Погосского. С предисл. проф. С. А. Котляревского. М., 1914. XXIV, 269 стр. Цена 2 руб.

Трактат Гоббса «De cive» принадлежит к числу замечательных произведений английского мыслителя, и во многих отношениях его, несомненно, должно поставить выше «Левиафана». Здесь впервые им были высказаны принципы, которые отчасти развивались, но отчасти и затемнялись в «Левиафане»; здесь он вполне свободен от того многословия, которому и он отдал некоторую дань в «Левиафане» и которое так характерно для английской публицистики XVII столетия; наконец, здесь он свободнее в выражении некоторых основных своих взглядов. Ведь «De cive» относится к тому времени, когда борьба между Карлом I и революцией еще далеко не была решена, а «Левиафан» вышел в свет, когда историческая власть уже лежала во прахе и грозный, выдвинутый революцией диктатор правил страной. Гоббс никогда не гнался за мученическим венцом, и поэтому после 1649 г. стал кое в чем осмотрительнее. В «De cive» мы встречаем необычайную энергию мысли и местами чисто юношеский задор в изложении, хотя автор был уже пожилым человеком, когда писал этот трактат. Убеждение, что беспредельное повиновение верховной власти, и только оно одно, может спасти общество от всех ужасов рецидива былой анархии, той первозданной анархии, при которой немыслимо не только благополучие, не только jucunditas в жизни, но и самая жизнь; явное предпочтение абсолютной монархии всякой иной форме правления; решительное отвращение к демократии — все яркие черты политической доктрины Гоббса уже даны в этом трактате. Мы находим здесь и характерный отвод религиозных аргументов всюду, где эти аргументы не согласуются с основным строем мышления автора: «Христос не затем приходил в этот мир, чтобы учить логике» (XVII, 12; nullæ autem in hanc rem datæ regulæ a Christo; neque enim venit in hunc mundum ut doceret logicam). Словом, если бы Гоббс умер, написавши «De cive», мы уже знали бы почти всего Гоббса.

Нельзя не приветствовать поэтому попытки г. Погосского дать полный русский перевод этого трактата. Его переводу предпослана сжатая вводная статья С. А. Котляревского, в

которой дается характеристика философских и государственно-правовых взглядов Гоббса. Проф. Котляревский находит у Гоббса «замечательную систему политического материализма, построенную на основании материализма философского». Здесь я касаться этой статьи не буду и не приведу из нее никаких выдержек, не затрону ни тех мыслей, с которыми возможно спорить, ни тех, с которыми должно безусловно согласиться. Мне придется вернуться к этой статье в иной связи, в критическом обзоре новейшей литературы по истории английских социально-экономических и государственно-правовых доктрин XVI—XVII вв., который я подготовляю.

Здесь же буду говорить только о переводе, данном г. Погосским. В общем перевод этот обличает много затраченного труда и стараний со стороны автора, и он, несомненно, принесет свою долю пользы в деле ознакомления русских читателей с идеями Гоббса. Но он не лишен и некоторых серьезных ошибок и неточностей.

Перевод этот г. Погосский сделал с издания 1647 г., а затем «проверил» текст по изданиям 1657 и 1668 гг. Зачем он так поступил? Не проще ли было обратиться прямо к одному из идентичных текстов 1657 или 1668 гг.? Ведь знает же он, что эти издания полнее издания 1647 г., именно, что во *всех* изданиях «De cive», кроме изданий 1642 и 1647 гг., есть интересные письма Петра Гассенди и Марина Мерсенна к Сорберию, прямо относящиеся к этому трактату. Не затем же он взял как раз одно из двух изданий, где этих писем еще не было, чтобы иметь чисто внешнее основание не перевести их? Далее Г. Погосский пишет: «Пунктуация в изданиях Гоббса настолько хаотична, что переводчику во многих случаях приходится на свой страх производить деление на периоды... издания 1657 и 1668 гг. не оказывают и здесь никакой помощи». Почему же он не взял, кроме этих изданий, еще и новейшего (1839 г.) издания Молесуорта (T. Hobbes. Opera philosophica quæ latine scripsit omnia, t. II)? Это — очень тщательное, проверенное издание, и Молесуорт предложил весьма удачную и обоснованную пунктуацию. В этом отношении его издание могло бы оказаться весьма ценным подспорьем. Но г. Погосский даже не упоминает об издании Молесуорта.

Отмечу лишь некоторые неправильности, неточности и ошибки, бросающиеся в глаза при чтении русского перевода.

В первых строках обращения к герцогу Девонширскому читаем в русском переводе: «Несправедливые римляне... произнесли, что все цари...» и т. д. В подлиннике сказано: «populi Romani... regibus iniqui... vox erat», т. е. речь идет о «римском народе, *несправедливом к царям»,* так что в русском переводе пропущено слово, дающее весьма важный оттенок мысли

Гоббса. На стр. 6 русского перевода значится: «если она (книга — *Е. Т.*) тебе понравится, т. е. покажется нервной, полезной, необычной...» В *подлиннике* находим: «si arrideat, id est, si nervosus, si utilis, si non vulgaris sit...» Слово *nervosus* значит *сильный, убедительный,* а вовсе не «нервный», в данном случае. На стр. 8: «говорят, что... Сократ... считал ее одну достойной своего изучения». В подлиннике: «*ingenio* suo *dignam* judicaret», т. е. считал на одну достойной своего *ума,* своего *дарования.* На стр. 10: «верховную власть... чтили даже как веление божества». В подлиннике: «tanquam divinitatem quandam visibilem venerabantur», т. е. «чтили как некое видимое божество». На стр. 14 читаем: «я взялся за труд по философии духа и собрал ее первичные элементы». В подлиннике совсем другое: «dabam operam philosophiae animi causa, ejusque in omni genere elementa prima congerebam», т. е. «я трудился *по склонности* к философии», или по стремлению к философии — здесь ведь выражается мысль, что автора побуждал к труду свойственный ему философский дух, это — прямой ответ на вопрос о *причине*, побудившей его писать (см. строчкой выше: causam jam ...accipitote), а у русского переводчика получился какой-то «труд по философии духа». И дальше переводчик, продолжая оставаться в заблуждении, говорит: «собрал *ее* (т. е. этой «философии духа») первичные элементы», — тогда как в подлиннике слово *ejus,* относится, конечно, к *opera.*

На стр. 28: «естественный закон гласит, что нужно искать мира, в соответствии с которым может засиять какая-нибудь надежда». В подлиннике совсем другое: «quaerendam esse pacem, quatenus habende ejus aliqua affulserit», т. е. «нужно искать мира, поскольку светит какая-нибудь надежда найти его». На стр. 44 читаем: «понятия правое и неправое точно так же, как справедливость и несправедливость — равнозначущи, потому что они значат одно, когда они применяются к лицам, и значит эти понятия именно *не* равнозначущи? Заглядываем к подлинник и находим: «nomina haec, justum et injustum, sicut et justitia et injustitia *æquivoca* sunt). *Æquivoca* значит тут *двусмысленны,* а вовсе не «равнозначущи». На стр. 45 находим неправильность, искажающую мысль автора: «Распределительная справедливость наблюдается тогда, когда в силу положения и заслуг каждому приписывается, соразмерно с заслугами, *более знатному больше и менее знатному меньше...*» В подлиннике сказано: более *достойному* больше, менее *достойному* меньше (majus ei qui dignior, minus ei qui minus dignus). На стр. 47: «человек..., *благодаря оскорбительности* его замашек, не подлежащий исправлению...». В подлиннике находим: «вследствие *упорства своих страстей*», или: своих чувств, своих желаний (præ affectuum contumacia). На стр. 48: «Цицерон, однако,

противопоставляет выгоде жестокость, как относящуюся к этому самому закону». Здесь вполне и безнадежно утрачивается смысл подлинника, так как Гоббс говорит в действительности следующее: «Имея в виду этот самый закон, Цицерон противопоставляет (человека — *Е. Т.*) *удобного* (для других — *Е. Т.*) — неучтивому» (или: грубому, дикому). Вот его фраза: «Cicero tamen *commodo* opponit *inhumanum,* tanquam ad hanc ipsam legem adspectans». Если уж переводчик хотел иначе перевести слово *commodus*, он мог бы говорить о *человеке, выгодном* для других, *полезном* для других, но никак не о «*выгоде*», что же касается *inhumanus,* то здесь ни в каком случае нельзя было выбрать первого значения этого слова (жестокий, бесчеловечный), но непременно второе (грубый, неучтивый, неуживчивый, дикий): весь контекст этого определенно требует. И уж ни под каким предлогом нельзя было говорить о «жестокости», да еще относить *к ней* слова: «ad hanc ipsam legem adspectans», которые прямо относятся к слову *Цицерон*! Замечу, кстати, что для понятия «жестокость» Гоббс (в § 11 той же главы) употребляет слово *crudelitas.* На стр. 70: «необходимо, чтобы число сплотившихся вокруг общего дела было бы таким, что присоединение немногих людей к врагам делалось, тем самым, решающим моментом победы». В подлиннике как раз обратное: «ut paucorum hominum ad hostes accessio *non sit* ipsis conspicui momenti ad victoriam». На стр. 72 читаем: «Люди в высшей степени тяготятся общественными делами и для занятия ими считают необходимым располагать полнейшим досугом...» На самом деле Гоббс говорит нечто совсем иное, не имеющее ровно ничего общего с приведенной выдержкой: «Наиболее тягостны (беспокойны — *Е. Т.*) для государства те люди, которые больше всего могут оставаться праздными» (homines autem maxime reipublicæ molesti sunt, quibus maxime licet esse otiosis). И в дальнейшей части фразы подчеркивается эта мысль указанием на то, что люди только тогда начинают бороться за общественные почести, когда уже освободятся от заботы о куске хлеба (и, следовательно, будут в состоянии «оставаться праздными»). На стр. 94 словами «лучшие люди» неправильно переведено слово *optimates* (употребленное Гоббсом при описании аристократического образа правления). Впрочем, в дальнейшем эта ошибка уже не повторяется. На стр. 121 читаем: «в догосударственном состоянии», тогда как Гоббс говорит о *вне*государственном состоянии (extra statum civitatis); этот термин и шире и в то же время определительнее. На стр. 122 слово *divitiæ* неправильно передано словом *блаженство,* тогда как следует перевести *богатство, изобилие.* На стр. 132 читаем: «*решение дел — акт*», тогда как в подлиннике говорится совершенно точно об *управлении* (administratio gubernandi actus est). На стр. 133—134 находим не-

понятную фразу: «Да и не так уж легко найти пример подданного, лишенного его государем жизни или имущества без вины с его стороны, *в силу одной лишь доступности власти*». У Гоббса находим совсем другое: «per solam licentiam imperii», т. е. «*только по произволу власти*». На стр. 142 находим ошибку, радикально извращающую весь смысл гоббсовской аргументации, да еще в одном из важнейших мест трактата. В русском переводе читаем: «Третье, мятежное учение, происходящее из того же корня, гласит, что тираноубийство дозволено. Некоторые писатели даже теперь, а в древности все софисты: Платон, Аристотель, Цицерон, Сенека, Плутарх и остальные греческие и римские благожелатели монархии считали его не только дозволенным, но даже заслуживающим похвалы». В подлиннике перечисленные писатели называются благожелателями вовсе не «монархии», а напротив, греческой и римской *анархии* (ab omnibus sophistis Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca, Plutarcho, cæterisque Graecæ et Romanæ anarchiæ fautoribus). Каким образом из *благожелателей анархии* получились «благожелатели монархии»?

На стр. 148 читаем: «И несправедлива жалоба тех, кто приписывает свою бедность публичным сборам, как если бы они утверждали, что лишились имущества, *благодаря прощению их долгов*». В подлиннике — как раз обратное: «вследствие *уплаты* долгов» (propter solutionem debitorum), в русском же переводе из-за неправильной передачи слова *solutio* утратился всякий смысл. На стр. 149 ум называется «средством к установлению мира», это неточно, у Гоббса выражается мысль, что мудрость повелевает стремиться к миру (ut pacis dictatricem). На стр. 152 переводчик пропустил в своем переводе самое важное слово, без которого все место теряет свое значение. Гоббс говорит об управлении государством посредством министров, назначаемых государем, причем сравнивает государя с Творцом, а министров с «*вторичными*» (производными) причинами явлений (Deus, primus omnium motor, effectus naturales producit per ordinem causarum secundarum). А переводчик пишет: «Господь, первый двигатель всего, производит естественные последствия путем вытекающих друг из друга причинностей», и таким образом, оставляя без перевода слово *secundarum,* уничтожает всю эту антитезу («primus motor» и «causae secundae»). Кстати, *causae* нельзя переводить словом: *причинности* (причинность = *causalitas* и означает совсем не то, что слово *причина*).

На стр. 157 читаем: «Заблуждения... проникают в умы... *благодаря легкому усвоению привычных мнений, из ежедневной проповеди лишенных знания людей*». В подлиннике *ничего подобного:* «a sermonibus quotidianis hominum propter rei familiaris laxitatem studiis vacantium», т. е.: из ежедневных речей тех

людей, которые, имея досуг от домашних своих дел, занимаются науками (или чтением). Переводчик не принял во внимание, что *vacare* с дательным падежом (alicui rei) значит именно *заниматься* чем-либо, а слова «rei familiaris laxitatem» он и вовсе оставил почему-то без перевода. Вследствие этого для читателя русского перевода совсем пропала одна из любимейших мыслей Гоббса,— что для спокойствия государства могут быть неудобны те люди, которые избавлены от борьбы за кусок хлеба и поэтому располагают слишком большим досугом. Неизвестно также — это даже таинственно,— откуда здесь взялись слова перевода: «легкое усвоение привычных мнений»? В подлиннике ничего даже отдаленно похожего нет, и по существу даже *не может* быть: ведь Гоббс именно говорит о смутьянах, жаждущих *перемен*! Причем же тут «привычные мнения»? Что касается слова *studia*, то здесь его можно было бы перевести словом *чтение*, так как в § 10 предшествующей главы Гоббс с порицанием говорит именно о досужих *читателях* (hos enim... ad historicorum, oratorum, politicorum, aliorumque librorum facilem lectionem otium cogit); можно перевести и словом *науки*, но ни в коем случае не *знания*, здесь это совсем не подходит. На стр. 168 читаем: «Естественный закон — это тот, который господь открыл людям через свой вечный голос, звучащий в нас самих, через естественный разум». Здесь опять переводчик пропустил самое главное! Гоббс говорит: «naturalis ea est, quam Deus omnibus hominibus patefecit per verbum suum æternum *ipsis innatum...*», т. е. «естественный закон, который бог открыл всем людям через вечный глагол свой, им (людям— *Е. Т.) врожденный»*. Ведь целая полоса философской мысли XVII столетия связана со спором о *врожденности* тех или иных начал, как же можно произвольно заменять *ipsis innatum* ничего не дающими словами: «звучащих в нас самих»!

На стр. 174: «Неписанные законы — это те, на обнародование которых указывает только голос природы...» В подлиннике говорится именно о том, что эти законы *не* нуждаются ни в каком обнародовании (non scripta est ea, quæ *non alia indiget promulgatione præter vocem naturæ* etc.).

На стр. 199 читаем: «там, где господь правит на основании одного только естественного разума». В подлиннике: «regnante Deo per solam rationem naturalem», т. е. *так как* бог правит и т. д. В переводе получилось, будто бог в одних местах правит на основании естественного разума, а в других как-то иначе. На стр. 223 читаем: «Хотя царство божие, которое Христос должен был установить путем всеобщего союза» etc. В подлиннике *fœdere novo*, т. е. путем *нового соглашения*, нового договора, а вовсе не «всеобщего союза»; слово «всеобщий» отсутствует в подлиннике, а слово *fœdus* по всему смыслу этой (и предшест-

вующей главы) должно перевести словом договор, соглашение, но отнюдь не «союз».

На стр. 236 читаем: «Понятие церкви первоначально означает то же, что и латинская contio или собрание граждан, подобно тому как клирник называется также и contionatus, т. е. принадлежащий к собранию». Во-первых, слова «клирник» нет, есть клирик; во-вторых, слово подлинника *ecclesiastes* лучше передается здесь русским церковнослужитель, в-третьих, к удивлению читателя, приводя тут *латинское слово в оригинале*, переводчик пишет не то, что он находит в подлиннике: у Гоббса сказано *concionator*, а вовсе не «contionatus»; в-четвертых, слово это значит отнюдь не «принадлежащий к собранию», как читаем в переводе, а *говорящий на собрании*, обращающийся с речью к собранию (и Гоббс совершенно правильно пишет: «concionator, id est, is qui ad conventum *loquitur»:* это вовсе не значит только «принадлежащий к собранию»! Переводчик неверно перевел фразу, а вышло, будто ошибся Гоббс в своем определении!).

Я заметил еще не мало неправильностей и неточностей, больше, чем отметил здесь. Не буду их приводить, чтобы не удлинять рецензии, и без того растянувшейся. Какой вывод можно сделать? Колеблют ли приведенные примеры ошибок и промахов ту общую оценку перевода, которую я дал выше? Нисколько. Всякий, знакомый со стилистическими трудностями, которые почти на каждой странице приходилось превозмогать переводчику «De cive», всякий, знающий Гоббса не по наслышке и не по «историям политических учений», прочтя эту книгу, не колеблясь, скажет, что заслуга за переводчиком, бесспорно, есть. Он удачно справился с десятками самых запутанных и затруднительных мест; стараясь быть точным, он, в то же время, дал перевод, довольно легко читаемый, литературный. Им сделано трудное дело.

Но для второго издания он, наверно, обратит внимание на те замечания, которые тут высказаны. Переводчик согласится, что моя критика не является придирками к мелочам (чем столь легко и столь бесплодно можно заниматься usque ad infinitum, разбирая любой трудный перевод), но что я старался указать на неправильное понимание им некоторых важных мест трактата. Многого я тут не коснулся вовсе (неуверенности и иногда путаницы в передаче терминов вроде: factum, dictum, volitum, erratum, peccatum, sententia, mandatum, praeceptum etc.): нельзя было слишком злоупотреблять гостеприимством редакции ученого журнала. Во всяком случае после появления этого перевода Гоббс стал доступнее русскому читателю.

Журнал министерства народного просвещения, новая серия, ч. 61, 1916, № 2, стр. 388—396.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО КУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ АНГЛИИ

КРУСМАН В. НА ЗАРЕ АНГЛИЙСКОГО ГУМАНИЗМА. АНГЛИЙСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ ПЕРВЫХ ИТАЛИАНСКИХ ГУМАНИСТОВ В БЛИЖАЙШЕЙ СВОЕЙ ОБСТАНОВКЕ.

Исследование.

Одесса, 1915. XXXIII, 709 стр.

Обширная работа В. Э. Крусмана состоит из двух глав. Первая посвящена Ричарду Бери, епископу Дурэмскому, а вторая — лорду Эрунделю, архиепископу Кэнтерберийскому. Первая глава занимает 392 страницы, вторая — около 200. В книге имеются также приложения, экскурсы, указатели и т. д. Автор посвятил своей работе, как это явствует по всему научному аппарату исследования, чрезвычайно много труда, упорного, вдумчивого и добросовестного. Мало того: в каждой строке сквозит та искренняя любовь исследователя к своей теме, которая так характерна для всякого настоящего ученого и которую подделать никак невозможно.

Каковы результаты? Автору удалось дать работу, некоторые детали которой, если бы они стали известны английским ученым, несомненно, были бы встречены с интересом и, наверно, вошли бы в научный оборот, как нечто новое, самостоятельное. Но ему *не* удалось доказать, что выбранные им английские деятели имели сколько-нибудь реальное, отчетливо уследимое отношение к гуманизму (даже понимаемому так условно, как его понимает автор). В первых двух параграфах настоящей рецензии мы представим те аргументы, которые мешают признать это исследование — доказательным ответом на основной вопрос, поставленный себе автором. В третьем параграфе постараемся хотя бы вкратце указать на те достоинства, которые находим в книге, на то новое и ценное, что, как нам кажется, она дает науке, независимо от своей темы. «Такой, какой она получилась, книга эта — a failure, как сказали бы англичане»,— читаем в предисловии. Это — слишком скромно. Автору не удалось, на наш взгляд, то, что он считал главным; но ему, как только что упомянуто, удалось то, что он считал второстепенным, обстановкой, фоном.

I

Коренной недостаток этой работы — в необычайной искусственности темы. В самом деле. Автору хотелось установить наличность в Англии XIV столетия «процесса дорастания интеллигенции до идеалов так называемого гуманизма», и он выбрал двух лиц: Ричарда Бери, епископа Дурэмского, жившего в 1287—1345 гг. и Томаса Эрунделя, архиепископа Кэнтерберийского, жившего в 1353—1414 гг., и посвятил им всю свою книгу, с целью доказать, что они-то и были показателями этого «процесса дорастания английской интеллигенции до идеалов... гуманизма». Раньше, чем мы остановимся на доказательствах автора в пользу этого тезиса, укажем, что его основные определения «средневекового человека» и «гуманиста» не отличаются той ясностью, которая столь желательна, раз речь идет о «переходной» эпохе и о мнимых или действительных представителях духовного перелома, изменений, новых настроений XIV—XV вв.

«Средневековой человек,— читаем мы на стр. 274,— точно молодой конь, способный шарахнуться в сторону от сверкнувшей на солнце травки, испугаться... собственной тени, не умеющий еще совладать со своим вниманием. Ему надо долго ходить в упряжи, в шорах, крепко взнузданным, в верных вожжах, раньше, чем он способен будет со спущенными поводьями спокойно пробираться в поле или в городе. Церковная культура средневековья сыграла роль шор» и т. д. Разве это объяснение что-нибудь объясняет? Ведь такие словесные украшения и образы применимы буквально ко всякой эпохе, только нужно слова «церковная культура» заменить иными, и «средний человек» любой эпохи окажется таким же «молодым конем». И почему (там же 274) «для средневекового человека» «характерна *любознательность*»? Все это вполне произвольно. На стр. 417 читаем еще об одной «характерной» черте: «Характерная для всего периода средневековья активность...» Все это реального значения не имеет. Почему «активность» не «характерна» для римской империи? для эпохи Ренессанса? для времени реформации? абсолютизма? революции? Автор согласится, что из его книги совершенно немыслимо узнать, как он смотрит на средневековье и на средневекового человека. Столь же трудно точно установить его воззрения на гуманизм, и он сам это чувствует. На стр. XX предисловия читаем: «Автор уверен, что ему — за предлагаемое исследование — будет предъявлено то же обвинение, которого до сих пор не миновал никто, кто заговаривал об эпохе Возрождения,— а именно, что он в сущности не знает точно, о чем пишет; другими словами, что он оперирует двумя понятиями «Возрождение» (Ренессанс) и «гуманизм», за которыми не кроется определенного отчетливого содержания. *Такое об-*

винение будет вполне правильным». Во всяком случае *сравнительно* более ясной из нескольких характеристик Возрождения, даваемых там и сям автором, нам представляется, та, которую находим на стр. XXII предисловия: «...автор разумеет вообще под Возрождением наступление для более или менее значительного количества лиц момента, когда для них оказывается возможным использовать и обратить накопленные античной культурой и так или иначе сохранившиеся умственные сокровища для обогащения своего интеллекта или просвещения своего времени». А гуманизм (на стр. 210) характеризуется стремлением «возродить античную древность в частях или целом». Это неточно, шатко, подвержено сомнениям, возбуждает недоумения, но спорить не будем. Для нас сейчас не это важно. Существенен в данном случае вопрос: удалось ли автору доказать, что Ричард Бери и Томас Эрундель были представителями или хотя бы предтечами гуманизма, *хотя бы так понимаемого, как его понимает автор*. Вот как ставится коренной вопрос нашей критики.

Начнем с Ричарда Бери (которого автор почему-то называет Ричардом *де* Бери; англичане называют его либо — очень редко — Richard *of* Bury, или просто Ричардом Бери. Ведь если сохранять латинскую частицу, тогда и Эрунделя нужно было бы называть Томасом де Эрунделем, чего, однако, автор не делает. *Bury* как и *Arundel*, одинаково названия местностей). Епископ Дурэмский, наставник принца Эдуарда, потом личный секретарь короля, ездивший послом к папе в Авиньон, получавший и другие политические поручения от своего правительства, Бери, между прочим, встретился с Петраркой. Петрарка, при случае, упомянул об этой встрече в нескольких строках.

В Epistolæ de rebus familiaribus (кн. III, I Thomæ Messanensi) содержится письмо, имеющее такое заглавие: De situ insulæ Thules seu Thyles. Все письмо занято исключительно вопросом о местоположении поминаемого древними писателями острова Thule. Письмо это занимает (в первом томе издания Fracassetti) [1] почти пять страниц. В середине его вкраплены несколько строк, где говорится о встрече с Ричардом Бери. Рассказ об этой встрече имеет в контексте чисто служебное значение, вполне подчиненный интерес: Ричард Бери вспомнился тут Петрарке именно (исключительно) потому, что Петрарка, интересовавшийся местоположением Thule и знавший мнения, что она может находиться где-нибудь между островами *circa Britanniam или* к северу от бельгийских берегов (*Belgarum littoribus oppositam*), спросил Ричарда Бери как англичанина и virum ardentis ingenii nec litterarum inscio, не знает ли он, где местоположение древней Thule? Тут же Петрарка поясняет, что Бери обещал ему ответить на этот вопрос, когда вернется домой к

своим книгам. Но, по саркастическому замечанию Петрарки, этот *обещавший*[2] как уехал, так ничего и не ответил и на письменные запросы Петрарки отвечал упорным молчанием (obstinato silentio),— потому ли что ничего не нашел, или потому, что был очень занят своим священнослужением (обе догадки — высказаны Петраркой). «Так-то британская дружба нисколько не сделала для меня Thule известнее»[3],— иронически бросает Петрарка и сейчас же переходит к дальнейшим рассуждениям об этом таинственном острове и больше уже *ни разу* не вспоминает о Ричарде Бери. Заметим еще, что вообще эти *Epistolæ de rebus familiaribus* были собраны и приведены в порядок Петраркой не раньше, чем в 1359—1361 гг., а встреча Петрарки с Бери состоялась самое позднее в 1333 г. (некоторые думают, что в 1331 г.). Следовательно, Петрарка имел полную возможность, редактируя письмо, что-нибудь прибавить, что-нибудь сказать о Ричарде Бери, если бы хоть как-нибудь за эти 30 лет Бери его заинтересовал *сам по себе*, а не *только* как человек, у которого когда-то он, Петрарка, безуспешно справлялся о местонахождении Thule! Но этого обстоятельства автор разбираемого исследования не учел вовсе, да и вообще он не говорит о времени редакций петрарковских Epistolæ, хотя это в данном случае было бы весьма уместно.

Не дает он также хотя бы краткого пересказа *всего* письма о Thule, а без этого читатель, не читавший сам этого письма, никак не может представить себе, до какой степени беглы эпизодичны, случайные слова Петрарки о Бери, до какой степени Петрарка много интересуется вопросом о Thule и мало занят Ричардом Бери.

Итак, это *все*, что мы знаем о встрече Петрарки с Ричардом Бери. *Ни одного* письма Петрарки к Бери с запросом о Thule до нас не дошло; *ни одного* письма в ответ на эти запросы итальянского гуманиста Ричард Бери не написал.

Что отсюда, при всем желании, извлечешь? Казалось бы, ровно ничего. И В. Э. Крусман тоже признает, что ничего или очень мало; и, как добросовестный историк, определенно предваряет читателя, что дальше он относительно этой встречи прибегнет к творчеству. «Как бы там ни было, наше воображение отказывается удовлетвориться теми скудными данными, которые сохранились для нас... Мы, естественно, склонны видеть в их (Петрарки и Бери — *Е. Т.*) встрече нечто гораздо более замечательное, чем представлялось им самим... Как бы там ни было, обаяние этой встречи настолько велико, что нам все же *хочется* вложить в нее больше, чем перед нами непосредственно раскрывают документы». И далее начинается его «вкладывание». Хочется! Но ведь мало ли чего хочется каждому из нас, когда, по нашему мнению, тут то бы документам и говорить,

а они, как на зло, молчат! Если, однако, мы сами примемся говорить за них, то в одно мгновение ока утратим всякую почву. Во всяком случае, автор тут хоть прямо предупреждает читателя; он дальше тоже очень часто прибегает к догадкам, и мы не знаем, сколько печатных листов осталось бы от книги, если бы устранить бесконечные страницы, основанные *исключительно* на «быть может», «вероятно», «почему бы не предположить» и «позволительно допустить». Гораздо опаснее (и мы это отметим еще дальше), что иногда автор, помянувший раза три какой-нибудь *предполагаемый* им мнимый «факт», потом вдруг сообщает о нем уже без всяких «может быть». Ричард Бери ничего никогда, как мы уже видели, не писал Петрарке; Петрарка писал Бери (о Thule), но ничего *не* дошло до нас; о «встрече» их мы уже сказали. А вот что из всего этого делает автор: «Но для нас факт личного знакомства и переписки Ричарда де Бери с Петраркою твердо установлен». «*Переписка*» звучит слишком широко и говорит о гораздо бо́льшем, чем есть в действительности. На стр. 221 В. Э. Крусман уже настолько убедил себя в том, что какие-то сношения у Бери с Петраркой были, что совсем забывает, насколько это чистейший плод его собственных догадок, и уже начинает... *защищать* Бери от подозрений в слишком большом подчинении влиянию Петрарки! «Те его отношения к Петрарке, о которых нас осведомляет его биография, не производят такого впечатления, будто мы в лице Дурэмского епископа имеем перед собой несамостоятельного подражателя» (стр. 221). Но ведь вы же сами эту напраслину и взвели на Бери, может возразить автору удивленный читатель. Ни о каких «отношениях», кроме вопроса Петрарки на счет Thule, молчания Бери, никакая биография нас не осведомляет! Автор сам хорошо, по-видимому, понимает свою активную роль в возведении на Бери этой напраслины и пишет поэтому: «Выше мы лично постарались вложить в толкование знакомства Ричарда де Бери с Петраркою гораздо больше, чем позволял имеющийся в распоряжении строгого историка материал, мы гипотетически допускали...» и т. д. и т. д. И вот синтез: «все, что, может быть, было заимствовано у Петрарки, настолько полно усвоено Ричардом де Бери, настолько самостоятельно будет им развито..., что всякое подозрение в пассивном воспринимании должно отпадать». Спасительное «может быть» опять в критический момент сгладило все углы.

Но в конце концов, хотя и сочтя Бери одним из «английских корреспондентов первых италианских гуманистов», автор не мог, конечно, на этой отсутствующей (а со стороны Бери никогда и не бывшей) «корреспонденции» основывать права Бери на место в истории гуманизма. «В худшем случае,— мельком как-то оговаривается наш автор (стр. 215),— Ричард

де Бери ничего из знакомства с Петраркой не вынес». Увы! Этот худший «случай» именно и приключился, это неопровержимо, по крайней мере *ничего* против него наш автор не был в состоянии привести, кроме гипотез, домыслов, игры воображения, противоречий. Во всяком случае автор усматривает право Бери на место в ряду ранних английских гуманистов — в авторстве «Philobiblion». Этот маленький латинский трактат есть произведение страстного библиофила, собирателя рукописей, каковым был Бери, произведение его единственное и, в самом деле, любопытное.

Ричард Бери рисуется в этом маленьком, написанном в живом, полушутливом тоне трактате страстным коллекционером рукописей, которому они дороги даже независимо от их содержания. Он их любит нежной любовью, для него они, в самом деле, будто живые существа, и часть трактата изложена в форме речи, которую держат сами книги. В нем есть (и это справедливо отмечает автор) бесспорный налет *библиомании*, почти патологического библиофильства. В своем трактате он отмечает пользу от чтения книг, говорит о том, что они выше наслаждений, указывает на небрежное обращение с книгами, на гибель книг от беспорядка в доме, от огня, от военных непогод, о своей любви к книге, предлагает правила для выдачи книг из библиотек, предоставленных общему пользованию и т. д.

Разглядеть во всем этом гуманистический уклон мысли можно лишь с большими натяжками. Правда, В. Э. Крусман еще до систематического разбора трактата усиливается провести параллель между Петраркой, который любил Лауру, и Ричардом Бери, который любил книги. «В мощи земного влечения одного существа к другому и Данте, и Петрарка, и Боккаччьо прозрели самодовлеющую мощь своей личности... На севере же Ричард де Бери... тоже любовью (не забудем, что у «Philobiblion» есть подзаголовок: de amore) и тоже земною любовью, *но не к женщине, а к книге, возвысился до положительной самооценки*. Как и у Петрарки, и у него сомнение в своем праве на это, и в то же время вера в свое право льнуть к земному» (стр. 251). Сравнение — не банальное, но этим и исчерпываются его достоинства. Подзаголовок трактата Бери не «de amore», а «de amore *librorum*» и если бы В. Э. Крусман выписал этот заголовок полностью, то вся параллель утратила бы даже и слабую видимость. По существу же, едва ли В. Э. Крусман будет спорить, что любовь к Беатриче или к Лауре у «южан» могла бы быть сравниваема с аналогичным чувством у «северян», но не с коллекционерством епископа Дурэмской епархии. Почему автор думает, что Бери «возвысился до положительной самооценки» «любовью к книге»? Ведь все это совершенно произвольное предположение! Бери был не только библиофилом (этой

«потехе» он отдавал «час»), но и сановником, дипломатом (этому «делу» он отдавал «время»), царедворцем, королевским другом. Откуда взял В. Э. Крусман, что Бери не произвел «положительной самооценки совершенно независимо от своей страстишки к собиранию рукописей? Никакого научного значения эта параллель Бери с Петраркой, Данте и Боккаччьо не имеет и иметь не может.

Автор разбираемого исследования излагает трактат и оценивает его с точки зрения своей общей темы. В том, что Бери хвалит древних писателей, он усматривает черты Возрождения; рядом он видит восторги пред средневековыми авторитетами. Желая пояснить дело, В. Э. Крусман приводит довольно замысловатое сравнение: «Мы лично, вероятно, в своей жизни не раз с такою же естественностью переезжали на извозчике или в поезде через какой-нибудь географический меридиан, с какою автор Philobiblion'а переходил из средних веков в Ренессанс и обратно» (295).

Но если так, то что же вообще может доказать «Philobiblion»? В чем права его автора на сопричисление к гуманистам, *понимаемым хотя бы так, как понимает гуманизм В. Э. Крусман в формулировке, выписанной нами выше?* Перейдем к частичным замечаниям.

На стр. 257 читаем: «следующие четыре главы представляют из себя жалобы книг на неблагодарное отношение клириков (*т. е. в понимании автора — интеллигенции — Е. Т.)* к книгам» и т. д. Тут сделана ссылка на четвертую главу «Philobiblion», а затем уже идет дальнейший краткий пересказ содержания следующих глав. Нас крайне заинтересовала эта четвертая глава, где, по утверждению В. Э. Крусмана, содержится приравнение — по смыслу — клириков к «интеллигенции». Но стоило обратиться к тексту, и ничего этого там не оказалось. Речь идет о *cuculi* (как дразнили монахов), о *clerici* degeneres; обращается к ним автор (устами «книг») как к *genus electum, regale sacerdotium, sacerdotes, ministri Dei;* Бери до такой степени чужд навязываемому ему В. Э. Крусманом распространительному толкованию, что проводит резкую антитезу между клириками и неклириками: imo vos autonomastice ipsa ecclesia dicimini, quasi laici non sint ecclesiastici nuncupandi. И дальше продолжается то же резкое разграничение: vos laicis postpostis plasmos et hymnos concimtis in cancellis et altari Dei servitis altario participantes и т. д., и так до конца. Где тут можно вычитать об «интеллигенции» вообще?

Нам кажется, что В. Э. Крусман напрасно при анализе «Philobiblion'а» там, где нет никаких оснований к домыслам, все же к ним прибегает (как видим на только что приведенном примере); а как раз там, где ему удается напасть на свежую

мысль, иной раз *мало ею дорожит* и норовит от нее даже отказаться во имя вычитанного в литературе шаблона. Вот образчик. Бери посвящает особую главу вопросу об организации выдачи книг из библиотеки (De ordinatione provida qualiter libri extraneis concedantur). На стр. 160 разбираемого исследования мы с интересом прочли: «Весьма возможно, что кой-какие правила пользования книгами... им позаимствованы из практики... монастырских библиотек: как раз в первую половину XIV века во французских и немецких монастырях идет оживленная выработка библиотечных уставов». Замечание важное и подкрепленное ссылкой на специальную монографию. А на стр. 266 уже читаем (о том же, ибо изложение вообще крайне разбросано и *повторений много*): «правила эти, по-видимому, заимствованы из устава библиотеки парижского университета». Вот, уже *это* замечание ничуть не ново: оно уже успело прочно осесть даже в общих историях английской литературы, и автор если бы пожелал, мог бы сослаться хотя бы, например, на I том Cambridge history of English literature, где в статье Sandys находим (на стр. 215) это самое указание. И уж если так, то почему хоть было не сопоставить ad oculos правила библиотеки парижского университета и правила, рекомендуемые Бери: это было бы хоть доказательнее (Cocheris в своем издании «Philobiblion» приводит лишь один пункт парижских правил). А в смысле экономии места,— заняло бы несравненно меньше, нежели, например, колоссальные, целыми страницами латинские выписки из неоднократно изданного «Philobiblion», без которых решительно можно было бы обойтись.

Да и вообще жаль, что автор пользуется почти исключительно уже сделанной другими работой, например, и по комментированию литературных ссылок и указаний, встречающихся в «Philobiblion'е» (стр. 277, 278, 279 и passim). На стр. 272 мы, между прочим, читаем (в доказательство, что Бери «искал книгу как памятник культурного достижения»): «Ср. главу X «Philobiblion'а», которая в некоторых рукописях даже имеет подзаголовок: «Quod successive scientia ad perfectionem crevit». Читатель удивлен: зачем понадобилось ссылаться на «некоторые рукописи», когда этот же заголовок мы находим в печатном тексте издания Cocheris, которым вообще пользовался автор? (И он даже укоротил этот заголовок, ибо там еще прибавлено: et quod auctor grammaticam graecam et hebraeam procuravit). Автор крайне скуп на собственные мнения именно при комментировании ссылок, литературных указаний, которые так щедро рассыпаны к «Philobiblion'е». Например, как охотно читатель встретил бы обстоятельное выяснение вопроса о знакомстве Бери с идеями Аверроеса и Авиценны, которых он поминает в своем трактате! Вот тут бы и следовало дать экскурс о степени

распространенности идей арабских мыслителей в Англии в XIII и XIV вв.! Это так прекрасно дополнило бы книгу Ренана и вообще сравнительно скудную литературу об аверроизме! Может быть, весь экскурс занял бы 3—4 страницы (хотя труда, и труда самостоятельного, пришлось бы употребить не мало), но *такие* страницы, *подобные* экскурсы и составляют ведь raison d'être научного труда! Ничего этого нет в книге В. Э. Крусмана, он удовольствовался внушенным со стороны (Thomas'ом, одним из новейших издателей «Philobiblion'а») указанием на возможное заимствование Бери у Роджера Бэкона. Или, как, например, в исследовании, посвященном выяснению *миросозерцания* Бери, оставить вовсе без внимания (не сказав о том ни единого слова) взгляд автора «Philobiblion» на женщину (Philobiblion, 218, capit. IV: ...nunc bestia bipedalis, scilicet mulier... ...ista bestia nostris studiis semper aemula, nullo die placanda...)! Вот здесь кстати было бы сопоставление средневековых взглядов на женщину со взглядами гуманистов раннего периода,— и тоже ни единого слова читатель от В. Э. Крусмана по этому поводу *не* слышит, и даже этих самых слов Бери наш автор, столь щедрый на выписки, *не* приводит! Для *этих* и еще некоторых существенных пунктов у автора места не нашлось, хотя он не преминул сообщить ряд сведений, не имеющих с точки зрения его темы никакого значения.

Кроме эпизода встречи с Петраркой и авторства «Philobiblion», нет решительно ничего, что даже с натяжкой можно было бы приурочить к избранной в данном исследовании теме. Вся остальная часть того раздела книги, который посвящен Бери, занята подробнейшим изложением его служебной карьеры, его дипломатической и епископской службы и т. п.

Вывод у читателя, если только этот читатель не предубежден, может сложиться только один: Бери не был гуманистом даже и в том смысле, как понимает это слово автор разбираемого исследования [4]; Бери был библиофилом, был ученым по тому времени человеком в Англии; он был князем церкви, дипломатом, довольно ловким, успешно делавшим карьеру царедворцем, в то же время имевшим страсть к собиранию рукописей, т. е. к тому виду коллекционерства, который был тогда вообще довольно распространен. *Эта* черта времени у него была. Вот все, что можно сказать о герое первой части разбираемой книги, *с точки зрения темы, поставленной автором.* В этой части есть достоинства, и немаловажные, но их мы коснемся особо, в третьем параграфе этой рецензии, где будем говорить о книге с *другой* точки зрения. А теперь переходим к анализу второй и последней части исследования В. Э. Крусмана, и опять-таки сначала разберем эту часть *только* с точки зрения темы, выдвинутой автором.

II

Второй раздел исследования В. Э. Крусмана посвящен личности и деятельности Томаса Эрунделя, архиепископа Кэнтерберийского и канцлера Англии в эпоху Ричарда II и Генриха IV; человека, прославившегося жестоким преследованием лоллардов, острым и бурным конфликтом с Оксфордским университетом, деятельным участием в низвержении короля Ричарда II, участием в длинном ряде политических осложнений и интриг в последние годы XIV и в первые годы XV столетия.

У Томаса Эрунделя — еще меньше прав быть героем «зари английского гуманизма», чем у Ричарда Бери. Никаких литературных произведений за ним не числится, ничем решительно своего интереса к науке и литературе, *как их понимали гуманисты,* он никогда не проявлял, ничего, что сколько-нибудь напоминало бы умственное достижение эпохи, в его психологии, в его действиях, в его волеизъявлениях отметить невозможно. Если ему, невзирая на это, привелось очутиться в книге В. Э. Крусмана под одной обложкой с Ричардом Бери, то виной тому — исключительно Салутати. Дело в том, что, будучи в опале и изгнании (в последние годы царствования Ричарда II). Эрундель побывал во Флоренции и там познакомился с Колуччьо Салутати. Об этом знакомстве, характере его и т. д. нам ничего неизвестно. Но сохранились три письма Салутати к Эрунделю. Эти три небольших письма по внутренней своей незначительности даже не похожи на другие письма флорентийского канцлера и писателя. Среди колоссальной переписки Салутати, занимающей несколько больших томов, эти три письма привлекают к себе едва ли не меньше всего внимание (по своему содержанию). Вот эти-то письма (*Ни на одно* из которых Эрундель, по-видимому, не ответил) и послужили ближайшим поводом для В. Э. Крусмана назвать Эрунделя «корреспондентом Салутати» и сопричислить архиепископа Кэнтерберийского к лицам, характерным для «зари английского гуманизма». Присмотримся к этому основному источнику.

Все три письма Салутати к Эрунделю вместе взятые занимают 165 строчек и на редкость скудны мыслью. Этим свойством они даже выделяются в колоссальной корреспонденции итальянского гуманиста, вообще говоря, очень содержательной и важной.

Первое письмо Салутати к Томасу Эрунделю, в том виде, как оно дошло,— коротенькая записка. Салутати отмечает подъем религиозного чувства во Флоренции (записка относится к 30 августа 1399 г.), причем это описание сделано самым шаблонным образом, готовыми и затверженными фразами (cuncti conversi sunt ad Dominum tanta devotione, quod cuncti sunt

saccis induti, hymnos canunt, loca sancta visitant et penitentie mira conversione simul omnes intendunt, abstinent carnibus atque ieiunant и т. д. И чудеса происходят — и тоже описываются в том же стиле,— слепые прозревают etc.: ceci quidem vident, claudi ambulant, audiunt surdi). Письмецо кончается надеждой на то, что бог поможет Эрунделю против вражеских козней и т. п. Вот и все[5]. Второе письмо (помечено 4 апреля 1401 г.) содержит поздравление с восстановлением Эрунделя на архиепископском престоле и вместе с тем Салутати намекает, что теперь хорошо бы поменьше свирепствовать над побежденными врагами, быть великодушнее и не следовать примеру только что низложенного и убитого Ричарда II. Все это выражено дипломатично и ласково, но это место чрезвычайно характерно для отношения Салутати к Эрунделю; это одно из немногих мест, в которых сквозь условную ложь слышится правда[6]. Затем идет рекомендация снисхождению и милостивому вниманию Эрунделя некоего флорентийского купца Маннини, запутавшегося в английских политических интригах в последние годы царствования Ричарда II. В конце письма — просьба прислать трактат Августина о музыке и обещание послать адресату описание собственного диспута Салутати с одним медиком.

Нужно, кстати, сказать, что В. Э. Крусман неправильно понял все место этого письма, где говорится о желательности великодушия. Он *совсем* не обратил внимания на указанный намек, совет, предостережение, а почему-то эти слова «заставили» его «предполагать, что в темы обсуждения между Томасом Эрунделем и Колуччьо Салутати входил вопрос о смещении, может быть, даже об умерщвлении Ричарда II». Откуда же это следует? Ведь Салутати писал: rex depositus et extinctus уже в апреле 1401 г., а Ричард II погиб 17 февраля 1400 г. (низложен же был еще в сентябре 1399 г.). Это предположение необосновано, но еще хуже, что на 504 странице автор уже забывает даже, что оно — «*предположение*», а начинает *на нем* строить, как на твердом факте, новые предположения. «Другим основанием предположить, что еще в Италии Томас Эрундель принялся за сплетение нитей заговора против Ричарда II, является осведомленность если не о всем, так о многом в этом деле со стороны Колуччьо Салутати». Так, из ничего вырос факт, а на нем уже начинает вырастать другой...

Наконец, третье и последнее письмо Салутати (29 января 1403 г.) почти целиком заполнено выпрашиванием у Эрунделя вспомоществования для монахов монастыря Santa Maria degli Angeli, который был посещен английским вельможе-архиепископом во время пребывания во Флоренции. В самом конце письма — опять обещание прислать Эрунделю все тот же

трактат (De nobilitate legum et medicinae) и просьба, чтобы Эрундель достал (для Салутати) трактат Августина о музыке.

Редко кому, повторяем, писал Салутати такие незначительные, ничтожные по содержанию письма как Эрунделю. Эти три письма решительно ничем не выдают своего автора, человека, бесспорно, умного, содержательного, ученого, с обширным кругом интересов. Никак нельзя было бы также понять, что их послал именно гуманист; деловые письма (по второстепенным делам) с общепринятыми формулами приветствий, вот и все. Что же извлекает отсюда автор разбираемой работы? Он не может, посвятив чуть не половину своего исследования Эрунделю, ссылаться на то, что было бы более всего интересно для его цели, на письмо Эрунделя к Салутати, по той простой причине, что этих писем нет, и нет даже никаких оснований предполагать, что Эрундель когда бы то ни было их писал. Во всяком случае три письма Салутати к Эрунделю — это *единственная* тоненькая ниточка, связывающая архиепископа Эрунделя с «гуманизмом». Но простое *изложение* этих писем наглядно показывает, какая эта ниточка непрочная и сомнительная. В. Э. Крусман, однако, задав себе рискованную задачу, поставил себе в необходимость очень много строить на более чем хрупком материале, ибо «историк английского гуманизма», по его мнению, «обязан быть внимательным к корреспонденту такой значительной личности как Колуччьо Салутати». И приходится признать, что автор вычитал в трех вышеизложенных нами письмах Салутати такое, чего там никак нельзя разглядеть невооруженным глазом. Правда, автор воздержался от этой простой операции, от систематического изложения содержания всех трех писем; нельзя не признать, что эта операция дала бы, как мы показали, результаты, очень болезнетворные для его темы и его теории. Вместо этого автор довольствуется общими замечаниями и характеристиками, избегая при этом сплошь и рядом точных ссылок на письма Салутати. «...Канцлер-гуманист вряд ли сошелся бы с опальным английским архиепископом настолько, чтобы вести с ним ученые беседы, пересылать ему свои трактаты и просить о пересылке рукописей, если бы тот не сумел показать хоть кой-какой начитанности в античных писателях» (стр. 405). Но где же следы того, что Салутати «вел ученые беседы» с Эрунделем? Какой вывод можно сделать из того, что Салутати два года собирался послать Эрунделю свой трактат (и так мы и не знаем, послал ли его в действительности)? Разве это значит *пересылать свои трактаты?* И что доказывает двукратная просьба о том, чтобы могущественный вельможа и архиепископ достал для Салутати трактат Августина о музыке? (*Ни о каких* других рукописях он его не просил и ему не писал). Разве выразиться так, как делает

автор в вышеприведенной тираде, значит правильно осветить содержание трех писем Салутати (повторяем, одной незначащей записки и двух *деловых* писем с просьбами о покровительстве купцу и о подачке монастырю)? Ведь даже о трактате, который обещает послать, о рукописи Августина, которую он хочет получить, он пишет в одной строке, чисто деловым образом, не входя ни в какие рассуждения! На стр. 418 опять: Эрундель «сумел сблизиться с таким видным и коренным воплотителем... гуманизма, каким был Колуччьо Салутати». Но где же *доказательства* сближения? Салутати по официальному своему положению во Флоренции не мог не познакомиться с английским вельможей, архиепископом, вчерашним канцлером Англии, завтрашним канцлером Англии. А что потом он у Эрунделя просил один раз за купца и выпрашивал другой раз денег для монастыря, то в чем же тут «близость»? На стр. 437 читаем: «...он (Эрундель — *Е. Т*) и за границей, как мы знаем по его переписке с Салутати... любил ближе присматриваться к быту духовенства и положению церкви в государстве». Где это вычитал автор? Нечего и говорить, что и здесь никакой ссылки на письма Салутати нет, ибо в них *ничего подобного* не содержится. На стр. 510 те же голословные утверждения: «Все же они с Томасом Эрунделем совместно обсуждали вопросы политической жизни Флоренции и окружающих ее городов, на что указывает некоторый элемент местных новостей и слухов в письмах Салутати к Эрунделю»,— и, конечно, опять никакой ссылки на письма. Да и ясно, по какой причине: весь этот «элемент местных новостей и слухов» содержится в *нескольких строчках* первого письма (о религиозном настроении, охватившем Флоренцию). На стр. 514—515 опять повторяется уже в качестве твердо установленного факта и совсем категорически: «Близость их отношений явствует из того уже, что Томас Эрундель посвятил Салутати кой в какие планы касательно предположенной борьбы с Ричардом II, конечно, знак большого к нему доверия, может быть, и уважения к его мнению». Чисто фантастическое утверждение, которое не покоится даже и на сомнительном базисе — нагромождение всех этих многочисленных у В. Э. Крусмана «допустимо», «мы можем даже вычитать», «можно думать», «вероятно», «кажется» и т. д.— привело к фактическому уверению читателя в *невозможном*, в том, что одно из центральных лиц заговора, один из авторов государственного переворота, ни с того ни с сего стал выбалтывать смертельно опасные секреты — и кому?... Колуччьо Салутати, который помочь в заговоре не мог никак, а повредить своей нескромностью мог очень сильно! Чтобы придать этому утверждению более правдоподобный вид, автор без всяких данных построяет еще одну гипотезу: во Флоренции «...*вероятно* решился *как-нибудь*

удовлетворительно вопрос о финансовой поддержке набега Генри Ланкастера». Во имя чего Флоренция оказала бы эту поддержку чужеземному перевороту? Это автора нисколько не заботит. И, повторяем, хуже всего, что автор из нескольких «вероятно» в конце концов выводит «несомненно», из нескольких «как-нибудь» у него получается «вот именно так». Когда фактов нет, выставляются гадания; когда есть какой-либо факт, он амплифицируется до неузнаваемости. Вот два примера: «Мы и со слов самого Салутати знаем, что Томас Эрундель во Флоренции любил заходить в монастыри, знакомиться там с монахами, интересоваться их бытом, умиляться их жизни. А раз он телесные свои очи так ориентировал, можно думать, что и духовным он указывал те же горизонты и т. д. и т. д. В чем же дело? Ничего этого Салутати не говорит, а просто, выпрашивая у Эрунделя денег для монастыря Santa Maria degli Angeli, Салутати, естественно, чтобы иметь хоть какое-нибудь основание для этой просьбы, напоминает Эрунделю, что когда он был во Флоренции, то посетил этот монастырь, и вот Салутати надеется, что монастырь этот тогда произвел на английского посетителя благоприятное впечатление (все это вводное упоминание — в *пяти* строках! Ср. Salutati C. Episc., III, 619). А что из этого напоминания создал автор! — «Ориентацию телесных очей» Эрунделя, и уже спешит от телесных очей к духовным и строит высокий, легкий, воздушный замок, который оттого именно так гармонично держится на столь шатком основании, что он — воздушный... И справедливость требует сказать, что иногда автор себя самого опровергает довольно определенно. У читателя остается такое впечатление, что когда автор говорил о «переписке» Салутати с Эрунделем, у него было одно мнение, ему представлялось, что Эрундель близок к гуманизму, прямой предтеча гуманизма на английской почве; а когда он окончил свои исследования, то взгляд этот претерпел изменения. Раньше, чем коснуться явных причин этого изменения, иллюстрируем самый факт.

На стр. VIII предисловия Эрундель отнесен к числу «захваченных новым направлением представителей» английского общества; на стр. XIII читаем слова автора, что «он изучал тех лиц из среды английского интеллигентного общества XIV и XV вв., вкусы и симпатии которых были в некотором соответствии с выработанным итальянским обществом Ренессанса типом гуманиста...» На стр. XIX автору «кажется, что он предлагаемой здесь работой оказывает некоторую услугу изучению Чосера, выяснив довольно напряженное искание новых горизонтов в столь близкую последнему эпоху, как время Ричарда де Бери и архиепископа Томаса Эрунделя». На стр. 418 об Эрунделе говорится: «...пред нами далеко не безличная фигура,

а своеобразная, в своем развитии идущая почти в уровень с италианскими, современными ему, гуманистами, личность». На той же 418 странице начинается и другое: «В сущности, как бы мы... ни понимали слово гуманизм, Томас Эрундель едва ли бы заслужил название гуманиста». А на стр. 557 к полнейшей (но приятной) неожиданности уже узнаем, что, по мнению автора, Томаса Эрунделя «только с грехом пополам можно было бы записать в число деятелей нового просвещения». Правда, на стр. 558 опять поправка к поправке: оказывается, что хотя Эрундель и не внес ничего «положительного» в историю гуманизма, но все-таки «может быть включен в историю раннего английского гуманизма» единственно потому, «что близок по складу ума итальянским гуманистам своего времени». Опять у читателя недоумение: но чем же *доказывается*, что он «по складу ума» *близок* итальянским гуманистам? И опять у автора ответ: «письма Салутати», т. е. все те же *ничего* не говорящие, *ничего* не дающие для «склада ума» Эрунделя 165 строчек, написанные итальянским знакомым кэнтерберийскому архиепископу. Не успеет читатель снова испытать недоумение, как автор спешит внести и новую поправку: «по характеру, по кругу своего образования... он все-таки внутренне чужд интересам своего италианского друга... он слеп... к очарованию, которое они могли бы оказать на другую натуру, чем его». Как же он может быть и *близок* и *внутренне чужд* итальянским гуманистам? Автор предоставляет читателю самому разрешить эту загадку.

Характеризуя деятельность Эрунделя в качестве архиепископа и, временами, одного из могущественнейших вельмож государства, автор дает в корне неверное представление о свойствах этой деятельности и почему-то приписывает неблагоприятно для архиепископа сложившийся взгляд на него «лоллардской традиции», которая потом перешла «и в общую историческую традицию». Сам автор для доказательства своего тезиса приводит совершенно неубедительные случаи «мягкости и незлобивости» Эрунделя: он не преследовал Уольдена, занимавшего кэнтерберийский престол во время его изгнания,— это одно; а другое еще менее убедительно: Салутати хлопотал перед Эрунделем за некоего купца Маннини, причем «подробностей дела мы не знаем», пишет В. Э. Крусман. Но не в этом даже суть: мы не знаем также и того, чем кончились хлопоты, *исполнил ли* Эрундель просьбу Салутати. Что, спустя 10 лет, тот еще оказался в живых, конечно, не доказывает, что он не пострадал в 1401 г. В. Э. Крусман предполагает, что Эрундель исполнил просьбу. «Так как лично Томасу Эрунделю он, по-видимому, неприятностей не причинил, не может быть сомнений, что тот исполнил просьбу Салутати»,— читаем мы. Но что же

все это за доказательство «незлобивости» Эрунделя? Ведь это не факт, а сплошная неопределенность. Сановник «незлобив» только потому, что его просят за лицо, не сделавшее ему лично никакого зла и вообще, неизвестно что сделавшее; причем неизвестно также, увенчалась ли просьба успехом. Если это доказывает незлобивость, то едва ли на земном шаре когда-либо существовал сановник «злобный», т. е. такой, которого никогда и ни о чем даже не попросили. И автору кажется это достаточным, чтобы провозгласить: «Описанные случаи мягкости и незлобивости Томаса Эрунделя достаточно ярки, чтобы порядком ослабить резкость сурового и непреклонного архиепископа» (стр. 551).

Это кажется В. Э. Крусману «ярким». Но зато ему совсем не кажутся яркими факты другого рода. Например, он довольствуется лишь беглым в одной строке упоминанием о деле *Sawtre*, тесно и навеки связанном с именем архиепископа Эрунделя, потому что этот *Sawtre*, которого Эрундель сжег на костре 2 марта 1401 г., был *первым по времени* мучеником за религиозные убеждения, сожженным в Англии. Это — дата в общекультурной истории Англии, отмечаемая в общих изложениях истории Англии, дата события, в котором, повторяем, Эрундель сыграл *активнейшую, решающую* роль; но напрасно мы бы стали искать хотя бы краткого рассказа об этом деле в книге, где деятельности Эрунделя посвящено больше 200 страниц (393—588 и 655—672).

У автора нашлись охота и место уведомить читателя, что 11 марта 1382 г. Эрундель назначил какого-то приказчика неизвестно зачем и в точности неизвестно куда, на какую-то службу: что 23-го августа 1390 г. Эрундель пожаловал то-то и то-то своему парикмахеру и т. д. и т. д., но о сожжении Sawtre — ничего, кроме беглого упоминания (на стр. 573). А ведь Эрундель много поработал для этого сожжения: ведь статут «De haeretico comburendo» еще не вошел тогда в законную силу, и Эрунделю пришлось убеждать короля, несмотря на это, приказать за собственной королевской печатью лорд-мэру распорядиться публичным сожжением Саутри на костре. Умолчав вовсе о главных обстоятельствах этого дела и о громадной роли Эрунделя в данном случае, автор совершенно неправильно освещает другое дело — Ольдкэстля, тоже приговоренного к костру *именно по настояниям* Эрунделя после допроса, в котором Эрундель коварнейшим образом старался сбить Ольдкэстля, поймать его на противоречии с церковной доктриной (по вопросу об евхаристии), после того как сам же он должен был признать, что подсудимый *во многом* — добрый католик. Но об этом допросе ни слова не сказано в книге В. Э. Крусмана; ничего читатель не узнает об этом чисто инквизиторском подлавливании жертвы

для костра («Hah, Sir John, in this shedule of yours there is much good stuff and cattolic doctrine; but you must answer me whether or not you hold that the material bread remains in the sacrement of the altar after consecration duly performed»!). Даже в *общих* историях Англии авторы обыкновенно не обходят этого и других классических образчиков истинно инквизиторских допросов, чинившихся Эрунделем. А здесь, в книге об Эрунделе,— об этом *ничего,* и вывод гласит: «Такой, если можно так выразиться, оппортюнистический характер преследования лоллардов Томасом Эрунделем довольно очевиден из материалов, которые касаются его допросов и диспутов с еретиками» (стр. 555). Но почему же тут не приводится *ни единой выдержки* из этих материалов? в праве спросить читатель. Если это «оппортунизм», то что же называется жестоким религиозным гонением? Мало того. Автор именно только *упомянул* о преследовании против Ольдкэстля (лорда Кобгэма) и даже воздержался от сообщения, что Эрундель в конце сентября 1413 г. *приговорил Кобгэма к сожжению,* а затем пишет (стр. 554): «...если еретиком был более значительный человек, как например лорд Кобгэм, архиепископ порой согласен был смотреть на его еретичество сквозь пальцы...» Если приговорить человека к сожжению живьем — значит *смотреть на него сквозь пальцы,* то автор согласится, что это, несомненно,— своеобразное и новое толкование популярного русского выражения.

Все это, по мнению автора, уполномочивает его назвать Эрунделя «долготерпеливым духовным владыкою» (стр. 555). Еще хорошо, что автор самому себе противоречит и чрез 18 страниц пишет прямо противоположное («...он то и дело осаждал парламент петициями против лоллардов, добивался решений в пользу их преследования, когда же убедился в тщете своих надежд на быстрый результат словесного и письменного, равно как и административного воздействия на еретиков, добился от парламента права сжигать упорствующих — вечное пятно на своем добром имени — и организовал безжалостное преследование этих врагов господствовавшей иерархии и ее привилегий» (стр. 573). Как же быть: «долготерпеливый» он был «владыка» или «безжалостный преследователь»? Но автор и тут предоставляет читателю самому разобраться в этих диаметрально противоположных оценках. Мало того. Мы видели выше, что автор считает *несправедливым* традиционный взгляд на Эрунделя, а на стр. 582, к концу, уже оказывается, по его собственным словам, что *традиция-то именно и справедлива:* «Немудрено, что Томас Эрундель в памяти народной остался, первым делом, борцом против лоллардов, *раз он, действительно, до самых последних моментов своей жизни работал над искоренением ненавистной ему ереси*». Конечно! Каким же и мог

остаться в народной (и исторической) памяти человек, настоявший на издании акта «De haeretico comburendo» и неукоснительно осуществлявший правила этого акта в жизни.

Чрезвычайно неясно охарактеризован и другой существенный пункт, существенный тоже с точки зрения интереса темы, поставленной автором. Как относился Эрундель к университету? «Традиция» и здесь имеет совершенно точное и определенное мнение: у Оксфордского университета за всю ту эпоху не было такого опасного (по своему официальному положению) притеснителя и противника, как Томас Эрундель. В этом отношении «традиция» покоится на твердо установленных, несомненных фактах.

В. Э. Крусман и тут хотел бы традицию опровергнуть; но так как ни единого нового факта он противопоставить старым фактам не может, то ему остается снова прибегать к гипотезе, психологическим догадкам, условным допущениям. Это оружие удобно тем, что оно всегда под рукой и в изобилии; недостаток его заключается в безвредности для неприятеля, в данном случае, для «традиции».

Начинается и тут с ряда противоречивых характеристик. С одной стороны усматривается «заботливость архиепископа о просвещении», каковая «заботливость», однако, «не была выражением душевной потребности..., а вниманием крупного церковного администратора», так что «в ней преобладает формальная сторона». «Ради этого он способен порою идти и против всего, что считают желательным представители университета» (стр. 565). Таким образом, «именно потому, что он высоко ценил и понимал просвещение, должен был, как примас английской церкви, стараться монополизировать просвещение в ее пользу» (стр. 566). И, наконец, есть извиняющие обстоятельства: «момент был критический; надо было одолеть ересь Уиклефа, как раз в Оксфордском университете свившую себе гнездо». Значит, вопрос покончен? Но нет, дальше опять противоречие: «Широко взглянув на эту борьбу, мы должны будем осудить Томаса Эрунделя: он сильно повредил Оксфорду своими преследованиями, нанес ему, как очагу просвещения, удар, от которого университет не скоро оправился». Только успеет читатель принять это к сведению, как оказывается, что осуждать Эрунделя не за что: потому что, например у Салутати «мы найдем почти ту же церковность», а Салутати был «близок по духу» Эрунделю. (Почему «близок по духу»? Этот вывод есть производное из бесчисленных «может быть» и допустим» — предшествующих глав). «У Салутати такие взгляды проявлялись на бумаге, у Томаса Эрунделя на деле, ибо последний был поставлен в условия, когда надо было действовать, и принадлежал к нации, всегда предпочитавшей дело слову». Во-

первых, сравнение с Салутати может только запутать вопрос: автор обязан был показать документально, что Салутати тоже стоял за борьбу против науки и научных учреждений во имя католической ортодоксии; ничего этого, никаких доказательств мы здесь не находим, и сравнение остается висящим в воздухе. Во-первых, принадлежность к нации не при чем: пусть автор укажет, в истории какой нации не случались периоды гонения на науку во имя политических или церковных, конфессиональных соображений и не находились всегда в совершенно достаточном количестве люди, которые брали на себя труд эти гонения поддерживать и усиливать. А затем, читателя ждет новая неожиданность: оказывается, что Эрундель вовсе не гнал просвещения! *«Весьма вероятно,* что он оказывал просветительное *влияние и* на подведомственное ему духовенство. И если мы в XV веке встречаем так много рядовых представителей раннего английского гуманизма в среде клира, кое-что, помимо других нами уже указанных причин, надо, *пожалуй,* приписать и стараниям Томаса Эрунделя». Все это не имеет под собой оснований: и намека на факты мы тут не находим. Выходит так: Эрундель угнетал университет, а потому он *и* на духовенство влиял просветительно.

А пока, куда-то бесследно проваливается *истинная,* а не гипотетическо-психологическая история отношений Томаса Эрунделя к Оксфордскому университету. После терпеливых поисков читатель, чрез пятнадцать страниц, снова обретает эту тему, но в виде *одной* строки текста («...ему приходилось... вести долгие годы борьбу из-за права визитировать Оксфордский университет с канцлером последнего...») и примечания к этой строчке с ссылкой на несколько авторов и беглыми, глухими словами об этих визитациях (стр. 581, примечание 312). Читатель, не знающий истинной истории этой борьбы, ни из этой строчки, ни, в особенности, из примечания не мог бы понять решительно ничего.

А, между тем, здесь автор, неизвестно почему, лишил свою книгу страниц (и многих страниц), которые могли бы не только быть крайне поучительны сами по себе, но которые и для его общей темы были, в частности, весьма интересны.

Читатель узнал бы, что в стремлении своем окончательно изгнать из университета уиклефовские традиции архиепископ Томас Эрундель вступил в самый острый конфликт с университетом; что дело дошло до категорического отказа канцлера и «прокторов» университета подчиниться; что часть университетских зданий была (в 1411 г.) забаррикадирована; студенты решили оказать Эрунделю вооруженное сопротивление; на Оксфорд был наложен *интердикт,* но проктор Джон Бирч взломал силой двери церкви, запертой согласно интердикту, и отслужил

обедню и т. д. и т. д. Король и Эрундель решили сместить канцлера и проктора, но университетские «masters» выбрали демонстративно тех же лиц, и борьба продолжалась. Она окончилась победой Эрунделя. И здесь также имя Эрунделя тесно связано с общей культурной историей Англии: по выражению Rashdall'я «исход этой борьбы фактически заканчивает историю лоллардизма, как признанной силы в английской политике, и вместе с тем, историю умственного движения в средневековом Оксфорде» [7]. Обо всем этого ничего нет в книге, посвященной в такой значительной степени биографии Эрунделя.

Между тем, нашлось место и для рассказа о событии, правда любопытном, но не имеющем ни малейшего отношения к Эрунделю (и вообще к теме книги),— о приезде византийского императора Мануила Палеолога в Англию. В свое время с большим интересом прочлась статья А. А. Васильева, где обстоятельно исследовалось это событие. Но зачем автору разбираемой книги понадобилось излагать на нескольких страницах эту статью (558 и сл.) и вообще говорить об этом событии? «Наш взор, — пишет он по этому поводу, — прежде всего ищет Томаса Эрунделя». Ищет, но, как и следовало ожидать, не находит и следа: «строго говоря, мы ничего не знаем об его отношении к грекам».

На следующей странице окончательно констатируется, что «визит императора... Палеолога и его свиты прошел для него (Эрунделя — *Е. Т.*) бесследно, как бесплодным для него оказался и приезд немного спустя Мануила Хризолора». И дальше автор поясняет, что «если у Хризолора в Англии и были ученики, — Томаса Эрунделя, конечно, между ними не было: ни лета, ни дела, ни, думается, вкусы этого не допускали». Казалось бы, приезд греков — решительно не при чем и, по мнению самого автора, не имеет и не может иметь ни малейшего касательства к Эрунделю. Но в изложении, где гипотеза играет роль самодержавной царицы, ничто даром не пропадает. Каким бы посторонним, ничем не связанным с остальным содержанием по существу ни являлся любой эпизод, все равно, нечто от него остается (il en reste toujours quelque chose), и уже на 563 странице оказывается следующее: «пока (Эрундель — *Е. Т.*)... был жив, у италианских гуманистов все-таки была словно живая связь с Англией и *довольно вероятно,* что *наряду с указаниями* Хризолора рассказы Колуччьо Салутати о высокообразованном английском прелате... *могли* служить, если не побудительной причиной, так приманкой для Поджио, когда тот задумал покинуть ставший для него несколько неудобным Констанц». Какие «указания» Хризолора, когда только что было констатировано самим автором, что никакого отношения Эрундель к Хризолору не имел и не мог иметь? Где автор усмотрел в Эрун-

деле «как бы живую связь» итальянских гуманистов с Англией? Почему «довольно вероятно», что Салутати рассказывал о «высокообразованном прелате»? Почему эти мнимые рассказы Салутати «*могли*» побудить или манить Поджио отправиться в Англию?

И читателя уже не радует даже, что сам автор согласен в конце концов признать, что Эрундель занимает «более, чем скромное место в истории раннего английского гуманизма» (стр. 563) и что его «только с грехом пополам можно было бы записать в число деятелей нового просвещения». Во-первых, не пополам с грехом, и лишь совершая полный и почти смертный грех против исторической действительности, можно причислить архиепископа Эрунделя даже к самым ранним, самым неопределенным, самым условным гуманистам и «деятелям нового просвещения»; а, во-вторых, после каждого такого признания автора, читатель должен особенно зорко следить, не появится ли где-нибудь «может быть» или «пожалуй», или «почему бы не предположить», которое ослабит все эти порывы автора к исторической, трезвой, беспристрастной оценке излагаемых явлений.

Во введении автор говорит о своей книге: «Ведь почти за каждой страницей ее происходила борьба между тем, что автор чувствовал за источниками, и тем, что научная корректность разрешала из них вычитывать, и вся книга, следовательно, отражение конфликта между пристрастием, с которым автор старался допытываться о многом, и той сдержанностью, которую налагали на него мозаичность и бедность ученого аппарата, на котором... приходилось строить». Мы читаем всю книгу В. Э. Крусмана с напряженным и наперед настроенным *всецело* в пользу автора вниманием и с глубокой убежденностью говорим: эта борьба кончилась бесспорно победой «пристрастия» автора над «сдержанностью». Автор говорит дальше о своем энтузиазме и о «строптивых источниках», с которыми его энтузиазм боролся. Нам кажется, что он напрасно сердится на свои источники. Они не строптивые, они не виноваты, что автор во что бы то ни стало пожелал найти пищу для своего научного энтузиазма там, где никак нельзя было этой пищи искать. Из слабых, еле слышных, донесшихся до нас из глубины веков нескольких отрывочных звуков автор пожелал воссоздать сложную, гармоническую симфонию, наличность которой он почему-то произвольно предположил. Автор хотел ограничить и ограничил свою тему, но даже и для этой темы материалы оказались ничтожны. Строитель, который располагает одной сотней кирпичей отнюдь *не* приблизится в реальной постановке задачи, если даже воздержится от мысли выстроить дворец, а удовольствуется планом сооружения небольшого домика.

И никакой архитектурный энтузиазм ему не поможет, так как и в этом случае основным недостатком кирпичей будет не их «строптивость», но слишком ограниченное их количество.

III

Но если автору не удалось разрешить поставленную им себе задачу, если не удалось ввести Ричарда Бери и Томаса Эрунделя в качестве хотя бы отдельных звеньев в цепь гуманистического движения, значит ли это, что книга В. Э. Крусмана не нужна, что вся она, как скромно определяет ее автор, *a failure*, сплошная неудача?

Ни в каком случае. В этой книге есть достоинства, но они обнаруживаются, если мы посмотрим на этот труд *не* с точки зрения авторской темы, а с той точки зрения, с которой мы сами найдем целесообразным рассматривать книгу, и если обратимся к тем страницам, о которых пока ничего не сказали.

Вообразим (автор сам так много воображает в своем труде, что должен разрешить хотя один раз это и критику), вообразим, что автор назвал свою книгу например так: «Исследования и этюды по культурной и политико-дипломатической истории Англии в XIV столетии». Это название было бы обосновано. Ведь, кроме страниц, разобранных выше, в этой книге есть очень много страниц, о которых пока мы почти вовсе не говорили. *Эти* страницы, с точки зрения интересов темы *автора*, должны были бы, собственно, *вовсе* отсутствовать; но с точки зрения интересов предположенной *нами* темы, именно *эти* страницы, не относящиеся к теме, поставленной автором,— самые ценные. Долгая и интересная жизнь Бери, его служба, вся житейская обстановка Бери — все это обрисовано очень выпукло.

Прекрасно изображена бытовая, так сказать, сторона духовной и дипломатической карьеры Бери, с исчерпывающим знанием дела очерчены отношения между представителями высшего духовенства в Англии; очень живо и, опять с бытовой стороны, обрисованы сложные англо-французские отношения, предшествовавшие взрыву Столетней войны, интересно и самостоятельно рассказаны путешествия Ричарда Бери. Епископское житье-бытье, все эти «архиерейские мелочи», как выражался Н. С. Лесков, воскрешены умело и ясно; там, где материалы, *в самом деле,* существуют, наш автор умеет ими превосходно пользоваться... Если, читая труд В. Э. Крусмана, сличить его с исследованием Longman'a, «The history of the life and times of Edward the third», более новой работой Tout'a о том же и предшествующем периоде и другими более мелкими — по теме — трудами, то при сличениях и сопоставлениях становится совер-

шенно ясно, как самостоятельно, существенно и интересно дополняет русский исследователь эту английскую литературу. Автор не только сам явственно вжился в обстановку, окружавшую его героя, но сумел и читателя заставить в эту обстановку перенестись. Какой жизненной вышла эта фигура епископа-дипломата, фигура, еще обычная в XIII, уже исчезавшая в XIV—XV вв. и почти вовсе исчезнувшая в XVI в.!

Если обратимся к главе об Эрунделе, то найдем здесь тоже очень много страниц, не имеющих никакого отношения к теме, но чрезвычайно любопытных. Политическая борьба и интриги времен Ричарда II обрисованы очень правдиво и ясно. Автор устанавливает свое собственное толкование политического темперамента Эрунделя, толкование, не согласное с мнениями других исследователей (которые готовы в нем видеть «шекспировскую фигуру», например Турати) и гораздо более верное. В. Э. Крусману удалось распознать в Эрунделе второстепенного политического деятеля, которого судьба, помимо его воли, толкала на авансцену истории. Очень свежа и исторически правильна обрисовка личности Ричарда II. Есть немало удачных замечаний при рассказе о перевороте 1399 г.; например, продуманно утверждение, что Эрундель, как «столп» церкви, став на сторону Генриха Ланкастерского, сильно способствовал успеху претендента, который был, в самом деле, чрезвычайно заинтересован в завоевании симпатий духовенства и владельческих классов, испуганных оллардизмом. С большим толком и знанием дела охарактеризованы отношения церкви и государства в XIV в. Очень любопытно сближение между поведением retainers Ричарда II и поведением опричников Ивана Грозного. Политическая деятельность Эрунделя и всей его котерии выяснена в общем и полно и верно. Автор привлек немало источников для этих страниц своей книги. Рядом с повествованием, основанным всецело на источниках, мы встречаем и такие параграфы, где автор следует за уже имеющимися в науке утверждениями. Мы только не понимаем некоторых ссылок, например, на лорда Кэмбеля,— «Lives of chancellors»: ведь этот труд (и именно относительно I тома можно высказать подобное утверждение) немногим больше, чем распространенный пересчет канцлеров, очень беглый и неполный.

Литература, вообще говоря, привлечена в весьма большом количестве. Есть, впрочем, некоторые — очевидно, случайные — пропуски (Trevelyan G. M. England in the age of Wycliffe — остался, кажется, неиспользованным; не указаны такие книги, как Wallon H. A. Histoire de Richard II, который именно в том, что интересовало автора разбираемого исследования, мало устарел; не указана большая и ценная работа Rashdall. H. The universities of Europe in the middle ages.

Автор не называет также прямо относящегося к царствованию Ричарда II первого тома документов, изданных Harris Nicolas'ом — Proceedings and ordinances of the Privy council). С другой стороны, некоторые книги попали в библиографию, очевидно, по недоразумению («Jacques van Artevelde» Lentz'a; Stevenson J. Latters and papers illustr. of the wars of the English in France during the reign of Henry VI; Jensen O. The Denarius S. Petri in England; Kingsford Ch. English historical literature in the fifteenth century и еще кое-что). Но в общем это — обширная и хорошо составленная библиография по культурной и отчасти политической истории Англии в XIV и в начале XV в.

Читатель, который занимается английскими сюжетами, английской политической и культурной стариной, который хочет, словом, поближе присмотреться к *Britannica varia,* если можно так выразиться, XIV столетия, прочтет эту книгу с пользой и временами с положительным интересом. Он *больше* всего оценит именно те части книги, которыми автор *меньше* дорожит. Комментировать эти заключительные слова после всего, сказанного в настоящей рецензии, считаем излишним.

Журнал министерства народного просвещения, новая серия, ч. 68, 1917, № 3—4, стр. 139—165.

КН. БИСМАРК И ЦАРЕУБИЙСТВО 1 МАРТА 1881 ГОДА.

По неизданным документам[1]

Как известно, одним из основных правил всей внешней политики кн. Бисмарка было стремление ни в каком случае не доводить Германию до острой вражды с Россией. Он не ждал от такого столкновения ничего хорошего ни для монархического принципа в Пруссии и в империи, ни для великодержавного положения Германии. «Это самое лучшее, что он может сделать»,— так выразился канцлер, когда ему сообщили, что принц Вильгельм (будущий император Вильгельм II) хочет выучиться русскому языку. «Есть одно благо для Германии,— говаривал Бисмарк,— которое даже бездарность германских дипломатов не сумеет разрушить: это — англо-русское соперничество». Подобных афоризмов можно было бы привести немало. Сближение Гогенцоллернов с русским двором на почве общей борьбы против субверсивных элементов, с одной стороны, разжигание всеми мерами вражды между Россией и Англией, между Россией и Францией, с другой стороны,— вот существенные, вдохновляющие всю политику Бисмарка принципы. И редко оба эти принципа выявлялись в такой гармонической, неразрывной связи, как в деле о конференции великих держав, проектированной после цареубийства 1 марта.

Только в 1880 г. Франция отказалась выдать Льва Гартмана, явного участника в ноябрьском покушении 1879 г., только в феврале 1881 г. Англия потерпела от буров поражение при Маюбе, и положение кабинета было так неустойчиво, что его падения ждали с недели на неделю. При этих обстоятельствах нельзя было ждать ни от Франции внезапного изменения поведения, ни от Гладстона согласия на участие в организации единого общеевропейского полицейского бюро для ловли революционеров, что создало бы кабинету новых врагов и не создало бы новых друзей. Бисмарк, прекрасно предугадывая, как всегда, образ действия обеих западных держав, сделал все зависящее, чтобы натолкнуть русское правительство на необдуманные шаги, одновременно парадируя в качестве единственного на всю Европу, истинного друга России и ее монарха. Это было ему особенно необходимо, так как он хорошо знал, до какой степени

новый русский государь не доверяет ему после Берлинского конгресса. Во всей этой истории министр Гирс смутно беспокоился, как будто смутно сознавая, что из всей затеи ничего, кроме неприятностей и конечной неудачи, не выйдет. Но посол Сабуров с вполне ясным челом начал дело и потерпел неудачу, но все время был очень доволен, так до конца и не догадавшись, что Бисмарк двигал им как марионеткой.

Впрочем, предоставим говорить самим действующим лицам. Документы, на которых я основываюсь, находятся в папке «Berlin, III» за 1881 г. в Архиве Внешней политики России. Они никогда не были изданы и, насколько мне известно, даже не цитировались.

Чуть ли не при первом же длительном свидании после события 1 марта кн. Бисмарк имел долгий разговор с русским послом Сабуровым. Сабуров поспешил сообщить об этой беседе в Петербург Гирсу, и Александр III написал карандашом на полях донесения: «Об этом переговорим еще подробнее. Есть предложения непрактические, но есть и хорошие». Вот как излагает Сабуров Гирсу свою беседу с Бисмарком[2]. Приводим наиболее важные места:

«Я начал с того, что сообщил германскому канцлеру известие, пришедшее от вас, о заговоре, который должен 22 мая повести к покушению на жизнь императора Вильгельма. Я узнал при этом случае, что не мы одни даем это предупреждение и что подобные же предупреждения почти в одно время с нашим поступили в Берлин из Парижа и Швейцарии. Князь тогда развил те мысли, которые ему внушают ужасные события, уже два года происходящие в России. Для краткости я ограничусь резюмированием этих мыслей, пункт за пунктом.

I. Прежде всего, народы, как отдельные лица, должны охранять свою голову. Священная особа главы государства должна быть поставлена абсолютно вне каких-либо посягательств. Можно сказать, что теперь большие столицы Европы сделались необитаемыми местами для государей. Это — муравейники, которые нужно было бы очистить и обезвредить. После покушения на жизнь императора Вильгельма, заходила речь о перенесении правительства и двора в Потсдам. Этот проект был оставлен, так как нашлось время очистить Берлин в продолжение восьми месяцев болезни императора. Даже во Франции республиканское правительство признало эту истину. В 1871 году, после коммуны, Париж был признан неподходящим местом для правительства, которое и перешло на несколько лет в Версаль. Если бы я был призван давать совет, прибавил князь, то я предложил бы такую же меру: Москва, как официальная столица до тех пор, пока Петербург не будет очищен и Царское Село или другая императорская резиденция, для постоянного пребывания

там (императора — *Е. Т.*), пока не восстановится нормальное положение.

II. Что касается университетов и учебных заведений, то канцлер стоит за усвоение сурового режима по отношению к ним. Именно там вербуются молодые безумцы в том возрасте, когда ум кипит больше всего. Когда образовательное заведение становится очагом политического фанатизма, то следовало бы закрыть его как можно скорее. Лучше раздавить противника, чем раздражать его. В этом отношении русское правительство еще обладает могущественным орудием, к которому прибегают в критические минуты даже конституционные страны: абсолютной властью.

III. Следовало бы с такой же суровостью отнестись и к женщинам-нигилисткам. Они, впрочем, и не прячутся. Они с аффектацией показывают даже на улицах отличительные свои признаки (elles montrent avec affectation leurs signes distinctifs jusque dans les rues). Их можно было бы хватать дюжинами, заключать их в монастыри и обучать их полезным ремеслам. Ибо нет сомнений, что женщина является одним из существенных элементов нигилизма. Она передает человеку в двадцать лет свой нездоровый энтузиазм и свои извращенные понятия о героизме в убийстве.

IV. Чтобы судить о нигилизме, нужно также считаться с натурой русского человека и с избытком его национального самолюбия. Для него слово *невозможно* не существует. Действуя в хорошем направлении, эта черта характера производит чудеса. Русские солдаты сражаются лучше, чем все солдаты в мире. Действуя в другом направлении, эта черта производит, извините меня,— добавил князь,— чудовищности, превосходящие все, что только было видано у других наций. «Русский нигилист, несомненно, говорит себе самому: «французские коммунары, немецкие социалисты, ирландские фении — лишь пигмеи по сравнению со мною». Поэтому русский народ имеет дело с людьми тем более отчаянными, что они выходят из его собственных недр.

Выслушавши все эти соображения, я сказал канцлеру, что все меры, на настоятельность которых он мне указывал, были бы неполны до тех пор, пока заговоры могли бы безнаказанно составляться на чужой территории. Поэтому я спросил его, считает ли он возможным приступить, наконец, практически (d'une manière pratique) к беседе между двумя дружественными и солидарными правительствами, по поводу мер, которые нужно было бы принять, чтобы настигнуть нигилистов и социалистов в их убежище, в Швейцарии? Я прибавил, что не имею никакого поручения касательного открытия (таких переговоров), но, что, уезжая в Россию, я не хочу явиться туда с пустыми руками

в случае, если начнется обсуждение такого вопроса, и что я желал бы иметь возможность, в таком случае, дать точные указания относительно того, как германское правительство смотрит на этот вопрос и в какой мере мы можем рассчитывать на содействие с его стороны. Я указал при этом на главные пункты, относительно которых могли бы быть скомбинированы действия обоих дворов.

1) Требование, которое должно быть предъявлено к швейцарскому правительству относительно изгнания нигилистов и социалистов.

2) Приглашение, с которым следовало бы обратиться к Австрии, Франции и Италии, чтобы (сообща — *Е. Т.*) образовать вокруг Швейцарии своего рода санитарные кордоны (une espèce des cordons sanitaires), посредством суровой паспортной системы.

3) Соглашение между всеми европейскими правительствами относительно установления принципа, что не существует *политического* убийства (подчеркнуто в рукописи — *Е. Т.*), что убийство есть убийство и что отныне всякий убийца, нигилист ли он или не нигилист, должен рассматриваться как убийца и должен быть отнесен к категории, предусмотренной договорами о выдаче преступников.

Германский канцлер с большой охотой последовал за мной по этому пути, не обнаруживая ни малейшего затруднения, ни малейшего колебания. «Я готов, — сказал он, — пойти с вами по этой дороге так далеко, как только это будет для нас возможно сделать. Я предпочитаю с самого начала сказать вам, что мне кажется невозможным: требование, за которым последовало бы военное воздействие. Нашествие на Швейцарию неминуемо вызвало бы войну с Францией».

«Но войну в превосходных для вас условиях»,— возразил я. Впрочем, я поспешил прибавить, что не в том заключалась моя мысль. Конечно, это не лекарство — вызвать европейскую войну. Что касается организации вокруг Швейцарии кордона сурового наблюдения, то канцлер считает эту идею очень осуществимой. Он берется убедить в этом Австрию. Он полагает, что Франция согласится на это и что в этом отношении мы бы хорошо сделали, если бы воспользовались нынешним желанием французов поддерживать дружбу с нами. Что касается Италии, то здесь дело будет более трудным, при нынешнем ее радикальном правительстве. Канцлер прибавил, что касательно Англии, хотя и нет возможности пустить в ход давление на нее, но тем не менее, можно было бы попытаться достигнуть, чтобы английская полиция следила бы у себя дома за революционными происками и держала бы в курсе дела заинтересованные правительства.

Канцлер также много говорил о принципе, что не существуют убийства *политические*, и я думаю, что он охотно примет участие в шагах, с целью установления общего соглашения между всеми правительствами, относительно введения этого принципа в договоры о выдаче.

В заключение он уверил меня, что всякое предложение с нашей стороны будет принято им с симпатией и с желанием выполнить дело на практике. Он поставил себе в обязанность рекомендовать эту линию поведения его величеству императору Вильгельму, как только получит предложение, исходящее от императорского (русского — *Е. Т.*) правительства».

Как уже отмечено, Александр III признал, что это донесение содержит, как «предложения непрактические», так и «хорошие». В самом начале своей бумаги Сабуров пишет:

«В самом деле, если в настоящий момент дипломатическая служба может быть для чего-нибудь полезна, то для того, чтобы воспользоваться хорошими отношениями между правительствами, и чтобы подчеркнуть их солидарность пред лицом социального чудовища, угрожающего им, и чтобы сообща против него бороться». Государь на полях против этого места написал: «Совершенно справедливо».

Сабуров еще накапуне этой знаменательной беседы уже успел отправить в Петербург коротенькую телеграмму, извещавшую о благоприятном умонастроении Бисмарка в деле борьбы против нигилистов [3], и император Александр написал карандашом на самой телеграмме: «Этому я очень рад». Разговор, происшедший на другой день после этой телеграммы, окончательно убедил петербургский кабинет в возможности начать дипломатическую кампанию.

Дело было, даже при чаемой поддержке со стороны Бисмарка, в высшей степени трудное и деликатное. Следовало уже наперед ждать многообразного противодействия, и поэтому в Петербурге решили составить для Сабурова две инструкции: одну, с которой он должен был начать кампанию, и другую — на случай слишком больших препятствий. Конечно, центром начинавшихся действий должно было стать русское посольство в Берлине, так как это предуказывалось не только полной в данном случае солидарностью Бисмарка, но и фактической гегемонией Германии на европейском континенте в тот момент. Обе инструкции, составленные для Сабурова (и, быть может, самим же Сабуровым во время его пребывания в Петербурге на похоронах Александра II), весьма интересны.

Обе инструкции помечены 25 марта 1881 г. В первой из них говорится о том, что происшедшая катастрофа «показала, с одной стороны, силу и растущую дерзость революционной социалистической партии» и ее космополитический характер, а с дру-

гой стороны, эта катастрофа обнаружила «бессилие правительств и общества в самозащите». Прежде, рассуждает автор записки, было понятно, что возникло право убежища и что, например, Швейцария твердо за него держалась: прежде в той или иной стране шла «борьба принципов», «убеждений», дело шло о низвержении одной формы правления и замене ее другой, и нередко бывало, что вчерашний изгнанник и эмигрант сегодня становился государем или правителем государства. Теперь же совсем не то: все правительства имеют дело с одной и той же «космополитической» группой людей, ничтожных в количественном отношении, но сильных своим фанатизмом, стремящихся открыто и при помощи самых насильственных приемов к разрушению общественного строя. Это обстоятельство требует пересмотра законов о праве убежища и выдаче преступников. Записка предлагает поэтому установить соглашение относительно надзора за революционерами, организацию «международной полиции, запретительные законы касательно фабрикации и продажи взрывчатых веществ, исключительные кары за нарушение этих правил и, вообще, за пользование такими средствами». Необходимо, сверх того, установить выдачу преступников, обвиняемых в убийстве, «каковы бы ни были его мотивы или его жертва». Препровождая эту записку Сабурову, министерство иностранных дел приглашало посла сообщить все эти предложения князю Бисмарку и о последующем уведомить министерство. «Сообразно с докладом, который вы нам пришлете, его величество постановит собственное решение».

Что Бисмарк в эти дни стоял, можно сказать, в центре всех русских дипломатических интересов, это со всей возможной ясностью разъясняет нам другая депеша Сабурову [4]. С Бисмарком достижимо почти все, без Бисмарка — очень мало: таков смысл депеши.

«Мы должны предвидеть тот случай, что предлагаемые нами основы, на которых можно было бы установить единство действий... встретят затруднения у некоторых правительств. Эти препятствия, проистекающие либо из господствующих идей, либо из существующих законов, либо из партийных интересов или политических влияний, могли бы сделать имеющуюся нами в виду солидарность правительств невозможной или недействительной». Вот почему необходимо теперь же подумать о возможных репрессиях относительно таких сопротивляющихся правительств и вот почему так нужен Бисмарк. «Это — пункт особенно деликатный, и соглашение относительно него с кн. Бисмарком очень важно, так как именно тут активная помощь Германии дала бы нам силу, которую не имело бы наше изолированное выступление». Против кого же пришлось бы бороться? Министерство начинает с пигмеев: «По нашему мнению, глав-

ными очагами антиобщественных действий, наиболее активными и в то же время *наиболее доступными для нас* являются Швейцария и Румыния. Если наши дружеские представления к правительствам этих двух стран встретились бы с более или менее формальным отказом, мы так же мало, как кн. Бисмарк, хотели бы дойти до мер, которые могли бы вызвать войну, но мы могли бы применить к ним такие репрессалии как разрыв дипломатических сношений и уничтожение гарантий нейтралитета или независимости, которыми они пользуются, изгнание их граждан и отозвание наших (из их стран), меры, ограничивающие торговые сношения, вроде, например, специальных тарифов и т. д. Эти меры были бы тем действительнее, если бы они были приняты несколькими правительствами. Поэтому нам важно было бы знать, до какого пункта кн. Бисмарк счел бы возможным присоединиться к нам, идя по этому пути».

Но, конечно, главная трудность не в Швейцарии и не в Румынии: «В том случае, если бы нам удалось уничтожить эти два очага революционной заразы, нужно предвидеть, что они перенесутся в другое место. Вероятно, Франция и Англия оказались бы двумя центрами, куда перенеслись бы их действия. Репрессалии относительно этих двух стран были бы мерами более затруднительными и менее действительными: во Франции, вследствие преобладания радикальных элементов, более или менее благоприятствующих революционным социалистам, а в Англии — вследствие законодательства, основанного на абсолютном уважении личной жизни, свободы и частного жилища». Но все-таки возможно было бы, быть может, добиться и в этих двух странах «моральной поддержки со стороны местной полиции» в деле «контроля и наблюдения», а при случае также «в деле арестов и высылок деятелей социальной революции». И в этом также «помощь кн. Бисмарка была бы весьма полезна».

Министерство уведомляет далее Сабурова, что император Александр III предоставляет послу воспользоваться личными отношениями с Бисмарком, чтобы выяснить этот вопрос, чтобы таким путем «определить точно нашу собственную дорогу на этой деликатной почве, где каждая неудача могла бы иметь опасные последствия». Мемуар резюмировался тремя пунктами: 1) требовать приравнения политического убийства к общеуголовному; 2) требовать «при поддержке или без поддержки других держав» у Румынии и Швейцарии изгнания из их территории политических преступников, которые будут им указаны, и недопущения революционных центров; 3) добиваться соглашения между правительствами по вопросу об единстве действий и единстве наблюдения, что могло бы быть достигнуто созданием «одного центрального учреждения».

Бисмарк обещал поддержку, и уже 1 апреля русское министерство изготовило проект циркуляционного обращения, которое должно было быть разослано из русского министерства иностранных дел русским послам и представителям в Берлине, Париже, Вене, Риме и Лондоне[5]. Русское правительство предлагало созвать конференцию держав с целью выработки плана общей борьбы против анархистских элементов. Одновременно был выработан и другой конфиденциальный циркуляр (он так и назван: «projet de circulaire confidentielle»,— АВПР, № 169), где находим перечень более конкретных мер, принятия которых надлежит в первую голову домогаться. Здесь находим некоторое развитие той мысли, что новейшее революционное движение носит «более общий характер», чем былые революции, и что поэтому необходимо и бороться с ним тоже общими, соединенными усилиями. Циркуляр предусматривает в особенности установление кар за приготовление к политическому убийству, даже если эти приготовления и не повели к совершению самого акта, предлагается также карать за соучастие в подобных приготовлениях.

Циркуляр подчеркивает, что конференция, проведя те или иные меры в указанном направлении, вовсе не нарушит этим суверенных прав и законодательства отдельных держав (эта оговорка сделана, конечно, специально для Англии). Третий документ (названный уже не circulaire confidentielle, а circulaire secrète,— там же, № 170) предлагает учреждение «интернационального полицейского бюро», которое централизовало бы дело надзора, поимки и кары преступников или по крайней мере обмен особыми «полицейскими делегатами» в видах взаимного осведомления и посильной помощи.

Спустя неделю после рассылки этих циркуляров, министерство посылает особое письмо Сабурову, так как естественно, именно он должен был, в силу предполагаемой близости с Бисмарком, оставаться в центре начавшегося дипломатического действия. «Мне кажется,— пишет Гирс,— что мы должны прежде всего стремиться в данный момент заручиться согласием кабинетов на общее обсуждение вопроса, и не пугать (ne pas effaroucher) некоторых из них слишком обширной или слишком определенной программой. Высказанные нами мысли проложат себе дорогу тем легче, чем они будут умереннее и проще. Князь Бисмарк в особенности оказал бы нам важную услугу, если бы дал свою могущественную поддержку в Лондоне, где мы рискуем натолкнуться на застарелые предрассудки и несправедливые суждения. Впрочем, мы ему очень признательны за ту горячность и ту искренность, с которыми он поддерживает защищаемое нами дело, являющееся делом всех монархов и всего человечества»[6].

Германия тотчас же согласилась с русским предложением и даже наметила для будущей конференции город Брюссель, другие великие державы встретили это предложение довольно сдержанно. Во французском ответе, правда, Сабуров усмотрел желание пойти навстречу взглядам русского правительства [7], но с Англией дело пошло гораздо хуже. Сэр Чарльз Дильк, тогдашний помощник статс-секретаря по иностранным делам, по сведениям Сабурова, был старинным другом Моста, издателя германской резко революционной газеты «Freiheit», выходившей некоторое время в Лондоне и открыто восхвалявшей событие 1 марта. Правда, Бисмарк предложил германскому послу в Лондоне убедить министра иностранных дел Грэнвиля принять участие в конференции, но Сабуров никакого толку от этого не ждет (и он оказался прав). Точно так же, хотя Шувалов, прибывший как раз из Рима, был настроен оптимистически относительно Италии, но у Сабурова хватило все-таки элементарного понимания неизбежности отказа Италии, раз Англия откажется от конференции [8]. Идти против Англии с кем бы то ни было для Италии всегда было абсолютно невозможным делом, особенно же нелепо было ждать, что она рискнет возбудить неудовольствие Англии, которая может с ней сделать *все,* только для того, чтобы оказать услугу русскому правительству, которое одинаково бессильно было принести ей вред или пользу. Сабуров, затеявший все дело (по наущению Бисмарка, чего он, впрочем, не сознает), утешает Гирса, что даже если все прочие откажутся, кроме Германии и Австрии, то и тогда можно ждать много хорошего от конференции России, Германии и Австрии, «особенно, что касается мер, которые следует принять относительно Швейцарии и Румынии». «Дополняя эти меры тем, что нам обещает Франция, мы добьемся очищения континента и заставим всех нигилистов бежать в Англию. Уже это будет огромным результатом».

Сабуров не предвидел, что Бисмарк, конечно, и не подумает принять участие в такой ограниченной конференции и что вообще германского канцлера в данном фазисе дела занимает уже не столько борьба с нигилистами, сколько создание натянутых отношений между Россией и всеми европейскими державами (кроме Германии и Австрии).

14 апреля пришел, наконец, более определенный ответ от Франции: французское правительство приняло решение отказаться от участия в конференции. Но, вместе с тем, Франция снабдила свой отказ некоторыми существенными оговорками. Она готова была приравнять цареубийство к обычному уголовному преступлению и заключить с Россией соответственный договор о выдаче. Далее, французское правительство предоставляло свою полицию к услугам России и обещало изгонять из

пределов республики эмигрантов, которых укажет Россия. Чем объяснял посол Орлов такой серьезный успех русских требований? «Германия энергично и лояльно поддержала нас»,— читаем в конце шифрованной части телеграммы министерства Сабурову, с которым Гирс прежде всего поспешил поделиться новостью [9].

Министерство, тем не менее, учло неприятную черту в этом сообщении: отказ принять участие в конференции. Без Франции, конечно, не имело никакого смысла созывать международное совещание. И Гирс уже сам начинает помышлять о том, чтобы оставить мысль о конференции. Он только желает, чтобы Сабуров и по этому вопросу тоже сперва посоветовался с Бисмарком, русский министр признается, что хотел бы ознакомиться с мнением Бисмарка раньше, чем даст ответ французскому кабинету. Есть также скептицизм относительно французских предложений: «Полагаем, что можем удовлетвориться этими предложениями, лишь бы они были серьезны и искренни» [10]. А главное, определенно выражается опасение, что и с Англией будут затруднения.

Сабуров решил, по-видимому, бороться против упадка духа, охватившего министерство и сказавшегося в таком быстром решении отказаться от конференции. Он поэтому на другой же день после получения отмеченной шифрованной телеграммы написал своему «cher» Николаю Карловичу (как он всегда обращался к Гирсу) длинное письмо. Он не хочет понимать, пишет он, вчерашнюю телеграмму, как отступление *по всей линии* от дела конференции. Ведь, кроме Франции, есть еще Германия и Австрия, две державы, вполне расположенные следовать за Россией. «Они уже согласились на конференцию и нам было бы трудно внезапно взять назад наше предложение, не зная, что они об этом подумают» [11]. Конечно, Сабуров уже «зондировал» Бисмарка (j'ai sondé Bismark), который был и помимо Сабурова уведомлен о французском ответе телеграммой германского посла в Париже Гогенлое. Но сведения Гогенлое, продолжает Сабуров, расходятся с телеграммой Орлова: Франция еще не объявила своего окончательного решения по данному вопросу, она только сказала, что оставляет за собой возможность в последний момент согласиться на конференцию, *если Англия выразит свое согласие.* Между тем Бисмарк полагает, что «Англия, подобно Франции, не желающая себя компрометировать пред консервативными правительствами, окончит тем, что и с своей стороны даст какие-нибудь заверения, которыми впоследствии мы сможем воспользоваться». Поэтому Бисмарк *решительно* не советует отказываться от конференции и полагает целесообразным внушить западным державам мысль, что конференцию можно собрать и без них [12].

Но вот пришел, наконец, английский ответ, определивший собой, конечно, и решение Италии. Англия определенно, хотя и в очень вежливой, даже сочувственной форме, отклоняла участие в конференции. Лорд Грэнвиль писал, что общественное мнение встретит проектируемую конференцию недружелюбно, что он, Грэнвиль, зато обещает воспользоваться всеми средствами борьбы против революционеров, какие дает ему английское законодательство и т. д. В ответ на это Александр III повелел Гирсу телеграфировать русскому послу в Лондоне князю Лобанову, чтобы он предложил английскому кабинету выработать договор с Россией о выдаче политических преступников. Кстати, и Бисмарк, наконец, счел теперь благовременным дружески указать, что «в виду отказа Англии, Франции и Италии от участия в общем обсуждении дела, нам остается только способ заключения отдельных договоров для достижения поставленной цели» [13].

Итак, все было кончено. Если вся эта попытка имела какие-либо вполне реальные результаты, то главным образом некоторое охлаждение начинавших было приобретать дружественный оттенок франко-русских отношений, что, собственно, и требовалось Бисмарку.

Сабуров, по всем видимостям, считавший себя тонким дипломатом, даже и не подозревает беспроигрышной игры, которую все время ведет с ним Бисмарк, сначала толкая Россию на рискованный путь организации конференции, а потом, когда дело явно проваливается, уговаривает русское правительство упорствовать в допущенной ошибке. Не только Бисмарк, но и третьестепенные французские и английские журналисты прекрасно знали, что ни Франция, ни Англия, управляемые, первая радикалами, вторая Гладстоновским кабинетом, ни в каком случае на конференцию не пойдут хотя бы по соображениям парламентской тактики в данный момент. Но русские сановники, получавшие в виде синекуры посольские места, редко унижались до анализа внутренних дел тех стран, где они были аккредитованы, и даже до простой фактической осведомленности в парламентских отношениях западных держав.

В Англии кабинет Гладстона в 1881 г. еле держался против соединенных нападений, с одной стороны, ирландцев, руководимых Парнелем, а с другой стороны, непримиримых ториев, не прощавших премьеру как его «русофильства», так и поражения при Маюбе (в бурской войне, в феврале 1881 г.). Если нужно было бы выдумать какое-либо действие, которое было совершенно неприемлемо для Гладстона и с принципиальной стороны и с точки зрения парламентских опасностей, то, конечно, опаснее участия в подобной конференции ничего придумать было бы невозможно. Что касается Франции, то она

переживала первые времена, когда республика, после долгих лет борьбы за существование против монархических партий, могла, наконец, вздохнуть сколько-нибудь спокойно. Это были годы большого влияния Артюра Ранка, старавшегося сплотить левых республиканцев вокруг ревнивого отстаивания основных начал радикализма, годы, когда Гамбетта и его политические сторонники все более и более должны были считаться с возраставшим влиянием группы Клемансо. Нужно было иметь политические горизонты среднего петербургского столоначальника, чтобы не понять решительной невозможности для любого французского кабинета в 1881 г. принять участие в проектированной конференции. Но ни Гирс, ни Сабуров ничего этого не знали, а то, что они вообще знали в этой области, они понимали очень смутно. Бисмарк, для которого, конечно, как я уже сказал раньше, с первого момента не могло существовать никаких сомнений в провале всего предприятия, естественно, всеми силами желал поссорить Россию с Францией (Англия его тогда меньше интересовала), и поэтому, как мы видели, деятельно толкал Сабурова и Александра III на этот путь заранее приготовленного и вполне неизбежного фиаско.

Справедливость требует признать, что император Александр III в общем гораздо проницательнее судил о Бисмарке, чем все его сотрудники. Вероятно, история с конференцией 1881 г. внушила ему несравненно менее оптимистические выводы, чем Сабурову, касательно искренности германского канцлера.

Былое, 1919, № 14, стр. 19—29.

ИЗ МЕМУАРОВ ГЕЛЬФЕРИХА

Лежащие предо мной большие три тома воспоминаний бывшего министра финансов (а затем и министра внутренних дел) германской империи, озаглавленные «Der Weltkrieg», дают меньше, чем обещают их размеры и имя автора.

Фигура Гельфериха — очень видная среди тех карликов (с самим Вильгельмом II включительно), которые руководили судьбами Германии в последние годы пред ее разгромом. Это не значит, конечно, что Гельферих мог бы безотносительно назваться выдающимся государственным человеком. Бойкий парламентский и застольный оратор, толковый финансист, умный и пронырливый карьерист, искушенный в бюрократических и парламентских интригах, деятельный чиновник,— этот средней руки честолюбец сделал блестящую карьеру, но и безнадежно связал свое имя с национальным крушением. Теперь он — конченный человек, хотя отнюдь не желает с этим примириться. Сделавшись одним из лидеров крайней правой (так называемой немецко-национальной) партии, Карл Гельферих не раз пробовал выступать в рейхстаге, но очень редко его выступления проходили без бурных скандалов. Самое его имя настолько ненавистно в широких слоях народа, что не только социалисты всех толков, но даже умеренные бюргерские партии стремятся при каждом случае отмежеваться от Гельфериха и всего, что он говорит и делает, даже независимо от содержания его речей и характера его нынешних дел.

Казалось бы, если человек, находящийся в таком положении, издает три толстых тома воспоминаний о войне, погубившей его доброе имя и похоронившей его политическую карьеру, то можно ждать от него хотя бы той степени откровенности, которую обнаружил в своих мемуарах адмирал фон Тирпиц. Но в том-то и дело, что Тирпиц крупнее Гельфериха: он понял окончательно, что теперь уже лукавить и умалчивать незачем, так как все равно — он заживо погребен и уже среди живых ему места нет и не будет. А Гельферих все оглядывается, все понижает голос, все умалчивает и не договаривает... Чтобы быть откровенным, ему нужно было бы перестать считаться не только со вчерашними, но и с сегодняшними своими друзьями,

не только с Вильгельмом II, но, и, например, с нынешним своим единомышленником Гергтом, который в 1917 г. с таким юмором успокаивал германский народ бессмертным афоризмом: «Ни перелететь по воздуху, ни переплыть по морю американская армия не сможет». Лукавство, политиканство, неискренность не только относительно себя (какой же историк ждет этого от мемуариста?), но и относительно других — вот характерные черты всех трех томов Гельфериха. Вместе с тем, у него хватило безвкусия наполнить свою книгу ненужными перепечатками давным-давно известных документов, цифровыми таблицами и т. п. Первый том особенно в этом отношении неинтересен. В тысячу первый раз повторяется версия о том, как Германии и Австро-Венгрии, которые нисколько не желали войны, была «навязана» война, как русская мобилизация поборола неистощимое миролюбие Вильгельма — и другие рассказы для доверчивого возраста. Но и в двух последних томах, заключающих больше тысячи страниц и посвященных времени от начала военных действий до разгрома Германии, Гельферих счел нужным привести очень много давно известного, а потому и совершенно ненужного материала. Мы тут находим и страницы, написанные американским послом Джерардом, и речи лорда Грея, и заявления Бетмана-Гольвега, и — как это ни нелепо — обстоятельное изложение ответных октябрьских (1918 г.) нот Вильсона, которые успели уже попасть даже в учебники. Если бы собрать только новое и сколько-нибудь значительное, что дал Гельферих, то вместо трех увесистых томов получилась бы тоненькая книжечка.

Постараюсь ознакомить читателя с некоторыми фактами из числа тех немногих, из-за которых вообще стоит преодолеть неблагодарный труд чтения этих мемуаров.

Гельферих принадлежал к тем германским политикам, которые, сохраняя неизменно фанфаронский тон в публичных своих выступлениях, вместе с тем с самого начала борьбы были в смутной, а иногда и вполне явственной и острой тревоге. Он боялся операций у Вердена, боялся балканского фронта, понимая уже в 1916 г. зловещее значение Салоник, долго (вплоть до русской революции) боялся России. Интересный разговор был у него с Гинденбургом 3 июля 1916 г., после наступления Брусилова. Гинденбург определенно заявлял, что, кроме тонкой завесы, у него против русских ничего нет: «чтобы заштопать прореху у австрийцев, я все отдал, без чего мог только обойтись, и даже больше того. Мне ничего другого не оставалось. Но того, что я отдал, я уже не вижу. Если теперь русские нападут здесь на нас, я не знаю, что будет». Это были очень тяжелые минуты для Германии, а в Австрии царило настроение, близкое к отчаянию. «Если бы Румыния начала нападение не-

сколькими неделями раньше, в то время когда австро-венгерский фронт был прорван, то, конечно, ничто не могло бы предотвратить катастрофу». Даже победа над Румынией нисколько не изменила общих грозных перспектив, наметившихся для Германии к концу 1916 и началу 1917 г.

Что касается канцлера Бетмана-Гольвега, то впечатление Гельфериха было таково: канцлер с самого начала войны стремился как можно скорее ее прекратить, и никакие стратегические успехи Германии не могли погасить в нем стремления к скорейшему миру. Нелепая уверенность, что Англия останется нейтральной, побудившая Вильгельма начать войну, сбила канцлера с толку в июльские и августовские дни 1914 г., но, едва только осознав свою ошибку, Бетман-Гольвег сообразил, насколько она гибельна. Вероятно, он уже с вечера 4 августа 1914 г. начал жаждать конца войны. Гельферих, конечно, воздерживается от столь неизменного объяснения миролюбия германского канцлера. «Целью войны для него было сохранение нашей территории и нашего хозяйственного имущества»,— заявляет Гельферих о канцлере. Трагизм положения Бетмана и ему подобных политиков, видевших страшную опасность впереди, заключался в том, во-первых, что они решительно не смели заявить своему народу, что их единственной, да и то с трудом достижимой, целью неслыханной войны является... сохранение status quo ante, а, во-вторых, блестящие военные победы Германии, действительно, затрудняли начало переговоров. Признаться, что была совершена с первого же дня ошибка, что «сорвалось» все предприятие на английском выступлении, на это не хватило духу. И война шла своим чередом к неизбежной развязке.

Очень драматичен рассказ Гельфериха о той борьбе, которая велась в декабре 1916 и январе 1917 гг. по вопросу о беспощадной подводной войне. Военные власти, Гинденбург и Людендорф настаивали, что это — единственное средство «в шесть месяцев поставить Англию на колени». Гельферих противился этой мере, якобы грозил даже своей отставкой (как и Бетман), но, как и Бетман, благополучно остался в занимаемой должности (министра внутренних дел), когда беспощадная подводная война была решена. Любопытно, что Гинденбург и Людендорф на решающем совещании, в ответ на слова о возможном выступлении Америки, ответили, что они «не придают особого значения выступлению Америки». Вильсон порвал дипломатические отношения и вскоре объявил войну Германии, положение которой стало критическим. Но тут пришли неожиданные вести из Петрограда.

«В то время, как заморские страны все более и более вовлекались в войну с нами,— взрыв русской революции в марте

1917 г. открыл виды на прорыв во вражеской коалиции. Ожили воспоминания о семилетней войне, когда в час величайшей опасности великий король получил весть, что его непримиримый враг, императрица Елизавета умерла и что новый царь решил прекратить войну с Пруссией».

Ожидание сепаратного мира с Россией характеризовало германскую политику уже со второй половины 1915 г. Еще осенью 1916 г., однако, по утверждению Гельфериха, «император пришел к убеждению, что сепаратного мира нельзя будет добиться и от Штюрмера, который в июле сменил Сазонова в качестве министра иностранных дел. Все указания, разнообразнейшими путями делавшиеся царю и русскому правительству, что мы согласны на приемлемый (для России — *Е. Т.*) мир, также указание, что можно достигнуть с нашими союзниками-турками урегулирования вопроса о проливах, считающегося с русскими интересами,— все это не имело никаких результатов. В частности, одно зондирование, сделанное весной 1916 года чрез посредство некоего немецкого крупного промышленника и японского посла в Стокгольме, было, вопреки состоявшемуся условию, сообщено русским правительством тотчас же правительствам Антанты».

Во всяком случае теперь, весной 1917 г., открылись, с точки зрения германских властей, иные перспективы. В апреле в Германию прибыл австрийский император Карл, который заявил, что Австрия страшно утомлена войной, и заметил, что «лучше всего было бы предложить французам Эльзас-Лотарингию, чтобы этим путем добиться мира». Но германское правительство уже успело сильно приободриться: «так как русская революция давала нам виды на освобождение от нашего великого восточного неприятеля, то общее военное положение у нас вовсе не признавалось таким, чтобы можно было хотя бы только рассуждать о пожертвовании имперскими землями».

Историю знаменитой записки графа Чернина о необходимости заключить мир безотлагательно, историю мирной резолюции рейхстага, отставки Бетмана-Гольвега, провала папского мирного посредничества (в сентябре 1917 г.) Гельферих излагает шаблонно, не приведя ни единого нового факта, не освещая событий ни одной сколько-нибудь свежей, самостоятельной мыслью.

Но вот наступил, наконец, и ноябрь (нов. ст.),— и долгожданное немцами перемирие на восточном фронте вдохнуло в Гельфериха новую надежду. Он с большой хвалой говорит о «хорошем духе» германского народа, дававшем тогда именно все надежды на окончательную победу над врагами. Вся циничнейшая игра со словами «национальное самоопределение», все до наивности неприкрытое грабительское умонастроение не-

мецких дипломатов и генералов в Брест-Литовске, все лицемерие (очень голое и тоже какое-то детски неприкрытое, свойственное в частности Гельфериху) — все это чрезвычайно выпукло выявляется перед читателем в этой части мемуаров нашего автора. От приведения деталей, которые были бы неизвестны, Гельферих и тут почему-то отказался...

Ликованию суждено было длиться недолго. Тот же 1918 г., который видел заключение брест-литовского мира, видел и заключение уничтожившего Германию перемирия 11 ноября.

Гельферих в промежутке между этими событиями успел побывать на посту германского посла в Москве. Тут обнаружилась некая двойственность в его отношениях к России. С одной стороны, то, что случилось в России и с Россией, весьма в некоторых отношениях ему приятно и представляется весьма удобным, с другой стороны, он думает не только о настоящем, но и о будущем (III, 454), и ему кажется, что в будущем сколько-нибудь добрососедские отношения с Россией необычайно затруднятся всеми этими блестящими брест-литовскими успехами германской политики. Прибыв в Москву после убийства графа Мирбаха, Гельферих окольными путями был отвезен в посольство, оттуда также выезжал с большими предосторожностями. В Берлине как раз вырабатывались спешно «добавочные пункты» к брестскому договору, и германское правительство ни в каком случае не желало ссориться, по словам Гельфериха, поэтому, чтобы успокоить германское общественное мнение, германское министерство иностранных дел пустило в прессу сообщение, будто за убийство Мирбаха в Москве расстреляны Камков и Спиридонова. Когда же советское правительство категорически опровергло эту весть, то германская цензура воспретила перепечатку опровержения в немецких газетах. Отмечу, что показания Гельфериха, касающиеся России, обстоятельны и заслуживают критического анализа со стороны будущего историка. Отмечаю это и перехожу к заключительной части третьего тома.

Гельферих сообразил, вернувшись в Берлин, после своего короткого московского сидения, что русская революционная пропаганда деятельно распространяется в рядах германской армии. Он оставил Москву, пишет он, «с давящим чувством, что боги хотят нашей гибели». Наступила страшная для Германии осень 1918 г., осень, когда Германии суждено было потерять решительно все, вплоть до (фактической) государственной самостоятельности. Здесь нужно отметить, что Гельферих, сам того, конечно, не желая, всем своим рассказом, всем сцеплением излагаемых фактов весьма успешно опровергает лживую «легенду об ударе кинжалом в спину» (Dolchstosslegende), пущенную в оборот Людендорфом и Гинденбургом с целью снять

с себя ответственность за проигранную войну и погубленное отечество. Гельферих, как и вся его партия (крайняя правая, «немецко-национальная»), тоже при случае с жаром доказывает, что во всем виновны революционеры, развратившие армию и т. п. Но здесь, в мемуарах, он это забыл или же кричащая историческая правда заставила его помолчать об удобном объяснении, придуманном Людендорфом. У читателя третьего тома разбираемых мемуаров не остается сомнения в том, что не революция заставила Германию проиграть войну, но страшные и непрерывные военные поражения, длившиеся непрерывно с 8 августа по начало ноября, довели Германию до безусловной сдачи на капитуляцию, а уже этот позорнейший и ужасающий финал, явившийся полной неожиданностью для населения, вызвал революцию, направленную против Вильгельма и его сателлитов. Этому населению так много лгали о близкой победе, что внезапное пробуждение должно было оказаться слишком страшным.

Я далеко не исчерпал, по разным причинам, всего содержания трех томов Гельфериха. Отдельные ценные черты выкупают ненужную макулатуру, которая в изобилии помещена автором во все три тома. Ни историк Германии, ни историк России без них не обойдется хотя должен будет много потрудиться. чтобы отделить ложь от истины в хитросплетениях лукавого немецкого сановника.

Былое, 1922, № 18, стр. 159—163.

ГЕРМАНСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И П. Н. ДУРНОВО В 1914 г.

I

Если сделать некоторое умственное усилие и постараться, отрешившись от вычитанных и заученных ходячих формул, взглянуть на всю политическую эволюцию русской державы за последнее столетие существования монархии, то мы должны будем прийти к совершенно определенному заключению: в недрах русской государственности всегда боролись два течения — одно, основанное на инстинкте самосохранения, другое, не учитывавшее веление этого инстинкта, и *поэтому* гораздо более активное. Для краткости условимся называть первое течение консервативным, второе — националистическим или империалистским. Поверхностным наблюдателям, были ли это публицисты или историки, все равно, казалось часто, что эти течения совпадают. Но ничто не может быть грубее этой ошибки. Поясню эти слова.

В своей книге «Падение абсолютизма в западной Европе» я указывал на любопытное (повторяющееся в истории) психологическое состояние правительственной организации, которое наступает часто в той фазе, когда абсолютизм твердо уверен в своей прочности, когда он избавлен от забот о самосохранении. Абсолютизм тогда не остается, обыкновенно, в покое: он начинает ставить пред собой такие внутренние и внешние задачи, которые, по существу дела, вовсе его не касаются и ему не нужны, сплошь и рядом такие необусловленные социологические задачи и цели, стремление к которым не диктуется никакими повелительными нуждами, и приводят абсолютистскую машину к частичному, а иногда и к общему банкротству. Это — факт бесспорный и, главное, повторяющийся. Этот факт не может изменить навсегда или даже на очень долго общее течение истории данной страны, но он нередко весьма существенно влияет на физиономию политических событий, часто укорачивает явственно те сроки бытия, которые для данного абсолютизма еще не исполнились бы, если бы не указанное психологическое явление. В этих ограниченных пределах указанный факт играет, несомненно, очень видную роль. Вся «славянская политика» русского правительства в XIX в. была в значительной мере порождением этой психологии.

Что русский абсолютизм уже к моменту революции 1905 г. себя экономически изжил, в этом сомнений быть не может. Но что та компромиссная форма правления, которая существовала в России от 17 октября 1905 г., вовсе не должна была при всяких обстоятельствах, безусловно, погибнуть 2 марта 1917 г., и так именно погибнуть, как она погибла, что, словом, ее гибель была в огромнейшей степени ускорена войной 1914 г., — с этим должен согласиться каждый беспристрастный и спокойный наблюдатель. Можно ли, если так, причислить войну 1914 г. к той категории явлений, о которых шла речь, позволительно ли утверждать, что для русской монархии эта война была той же выдуманной и вредной ненужностью, как для французской монархии была отмена нантского эдикта или война за испанское наследство?

Ставить так вопрос — значит, только запутывать дело. Войну 1914 г. желал Фалькенгайм, Мольтке младший, Берхтольд, даже Вильгельм и фон-Тширшки начали ее желать лишь в самом процессе переговоров, и в посылке ультиматума Сербии вовсе не усматривали автоматической пружины, которая, развертываясь, произведет всеобщий взрыв. В русских правящих кругах вызвать войну летом 1914 г., когда Россия была заведомо неготова, подавляющее большинство также не хотело.

Но выступление в пользу Сербии и мобилизация, т. е. именно то, что дало Германии желанный повод начать эту предупредительную войну, вся русская ближневосточная политика последних лет, мало того, вся долгая балканская традиция русской политики — все это вместе взятое было русской монархии всегда в конечном счете вредно и сокращало естественно отмеренный ей срок жизни и от этапа до этапа влекло к опасному краю пропасти. С этой точки зрения крымская война, русско-турецкая война 1877—1878 гг. и балканская политика России в 1908—1914 гг.— единая цепь актов, ни малейшего смысла не имевших с точки зрения экономических или иных повелительных интересов русского народа, а с точки зрения *монархии* — определенно самоубийственных. Географическое положение России, экономическая ее слабость, культурная растерянность и неуверенность, наличие массы враждебных, конкурирующих сил и влияний на Балканах — все это предрешало всегда неблагоприятный для России исход всех ее балканских предприятий, чисто военная успешность того или иного похода не могла тут ничего изменить.

Но этого мало. Каждое серьезное столкновение грозило России финансовым истощением, экономическим изнурением, политическим катаклизмом. Quieta non movere,— то, что находится в покое, следует и оставить в покое — такова была уже начиная, может быть, с Никиты Ивановича Панина основная тен-

денция одной школы русских дипломатов и государственных людей. Владея половиной Европы и половиной Азии, России воевать не с кем и незачем, с народом можно делать все, что угодно, еще очень долгое время, но от этого каприза, от ненужных никому войн должно воздержаться. Великий князь Михаил Павлович многозначительно говаривал, что воевать не следует, так как война *портит* войско. Александр III определенно боялся войны и отстранялся от активной внешней политики.

Такова была одна школа русских государственных деятелей. Под блестящей внешностью, за огромными размерами, они чуяли многочисленные язвы, которые, замечу, они же упорно и не желали залечивать. Ни о какой дальнейшей экспансии России они не мечтали, всегда знали, что народ в своей массе воевать не хочет и что, не воюя, им самим можно быть уверенным в полной прочности своего положения и своей власти.

Другая школа, начавшаяся Шуваловым и Бестужевым, Потемкиным и Александром I и продолжавшаяся гр. Н. П. Игнатьевым и (уже в наши дни) Гартвигом, придерживалась иных воззрений. Они так были убеждены в несокрушимой прочности русского государственного организма, что роскошь завоевательной, расовой («славянской») или иной политики представлялась им возможной. «Россия — молодая страна с военным честолюбием»,— писала газета «Новое время» в 1899 г. Русский царь — да падет пред престолом всевышнего, и да встанет, как всеславянский царь,— восклицал и приглашал Тютчев, предвидя богослужение в Св. Софии, после водружения над ней русскими усилиями православного креста. Участники славянских банкетов в Петербурге в 1912—1914 гг., провозглашавшие близкое освобождение подъяремной Галиции, были прямыми продолжателями этой стародавней и наиболее популярной и активной традиции русских правящих кругов.

Эта школа получила большую поддержку со стороны главенствовавшей партии конституционно настроенных кругов русского общества в 1908—1914 гг., начиная с эпохи аннексии Боснии и Герцоговины Австрией. П. Б. Струве усматривал (еще до этого события) в завоевании берегов Черного моря ту историческую задачу, которая может составить пункт объединения русского общества, сделаться одной из его целей в будущем. Представители первой (консервативной) традиции больше всего беспокоились потому, что на этот раз позыв к активной политике был особенно опасен. Если в 1853 и в 1877 гг. русский абсолютизм решился на военные выступления под влиянием неосновательного, быть может, по существу, но бесспорно наличного чувства собственной мощи и неприступности, то теперь, в 1908—1914 гг., этого чувства быть не могло. Это — во-первых. Во-вторых, тот ущербленный полуабсолютизм, кото

рый с 1905 г. царил в России, должен был встретиться на этот раз с такой непосредственной и грозной опасностью, с которой за 100 лет ни разу не встречался: не с Турцией, а с такой коалицией, в которой Турция являлась лишь третьестепенной величиной. Война с Австрией и Германией грозила серьезнейшей опасностью для России, и прежде всего для русского государственного строя. А кроме того, столкновение таких монархических держав, как Россия и Германия, чем бы оно не окончилось, должно было непременно подействовать разрушающим образом на самый принцип наследственной монархии и политического консерватизма. Константин Леонтьев еще в 80-х годах говорил и писал об этом. У этого замечательнейшего теоретика крайней реакции был определенный и решительный страх пред мыслью о русско-германском столкновении, вызванный именно приведенным соображением.

Но второе, империалистское, течение все более и более брало верх над консервативным. Конъюнктура складывалась, с точки зрения приверженцев этого второго течения, вполне благоприятная: в союзе с Англией и Францией ни Германия, ни Австрия не казались страшными. Правда, немедленно, в 1912, 1913, 1914 гг., никто из сторонников этого течения также войны не желал, максимум боевой готовности мог быть достигнут лишь через несколько лет. Во всяком случае начать психологическую подготовку было признано уместным.

Нелепые стремления Вильгельма II и его друзей доказать, будто Антанта (и в частности Россия) начала войну, именно оттого с самого начала и осуждены были на безнадежную неудачу, что ни Антанта вообще, ни особенно Россия в 1914 г. не желали войны ни в каком случае, вследствие ясно сознаваемой несовершенной подготовленности. Германия же была в полной боевой готовности, и ждать далее ей становилось невыгодным.

Система защиты Вильгельма II никуда не годилась потому, что, не имея возможности (ибо он мог говорить лишь о гипотезах) неопровержимо доказать агрессивные намерения Антанты *в будущем,* он принужден был, вопреки всякой очевидности и здравому смыслу, доказывать, будто на него напали уже *в настоящем,* в августе 1914 г. И раз усвоив себе этот безнадежный метод защиты, он принужден был на каждом шагу прибегать ко лжи в области чистоматериальных фактов, т. е. в той как раз области, в которой легче всего попасться и быть опровергнутым. Французы бомбардировали с аэропланов Нюренберг, русские казаки вторглись в Пруссию, Сербия убила Франца-Фердинанда и т. д. и т. д. Все это ни к чему не вело. После посылки ультиматума Сербии — защищаться на этой почве, говорить о «навязанной войне» (ein uns aufgezwungener Krieg) — значило преувеличивать наивность собственных подданных.

Но за пять месяцев до начала войны была сделана логически гораздо более сильная попытка разрушить Антанту и избавить Германию от поползновения сделать это открытой силой. В последний раз перед крушением русской монархии сторонники консервативной традиции выступили с предостережениями.

II

Их глашатаем на этот раз явился Петр Николаевич Дурново, бывший министр внутренних дел в кабинете гр. Витте, а тогда (в феврале 1914 г.) член государственного совета, доживавший свои дни.

Это была любопытная и довольно сложная фигура. Скептик и циник, он в общем вполне удовлетворительно понимал и тех, кому он служил, и тех, кем он повелевал. Он способен был на самые рискованные поступки (достаточно вспомнить случай с изъятием писем из стола бразильского посланника, послуживший причиной его опалы при Александре III), на самые беспощадные и безоглядные действия, но были моменты, когда в нем как будто начинали шевелиться более человеческие чувства. Впрочем, относительно моральной его ценности мало кто из знавших его предавался особым иллюзиям. Но в интеллектуальном отношении отрицать за ним ум ни в каком случае не приходится. И прежде всего этот ум сказывался в понимании шаткости строя, которому он служил, и вулканичности почвы, на которой этот строй стоял. Активная внешняя политика представлялась ему безумием и особенно такая, которая грозила войной с Германией. В феврале 1914 г., когда тучи на европейском горизонте стали явственно сгущаться, он подал императору Николаю II записку, во многих отношениях чрезвычайно любопытную. Это — лебединая песнь консервативной школы. Конечно, в вопросах внешней политики П. Н. Дурново был дилетант, и его ошибка (как и всех дилетантов в этой области) заключается в убеждении, будто достаточно только пожелать, чтобы переменить политику. Но рядом мы находим предвидения необычайной силы и точности. Эта записка даже не всем министрам была сообщена, только после революции она сделалась известной нескольким лицам, которым случайно попал в руки литографированный экземпляр ее. Никакого практического значения она не возымела.

Постараюсь, прежде всего, познакомить читателей с наиболее характерными частями этого исторического документа. Начинается он с общей характеристики европейского положения в начале 1914 г.

«Центральным фактором переживаемого нами периода ми-

ровой истории,— пишет П. Н. Дурново,— является соперничество Англии и Германии. Это соперничество неминуемо должно привести к вооруженной борьбе между ними, исход которой, по всей вероятности, будет смертелен для побежденной стороны. Слишком уж несовместимы интересы этих двух государств и одновременное великодержавное их существование рано или поздно окажется невозможным». Но, по мнению автора, ни та, ни другая держава не в состоянии одними лишь собственными силами раздавить соперницу. Англия ищет союзников. Какова должна быть при этом позиция России? П. Н. Дурново полагает, что прочное равновесие сил, обеспечивавшее Россию, существовало до русско-японской войны. Говоря об этой войне, Дурново с сочувствием вспоминает, что «мы пользовались благоприятным нейтралитетом» Германии, забывая прибавить, что именно Германия делала все, от нее зависящее, чтобы толкнуть Николая II на эту гибельную авантюру, а затем всячески препятствовала быстрому окончанию войны, которую она считала выгодной для своих интересов. Вообще консервативная школа, ненавидя балканские войны России, (гораздо мягче относилась всегда к русско-японскому столкновению. Начальник и политический ментор Петра Николаевича — В. К. Плеве — не скрывал, что он в войне с японцами усматривает оттяжку революции. Теперь, в феврале 1914 г., П. Н. Дурново признает, что с русской стороны причиной войны был «слишком широкий размах фантазии зарвавшихся исполнителей», тогда, в 1904 г., он этого не говорил. Во всяком случае он признает, что жить в полном мире с Японией для России и можно и должно, и подчеркивает при этом, что для улучшения отношений с Японией вовсе не требовалось после Портсмутского мира сближаться с Англией. Что же принесло России это сближение с Англией? По мнению Дурново, ровно ничего. Вред же был огромный, наиболее отрицательные последствия сближения с Англией, а следовательно, и коренного расхождения с Германией оказались на Ближнем Востоке. После сближения России с Англией Германия и Австрия начали гораздо свободнее распоряжаться в Турции и на Балканах. Присоединение Боснии и Герцеговины, образование Албании, «окончательное прикрепление» Турции к Германии — таковы были ближайшие последствия. «Итак, англорусское сближение ничего реально полезного для нас до сего времени не принесло. В будущем оно сулит нам неизбежно вооруженное столкновение с Германией».

«В каких же условиях произойдет это столкновение и каковы окажутся вероятные его последствия? Основная группировка при будущей войне очевидна: это — Россия, Франция и Англия, с одной стороны, Германия, Австрия и Турция,— с другой. Более чем вероятно, что примут участие в войне и другие

державы, в зависимости от тех или других условий, при которых разразится война...» «Италия, при сколько-нибудь правильно понятых своих интересах, на стороне Германии не выступит... Более того, не исключена, казалось бы, возможность выступления Италии на стороне противогерманской коалиции, если бы жребий войны склонился в ее пользу в видах обеспечения себе наиболее выгодных условий участия в последующем дележе. В этом отношении позиция Италии сходится с вероятной позицией Румынии, которая, надо полагать, останется нейтральной, пока весы счастья не склонятся на ту или другую сторону. Тогда она, руководствуясь здоровым политическим эгоизмом, примкнет к победителям, чтобы быть вознагражденной либо за счет России, либо за счет Австрии. Из других балканских государств Сербия и Черногория, несомненно, выступят на стороне, противной Австрии, а Болгария и Албания, если к тому времени она образует хоть эмбрион государства, на стороне, противной Сербии. Греция, по всей вероятности, останется нейтральной или выступит на стороне, противной Турции, но лишь тогда, когда исход войны будет более или менее предрешен. Участие других государств явится случайным, причем следует опасаться выступления Швеции, само собой разумеется, в рядах наших противников. При таких условиях борьба с Германией представляет для нас огромные трудности и потребует от нас неисчислимых жертв. Война не застанет противника врасплох, и степень его готовности, вероятно, превзойдет самые преувеличенные наши ожидания. Не следует думать, чтобы эта готовность проистекала из стремления самой Германии к войне. Война ей не нужна, коль скоро она и без нее могла бы достичь своей цели — прекращения единоличного владычества Англии над морями. Но раз эта жизненная для нее цель встречает противодействие со стороны коалиции, то Германия не отступит пред войной и, конечно, постарается даже ее вызвать, выбрав наиболее выгодный для себя момент. Главная тяжесть войны, несомненно, выпадет на нашу долю, так как Англия к принятию широкого участия в континентальной войне едва ли способна, а Франция, бедная людским материалом, при тех колоссальных потерях, которыми будет сопровождаться война в современных условиях военной техники, вероятно, будет придерживаться строго оборонительной тактики. Роль тарана, пробивающего самую толщу немецкой обороны, достанется нам, а между тем сколько факторов будет против нас, и сколько на них нам придется потратить и сил, и внимания! Из числа этих неблагоприятных факторов следует исключить Дальний Восток».

«Америка и Япония, первая по существу, вторая — в силу современной политической ориентации,— обе враждебны

Германии и ждать от них выступления на ее стороне нет основания. К тому же война, независимо даже от ее исхода, ослабит Россию и отвлечет ее внимание на запад, что, конечно, отвечает и японским и американским интересам... Более того, не исключена возможность выступления Америки или Японии на противной Германии стороне, но, конечно, только в качестве захватчиков тех или иных плохо лежащих германских колоний. Зато несомненен новый взрыв вражды против нас в Персии, вероятны волнения среди мусульман на Кавказе и в Туркестане, не исключена возможность выступления против нас, в связи с последним восстанием Афганистана, наконец, следует предвидеть весьма неприятные осложнения в Польше и Финляндии... Что касается Польши, то следует ожидать, что мы не будем в состоянии все время войны удерживать ее в наших руках. И вот, когда она окажется во власти противников, ими, несомненно, будет сделана попытка вызвать восстание, в существе для нас и не очень опасное, но которое все же придется учитывать в числе неблагоприятных для нас факторов, тем более, что влияние наших союзников может побудить нас на такие шаги в области наших с Польшей взаимоотношений, которые опаснее для нас всякого открытого восстания.

Готовы ли мы к столь упорной борьбе, которой, несомненно, окажется будущая война европейских народов? На этот вопрос приходится, не обинуясь, ответить отрицательно. Менее, чем кто-либо, я склонен отрицать то многое, что сделано для нашей обороны со времени японской войны. Несомненно, однако, что это многое является далеко недостаточным при тех невиданных размерах, в которых неизбежно будет протекать будущая война».

В этой неподготовленности П. Н. Дурново обвиняет «дилетантство» законодательных учреждений и тут же сваливает на них вину за новую, опасную для России, дипломатическую ориентацию. Признавая хорошие качества выучки и вооружения, Дурново указывает на существенные недочеты: прежде всего на недостаточность запасов и на трудность пополнить их, в случае закрытия ввоза, вследствие малой производительности наших заводов. Да и общая недостаточность нашей промышленности и наша зависимость от заграничного ввоза создаст, по мнению автора, очень тягостное положение. В частности, «далеко недостаточно количество имеющейся у нас тяжелой артиллерии... мало пулеметов. К организации нашей крепостной обороны почти не приступлено». Плохо оборудованы железные дороги, нет достаточного подвижного состава. Последнее слово техники будет не у нас, а у наших противников.

«Все эти факторы едва ли принимаются к должному учету нашей дипломатией, поведение которой, по отношению к Гер-

мании, не лишено, до известной степени, даже некоторой агрессивности, могущей чрезмерно приблизить момент вооруженного столкновения с Германией, при английской ориентации, в сущности, неизбежного».

Но не эти опасения являются центром тяжести в предостережении Дурново. Он настаивает, что даже в случае благоприятного исхода война против Германии даст России весьма проблематические выгоды.

«Жизненные интересы России и Германии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного сожительства этих двух государств. Будущее Германии — на морях, т. е. именно там, где у России, по существу, наиболее континентальной из всех великих держав, нет никаких интересов. Заморских колоний у нас нет и, вероятно, никогда не будет, а сообщение между различными частями империи легче сухим путем, нежели морем. Избытка населения, требующего расширения территории, у нас не ощущается. Даже с точки зрения новых завоеваний, что может дать нам победа над Германией? Познань, Восточную Пруссию? Но зачем нам эти области, густо населенные поляками, когда и с русскими-то поляками нам не так легко управиться? Зачем оживлять центробежные стремления, не заглохшие по сию пору в Привислинском крае, включением в состав российского государства беспокойных познанских и восточно прусских поляков, национальных требований которых не в силах заглушить и более твердая, чем русская,— германская власть? Совершенно то же и в отношении Галиции. Нам явно невыгодно во имя идеи национального сентиментализма присоединять к нашему отечеству страну, потерявшую с ним всякую живую связь. Ведь на ничтожную горсть русских по духу галичан, сколько мы получим поляков, евреев, украинизированных униатов? Так называемое украинское или мазепинское движение сейчас у нас не страшно, но не следует давать ему разрастаться, увеличивая число беспокойных украинских элементов, так как и в этом движении — несомненный зародыш крайне опасного малороссийского сепаратизма, при благоприятных условиях могущего достичь совершенно неожиданных размеров».

П. Н. Дурново не верит и в наиболее популярную цель русской дипломатии. «Очевидная цель, преследуемая нашей дипломатией при сближении с Англией,— открытие проливов, но, думается, достижение этой цели едва ли непременно требует войны с Германией... И есть полное основание рассчитывать, что немцы легче, чем англичане, пошли бы на предоставление нам проливов, в судьбе которых они мало заинтересованы и ценой которых охотно купили бы наш союз. Не следует к тому же питать преувеличенных ожиданий от занятия нами проливов.

Приобретение их для нас выгодно, лишь поскольку ими закрывается вход в Черное море, которое становится с тех пор для нас внутренним морем, безопасным от вражеских нападений. Выхода же в открытое море проливы нам не дают, так как за ними идет море, почти сплошь состоящее из территориальных вод, море, усеянное множеством островов, где, например, английскому флоту ничего не стоит фактически закрыть для нас все входы и выходы независимо от проливов. Поэтому Россия смело могла бы приветствовать такую комбинацию, которая, не передавая непосредственно в наши руки проливов, обеспечила бы нас от прорыва в Черное море неприятельского флота». По мнению Дурново, такая комбинация возможна, но он уклоняется от развития этой мысли в подробностях. Действительно полезными для России приобретениями он считает Персию, Памир, Кульджу, Кашгарию, Монголию, Урянхайский край, т. е. все такие места, где Россия «может встретить препятствия со стороны Англии, а отнюдь не Германии».

Точно, так же, по мнению Дурново, Германия ничего полезного для себя получить от победы над Россией не может: поляки, эстонцы, латыши слишком немцам враждебны. Что же касается экономического антагонизма Германии и России, то автор не склонен его преувеличивать, хотя и признает, что от торговых договоров с Германией интересы русского сельского хозяйства пострадали. Но и тут украдкой инсинуируется мысль, что «для союзника» Германия, конечно, могла бы пойти на экономические уступки. «Во всяком случае, мы на примере Австро-Венгрии видим земледельческую страну, находящуюся в несравненно большей, нежели мы, экономической зависимости от Германии, это однако не препятствует ей достигнуть в области сельского хозяйства такого развития, о котором мы можем только мечтать».

Словом, войны и тут никакой не требуется. «Скажу более, разгром Германии — в области нашего с ней товарообмена — для нас невыгоден. Разгром ее, несомненно, завершился бы миром, продиктованным с точки зрения экономических интересов Англии. Эта последняя использует выпавший на ее долю успех до самых крайних пределов», и тогда мы в разоренной и утратившей морские пути Германии только потеряем все же ценный для нас потребительский рынок для своих, не находящих другого сбыта продуктов. Вообще, что касается германского будущего, то здесь интересы Англии и России диаметрально противоположны: «Англии выгодно убить германскую морскую торговлю и промышленность Германии, обратив ее в бедную, по возможности, земледельческую страну. Нам выгодно, чтобы Германия развивала свою морскую торговлю и обслуживаемую ею промышленность в целях снабжения отдаленнейших миро-

ных рынков, и в то же время открывала бы свой внутренний рынок произведениям нашего сельского хозяйства для снабжения многочисленного своего рабочего населения».

Не верит П. Н. Дурново и в «немецкое засилье» в России, он думает, что Drang nach Osten уже прекращается, что, впрочем, остановить его должно, но это вполне возможно при мирных отношениях с Германией. «Что касается немецкого засилья в области нашей экономической жизни, то едва ли это явление вызывает те нарекания, которые обычно против него раздаются. Россия слишком бедна капиталами и промышленной предприимчивостью, чтобы могла обойтись без широкого притока иностранных капиталов. Поэтому известная зависимость от того или другого иностранного капитала неизбежна для нас до тех пор, пока промышленная предприимчивость и материальные средства русского населения не разовьются настолько, что дадут возможность совершенно отказаться от услуг иностранных предпринимателей и их денег. Но пока мы в них нуждаемся, немецкий капитал выгоднее для нас, чем всякий другой. Прежде всего этот капитал из всех наиболее дешевый, как довольствующийся наименьшим процентом предпринимательской прибыли. Этим, в значительной мере, и объясняется сравнительная дешевизна немецких произведений и постепенное вытеснение английских товаров с мирового рынка. Меньшая требовательность, в смысле рентабельности немецкого капитала, имеет своим последствием то, что он идет на такие предприятия, на которые, по сравнительной их мелкой доходности, другие иностранные капиталы не идут. Вследствие той же относительной дешевизны немецкого капитала, прилив его в Россию влечет за собой отлив из России меньших сумм предпринимательских барышей, по сравнению с английскими или французскими, и, таким образом, большое количество русских рублей остается в России. Мало того, значительная доля прибылей, получаемых на вложенные в русскую промышленность германские капиталы, и вовсе от нас не уходит, а проживается тут же, в России. В отличие от английских и французских, германские капиталисты большей частью и сами со своими капиталами переезжают в Россию. Этим их свойством в значительной степени и объясняется поражающая нас многочисленность немцев-промышленников, заводчиков и фабрикантов, по сравнению с англичанами или французами. Те сидят себе за границей, до последней копейки выбирая из России вырабатываемые их предприятиями барыши. Напротив того, немцы-предприниматели подолгу проживают в России и нередко там оседают навсегда. Что бы ни говорили, но немцы, в отличие от других иностранцев, скоро осваиваются в России и быстро русеют. Кто не видал, например, французов и англичан, чуть не всю жизнь проживающих в Рос-

сии и, однако, ни слова по русски не говорящих? Напротив того, много ли видно в России немцев, которые хотя бы с акцентом, ломанным языком, но все же не объяснялись по-русски? Мало того, кто не видал чисто русских людей, православных, до глубины души преданных русским государственным началам,— и однако, всего в первом или втором поколении происходящих от немецких выходцев?»

Мало того, германское «засилье» уж потому не опасно, что Германия прямо заинтересована в поддержании производительных сил России «в качестве постоянного, хотя, разумеется, не бескорыстного посредника в нашей внешней торговле». Наконец, если даже угодно искоренять немецкое засилье,— искореняйте, но воевать для этого вовсе не нужно. «Эта война потребует таких огромных расходов, которые во много раз превысят более, чем сомнительные выгоды, полученные нами вследствие избавления от немецкого засилья. Мало того, последствием этой войны окажется такое экономическое положение, перед которым гнет германского капитала покажется легким. Ведь не подлежит сомнению, что война потребует расходов, на много превышающих ограниченные финансовые ресурсы России. Придется обратиться к кредиту союзных и нейтральных государств, а он будет оказан, разумеется, не даром. Не стоит даже говорить о том, что случится, если война окончится для нас неудачно. Финансово-экономические последствия поражения не поддаются ни учету, ни даже предвидению и, без сомнения, отразятся полным развалом всего нашего народного хозяйства. Но даже победа сулит нам крайне неблагоприятные финансовые перспективы. Вконец разоренная Германия не будет в состоянии возместить нам понесенные издержки. Продиктованный в интересах *Англии мирный договор не даст ей* (Германии — *Е. Т.*) возможности экономически оправиться настолько, чтобы даже впоследствии покрыть наши военные расходы. То немногое, что, может быть, и удастся с нее урвать, придется делить с союзниками, и на нашу долю придутся ничтожные, сравнительно с военными издержками, крохи. А между тем военные займы придется платить не без прижима со стороны бывших союзников. Ведь, после крушения германского могущества, мы уже более не будем им нужны. Мало того, возросшая, вследствие победы, *политическая* наша мощь побудит их ослабить нас хоть экономически. И вот, неизбежно, даже после победоносного окончания войны, мы попадем в такую финансовую и экономическую кабалу к нашим кредиторам, по сравнению с которой теперешняя зависимость от германского капитала покажется идеалом».

Такова точка зрения П. Н. Дурново на союз с Англией и последствия этого союза для России. Мы видим, что в противо-

положность, например, князю Голицыну, автору много нашумевшей в конце 80-х годов брошюры против франко-русского союза, П. Н. Дурново ценит франко-русский союз, как благую причину устойчивости европейского равновесия, опасается же лишь вступления в этот союз еще Англии. Он боится войны, но слабая сторона его рассуждений заключается в нежелании признать, что если конфликт Англии с Германией, в самом деле, неизбежен, то России, так или иначе, не дадут остаться нейтральной, а втянут ее в войну. Значит, выбирать нужно будет не между войной или миром, но между одной войной (против Германии) или другой войной (против Англии и Японии). Иногда он как будто подходит и к этому щекотливому пункту (и неясно мимоходом намекает на *союз* с Германией), но окончательного вывода не делает. Его проницательность почти во всем, что он говорит о вероятной группировке держав, бесспорна, сильна его критика, направленная против модных в 1914 г. воплей против немецкого засилья, убедительны указания на ненужность и бесплодность для России возможной победы, на тяжкие экономические последствия войны при всяком исходе. Характерно очевидное убеждение, что, в случае поражения, Германии предстоит *разгром* и ей придется принять *продиктованный Англией* мир. С другой стороны, дилетант сказывается в легкомысленном утверждении, будто Германии «не нужна война». Нет, с точки зрения подавляющей массы юнкерства и индустриальных магнатов, война была нужна Германии. Правильно или нет было это их убеждение, но оно сыграло огромную роль в 1914 г. Если бы П. Н. Дурново ознакомился с обширнейшей публицистической пропагандой в пользу войны с Россией, которая велась в Германии с 1908—1909 г. и, все усиливаясь с каждым годом, дошла до особого напряжения в 1911—1914 гг., он бы не решился утверждать, что Германии война не представлялась нужной. Он мог ставить вопрос так: Россия неподготовлена, слаба и может погибнуть, если будет воевать с Германией, поэтому должно предпочесть войне все, что угодно, даже полную покорность германской воле, даже войну с Японией и Англией. С этим многие могли бы спорить, и в пользу этого решения Дурново мог бы найти те или иные аргументы, во всяком случае постановка вопроса была бы реальна. Он мог, наконец, указывать на неуместную и опасную агрессивность русской дипломатии (и указывал),— и тут его позиция была сильна. Но давать такую альтернативу: или все блага нейтралитета, или опасное участие в войне, он не имел никакого основания. Как полемический прием это было сильно, как исторический анализ это было недопустимо слабо. Мир зависел не только от России, но и от Германии.

П. Н. Дурново, как это явствует между строк, предвидит

поражение России. Все, что он пока говорил в своей записке, есть лишь долгое введение к нескольким заключительным страницам. В этих заключительных страницах он говорил о последствиях войны для внутренних дел России.

III

Отмечу прежде всего, что Дурново в оценке влияния будущей войны на внутренние дела вполне сходится со своим политическим антиподом — Фридрихом Энгельсом: он тоже думает, что страну, потерпевшую разгром, *непременно* в наш исторический период должна постигнуть социальная революция. Для него, как и для Энгельса, в данном случае никаких сомнений не существует. Любопытно, что он считает в России революцию весьма вероятной, даже если побеждена будет не Россия, а Германия: он верит в возможность взрыва путем, так сказать, детонации, в результате чужого соседнего взрыва. Что в России уж безусловно революция будет непременно социальной, а не политической, в этом он тоже нисколько не сомневается.

«Как бы печально, однако, не складывались экономические перспективы, открывающиеся нам, как результат союза с Англией, следовательно, и войны с Германией, они все же отступают на второй план перед политическими последствиями этого, по существу своему, противоестественного союза. Не следует упускать из вида, что Россия и Германия являются представительницами и консервативного начала в цивилизованном мире, противоположного началу демократическому, воплощаемому Англией и, в несравненно меньшей степени, Францией. Как это ни странно, Англия, до мозга костей монархическая и консервативная дома, всегда во внешних своих сношениях выступала в качестве покровительницы самых демагогических стремлений, неизменно потворствуя всем народным движениям, направленным к свержению монархий и законного строя. С этой точки зрения, борьба между Германией и Россией, независимо от ее исхода, глубоко нежелательна для обеих сторон, как несомненно сводящаяся к ослаблению мирового консервативного начала, единственным надежным оплотом которого являются названные две великие державы. Более того, нельзя не предвидеть, что, при исключительных условиях надвигающейся мировой войны, таковая, опять-таки независимо от ее исхода, представит смертельную опасность и для России, и для Германии. По глубокому убеждению, основанному на тщательном изучении всех современных противогосударственных течений, в побежденной стране неминуемо разразится социальная революция, которая, силой вещей, перекинется и в страну-победительницу. Слишком уж многочисленны те каналы, которыми, за много лет мирного

их сожительства, незримо соединены обе страны, чтобы коренные социальные потрясения, разыгравшиеся в одной из них, не отразились бы и в другой. Что эти потрясения будут носить именно социальный, а не политический характер,— в том не может быть никаких сомнений, и это не только в отношении России, но и в отношении Германии. Особенно благоприятную почву для социальных потрясений представляет, конечно, Россия, где народные массы, несомненно, исповедывают принцип бессознательного социализма. Несмотря на оппозиционность русского общества, столь же бессознательную, как и социализм широких слоев населения, политическая революция в России невозможна, и всякое революционное движение неизбежно выродится в социалистическое».

П. Н. Дурново так же глубоко верит в бессознательный социализм народных масс, как и в то, что русские оппозиционные партии совсем этого факта не учитывают и не понимают. «За нашей оппозицией нет никого, у нее нет поддержки в народе, не видящем никакой разницы между правительственным чиновником и интеллигентом. Русский простолюдин, крестьянин и рабочий, одинаково не ищет политических прав, ему ненужных и непонятных. Крестьянин мечтает о даровом наделении его чужой землей, рабочий о передаче ему всего капитала и прибылей фабриканта, а дальше этого их вожделения не идут. И стоит только широко кинуть эти лозунги в население, стоит только правительственной власти безвозбранно допустить агитацию в этом направлении, Россия неизбежно будет ввергнута в анархию, пережитую ею в приснопамятный период смуты 1905—1906 годов. Война с Германией создаст исключительно благоприятные условия для такой агитации. Как уже было отмечено, война эта чревата для нас огромными трудностями и не может оказаться триумфальным шествием в Берлин. Неизбежны и военные неудачи,— будем надеяться, частичные,— неизбежно окажутся и те или другие недочеты в нашем снабжении. При исключительной нервности нашего общества этим обстоятельствам будет придано преувеличенное значение, а при оппозиционности этого общества все будет поставлено в вину правительству. Хорошо, если это последнее не сдастся и стойко заявит, что во время войны никакая критика государственной власти недопустима, и решительно пресечет всякие оппозиционные выступления. При отсутствии у оппозиции серьезных корней в населении этим дело и кончится. Не пошел в свое время народ за составителями выборгского воззвания, точно так же не пойдет он за ними и теперь. Но может случиться и худшее: правительственная власть пойдет на уступки, попробует войти в соглашение с оппозицией и этим ослабит себя к моменту выступления социалистических элементов. Хотя это и звучит пара-

доксом, но соглашение с оппозицией в России безусловно ослабляет правительство. Дело в том, что наша оппозиция не хочет считаться с тем, что никакой реальной силы она не представляет. Русская оппозиция сплошь интеллигентна и в этом ее слабость, так как между интеллигенцией и народом у нас глубокая пропасть взаимного непонимания и недоверия. Необходим искусственный выборный закон, мало того, нужно еще и прямое воздействие правительственной власти, чтобы обеспечить избрание в Государственную Думу даже наиболее горячих защитников прав народных. Откажи им правительство в поддержке, предоставь выборы их естественному течению, и законодательные учреждения не увидели бы в стенах своих ни одного интеллигента, помимо нескольких демагогов. Как бы ни распинались о народном доверии к ним члены наших законодательных учреждений, крестьянин скорее поверит безземельному, казенному чиновнику, чем помещику-октябристу, заседающему в Думе, рабочий с бо́льшим доверием отнесется к живущему на жалование фабричному инспектору, чем к фабриканту-законодателю, хотя бы тот исповедывал все принципы кадетской партии. Более чем странно при таких условиях требовать от правительственной власти, чтобы она серьезно считалась с оппозицией, ради нее отказалась от роли беспристрастного регулятора социальных отношений и выступила перед широкими народными массами в качестве послушного органа классовых стремлений интеллигентско-имущего меньшинства населения. Требуя от правительственной власти ответственности пред классовым представительством и повиновения ею же искусственно созданному парламенту (вспомним знаменитое изречение: «власть исполнительная, да подчинится власти законодательной»), наша оппозиция, в сущности, требует от правительства психологии дикаря, собственными руками мастерящего идола и затем с трепетом ему поклоняющегося».

П. Н. Дурново настаивает, что революционное социалистического характера движение неизбежно в России, даже если война будет победоносна: «Если война окончится победоносно, усмирение социалистического движения, в конце концов, не представит затруднений. Будут аграрные волнения на почве агитации за необходимость вознаграждения солдат дополнительной нарезкой земли, будут рабочие беспорядки при переходе от вероятно повышенных заработков военного времени к нормальным расценкам, и, надо надеяться, только... (тут явный пропуск слов — *Е. Т.*) по крайней мере, пока не докатится до нас волна германской социальной революции».

Не то ждет страну в случае проигранной войны: «Но в случае неудачи, возможность которой при борьбе с таким противником, как Германия, нельзя не предвидеть, социальная рево-

люция, в самых крайних ее проявлениях, у нас неизбежна. Как уже было указано, начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В законодательных учреждениях начнется яростная против него кампания, как результат которой в стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдвинут социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и сгруппировать широкие слои населения, сначала черный передел, а за сим и общий раздел всех ценностей и имуществ. Побежденная армия, лишившаяся к тому же за время войны наиболее надежного кадрового своего состава, охваченная в большей ее части стихийно общим крестьянским стремлением к земле, окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа оппозиционно-интеллигентные партии будут не в силах сдержать расходившиеся народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, исход которой не поддается даже предвидению».

Развивая несколько ранее выставленное положение, что и в Германии, в случае неудачи, социальная революция неизбежна, П. Н. Дурново пишет: «Как это ни странно может показаться на первый взгляд, при исключительной уравновешенности германской натуры, но и Германии, в случае поражения предстоит пережить не меньшие социальные потрясения. Слишком уже тяжело отразится на населении неудачная война, чтобы последствия ее не вызвали на поверхность, глубоко скрытые сейчас, разрушительные стремления. Своеобразный общественный строй современной Германии построен... (пропуск слов — *Е. Т.*), но фактически преобладает влияние аграриев, прусского юнкерства и крестьян-собственников. Эти элементы являются оплотом глубоко консервативного строя Германии, под главенствующим руководством Пруссии. Жизненные интересы перечисленных выше классов требуют покровительственной по отношению к сельскому хозяйству экономической политики, высоких пошлин на хлеб и, следовательно, высоких цен на все сельскохозяйственные произведения. Но Германия, по ограниченности своей территории и возрастанию населения, давно уже из страны земледельческой превратилась в страну промышленную, а потому покровительство сельскому хозяйству сводится в сущности, к обложению в пользу меньшей по численности половины населения — большей половины. Компенсацией для этого большинства и является широкое развитие вывоза произведений германской промышленности на отдаленнейшие рынки, дабы извлекаемые этим путем выгоды давали возможность промышленникам и рабочему населению оплачивать повышенные цены на потребляемые дома продукты сельского хозяйства.

С разгромом Германии она лишится мировых рынков и морской торговли, ибо вся цель войны — со стороны действительного ее зачинщика, Англии,— это уничтожение германской конкуренции. С достижением этой цели германская промышленность будет подорвана в своем корне и лишится не только повышенного, но и всякого заработка, исстрадавшиеся за время войны и, естественно, озлобленные рабочие массы явятся восприимчивой почвой противу аграрной, а затем антисоциальной пропаганды социалистических партий. В свою очередь эти последние, учитывая оскорбленное патриотическое чувство и накопившееся вследствие проигранной войны народное раздражение против обманувших надежды населения милитаризма и феодально-бюргерского строя, свернут с пути мирной эволюции, на котором они до сих пор так стойко держались, и станут на чисто революционный путь. Сыграет свою роль, в особенности, в случае социалистических выступлений на аграрной почве в соседней России, и многочисленный в Германии безземельный класс сельскохозяйственных батраков. Независимо от сего оживятся таящиеся сейчас сепаратистские стремления в южной Германии, проявится во всей своей полноте затаенная враждебность Баварии к господству Пруссии,— словом, создастся такая обстановка, которая мало чем будет уступать, по своей напряженности, обстановке в России».

«Совокупность всего вышеизложенного не может не приводить к заключению, что сближение с Англией никаких благ не сулит, и английская ориентация нашей дипломатии, по самому существу, глубоко ошибочна. С Англией нам не по пути, она должна быть предоставлена своей судьбе, и ссориться из-за нее с Германией нам не приходится. Тройственное согласие — комбинация искусственная, не имеющая под собой почвы общих интересов, и будущее принадлежит не ей, а несравненно более жизненному тесному сближению — России, Германии, примиренной с последней — Франции и связанной с Россией строго охранительным союзом Японии. Такая, лишенная всякой агрессивности, по отношению к прочим государствам, политическая комбинация на долгие годы обеспечит мирное сожительство культурных наций, которому угрожают не воинственные замыслы Германии, как силится доказать английская дипломатия, а лишь вполне естественное стремление Англии во что бы то ни стало удержать ускользающее от нее господство над морями. В этом направлении, а не в бесплодных исканиях почвы противоречащего, по самому своему существу, нашим государственным видам и целям соглашения с Англией и должны быть сосредоточены все усилия нашей дипломатии. При этом само собой разумеется, что и Германия должна пойти навстречу нашим стремлениям и восстановить испытанные дружественные,

союзные с ней отношения и выработать, по ближайшему соглашению с нами, такие условия нашего с ней сожительства, которые не давали бы почвы для противогерманской агитации со стороны наших конституционно-либеральных партий, по самой своей природе, вынужденных придерживаться не консервативно-германской, а либерально английской ориентации».

IV

Такова записка П. Н. Дурново. Рядом с мыслями, отмеченными печатью большой аналитической силы, рядом с исполнившимися впоследствии пророчествами мы видим тут (в заключительной, важнейшей части) повторение той же ошибки, которую констатировали и в начале. Теперь уже после публикации документов комиссией Каутского, после опубликования третьего тома мемуаров Бисмарка, после обнародования других показаний, все германское общественное мнение (за вычетом крайних правых, не желающих видеть) согласно, что Вильгельм II нанес смертельный удар русско-германским дружеским отношениям, отказавшись от возобновления с Россией так называемого Rückversicherungsvertrag, обеспечивавшего за каждой из этих стран нейтралитет другой в случае *нападения* со стороны какой-либо третьей державы. Основная идея последних лет вильгельмовского царствования перед войной определенно заключалась в стремлении использовать слабость России для укрепления Германии на Востоке. Поэтому звучат некоторым прекраснодушием мечты П. Н. Дурново о русско-германско-французско-японском союзе, будто бы зависящем от воли русской дипломатии... Именно эту идею, этот четверной союз пропагандирует теперь Георг Бернгард, редактор «Vossische Zeitung», и с таким же пока незаметным успехом.

Разве позволительно, наконец, серьезному политику отделываться беглой придаточной фразой от самой страшной язвы, подтачивавшей полвека мир Европы? Союз Германии и «Франции, примиренной с Германией»! *Как* было их примирить? Эту интересную деталь П. Н. Дурново предпочел обойти молчанием. Но необычайно сильны его предостережения по адресу русской дипломатии. Он твердо знал, что все эти дипломатические узоры вырисовываются на кратере, который все сожжет и зальет лавой. Он понимал, какое непозволительное, гибельное дело — прогуливаться со спичкой в пороховом погребе, агитируя в «подъяремной Галиции», когда в своем завтрашнем дне нельзя быть уверенным. Он, правда, сам всю жизнь только тем и занимался, что затыкал все отдушины, но зато и понимал, что теперь котел близок к взрыву.

Характерна для него, кстати, безмятежнейшая уверенность в чужих ошибках и собственной непогрешимости. Совершенно верно, «в России соглашение с оппозицией только ослабляет правительство», но кто же виноват, поскольку это вообще зависело от воли людей, что были непроизводительно пропущены все сроки, те долгие десятилетия, когда еще не поздно было «соглашаться» с оппозицией? Кто, как не Д. А. Толстой, Ив. Н. Дурново, П. Н. Дурново и целая плеяда той же школы? П. Н. Дурново, во всяком случае, был, с своей точки зрения, логичнее тех, кто делал одинаковую с ним внутреннюю политику, а в международных отношениях бряцал оружием и размышлял вслух о грядущей победе славянства над германизмом и т. д. и т. д. Анализ русских и германских революционных возможностей свидетельствует о силе понимания. То место, где он говорит о волнах движения, с которыми уже не справятся законодательные учреждения, живо напоминает слова Монтеня о том, что люди, начинающие и подымающие бурю, никогда сами не пользуются ее результатами. Она именно их первых и сметает прочь. В афоризме французского скептика XVI в. и в пророчестве русского реакционера XX в. заложена одна и та же мысль.

Былое, 1922, № 19, стр 161—176.

ГЕГЕМОНИЯ ФРАНЦИИ НА КОНТИНЕНТЕ

(В прошлом и настоящем)

I

В обширной, отнюдь не академической полемике, которая посредством прессы ведется уже четвертый, если не пятый год между английскими и французскими правящими сферами, первенствующее место занимает тезис о стремлении нынешней Франции к установлению гегемонии на материке Европы. Этот тезис выдвигается в Англии и отвергается Францией. Осенью 1923 г. эта полемика в связи с начавшимся распадом Германии особенно обострилась. «Если бы мы знали, что за речами в защиту Эльзас-Лотарингии скрывается огромного значения тайная мысль, которая предусматривает нечто худшее, чем воскрешение политики Людовика XIV и Наполеона, то entente cordiale никогда бы не осуществилась», и Англия иначе повела бы свою политику,— так писал 29 октября 1923 г. редактор влиятельного «Observer'а», Гарвин. Французская пресса резко обрушилась на Гарвина, и тон с обеих сторон зазвучал весьма страстный.

Сделаем попытку, о которой и не думают обе спорящие стороны, объективно рассмотреть, какое место в самом деле занимает пятилетие 1919—1923 гг. в истории внешней политики Франции. Единственный для этого путь — сравнить пятилетие 1919—1923 гг. с двумя предшествующими моментами безусловного преобладания Франции на материке, причем указанное пятилетие должно, конечно, быть для нас таким же исключительно *историческим* фактом, как и оба прецедента, с которыми мы будем его сравнивать; а чтобы на этот путь встать, мы должны прежде всего отбросить от себя всю бесконечную публицистику, особенно германскую и французскую, касающуюся именно 1919—1923 гг. Эта публицистика так проникнута любовью к отечеству и народной гордостью и так бесстрашно и сознательно лжет и путает на каждом шагу самые простые и очевидные факты, она так преувеличивает при этом наивность своих читателей, что это в конце концов начинает даже занимать само по себе, как интересное психологическое явление. Серьезные публицисты и политики, вроде француза Леона

Додэ, немца Ганса Дельбрюка, француза Стефана Лозанна, немца Луйо Брентано, француза Ренэ Пинона, немца графа Ревентлова, доходят иногда до таких вершин, что если все эти авторы сподобятся прожить на свете еще лет 20—25 и по истечении этого срока заглянуть в свои произведения,— им, вероятно, самим будет не совсем понятно, как им удалось на эти вершины взобраться.

И так как в этих соревнованиях всегда принимают (и принимали) участие оба правительства, то не только для нынешнего времени, но и для острых моментов даже давно прошедших эпох сплошь и рядом приходится отказаться от пользования не только публицистикой, но и многими официальными свидетельствами.

Нужно, например, принять к сведению, что как и всегда и везде официальные мотивировки и реляции ни в малейшей степени нам не помогут разобраться в истинных тенденциях и устремлениях французской политики на восточной ее границе, где Франции приходилось завоевывать долгие века чужие местности, и поэтому словесные и письменные объяснения несколько затруднялись. «Пришлите какого к нам *беллетриста* для сочинения журнала, это идет к славе России»,— просил Суворов 11 октября 1787 г. В. С. Попова, имея в виду так называемые журналы военных действий, по которым составлялись донесения ко двору [1]. И саркастический генерал-аншеф всегда обзаводился перед походом тем или иным «беллетристом»,— в 1788 г. Грибовским, в 1799 — Фуксом.

В таких официальных беллетристах ни Франция, ни Германия никогда не испытывали ни малейшего недостатка; не испытывают и теперь.

Доказательством служит нескончаемая полемика о *Schuldfrage*, о том, кто начал воевать, кто хотел, кто не хотел (и почему) прекратить войну и кто когда проявил больше зверства при ее ведении. Все эти вопросы лет через 50 будут, вероятно, так же мало волновать историков, как нас теперь мало волнует точь-в-точь такая же полемика, которая велась после любой большой войны XVIII или XIX вв., и всей этой литературой, вероятно, будут так же мало заниматься, как мы — книгой, скажем, вице-канцлера барона Шафирова «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр первый, царь и повелитель всеросейский... к начатию войны против короля Карола 12 Шведского, 1700 году имел, и кто из сих обоих потентатов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал» и т. д. Лукавый барон Петр Павлович, во всяком случае, поступил предусмотрительнее и остроумнее нынешних германских публицистов: он оставил в стороне вопрос о том, кто хотел начать и начал войну, и не стал

доказывать, будто Карл XII напал первый на Петра, он ограничился лишь доказательствами, что у Петра были «законные» причины так поступить, и поспешил перейти к миролюбивым намерениям царя уже *во время* войны и к доказательствам, что с русской стороны «та война по правилам христианских и политичных народов более ведена», т. е., выражаясь нынешними терминами, он доказывал, что «Kriegsverbrecher'ы», нарушившие правила цивилизованных народов, находились не в русском, а в шведском стане.

Даже и при такой осторожной постановке вопросов книга Шафирова неинтересна теперь: история выясняет, что у «сих обоих потентатов» были очень *существенные* причины делать то, что они делали, а о «*законности*» этих действий даже и вопроса поставить никому не придет в голову — до такой степени это ненужно.

Сделаем же над собой усилие, отвлечемся от до сих пор не умолкающей полемики, условимся признавать, что и Антанта, и Германо-Австрийский Союз или, точнее, правившие классы обоих союзов, имели свои причины не противиться заострению противоречий в их интересах; что даже если бы они и противились, едва ли это заострение прекратилось бы; что обе стороны были одинаково чужды «человеколюбию»; что, конечно, именно Германия начала войну в 1914 г., потому что считала, что дальше «время будет работать против нее и в пользу Антанты»; что, разумеется, точно так же войну способна была начать и Антанта, но только в другой момент, когда Антанта, а не Германия считала бы себя готовой. Вчуже неловко и даже совестно за выдающегося историка Ганса Дельбрюка, когда он, яростно споря с Каутским, доказывает, что в июле 1914 г. соседи напали на Германию (ein Ueberfall!). Никогда бы Шафиров не позволил себе такой безвкусицы; он миновал бы этот подводный риф и начал бы с доказательства «законности» интересов, во имя которых его страна объявила войну.

Правда, барон Шафиров писал свою книгу в 1716 г. (а издал в 1717), т. е. тогда, когда уже было ясно, что долгая война окончится так или иначе с выгодой и территориальными приращениями для России, а Дельбрюк и его товарищи (по несчастью в полемике) писали и пишут, когда их отечество находится на дне политического уничижения. Шафирову легче было сохранить хладнокровие и не ставить себя в смешное положение.

Точно так же, когда говорим о наблюдаемых в новой истории попытках Франции установить свое политическое и экономическое преобладание на континенте Европы, то мы только из психологического любопытства можем интересоваться той обличительной летучей литературой, которой так много

теперь расплодилось в Германии и которая направлена к установлению вероломства и душевной низости всех французских правителей вообще, а нынешних в особенности. Эта литература также не может нам дать подлинного понимания истории и действительности, как и аналогичная по своей научной правдивости французская публицистика, в стиле Луи Бертрана, доказывающая (мы дальше приведем образчик), что как Людовик XIV, так и ныне Пуанкаре, занимая германские города, действовали, находясь в состоянии законной самозащиты, и что гений реки Рейна, le génie du Rhin, что бы там ни говорили внешние факты, требует присоединения левого берега к Франции.

Все это по-своему любопытно, и при анализе психических явлений, связанных с острыми историческими кризисами, все эти германские и французские полемисты никак не могут быть обойденными молчанием. Но этот анализ нас тут не интересует. Единственная наша цель — сравнить объективные условия, в которых делается ныне попытка установить французское преобладание на континенте, с теми условиями, в которых наблюдались два предшествующих аналогичных феномена при Людовике XIV и Наполеоне I.

Как дело дошло до положения, когда стала возможной нынешняя французская политика,— это вопрос для нас в данном случае второстепенный. Важнее всего тут определить: в какой исторический момент воля французских правителей встретила больше, а в какой меньше объективных внешних препятствий в осуществлении своих стремлений.

Потому что воля, и воля твердая, была тут всегда налицо.

Во все три эпохи решительного натиска на Рейн и борьбы за установление политического и экономического преобладания — и при Людовике XIV, и при Наполеоне I, и при нынешних французских правителях — можно как угодно квалифицировать дух и цели их политики, но направляющая государственный корабль воля отличается полной определенностью основных устремлений.

Ничего тут не наблюдается такого, что сколько-нибудь напомнило бы манерное признание любующегося собой Петрарки: Voluntates meae fluctuant, et desideria discordant et discordando me lacerant! Никогда во все эти эпохи ни воля французской дипломатии не колебалась, ни желания не противоречили одно другому, и никакие эти возвышенные и деликатные терзания никого не беспокоили; не только их самих, руководителей и повелителей, но и главную массу дававшего тон современного им общества, политически-влиятельных классов. Никогда тут не случалось так, как бывало в России, чтобы до последней минуты не было решено, стоит ли брать Константинополь или не

стоит и вообще стоило ли воевать «за болгар» или умнее бы было воздержаться; никогда не бывало и так, как было в Германии, чтобы одно и то же правительство на протяжении двадцати четырех часов сначала приказало войскам войти в Бельгию, и по истечении суток всенародно само призналось бы, что «с Бельгиею поступлено несправедливо», и этим признанием снабдило бы врагов благодарнейшей темой для пропаганды.

Эта воля выковывалась долго — и материальная почва была для этого подходящей.

II

Франция объединилась на континенте Европы одной из первых, и долгие столетия она была окружена на юго-востоке, востоке и северо-востоке мелкими и сравнительно слабыми государствами. Учение об «естественных границах» (Океан, Пиренеи, Альпы, Рейн) уже существовало на переходе от средних веков к новому времени, и учение это стремилось дать обоснование экономическому завладению прирейнскими и предальпийскими итальянскими территориями. Территории же эти манили прежде всего своим собственным материальным богатством (Рейн) или близостью к богатым и легко могущим стать добычей торговым ломбардским республикам (предальпийские земли). В обоих случаях не было естественных препятствий; обыкновенно нельзя было опасаться сильного сопротивления; всегда добыча могла сторицей вознаградить за усилия.

Любопытное явление: эта очевидная, сравнительная нетрудность первых шагов завоевательной политики с давних пор опьяняла и окрыляла французскую политическую публицистику, и мысль о господстве над Рейном издавна сливалась у многих с мыслью о господстве над Европой. Так, впрочем, смотрели на движение французов к «естественным границам» и в других странах Европы. Историография Англии, Германии, Италии очень склонна поэтому отодвигать в глубь веков начало французских стремлений к гегемонии. К слову замечу, что и у нас, в историографии русской, это воззрение привилось.

Сергей Соловьев дает даже такую схему: «Новую политическую историю западной, а потом и восточной, всей Европы можно рассматривать, как историю борьбы против преобладания Франции... При Людовике XIV Франция следует своему исконному стремлению к гегемонии». Он только выражением «*исконное*», помещенным в данной связи, может внушить читателям неправильное представление, будто уже до Людовика XIV европейская гегемония ставилась, как цель *официальной* французской дипломатией. Это утверждение было бы неправильно; и все-таки невольно думается, что если только Соловьев когда-

нибудь читал Пьера Дюбуа, королевского юриста («Легиста») из Кутанса в царствование Филиппа Красивого, или хоть слыхал о нем, то некоторая неточность в этой вышеприведенной фразе русского историка заслуживает снисхождения [2]. Интересный был публицист Пьер Дюбуа, и не следует удивляться, что он излагал свою программу необузданной экспансии в такие скромные времена, как начальные годы Филиппа Красивого. Подобные кажущиеся анахронизмы — не редкость в истории политических учений. Ведь и московская мысль о «третьем Риме» возникла в платящей дань Крыму, большой, постоянно погорающей, разбросанной деревне, на мелкой речонке Москве реке, а не тогда, когда это более приличествовало, например, не в дни смотра русских войск в 1814 г. под Парижем, когда Россия в самом деле стояла на верху политической силы и военной славы и когда торопившиеся люди поговаривали, что наполеоновская гегемония заменена русской; ведь и японский мечтатель Окакура писал свои обе книги — «Пробуждение Японии» и «Идеалы Востока» — и создавал свою доктрину о «единстве Азии» и о всеазиатской роли Японии не *после* победы над Россией и не после приобретений всемирной войны, а несколько *раньше,* как раз в годы глухого национального раздражения и обиды по поводу кассации главных условий Симоносекского договора. Присутствие крепости, свежести, внутренней уверенности чувствуется индивидуумами раньше, иногда даже много раньше, чем эта сила проявится нацией в борьбе с внешним миром, раньше, чем эта борьба окончится хотя бы частичной победой. Дюбуа (точнее du Bois) был одним из тех легистов, которые так помогли Филиппу Красивому в его решительной схватке с папской курией; Petrus de Bosco, advocatus causarum regalium, таковы его латинизованные имя и звание. Но трактат, который нас тут интересует,— первый по времени из дошедших до нас трактатов Дюбуа,— посвящен исключительно вопросам внешней политики, которую автор понимает, как политику завоеваний. Он, заметим к слову, дал своему трактату курьезное наименование, как будто там идет речь о *сокращении* войн [3]. Написал он свое сочинение осенью или в начале зимы 1300 г.

Основная идея автора выражена им с совершенной откровенностью: хорошо было бы, чтобы весь свет подчинился французскому королевству. Expediret totum mundum subjectum esse regno francorum! Вопрос только ставится о деталях, тактике и последовательности. Пьер Дюбуа дает совет Филиппу Красивому прежде всего завоевать Лотарингию, либо принудив герцога Лотарингского признать свою полную зависимость от короля, либо просто уничтожив этого герцога. Пример Лотарингии должен быть настолько устрашающим, чтобы остальные народы смирились без сопротивления. Патриотические фантазии

Дюбуа приводят к идее о завоевании французами Византии, Испании, Германии, Италии,— всех стран континента по сю сторону Средиземного моря. Но необходимой предпосылкой он считает овладение Ломбардией, потому что Ломбардия даст французскому королю деньги, звонкую монету, в которой Франция так нуждалась. Это — очень характерная черта: при Людовике XIV, спустя три с половиной столетия, тоже проявлялась тенденция сначала получить в свои руки движимые капиталы, а потом уже приступать к большим предприятиям. От времен Пьера Дюбуа до итальянских войн Франциска I звонкую монету ищут на юге; при Людовике XIV взоры обращаются к северу, от Италии — к Голландии и к Рейну. Но тут мешал некоторый заколдованный круг: для получения денег нужны войны, а для ведения войн нужны деньги. Посильное решение этой задачи и составляет главное содержание политики последних двух Капетингов, всех Валуа и первых Бурбонов.

В этом стремлении к экономическому и политическому преобладанию державы, почувствовавшей свою силу пред соседями, не было, конечно, решительно ничего, исключительно свойственного французам: от начала государственных образований до 1924 г. этот феномен повторялся у разных народов и при самых разнохарактерных условиях. Главное препятствие к систематическому использованию имевшейся живой силы для завоевательных войн состояло, конечно, в слабости общего денежного хозяйства в стране, и поэтому — в неуверенности и необеспеченности королевского казначейства. Там, где надо было промышлять сегодня порчей и подделкой монеты, завтра конфискациями у мнимых еретиков Тамплиеров и постоянными займами у кого угодно и на каких угодно условиях, там еще нельзя было мечтать о долгой, последовательной, агрессивной политике. В начале своего царствования, в 1287 г., Филипп IV занимает деньги у Руана (на самых невыгодных для казны условиях); после его смерти, новый король Людовик X (Сварливый) спешит 4 июня 1315 г. призанять денег у города Лиона, отдавая за это кредиторам в залог все финансовые права казны во всем лионском сенешальстве. И так начиналось и кончалось всякое царствование в течение нескольких столетий, пока Франция объединялась и округляла границы. Упорство в движении к Рейну поражало современников уже в XV, в XVI вв. Ничто не могло надолго отвратить взоры французских правителей от восточной границы.

Нужно, кстати, заметить что в эти первые века расширения французской державы наблюдателей особенно поражала цепкость и упорство в удержании раз завоеванного. «Удивительна ваша жадность, так как то, что вы раз получили правдою или неправдою,— никогда вы не желаете выпустить»[4],— сказал

французскому послу в глаза папа Бонифаций VIII, в 1300 г. (напомню к слову, как раз в том самом году, когда легист Пьер Дюбуа писал свой трактат). А стоял перед папой другой легист Филиппа Красивого, Пьер Флот, который, «улыбаясь» («en souriant»), ответил: «Конечно, государь, вы говорите верно». Бонифаций еще и посильнее выразился, во время той же негоциации, и даже помянул нечистую силу: «...и поэтому очень должен беречься тот, кто имеет дело с французами, так как тот, кто имеет дело с французами, имеет дело с дьяволом» [5].

Упорные навыки и настойчивые подходы французской дипломатии, выработанные уже во времена Филиппа Красивого, которого наблюдал Бонифаций VIII, продолжались и обращали на себя враждебное внимание спустя 250 лет, при Генрихе II, которого анализировал англичанин Эшем.

Наблюдая в средине XVI в. Генриха II, завоевателя трех лотарингских епископств — Меца, Туля и Вердена,— в его борьбе с императором Карлом V, английский дипломат Роджер Эшэм писал, что французский король для достижения своей цели соединился бы с протестантами и папистами, с турками и с дьяволом. За вычетом последнего поименованного персонажа, Генрих II и в самом деле, последовательно (а иногда одновременно) вступал в союз со всеми пересчитанными разнохарактерными силами.

И, правильно оценивая факт, англичанин не знал только, как с этим французским упорством бороться.

Во второй половине XVI в. (и именно после Генриха II) наступает некоторый перерыв. Сложные движения в дворянстве и буржуазии на юге и отчасти в центре, комбинирующиеся с открытым или замаскированным вмешательством англичан, голландцев и испанцев во внутренние дела французской монархии, принимают обличие и получают историческую печать религиозных войн, и единство государства оказывается на некоторое время в угрожаемом положении. Но первая половина XVII столетия восстанавливает утраченное великодержавие: «Ришелье, а за ним Мазарини деятельно и успешно борются с Габсбургским домом и против всяких попыток сплочения германской империи. Франция и коалиция одерживают конечную победу, и Вестфальский мир оставляет западную, прирейнскую, Германию в состоянии раздробленности и беззащитности.

Вот тут-то и выступил на арену инициатор первой попытки установления французской гегемонии в Европе.

Материальная база была готова: большая, многолюдная страна, объединенная держава, с достигнутым, временным и относительным, конечно, равновесием социальных сил, с упроченным абсолютистским аппаратом, с развивающейся финансовой системой, очень приспособленной к нуждам и к характеру

этого абсолютистского аппарата, наконец, страна с традициями долгих войн и постоянных армий.

Но и база моральная была налицо. Времена, когда боровшиеся партии вели каждая свою собственную внешнюю политику,— одна — испанскую, другая — голландскую, третья — английскую,— эти времена отошли в область преданий.

Инстинкт коллективной покорности воле официального представителя интересов Франции, молчаливой дисциплины во всем, что касается внешней политики, инстинкт, и теперь поражающий наблюдателя во Франции, уже овладел господствующими классами ко второй половине XVII в. окончательно.

Впрочем, уже и несколько раньше это явление быстро вытесняло старые воспоминания о героических временах «религиозных» войн и об остроте классовых и групповых расхождений, лежавших в их основе. Напрасно старался угрюмый и талантливый гугенот Агриппа д'Обинье воскресить эти былые традиции в своих стихотворных и прозаических вещах; их мало читали и безнадежно забыли. Точно так же только потомство, а вовсе не современники, оценило болезненную силу Паскаля и сарказмы, блеск и правдивость психологических наблюдений и размышлений вслух разочарованного Ларошфуко. И аскет из Пор-Руаяля, и светский скептик из салона m-me де Саблэ были совсем не ко двору. Слишком много было в господствующих классах воли к деятельности, устремлениям к добыче, к Страсбургу, к Пфальцу, к голландским складам, к английским шкунам.

Тут следует оговориться. Так называемая религиозная политика Людовика, вызванная отчасти желанием окончательно подавить казавшийся подозрительным в политическом отношении гугенотский дух, отчасти влияниями католического духовенства, отчасти во многих эксцессах являвшаяся порождением особой психологии, свойственной абсолютизму в определенные моменты его существования [6], эта религиозная политика вовсе не была исторически наиболее значительным феноменом царствования Людовика XIV, но и во внутренних и во внешних делах она больше всего заставляла себя замечать и о себе говорить. Это иногда может искажать историческую перспективу при изучении эпохи.

Приведем пример, вспомним, чем интересовались, о чем говорили и страстно спорили во Франции и во всей Европе как раз в годы после Нимвегенского мира, когда отчасти готовился, отчасти уже происходил захват германских городов и когда только что был оккупирован французами Эльзас.

Одновременно с укреплением своих позиций на Рейне и на бельгийской границе Людовик XIV был в своей внешней политике поглощен опасной, но всегда, вплоть до начала войны за

испанское наследство, удававшейся ему пробой своих сил, испытанием прочности своего престижа, проверкой своего положения, как гегемона западной части европейского материка. Например, среди серьезных военно-дипломатических забот и осложнений король и его правительство месяцами поглощены конфликтом с женевской общиной, ибо ces messieurs de Genève, т. е. члены городского совета с синдиком во главе, не желают разрешить отправление католической мессы в этой твердыне кальвинизма.

И вот, в 1678 и в 1679 гг., королевский представитель де Шовиньи предпринимает упорную дипломатическую кампанию против Женевы: по крайней мере нельзя ли не петь эту мессу, а только говорить? — Нет, нельзя. А не согласится ли M. de Chauvigny съездить куда-нибудь поблизости, если ему дать городских лошадей и экипаж, чтобы вне Женевы послушать мессу? — Нет, не согласится, он хочет, чтобы месса была в Женеве. Но ручается ли он, что кроме французов из посольства никого на эту мессу из граждан Женевы не пустят? — Нет, не ручается, напротив, месса будет открытой. Около полутора лет шли эти перекоры, пока 30 ноября 1679 г. месса, наконец, была впервые отслужена в Женеве. Великая победа была одержана христианнейшим королем, и «вся Европа на это смотрела, как на чудо»: «Sa majesté a pu introduire la messe à Genève ce qui est regardé comme un prodige par toute l'Europe»,— с гордостью писал Шовиньи в Париж. Об этом говорили больше, чем спустя два года о присоединении Страсбурга к Франции.

Вот чем они занимались. Конечно, не к католической ревности короля, а к другим более отдаленным и сложным причинам должно направить внимание, если угодно заняться разъяснением всех этих характерных для XVII столетия фактов. Но здесь нам важно отметить одно: усилия французской политики в начальную эпоху первой по времени гегемонии дробились между несколькими разнохарактерными целями: 1) борьба с германо-австрийскими владениями; 2) борьба со страной более развитого капитала — Голландией; 3) борьба с протестантскими соседями (даже и помимо Голландии), как с явными союзниками французских гугенотов.

Борьбы с Англией еще не было: она началась только после второй английской революции 1688 г.

Оговорка же, которую мы хотим сделать, заключается в том, что «религиозная политика» Людовика долго и безнадежно извращала все перспективы при изучении этой эпохи.

Когда историческая наука была уже не совсем в младенчестве, в 1829 г., когда уже началась деятельность Ранке, один из тонких и широчайше образованных (по европейскому масштабу) тогдашних мыслителей, Чаадаев, писал: «Что такое бурная

эпоха Карла I и Кромвеля и весь этот длинный ряд происшествий, ее породивших, до самого Генриха VIII, как не развитие чисто религиозное? Во всем этом периоде выгоды чисто политические появляются второстепенными побудителями, и часто исчезают совершенно, или приносятся в жертву мнению» [7].

Подобные фантазии долго внушала даже иным проницательным умам история и Англии и Франции XVI—XVII в., и нельзя сказать, что и в настоящее время историография названной эпохи вполне от них освободилась. Отмена Нантского эдикта, последствия которого так долго, тенденциозно и так безмерно преувеличивались сначала протестантской, потом либеральной исторической литературой, обращала на себя гораздо больше внимания, чем рейнская политика Людовика XIV.

Упорные войны с Голландией и Испанией, присоединение Франш-Контэ, Страсбурга и всего Эльзаса — вот факты первой половины царствования, далеко превосходящие по своему историческому значению отмену Нантского эдикта, хотя и лишенные того трагического ореола, который лежит на истории религиозных преследований в последние пятнадцать лет XVII столетия.

Если угодно приурочить начало гегемонии Людовика XIV, его преобладающего влияния в Европе, к какому-нибудь более точному моменту (это всегда будет несколько искусственно), то основательнее всего было бы остановиться на годах действия Chambres de réunion или, в частности, на 1681 г., когда Людовик присоединил к Франции столицу Эльзаса — Страсбург.

Как известно, софист Протагор утверждал в свое время, что если бы боги не дали людям чувства стыда и справедливости, то существование государства было бы невозможным. Этот парадокс, если его применить *к международной* политике любого государства, покажется особенно курьезным и лживым в каждом слове своем. В частности, указанные Протагором качества играли минимальную роль в годы округления восточной границы при Людовике XIV.

Дела слагались так, что не было необходимости ни в каких теориях, ни в «естественных границах», ни в чем другом. Нужен был наскоро приисканный предлог, и нужно было продолжить и распространить уже выработавшуюся во Франш-Контэ практику оккупации — на Эльзас. Направление было дано с первых лет царствования Людовика, и отмечено было очень тонко и точно посторонними наблюдателями еще за восемь лет до начала завоевания Эльзаса и за четырнадцать лет до занятия Страсбурга.

С тем реализмом, который был им свойственен, московские дипломаты, посетившие Францию в 1667 г., сразу оценили истинную природу миролюбия короля Людовика XIV. Вот что мы

читаем в отчете («статейном списке») стольника Петра Потёмкина и дьяка Семена Румянцева: «С испанским королем французский король помирился, а любви совершенной нет, да и впредь чают хотя малая причина будет, за что может французский король мирное постановление разорвать, и он де тотчас войско собрав да внезапу на которые городы придет, и, поймав городы, *да опосле будет мириться.* А что завладеет, и *того мало поступается назад»* [8]. В последней фразе заключена та же мысль, которую высказал, как было выше сказано, папа Бонифаций VIII в 1300 г.

Петр Иванович Потемкин в 1667 г. смотрел на дело гораздо правильнее и реалистичнее, чем смотрит в 1923 г. академик Луи Бертран, утверждающий, что Людовик XIV принужден был воевать, ибо недобросовестные враги не хотели честно исполнять мирные договоры [9]. В том-то и дело, что Людовик XIV в самом деле сначала норовил «внезапно» «поймать городы», а уже «опосле» спешил оформить все в мирных трактатах. Замечу, к слову: очень жаль, что Потемкин и Румянцев так много и с таким вкусом повествуют о том, как они в глаза выругали уполномоченное лицо герцога Грамона «скверным псом» (за то, что тот собирался взять с них пошлину), и о других тоже очень темпераментных своих выступлениях и так скупо характеризуют дипломатическое положение Франции. Но, повторяю, общий *дух* политики Людовика XIV уловлен ими вполне точно и определен совершенно правдиво, хотя и слишком лаконично.

Аннексии на Рейне — быстрые, обдуманные, решительные, всегда удачные — следовали одна за другой.

Почти одновременно одна за другой предпринятые войны против Голландии привели к расширению французских границ на севере и поставили под вечно грозящий удар всю голландскую торговую и политическую жизнь. Близкая помощь, на которую при других условиях могли бы рассчитывать аннектируемые прирейнские владения со стороны Голландии, временно исчезла.

Еще в 1675 г. состоялось завоевание Эльзаса, в 1681 г. оно было довершено окончательно.

Когда 23 октября 1681 г. Людовик XIV торжественно въехал в занятый впервые французами Страсбург, то епископ страсбургский, немец по происхождению, Эгон фон Фюрстенберг воскликнул, встречая его в соборе: «Nunc dimittis»! Это «ныне отпущаеши» было весьма фальшиво, по существу, так как Эгон боялся и ненавидел Людовика, но оно легализовало окончательно аннексию Эльзаса и эльзасской столицы. Впрочем, население Страсбурга, ждавшее со страхом наихудшего, было довольно, что все окончилось мирно. Покоряться — и по возможности немедленно, без излишних разговоров — было единственной воз-

можной политикой для прирейнских аннектируемых территорий. Австрийская империя оказалась с начала 1680-х годов под угрозой турок, остальные германские державы подавно ничем до поры до времени помочь не могли. Единственная возможная опасная соперница Франции — Англия — пребывала с 1660 г. во власти Стюартов, получавших тайные денежные субсидии от Людовика, нужные им для успешной борьбы с английским парламентом. Так дело шло до конца 1688 г.

Английский государственный переворот в декабре 1688 г. внес коренное изменение во всю европейскую ситуацию. Английский крупный и средний движимый капитал (в лице представлявшего его Сити) готов был уже в 1647 г. примириться с Карлом I, а в 1655 г. предложить корону лорду-протектору Кромвелю, лишь бы поскорее восстановить спокойную государственную жизнь, возобновить борьбу с Голландией и начать борьбу *с Францией;* представители движимого капитала с полным восторгом встретили в 1660 г. милорда Карла, когда он триумфально шествовал от берега моря в свой дворец, чтобы занять там после долголетних скитаний престол своего казненного отца; они делали все зависящее, чтобы избежать вторичной революции, и только сумасбродства и насилия Иакова II, соединявшего в себе умонастроение Филиппа II испанского или Торквемады с темпераментом и обдуманностью нашего Павла Петровича и с личными качествами императора Коммода, заставили Сити участвовать в низвержении династии Стюартов с престола и приветствовать воцарение Вильгельма III. Что касается другой основной экономической силы тогдашней Англии — землевладельческого класса (куда дворянство входило определяющим, но уже отнюдь не единственным элементом),— то этот класс в общем, в своей массе, повторил почти ту же эволюцию, за вычетом разве увлечения Кромвелем. О меньшинстве, оставшемся в душе верным Стюартам после 1688 г., говорить здесь совершенно излишне, на внешнюю политику эта династическая оппозиция влияния не имела.

Демократические слои города (представители наемного труда) и деревни (малоземельные фермеры, батраки, быстро уменьшавшееся в количестве собственническое крестьянство) в вопросах внешней политики были настроены в Англии либо безучастно, либо иной раз более воинственно, авантюристично конквистадорски, чем представители капиталистических верхов.

Поиски «нового отечества» за морем, распашка новых земель, добывание внезапных богатств, переселение на девственные новые материки и острова приводили к постоянным столкновениям именно *с французами.*

В глазах оскудевшего английского эмигранта, уезжавшего за море пытать нового счастья, Иаков II был двойным изменником:

он продал «истинную веру» и подчинился вавилонской блуднице, т. е. римской церкви, и он же продал Англию Людовику XIV за субсидию. Бедные кварталы Лондона приняли революцию 1688 г. с ликованием.

Таким образом, почва для начала борьбы против французской гегемонии у Вильгельма Оранского оказалась чрезвычайно прочной. Побудительных же причин и толчков было более, чем достаточно.

1. Во Франции было приблизительно в три раза больше населения, чем в Англии, почва была гораздо плодоноснее английской, климат лучше, поверхность, ею занимаемая, почти в два раза больше английской. Французский флот к концу XVII в. мало уступал английскому. Французские войска были безусловно первыми в тогдашней Европе и количественно и качественно, французские финансы были еще не вполне расшатаны со времен Кольбера.

Непосредственное нападение на Англию было всегда (и оставалось к концу XVII в.) предприятием, чрезвычайно рискованным для атакующего, но редко оно было, вместе с тем, столь опасным и для атакуемого. Окончательное утверждение французской гегемонии на материке должно было иметь непременным логическим своим последствием высадку французской армии в Англии. Если бы даже Людовик XIV не содержал на всякий случай в Сен-Жермене изгнанных Стюартов и их двор, если бы даже он не давал постоянно денег и оружия ирландцам, если бы даже его агенты не вели тайной агитации и разведок в самом Лондоне, все равно вся его политика в Европе клонилась, как к необходимому своему завершению, к попытке сломить Англию прямым ударом.

2. Монархия Людовика грозила Англии не только в Европе. Успешное основание колоний в Азии и Америке сделало Францию почти на всех мировых путях опаснейшей и бдительной соперницей Англии. В Индии, в Северной Америке, в Африке — всюду шла нескончаемая война между английскими и французскими сеттлерами. Сеттлеры часто вели истребительную борьбу *при деятельной поддержке регулярных войск* — это любопытнее всего,— даже тогда, когда между метрополиями царил глубокий мир. Французский посол Барильон со всеми придворными, в четыре темпа, поклонами вручал королю английскому Иакову II взятку в полмиллиона ливров; король в умилении просил Барильона в ответ передать Людовику XIV: «Моя привязанность к нему будет длиться столько же, сколько моя жизнь»,— а в то самое время, когда в Уайтгольском дворце происходила эта идиллия, французы и англичане резались на берегах северо-американских рек почти без перерывов и даже тренировали краснокожих для деятельного участия в этом со-

стязании. Когда же революция 1688 г. изгнала Иакова из Англии, эта борьба в колониях и из-за колоний приняла особенно широкий характер.

Но война первой коалиции против Людовика XIV, где в первый раз участвовала Англия, показала, что рубить корни французской силы возможно будет лишь очень медленно и наперед мирясь с неудачами и разочарованиями. После этой долгой и изнурительной войны, начавшейся в 1688 г. и еще не окончившейся в 1696 г., после войны, где против Людовика XIV боролась Австрия со всеми своими германскими союзниками, Голландия, Англия, Савойя, Испания, при полной изоляции Франции, у которой не было *ни одного* союзника, которая была окружена со всех сторон врагами, Вильгельм III, король Англии и штатгальтер Голландии, душа союза, человек железной энергии и крутого, упорного духа, осенью 1696 г. написал своему ближайшему другу, великому пенсионарию Гейнсиусу: «В этом случае (если Савойя заключит сепаратный мир с Людовиком, что и случилось — *Е. Т.*) я не вижу, как мы можем продолжать войну, не подвергаясь верной гибели, и мы будем принуждены заключить такой мир, какой Франция пожелает нам даровать». Вильгельм метался во все стороны, ища денег. Оп самым серьезным образом писал, чуть не с полей битв, в Англию, что ему нечем кормить солдат и что если не подошлют денег, то армия разбежится. А министры не знали, где достать хоть часть нужной суммы. «Если не удастся (достать деньги от английского банка — *Е. Т.*), один бог знает, что может быть еще сделано. Все средства должны быть испробованы, лучше, чем лечь и умереть (rather than lie down and die)»,— так писал 7 августа 1696 г. королю Вильгельму лорд Шрэсбери, государственный секретарь и член регентства. Вот при таких условиях приходилось бороться.

А Людовик все еще держался. Нужно было заключить мир и сделать передышку. Когда 10 сентября 1697 г. Рисвикский мир был подписан, Людовик твердо стоял на ногах, и мысль его была уже всецело поглощена назревшей новой, хотя и замаскированой, аннексией, которая обещала окончательно упрочить его гегемонию в Европе. Предстоял захват Испании домом Бурбонов.

III

Война за испанское наследство всегда изучалась по старинке, авторы не утруждали себя и читателей особенно сложными вопросами; и например, в немецкой и английской историографии мы найдем немало подробных описаний дипломатических переговоров и анализ военных действий принца Евгения,

Мальборо, маршала Виллара, и очень немного о причинах необычайного упорства сторон в войне, которая кончилась затем такими, по-видимому, мало решительными для *всех* воевавших сторон результатами. Когда-нибудь история этой войны или, вернее, история Европы в эпоху этой войны, будет пересмотрена исследователем, который, может быть, не сумеет даже ответить ни на один большой вопрос, но захочет эти вопросы только *поставить,* и уже, тогда, наверно, удивятся, что под хламом старых ненужностей так долго не замечали громадного, незаменимого материала для истинного, а не призрачного познания истории европейских народов. Если бы на всестороннее исследование эпохи войны за испанское наследство была потрачена $^{1}/_{10}$ того труда, который, например, пошел на историю отмены Нантского эдикта и ее последствий, то выигрыш для науки был бы огромный. Но — habent sua fata themata, не только libelli. Одной теме везет, другой — нет. *Этой* теме не повезло.

Французская историография тут интереснее английской и германской, но и она чрезвычайно мало помогает делу. Здесь можно отметить по вопросу о начале войны за испанское наследство два основных течения. Одно представлено историками в духе академика Луи Бертрана, новейшего самого блистательного по своему стилю и наиболее откровенного по основной тенденции из апологетов Людовика XIV: король-солнце всегда отличался мудростью, умеренностью, осторожностью, терпел от недобросовестности противников, но что же ему было делать, если враги и тогда, как и теперь («comme dans la Ruhr!»,— слова Бертрана) отказывались от выполнения обязательств? Подобно другому страдальцу, уже из новейших времен, Раймону Пуанкаре, великий король, с душевной болью, был вынужден насиловать истинную свою умеренную и сдержанную натуру — вступать в чужие области и подолгу (насколько от него зависело) там задерживаться. Таков первый взгляд. Второй — более сложен по содержанию и менее непосредствен по выражению. Его придерживаются или к нему с оговорками склоняются и Легрелль в своей шеститомной монографии («La diplomatie française et la succession d'Espagne!), и антиквированный появлением книги Легрелля Рейналь, за пять лет до появления первого тома Легрелля, выпустивший в 1883 г. свою двухтомную книгу о завещании Карла II испанского («Louis XIV et Guillaume III, histoire des deux traités du partage et du testament de Charles II»), и ряд историков помельче, зависящих от этих основоположных трудов. Этот взгляд в своем наиболее, так сказать, радикальном, решительном выявлении, перешел и в тот курс истории Франции, который был как бы подведением итогов французской исторической науки: я имею в виду Histoire de France, редактированную покойным Эрнестом Лависсом.

Здесь этот взгляд сводится к признанию, что политика Людовика XIV к началу 1701 г. добилась превосходных результатов, в Испании воцарилась династия Бурбонов, и Людовик XIV стал как бы опекуном и нового испанского короля, своего внука, и всей Испании. Но в том же 1701 г., к сожалению, Людовик совершил кое-какие ошибки (les fautes de Louis XIV: так автор Saint-Leger озаглавил соответствующий параграф, ср. том, VIII, стр. 78). Главной из этих «ошибок» было занятие бельгийских городов французскими войсками, силой выдворившими — а отчасти заарестовавшими — расположенные там голландские гарнизоны. Другая «ошибка» состоит в том, что Людовик XIV устроил так, что вся торговля испанских колоний стала переходить в руки французских негоциантов, и даже богатейшая из монополий, так называемая Asiento, т. е. право ввоза и продажи негров, тоже перешла в руки французской гвинейской компании. А это-то (cette conduite) и поссорило Людовика XIV с Голландией и Англией и вызвало убийственное, длившееся больше двенадцати лет, кровопролитие.

Писать так историю возможно (главное доказательство — то, что ее часто так писали и пишут до сих пор); но *понять* события при таком историографическом методе никак нельзя. История войны за испанское наследство, где подробно трактуется (с приведением генеалогических таблиц) о правах Бурбонов на испанский престол, где указывается на усиление блеска дома Бурбонов как на цель предприятия, а на торговые выгоды французского купечества как на «ошибку» «поведения» Людовика XIV,— такая история методологически отличается очень слабо от любого героического мигрирующего мифа, например, от жизнеописания Бовы-Королевича, которому тоже сначала везло и который тоже впал потом в целый ряд злополучных ошибок, от последствий коих с большими затруднениями избавился.

С точки зрения нашей темы и нашего подхода к теме положение вещей в 1701 г. сложилось такое. *Все главное,* чем успел завладеть Людовик до тех пор, за ним осталось; уступки и отдачи были, сравнительно, ничтожны. Свои территориальные, старые и новые, европейские и внеевропейские приобретения французское правительство стремилось так или иначе предоставить для использования и эксплуатации французскому движимому капиталу, торговому, промышленному, судостроительному, и при этом король продолжал не уклоняться от заветов Кольбера (в чем его принято укорять, когда речь идет о второй половине царствования), а следовал в точности этим заветам. Овладение Испанией (а именно так можно было, зная Людовика, истолковывать, несмотря на все дипломатические формулы, воцарение его внука Филиппа на испанском престоле) влекло

за собой и обеспечение новых огромных ресурсов для французского движимого капитала в колоссальных испанских колониях. А что Людовик XIV умеет из этих движимых капиталов, при всем несовершенстве налоговой машины, извлекать вовремя то, что ему нужно, в этом Европа убедилась в августе 1696 г., когда лорд Шрэсбери собирался, как выше упомянуто, «лечь и умереть» в ответ на требование о присылке денег для войны против Людовика, сам же Людовик отнюдь не помышлял о жесте, исполненном подобной резиньяции. Франция была опасна для Европы вообще, и для Англии в частности, даже если бы у нее вовсе не было колоний и шедших оттуда богатств; колонии испанские — неизмеримо богатые, необъятные, беспредельно щедрые по своей природе — были бы страшны для Европы и *особенно* для Англии, если бы принадлежали даже не Франции, а любой другой державе, хоть немного более способной их целесообразно использовать, чем Испания. Вывод из этих посылок был сделан всеми европейскими кабинетами вполне логичный: допустить соединение в руках Людовика или его наследников европейского могущества Франции с колониальными богатствами Испании значило обречь Европу на длительное (и довольно прочное в предвидимом будущем) подчинение воле Версальского двора.

Гегемония Франции, влияние на дворы, возможность давления — все это уже было налицо, с некоторыми перерывами, около двадцати лет, до 1700 г. Но теперь дело шло об ином; Европе континентальной приходилось готовиться к чему-то, очень похожему на вассалитет, Англии — уже чувствовавшей за собой достигнутое преобладание на море — нужно было ждать постройки нового французского флота и борьбы на всех морях за свои колонии.

В Англии очень многие долго *не хотели* в 1700—1701 гг. воевать, конъюнктура в некоторых существенных отношениях была неблагоприятной, хотели кончить миром, признали сразу Филиппа V испанским королем и все-таки начали войну. И на континенте те, кто даже не имел, подобно австрийским Габсбургам, никаких претензий на испанский престол, пошли, не колеблясь, за Англией и Австрией. Слишком жизненные и очевидные интересы были в игре; и на этот раз не о свободе Рейна, а об участи всей Европы был поставлен ребром вопрос. Ружья стали стрелять сами, не дождавшись даже окончательного обмена дипломатическими любезностями. В первые годы войны, преобладание Франции в Европе держалось. Гегемонии Людовика XIV нанесен был смертельный удар лишь на четвертый год войны за испанское наследство, в битве при Бленгейме, 13 августа 1704 г. И все-таки до такой степени продолжала действовать привычка, до такого гипноза дошло во всей Европе

поколение, выросшее в царствование Людовика XIV, что сам герцог Мальборо, победитель французов при Бленгейме, не верил долго глазам своим, и даже спустя два года после следующей крупнейшей своей победы над французами (при Рамильи), когда, в первые же несколько дней после битвы, ряд городов и крепостей сдались англичанам и Мальборо торжественно вступил в Брюссель, счастливый полководец все еще не мог освоиться с тем, что король-солнце безнадежно утратил гегемонию в Европе. «Это, действительно, скорее кажется сном, чем правдою»,— писал он 31 мая 1706 г., т. е., значит, спустя 8 дней после победы при Рамильи и на третий день после своего въезда в Брюссель. It really looks more like a dream than truth! Ему все казалось, что такие перевороты могут скорее сниться, чем сбываться в действительности. Но с каждым годом войны становилось яснее, что Людовику не удержать гегемонии, а Европе не сломить Людовика окончательно; и когда две главные стороны пришли к этому заключению, борьба прекратилась.

Когда 22 августа 1712 г. лорд Болинброк и граф де Торси подписали перемирие в Фонтенбло, и этим закончили длившееся двенадцать лет кровопролитное состязание между Англией и Францией, основная цель Англии оказалась достигнутой. Не затем ведь Англия вела эту убийственную и бесконечную брань, чтобы получить Гудзонов залив, Акабию, Нью-Фаунленд и остров Св. Христофора, и не затем, чтобы заставить французское правительство срыть укрепления Дюнкирхена, но затем, чтобы добиться отказа Людовика XIV от всяких мечтаний о соединении в руках французских королей власти над Францией и Испанией, и главное, чтобы указать Людовику предел, дальше которого французское могущество не должно и не будет распространяться. Еще до того, как была решена судьба войны за испанское наследство, из рук Франции было выбито окончательно оружие, без которого упрочить свою гегемонию *вне* Европы ей было трудно, расширить же свои колониальные владения за счет англичан еще труднее. Французский флот должен был прекратить свою борьбу с английским флотом за первенство. Ошибочно было бы недооценивать, но несообразно с реальностью и переоценивать значение этого факта.

Нам тут нужно принять к сведению три стороны дела: во-первых, отметить, что сильный флот не был для Людовика делом первой необходимости для *установления* его гегемонии на Рейне и в центральной Европе; во-вторых, что отсутствие первенства на море стало давать себя чувствовать, только когда пришлось бороться против Англии за сохранение и увеличение этой гегемонии и *расширение* ее сферы; и, в-третьих, что переход морского господства в руки Англии тяжко и длительно подрывал морскую торговлю Франции *даже в годы мира.*

Чтобы отчетливо уяснить себе реальную обстановку политической борьбы между двумя великими западными державами в XVII и начале XVIII в., нужно считаться со множеством обстоятельств, которые легко ускользают от внимания и понимания людей нашего времени. Например, в эпоху русско-японской войны английские морские специалисты (школы лорда Бересфорда), помнится, настаивали на следующей аксиоме: морская сила кое-что может сделать против суши, а сухопутная сила не может против моря почти ничего. Это, по их мнению, аксиома. Но попробуйте усвоить себе подобные аксиомы и перенести их в анализ событий XVII в., и можно гарантировать, что этот век останется совершенно непонятным. В XVII в., напротив, суша была сильнее моря, и тот, кто был могуч только на суше, был сильнее того, кто был могуч только на море. Первостепенная морская, торговая, колониальная, финансовая держава Голландия бывала иногда месяцами в жесточайшем затруднении не из-за войны с другой великой державой, а вследствие полной невозможности справиться как с корсарами, так и с пиратами; эти две категории не следует смешивать, так как первые были предусмотрены *международным* правом, а вторые — только *уголовным,* что не мешало тем и другим грабить при случае торговые суда совершенно одинаковым образом. Корсары выезжали из Дюнкирхена и Остендэ, пираты из Туниса, Алжира, Марокко, южной Испании; первые практиковали в Северном море и Ламанше, вторые — в Атлантическом океане и Средиземном море, причем, впрочем, области их компетенции были весьма неясно разграничены, и обоюдным их усилиям удавалось неоднократно *прекращать* голландскую торговлю. Приходилось снаряжать целые флотилии, чтобы хоть немного и на время очистить море. Недавно в амстердамских архивах найдено было письмо Рембрандта (знаменитый портретист занимался, между прочим, и морской торговлей), в котором он жалуется на эти бедственные обстоятельства и свои потери; все амстердамское купечество нападало на власти города за недостаточную охрану торговых интересов. Точно так же отношение торговых кругов, всего лондонского Сити, к тем или иным режимам времен долгих революционных потрясений XVII в., популярность Кромвеля в Сити, непопулярность некоторых министров Карла II объясняются теми же точно соображениями. Серьезный враг для британского народа король-солнце, деспот и папист, Людовик XIV; но очень серьезен бывал временами и капитан Гаукинс или Кидд, или какой-либо из его предшественников, или преемников по грандиозным разбойничьим операциям на море.

И сила Людовика XIV в первой половине царствования, его преимущество пред Англией и Голландией заключались вовсе

не в том, что он успешнее справлялся с пиратами (он справлялся с ними хуже, чем делали это англичане и нидерландцы), но в том, что он не так нуждался в море, как Англия и Голландия. Вот почему, пока он стремился только к округлению границ на севере и на востоке, за счет голландский или испано-бельгийский, или германский, он был непреоборим; когда же дело пошло об общей борьбе с Англией на суше и на море, тогда все эти привходящие обстоятельства коснулись его и ослабили, расчленили и подорвали его силы. Он не справился до конца дней своих ни с англичанами, ни с пиратами варварийских берегов ни с корсарами Ламанша, Бискайского залива, Северного моря.

Нелюдимы, дики, никому решительно не подчинены были моря в том веке. Их нужно было отвоевывать не только у англичан и у голландцев, но и у бесчисленных, неведомых и очень сильных (своим вездесущием) неприятелей. Правильно было сказано об этих временах: купец (*любой* нации) выезжал часто с товарами в фактории Леванта или в Индию в качестве купца: в открытом море (все продолжая свой правильный рейс) он превращался в пирата и, вспомоществуемый своими матросами и приказчиками, грабил встречные суда чужих наций, без всякого лицеприятия, врагов и союзников; подъезжая к месту назначения, он снова обращался в мирного негоцианта. На обратном рейсе повторялось то же самое. Ни один Зомбарт не ответил точно на вопрос: кто такие, например, были Гаукинсы? Торговый дом или династия морских разбойников?

Таковы были моря. На них шла своя особая жизнь, царили свои порядки и условия, там туго менялись обстоятельства, и было похоже, что время остановилось на семнадцать веков между 67 годом до н. э., когда пираты отрезали миродержавный Рим от всех его владений и довели его до жестокого продовольственного кризиса, или 74 годом, когда они взяли в плен Юлия Цезаря, и тем днем, когда пираты же взяли в плен английский военный корабль, на котором полномочный представитель всемогущего Оливера Кромвеля ехал в Голландию, и раздели этого полномочного представителя до рубахи. При таком положении вещей относительное господство английского флота на море все же давало англичанам огромное преимущество: их торговля была на море в несколько большей безопасности, чем торговля французская или голландская. Не только потому это происходило, что их все-таки больше боялись *пираты*, но и потому, что только *английские корсары* чувствовали себя более или менее безопасными от поимки и веревки; и только англичане вели на море (противозаконно, но вполне безнаказанно) корсарскую войну против всех неанглийских купеческих кораблей целыми годами в эпоху полного мира между Англией и всеми прочими державами.

Решилась участь борьбы за морское первенство в пользу Англии еще до войны за испанское наследство.

Это ничего не значит, что Жан (точнее Ян, он был фламандец) Барт, каперствовавший за счет Франции, наносил английской торговле громадные убытки и что адмирал Турвиль одержал над англо-голландским флотом 10 июля 1690 г. блестящую победу при Бичи-Хэде. Ведь Франция не могла никак тратить на флот столько, сколько было необходимо, чтобы выдерживать длившуюся десятилетиями войну с Англией. Достаточно было тому же адмиралу Турвилю потерпеть в 1694 г. тяжкое поражение при Ла-Гоге, и все предшествующие успехи были сведены к нулю. В течение всех последующих лет войны, кончившейся Рисвикским миром, и затем в течение всей огромной войны за испанское наследство французский флот уклонялся от встреч с англичанами, если не считать одного мелкого исключения, и французы довольствовались каперскими нападениями на торговые суда противника.

Результат войны за испанское наследство был в одном отношении вполне определенным: море перешло всецело во власть Англии.

Во французской историографии (особенно, старой, роялистской) очень укрепилось мнение, что французский флот был разрушен революцией, а до революции стоял на большой высоте. В этом мнении есть неясность: французский флот уже до революции не мог состязаться сколько-нибудь успешно с английским. *Эта* часть англо-французской дуэли была покончена еще при Людовике XIV. Уже к средине XVIII в., в 1747 г., у Англии было 126 линейных военных кораблей, а у Франции всего 31.

Последствия были для всего периода средины и конца XVIII в. весьма серьезны: всякая война с Францией становилась для англичан войной колониальной, где они, а не французы, могли выбирать объект и срок нападений.

Итак, французская гегемония и на суше, и на море была отклонена от Европы. Но деятельная роль Франции и в центре и на периферии Европы не была покончена. И в течение всего XVIII в. активная французская политика постоянно заставляет ее противников вспоминать о временах Людовика XIV и говорить о покушениях Версальского двора воскресить эти времена.

Например, Петр Великий боялся Франции и не доверял ей. и правильно разгадал, что французская политика всегда будет в делах, касающихся центра и севера Европы, стараться восстановить и укрепить главные положения Вестфальского мира. Когда 24 марта 1716 г. в Данциге, в доме великого канцлера графа Головкина, собралась русско-польская конференция и русские представители подали польским записку о накопивших-

ся неудовольствиях (так называемую «Меморию досадам»), то самой большой из всех этих русских досад оказалась негоциация короля польского Августа с французским двором, причем, по русским сведениям, французский двор в особом договоре требовал чтобы все оставалось в «Священной римской империи» (т. е. в Германии) так, как это определено по Вестфальскому миру.

Петр не мог следовать относительно Франции старому правилу: «дружи не с соседом, а через соседа», потому что влияние Франции было могущественно и в Швеции, и в Польше, и в Турции, и цесарские владения не были достаточным от Франции заслоном.

Эта традиция от Петра сохранилась в русской дипломатии.

В мае 1734 г., когда решалась участь Лотарингии и было ясно, что австрийскому дому ни в каком случае нельзя будет отстоять эту землю от французов, вошедших туда с большими силами, русский обер-шталмейстер Левенвольд прибыл в Берлин и имел серьезный разговор с королем. Это была уже, по малому счету, третья и последняя попытка заставить Фридриха-Вильгельма I энергично действовать против французов. На этот раз Левенвольд просил хотя бы только о примерной диверсии на Рейне, только о сборах, только об угрозах. И опять ничего не вышло. Король объявил, что нужно «долго подумать». Остерман, конечно, хотел помочь Австрии против Франции затем, чтобы окончательно провалить дело Станислава Лещинского в Польше. Но хотя Станислав в конце концов и провалился, однако Лотарингия была потеряна: Пруссия не пошевелилась даже, чтобы ее отстоять от французов; так был упущен момент, который уже не вернулся. В 1735 г. Лотарингия была формально уступлена Франции Габсбургским домом, который ею владел. Еще до договора 3 октября 1735 г. вся эта область была занята французскими войсками.

Лотарингское дело было уже с XVI в. обдумано в Париже. Довершить начатое Генрихом II удалось, таким образом, в 1735 г., в эпоху, когда Франция уже претензии на гегемонию в Европе не выставляла.

Австрия заплатила Лотарингией за попытку извлечь кое-какую пользу из выборов нужного ей человека на польский престол.

Мена была для Австрии — и еще больше для всей западной Германии — невыгодная. В те времена Лотарингия еще сохраняла в известной степени немецкий характер.

В Австрии, предпринимая всю эту операцию против Станислава Лещинского, за которую пришлось так дорого расплатиться, не чувствовали, до какой степени новые восточные надежды эфемернее старых западных владений.

Фридрих Великий, напротив, очень хорошо понимал эту разницу, и когда однажды (в феврале 1772 г.) австрийский посол фон Свиттен предложил ему вернуть Австрии маленькое графство Глатц за обширные польские земли из полученных Австрией по первому разделу, король заявил: «У меня подагра только в ногах, а с подобными предложениями было бы позволительно ко мне обращаться, если бы подагра была у меня в голове».

Он бы, на месте своего отца и в 1734—1735 гг., за Лотарингию, вероятно, серьезно поборолся с французами (потому что Пруссии было выгоднее, чтобы Лотарингия осталась в руках Габсбургов),— если судить по дошедшим до нас его саркастическим и враждебным французам заметкам, которые он сделал тогда же, когда произошло присоединение Лотарингии к Франции,— но он был тогда еще бессильным кронпринцем.

Дело было сделано, и уже никто не мог его надолго уничтожить. Попытка отнять у французов Лотарингию была совершена спустя 135 лет после ее присоединения к Франции, и Лотарингия была в тот момент уже гораздо более французской, чем немецкой землей.

Эта попытка казалась поколению 1870 г. очень удачной для Германии; поколение 1918 г. держится в данном случае иного мнения: «Avec la terre française c'est comme ça: tout empire germanique qui en a mangé,— en est mort». Эти слова были сказаны после Версальского мира.

Таким-то образом, между эпохой Людовика XIV и империей Наполеона, произошло завоевание Лотарингии, дополнившее и упрочившее дело Людовика, но не завершившее собой движения Франции к Рейну. Приближались времена великих переворотов, буря революции и эпопея Цезаря.

IV

Революционные события сначала (до 1792 г.) совсем сняли Францию со счетов в области международной политики. Дипломаты монархической Европы, которым было некогда, уже спешили составлением проектов раздела Франции, наподобие того, что было сделано с Польшей.

Габсбургский дом собирался получить обратно Лотарингию. Страсбург должен был снова стать имперским городом; шла речь и о Вердене и о других присоединенных к Франции с XVI в. восточных областях.

Но с конца 1794 г. дело стало круто меняться, и французская республика, отбросив врагов от границ, выступила на путь завоеваний. В 1796 г. началась наполеоновская военная эра. В эти последние годы директории все казалось непрочным.

ненастоящим, подлежащим пересмотру и внутри страны и вне ее, и в частности на Рейне. Поход Суворова в Италию показал, как шатки еще многие завоевания республики.

Но вот — наступил решительный кризис.

В ноябре 1799 г. генерал Бонапарт захватил верховную, фактически самодержавную, власть, 14 июня 1800 г. произошла битва при Маренго, 3 декабря 1800 г. австрийцы со своими союзниками были разгромлены при Гогенлиндене, и 9 февраля 1801 г. был подписан Люневильский мир, причем Габсбургский дом заключил этот мир также и от имени всей «Священной римской империи германской нации». Территория в 1150 квадратных миль, в том числе весь левый берег Рейна и некоторые владения на правом берегу, отошла окончательно к Франции. Вековая цель была достигнута, «естественная граница» на востоке — обеспечена.

С этого-то времени начинается в истории Европы новая большая глава о французской гегемонии, вписанная кровью в летописи человечества. Пред нами — двоящийся образ. Мы видим то французского монарха, который сказал о себе, что он «ответственен за всех, начиная с Хлодвига», видим наследника и продолжателя Людовика XIV, государя в горностаевой мантии со скипетром в одной руке и державой в другой, как он стоит на Вандомской колонне, законодателя и самодержавного императора, которого коронует в Нотр-Дам римский первосвященник и который женится на дочери австрийского императора; то пред нами воитель, для войны рожденный, ею живущий, без нее томящийся духом, на нее смотрящий, как на вполне нормальный, обиходный, можно сказать, совершенно прозаический. удобный и всегда под рукой находящийся резервный аргумент. Есть еще один синтетический образ, который часто предносился взору и самого Наполеона и современного ему поколения: Карл Великий, тоже и государь, и воин, и папский помазанник, и вождь завоевательного ополчения, и законодатель, и администратор, и постоянный инициатор вторжений и агрессивных войн, властитель, силой взявший Запад, собравший на время своей жизни эту рассыпавшуюся за 300 лет до него храмину.

Масштабы у Наполеона были не те, что у Людовика XIV, и обстановка была не та.

Наполеон получил в свое распоряжение и организовал великую державу, которая только что пред тем революционным усилием уничтожила бесповоротно все путы, мешавшие свободному развитию новых капиталистических сил и нового хозяйства вообще: видел же он пред собой на континенте державы, у которых этот результат еще не был достигнут, которые уже поэтому были слабее, у которых не только не было сознания

внутренней правоты их социально-экономического строя, но, что гораздо важнее, не было никакого убеждения в его логичности и прочности, в том, что стоит его дальше сохранять и защищать. Уже в этом была разница между обстановкой наполеоновской борьбы и обстановкой борьбы Людовика XIV.

Франция при Людовике была организмом не идентичным, но аналогичным всем тем, с которыми она боролась на континенте, и стоявшим ниже организма английского уже вследствие присутствия такой социальной болезни, как сеньориальный строй. При Наполеоне же во французском государственном теле не было уже тех социальных болезней, которые еще разъедали большую часть Европы. Второе отличие заключалось в том, что центральная Европа и Австрия были построены так, что всякие толчки изнутри ли, в виде попыток административных реформ, извне ли в форме войн, не сплачивали, а раздробляли, разъединяли их, грозили полным распадом и без того рыхлым, неуклюжим, неспаянным государственным образованиям. Наполеон же царствовал над страной, которая уже несколько веков как достигла государственного объединения, которую только что бывшая великая революция объединила и сплотила окончательно и которую именно он, Наполеон, одел в прочный панцирь законченных, строго соображенных, идеально-централизованных учреждений.

Таковы были *благоприятные* для Наполеона отличия в обстановке, среди которой он строил здание великой империи. сравнительно с обстановкой Людовика.

Были и отличия неблагоприятные. Они должны быть рассмотрены в тесной связи с анализом масштаба, размаха деятельности Наполеона, в чем он был так непохож на Людовика XIV.

Куда направлялись его действия? И как смотрела на эти действия, как тщилась разгадать эту загадку Европа? Гентц, доверенный человек Меттерниха, говорил, что Наполеона нужно рассматривать как стихийную силу природы. Он был не одинок в своем воззрении. Упрощать проблему начали лишь впоследствии.

Покойный Альбер Сорель потратил много учености, остроумия и стилистического блеска, чтобы в четырех последних томах своей восьмитомной книги «L'Europe et la révolution française» доказать, что в сущности военный разгром Европы, производившийся Наполеоном в течение всего его царствования, был не чем иным, как прежде всего, вынужденной защитой рейнской, а отчасти и альпийской границы от коалиций, желавших эту границу отнять. Сначала нужно было эту рейнскую границу защищать на Рейне, потом на Дунае, потом на Висле, потом на Москве-реке.

И если бы не исход русской кампании, пожалуй, Наполеону пришлось бы оборонять рейнскую границу на Ганге и Инде (куда он уже собирался), а Сорелю — описывать эти защитные усилия в девятом томе.

Такие тезисы можно ставить и обсуждать (каких же тезисов нельзя ставить и обсуждать?), но *доказать* их никак нельзя Внутренняя невероятность, кричащая несообразность воспрепятствуют всем усилиям аргументаторов. В наполеоновской эпопее значительнее всего: 1) легкость разрушения общеевропейского старого режима и всего социально-политического уклада и 2) полная невозможность длительного существования колоссальной империи.

Великий поэт назвал Наполеона: «Свершитель роковой безвестного веленья». Воображенье поэта было поражено непрерывной активностью, не знающей отдыха энергией, которая могла иногда казаться самоцелью, этой уверенностью руки в разрушении одних форм и созидании других, необычайной торопливостью инициативных импульсов и немедленным, столь часто успешным стремлением к реализации. Среди безмолвия и страха, который он внушал, превращая последовательно одни народы в орудия, другие — в жертвы, третьи — в зрителей, непрерывно при этом переводя то тех, то других из одной роли в другую, органически не будучи в состоянии допустить существование чужой инициативы рядом со своей, рассматривая каждую автономную волю (особенно, после 1807 г.), как вызов и casus belli, император совершал свой исторический путь, не переставая приковывать к себе взоры. Современники, особенно те, которые от него пострадали или готовились пострадать, не претендовали на окончательное разрешение загадки. Они видели только, что император необычайно спешит, как будто за ним гонятся фурии, что каждая грандиозная перемена в Европе, которую он совершает, влечет за собой непременно другую, еще более грандиозную, что самая нивелляция, уравнение и единообразие, которые он проводит в промежутках между битвами, тоже являются не самоцелью, а только средством. Очень бы изумились Меттерних и Гентц, Питт младший и лорд Ливерпуль, граф Румянцев и Александр I, если бы им сказали, что все это землетрясение происходит главнейшим образом затем, чтобы защитить рейнские и альпийские границы; Сорель не имел бы среди современников Наполеона никакого успеха.

Но в конце концов дело было не в психологических анализах: Европе грозила уже не гегемония в духе Людовика XIV, но другая гегемония, походившая на прямое политическое порабощение.

Современники (а к их ощущениям должно в данном случае относиться с особенным вниманием) именно с битвы Маренго

обыкновенно считали начало наполеоновской гегемонии в Европе. Но некоторые (меньшинство) приурочивали этот момент ко времени на пять с половиной лет позже, к битве под Аустерлицем, т. е. ко 2 декабря 1805 г. «Не такие беды бывали со мною, я *проиграл аустерлицкое сражение, решившее участь Европы,* да не плакал»,— сказал Кутузов после неудачного штурма Браилова, вечером 20 апреля 1809 г., в утешение князю Прозоровскому, который рвал на себе волосы и рыдал. Из всех людей именно Кутузову тяжелее всего было сделать подобное признание. Его слова вполне точно отражают взгляды трех кабинетов: русского, английского, австрийского. Они пять с половиной лет, от Маренго до Аустерлица, отказывались признать, что участь Европы решена.

Не отрицая факты *зарождения* французской гегемонии еще с Маренго, они долгое время считали этот факт эфемерным.

Раздумывая после Нарвы о поражении, Петр Великий сознался, что «все то дело яко младенческое играние было»: до такой степени не была оценена сила врага и не было сделано, со своей стороны, то, без чего речи не могло быть о спасении от Карла XII. То же ослепление, то же непонятное впоследствии, но иногда как-то неотразимо нападающее совсем некстати легкомыслие, то же глубочайшее непонимание противника владели европейскими кабинетами от самого начала наполеоновской карьеры вплоть до Аустерлица, т. е. в долгое десятилетие огромных походов, битв, завоеваний, начавшееся весной 1796 г. и окончившееся 2 декабря 1805 г. Всякий раз, объявляя ли войну или поднимая перчатку, правящая Европа за весь этот период склонна была думать, что ликвидация французских сил близка и близка, вместе с тем, ликвидация всех изменений как во французских внешних границах, так и во внутреннем быту послереволюционной Франции. После блистательных военных побед и дипломатических завершений Франция была устрашающе огромна и сильна уже при консульстве. «Я был тогда ростом во сто локтей» (j'étais alors haut de cent coudées),— вспоминал впоследствии Наполеон о первом десятилетии своей деятельности, особенно о годах консульства. И хотя непосредственные соседи и державы послабее уже тогда трепетали пред ним, и, например, курфюрст баденский, на территории которого был беззаконно схвачен французскими жандармами герцог Энгиенский, не только не осмелился протестовать, но поспешил забежать вперед, чтобы обнаружить пред Наполеоном свое усердие, хотя остальные монархи стран, граничивших с Францией, вели себя не храбрее курфюрста баденского и сознавали себя уже тогда вассалами, но в Англии, в России, в Австрии настроение еще было уверенное и думали не о том, чтобы продержаться, но о том, как бы ускорить ликвидацию

наполеоновской державы. Только после Аустерлица стали понимать устрашающее значение французской империи и грозную, неотвратимую опасность, повисшую над Европой. Это сознание в промежуток времени от Аустерлица до Тильзита, от начала декабря 1805 г. до конца июня 1807 г., комбинируется с серьезными усилиями остановить победное шествие Наполеона. Например, русская война от Пултуска до Фридланда вовсе не похожа на Аустерлицкую кампанию.

После Тильзита вплоть до начала войн 1812—1814 гг. гегемония Наполеона общепризнана (на континенте) и вполне реальна; так реальна, как не была никогда гегемония ни одного монарха в этой части света. Этой гегемонии не мешает ни затяжная народная война в Испании, ни отчаянный поступок Австрии в 1809 г., так жестоко наказанный Ваграмским побоищем и Шенбруннским миром.

Но этой гегемонии зато непрестанно вредят и ее упорно подтачивают и подрывают два могущественные фактора: во-первых, несоразмеренность экономического фундамента с колоссальной политической постройкой и, во-вторых, Англия, теряющая союзников, теряющая торговлю, терпящая неудачи и поражения, но не складывающая оружия.

Первый фактор был вреднее второго. Уродливость в экономическом строении империи была опаснее английского флота, гибельнее пожара Москвы, непреодолимее русских морозов, непоправимее измены саксонцев, неуловимее испанских гверильясов. И этот фактор дал о себе знать именно в последние годы блеска и безмерного политического могущества Наполеона. Уже не было пред французским императором тех столь раздражавших его русских послов, которых он видел некогда в Тюильри, когда был первым консулом; не было ни Колычева, ни Моркова, которые, как о них тогда в России говорили, «катеринствовали» т. е. вели себя, как гордые екатерининские вельможи; был уступчивый, терявшийся старик Куракин, был вкрадчивый, почтительный дипломат и лазутчик, молодой Александр Чернышев. Не было Питта Младшего, были эпигоны и посредственности, и единственный достойный преемник Питта, начинавший Джорж Каннинг, после краткого пребывания в британском кабинете, был надолго убран прочь от власти. Была окончательно сломлена Австрия, и Меттерних считал себя счастливым, что удалось устроить брак эрцгерцогини Марии-Луизы с Наполеоном. О прочих державах говорить не приходится: только безусловная покорность еще спасала некоторые из них от неминуемого присоединения к великой империи.

И в эти-то годы неестественность строения империи, состоявшая в несоответствии между экономикой ее и политикой, стала явственно сказываться.

Наполеон *политически* хотел продолжать Карла Великого, и называл себя императором Запада, и в самом деле, его империя с вассальными и полувассальными владениями размерами своими далеко превзошла империю Карла, а фактическая власть его над этой империей была несравненно больше, чем могла когда бы то ни было быть реальная власть Карла. Но в *экономическом* отношении Наполеон упорно шел по пути Валуа, Бурбонов, прусских Гогенцоллернов, по пути любого *национального* правительства времен возникающего и развивающегося меркантилизма. Он хотел царствовать над всей Европой, но с тем условием, чтобы вся Европа была объектом экономической эксплуатации для Франции. Он даже выдумал название для этой привилегированной части своей огромной империи. Франция называлась на официальном языке «старыми департаментами».

L'Empire français — это было целое, les anciens départements — это была часть; но целое принуждалось к полному экономическому подчинению этой части, к забвению самых законных своих хозяйственных интересов во имя исключительно интересов этой части. То, о чем в эпоху полного развития националистической политики в России, в конце царствования императора Александра III и в первые годы Николая II, осмеливалась писать только в наиболее откровенные минуты часть русской прессы, находившаяся под наиболее сильным влиянием представителей московского промышленного района, стремление к искусственной защите интересов промышленников одной части государства от промышленников другой части того же государства, например, к защите Москвы от конкуренции Лодзи и вообще польского края, — это требование установления *внутренних* протекционистских рогаток не только популяризовалось и восхвалялось во французской прессе в эпоху первой империи, но и было твердо проводимой, принципиально обосновываемой политикой Наполеона.

У Наполеона было определенное воззрение: завоеванные страны делятся на различные категории, смотря по тому, которые из них французское правительство может более непосредственно эксплуатировать, а которые — менее. В этом отношении на первом месте после «старых департаментов» французской империи стояло королевство Италия, государем которого был Наполеон. Когда однажды нужно было решить, кому дать крупное экономическое предпочтение (право на транзит хлопка), Милану и Венеции или же Триесту и Фиуме, то Наполеон решил дело в пользу Милана и Венеции: «все благо, которое отсюда проистекает для королевства Италии, полезно Франции, и поэтому его величество предпочитает, чтобы Милан и Венеция выиграли больше, чем Фиуме и Триест, потому что интерес этих

двух первых городов более национален». L'intérêt des ces deux premières villes est plus national [10].

Наполеон даже употребляет слово национальный в сравнительной степени,— до того он, «император Запада», в области экономической все меряет узкой, чисто национальной, чисто французской меркой.

Таково было экономическое положение, создаваемое наполеоновским владычеством в покоренных и зависимых странах. Сравнительно с этим фактором гораздо менее значения имел другой, тоже по своему характерный.

Наполеон был слишком завоевателем, слишком все основывал на голом факте покорения, слишком подчеркивал, что, кроме беспрекословного повиновения его воле и преклонения пред его силой, он ни от кого ничего не ждет и ни в чем другом не нуждается. В сущности это отношение было логическим выводом из практикуемой экономической политики: вы не будете иметь машин, чтобы не конкурировать с французами, вы будете монопольным рынком для французов, я вас заставлю за бесценок продавать французам ваше сырье, я не позволю вам торговать с англичанами, все это вас разоряет, но вы подчинитесь, потому что боитесь меня и беззащитны пред моим гневом.

Поэтому обращение с покоренными было самое упрощенное, такое, какого не знали новые века.

Никаких процедур, даже самых несложных в стиле посылки, например, в 1653 г. стольника Стрешнева и дьяка Бредихина к гетману Хмельницкому и в стиле ответной «отписки» Богдана царю с изъявлением радости о принятии Украйны «под крепкую руку», при Наполеоне не полагалось и никогда ничего подобного не происходило. При Наполеоне *сами* Стрешнев и Бредихин должны были бы от имени Украйны изъявить эту радость верховному владыке; а Богдана, вероятно, уволили бы за излишнюю популярность и удалили бы из присоединяемой страны с назначением, впрочем, ему щедрой пенсии, что при подобных обстоятельствах тоже было в духе первой империи.

Наполеон посылал в покоряемые и присоединяемые области наместников и чиновников, которые и должны были обыкновенно выражать ему чувства населения. Так оно казалось ему надежнее и спокойнее. Да и не нуждался он во всех этих церемониях: пока есть у него его несокрушимая армия, церемонии не нужны; когда армии не будет, церемонии будут бесполезны.

Это непосредственное завоевание, вступление во владение, экономическое и политико-стратегическое использование чужих земель и чужой живой силы больше всего подавляло и приводило в панику сначала, а потом возбуждало раздражение и вызывало на борьбу.

Эта манера, с другой стороны, вредила нередко самому Наполеону; иногда вредила в отдаленных своих последствиях, иногда, напротив, вред был довольно непосредственный и очевидный. Герцогство Ольденбургское вовсе не нужно было Наполеону в 1810 г., но он его занял так, мимоходом, под предлогом желания лучше организовать борьбу против английской контрабанды. Как известно, отказ вернуть герцогу его владение был одной из причин, окончательно поссоривших Наполеона с Александром.

Почему Наполеон не увел из герцогства своих чиновников и войска? Не умел он этого делать! Не умеют вообще добровольно расставаться с раз занятыми местностями дипломаты и государственные люди новых времен. И особенно не умел Наполеон. Хотя льстецы и хвалители говорили, что Наполеон воскресил не только империю Карла Великого, но и древнюю Римскую империю, но в *этом* отношении Наполеон никогда не умел и не хотел поступать так, как поступал древний Рим. У Рима была линия политики, рассчитанная на века, ему спешить было некуда, и он спокойно проявлял, когда было нужно, мудрость самоограничения. Рим знал, что от него ничто не уйдет. Почему же не подождать? У римского сената это выходило всегда и умно и естественно. Стоят римские гарнизоны в греческих городах, и никто их оттуда выгнать не может, но и держаться там далее не политично и бесполезно. И вот, после более чем двухлетнего пребывания, Фламиний получает приказ от сената и сразу эвакуирует Грецию и уезжает с армией в Брундузиум. И пред отъездом даже рисуется необычайной своей корректностью: Халкиду и Деметриаду он освободит в течение ближайших десяти дней, а Акрокоринф хочет непосредственно сам, так сказать, из рук в руки передать ахейцам! И сенат знал, что все равно судьба Греции предрешена если не сейчас, то через 20 или через 50 лет, и с своей стороны Фламиний, острослов и любитель греческого языка, был настолько человеком римской государственной культуры, что тоже, конечно, считал несущественным, при нем ли, или при его внуках Греция станет римской провинцией. В марте 194 г. состоялась эвакуация, а в 149 г. римляне снова пришли и уже прочно остались. Только сорок пять лет, значит, пришлось потерпеть; торопиться сенату было некуда.

Вот именно этого спокойного доверия к судьбе и терпения не было никогда ни у Людовика XIV, ни у Наполеона, ни у позднейших деятелей. Все, что угодно, но только до последней возможности держаться на раз занятой позиции, не выпускать из рук раз занятой территории.

Что такое так называемое время ***в точности*** «**великой империи**» (le grand Empire), 1807—1812 гг.?

Это есть период относительного мира: за это время (после Тильзита) Наполеон воевал всего один раз с Австрией (в 1809 г.), с Испанией (1808—1812 гг.) и продолжал войну с Англией. А за вычетом этих войн, указанное время считалось относительно тихим: Наполеон, как видим, приучил своих современников в смысле мира и тишины не предъявлять особых требований и довольствоваться малым.

И это «тихое» время и было временем непрерывных аннексий, с предлогами и без предлогов, с ультиматумами и без таковых. Прежде, еще в годы консульства, подобные — по размерам и по бесцеремонности — аннексии были исключением; теперь, после Тильзита, на них уже мало и внимания обращали; можно сказать, что в этом отношении Наполеон-император настолько же безоглядочно ушел вперед от Наполеона-консула, насколько Наполеон-консул ушел вперед от короля Людовика XIV.

И все эти мирные завоевания, непрерывно следуя за завоеваниями военными, округляли гигантскую империю и ее вассальные и полувассальные владения.

И именно тогда сложная сеть законов и тончайше выработанная паутина таможенных полицейских и погранично-военных организаций была пущена в ход для действенного выполнения непоколебимой воли императора: 1) английские товары должны быть без остатка изгнаны и больше не допускаемы в Европу, и всюду они должны, по возможности, быть заменены французскими; 2) европейское сырье и европейские рынки сбыта должны быть, во всю меру императорской власти, обеспечены за французскими промышленниками.

Во всю меру императорской власти... Но есть ли вообще мера для этой власти?

Европа должна была попытаться дать Наполеону ответ на этот вопрос, если она не хотела погибнуть экономически, как она погибла политически.

Таким-то образом была подготовлена такая прочная и широкая база для позднейшего деятельного сотрудничества континентальных держав с Англией, какой никогда до тех пор не было; какой не было в таких размерах даже и при Людовике XIV, какой нет и теперь.

Ведь, прежде всего, одна из центральных идей наполеоновского царствования — план сломить Англию экономическим ее разорением — породила континентальную блокаду, во имя которой торговля с Англией и всеми ее владениями безусловно воспрещалась на всем подчиненном Наполеону континенте. Наполеон знал, что блокада бьет одним концом Англию, а другим — континент с Францией включительно. Он знал, что промышленность на континенте, выигрывая бесспорно от уничто-

жения конкуренции английских мануфактуратов, проигрывает от отсутствия колониального сырья (вроде хлопка, тростникового сахара, красящих веществ и т. п.); он знал, что *торговля* проигрывает уже безусловно, без всяких компенсаций. И впоследствии, в конце жизни, он называл блокаду военной мерой, которая была бы отменена, как только цель ее была бы достигнута [11]. Но он при этом признавал, как факт, «страдания и уничтожение внешней торговли» в его царствование. Если перейти от классов промышленников и купцов к более обширной, несколько классов в себе вмещающей группе потребителей, то они теряли, безусловно, и чувствовали особенно с 1810 г. после Трианонского тарифа, большую нужду в товарах, без которых никак обойтись не могли. С чисто финансовой стороны разрыв торговых сношений с Англией был для многих держав континента равносилен полному исчезновению звонкой монеты из казначейства и быстрому падению валюты. И именно, чем обширнее была держава, чем дороже стоил ей поэтому ее бюрократический персонал, тем чувствительнее для нее было это внезапное оскудение таможенных и иных аналогичных поступлений, собиравшихся в звонкой валюте. Когда русские помещики и купечество жаловались на уничтожение торговли с Англией в 1807—1812 гг., в годы действия в России континентальной блокады, то они ломились в открытую дверь: правительство, с своей стороны, знало очень хорошо, как отзывается эта мера на русских государственных ресурсах.

Почувствовало это и французское правительство, т. е. сам Наполеон. И тут, в сотый раз в истории, экономика победила политику, каким бы всемогуществом руководитель политики ни отличался, как бы ни был он убежден в справедливости и целесообразности своей теории и как бы мало он ни стеснялся чем бы то ни было при ее проведении. Наполеон, метавший громы против малейших нарушений блокады, сменявший внезапными приказами отдельных монархов и наместников за слабость и попустительство, разрушавший за это же самостоятельность государств, не пощадивший за этот грех своего родного брата Людовика, им же посаженного на голландский престол, приказывавший «передать в Неаполь, что король на дурном пути; что когда кто удалился от континентальной системы», то Наполеон, не пощадивший даже своих братьев, тем более не пощадит его [12], этот самый творец блокады и грозный судия ее нарушителей начал нарушать блокаду, выдавая за деньги лицензии для торговли с Англией! Без притока звонкой монеты с этой стороны не могла вполне обойтись и великая империя, им созданная. Конечно, это обстоятельство еще более раздражало вассалов, которые из страха должны были продолжать разоряться и в то же время безропотно смотреть, как Наполеон и тут

хочет поставить Францию в привилегированное пред вассалами положение.

Но силлогизм экономической действительности был весьма прост: для того, чтобы при такой экономической политике поддерживать колоссальное политическое здание, Наполеон нуждался в громадных свободных денежных средствах, в металлической наличности. А без Англии достать ее было все-таки весьма трудно. И случилось то, что без единого исключения всегда происходит в истории: экономика сломила политику, всесильный Наполеон оказался тут бессильным, и в разгаре войны с Англией и Испанией стал делать то, что приносило ему явный политический ущерб, но давало финансовую непосредственную выгоду. Такие умные современники, как Н. С. Мордвинов, тотчас же это заметили: «Полезность денежного прибытка от выпуска в заграничные земли хлеба ознаменовал примером своим и император Наполеон, который, сколь ни сильно ненавидит неприятелей своих и сколь ни много желает им вреда, но в прошедшем (1809) году не остановился отпустить в Англию такое количество хлеба, что считают оное в 4 000 000 фунт. стерл.; не удержало его от такового выпуска и то предусмотрение, что англичане могут повезти хлеб сей в Испанию, которую скорее покорить можно ему голодом, нежели ядрами и пулями» [13]. Таково было положение на континенте. Для Англии же вопрос ставился еще проще: континентальная блокада была мерой, с которой Англия могла бороться и боролась годами, но она ясно видела, что *в основе* своей мера задумана страшная и что беда грозит английской промышленности и торговле неотвратимая. Все английские колонии вместе взятые не могли тогда, по своей покупательной силе, даже отдаленно компенсировать исчезновение или даже сильное сокращение европейского рынка сбыта. Для Англии борьба с Наполеоном, победа над Наполеоном, в самом деле, становилась вопросом жизни и смерти. Безмерное могущество Наполеона на континенте окончательно превратилось для Англии в опасность не только политическую, но и экономическую. Уцелевшая и неукротимая Англия и покоренный континент соединились в одних надеждах, их интересы сошлись: политические интересы — *вполне,* экономические — *почти,* с тем исключением, что промышленники континента боялись, как сказано, конкуренции английских фабрикатов; но даже и промышленники чем дальше, тем больше жестоко страдали от отсутствия колониального сырья.

При этих-то напряженных условиях жизни всего континента, при таких внутренне разъедавших колоссальную империю экономических противоречиях, при подобной убежденности всех управлявших Англией или влиявших на ее политику

общественных классов, что упрочение господства Наполеона есть гибель Великобритании, человечество продолжало ждать долгие месяцы известий об императоре, вошедшем с великой армией в Россию. Наконец, в январе 1813 г. молнией облетела Европу неслыханная новость.

Сигнал общего восстания был дан.

После яростной обороны 1813 — 1814 гг. колоссальное строение, наконец, рушилось. «Тяготевший над царствами кумир» исчез.

Вторая французская гегемония, несравненно более тяжелая, реальная, давящая волю, топчущая материальные интересы побежденных, несравненно более грандиозная по своей распространенности и объему, прекратилась, таким образом, чрез сто с небольшим лет после первой, связанной с именем Людовика XIV, которая была лишь слабым намеком, начальным штрихом, бледным предзнаменованием того, что мир увидел при Наполеоне.

Сравнение обеих индивидуальностей нас тут не занимало.

Людовик XIV был обыкновенным человеком, Наполеон I — необычайным военным гением, государственным деятелем разносторонней и колоссальной одаренности, совсем исключительной воли, неутомимой энергии, изумительного и неусыпного внимания, почти беспредельной трудоспособности.

Мы теперь обратимся к третьей эпохе, когда гениев совсем не оказалось и в помине, и увидим, что от этого эпоха нисколько не проигрывает в исторической значительности.

V

В длительной исторической драме, в которой главным содержанием является коллизия между стремлением Франции к экономическому и политическому первенствованию на материке и разнообразными противоборствующими силами, занавес поднялся в начале 1680-х годов и опустился 13 августа 1704 г., после битвы при Бленгейме; вновь поднялся 14 июня 1800 г., после битвы при Маренго, и вновь опустился в январе 1813г., когда Европа узнала, наконец, о финале наполеоновского нашествия на Россию; опять поднялся 11 ноября 1918 г., когда была подписана в Компьенском лесу, в вагоне маршала Фоша, капитуляция Германии, и еще не успел опуститься. Третий акт продолжается и развивается.

Но этот третий акт имеет гораздо меньше общего со вторым, чем второй с первым. Наполеон еще живо соревновал с Людовиком XIV, и главная дирекция печатного дела при первой империи внушала редакторам специально, чтобы они, проводя

параллели между Наполеоном и Людовиком XIV, не забывали отдавать все преимущества не покойному королю, но благополучно здравствующему императору.

Некоторое *внешнее* сходство в обстановке, в которой оба начали борьбу, бесспорно, было: удачные наступательные войны, территориальные завоевания; тот же основной враг, выступивший против Людовика — в средине его царствования, против Наполеона — с самого начала его деятельности: Англия, тот же длительно ощущаемый и активно влияющий на события недостаток нужных для упрочения гегемонии денежных средств (причем Наполеон справлялся с этим несравненно успешнее, чем Людовик, хотя, как мы видели, иной раз с отступлениями от основной своей экономической политики); наконец, та же необходимость вооруженной рукой поддерживать уже сделанные завоевания и то же стремление предпринимать новые и новые.

Период, начавшийся 11 ноября 1918 г., протекает при иных условиях, и ни Мильеран, ни Клемансо, ни Пуанкарэ, конечно, не настолько ощущают лично себя продолжателями Людовика и Наполеона, чтобы соревновать персонально с обоими монархами пред лицом равнодушной музы истории Клио: столетний юбилей Наполеона (5 мая 1921 г.) был отпразднован с необычайной торжественностью, при деятельном участии президента республики Мильерана и всех гражданских и военных сановников Франции. Ревнивого чувства к Наполеону, которое было у самого Наполенона к Людовику XIV, у нынешних правителей, конечно, нет и в помине. Но еще до того, как одержана была победа над Германией вопрос о преобладании Франции на континенте уже начал ставиться на очередь: наследство Людовика XIV и Наполеона не было отринуто.

В своей лекции на тему: «Что такое нация?» Ренан сказал: «То, чего не могли сделать ни Карл V, ни Людовик XIV, ни Наполеон, вероятно, никто не сможет сделать в будущем. Разделение Европы слишком велико, чтобы попытка всемирного господства не вызвала очень скоро коалицию, которая заставила бы воинственную нацию вернуться в ее естественные границы; особое равновесие установилось надолго. Франция, Германия, Англия, Россия еще и чрез сотни лет, несмотря на приключения, в которые они будут пускаться, останутся историческими индивидуальностями...» Публицист «Revue des deux mondes», Дюмон-Вильден, писавший в разгаре войны, в 1916 г.[14], не спорит с этими здравыми мыслями, но вносит в них поправку, которая ему кажется скромной: конечно, Англия, Россия, Италия призваны играть большую роль, «но, как бы блестяща ни была культура этих великих стран, она никогда не будет иметь того характера универсальности, как культура французская». И дальше красноречиво (хоть и очень кратко) доказывается,

почему Европа обязана спасением «французской жертве» и почему только культура Франции истинно универсальна. «Мы никогда не увидим немецкую Европу; если есть какая-нибудь логика в развитии цивилизации, мы *снова* увидим Европу французскую». Так кончается статья. Эта статья — одна из мириады ей подобных.

Французы были еще до войны подготовлены идейно к такого рода воззрениям и претензиям. Но для Европы очень многое оказалось неожиданным.

Относительно Франции в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии и России, в гораздо меньшей степени в Англии, господствовал в широкой публике ряд курьезных (по своему полному несоответствию действительности) заблуждений. Тут, как сейчас увидим, была почти что полная бэконовская коллекция категорий ошибочных суждений: и idola specus — ошибки, зависящие от ограниченности личного кругозора, и idola theatri ошибки, внушаемые ложными системами и предвзятостями усвоенной неправильной доктрины, и idola fori ошибки, так сказать, передающиеся путем заразы, от общения и сношений с себе подобными, с другими людьми вообще.

Особенно в Германии пред 1914 г. любили останавливаться на вырождении, моральном падении, физической дряблости и других французских пороках. Французские политические условия — разваливающийся государственный строй (lockere Zustände); Францией управляют биржевые агенты; можно ли серьезно говорить о стране, где почти каждые два месяца меняется правительство? Дисциплины во французской армии нет, антимилитаризм так силен, что едва ли мобилизация пройдет благополучно. При первом поражении толпы народа бросятся к Елисейскому дворцу с криками: «Dechéance! dechéance!», как это было в Париже 4 сентября 1870 г., после Седана. Воспоминания 1870 г. вообще оказали могущественнейшее воздействие на Германию пред мировой войной.

Все эти фантазии передавались из Германии в Россию и здесь находили почву. Почему? Во-первых, по привычке умственного повиновения и следования, потому же, почему, например, в русских философских книгах так же неизбежно, как в немецких, и обыкновенно еще менее кстати, чем в немецких, приводились всегда и приводятся стихи из второй части «Фауста» или потому же, почему Шпенглер был на началах полного доверия еще до того, как его сумбурные томы добрались до России, произведен в гениальные мыслители (и равно на такой же срок, как в Германии, и отставлен одновременно с тем, как это случилось с ним в Германии), и вообще потому же, почему, шире говоря, не только в самом деле внутренно-сильные идей-

ные течения, но и простые умственные повадки, мимолетные моды испокон веков шли к нам из Германии и резко влияли у нас на общественные навыки мысли. Тут неуместно было бы на этом феномене подробно останавливаться, достаточно указать на его значение также и в данном случае. Во-вторых, действовала у нас пред войной и собственная слишком быстрая податливость к поверхностным впечатлениям, соединенная у многих представителей прессы с полной свободой от каких бы то ни было точных сведений, касающихся прошлого и настоящего Франции. В-третьих, не только придворно-аристократические, но и широчайшие бюрократические сферы и часть общественных слоев вне бюрократии с непобедимой внутренней антипатией относились к утвердившемуся во Франции политическому строю, и всем им отрадно было приписывать этому строю предполагаемый упадок французской державы.

Дело было не только в салонных путешественниках и не только в газетных и журнальных дилетантах. Вот что писал в 1911 г. серьезный и способный человек, русский резидент в Танжере, сановник, 25 лет прослуживший на дипломатических постах и достигший уже тогда 50-летнего возраста (письмо направлено было его другу князю Орлову для сообщения, конечно, императору Николаю II): «Вообще, дух войска (французского — *Е. Т.*) неважный. Ну, скажи, пожалуйста, можно ли при таких условиях серьезно говорить о вооруженном столкновении французов с немцами? Нужно быть наивным, как Извольский, чтобы верить в войну и возлагать большие надежды на французскую армию. Вероятно, социалисты, управляющие Францией, прекрасно сознают слабые стороны гнилого государственного организма и, сколько бы ни хорохорились на словах, никогда не рискнут поднять руку на немцев»[15]. Это писал человек, живший в Марокко, у которого буквально на глазах французы как раз тогда покоряли эту огромную страну... Это писалось 17 (30) сентября 1911 г.

Обреченное русское поколение считало, что в 1911 г. у нас в России был строй прочный, а во Франции, которой «управляют социалисты», строй «гнилой»; что смешно говорить о французской армии; что (в том же письме) «с течением времени Франция будет становиться все в большее подчинение Германии...» Они жили в царстве иллюзий и призраков задолго до того, как ушли сами от активной деятельности в мир воспоминаний. Я цитировал мнение человека, стоявшего явственно выше своей среды. О других неинтересно было бы и распространяться. Они все, почти без исключений, были на одно лицо. Они полагали, что, так как аристократический «Gaulois» и салонный «Figaro» ежедневно говорят о гибельной политике радикалов, — значит, Франция гибнет; если клерикалы пишут

о засилии франкмасонов,— значит, франкмасоны управляемы Францией; если прислуга русской миссии в Марокко услышала от прохожего солдата, что ему тут жарко и что ему хотелось бы домой,— значит, французская армия разлагается; если гвардейцы в Берлине выше ростом и, маршируя так называемым Gänsemarsch'ем, отчетливее «печатают носком», чем французы,— значит, французы вырождаются и тягаться с немцами им нельзя. Женская впечатлительность, детская скорость в выводах, общая слабость анализирующей мысли, отвычка от сколько-нибудь упорного обдумывания внешних фактов, эрудиция, пополняемая из иллюстрированных журналов, исторические познания, усвоенные в средних классах Правоведения или Пажеского корпуса, или, в лучшем случае, гимназии — все это многим не давало вглядываться и мешало понимать. Несколько серьезнее были наблюдения во Франции послов Алексея Михайловича, выше мною цитированные!

Это не случайно. Правившее сословие времен Алексея само имело волю к власти и понимало хищническую силу, когда видело ее на стороне у чужих. Обреченное же поколение XX в. уже не имело вкуса ни к власти, ни к силе и ушло со сцены мгновенно. Первые были конгениальнее с Людовиком XIV, чем вторые с потомками и духовными наследниками Людовика XIV; первым оказалось легче понять Людовика XIV, чем вторым понять будущих авторов и реализаторов Версальского мира.

В Англии эти немецкие и русские заблуждения были распространены гораздо меньше вследствие более высокой общей культуры политического мышления. Германскую армию, правда, ставили там выше французской, и что из немцев выходят лучшие солдаты («the Germans make better soldiers») — это являлось аксиомой. Но англичане правильно в общем оценивали возможное значение колониальных войск, неисчерпаемых запасов живой силы во французской Африке, превосходное устройство главного штаба, общий смысл военного воспитания, систематически дававшегося французскому народу (*всем* классам его) с самого 1870—1871 гг. Они соображали, что если из огромной и богатейшей второй в мире колониальной империи в 10 с лишком миллионов кв. километров, которой располагала Франция перед войной 1914 г., всего около $^{11}/_{4}$—$^{11}/_{2}$ миллионов кв. километров было приобретено за *всю* историю Франции до 1870 г., а больше $8^{1}/_{2}$ миллионов — именно третьей республикой за короткий период *после* 1870 г., то уже поэтому говорить о слабости или упадке агрессивности современной Франции — дело спорное и мало производительное. Они соображали прежде всего, что третья республика есть феномен сложнейший и что если немцы убеждены в вырождении этой республики, то тем выгоднее и лучше, не следует ни в каком случае

их разочаровывать. Сами же англичане еще раз внимательно пригляделись, длительно, два года подряд, в 1901—1903 гг. обдумали дело, и король Эдуард VII поехал в 1903 г. к Эмилю Лубэ с предложением политической дружбы.

И все-таки даже в Англии далеко не все реально представляли себе современную Францию, и несколько курьезное впечатление производят такие характерные заявления, как сделанное Эдмундом Госсом в январской книге «Edinburgh Review» за 1916 г. (том 226, статья о «французском единстве»). Восхищенный автор не может скрыть свою радость по тому поводу, что французский союзник оказался таким стойким и сильным, и главное, не может утаить, что это для него, Госса, оказалось полным сюрпризом. Поэтому он начинает в высшей степени бездоказательно выдумывать, будто благой моральный поворот произошел за 15 лет (до того, как он пишет) и что очень много помог делу спорт и т. п. Все это так же дилетантски и фантастично построено, как и вышеприведенные глубокомысленные соображения о вырождении французского народа и заявления о том, что у немцев «mehr Konsistenz», чем у французов. Все это такое легковесное, туристское, банальное, несерьезное, что не веришь глазам своим, когда убеждаешься, что настоящие дипломаты, правда, не в Англии, а в других странах, строили на подобных сообщениях и соображениях свои планы, вводили эти домыслы в свою деловую аргументацию.

В правивших кругах Франции, между тем, не только не замечалось упадка духа, не только не было и речи об отказе от активной внешней политики, но, сверх того, росло с каждым десятилетием убеждение, что если внутренний капиталистический порядок, социальный строй где-нибудь «крепок», то именно во Франции. Первое министерство Клемансо (1906—1909 гг.) Жорес назвал l'ère de la conservation sociale; строй, олицетворявший собственническую Францию, не подвергался, в сущности, никакой систематической атаке, но в высшей степени характерно было то, что его защитники стремились в самом деле ни с того ни с сего, без всякого серьезного повода на каждом шагу демонстрировать полную готовность принять где угодно и по какому угодно поводу вооруженный бой. А за отсутствием вооруженного врага убивали при случае безоружных. Сегодня в Дравейле, завтра в Вильневсен-Жорже, послезавтра в Нарбонне; стреляли в рабочих, стреляли и в виноделов. Строй был и без этих кровавых вызовов, порождавших справедливое возмущение, уверен в себе. Страной мелкого ремесла и мелкой земельной собственности Франция прожила весь XIX в. и вступила в XX в. Ее могущественнейшим, экономически руководящим классом была не промышленная, но торгово-финансовая буржуазия. Германские экономисты с чув-

ством внутреннего превосходства иронизировали над французской манерой жить рентой, давая капитал под проценты и не вкладывая его в непосредственные промышленные обороты. Капитал в таких случаях всегда вызывает нарекания; еще с конца средних веков и с начала нового времени «ленивый капитал» особенно раздражает наблюдателей.

Есть два типа исторического развития движимого капитала Западной Европы. Один — Венеция и Генуя — Брюгге — Антверпен — Амстердам — Лондон. Это тип быстрого усиления торгово-промышленного капитала, сравнительно очень мало зависящего и в создании и в усилении своем от мелких депозитов. И есть другой тип — *отчасти* Флоренция XIV—XVI вв. и, *безусловно*, новейшая Франция, где роль мелких вкладов — иногда очень велика, а иногда — *решающая*.

Во Флоренции, правда, был не только «ленивый», но и рядом очень деятельный промышленный капитал; однако именно мелкие рантье, совсем новый класс (куда прежде всего вошли оскудевшие нобили), подвергались осуждению. Архиепископ Флоренции в 1446—1459 гг., св. Антонин, который и по происхождению своему (он был сыном нотариуса Пьероцци) и по времени, когда жил, мог наблюдать вблизи рост движимого капитала, укорял дворян, «не желающих работать» и отдающих свои деньги «купцам и менялам», как раз за то, что они хотят пользоваться доходами, хотя бы маленькими, не рискуя капиталом (salvo tamen capitali), и именно поэтому считал их поступки ростовщическими, хотя сами они называют это депозитом, но явно, это ростовщичество: «а места этих сделок Пьяцца делла Синьория и Меркато Нуово являлись, по его словам, широкой дорогой, ведущей к гибели души [16]. В истории социально-экономического развития Европы именно парижская Place de la Bourse явилась прямой преемницей обсуждаемых Антонином флорентийских площадей в деле приобщения *мелких* вкладов к общему росту движимого капитала.

Национальное богатство Франции в течение последних ста лет, в особенности же с начала второй империи до мировой войны, увеличивалось, в полной точности, как раз по способу, осуждаемому Антонином. Капиталы быстро росли, и росло число держателей, без риска, без основания новых грандиозных предприятий, без миграции предпринимателей и рабочих. Работала биржа, соединенная с шестью колоссальными банками, и дипломатия, соединенная с биржей. Иногда гигантских банков было не шесть, а четыре или семь; иногда министр иностранных дел охотнее и быстрее принимал во внимание советы и интересы биржи, иногда относился к этим интересам более сухо и небрежно (впрочем, тогда он обыкновенно долго не засиживался в царственных апартаментах дворца на

Quai d'Orsay). Но, так или иначе, биение животворящего политического пульса слышалось именно на бирже. Увеличивались и крепли *капиталы,* но *не* число доменных труб и *не* число рабочих в стране. Многое объясняется в социальной истории и в нынешней действительности французского народа этим коренным фактом его отсталого экономического развития. Во Франции капитализм рос, а рабочий класс оставался стационарен,— и *только* во Франции так было.

Конечно, и в данном случае тоже в Европе многие не хотели признавать факта, и все умышленные преувеличения, которым предавалась капиталистическая французская пресса, принимали за чистую монету, хотя эти преувеличения революционной опасности, якобы грозящей Франции, были рассчитаны только на то, чтобы облегчить правительству суровые меры против Confédération générale de travail и против синдикалистского движения и как-нибудь оправдать расстрелы безоружных. И тут тоже — никакие очевидности ничему не помогали; и в императорской Германии, где насчитывалось на 11 миллионов избирателей больше 4,5 миллионов подающих за социал-демократов, и в монархической России, минированной на всем протяжении своем аграрной социальной революцией в центре и национальными революциями (пока в скрытом виде) на окраинах, правящие сферы с самодовольством сравнивали себя с Францией, благодарили небо за то, что они не таковы, как сей мытарь, и твердили: «Doch haben wir mehr Konsistenz», и указывали на «подгнивающую социальную республику».

И вдруг, с такой психологией, с таким отсутствием представления о действительности правящие и шире образованные слои европейского общества сразу, без всяких переходов, оказались пред изумившим их своей неожиданностью фактом.

Франция выдержала свою очень тяжкую долю страшной борьбы, отвергая все попытки врага покончить войну соглашением, и, как только оружие было вложено в ножны, она извлекла его оттуда снова и повела резко активную, ни с кем и ни с чем не считающуюся политику. Тени Людовика и Наполеона внезапно выступили из истории, и их имена замелькали в политической полемике.

VI

Остановимся прежде всего на обстоятельствах, предшествующих моменту наступления французского преобладания в этот третий раз, в *нынешний* раз. Самое примитивное чувство очевидности заставляло даже немцев в общем в течение всей мировой войны признавать, что французы в 1914 г. в массе своей войны не желали и боялись, что не боялся войны, может быть, президент Пуанкарэ и очень немногие, близкие ему круги, но

что они были в этом отношении решительно в меньшинстве. Война в 1914 г. началась *не* по инициативе французского правительства или общества, или какого-либо из общественных классов и велась Антантой против германской, а не французской попытки установить гегемонию. Таким образом, за всю новую историю, начиная с XVII столетия, *впервые* в ноябре 1918 г. случилось так, что победа Франции оказалась не победой *над* Европой, а победой с Европой, победой, одержанной Францией и другими великими и второстепенными державами над наиболее в данный момент опасной, сильной (до войны) и честолюбивой державой континента. Неисчислимы были последствия этого факта. Прежде всего, полные размеры, абсолютный характер германского поражения давали возможность делать с Германией что угодно и извлечь из победы максимум того, что можно было извлечь; когда писался и подписывался мирный трактат, победившая Европа продолжала бояться не победительницы Франции, но побежденной Германии, и под мотивированным и «законным» предлогом обеспечения соседей от будущих германских нападений оказалось возможным провести полное разоружение Германии и упрочить за Францией фактически верховный контроль и необходимую дипломатическую почву для активной политики в центре Европы.

Уже это давало Франции громадную силу на континенте. Со времени Наполеона не повторялось (а до Наполеона никогда не слагалось) такое положение вещей, при котором либо непосредственной своей военной силой на местах, либо категорическими приказами германскому правительству Париж мог распоряжаться участью Мемеля, Данцига, Верхней Силезии, самых восточных, наиболее далеких от Франции германских границ. Далее, Германия попала под власть победителя, обладая еще огромными экономическими ресурсами, гибель великодержавия постигла ее, как отца Гамлета смерть, «в весне грехов», в процессе громадного капиталистического развития.

Было (и есть еще теперь, после пяти лет развала) что у нее отнимать, и, кроме материальных богатств, Германия в потенции обладала огромными ресурсами труда, и на эти ресурсы нынешнего и будущих поколений уже был выдан вексель, подписанный в Версале 28 июня 1919 г. Беллем и Мюллером, уполномоченными Германской республики. Мы не будем спорить с французскими публицистами (с ними *вполне* соглашается в этом отношении вождь германских левых «независимых» социал-демократов Брейтшейд), что если бы победили немцы, то они точно так же постарались бы выжать все соки из Франции, как Франция старается теперь сделать это с немцами. Бесспорно, это так, но мы тут, повторяем, совершенно не заинтере-

сованы в сравнительной оценке душевной красоты и моральных добродетелей обеих сторон. Мы обязаны считаться с фактом, случившимся на самом деле, а не гипотетическим.

Факты же реальные говорят нам, что германские жизненные соки не увеличивали с 1919 г., но еще могут в будущем увеличивать экономическую, а потому и политическую силу Франции, в распоряжении которой германская хозяйственная жизнь в некоторых областях в той или иной степени теперь находится. Далее, еще особенность: впервые со времени возникновения больших государственных образований в Европе положение вещей свелось: а) к существованию на континенте единственной во всей Западной Европе могущественной, обладающей громадной и технически обильно снабженной армией державы, и б) России, отделенной от Средней Европы целой системой второстепенных самостоятельных государств, находящихся под финансовой, экономической, а иногда и политической ферулой французского правительства. При Людовике XIV Россия тоже лишь к концу его царствования вообще стала приниматься в расчет версальским двором, да и то ее еще очень слабое воздействие на европейскую политику нейтрализовалось двадцатилетней войной со шведами и отчасти с турками.

Но зато при Людовике XIV налицо была на континенте могучая и упорная соперница — Габсбургская монархия; была Голландия со своими громадными движимыми капиталами, флотами, колониями, обширнейшей торговлей; было курфюршество Бранденбургское, которое вело уже самостоятельную и беспокойную политику, сегодня дружественную, завтра враждебную, и с этой политикой даже очень и очень нужно было считаться. При Наполеоне Россия, несмотря на тяжкие поражения, испытанные ею от руки французского императора, несмотря на Аустерлиц и Фридланд, на Тильзитский мир, все-таки была несравненно могущественнее России времен Людовика XIV. Она, кроме того, уже не была отделена Польшей от Средней Европы, потому что самостоятельной Польши уже не было. Только хрупкий заслон — обрывок, оставшийся от Пруссии — отделял владения Александра I от владений наполеоновского брата и вассала, вестфальского короля, Жерома Бонапарта; а на восточных границах герцогства варшавского французские таможенные ревизоры и чиновники, совершая свои постоянные осмотры, могли непосредственно сталкиваться с пограничной русской стражей. *Теперь,* после Версальского мира, цепь вассальных и полувассальных государств, находящихся в прямой экономической и политической связи с Парижем, отделяет Россию от Средней Европы. Австрия превратилась в клочок земли с шестью миллионами жителей, без армии, без тени самостоятельности как экономической, так и политиче-

ской. Бельгия, в военном союзе с Францией, Голландия, Дания, Испания, Скандинавские державы не имеют никакого голоса, не играют ни малейшей роли в общих делах европейского континента. Вновь возникшие державы — Чехословакия, Польша, Югославия, а также усилившаяся Румыния — все под ферулой парижских финансов и парижского военного министерства, причем главные штабы как в Варшаве, так и в Праге и в Бухаресте находятся под ближайшим, непосредственным воздействием и открытым влиянием французского генерального штаба.

Таково положение вещей на *континенте*, в точном смысле слова. Чем больше вдумываться в эти условия, тем больше будет выясняться, что сложившаяся после 1918 г. дипломатическая обстановка на *континенте* — более благоприятна, *если брать только внешние условия*, для установления «длительного» французского преобладания, чем была при Людовике XIV и при Наполеоне.

Мы пока говорили только о дипломатических международных предпосылках для этого преобладания на *континенте*. Сравнение между этими тремя эпохами дает еще более существенные результаты, если мы перейдем к анализу самого *содержания* понятий о гегемонии: а) при Людовике XIV, б) при Наполеоне I, в) в эпоху после Версальского мира.

Но *этот* вопрос естественно и неразрывно сливается с другим, который вследствие особого его характера и безмерной важности мы пока намеренно выделяли из предлагаемого тут подведения итогов. Речь идет о роли Англии.

Впервые за все свое существование Англия оказалась в таком положении, как в 1919—1923 гг. Обыкновенно, после деятельного участия в разрушении чьей-либо гегемонии или претензии на гегемонию Англия видела перед собой, во-первых, поверженного врага и, во-вторых, тотчас же готовую распасться коалицию второстепенных и первостепенных держав, более или менее ослабленных и разоренных только что окончившейся борьбой против общего врага.

Так было, например, после войны за испанское наследство, когда французская претензия на гегемонию была похоронена почти на 90 лет и когда, вместе с тем, ни Габсбургский дом, ни Савойя, ни Голландия не могли и думать угрожать Англии ни в политическом, ни в экономическом отношениях.

После крушения наполеоновской империи наблюдается в общем почти та же картина. К 4 апреля 1814 г., когда Наполеон отрекся от престола, Европа была несравненно больше потрясена, измучена и разорена войной, чем к 11 апреля 1713 г., когда был подписан Утрехтский мир между Людовиком XIV и враждебной ему коалицией. Из победителей Наполеона толь-

ко одна Россия могла внушать Англии кое-какие опасения, да и то больше в будущем, чем в настоящем. Прежде всего, восстановление торговли с Англией после падения Наполеона рассматривалось русским землевладельческим классом и одновременно русским купечеством как спасение для всего русского хозяйства. Ведь сами же английские наблюдения в эпоху континентальной блокады указывали, что Александру I грозит участь Павла, если он будет упорствовать в подчинении воле Наполеона и в исполнении всех запретов блокады [17]. Зная это, лорд Кэстльри мог, на всякий случай, мешать по мере сил на Венском конгрессе территориальному усилению России, но бояться ее или ждать войны с ней никак не мог и не ждал.

Борьба против Николая I в 1854—1855 гг. не была для Англии борьбой против гегемона в таком смысле слова, как борьба против Людовика XIV и Наполеона I. Николай Павлович был еще только гегемоном in spe, в будущем, в случае, если бы ему удалось в самом деле разрушить Турцию. Во всяком случае, после Крымской войны (и очень скоро после нее, уже со середины 60-х годов) по-прежнему Россия, а не союзник, не Франция, вместе с которой была одержана победа, стала привлекать подозрительное и враждебное внимание Англии. Сравнительно с русским движением в глубь Средней Азии и с присоединением Ташкента, всякие неудовольствия с Парижем, вроде претензий по поводу права убежища (в связи с покушением Орсини), могли показаться англичанам мелкими неприятностями.

Теперь попробуем от этих исторических прецедентов обратиться к положению вещей в 1919—1923 гг. Отличие окажется самое разительное, какое только можно себе вообразить.

Во-первых, враг, стремившийся к гегемонии и побежденный в борьбе, оказался настолько раздавленным и растоптанным, как это не случалось *ни разу*, ни с одной страной за всю новую историю. Политическое уничтожение Германии, превратившее ее из субъекта в объект международной политики, так закончено, ее экономика так подорвана, что на предвидимые времена она как бы вовсе снята с европейской карты, и все усилия Англии в 1919—1923 гг. направляются лишь к тому, чтобы от этой полноты уничижения и уничтожения, от этой *законченности* экономического развала Германии не пострадали бы как-нибудь английские интересы. Во-вторых, из союзников определенно — и *тотчас же* после победы — выделился один, который оказался в обладании колоссальной армией и быстро растущим военным воздушным флотом и который несравненно более готов к войне и могуч, чем был в июле 1914 г., который располагает целой системой союзов и соглашений с рядом европейских государств и который установил истинно-сюзеренные отношения ко многим из них, как к своим вассалам.

Кроме Франции — вплоть до русских границ — на всем континенте Европы нет не только ни одной великой державы, но нет и ни одного *вполне* самостоятельного от Парижа государства. Мало того: *нет ни одного государства, которое могло бы больше выиграть, подчиняясь Лондону и противодействуя Парижу, чем ведя обратную политику.* Германия в 1920—1921 гг., в министерство Ференбаха и Симонса, пробовала было опереться на англичан, и дело окончилось катастрофическим принятием французского ультиматума 6 мая 1921 г. (как бы в насмешку посланного *из Лондона*, где происходило совещание премьеров).

Попробовала было проявить самостоятельный характер и Испания в Реуфе и вообще в своей полосе в Марокко,— и поражения 1922—1923 гг. от рук прекрасно вооруженных неведомым благодетелем марокканских войск, фашистская революция (и ее победа) в Мадриде и провинции, безнадежная запутанность всех испано-марокканских дел были последствием проявленного испанским правительством неспокойного характера и непослушания парижскому властелину.

Были и еще поучительные примеры, воспитательное значение которых для всего европейского континента оказалось в пятилетие после Версальского мира поистине огромным.

На кого опереться Англии? Единственная не покорившаяся парижскому жезлу европейская держава пережила огромную социальную революцию, ее внешняя политика рассчитана, в конечном счете, вовсе не на союзные, а на совсем иного характера отношения к британским правящим классам, она продолжает, хотя и на иных основах, при совсем иной идеологии, но упорную и самостоятельную стародавнюю политическую работу в Передней и Средней Азии. Ллойд-Джордж в 1923 г., весной, уже будучи в оппозиции, откровенно заявил в парламенте, что он всегда прежде всего боялся и боится усиления России. Он ее боится больше, чем Франции.

Итак, в Европе союзников на случай решительной, даже не военной, а только дипломатической борьбы против Франции у англичан пока нет.

Из внеевропейских держав только Соединенные Штаты представляют собой серьезную величину, но правительство Штатов и главенствующая, с выборов 1920 г., республиканская партия *основным* принципом своей внешней политики демонстративно выставляют начало полнейшего невмешательства в европейские дела. Да и удивительно было бы, если б дело обстояло иначе: Соединенные Штаты обладают в настоящее время большей частью всего мирового золотого запаса, громадными массами сырья для всех без исключения отраслей промышленности, обильнейшим в совершенстве оборудованным

сельским хозяйством. Они абсолютно ни в ком не нуждаются, и хотя, конечно, в их интересах было бы общее повышение покупательной способности европейского рынка, но жертвовать для этого, хотя бы частью золотого запаса, они вовсе не рассчитывают.

А так как *всякое* вмешательство в европейские дела, по установленному ритуалу, начнется у собеседников Соединенных Штатов разговором о спасении цивилизации, об излечении мятущегося человечества, окончится же непременно просьбой о золоте, то и покойный Гардинг, и ныне здравствующий Кулидж, и тот, кто в ноябре 1924 г. заменит Кулиджа, оказывались всегда и, вероятно, окажутся в будущем глухими к самым патетическим и красноречивым призывам Муссолини, Ллойд-Джорджа, Макдональда и других человеколюбцев.

Да и помимо этой общей причины, Англия уже потому не могла бы надеяться на поддержку Соединенных Штатов в дипломатической борьбе с Францией, что если есть в настоящее время у Соединенных Штатов серьезный торговый конкурент (особенно в деле захвата нефти) и грозный соперник на морях, то именно Англия, а вовсе не Франция.

Итак, у Англии нет ни в Европе, ни вне Европы *ни одного* возможного союзника в этой борьбе против могущественнейшей военной державы современного капиталистического мира.

Уже это обстоятельство должно серьезно затруднять британскую политику в ее усилиях сдержать Францию.

Но нерешительность английских кабинетов, начиная с Ллойд-Джорджа, продолжая Бонар-Лоу, Болдуином и Макдональдом, зависит не только от этого обстоятельства, хотя, конечно, и оно имеет существеннейшее значение. В долгой и кровавой английской истории бывали все-таки случаи, когда Англия выходила на опасный бой и одна, без союзников, как она сделала это, например, в грозные времена Филиппа II, в 80-х годах XVI в., после смерти Вильгельма Молчаливого (когда было ясно, что Голландия в ближайшие годы активно не поможет), или весной 1803 г., разрывая Амьенский договор и бросая перчатку могущественному Наполеону.

Это бывало редко, но все-таки бывало.

Нерешительность Англии в 1919—1923 гг. зависит (может быть, больше всего) и от другой, более сложной причины. Мы до сих пор искусственно выделяли ее из общего хода рассуждений. Настал момент устремить на это обстоятельство все внимание. Вопрос ставится так: к какой именно роли стремится нынешняя Франция? В чем содержание и точный смысл современного ее преобладания?

Гегемония Людовика XIV в 1681—1704 гг. заключалась в громадном, непосредственном влиянии Версальского кабинета

на все дела Западной и отчасти Центральной Европы и в упрочении такого порядка вещей, когда французская территория могла постоянно увеличиваться за счет ее непосредственных соседей, главным образом за счет земель германских, прирейнских. Гегемония Наполеона в 1800—1812 гг. заключалась в еще более огромном безусловно решающем влиянии его воли на все европейские кабинеты, кроме английского, в колоссальном расширении границ французской империи и в создании, сверх того, из целого ряда государств зависимых вполне или полузависимых от Наполеона владений.

Но как определить нынешнее положение вещей? Есть ли это гегемония в духе Людовика XIV или Наполеона? Нет ли неточности в таком приравнении?

Все правители Франции в 1919—1924 гг., начиная с Клемансо и кончая Пуанкарэ, не уставали повторять, что им не нужно ни одной пяди германской территории и что все, оккупированное ими в виде, «санкций и гарантий», будет возвращено, как только Франция получит то, что ей приходится получить по договору. Этим уверениям можно придавать значение или отказывать им в этом, но подобных оговорок ни Людовик XIV, ни Наполеон никогда не делали. Но допустим, что оккупированные области или часть их останутся в державном обладании Франции. Это с английской точки зрения весьма прискорбно, потому что соединение французской руды с немецким углем и французских капиталов с рейнско-вестфальским царством доменных труб может породить могущественнейшую конкурирующую с Англией промышленную силу, но этим и ограничивается *главное*, правда, крайне серьезное неудобство для Англии от создававшегося положения. И притом часть английского промышленного класса определенно боится все-таки *германской* конкуренции и мало верит в реальность французской.

Влияние же Франции в других странах Европы явственно направленно *пока* к объединению Европы не против Англии, как это было при Наполеоне, а против попыток политического возрождения Германии. Французский главный штаб создает чехословацкую, польскую, румынскую, югославскую армии, но ни одного сантима не дает им на постройку флота. Наполеон изгнал английские товары из Европы,— нынешняя Франция не делает ни малейших попыток вредить английской торговле. Наконец, наполеоновские вассалы были сплошь и рядом приведены к покорности силой его оружия,—вассалы нынешней Франции возникли как государственные особи или усилились, если раньше существовали, *только* в результате победы Франции над Германией и в могуществе Франции видят оплот, а не угрозу своей самостоятельности. А это обстоятельство тоже необычайно путает карты. Бельгия, например, является теперь

в военном и таможенно-экономическом отношениях прямым продолжением Франции, и это положение вещей самым кричащим образом противоречит всем традициям английской политики: не допускать подчинения Бельгии какой бы то ни было великой державе. Но что же Англии делать? Воевать с Бельгией за то, что она добровольно и с полнейшей готовностью заключила с Францией тесный союз? Это показалось бы тем более абсурдным, что союз — определенно сухопутный, а не морской, направленный против той же Германии, но вовсе не против Англии.

Далее. Французское правительство после Версальского мира строит демонстративно мало военных судов, и торговый французский флот тоже усиливается крайне туго и медленно. Правда, флот воздушный зато растет во Франции весьма быстро, но это не так раздражает англичан, как раздражали всегда попытки любой державы меряться с ними на море.

Наконец, вопрос о влиянии во внеевропейских странах. Если исключить эпизод с поддержкой кемалистов и возрождающейся Турции в 1920—1922 гг., то нигде во всем свете, *ни разу* французская политика за все пятилетие с 1919—1923 гг. не столкнулась с английской. Что же касается эпизода с Кемалем, то поддержка Кемаля в решительный момент оказалась лишь товаром, который Пуанкарэ выгодно продал англичанам за разрешение занять Рур. После двух лозаннских конференций 1922—1923 гг. ясно, что нет для Франции *ни одного* внеевропейского интереса, который она не отдала бы за усиление свое на Рейне и Руре; а для Англии — ее жизненные интересы являются исключительно внеевропейскими. При этих обстоятельствах в общественном мнении английских правящих классов произошло резкое и глубокое раздвоение, которое отразилось и в прессе, и в парламенте, и даже в недрах британского, кабинета, в 1922—1923 гг.

Ллойд-Джордж, один из вождей нынешней оппозиции, является наиболее характерным представителем одного течения, Болдуин и Мак-Кенн — другого.

Идея Ллойд-Джорджа заключается в том, что хотя нынешнее положение *пока* и отличается от положения при Наполеоне, но что пуанкаризм (термин «Daily Chronicle») и бонапартизм — родные братья, и пуанкаризм станет в будущем столь же опасен для Англии, как был некогда Наполеон. Что пуанкаризм как политическое направление останется, если даже сам Пуанкарэ завтра умрет или уйдет в отставку, это признается аксиомой. Идея же Болдуина и Мак-Кенна та, что политически пуанкаризм явно направлен исключительно против Германии и нельзя во имя туманных будущих опасностей призывать на страну реальную опасность в настоящем, войну против Франции, вой-

чу, в которой у Франции были бы союзники, а у Англии, кроме разоренной, обессиленной, безоружной Германии, союзников не было бы, даже если допустить, что Германия осмелилась бы выступить. Школа Болдуина признает, конечно, что внедрение Франции в прирейнских землях чревато для Англии убыточными экономическими последствиями, но противоядием школа Болдуина считает хозяйственное объединение всех необъятных земель британской короны. Имея немногим меньше $^1/_3$ части земного шара в своих руках, стоит только окружить эти владения высокой таможенной стеной, пока еще не воздвигнутой, чтобы не бояться в будущем никакой французско-рейнско-вестфальской конкуренции. Бурное возрождение в Англии протекционизма и открытый переход к протекционистам бывшего премьера Стэнли Болдуина, до 1923 г. колебавшегося, показывают, что меры против будущих экономических опасностей могут быть когда-нибудь подготовлены. Съезд премьеров всех английских владений в средине октября 1923 г. в Лондоне высказался за протекционизм.

Оба направления спорят усиленно, и при этом раздвоении мысли и чувства никакое сколько-нибудь решительное выступление против Франции невозможно.

Во время предвыборной кампании в Англии, уже к концу ноября 1923 г., все три соперничающие партии заняли определенную позицию по вопросу о французской гегемонии на континенте. Консерваторы (проведшие кандидатов в 258 округах) заявили о необходимости перехода к протекционизму, к политическому невмешательству в дела Европы и экономическому обособлению и самозащите от возможной в будущем континентальной конкуренции (тут имеется в виду возможный в близком будущем гигантский франко-рейнско-вестфальский угольно-металлургический концерн, работающий на соединенном франко-германском капитале и под защитой французского правительства и французских оккупационных властей на Рейне и Руре). Протекционизм должен обеспечить необъятный британский имперский рынок как от этого концерна, так и от ввоза из Соединенных Штатов. Что касается либералов (проведших кандидатов в 155 округах) и labour party (192 округа), то обе эти партии, расходясь по многим вопросам внутренней политики, согласны между собой как по вопросу о протекционизме, который обе эти партии решительно отвергают, так и по вопросу о вмешательстве,— обе требуют активного противодействия французской политике в Германии и вообще стремлению к установлению гегемонии на материке Европы. Правительство Макдональда, возникшее в начале 1924 г., поддерживается этими двумя партиями, дающими ему слабое большинство в несколько десятков голосов. Вместе с тем, обе эти партии, зная

решительное отвращение нынешнего английского избирателя от всякой воинственной политики, лишены возможности доводить свою мысль до конца и энергично на ней настаивать; напротив, обе не перестают говорить о необходимости решительного отказа от милитаризма и о сокращении вооружений. Получается серьезное логическое противоречие между предполагаемыми энергичными и опасными заданиями во внешней политике и средствами к их осуществлению.

24 октября 1923 г. в Сен-Луи разъезжавший в это время по Соединенным Штатам Ллойд-Джордж произнес речь, в которой заявил, что «германские углепромышленники и французские металлурги сговариваются между собой» и что их союз — есть подрыв интересов Англии. Вот почему он рекомендовал занять решительно враждебную позицию против рейнского сепаратизма, который главным образом и построен на идее тесного экономического сотрудничества между Францией и Германией. Он по существу совершенно прав в своем указании и предупреждении; он ошибается только, забывая, что подобные предупреждения мало что предупреждают обыкновенно. Что же непосредственно может предпринять британский кабинет? Не допускать в Кельне легальной, уже признанной Берлином автономии? Но тревожащий Ллойд-Джорджа экономический союз может обойтись не только без Кельна, а даже без формального отделения рейнской области от Германии.

Борьба между английскими партиями на этой почве разгорается в Англии все сильнее.

Несомненно, ближайшие годы пройдут в английской политической жизни под знаком упорной войны между приверженцами этих двух непримиримых программ, касающихся двух теснейшим образом связанных между собой вопросов: о протекционизме и об отношении к французской политике на материке. Выборы в декабре 1923 г. не дали абсолютного большинства в английском парламенте ни одной из трех боровшихся партий. Во всяком случае либералы и labour party вместе располагают теперь большим количеством голосов, чем консерваторы, и во Франции с самого окончания английских выборов ждут обострения споров с заламаншским соседом. Но Макдональд пока не решается.

VII

Во Франции знали об этом раздвоении английской политической мысли уже давно; еще при Ллойд-Джордже, еще в 1920 г., стало выясняться, что англичане далее нот и словесных укоров не пойдут. И тогда же выступил с фатальными для Германии требованиями человек, который только что вышел из «золотой

«клетки» Елисейского дворца, осуждавшей его до той поры на молчание.

Пуанкарэ именно и дал конкретное содержание понятию французской гегемонии, как она осуществляется в этот раз: требование «репараций» не только как очень важная цель, но и как средство, захват Рейна и Рура в возможно более прочное обладание для «обороны французской границы» и для возможно более полного политического и экономического использования как другая цель, более далекая и важная.

Эта другая цель автоматически, при осуществлении своем, разрушает политическое единство Германии, подрывает возможность ее полного экономического возрождения и делает Францию наследницей большей части претензий и шансов былой императорской Германии, поскольку эти претензии касались промышленной деятельности.

Занятие Рейна было предусмотрено мирным договором; занятие Рура было осуществлено Пуанкарэ ровно через год после того, как он получил снова власть в качестве первого министра. Первым министром он стал 15 января 1922 г., Рур был занят 11 января 1923 г.

После всего сказанного незачем много распространяться о том, насколько движение к Рейну было знакомо всей французской истории и насколько, в частности, занятие Рура повторяло политику Наполеона, который созданием Вестфальского королевства стратегически укреплял свои рейнские владения и экономически их усиливал. Напомню менее известный факт, что вплоть до конца *второй* империи мысль о Рейне главенствовала в правящих сферах, хотя говорилось об этом больше в тайной корреспонденции, чем открыто.

Только что явившись в Россию после крымской войны, в качестве посла, герцог Морни хлопочет о сближении между императорами Наполеоном III и Александром II и мотивирует это в своем донесении (5 сентября 1856 г.) весьма прозрачно: «Если бы когда-нибудь пришлось мирным путем переделать карту Европы, ясно, что изменение в пользу Франции не могло бы совершиться с согласия Германии и что это было бы возможно только с помощью России». Это он пишет министру иностранных дел графу Валевскому в Париж,— и еще больше подчеркивает свою мысль в конфиденциальном письме непосредственно императору Наполеону III: «Мое очень глубокое убеждение, что нам более возможно и легче быть в хороших отношениях с Россией, чем с Германией, которая нас ненавидит от всего сердца. А в моих глазах это — *все,* для успеха будущих ваших планов, каковы бы они ни были». Проходит еще некоторое время, и опять Морни говорит о будущем: «Знайте, что Россия — единственная держава, которая согласится на всякое увеличение

Франции[18]. Я уже получил уверение в этом. А потребуйте того же от Англии!

И кто знает, не нужно ли будет, с нашим требовательным и капризным народом, когда-нибудь прийти к этому, чтобы его удовлетворить?» En venir là. Яснее говорить о Рейне невозможно.

Война 1914—1918 гг. популяризовала идею занятия Рейна в самых широких кругах народа.

Не следует забывать, что, в глазах очень многих, даже убежденнейших антимилитаристов, во Франции война 1914 г. была войной чисто оборонительной, и старая идея овладения Рейном как «естественной границей» поэтому очень выиграла в популярности.

Главный секретарь Конфедерации труда, наиболее активной, революционно настроенной организации рабочего класса, какая оказалась в наличности во Франции в момент начала войны, Леон Жуо, говорит: «Правда, мы знали, что нападение идет не от этой страны» (т. е. не от Франции[19]). И он остался в этом убежденным до сих пор, нисколько при этом не переставая и по воззрениям, и по темпераменту быть социалистом и революционером, организатором всеобщей забастовки в мае 1920 г.

Почва для пропаганды необходимости захвата Рейна как укрепленной границы от будущих германских вторжений была в очень широких слоях, сравнительно, подготовлена в 1918—1923 гг. И все-таки, когда усилиями Пуанкарэ, в самом разгаре Каннской конференции, было низвергнуто министерство Бриана, уже готового подписать с Ллойд-Джорджем соглашение, когда внезапный вызов Бриана в Париж привел к его отставке и к образованию кабинета Пуанкарэ, во Франции идея занятия Рура еще не успела вполне акклиматизироваться.

Человек холодного и неприклонного упорства в основной цели, весьма мало уважающий своих современников (как врагов, так и единоплеменных), очень владеющий сарказмом, очень верящий в силу, но фразами умеющий это маскировать, человек, глубоко убежденный, что *теперь* Франция, если поторопится, может надолго подорвать жизненную мощь Германии, но что эта возможность для Франции с каждым годом будет все уменьшаться и вскоре исчезнет вовсе, Пуанкарэ именно и полагал главный смысл нынешнего французского военно-дипломатического преобладания в отхвате тех двух областей, которые являются сердцем и легкими торгово-промышленной Германии. И нельзя сказать, что его очень уж нервно подталкивало «общественное мнение». Насколько зависит от индивидуальной воли, напротив, он сам немного ускорил назревавшие и без него события. Даже комитет металлургии еще не мечтал о таком уж скором и полном военном захвате Рура. Вильям Полтни,

очень заметный парламентарий первой половины XVIII в. и друг (а к концу враг) Уолпола, говаривал, что подобно тому, как змеиную голову двигает вперед змеиный хвост, так и главы партий подталкиваются своими партиями [20]. В десятимесячной дуэли, которая завязалась между Ллойд-Джорджем и Пуанкарэ, с января 1922 г., когда Пуанкарэ оставил Ллойд-Джорджа в Канне в таком нелепом и унизительном положении, устроив в Париже внезапную отставку Бриана, вплоть до 19 октября того же года, когда английский премьер ушел от власти, слабость Ллойд-Джорджа заключалась в том, что он, как и в течение всего последнего периода своей карьеры, все ждал по вещему слову Полтни, толчков от своей партии или от коалиции партий, на которых опирался, но так как у них единства мнений по вопросу о борьбе против Пуанкарэ, как сказано, не было, то он так и не дождался нужного толчка. Что же касается Пуанкарэ, то он не ждал толчков, а давал их и старался ни разу не выпустить из рук инициативы.

Он застал благоприятную для себя *почву, но строить* начал по собственному плану. Загипнотизировав одних утверждением, будто немец заплатит (классическое ныне: l'allemand payera tout), если суметь за него взяться, терроризуя других обвинениями в преступной слабости и в мирволеньи к врагу, разгадав, что Англия ничего сейчас для Германии не сделает и что можно, при известных жертвах и осторожно веденных доверительных беседах, покончить с Ллойд-Джорджем и получить от нового кабинета carte blanche для занятия Рура, Пуанкарэ взялся за свое дело. Узнав точно, что Англия примирится с занятием Рура, если выдать ей головой Кемаля-пашу, Пуанкарэ не замедлил это сделать.

В январе 1923 г. Рур был занят.

Время рурского «пассивного сопротивления» 11 января — 12 августа 1923 г. было использовано главой французского правительства полностью. Нужно сказать, что в первый момент растерянности, ярости и отчаяния в Германии, особенно в правых кругах, речь заходила даже о подготовке чего-то вроде гверильи в занятой области.

Но эти мысли были почти тотчас же покинуты. Действительно, сопротивляться французам в духе старых национальных эпопей, в стиле героической индивидуальной или групповой инициативы нечего было и думать. Хорошо было в свое время Карагеоргию уйти, в январский холод, вдвоем с Главачем в лес и горы и там поджидать добровольцев: «В первый день нас было четверо, на третий день девять, на седьмой — триста; на десятый — четыре тысячи». А еще через несколько дней можно уже было начать войну с турками. Все это было очень возможно и уместно в январе 1804 г. в окрестностях Рудника против яны-

чар с кривыми шашками и ятаганами, но не в январе 1923 г. в окрестностях Эссена против генерала Дегутта с кирасирами, аэропланами, танками и блиндированными поездами.

Никакого «единого национального фронта», помимо всего прочего, в Руре не образовалось, сколько о нем ни писали. Классовые противоречия оказались слишком глубокими.

На третий день после начала оккупации Рура официозный орган Пуанкарэ («Le Temps» 14 января 1923 г.) писал по поводу того, что рабочие массы воздерживаются от участия в патриотической демонстрации пред зданием рейхстага: «...еще логичнее поступила бы социал-демократия, если бы она низвергла правительство Куно». Орган французского кабинета, правда, забывал при этом прибавить, что рабочие Рура относятся к оккупации враждебно. Но все равно «обще-национального фронта» в этой борьбе не получилось. «Наш враг сидит не только на Сене, но и на Шпрее»,— эти слова Клары Цеткин получили широкий отклик среди рабочих масс. Активное сопротивление стало совершенно немыслимым.

Тогда всплыла тактика сопротивления пассивного. Идея Куно финансировать рурское промышленное население с тем, чтобы оно не работало на французов, привела к страшному финансовому краху Германии, к обогащению отдельных фабрикантов и углепромышленников, к недобросовестному и неслыханному (вполне теперь уже констатированному) расхищению народных средств, к безработице и голоду среди рабочих. К концу лета ошибочность избранного метода борьбы уже ни в ком не возбуждала ни малейших сомнений. 12 августа 1923 г. пал «кабинет пассивного сопротивления» Куно и наступило тяжелое похмелье ликвидации финансовых и иных последствий рурской политики павшего канцлера. Эта эра еще только начинается, но уже успели обозначиться некоторые явления, интересные с точки зрения нашей темы.

Прежде всего одна за другой последовали попытки сепаратистов оторвать Рейн от Германии окончательно и создать рейнскую республику *вне* Германии.

Полная невозможность для центрального правительства тратить дальше деньги на содержание чиновников и поддержку неимущего населения в оккупированных местностях давала сепаратистскому движению некоторую почву и силу. Оккупационные власти, под рукой, поддерживали движение (в Пфальце, впрочем, генерал де Метц помогал сепаратистам совершенно открыто).

Официальная позиция, занятая самим Пуанкарэ в вопросе об отделении Рейнской области от Германии, с чисто формальной стороны была «неуязвима»: он не видит причин, почему бы ему не «сочувствовать» свободолюбивому рейнскому населе-

нию, «освобождающемуся от прусского ига». Король Генрих II Валуа, занимая весной 1552 г. Метц, Туль и Верден, выпустил воззвание, в котором объяснял, что борется за германскую свободу и, сохраняя серьезность, называл себя публично защитником германской свободы («Vindex libertatis germanicae»). Пуанкарэ так далеко не идет. Во-первых, он уже занял все, что хотел; а во-вторых, он никогда не любил излишеств в стиле.

Уже к октябрю 1923 г. выснилось, что крайние сепаратисты (в духе Смеетса и Дортена) не имеют поддержки в населении. Но тут же и *немедленно* (в том же октябре) оказалось, что центральное правительство (в лице канцлера Штреземана) само согласно безотлагательно отделить Рейнланд и Рурскую область от Пруссии и предоставить им образовать хоть особую самостоятельную республику, лишь бы эта республика согласилась числиться в составе Германии...

Все это — тоже своего рода традиция бедственной эпохи, наступившей для Германии с момента разгрома ее военных сил в 1918 г. В конце ноября 1923 г., уже при новом канцлере Марксе было вдобавок заявлено в рейхстаге, что правительство согласно на пересмотр конституции с целью значительного расширения самостоятельности как Баварии, так и вообще отдельных государств. Если не сепаратизм, то партикуляризм окончательно легализован и поощрен отныне в Германии.

Щедрость и готовность в деле раздачи всевозможных автономий, начиная с провозглашения принципиального согласия сделать Эльзас-Лотарингию самостоятельным государством германского союза (в октябре 1918 г. еще до революции, в канцлерство Макса Баденского) и кончая «широчайшей автономией», которую великодушно обещал в ноябре 1923 г. канцлер Штреземан, обращаясь к Рейнской и Рурской областям, весь этот внезапный либерализм, все государственное бескорыстие уже ничего не могли исправить; в лучшем случае все эти мероприятия были бесполезны, чаще же всего — вредили. Тут наблюдалось все то же явление, которое так хорошо объяснил потомству Макиавелли, говоря о растерянном, трусливом и бестолковом поведении Гвидо Новелло во Флоренции, весной 1266 г., после поражения Манфреда и гибеллинов при Беневенте: «Эти улучшения, которые, *будь они сделаны до того, как наступила нужда,* помогли бы — будучи сделаны запоздало и без постепенности, не только не помогли, но ускорили гибель». Fatti prima che la necessità venisse...

В том-то и дело, что кроме англичан, да и то не всегда, мало кто когда-либо умел делать уступки до того, как они оказывались уже совсем неизбежными и именно поэтому запоздалыми.

Новейшие германские правители этого не умели, во всяком случае, никогда.

«Легальный сепаратизм» привел к положению, которое в ноябре 1923 г. «Times» характеризовал словами: нечего себя обманывать, в центре Европы образовалось новое государство под контролем Франции, располагающее колоссальными запасами угля и грандиозной промышленностью.

Следует прибавить, что граница между этой новой будущей республикой или автономной областью — и остатком Пруссии, от которой республика или автономная область непосредственно отделится — будет не особенно устойчивой и не очень безопасной для остатка Пруссии.

В старом международном праве власть государства над береговыми водами простирается на такое расстояние, на которое хватает дальнобойности батарей, поставленных на берегу, «terræ dominium, finitur, ubi finitur armorum vis». В отношениях скрытой войны, в каких живут после Версальского мира Франция и Германия, в сущности фактически прочных границ на западе Германия не имеет и иметь не может, так как *в данном случае* разница между береговыми водами и сухопутными пространствами весьма невелика. Силы французского влияния и возможности военного давления теперь на западе Германии хватает на большее расстояние, чем при Людовике XIV, и почти на такое же самое, как при Наполеоне I.

В Германии большая часть общественного мнения рассматривает в настоящее время дело так, что Рейн и Рур, имеющие отныне законно признанное самостоятельное управление, не финансируемые более из Берлина, прочно занятые французами, все же, после крушения сепаратистских попыток зимой 1924 г. и после образования в Англии правительства Макдональда, останутся в составе Германии и что начавшееся с введением твердой Renten-Mark оздоровление финансов может благим образом повлиять на общее положение.

Но вместе с тем целым рядом «договоров» (т. е. повелительно навязанных соглашений) рурская обрабатывающая промышленность и рурские угольные копи уже обязались доставлять так называемой Micum *безвозмездно* громадные партии как готовых фабрикатов, так и в особенности угля (Micum-Mission interalliée de contrôle des usines et des mines, комиссия французских и бельгийских инженеров, заведующая эксплуатацией Рура). Эти договоры (датированные концом ноября и декабрем 1923 г. и январем 1924 г.), даже независимо от того, уйдут ли французы из Рура или останутся там (а они вовсе не собираются уходить), делают в самом деле Рур «французской оружейной мастерской» (eine französische Waffenschmiede), как выразился 9 февраля 1924 г. Максимилиан Мюллер. В этом-то и заключаются отчасти общеевропейские последствия рурской капитуляции Германии, происшедшей после падения

кабинета Куно 12 августа 1923 г. Не менее значительны эти последствия вообще для консолидации французской промышленности. По германским подсчетам, отныне рурские копи обязаны доставлять победителям *ежемесячно* на 50 миллионов марок золотом угля в натуре (не считая взносов в золотой валюте крупного угольного налога); точных цифр для оценки взносов фабрикатами еще нет, но и они тоже крайне велики. Это — только Рур. Общие суммы взносов, требуемых с Германии, будут установлены и обусловлены сроками в близком будущем. От итога, определенного в 1921 г. (132 миллиарда марок золотом + 6 миллиардов особого взноса в пользу Бельгии), Антанта и не думает при этом отказываться.

Так встретило европейское человечество новый 1924 год. Французское политическое преобладание привело к большому сдвигу в центральной Европе.

Это преобладание — пока по крайней мере — не ставит пред *всей* Европой той альтернативы, которую ставила политика Людовика XIV и Наполеона: борьба или вассалитет.

Зато *пред Германией* ставится вопрос не о вассалитете, но еще гораздо более трагический — об экономических возможностях дальнейшего существования.

Ближайшие годы будут, верно, свидетелями попыток, может быть, более успешных, Германии ответить так или иначе на этот вопрос. До сих пор все попытки ответить на него оказывались в высшей степени неудачными, и каждая из них еще более сгущала мрак, нависший над побежденной страной. Может быть, и в самом деле, после осенней капитуляции и договоров рурских промышленников с Micum (хотя эти договоры, по словам даже самых сдержанных германских публицистов, «ужасны», sprechen eine furchtbare Sprache) все-таки появится некоторый слабый просвет и самые эти договоры можно будет изменить, как думают теперь иные оптимисты; будущего мы не знаем, а оптимисты в Германии ошибались уже очень много раз. Один из лидеров демократической партии, Теодор Вольф, утверждает, что в переговорах с Макдональдом Пуанкарэ в состоянии еще уступить «$^1/_{10}$ или $^1/_{20}$ часть» из своих требований, «но не уступит ничего из своих истинных намерений». Прибавим, что сам Пуанкарэ может хоть завтра уйти в отставку, но *пуанкаризм*, о котором шла речь, как сильное течение во французской политике внешней и внутренней, имеет корни в громадных буржуазных и крестьянских слоях французского народа и едва ли скоро исчезнет. Правда, $^4/_5$ разрушенных войной местностей Франции уже к 1 марта 1924 г. *вполне* восстановлена, по неофициальным подсчетам. Но, как мы видели, дело несравненно сложнее вопроса о репарациях.

Вспоминается ли теперь в Германии пророчество Фюстель де Куланжа? И думает ли кто-нибудь об этом же пророчестве во Франции? Едва ли. Для Германии оно уже бесполезно и может только породить запоздалые «змеи сердечной угрызенья»; во Франции оно прозвучало бы совершенно некстати и не по-придворному в чертогах Елисейского дворца, куда со всех концов один за другим спешат с приветствиями и изъявлением чувств друзья, союзники, должники и вассалы.

Но третьим лицам и наблюдателям вспомнить можно.

Дело было в лютую для Франции зиму, в январе 1871 г. В осажденном, голодающем и бомбардируемом из крупповских орудий Париже вышла очередная книжка «Revue des deux Mondes», где на первом месте оказалась статья Фюстель де Куланжа «La politique d'envahissement». Великий исследователь писал [21]: «Если пруссаки в нынешней войне останутся победителями до конца, о них, может быть, скажут: они не совершили никакой ошибки. Но это будет заблуждением: они совершили ошибку, состоящую в том, что они *слишком* победители, что они показали *слишком много силы* и *слишком много* ловкости, а это ошибка, за которую всегда рано или поздно расплачиваются». Et c'est une faute que l'on paye toujours tôt ou tard.

Спустя несколько дней после появления статьи Фюстель де Куланжа состоялось в зеркальном зале дворца Людовика XIV в Версале провозглашение победоносного короля Вильгельма германским императором, а еще через полторы недели Париж сдался, и таким образом книжка журнала попала в Германию уже после входа немецких войск во французскую столицу. Какими туманными и фантастическими должны были представляться эти глухие угрозы поверженного врага, эти зловещие советы не слишком любоваться своей силой в ликующем, расцвеченном знаменами Берлине, упоенном восторженной лестью своих и чужих: «Man sagte uns, wir seien das Salz der Erde überhaupt,— und wir haden es geglaubt!»

Теперь соотечественники Фюстель де Куланжа по себе знают, как трудно не быть «слишком победителями» и не обнаруживать слишком много силы, если она есть в наличности.

Во всяком случае *пока* они стараются показать, что сила их направляется только против Германии и что у других народов бороться с Францией будто бы нет никаких оснований.

Временное в 1923 г. смягчение тона относительно России и явные намеки на возможность изменения ныне существующих ненормальных отношений между обеими странами — таково одно из проявлений этой тенденции современной французской дипломатии.

Сравнительная, временная по крайней мере «обеспеченность» внешней, международной обстановки, обусловливаемая

разнообразными причинами, о которых шла речь выше, и строгая (пока) ограниченность и очерченность задач и претензий, обращающихся враждебным острием исключительно против одной Германии,— вот наиболее характерные отличительные черты природы нынешнего французского преобладания. Обе черты дают переживаемой эпохе индивидуальную физиономию, делающую ее во многом все же непохожей на два предшествующих исторических периода французской гегемонии, о которых шла речь в этом этюде.

Таково в настоящий момент положение вещей, рассматриваемое с *международно-дипломатической* точки зрения. В наши времена предсказывать длительность и «устойчивость» любой конъюнктуры было бы более чем рискованно, и вышеприведенное слово «обеспеченность» следует понимать весьма и весьма условно.

Внутренняя жизнь, классовая борьба европейских народов непрерывно и ускоренно, иногда бурно эволюционирует в наши дни, и в каком направлении эта эволюция будет влиять на дипломатию в каждый данный момент — предсказать в точности трудно. Кое-что должны, например, выяснить общие выборы во Франции.

Во всяком случае пока указанная международная комбинация держится — и если она продержится еще известный срок — следует ждать больших перемен во всех стародавних условиях экономической деятельности, а потому и в традиционной социальной структуре французской республики. Давнишние слова о революционном значении каждой новой фабричной трубы должны быть, конечно, учтены отныне и для Франции.

С другой стороны, только будущее скажет нам, суждено ли Германии, в самом деле, фактически уступить победителю использование значительнейшей части рейнских и рурских экономических возможностей, и если суждено, то как она будет жить и работать без Рейнской и Рурской областей, без которых она уже не Германия, а какая-то новая страна. Но все это пока скрыто от нас той же непроницаемой завесой, как и все будущее внутреннее развитие европейских народов.

Пятилетие европейской истории, только что истекшее, это, так сказать, еще не быт, еще не устоявшееся положение; это — все еще продолжающееся извержение кратера и колебание почвы.

Анналы, 1924, № 4, стр. 34—92

АРХИВОХРАНИЛИЩЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРАВА, КУЛЬТУРЫ И БЫТА ЛЕНИНГРАДСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИВА

Серия финансов, торговли и промышленности

В новейшие времена мировой истории был только один социальный и политический переворот, который по своим грандиозным размерам и своим многообразнейшим последствиям может быть сопоставлен с революцией 1917 г.: это — великая французская революция 1789—1799 гг. Конечно, во многих существеннейших чертах между обоими великими переворотами существует разительное несходство, но с одной точки зрения они похожи: полное (и внезапное) исчезновение всей старой административной системы, всех старых властей и должностей, прекращение всего прежнего делопроизводства, бесследное уничтожение старой бюрократии — все это роднит обе великие революции.

Вот почему, как только возобновились ученые сношения между СССР и Западом, неоднократно приходилось слышать любопытные вопросы со стороны не только французских, но и немецких и английских ученых и архивистов: как обстоит дело с русскими архивами? Не подверглись ли они полному уничтожению в первый, бурный период революции? Сохранилась ли хоть та часть, хоть тот процент старых дел, как во Франции после великой революции?

На эти вопросы, к счастью, мы имеем право ответить, что у нас сохранилось несравненно больше и в несравненно лучшем виде, чем это было во Франции. Конечно, погибли некоторые документы, даже некоторые фонды документов, утрата которых, крайне чувствительна для исторической науки, и кое-что погибло не только во время революции, но и до революции, при различных эвакуациях, вызванных войной и неприятельским нашествием. Но в общем республике досталось колоссальное наследие, и уже с первых месяцев 1918 г. начали приниматься систематические меры против уничтожения архивов, так что в настоящее время можно уже с полной уверенностью сказать, что уцелели колоссальные архивные сокровища. В частности историк, который занимается социально-экономической истори-

ей России, поставлен в несравненно лучшее положение, чем историк, занимающийся этой же стороной исторического процесса во Франции, и больше всего это нужно сказать о последних двух предреволюционных столетиях [1].

Кроме указанного обстоятельства — что сравнительно рано хватились и стали оберегать архивные сокровища,— были налицо еще условия, которые в свое время способствовали самому созданию этих залежей. Дореволюционная, точнее донаполеоновская, Франция не знала даже и отдаленно ничего похожего на громадный бюрократический механизм, действующий в современных больших централизованных государствах. Ведь именно наполеоновская бюрократия и послужила некоторым образом, прельщавшим не одного М. М. Сперанского, когда речь шла о преобразованиях и улучшениях русской чиновничьей службы и делопроизводства,— но у старой, дореволюционной Франции ни Наполеон ничего в этом смысле не мог заимствовать, ни тем более Россия. Разлагающийся феодальный строй, на почве которого делались во Франции в течение XVII—XVIII вв. централизаторские попытки, создал довольно хаотическое положение, где не было в сущности ни настоящего бюрократического центра, ни вполне от него зависящей (в *деловом*, «бумажном» смысле) периферии. И особенно периферия (прежде всего те области Франции, которые сохранили за собой некоторое архаическое самоуправление, «провинциальные штаты») отстаивала свои права и самостоятельность в области социально-экономических отношений и, в частности, в области фискальной. О многом и не могли и не хотели не только писать в Париж, но и *писать вообще*: осторожнее, казалось, о многом в этом смысле, помолчать. Что же касается России, то здесь положение было совсем иное. Петербургская империя прожила свои два века совсем в иной обстановке, и «бумажных» следов хозяйственной жизни страны в этот период должно было остаться несравненно больше. Наш «старый режим» захватил не только XVIII в., но и XIX и начало XX в., когда улучшение средств сообщения, общее повышение культурных навыков, рост денежного хозяйства — при продолжавшемся и даже усилившемся административном централизме и колоссально увеличившемся личном составе бюрократии — должны были, конечно, сказаться количественно обилием и качественно — полнотой и содержательностью канцелярской работы и корреспонденции.

Но и XVIII в. в России оставил немало замечательных документальных памятников. «Полицейское государство» нового времени было пересажено Петром I не без успеха на русскую почву. Возможно полнее узнать платежные силы (*поэтому* и всю хозяйственную жизнь) населения, чтобы более целе-

сообразно установить скалу фискального обложения — вот две основные заботы всякого «полицейского государства» нового времени, и петербургская империя не была в этом отношении исключением. Громоздкий, еще не очень слаженный в отдельных частях, туго ворочавшийся, дефектный в своем личном составе бюрократический аппарат, созданный Петром, неумелый и варварский с позднейшей точки зрения, с точки зрения Сперанского, уже видевшего пред собой стройный и исправный организм наполеоновской империи, все-таки *для своего времени* оказался в общем не менее (может быть, и более) дееспособным, чем, скажем, шведская или австрийская бюрократия того же XVIII столетия.

Эти фонды XVIII в. за крайне редкими исключениями (вроде «окладных книг» 5-й ревизии) сохранились у нас полностью в годы революции. Точно так же, за вычетом очень многих и существенных документов, пропавших в архиве б. министерства торговли и промышленности, сравнительно очень хорошо сохранились и фонды, касающиеся XIX и XX вв.

В настоящее время все фонды, имеющие наиболее близкое касательство к социально-экономической истории бывшей Российской империи за все двести лет ее существования и находившиеся до 1925 г. в трех разных отделениях, сосредоточены в одном архивохранилище, носящем вышеприведенное наименование, в здании б. сената. Это: 1) фонды б. министерства торговли и промышленности и министерства финансов, 2) фонды б. министерства земледелия, 3) фонды б. министерства путей сообщения.

В этих фондах — материал, по богатству, разнообразию и значительности своей, в самом деле, неисчерпаемый, который не истощат и не используют полностью целые поколения будущих историков.

Нет ни одной проблемы экономической истории, ни одного научного задания в этой области, для работы над которыми это архивохранилище могло бы оказаться ненужным. Ненаписанная до сих пор история постепенного роста и социального влияния финансового капитала — *вся* в этой архивной пучине, поскольку органы государственной власти должны были соприкасаться с этим процессом. Экономическая история крепостной деревни, землевладения и землепользования в последние полтора века существования крепостного права тоже сильно отразилась в ряде фондов, так же как состояние землевладения в момент падения крепостного права и в первые годы после освобождения. История русской крепостной и свободной фабрики дана в документах, которых сплошь и рядом не касалась рука исследователя, о существовании которых даже не подозревал, например, М. И. Туган-Барановский, один из немногих, кто все же

работал в архивах по этому вопросу. Таможенная политика русского правительства, история проникновения в Россию иностранного капитала представлены также в обильной документации. В частности, необычайно важны фонды, относящиеся к торговым договорам России с иностранными государствами, особенно к предварительным переговорам, предшествовавшим заключению того или иного трактата. История развития в России путей сообщения, особенно железнодорожной сети, тоже может быть написана на основании документов со всей желаемой полнотой.

В виде иллюстрации я коснусь лишь немногих фондов и постараюсь в нескольких словах дать самое общее понятие о богатстве их содержания.

Предпошлю этой характеристике одно необходимое замечание. Несмотря на очень трудные обстоятельства, при которых начиналось архивное строительство после Октябрьской революции, удалось не только спасти почти все фонды, вошедшие теперь в Архивохранилище (архив б. министерства торговли и промышленности, серьезно пострадавший, является одним из редких исключений), но архивисты, работавшие с 1918 г., даже успели привести часть этих необъятных архивных масс в порядок, а для некоторых фондов имеются уже карточные каталоги. Но и помимо этих каталогов и описей (как унаследованных от предшествовавшего периода, так и новых, составленных уже после революции), разбираться в этих фондах, выискивать дела не так трудно, когда имеешь дело с теми архивами, которые уже с 1918—1919 г. свозились и расставлялись в помещениях б. сената и прилегающего здания (так называемого Поляковского дома). Что касается недавно свезенных фондов б. министерства земледелия и б. министерства путей сообщения, то они до 1925 г. находились в старых своих помещениях и перевозка их в здание сената была предпринята уже при значительно улучшившихся условиях перевозочных средств и при большей возможности установить и устроить их на новом месте, чем это было в 1918, 1919, 1920, даже в 1921 гг., когда иной раз приходилось организовывать перевозку внезапно, не подготовивши ни средств на это, ни помещения, куда нужно было перевозить эти документы.

В настоящей статье я коснусь пока только фондов б. министерства финансов и министерства торговли и промышленности.

Из числа этих архивов особое и как бы центральное место занимает архив общей канцелярии министра финансов. Эта канцелярия, учрежденная в 1811 г., была придаточным органом, посредством которого министр сносился со всем своим громадным ведомством. Отсюда рассылались директивы, требовались отчеты и объяснения, воля министра претворялась в канцеляр-

скую бумагу за номером именно здесь. Финансовую *политику* России немыслимо изучать без фондов этой канцелярии. Здесь, между многим прочим, находятся и бумаги министра финансов при Николае I графа Е. Ф. Канкрина, полные большого исторического интереса. Эта часть архива общей канцелярии, относящаяся к первой половине XIX в. вообще, может отчетливо осветить едва только затронутый пока вопрос, как велось относительно исправное, относительно прочное государственное финансовое управление в эту переходную эпоху, когда крепостной экономический быт уже испытывал сильное влияние все нараставшего денежного хозяйства. Источник силы всей системы Николая I был, может быть, больше всего в этом приспособлении государственных финансов к свойствам переходной эпохи, к некоторым нуждам денежного капитала. Машина, отчасти созданная, отчасти налаженная Канкриным (и уже действовавшая по инерции при дюжинном чиновнике Вронченко), именно и позволила так непомерно оттягивать неизбежное крушение крепостного права. Но как функционировала эта машина, могут рассказать только документы министерства финансов, начиная с бумаг этой «общей канцелярии». Для второй половины XIX в. и начала XX эта «общая канцелярия» не менее интересна. Тут нужно лишь вспомнить о «комиссии для пересмотра податей и сборов», действовавшей в 1859—1882 гг. Бумаги этой комиссии отражают в себе разнообразные течения правительственной политики, искавшей разрешения очень мудреной задачи: создания здоровой и прибыльной системы обложения при сохранении совершенно ненормальных ни с хозяйственной, ни с юридической точки зрения условий существования подавляющего большинства населения, т. е. крестьянства. Изучать экономическую историю «эпохи реформ» без этих бумаг нельзя.

Наконец, в последние годы перед войной, в конце XIX в. и начале XX в., в общую канцелярию стали поступать бумаги, касающиеся русской экономической (а отчасти и общей) политики на Дальнем Востоке, а также в Персии. Эти фонды представляют значительнейший интерес. Можно сказать, что в них ключ ко многим загадкам русской политики той эпохи.

Мы отметили далеко не все важное и незаменимое, что найдет исследователь экономической истории России XIX—XX вв. среди 45—50 тысяч единиц хранения, которые насчитывает архив общей канцелярии.

Еще более (и уж во всяком случае не менее) ценного исследователь найдет в фондах архива б. департамента таможенных сборов. Тут прежде всего следует отметить фонды XVIII столетия. Дела коммерц-коллегии и мануфактур-коллегии дают богатый и совсем до сих пор (за единичными исключениями) не из-

вестный историкам материал по истории промышленного производства в России. Дополняются эти дела фондами коммерческого департамента. Начиная с 1864 г., департамент торговли и мануфактур при министерстве финансов вбирает в себя все дела о фабриках и заводах, а с 1882 г. все дела, в частности, о фабричной инспекции.

Эти фонды представляют особую важность для истории рабочего класса. Не только история политики правительства относительно рабочего движения, но и весь материальный быт рабочего класса не могут быть изучены без постоянного обращения к этим фондам. Вместе с тем эти фонды дают драгоценные сведения по истории роста денежного капитала в России, особенно капитала торгового и промышленного. Эти сведения значительнейшим образом пополняются документами особого фонда, тоже влившегося в наше Архивохранилище со всеми архивами б. министерства торговли и промышленности. Я говорю о громадном архиве департамента таможенных сборов, являющемся одним из главных сокровищ Архивохранилища.

В 1716 г. указом Петра I была учреждена коммерц-коллегия. В ее ведение отошло, собственно, все, что так или иначе затрагивает интересы торговли и промышленности, в самом широком масштабе. Не только все отрасли внутренней и внешней торговли России, но и все торговое судоходство отошли к этому учреждению, которое обязано было деятельно споспешествовать успехам русской торговли и, не довольствуясь чисто административными функциями, подготовлять законодательные мероприятия по части таможенной политики, сочинять тарифы и таможенные уставы и т. д. Эта коммерц-коллегия просуществовала до 1811 г., когда она была заменена сначала департаментом внешней торговли министерства финансов, а затем (с 1864 г.) дела департамента внешней торговли были разделены на две категории: все дела о торговле внутренней были переданы департаменту мануфактур и внутренней торговли, а все дела таможенные, тесно связанные с торговлей внешней, были оставлены департаменту таможенных сборов, как стал с 1864 г. именоваться первый департамент внешней торговли. Департамент таможенных сборов просуществовал вплоть до революции 1917 г. Таким образом, в течение ровно двухсот лет существовали, последовательно, учреждения, тесно соприкасавшиеся с торговым капиталом вообще и с капиталом, ведшим внешнюю торговлю, в особенности; не говорю уж о том, что таможенная политика русского государства составляла основную функцию и заботу этой отрасли государственной администрации.

Все дела этого фонда, начиная с 1716 г., за немногими исключениями сохранились. Правда, на спасение наиболее старых частей фонда пришлось потратить немало тяжкого труда в 1918—

1921 гг. Оказалось, что бумаги XVIII столетия покрыты плесенью, вредоносными грибками и вообще жестоко пострадали от сырости. Тяжелым (и очень негигиеническим, вредным для здоровья) трудом архивистов удалось спасти почти все поврежденные рукописи, причем приходилось работать, очищая документ за документом с крайней осторожностью, чтобы не повредить и без того полувыцветших строк, и работать, все время вдыхая нездоровые испарения, отделявшиеся от документов. Среди дел коммерц-коллегии, вошедших в таможенный архив и спасенных в 1918—1921 гг., есть отдельные драгоценные фонды, вроде бумаг президентов коммерц-коллегии и министра коммерции (1716—1811 гг.). В общем, эти 12 тысяч дел, оставшихся нам от XVIII в.,— драгоценный исторический источник, очень мало (даже до странности мало) изученный до сих пор исследователями. Кроме этих дел, XVIII в. нам оставил (тоже среди фондов таможенного архива) дела поташной конторы, действовавшей с 1690 по 1764 г. и заведовавшей поташными заводами, дела сибирского приказа (те, которые не попали в Москву), заведовавшего казенным торгом товарами Сибири и отчасти шедшими из Китая через Сибирь китайскими товарами. Очень интересны для истории русской внешней торговли и торгового судоходства в первые годы XIX в., в эпоху участия России в наполеоновской континентальной системе так называемые дела нейтральных («неутральных») комиссий. Наконец, попадаются и связки, прямо относящиеся к первым временам русской промышленности и относящиеся к тем годам, когда не функционировала мануфактур-коллегия (1727—1747 гг.) и берг-коллегия (1731—1736 гг.).

Эти документы только что названных двух коллегий являются необходимым дополнением к особому фонду — архиву мануфактур-коллегии, тоже вошедшему в наше Архивохранилище. Тут мы имеем интересные документы по делам о «суде и расправе» этой коллегии и ее подчиненных органов над всем людом, прикосновенным к промышленному производству, начиная от рабочих и мастеровых и кончая приказчиками и владельцами мануфактур и заводов. Историю русской промышленности в первый век империи, в годы 1718—1804, без 764 связок (около 20 тысяч дел) этого фонда изучать совершенно невозможно, а между тем этим фондом не только никто систематически не пользовался до сих пор, но очень редко кто в него даже случайно заглядывал.

Ничего даже отдаленно похожего по разнообразию и богатству этого фонда во Франции для истории предреволюционной французской промышленности (т. е. того же XVIII в.) нет. Может быть, только Англия в этом смысле превосходит наш архив богатством данных по истории промышленности в XVIII в.

Уже из вышесказанного можно было убедиться, что как ни богата документация, касающаяся торговли, промышленности, таможенной политики и т. д. для XVIII в., но для XIX и начала XX в., конечно, количество сохранившихся дел несравненно значительнее. Усложняющаяся экономика, более исправное делопроизводство — все это, конечно, способствовало обогащению новейшей документации. Тут, к предшествующим указаниям, относящимся к XIX в. и началу XX в., я хочу присоединить указание еще на некоторые фонды, до сих пор мной не упомянутые. Архив департамента окладных сборов дает много данных по сбору земских повинностей, по сбору продовольственных долгов, по делам о рекрутской повинности и т. д. Но, конечно, с точки зрения научного интереса, на первом плане среди фондов этого архива должен быть поставлен огромный фонд главного выкупного учреждения, руководившего выкупной операцией (около 88 тысяч дел). «Выкупная операция» относится к делам о выкупе крестьянами той помещичьей земли, которую они получили при освобождении от крепостной зависимости. Этот фонд дает в сущности часть материалов для еще ненаписанной *экономической* истории освобождения крестьян в России и для изучения вопроса о перемещениях земельной собственности в средине XIX в. Что касается фонда всего делопроизводства департамента окладных сборов, то эти бумаги позволяют проследить рост прямого обложения, падавшего на так называемые податные сословия, и дает много реальных и драгоценных данных для анализа финансового хозяйства России в последние полвека существования империи. Что касается косвенного обложения, то его историю можно писать только на основании документов другого учреждения — департамента *неокладных* сборов, учрежденного в 1863 г. и преобразованного в 1896 г. в главное управление неокладных сборов и казенной продажи питей (1896—1917 гг.). К этим делам примыкает и некоторая группа дел, относящихся к 1830—1863 гг., поступившая в департамент из предшествовавшего ему учреждения (департаменты разных податей и сборов). В сущности без систематической истории косвенных налогов немыслимо всестороннее изучение новейшего абсолютизма в России, точно так же, впрочем, как и вообще немыслимо понимание государственной машины европейского «полицейского государства» XVII—XVIII вв. Ведь именно косвенное обложение, его усиленное и преднамеренное использование в XVII—XIX вв. в государствах Западной Европы и России характерно для политики центральной власти, желавшей в одно и то же время, по совету камералистов, этих истинных философов «полицейского государства», и собирать в казначейство прибыльным и автоматически действующим способом нужные деньги и в то же время не ссориться с плательщиками налогов,

не очень часто посылать к ним сборщиков налогов, не очень нарываться на возможность непосредственного отпора и сопротивления. Рост мощи новейшего абсолютизма всегда шел параллельно с ростом значения косвенного обложения в общей финансовой системе государства. Наши документы департамента неокладных сборов и дадут будущему исследователю материал для сопоставлений высокой научной ценности. В частности, пользуясь документами этого архива, можно, не выходя из здания Архивохранилища, написать полную историю винной монополии в России.

Не обойтись историку новейшего экономического развития России и без архива департамента железнодорожных дел, учреждения совсем недавнего (учрежден 8 марта 1889 г.). Все дела железнодорожной тарификации, весь учет капиталов железных дорог, все заказы подвижного состава и рельсов, вся хозяйственная сторона железнодорожной политики правительства — все это сосредоточивалось в названном департаменте и сохранилось в его архиве. Особенно интересно было бы будущему исследователю проследить постепенное расширение железнодорожного строительства в России. К слову замечу, что дела этого департамента находятся в полном порядке, составлена его карточная опись.

Наконец, в рассматриваемой серии нашего Архивохранилища находится еще особый архив министерства торговли и промышленности. Нужно сказать, что этот архив пострадал очень жестоко в первые годы революции, причем погибли и описи, имевшиеся для некоторых из его фондов. Впрочем, сохранилось приблизительно около 50% первоначально бывших материалов, в том числе очень ценные дела начала и первых десятилетий XIX в.: дела комиссии сенатора Новосильцева, дела коммерческого департамента и т. д. Для второй половины XIX в. и начала XX в. есть масса ценных данных для истории акционерных обществ, для истории внутренней и внешней торговли, для истории как горной, так и фабрично-заводской промышленности.

Для последних, предреволюционных лет очень важны документы особого фонда — совета съездов представителей промышленности и торговли. Эта организация возникла в 1906 г. Документы относятся к 1906—1917 гг. и в настоящее время в значительной степени уже приведены в порядок. Писать историю русской промышленности и, в частности, русской промышленной буржуазии без бумаг этого фонда невозможно. Тут встречаем документы по вопросам железнодорожного строительства, по пересмотру торговых договоров с иностранными государствами и т. д. Эта организация крупного промышленного и торгового

капитала играла серьезную роль, и с ее пожеланиями правительство и законодательные учреждения очень считались. К этому фонду по существу дела примыкает другой фонд — архив центрального военно-промышленного комитета. Это учреждение возникло в 1915 г., в разгаре войны, после страшных поражений русской армии и оставления Галиции и Польши, и имело целью оборудование русской промышленности для удовлетворения военных нужд и запросов армии (прежде всего для выделки снарядов). К сожалению, пропало довольно много бумаг из этого фонда. В частности, отсутствуют дела, касающиеся «рабочей группы» этого военно-промышленного комитета. Сохранилось только дело под названием «корреспонденция рабочей группы» да пачка с разрозненными делами рабочей группы. Отсутствуют также дела таких важных отделов, как механический, металлургический, по топливу. Но сохранившиеся материалы все же весьма интересны и, главное, очень мало заменимы чем бы то ни было другим [2]. О кратком существовании этого учреждения мало где остались в других местах документальные следы.

Отдельную группу величайшего научного значения представляют собой документы, относящиеся к истории заключения торговых договоров между Россией и другими державами. За очень редкими исключениями эти документы относятся к последним десятилетиям существования империи. Из старых бумаг отметим 211 документов 1844—1845 гг., относящихся к заключению торгового договора между Россией и королевством Обеих Сицилий. При крайней редкости таких обстоятельных данных, касающихся экономической политики неаполитанского королевства, эти документы могут серьезно заинтересовать не только историка России, но и исследователя западноевропейской истории. Необычайно редкие и важные данные сохранены в фонде торговых сношений с Японией, начиная с 1878 до 1901 г. (199 документов). Это — старейшая часть данного фонда русско-японских отношений. Затем следует более новая часть уже периода после русско-японской войны. Тут 96 документов (точнее — сто, потому что под № 96 понимается конверт с пятью вложениями). Все эти документы (кроме первых пяти) относятся к 1906 г.,— и для истории русской торговой и, в частности, таможенной политики на Дальнем Востоке эти документы представляют высокую ценность. К этому фонду примыкают 52 документа особого дела 1903 г. и 174 документа 1908 г. об отмене порто-франко на Дальнем Востоке, где находим ряд сведений о привозе товаров чрез русско-китайскую границу, таблицы о торговле Китая с Россией и много других незаменимых данных.

Громадный интерес для изучения экономического положения России на Балканском полуострове имеют 184 документа дела

о торговом договоре с Болгарией (1887—1897 гг.). Есть два переплетенных тома с бумагами, касающимися заключения торгового договора с Италией (первый том, 1888—1905 гг.,— 193 документа, второй том, 1905—1907 гг.,— 158 документов). Эти документы существенно важны для экономической истории обеих стран. Еще более важны документы, касающиеся торгового договора России с Францией,— особенно IV том (1905—1906 гг.— 194 документа). Тут мы находим и переписку с представителями французского правительства, интереснейшие статистические таблицы, протоколы секретных совещаний, докладные записки по самым разнохарактерным вопросам и т. д. Если принять в соображение, что французские архивы не выдают исследователям документов «моложе 50 лет» и что, значит, эти документы 1905—1906 гг. станут доступны во Франции примерно... в 1955 г., мы должны будем признать, что наши документы еще долго будут *единственным* и незаменимым источником для истории экономических отношений обеих стран.

Наконец, укажем на главное сокровище этой серии: на документы, касающиеся обоих последних торговых договоров России с Германией (1894 и 1904 гг.). К договору 1894 г. относятся шесть больших переплетенных томов,— в общем 387 дел (иногда по несколько документов в деле). К договору 1904 г. относятся тоже 6 томов, в общем в этой второй серии (о договоре 1904 г.) — 843 дела. Как известно, оба договора не только сыграли громадную роль в экономической жизни обеих стран, но оставили глубокий след в политической истории и отразились на международных отношениях как Германии, так и России. Для Германии оба договора (в особенности первый) открыли как бы новую эру в истории ее промышленности, русский рынок сбыта стал после жестокой таможенной войны доступен для германских фабрикатов, а рынок германский открылся для русского хлеба, русского скота, домашней живности, продуктов сельского хозяйства.

Этот договор с огромными трудностями проходил через германский рейхстаг: партии, связанные с интересами промышленного капитала, всецело поддерживали договор, напротив, аграрии, во главе с их центральной и очень могущественной организацией «Союзом сельских хозяев», резко протестовали, боясь. что русский импорт убьет германское сельское хозяйство. Страстная борьба дошла до того, что Вильгельм II принужден был личным своим влиянием сломать сопротивление аграриев. Вся эта история — один из ярких эпизодов долгой борьбы капитала землевладельческого против капитала промышленного в новейшую эпоху. Второй договор (1904 г.), заключенный в разгаре русско-японской войны, также обратил на себя внимание всей Европы. Он был очень выгоден для Германии, несравнен-

но менее выгоден для России, которая была в этот момент не способна слишком энергично отстаивать свои интересы.

Первый договор в течение десятилетнего срока действия создавал экономическую почву для тогдашних русско-германских отношений, вполне мирных и даже дружественных, несмотря на участие Германии в тройственном союзе, а России — во франко-русском союзе. Второй договор, напротив, был одной из причин последовавшего ухудшения русско-германских отношений. Для истории подготовки обоих договоров в указанных документах мы находим богатейший материал: мы встречаемся не только с разнообразнейшими цифровыми данными, обзорами, характеристиками, справками, которые дают полную возможность нарисовать яркую картину экономических взаимоотношений обеих стран, но мы видим тут и громадную переписку, более или менее конфиденциального характера, бросающую нередко яркий свет на общее политическое положение как в России, так и в Германии. Между прочим, в этом фонде мы находим ценную, хорошо подобранную коллекцию газетных (немецких) вырезок, которые дают представление о всех течениях, существовавших в Германии относительно договоров с Россией.

Краткая характеристика, которую я тут пытался представить, касается только фондов, которые прямо или косвенно относятся к развитию в России торгового, промышленного, отчасти банковского капитала в XVIII—XX вв., и к тем явлениям, которые более или менее близко связаны с этими видами капитала,— к истории рабочего класса, к истории русской таможенной политики, к истории налоговой системы, и, шире, к истории русских государственных финансов за два века.

Но с вопросом о русской таможенной политике и с историей русской налоговой системы (и финансов вообще) связана также теснейшими узами история земледелия и землевладения в России. Для истории земледелия и землевладения в нашем Архивохранилище имеются также колоссальные залежи материалов, которых я тут не касался. Им будет посвящена отдельная статья.

Прилагаю список работ и изданий, вышедших в последнее время и связанных с рассмотренной тут частью нашего Архивохранилища [3].

Архивное дело, 1926, № 7, стр. 47—59.

ПРЕДИСЛОВИЕ

[к книге: Арну А. История инквизиции. Л., 1926, стр. 3—9]

Книга Артюра Арну, члена Парижской Коммуны 1871 г., вышла в Париже в конце Второй империи, в 1869 г. Это было время оживления республиканской оппозиции против императорского режима, и одной из очередных оппозиций считалась борьба против клерикализма. Нужно напомнить, что еще в 1850 г., с первых лет реакции, охватившей Францию после разгрома июньского восстания рабочих в 1848 г., большинство буржуазии решительно отошло от старой вольтерьянской традиции и увидело в союзе и согласном действии с католической церковью залог спасения от социализма. «Закон Фаллу», отдававший фактически все народное образование в руки католической церкви, был лишь одним из последствий этого умонастроения. «Деревенский священник спасет нас от социалистического народного учителя»,— таков был лозунг законодателей, проведших в 1850 г. «закон Фаллу». После государственного переворота 2 декабря 1851 г. и воцарения Наполеона III, клерикальное влияние во Франции стало еще гораздо значительнее и ощутительнее, чем в конце республики. Еще готовясь к перевороту, в первый год своего президентства, принц Луи Наполеон, президент республики, оказал папству громадную услугу, уничтожив (летом 1849 г.) французскими штыками римскую республику и водворив вновь на престоле Пия IX. Услуга эта имела характер длительный, так как французский отряд с тех пор уже вплоть до конца империи оставался в Риме и охранял папу от каких бы то ни было новых революционных попыток. Церковь не осталась в долгу и не переставала и до и после переворота 2 декабря всеми могущественными средствами, находившимися в ее распоряжении, поддерживать президента, а потом императора и в свою очередь постоянно пользовалась его поддержкой. Эти клерикальные симпатии императорского правительства еще усилились под влиянием придворной атмосферы, где дух католического ханжества царил невозбранно со времени женитьбы Наполеона III на испанской графине Евгении Монтихо. Влияние церкви сказывалось во всем и непрестанно. Лишение Ренана кафедры в Collège de France было исключительно делом кле-

рикальных происков против автора «Жизни Иисуса». На выборах в Законодательный корпус республиканцы встречались с полной невозможностью провести своих кандидатов в деревне, не только вследствие административного давления на избирателей, но и вследствие активной пропаганды духовенства. Народные учителя, преподаватели лицеев, профессора университетов были под бдительным и подозрительным присмотром духовенства, и их карьера часто зависела от отношения к ним духовных властей.

Немудрено, что, как только с конца 60-х годов стало обнаруживаться усиление оппозиционных течений, как только стала несколько ослабевать цензура, республиканцы повели решительную агитацию против церкви, и молодой, горячий публицист, Артюр Арну, издал свою книжку по истории инквизиции.

Не только соображения, так сказать, внутренней французской политики толкнули Арну на выбор этой темы. Не следует забывать, что 60-е годы XIX столетия были временем воинствующей общей церковной политики Пия IX. Папа только что как бы объявил открытую войну всей цивилизации, всем приобретениям научной культуры, обнародовав список «заблуждений» человеческого ума. Пий IX, не скрывая, поддерживал все притязания средневекового папства если не практически (за отсутствием сил), то теоретически. Римская курия гнала и проклинала исторические книги, в которых усматривала хоть что-нибудь, клонившееся не к выгоде католицизма. Клерикально настроенные историки и во Франции, и в Германии, и в Италии делали постоянные попытки (и не без таланта, сплошь и рядом) пересмотреть, в интересах церкви, целый ряд исторических вопросов, казалось бы, давно и бесповоротно решенных. Были даже поползновения (и в итальянской и во французской литературе) оправдать и возвеличить инквизицию. Конечно, эти попытки вызывали со стороны противников понятное возмущение и отпор. Такова была та боевая атмосфера, среди которой возникла книжка Арну. Это не есть ученое исследование. Автор в своем фактическом материале зависит от монографии Льоренте и от некоторых других авторов, разрабатывавших историю инквизиции. Но вместе с тем это и не простая популяризация. Это — боевой антиклерикальный памфлет, по своему тону в коекаких местах, и живое, связное, в общем неопровергнутое до сих пор наукой, изложение исторических фактов, имеющих большое значение в истории всемирной культуры. И поэтому книжка вдвойне интересна. Она в живой, ясной, талантливой форме знакомит даже самого неподготовленного читателя с историей инквизиции, и вместе с тем она своим тоном, проникающим ее чувством переносит нас в боевую атмосферу конца Второй империи. Тогдашний читатель, побывавший на процессе

Делеклюза, послушавший пламенную филиппику начинавшего тогда Гамбетты, прочитавший украдкой нелегально дошедший из Брюсселя номер Рошфоровского журнала «Фонарь» («La lanterne»), должен был с большим увлечением читать книжку Арну, и ее тон, вероятно, мог ему казаться единственно возможным при изложении истории такого учреждения, как инквизиция...

Что касается содержания книжки, то следует иметь в виду некоторые ее стороны, которые не могут быть признаны положительными с точки зрения правильного подхода к историческим фактам.

Прежде всего, наивноагитационная манера Арну препятствует спокойному и всестороннему анализу причин, породивших инквизицию. Сказать, что все произошло от злокозненности, властолюбия, и «адской» бесчеловечности церкви и ее служителей, значит ничего не сказать. Автор, например, совсем опускает чрезвычайно значительные экономические интересы, которые сплошь и рядом либо непосредственно руководили инквизицией в ее деятельности, либо делали ее очень активным орудием в руках светской власти. Говоря о преследовании тамплиеров в начале XIV в., автор отделывается беглой фразой о том, что инквизиция овладела их имуществом. Это совершенно неверно: их имуществом овладел король Филипп Красивый, который *исключительно* с этой целью и затеял все преследование, а инквизиция была лишь покорным орудием в его руках (автор же даже не поминает по имени короля, главного инициатора всего дела). Неуспех протестантской реформы в Италии и Испании автор приписывает исключительно репрессиям со стороны инквизиции. Ни один историк, сколько-нибудь достойный своего звания, этого теперь не скажет. Все громадные отличия между Германией, Голландией, Швейцарией, где реформа привилась, и Испанией и Италией, где она не распространилась, отличия хозяйственно-политического характера, а не только характера духовно-культурного, обойдены полным молчанием.

Бегло упомянуто о введении инквизиции в Голландии (точнее нужно было сказать в Нидерландах), причем вся эта первостепенно важная часть истории инквизиции только к такому упоминанию и сводится. Ничего не говорится о громадной, чисто политической роли инквизиции в Нидерландах, и другая, столь же беглая фраза может ввести читателя в заблуждение, если он подумает, в самом деле, что восстание Нидерландов было направлено только против инквизиции, тогда как оно было вызвано прежде всего громадными фискальными поборами и всесторонней экономической эксплуатацией населения со стороны далекого и чуждого испанского правительства. В смысле фактического изложения Арну в общем был на уровне познаний

своего времени, но с тех пор наука внесла несколько бо̀льшую точность. Кое-какие мелочи исправлены в тексте перевода (вроде неправильной даты назначения Торквемады великим инквизитором — 1483 г., а не в 1481; цифры, выведенные Ллоренте, исследованием которого, однако, очень много пользовался Арну, дают в общем счете 31 912 человек, сожженных в Испании за все время существования инквизиции, от ее начала до уничтожения ее при Наполеоне в 1808 г., и 341 021 вообще приговоренных к разным наказаниям, причем цифра сожженных тоже входит в эту вторую цифру; у Арну этих цифр нет, а приводятся раздробленные и несколько запутанные цифровые показания; инквизиция в Испании была окончательно отменена не в 1820 г., как думает Арну — потому что, после подавления революции в 1823 г. она вновь стала действовать, хотя при несколько видоизмененных формах,— а 15 июля 1834 г., декретом королевы-регентши, Марии-Христины; есть еще несколько неточностей, которые исправлены при переводе). Лучше всего в книге изложены события XIV, XV и XVI вв.; слабее других частей книжки Артюра Арну — история инквизиции в последние 200 лет ее существования в XVII и в XVIII столетиях, т. е. история позднейшей борьбы ее против реформации. Тут односторонность подхода нашего автора к своей теме, увлечение агитационной стороной своей работы, ограниченность материала, известного автору, воспрепятствовали истинному пониманию сложных и пестрых фактов, характеризующих религиозную борьбу после «героического» XVI в. Точно так же, очень поверхностно очерчена деятельность инквизиции в Новом Свете, если вообще можно назвать очерком деятельности несколько беглых строк, попадающихся в двух местах книги.

Один из недостатков всего изложения — это склонность автора за деревьями не видеть леса и не замечать, что инквизиция была не самоцелью, но орудием определенной церковной и светской политики, и что сама эта политика как церкви, так и государства диктовалась многообразными и очень часто строжайше материальными интересами, хотя внешний идеологический покров носил, конечно, церковный характер. Читателю в конце концов начинает казаться, что автор, больше всего занятый изображением инквизиции и церкви вообще в качестве исчадий ада, слишком забывает, что порождены-то эти явления все же не адом, а сплетением весьма реальных сил и условий, и что главная задача историка именно и заключается в том, чтобы отчетливо уразуметь и объяснить характер этих сил и причины их победы в одну эпоху и поражения в другую.

Все сказанное не мешает, повторяем, признать книжку Арну далеко не бесполезной работой для общего ознакомления с историей знаменитого церковного трибунала, оставившего в истории

человечества такую страшную память. Читатель, даже не имеющий понятия об инквизиции, прочтя книгу Арну, получит отчетливое представление не только о зарождении и эволюции этого учреждения, но и повседневной его практике, о всем его делопроизводстве, о бытовой стороне его. В русском переводе выпущено все то, что в книге Арну не имеет прямого отношения к инквизиции, а касается лишь истории церкви вообще и местами загромождает изложение. От этих сокращений, книга Арну несколько уменьшилась в объеме, ничего не потеряв из больших достоинств, которые ей присущи как научно-популярной книге по истории инквизиции в точном смысле слова. Живая, талантливо и популярно, с большим подъемом написанная работа Арну окажется весьма полезной в России, где историография инквизиции чрезвычайно бедна.

В кн.: Арну А. История инквизиции. Л., 1926, стр. 3—9.

АРХИВНОЕ ДЕЛО НА ЗАПАДЕ

Свой доклад[1] я разбиваю на следующие части: сначала я буду говорить об организационных вопросах, затем о вопросе материального быта и материальной постановки архивов после войны — преимущественно во Франции, отчасти в Германии и в Англии,— затем коснусь третьего момента, о жгучем, в настоящее время всюду возникающем вопросе об издательском деле, и в связи с этим расскажу о том впечатлении, которое производят издания как Наркоминдела, так, в особенности, Центрархива на Западе. К моему удивлению, у нас впечатление от этих изданий (я говорю о широкой публике) несравненно меньше, чем на Западе. На Западе эти издания возбуждают интерес, близкий по своему характеру к жгучим политическим сенсациям, но об этом я скажу, когда коснусь третьего пункта доклада. Вот три категории вопросов, которые я хочу затронуть. Я должен волей-неволей отбросить все, что сколько-нибудь покажется мне второстепенным.

Вопрос о централизации архивов там не сходит с очереди ни со страниц специальной прессы, ни на совещаниях, на которые архивариусы собираются. Вопрос о централизации архивов возникает и в Германии, и во Франции, и в Англии (о других странах я не говорю). Возник этот вопрос неспроста: количество документов так неслыханно увеличилось, что это один из тех случаев, когда количественное видоизменение влечет качественное. Нельзя сказать: архивное дело расширилось, а нужно сказать так — архивное дело потерпело полный переворот. Если, например, в Англии уже подсчитали, что количество документов, вышедших за время войны и за годы, непосредственно предшествующие войне, за последние 15 лет, равно всему количеству всех документов от начала истории государства, то вы поймете, конечно, что надо говорить о совершенно новой постановке дела, о том, как хранить эту чудовищную массу документов и что делать с удвоением архивов, а в скором времени будет не удвоение, а утроение архивов, потому что они продолжают расти. Почему вопрос о централизации связан с количественным видоизменением, я сначала не совсем сообразил — не понял сначала, какая тут связь,— но мне мои архивные друзья

разъяснили и разъяснили удовлетворительно. Они заявляют, что архивное дело сейчас должно быть централизовано затем, чтобы эта верхушка, над архивами стоящая, имела возможность бороться на нескольких ведомственных фронтах. Прежде всего, чтобы она имела возможность бороться за сохранение и усиление архивных органов на местах, бороться против тех местных сил, которые всегда будут работать врозь, бороться с ними нужно, так как это раздробление и распыление архивного фонда вредно. С другой стороны — и это гораздо важнее,— эта верхушка архивов, эта центральная администрация должна быть достаточно авторитетна, чтобы бороться с министерствами. Архивисты Национального архива во Франции находятся временами как бы в антагонизме, например, с министерством иностранных дел, потому что министерство иностранных дел не желает ни одного документа отдавать Национальному архиву не только за время войны, но и за время, предшествующее войне. Если вы войдете во французское министерство иностранных дел, в некоторые коридоры в задних помещениях, то вы в этих коридорах пройти не можете из-за наваленной чудовищной массы бумаг. Эти бумаги буквально покрывают иногда $^2/_3$ пола и стены, и все это документы военного времени. Отдать их Национальному архиву министерство не желает. Может быть, из-за ведомственного самолюбия, а может быть, и по другим причинам, министерство предпочитает, чтобы эти документы лежали абсолютно без употребления. Эти документы лежат и могут пролежать долгие годы, а Национальный архив совершенно бессилен этот драгоценный материал использовать и даже начать регистрировать. Правда, пока эти документы заперты и не расхищаются, но в то же время их и использовать нельзя.

Таков один из примеров. В настоящее время Парижский Национальный архив, как и все архивное ведомство, состоит в ведении министерства народного просвещения, которое считается, как и всюду, второстепенным, плохоньким министерством, т. е. когда составляются кабинеты во Франции, то обыкновенно серьезные портфели, а именно иностранных дел, внутренних дел, военное распределяются между серьезными деятелями, а портфель министра народного просвещения, как выразился один премьер,— у которого случайно вырвалась эта фраза, но газеты ее подхватили,— что «в министерство народного просвещения можно кого-нибудь, кто там еще остался».

Во Франции встали перед таким вопросом, что специально архивное министерство создать нельзя, но все-таки можно создать некоторое особое управление, с особыми докладами у президента республики, с особым бюджетом, и которое могло бы говорить как власть имущее с другими министерствами. То, что я сказал относительно министерства иностранных дел, отно-

сится к целому ряду других министерств, наиболее важных, к министерству военному, внутренних дел, к министерству снабжения в эпоху войны и т. д. С этим организационным вопросом связано приобретение архивов и управление (посредством подготовленных архивных сил) новыми колоссальными богатствами, которые накоплены; так обстоит дело во Франции, точно так же обстоит дело в Англии. Во Франции это наталкивается на административную рутину и твердый административный костяк, который во Франции чрезвычайно упорен и с которым Архив ничего не может поделать. В Англии это наталкивается на другие препятствия, но стремление к централизации там также есть. Там, как известно коллегам, которые занимались историей Англии, существуют огромные ценности, которых нигде в мире нет, например, архив профсоюзов, архив тредъюнионов, старых рабочих организаций. Я говорю вам о них для примера, но там вообще имеются ценнейшие архивы, архивы, идущие иногда с XII в., которых нигде нет. Эти организации не желают подчиняться центральному архивному ведомству по другим соображениям, иногда по соображениям известного антагонизма, например, так обстоит с архивами тредъюнионов: в их руках их архивы, часто идеальным образом устроенные, и они их не желают вручать государству, так как не надеются на правительство, не желают ему доверять, и не только теперь, но и при Макдональде, когда архивное ведомство, пользуясь тем, что было налицо рабочее правительство, сделало попытку некоторые из этих архивов прибрать к рукам, но орган одного союза заявил — и другие с ним согласились,— что министерство недолговечно, а архивы дело длительное. И действительно, в разгаре всех этих разговоров Макдональд вышел в отставку, во главе правительства оказались консерваторы, и таким образом дело осталось нерешенным.

В Германии вопрос о централизации архивов тоже поставлен. В Германии он наталкивается на затруднения вследствие федеративного устройства Германии, вследствие того, что отдельные государства, или, как они теперь называются, «земли» (Länder), имеют самостоятельное управление. Там есть целый ряд хорошо оборудованных архивов, есть и плохо оборудованные, но о централизации под главенством Берлина не может быть речи, а между тем архивисты отдельных земель не прочь слиться в единое ведомство, чтобы быть импозантной силой перед другими министерствами, т. е.— та же самая история, о которой я говорил, указывая на Францию. Борьба за архивы как за учреждение, имеющее огромное политическое и научное значение, борьба за науку против ведомств — это и стоит в основе всех забот и централистических стремлений, тесно с этим связанных. О других организационных вопросах я много гово-

рить не буду. Очень жгучий вопрос, например, относительно архивной службы. Относительно архивной службы я скажу тогда, когда буду говорить о материальном вопросе, но так как я сейчас говорю об организации, то я должен сказать, что вопрос о назначении и увольнении архивистов является весьма жгучим. Нигде, и в частности во Франции, не выработано окончательного решения этого вопроса. Некоторые служащие, некоторые архивисты сами на 0,9 стоят всецело за централизацию, причем не только те, кто служит в самом Париже, но и архивная молодежь, которая служит в провинции, стоит за централизацию. Это — с той точки зрения, о которой я вам уже говорил, но с точки зрения служебной подчиненности они несколько обеспокоены: по человеческой натуре, им хочется, чтобы, кроме верховной власти начальника архива, была бы какая-нибудь гарантия, чтобы остался существующий теперь административный суд или совет, который разбирал бы жалобы на них со стороны начальников и увольнял или не увольнял бы их. Поэтому, с этой точки зрения, поскольку касается служебного положения, здесь в этом только отношении полная централизация власти находит оппозицию. Это — оппозиция против расширения личной власти и произвола начальства.

Перехожу теперь ко второму вопросу, к вопросу о материальном быте.

Под материальным бытом мы, конечно, будем понимать не только положение живых людей, служащих, но и положение мертвого инвентаря, положение тех сокровищ, для которых существуют живые люди. Хранение архивов, как я уже сказал, становится делом великой важности.Теперь приспособление старых зданий ни в коем случае не удовлетворяет и не может удовлетворить работников архивов. Нужно строить новые здания. Эти постройки новых зданий должны быть непременно рассчитаны так, чтобы большой процент, например 40%, площади был пока пустым вследствие неслыханно быстрого, непрерывного увеличения архивных сокровищ. В Германии кое-где построены архивы частного и местного значения. Программы всех приспособлений антипожарных, санитарных и т. д. и т. д. выработаны на бесчисленных архивных съездах и совещаниях, но надо сказать, что, в силу обнищания Европы после войны, все это очень туго приводится в исполнение. Я помню, как с горечью высказался один архивист на заседании Комиссии архивных деятелей в Бельгии, что единственное пожелание — именно насчет антипожарного устройства — исполняется, да и то потому, что нет дров, и поэтому антипожарные условия соблюдены. Как вы видите, это — весьма сомнительное исполнение выработанных правил. Тем не менее надо сказать, что вопрос о сохранности архивов настолько важный и настолько стоит на очереди дня, что

нужно надеяться, что по крайней мере частичные кредиты будут предоставляться. Надо надеяться, что во Франции и Англии правительство, наконец, будет отпускать известные суммы для построения в течение известного периода времени данного здания. Здание можно построить теперь в течение полугода, но, по финансовым соображениям, постройка его будет растянута на несколько лет. Во всяком случае такого рода предположения имеют место, неизвестно только, скоро ли удастся их осуществить.

Переходя к материальному быту архивистов, нужно сказать следующее. Они теперь, совсем недавно, стали стремиться примкнуть (к величайшему соблазну высшей администрации, которой это очень не понравилось) к профессиональным организациям, даже к общей конфедерации. Эти стремления наталкивались еще недавно на живую довольно оппозицию со стороны части служащих. Служащие архивов везде и всюду, в особенности в Англии и во Франции, по своим настроениям разделяются на две категории. Мы видим, с одной стороны, старых архивистов, не всегда старых возрастом, но старых по своему направлению, старых, потому что они примыкают к старым течениям, людей, выросших исключительно на анализе средневековых хартий, и затем, с другой стороны, мы имеем людей более нового умонастроения,— это те люди, которые, например, с большим удовольствием стали сотрудничать в нашем «Архивном деле», которые на «Архивное дело», здесь издающееся, смотрят как на один из серьезных печатных архивных органов. Даже те скромные, сравнительно, незначительные критические замечания, которые ими делаются здесь, редко встречаются во французской специальной прессе, потому что там кое-какие замечания, вероятно, все же были бы приняты частью читателей за некоторую ересь. Лица, занимающиеся новой и новейшей историей, историей социально-экономического быта, еще являются меньшинством сравнительно с медиевистами, которые занимаются средними веками и с точки зрения научных интересов склонны отмечать новейшую историю как нечто сравнительно далекое от науки. Когда возникают вопросы о материальном положении архивистов, то эти две категории на почве материального быта, на почве обоюдного угнетенного экономического положения теперь почти слились и в последние годы выступают вместе. Каков же этот материальный быт? Я могу привести вам некоторые цифры, говорящие о том, сколько они получают, но цифры не передадут нам ясной картины, ввиду того, что вы не знаете общей жизненной обстановки. Архивист, приблизительно достигший 50-летнего возраста, человек с 25-летним стажем работы в архиве, человек специального образования, получает 1200—1300 фр., реже 2000 фр. в месяц. Переводя это на нынешний курс франка —

не на летний, когда франк падал, а на теперешний,— мы получим следующие цифры: 85, 90, 100, 110, реже 160 рублей.

Правда, жизнь там несравненно дешевле, чем, например, в Москве. Жизнь, в особенности во французской провинции, несравненно дешевле, чем у нас здесь, и поэтому покупательная сила этих 80, 90 рублей большая, чем наших 80—90 рублей. Но все-таки они чувствуют жестокую нужду, и их эти суммы, которые я здесь приводил, не обеспечивают, несмотря на то, что жизнь дешевле. С их стороны раздаются громкие жалобы. Они иной раз говорят, что просто уйдут по другим ведомствам, а так как хорошо подготовленными дорожат, новых же архивистов довольно скупо выпускают, то, конечно, такой уход по другим ведомствам для администрации представлял бы решительный разгром, поражение. Они грозят, что уйдут, куда угодно, если им не набавят жалованья. Один человек еще может прожить, а если служащий имеет семейство, детей, ему очень трудно существовать. Этот вопрос висит в воздухе. Администрация всецело признает законность этих требований архивистов, но правительство чрезвычайно скупо дает архивистам какое бы то ни было увеличение жалованья. Идеалом архивистов является то, что они желают быть уравнены с положением профессуры. Так же, как там, имеются разные категории — приват-доценты, профессора, так же и здесь может быть начинающий архивист, совсем подготовленный и т. д. Они желают быть служебно приравненными к профессуре. Они ведь тоже сплошь имеют ученые степени,— это люди с большой подготовкой, люди которые своей подготовленностью нисколько не уступают среднему французскому профессору и даже иногда превосходят его, однако, несмотря на все это, они поставлены служебно ниже его, и их положение гораздо хуже. Они считают себя совершенно ненормально поставленными.

В Германии, где архивистов меньше, чем во Франции, и где архивное дело было в бюрократическом смысле всегда меньше развито, чем во Франции, казалось бы, принимая это во внимание, архивисты должны были быть поставлены несколько лучше. Но и там они очень жалуются. Там во главе местных архивов стоит какой-нибудь ученый, человек очень подготовленный, у него три-четыре, сотрудника. Они часто не числятся в штате. Он их набирает и сам платит им жалованье, они у него служат, он их принимает на службу, он же их увольняет, когда ему угодно. Никто их не знает, и они всецело находятся в его руках.

Они как бы мелкий технический персонал. Сплошь да рядом в Германии архивистами служат люди, окончившие университеты и высоко квалифицированные, а между тем оказывается, что в Германии архивист поставлен в гораздо более приниженное положение, чем во Франции. В Германии тоже говорят, что

архивистов становится все меньше и меньше и что нужно что-нибудь сделать, чтобы их поддержать.

В Англии положение лучше, архивисты лучше поставлены материально, и оттуда эти жалобы — по крайней мере до меня — меньше доносились. Не могу утверждать, что так уж в этом отношении идеально дело обстоит, но по крайней мере у меня нет фактов определенных жалоб или выступлений, касающихся тяжелого материального положения, вроде тех, которые у меня имеются в изобилии, когда я говорю о Франции. Но это положение архивистов после войны. Вы спросите: как было до войны? До войны было несравненно лучше, потому что ведь с тех пор жалование повышалось слабо, а дороговизна жизни чрезвычайно быстро возрастала. Так что архивист нынешний вспоминает о своем положении до войны, как о каком-то потерянном рае.

Вот те главные впечатления и соображения, которые у меня мелькают, когда я в самом кратком докладе хочу дать вам понятие о нынешней жизни архивистов, об их нынешнем положении.

Теперь я перейду к третьему вопросу. Когда я говорил о своей программе, я, может быть, слишком узко назвал его «вопросом об издательстве». Как западные архивисты смотрят сейчас на свою задачу? Каково, так сказать, архивное общественное мнение? Нужно сказать следующее. Когда архивисты громко домогаются не только увеличения своего жалования, не только лучшего положения, не только того, чтобы было ассигновано определенное количество миллионов на устройство новых зданий, но когда они говорят, что они должны быть поставлены наряду с учеными, они имеют в виду то огромное и культурно-научное и политическое значение, которое архивы теперь приобрели. Архивы никогда — по крайней мере на памяти живущих поколений — не играли такой роли, как в настоящее время. В настоящее время, когда после войны идет такая крутая, замирающая иногда, но никогда не прекращающаяся борьба между отдельными классами, между отдельными политическими направлениями, выросшими на почве борьбы этих классов, когда до сих пор война является той страшной катастрофой, от которой пошла вся современная история, когда история этой войны и история всего, что ее сопровождало и ей предшествовало, является главнейшей злободневной политической задачей, когда вы, знакомясь с прессой в Германии, начиная от консервативной «Крейц-Цейтунг» и кончая коммунистической «Роте фане», во Франции от коммунистической «Юманите» до консервативного «Тан»,— сплошь, да рядом в передовицах увидите указания на те или иные архивные документы, попавшие в руки того или другого автора, когда вы убедитесь, что архив

вынесен на арену злободневной политической борьбы, только тогда вы начинаете понимать, какое значение имеет вся эта недавняя история, все эти архивные сокровища.

Архивисты французские, английские и немецкие уже с 1922 г., когда шквал нищеты и бедствий после войны начал немного утихать, так и поставили дело: «мы, архивисты — люди сегодняшнего дня, к нам будут обращаться. Мы владеем ключами тех тайн, которые вовсе не являются историческими тайнами, а которые являются тайнами политическими, которые сегодня могут произвести тот или иной взрыв, тот или иной обвал». Это положение не только ими осознано, но оно признается и другими всецело. Им нужно что-то делать не только для прошлого, но и для современности, и вот тут-то они во главу угла ставят вопрос об издательстве. В Европе этот вопрос стоит не всюду одинаково: в странах побежденных и в странах-победительницах он поставлен неодинаково. В отношении Германии, в частности, дело обстоит довольно ясно, так как 231 статья Версальского мира гласит, что ввиду того, что Германия сознательно начала войну, она должна заплатить за все убытки. Поэтому для Германии, для германских ученых, для германских архивистов, для германского правительства важно подорвать эту 231 статью. Разумеется, это заблуждение. Даже, если бы они, как дважды два четыре, доказали, что они не виноваты — а они этого не докажут,— все равно Версальский мир устоял бы до тех пор, пока не появится определенная материальная сила, которая его уничтожит. Но так или иначе возгорелась лютая борьба с архивными документами в руках вокруг этой 231 статьи. Германские архивисты поэтому попали в несколько лучшее положение. Их правительство, отказывая им сплошь да рядом в постройке новых зданий и в увеличении жалования, дает им широчайшие кредиты на издания. Издания и существуют. Например, теперь уже вышло 39 томов громадного издания под названием «Большая политика европейских кабинетов». Это издание имеет целью опубликовать большинство документов, касающихся германской политики с 1870 г. до настоящего времени. Разумеется, они не все печатают. Они печатают лишь то, что идет в пользу Германии. То же, что характеризует в прошлом наступательную политику германского империализма, они не печатают —и, как выразился один французский критик этого издания, отвечая на германское извещение, что они будут печатать все документы: «немцы печатают все документы, кроме тех, которых они не печатают». Конечно, наивен будет тот историк, который подумает, что в этих томах действительно все напечатано. Но даже и принимая во внимание эти оговорки, все равно это издание имеет колоссальную важность. Без него нельзя обойтись. Немцы это делают затем, чтобы доказать, что Гер-

мания не была наступающей, виноватой страной, что вся политика империи времен Вильгельма I и Вильгельма II, с 1870 г., стремилась к миру и т. д. Но — повторяю, даже если считаться с этой лукавой целью,— это издание имеет колоссальное значение.

Во Франции и Англии положение не так обстоит. Там не желают публиковать и по крайней мере в ближайшем будущем не опубликуют новейшего своего материала. Тем не менее этот пример действует известным образом. Ведь нельзя было в течение всей Парижской и Версальской конференции кричать о том, что отныне не будет никакой тайной дипломатии и в то же время совсем ничего не опубликовать. Таким образом, до сих пор и английское и французское правительства не отказываются от мысли о публикациях. Их публикации, может быть, окажутся более скупыми, чем немецкая: они, может быть, и 39 томов не опубликуют, но по крайней мере этот вопрос стоит на очереди. А если так, то нужно иметь и штат архивистов для публикаций, таких огромных и таких ответственных.

Нужны ученые силы, которые вынесли бы на себе это злободневное предприятие.

И вы понимаете, что, так или иначе, уж поэтому европейские державы не могут считать архивистов людьми, которых во имя экономии можно сегодня держать, а завтра выбросить вон на улицу. Этот издательский вопрос и стоит центральным вопросом.

Если вы коснетесь того, как смотрят архивисты Запада — французские, немецкие и английские — на свои ближайшие задачи, то надо сказать, что, несмотря на повсеместное сильное национальное возбуждение и шовинизм, именно во французской архивной среде с сочувствием относятся к усилиям немецких архивистов, несмотря на то, что в этой среде сознают, что они не все публикуют, но считают, что архивисты и есть те научные деятели, которые должны, наконец, повсюду способствовать установлению истины.

С этим вопросом связан вопрос, который вас, вероятно, заинтересует ближайшим образом,— тот вопрос, которого я коснулся в самом начале. Когда вы заговорите с любым специалистом французом, немцем или англичанином об издательской деятельности их архивов, то они прежде всего проявляют большое сочувствие и интерес к русской издательской деятельности как Наркоминдела, так и Центрархива. Я сказал, что эти издательства играют совершенно исключительную роль, и вот почему: прежде всего, если вы возьмете издания Наркоминдела и Центрархива, то вы увидите, что все эти издания количественно меньше, чем та, скажем, немецкая коллекция, о которой я говорил, но отношение к ней совсем другое — на немецкую коллекцию смотрят, как на образцовую по издательским приемам коллек-

цию, но все-таки ей не верят вполне, потому что знают, зачем это издается. А нашим изданиям, научные дефекты которых признают, все же больше верят и притом даже лица, враждебно относящиеся к тому, что в СССР происходит. Верят потому, что совершенно ясно, что эти издания можно упрекать в тех или иных научных недостатках, но нельзя упрекнуть их в том, чтобы они тот материал, который касается периода до 1917 г., с умыслом выдумывали, печатали одно и не печатали другого, так как Советская власть в этом как раз не заинтересована: ведь она печатает документы не свои, а ушедшей в прошлое былой власти. Мало того: у нее нет чисто дипломатической преемственности, так как она не должна прикрывать никаких дипломатических шагов до 1917 г. Верят поэтому, что печатается о времени до 1917 г. действительно то, что есть. И с этой точки зрения отношение к нашим издательствам — чрезвычайно сочувственное. Но есть тут еще и другое: необычайная новизна этих документов, их сенсационно-политический характер, которые сплошь и рядом ускользали от очень многих тут, в СССР.

К сожалению, наша публика, наша интеллигенция всегда равнодушно относилась к вопросам внешней политики (это, впрочем, относится ко всем классам общества), мало их изучали, и поэтому у нас много изданий прошло незамеченными, между тем как за границей о них не перестают кричать.

Угодно ли вам знать, какие издания произвели наибольшее впечатление? Скажу сначала о чисто политических изданиях (Центрархив издавал и литературные): поденная запись министерства иностранных дел, напечатанная в одной из первых книг «Красного архива», документы по вопросу о присоединении Боснии и Герцоговины, по вопросу о русско-английских отношениях, по вопросу о франко-русских отношениях, по вопросу о Константинополе и проливах.

Вот документы (я перечислил далеко не все), каждая публикация которых являлась сенсацией.

Какие внешние доказательства вам нужны, если я скажу, что иногда одновременно в 6—7 крупных газетах появлялись большие статьи об этих изданиях. Этого достаточно для доказательства того, какую роль играли эти издания. Когда же они появлялись у нас, то это сплошь и рядом проходило незамеченным неспециалистами.

Это, конечно, констатировать очень печально, но у нас наши издания читались несравненно меньше, чем читались и читаются на Западе.

Мало того: это было на Западе не только газетной сенсацией. Не знаю, следили ли вы, например, за тем неслыханным политическим скандалом, который поднялся в июне 1926 г., когда были опубликованы документы, касающиеся тайных перегово-

ров союзников относительно Италии? Ведь в первый раз Италия и Европа были поставлены лицом к лицу с тем, что во время войны союзники вели определенную, чрезвычайно упорную линию против Италии, с целью не дать ей того, что ей обещали. Это не было новостью, потому что ей и на самом деле не дали того, что обещали, но в Италии все поняли, что это случилось не в порядке политической случайности, а было точно обдумано, что доказали документальные данные.

Это возбудило ту политическую бурю, которая и в настоящее время не улеглась, и в тех отношениях, которые сейчас существуют между Италией и ее былыми союзниками, бесспорно, некоторую роль сыграли и эти публикации. Но я об этом не говорю. Кроме этой политической стороны, кроме того огромного политического значения, которое все это имеет, значение научное не только никем не опровергается, но теперь считается дурным научным тоном не ссылаться на «Красный архив», не ссылаться на его публикации.

Вот точные слова Ренэ Мартеля, выдающегося молодого французского ученого, который реферирует «Красный архив». Приведу некоторые характерные слова: «Отныне нельзя будет не считаясь, не прибегая к этим, опубликованным Центрархивом, документам, изучать историю этой эпохи». Он пишет это в очень крупном и важном органе «Le monde slave».

До сих пор ссылались лишь на некоторые из этих документов, но нельзя предположить при этом умышленного игнорирования, потому что оно было бы слишком пустым и детским, прибавляет Ренэ Мартель.

Он указывает, что не ссылаться на эти русские издания уже считается дурным научным тоном во Франции.

Мало того: я натолкнулся на следующее несколько неожиданное соображение в разговорах с администрацией одной специальной библиотеки, которая вступила в деловые отношения с нашим Центрархивом и которая обменивается с нами изданиями.

Там мне, между прочим, был поставлен некоторый недоуменный вопрос, почему Центрархив публикует в сравнительно малом количестве экземпляров. Известно, что книги, опубликованные в 2 000 экземплярах, через 20—25 лет становятся большой библиографической редкостью, а между тем они имеют непреходящее научное значение.

Вот некоторые впечатления, касающиеся издательской деятельности, которые я там подобрал.

Я говорил пока о политических документах, но этим не ограничивается та непрерывная сенсация, которую эти издания производят, в особенности начиная с 1923—1924 г. Если вы следите по нашей прессе — хотя наша пресса очень мало и очень

плохо это отмечала — за духовной жизнью Запада, то вы видели, какую огромную роль играет в настоящее время в Европе, в Германии, в Англии, во Франции, изучение Достоевского. Никогда ни один русский писатель, даже Толстой, не имел такого колоссального значения и влияния, как Достоевский. Чем это вызвано, я об этом тут распространяться не буду. Скажу только, что он в полном смысле слова царит в духовной жизни Запада. И вот как раз Центрархив опубликовал несколько капитальных сборников ценных документов, касающихся Достоевского. Эта деятельность архивного издательства тоже произвела громадное впечатление и была даже отмечена в газетах и журналах, которые враждебно относятся к Советской России. Говорилось о необычайной разносторонности издательской деятельности одного и того же учреждения, которое публикует громадной ценности материал, и научный и политический, и одновременно публикует колоссальной важности документы о Достоевском, т. е. о писателе, который стоит в центре внимания культурного Запада в настоящий момент.

Все эти комплименты было очень приятно слышать. Я считал лишним в разговорах очень много распространяться о всех научных недостатках наших изданий, делиться с ними своими соображениями о том, что я тоже считаю, что наши издания издаются в малом количестве, ибо об этом полезнее говорить здесь, а не там, но я выслушивал с любопытством то, что говорили. Я замечал при этом иной раз, что они, популяризуя нашу издательскую деятельность, имеют свою цель — они как бы ставят эту деятельность своему правительству в пример. Мне пришлось быть в октябре 1926 г. на одном французском банкете, данном по поводу приезда в Париж нас с С. Ф. Ольденбургом. Этот банкет имел довольно официальный характер — на нем были, кроме массы ученых, некоторые члены французского правительства,— были, между прочим, Пэнлеве и Каваллье — товарищ министра народного просвещения. И вот ему в упор говорили о том, что французское правительство дает мало денег на издания, в то время как в других странах все время выпускаются новые издания документов. Таким образом на моих глазах было это использовано как агитационное средство для получения денег на издание архивных материалов.

Я хочу еще указать на один момент, без которого, я полагаю, мой доклад был бы не совсем полон. Сейчас, например, во Франции и в Англии (Германии я не знаю — я не уловил там этого течения) указывается все чаще и чаще на то, что архивисты по самому существу своей службы, или, выражаясь торжественно, своего служения, объединены известной общностью интересов, независимо от нации, независимо от правительств, которые непосредственно дают им жалование. Необходимо все более и

более тесное объединение между архивными деятелями, которые призваны ограждать документы от извращения, от тех фальсификаций, которые несомненно будут производиться именно ввиду слишком гнетущего злободневного характера этих документов, необходимы постоянные съезды, постоянные встречи. На одном собрании авторитетных архивных деятелей во Франции была выражена мысль, что теперь трудно представить себе съезд, архивный конгресс без участия русских архивистов. Заслуженные деятели французских и немецких архивов наперед соглашаются, что неустройства есть как у нас, так и у них, но обязательные заслуги, которые уже налицо, в виде этих изданий, ставят русских архивистов на такую высоту, что уже не может быть речи о существовании крупного международного предприятия архивного характера, например, всемирного архивного конгресса без участия русских архивистов...

Архивное дело, 1927, № 11—12, стр. 93—104.

РЕЧЬ ГЕНЕРАЛА СКОБЕЛЕВА В ПАРИЖЕ В 1882 г.

Печатаемые ниже документы * освещают инцидент, который не только приобрел в феврале 1882 г. значение первостепенного политического события, но и вообще уже никогда не был забыт ни европейской дипломатией, ни историками, писавшими о международной политике конца XIX столетия. Воинственная и прямо направленная против Германии речь Скобелева, сказанная посетившим его в Париже сербским студентам 17(5) февраля 1882 г., произвела в Европе впечатление разорвавшейся бомбы и стала одним из заметных этапов в намечавшейся подготовке новой группировки европейских держав. Вместе с тем инцидент довольно характерен для внутренне-политических отношений тогдашней России.

Генерал М. Д. Скобелев был в ту пору на несколько особом счету в придворных сферах Гатчины и Петербурга и в правящем кругу военной бюрократии. Человек больших и общепризнанных способностей, честолюбец «высшего порядка», мечтающий не столько о Суворове, сколько о Наполеоне, с натурой совершенно бесстрашного кондотьера, с относительно большой притом умственной культурой, весьма равнодушный к традициям и вполне уверенный в своем предназначении, Скобелев привлекал к себе особое и совсем специальное внимание еще задолго до инцидента 1882 г. Александр II его не любил, оттирал на задний план и явственно опасался: и имел основание опасаться. Скобелев был по своей натуре именно типичным генералом от пронунсиаменто в стиле испанских и южноамериканских военных командиров, берущих на себя время от времени экспромптом инициативу по части внезапных изменений гсударственного устройства своей родины. «Русский биографический словарь» с жаром заявляет, что Скобелев был «настоящий верноподданный», но считает все же необходимым неясно и деликатно прибавить: «он был более усерден, чем требовалось, и не был достаточно сдержан» [1]. Именно «верноподданности» в нем не было никакой. Верещагин (брат художника) рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды Скобелев попросил его разъяс-

---

* Здесь печатается вступительная статья к документам, опубликованным в журнале «Красный архив», 1928, т. 2.— *Ред.*

нить, что такое собственно социалисты и чего они домогаются,— и, получив ответ, заявил, что раз они хотят создать такой строй, при котором он, Скобелев, будет не нужен, он намерен с ними бороться. Это очень похоже на Скобелева. Социалисты или Александр II, или Александр III одинаково его интересовали исключительно с точки зрения возможности лично для него развернуть отпущенные ему силы. Там, где все держалось на повиновении армии, глава династии не любил и не мог любить этого никогда не смеявшегося красавца, которого некоторые считали шарлатаном, другие героем и все — очень опасным и на очень многое способным искателем приключений, снедаемым тоской по власти и по славе, умудрившимся приобрести какими-то путями очень большую популярность среди войск, ту самую популярность, которой так страстно жаждал всю свою долгую жизнь, но которой так никогда и не увидел, например, Драгомиров, не говоря о других. Скобелева не любили генералы, мало любили офицеры и очень любили солдаты. Сам он никого не любил и никого не боялся и решительно не понимал своей жизни вне войны. Его громадные успехи в Азии в 1873—1875 гг., победы в турецкой войне 1877—1878 г., завоевание Ахал-Теке в 1880—1881 г., явное и постоянное (всегда на виду солдат и с рассчитанной целью произвести на них впечатление) бравирование смертельной опасностью — все это, как было вполне очевидно для современников, должно было, по мысли Скобелева, служить лишь прологом к какому-то сложному и огромному будущему. Его боялся и не любил также Александр III, который, во-первых, вообще опасался войн, а, во-вторых, после террористических покушений ничего так не страшился, как военных переворотов. Боялся (и очень) Скобелева также ближайший и довереннейший друг и советник царя Победоносцев. Когда по возвращении из Средней Азии, в 1881 г., завоеватель Ахал-Теке представлялся царю и Александр III сухо его принял, то Победоносцев жестоко встревожился тем обстоятельством, что Скобелев остался недоволен приемом. Да и весь двор был этим очень обеспокоен. Победоносцев написал по этому поводу царю удивительно характерное письмо, обличающее жестокую растерянность и непритворный страх: «Я уже смел писать вашему величеству о предмете, который почитаю важным,— о приеме Скобелева. Теперь в городе говорят, что Скобелев был огорчен и сконфужен тем, что вы не выказали желания знать подробности о действиях его отряда... Я слышал об этом от людей серьезных, от старика Строганова, который *очень* озабочен этим... Я считаю этот предмет настолько важным, что рискую навлечь на себя неудовольствие вашего величества, возвращаясь к нему. Смею повторить снова, что вашему величеству необходимо привлечь к себе Скобелева сердечно. Время таково, что требует крайней осто-

рожности в приемах. Бог знает, каких событий мы можем еще быть свидетелями и когда мы дождемся спокойствия и уверенности. Не надо обманывать себя: судьба назначила вашему величеству проходить бурное, очень бурное время, и самые большие опасности и затруднения еще впереди. Теперь время критическое для вас лично... Обстоятельства слагаются, к несчастью нашему, так, как не бывало еще в России,— предвижу скорбную возможность такого состояния, в котором одни будут за вас, другие против вас... Пускай Скобелев, как говорят, человек безнравственный. Вспомните, ваше величество, много ли в истории великих деятелей, полководцев, которых можно было бы назвать нравственными людьми,— а ими двигались и решались события... Скобелев стал великой силой и приобрел на массу громадное нравственное влияние, т. е. люди ему верят и *за ним следуют* (подчеркнуто Победоносцевым — *Е. Т.*). Это ужасно важно, и теперь важнее, чем когда-нибудь». Победоносцев хорошо понимает, как царь боится Скобелева! «Могу себе представить, что вам было неловко, несвободно, *неспокойно* со Скобелевым, и что вы старались сократить свидание» [2]. И снова корит царя за то, что Скобелев остался им недоволен. Писем, подобных этому, Победоносцев никогда царю не писал. Непобедимый страх сквозит из каждой строки. Похоже на то, как старый осторожный ментор выговаривает воспитаннику за то, что тот не угодил грозному начальнику, представляясь по службе.

И чем больше восходила к зениту звезда Скобелева, тем подозрительнее, беспокойнее и боязливее делался по отношению к нему двор. Но и тем самостоятельнее чувствовал себя загадочный «белый генерал», вернувшийся в Европу после штурма Геок-Тепе, жаждавший новой войны, томившийся в мирной обстановке, разрушавший здоровье оргиями, жегший свечу с двух концов. В этом-то душевном состоянии он и попал зимой 1882 г. в Париж. Сербские националистически и весьма антиавстрийски настроенные студенты, учившиеся в Париже, приветствовали его — и в ответ Скобелев сказал ту речь, которую читатель найдет в печатаемых материалах. Речь направлена не против Австрии, а именно против Германии, которая как раз в этом же 1882 г. не только скрепила свой союз с Австрией, но и присоединила к нему и Италию, раздраженную завоеванием Туниса французами. Конечно, во французских правящих сферах эта речь Скобелева вызвала большое сочувствие. Хотя ни представители крупного капитала, ни какие бы то ни было другие классы во Франции воевать с Германией тогда не только не собирались, но даже боялись самой мысли об этом, однако резкие нападки Скобелева, конечно, наносили жестокий удар дипломатическому положению Германии. «Скобелев грубо на-

помнил нам, что у нас враг не только на западе, но и на востоке»,— так отзывались многие органы немецкой прессы. О франко-русском союзе мечтал тогда Гамбетта, мечтали еще некоторые деятели, но эти предположения и мечты еще были окутаны туманом. Речь Скобелева была первым событием, которое отчасти конкретизировало и делало правдоподобными упорные слухи, ходившие в Европе с марта 1881 г., что новый русский император Александр III — заклятый враг Германии и, несмотря на миролюбивые заявления, ждет только случая, чтобы напасть па Германскую империю. Что Скобелев, генерал на действительной службе, знаменитейший из русских военных деятелей того времени, говорит никем не уполномоченный, исключительно от своего собственного имени, этому *никто* не поверил ни во Франции, ни в Германии. «Если Скобелев говорил только от себя, без разрешения,— то этот инцидент очень интересен с симптоматической точки зрения, для характеристики состояния дисциплины в русской армии»,— так высказался князь Бисмарк, весьма раздраженный и взволнованный этим происшествием. Германская и австрийская печать месяцами еще писала о выступлении Скобелева, возвращаясь к нему постоянно, по самым разнохарактерным поводам.

Бисмарк, говоря свои слова о дисциплине армии, имел прямой и очевидной целью поставить Александра III пред альтернативой: либо сурово наказать своевольного генерала, узурпирующего императорскую прерогативу и вмешивающегося в высшую международную политику, либо, оставляя его без наказания, тем самым признать, что Скобелев правильно изложил мнения самого императора. Но может быть, именно резкостью своих заявлений Бисмарк на этот раз несколько испортил дело. А, может быть, царю вспомнились и испуганные советы Победоносцева.

Как известно, Александр III приказал Скобелеву немедленно явиться из Парижа в Петербург. Предоставим дальше слово генералу Витмеру, которому передавал очевидец, дежурный свитский генерал: царь, «когда доложили о приезде Скобелева, очень сердито приказал позвать приехавшего в кабинет. Скобелев вошел туда крайне сконфуженный и по прошествии двух часов вышел веселым и довольным». Витмер добавляет (передавая быстро распространившееся тогда общее мнение): «Нетрудно сообразить, что если суровый император, не любивший шутить, принял Скобелева недружелюбно, то не мог же он распекать целых два часа. Очевидно, талантливый честолюбец успел заразить миролюбивого государя своими взглядами на нашу политику в отношении Германии и других соседей» [3].

В Германии именно после этого двухчасового разговора поднялись усиленные толки о внезапно обострившейся восточ-

ной опасности. Шум в Европе не успел еще сколько-нибудь ослабеть, как 25 июня того же 1882 г., чрез четыре месяца после своей речи, Скобелев внезапно скончался.

Характерно, что и во Франции и в Германии этот инцидент постоянно вспоминали в 1890 г., когда готовилось заключение франко-русского соглашения, и в 1891 г., когда это соглашение было подписано. Печатаемые документы отражают жестокое беспокойство официальной русской дипломатии. Посол Орлов прямо приравнивает Скобелева к революционному вождю Гарибальди. Кн. Орлов принадлежал к школе русских дипломатов, понимавших страшную опасность большой войны для государственного строя, ими представляемого. Германия была для них (особенно в 1882 г.) монархией и сильной державой, Франция — республикой и еще пока слабой державой, не вполне оправившейся от поражения 1870—1871 г. Александр III был склонен еще ждать. На заключение союза с Францией он окончательно решился лишь спустя 9 лет, после отказа Вильгельма II от возобновления русско-германского «договора о взаимном страховании», или о «перестраховке», как его чаще называют Ruck-Versicherungs Vertrag. Но в точности истинное отношение Александра III к речи Скобелева установить очень трудно. Когда последовала внезапная кончина Скобелева, то император, ко всеобщему изумлению (так как знали, до какой степени он не любил и боялся Скобелева), отправил сестре генерала такую телеграмму: «Страшно поражен и огорчен смертью вашего брата. Потеря для русской армии трудно заменимая и, конечно, всеми истинно военными сильно оплакиваемая. Грустно, очень грустно терять столь полезных, и преданных своему делу деятелей». В Европе эта телеграмма была истолкована как замаскированное выражение одобрения февральской речи Скобелева.

В Германии уже никогда не забывали ни речи генерала, ни телеграммы императора. Желание угодить почитателям Скобелева на этот раз осилило обычную боязнь царя перед международными осложнениями.

Красный архив, 1928, т. 2 (27), стр 215—218.

CHALLAYE F. SOUVENIRS SUR LA COLONISATION. Paris, 1935. 210 p.

ШАЛЛЭ. Ф. ВОСПОМИНАНИЯ О КОЛОНИЗАЦИИ

Эта книга дает интереснейший и местами совершенно незаменимый сырой материал для всякого историка, занимающегося колонизацией Африки и Азии в эпоху финансового капитала, особенно в годы перед мировой войной. Шаллэ дает беглые записи своих непосредственных впечатлений и заметки о своих разговорах, не пытаясь облекать их в литературно обработанную форму, не претендуя ни на художественность, ни на научное подведение итогов. Шаллэ — убежденный пацифист, антимилитарист, носящийся с наивной иллюзией, будто можно покончить с войнами и со зверствами в колониях, оставляя в то же время в неприкосновенности капиталистический строй. Мелкобуржуазный пацифизм привел Шаллэ в последнее время к ряду крупных ошибок в оценке международного положения и задач, стоящих перед сторонниками борьбы за мир. Именно эта его позиция вызвала в марте 1936 г. укоризненное открытое письмо Ромена Роллана в еженедельнике «Vendredi», в котором Роллан упрекает Шаллэ в непонимании того, что одной пацифистской пропаганды мало для борьбы против Гитлера. Но тот же Ромен Роллан так же, как Андре Жид и как Поль Ланжевен, снабдил разбираемую книгу Шаллэ о колониях горячо сочувственными декларациями, напечатанными в ее начале. «Мы гордимся вами»,— пишет ему Ромен Роллан. И тут нет никакого противоречия: вреднейшие логические несообразности буржуазного пацифизма в этой книге Шаллэ, появившейся в самом конце 1935 г. и посвященной колониям, нисколько не сказываются и не умаляют значения его разоблачений.

Работа Шаллэ имеет не только исторический, но и злободневный интерес. Автор утверждает, что наблюдавшиеся им 30 лет назад факты повторяются и в настоящее время.

Картина, рисуемая автором, ужасающая, и ее правдивость косвенно подтверждается как полным отсутствием опровержений, так и промелькнувшим в газетах известием, что нынешний французский министр колоний тотчас по вступлении в должность приказал строго расследовать действия как средне-

африканских, так и индокитайских администраторов. А факты, уже успевшие отодвинуться в историю, сплошь и рядом были подтверждены в свое время судебными разбирательствами и собственным сознанием подсудимых. При этом почти никакой разницы между культурными аннамитами Южного Китая и полудикими племенами Центральной Африки колониальные администраторы не усматривают: недаром один из преуспевающих колониальных чиновников предлагал одинаково считать убийство южного китайца или негра не «человекоубийством» (homicide), а «животноубийством» (animalicide). Если кое-где туземцам жилось и живется несколько сноснее, то это происходит потому, что в данном месте нет каучука или других ценных продуктов, и поэтому нет необходимости выжимать из населения все соки. Таково наблюдение Шаллэ.

В окрестностях озера Чад сам Шаллэ и другие путешественники в 1905—1906 гг. находили зловонные темные тюрьмы, где без воздуха, почти без пищи, похожие на скелеты, томились женщины и дети, взятые в качестве заложников, исключительно за то, что их мужья, отцы и братья убежали в леса, чтобы спастись от тяжкой и ненавистной повинности, которой они подчинены по произволу орудующих там промышленных компаний и которая состоит в *даровой* переноске тяжестей. Туземцев убивали сплошь и рядом без тени суда и без тени ответственности. «Это было всеобщее побоище, организованное затем, чтобы исправно шла служба»,— безмятежно пояснял один чиновник (Го), отданный все-таки под суд за то, что он с товарищем, чтобы отпраздновать пошумнее и позабавнее национальный праздник 14 июля, привязал к голове одного негра динамитный патрон и взорвал его, так что негра разнесло в клочки. Чиновника присудили за это развлечение к пяти годам тюремного заключения, которого фактически он, конечно, не отбывал. Чиновничество даже негодовало на самый суд по такому пустому поводу.

Промышленные компании иногда покупают за гроши у администрации, а иногда и даром берут колоссальные (по многу *миллионов* акров!) концессии, откуда выгоняют вон прежних собственников-негров, которых тут же и обращают фактически в своих рабов. Уклоняющиеся от работ по добыванию каучука подвергаются жестокому сечению так называемой шикоттой — хлыстом из кожи гиппопотама. И это еще считается самым легким наказанием! Промышленные компании, получившие концессии, делают с туземцами буквально, что хотят. Например, в 1906 г. компания, имеющая концессию в М'Поко (в Конго), «для примера» организовала карательную экспедицию, которая перебила полторы тысячи негров. Ни малейшего отчета и объяснения никто, конечно, за это не потребовал. Концессионеры

считают, что негр только потому, что он негр, *обязан* работать на них. Вот скалá принуждений: 1) арест и сечение шикоттой, 2) забирают в тюрьму женщин и детей и отпускают их лишь по доставлении определенного количества каучука и слоновой кости, 3) упорствующих расстреливают.

Приневоливая туземцев к работе, компании будто бы «платят» им, плата выдается товарами по расценке на пятьсот процентов дороже рыночной стоимости товара. Это дает повод администрации колонии гордо заявлять: «Рабства у нас в колониях нет, за труд *платится* заработная плата». Выше сказано уже, что делают с отказывающимися работать за эту «заработную плату». Таков «быт».

Концессионеры, избивая, истязуя, нагло эксплуатируя негров, в то же время обкрадывают и государственную казну, платя ничтожные деньги за концессии и еще вымогая субсидии, в чем им усердно помогают нередко сами «парламентарии». Очень кстати Шаллэ напоминает известную позорную историю с компанией К'Гоко-Санга (1910—1911 гг.), которая заведомо мошеннически вымогала у казны субсидию в 12 миллионов франков при деятельнейшей и щедро вознагражденной поддержке сверхпатриота и сурового политического моралиста, ныне покинувшего парламент и открыто перешедшего в фашистский лагерь — г-на Андре Тардье, непримиримого обличителя «беспринципности» радикальной партии и врага франко-советского соглашения.

Захватывающе интересны также и страницы книги Шаллэ, посвященные Индокитаю. О современном Индокитае говорит наделавшая столько шума специальная книга Андре Виоллис («Индокитай С. О. С.»), вышедшая в середине 1935 г. и заслуживающая специального рассмотрения. Книга Шаллэ дает и здесь не столько современность, сколько недавнюю, впрочем, очень похожую на современность, историю.

Уже в первое свое путешествие (в 1901 г.) Шаллэ убедился, что со старым, культурным, очень сдержанным, мягким по натуре южнокитайским народом колонизаторы обращаются с ничем не сдерживаемой грубостью и жестокостью. Его поразило, что высококультурные интеллигенты из туземцев избиваются на улице палкой, если не снимут шапки перед французским солдатом. Страшные пытки, истязания, разнообразнейшие издевательства над туземцами — такова ежедневная практика административных и судебных мест.

Нечего и говорить уже о систематической беззаконной экспроприации земель туземцев в Индокитае, об обращении их самих в закабаленных батраков и фактически в таких же рабов, как негры в Конго. Шаллэ особенно отмечает вредоносную, прямо злодейскую роль католических миссий: миссионеры, ко-

торым удается обратить в христианство, по словам Шаллэ, лишь подонки населения, стараются именно при помощи этих подонков, возбуждая процессы и споры, оттягать землю, дома, рисовые поля у аннамитов, оставшихся верными буддизму, и полюбовно делятся этим награбленным, чужим имуществом с новообращенными христианами. Колониальная администрация всецело их поддерживает.

Мало того: благочестивые отцы миссионеры организуют и финансируют специальные разбойничьи набеги на далекие селения и на пограничные поселки, а потом «выкупают» пленных, т. е. обзаводятся уже настоящими рабами, с которыми делают буквально, что угодно. Наказывают они этих подневольных людей прутьями ротанга (индийского тростника) и ничуть не стесняются, а, напротив, хвалятся этим. Шаллэ приводит проникновенно-религиозное изречение главы католической миссии в Индокитае — епископа монсеньера Пюжинье: «Бог хорошо делает все, что он делает, он взрастил тростник ротанг именно там же, где создал аннамита. Это затем, чтобы было чем сечь аннамита».

Французскими колониями не исчерпывается богатый запас фактов и наблюдений Шаллэ. Укажем, например, на главу о злодеяниях японцев в Корее, на главу об английских владениях в Индии и т. п. Книга Шаллэ лишний раз неопровержимо показывает, как нагло лгали те публицисты, в том числе бернштейнианские соглашатели в 900-х годах, которые старались доказать, что теперь (т. е. в эпоху финансового капитала) бытовые ужасы первоначальных конквистадорских времен, черные дела XVI, XVII, XVIII вв. в колониях стали мифом и что «гуманность веет и над тропиками». Послевоенные времена принесли колониям неистовый полицейский и судейский террор репрессий в связи с начинающимся революционным подъемом и с бесспорным и быстрым успехом коммунистического движения среди угнетенных и эксплуатируемых масс. Но эта позднейшая эпоха и эта сторона дела очень мало и бегло затронуты Шаллэ.

Историк-марксист, 1936, № 3,
стр. 181—182.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ[1].

(Организация власти в СССР и на Западе)

Проект новой советской Конституции привлек к себе внимание всего мира. За последние дни мы уже несколько раз встретили в европейской прессе выраженное почти одинаковыми словами мнение (впервые высказанное газетой «Дейли геральд»), что с конца мировой войны не было более важного исторического события. Это внимание и интерес вызваны, конечно, далеко не одинаковыми мотивами. Враги Советского Союза желали бы убедиться и убедить других в нереальности провозглашенного проекта Конституции. Друзья наши, напротив,— в полной его осуществимости. Но и те и другие сходятся в двух пунктах. Все единодушно признают, что самое опубликование и близкое превращение этого проекта в основной закон Советского Союза имеет громадное международное значение. Все считают, что в чисто теоретической области, в истории конституционного права, этот проект займет особое и капитальное место.

Оба эти пункта, по которым в европейской руководящей прессе самых различных направлений существует почти полное согласие, стоят в логической связи между собой.

В самом деле. Ведь не со вчерашнего дня, не с водворения разноименной гитлеровщины в ряде европейских государств шел и все усиливался антидемократический поток. Еще перед войной знаменитый немецкий юрист Лабанд со своей многочисленной школой учеников и последователей утверждал, что, например, в Германской империи конституция — это лишь особый «способ законодательства», временно признанный удобным со стороны помазанника божия, императора германского и короля прусского. А если завтра помазанник найдет какой-нибудь более подходящий к его вкусам «способ», то ничто ему не может помешать покончить с конституционным способом. Одновременно известный историк и публицист Ганс Дельбрюк выражал ежемесячно в редактируемом им очень распространенном «Прейсише ярбюхер» свой неподдельный восторг по тому поводу, что в Германии, слава богу, нет парламентаризма, а есть Вильгельм II.

Военный разгром, Версальский мир и «Веймарская конституция», явившаяся прямым последствием разгрома, в толще буржуазного класса Германии всегда ассоциировались, как явления одного порядка: неприятель растоптал Германию и, чтобы не дать оправиться, навязал ей демократическую конституцию. Еще задолго до Гитлера о демократии в Германии можно было разговаривать разве только в шутку. Гитлеровцы уже тогда по списку, часто с предварительным оповещением, убивали тех, кого хотели убить. Гитлеровцы правили Германией задолго до января 1933 г. С 1933 же года в Германии царит уже вполне законченная государственно-правовая теория, заключающаяся в следующем.

Начиная с Французской революции европейские нации подвергались последовательно одна за другой искусственной прививке гнилостной заразительной болезни, называемой демократизмом и рассчитанной на ослабление сопротивляемости арийской расы грядущей, еще более страшной смертельной заразе — заразе социализма. «Демократизм — это паровой каток (Dampfwalze), укатывающий путь для социализма». Но, к счастью для себя, арийцы — итальянцы, немцы, поляки, югославы — взялись за ум и каленым железом выжгли у себя эту демократическую заразу. Сгоряча было даже высказано в 1934 г. кем-то из соратников г. Розенберга по отделу пропаганды сожаление, что венгерцы — не совсем арийцы, а японцы — совсем не арийцы и что при всем их похвальнейшем поведении эти два исключения мешают вывести общий социологический закон о неуклонном и все ускоряющемся «пробуждении арийской расы от демократического кошмара» и о выводимом отсюда мировом первенстве арийской расы.

В самые последние дни именно по поводу побед генерала Бадольо и занятия Аддис-Абебы в фашистской прессе, не только итальянской, но и германской и польской, подводились ликующие итоги: только страна, разделавшаяся с демократией, может вести последовательную целеустремленную политику; только вера в ниспосланного свыше вождя, «фюрера», может вдохнуть в народ мужественное желание «раздвинуть границы» и расширить свое «*место* под солнцем». Точь-в-точь то же писалось и в фашистской прессе нефашистских стран — в газетах, близких полковнику де Ля-Рокку во Франции и сэру Артуру Мóсли в Англии.

Опубликование проекта советской Конституции произвело на все эти круги западноевропейского общества впечатление внезапного грома с ясного неба. Беседу тов. Сталина с Говардом в свое время прочли, конечно, все, но такого быстрого и решительного приступа к возвещенному огромному делу не ждал в Европе никто.

Бросились к разбору текста. И тут сразу обнаружилось, что воззрениям и упованиям старых Лабандов и Дельбрюков, новых Розенбергов и Геббельсов, де Ля-Рокков и Шарлей Моррасов нанесен сильнейший удар.

Остановимся лишь на нескольких моментах, на немногих пунктах проекта, которые невольно вызывают в уме всякого историка целый рой воспоминаний из европейского, уже далекого прошлого.

Прежде всего бросается в глаза организация верховной политической «магистратуры», говоря языком конституционных терминов. Вместо единоличного президента, как во Франции или в Соединенных Штатах, у нас предусматривается коллектив — Президиум Верховного Совета из 37 человек (председатель, четыре заместителя, секретарь и 31 член Президиума). Президиуму присвоены обширные права, которыми, однако, нисколько не умаляется власть Верховного Совета: Президиум может распускать Верховный Совет только в случае непримиримого разногласия его обеих палат, после неудачи попыток решения вопроса в согласительной комиссии и вторичного расхождения обеих палат.

Как известно, наиболее демократическая из всех конституций эпохи Французской революции — первая республиканская «якобинская» конституция 1793 г. принципиально отвергла единоличного президента. При выработке конституции Второй французской республики в осенние месяцы 1848 г. наиболее демократические элементы Учредительного собрания также были против единоличной президентуры. Но они вяло отстаивали свое мнение и безо всякой борьбы от него отказались. Они удовольствовались лишь тем, что настаивали (тоже неудачно) на предоставлении права выбора президента собранию народных представителей, а не плебисциту. Призрак воцарения Луи-Наполеона уже стоял перед их глазами, и голосования крестьянских собственнических масс они справедливо опасались. Наконец, при выработке конституции современной нам Третьей французской республики в 1875 г. реакционные элементы были настолько сильны, что и речи о коллективном президиуме всерьез не поднималось. Этот вопрос не встал даже после мак-магоновской попытки государственного переворота 16 мая 1877 г. и после победы республиканцев в конце того же года.

В Соединенных Штатах единоличное президентство, установленное конституцией и введенное в действие с 1788 г. (выборы первого президента Джорджа Вашингтона), остается поныне в неизмененном виде. Президент Соединенных Штатов имеет громадные полномочия. В течение четырех лет своей магистратуры он в очень многом фактически совершенно без-

ответственен. Достаточно напомнить, что назначаемые им министры («статс-секретари») ответственны не перед конгрессом, а исключительно перед президентом, и назначать их он может абсолютно независимо от воли большинства конгресса.

В организации этого верховного представительства никогда ни одна самая демократическая конституция не шла дальше нашего проекта Конституции. Даже право назначать правительство — Совет Народных Комиссаров СССР — предоставлено не Президиуму, а пленуму Верховного Совета. В этом важнейшем вопросе права народного представительства остаются абсолютно неограниченными. Образованный Верховным Советом Совет Народных Комиссаров остается подотчетным и ответственным перед Верховным Советом. Принцип политической ответственности правительства перед народным представительством, не существующий в Соединенных Штатах, во Франции и Англии являющийся лишь конституционным обычаем — «узусом», говоря специальным латинским термином, в проекте нашей Конституции является в виде точной статьи закона.

Ответственность и зависимость правительства от народных представителей в идеале лучших западноевропейских теоретиков парламентаризма XIX—XX вв. должна была быть настолько тесной и постоянной, чтобы правительство оказывалось как бы комиссией парламента, действующей по его полномочию и от его имени. Пока парламентаризм усиливался там, где он усиливался, постепенно вырабатывался порядок, установившийся, например, во Франции. Как только во Франции ставится вопрос об образовании нового министерства, президент республики призывает президентов сената и палаты депутатов и обращается к ним с прямым вопросом о лице, которое, по их мнению, должно быть поставлено во главе правительства. Окончательный выбор и назначение лица остаются, конечно, за президентом республики. Недавняя парламентская история знает и такой случай, когда президент республики, абсолютно не считаясь с народным представительством, назначил лицо, специально и заведомо предназначенное для совершения государственного переворота и уничтожения парламента: Гинденбург назначил в 1933 г. Гитлера на пост канцлера, хотя национал-социалисты вовсе не имели большинства в рейхстаге и хотя, по единодушным отзывам лиц различных партий, гитлеровское движение в начале 1933 г. начинало ослабевать. Даже господин Шахт воспринял тогда это назначение, как парадоксальную и неприятную неожиданность. (Ныне он, вероятно, за множеством дел об этом уже давно забыл.)

По проекту советской Конституции правительство не только ответственно перед народными представителями, но и непосредственно ими образуется. Великий конституционный во-

прос, стоявший перед государствоведами еще со времени Ройе-Коллара и Бенжамена Констана, вопрос о соотношении между властью и парламентом, теоретически этим проектом окончательно разрешен в последовательно демократическом духе.

Нельзя также не отметить по интересующему нас тут вопросу об организации власти в высшей степени важную принципиальную установку, которая предрешает плодотворную законодательную работу. Это — вопрос об организации суда и прокуратуры. Проектом Конституции выдвинут принцип независимости судебных властей и подчинения судей исключительно закону. Несомненно, этот принцип будет положен в основу судебного законодательства. И следует тут же отметить, что наш проект вводит одно очень существенное расширение принципа независимости судебной власти. В западноевропейских и североамериканской демократических конституциях независимость обеспечивается лишь за так называемой «сидячей магистратурой», т. е. за судьями, а «стоячая магистратура», т. е. прокуроры, зависима от министра юстиции. Это обстоятельство с давних пор являлось в глазах всех приверженцев идеи независимости суда очень существенным и подрывающим всю основу независимости отступлением от принципа.

Когда в самую глухую пору реакции 80-х годов министр юстиции Набоков предложил Александру III назначить А. Ф. Кони обер-прокурором сената, то царь, припомнив оправдание Веры Засулич, усомнился и было заупрямился. Тогда Набоков сразу успокоил его таким соображением: пока Кони служит по «сидячей магистратуре», председателем суда или судебной палаты, его сменить затруднительно, так как этому мешают судебные уставы; гораздо удобнее сделать его обер-прокурором, и уж тогда, при первом же подходящем случае, прогнать без малейших церемоний и проволочек. Александр III мгновенно назначил Кони обер-прокурором.

Полной зависимостью прокуратуры от правительства обильно пользовались всегда и в Германии еще задолго до Гитлера, и во Франции, и в других странах. В 90-х годах XIX столетия, во время дела Дрейфуса, генеральный прокурор Кенэ де Борепер под прямым давлением антидрейфусовских кабинетов несколько лет систематически мешал правосудию.

По нашему проекту верховное наблюдение за правосудием вручается Верховному суду, избираемому Верховным Советом на пять лет. Высший надзор за точным исполнением законов всеми членами правительства и всеми учреждениями и должностными лицами вообще вверяются прокурору СССР, назначаемому Верховным Советом на семь лет. Так как сам Верховный Совет в данном составе функционирует четыре года, то, следовательно, и Верховный суд и прокурор переизбираются всегда

уже в другом составе Верховного Совета, не говоря уже о том, что они независимы от Совета Народных Комиссаров. Больше того, прокурор Союза имеет право контролирующего вмешательства в действия правительственных властей. Очень подчеркнуто проведен также принцип абсолютной независимости прокуратуры от местных властей на всем протяжении Союза и тесная связанность всей прокуратуры с прокурором Союза, которому все органы прокуратуры непосредственно подчинены.

Бросается в глаза разница между будущей Конституцией нашего Союза и североамериканской федерации. В Соединенных Штатах «атторнеи» (прокуроры) в судах отдельных штатов зависят от властей этих штатов, а вовсе не от центрального Верховного суда и его органов. Отсюда происходит очень часто вредный и несуразный разнобой, полная несогласованность в действиях суда и прокуратуры разных штатов по одному и тому же иногда принципиально важному вопросу. Так, например, в 1926—1927 гг. провинциальному суду и прокурору в городе Дейтоне была предоставлена полная возможность невозбранно позорить на весь мир Соединенные Штаты знаменитым «обезьяньим» процессом против учителя, обвинявшегося в приверженности к учению Дарвина. Местная прокуратура заставляла обвиняемого и свидетелей торжественно признать, со внесением в протокол заседания, что действительно Иисус Навин остановил солнце. А в те же дни ньюйоркская прокуратура не скрывала перед представителями прессы своего сожаления, что никак нельзя упрятать дейтонских обвинителей в отделение для буйнопомешанных.

В таких громадных и разнообразных по составу федерациях не только независимость, но и единство судебной власти и действий прокуратуры в общегосударственном масштабе является очень существенным благом для населения и могущественнейшим воспитательным средством для подготовки и повышения квалификации кадров судебных деятелей. У нас статьи 102—117 проекта Конституции дают ряд ценных предпосылок и принципиальных установок для создания единства деятельности как органов суда, так и представителей прокуратуры во всех республиках, входящих в Союз.

Эти первые беглые мысли напрашиваются сами собой при чтении тех частей проекта, которые касаются исключительно организации власти. Но это не только не исчерпывает огромного содержания проекта. Это составляет даже не самую главную, а лишь одну из главных частей его. Достаточно вспомнить, что нашу будущую Конституцию уже назвали на Западе не только политической, но и «экономической» хартией прав. Но, даже оставаясь в узких пределах поставленной себе здесь темы, никак нельзя пройти мимо одной в высшей степени знаменатель-

ной черты проекта, которая, сколько существуют писаные конституции, впервые появляется в тексте основных государственных законов.

В статье 49 Проекта, где перечислены функции Президиума Верховного Совета, есть пункт «К», который гласит, что Президиум *в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного нападения на СССР*.

В эпоху, когда «фюрером» с самой полной откровенностью лично и официально провозглашается, что «большие территории», принадлежащие «менее одаренным» (weniger begabte) народам СССР, следует отнять у них и передать «более одаренным» верноподданным г-на Гитлера, Конституция Союза даже не хочет ввести в свой текст шаблонных и неизбежных слов всякой конституции, дающей право своему правительству в известных случаях *объявить войну*. Президиум Верховного Совета не объявляет войны, а лишь *констатирует наличность войны в случае военного нападения, уже последовавшего со стороны врага*. Литвиновское определение агрессора, постепенно уже входящее в новейшее международное право, оказало, как видим, самое решительное влияние и на формулировку этого принципиально важного пункта проекта нашей Конституции.

Обсуждение, принятие, осуществление этого проекта — вот что долго будет стоять в центре мирового внимания вместе с гнетущим вопросом о возможности внезапного возникновения новой войны. И эти две, казалось бы, совсем разнохарактерные темы уже сейчас постоянно связываются на Западе в политических дискуссиях. Это очень понятно. В предстоящем осуществлении провозглашенного основного закона Советского Союза усматривают создание нового барьера против войны, видят новый и решающий признак прочной консолидации победившего политического и экономического строя в стране великой социалистической революции, учитывают могущественное укрепление антифашистского фронта. Кто на земном шаре борется против фашистской чумы, не считает и не может считать ожидаемую реализацию нашей Конституции чужим и посторонним для себя делом.

Известия, 1936, 23 июня, № 145.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

(Избирательная система в СССР и на Западе)

Проект нашей новой Конституции дает избирательные права всем достигшим совершеннолетия гражданам обоего пола без различия их социального положения или происхождения. Записанные в XI главе проекта избирательные права вызывают воспоминания о давней, кипевшей в западноевропейской истории борьбе вокруг этой крупнейшей проблемы политической жизни, вокруг вопроса о способах обеспечить нефальсифицированное выражение воли большинства.

Возьмем к примеру подчеркнутое в проекте указание, что право голоса не зависит от оседлости, от срока пребывания избирателя в данной местности. Это требование оседлости всегда было в истории Европы одним из могучих орудий классовой борьбы, так как механически вело к отстранению от избирательной урны многих сотен тысяч рабочих. Таким путем, например, реакция 1850—1851 гг. во Франции устранила от выборов подавляющую массу строительных рабочих, землекопов и т. д., проводивших по нескольку летних месяцев в Париже Лионе, Лилле, Марселе, Бордо и поэтому не имевших требовавшейся трехлетней непрерывной «оседлости» ни в этих городах, ни в тех местах, где проживала постоянно их семья.

В данном случае наша новая Конституция стремится утвердить принцип последовательного народовластия, считаясь с историческим опытом. Самый текст Конституции напоминает об одном из вопиющих нарушений принципа всеобщности избирательного права — требования «оседлости».

Требование «оседлости» было лишь одним из целого арсенала разнообразнейших ухищрений, извращавших волю избирающих масс.

Оставим в стороне и конституции и избирательную практику тех стран и тех времен, когда царил цензовый принцип. Времена полной откровенности в насилии имущих над неимущими более или менее миновали во Франции с 1848 г., в других местах несколько позже. Там же, где цензовый принцип продолжал существовать, о нем именно те, кто им пользовался, стыдливо молчали или даже при случае его поругивали и стара-

лись выгородить свою ответственность. Бисмарк, умевший артистически обмануть и обвертеть вокруг пальца самых осторожных и недоверчивых людей, неоднократно «проговаривался», что считает прусский избирательный закон «насмешкой над здравым смыслом». Это не мешало тому же Бисмарку ревниво охранять в полной неприкосновенности этот закон, который, к слову сказать, просуществовал до мировой войны и, несмотря на «пасхальное послание» Osterbotschaft Вильгельма II в 1917 г. (с обещанием избирательной реформы), благополучно дожил вплоть до бегства Вильгельма II в Голландию 9 ноября 1918 г. Если уж Бисмарк стыдился, стеснялся и считал нужным лицемерить, то другие, более застенчивые государственные люди, и подавно. Интереснее вспомнить не о цензовом избирательном праве, а о том, как практиковалось *всеобщее* избирательное право, *в теории* одержавшее уже давно полную победу над цензовым.

Введенное в 1848 г. всеобщее избирательное право во Франции отнюдь не было уничтожено после переворота 2 декабря 1851 г. и последовавшего в 1852 г. воцарения Наполеона III. Напротив, император и императорские сановники не переставали ссылаться на народную волю, как на единственный источник и происхождение их власти. Но на деле выборы в Законодательный корпус свелись к чистейшей комедии, особенно в первые три раза — в 1852, 1857 и 1863 гг. Правительство прибегло к весьма простой системе фактической монополии «официальных кандидатур». Объявляется от префекта «совет» выбирать в данном департаменте только таких-то. В деревне дело шло особенно гладко. Мэр и жандармы сидят за столиком. Крестьянин подходит, его спрашивают, желает ли он выбрать такого-то, а при плебисцитах,— желает ли он сказать: «да». Он отвечает: «да», и его отпускают с миром. Он может ответить и «нет», и его тоже отпускают, но, однако, записывают, что он сказал: «да». Делается это без опроса: грамотен ли избиратель. Если же он сам заявляет, что грамотен, то ему отвечают, как ответили одному грамотею в городе Каркассоне: «Хоть ты и грамотен, но у тебя почерк неразборчивый. Пошел вон!»

А по его уходе записывают от его имени вполне разборчивым почерком все, что нужно записать, по мнению записывающих. «Независимых кандидатов» успевали обыкновенно ликвидировать во-время, возбуждая, например, против них на период выборов внезапные процессы. Одного такого еще даже не выставленного, а только возможного кандидата отстранили, возбудив против него неожиданное обвинение в конокрадстве. Сейчас же после выборов его выпустили, так как вполне удовлетворительно объяснилась одна деталь: именно, что, собственно, не он украл лошадь, а у него украли лошадь.

Система запугиваний дошла до наивысшего своего развития при Второй империи. Выборная техника отличалась в провинции прихотливейшим разнообразием. В одних местах записывали в книгу имена подающих голос за данного кандидата. В других местах происходило так. Мэр ставит на стол свой цилиндр. Избиратель опускает туда свой бюллетень и уходит. По окончании мэр уносит свою шляпу с бюллетенями во внутренние комнаты помещения, а на другой день объявляет результат произведенного им подсчета. Самые же бюллетени, спешит он добавить, уже сожжены за их явной дальнейшей ненадобностью. Предварительно вообще население оповещалось, что кто будет голосовать против официального кандидата, тот явно злоумышляет против его императорского величества. В конце концов Наполеону III показалось все же неловким, что среди 221 члена Законодательного корпуса нет ни одного неофициального кандидата. Он призвал министра внутренних дел и приказал, чтобы было впредь немножко и независимых.

— Человек пять, ваше величество? — спросил министр, подумав.

— Пять — так пять, идет. «Ça va!» — ответил император.

Так впоследствии изображал Анри Рошфор зарождение «оппозиции» в парламенте Второй империи. И вот в 1857 г. из 221 члена Законодательного корпуса «независимых» от правительства оказалось не четыре и не шесть, но ровно пять.

В Германии, где в отдельных частях ее, вроде Пруссии, царили вплоть до революции 1918 г. часто самые реакционные избирательные законы для выборов в местные ландтаги, был, как известно, еще при основании империи введен для некоторых «общеимперских» дел «германский рейхстаг». Он должен был выбираться всеобщей подачей голосов. Германский рейхстаг всегда оказывался либеральнее, например, прусского ландтага, избиравшегося по безобразнейшей цензовой системе. Но и для выборов в рейхстаг была придумана очень хитроумная механика: избирательные округа так искусно изменялись и крошились, что в местностях, населенных рабочим классом, один депутат приходился на огромное население, а в других (богатых, или деревенских, с зажиточным крестьянством и т. п.) один депутат приходился на совсем ничтожное количество населения. Так, на выборах 1907 г. за консерваторов подано было 1060 тыс. голосов, и они провели 61 депутата; а социал-демократы, хотя за них голосовало в три с лишком раза больше (3259 тыс. голосов), провели в рейхстаг всего 46 депутатов. Так ловко и обдуманно предусмотрительное правительство обкарнало одни округа и увеличило другие в зависимости от того, кто там живет: имущие или неимущие.

Так обстояло дело со «всеобщим» избирательным правом во Франции и в Германии со второй половины XIX в.

После возникновения в 1870 г. Третьей республики во Франции система официальных кандидатур сразу не исчезла. Но, конечно, она очень сильно видоизменилась. На первый план выступили как центральные, так и местные влияния, социальная сила крупных собственников, финансистов, церкви, местных магнатов промышленности и торговли. Тайна выборов соблюдалась. Могущественные магнаты действовали уже не запугиванием, не угрозой личных репрессий, но обещаниями и посулами, прямым и косвенным подкупом, наконец, просто широко швыряя деньги на агитацию, на печать, на митинги, на народные собрания и увеселения всякого рода. Расходы при выборах достигают для каждого кандидата громадных сумм.

При этих условиях, например, самые радикальные выборы, какие были во Франции за все существование Третьей республики, выборы 1936 г., давшие социалистам 146, а коммунистам 72 места, являются несравненно более знаменательными, чем это может показаться на основании только этих цифр. Учтите, против каких могучих, давних, снабженных огромными средствами, организаций пришлось каждому из этих 218 человек бороться! Когда кровельщик выступает на выборах против барона Ротшильда, скромно прикрывающегося псевдонимом: «Жорж Мандель», или когда столяр борется против Евгения Шнейдера, владельца заводов Крезо, одного из первых в мире пушечных королей, то этому кровельщику или столяру победить соперника не на очень много легче, чем «независимому кандидату» времен Второй империи было победить официального кандидата.

Еще более могущественно, чем во Франции, влияет на выборы финансовый капитал, его вожди и представители, в Соединенных Штатах. Но здесь наиболее жгучий азарт борьбы сосредоточивается не на выборах членов конгресса (палаты народных представителей и сената), а на выборах решающей, центральной фигуры в государстве — президента республики. В первую неделю ноября каждого високосного года, один раз в четырехлетие, происходят эти выборы. Но ярая избирательная борьба начинается задолго. По-настоящему, в ноябре избирается всеобщим голосованием не президент, а лишь состав выборщиков, которым и поручается уже выбор президента. Но так как эти выборщики получают императивный мандат от избирателей и не могут подавать голос по своему произволу, то уже по результатам этих ноябрьских выборов известно, кто будет президентом на ближайшее четырехлетие.

Люди, долго и внимательно изучавшие американские порядки, утверждают, что гигантская борьба, развертывающаяся во-

круг выборов президента,— это по преимуществу выражающееся в борьбе двух громадных партий — республиканской и демократической — состязание могущественных конкурирующих экономических сил промышленных трестов против фермерской массы, одних банковских концернов против других, колоссальных железнодорожных обществ и пароходных компаний друг против друга, нефтепромышленников, домогающихся ссоры с Англией, против сталелитейщиков, домогающихся ссоры с СССР, сахароваров, требующих отделения Филиппин. против москательщиков, не желающих этого отделения, и т. д. и т. д. Основная борьба нашей эпохи, борьба труда против капитала, скрещивается со взаимной борьбой этих пестрых и могущественных влияний, осложняется и тормозится ими. Нечего и говорить, что там, где нужно дать отпор рабочему движению, все эти разнохарактерные силы капиталистического мира очень быстро умеют заключать временное перемирие, чтобы ударить дружно на общего врага. Миллионы долларов тратятся всегда на эту предноябрьскую борьбу «високосного года». И, конечно, лишь детям младшего возраста позволительно с надеждой на успех втолковывать, будто «каждый свинопас в Соединенных Штатах может выставить свою кандидатуру в президенты». «Нет, это не так, скажите лучше, что у нас иногда бывали президенты, которым следовало бы выставить свою кандидатуру в свинопасы!» — воскликнул на одном митинге в Чикаго известный юрист Инджерсол, когда кто-то произнес эту шаблонную фразу. Инджерсола призвали к порядку.

А вот что в 1933 г. сказал один серьезный японский публицист французской известной и очень вдумчивой писательнице Андре Виоллис: «Видели ли вы, в каких великолепных зданиях помещается главная квартира наших японских больших партий?... Они располагают во время выборов головокружительными суммами... Откуда идут эти деньги? Каждый трест, каждый большой банк, каждая группа промышленников имеют свои партии, которые они щедро снабжают деньгами... Скандалы, чудовищные взятки — явление ежедневное. Недавно один из министров — и не из самых незначительных — был уличен в получении обильных взяток от содержателей домов терпимости, которым хотелось заполучить для своих заведений наиболее красивую часть нового квартала в столице... В 1927 г. дали всеобщее избирательное право... Выборы!.. Они делаются при помощи террора — и денег. Депутаты получают жалованья три тысячи иен, а быть выбранным в депутаты обходится в пятьдесят тысяч иен... Каждая партия обладает армией паемных ингайданов,— это кондотьеры и мошенники, посредством которых производится пропаганда и прямой подкуп избирателей.

В одних местах голос избирателя можно купить за одну иену, в других — за 8 или 10 иен». Из других источников известно, что ингайданы практикуют за сходную цену также и убийства в горячий избирательный период. Но за это уж особая сдельная плата по справедливой оценке и разовые наградные.

Наша Конституция поставит первый грандиозный опыт проведения выборов на основе самого демократического избирательного права и притом в стране, где сломлен и убран прочь капиталистический строй. Анатоль Франс сказал вскоре после мировой войны, что при господстве капитала настоящей демократии не может быть, а есть лишь «финансовый феодализм», называющий себя демократией. То, что сделал финансовый капитал со всеобщим избирательным правом в Европе, Америке и Японии прекрасно иллюстрирует слова Анатоля Франса.

Хотелось бы задержать внимание еще на одном установлении, которое вводит наша новая Конституция: на референдуме, всенародном рассмотрении и голосовании особо важных законодательных актов. Вводя референдум, наша Конституция и тут продолжает славную традицию вотированной революционным Конвентом во Франции, но никогда не введенной в действие конституции 24 июня 1793 г. Референдум — это единственно возможная для современных больших государств форма непосредственного народовластия, прямого участия всех избирателей в законодательстве. Сейчас референдум существует в Швейцарии, неоднократно практиковался он и в международном праве. Но почти без исключения он сводился к пустой церемонии. Когда Наполеон III в 1860 г. «предложил» занятым его войсками Савойе и Ницце всенародным голосованием решить, желают ли они присоединиться к Франции, то они моментально пожелали, так же, как в свое время это сделал город Авиньон. Авиньонцы, подавая голос при открытом референдуме, вопрошали французского комиссара: гарантирует ли он им безопасность при голосовании? Он им отвечал: «Голосующим за присоединение к Франции гарантирую, что их головы уцелеют на плечах, а голосующим против присоединения гарантирую, что их головы слетят прочь». Авиньонцы без дальнейших праздных расспросов пожелали присоединиться к Франции.

И в деле референдума, как и в деле всеобщего голосования, как и в организации демократического политического строя и правительственной власти, первое великое социалистическое государство выступает с замечательным по своей строгой выдержанности, законченности и последовательности документом исторической важности. Принятие и осуществление новой Конституции должны, согласно горячо высказываемым пожеланиям и ожиданиям всех друзей СССР буквально на всем земном шаре, наполнить живым содержанием много этих формул.

зажигавших некогда огнем людские души, но давно выветрившихся и обветшавших, вдохнуть новую жизнь в старые «забытые слова», показать, что демократизм сам по себе, как политическая теория, не виноват, если он так часто оказывался и оказывается на практике лицемерием и карикатурой, а виновата лишь внутренняя логическая несовместимость политического равноправия в теории с фактически царящим экономическим неравенством, как это до сих пор в истории наблюдалось.

Известия, 1936, 12 августа, № 187.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

[Право объявления войны в конституциях капиталистических стран и в Конституции СССР]

С первого момента опубликования проекта новой Конституции СССР одним из ее положений, наиболее привлекшим интерес западноевропейских и американских публицистов, как и следовало ожидать, оказался пункт «К» 49-й статьи, говорящий о том, что президиум Верховного Совета СССР «в период между сессиями Верховного Совета СССР объявляет состояние войны в случае военного нападения на СССР».

В «Нью-Стэтсмэн» была недавно высказана мысль, что если этот пункт проекта пройдет при окончательном обсуждении и станет законом, то это откроет новую эру в области международного права. Можно добавить — и в области государственного права, так как это явится добровольно на себя накладываемым сознательным ограничением государственного суверенитета. Это самоограничение, если бы оно вызвало подражание, могло бы в самом деле явиться могущественным препятствием против того намеренного развязывания войны, которое сейчас деятельно подготовляется и проводится в Германии, Японии и кое-где еще. Во всяком случае с чисто теоретической стороны этот пункт нашей будущей Конституции имеет огромное принципиальное значение совершенной новизны. «Свобода рук» в области объявления войны в любой момент, по любому поводу и вовсе без всякого повода всегда и всюду считалась неотъемлемой прерогативой верховной власти.

«Прежде всего, если вам нравится чужая провинция и у вас есть достаточно сил, немедленно занимайте эту провинцию войсками. Как только вы это сделаете, вы сейчас же найдете сколько угодно юристов, которые выищут ваши права на эту провинцию»,— говаривал Фридрих II с той откровенностью, которая была ему свойственна, когда он философствовал, т. е. в свободное от серьезных занятий время. Эта традиция откровенности удержалась, кстати, замечу, в Германии и в позднейшее время. Князь Бисмарк, сподобившийся прожить 83 года, незадолго до смерти, отдыхая в отставке от дел, ошеломил весь читающий

свет, подробно и с большим удовлетворением рассказав в печати, как ловко он подделал в июле 1870 г. эмскую депешу прусского короля Вильгельма специально затем, чтобы вызвать войну с Францией. «Это будет красный платок для галльского быка», — пошутил он, показывая только что подделанный им фальшивый документ своим друзьям и сообщникам: генералам Мольтке и фон Роону.

Но Фридрих II и Бисмарк, люди умные, откровенничали, как сказано, только в свободное от занятий время. А их эпигон, Вильгельм II, всегда смешивавший наглость с силой и всегда принимавший свою болезненную дегенеративную болтливость за мужественную прямоту, не переставал до войны 1914 г. внушать всей Европе, что он — «Kriegsherr», господин войны, не только в узком формальном смысле главы всех военных сил Германской империи, но и в некоем мистическом значении — верховного Юпитера, в руках которого громы и молнии военной грозы, и он очень любил поэтому называть себя этим титулом по-английски: «War-lord», потому что в английском переводе в самом деле, как ему казалось, оно выходило как-то величественнее.

Откровенность во время самой войны 1914—1918 гг. Вильгельм обнаруживал лишь тогда, когда почему-либо переставал трусить: бывало это не так часто, потому-то в эти годы он и не отличался особой говорливостью. Напротив, помалкивал и сидел смирно в тех местностях, которые в каждый данный момент могли считаться в математически точной мере одинаково отдаленными как от западного, так и от восточного фронта. И лишь в июне 1917 г. он, правда, на очень короткий момент, снова распоясался: «мир по соглашению,— шутил он на приеме парламентариев,— хорошо, это такой мир, когда я беру чужие угольные копи, рудники, чужие земли и кладу это в свой карман» (und stecke dies alles in die Tasche). Он больше всего дорожил именно своим правом, не спросясь никого и абсолютно не считаясь с народным представительством, объявлять войну кому угодно, когда угодно и по какой угодно причине: лишь бы в перспективе было наполнение «кармана».

Веймарская конституция, этот коротенький антракт между Вильгельмом и Гитлером, обусловила право объявления войны согласием Национального собрания. И, сметая прочь веймарскую конституцию, гитлеровцы прежде всего в виде основного принципа выдвинули полнейшее, абсолютное право «фюрера» объявлять войну, заключать и расторгать союзы, заключать мир исключительно по своему собственному произволу. А в германской прессе мне лично раз десять приходилось читать восторженные рассуждения о том, какое великое счастье для германского народа, что его фюрер может теперь, когда все зависит

от «первой стадии» войны, начать эту «первую стадию» молниеносно (blitzartig), тогда как гнилые демократические государства будут еще терять время на комиссии, доклады, парламентские заседания и прочие старомодные формальности.

Нужно, впрочем, сказать, что и «демократические» конституции ни малейшим образом до сих пор не препятствовали развязыванию войны в тот момент, когда господствовавшим классам это казалось своевременным. Я уже не говорю о конституции Соединенных Штатов Америки, где президент именно в области внешней политики — почти полный самодержец, а если он имеет еще к тому же большинство в сенате, то даже и слово «почти» можно тут смело выбросить. Достаточными иллюстрациями могут послужить хотя бы два последних примера: внезапное объявление войны Испании Мак-Кинлеем в 1898 г. и объявление войны Германии Вильсоном в 1917 г.

Но если мы рассмотрим, например, положение вещей в Англии, то увидим, что и здесь формальные конституционные препятствия к произвольному и внезапному развязыванию войны правительством равны величине, очень похожей на круглый нуль. Начать с того, что в английском парламенте нет комиссии иностранных дел (не стоит говорить о ничем не оформленных суррогатах ее, которые завелись в последнее время). Вы — член парламента, и вам неугодна внешняя политика британского кабинета? Постарайтесь при голосовании оставить этот кабинет в меньшинстве. Вы не можете этого сделать? Тогда молчите. «К сожалению, правительство его величества не в состоянии удовлетворить любознательности уважаемого джентельмена»,— таковы на 100 процентов ответы на все запросы депутатов по внешней политике, если они делаются без предварительного соглашения со статс-секретарем иностранных дел. Губительная политика умышленных колебаний сэра Эдуарда Грея в страшные 10 дней, предшествовавших объявлению войны 1914 г., проводилась им абсолютно вне всякого контроля со стороны парламента. О войне, как о совершившемся и бесповоротном факте, британский парламент узнал вместе со всеми читателями утренних газет 5 августа 1914 г.

Французская конституция тоже ни в малейшей степени не воспрепятствовала ни войне 1881 г. с Тунисом, ни войне 1884—1889 гг. с Индокитаем, ни войне 1889—1894 гг. с Мадагаскаром, ни войне 1904—1911 гг. в Марокко, хотя все эти колониальные войны, особенно в начале их, были крайне непопулярны и в стране и в парламенте.

Советский Союз выдвинул литвиновское определение агрессора, и уже это определение было бы совершенно сознательным, вполне реальным ограничением суверенитета всех держав земного шара в деле развязывания войны, сознательным наложе-

нием запрета на войну, действительным «объявлением войны вне закона» по формуле Келлога (1929 г.).

Теперь Советский Союз вводит этот запрет уже в свой основной закон. Он делает это, располагая 170-миллионным населением и шестой частью всей земли, имея прекрасную, технически хорошо оснащенную армию, состоящую из сознательных бойцов, беззаветно преданных своей Родине.

При этих условиях вводимая государственно-правовая принципиальная новизна приобретает безусловно историческое значение.

Известия, 1936, 15 сентября, № 215.

ИСПАНСКИЙ НАРОД В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ

Каждый день мы читаем о самоотверженной, героической борьбе, которую ведут и мужчины и женщины Испании против вооруженных до зубов фашистских войск, располагающих военной помощью фашистских стран — Германии, Италии и Португалии.

Не касаясь тут, конечно, всей истории испанского народа за последние сто — сто тридцать лет, мы остановим свое внимание на одной характерной черте, свойственной испанскому народу в той долгой и страшно трудной борьбе, которую он вел и ведет против своих многочисленных и сильных врагов: мы имеем в виду непоколебимую твердость, полное презрение к опасностям, необычайное постоянство в отстаивании своих позиций.

Деспотизм светский и деспотизм церковный, король и помещик, полиция и инквизиция так долго давили испанский народ, что, когда эксплуатируемые классы, наконец, вступили на революционную дорогу, то уже никогда ее не забывали.

«Революция в Испании — это не событие, не происшествие, а *быт*», — сказал один английский дипломат в средине XIX в.: он имел в виду именно неслыханную длительность гражданских войн в Испании.

Отметим же одну — две черты этого «быта». Каждый номер газеты теперь повелительно заставляет нас обращаться мыслью от героического настоящего Испании к ничуть не менее героическому ее прошлому.

1808 год. Император Наполеон фактически царствует над всей континентальной Европой. С Россией у него «союз», т. е. Александр I боится его и заискивает. Немецкие монархи целуют ему руки (не в переносном, а в буквальном значении слова). Ему приходит в голову сделать с Испанией то, что он делал с европейскими державами то с одной, то с другой. Он арестовывает испанскую королевскую семью и сажает своего брата на испанский престол. Даже и в голову ему не может прийти, что кто-нибудь осмелится сопротивляться. Испанские аристократы кланяются и вымаливают у него подачки, испанские богачи из буржуазии хлопочут о делишках, берут у фран-

цузов подряды... Но испанские крестьяне и испанские ремесленники без оружия, без сапог, без гроша денег начинают по собственному побуждению яростную борьбу. Их бьют. Наполеон велит расстреливать их без суда, но на место павших являются новые и новые. Женщины отравляют припасы и колодцы, детей 10 лет матери учат подкрадываться к спящему французскому солдату и закалывать его ножом, арестованных со скрученными руками французы ведут расстреливать, а они кричат всю дорогу: «Долой французов!» и плюют офицерам в лицо. Эта борьба длится не год и не два, а *пять* лет и прекращается только, когда Наполеон велел своим войскам уйти из Испании.

Ничего подобного нигде Наполеон не испытывал. Его маршалы Сульт, Ней, Ланн терялись и говорили императору, что покорить можно только людей, которых хоть немного пугает смерть, а испанцев смерть не пугает ни в малейшей степени. Когда французы в 1809 г. брали Сарагоссу (а ее брать приходилось не только дом за домом, но комнату за комнатой в каждой квартире каждого дома), то в одной квартире отец схватил своего мертвого мальчика и его телом бил французских солдат, а когда его уже одолели, то он вырвался и разбил себе голову о стену. Пятьдесят четыре тысячи трупов нашли французы в городе, когда, наконец, все дома Сарагоссы, один за другим, были ими взяты. Женщины в открытом поле и среди деревни под видом нищих приближались к французам и, низко кланяясь, неожиданным ударом ножа в живот убивали врага. «Это ничего, что вы меня сейчас расстреляете,— говорила одна молодая крестьянка французскому полковнику.— Я успела вчера и позавчера уже послать на тот свет ваших четырех солдат и предупредить о моем скором прибытии». И она, стоя у столба, громко расхохоталась, хотя взвод уже наводил на нее ружья.

Пять лет без перерыва шла эта война испанских «оборванцев» (так их называл Наполеон) с величайшим завоевателем, какого только знала история человечества, и оборванцы победили: они сказали, что не покорятся ему, и не покорились!

Такова картина, которой открывается испанская история в новое время. Продолжение оказалось достойным начала.

Кончилось страшное наполеоновское время. На престоле Испании сидит Фердинанд VII, жестокий и низкий тиран. Жадной толпой феодальная знать окружает престол, угнетает и эксплуатирует крестьян. Инквизиция преследует всякие признаки свободной мысли. Во всей остальной Европе царит такая же лютая реакция, возглавляемая русским царем Александром I и австрийским канцлером Меттернихом. И вот среди общего безмолвия грянула гроза: в Испании вспыхнула 1 января 1820 г. революция. Во главе движения революционно настроенных

частей испанской армии стали два полковника: дон Риего и дон Квирога. Революция победила довольно быстро, и Фердинанд пошел на широчайшие уступки, восстановив в полной силе отмененную им еще в 1814 г. либеральную конституцию. Но русский посол (спачала Татищев, потом Булгари) и австрийский посол изо всех сил подбивали короля к сопротивлению, обещая поддержку. Молодой Пушкин ликовал в своей далекой кишиневской ссылке; он вспоминал и потом с восторгом об этом времени, когда «за Пиренеями уж правила свобода...»

Но недолго продолжалось это время. В Вероне собрался в 1822 г. конгресс европейских держав, и здесь решено было задавить испанскую революцию интервенцией. В 1823 г. французская большая, прекрасно вооруженная армия вошла в Испанию, и после войны, продолжавшейся несколько месяцев, конституционное движение было задавлено и Фердинанд VII восстановлен во всей полноте власти. Помещики и церковь деятельно помогали интервентам и даже готовы были заплатить французам какими угодно испанскими колониальными владениями за их помощь против революции.

Начались страшные казни. Фердинанд VII жестоко отомстил за свою трусость и унижение. Виселицы действовали и в городах и в деревне. Риего был подвергнут пыткам, а потом повешен. Все освободительно настроенные слои европейского общества с глубокой грустью смотрели на гибель испанской свободы. Когда Александру I доложили о казни Риего, то присутствовавший при этом докладе одесский генерал-губернатор князь Воронцов назвал Риего мерзавцем. Пушкин, узнав об этом, написал свое знаменитое стихотворение, начинающееся так:

Сказали раз царю, что наконец
Мятежный вождь, Риэго, был удавлен.
«Я очень рад,— сказал усердный льстец,—
От одного мерзавца мир избавлен».

А кончает Пушкин это стихотворение такими словами:

Льстецы, льстецы! старайтесь сохранить
И в подлости осанку благородства.

Но удушить революционное чувство, заглушить стремление испанского народа к освобождению из-под феодального, самодержавно-полицейского и церковного ига оказалось гораздо труднее, чем удавить на виселице Риего и его героических товарищей. Еще самому Фердинанду удалось спокойно умереть на престоле (29 сентября 1833 г.), хоть он в последние годы жизни ясно видел новую приближающуюся грозу. Уже при его наследниках разразилась новая гражданская война.

Обстоятельства сложились так. Фердинанд завещал престол своей трехлетней дочери Изабелле, а регентшей на время ее малолетства назначил свою жену (мать Изабеллы), королеву Христину. Чтобы спасти престол своей дочери, Христина с самого начала пошла на известные (очень небольшие, впрочем) конституционные уступки, привлекшие к ней часть буржуазии и крестьянства и плебейские массы Мадрида, Барселоны и других более или менее крупных городов. Но едва Фердинанд VII скончался, как брат его дон Карлос объявил, что считает себя законным королем Испании. И вокруг него собрались сразу же все наиболее реакционно настроенные элементы. Феодальное дворянство, крупные хуторяне-кулаки и католическая церковь были главными тремя оплотами партии дон Карлоса; члены этой партии назывались «карлистами», а их враги, т. е. сторонники правительства регентши королевы Христины, назывались «христиносами» или «конституционалистами».

Между обеими партиями разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть.

Как почти все гражданские войны в Испании, борьба конституционалистов против жестокой и оголтелой реакции, желавшей посадить на престол злобного деспота дон Карлоса, длилась очень долго. В 1833 г. она началась и только в 1840 г. окончилась. Реакционеры-карлисты, как всегда поддерживаемые духовенством, деревенским кулачеством и дворянством, а также значительной частью армии, неистово опустошали страну. Они укрепились в северных провинциях — в Наварре, в баскских горных ущельях, но отдельные их гнезда были рассеяны по всему полуострову. Карлистский генерал Гомец составил особый отряд, с которым шнырял по всей Испании, и войска законного конституционного правительства долго не могли с ним ничего поделать. Внезапно нападая на город, село, деревню, Гомец убивал граждан враждебной ему партии, отдавал женщин своим солдатам, иногда его солдаты, уходя из занятого места, рубили руки или выкалывали глаза своим пленникам и пленницам.

В 1835—1836 гг. анархия и разбои, которым предавались карлисты, дошли до крайней степени. Вооруженные шайки бродили по всей стране. Приверженцы законного, конституционного правительства, мало и плохо поддерживаемые регентшей, королевой Христиной и ее двором, несмотря на свое отчаянное положение организовали всюду самооборону и вели беспощадную борьбу. Они решили отвечать на реакционный террор и тоже не миловали попадавших в их руки карлистов. Тогда карлисты стали практиковать сожжение целых деревень вместе с жителями, которых загоняли обратно в горящую деревню, когда те пытались спастись. В ответ на это конституционалисты избивали определенное количество пленных карлистов. Один из кар-

листских вождей, Базилио, окружил (в 1838 г.) однажды церковь в г. Калатрава. В этой церкви заперлось много сотен конституционалистов. Базилио спросил католического патера: «Не постигнет ли божий гнев карлистов, если сжечь эту церковь?» Патер ответил, что ни в каком случае, потому что если, в самом деле, несколько неловко перед господом богом, что будет сожжена церковь, зато гибель нескольких сот революционеров с избытком загладит эту маленькую неловкость. Церковь была сожжена вместе со всеми запершимися в ней людьми, сгоревшими заживо. Когда спустя несколько месяцев конституционный генерал Нарваэс захватил в плен этого патера (Фелисио Расьонеро), то он велел его немедленно расстрелять. Вождь карлистов Кабрера при взятии села или деревни стал уже убивать не только мужчин, но и женщин и иногда детей. Несколько детей были обезглавлены на глазах матерей, которых затем убили после страшных пыток.

Духовенство принимало активнейшее участие в борьбе, конечно, на стороне карлистов. В июле 1834 г. в Мадриде население (бывшее в столице — в бедных кварталах — сплошь на стороне конституции) бросилось с яростью на монастыри и избило часть монахов. В 1836, 1837 и 1838 гг. монахи и священники удвоили свою энергию в борьбе против законного правительства. Избиение монахов повторилось в Сарагоссе, в Барселоне, в Мурсии, в Реисе. Карлисты овладели Кордовой, провинцией Мурсией и упорно, много раз, подходили к Мадриду, временно заняли Сарагоссу, и никто в Европе не мог даже приблизительно угадать, какая сторона в конечном счете возьмет верх. В эти страшные семь лет Испания во многих своих частях стала похожа на Германию после тридцатилетней войны XVII в. В Кастилии, Арагонии, Андалузии, Каталонии, Леоне годами валялись неприбранные гниющие трупы, заражавшие воздух. Дети росли маленькими дикарями, мальчики 8—9—10 лет воровали ежедневно где и что могли, чтобы не умереть от голода, и с 12—13 лет стремились попасть в армию, потому что там более или менее обеспечена была кормежка. И все-таки в течение всех этих кровавых лет общий лозунг боровшихся за конституцию ремесленников, городской бедноты, части крестьянства был один: «Умрем, а не сдадим нашу свободу проклятым попам и карлистам!»

В Европе русский царь Николай I, австрийский канцлер Меттерних, маленькие итальянские деспоты, вроде неаполитанского короля Фердинанда, всей душой были бы рады помочь карлистам удушить зародыш испанской свободы, но Англия и Франция, интересы которых требовали поражения дон Карлоса, не дали России, Австрии и другим самодержавным монархиям возможности вмешаться в пользу дон Карлоса. Конечно,

едва только одержав в 1840 г. победу над претендентом, королева Христина, глава правительственного войска генерал Эспартеро и другие члены мадридского правительства показали, что и они сами недалеко ушли от дон Карлоса. Испанский народ, своей кровью защитивший страну от реакционного диктатора, дон Карлоса, был жестоко обманут в своих ожиданиях свободы. Реакционность и деспотические замашки мадридских правителей выпудили народ вновь вступить в борьбу. И вскоре (в ноябре 1842 г.) в самом промышленном, в самом свободолюбивом и наиболее населенном рабочими городе Испании, Барселоне, вспыхнуло восстание. Генерал Эспартеро, регент королевства, подверг Барселону жестокой бомбардировке, но своей власти Эспартеро все-таки не спас: против него произошло новое восстание, и генерал Нарваэс низверг Эспартеро. В Испании с этого времени воцарилось некоторое внешнее спокойствие. Но Нарваэс, по сути дела, так же был склонен к произволу, как и Эспартеро. Феодалы и духовенство, временно примирившиеся с поражением дон Карлоса, поддерживали все реакционные мероприятия Нарваэса и королевского двора. Французская буржуазная «июльская» монархия Луи-Филиппа всеми мерами помогала испанскому правительству во всех его реакционных устремлениях.

Грянула в Европе революция 1848 г. Генералу Нарваэсу удалось подавить революционную вспышку в Испании, и некоторое время Нарваэс хвалился тем, что революция в Испании невозможна. Дело дошло до того, что он отправил в 1849 г. армейский отряд из Испании в Рим, чтобы помочь папе Пию IX справиться с революционерами, вытеснившими папу из Рима и провозгласившими Римскую республику. Правда, Нарваэс со своим усердием несколько опоздал, и когда его отряд высадился в Италии, то оказалось, что это ни к чему, потому что французский президент Луи-Наполеон Бонапарт уже послал на выручку папе большой корпус войск. Но очень любопытно отметить, что нынешний папа, тоже Пий, но не IX, а уже XI, благословляя в 1936 г. фашистских мятежников на затеянную ими бойню в Испании, помянул с благодарностью о благородстве чувств покойного генерала Нарваэса, который хотел (хоть с опозданием) помочь папскому престолу в 1849 г.

Эти симпатии к реакционнейшему католическому духовенству и общая реакционность политики Нарваэса вызвали вооруженное восстание 21 февраля 1854 г. в Сарагоссе, причем гарнизон стал на сторону восставших. «Да здравствует свобода!» — таков был лозунг восстания. Нарваэсу удалось разгромить восстание. Но уже в июне того же 1854 г. вспыхнуло новое восстание под предводительством О'Доннеля. Лозунгом было: «Свобода и восстановление в полной силе конституции». Войска

восставших двинулись к Мадриду, сломили сопротивление правительственных сил, в самом Мадриде вспыхнуло восстание городской бедноты и значительной части мелкой и средней буржуазии, и королева Изабелла принуждена была пойти на большие уступки. Всем министрам с Нарваэсом во главе была дана отставка, королева Изабелла обещала удалить свою мать (Христину), которую считали вдохновительницей реакции, из Испании, обещана была полная амнистия, свобода печати, созыв парламента (кортесов).

О'Доннель, вождь восставших, стал главой правительства.

Казалось, долгий период кровавых гражданских войн окончился и буржуазии удалось при сочувствии и поддержке части крестьянства и городской плебейской массы установить в стране конституционное правление. Но так только казалось. Ни дворянство, ни церковь вовсе не желали сдавать позиций. Наиболее непримиримые из них продолжали мечтать об установлении полного самодержавия, о призвании на трон дон Карлоса.

Первыми начали карлисты. Реакционное восстание разразилось прежде всего на Балеарских островах. Там высадился (3 апреля 1860 г.) Ортега, карлистский вождь, и оба острова (Майорка и Минорка) объявили себя на стороне дон Карлоса; богатое дворянство островов играло руководящую роль. Но конституционалисты не растерялись. Немедленно была послана из Мадрида и Барселоны армия, где генералы, в душе сочувствовавшие мятежу, не успели сорганизовать измену, а солдаты оказались решительно против мятежников. Ортега был разбит, схвачен и расстрелян.

Тогда реакция стала действовать кружным путем парламентских интриг. О'Доннель, правивший Испанией, как сказано, с 1854 г. и опиравшийся сначала на буржуазию, крестьянство и малоимущую плебейскую массу городов, все более и более норовил сам стать диктатором, правда, не феодально-дворянским, а буржуазным, в чем его очень поощрял император французов Наполеон III. Вновь образовавшаяся демократическая партия все более и более склонялась к республиканским лозунгам и никакого доверия к О'Доннелю уже не чувствовала. С другой стороны, нажим на него со стороны клерикалов и консерваторов все усиливался. В 1863 г. он должен был подать в отставку, а уже с 16 сентября 1864 г. первым министром, а вскоре и фактическим диктатором стал махровый реакционер генерал Нарваэс. Все сколько-нибудь прогрессивные круги страны стали готовиться к новому революционному выступлению.

Весной 1865 г. в Мадридском университете вспыхнули волнения. 10 апреля 1865 г. войскам был отдан приказ стрелять в упор в студенческую массу, хотя студенты вышли на площадь безоружными. Произошла затем битва между войсками и насе-

лением предместий, поддержавшим студентов. Правительство королевы Изабеллы было испугано. Нарваэс вышел в отставку.

Изабелла снова призвала О'Доннеля. Но уже было поздно. Демократически настроенные элементы все более склонялись к республике, потому что рассматривали монархию Бурбонов (и в этом они были совершенно правы) как вечную и неизменную союзницу феодально-дворянской реакции и на все ее уступки смотрели как на маневры и как на выпужденные обстоятельствами военные хитрости. Несколько попыток восстания не удалось. Наконец в сентябре 1868 г. генералам Приму и Серрано удалось сорганизовать военный переворот в пользу революционной программы: королева Изабелла бежала из Мадрида после того, как ее войска потерпели поражение от маршала Серрано, и в Испании было провозглашено временное правительство. Это произошло 3 октября 1868 г. Во главе временного правительства стал генерал Прим.

Все усилия республиканцев добиться превращения Испании в республику остались тем не менее тщетными. Боязнь «правления массы» заставила буржуазию и ее вождей, Прима и Серрано, ограничиться провозглашением конституционных «свобод» и немедленно приняться за усерднейшие поиски нового монарха. Сначала искали какого-нибудь иностранного принца: все-таки хоть не из ненавистных испанских Бурбонов. Но потом Прим объявил, на всякий случай, 21 июля 1870 г. всю Испанию на осадном положении и провел, через баллотировку в кортесах, на престол принца Амадея, сына итальянского короля Виктора Эммануила. Случилось это 16 ноября 1870 г., а уже 27 декабря того же года генерал Прим был за это заколот кинжалом на улице. Возбуждение республиканцев было так велико, что ждали непременно покушения также на нового короля. Покушение действительно произошло. Король уцелел случайно, но отказался от престола. Очень уж шатким показался ему этот престол, на который он и выбран-то был всего 191 голосом против 60, поданных за республику, и против 57, поданных за других кандидатов.

В феврале 1873 г. республиканцы окончательно провозгласили республику.

Это было мимолетное, светлое время попытки установления демократии в Испании. Молодой радикальной буржуазии показалось, что наступает «золотой век» полного торжества принципов, выдвинутых Великой французской революцией; а немногочисленной еще тогда передовой революционно-настроенной прослойке рабочего класса и неимущей или малоимущей городской массе представлялось, что новая республика — прямое преддверие к сокрушению капиталистического строя. Реформы следовали одна за другой. Постоянное войско, где так сильно

было реакционное офицерство и так озлоблено настроен весь генералитет, было распущено. Его место должна была заступить народная милиция. Было провозглашено широчайшее местное самоуправление,— вся Испания должна была превратиться в федерацию самоуправляющихся общин. Началась энергичная борьба правительства против всемогущего влияния церкви в школе, в администрации, в суде.

Но через некоторое время карлисты снова выступили против республики и выступили сразу в нескольких пунктах.

Война, которую повели карлисты против республики, была точь-в-точь так же варварски жестока, как та, которую их отцы вели против конституции в 1833—1840 гг.

К ним на помощь пошел реакционно-клерикальный сброд со всех концов Европы. Генрих Сенкевич, польский националист, в своих романах неоднократно выводит «благороднейших» польских юношей, пылко идущих в Испанию воевать... в пользу дон Карлоса и для восстановления священной инквизиции против социалистов и коммунистов. Этот сброд шел в Испанию в шайки дон Карлоса не только из одной Польши, но также и из Австрии и Германии. Карлисты по-прежнему секли плетьми женщин, убивали детей, четвертовали пленников пред тем, как убить их. Папа Пий IX был в полном восторге от этих подвигов истинно верующих сынов католической церкви. Патер Санта-Круц, предводительствуя отдельной бандой карлистов, разбойничал гораздо хуже даже, чем Сабаль, Доррегарей и другие предводители. Он только в виде особой милости расстреливал пленников сразу; обыкновенно же этому предшествовали самые садистские издевательства и пытки. Карлисты несколько месяцев подряд осаждали Бильбао, и правительственные войска долго ничего не могли с ними поделать, и лишь с трудом маршал Серрано освободил город от грозившей ему страшной участи.

К концу 1874 г. ни республиканцы, ни карлисты не могли похвастать победой. В одних провинциях было сильно правительство, в других его войска еле держались. Среди буржуазии и реакционной части крестьянства стало обнаруживаться определенное убеждение, что единственный способ покончить изнурительную и кровавую междоусобицу — призвать на престол старую династию в лице принца Альфонса, молодого сына изгнанной, как сказано, в 1868 г. королевы Изабеллы.

На это буржуазия посмотрела как на единственное средство покончить борьбу «компромиссом», не давая окончательного торжества карлистам. Предполагалось, что молодой принц Альфонс (проживавший в Англии) при воцарении обяжется строго соблюдать конституцию. Среди карлистов это возвращение к монархии также должно было произвести раскол и «умеренных» реакционеров оторвать от претендента дон Карлоса. В декабре

1874 г. в городе Сагунте войско провозгласило королем Альфонса, а 14 января 1875 г. он уже въехал в Мадрид. Республика была уничтожена.

Такова была последняя — перед нынешними событиями — большая гражданская война в Испании. Реками крови испанский народ, точнее, его трудящиеся классы отстояли свою страну от дикого средневекового ига, которым грозило воцарение дона Карлоса. С течением времени и Альфонс XII (умерший в 1885 г.) и сын и преемник его Альфонс XIII (низвергнутый революцией в 1931 г.) окончательно ликвидировали последние призрачные остатки конституции. Конечно, времена менялись; при всей огромной экономической своей отсталости Испания шла по тому же пути зарождения, укрепления и господства промышленного капитала, как и другие страны. Последние остатки своей, некогда первой во всем мире, колониальной империи Испания потеряла в 1898 г., когда Соединенные Штаты, разгромив ее флот, отняли у нее Кубу и Филиппинские острова. Но дворянство и могучее своим богатством и своей организованностью католическое духовенство не только не хотели сдавать своих позиций, но именно упорной борьбой за свое социальное положение привлекли к себе значительную часть буржуазии, пошедшей на очень большие уступки, лишь бы укрепить блок эксплуататорских классов против народных масс города и деревни, против рабочих, против батрачества, против городских и деревенских полупролетариев.

Однако неистребимое революционное чувство никогда не умирало в Испании: оно только временами замирало, и после «благополучной» фашистской диктатуры король Альфонс XIII был в 1931 г. свержен с престола и принужден был выехать в Париж, а в Испании снова была провозглашена республика.

О роковых ошибках республиканского правительства, сильно облегчивших фашистам их подрывную работу в войсках в Марокко, на Балеарских островах и в Андалузии в 1931—1935 гг., об общих причинах, вызвавших фашистский мятеж в июле 1936 г., о тех небывало благоприятных для испанской реакции внешних условиях, в которых этот мятеж делает свое кровавое дело,— обо всем этом в данной статье говорить не место.

Мне хотелось только напомнить читателям «Комсомольской правды» о главных моментах былой героической борьбы испанского народа за свободу. Мы видим, что традиция зверского истребления противников в самой полной мере сохраняется испанскими реакционерами. Видим, что и длительность гражданской войны в Испании измерялась всегда годами и многими годами; нигде в новой истории мы не найдем примера семилетней истребительной гражданской войны, а в Испании таких

семилетних гражданских войн в XIX в. было две. Нигде также всемирный завоеватель Наполеон не натолкнулся на такое яростное, длительное и в конечном счете успешное вооруженное сопротивление народных масс, как в той же Испании.

Генерал Франко забыл уроки истории своей страны, когда спустя 10 дней после начала фашистского мятежа в июле 1936 г. заявил английским корреспондентам: «На днях все будет кончено, увидимся в Мадриде!»

Это свидание, как известно, пока не состоялось и вряд ли состоится вообще...

Правда, у генерала Франко есть немецкие и итальянские фашисты, которых не было за спиной дон Карлоса. Но ведь, с другой стороны, у испанских трудящихся есть не только враги, но и горячо им сочувствующие друзья.

Нота тов. Кагана как раз на днях чрезвычайно кстати напомнила об этом и друзьям и врагам мадридского народного правительства... *

---

* Имеется в виду нота Советского правительства от 12 октября 1936 г., переданная поверенным в делах СССР в Великобритании т. Каганом С.Б.— *Ред.*

Комсомольская правда, 1936, 16 и 17 октября, №№ 240, 241.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ГОД

Двадцатый год после Великой Октябрьской революции начинается под знаком грандиозного по своему значению дальнейшего развития нашего социалистического государства.

С первого момента, когда стало известно о разработке новой Конституции, она не переставала привлекать к себе пристальное внимание европейской, американской и азиатской прессы. Конституция получила различную оценку зарубежных газет. Одни искренно приветствовали ее, другие не скрывали своей злобы. Конечно, самые азартные отрицания сыпались градом со страниц главным образом германской, польской, итальянской печати.

И здесь камертон сразу был дан вполне определенный. Ведь дело шло о Конституции социалистического общества, обеспечивающей такое полное народовластие, о котором могли лишь мечтать наиболее передовые умы человечества, т. е. о новом «раздувании революционных парусов», о котором так пронзительно визжал откуда-то по радио (именно по поводу нашей Конституции) в июне текущего года некто Карл Гинц, именовавший себя при этом не то временным заместителем, не то постоянным представителем Геббельса.

Вскоре за тем и сам маленький Геббельс тоже с большим подъемом и нескрываемой горечью ораторствовал по этому же поводу. Пресса — не только германская, но и польская — подробно развила эту точку зрения.

Польский фашизм, заметим кстати, как-то вообще не очень хитер на выдумку и очень редко пускается в самостоятельные исторические и философские умозрения: эта дефектная продукция импортируется в Польшу преимущественно из Берлина (через Данциг и Кенигсберг).

Враг на этот раз правильно учуял, что дело идет о продолжении и колоссальном расширении великой исторической идеи и традиции. Уже сколько раз «навеки» хоронили идею народовластия, и сколько раз она неожиданно оказывалась снова и снова, несмотря на все свои поражения и тяжкие увечья, здравствующей, когда от ее очередных могильщиков и гробокопателей ничего, кроме воспоминания, не оставалось!

«Я справился при помощи божественного провидения раз навсегда с революционной гидрой, грозившей пожрать Европу!» — повторял 32 года подряд, вплоть до 14 марта 1848 г. австрийский канцлер Меттерних, а вечером 14 марта он быстро надел на себя дамское платье с длинным шлейфом и шляпу с цветами и, принарядившись таким образом, с предельной скоростью и при соблюдении строжайшего инкогнито покинул революционную Вену.

«Никогда я не дозволю, чтобы лист бумаги стал между мною и моими подданными!» — торжественно заявил в 1847 г. прусский король Фридрих Вильгельм IV, а спустя несколько месяцев он же поспешно собрал Учредительное собрание с целью выработки конституции на демократических началах.

Весь Священный союз европейских монархов был основан и существовал с этой главной целью: отсекать у революционной стоглавой гидры то там, то сям поднимающиеся головы. Вся идеология царского самодержавия пред его закатом выразилась в наименовании *всякого* конституционного государственного устройства «сей великой ложью нашего времени».

Но *никогда*, вплоть до появления современного фашизма, демократическая идея не имела пред собой таких не только ожесточенных, но и перепуганных врагов. *Никогда* такая сознательная ненависть к ней не диктовалась и не обусловливалась такими реальными соображениями и такими угрожающими фактами. Когда Александр I, Меттерних и Шатобриан устроили в 1823 г. интервенцию против революционной Испании и восстановили короля во всей полноте абсолютной власти, тогда если не Шатобриан, то русский царь и австрийский канцлер вовсе не думали, что при торжестве испанской революции пошатнутся завтра же троны в Петербурге и в Вене. А когда германские, итальянские, португальские фашисты ведут деятельнейшую интервенцию против той же Испании в 1936 г., то они твердо знают, что защищают на испанской почве *себя самих,* и генерал Франко понимает не менее отчетливо, что его иностранным покровителям так же хочется, чтобы он взял Мадрид, как ему самому. И дело не только в том, что в Каталонии будто бы готовится «большевизм». «Кельнише цейтунг» давно пояснила (еще в августе) своим недогадливым читателям, что конституция, которую дает Испании народный фронт, сделает всю Испанию «западным форпостом демократической гангрены».

В наш век, в эпоху такого жесточайшего обострения борьбы эксплуатируемых с эксплуататорами уже нельзя, будучи умереннейшим, рутиннейшим из буржуазных либералов, восторженно и велеречиво восклицать, как Ройе-Коллар в 1820-х годах: «Демократический поток широко льется по нашей прекрасной Франции!» Теперь таких необдуманных слов уже не гово-

рят. Демократическая конституция — могучее оружие в борьбе за освобождение трудящихся. И именно поэтому *теперь* есть немало английских парламентариев, гордящихся тем, что в их стране уже 700 лет существует конституция, и в то же время благосклонным оком взирающих на своих собратьев, готовых отдать даже Балеарские острова итальянским фашистам, лишь бы они поскорее задушили испанскую демократию. Да и относительно самой Англии сэр Освальд Мосли не перестает доказывать, что и английская-то конституция была 700 лет тому назад много безопаснее и выглядела вообще как-то привлекательнее, чем в настоящее время.

Не только факт существования III Интернационала, но все развитие мирового хозяйства, техники, сообщений и связи ежедневно и настойчиво напоминает правящим классам капиталистических стран о том, что человечество вступило в ту историческую полосу, когда ни за океанами, ни за горами, ни на самых далеких меридианах нельзя уже гарантировать себя от вовлечения в великую борьбу. И не со вчерашнего дня правящая буржуазия заметила, что демократические или даже и не совсем демократические конституции сделались для нее чрезвычайно сомнительным даром судьбы. *В настоящее время* в некоторых французских правобуржуазных и очень влиятельных органах (между прочим в «Либерте») Бенито Муссолини иначе не называется, как «Спасителем» (Sauveur с прописной буквы). Еще на днях во французской правой прессе по поводу октябрьской поездки итальянского министра Чиано в Берлин почтительно сообщалось, что этот молодой сановник женат на дочери «Спасителя» (и опять «Спаситель» с большой буквы). В глазах мировой крупной буржуазии Муссолини и ему подобные вожди в самом деле спасители.

Но есть такая черта в нашей Конституции, которая особенно беспокоит многих. Об этой черте больше всего пока говорила японская пресса. В Японии, как известно, крутое обострение реакции началось после 9 марта 1919 г., когда японские войска в Сеуле убили и ранили больше 600 корейцев и арестовали (а затем многих из них замучили в тюрьме) около 4000 человек. Все это в ответ на безоружную демонстрацию корейской молодежи против японского владычества. По поводу пятнадцатой годовщины именно этой достославной победы японская пресса развивала мысль, что никакого самоуправления в Корее не следовало с самого начала обещать и что в 1919 г. Вильсон сбивал с толку все человечество, повторяя революционные бредни разных «деклараций прав» XVIII столетия, но, к счастью, Вильсон оказался последним могиканом. «Не Вильсон, а Гитлер должен нас отныне учить, как обращаться с подчиненными неполноценными расами!» — восклицали японские публицисты

в 1934 г. Немудрено поэтому, что, насколько можно судить по перепечаткам из японских газет в английской и американской прессе, меньше всего в Японии понравились именно статьи проекта нашей Конституции о самоопределении народов и самоуправлении республик, входящих в Союз. Эти статьи были даже названы «революционной прокламацией!», которая может оказать особенно злокачественное действие именно в Азии. От Вильсона к Гитлеру! Такой рисовалась еще два года тому назад японским националистам та благая эволюция, которую проделала мировая политическая мысль в 1919—1934 гг. Неужели же допустить, чтобы в Корее, на Формозе, в Китае стали мечтать об обратной эволюции,— от Гитлера к тому, о чем и Вильсон никогда не мечтал, даже для чужих колоний (относительно которых покойник и проявлял по преимуществу свой щедрый либерализм)? Неужели 1936 году суждено стать отправным пунктом этого нового опасного развития среди «неполноценных рас» их былых мечтаний, расстрелянных надежд?

Вот при какой обстановке была возвещена, опубликована, подвергнута обсуждению и готовится стать законом наша Конституция. Когда наш новый основной закон будет принят Чрезвычайным съездом Советов, еще грандиознее окажется его психологическое влияние и его всемирно-историческое значение. Уже это одно может сделать наступающий сегодня двадцатый год Советской власти одной из самых значительных дат новейшей истории человечества.

Известия, 1936, 7 ноября, № 259.

ЗАМЕТКИ ЧИТАТЕЛЯ

Есть у Пушкина небольшое, но замечательное по могучей красоте стихотворение, написанное в 1823 г. [1], никогда, конечно, при жизни поэта в печати не появлявшееся и как-то мало обращавшее на себя внимание и тогда, когда оно, наконец, появилось. Это — брошенный отрывок, начинающийся словами «Недвижный страж дремал...»

Это стихотворение напоено политической мыслью, и редко где Пушкин так близко выразил характерную идеологию «Молодой Европы», «либерального», как тогда говорили, поколения 20-х годов, как именно в этой пьесе. Он представляет себе императора Александра в момент полного торжества возглавляемого царем Священного союза. Веронский конгресс сошел прекрасно, в Испанию направлена французская интервенция и Испания удушена, вождь испанской революции Риего повешен, еще раньше австрийской интервенцией удушены Неаполь и Пьемонт, придавлено студенчество в Германии — все обстоит благополучно. Мысли Александра были спокойны «и миру тихую неволю в дар несли». Эта «тихая неволя» в те годы постоянно противопоставлялась передовыми людьми Европы бурному, приходившему с военной грозой, сокрушавшему сразу целые государства деспотизму Наполеона. Тихая неволя, которая поддерживается не армиями и не страшными побоищами, а жандармами, шпионами, полицией, казалась более непереносной именно потому, что она была не катастрофой, которая сегодня грянула, но завтра может кончиться, а прочно установившимся бытом.

В Италии, в Польше, в России, в Испании — «От Тибровых валов до Вислы и Невы, от сарско-сельских лип до башен Гибралтара...» все покорно, «...под ярем склонились все главы». Александр вспоминает, как человечество, не жалея своей крови, отчаянно боролось еще так недавно, чтобы избавиться от наполеоновского ига, как народы думали, что, свергнув всемирного угнетателя, они в самом деле освободятся: «...Давно ль народы мира паденье славили Великого Кумира...»

В строгой хронологической последовательности Пушкин вспоминает о революционных движениях в Европе после Ва-

терлоо, о студенческом движении в Германии (на которое он уже раньше откликнулся в «Кинжале», восхваляя убийство Коцебу студентом Зандом), о том, как «шаталась Австрия» (тут имеются в виду движения в подчиненных тогда Австрии частях Аппенинского полуострова). «Неаполь восставал» — конституционное движение Гульельмо Пепе, задавленное Меттернихом. Отдельно поставлена Испания, где революция восторжествовала в 1820 г. и где действовала либеральная конституция вплоть до 1823 г., когда интервенция французов покончила с ней: «За Пиренеями... уж правила свобода», и погибла эта свобода только что, как раз в том году, когда Пушкин писал свое стихотворение. Александр вспоминает о том, как недавно все это было, и революции, той скрытой, потаенной, всемирной революции, для борьбы против которой и существовал Священный союз, он бросает высокомерный вызов: «...где же вы, зиждители свободы? Ну что ж? витийствуйте, ищите прав природы...» Пушкин здесь имеет в виду «естественное право» (le droit de la nature, le droit naturel), как называлось еще со второй половины XVIII в. учение Жан-Жака Руссо, обоснованное в «Общественном договоре» и в декларациях прав человека и гражданина в эпоху как североамериканской, так и французской революции. «Права природы» это и есть «естественные, неотчуждаемые права» революционных деклараций. Александр уже не боится и покушений, от которых погибли Коцебу в Германии и герцог Беррийский в 1820 г. во Франции: «Вот Кесарь — где же Брут?» И презрительно он приглашает народных ораторов Европы («витий») целовать царский жезл.

Пушкин считал царскую Россию главной, серьезнейшей опорой тогдашней мировой реакции, «жандармом Европы», по позднейшему выражению основоположников революционного марксизма.

И вот — пред торжествующим царем в ночной тиши — галлюцинация. Пред ним — видение Наполеона.

Это Наполеон — уже не тот, который рисовался воображению молодого лицеиста, помнившего, как они, дети, со старшими братьями прощались, «завидуя» тем, кто шел умирать в 12-м, в 13-м, в 14-м годах. Уже не тот кровожадный тиран, который «двадцать целых лет не снимал с себя оружия, не слезал с коня ретивого, всюду пролетал с победою, мир крещеный потопил в крови, не щадил и некрещеного», не тот Наполеон, каким он выступает в этих посвященных ему стихах «Бовы» в 1814 г. (Тут, кстати, обращают на себя внимание слова о некрещеных, которых Наполеон тоже потопил в крови: Пушкин вспомнил тут Египет и Сирию. Это характерно для всегдашней предельной насыщенности содержанием пушкинских стихов.) Не похож этот пушкинский Наполеон 1823 г. и на того «Наполеона на

Эльбе», которого воображал себе Пушкин в 1815 г. и который готовился снова отвоевать свой трон.

Уж мир лежит в оковах предо мной!
Прейду я к вам сквозь черные пучины
И гряну вновь погибельной грозой!

Где Наполеон — там деспотизм кровавого тирана, там гнет, рабство, оковы. Таков Наполеон в юношеских представлениях Пушкина. Близость ярой борьбы, близость Бородинского кровавого поля и московского пожарища еще чувствуются в этих стихах. Но не похож Наполеон, являющийся в галлюцинации Александру в 1823 г., и на того Наполеона, которого поэт дает нам в оде на смерть французского императора.

В этой оде, написанной в 1821 г., после получения первых известий о смерти Наполеона, мы видим уже большую глубину политического прозрения. Да, конечно, Наполеон «налагал ярем державный... на земные племена», он угнетатель человечества, во след которому летит проклятие порабощенных народов. «Европа гибла; сон могильный носился над ее главой»; его постигло справедливое мщение со стороны Европы, которая «свой расторгла плен»:

И длань народной Немезиды
Подъяту видит великан:
И до последней все обиды
Отплачены тебе, тиран!

Все это так.

Давно ль орлы твои летали
Над обесславленной землей?
Давно ли царства упадали
При громах силы роковой?

Но он ли один виноват? Кого первыми он поработил? Чужие народы или французов? Пушкин говорит не только о властелине, но и о рабах, забывших революцию, предавших революцию, покорившихся господину:

Новорожденная свобода,
Вдруг онемев, лишилась сил...

Рабы продали свою свободу — и взамен получили славу, не понимая, что эта мена составляет для них позор:

Среди рабов до упоенья
Ты жажду власти утолил —
Помчал к боям их ополченья,
Их цепи лаврами обвил...

Надежда революции сделать страну свободной, дать стране народовластие, была величавой надеждой, а побрякушки воен-

ной славы были ничто сравнительно с этой надеждой, как бы блистательна ни была эта военная слава:

И Франция, добыча славы,
Плененный устремила взор,
Забыв надежды величавы,
На свой блистательный позор.

Не потому порицает поэт завоевателя, что завоеватель узурпировал трон «законных» Бурбонов (как это еще прорывается в лицейских стихотворениях), а потому, что он задушил революцию и французы позволили ему это сделать и подчинились цепям, которые Наполеон на них надел, потому что эти цепи он обвил военными лаврами. Все это — законченное историческое воззрение на Наполеона. Но в конце прорываются звуки, которые так необычайно характерны именно для 1821 г.: поэт хочет примиренья с Наполеоном, он утверждает, что над «великолепной могилой» должна кончиться «народов ненависть» к своему бывшему властелину и что должен быть предан позору тот, кто отныне посмеет бросить Наполеону укор.

Хвала!.. Он русскому народу
Высокий жребий указал
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал.

Последние два стиха необычайно характерны и для Пушкина, и для Виктора Гюго (несколько более позднего периода), и для Стендаля, и для Армана Карреля, и даже для Байрона, который дольше других негодовал на Наполеона за 18 брюмера, а после смерти стал его воспевать за то, что он, «не родившись царем, влек царей за своей колесницей». Никакой свободы Наполеон миру не завещал, но поэтам молодой Европы и великому гению молодой России представлялось, что сокрушитель царей снова превратился на острове Св. Елены в былого революционного генерала и что его ядовитые высказыванья о монархах и правителях, доносившиеся и до Петербурга, и до Москвы, и до далекого Кишинева с острова Св. Елены чрез Лондон и Париж, знаменуют собой превращение былого военного диктатора в свободомыслящего поборника народных прав. Именно тогда начали выступать творцы наполеоновской легенды, именно тогда эту легенду первыми стали создавать в Европе именно те, кто хотел тесно связать Наполеона с великой борьбой французской революции против феодальной Европы. Но у Пушкина есть та широта взгляда, то чувство меры и гармонии, та глубина мысли, которая все-таки не позволила ему дойти до гипербол позднейшей «Оды к колонне» Виктора Гюго и тому подобных произведений.

В записной книжке Пушкина есть две любопытные записи,

сделанные поэтом в 1820—1822 гг. Одна из них сделана по-французски. Пушкин передает чьи-то слова, сказанные в 1820 г.: «Революция в Испании, революция в Италии, революция в Португалии, конституция тут, конституция там... Господа государи, вы сделали глупость, лишив Наполеона престола» (Венгеров, V, стр. 413, № 1002). Правда, это Пушкин записывает чужое суждение. Во всяком случае оно не идет еще вразрез с представлением о Наполеоне, сказывающемся в оде на его смерть (1821 г.). Другая заметка уже выражает мысль самого Пушкина: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть более, чем Наполеон». Это гармонирует с общим взглядом Пушкина на личные качества Наполеона, которого наш поэт никогда не идеализировал. Эту интимную запись, сделанную некогда в записной книжке, он повторил и в «Евгении Онегине»:

Мы все глядим в Наполеоны,
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно...

Если от оды 1821 г. мы снова перейдем к интересующему нас тут отрывку 1823 г., то увидим усиление именно той заключительной ноты, которая так явственно прозвенела в самом конце этой оды: Наполеон завещал миру вечную свободу, значит, Наполеон был бы теперь против Священного союза и отстаивал бы свободу народов. Он не на той стороне, где Александр и Меттерних, он — по ту сторону баррикады. Пушкинский Наполеон 1823 г. является пред Александром, как грозное напоминание. Александр, который только что ликовал, что ненавистная революция, наконец, раздавлена, вдруг видит перед собой грозного, вышедшего из революции диктатора и полководца, от лица которого он так позорно убежал из-под Аустерлица, плача от страха, что его нагонят французские гусары. Александр I видит перед собой воителя, который приказал ему подписать позорный мир в Тильзите, разгромив снова и снова его войска. Пушкин называет Наполеона в стихах 1823 г. *точь-в-точь* так, как в следующем поколении Маркс и Энгельс определяли его в прозе: они отмечали (много раз и с ударением), что он был не только ликвидатором революции, но и носителем многих ее начал, разрушительных для феодальной Европы; и Пушкин говорит об этой же двойственной роли императора: «Мятежной вольности наследник и убийца». Он не идеализирует Наполеона: «Сей хладный кровопийца» для него не есть образец красоты душевной, но этот военный герой был «всадник, перед кем склонилися цари», и этого довольно для Пушкина.

Александра I Пушкин всегда считал посредственностью и

в военном деле и в дипломатии и даже чины ему давал по обоим ведомствам самые маленькие:

Воспитанный под барабаном,
Наш царь лихим был капитаном:
Под Австерлицем он бежал,
В двенадцатом году — дрожал...
. . . .
Теперь он отставной асессор
По части иностранных дел.

читаем мы в его известной эпиграмме. Возвращался он мыслью к Александру и много позже, работая над концом «Онегина»,— и все вспоминал об этом «властителе слабом и лукавом» и о тех временах, «когда не наши повара орла двуглавого щипали у Бонапартова шатра». Возвращался и к Наполеону, выражая свою грусть по поводу разрушения легенды о рукопожатиях, которыми будто бы оделял Наполеон чумных больных в Яффе («Герой»).

Но нигде уже не было такого политически заостренного противопоставления двух принципов, олицетворенных в обоих императорах, как то, которое мы находим в этом замечательном отрывке 1823 г. Он напечатан — и очень хорошо — в однотомнике, который издан в 1936 г. под редакцией Б. В. Томашевского. Читатель может несколько удивиться этой похвале и спросить: а как же можно «дурно» напечатать Пушкина? Этот вопрос, однако, показал бы, что читатель очень неискушен в успехах пушкинизма, размеры и темп коих внушают теперь такую справедливую и широко распространенную тревогу.

Знаменитый «принцип», по которому «в основу мы кладем издание 1834 года», остается еще на ногах и держится весьма бодро. Правда, этот однотомник 1936 г. производит более отрадное впечатление по сравнению с пресловутым однотомником 1924 г., к несчастью выдержавшим шесть или семь изданий.

Но все-таки и то, что мы видим в однотомнике 1936 г., тоже достойно своего рода удивления.

Мы раскрываем однотомник и читаем «Евгения Онегина». Вы помните то наслаждение и вместе с тем то щемящее чувство, которое вас охватывает, когда Пушкин в конце шестой главы говорит нам о дворе Николая, о высшем свете, о всех этих Бенкендорфах и Чернышевых, о всех этих графинях Нессельроде, о своих будущих убийцах, о том гнусном «омуте», где ему суждено было погибнуть. Вы помните, как он просит свое вдохновение чаще прилетать к нему,— не дать остыть душе поэта, не дать ей наконец окаменеть:

В мертвящем упоеньи света,
Среди бездушных гордецов,

Среди блистательных глупцов,
Среди лукавых, малодушных,
Шальных, балованных детей,
Злодеев и смешных и скучных,
Тупых, привязчивых судей,
Среди кокеток богомольных,
Среди холопьев добровольных,
Среди вседневных, модных сцен,
Учтивых, ласковых измен,
Среди холодных приговоров
Жестокосердной суеты,
Среди досадной пустоты
Расчетов, дум и разговоров,
В сем омуте, где с вами я
Купаюсь, милые друзья.

Куда делись эти бичующие, навсегда клеймящие стихи, к которым вы так привыкли с детства, которые вы встречали решительно во всех изданиях, выходивших с тех самых пор, как Николай Павлович и Бенкендорф смежили, наконец, свои очи, которые даже проскользнули (один раз) в первом издании! Этих стихов *нет*. Б. В. Томашевский их изъял. Вместо них стоит скромная маленькая цифра: 40. Ищите и обрящете. Вы найдете эти пропущенные строфы, напечатанные крошечным петитом в примечаниях. Разве есть этому оправдание? Разве можно объяснить читателю, что безнадежно, грубо, непоправимо испорчена вся художественная эмоция, так нарастающая при каждом стихе этих бессмертных строф, если их нужно где-то отыскивать, прервав чтение?

Вместо этого гневного бога поэзии, клеймящего николаевских палачей и их приспешников и приспешниц, пред вами вырастает скромная фигура редактора с указующим перстом, направленным на цифру 40.

Что бы сказал Б. В. Томашевский, если бы кто-нибудь из хранителей Лувра аккуратно вырезал у Джоконды Леонардо да Винчи нос и налепил бы вместо него ярлычок с указанием номера кладовой, где этот нос сохраняется?

Читаем «Онегина» дальше. Находим эту бессмертную поэтическую автобиографию начала восьмой главы («В те дни, когда в садах лицея...»). Пушкин вспоминает в IV строфе о своей ссылке:

Но рок мне бросил взоры гнева
И вдаль занес... она за мной.
Как часто ласковая дева
Мне услаждала путь немой...

Собирательный жандармско-цензурный Бенкендорф, конечно, не пожелал подобных намеков. И Пушкин в «беловом» экземпляре заменил эти стихи другими, совсем не такими:

Но я отстал от их союза
И вдаль бежал... она за мной.
Как часто ласковая Муза
и т. д.

Почему от советского читателя тоже необходимо утаивать «взоры гнева» — понять нельзя ни в коем случае. Кстати, даже в «примечаниях», даже самыми маленькими типографскими бактериями не напечатаны эти стихи. И читатель, который будет иметь непоправимое несчастье знакомиться с Пушкиным *только* по этому однотомнику, так во веки веков этих стихов и не узнает. Не совсем также понятно, для кого писались эти примечания.

Вот «Домик в Коломне». Конечно, вы уже и не рассчитываете найти длинный ряд прелестных, остроумных октав, которые дал в своем издании Ефремов и дали другие издатели; конечно, впечатление от этого у читателя будет несравненно менее яркое, чем если бы он прочел эту замечательную вещь в том виде, в каком она вылилась из-под пера Пушкина. Вы начинаете искать. Ищете, ищете. Терпение и труд все перетрут. Страниц, примерно, через 750 вы находите пропавшие восемнадцать октав,— и тут же примечания. В этих примечаниях остается совершенно невыясненным и не комментированным загадочный на первый взгляд стих:

У нас война. Красавцы молодые!
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
и т. д.

Что под «хрипунами» тогда понимались картавящие на французский лад гвардейские великосветские офицеры,— это известно. Но что это значит: «но хрип ваш приумолк», брошенное мимоходом, в скобках, без пояснения? Это значит, что только в конце 1829 и в 1830 г., когда писалась поэма, в Петербурге и Москве в публике стали из рассказов вернувшихся узнавать об ужасах русско-турецкой войны 1828—1829 гг., о тяжких поражениях под Праводой, под Эски-Арнаутляром, о «победе» под Кулевчей, где пало так много офицеров отборных частей, о засаде, в которую попали гвардейские егеря (под командой полковника Залусского), где они и были почти полностью истреблены при столкновении с корпусом Омер-Вриона-паши, и т. д. и т. д. «Если подумать, что полк гвардейских егерей был одним из самых аристократических полков, офицеры которого все почти без исключения принадлежали к русской придворной аристократии,— то можно понять колоссальное впечатление, которое произвело это плачевное поражение»,— правильно пишет Шиман, пользовавшийся для своей истории документами и показаниями разнообразнейших архивов (Geschichte Russlands un-

ter Kaiser Nikolaus I. T. II, стр. 267). Да будто это и до шимановских документов не было известно — и об этих страшных позорных поражениях и потерях, и о впечатлении, которое эти события производили в Петербурге и Москве! Пушкин нам бросил украдкой от Бенкендорфа намек, а мы его 100 лет упорно не хотим понимать? Однотомник, например, тоже и не подозревает тут ничего. Так, просто, сболтнул Пушкин, что какой-то «хрип приумолк»... Стоит ли, за множеством дел над этим долго думать?

Безнадежно испорчено и «Воспоминание» («Когда для смертного умолкнет шумный день»),— дана только первая короткая часть стихотворения, вся потрясающая вторая часть, для которой первая служит только введением, вступлением, отсутствует, сослана на задворки, за 500 страниц расстояния. Уж лучше бы совсем не давать этой дивной лирики, чем давать ее в таком изуродованном виде. Да, совершенно, верно, при Пушкине в печати появилась лишь первая часть; Пушкина ведь стесняли не только жандармы и цензура, у него могли быть и другие препятствия. Но написал-то он это как цельную пьесу? Зачем же теперь ее портить, кромсать, уничтожать! Особенно это нестерпимо для тех, кто знает Пушкина и, только что приготовившись насладиться этими звуками, находит вместо них в самом начале аккуратную черточку: все. Конец. Почитали и довольно с вас.

Я пишу тут только о том, что мне лично бросилось в глаза при первом же беглом просмотре однотомника. О других перлах, которые выудил оттуда же тов. Гурштейн, я говорить не стану. Очень рекомендую читателям эту статью, появившуюся в газете «Правда» от 16 декабря 1936 г. (А. Гурштейн. Слепые пушкинисты). Никогда не узнают злополучные читатели, которые будут знакомиться по этому однотомнику с Пушкиным, о том, что у них похищена — и даже не запрятана на задворках, а просто *бесследно* скрыта,— сгинула без вести вторая часть этого дивного произведения: «Стамбул гяуры нынче славят», о котором Белинский говорил с таким пламенным восторгом и которое одно уже давало бы Пушкину право называться солнцем русской поэзии. Да, как это ни чудовищно, это факт: начиная со слов:

> Алла велик. К нам от Стамбула
> Пришел гонимый янычар,—

и до конца *шестнадцать стихов*, которые вы найдете буквально *во всех* старых изданиях и которые полны такой патетической поэзии, выпущены, и нигде даже не отмечена эта маленькая операция. Их нет даже в примечаниях.

Пропущены *именно* те шестнадцать стихов, которые говорят о кровавом усмирении восстания янычар в Константинополе и провинции, т. е. о событии, прогремевшем на всю Европу в те

же, примерно, годы, почти в то же самое время, как декабрьское восстание на Сенатской площади в Петербурге. Пушкин знал, конечно, что эта часть едва ли пройдет благополучно, и, несомненно, соответственным образом «перебелил» свое дивное творение. Но ведь стихи-то, вылившиеся из-под его пера, остались? Ведь все издали, не заболевшие «принципом» перепечатки издания 1834 г., всегда *полностью* давали читателям эту вдохновенную песнь о Стамбуле, об Арзруме, о янычарах. Почему же советский читатель должен быть так стыдлив, что ему *тоже* нельзя говорить о восстании янычар, иначе он — чего доброго — подумает тоже о декабристах?

И в поэтическом и в политическом отношении это творение Пушкина выхолощено и испорчено.

Такое же совсем непозволительное дело учинено и над «Египетскими ночами»: выброшен конец великой импровизации, последний напечатанный стих — «Глава счастливцев отпадет», а кто хочет читать дальше, тот пусть достанет у букинистов издание Венгерова, или Ефремова, или Морозова, или вообще какое угодно, кроме изданных Б. В. Томашевским и его нынешними соратниками по пушкинизму. И тоже: даже в примечаниях нигде не даны выброшенные стихи и нигде не отмечено, что над этой классической вещью проделана кастрация.

И *это* предлагается нам в качестве «сочинений Пушкина»! Под подобные действия подводят какие-то «теории» и «научные» основания... Вспоминается архитектор, который утешал обитателей только что им выстроенного и сразу же развалившегося дома: «Это было предусмотрено проектом». Неизвестно, очень ли это успокоило пострадавших.

Я не рецензию пишу, а только делюсь своими беглыми читательскими впечатлениями. Поэтому — лишь два слова о том, что случайно попалось на глаза в примечаниях.

Откуда взял автор примечаний, что употребленное Вяземским слово «шинельные» в применении к патриотическим стихотворениям Пушкина означает «лакейские, поздравительные» (стр. 892). «Шинельные» ясно обозначает здесь: военно-патриотические, бравурные, «барабанные» (позднейшее выражение), но вовсе не «лакейские» — лакеи шинелей не носили — и не «поздравительные»; в стихотворении «Клеветникам России» Пушкин решительно никого не поздравляет.

Некоторые объяснения слов совершенно неточны: «Деист — человек, отрицающий обрядовую религию» (!). Казанова вовсе не «рисует великосветский быт», напротив, этот быт, совсем ему чужой по его классовому положению, играет лишь эпизодическую роль в его записках. О Каченовском не сказано самого главного: что он был главой «скептической школы» в русской историографии, имевшей очень большие заслуги перед наукой,

и боролся вовсе не с «литературной школой Карамзина», а именно с Карамзиным, как историком. На стр. 935: «Квакер — религиозный сектант». И только. Но вот, например, старообрядцы, скопцы, мормоны и т. д. — тоже религиозные сектанты. Разве можно так «объяснять»? Поццо ди Борго (стр. 942) назван «одним из вдохновителей белого террора во Франции». Как раз наоборот: он изо всех сил старался бороться *против* ультра-роялистов, разжигавших белый террор. На стр. 943 — дважды — Рейнская *конфедерация* названа *конференцией* и ни разу не названа правильно. Есть и еще ошибки. Но не в этом дело. В общем и словарь составлен не плохо, и примечания почтенные, и труда положено много, и текстологическая проверка дала кое-где ценные добавления, например, в Юдифи («Когда владыка ассирийский»), и все-таки необходимо *немедленно* этот однотомник Пушкина переиздать с самым радикальным выправлением всех искалеченных мест. Абсурднейший «принцип», ровно ничего «научного» в себе не имеющий, погубил уже более чем достаточно бумаги, отпущенной на Пушкина. Пора, наконец, получить то, что Пушкин хотел напечатать, но не мог, а вовсе не то, что граф Бенкендорф считал уместным из Пушкина дать читателям 100 лет тому назад, или, что Пушкин, скрепя сердце, «перебелял», зная, что «черновиков» Бенкендорфы не пропустят.

Мы знаем, что Пушкин сам далеко не так добродушно, как за него это делают пушкинисты, относился к необходимости «перебелять» свои «черновики» и считаться с усовершенствованиями, вносимыми посторонней попечительской рукой. А. Ф. Кони рассказывал, что, по словам самого Некрасова, рассыльный Минай и знаменитый разговор с ним взяты Некрасовым с натуры.

...Не чета Александру Сергеичу:
Тот честенько на водку давал.
Да зато попрекал все цензурою:
Если красные встретит кресты,
Так и пустит в тебя корректурою:
    Убирайся, мол ты!
Глядя как человек убивается,
Раз я молвил: сойдет-де и так!
«Это кровь, говорит, проливается!
    Кровь моя! Ты дурак!»

Вот как покойник относился к своим подневольным «беловикам» и к цензурным изменениям.

Пора, спустя 100 лет, перестать проливать кровь поэта. Пора перестать обманывать миллионы и миллионы впервые берущихся за Пушкина современных читателей, подсовывая им Пушкина, исправленного и «улучшенного» Бенкендорфом.

Литературный критик, 1937, № 1, стр 207—216.

ПОСТСКРИПТУМ

В последней книжке журнала «Литературный критик» напечатана моя заметка, во второй своей части посвященная тому «принципу», согласно которому нынешние издатели пушкинских сочинений в большей или меньшей степени, на сей раз, правда, с оговорками и отступлениями, стремятся «воспроизвести текст в том составе и в том виде, как он был установлен автором». На примере «однотомника» 1936 г., который все-таки гораздо лучше выпущенного в 1924 г., можно легко проследить, к чему это на практике сводится: к благополучному воскрешению специально для Пушкина бенкендорфовской и прочей цензуры, сплошь и рядом заставлявшей Пушкина «окончательно устанавливать» в печати свой текст. Характерным образчиком (одним из приведенных мной) служат бессмертные строфы шестой главы «Онегина» («Среди бездушных гордецов, среди блистательных глупцов» и т. д.), которые поэт, начиная со второго издания, вынужден был печатать в *«примечаниях»*, где этим стихам было в самом деле как-то безопаснее от жандармского глаза, чем в тексте. Это вынесение потрясающих, могучих строф в примечания, так страшно портившее весь конец шестой главы, разумеется, не было удержано позднейшими редакторами,— и во всех полных изданиях Пушкина (Ефремова и др.) они печатались на своем естественном месте, где Пушкин их поместил в своем *первом* издании, т. е. в тексте. А современные нам пушкинисты без тени основания начали их печатать на задворках, в «примечаниях».

Такова эта теория «окончательно установленного самим поэтом текста». «Самим» поэтом! «Сам» поэт и не то проделывал над собой, как известно: в 1820 г. внезапно укатил на целых три года в Кишинев, в 1824 г. вдруг помчался из Одессы в Михайловское. Все «сам»!

Моя заметка в «Литературном критике» уже печаталась, когда вышел II том «Пушкинского временника», принесший еще одну иллюстрацию любопытных результатов, которые дает названная теория, так внимательно и деликатно относящаяся к весьма активному, хоть и не всегда видимому сотрудничеству цензуры в деле окончательного установления «пушкинского» текста.

В моих «Заметках» взяты примеры из поэзии Пушкина. Но и в его прозе далеко не все, к нашему несчастью, нравилось цензуре 100 лет тому назад, а посему тоже далеко не все дается читателю в 1937 г. На стр. 811 (однотомника 1936 г.) читаем о том, что Петр I поехал к могиле Стеньки Разина и велел разметать курган «дабы увидеть его кости»... Читателю преподносятся далее эти задумчивые три точки.

А если читатель захочет прочесть то, что *в самом деле* написал Пушкин, то пусть возьмет хотя бы «Пушкинский временник», том II (Москва, 1936 г.), пусть раскроет его на стр. 435, и тогда он прочтет слова настоящего Пушкина: «...хоть кости славного бунтовщика — вот какова наша слава!»

Почему «сам» Пушкин принужден был сделать это «усечение» — на это «Пушкинский временник» дает вполне точный, ясный и реальный ответ: «явно по цензурным соображениям». (А насколько Пушкин всю жизнь интересовался Степаном Разиным, явствует хотя бы из его письма, написанного в ноябре 1824 г., из села Михайловского Льву Сергеевичу Пушкину: «...вот тебе задача: историческое, сухое известие о Стеньке Разине, единственном поэтическом лице русской истории».

Но вот почему в 1936 г. тоже признано за благо произвести это «усечение» — этого никто объяснить не возьмется. А в однотомнике 1936 г. нигде об этом «усечении» *даже и не упоминается!*

Пропала, развеялась без следа мысль Пушкина, испарилось куда-то его многозначительное восклицание, погибли его эпитеты, такие тут характерные, такие важные. Зато соблюден «принцип», в котором «научности» ровно столько же, сколько литературного вкуса, критического смысла и уважения к исторической правде.

Литературный критик, 1937, № 2, стр. 106—107.

НЕЛОВКИЕ УВЕРТКИ

В четвертой книге «Литературного критика» мне ответил Б. Томашевский.

С характерной «добросовестностью» он прикидывается, что не понимает, в чем дело. Он делает вид, якобы я его укоряю в переносе двух строф из шестой главы «Онегина», тогда как их перенес «сам» Пушкин. Он слишком рассчитывает на короткую память читателей: я именно говорю, что Б. Томашевский с полным отсутствием вкуса и понимания продолжает портить конец шестой главы, который сам Пушкин *должен* был портить в некоторых своих изданиях.

То же самое о «роке, бросившем взоры гнева». Пушкин *должен* был видоизменить эти стихи, и напрасно Б. Томашевский тщится утопить этот факт в океане ненужных слов. Ведь именно Бенкендорф обиделся «взорами гнева».

С той же курьезной развязностью отделывается Б. Томашевский и от других указаний на обезображение им Пушкина, когда говорит, например, о «плаче о янычарах».Увы! Если уж «плакать», то не о янычарах, а о читателях, которым дается вместо дивного творения Пушкина обезображенный обрубок, да еще можно всплакнуть о советской бумаге, бесплодно истраченной на это издание.

Но что делать с Б. Томашевским, который, глядя в книгу, видит в ней... нечто, чего там нет? «У нас война — по Тарле, конечно, война турецкая: до сих пор было принято думать о журнальной войне...» Признаюсь, что, нисколько не переоценивая глубины понимания Б. Томашевским Пушкина, я все-таки был поражен этим совсем невероятным пассажем. Пусть судит читатель. Вот что черным по белому говорится у Пушкина:

У нас война. Красавцы молодые!
Вы, хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии ширванский полк?

Ну, что же тут поделаешь, если Б. Томашевский полагает, что красавцы молодые — это журналисты, что война ведется между журналами в Персии и что в этой журнальной войне при-

нимает участие ширванский полк, который в той же октаве «лезет в бой кровавый»!

Б. Томашевскому говорят, что он испортил «Воспоминание», откромсав от него всю вторую часть и упрятав ее в примечания, а он продолжает все свое: написать Пушкин написал его, но так как он не напечатал при жизни конец, то и впредь не нужно печатать целиком. Кстати. Нельзя без улыбки читать нижеследующий экскурс Б. Томашевского в область высокой критики (стр. 888): «Черновой текст стихотворения имеет недоработанное продолжение, отброшенное в печати». Недоработанное! Не сразу придет в голову, что из мировой литературы можно сопоставить именно с этим потрясающим, мучительным концом пушкинского творения. Но, по мнению Б. Томашевского, оно «недоработано». Трудно угодить на столь разборчивый вкус; бедный Александр Сергеевич!

Скучно и бесполезно спорить с Б. Томашевским, тем более что он, «когда о честности высокой говорит» (о честности в полемике), то в это самое время прибегает к «ловкости рук»; так, например, он приписывает мне вздор, будто бы я говорю, что Пушкин «весело смеется» над неудачами русской армии. И это утверждение он повторяет *дважды* («насмешки над поражением русской армии показались бы более чем неуместным зубоскальством»). А у меня говорится об «ужасах русско-турецкой войны», о страшных поражениях и о «впечатлении, которое эти события производили в Петербурге и Москве». Ни одного звука о «насмешке» и «зубоскальстве» нет и быть не могло: эта пошлость не принадлежит ни Пушкину, ни мне, но создана исключительно усилиями одного лишь Б. Томашевского.

Тот же привлекательный прием повторен и о Каченовском. У меня говорится: «О Каченовском не сказано самого главного: что он был главой «скептической школы» в русской историографии» и т. д. Б. Томашевский пишет: «Когда я читаю..., что Каченовский не боролся с литературной школой Карамзина...» Я говорю, что о Каченовском (в пояснительном словаре!!) обязательно нужно было прибавить главное, чем он лично вошел в историю русской мысли и науки, а Б. Томашевский лживо приписывает мне нелепое отрицание борьбы журнала Каченовского против литературной школы. Если, например, в пояснительном словаре сказать о Вольтере *только* то, что он был поэт, то это будет несуразно, потому что он был не только поэт. То же самое в данном случае с Каченовским. С «литературной школой» Карамзина боролся *журнал* Каченовского, а *лично* Каченовский боролся именно с «Историей» Карамзина. И *в словаре* не сказать этого — значит не понимать и не знать, в чем *главное* значение Каченовского: не журнала, не сотрудника Надеждина, а *лично* Каченовского.

Б. Томашевскому говорят, что он скрыл от читателей интереснейшее, очень важное, сочувственное по тому высказывание Пушкина о Степане Разине, а он отвечает какой-то ничуть его не оправдывающей путаницей, имеющей вид попытки утопить непреложный и вопиющий факт в чисто словесном ручье. Он тут скрыл подлинного Пушкина.

Относительно перевираний в объяснении слов Б. Томашевский более скуп на «возражения». Он тщится объяснить, между прочим, двукратное наименование «конфедерации» «конференцией» — опиской. Допустим... Но на фоне других ошибок, неточностей и наивностей словаря эта «описка» получила злокачественный вид.

Кстати, еще и еще об ошибках. Фердинанд VII с 1808 г. вовсе не был королем, а королем был с 1808 по 1813 г. Иосиф Бонапарт. Эвменида вовсе не «богиня», а одна из трех фурий греческой мифологии: все три носили это название, не следует ее путать с Немезидой. Трианон не столько «павильон», сколько дворец, или, точнее, даже два небольших дворца, стоящие очень далеко от Версальского дворца. Тиссо, поминаемый Пушкиным, конечно, не «врач и автор медицинских книг», а известный тогда литератор, и жил он не «в 1728—1797 гг.,» а в 1768—1854, и назывался он не «Андре», а Пьер. Словом, не стоит путать швейцарского доктора медицины с французским писателем! Перечитывая произведения Руссо, совсем не позволительно забыть «Общественный договор»: ведь именно его имеет в виду Пушкин, говоря о Руссо («защитник вольности и прав...») Картель — *только* письменный и никогда не «устный» вызов. Это именно и отмечается специально в дуэльных кодексах «Un défi par écrit». Да и слово происходит от «la carte». Не повезло Стрэтфорду Каннингу: в тексте «дневника» он появился в качестве какого-то «несуществующего» Stangford'а, а в словаре дано объяснение не о нем вовсе, а о Джордже Каннинге, о котором Пушкин не говорит. Джордж Каннинг был премьером Англии, а Стрэтфорд Каннинг — знаменитым послом (впоследствии в Константинополе), упорным врагом России. Его имя гремит в анналах истории европейской дипломатии и достойно беглого внимания также Б. Томашевского.

На стр. 895 читаем загадочные слова о Мицкевиче, что он «жил в Дрездене и в Париже в качестве идеолога польской политической эмиграции». Что это значит? У «польской политической эмиграции» было *несколько* совсем не похожих одна на другую идеологий. Сведенборга Б. Томашевский так простодушно и называет «Шведенборгом» в своем словаре, повторяя пушкинскую неправильность в шведском произношении и не отмечая ее [1]. На стр. 836 Б. Томашевский повторяет старенькую нелепую версию, будто седьмая строфа «Вольности» относится к

Наполеону. Как бы предвидя возможность подобного истолкования, Пушкин пишет: «Твою погибель, смерть детей с жестокой радостию вижу». В 1817 г. и законный сын Наполеона, герцог Рейхштадтский, благополучно здравствовал у своего деда императора Франца Австрийского и «незаконный» сын, маленький граф Валевский, жил с матерью и пользовался вожделенным здоровьем. Если Б. Томашевскому известны еще какие-нибудь дети французского императора, смерть коих возбудила в Пушкине в 1817 г. «жестокую радость», пусть он не медлит поделиться своим интересным открытием с ученым миром. Нельзя такие сведения эгоистически утаивать для себя одного.

На стр. 799 известное французское выражение «à propos des bottes (ни к селу, ни к городу; невпопад, некстати) простодушно так и переведено: «из-за башмаков». Ведь без пояснения весь каламбур тут пропадает!! На стр. 797 разом: и обессмысливающая описка и нелепый перевод французской фразы. Подлинный Пушкин пишет: «говорили о Сухозанете, назначенном в начальники всем корпусам», а Б. Томашевский печатает: «всем корпусом» (эта описка или опечатка не оговорена, и она особенно зловредна потому именно, что дает другой смысл фразе). Далее, у Пушкина французская фраза, относящаяся именно к этому назначению: «Это, очевидно, затем, чтобы придать другое направление этим заведениям», а Б. Томашевский переводит: «другой оборот этим заведениям». Вот и разберите всю эту русско-французскую кашу с нелепой опиской Б. Томашевского и еще более нелепым переводом слова: une autre tournure. Так понимает свои функции произведший себя в защитники «подлинного Пушкина» Б. Томашевский. Зато уже если есть у самого Пушкина в самом деле описка (например, Strangford вместо Stratford Каннинг), так будьте спокойны, Б. Томашевский ее воспроизведет, не заметив и не оговорив, как бы ни была она очевидна [2]. Ермак Тимофеевич никогда не был (и не мог быть!) «атаманом донских казаков» (!!!), а был — да и то это не вполне установлено — лишь уроженцем Качалинской станицы на Дону, так что имеет точно такое же право называться «атаманом донских казаков», как, например, герой Марка Твена Том Сойер называться президентом Соединенных Штатов только потому, что он родился в этом государстве. Ермак был «атаманом» одной разбойничьей шайки на Волге (некоторое время). Не это ли сбило с толку ученого комментатора? И придет же в голову...

Но снова и снова повторяю: все эти (и другие) грубые ошибки, все *пропуски* (Ченчи, Ромм, Равальяк и др. обойдены молчанием) — все это не так существенно, как порча текста.

Пушкин приезжает с Кавказа и из души его выливается

сочувствие к горцам, гибнущим в неравном бою с завоевателями. Он пишет стихотворение «Кавказ» и кончает его стихами:

Так буйную вольность законы теснят,
Так дикое племя под властью тоскует,
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,
Так чуждые силы его тяготят.

Конечно, эти замечательные по мощи и напоенные политической мыслью стихи, кончающие рукописный текст, были «отброшены», когда стихотворение печаталось под бдительным оком Бенкендорфа.

И, конечно, Б. Томашевский в год нашей эры, 1936 г., тоже «отбросил» из текста эти стихи. Он и тут «хранит» «подлинного» Бенкендорфа, а вовсе не «подлинного» Пушкина. Он по мере сил выхолащивает Пушкина и хочет, чтобы мы с этим мирились, а когда ему указывают на то, что он проделывает, то он либо отмалчивается, как он отмалчивался от статьи в «Правде» от 16 декабря 1936 г., указавшей ему именно на поступок его с «Кавказом», либо отвечает словесным потоком, минуя *главное*, что ему ставится в укор, и обращается к брани и к полемическим «вольтам». К чему это? Почему он так курьезно самоуверен, не имея на это ни малейшего права?

Можно было бы еще и еще поговорить об этом удивительном «ответе» Б. Томашевского. Но к препирательству с ним ничуть не располагают ни его приемы полемики, ни его курьезно-развязный тон, ни, самое главное, полное нежелание (или неумение) понять, что именно возмущает меня, а со мною, да поверит Б. Томашевский, многих и многих читателей его изданий. И как возмущает!

Дело не в том «милы» или не милы мне Ефремов, или Венгеров, или Морозов: ведь те, кто (см. «Вечернюю Москву», март 1937 г.) платят букинистам теперь по 500, 600 и по 1000 рублей за старые издания Пушкина, идут на эти жертвы вовсе не потому, что эти старые издания безукоризненны. Но эти читатели хотят читать того Пушкина, который изливал свое вдохновение, не теснимый ни Бенкендорфом, ни подневольными купюрами «самого» Пушкина, ни светскими затруднениями и условностями, мешавшими поэту печатать то, что он хотел, ни крохоборами-педантами. Пока Б. Томашевский не поймет, что *нельзя* до такой степени не понимать музыку пушкинского стиха, до такой степени резать слух читателей, как он это делал, например, еще в своем пресловутом однотомнике 1924 и следующих годов, читатели не перестанут искать по букинистам за какие угодно деньги каких угодно изданий, но только не его. «...Ценишь ты и блеск А и прелесть ***», т. е. при чтении: «и блеск буквы «а» и прелесть трех звездочек». Это, видите ли, потому,

что Пушкину казалось несколько неловким написать «и блеск Алябьевой и прелесть Гончаровой». Так вот и в 1924—1934 гг. тоже деликатность к этим двум светским покойницам заставила Б. Томашевского испортить бессмертное послание к Юсупову этими двумя кляксами[3]. Я уж не говорю о целом ряде подобных приключений. Чего стоит этот курьез, пущенный в ход, кажется, Модестом Гофманом (который, к сожалению, не увез с собой это открытие): дело идет о чахоточной деве «в Осени». Пушкин пишет:

Бедняжка клонится без ропота, без гнева,
Улыбка на устах увянувших видна;—
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет —
Она жива еще сегодня,— завтра нет.

Модест Гофман решил в 1922 г., что слово «играет» нужно отделить от остального стиха. Б. Томашевский к *тире* Гофмана прибавил еще точку, чтобы уже совсем прочно было.

Вышло: «Играет.— На лице еще багровый цвет». То есть, понимайте так, что эта самая чахоточная дева, клонящаяся к могильной пропасти без ропота, без гнева, вместе с тем «играет». Гоняет ли она серсо или прыгает через веревочку, это, вероятно, нам выяснят в точности будущие примечания к новому изданию однотомника. Не говоря уже о других изданиях, но, например, и такой серьезный осторожный и вдумчивый ученый, как М. А. Цявловский в своем нынешнем юбилейном большом издании печатает тоже так, как повелевает и очевидность, и художественный вкус и здравый смысл, т. е. без всяких тире и точек (других юбилейных изданий я не видел).

Если читатель все более и более в последнее время, судя по разным выступлениям в прессе, раздражается, если его обращение к комментаторам: «суди, дружок, не выше... примечаний», становится таким широко распространенным, то именно потому, что читатель простит какие угодно ошибки и неточности, фантазии и ненужное, забавное крохоборство в примечаниях, но не может и не хочет простить, когда явно и вопиюще уродуют текст великого гения, когда Пушкина, которого доводили до бешенства жандармы, продолжают теребить педанты.

Б. Томашевский задает курьезный вопрос: зачем я его хочу дискредитировать? Мы с Б. Томашевским за все наше с ним земное странствие никогда не встречались, работаем мы в совсем разных областях, и я ничего бы так не желал, как того, чтобы Б. Томашевский дал мне Пушкина в возможно полном, возможно лучшем виде, чтобы я поскорее мог отправить на далекие полки всех Венгеровых и заменить их всех этим новым, полным изданием. Да мне бы тогда и в голову не пришло полемизиро-

вать, что бы там ни было напутано в словаре и прочих приложениях!

Советское пушкиноведение сделало много, очень много, да и поставлено оно было в такое положение, в каком никогда не было до революции. Открылись архивы, можно было печатать все, что Пушкин написал, создались специальные учреждения; ученые, работающие над Пушкиным, были поставлены в выгоднейшие материальные условия. И, повторяю, многое пушкинистами сделано уже, и, несомненно, еще больше они должны сделать в будущем.

А однотомника, дающего Пушкина настоящего, все-таки пока нет как нет. «Возражения» Б. Томашевского не поколебали этого моего искреннего убеждения, но подкрепили его.

Литературный критик, 1937, № 5, стр 44—49.

ПУШКИН И ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА

Мало что дает такое представление о широте пушкинского кругозора, интенсивности и разнохарактерности его умственных интересов, как его постоянное и жадное любопытство к западноевропейской политике и новейшей «вчерашней» (для него) истории Европы. Прежде всего поражает его широчайшая и глубокая, доходящая до мелочей *осведомленность* о событиях и лицах европейского прошлого и настоящего. Ни один русский современник не может с ним в этом потягаться, да и из следующего поколения только Герцена можно в этом отношении сопоставить с ним.

Свою огромную эрудицию Пушкин никогда не выставляет напоказ. Небрежно, мимоходом, случайно, без малейшего ударения там и сям роняет он слова, из которых *каждое* таит в себе определенное, чисто фактическое сведение, глубокий и *точный* смысл. Мало быть великим гением поэзии, нужно еще иметь возможность распоряжаться громадной сокровищницей знаний, чтобы, например, *так* дать читателю XVIII в., как дает его Пушкин в своем знаменитом «Послании» к Юсупову.

. . . .
То чтитель промысла, то скептик, то безбожник,
Садился Дидерот на шаткий свой треножник,
Бросал парик, глаза в восторге закрывал
И проповедовал...

Возьмите сочинения Дидро, изучите литературу о Дидро, и вы узнаете, что: 1) в одних своих вещах Дидро деист; 2) в других — скептик в стиле Пьера Бейля; 3) в третьих — атеист. Почитайте то, что удержалось в воспоминаниях о Дидро, и найдете рассказы о его фамильярных и простодушных манерах и о том, как он, когда ему становилось жарко, вдруг, как ни в чем не бывало, срывал с себя парик. А весь облик, весь моральный портрет Дидро говорит нам, как этот увлекающийся, восторженный человек часто проповедовал в разное время совсем разные вещи: он-то сам был всякий раз убежден в своих прорицаниях, но окружающие сознавали, что у этой Пифии все же довольно «шаткий треножник». Словом, в двух строках дан *весь* Дидро — и внутренняя его сущность, и характерная внешность, и популярное воззрение на его проповедь.

Заходит ли речь о французском маршале Мазоне, Пушкин, мимоходом, в своем дневнике упоминает (и совершенно правильно), что Мазон некогда, за 30 лет перед тем, под Аустерлицем «искрошил кавалергардов».

Пушкин знает и третьестепенного «парнасского муравья» Делиля, французского Тредьяковского, знает и то, что Наполеон терпеть не мог римского историка Тацита; знает Данжо, летописца двора Людовика XIV; в одной строке дает всего Вольтера, который мог *одновременно* и без всякого удержа льстить Екатерине за ее брильянтовые табакерки и вести мужественную, ярую, опасную, имевшую огромные последствия борьбу против католической церкви: «умов и моды вождь *пронырливый* и *смелый»* (курсив Е. Т.). Эти свойства, редко встречающиеся в одном и том же человеке, именно в Вольтере были в неразрывном соединении, и Пушкин это понял так глубоко, как мало кто понимал, и выразил это так сжато и полно, как никто, кроме него, не умел выражать. И так всегда и во всем, каждое слово напоено глубокой, ясной мыслью, за каждым стихом — точные конкретности, за каждой строфой — целый мир ассоциаций.

На что же устремлено это всегдашнее жадное любопытство Пушкина к Западной Европе, которую он так знал, куда он упорно рвался и куда его до конца дней так и не пустили его будущие убийцы?

Политика и литература — вот что главным образом поглощает внимание Пушкина, когда оно устремлено на Запад. В этой небольшой заметке остановимся только на политике.

Первые впечатления Пушкина-мальчика, Пушкина-подростка были таковы, что Европа предстала его воображению как грозная и враждебная сила, собирающаяся в скором будущем разгромить Россию вконец и уже успевшая — в ближайшем прошлом — омрачить и подорвать русскую славу. В прошлом были Аустерлиц, Фридланд, Тильзитский позор, в будущем — нашествие Наполеона и пожар Москвы. Двенадцатилетний Пушкин провел в лицее 1811 год, когда «Наполеон еще не испытал великого народа, еще грозил и колебался он»; там же, в лицее, пережил и страшный 1812 год, когда дети и подростки «со старшими братьями прощались», завидуя идущим умирать. Отчаянная борьба 1813, 1814 и 1815 гг., кровопролитная, бесконечная война России и Европы против Наполеона, была для подростка Пушкина освободительной борьбой, восстанием народов против всемирного угнетателя, к которому, кроме ненависти, вражды и ужаса, Пушкин не питает ничего. Уход Наполеона с Эльбы и его новое воцарение юный лицеист считает попыткой варварского поработителя снова воздвигнуть на бесчисленных костях свой кровавый трон.

Когда в Пушкине произошел поворот в его воззрениях на Наполеона?

По-видимому, к 1821 г., к моменту, когда Пушкин в Кишиневе узнал о смерти императора, этот поворот уже окончательно совершился.

Этот поворот, впрочем, стоит в связи с общей переменой, происшедшей в политических воззрениях Пушкина в связи с революционными событиями на Западе.

Была одна черта в революционных движениях Испании, Греции, Германии, Италии, которая оказалась особенно родной и близкой Пушкину, так же, как его друзьям-декабристам.

Предводитель испанской революции, воспетый Пушкиным «мятежный вождь Риего», говорит, что борьба за свободу всегда по существу одна и та же: «мы начали борьбу за свободу против Наполеона, продолжаем ее против Фердинанда». «Угнетатели греков ходят в чалмах, а наши — в касках и цилиндрах, но греки борются за ту же свободу, за которую боремся и мы»,— писали филэллины Западной Европы. Мысли Рылеева бродили вокруг воображаемой борьбы древних славян против иноземных, варяжских поработителей. Национальное освобождение и борьба против деспотизма сливались для этого поколения воедино. Последствия страшного наполеоновского катаклизма продолжали действовать, феодально-абсолютистская реакция упиралась, боролась, еще не хотела ложиться в могилу, но пробужденное в эти годы национально-освободительное буржуазное движение, которому суждено было ближайшее будущее, ширилось, росло, притягивало к себе живые умственные силы из других классов, прежде всего из того же дворянства. Когда Пушкин желал подобрать сравнение посильнее, чтобы показать, как писатель любит свой язык, он сказал: «только революционная голова, подобная Марату и Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык» [1]. Эти вещие слова Пушкина благополучно пропускаются обыкновенно мимо ушей его бесчисленными комментаторами именно потому, что резко противоречат шаблонному воззрению на отношение Пушкина к Марату. Но что же делать, если Пушкин по своей природе и по своим размерам решительно ни в какие шаблоны не вмещается?

Оппозиционность Пушкина против Александра основана не только на том, что царь отдал Россию палачу Аракчееву, но и на том, что Александр «под Аустерлицем бежал, в двенадцатом году дрожал»; что «не наши повара орла двуглавого щипали у бонапартова шатра»; что он подписал в Тильзите свой позор. «Люблю России честь»,— писал Пушкин, который сам был великой честью русского народа, и он не прощал тем, кто ее позорил и продавал.

Прошла декабрьская буря, и первое известие, которое касалось Западной Европы и которое дошло до Пушкина после событий, заключалось в том, что Англия выдала русскому правительству Николая Ивановича Тургенева. «В наш гнусный век седой Нептун — земли союзник! На всех стихиях человек — тиран, предатель или узник!» — пишет Пушкин Вяземскому. Он не знал еще тогда, что этот слух неверен... что английский министр Джордж Каннинг не только не выдал Тургенева, но и ни малейших колебаний в этом деле не проявил, и что это поползновение заполучить ускользнувшего «подсудимого», окончилось полной и позорной неудачей для Николая I.

Вся сложная политика Каннинга в Южной Америке, в Греции, нанесшая такой сильный удар Священному союзу, прошла мимо Пушкина, и не только потому, что цензура во второй половине 20-х годов почти ничего из периодической прессы Запада не допускала. Тут виной было и другое. Чтобы добиться своей цели, чтобы заставить Николая I, только что клявшегося всеми святыми, что он ни за что не поможет греческим «бунтовщикам», сейчас же выступить в их пользу. Каннинг действовал очень тонко, очень ловко, очень прикровенно, и понять общий смысл его политики, «разрушительные» тенденции, еще можно было (как их превосходно понял с самого начала, с 1823 г., Меттерних), но увернуться от английских клещей и от военного «сотрудничества» с Каннингом Николаю не удалось, потому что англичанин умел тоже крайне ловко и, ничем себя не связывая, во-время разжечь завоевательные аппетиты царя относительно Турции. Вся эта сложнейшая маскировка, кончившаяся в последнем счете освобождением Греции от турецкого владычества, скрыла от Пушкина значение всей политики Каннинга, так подорвавшей престиж Священного союза и этим самым облегчившей впоследствии победу июльской революции.

Из недавно найденной переписки Пушкина с Елизаветой Михайловной Хитрово видно, с каким поглощающим интересом отнесся Пушкин к падению «другого Бурбона», Карла X, и к последствиям этого события, к первым бурным годам Луи-Филиппа. Мы знаем, что эти первые времена после июльской революции долго не забывались и Николаем I и Бенкендорфом и что даже впоследствии, в роковые последние январские дни 1837 г., воровской увоз тайком тела убитого поэта из Петербурга был предпринят, между прочим, под влиянием также воспоминания о похоронах оппозиционера Ламарка, послуживших сигналом и началом парижских баррикадных боев 5 и 6 июня 1832 г. Пушкин в своих воззрениях на Священный союз шагнул, таким образом, прямо от 1823 г. к 1830 г., от своего знаменитого «Отрывка» («Недвижный страж дремал») к июльской революции. От момента, когда Александр I питал думы, которые «миру тихую

неволю в дар несли», и когда царь с гордостью глядел на то, как «от сарско-сельских лип до башен Гибралтара» все смолкло, ждет удара, «под ярмом склонились все главы», Пушкин прямо перешел к впечатлениям 1830 г., к катастрофе Священного союза, когда растерявшийся, раздраженный, испуганный Николай то посылал Дибича к прусскому королю в Берлин, а Орлова к Меттерниху в Вену для тщетных переговоров об интервенции и о насильственном восстановлении Бурбонов во Франции, то во время бунта военных поселений выходил (22 августа 1831 г.) к новгородскому дворянству со словами: «Я должен сказать вам, господа, что положение дел весьма нехорошо, подобно времени бывшей французской революции».

Пушкин знал, конечно (как знал весь светский Петербург), о вынужденном отказе царя от затевавшейся интервенции, он внимательно следил и за восстанием в военных поселениях и за массовыми движениями во время холеры. После скрытых официально и прекрасно известных неофициально ужасов и поражений турецкой войны 1828—1829 гг. Пушкин не мог питать больших иллюзий относительно истинной силы русской армии. Вот почему его так испугала затянувшаяся почти на год польская повстанческая война. Для Пушкина эта война, да еще с возможным вмешательством Франции, казалась началом очень грозных осложнений. Он в 1831 г. вспоминал не только о том, как Суворов брал штурмом Прагу-Польскую, предместье Варшавы, но и о том, как поляки сидели в Кремле («Для вас безмолвны Кремль и Прага»). Он старался бодриться сам и подбадривать других. Даже Наполеон нас не одолел, неужели же с Польшей не справимся? «Шли же племена, бедой России угрожая; не вся ль Европа тут была? А чья звезда ее вела!» Уже после поражения Польши Пушкин, вспоминая пережитую войну, считал, что в случае победы восстания России грозило расчленение: «За кем останется Волынь? За кем наследие Богдана?» Дело шло, по его мнению, не только о потере Белоруссии и Литвы, но и о потере всей Украины и Киева («наш Киев дряхлый, злотоглавый...»).

Прав или неправ объективно был Пушкин относительно осуществимости этих польских надежд в 1831 г., но политическая программа влиятельнейших кругов Варшавы в разгар восстания, когда речь в самом деле шла серьезно в польской столице о Литве, Белоруссии, Украине, Киеве, Черном море, испугала Пушкина... Этим и только этим объясняется его позиция в 1831 г. Эта тревога обострялась при каждой новой неудаче русской армии.

Но вот, все кончилось. Наступила тишь да гладь, самый спокойный период николаевского царствования. Пушкин понемногу стал совсем задыхаться от этого императорского мирного благополучия. Гоголь годами жил в Италии, где забывал, что на свете

есть «Петербург, подлецы департаменты». Но Пушкина не отпускали. По-прежнему он жадно следил за всем, что происходило в европейской политике и в мире вообще.

Но и Европа 1831—1837 гг. не могла внушить особенно восторженных чувств и лучезарных мечтаний. Напротив, это были как раз годы довольно крутого «осаживания» слишком размечтавшихся прогрессистов. Победившая в июле 1830 г. французская буржуазия уже в ноябре 1831 г. расстреляла лионских рабочих и новыми побоищами в 1832, в 1834 гг. продолжала очень успешно отстаивать свое исключительное владычество. В Англии буржуазия, победившая в 1832 г., уже в 1834 г. провела закон о бедных с его рабочими домами, этими «каторжными тюрьмами» для безработных.

Энгельс, как мы знаем, цитировал «Евгения Онегина». С каким удовольствием Пушкин, проживи он еще с десяток лет, процитировал бы в свою очередь энгельсовскую книжку о «Положении рабочего класса в Англии», выводы которой так поразительно гармонируют с воззрением самого Пушкина на участь английского фабричного рабочего (в статье о Радищеве).

В германских странах, в Австрии, в Италии все было в эти годы подавлено, все притаилось. Ненадолго, правда: уже с конца 30-х годов снова началось политическое оживление на Западе. Но не для Пушкина уже стала всходить эта новая заря...

За несколько месяцев до гибели Пушкин написал статью о Джоне Теннере, где высказывает ряд мыслей о Соединенных Штатах: «Америка спокойно совершает свое поприще, доныне безопасная и цветущая... гордая своими учреждениями». Но Пушкин дальше говорит, что более пристальный взгляд поколебал это уважение: «рабство негров посреди образованности и свободы»; привилегированное положение богачей, лицемерно прячущих свое богатство; «неумолимый эгоизм и страсть к довольству» и т. д. И с особенным осуждением он говорит о тех безобразных юридических насилиях («ябедах»), при помощи которых американцы грабительски отнимают землю у индейцев. Пушкин с возмущением поминает и то, как систематически спиртными напитками, ромом и водкой, краснокожие племена доводятся до вымирания («явная несправедливость, ябеда и бесчеловечие Американского Конгресса... так или иначе, чрез меч и огонь, или от рома и ябеды... но дикость должна исчезнуть...»). «Дикость», т. е. дикие племена. Это характерно для Пушкина. Он никогда не забывал о тех, кто тогда еще не мог сам подавать о себе слышный голос. Об индейцах в Америке, о кавказцах, мужественно отстаивающих свою родину, о тунгузах и о калмыках, еще «диких» при нем,— о всех жертвах разбойничьего колониального культуртрегерства он никогда не забывал и некоторых из них помянул в той пророческой лебединой песне, которая

вылилась перед смертью из его души, когда он думал о своем будущем «нерукотворном» памятнике, о своей бессмертной славе.

Никогда еще за эти 100 лет его, эту гордость русского народа, так не любили и не чествовали, как теперь. Чтобы отчасти объяснить этот факт, предоставим слово самому Александру Сергеевичу. Для этого нам нужно будет только вспомнить уже приведенную нами цитату из его записной книжки и лишь дать на этот раз цитату полностью: *«Только революционная голова, подобная Марату и Пестелю, может любить Россию так, как писатель только может любить ее язык. Все должно творить в этой России и в этом русском языке»* (курсив Е. Т.)

Тут и объяснение, почему самого Пушкина, эту олицетворенную славу России, так теперь любят все нации нашего Союза; тут и загробный призыв к неустанной деятельности и творчеству на благо великой семьи советских народов.

Известия, 1937, 8 февраля, № 34.

ДВА ЗАГОВОРА

Перед февральскими событиями 1917 г. ирландский публицист и революционный деятель О'Донован сказал: «В России зреет против царя заговор, о котором открыто говорят заговорщики почти ежедневно самому царю».

К этому следует прибавить, что одновременно и параллельно с этим заговором зрел другой, гораздо более скрытый по своему характеру, но вполне ясный по своим конечным целям.

Оба «заговора» были направлены против революционного народа.

Начнем с этого второго «заговора», развивавшегося в непосредственном окружении царя.

Что вмешательство России в мировую войну является убийственной ошибкой со стороны самодержавия, что П. Н. Дурново был прав, когда еще в феврале 1914 г. предостерегал царя от всякого военного выступления против Германии, это во влиятельнейших сферах стали понимать уже давно, уже с весны 1915 г. П. Н. Дурново считал революцию в России вероятной при победе Антанты над Германией и неизбежной при победе Германии над Антантой, и притом ни в каком случае не «просто» политическую революцию, но непременно революцию разом и политическую и социальную. Но как исправить ошибку? Средств было два: во-первых, пойти на сепаратный мир с Германией и Австрией; во-вторых, напротив, держаться за войну, тянуть ее столько, сколько будут тянуть союзники, но использовать эту затяжную войну именно для упрочения царской диктатуры и полного подавления всякой оппозиции и всяких намеков на конституционализм.

Первый путь был заманчив своей краткостью и кажущейся немедленной в любой момент исполнимостью. Черносотенные редакции «Русского знамени» и тому подобных листков в разгар войны печатали со злорадством, что вот, как поднимутся цеппелины с «полезным грузом» (точное выражение) да как сбросят этот полезный груз, где следует, так только одно воспоминание останется и от Парижа и от Лондона. За одного из таких чистосердечно радующихся публицистов (Булацеля) российская дипломатия даже принуждена была ездить с извинениями по антан-

товским послам. Никакого сомнения нет, что когда княгиня Васильчикова явилась в Петербург с предложением сепаратного мира от Вильгельма или когда гофмаршал Вильгельма писал еще в 1915 г. графу Фредериксу, министру русского двора, или когда австрийский официоз время от времени печатал ласковые приглашения русскому царю одуматься, то все эти зазывания оставались без последствий вовсе не потому, что при царском дворе царила такая непоколебимая верность Антанте.

Напротив, душой очень и очень многие в царском окружении вполне сочувствовали Булацелям и Дубровиным и германским вильгельмовским бомбам, сокрушающим парламентарный Лондон и «жидо-масонский» Париж. Австрийская газета «Нейе фрейе прессе» писала, обращаясь с увещанием к Николаю: «Только три монарха остались на свете в прежнем значении слова: Гогенцоллерн, Габсбург и Романов. Три — это немного!» И эта очевидная истина, с давних пор принятая к сведению и руководству всеми правыми партиями, не могла вдруг, по щучьему велению, перестать с июля 1914 г. быть истиной ни для Щегловитова, ни для Николая Маклакова, ни для того же Петра Николаевича Дурново, который развивал эти мысли за полгода до войны гораздо обстоятельнее, чем австрийские и германские газеты вместе. Глава и душа царского двора и правительства и руководящий мыслитель самодержавия в последнюю пору его существования, «старец» определенно стоял за сепаратный мир. «Святой Распутин хотел мира!» — с грустью писали берлинские газеты после его смерти. «Старец» совершенно открыто заявлял, что, будь он летом 1914 г. в Петербурге, войны не было бы. Послы Англии и Франции Бьюкенен и Палеолог были вполне убеждены, что Распутин деятельно работает вокруг царицы Александры Федоровны с целью добиться выхода России из войны. По мере того, как чисто-распутинские кандидаты занимали руководящие посты, за границей всякий раз проходила новая волна слухов о сепаратном мире. Так было при внезапной отставке Сазонова и назначении (столь же внезапном) Штюрмера, так было при назначении Щегловитова председателем Государственного совета, так было при неожиданном появлении на посту министра юстиции Добровольского исключительно по рекомендации Симановича, секретаря «старца».

Что же стало поперек дороги и воспрепятствовало заключению сепаратного мира?

Прежде всего — союзники. В 1915 г. время для этого шага было упущено, а в 1916 г., после наступления Брусилова, после тяжкой неудачи немцев под Верденом, после обширнейших приготовлений Антанты к неопределенно долгой войне, после крутого обострения продовольственного кризиса в Германии, выход из войны знаменовал бы собой признание себя

побежденными и навязывал бы на шею опаснейшую вражду со стороны Антанты. Это означало и немедленный и безнадежный финансовый крах, и очень возможное нападение на Дальнем Востоке со стороны Японии, и поистине отчаянное положение полнейшей зависимости от той же Германии в момент заключения мира между Антантой и Германией, когда Россия явно сделалась бы объектом для всевозможных «компенсаций» за счет ее территории.

По линии внутренней политики сепаратный мир с его неизбежными последствиями, страшными потерями и полным финансовым крахом непримиримо поссорил бы монархию с российской торговой и промышленной буржуазией, с частью дворянства, подкопал и сузил бы социальный базис царизма и мог бы именно не отдалить, а ускорить наступление революции. С осени 1916 г. сепаратный мир был еще затруднен германским объявлением «независимости» русской Польши. Германский адмирал Тирпиц и другие противники этого шага напрасно указывали, что подобная поспешность в разрешении польского вопроса сделает невозможным сепаратный мир с царской Россией. Вильгельм II и Бетман-Гольвег настояли на своем.

По всем этим причинам сепаратный мир оказался в области сладких, но мало осуществимых мечтаний.

Возобладала тенденция держать курс на «верность» союзникам. Представители этого течения решили ни в коем случае не подпускать к ведению войны никакой «общественности», не уступать ни единой крупицы самодержавной власти.

Подобная установка устраивала и приверженцев немедленного сепаратного мира, временно не имевших возможности провести свой план. Пока длится война, думали они, возможно в удобной обстановке военного положения, военной цензуры, военного произвола повести энергичную контратаку против этого ненавистного московского купчика «младотурка» Гучкова, против метящего во всероссийские президенты Родзянко, против Милюкова, норовящего среди бела дня похитить у самодержавия Дарданеллы в пользу Государственной думы с ее «левыми секторами». Таким образом, непосредственная «платформа» обоих отмеченных течений среди придворных и правительственных кругов оказалась одна, общая: активно мешать Думе и «общественным организациям» вмешиваться в дело снабжения армии как продовольствием, так и боеприпасами и подавно круто обрывать всякие попытки изменить курс последовательно-реакционной внутренней политики.

Главное заключалось в том, чтобы не допустить победы революции, разгромить революционное выступление народных масс.

Против этого безмолвного, но очень крепкого соглашения именно и встал тот «открытый заговор», который периодически не переставал докладывать царю о своем собственном существовании.

Дума, земства, города, дворяне, купцы, промышленники, интеллигенция, призванное офицерство, очень значительная часть кадрового офицерства — вот главные элементы той почвы, на которой созрел этот другой «заговор» предреволюционной эпохи. Это был заговор дворянско-буржуазных верхов. «Прогрессивный блок» Государственной думы, Союз земств и городов — таковы были главные органы, представлявшие движение, говорившие от имени движения.

Многообразна была мотивация, обусловившая вхождение в этот пестрый конгломерат отдельных классовых групп и даже отдельных лиц. У одних были определенные экономические цели и задачи, у других — сознание неизбежности социальной революции, если власть во-время не будет вырвана у кучки полоумных людей и подыгрывающихся к ним сознательных предателей и негодяев, ведущих страну к поражению. Точный анализ классового состава этого «заговора» должен со временем послужить очень важной и любопытной темой для исторических исследований. Мы тут отметим лишь, что наивнейшим прекраснодушием было бы отрицать руководящую роль в этом сложном и пестром конгломерате представителей именно экономически главенствующих крупноцензовых эксплуататорских социальных слоев — дворянско-буржуазной верхушки. Но «там», в Царском Селе и в Ставке, решено было ничего не замечать и ничего не уступать. Два заговора — оба направленные против революции — столкнулись. Коса нашла на камень. «Людовика XVI погубили уступки!» Недаром Александра Федоровна в гессенский период своей жизни, когда она еще читала, прочла Адальберта Валя, одного из самых любопытных после Тэна фальсификаторов истории Французской революции.

И вот твердая, непоколебимая стена, молчаливая, как и подобает быть стене, выросла пред всеми этими рвущимися к власти и победе лидерами блока. Никаких уступок! Дашь им палец, отхватят руку, предостерегал своего наследника Александр III, добравшийся до этого афоризма своим умом, даже без помощи Адальберта Валя.

«Это не министр, это — катастрофа!» — с отчаянием заявляет французский министр Альберт Тома, поговорив с Горемыкиным. «Они там, в Думе, все говорят, чтобы я ушел, а я не уйду. Зачем уходить, когда мне и тут хорошо?» — смеется Горемыкин. Николай Маклаков признает, что его ненавидят. «Тем-то вы мне и любы!» — отвечает ему царь. Штюрмер был назначен без колебаний, едва только царь узнал от Питирима, что

Родзянко возмущен одной мыслью о назначении Штюрмера и что вся Дума будет негодовать по этому поводу.

25 февраля 1917 г. ровно за три дня до полной победы революции, Александра Федоровна пишет мужу в Ставку письмо, где есть замечательная своей краткостью фраза: «Уволь Батюшина, вспомни, что Алексеев твердо стоит за него». То есть: так как Алексеев (начальник штаба главковерха, фактический главнокомандующий) пользуется некоторым доверием Думы, то именно поэтому достаточно его хорошего отношения к полковнику Батюшину, чтобы прогнать вон Батюшина!

И так было буквально во всем, на каждом шагу. Путиловский завод стал после введения премий выделывать много пулеметов. Штюрмер тогда отменяет премии. Союз земств и городов организует для «босых полков» экстренную выделку обуви, Николай Маклаков бессмысленно арестует и гоняет сапожников из города в город. Квалифицированных рабочих арестовывали и высылали, некоторых из них — сорокапятилетних, незаменимых у себя на заводе — отрывали от станка и гнали на фронт. Родзянко умоляет Николая не брать на себя верховное командование, т. е. дело, в котором царь абсолютно ничего не смыслит, царь, конечно, делает по-своему.

Великий князь Павел Александрович едет на фронт, в один прием без тени смысла укладывает три тысячи отборных гвардейцев и сейчас же после этого возвращается отдохнуть от трудов и набраться свежих сил к себе в Царское Село. По поводу этого гнусного преступления (Павел Александрович предпринял глупейшую операцию, не послушавшись приказания Алексеева!) сын Родзянко, гвардейский офицер, заявил отцу, что «командный состав никуда не годится... Ставке никто не доверяет... нехватает мозгов у генералов...»

В то, что существует прямая и постоянная «утечка» военных тайн, твердо верили почти все. Действительность, обнаруженная впоследствии, оказалась поразительнее всяких фантазий. Никто, например, не мог себе вообразить того, о чем так спокойно в печати поведал впоследствии немецкий генерал Гофман, сообщивший, что германское командование на русском фронте всегда знало накануне о планах русского командования. «Без этого и воевать было бы трудно»,— благодушно добавляет Гофман.

Секретнейшие русские военные карты с условными обозначениями и пунктирами, относящимися к предположенным операциям, находились... у императрицы в Царскосельском дворце. Что даже после исчезновения Распутина названным военным картам лучше бы находиться подальше от Царского Села, в этом были убеждены буквально все, кроме Н. Е. Маркова и его единомышленников, ничего не имевших по существу против победы Вильгельма II.

Словом, война велась так, что если бы Людендорфу предложили назначить наиболее выгодных для германского дела русских министров и генералов, то едва ли бы ему пришлось очень разойтись с Александрой Федоровной и Николаем в подборе личного состава. И не все ли равно было, много ли еще осталось Мясоедовых и Сухомлиновых, кто именно и сколько именно получает от Германии золотых марок. Ясно было, что объективно Россию предают врагу.

Победа народной революции для обоих столкнувшихся «заговоров» была одинаково ненавистна и неприемлема. Если бы как-нибудь избавиться от Николая в стиле XVIII столетия! Если бы нашелся новый граф Пален, так распорядительно ликвидировавший Павла Петровича! «Мы ждем от великих князей того самого, чего великие князья ждут от нас!» — откровенно признавался один из лидеров Думы, Василий Маклаков.

Те и другие все посматривали друг на друга, все подталкивали друг друга, все соображали, как бы поменьше рискнуть и побольше воспользоваться.

Они не заметили, какой ураган уже мчится на них и совсем скоро сметет их всех прочь.

Революция народного гнева была, а впереди будет революция народного презрения! — говорили во Франции перед 48-м годом. Февральский шквал был и революцией народного гнева и революцией народного презрения в одно и то же время.

И как быстро пред ее лицом переменились позиции и сблизились тенденции обоих, казалось, так яро боровшихся между собой лагерей!

Начинался гигантский революционный катаклизм, при сравнении с которым борьба «двух заговоров» стала принимать вид и характер семейной размолвки...

Предфевральская борьба за власть кончилась взрывом революции, впервые поставившей совсем по-новому вопрос о властителях и подвластных. «Мне важно не то, кто именно сидит на мне верхом и ездит, а то, чтобы никто на меня верхом не садился»,— сказал знаменитый французский критик Сент-Бёв, когда его спросили: какую династию он предпочитает — Бурбонов, Орлеанов или Бонапартов? Революция, начавшаяся, но не окончившаяся в феврале 1917 г., должна была бы напомнить об этом тем членам «прогрессивного блока», которые читали Сент-Бёва, и даже тем, которые его никогда не читали...

Известия, 1937, 12 марта, № 62

ВТОРЖЕНИЕ НАПОЛЕОНА

Сто двадцать пять лет тому назад, в июне 1812 г., Наполеон напал на Россию. Уже с 1810 г. тень этого грядущего события падала на Европу. Было ясно, что Наполеон ни за что не откажется от единственного шанса поставить Англию на колени, т. е. от континентальной блокады. Также ясно было, что Александр I не захочет и не сможет разорять русскую торговлю и русское дворянство, рискуя дождаться участи своего отца, исполняя правила этой блокады. Не менее ясно было и то, что непрерывные территориальные захваты Наполеона именно после нового разгрома Австрии в 1809 г., в течение всего 1810 и всего 1811 гг., и его обширные планы относительно Польши были направлены к укреплению тыла для этой будущей войны. Назревала «проба сил».

Москва! В Москве мировая империя Наполеона закончит цикл своих европейских завоеваний и, может быть, откроет эру своих завоеваний азиатских. «Если я займу Киев, то этим я возьму Россию за ноги, если Петербург, то — за голову, а если Москву, то этим поражу Россию в сердце»,—сказал Наполеон перед походом. И не в том смысле он поразит Россию в сердце, что Россия лишится главных своих экономических и военных средств. Никогда ничего подобного Наполеон не думал. Но у него засело в голове, что когда он войдет в Москву, то Александр I будет так этим подавлен, русский народ будет так обескуражен, что русские предложат мир. Наполеон решил, что Москва для русских — святой город, вроде Мекки для мусульман, и что когда московские сорок сороков церквей (он даже писал жене Марии-Луизе о 1600 церквах, помножив, очевидно, сорок на сорок) попадут в его руки, то русские, со свойственными им религиозным суеверием и покорностью судьбе, прекратят всякое сопротивление и смирятся. Откуда возьмутся сила духа и твердость воли продолжать борьбу после потери древней священной столицы, да еще у кого? У Александра I, который в 1807 г. так оробел, что сразу сдался на все условия сейчас же после разгрома русской армии под Фридландом, когда не только что Москва, а ни один вершок русской земли не был еще во власти Наполеона? Относительно того, что он будет

делать потом, после заключения победоносного мира в Москве, Наполеон высказывался скупо и противоречиво. С графом Нарбонном, которого посылал в мае 1812 г. для последних переговоров с Александром I, он откровенно говорил о дальнейшем походе на Индию. Во французской армии это уже знали, и люди повосторженнее уже вслух мечтали о сказочных богатствах Инда и Ганга, Дели и Бенареса, о слитках золота в подземельях храмов, о кашемирских златотканных шалях. Официально французский император высказывался в том смысле, что он должен принудить Александра I не заключать мира с Англией, к чему будто бы готовится царь, честно соблюдать континентальную блокаду, прекратить дипломатическое противодействие всему тому, что Наполеон делал в Западной Европе. В противоположность своему обыкновению Наполеон перед этой затеваемой им грандиозной войной обнаруживал крайнюю несловоохотливость касательно причин и целей начинающегося предприятия. Ведь и впоследствии, уже в Витебске, он оставил без возражения слова графа Дарю, что эта война в сущности не популярна и что никто в армии не понимает, зачем она ведется. Счастье так неизменно служило Наполеону, как ни одному историческому деятелю. Он твердо был убежден и слишком часто получал на практике подтверждения, что конечный успех оправдывает все и что победителя не только не судят, что даже забывают спросить у него, во имя чего он эту победу одержал.

Черные тучи на горизонте он видел прекрасно, уже начиная войну. Во-первых, неистовое сопротивление испанцев продолжается, и несколько сот тысяч отборных императорских войск с некоторыми из лучших маршалов нужно там оставить. Во-вторых, «старый одноглазый хитрец» Кутузов умудрился заключить внезапно мир с турками. Наполеон не находил слов, чтобы охарактеризовать неслыханную глупость турок, которые заключили с Россией мир как раз тогда, когда русской империи грозило нашествие с Запада и она пошла бы на что угодно, лишь бы поскорей освободить свою дунайскую армию. В-третьих, его маршал Бернадот, сделавшийся наследным принцем шведским и фактически полновластным распорядителем шведской политики, определенно перешел на сторону Александра I. Наполеон предлагал Бернадоту Финляндию — как ту часть Швеции, которая была завоевана русскими в 1808 г., так и ту, которую Швеция потеряла еще при Петре I. Но Александр I предложил больше, чем Наполеон, Бернадоту: всю Норвегию. Правда, Норвегия так же мало принадлежала Александру I, как Финляндия Наполеону, но Бернадот знал, что оба предложения вполне реальны. Бернадот, не колеблясь, предпочел союз с Александром I, и не только потому, что Норвегия богаче и лучше Финляндии, но и потому, что Россия постоянный сосед, с которым Швеция

жила века и будет жить века, а союз с Наполеоном — дело ненадежное и Наполеон без малейших затруднений при ближайшем же повороте своей мировой политики выдаст с головой Швецию Александру I.

Итак, значит, ни на юге со стороны Турции, ни на севере со стороны Швеции Наполеон не мог рассчитывать на нужную ему диверсию против России. Но у Наполеона была возможность все-таки создать нужные ему диверсии и без турок и шведов: он потребовал от своих трепещущих вассалов — от Австрии и Пруссии,— чтобы они приняли деятельное участие в готовящейся против России войне: австрийцы должны были выступить против левого, южного, фланга оборонявшейся русской армии, а пруссаки — против правого фланга. Изучив людей, а особенно царствующих людей, так, как он их изучил, Наполеон нисколько не сомневался, что и австрийский император Франц и прусский король Фридрих-Вильгельм III, для спасения которых от его же, наполеоновского, ига русские солдаты пролили безрезультатно столько крови в 1805, 1806, 1807 гг., непременно теперь предадут Россию и помогут ее разгромить. И все-таки Фридрих Вильгельм III удивил Наполеона: оказалось, что прусский король не только готов выступить против России вместе с Наполеоном, но уже наперед очень просит его императорское величество, чтобы его императорское величество пожаловало ему после победы над Россией весь Прибалтийский край до Пскова.

Наполеон на своем веку почти никогда не смеялся и даже очень редко улыбался. Но тут угрюмый император развеселился. «Однако какой все-таки большой подлец этот прусский король!» — смеясь от души сказал Наполеон, когда его министр герцог Бассано сообщил ему о всеподданнейшей просьбе Фридриха-Вильгельма III насчет Прибалтики. Наполеон написал на докладе саркастическую резолюцию: «А как же клятва над гробом Фридриха II?» Это он напоминал о том, как в 1805 г. Фридрих-Вильгельм III и русский царь обменялись в Потсдамском мавзолее клятвой в вечной любви и дружбе. Фридриху-Вильгельму было велено исполнять то, что скажут. О Прибалтийском крае Наполеон не соблаговолил даже и ответить. И король почтительно примолк.

Уже с апреля начались передвижения великой армии. В июне 1812 г. у Наполеона около Немана и Вислы было почти 420 тысяч человек, на юге уже был готов австрийский вспомогательный корпус Шварценберга в 30 тысяч человек. В более близких резервах — в Польше и германских странах — числилось еще около 130 тысяч. Конечно, этих колоссальных сил в этот момент казалось достаточно, чтобы раздавить обе русские армии, которым выпала непосредственная задача защищать Россию. Он считал, что у Барклая де Толли и у Багратио-

на вместе немногим более 200 тысяч человек. На самом деле было несколько менее.

Разумеется, если бы Наполеон мог к своим силам прибавить еще 200 тысяч человек из тех отборных войск, которые в это время, вот уже четвертый год, были заняты избиением испанцев, тогда война приняла бы совсем уже безнадежный для России вид, и Александр мог бы пойти на какие угодно уступки, лишь бы предупредить военное столкновение. Но испанская народная война, казалось, по мере истребления людей и разорения страны становилась все более и более свирепой. Наполеону приходилось одновременно думать не только о взятии Москвы, но и об удержании за собой Мадрида. «Не сдаются проклятые испанские голыши, хоть закапывай их живьем в землю!» — писали домой французские офицеры, воевавшие на Пиренейском полуострове. Эти голыши и облегчили несколько русскому народу его самозащиту от их общего врага.

«Россия увлекается роком!» — говорил Наполеон в своем воззвании к великой армии. Рок влек его самого, и по мере приближения императора к армии исчезали последние слабые надежды на сохранение мира. Спешно кончалась перестройка трех мостов через Неман. В двенадцатом часу ночи с 23 на 24 июня 1812 г. Наполеону доложили, что третий мост готов. Наполеон молчал несколько минут. Затем он приказал маршалу Даву первому начать переправу. Корпус за корпусом всю ночь и весь следующий день переходили по мостам на русскую сторону и направлялись к лесу на восток. Одним из первых переправился через реку Мюрат с главной массой кавалерии. Пустынный русский берег простирался перед великой армией. Вдали виднелся удаляющийся казачий разъезд. Сколько мог охватить глаз — до горизонта бесконечной полосой шли леса. «Где русская армия?» — прежде всего спросил Наполеон, как только он переправился во главе старой гвардии. Уже через 35 часов после переправы Мюрат, произведший несколько кавалерийских разведок, мог ответить императору, что русские совершают всеми своими силами спешный отход. Возможность нового Аустерлица — блестящего, полного разгрома русской армии — до поры до времени исчезла. Этой надежде великого полководца суждено было еще много раз вспыхивать и тот час же потухать: и в Вильне, и в Могилеве, и в Витебске, и в Смоленске, и в Гжатске, и в Вязьме, — пока он не добрался до Бородинской долины побоища.

Начиналась одна из величайших войн всемирной истории. И никто, за редкими исключениями, не предугадал ее конца. Как случилось, что русский народ победил мировую империю, какой не видело человечество со времен Александра Македон-

ского и Юлия Цезаря, империю, возглавляемую человеком, который по своему военному и государственному гению превосходил и Александра Македонского и Юлия Цезаря?

И разноплеменность и разношерстность состава великой армии, где французы были в меньшинстве, а большинство состояло из людей покоренных наций, которых Наполеон гнал на Россию исключительно насилием и принуждением, так как некогда персидский царь Ксеркс гнал бичом на Грецию полчища подвластных ему иноплеменных и ненавидящих его рабов; и бесконечные пространства, бездорожные, разоренные, покинутые населением; и непривычный резко континентальный климат с палящими жарами в течение июня, июля и части августа и со страшными морозами небывало ранней зимы; и необходимость распылить армию для охраны гигантской линии сообщений от Немана до Москвы, и целый ряд других условий способствовали конечной гибели великой армии.

Но был, кроме всех этих условий, еще один могущественнейший фактор. Тактика Барклая и Кутузова была обоюдоострым оружием. Лютый страх дворянства в первые три месяца войны, возбуждаемый этой тактикой, был очень основательным, а вовсе не выдуманным страхом. Если бы на Россию шел не император Наполеон, революционный генерал Бонапарт, если бы он из своей продвигающейся в глубь России главной квартиры рассылал не только приказы о расстреле русских крестьян за сокрытие или сожжение зерна и сена, а также декреты об уничтожении крепостного права, как он это делал при первых своих завоеваниях, тогда занятие пол-России его армией могло бы очень осложнить борьбу для Александра I и для всего владельческого класса. Еще в начале войны среди крепостных крестьян бродили волновавшие их слухи о том, что Наполеон пришел освободить их. Но когда месяц шел за месяцем, а ни о какой отмене крепостных порядков даже и речи не поднималось, то для русского народа стало вполне ясным только одно: в Россию пришел жестокий и хищный враг, опустошающий страну и грабящий до тла жителей. Чувство обиды за терзаемую родину, жажда мести за разрушенные города и сожженные деревни, за уничтоженную и разграбленную Москву, за все неслыханные ужасы нашествия, желание отстоять Россию и изгнать дерзкого и жестокого завоевателя — все эти чувства постепенно охватывали народную массу. Крестьяне собирались небольшими группами, ловили отстающих французов и беспощадно избивали их. Когда французские солдаты приходили за хлебом и сеном, крестьяне оказывали им яростное вооруженное сопротивление, а если французский отряд был слишком силен, убегали в леса, но перед побегом сами сжигали хлеб и сено. В России крестьяне никогда не составляли целых больших отрядов, как

это было в Испании, где случалось так, что крестьяне без помощи испанской армии сами окружали и принуждали к сдаче французские батальоны. В России народная борьба против завоевателя выражалась иначе: крестьяне всячески помогали организованным партизанским и казачьим отрядам, служили проводниками, доставляли русским войскам провиант, выслеживали французов, приносили нужные сведения.

Но больше всего русский народ проявлял свое твердое желание отстоять родину своей неукротимой храбростью в отчаянных боях под Смоленском, под Красным, под Бородином, под Малоярославцем и в более мелких сражениях и стычках. Французы видели, что если в России против них не ведется та самая народная борьба, как в Испании, то это прежде всего потому, что испанская армия была вконец уничтожена Наполеоном и были долгие месяцы, когда только крестьяне-добровольцы и могли сражаться. А в России ни одного дня не было такого, когда была бы совсем уничтожена русская армия. И народное чувство ненависти к завоевателю и желание выгнать его из России могли проявляться организованнее всего в рядах регулярной армии. Мы знаем очень точно из документов, что, например, крестьяне Тамбовской губернии *плясали от радости*, когда их в рекрутском присутствии забирали в войска в 1812 г., тогда как в обыкновенное время рекрутчина считалась самой тяжелой повинностью. И эти люди, плясавшие от радости, потом в кровопролитнейших битвах сражались и умирали самыми настоящими героями. Наполеон ставил русских в смысле военной храбрости, способности к самопожертвованию и стойкости выше всех народов, с какими ему приходилось сражаться в Европе, Азии и Африке. А с какими же народами ему не приходилось сражаться?

Нелепо, разумеется, объяснять «презрительным отношением» к русскому народу констатирование того факта, что в России народное чувство имело возможность, какой оно долго не имело в Испании: сказываться в геройском поведении в рядах организованной армии. Русская народная война не походила в своих формах на испанскую.

Участник войны 1812 г. первоклассный наблюдатель и глубокий военный мыслитель Клаузевиц выразил именно по поводу этой войны мысль, что единственное средство победить Россию для кого бы то ни было и когда бы то ни было заключается в том, чтобы воспользоваться внутренними несогласиями между народной массой и правящей властью, но что если этих несогласий нет, *то победить Россию невозможно.* С того момента, как стало ясно, что Наполеон не намерен даже и прикоснуться к крепостному праву, он превратился в глазах русского народа исключительно в разорителя, угнетателя и на-

сильника, и хотя налицо была по-прежнему глубоко залегшая в народной массе вражда к эксплуатирующим классам, но всякие возможные разногласия во взглядах на Наполеона исчезли, и победить Россию для него стало невозможно.

Времена и все материальные условия войны меняются. Теперь оборона России может вестись и будет вестись уже не на русской территории, а на той, откуда враг попытается вторгнуться в наши пределы. Незадачливых кандидатов в Наполеоны, полагающих, что им удастся «избегнуть его ошибки» (шаблонная фраза геббельсовских геополитиков о 1812 г.), всегда было сколько угодно, и именно о них-то в свое время и писал знаменитый русский партизан Денис Давыдов, сопоставляя их с Наполеоном: «Был огромный человек, раздаватель славы... то был век богатырей, но смешались шашки, и полезли из щелей мошки да букашки».

Русский народ, спасший свою национальную самостоятельность от громов двенадцатого года, не имеет ни малейших оснований пугаться, когда нынешние карикатурные пигмеи делят «Русь на карте указательным перстом». Народ, не пожелавший 125 лет тому назад выдать врагам землю, где он был крепостным, не захочет отдать кому бы то ни было родину, где он стал хозяином.

Известия, 1937, 3 июля, № 154.

«РОЖДЕНИЕ ВОЙНЫ»

«Нет, французы — наши враги, но они — рыцарская нация. Не могут они покинуть союзника в трудный момент!» — писалось в Берлине, в Мюнхене, во Франкфурте три дня подряд, начиная с 1 августа 1914 г. Германский посол в Париже (тоже начиная с 1 августа) неустанно гулял пешком по парижским бульварам, как уверяли французские газеты, в тщетной надежде, что кто-нибудь догадается его оскорбить. Но ничего из всех этих усилий не выходило. Французы не объявляли войны ни 1, ни 2, ни 3 августа, и все надежды Фон Шена исчезли, так как французское правительство, разгадав его мечты, обставило его прогулки целой тучей явных и тайных полицейских агентов и филеров, которым строго было приказано охранять германского посла, как величайшую и в то же время очень хрупкую драгоценность.

Что тут оставалось делать? Война с Россией была налицо уже 1 августа, но войны с Францией не было, и это жестоко путало все карты: ведь по плану Шлиффена весь первый акт войны должен был протекать именно во Франции, должен был закончиться взятием Парижа, выходом Франции из войны — и уже после всего этого нападением на Россию. А круто перестраивать в один день все планы, вырабатывавшиеся 23 года, показалось бы трудным даже и генералу, не так экономно снабженному от природы умственными способностями, как Мольтке-племянник, и недаром Мольтке, по собственному показанию, залился горючими слезами, видя, что проклятые французы нарочно все тянут и тянут с объявлением войны и что придется, пожалуй, начать «марш на восток», а не на запад, как завещано Шлиффеном.

Известно, как было обойдено это неприятное и неожиданное препятствие.

Фон Шен явился в конце концов в парижское министерство иностранных дел, посидел в кабинете министра, поговорил о том, о сем, простился и вышел. Затем, уже сев было в автомобиль, вдруг снова вышел из автомобиля, снова поднялся в министерство и сообщил скороговоркой, что так как над Нюренбергом, по его сведениям, пролетели французские самолеты, то Германия вынуждена объявить Франции войну. «Если он не

сказал об этом с самого начала, а должен был для того вернуться, уже садясь было в автомобиль, то ведь нельзя же требовать от человека, чтобы он (беседуя во время визита о том. о сем) сразу обо всем вспомнил! Кое-что успеешь сказать, а кое о чем и забудешь!» Так острил французский публицист Гойе по поводу этого любопытного случая, когда даже дипломату стало неловко и когда даже в дипломатическом горле застряли было некоторые слова.

Этот небольшой эпизод характерен для 1914 г., но в 1937 г. он кажется каким-то старомодным. Империалистический мир шагнул с тех пор так далеко, что приведенный случай просто был бы теперь немыслим.

Для развязывания войны никаких решительно предлогов в настоящее время не требуется, не нужно никаких пощечин послу, никаких нюренбергских самолетов. Когда Пилсудский пошел на Киев, в Варшаве писали, что его зовет туда «голос истории», а потому неважно еще объяснить советскому правительству, почему Польша начала ни с того, ни с сего эту наступательную войну. Когда Пилсудский совсем для себя неожиданно с предельной быстротой должен был покинуть Киев, в той же Варшаве писали, что все-таки заслуга маршала велика, ибо он этим «рейдом» «прервал историческую давность» и поставил «вопрос о Киеве».

Когда в 1931 г. японские войска вторглись в Маньчжурию и начали до сих пор так активно развивающееся завоевание Китая, то японские дипломаты говорили в Англии (где в тот момент решили притвориться, будто верят), что Европа не в силах понять внутреннего глубокого смысла этого «любовного слияния двух начал великой желтой расы: мужского начала — японского и женского — китайского». Других причин к завоеванию Маньчжурии не выставлялось. В сентябре 1936 г. в том самом Нюренберге, над которым в 1914 г. были так кстати кем-то усмотрены таинственные французские самолеты, раздавались истерические вопли о необходимости напасть на Советский Союз, но для мотивировки этого пожелания никому уже и в голову не пришло сочинять, например, о советских самолетах, а просто было во всеуслышание заявлено: «Если бы Украина, Сибирь и Урал были наши, то каждая немецкая хозяйка почувствовала бы насколько ее жизнь стала бы легче. (*Jede deutsche Hausfrau*)!»

Когда Муссолини и Гитлер начали войну с Испанией, то это случилось тоже без малейшей с их стороны потери времени на подыскивание предлогов. Голос истории, голос крови, любовное слияние двух начал желтой расы, облегчение положения немецкой хозяйки путем проникновения немецких хозяев на Урал и на Украину,— словом, первое, что сболтнет язык,

любая бессмыслица, которая зародится в голове,— все сойдет. А можно даже и вообще ничего не говорить и обойтись без всяких голосов истории и без облегченных хозяек: например, абиссинцам так и не удалось никогда узнать, почему их решили стереть с лица земли.

Казалось бы, эта разница между 1914 и 1937 г. не так уж важна: с предлогами или без предлогов империалистические политики развязывали и развязывают войны, когда находят это целесообразным, и не все ли равно, стесняется ли дипломат сразу солгать то, о чем нужно солгать, или лжет, не стесняясь и безотлагательно? Это совершенно верно. Но как часто бывает, незначительный внешний факт в данном случае указывает на очень серьезный, не сразу видный подспудный сдвиг. Ведь для чего и для *кого* подыскивались предлоги и изобретались все эти нюренбергские самолеты? Почему самый умный из слуг Вильгельма II адмирал фон Тирпиц был в полном отчаянии, что Германии пришлось таким непозволительно глупейшим образом взять на себя объявление войны Франции? Все это делалось для *внутреннего,* а не внешнего употребления. Был налицо рабочий класс, была налицо часть мелкой буржуазии, отдельные прослойки средней буржуазии, словом, были те социальные слои, которые обнаруживали тогда известную политическую активность и которым поэтому требовалось удостоверить, что «мы» вожди финансового капитала, «мы» только обороняемся от нападения со стороны врагов. Теперь в фашистских странах положение изменилось. Кое-кто до поры до времени политически придушен, кое-кто сильно переменился, с антивоенными настроениями можно не считаться. Незачем трудиться над хитросплетенными обманами. Если, по старинному выражению, лицемерие есть дань, которую порок уплачивает добродетели, то в 1937 г. эта дань уже не так обязательна, как в 1914 г. Она, правда, и тогда была совсем нестеснительна, но теперь можно и вовсе без нее обойтись. Когда испанскому королю Фердинанду Католику сказали, что французский король Людовик XII жалуется, что Фердинанд обманул его четыре раза, то Фердинанд Католик обиделся и воскликнул: «Лжет он, пьяница! Я обманул его шесть раз!» И в те далекие, первоначальные времена великодержавного и колониального хищничества и в наше время совсем разнуздавшихся инстинктов безудержного империализма лицемерие становится совершенно бесполезной роскошью и отбрасывается в сторону. Зоологическая ненависть к конкуренту, звериная злоба ко всему, что стоит на пути к удовлетворению территориальных и иных аппетитов,— вот что выступает в такие эпохи в обнаженном виде. До мировой войны дело к этому обнажению всех инстинктов быстро *шло*; после мировой войны оно к этому *пришло.*

«Тоталитарная война» уже не только официозно, но *официально* в военных органах Германии и Италии признается единственно отныне возможной. (О Японии не знаю. Лица, там жившие, утверждают, что японские военные органы печатаются специально таким шрифтом и таким слогом, что даже и многие природные японцы абсолютно ничего в них понять не могут.) Но что такое «тоталитарная война»? Это война «всего фронта и всего тыла» против неприятеля, причем терять время на объявление войны равносильно государственной измене: «Враг должен быть наполовину сломлен раньше, чем догадается о вспыхнувшей войне». А если так, то не бессмысленно ли толковать о предлогах, мотивах, выдумывать обиды и правонарушения?

«Тоталитарная война» требует постоянного «морального тренирования»: нация должна привыкнуть к мысли, что она имеет не только право, но и жизненную необходимость броситься на соседа в *любой* момент, когда это будет целесообразно. А *выбор* момента — это уже дело техники, дело военных властей, и тут самое главное — внезапность, выигрыш дней, выигрыш часов.

«Тоталитарная война» уже существует, она лишь отбивает пока шаг на месте, но в любой момент двинется вперед. Людендорф до сих пор все стремится доказать, что он проиграл войну 1914—1918 гг. только потому, что та война не была «тоталитарной».

«Морально» капиталистический мир гораздо более подготовлен к внезапному развязыванию войны, чем был в августе 1914 г. Существование СССР, опасения социальной революции в случае возникновения новой бойни, интересы Франции, Англии, Соединенных Штатов, требующие мира,— вот что пока препятствовало поборникам «тоталитарной войны» испробовать свои силы. Надолго ли? Они во всяком случае времени пока не теряют: в 1914 г. моральная подготовка заключалась в усилиях доказать полное свое политическое бескорыстие, полное отсутствие захватнических целей; в 1937 г. она состоит в усиленных описаниях всех привлекательных сторон Украины, Урала, Сибири, Крыма и Кавказа; в 1914 г. шпионаж, так сказать, по самой сути своей деликатной природы удалялся от шумихи и был строго индивидуалистичен; в 1937 г. шпионы и диверсанты отправляются в путь-дорогу чуть не целыми батальонами, с хоровыми песнями и духовым оркестром, как недавно жаловались на это датчане пограничного с Германией Шлезвига; в 1914 г. все наперебой доказывали, что щадят «мирное население» в неприятельской стране; в 1937 г. *хвалятся* тем, что вражеский тыл будет истреблен химически еще раньше, чем фронт.

Фашизм —это и есть политический режим, безусловно наиболее пригодный и наиболее удобный для подготовки, организации и конечного развязывания «тоталитарной войны», и вовсе не случайность, что именно те «великие» и невеликие державы, где буржуазия не считает себя «насыщенной» территориально, перешли так легко к фашистскому строю. Захватническая война и есть не единственная, конечно, но одна из самых главных функций, для которых финансовый капитал создал и поддерживает фашистский строй.

Фашизм *должен* или воевать, или готовиться к войне. Без этого отпадает один из наиболее реальных мотивов его существования. Оттого и проводит он всюду, где он существует, эту подготовку к грабительской «тоталитарной» бойне так кричаще демонстративно, с такими наглыми и непрерывными провокациями, каких давно уже не знала история европейской дипломатии.

Но оттого и борьба с фашизмом стала одной из необходимейших логических предпосылок реальной борьбы за сохранение международного мира.

А пока нужно считаться с тем, что принцип «войны не объявляются, они просто начинаются» более безраздельно, чем когда-либо, царит в современном капиталистическом окружении, в котором живет наш Союз.

Известия, 1937, 1 августа, № 178.

О ЦЕЗАРЯХ И О ПИРАТАХ

В современной итальянской прессе г-на Муссолини неоднократно и с большой настойчивостью уподобляли Юлию Цезарю. Последнему, впрочем, недоставало только еще некоторых добавочных совершенств, чтобы совсем сравниться с нынешним «дуче», воскресившим — по крайней мере в своих мечтах — Римскую империю с Сицилией в качестве центра.

Так как «таинственные» подводные лодки, потопившие «Тимирязева», «Благоева», «Вудфорда», очевидно, имеют свою базу именно близ этого центра будущей Римской империи, то мысль невольно обращается к тем историческим деятелям, которые задолго до г-на Муссолини по достоинству оценили остров Сицилию и память о которых по одному специальному случаю ассоциируется тоже с Юлием Цезарем. Мы имеем в виду пиратов, которых так легкомысленно стало совсем уж было забывать современное человечество, но о которых столь настойчиво и успешно напомнил современный фашизм в последние дни.

—Почему ты избрал берег Сицилии, чтобы устроить там приют для твоих храбрых молодцов? — спрашивают в одной народной легенде, записанной возле Палермо, удалого вождя пиратов XVII века Ланчелотто.

А Ланчелотто отвечает:

— Но ведь только дурак может не видеть, что отсюда мне одинаково близко и удобно грабить и Марсель, и Великого Турка, и Валенсию, и Барселону.

Таким образом, мы видим, что преимущества центрального положения Сицилии были учтены задолго до современных фашистских мыслителей. Это ничего, что в конечном счете Ланчелотто был пойман и повешен за ноги: его проницательное суждение, как мы теперь знаем, дошло до его предприимчивых правнуков. А что участь инициаторов бывает часто суровой — это ведь факт обычный.

Впрочем, и Лончелотто не был вполне оригинален: первыми обратили внимание на Сицилию (и тоже сделали ее центром своего владычества на Средиземном море) пираты классического мира. И вот тут-то мы обязаны припомнить Юлия Цезаря.

Едет Юлий Цезарь еще совсем молодым человеком па остров Родос. По пути его захватывают пираты, буквально царившие

тогда на Средиземном море и тоже обосновавшиеся на той же Сицилии, от древности до наших дней явно имевшей всегда неотразимые притягательные чары для истинных пиратских сердец. Разбойники вступают со своим пленником в переговоры: они согласны его отпустить, если он даст знак кому следует, чтобы за него прислали большой выкуп. Цезарь соглашается и прибавляет тут же, что они получат выкуп, но что он, освободившись, постарается их переловить и перевешать.

Пираты приняли эту оговорку за простую, ни к чему не обязывающую светскую шутку. Когда выкуп был прислан, они радушно простились с Цезарем. Юлий Цезарь первым делом в качестве члена Вифинской преторианской когорты организует специальную флотилию, по свежим следам гонится за пиратами, захватывает их и доставляет в город Пергам. Пираты сначала не очень беспокоились: денег у них и их друзей было более чем достаточно, чтобы купить не только вифинского пропретора Силана, который должен был их судить, а хоть десяток Силанов. Цезарь видел, что разбойники спасутся. Тогда, чтобы все-таки выполнить в точности свое данное им обещание, Цезарь, не дождавшись Силана, приказал всех захваченных пиратов безотлагательно перевешать. Некоторых из них удавили веревкой, других распяли на крестах. Не ушел от смерти никто.

Но как теперь быть с этой страстью современного фашизма связать себя с древнеримской традицией? Ведь ясно, что «неизвестные» лица на «неизвестных» подводных лодках, храбро топящие наши пароходы, связаны прямой преемственной линией не с Цезарем, но с теми, кого он перевешал. А с другой стороны, если кто в самом деле не год и не два, но целыми столетиями фактически владычествовал на всем Средиземном море, начиная от малоазиатских берегов и кончая Гибралтаром, то это были именно пираты и только пираты! И центром своим они и в древности и во времена Ланчелотто делали охотнее всего как раз Сицилию.

На первый взгляд, казалось бы, непременно нужно выбирать. Нельзя же разом подражать и Юлию Цезарю и тем, кого он перевешал. Это только итальянские полишинели на старинных ярмарках отличались тем, что каждый из них умел в одиночку представлять борьбу Гектора с Ахиллесом и был одновременно и Гектором и Ахиллесом.

Но в данном случае выход из подобных затруднений найден. Давным-давно, еще в 1927 г., когда идейные директивы фашизму давал г-н Фариначчи (так сильно увядший и полинявший впоследствии), Фариначчи и его последователи выдвинули такую теорию: гений итальянского народа это есть гений могущества, гений объединенной средиземной цивилизации, «средиземной расы».

Этот гений проявил себя сначала в великой Римской империи, в могучем Юлии Цезаре. Затем волей злосчастных обстоятельств этот гений долго был скован и рвался наружу, иногда в «несколько беспорядочных своеобразных формах». Взять, например, хотя бы кардинала Руффо, убивавшего, поджигавшего, насиловавшего, грабившего в королевстве Обеих Сицилий в конце XVIII и начале XIX в.: на первый взгляд, он отъявленный разбойник, но это просто латинский средиземный гений, вынужденный проявлять себя «несколько беспорядочным» способом. С этой точки зрения и Цезарь хорош, но и пираты не плохи. И он и они пролагали пути к латинскому владычеству на юге Европы: он — на суше, они — на Средиземном море. И напрасно покойник так поторопился их перевешать.

Если есть нечто новое в нынешних действиях фашизма на Средиземном море, то исключительно техника — «подводный» характер его деяний. Да еще, может быть, некоторое отсутствие (до поры, до времени) полной откровенности. В былые времена «неизвестные» пираты открыто сносились со всеми, даже известными людьми вроде, например, папы Юлия II или английской королевы Елизаветы, или христианнейшего короля французского, покровителя Леонардо да Винчи, Франциска I и вели с ними общие дела. Это было в те далекие годы, когда пираты действовали уже не только на Средиземном море, а и на других более северных морях. Потому что тогда англичане еще не «выродились, в чем их уличила совсем недавно газета «Коррьере делла сера».

Тогда было еще и в Англии такое явление, как мужественная старушка миледи Киллигрю, процветавшая в городе Плимуте в 1859 г. Из окна своего замка она увидела однажды вечером входивший в Плимутскую бухту большой купеческий корабль из Гамбурга. Ночью она собрала своих слуг, и на нескольких лодках под ее личным предводительством они, внезапно прокравшись, напали на этот карабль, перебили команду и ограбили дотла трюм. А затем под утро леди Киллигрю, которой было тогда от роду *67 лет,* вернулась в свой замок и не велела горничной приходить с утренним шоколадом раньше 12 часов дня, так как несколько устала от ночных хлопот. Эта леди Киллигрю принадлежала к верховной аристократии города Плимута, откуда вышел, кстати, и нынешний маститый лорд Плимут, пекущийся о невмешательстве. Но теперешние англичане уже «выродились» и перешли в разряд жертв из категорий тех, *которые топят,* в категорию тех, *которых топят.*

Им ли совладать с «гением средиземной расы», даже если он несколько «беспорядочно» себя проявляет?

Известия, 1937, 8 сентября, № 210.

ОСВОБОЖДЕНИЕ РОССИИ ОТ НАШЕСТВИЯ НАПОЛЕОНА

I

Далекие события 1812 г., когда русский народ, отстаивая свое независимое национальное существование, сокрушил Наполеона, непобедимого гиганта, величайшего полководца вселенной, звучат ныне поистине злободневно. Мир снова затоплен кровью. Фашистские хищники пытаются поработить десятки народов. И снова угнетатели и насильники подбираются к рубежам нашей отчизны.

Вполне понятен поэтому тот интерес, который вызывает теперь в широчайших массах у нас и за границей война 1812 г., одна из славнейших и величайших войн русской и всемирной истории, грандиознейшая эпопея героической и победоносной всенародной борьбы с могущественным завоевателем. Вполне естественно поэтому, что современная реакционная историография всемерно тщится утаить истинный смысл и характер событий тех дней, окутывает их пеленой лжи, всячески фальсифицирует, извращает.

Особенно усердствуют фашистские борзописцы. Не очень умные и не очень грамотные бандиты, дорвавшиеся к власти в некоторых странах, громогласно провозглашают на весь мир, что опыт Наполеона ими учтен, что они-то уж не повторят ошибок Наполеона, приведших его к гибели. Всюду и везде — в школьных учебниках, в так называемых научных трудах, со страниц германской печати — фашисты разглагольствуют о возможности «избежать ошибки Наполеона».

«Наполеона победили морозы и пространства России,— пишут фашисты.— Наполеон погиб потому, что он слишком быстро шел на Москву. Он сразу хотел взять все, — и в этом его ошибка. Мы будем умнее,— рассуждают эти мелкотравчатые политики.— Мы будем довольствоваться отдельными частями».

Как показали бои у озера Хасан, врагу не удастся «довольствоваться» даже и «отдельными частями» советской земли. Покойнички «получили» лишь те метры земли, в которых мы похоронили на советской территории трупы убитых японских офицеров и солдат... Не этого ли добиваются фашисты?!

Но дело, конечно, совсем не в дозах, какими намереваются фашистские хищники утолять свой захватнический аппетит. Медленно ли или быстро они собираются продвигаться вперед: метят ли они сразу на все или собираются «довольствоваться отдельными частями»,— результат будет один и тот же: агрессор неизбежно будет бит, империалистический зверь неминуемо сломает свой хребет. За это говорит вся история великого русского народа.

Наполеон погиб совсем не потому, что он далеко зашел. Он заходил на своем веку и подальше — до Египта. И он завоевал Египет, и французские оккупанты несколько лет, уже после отъезда Наполеона во Францию, держали страну в руках.

Не морозы погубили Наполеона. Полякам и шведам были привычны снежные зимы, но тем не менее и поляки в начале XVII в. и шведы в начале XVIII в. были разгромлены на русской земле.

Ошибка Наполеона состояла и не в том, что он «слишком быстро шел на Москву». Он совершил ошибку, посягнув на независимое национальное существование русского народа. Это-то и явилось причиной гибели непревзойденного военного гения, владыки необъятного и могущественнейшего в то время государства в мире. Наполеона победили не пространства России и не морозы. Он был побежден русским народом, который никогда со времени своего объединения на протяжении всей своей истории не склонялся перед иноземными захватчиками.

II

Как известно, марксистско-ленинская теория различает два типа войн: справедливые и несправедливые. Это — единственно подлинно реальная и политически правильная постановка вопроса. Однако буржуазная историография по вполне понятным причинам всячески стремится затушевать различие между войнами справедливыми и несправедливыми, стремится бросить все, что называется, в один мешок, заменить анализ войн, анализ их причин и последствий частью слащаво пацифистскими, частью фальсификаторскими общими рассуждениями.

Так именно произошло и с оценкой войны 1812 г. Консервативные французские историки во главе с Сорелем и Вандалем объясняют все так: Наполеон хотел бы остаться в мире, но он видел, что Александр тяготеет к Англии, не поддерживает континентальной блокады и, таким образом, расшатывает основы наполеоновской империи. Чтобы заставить Александра изгнать англичан из России и лишить их выгод русской торгов-

ли, Наполеон и вынужден был воевать. Словом, это была своеобразная «защитная война путем агрессии».

Конечно, все это фантазия и вздор, который не выдерживает никакой критики.

Факты, документы свидетельствуют об ином. Неопровержимо, что со стороны Наполеона это была война несправедливая, грабительская, чисто завоевательная.

Наполеон нисколько этого и не скрывал. Он иногда только говорил для широкой аудитории, что хочет войной заставить Александра поддерживать континентальную блокаду, изгнать английскую торговлю и т. д. В своих же интимных беседах с друзьями, ближайшими адъютантами он говорил совсем другое. Да и ясное дело, для того, чтобы повлиять несколько на Александра, вовсе незачем было проходить до Москвы. Следовало, скорей, напасть на Петербург или занять какую-нибудь провинцию и удерживать ее, пока Александр не выполнит тех или иных условий.

Но Наполеон шел в Россию совсем не за этим. В разговоре с графом Нарбонном и другими он делился совсем иными планами. «Мы пройдем до Москвы,— говорил Наполеон.— Представьте себе, что Александр покорится, а если не покорится, то его убьют, как убили его отца Павла. Этот новый царь, который будет вместо Александра, или сам Александр, если он покорится, станет вассалом Наполеона. Тогда русская армия вольется в армию наполеоновскую. Впереди пойдут казачьи дивизии на предварительные разведки, и мы,— заявлял Наполеон,— песками Средней Азии проходим к Герату и являемся в Индию!»

Путь в Индию лежит через Москву,— таков был смысл наполеоновского нашествия на Россию, такова в начале дела была его цель.

Это нашествие несло не только политическое рабство, но грозило превратить русский народ в военных рабов, которых, как скот, гонят на убой, чтобы расширять наполеоновскую империю.

Кого Наполеон вел на Россию? Он погнал голландцев, бельгийцев, швейцарцев, итальянцев, немцев — северных, южных, центральных,— славян иллирийских провинций, подчиненных ему,— буквально все европейские народы, всю Европу. И вот к этой разнородной армии присоединилась бы русская армия и вместе с ней пошла бы на Индию, умирать за Наполеона.

Когда Денис Давыдов просил у Кутузова через Багратиона дать ему хоть немного людей для партизанской войны, Кутузов ответил, что больших сил не даст, потому что слишком это рискованная авантюра,— можете все свои головушки сложить. На это Денис Давыдов сказал, что, может быть, они и погибнут,

но сложат свои головы, защищая отечество, и это лучше, чем сложить свои головы в Индии, куда их погонят.

Тягчайшее и унизительнейшее рабское иго — вот что нес Наполеон русскому народу.

Отношение Наполеона к крепостному праву выразительно подчеркивает это. Наполеон не хотел освобождать народ. Он не желал этого ни за что и не желал опять-таки ввиду своих целей.

Наполеон соображал, что пока эта масса совершенно бессловесна и безвольна, как ему казалось, до той поры можно сладить со своим «дорогим братом» Александром, как они подписывались в документах, можно силой заставить «брата Александра», можно, наконец, убедить, что нужно идти на Индию. А что сделаешь с этой огромной, стихийной массой, если заявить ей, что она освобождается от помещиков и должна немедленно идти отдавать свою жизнь в дебрях Средней Азии неведомо за что? Как народ к этому отнесется? И даже если бросить мечту об Индии, как вести переговоры о мире с этой народной стихией? Значит, нужно оставить крестьян в их рабском положении. Значит, нужно еще крепче сжать ярмо гнета.

В белорусских и литовских губерниях крестьяне кое-где восставали. Они чувствовали, что страшный удар пал на их угнетателей, на помещиков, и надеялись освободиться, растопить свои цепи в этом начинающемся пожаре.

Наполеон и его маршалы отвечали беспощадной расправой. Они посылали свои войска с приказом свирепейшим образом усмирять крепостных.

Народ знал об этом, знал, как расправляются насильники, вторгнувшиеся в Россию, с восставшими крестьянами. Народ видел в Наполеоне иноземного захватчика, посягнувшего на его родную землю, угнетателя, пытающегося превратить Россию в свою вотчину, лишить ее права на независимое национальное существование.

И народ поднялся на борьбу с завоевателями.

III

Если задать себе вопрос, что явилось главной причиной гибели армии Наполеона, то станет ясно, что дело не только в партизанах с их бесстрашными внезапными нападениями. Это, конечно, было тяжело для французской армии, но не в этом главное. Дело и не в тех молодых героях, которые в количестве полутораста — двухсот человек обрушивались на отставшие французские войска.

Русский народ стал особенно страшен, ибо армия увидела, что наполеоновские войска вступили в коренные русские земли.

Русский народ победил тогда, когда он отказался иметь какое бы то ни было дело с наполеоновской армией, когда он отказался доставить ей хоть фунт хлеба, хоть пуд сена или овса. Это и явилось величайшим поражением, причиной гибели великой армии.

Наполеон был человеком огромного гения и огромного опыта. Как же могло случиться, что он не предусмотрел этой возможности, понес такое внезапное и тягостное поражение? На этот вопрос отвечает множество документов, в которых Наполеон высказывает свое недоумение тем, что русские начальники и русские жители не остаются на месте, что они не поступают так, как в Пруссии. «Так, как в Пруссии...» Наполеон поставил знак равенства между Россией и Пруссией, между русскими и немцами,— вот в чем все дело.

Пруссию он раздавил сразу. Пруссия прямо не знала, как показать ему свою рабскую покорность, свое низкопоклонство. Наполеон помнил, как в Пруссии крепость сдавалась за крепостью, как комендант цитадели Кюстрина, увидев, что французы за отсутствием лодок не могут переправиться через Одер, любезно послал им нужное количество лодок, чтобы французы могли захватить и его крепость. Наполеон помнил победное шествие своих войск по улицам плененного Берлина, и приветственные возгласы толпы, и цветы, которыми пруссаки подобострастно осыпали своего врага. То, как он распоряжался в Пруссии, в Центральной Европе, и сбило его с толку.

Наполеон впоследствии признавал, что у него было два опыта: опыт испанский и опыт остальной Европы, опыт немецкий. Испанский опыт — героическое сопротивление людей, которые плюют в глаза врагам, когда их ведут на расстрел, людей, которые ничего не боялись, которые заявляли, что они ни за что не подчинятся. И опыт остальной Европы во главе с Германией, которая не только подчинилась, но и изо всех сил старалась показать, как она «искренне» подчинилась, старалась указать на полную свою преданность, точно говоря, что, если Наполеону угодно будет 100 лет здесь просидеть,— если господь бог даст ему веку,— она 100 лет будет ему служить. Он получал со всех сторон знаки полной преданности. Крестьяне, зажиточные хозяйственные мужички, прусские и австрийские, не только не убегали, но охотно шли во французские лагери и прямо дрались там между собой, назначая цены на продукты, и каждый хотел, чтобы именно у него покупали французы — завоеватели, поработители, — у него, а не у соседа.

Французы в Германии были завалены продуктами, а германское население голодало, потому что мясо, хлеб, все жиры — все решительно крестьяне тащили во французские лагери. Наполеоновская армия ни в чем абсолютно не нуждалась. Там, где не было денег, она просто отбирала, но и это сходило с рук, не вызывало отпора. Пруссаки пушистым ковром угодливо расстилались под ноги завоевателя.

Наполеону представлялось, что так как северные страны ближе друг к другу, то гораздо легче сравнить русских с пруссаками, чем с испанцами, а, следовательно, в России будет, вероятно, то же самое, что и в Пруссии.

Это было одной из его центральных, основных ошибок.

Французские офицеры пишут донесения, особенно, когда они двинулись из Витебска к Смоленску: *«Странные вещи происходят... русские крестьяне, не сговариваясь,* — так они пишут, — *делают следующее: когда подходят наши фуражиры, крестьяне зажигают свои дома и убегают в лес. Когда они не успевают убежать, их приходится всех переколоть, потому что они не указывают, где и что они спрятали. Если фуражиров мало, тогда крестьяне стараются сжигать не только дома, но и фуражиров в этих домах, и затем рассыпаются по лесу, и остается пустыня, сожженные дома, и никого нет...»*

Это было настолько непривычно и странно, казалось настолько диким, что сначала пытались вести следствия: может быть, фуражиры как-то мошенничают, может быть, они что-то получили, но не привезли в войска и т. д.? Под суд даже кое-кого отдавали, удивлялись, что за причина. Не с ума же сошло русское крестьянство, что все уничтожает вместо того, чтобы продать свой хлеб, чтобы получить за это ассигнации!

Французы везли с собой фальшивые ассигнации и сначала думали, что крестьяне потому ничего не продают, что разгадали мошенничество, не хотят этих крашеных клочков бумаги. Но дело было не в этом. Крестьянам стали платить уже и настоящими русскими ассигнациями, даже настоящим золотом, но и это не помогло, опять ровно ничего не выходило. Нам известны рассказы очевидцев о том, как фуражиры подъезжают к деревне, как они издали показывают золотые монеты в 20—40 франков — это было 15 рублей золотом, немалое состояние в тогдашние времена — и как крестьяне не обращают внимания на это золото, точно так же, как они не обращали внимания на бумажки, которыми их старались заманить. Что же делать? Террор? Ничего не вышло. Террором нельзя испугать людей, которые сами убегают, куда глаза глядят. Расстреливать? Французы расстреливали, но наполеоновской армии от этого легче, конечно, не становилось.

— Эта война не похожа ни на одну войну,— так заявил Наполеон, входя в Смоленск.

Крестьяне уничтожали свое имущество, уничтожали скот. При приближении захватчиков пустели села, мертвели города. Богатейшие края своей земли русский народ превращал в пустыню. Война 1812 г. была отечественной войной.

Эта вот пустыня, искусственная пустыня, где не на что опереться, где ничего нет и за каждым углом притаился смертельный враг, скрывается опасность — вот что погубило Наполеона.

IV

Русский народ стяжал себе в двенадцатом году бессмертную славу. Он сражался с таким истинным героизмом, был исполнен такой неукротимой волей к победе и таким подъемом духа, каким трудно сыскать равных во всей предыдущей истории. По личному мужеству и упорству в боях Наполеон ставил русский народ выше всех остальных народов, с которыми он сражался. А с кем только ему не приходилось сражаться!

Солдаты рвались в бой. Известен случай, когда человек, израненный двумя штыковыми ранами, с пулей в боку, обманув фельдшера, убежал из госпиталя, чтобы присоединиться к действующей армии. Известны десятки и сотни подобных фактов.

«Это не то, что Испания, — говорил маршал Лефевр, — *а несколько Испаний».*

Вот один из обыденных эпизодов тех дней, о котором несколько раз упоминают французские документы.

Смоленск уже занят. Русская армия отступает по московской дороге. Отступая, солдаты отстреливаются. Перестрелка умолкла, так как русские отошли далеко, а боя начинать не велено. Французы двигаются дальше, и вдруг из купы кустарников раздаются выстрелы. Один за другим, один за другим... Ясно, что здесь засели. Мчатся адъютанты и докладывают, что не все русские ушли. Поступает приказ — окружить и уничтожить купу кустарников. Стреляют. Два часа длится перестрелка. Французы падают. Сопротивление не прекращается. Тогда начальник штаба приказывает выдвинуть артиллерию. Стреляет артиллерия. Тишина. Сопротивление сломлено. Роте жолнеров велено осторожно подойти и посмотреть перебитых. Каково же было изумление французов, когда они нашли в кустах лишь один труп русского солдата!

Полковник Фабер де Фор рассказывает с удивлением об этом факте, одном из самых поразительных во всей наполеоновской военной эпопее. Почти весь мир оказался у ног Наполеона, германские владыки падали перед ним ниц, раболепно

вручая свои войска, города, земли, а тут, в России, чтобы сломить сопротивление одного егеря, понадобилось выдвинуть артиллерию.

Этот безымянный герой не составлял исключения. Русская армия была охвачена пламенем патриотизма. Вся война двенадцатого года — длинная цепь героических подвигов, о которых с изумлением и восторгом повествуют даже враги.

Вот падает пораженный ядром солдатский любимец генерал Кульнев. Жить ему осталось несколько секунд, и он пользуется этими секундами, чтобы прошептать: «Снимите с меня поскорее мундир, чтобы враг не радовался, что убит генерал, найдя мое тело». Вот уносят смертельно раненного Багратиона, и его любимый солдат бросается в одиночку, как безумный, рубить французов и погибает, не желая пережить Багратиона.

Когда русская армия уже ушла из Москвы и Мюрат подошел к Кремлю, оттуда раздались выстрелы. Группа русских людей решила отдать свою жизнь, чтобы истребить побольше врагов. Героев тут же перебили, но и когда их убивали, они продолжали сражаться до последнего вздоха. Когда у одного раненого хотели вырвать тесак, он вцепился зубами в руку французского офицера и ударил его этим же тесаком. Эти безвестные герои сознательно пошли на верную гибель.

В русской армии была в ту пору жестокая дисциплина. Малейшее неповиновение не то что генералу, а и унтер-офицеру, грозило солдату очень тяжелыми последствиями. И тем не менее, когда Барклай де Толли приказал отступать от Смоленска, офицеры и генералы не могли ничего поделать с солдатами, которые ни за что не желали уходить. На глазах у Липранди, рассказывающего об этом в своих воспоминаниях, офицер, обнажив шпагу, силой отгонял своих солдат от наступающих французов, которых было раз в десять больше.

Витгенштейн приводит такой эпизод. Ему необходимо подавлять артиллерию, а отряд ополченцев стоит впереди и сражается. Он приказывает отойти. Посылает адъютанта. Ополченцы не желают отходить. Тогда один из командующих генералов подъезжает к ополченцам, и, видя, что никакие приказы не действуют, говорит: «Я вас прошу, братцы, отойдите, вы мешаете стрельбе». Они посмотрели на генерала и ответили: «А ты кто такой?»

Дело могло дойти до кровопролития. Только тогда, когда ополченцы убедились с точностью, что это настоящий генерал, что это не изменник, что для военного дела, для военных целей нужно отойти, тогда и только тогда они отошли.

И это, повторяем, не случай, не исключение. Так сражались все. Таким героическим духом был проникнут весь русский народ.

V

Народ жаждал сокрушить врага. Народ рвался в бой. Армия, между тем, отступала.

Главнокомандующий Барклай де Толли понимал, что Наполеон стремится к битве в первой части войны, чтобы устроить новый Аустерлиц, разгромить русских и на этом закончить дело, выиграть войну.

Барклай хорошо усвоил правило Наполеона: «Никогда не делать того, что хочет от тебя противник». Значит — отступление.

Но народ пришел уже в такое состояние, что страшно трудно было его сдерживать и доказывать ему, что по важным стратегическим и тактическим соображениям нужно отступать.

«Кто отступает, тот изменник,— думал народ,— кто уступает хотя бы одну пядь земли,— тот предатель. Бей его!»

Могло дойти до кровавого столкновения, до нападения на ставку. Барклая нужно было сменить. Прав он или не прав, ничего нельзя было поделать. Нужно было удалить Барклая.

Всем известно, до какой степени царь Александр ненавидел Кутузова и не хотел его. Но положение было отчаянное. Нужно было поставить во главе популярного человека. Только два ученика было у Суворова: это — Багратион и Кутузов. И 29 августа Кутузов явился в Царево-займище и взял руководство армией в свои руки.

Кутузов был человеком огромных стратегических и дипломатических способностей. Изо всех бесчисленных генералов, с которыми сражался Наполеон, Кутузов единственный всегда понимал этого непревзойденного военного гения. Человек громадных способностей и огромной воли, Кутузов был необычайно интересной и сложной личностью. Дипломат по природе, он, по словам одного из русских генералов, всегда на словах соглашался с собеседником, но всегда делал по-своему.

Когда Кутузов возглавил армию, он — это совершенно точно может быть объяснено теперь — не хотел сражения. Он знал твердо и непререкаемо, что при том патриотическом подъеме, которым был охвачен народ, при той пустыне, которую обрел Наполеон, захватчик неминуемо погибнет.

Раз так, значит надо щадить людей, нечего попусту проливать народную кровь. И вот Кутузов, с одной стороны, заявляет солдатам: «Как с этакими молодцами отступать!» А через два часа подписывает приказ об отступлении.

Если Кутузов понимал Наполеона, то и Наполеон понимал Кутузова, и он, разумеется, сообразил, что Кутузов будет его дальше заманивать в Москву и за Москву. А так как Наполеон решил не просто войти в Москву, но непременно предвари-

тельно дать генеральную битву и уничтожить русскую армию, он усилил преследование. Кутузов, чтобы задержать Наполеона, укрепил арьергард, выделив туда одну треть своей армии. Наполеон не выпускал арьергард из боя и, наступая на него, поставил такую дилемму: либо Кутузов усилит свой отпор, либо оставит арьергард, и Наполеон окружит его, сотрет с лица земли одну треть русской армии и тогда снова погонится за Кутузовым. Этот момент в сочетании с тем, что Москву при данном настроении народа и армии нельзя было сдавать без боя, и послужил причиной бородинской битвы. Столкновение стало неизбежным, и произошло Бородино, которое явилось в чисто политическом отношении поражением, а не победой французов, и вместе с московским пожаром открыло второй этап войны.

VI

Второй период войны начинается с блестящего стратегического маневра Кутузова. Он идет к Красной Пахре, загораживая путь к Калуге. Одновременно Кутузов послал часть казачьей кавалерии по Рязанской дороге, приказав побольше пылить, чтобы создать впечатление, что отступает вся армия. Это сбило с толку лучших двух маршалов Наполеона, Себастьяни и Мюрата, и они устремились по Рязанской дороге.

Дальше деяния Кутузова — это необычайно захватывающие страницы, которые с трудом поддаются пониманию, если не детализировать их.

Происходит пожар Москвы. У Наполеона вырвана из рук уже захваченная добыча, во имя которой он принес столько жертв. И все попытки мира остаются тщетными.

Русская армия становится все более сильной. Французская армия ослабевает. Мысль захватить Наполеона проносится перед всеми. Но Кутузов настойчиво, категорически исполнял свой план, ни с кем не желая считаться. Он не хотел и Тарутинского сражения, хотя это сражение вначале было для русских успешным, он не хотел битвы под Малоярославцем. Наполеон уходит. Кутузов идет параллельным маршем, и нападение нарочно задерживается.

У Кутузова состоял в качестве наблюдателя и в то же время шпиона Роберт Вильсон, английский генерал. Вильсон, как и весь русский генералитет, как и сам царь, стремился к тому, чтобы победить Наполеона, уничтожить Наполеона, пока это возможно. Если Наполеон вырвется из России, значит, для всей Европы, для Англии все останется без перемен.

Немцы и не думали тогда подниматься с места. Во всех гитлеровских учебниках говорится о том, что в Германии тогда

начались восстания, что у людей тогда выросли «орлиные крылья». Это совершенный вздор. У них не орлиные, а куриные крылья были и никаких других не было. Немцы самым рабским образом по-прежнему подчинялись Наполеону. Они были в армии Наполеона и отличались только тем, что сами французы не грабили так, как немцы. Немцы грабили больше всех других частей наполеоновской армии и с большими зверствами. Именно немцы охотно убивали русских пленных, мучили крестьян, насиловали женщин.

Если Наполеон уйдет из России, значит, вся Европа останется в его руках. Значит, Англия опять будет изнывать под тяжким гнетом континентальной блокады, не продаст ни одного фунта товара иначе, как украдкой, контрабандным путем. Для Вильсона все заключалось в том, чтобы окружить Наполеона и забрать его в плен. Кутузов сознательно этого не хотел. Когда Вильсон очень ему надоедал — а Вильсон вел себя чрезвычайно нахально,— Кутузов просто не принимал его. Самый умный русский дипломат императорского периода русской истории, Кутузов чутьем своим понимал, что Наполеон — это временное землетрясение, это стихийная сила, ворвавшаяся в историю. Выгнать его из России нужно, но что он дальше будет делать с Европой, решительно все равно. Россия не должна палец о палец ударить, чтобы освобождать лакействующих перед Наполеоном пруссаков.

Так дело шло до Березины. План преграждения пути Наполеону был составлен Александром и его приближенными. Кутузов был против этого плана не только по изложенным выше политическим соображениям. «У меня,— заявлял Кутузов, придя в Вильну,— за два месяца из 97 тысяч человек, с которыми я вышел из Тарутина, осталось 27 тысяч. Ровно 70 тысяч людей погибло».

Кутузов не верил в возможность пленения Наполеона у Березины. Так оно и случилось. Наполеон вырвался с жалкими остатками своей армии и ушел. Война 1812 г. на этом кончилась.

И вот царь Александр встретился с Кутузовым. Речь пошла о том, что делать дальше. Кутузов заявляет: ни с места. Война окончена. Зачем дальше воевать? Во имя чего? Александр же всецело стоит на английской и немецкой точке зрения. Александру хотелось теперь наиболее легко, как ему казалось, приобрести утерянную в двенадцатом году популярность, взять реванш. Он хотел себя самого представить в роли «спасителя» Европы от Наполеона.

Кутузов был против этого. Он считал, что не следует истреблять дальше народную силу, неизвестно во имя чего. Он считал прямо вредным для России такое выступление, которое

создало бы ей в будущем врагов из тех самых людей, которых теперь, неизвестно зачем, она должна спасать от Наполеона.

Когда Кутузов умирал, в апреле 1813 г. в городе Бунцлау, Александр сказал ему: «Простишь ли ты меня, Михаил Илларионович?» — «Я вас прощаю, государь, но Россия вам никогда не простит».

Это были последние слова Кутузова.

Так окончилась жизнь замечательного русского полководца. Так завершилась эта великая эпопея.

Фашистские сознательно лгущие «историки» старательнейшим образом замалчивают тот факт, что без помощи России Германия не скоро — далеко не в 1813 и не в 1814 гг.— освободилась бы от власти Наполеона. Но зато они много говорят о том, что «мы не повторим ошибки Наполеона», они на все лады поощряют фашистскую шайку, хозяйничающую пока в их стране, и вместе с ней бряцают оружием:

— На восток, на восток!..

Что ж, иного, конечно, и ждать нечего от потомков рыцарей, битых и позорно прогнанных русским народом в XIII в., от правнуков презреннейших из всех рабов Наполеона, постыдно торговавших своей совестью и своим народом. После грандиозной фигуры Наполеона, при всех его насилиях и пороках, фигуры нынешних кандидатов в завоеватели земли русской микроскопически ничтожны. Тем бесславнее будет их конец.

Война против Советского Союза будет *самой непопулярной в широких народных массах всех стран мира, в том числе и агрессивных стран.* Русский народ и все народы нашей великой социалистической родины разгромят своих врагов, ибо *война СССР против агрессоров будет самой справедливой из всех справедливых войн, какие знает человечество.*

Доктрина обороны социалистического отечества означает — решительным наступлением громи и уничтожай врага на его территории. В отличие от войны 1812 г., когда враг был разбит на территории России, *в войне против фашистских агрессоров Красная Армия переступит рубежи и нанесет смертельное поражение империалистическим разбойникам.* Пусть зарубят себе это на носу наши враги на Западе и на Востоке, мечтающие «избежать ошибки Наполеона». Их ждет еще более позорная, чем Наполеона, участь!

1938 г.

ОТ РЕДАКТОРА

[Вступительная статья к т. I Истории XIX в. под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938]

Из всех веков мировой истории, предшествовавших XX веку, XIX столетие занимает исключительное место. Именно в XIX веке развитие экономики и техники, точной науки и художественной литературы, музыкальных и изобразительных искусств пошло такими бурными, неслыханно быстрыми темпами, смена политических форм происходила так круто, революции и войны, изменившие облик всей государственной жизни и всех международных отношений на европейском континенте, а иногда и контуры границ, были так часты, как никогда до сих пор. Промышленная буржуазия в течение почти всего XIX столетия была преобладающей, ведущей частью буржуазного класса, и только в последней четверти столетия стал формироваться тот финансовый капитал, который окончательно сложился и укрепил свое господство в передовых капиталистических странах уже в XX столетии. XIX век подготовил все условия для перехода от старого капитализма к монополистическому капитализму, т. е. к высшей и последней стадии капитализма — к империализму.

Буржуазия в XIX в. вела борьбу разом на нескольких фронтах: 1) в первой половине XIX в. в тех странах, где на пути ее развития стоял помещичье-дворянский класс, связанный в той или иной мере с былым феодальным землевладением, буржуазия вела с ним упорную борьбу и победила этот класс, 2) в тех странах, где к началу XIX в. еще не было достигнуто государственное национальное объединение, буржуазия продолжала вести борьбу за это объединение. Создание крупных национальных государств, писал Энгельс, является единственным типом государственного устройства, нормальным для правящей европейской буржуазии. Потребности практического купца и промышленника настоятельно требовали устранения провинциального хлама (многообразие вексельного права, через каждые несколько миль новые условия занятия ремеслом, разнообразие местного законодательства, ограничение прав

жительства, различные меры весов, разнообразие валют и т. д.), стеснявшего и ограничивавшего торговые обороты. «Отсюда видно, что стремление к единому „отечеству“ имело весьма материальную почву» [1]. Войны, приведшие к образованию единой Италии (1848, 1859, 1860 и 1866 гг.), к образованию Германской империи (1864, 1866, 1870—1871 гг.), были проявлением этой «воли к объединению», охватившей прежде всего буржуазию названных стран. 3) Наконец, в течение всего XIX в., все обостряясь и обостряясь с каждым десятилетием, шла упорная борьба буржуазии за свое классовое господство против эксплуатируемых ею классов населения и прежде всего против промышленного пролетариата.

XIX век — век формирования рабочего класса, величайшей прогрессивной исторической силы нашей современности, призванной уничтожить паразитический капитализм и создать новый общественный строй — социализм, за идеалы которого боролись и отдавали свою жизнь передовые люди XIX в.

Борьба пролетариата как класса со своими особыми, вполне осознанными экономическими и политическими целями определяет содержание всей истории XIX в. От первого пролетарского восстания в Лионе в ноябре 1831 г., от чартизма в Англии, через упорную стачечную борьбу времен Луи-Филиппа к революционным боям 1848 г. и от 1848 г. к I Интернационалу и к Парижской Коммуне, затем от Парижской Коммуны к созданию профессиональных союзов и политических партий пролетариата и к первым годам II Интернационала развертывается в разнообразных формах, с неодинаковой интенсивностью, с различными оттенками в отдельных странах эта упорная борьба пролетариата против буржуазии. В огне этой борьбы сгорали без остатка все те политические «ценности», все те общечеловеческие блага, завоеванием которых так хвалилась в свое время буржуазия. Бывший «наиболее совершенным, передовым из буржуазных государств... тип *парламентарной демократической республики...*» [2] был выброшен буржуазией за борт без малейших колебаний, когда буржуазия сообразила после революции 1848 г., что ей более выгодно и безопасно заменить республику полусамодержавной империей Наполеона III. После революции 1848 г. в Западной Европе буржуазия в массе своей перешла на сторону реакции и вступила в союз с бюрократами-монархистами, феодалами и церковью, владычество которых только что низвергла при помощи рабочего класса. Точно так же и по тем же соображениям германская и австрийская буржуазия примирялась очень быстро и охотно с установлением после 1848 г. полуабсолютизма в Пруссии и возвращением полного абсолютизма в Австрии. Капиталистический класс всегда готов был там, где его господству грозила серьез-

ная опасность, отречься от всяких «свобод» — даже от всех гражданских прав — в пользу такой диктатуры, которая обещала крутую, беспощадную расправу с революционным пролетариатом. Современный нам фашизм является наиболее зверской, наиболее бесстыдно гнусной, совсем неприкрыто варварской из всех форм буржуазной диктатуры, какие до сих пор успела занести на свои скрижали всемирная история. Никогда за весь XIX в. капиталистический мир не чувствовал так своей обреченности и опасности своего положения, как в переживаемое нами время. И именно поэтому никогда в XIX в., если не считать моментов особенно обострившейся борьбы (как, например, во времена Парижской Коммуны), ни одна буржуазная диктатура не доходила до установления (притом на долгие годы) режима средневековых пыток, застенков, разнообразнейших издевательств над побежденным классом, до чего дошло и на чем (до поры до времени) утвердился современный фашизм. Далее читатель, изучающий культуру XIX в., заметит также, что в те моменты, когда буржуазия особенно остро чувствовала себя под угрозой со стороны революционного пролетариата, она и в области умственной жизни ударялась в крайнюю реакцию, забывала о своих вольтерианских традициях, о своем свободомыслии в области религиозных верований, о своем унаследованном от XVIII столетия философском скептицизме и бросалась вспять к церкви, к духовенству, ища союзников и защиты. «Наш враг не сельский священник, а социалистический школьный учитель!» — провозгласили напуганные громами революции 1848 г. Тьер, Фаллу и другие представители некогда свободомыслящей буржуазии. Эта напуганность буржуазии, гнавшая ее на союз с клерикалами, не прошла до самого конца XIX столетия, когда популярнейший в то время (в 90-х годах) во Франции буржуазный беллетрист Поль Бурже и авторитетнейший тогда критик Фердинанд Брюнетьер провозгласили, что «наука обанкротилась» и что единственной опорой индивидуальной морали и общественного порядка может быть только религия.

Тем не менее и в данном случае за весь XIX в. эта духовная реакция не осмелилась посягнуть на творцов естествознания, своими великими открытиями подкапывавших все основы религиозных суеверий. Дарвин, Лайель, Гексли, Менделеев, Сеченов, Гельмгольц, Клод Бернар, Бертело, Мечников, Пастер делали свое великое дело. Только в наши дни озверелый фашизм и в этой области проявляет совсем паническую напуганность и стремится так или иначе погасить свет свободного научного исследования. При свете того, что сейчас творят Муссолини в Италии, Гитлеры, Геббельсы, Геринги и Розенберги в Германии, их усердные подражатели в Венгрии и других местах, становится ясно, что глава мировой духовной реакции папа

Пий IX, который в 1864 г. торжественно объявил «заблуждениями» все главные завоевания научной мысли человечества, в настоящее время в фашистских странах нашел бы живой отклик и деятельную помощь в борьбе против этих «заблуждений» науки. Недаром нынешний Пий XI поспешил снять с муссолиниевской Италии проклятие, наложенное Пием IX на Италию конституционную в 1870 г.!

Таким образом, мы видим, что уже в XIX в. намечалось в Европе и в области политической и в области духовной реакции многое, что пышным цветом расцвело только в наши дни. И это весьма понятно, потому что в конечном счете XIX в. оказался преддверием к грядущей в мировом масштабе социалистической революции, и если звериная злоба современного фашизма вызвана страхом, то нужно признать, что все основания для этого страха бесспорно налицо. Во времена Маркса и Энгельса этот страх не мог быть, конечно, таким острым, таким паническим, таким постоянным, как в эпоху Ленина.

XIX в. был великой исторической школой борьбы рабочего класса, в процессе которой была выработана теория научного социализма, были выдвинуты формы экономической и политической организации пролетариата. В конце первой половины века появилось бессмертное учение Маркса — Энгельса, давшее ключ к пониманию всего прошлого и к предвидению будущего народов, идущих по пути капиталистического развития. «Манифест Коммунистической партии» остался бы в истории европейской мысли навеки как одно из глубочайших проникновений в прошлое и прозрений в будущее, даже если бы его авторы не дали затем ряда гениальных исторических, экономических и философских работ по теории научного социализма. Существует теснейшая связь между «Манифестом Коммунистической партии», «Капиталом» и целой серией работ и исследований Маркса и Энгельса по истории человечества, начиная с первобытного общества и кончая историей революционных движений 1848 г., государственного переворота 2 декабря, Крымской войны и Парижской Коммуны.

Научное творчество Маркса и Энгельса и их политическая деятельность наложили неизгладимую печать на умственную жизнь миллионов и миллионов людей и духовно мобилизовали целые поколения пролетариата и трудящихся на повторные штурмы угнетающего их эксплуататорского строя. Основание I Интернационала, вдохновляемого Марксом и Энгельсом при первых же шагах этой организации, явилось лишь яркой иллюстрацией к основной мысли «Манифеста», к идее объединения пролетариев для борьбы, в которой они должны сбросить с себя цепи и завоевать весь мир. Учение Маркса и Энгельса не только осветило ярким светом всю историю и ближайшее будущее

человечества, но оно оказалось и неиссякаемым источником моральной энергии для борющихся. Оно научило борцов за новый социальный строй понимать, что их поражения — явление временное, что опускать голову нет оснований, как бы ни был тяжел тот или иной постигший их удар. Когда 2 декабря 1851 г. Луи-Наполеон Бонапарт задушил Вторую французскую республику, то этот разгром всех упований и всех революционных мечтаний, еще в 1848 г. казавшихся такими близкими к осуществлению, поверг многих даже очень и очень сильных умом и духом мыслителей (вроде, например, Герцена) в совершенное уныние, им стало представляться, что дряхлый европейский мир осужден на распад и гибель, что уже навеки закрыты перспективы и пропала дорога, ведущая к лучшему будущему. А в это же самое время Маркс и Энгельс ни в малейшей степени, буквально ни на один день, не утрачивали ясности мысли и бодрости настроения и организовывали пролетариат на дальнейшие битвы.

И эту всегдашнюю бодрость духа творцы теории научного социализма не только сами почерпнули из своего учения, но и сумели вдохнуть ее в целые поколения бойцов, которые их учение восприняли.

Маркс в самые последние годы своей жизни с надеждой взирал на Россию и предвидел бурное развитие революционного движения на русской почве. Энгельс написал пророческие строки о революционном движении в России, которое «...после борьбы,— быть может, длительной и жестокой,— в конце концов должно неизбежно привести к созданию Российской Коммуны» [3]. Ни Маркс, ни Энгельс не дожили до великого пролетарского восстания и его торжества в России, но как хорошо они учат нас понимать, почему современную нам империалистическую буржуазию доводит до такого неслыханного озлобления и до такой паники именно тот факт, что на географическом месте царской России высится Советский Союз, что место «жандарма Европы» теперь занял друг и верный союзник эксплуатируемых на всем земном шаре!

Россия играла в XIX в. огромную роль в мировой политике. Начиная с периода наполеоновских войн, когда 1812 г. положил начало долгой кровавой борьбе европейских народов против наполеоновского владычества, и кончая участием в китайских событиях 1899—1900 гг., Россия оказывала от начала до конца XIX в. колоссальное влияние на судьбы человечества. Выступления царского правительства постоянно были направлены к ухудшению освободительных движений на Западе, и царской России суждено было в самом деле, по правильному определению основоположников революционного марксизма, играть роль «жандарма Европы». Правда, постепенно — сна-

чала медленно, потом более ускоренным темпом — в России нарастали в течение XIX в. враждебные царизму силы. От декабристов и Герцена до петрашевцев, от петрашевцев до Чернышевского, до революционеров 60-х и 70-х годов, от землевольцев и народовольцев до начала и распространения революционного марксизма, до молодого Ленина и его первых соратников в 90-х годах XIX в. борьба против самодержавия и эксплуататорского строя выдвигала бойцов за бойцами.

До конца XIX в. самодержавие не было низвергнуто, но его былые основы, и социально-экономические и идеологические, оказались сильно расшатанными. «Жандарм Европы» уже должен был непрестанно думать о собственном спасении от гибели, а не о былых походах в Европу с целью спасения чужих «тронов и алтарей». Не за горами уже было то время, когда великий героизм русского народа, проявленный им во время всех войн XIX в., в которых участвовала Россия, должен был сказаться в вооруженной революционной борьбе против своих хищников и чужих интервентов.

Но не только в качестве «жандарма Европы» выступала Россия в XIX в. Этот век был временем, когда русский народ властно занял одно из центральных, первенствующих мест в мировой культуре. «Древняя Греция дала Сократа, Аристотеля, Платона, Софокла, Эсхила, Фидия, Италия дала Данте, Микеланджело, Леонардо да Винчи, Франция — Вольтера, Руссо, Виктора Гюго, Германия — Гете, Шиллера, Англия — Шекспира и Байрона, Россия пришла позже других, потому что начала жить исторической жизнью позже других, но она уже успела дать только *за один XIX век* Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского — четырех художественных титанов XIX столетия. Чего же нельзя ожидать от нее в будущем?» — так сказал в одной своей речи покойный видный французский публицист Марсель Самба. Мы знаем, что Россия в XIX в. дала миру не только этих «четырех титанов», но и целую галерею высоких талантов литературы, искусства и точной науки. Но Самба в своем кратком пересчете был намеренно очень скуп и, говоря о вечных вкладах отдельных стран в сокровищницу мировой культуры, останавливался, во-первых, почти только на гигантах литературы и искусства, а во-вторых, только на таких именно гигантах, которые, каждый в своей сфере, оказали могущественное влияние на *все* культурное человечество.

И по общему признанию XIX век был веком несравненного, все растущего мирового триумфа русской художественной литературы. Когда Проспер Мериме и первые переводчики открыли Европе Пушкина, когда Боденштедт «открыл» Лермонтова, когда знаменитый французский критик Сент-Бёв заговорил о Гоголе, а Париж времен Второй империи бурными аплодис-

ментами и несмолкаемым смехом встретил первое театральное представление «Ревизора»,— то все это было лишь началом триумфального выступления великой русской литературы на мировой арене. Могущественное влияние прозы Тургенева на Флобера, Золя, Мопассана, Ауэрбаха, Шпильгагена тоже дало лишь первые намеки на то, чем суждено было стать к концу XIX в. для Европы и Америки Льву Толстому и Достоевскому. Критики и беллетристы Запада единогласно признают, что после появления «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения», после «Преступления и наказания», «Записок из мертвого дома», «Братьев Карамазовых» требования к художественной литературе так неслыханно возросли, что стало просто невозможным писать «по-старине», и все читающее человечество почувствовало, что в словесном творчестве, в художественном психологическом анализе сделан новый огромный шаг по тому пути, который только начали прокладывать в начале и в середине XIX в. такие большие художники, как Бальзак, Стендаль и Флобер, Диккенс и Теккерей. Великие русские творцы чем больше их узнавали к концу XIX столетия, тем более и более могущественно влияли на все литературы Запада, и это могучее русское влияние XIX век полностью завещал XX веку. «После Шекспира свет не знал еще никогда в области художественного творчества такой всемирной славы, как слава Льва Толстого»,— писали английские журналы, когда умер Толстой. «На Западе в художественной литературе по-прежнему царит Достоевский», — правильно констатировал в 1926 г. покойный Луначарский в одной из своих публичных лекций, сходясь в этом утверждении буквально со всеми ведущими критиками Англии, Франции, Германии, Скандинавских стран. «Русские Диоскуры XIX века, два великана художественного творчества», — так были названы эти два русских гения, Толстой и Достоевский с трибуны парижской Сорбонны, обыкновенно такой скупой на похвалы иностранцам. XIX столетие дало миру таких великих мыслителей — революционных демократов, как Белинский, Добролюбов и Чернышевский.

Но если в области словесного творчества русский народ занял в XIX в. совсем исключительное, ни с кем не сравнимое, непререкаемое *первое* место, то *одно из первых мест* он занял и в области живописи, выдвинув Сурикова, Репина, Верещагина, Серова, и в музыке, выдвинув Глинку, Мусоргского, Римского-Корсакова, Даргомыжского, Рахманинова, Чайковского, и в точной науке, дав величайшего математического гения «Эвклиду равного» Лобачевского, химика Менделеева, физика Лебедева, о котором великий Томсон (лорд Кельвин) заявил: «Лебедев заставил меня сдаться своими опытами», палеонтолога В. Ковалевского, о котором Дарвин сказал, что историю

палеонтологической науки нужно делить на два периода: до Ковалевского и после Ковалевского. Русский читатель «Истории XIX века» никогда не должен забывать, что этот век именно и был временем, когда впервые обозначилось и ярко проявилось мировое значение русского народа, когда впервые русский народ дал понять, какие великие возможности и интеллектуальные и моральные силы таятся в нем и на какие новые пути он может перейти сам и в будущем повести за собой человечество.

Большое дело в области расширения и углубления исторических знаний в широкой массе советских читателей делает Огиз-Соцэкгиз, выпуская в свет восемь томов известного коллективного труда по истории XIX в., вышедшего под редакцией Лависса и Рамбо. Собственно, из всех больших европейских изданий, подводящих общие итоги результатам исторических исследований по истории XIX в., с трудом Лависса и Рамбо может быть сопоставлена по научной основательности одна только «Кембриджская новая история» («Cambridge modern history»), редакторы которой отвели пять томов (VII, IX, X, XI и XII) своей коллекции истории XIX в. Но Кембриджская история рассчитана больше на специалиста, чем на массового читателя,— и по своему объему, и по очень сухому изложению, и по характеру содержания, и по типу огромнейших библиографических приложений. Английское издание пригодно не столько для систематического чтения, сколько для наведения нужных справок при научно-исследовательской работе.

Совсем другое дело Лависс и Рамбо. Они дают не только живое, связное, литературно исполненное изложение всей громадной массы сложнейших политических событий XIX столетия во всех странах Европы, но и очень содержательную, при всей своей краткости, характеристику таких явлений мировой культуры, как литература, музыка, живопись, скульптура, архитектура, развитие научных знаний (математики, механики, астрономии, физики, химии, зоологии, физиологии, медицины и т. д.). Широта кругозора — совсем исключительная, и это одно делает русское издание Лависса и Рамбо драгоценным подарком для нашей новой, огромной советской интеллигенции. Эти восемь томов дадут читателю ясное, отчетливое представление о таких именах и событиях, беглое, случайное упоминание о которых он встречает чуть не ежедневно в газетах и журналах, но справиться о которых ему бывает далеко не всегда удобно и возможно.

Но этими главами о литературе, об изобразительном искусстве, о науке не ограничивается полнота и разносторонность коллективного труда Лависса и Рамбо. Мы находим здесь спе-

циальные главы, посвященные истории таких стран, которые обыкновенно обходятся полным молчанием в общих трудах подобного типа: Швейцарии, Швеции, Норвегии, Голландии, Дании, Бельгии, Австрии, Испании, романских стран Южной и Центральной Америки, Индостана, Персии, Афганистана, Турции, Китая, Японии, Кореи, доминионов и значительнейших колоний европейских стран, вроде Австралии, Канады, Индии. Южной Африки, Египта, Индокитая, Алжира и т. д. История всех этих стран изложена кратко, но точно и очень содержательно. И изложена так, что эти главы можно с интересом читать страницу за страницей подряд, не отрываясь, а не только искать в них нужные фактические справки. Нечего и говорить, что подобающее место отведено Соединенным Штатам.

При этом Лависс и Рамбо не совершили той капитальной ошибки, которая так портит «Кембриджскую новую историю»: английские редакторы выделили Соединенные Штаты в XIX в. в особый (седьмой) том, за которым идет восьмой, посвященный французской революции, а уж только с девятого начинается история Европы в XIX в., но там уже, конечно, о Соединенных Штатах не говорится ничего. Получается то самое нарушение хронологической последовательности и несоответствие между синхронистическими фактами, что так портит всегда всякую историческую книгу и на что так справедливо указали в свое время товарищи Сталин, Киров, Жданов в своем памятном выступлении. Здесь, у Лависса и Рамбо, Соединенные Штаты поставлены на свое место, и их история переплетается, где должно, с историей европейских стран. Читатель не будет вынужден, знакомясь, например, с историей гражданской войны между Южными и Северными Штатами 1860—1865 гг., недоумевать, почему Англия и Франция заняли в это время такую, а не иную позицию, тогда как тот читатель, который знакомится с историей этой войны по Кембриджской коллекции, обязан будет для ответа на данный вопрос отложить в сторону седьмой том и искать удовлетворения своей любознательности в девятом томе.

Нарушение хронологической связанности при изложении почти всегда вредит книге, и вот почему, например, в предшествующих русских изданиях Лависса и Рамбо совершенно напрасно была выделена вся часть изложения, посвященная истории России. Ни пропускать вовсе эту часть, как сделал в свое время Гранат, ни выносить ее в особый, дополнительный девятый том, как предполагалось в издании Соцэкгиза (1937), не было и нет никаких оснований.

О совсем неосновательном опущении русской истории в издании Граната нечего и говорить: читатель лишался глав, отсутствие которых нарушало полноту изложения. Но и прием.

допущенный в издании 1937 г., тоже никак не может быть назван методологически правильным: мы повторяем мысль классиков марксизма-ленинизма о том, что царизм был «жандармом Европы», и мы же выводим этого жандарма за скобки, удаляем его прочь из истории Европы, на которую он так сильно и долго влиял! Допускать этого ни в каком случае нельзя.

Новое русское издание этого монументального труда восполняет ряд пропусков, допущенных в предыдущем издании. Эти пропуски вредят плавности изложения и законченности содержания, а между тем ничем не могли быть сколько-нибудь основательно мотивированы.

Советский читатель 1938 г. совсем не походит на читателя первых лет революции. Нынешний наш читатель, особенно тот, на которого рассчитано русское издание восьмитомника Лависса и Рамбо, вполне научился разбираться в предлагаемом ему материале. Он отлично поймет, что людей, близких нам по историческому и социально-политическому мировоззрению, среди сотрудников Лависса и Рамбо нет, если не считать Ромена Роллана.

К счастью, Лависс и Рамбо и их сотрудники очень нечасто отваживаются воспарять ввысь и философствовать, а довольствуются живым, связным, конкретным изложением событий в их хронологической и непосредственно причинной связи. Нужно, с другой стороны, отдать им справедливость: и редакторы и авторы по мере сил стараются быть «объективными» и воздерживаются от полемических выпадов против неугодных им деятелей, партий, течений общественной мысли.

Составлялся этот коллективный труд до мировой войны и до пролетарской революции, и инстинкт классового самосохранения еще не оказывал такого кричаще-явного и могущественного воздействия на буржуазную историографию, какое он оказывает в настоящее время. История церкви, например, излагается еще в духе традиционного буржуазно-вольтерианского свободомыслия, и тут нет и признаков того нарочитого, сознательно притворяющегося злобного ханжества, какое напускают на себя из ненависти и страха перед социализмом и коммунизмом такие пользующиеся шумным успехом нынешние фальсификаторы истории, как Луи Бертран или Гаксотт, или Мариюс Андре и т. д. Великие заслуги французской революции вполне признаются и отмечаются, в частности, также и там, где излагается история точных наук и организации научного преподавания. О деспотизме и необузданном, неистовом разгуле наполеоновского властолюбия и всегдашней его готовности к кровавым погромам и похождениям говорится с удивительным в подобном случае для французов беспристрастием. Переворот 2 декабря Луи Бонапарта определенно именуется беззаконием.

Отмечается варварство усмирения побежденных рабочих в июне 1848 г. Даже при изложении истории Парижской Коммуны — о чем вообще я буду говорить, когда перейду к недостаткам и неудачным страницам книги,— все-таки с определенным порицанием говорится о лютой репрессии, проведенной версальцами, о расстрелах без суда, о позорном (замалчиваемом большинством буржуазных историков) требовании, предъявленном Жюлем Фавром к иностранным правительствам, чтобы они выдавали бежавших из Франции коммунаров. Вообще у Лависса и Рамбо и их сотрудников нет и в помине того азартного, злобно-полемического тона, какой стал таким обычным в буржуазной исторической литературе за последние 20 лет, не говоря уже, конечно, о тех фашистских памфлетах и пасквилях, которые выдаются за историю в нынешней Германии, Италии, Польше, Венгрии, Румынии. Спокойствие, деловитость, научная сдержанность тона и осмотрительность в выражениях составляют характерную особенность этого коллективного труда.

Одним из больших достоинств труда Лависса и Рамбо нужно признать также искусный и настойчиво проведенный показ тесной связанности между внутренней и внешней политикой каждой страны на любом этапе ее истории. Особенно наглядно и удачно это сделано на кратких, но очень содержательных страницах, посвященных державам Балканского полуострова — Сербии, Болгарии, Греции, Румынии. Советский читатель привык, что об этих странах ему вообще ровно ничего не рассказывается в общих книгах, посвященных XIX в., а тут, у Лависса и Рамбо, он не только ознакомится с их положением, но и ясно уразумеет ту роль, которую этим странам суждено было сыграть в истории международных отношений XIX в., а это тем более интересно и существенно, что в настоящее время балканским странам угрожает агрессия со стороны германского и итальянского фашизма. Нечего и говорить, что тот же принцип показа тесной связанности внутренней политики с внешней проводится неуклонно и в изложении истории Англии, Франции, Германии.

К числу частных достоинств труда Лависса и Рамбо современный читатель, конечно, причислит очень обстоятельные, содержащие обильный фактический материал и очень хорошо изложенные главы, относящиеся к двум странам, от которых тоже другие коллективные общие труды отделываются наскоро несколькими страницами, если не строчками: мы имеем в виду Австрию и Испанию. Историю Австрии написал Луи Эйзенман, известный знаток истории «Центральной Европы», а история германской и австрийской революции 1848 г. принадлежит перу учителя Луи Эйзенмана, первоклассного знатока истории австрийских земель, Эрнеста Дени.

Сложная, очень запутанная и вместе с тем полная такого захватывающего интереса для современного читателя история Испании и всех испанских долголетних восстаний и революций, начиная с восстания против Наполеона, изложена так ясно, отчетливо и занимательно, что эти страницы бесспорно принадлежат к лучшим в коллективном труде Лависса и Рамбо. Очень удалась авторам история таких стран, как Бельгия, Голландия, Швеция, о которых либо ровно ничего, либо очень мало говорится даже в самых больших трудах по истории XIX в. В борьбе за новый передел мира, в начавшемся новом туре империалистических войн, организованных фашистскими странами при попустительстве Англии, вопрос о таких государствах, как Чехословакия, Бельгия, Голландия, Дания и т. д., в международных отношениях ближайших лет будет играть немалую роль. Советский читатель, интересующийся историей этих стран, найдет у Лависса и Рамбо ряд ценных фактических сведений.

Как уже сказано, авторы стараются избежать упрека именно в национальных пристрастиях, и следует признать, что в подавляющем большинстве случаев, хотя и не везде, им это удается. Читатель не найдет здесь и признака того шовинистического угара, который так портит иной раз даже и ценные по своим материалам работы французских буржуазных историков. Достаточно взглянуть, например, на первые два тома, посвященные Наполеону и его времени. На 18 брюмера автор смотрит как на насилие и беззаконие, и притом «не оправдывавшееся никакой серьезной опасностью ни внутренней, ни внешней». Это полное отсутствие восторженных славословий по адресу Наполеона — бесспорное достоинство страниц, посвященных 18 брюмера, хотя, как читатель увидит в своем месте, редакция расходится с французским автором в общей оценке исторического значения брюмерского переворота.

Мы не находим тут и упорного стремления, свойственного даже таким выдающимся историкам, как Сорель, Вандаль и вся их школа, доказать вопреки рассудку и очевидности, что Наполеон вовсе не был агрессором, а его «вынуждали» европейские державы воевать без конца. Труд Лависса и Рамбо решительно отвергает эту точку зрения. «Возможность новой войны радовала Бонапарта. Война была для него личной потребностью, и он считал себя призванным воевать почти беспрерывно».

Мы находим тут и очень четкое противопоставление войск революционных — наполеоновской армии, противопоставление, являющееся прямой иллюстрацией к известной мысли Ленина о превращении революционных войн в захватнические войны Наполеона. «Во время нашествия 1792 и 1793 годов,— читаем мы у Лависса и Рамбо,— армия, политически еще ничем не

запятнанная, являлась в глазах народа как бы славным и непорочным символом Франции. В период Империи она принадлежит одному человеку, она ревностно исполняет все его предначертания и помимо согласия народа способствует поддержанию долгой смуты в Европе. Наполеон живет лишь войной и для войны».

Восстание Испании против Наполеона описывается с явным сочувствием к народу, восставшему против насильника, и с возмущением против грабительской агрессии Наполеона.

Развод Наполеона с Жозефиной характеризуется так: «Чтобы прикрыть все эти беззакония, Наполеон заставил сенат санкционировать его развод особым указом, а так как сенат не располагал ни судебной, ни законодательной властью, то и самое его вмешательство в это дело было беззаконием».

Еще легче, конечно, авторам, участвовавшим в составлении этих восьми томов, сохранить беспристрастие, когда они говорят о событиях и лицах, меньше затрагивающих «патриотическую» струну во французах, чем наполеоновская эпопея. Так, провокационное поведение французского правительства в 1870 г. отмечено точно, и тон герцога Граммона, французского министра иностранных дел, в его речи 6 июля 1870 г. назван «нелепо вызывающим». Очень беспристрастно описана геройская оборона русских в Севастополе в 1854—1855 гг.

Следует, кстати, отметить еще одну черту, очень выгодно отличающую труд Лависса и Рамбо от других подобных изданий: редакторы и отдельные авторы с серьезным вниманием относятся к истории военных действий, и читатель этого труда найдет здесь не те голые и ровно ничего не говорящие схемы и шаблонные характеристики, которыми так часто отделываются историки, но толковый, живой, ясный рассказ о битвах, об осадах, о стратегических (и даже тактических) маневрах. Наполеоновские войны, колониальные войны, Крымская война, франко-германская война 1870—1871 гг. описаны очень полно и хорошо, им отведено подобающее место. Советский читатель, который, изучая и историю и современную политику, никогда не должен забывать — да никогда и не может забыть — о том окружении, в котором теперь мы живем, весьма естественно проявляет самый живой интерес к тому, как в недавнем прошлом подготовлялись и начинались войны, и к тому, как они велись, и к тому, какие причины приводили одни державы к победе, другие — к поражению. Розовая водица буржуазного пацифизма никого в нашу великую и грозную эпоху уже не удовлетворит, и наш советский читатель только пожмет плечами с досадливым недоумением и насмешкой, если начать ему проповедовать теорию покойной пропагандистки пацифизма Берты Зуттнер о том, что «историкам не следует описывать войны,

а нужно поскорее стараться совсем о них забыть». Эта политика страуса, прячущего голову под крыло и думающего, что не видеть опасности — значит избавиться от опасности, эта политика, свойственная либеральной буржуазии предвоенного периода, нисколько не пленила Лависса и Рамбо и их сотрудников. И их труд дает немало страниц по истории войн, которые советская молодежь прочтет, конечно, с жадным интересом. Особенно хорошо изложена война 1870—1871 гг. Автор этой главы Артюр Шюкэ приводит, между прочим, свидетельство генерала Федэрба, вполне подтверждающее отзыв Маркса и Энгельса о предательском поведении французской буржуазии перед лицом вторгшегося врага. Шюкэ пишет: «Федэрб свидетельствовал, что, вторгнись неприятель во Фландрию, всякий комендант крепости, который захотел бы обороняться до последней крайности, встретил бы сопротивление со стороны буржуазии, национальной гвардии и мобилизованных».

Крайне содержательны последние два тома, посвященные «концу века» (1870—1900). Тут особенно полезной для советского читателя окажется статья об Италии, о которой на русском языке имеется так мало книг. Очень доказательно характеризуется всегдашняя нелепость, искусственность и вредоносность для интересов Италии «союза» с Германией, причем цитируются слова итальянского министра иностранных дел Робиланта, сказанные им по поводу уже четвертый год существовавшего тогда (1886) союза Италии с Германией: «Положительно, Италия утомлена этим бесплодным союзом, и я слишком глубоко чувствую, что он всегда будет бесполезен для нас». Вообще следует заметить, что умение редакторов и авторов приводить в их кратких очерках всегда очень кстати подлинные цитаты из документов необыкновенно оживляет изложение, не говоря уже о том, насколько эта манера цитировать первоисточники повышает научную ценность всего труда.

Одним из больших качеств труда Лависса и Рамбо является удивительное по ясности, точности и вместе с тем немногословности изложение истории сложнейших дипломатических конфликтов и «вопросов», имевших в истории XIX в. огромное значение, и развитие которых так сказалось и продолжает сказываться и в XX в. Тут прежде всего следует назвать «восточный» (турецкий) вопрос, балканские дела, вопрос о Конго и вообще вопрос о разделе африканского континента. Об этих вопросах и конфликтах и об их истории постоянно и очень настойчиво вспоминается и в общих трудах, и в монографиях, и в книгах, и в журналах, и даже в газетах, часто делаются при этом беглые намеки, а что означают эти намеки, в чем заключались главные черты развития этих сложнейших явлений, читатель далеко не всегда знает и не всегда может даже сообразить, где

ему искать нужные справки и сведения. У Лависса и Рамбо все это рассказано кратко, логически связно, живо и толково.

К числу недостатков восьмитомника Лависса и Рамбо относится прежде всего недостаточно глубокая и совершенно неправильная трактовка колониальной политики европейских держав. Правда, и тут редакторы и сотрудники воздерживаются от того откровенного тона сочувствия европейским хищникам и захватчикам, от того явного высокомерия и пренебрежения, которые так свойственны подавляющему большинству буржуазных историков, когда они пишут о «колониальных народах», т. е., иначе говоря, о народах, сделавшихся жертвой захватчиков. Лависс и Рамбо и их сотрудники и тут стараются соблюсти объективный взгляд. Но далеко не всегда это им удается. Особенно ясно проступает положительное отношение авторов к «успехам» колониальной агрессии там, где речь идет именно о французских захватах. Говоря, например, об опустошительной войне, которую повел генерал Бюжо против героя национального сопротивления арабов Абд-эль-Кадера, автор этой главы (т. IV, гл. X) явно сочувствует Бюжо и похваливает его за «правильный» способ ведения войны, а герцога Омальского за молодецкое изрубление защитников ставки Абд-эль-Кадера при взятии «смалы». И дальше, говоря о судьбах Алжира уже при Наполеоне III, автор распространяется о «благодетельном влиянии цивилизации». Более справедливы отзывы авторов, когда они пишут не о французских, а об английских колониях. В статье об Индии, например, отмечаются и жестокость английских завоевателей и ужасающие постоянные голодовки нищенствующего населения. Но и тут, на страницах, посвященных восстанию сипаев, автор этой главы, следуя прочной английской историографической традиции, вместо того, чтобы дать развернутую картину вопиющих безобразий и насилий английской Ост-Индской компании, останавливается на внешнем, случайном предлоге, вызвавшем первый взрыв, и по шаблону говорит о знаменитом сале, которым сипаев заставили смазывать ружья, чем, мол, возбудили их фанатическое чувство и т. д. Правда, даются вскользь и другие указания на причины недовольства, но все-таки не очень ясно. Разумеется, и речи нет о том углубленном анализе положения Индии, который позволил Марксу еще за четыре года до восстания предвидеть его неизбежность. О неистовых жестокостях голландской колонизации Явы и других островов Индонезии не сказано ничего, хотя о внешних событиях, связанных с голландским захватом, дан довольно обстоятельный очерк.

Вообще же недостатком коллективного труда Лависса и Рамбо следует признать отсутствие серьезного интереса к участию «колониальных» народов, их роли в мировом историче-

ском процессе. Авторы толково и обстоятельно следят за колониальной политикой европейских держав, но не за теми последствиями, которые проистекали из этой политики для народов земного шара, подпадающих постепенно под власть европейского и американского капитала. В связи с этим должно отметить и отсутствие в соответствующем месте сколько-нибудь удовлетворительной общей характеристики положения негров в Северной Америке накануне начала гражданской войны 1861—1865 гг., а также во время и после этой войны, тогда как борьба партий и военные действия, связанные с эмансипацией негров. рассказаны очень хорошо, очень полно и живо. Точно так же читатель почти ничего не узнает о положении туземного населения в Индокитае во время завоевания его французами и в период, следовавший за этим завоеванием.

Главы о Китае производят двойственное впечатление. С одной стороны, Лависс и Рамбо первые в европейской общей историографии — это нужно поставить им в очень большую заслугу — посвятили Китаю в разных томах своей коллекции хронологически последовательные и очень дельные, написанные специалистами очерки, дающие в общем отчетливую характеристику событий китайской истории в XIX в. Советский читатель, которому, естественно, так часто теперь хочется почитать о народе, упорно борющемся сейчас против истинно разбойничьей японской агрессии, найдет в труде Лависса и Рамбо достаточно надежного материала для исторических сближений и размышлений. Это очень большое достоинство данного труда. Но, с другой стороны, и тут авторы слишком чутко относятся к тому, что «положение иностранцев в Китае сделалось невыносимым и совершенно не соответствовало степени развития цивилизации, достигнутой в середине XIX века», и недостаточно подчеркивают, что ведь и положение китайцев становилось «совершенно невыносимым» именно вследствие насилий и захватов европейцев и японцев. Вопиющая по гнусности мотива война англичан с китайцами, начатая в 1840 г. с целью насильственно навязать Китаю покупку привозимого из Индии опиума, излагается автором с эпическим спокойствием и без единого слова осуждения. Карательная экспедиция французов и англичан против Китая в 1860 г., окончившаяся взятием Пекина и разграблением как города, так и Летнего дворца, в конце концов сожженного дотла, описывается тоже больше с точки зрения воинских «подвигов» европейских войск, чем с точки зрения ущерба и переживаний китайского народа.

Гораздо меньше сказывается этот недостаток внимания к «нехристианским народам» в обстоятельных, содержательных и очень хорошо с внешней стороны написанных главах, касающихся Турции с Египтом и Аравией. Тут чувствуется, что

народы этих стран интересуют автора сами по себе, даже без всякого отношения к тем или иным европейским влияниям и европейским интригам. Читатель найдет здесь много фактов, о которых понятия не имеют составители других общих трудов по истории XIX в.

В упрек авторам можно поставить зато слишком уж беглое изложение событий, относящихся к Персии (Иран). При соблюдении масштаба, принятого относительно Турции, следовало бы Персии посвятить по крайней мере в три раза больше места, чем ей отвели здесь Лависс и Рамбо.

Ценность главы «Раздел Африки», дающей при всей сжатости изложения обильный и важный фактический материал, понижается опять-таки тем, что автор (известный знаток «Черного материка» Робер де Сент-Эймур) почти ничего не говорит о туземцах Конго и других африканских стран, о которых, однако, уже имеются (и давно имеются) интересные не только этнографические, но и исторические данные. Это тем более жаль, что по существу дела автор подкрепляет конкретными данными тезис Ленина о том, что к концу XIX столетия кончился период раздела земного шара между капиталистическими державами и наступило время передела, т. е. насильственных покушений одних соперников урвать у других их добычу. Вот что говорит Сент-Эймур: «Все материки были заняты, оставалась одна лишь Африка, и вот все европейские державы набросились на нее, и для этого материка, бывшего до сих пор в пренебрежении, внезапно наступил период раздела. По торопливой жадности соперников это соревнование напоминало растерзание добычи собаками. Не прошло и двадцати лет, как почти вся Африка была разобрана, теперь, если совладельцы захотят расширить свои владения, они смогут сделать это лишь за счет слабейших между ними, и, судя по некоторым предварительным признакам, этот новый период истории не очень далек». Эту совершенно правильную мысль так кстати было бы дополнить фактами, касающимися крупного ухудшения положения туземцев в этот начинающийся период передела. Но этих-то фактов о туземцах «Черного материка» мы и не находим.

Эта односторонность, узость кругозора при описании исторических событий, характеризующих колониальную политику, связана с тем главным недостатком труда Лависса и Рамбо, каким является скудость фактов, относящихся вообще как к экономике, так и к социальной борьбе, к истории основных классов капиталистического общества в XIX в. Дело не только в том, что грандиозный переворот в исторической науке, связанный с именами Маркса и Энгельса, почти вовсе не отразился в разбираемом коллективном труде во всем своем значении. Никто и не требует и не может ждать от сановника Третьей француз-

ской республики Альфреда Рамбо и от фактического руководителя высшего исторического преподавания во Франции Эрнеста Лависса, чтобы они были очень близки к социально-политическим взглядам хотя бы их ближайшего сотрудника Ромена Роллана. В труде Лависса и Рамбо мы, правда, находим главу, посвященную экономике Франции, но, во-первых, и эта глава слишком недостаточна, а во-вторых, об экономике других стран не говорится ничего. Следует заметить, что редакторы не только в этом случае, но и в других случаях разрубили гордиев узел упрощенным способом, а именно путем изъятия той или иной темы: например, давая очерк истории изобразительных искусств и музыки во всех странах Европы, они почему-то систематическую историю литературы дают исключительно для одной Франции, довольствуясь для других стран лишь очень беглыми упоминаниями.

Слабый интерес редакторов к экономике, конечно, сказался наиболее вредно и больше всего при описании узловых событий истории классовой борьбы. Страницы, посвященные, например, июньским дням 1848 г. или Парижской Коммуне 1871 г., не принадлежат к числу украшений восьмитомника Лависса и Рамбо. Конечно, как уже было отмечено, редакторы и авторы стараются проявить «объективность». Читатель не найдет на этих страницах и сколько-нибудь углубленного анализа тех социально-экономических условий, которые породили огромные движения эксплуатируемых против эксплуататоров. Да и нельзя о Коммуне и ее причинах сказать сколько-нибудь обстоятельно и отметить хотя бы самое главное, посвящая этому событию несколько беглых страниц. Следует заметить, что обойден молчанием и I Интернационал и начало II Интернационала, которое, однако, должно уже было бы хронологически войти в восьмой том. Правда, к счастью, у нас в СССР существует вполне доступная читателю русская и переводная литература и о Коммуне, и о июньских днях, и о I и II Интернационалах, которая прекрасно возместит все эти пропуски.

Новейшее французское издание Лависса и Рамбо, вышедшее в 1925 и следующих годах, в общем считается с приобретениями и открытиями исторической науки, сделанными до 1925 г., хотя и не всегда. Конечно, научная литература 1925—1938 гг. кое-что прибавила к тому огромному багажу фактических знаний, которыми располагали авторы и редакторы последнего французского издания. Постараемся в самых кратких словах коснуться хотя бы некоторых мест коллективного труда Лависса и Рамбо, знакомство с которым особенно рекомендуется читателю пополнить самостоятельным чтением. Начать с того вопроса, по которому и до 1925 г. существовала огромная литература, оставшаяся вне поля зрения редакторов. История рабо-

чего класса, история I Интернационала, история II Интернационала, история утопического и научного социализма и все сопредельные темы — все это, конечно, так мало и так поверхностно затронуто у Лависса и Рамбо, что совершенно необходимо обратиться к самостоятельному чтению. Авторы и редакторы игнорируют всю огромную литературу по этим вопросам. Наконец, вне поля зрения редакторов и авторов остались произведения основоположников революционного марксизма. Огромный материал, заключающийся в трудах классиков марксизма, материалистическое мировоззрение и острота их мысли оказались недоступными той группе либеральных историков, которых объединяет «История XIX века». Следовательно, новый этап в исторической науке, открытый «Манифестом Коммунистической партии» Маркса и Энгельса, продолженный ими во всех последующих трудах и развитый в эпоху империализма Лениным, не нашел себе места у Лависса и Рамбо. Труды классиков марксизма-ленинизма оплодотворили науку, они дают возможность вскрыть многие сокровенные тайны исторических явлений.

Нечего и говорить, что вне поля зрения редакторов и авторов французского издания осталась, конечно, и вся огромная документация, выпущенная в свет Советским правительством и до и после 1926 г. А в этой документации немало драгоценных данных по истории как внутренней, так и внешней политики России и Европы в XIX в. Но тут читателю помогут ориентироваться как наши примечания к главам, касающимся России, так и приложенный к нашему изданию очерк революционного движения в России в XIX в.

Отметим немногие примеры некоторой «отсталости» труда Лависса и Рамбо, вызванной и обилием новой документации и ростом монографической литературы, вышедшей уже за последние 12—13 лет, т. е. после появления новейшего издания Лависса и Рамбо.

По наполеоновской Европе и по времени Реставрации за годы, прошедшие после появления последнего французского издания, появились последние два тома труда Дрио «Napoléon et l'Europe» (1927), труды Анри Сэ «Esquisse d'une histoire économique et sociale de la France depuis les origines jusqu'à la guerre mondiale» (1929), Дешана «Sur la légende de Napoléon» (1931), последние пять томов исследования Кирхейзена «Napoléon I», моя работа, подводящая итог исследованиям об этом времени (Е. В. Т а р л е. Наполеон. Соцэкгиз, 1938) [4]. Появилось в 1928 г. мое исследование об экономике Италии при Наполеоне «Le blocus continental en Italie». Вышли за эти годы вновь найденные письма Наполеона к Марии-Луизе (Lettres inédites du Napoléon I à Marie-Louise), три тома Mémoires королевы Гортензии

(1926—1927) и целый ряд книг, указания на которые читатель найдет в библиографических приложениях [к тому I истории XIX в. под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938].

Теперь Лависс и Рамбо едва ли оставили бы в неприкосновенности свой отзыв о 18 брюмера, слишком розовую характеристику положения Италии при Наполеоне, слишком одностороннее воззрение на 1812 г. и на обстоятельства падения Империи. Наука внесла за эти последние годы также поправки в концепцию Лависса и Рамбо о церковной политике Наполеона. Монографии Латрейля «Napoléon et le Saint-Siège» и «Le catéchisme de 1806», вышедшие в последние два года, вносят значительнейшие поправки в соответствующее изложение Лависса и Рамбо: строжайше утилитарное воззрение Наполеона на церковь, фактическое ее использование в чисто полицейских и пропагандистских целях может теперь считаться не только вполне доказанным, но и должно быть признано богато иллюстрированным конкретными фактами. Объединительный процесс, приведший к созданию Германской империи в 1871 г., и вся история «бисмарковской Германии» освещены в настоящее время публикациями, вышедшими и до и после появления последнего французского издания Лависса и Рамбо, гораздо обстоятельнее и именно поэтому правильнее, чем у Лависса и Рамбо. Новейших публикаций редакторы и авторы, естественно, не могли знать, а с некоторыми из вышедших до 1925 г. они недостаточно считались. Они не могли, прежде всего, использовать ряд томов огромной германской публикации документов «Die grosse Politik der europäischen Kabinette», а также французских публикаций, предпринятых после мировой войны французским правительством и уже давших ценнейший материал. Эти и другие документы заставляют гораздо глубже всматриваться в историю подготовки и проведения Бисмарком тех войн, которые привели к созданию Германской империи и к ее успехам после 1871 г. Механика провоцирования войн германской дипломатией вскрыта теперь с несравненно большей глубиной и основательностью, чем это сделано у Лависса и Рамбо. Фейт-Валентин и другие исследователи новейшей истории Германии уже могли осветить ряд вопросов, оставшихся в тени в то время, когда составлялся труд Лависса и Рамбо. У новейших исследователей уже нет и слишком положительной, почти хвалебной характеристики внутренней политики бисмарковской и вильгельмовской Германии. Точно так же шагнула наука вперед и в деле разработки некоторых вопросов истории Франции. Появились специальные монографии о буланжизме, о Панаме, о деле Дрейфуса.

Лависс и Рамбо не дают по истории Соединенных Штатов той отчетливой картины, которую могли бы дать, если бы зна-

ли, например, вышедшую в 1929 г. капитальную работу Кларка по истории мануфактурной промышленности в Соединенных Штатах Америки (Clarke. History of the manufactures in the U. S. A. 1860—1914. Washington) или Кэрмэна (Carman H. J. Social and economic history of the U. S. A., первые два тома).

Вся ранняя история Соединенных Штатов и причины гражданской войны получили бы у Лависса и Рамбо более реальное и отчетливое освещение, и экономические причины описываемых явлений стали бы гораздо яснее читателю. Вообще именно в последние годы (1930—1938) экономическая история XIX в. разрабатывается на Западе гораздо усерднее, чем это имело место до войны и во время войны. Лависс и Рамбо (точнее, авторы, работавшие по подготовке их нового французского издания) не могли воспользоваться интереснейшим материалом, собранным Порьиром (Puryear V. J. International economics and diplomacy in the Near East (1834—1853). London, 1935), много дающим для понимания экономических причин Крымской войны. Немало пришлось бы пересмотреть редакторам и авторам и вообще по ряду вопросов британской внешней политики, если бы они могли знать издания Гуча и Темперлея или книгу Галеви (Halévy E. Histoire du peuple anglais au XIX siècle, четыре тома).

Теснейшая связь между агрессивностью британской внешней политики в XIX в. и растущими с каждым десятилетием планами и потребностями английского экспорта была бы читателю яснее представлена, чем это сделано в труде Лависса и Рамбо. И тогда шовинизм Пальмерстона, о котором столько говорится, получил бы реальное объяснение.

При свете новейшей литературы и документации слишком положительной и даже отчасти слащавой является и характеристика роли и личности Виктора-Эммануила, первого короля воссоединенной Италии, и его министра, «великого политика» Кавура. Все, что мы теперь знаем — хотя бы из документов, касающихся переговоров Кавура с Наполеоном III до и после Крымской войны, до и после покушения Орсини, перед войной и после войны 1859 г.,— подтверждает не воззрение французского автора, а скорее взгляд нашего Добролюбова, который в своей статье (1861) «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» с истинной гениальной проницательностью, не располагая еще никакими документами, дал точный и яркий портрет этого тонкого и пронырливого политика, о котором метко было сказано, что он принадлежит к тем умеренным либералам, для которых более характерна умеренность, чем либерализм.

Много уточнений в историю Италии после 1871 г. внесла появившаяся в 1929 г. «История современной Италии» (Histoi-

re de l'Italie contemporaine) Бенедетто Кроче. Этот автор дает совсем отсутствующий у Лависса и Рамбо анализ эволюции, через которую прошла итальянская монархия за последнее сорокалетие XIX в. Бенедетто Кроче дает также картину нарастания милитаристских тенденций и причину этого явления. Всего этого мы не находим у Лависса и Рамбо.

Точно так же неполно характеризуется и роль Наполеона III в деле воссоединения Италии. Назвать его в данном именно случае «коронованным мечтателем», как это сделано в труде Лависса и Рамбо, значит слишком мягко и, главное, слишком лестно отозваться о политическом деятеле, который ухитрился урвать у объединяющейся Италии две провинции (Савойю и Ниццу) и вопреки обещанному дать за это лишь половину того, что обещал. Тут редакторов и авторов следует упрекнуть в том, что они не использовали капитальный труд Поля Маттера Кавура (Cavour), вышедший незадолго до появления нового французского издания (1923).

Крайне неясно также, какую «демократию» имеет в виду автор, когда утверждает, что «во Франции демократия не могла понять, как Наполеон III, назвавший себя сыном великой революции, продолжает охранять своими солдатами авторов подобных теорий». Речь идет о неистовом мракобесии папы Пия IX, который держался в Риме исключительно поддержкой французского гарнизона. «Демократия», если ее представителями в тот момент считать, например, В. Гюго, Эдгара Кинэ или эмигрантов, вроде Ледрю-Роллена, бежавших после 2 декабря из Франции, никогда и не думала признавать Наполеона III «сыном великой революции» и нисколько не удивлялась его дружбе с Пием IX. А французская крупная буржуазия ничего против этой дружбы не имела. Все это теперь в литературе последних лет выясняется вполне отчетливо, но и в некоторых трудах, бывших в распоряжении Лависса и Рамбо, данный вопрос был уже освещен в главном: взять хотя бы книгу Буржуа и Клермона «Рим и Наполеон III» (Rome et Napoléon III).

По целому ряду вопросов международной политики авторами и редакторами мало использован знаменитый, так долго бывший под спудом третий том «Gedanken und Erinnerungen» Бисмарка, и это сказалось на неполном освещении истории возникновения франко-русского союза. Теперь может быть признано, что отставка Бисмарка сыграла решающую роль в ускорении этого события мирового значения.

Редакция отмечает в примечаниях те места в изложении, которые уже успели в той или иной мере устареть. А прилагаемая библиография с особенным вниманием отмечает труды, явившиеся на свет после 1925 г.

Лависс и Рамбо и их сотрудники дают советскому читателю

колоссальный, научно проверенный, стройно систематизированный материал. Читатель найдет здесь не все, но очень многое, что ему совершенно необходимо знать по истории человечества в XIX столетии.

Но, конечно, если овладеть материалом, усвоить фактическое содержание этих томов — значит положить прочное начало серьезному знакомству с историей XIX в.,— то это вовсе не означает, что Лависсом и Рамбо можно свое историческое образование и закончить. Читателю захочется ознакомиться с историей тех стран и народов (большей частью внеевропейских), о которых у Лависса и Рамбо говорится слишком мало и бегло. Читатель пожелает узнать также подробности именно о тех узловых моментах социальной борьбы XIX в., о которых, как замечено выше, авторы этого труда говорят также слишком мало и бегло, а часто неправильно.

Наконец, советский читатель, любознательность которого именно и будет возбуждена обилием и яркостью предложенных его вниманию исторических фактов, пожелает изучить суждения классиков марксизма-ленинизма, так много, как известно, писавших именно по поводу событий XIX столетия. Кроме этих законнейших пожеланий, с которыми читатель вправе обратиться к редакции русского издания Лависса и Рамбо, есть еще одно не менее основательное требование: читатель должен получить указание хотя бы на самые главные труды по истории XIX в., вышедшие уже после появления последнего издания Лависса и Рамбо как на Западе, так и у нас.

Словом, читатель, изучая Лависса и Рамбо, в этих же восьми томах найдет и указатель соответствующих каждой главе высказываний классиков марксизма-ленинизма и обстоятельнейшие библиографические указания главнейших произведений исторической литературы, касающейся XIX в., и при этом особое внимание обращено на новейшие труды как на иностранных, так и русском языках с указанием не только на книги, но и на наиболее значительные статьи, появившиеся в наших журналах после революции. Наконец, новое издание пополнено указанием на вышедшие в России материалы, неизвестные Лависсу и Рамбо, на имеющиеся первоисточники. Библиографический отдел пополнен указаниями на книжные и брошюрные сокровища, касающиеся России и русской истории в XIX в. и хранящиеся в единственной в мире по своему богатству коллекции Ленинградской публичной библиотеки, носящей специальное латинское название «Россика».

Снабженное такими указаниями русское издание Лависса и Рамбо облегчит читателю необходимую работу пополнения всего того, отсутствие чего является недостатком монументального французского труда и с идеологической точки зрения и с

точки зрения обстоятельности некоторых глав. Читатель, желающий получить серьезное историческое образование, начинающий научно работать студент или аспирант, преподаватель средней школы — все они должны найти в русском издании Лависса и Рамбо не только сокровищницу фактического материала, но и точные указания на то, как, отправляясь от Лависса и Рамбо, продолжать углублять свои знания по истории XIX в., обращаясь к классикам марксизма-ленинизма, к монографической литературе и, наконец — при выборе истории как научной специальности,— к первоисточникам. В особенности важно было дать возможно полные указания именно к главам, относящимся к истории России в XIX в. Написанные знатоком новой русской истории Альфредом Рамбо, они тем не менее покажутся, конечно, нашему читателю во многом наивными, неполными, однобокими, даже прямо неверными.

Французский ученый, республиканец, буржуазный демократ, «постепеновец» и противник революции, Рамбо очень многого, явственно, не знает и очень многого не понимает и не учитывает при описании борьбы народных масс с самодержавным правительством, хотя вполне неодобрительно относится к русской реакции.

Вот почему внимание составителей библиографического обзора особенно было направлено именно на литературу, относящуюся к главам, где речь идет о России в XIX в. Тут-то, между прочим, и пригодилась наша ценнейшая ленинградская коллекция «Россика», о которой только что было упомянуто. Библиография по русской истории доведена с особой полнотой и тщательностью вплоть до 1938 г. Эти библиографические указания помогут читателю пополнить свои сведения теми материалами, которых он не найдет у Лависса и Рамбо.

Редактор и издательство считали себя обязанными в ряде случаев дать свои примечания. Не забудем, что ведь дело не только в научных и политических воззрениях редакторов и авторов, но и в том, что наука успела шагнуть вперед за те годы, которые прошли со времени появления последнего французского издания (1924—1926) труда Лависса и Рамбо, и кое о чем мы имеем гораздо более обильные и точные сведения, чем те, которыми располагали авторы и редакторы этого коллективного труда, а поэтому примечания, конечно, были необходимы. Но слишком испещрять примечаниями русский перевод нам показалось совершенно излишним: довольно помнить о буржуазно-либеральном мировоззрении редакторов и авторов этого коллективного труда. Наш читатель сам сделает в ряде случаев необходимые мысленные поправки.

Наше издание дает читателю историко-географические карты, отсутствующие во французском издании, которые должны

облегчить представление о переменах, постигших границы отдельных государств и их колоний в различные периоды истории XIX в.

Что касается перевода издания 1937 г., то следует сказать, что если в некоторых небольших частях он удовлетворителен, то в преобладающей части — откровенно плох.

Тугой, корявый, неряшливый язык, правда, не всех, но многих гранатовских переводчиков в неприкосновенности был сохранен в издании 1937 г. Систематическая проверка и исправление перевода обнаружили и совсем непозволительные пропуски, и обильнейшие фактические ошибки, обусловливаемые явственно недостаточным знанием как французского, так и русского языков и плохим знанием истории, и небрежность, доходящую, например, до того, что вместо «Тьер» в ряде мест переводчики писали «Гизо». Легко представить себе, что получалось при столь свободном и независимом отношении к фамилиям политических деятелей. Для нового издания, рассчитанного на массового читателя, сделаны сверки строка за строкой русского перевода и исправлены все замеченные ошибки, неточности, небрежности и пропуски и, что гораздо труднее, основательно исправлен слог перевода.

Повторяем, есть главы, изложенные в русском переводе сравнительно гладко, литературно. Но есть и такие места, которым даже и никакое исправление не поможет и которые просто нужно было перевести заново. В некоторое оправдание русским переводчикам нужно сказать, что и во французском подлиннике не все изложение одинаково изящно и литературно и далеко не все авторы походят в этом отношении на своего товарища по труду Лависса и Рамбо — Ромена Роллана. Есть авторы, пишущие довольно тяжело — веской французской прозой, умудряющиеся вкладывать чуть не целую печатную страницу в три истинно карамзинских периода, с бесчисленным количеством деепричастий и придаточных предложений. Немудрено, что в русском переводе язык оказывался местами сугубо суконным.

Эта труднейшая работа выправления слога была проделана для настоящего издания. Редакция стремилась, чтобы наш читатель получил книгу, читать которую было бы не только полезно, но и легко. Французские издания Лависса и Рамбо издавались для читательского коллектива в 10—12 тысяч человек, а не в 100 тысяч, как он издается у нас.

Инициатива партии и правительства в этом огромном научно-просветительном предприятии может и должна привести к серьезному повышению и интереса к истории и уровня исторического образования в советской читающей массе. Ведь в смысле оценки *демократизации* серьезных исторических знаний в СССР сравнительно с капиталистическими странами достаточно

красноречив язык цифр и сравнение, например, нашего тиража Лависса и Рамбо с тиражом французским, в десять раз меньшим.

Но именно это налагало на нас обязанность сделать все зависящее, чтобы и в смысле научного оборудования наше издание было полнее и лучше французского, и в смысле доступности для читателя, в смысле легкости чтения и усвоения оно не только не уступало бы французскому, но, если возможно, даже превосходило его.

Пока у нас нет еще систематической, последовательно выдержанной с марксистско-ленинской точки зрения и вместе с тем не уступающей Лависсу и Рамбо в смысле обилия фактического материала книги по общей истории XIX столетия,— этот восьмитомный труд при всех своих недостатках может очень и очень пригодиться нашему жадному к историческому знанию советскому массовому читателю.

В кн.: История XIX века под ред. Лависса и Рамбо, т. 1. М., 1938, стр. 3—30.

НОВЫЕ ПОКАЗАНИЯ О МИРОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ

Архив полковника Хауза. Подгот. к печати Ч. Сеймуром. Перевод с английского Н. К. Котова. Т. 1—2. М., 1937. Т. 1. 220 стр. Т. 2. 359 стр.

Издание документов из частного архива друга и фактотума Вудро Вильсона полковника Хауза является как нельзя более кстати. Теперь, когда советская наука ликвидирует последствия систематической фальсификации истории в самых различных ее областях, проводившейся в свое время «школой» Покровского, пора разделаться окончательно и с одним из совсем уж безобразных по своей явной лживости одним из наиболее ошибочных в научном отношении и наиболее вредных в отношении политическом представлений, пущенных в ход самим Покровским и усердно поддерживавшихся его тогдашними учениками.

Теперь они, к счастью, круто переменили свою позицию на прямо противоположную. Это нужно, конечно, всецело приветствовать. Не следует им только уподобляться крыловскому Климычу (а некоторые из них к этому склонны). «Про взятки Климычу читают, а он украдкой кивает на Петра». Наши «климычи», кивая на Покровского, усиленно молчат о собственных недавних «подвигах», принесших, конечно, немало вреда в свое время. Мы говорим о пресловутом вопросе касательно «виновности» в мировой войне. Сначала «школа», иной раз из приличия, нехотя, соглашалась признать, что и Германия тоже немного как будто виновна в возникновении войны. Но с течением времени эти беглые и ровно ни к чему не обязывающие оговорки были отброшены и советскому читателю порой преподносились и на страницах тогдашнего «Историка-марксиста» [1], и на страницах «Красного архива», и в отдельных книгах, и в обильно изготовлявшихся тогда дилетантских «введениях» к сборникам дипломатических документов поистине диковинные измышления.

Неустанно, с жаром и подъемом обличалась Антанта. А так как Антанта и в самом деле тоже была виновна и очень виновна, то эти статейки приобретали для наивного читателя крайне убедительный вид, стоило только, обличая Антанту, учтиво помалкивать или непонятной скороговоркой бормотать о Германии.

Сам М. Н. Покровский, возглавляя ряд исторических учреждений, мог особенно легко распространять эти свои антинаучные и антиленинские взгляды, не допуская в то же время критики их со стороны исторической общественности. Его учениками повторялась с истиннодилетантским самодовольством фраза, рассчитанная на полное невежество и умственную беспомощность читателя и на прочную тогдашнюю обеспеченность автора и всей «школы» от всякой критики: «С начала мирового кризиса 1911—1914 гг. военно-политическая обстановка его развязки была предрешена военными соглашениями и планами генеральных штабов Франции и России». Указывалось при этом, что при всем своем миролюбии Вильгельм в 1912 г. «не мог не согласиться» с Тирпицем, который сделал «практический вывод из событий», а именно, что «Германия потерпела дипломатическое поражение по вине Англии и должна вознаградить себя дополнительным законом о морских вооружениях»; писались статьи вроде той, откуда взята эта цитата, под широковещательным и нарочито обобщающим названием «К истории возникновения мировой войны» [2], в которых как дважды два — четыре «доказывалось», что к войне больше всего стремились и вели Европу именно Франция и Россия, а о Вильгельме скромно и вполне деликатно вскользь сообщалось, что он «не мог не согласиться» с Тирпицем. Были статьи и книги еще и похуже. Писались этими адептами «школы» и очень большие по объему статьи о мировой войне в почтенных, серьезных энциклопедических словарях; статьи, сплошь путаные и проникнутые насквозь тем же добрым, бравым германофильским фантазированием и лганьем, как будто прямо взятым напрокат, в порядке бессознательного заимствования, из пресловутого журнала «Kriegsschuldfrage». С этим пора навсегда покончить. Повторения подобных явлений советская историография допускать больше не имеет права и не должна.

Звериные клыки германского империализма и в 1912, и в 1913, и в 1914 гг. ни один добросовестный историк не имеет (и никогда не имел!) никакого права и никакого основания конфузливо прикрывать от взоров потомства. Все были очень хороши: и Антанта и Германия с Австрией, что и говорить, но как раз в июле — августе 1914 г. именно Германия с Австрией и взяли на себя провокационную, инициативную роль. Документы Хауза относятся отчасти ко времени до мировой войны, и они лишний раз дают ясное понятие о германской «голубиной чистоте» и о «невинности» «миролюбивого» Вильгельма II и его присных в предвоенное время.

Позиция Вильсона (о самостоятельной позиции самого Хауза говорить не приходится) была весьма сложной и до начала мировой катастрофы и после ее возникновения, и грешно было

бы сказать, что редактор русского издания потратил уж очень много глубокомыслия и эрудиции на полторы странички предисловия, которые поместил зачем-то в начале I тома. Повторить на пространстве полутора страниц дважды, если не трижды, одну и ту же цитату из Ленина и ровно ничем от себя конкретно ее не иллюстрировать (а это было так легко!) не значит облегчить читателю понимание предлагаемых двух томов. Почему было не привлечь тот материал, который дает хотя бы Лансинг об этом же полковнике Хаузе? Как было не воспользоваться разоблачениями мексиканской политики Вильсона в нашумевших статьях миссис О'Шенесси, жены уволенного Вильсоном американского посланника в Мексике в годы президентства Хуэрты? Ни этих, ни вообще каких бы то ни было материалов у редактора в распоряжении, очевидно, не было. В том виде, как это предисловие дано, оно абсолютно ни к чему. Советский читатель уже перерос такую кустарщину.

Хауз носился перед войной, во время войны и после войны по Америке и Европе: то плыл в Лондон, Париж, то плыл из Лондона, Парижа, Берлина, шнырял около Белого дома, около посольств, около европейских дворцов и пропагандировал всемирное умиротворение, всеобщее успокоение, полюбовное размежевание между великими державами, старался, чтобы они передрались между собой возможно позже, а когда это все же в свой срок произошло, хлопотал о скорейшей ликвидации войны. Так с внешней стороны рисуется нам его жизнь, так по крайней мере отразилась она в документах его архива, часть которого издана в этих двух томах.

По существу полковник Хауз делал в Европе политику Вильсона, который перед войной был довольно равнодушен к вопросу о близком вооруженном столкновении обеих враждебных групп европейских держав, затем в первые годы войны определенно не считал нужным и возможным вмешаться, а с конца 1916 г. остановился на мысли, что экономические и политические интересы США требуют либо немедленного мира в Европе, либо, если это невозможно, победы Антанты, но никак не Германии. В самом ли деле Хаузу представлялся его пуританский друг в Белом доме ангелом тишины и кротости, ниспосланным с оливковой ветвью для установления мира на земле и благоволения в человеках, или же подвижной полковник прикидывается и только напускает на себя восхищение, этот вопрос не имеет для нас ни малейшего интереса. Его документы интересны вовсе не по тем чертам, которые они дают для характеристики самого Хауза или Вильсона, а по тем впечатлениям, которые оставались у него от разговоров с европейскими политиками. Он мог быть откровеннее в своих письмах и своих воспоминаниях, хотя и здесь не обходилось без оглядок и без полити-

канства. Документы архива Хауза даются их американским издателем, профессором истории Иэльского университета Чарлзом Сеймуром, иногда полностью, иногда в подробном, а иногда в кратком пересказе.

Эти документы крайне характерны. Хауз в Англии беседует с английскими дипломатами, с сэром Эдуардом Греем. Они все с жаром стоят за мир, они готовы во имя мира сговориться с кем угодно — и они делают еще до грозных июльских и августовских дней 1914 г. точь-в-точь то самое, что они делали потом, с 23 июля по 4 августа.

Документы Хауза очень мало и скупо говорят о позиции Англии. Они показывают, что уклончивая позиция Грея облегчила развязывание войны Германией, явившейся подлинным агрессором в войне 1914 г. В материалах Хауза крайне интересно все, что относится к Германии. Еще недавно, в 1934 г., Эмиль Людвиг в большой биографии Гинденбурга высказал мнение, что наше время (т. е. 1934 год и, добавим, подавно 1938 год) довольно точно соответствует 1912—1913 гг., когда «тоже» был «канун» мирового столкновения. Во всяком случае инициативная роль германских агрессоров — наиболее яркая и бесспорная черта и первого «кануна» и второго, теперь нами переживаемого.

Показания Хауза тем более интересны, что ведь он предназначал свои наблюдения не для публики, а для Вильсона.

Вот эти показания: «Новое поколение в Германии было воспитано своими наставниками, профессорами в духе агрессии; этот дух был крайне развит в армии и захватил офицеров флота». Хауз поехал в Берлин позондировать почву и разузнать, насколько близок всеобщий пожар. Вот что он писал президенту Вильсону 29 мая 1914 г.: «Положение — исключительное. Это милитаризм, дошедший до полного безумия». Попробовал Хауз поговорить с любимцем кайзера адмиралом фон Тирпицем, морским министром: «Он проявил определенную нелюбовь к англичанам, нелюбовь, граничащую с ненавистью». Конечно, безнадежно провалились все попытки Хауза сдержать пыл своих берлинских собеседников: «Мы много говорили с фон Тирпицем о вооружениях; я отстаивал принцип ограничения их в интересах международного мира, а он усиленно защищал необходимость для Германии обладать наилучшими военным и военно-морским аппаратами». Оказывается, что фон Тирпиц был тоже своего рода «пацифистом»: он настаивал на том, что Германия желает мира, но для его поддержания надо вселять страх в сердца ее врагов.

Наконец, состоялся и доверительный разговор Хауза с Вильгельмом II. Вильгельм сначала сболтнул несколько ни к чему не обязывающих шаблонных фраз («он заявил, что стремится

к миру, поскольку это служит интересам Германии»), а затем стал говорить о «латинских и славянских народах», с которыми Англия вступила в союз, т. е., проще, о французах и русских. «Он (Вильгельм — *Е. Т.*) говорил о них как о полуварварах», а об Англии, Германии, США «...как о единственной надежде победоносной христианской цивилизации...» Мы видим, что Вильгельм непрочь был сколачивать при случае агрессивный блок для нападения на русский народ задолго до победы большевиков в октябре 1917 г. Теперь Гитлер точь-в-точь, как тогда Вильгельм, собирается «спасать» «христианскую цивилизацию» от большевиков. Даже этот жаргон подготовляемой грабительской агрессии в Германии мало изменился!

Хауз спросил Вильгельма, почему Германия отказалась подписать пакт Брайана, предусматривающий арбитраж и годичную отсрочку до того, как могут быть (в случае конфликта) начаты военные действия. Вильгельм ответил: «Германия никогда не подпишет такого договора. Наша сила в том, что мы готовы вступить в войну без предупреждения. Мы не откажемся от этого преимущества и не дадим нашим врагам времени подготовиться». Больше всего поразила Хауза после всех этих откровенностей императора «безрассудная нервозность, которая в любую минуту могла вылиться в безрассудное нападение, и полная неспособность подойти к вопросу с разумной выдержкой и готовностью к компромиссу».

Хауз поехал из Берлина в Париж и Лондон. В Париже у него создалось такое впечатление, что «французские государственные деятели оставили мысль о реванше и о том, чтобы получить обратно Эльзас-Лотарингию: они удовлетворены существующим положением Франции». Хауз доложил об этом в доверительном письме к Вильсону уже из Лондона: «В Германии люди поглощены одной мыслью — промышленным развитием и прославлением войны. Во Франции я не наблюдал того, чтобы доминировал военный дух. Ее государственные деятели не мечтают больше о реванше и о возврате Эльзас-Лотарингии». Еще в народе есть такие мечты, «но те, кто управляет и знает дело, думают лишь о том, чтобы Франция могла идти своим путем».

Но вот грянули сараевские выстрелы. «Австрия, заручившись смелым одобрением Германии, замышляла свое нападение на Сербию».

Хауз написал Вильгельму II из Лондона письмо 7 июля 1914 г., в котором от имени Грея передавал о готовности английского правительства «положить основание постоянному миру и безопасности». Кстати, переводчик спутал слова «sire» (государь) и «sir» (сэр), и вышло нечто не весьма правдоподобное: Хауз в русском переводе именует всюду Вильгельма II в личных к нему обращениях сэром, т. е. точь-в-точь так, как в Анг-

лии и Америке обращаются, например, к случайному соседу в трамвае. (Одна лишняя буква — «е», а что иной раз делает!) «Итак, опасения, которые появились у Хауза в Берлине, стали принимать реальные очертания,— пишет Сеймур,— 23 июля Австрия предъявила Сербии ультиматум, составленный так, чтобы вызвать войну... «Как и предсказывал Хауз, немцы «не стали терять времени, а ударили сразу... русско-германская война, вызванная конфликтом между Австрией и Сербией, началась нападением на Францию, с предварительным циничным и жестоким ударом по Бельгии. Великобритания, обязанная стать на защиту Бельгии по юридическим и на защиту Франции по моральным побуждениям и понуждаемая собственными государственными интересами, не могла остаться в стороне. Началась всеобщая война». Конечно, тут курьезно подслащиваются мотивы Англии: дело было не в «юридических» и подавно не в «моральных» побуждениях, а в материальных интересах Британской империи, которая, конечно, не могла позволить раздавить Бельгию и Францию. «Германия направила России ультиматум, сделавший войну неизбежной, и бросила на Бельгию авангард своей армии, предназначенный для завоевания Франции». Заметим, что Хауз очень сдержан в суждениях и думает, что лично Вильгельм виновен только в глупости, в бряцании оружием, а не в сознательной провокации войны! «Он так далеко зашел в том, что может быть названо блефом, что в последний момент оказалось невозможным отступить». Хауз был опечален. Он не видел добра в возможной победе союзников и, значит, царской России, но больше всего боялся все-таки победы Германии: «Если же победит Германия, это обозначало бы пришествие на целые поколения несказанной тирании милитаризма. Успехи Германии заставили бы Америку «создавать военную машину грандиозных размеров».

На этом кончается наиболее интересная часть рассматриваемого издания. За время войны все поползновения Хауза ускорить окончание конфликта оказывались, конечно, неизменно тщетными, да и Вильсон вовсе его не поддерживал в этих стараниях, вплоть до конца 1916 г. Любопытно, что Вильсон был убежден в том, что немецкие шпионы уже с начала войны выстроили в США нужные им площадки для орудий, не хуже того как они это сделали в Бельгии и во Франции в ожидании войны. Поведение Германии во время войны вызвало у Хауза, которого считали во Франции и в Англии германофилом, такого рода замечание в письме от 18 мая 1915 г. министру США Мак-Аду: «Немецкий ум, очевидно, неспособен понимать что-нибудь, кроме здоровых тумаков, они (немцы — *Е. Т.*) заражены странной идеей, что в войну мы не вступим ни при каких обстоятельствах».

Уже весной 1915 г. Хауз был убежден, что война США против Германии совершенно неминуема, и все-таки продолжал на что-то надеяться; в 1916 г. все еще старался о мире, бесконечно разговаривая с германским послом в Вашингтоне графом Бернсдорфом, с которым очень сблизился и которому сверх меры доверял.

Лансинг написал тогда, в 1916 г., особый меморандум, в котором вполне определенно называет все попытки Хауза прекратить войну ошибочными, потому что они клонятся к торжеству Германии, мечтающей сохранить свои завоевания, и осужденными вообще на безусловный провал. Единственно правильной для США политикой Лансинг уже тогда признавал вступление в войну на стороне Антанты, против Германии [3].

В январе 1917 г., накануне разрыва дипломатических сношений, продолжались между Хаузом и Бернсдорфом эти доверительные собеседования.

Полковник Хауз счел излишним сохранить в своем архиве сведения о том, как его одурачил в этом же январе 1917 г. его германский «друг» Бернсдорф. В разгаре усилий Хауза повлиять на германское правительство Бернсдорф пожаловался Хаузу, что он, Бернсдорф, лишен возможности сноситься шифрованными телеграммами с Берлином, а между тем ему это якобы необходимо для помощи делу мира. Добрый Хауз выхлопотал у Вильсона разрешение для Бернсдорфа пользоваться шифром, неизвестным правительству США. «Мы дали это позволение очень неохотно (very reluctantly)»,— вспоминает бывший тогда статс-секретарем по иностранным делам Лансинг. Бернсдорф и германский министр иностранных дел Циммерман мигом воспользовались этим разрешением, но далеко не так, как это было обещано миротворцу Хаузу. 19 января Циммерман послал зашифрованную каблограмму в Вашингтон, на имя Бернсдорфа, для передачи германскому посланнику в Мексике фон Экгардту. В этой навеки прославившейся каблограмме Германия предлагала Мексике всего только начать войну с США и «отвоевать Техас, Новую Мексику и Аризону» у США. Сверх того, мексиканскому правительству предлагалось обратиться к Японии и пригласить последнюю расторгнуть союз с Антантой, соединиться с Германией и напасть на США. Это все писалось как раз тогда, когда Бернсдорф еще уверял Хауза и Вильсона в глубочайшем миролюбии и горячих германских симпатиях к Америке и к ее неслыханно благородному и почтеннейшему президенту. Эта совсем невероятная по наивности и глупости каблограмма была в зашифрованном виде передана тогда же Бернсдорфом в Мексику. Агенты английской контрразведки («Интеллидженс Сервис») тогда же перехватили ее, расшифровали и передали американскому послу в Лондоне Пэйджу.

который в конце февраля переслал ее Вильсону. 1 марта 1917 г. Вильсон опубликовал эту телеграмму. Сначала никто не хотел верить в возможность такой бессмысленной, детски-наивной выходки со стороны Германии. Но когда 3 марта Циммерман сознался и опубликовал изумительное по сугубой глупости самооправдание, ярость Вильсона не имела пределов. Лансинг приписывает этому эпизоду решающее значение в ускорении вступления Америки в войну против Германии. Спустя месяц после бури, поднятой в США опубликованием циммермановской каблограммы, 2 апреля 1917 г., Вильсон объявил Германской империи войну.

Полковник Хауз несколько иначе излагает историю похищения этой каблограммы: он утверждает, что английская «морская разведка» (особое отделение «Интеллидженс Сервис») похитила телеграмму уже в Мехико и не тогда, когда она была только получена фон Экгардтом, а спустя пять недель из помещения германского посольства в Мехико, из стального сейфа. «Начальник (английской — *Е. Т.*) «морской разведки» адмирал Холл с первых дней войны проявил гениальную способность перехватывать и раскрывать германские тайны. Он очень широко раскинул сеть и, что еще важнее, никогда не давал немцам даже повода это подозревать. В данном случае он перехватил телеграмму в г. Мехико, несмотря на утверждение Экгардта, что телеграмма не выходила за пределы стального сейфа и из рук одного человека, который расшифровал и прочел ее посланнику ночью, шепотом. Это было одной из многих проделок Холла, знавшего вплоть до конца войны много самых сокровенных тайн германского министерства иностранных дел. Несомненно, он сыграл свою роль в том, чтобы внушить Америке, что война с Германией неизбежна» (стр. 345).

Второй том обрывается на 2 апреля 1917 г., когда Вильсон прочел в конгрессе США свое послание, возвестившее войну с Германией.

Об этом, конечно, можно пожалеть. Роль Вильсона в 1918 и 1919 гг. очень важна для уяснения ряда вопросов всемирно-исторического значения. С Хаузом покойный президент был откровеннее, чем с кем бы то ни было, даже откровеннее, чем сам Хауз с читателем. И кое-что, иногда против воли Хауза, проскальзывает в этих документах такое, чего не дает документация официальная, министерская. Наивное и непрерывное восхищение добродетелями Вильсона, простоватость и ограниченность в понимании глубокого смысла происходящих событий, поверхностность ума, крайне скромная общая эрудиция — все это не мешает признать Хауза наблюдателем очень чутким и внимательным.

Он, «германофил», старавшийся найти в Вильгельме противника войны, пришел в конце концов к непоколебимому убеждению в виновности Германии в деле развязывания войны. Наглое лганье гитлеровских «историков» о России, Франции и Англии, якобы «напавших» в августе 1914 г. на Германию, и о «коварной» Сербии, пожелавшей именно в июле 1914 г. разрушить Австрию, будет, конечно, продолжаться своим чередом, так, как если бы никаких данных, доказывающих обратное, не существовало.

Но для того, кто сколько-нибудь заинтересован в исторической правде, каждое новое показание, вроде тех, которые дает Хауз, подтверждает факт, давно уже признанный всеми, кроме разве гитлеровских бандитов: тягчайшая доля ответственности за развязывание мировой войны лежит прежде всего и больше всего на Германии, германской буржуазии, помещиках и военной клике. И никакие потуги сознательной лжи, проявляемые фашистами Германии и Японии и их фельдфебелями от «науки», не поколеблют эту истину в настоящем и будущем.

Историк-марксист, 1938, № 2, стр. 120—125.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И МИССИЯ ГЕНЕРАЛА БАЛАШЕВА

Создавая свою великую эпопею о трех войнах Наполеона с Россией, Лев Толстой, как известно, привлек много исторических материалов. Известно также, что после появления «Войны и мира» на Толстого посыпались со стороны стариков, видевших Бородино, переживших лично двенадцатый год, укоры в неточностях, в извращении фактов.

Кто был прав? И Лев Толстой и его критики. Его могучий гений создавал «действительность», кое в чем отдалявшуюся от истории, но настолько все же реальную, что она начинала и в творческом уме Толстого, а потом и в уме читателя жить своей собственной жизнью. *Его* Александр — вовсе не исторический Александр, *его* Кутузов во многом, но не во всем, похож на исторического Кутузова, *его* Наполеон кое в чем похож, а во многом вовсе не похож на исторического Наполеона, *его* Сперанский вовсе не похож на исторического Сперанского. Но это не мешает всем им быть совсем живыми людьми, всегда в словах и в действиях верными себе, т. е. верными не истории, а тем образам, которые создал и назвал их именами Толстой.

Исторический Сперанский, прекрасно воспитанный, изящный по манерам сановник, щедрый и гостеприимный хозяин, конечно, едва ли когда в жизни говорил в лицо своим гостям: «Нынче хорошее винцо в сапожках ходит», закупоривая перед их носом бутылку, недопитую ими тут же за обеденным столом. Но Сперанский, несимпатичный выскочка и неискренний карьерист, которого создал Толстой (и так создал, что он перед нами совсем живой), мог все это проделать. Случалось и так, что Толстой даже вычитывал в определенном документе то, чего вовсе там не было, но что должно было бы быть, *если бы* данный исторический деятель был таким, каким его создал Толстой.

Поразительный пример дает нам сцена аудиенции генерала Балашева у Наполеона в Вильне, в первые дни наполеоновского нашествия на Россию. Александр посылает Балашева к Наполеону, чтобы в первый и последний раз предложить ему мириться. Наполеон не желает и перед Балашевым говорит резко и оскорбительно об Александре. Балашев записал всю эту исто-

рическую сцену, и эта запись — *единственный* источник, на который ссылаются и русские и иностранные историки, пишущие о начале войны 1812 г.

Толстой ознакомился с этой записью из перепечаток у Тьера, у Михайловского-Данилевского. В самом конце аудиенции произошло следующее (цитирую слова Балашева): «Потом, походив немного, подошел он (Наполеон — *Е. Т.*) к Коленкуру и, ударив его легонько по щеке, сказал: „Ну, что же вы ничего не говорите, старый царедворец петербургского двора?“»

Этой шуткой Наполеон намекал на личную приязнь своего маршала, бывшего несколько лет французским послом в Петербурге, к императору Александру. Таков бесспорный, точный исторический факт, вполне согласующийся с другими высказываниями Наполеона и со всей манерой Наполеона. Мы знаем из показаний Сегюра, что Коленкур даже очень обиделся этой выходкой императора.

Послушаем теперь, что вычитал в этом единственном источнике, из этих только что приведенных строк записи Балашева, Толстой:

«Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой, так уверенно, быстро, просто, как будто он делал не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами... „Ну, что же вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?“ — сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим-либо обожателем и придворным, кроме его, Наполеона».

Этих абсурдных в отношении к Балашеву слов исторический Наполеон и не говорил, и не мог сказать. Но толстовский Наполеон, уже полусумасшедший от вечного счастья, уже безнадежно и непрестанно пьяный от своего всемогущества и от раболепной лести окружающих, наглый фанфарон, самовлюбленный хвастун, мог позволить себе и эту выходку; он мог дойти до такого окончательного потемнения здравого смысла, до такого патологического самообожания, что и впрямь был способен вообразить, что Балашев, будучи в его высочайшем присутствии, обязан немедленно в него влюбиться и перестать быть придворным Александра, а внезапно превратиться в придворного и обожателя императора Наполеона. И вот вместо Коленкура Толстой подставляет Балашева, и его Наполеон действует так, как по своей натуре, данной ему Толстым, он должен был действовать, и обращается с теми словами, которые на самом деле были сказаны Коленкуру, к Балашеву, что меняет весь смысл и характер сцены.

Никогда Толстой сознательно не извращал документов. Более чем вероятно, что и здесь созданный им образ Наполеона до такой степени овладел его умом, уже так самостоятельно в нем жил и действовал, что, вспоминая запись Балашева, которой могло и не быть перед ним на столе, когда он писал эту сцену, Толстой невольно спутал Коленкура с Балашевым, описывая эту заключительную выходку Наполеона. Уж очень походило такое поведение Наполеона на того императора, которого создал Толстой!

Литературная газета, 1938, 20 марта, № 16.

АМЕРИКАНСКИЙ ДИПЛОМАТ О ЯПОНСКОЙ АГРЕССИИ В КИТАЕ

STIMSON H. L. THE FAR EASTERN CRISIS. RECOLLECTIONS AND OBSERVATIONS. NEW YORK, 1936. XII, 293 p.

Любопытное впечатление производят возбуждающие теперь в Соединенных Штатах Америки сенсацию воспоминания Генри Стимсона — «Дальневосточный кризис. Воспоминания и наблюдения» [1]. Как известно, Стимсон был при президенте Гувере министром иностранных дел, и его книга посвящена первой стадии японского вторжения в Китай (1931—1933 гг.).

Эти годы были знаменательной датой: то было начало непосредственных военных выступлений агрессоров с целью прямого захвата и вооруженного грабежа чужих земель. От удачи или неудачи этого первого выступления зависело многое. А удача или неудача определялись главным образом тем, возникнет или не возникнет сопротивление со стороны других «великих» держав? Этот первый опыт сошел с рук; никакого сопротивления японским захватчикам державы не оказали, и все покровы, все узы, сдерживавшие других агрессоров, были отброшены: за Китаем последовала Абиссиния, за Абиссинией — Испания, за Испанией — Австрия, за Австрией — Чехословакия. В демократической прессе Соединенных Штатов Америки даже слышится такое утверждение: «Гувер и Стимсон породили Гитлера», т. е. безнаказанность японского агрессора поощрила известные круги Германии к тому, чтобы поскорее вручить власть человеку, который давно выдвинул и открыто пропагандировал программу откровеннейшего грабежа и захвата всех «плохо лежащих» территорий.

Генри Стимсон явно почувствовал необходимость оправдаться перед частью общественного мнения, и его книга является длинной адвокатской речью в защиту последнего республиканского кабинета и его дальневосточной политики. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки не за горами, а демократы не перестают сравнивать Гувера и Стимсона с людьми, которые, заметив начало пожара, не тушили его, а обращались к огню с заклинаниями, надеясь на их волшебную силу.

Поэтому книга Стимсона — не столько исторический источник, воспоминания одного из центральных лиц драмы, сколько

предвыборная партийная литература в защиту республиканской партии, потерпевшей поражение на президентских выборах в ноябре 1932 г., фактически ушедшей поэтому от власти в марте 1933 г. и с тех пор (после нового поражения в 1936 г.) пребывающей вплоть до настоящего времени в оппозиции.

Но эта необходимая оговорка не меняет того, что книга Стимсона представляет большой интерес. В самом деле: разве не любопытно послушать, как объясняют, чем мотивируют свое поведение люди, играющие в современной истории роль Чемберлена, Даладье, Хора, Лаваля и прочих Фланденов? Книга Стимсона — первое произведение мемуарного типа, принадлежащее перу одного из плеяды этих деятелей, и уже поэтому нельзя оставить ее без внимания. Отметим только главную черту, больше всего бросающуюся в глаза. Если принять всерьез все, что говорит о своих действиях в 1931—1933 гг. Генри Стимсон, то перед читателем предстанет зрелище бесхитростной, честнейшей веры в человека, в торжество правды на земле, в конечный триумф добродетели, веры, свойственной лишь наивному, неопытному юнцу в начале жизненного пути.

Между тем, для Генри Стимсона, если говорить прямо, пора самой зеленой юности, как никак, уже миновала: ему все-таки уже семьдесят второй годок пошел, потому что он родился в сентябре 1867 г. Стимсон, который подарил Маньчжурию японцам, поощрив их этим к дальнейшему вторжению в долину Янтсекианга, так кончает свою книгу: «Мы знаем, что долгий прогресс свободы, терпимости и справедливости, который буквально миллионы лет постепенно осуществляется человеческим родом, включая сюда и организованное самоуправление, которое мы называем народным правительством,— этот прогресс не будет постоянно нарушаться. Современный мир, каким бы несовершенным он ни был, не будет ввергнут всецело в хаос... Наше дело — заботиться о том, чтобы верой и мужеством насколько возможно сократить и обезвредить (as brief and innocuous as possible) наступающий период сомнений и неуверенности» (стр. 254).

Генри Стимсону, который одним взмахом пера обогащает науку сведениями об истории человечества за «миллионы лет», представляется вопросом третьестепенным, каковы будут мимолетные судьбы Китая или Чехословакии в этот неприятный «наступающий» период. Но посмотрим, какую «веру и мужество» пустил в ход Стимсон в 1931—1933 гг., чтобы «насколько возможно обезвредить» (innocuous) ограбление Китая японскими милитаристами. «Вера», впрочем, несомненно, была налицо. Известно, что Генри Стимсон — очень религиозный человек и, вероятно, молился о смягчении сердца генерала Араки не менее горячо, чем — судя по официальному сообщению «Таймса» —

молилась о смягчении сердца Гитлера леди Чемберлен в то время, когда ее супруг летал то в Нюрнберг, то из Нюрнберга. И не вина молившихся, что сердца и Араки и Гитлера не смягчились.

Но на вопрос о «мужестве», проявленном американским министром иностранных дел в первой стадии японского разбойного нападения на Китай, мемуары Стимсона дают совершенно недвусмысленный ответ, как бы ни старался их автор истолковывать ясные факты. 17 сентября 1931 г. японский посол в Вашингтоне Катсуи Дебучи является с визитом к Генри Стимсону. Говорят о многом, больше всего о взаимных дружественных чувствах Японии и Соединенных Штатов. «...После того, как мы взаимно выразили друг другу удовлетворение настоящим положением вещей, он отбыл» (стр. 4). Ровно через сорок восемь часов пришли первые известия о вторжении японцев в Маньчжурию, о чем любезный посол Дебучи ни единым звуком не помянул во время своего визита.

Как быть? В Японии у власти находится умеренный Хамагучи, а министерством иностранных дел ведает либеральный и просвещенный барон Шидехара. Если слишком испугать вмешательством и протестами умеренного Хамагучи и просвещенного Шидехару, то, пожалуй, они уйдут, а вместо них будет какая-нибудь необразованная военщина. А если их не пугнуть, то они, пожалуй, не остановятся и полезут дальше в Маньчжурию? Министр Стимсон, как некий Гамлет, колеблется, впадает в горькое раздумье: «Маньчжурия фактически и юридически была частью Китая. Но японцы проявляли к Маньчжурии такой интерес, исторический, политический, такое чувство (sentimental) и в этом были подкреплены такими исключительными правами и притязаниями, что конфликт между этими притязаниями и суверенитетом Китая практически стал неизбежным» (стр. 19—20). Каким образом «притязания» (claims) могут «подкреплять» захват в глазах идеально мыслящего и столь благородно чувствующего американского министра, Стимсон не поясняет.

А японцы идут дальше и дальше. Стимсон им указывает, что с их стороны это очень нехорошо, а они забирают юго-западный сектор Маньчжурии. Стимсон узнает, что 8 октября 1931 г. одиннадцать японских самолетов бомбардировали беззащитный город Цзиньчжоу, сбросили 40 бомб, перебили много жителей. Он обращает внимание японцев на то, что поступать так неловко, потому что это может со временем испортить лестную репутацию, которой японцы (по мнению Стимсона) дорожат. А японцы в ответ забирают город Цицикар. Японский разбой становится все разнузданнее. Тогда Стимсону приходит в голову счастливейшая мысль, за которую он мигом ухватывается. Гражданское управление, правительство в Японии не имеет

никакой власти над армией! Токийские министры поэтому не виноваты! Генералы их терроризируют! А если время от времени токийские министры и произносят тоже речи, призывающие к завоеваниям, то что же им делать? Их заставляют насильно военные!

И вот, собрав все свое мужество (the courage), Стимсон решается нанести японцам устрашающий удар: он «не признает» Маньчжоу-Го самостоятельным государством! На нескольких печатных листах Стимсон не перестает любоваться собой и охорашиваться перед читателем, с любовью останавливаясь на этом героическом своем жесте. Правда, японцы даже и ухом не повели по поводу этого непризнания и продолжают как ни в чем не бывало хозяйничать в Китае, но это уж дело их совести. Впрочем, самый страшный удар против японцев Стимсон приберег к концу: «За последние восемьдесят лет ни один народ не обнаруживал большей чувствительности к хорошему о нем мнению во внешнем мире, как японцы». Пусть же они поймут, что захват Маньчжурии «не одобряется внешним миром»! Вряд ли Генри Стимсон знаком с русской литературой, и, пожалуй, он никогда не узнает, до какой степени он *в точности* повторяет крыловского повара, который тоже безуспешно пугал некорректного кота Ваську именно общественным мнением «внешнего мира», тем, что все соседи скажут: кот Васька плут! кот Васька вор! Мнение «соседей» — единственное, чем можно окончательно перепугать и остановить японцев. А если они даже и этого не убоятся, тогда... уж как-нибудь потерпим еще, до неизбежного через каких-нибудь полмиллиона лет торжества справедливости. Хронологию Стимсон, как мы видели, ведет на «миллионы лет», и торопиться ему некуда.

Эта книга характерна не только тем, что в ней есть, но и тем, чего в ней нет. Из «мелких» пропусков отметим три. Во-первых, говоря о границах Маньчжурии, Стимсон как-то «не заметил» на географической карте такой «детали», как Советский Союз; во-вторых, он не заметил китайской красной армии; в-третьих, не заметил китайской партизанской войны в тылу у японских интервентов. Есть и еще один пропуск, тесно связанный с указанными тремя: Стимсон не говорит о том, что его прямой начальник президент Гувер, представитель двенадцати трестов, опасаясь японской победы, еще больше опасался японского поражения на Дальнем Востоке, ибо оно было чревато для капиталистов самыми тяжелыми последствиями. Пресса Гувера и в 1931 и в 1932 гг. не переставала об этом совершенно откровенно и даже с большой тревогой говорить. Генри Стимсон очень удачно и натурально прикидывается, будто он ничего об этой стороне дела не знает.

Большевик, 1938, № 21—22, стр. 132—134.

ЗАМЕТКИ О КНИГЕ КЛАУЗЕВИЦА «1812 ГОД» *

Мы находим в этой книге, кроме перевода «записок-истории» автора, еще и его краткую биографию и пояснительные примечания от редакции.

В некоторый упрек биографии можно поставить слишком уже панегирический ее тон. Несколько странно видеть в этом советском издании почтительно (без оговорок) помещенные в виде «концовки» полторы страницы фон Шлиффена, нашедшего в книге Клаузевица «О войне» «высокое этическое содержание», причем эта «этика» заключается именно *«в настойчивом подчеркивании идеи уничтожения»* (стр. 21). Для доброго бравого начальника штаба Вильгельма II это понятие об «этике» не нуждается в пояснениях, но для нашего читателя комментарии были бы тут совершенно необходимы.

Не все вполне ладно и в примечаниях. Аракчеев вовсе не был «инициатором военных поселений»: напротив, он сначала им противился. Инициатором был сам Александр I. О Барклае сказано: «Проводимый им в жизнь отход русской армии вызвал против Барклая негодование среди помещичье-феодальных кругов так называемой „русской партией"». Это — совершенно неуместное и только путающее тут всю проблему «социологизированье»: в Калуге карету Барклая забрасывали камнями, как мы знаем, вовсе не «помещичье-феодальные круги». Вопрос об оппозиции против Барклая посложнее и посерьезнее, и нельзя от этого вопроса отмахнуться одной-двумя фразами в подобном стиле.

О Даву говорится: «Среди маршалов Наполеона представлял резкое исключение по своему стратегическому дарованию». Не знающий истории читатель может подумать, что остальные маршалы были бездарностями, а это противоречит и исторической истине и... самому автору примечаний (Бернадот — «блестящий камандир, конкурент самого Наполеона», стр. 223; Бессьер «отличился в сражениях при Асперне и Ваграме», стр. 224; Макдональд — «выдающийся» генерал, «руководил

---

* Клаузевиц. «1812 год». М., Государственное военное издательство Наркомата обороны Союза ССР, 1937. 242 стр.

решительным ударом в центре сражения под Ваграмом», стр. 233; Ней — «один из лучших исполнителей в тактике замыслов Наполеона... в самые тяжелые минуты вел себя достойно, олицетворяя в глазах французов понятие военной чести», стр. 235; Себастьяни «отличился в сражении при Арколе», стр. 238; Сен-Сир «успешно сражался под Полоцком», стр. 238; Удино — «один из лучших генералов французской армии», стр. 240). А маршал Ланн, убитый в 1809 году? А Виктор? А Мюрат? У Наполеона был необычайно верный взгляд при выборе маршалов.

Но в общем эти замечания при всей лаконичности будут полезны читателю.

Что касается самого текста Клаузевица, то к его описанию 1812 г. можно обратиться с тем же упреком, как и к другим его описательным работам: его внимание, а потому и внимание читателя, слишком легко отвлекается от главной линии изложения и теряется иногда в мелочах, так что лишь с некоторым усилием снова приходится ловить эту «главную линию». Вероятно, эта черта и заставила Энгельса поставить Жомини как историка наполеоновских войн выше Клаузевица. Но зато и огромные достоинства Клаузевица отличают также и этот его труд: реализм мышления, глубокий анализ, нелицеприятная и почти всегда доказательная критика как стратегических, так и тактических предприятий и планов и Наполеона и русских полководцев.

Кутузова Клаузевиц, однако, явно недооценивает. Его поведение под Березиной при отступлении великой армии Клаузевиц склонен объяснять «ошибками» фельдмаршала. Дело было вовсе не в «ошибке», а в нежелании Кутузова принять бой под Березиной. Можно как угодно отнестись к этому, но нельзя сознательное *нежелание* подменять «ошибкой». Точно так же совсем ни к чему (и противоречит ряду других высказываний самого же Клаузевица) такая постановка вопроса о действиях Кутузова: «Мы не станем отрицать, что личное опасение понести вновь сильное поражение от Наполеона являлось одним из мотивов его деятельности; но если отбросить этот мотив, то разве не останется вполне достаточно причин для того, чтобы объяснить осторожность Кутузова?» На это читатель может справедливо заметить: но в таком случае незачем и повторять голословных *инсинуаций Беннигсена*. Прекрасно проанализирован первый период войны. Много уясняет для читателя краткий конспект событий, помещенный в конце книги под названием: «Общий обзор событий похода 1812 г. в Россию». Очень интересны также приложенные к тексту письма Клаузевица к жене, писанные из России во время похода 1812 г.

В общем, появление этой книги следует всецело приветствовать. Эта книга одновременно и опыт критического анализа военных событий и исторический первоисточник, исходящий от вдумчивого и внимательного наблюдателя. Конечно, эти наблюдения историк обязан тоже не брать на веру, а сопоставлять с другими свидетельствами и критически проверять их.

В виде примера укажу на совершенно неправильное утверждение автора (стр. 105), будто «в материальном отношении русская армия за все десять недель своего отступления чувствовала себя превосходно». И из показаний Ермолова и из положительно *единодушных* показаний других участников похода мы знаем, что это было далеко не так. Да, впрочем, читатель найдет у самого же Клаузевица блистательнейшее опровержение его оптимистического отзыва. Вот что пишет Клаузевиц в своем откровенном письме к своей жене из Дорогобужа 12 августа 1812 г. (стр. 210): «Лишения, связанные с походом, исключительны. Девять недель подряд ежедневные переходы, пять недель не раздевались, жара, пыль, ужасная вода, *а часто и очень чувствительный голод»*. Так категорически он себя опровергает.

Но таких ошибок и произвольных утверждений в этой превосходной книге немного.

Красная звезда, 1938, 20 октября, № 242.

«ОТ ПРЕДЕЛЬНОГО САМОХВАЛЬСТВА К ПРЕДЕЛЬНОМУ ПОЗОРУ»

В такой лаконичной формуле английский радикальный публицист начала XIX в. Коббет давал в свое время полную, как ему казалось, характеристику истории Пруссии в 1806 г. Как нельзя более кстати Военное издательство Наркомата обороны выпустило в свет перевод старой, но не стареющей книги Клаузевица о войне 1806 г. [1]. Следует сказать, что это, вообще говоря, лучшая из описательных работ Клаузевица по военной истории наполеоновских времен.

Дело не только в том, что Клаузевиц лично проделал войну 1806 г., он ведь и войну 1812 г. тоже знал и наблюдал в качестве непосредственного участника. Дело в том, что история похода Наполеона против Пруссии удалась Клаузевицу несравненно лучше, чем история похода Наполеона на Россию.

Это и понятно. Чисто стратегический анализ глубок и тонок и в том и в другом случае, но Пруссию Клаузевиц прекрасно знал и прекрасно понимал, а Россию и русский народ он, при всех добросовестных усилиях с своей стороны, не очень хорошо знал и еще хуже понимал.

Книга его о 1812 г., конечно,— превосходное пособие для изучения русской Отечественной войны, изобилующее меткими замечаниями и удивительно проницательными суждениями о военных действиях и передвижениях Наполеона и русской армии. Тем не менее, конечно, не может быть и речи о том, чтобы изучать 1812 г. только по Клаузевицу. А изучать разгром Пруссии в 1806 г. по Клаузевицу вполне возможно. Конечно, и тут тоже читателю, изучающему серьезно это событие, придется затем концентрическими кругами расширять свои познания чтением новых и новых работ, но во всяком случае все главное, хоть в самом кратком виде, он найдет уже в этой небольшой книге Клаузевица.

Находим мы в этой книге — правда, лишь в беглых, мимолетных замечаниях — и ту черту, о которой говорил Коббет и которая особенно заинтересует современного советского читателя. Слишком уж тяжело было патриотически настроенному Клаузевицу вспомнить, как вели себя правящие круги его родины и до и после постигшей ее катастрофы, и слишком уж он лаконичен.

Совсем недавно в газете, издаваемой в Париже бежавшими от фашизма немецкими журналистами, была высказана мысль, что за всю историю Пруссии только один раз ее социальной «верхушкой» овладевала такая неистовая мания хвастовства, такая наглость самопревознесения, какая проявляется теперь фашистскими главарями; и было это в августе, сентябре и первые (самые первые!) дни октября 1806 г. Автор статьи полагает, что и в дальнейшем историческая параллель вполне оправдается...

Ранняя осень 1806 г. Король еще колеблется. Но вокруг Фридриха-Вильгельма III все полно воинственной отваги. Пора проучить корсиканца. Мы, немцы,— соль земли, верность нашего доблестного дворянства, германская скромность и прочие добродетели тевтонских матрон, благочестивость народа, восхитительная покорность крестьян, с такой неслыханной решительно нигде в других местах готовностью уплачивающих сельскому шульцу (старосте) два крайцера за розги, которыми он их порет по распоряжению помещика, — все это должно непременно восторжествовать над развратными санкюлотами, утратившими веру, низвергавшими и обезглавившими законного монарха, превратившими свою столицу в распутный Вавилон! Наша армия — первая в мире, и от корсиканца ничего не останется при первых же столкновениях! Кого он бил до сих пор? Итальянцев? Гнилой, разложившийся народ! Австрийцев? Но там столько славян, что «германские алмазы не могут на берегах Дуная давать всю полноту своего блеска». Кого же еще бил Бонапарт? Турок и арабов в Египте и Сирии? Но это — варвары, о которых и говорить не стоит. Русских? Но русские-де представляют собой таких же варваров, как турки.

Разгулу этого неистового хвастовства, принимавшего порой прямо припадочный характер, способствовала и довольно систематически проводившаяся фальсификация истории. Семилетняя война, когда русские (да и австрийцы) так страшно и так часто били Фридриха «Великого», когда вся Восточная Пруссия была уже присоединена к России и присягнула Елизавете, когда в Берлине побывали русские войска, когда Фридрих, по собственному признанию, был близок к самоубийству и был спасен исключительно неожиданной смертью русской императрицы и воцарением в России его собственного агента — Петра III,— эта самая семилетняя война изображалась тогда точь-в-точь так, как она изображается в нынешних фашистских учебниках: как почти непрерывные победы Фридриха над всеми супостатами.

Этот курьезный миф о семилетней войне владел умами придворных, офицерства, всего дворянства, всей массы образованного и полуобразованного общества настолько могуще-

ственно, что даже и дискуссий никаких по этой теме не допускалось.

Жена короля, королева Луиза, всегда в белых туалетах, символизируя этим безгрешные нравы древних тевтонок (о добродетелях которых распространялись тогдашней историографией такие же упорные слухи, как о непобедимости Фридриха «Великого»), выходила к полкам, шедшим к границе, и уже наперед приветствовала грядущих победителей с грядущей победой.

Пасторы (как придворные, так и стремившиеся попасть в придворный штат) доказывали от писания, что прусский Давид непременно покончит с французским Голиафом,— и по той самой причине, почему это случилось с Голиафом библейским. Ведь почему Давид угодил в Голиафа? Потому, что Голиаф был огромный, толстый, грузный и попасть в него ничего не стоило. Так случится и с Наполеоном, у которого в руках огромная, пестрая, плохо слаженная империя.

Восторги росли, уверенность крепла,— Фридрих-Вильгельм III наконец решился: к неистовому ликованию офицерства, генералитета двора, дворянства, духовенства король послал ненавистному Бонапарту горделивое ультимативное требование отвести свои войска от границы. Две большие прусские армии были готовы. Ультиматум был вручен генералом Кнобельсдорфом Наполеону 1 октября 1806 г. Немедленно же Наполеон перешел границу.

И тут-то началось все то неслыханное, что злейшие враги Германии вообще и Пруссии в частности не могли себе даже в отдаленной степени представить.

8 октября начались первые военные действия, а 14 октября — в один и тот же день — Наполеон напал под Иеной на первую прусскую армию, а маршал Даву — на другую, под Ауэрштедтом. Страшный, непоправимый разгром постиг пруссаков в обеих битвах. Прусская армия к вечеру 14 октября 1806 г. перестала существовать. Разгромленные остатки пруссаков отчасти были изрублены преследователями, отчасти сдались на милость победителей. Пруссаки бежали врассыпную, бросая обозы, оружие, снимая с себя шинели и даже мундиры (несмотря на октябрь), лишь бы можно было ускорить темпы бегства.

Но даже не в этом страшном, уничтожающем, молниеносном разгроме военных сил всей прусской монархии было главное дело, как ни чудовищен был сам по себе этот факт. Совсем другое потрясло тогда всю Европу: зрелище неслыханного малодушия, позорнейшей трусости, абсолютной моральной прострации, небывалого нигде за всю наполеоновскую эпопею, ни с кем из побежденных народов не случавшегося упадка духа, исчезновения всякой воли к сопротивлению.

Ведь даже после уничтожения обеих прусских армий при Иене и Ауэрштедте еще оставался за Пруссией ряд могучих крепостей, которые, как думал Наполеон, как рассчитывали его маршалы, могли сильно задержать победителя. И вот тут-то и началось то, что никогда ни с одной страной в новые времена не случалось: прекрасно вооруженные, обильно снабженные, отлично укрепленные, с громадными гарнизонами крепости сдаются без осады, без тени сопротивления, без выстрела, по первому требованию.

15 октября Мюрат и Сульт подъезжают к городу Эрфурту и приказывают сдаться. Город сдается через полчаса после предъявления требования. 25 октября лихой гусар маршал Ланн подходит к крепости Шпандау и приказывает сдаться. Крепость сдается немедленно. 29 октября генерал Лассаль с небольшой свитой и несколькими кирасирами подъезжает к крепости Штеттину: Штеттин сдается еще до того, как Лассаль успел рот раскрыть, чтобы этого потребовать. 1 ноября таким же путем маршалу Даву сдается крепость Кюстрин. 8 ноября маршал Ней подходит без тяжелой артиллерии к огромному Магдебургу, полному богатейшими складами боеприпасов и всевозможных товаров и продовольствия. Чтобы нагнать страху, он велит выпалить по городу из трех маленьких мортир: ядра даже не долетели до города, но комендант сейчас же сдал крепость и город в полнейшем порядке. 20 ноября Хамельн сдался генералу Савари, 25-го могучий форт Плассенбург сдался Жерому Бонапарту. 2 декабря прекрасная крепость Глогау без сопротивления сдалась генералу Вандаму, а 5 января тот же Вандам вошел в Бреславль.

Пруссия была кончена, оказалась совершенно под пятой победителя. Наполеон ушам своим не верил, когда ему доложили, как сдался Магдебург, как сдаются все эти первоклассные крепости — без выстрела, мгновенно, не осмеливаясь даже уничтожить перед сдачей боевые припасы, не смея заклепать орудия, так как французы могут, чего доброго, за это рассердиться.

24 октября Наполеон вошел в Потсдам, где и поселился, а 28 октября вступил со старой гвардией в Берлин. Его встретила самая низкопоклонная лесть, самая рабская покорность. «Я побывал уже триумфатором в Милане, в Каире, в Вене, но, признаюсь, нигде меня не встречали так горячо, как у тех самых пруссаков, которые так громили меня в своих речах, не давая себе труда дать мне оценку»,— пишет об этом своем въезде в Берлин сам Наполеон.

Из Потсдама он управлял Пруссией совершенно спокойно: он оставил на своих местах всех прусских чиновников, которые исправнейшим образом исполняли все его распоряжения. Насе-

ление повиновалось военным властям, поставленным Наполеоном, без малейших попыток к протесту.

Наполеон приказал берлинскому бургомистру, встретившему его с ключами от города и с мольбой пощадить Берлин, чтобы все магазины были открыты и торговали, как в нормальное время. Восхищенный бургомистр сгоряча расцеловал в ответ императорскую кобылу за невозможностью дотянуться до руки самого Наполеона. Так передавали об этом впоследствии солдаты старой гвардии.

Убежавший на край государства, в Мемель, король оттуда писал Наполеону, выражая упование, что его императорскому величеству будет удобно житься в потсдамском дворце и что там все оказалось в исправности. Наполеон нашел такого рода гостеприимство преувеличенным и ничего не ответил.

Клаузевиц доводит в своей книге изложение лишь до декабря 1806 г. Его книга скупо говорит об этом страшном моральном кризисе, который сделал Пруссию на ряд лет инертной массой, бессловесной рабой в руках беспощадного победителя. Клаузевиц болезненно переживал позор своей несчастной, раздавленной родины.

Он принадлежит к числу мыслителей, верящих, что история все-таки учит людей, дает предостережения, что уроки ее — очень жестокие, но зато не проходят бесследно. Наблюдая то, что сейчас творится в Германии, нельзя не вспомнить 1806 г. Видимо, на этот раз урок истории прошел, не принеся сколько-нибудь заметной пользы.

Правда, 1938, 1 ноября, № 302.

УРОКИ ИСТОРИИ

Мы встречаем двадцать первую годовщину Октябрьской социалистической революции в сложной внешнеполитической обстановке. Наши враги откровенно предпринимают попытку создания враждебной коалиции против Советского Союза.

Интересно отметить одну характерную черту, которая неизменно в истории повторялась при подготовке комбинированных нападений на великое восточноевропейское государство. Этой любопытной чертой является стремление облегчить и ускорить дело организации комбинированного грабежа русских территорий привлечением «идеологических» мотивов. Скромные размеры эрудиции творцов антикоминтерновского пакта заставляют их восклицать, как это делал передовик газеты «Фелькишер беобахтер» летом 1937 г.: «Мы первые в истории призываем к всемирной борьбе против России во имя спасения европейской цивилизации! Не первые, а двадцатые или тридцатые. Только вместо европейской цивилизации, иногда появлялись в кое-каких случаях другие словосочетания; но без такой «объединяющей» идеологии дело почти никогда не обходилось. Это не было случайностью. С одной стороны, великая восточная держава казалась слишком несокрушимой для борьбы против нее один на один; с другой стороны, она представлялась огромной пространственно и вместе с тем так редко населенной, что ее могло за глаза, по всей видимости, хватить на всех «защитников цивилизации», сколько бы их ни снарядилось за добычей.

Вспомним примеры. Когда королю польскому Сигизмунду III захотелось оттягать кое-что у Швеции, то он, не мудрствуя лукаво, и начал войну против Карла IX. А когда тому же Сигизмунду показалось возможным, выставив самозванца, заполучить Смоленск и если повезет, то даже Москву, так сейчас же речь пошла о борьбе против проклятых православных схизматиков, восточных варваров, о спасении истинного католического христианства от восточных еретиков, о том, что «весь христианский мир» заинтересован в успехе польского нашествия и т. д. С таким красноречием, с такими бубнами и литаврами поляки начали долгую авантюру, которая оказалась в своих

отдаленных, но вполне логических последствиях первым шагом к гибели Польши.

Весна и лето 1707 г. Король шведский Карл XII, опьяненный долгими и в самом деле блестящими успехами, стоит у русских границ, готовя вторжение. Положение Петра очень тяжелое, он ищет мира, тщетно ищет помощи, рассылает послов, шлет Матвеева в Лондон, чтобы предложить герцогу Мальборо тысячу фунтов стерлингов за выступление Англии против Швеции (и при этом царь скорбит: по его мнению, Мальборо уже столько успел наворовать, что, пожалуй, не соблазнится). Петр идет на уступки, но Карл XII, уверенный в победе, не желает и слышать о мире: завоевание всех территорий между Балтийским и Черным морями — вот что носится в голове шведского короля. И сейчас же выступает знакомый припев: шведским послам в Вене, в Гааге, в Лондоне, в Париже велено всеми силами убеждать все правительства, при которых они аккредитованы, что «если Россия будет и дальше беспрепятственно возрастать, то *всей Европе, всему западному христианству* грозит новое *скифское нашествие»*. Эта пропаганда велась шведскими дипломатами очень тонко, умно и с большим успехом: дипломаты Швеции, воспитанные в школе гениального Акселя Оксенширны, были по своим умственным ресурсам не чета нынешним косноязычным глашатаям берлинской и варшавской «радиодиффузии».

Австрийский император перешел на сторону Карла XII и признал шведского вассала Станислава Лещинского королем Польши. Пруссия наотрез отказалась предпринять что бы то ни было в пользу Петра. Популярнейший полководец Австрии принц Евгений Савойский не только занял враждебную России позицию, но стал повторять, что русские — скифы и являются опасностью для всех соседей.

Пол-Европы с ликованием приветствовало «шведского паладина», спасителя западного христианства, когда он 12 февраля 1708 г. перешел, наконец, через реку Вилию, приток Немана, совсем недалеко от того места, где спустя 104 года перешла через Неман великая наполеоновская армия. Развязка для Карла XII наступила через полтора года после перехода через Вилию, на полтавской равнине, где в один день (и уже навсегда) Швеция перестала быть великой державой.

Не обошлось без того же мотива «крестового похода» на защиту европейской цивилизации и в 1812 г., когда ратоборцем за мир и свободу человечества выступил в качестве гуманного и свободолюбивого миролюбца император Наполеон. Но, впрочем, этот умнейший человек быстро понял уродливую карикатурность всех этих возвышенных разглагольствований именно в его устах, в устах «европейского Чингис-хана», пролившего на

своем веку раз в десять больше крови, чем Чингис-хан азиатский. Парижским газетам велено было писать о русских варварах, грозящих Европе, о гнетущей необходимости дать им вовремя отпор объединенными силами всех европейских народов и т. д., но тут же было дано журналистам понять, чтобы они не очень усердствовали и не очень напирали на эту скользкую тему.

Но никогда этот мотив не разрабатывался с таким азартом и упоением, как при двух последних вторжениях: перед войной 1914 г. в Германии и в 1920 г. в Польше перед плачевным для пилсудчиков налетом на Киев.

Программа расчленения России (с непременным отторжением Прибалтики и Украины, а если повезет — Сибири и Кавказа) разрабатывалась в Германии открыто и довольно детально, уже начиная с русско-японской войны 1904—1905 гг., а особенно с 1912—1913 гг. Вильгельм II с отличавшей его болтливостью уже задолго до войны говорил о русских то как о варварах, то как о «полуварварах» (например, в разговоре с американским полковником Хаузом 1 июня 1914 г.) и прямо предлагал Соединенным Штатам и Англии объединиться с Германией и напасть на Россию, прибавляя, что такой союз — «единственная надежда победоносной христианской цивилизации»; правда, должна была, по всем тогдашним комбинациям, играть существенную роль такая не очень крепко христианская держава, как Япония, «маленький японец», der kleine Herr Jäpschen, как его уже начали было с умилением называть в германской патриотической прессе непосредственно перед 15 августа 1914 г., когда «маленький японец» внезапно объявил Германии войну. Об изгнании русских варваров за Днепр, за Буг, за Волгу, за Урал (даже почему-то «за Терек») писалось с особенным восторгом после Брест-Литовского мира...

Разгром Германии на время остановил этот «душевный порыв». «Европа еще пожалеет, что не дала нам сломить до конца ее главных врагов!» — с горечью и с чувством заявил граф Ревентлов.

Налет на Киев в 1920 г. и бегство поляков из Киева прошли с такой поистине кинематографической быстротой, что, казалось бы, и времени не было для развития какой бы то ни было идеологической проповеди. Но она оказалась в наличности и в 1920 г. и позже. «Польша — оплот христианства, угрожаемого безверием, оплот европейской цивилизации, которую хочет поглотить варварство, крепость частной собственности, ограждающая весь мир от большевиков, форпост, выдвинутый против коммунизма». Эта тема разрабатывалась и разрабатывается в польской прессе с 1920 г. до 1938 г. без малейшего перерыва.

Мы тут в этом беглом историческом обзоре обратились

мыслью только к тем моментам, когда за пропагандой следовали действия, происходили войны, предпринимались грабительские агрессии. Если бы начать вспоминать времена, когда пропаганда велась тоже весьма яростная, но почему-либо действий за ней не следовало, то пришлось бы эту заметку расширить во много раз: взять хотя бы время министерства Кальноки в 80-х годах в Австрии или некоторые периоды деятельности Бисмарка. Часто в истории эта пропаганда и падала и сокращалась, и дело не доходило до вторжения в русские пределы. А когда вторжение происходило, то обыкновенно кончалось тяжким поражением и разгромом вторгшихся. «Россия, это такая страна, куда очень легко войти, но откуда очень трудно выйти». Эту фразу одни приписывают генералу Жомини, другие — Ермолову. Недавно около озера Хасан обнаружилось, однако, что и попытка войти в эту страну тоже сопряжена с неожиданными неприятностями.

Русский народ всегда, не щадя себя, сражался за свою самостоятельность и за свое достояние. Он избивал и изгонял вторгавшихся насильников, совершенно не интересуясь теми «возвышенными» лозунгами, которые ими провозглашались. Что же касается наших времен, то теперь подобная проповедь «крестового похода» против СССР не ослабляет, но удваивает силу отпора, как это и всегда случается, когда народу приходится одновременно защищать и свою территорию от расхищения и свое революционное творчество от попытки насильственного удушения внешним врагом. Интервенты 1918—1920 гг. испытали это на себе. Их нынешние наследники и преемники не будут счастливее.

Известия, 1938, 5 ноября, № 259.

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ ГЕРМАНСКОГО ШПИОНАЖА

Landau H. The enemy within. N. Y., 1938. 323 p.

Перед нами настоящее историческое исследование, основанное на опубликованных и в особенности на неопубликованных документах и написанное лицом, занимавшим во время мировой войны и еще сейчас занимающим важный ответственный пост в высшей бюрократии Соединенных Штатов Америки. В его руках уже давно были поразительные данные, на которых основан его труд. Но ни при Кулидже, ни при Гувере не признавалось «удобным» обнародование этой долго и обдуманно составлявшейся книги. Понадобилось пережить пять лет гитлеровщины, пять лет все прогрессировавшего обнаглення германской всесветной шпионской деятельности уже в наши дни, чтобы капитан Лэндау получил возможность выступить со своей книгой, за короткий срок выходящей вторым изданием. Книга снабжена многочисленными фотографиями, снятыми с документов, в тексте также находим немало точных выдержек из документов, на которых основана книга. Самое интересное и наиболее поучительное именно для нашего времени это то обстоятельство, что исследование Лэндау рассказывает о саботажной, подрывной и шпионской деятельности германских агентов в этот период мировой войны, когда Соединенные Штаты Америки *еще не принимали участия в войне*, когда Германия усиленно поддерживала фикцию «дружественных» отношений с заатлантической республикой.

В краткой статье нечего и думать исчерпать богатейшее содержание этой книги. Отмечу лишь некоторые моменты.

До мировой войны шпионская организация, созданная в США германским правительством, занималась преимущественно выкрадыванием промышленных и химических новинок и секретов: не допускалось и мысли, что США примут участие в военных действиях на суше или на море, и поэтому шпионаж не выходил из этих «скромных» рамок.

Но когда грянула война и когда оказалось, что США оказывают фактически колоссальную материальную помощь союзникам, борющимся против Германии, положение вещей изменилось. В Америку прибыл в качестве «торгового атташе» герман-

ского посольства тайный советник д-р Генрих Альберт, и ему для начала дела серьезной постановки саботажа было ассигновано 30 миллионов долларов. Его товарищами в этом нелегком деле были: военный атташе германского посольства фон Папен и морской атташе капитан Бой-Эд.

Как только вспыхнула война, посол Германии в Вашингтоне граф Бернсторф и эти его помощники — Генрих Альберт, фон Папен и Карл Бой-Эд — получили на первоначальные расходы еще 150 миллионов марок золотом, причем в секретной бумаге говорилось: «*на приостановку* доставки снаряжения союзникам, на необходимую пропаганду... *и на другие дела*». Мы сейчас увидим, каковы были эти «другие дела», организованные дружными усилиями чинов германского посольства, и какими мерами они «приостанавливали» американские фабрики и заводы. Роли были разделены: «Граф Бернсторф в качестве верховного командира должен был насколько возможно держаться на заднем плане, так как его главной обязанностью было следить за президентом и за конгрессом с целью предупреждать политические действия, неблагоприятные для Германии»,— говорится в рассматриваемой книге. Именно он должен был время от времени восхищаться в печати американцами вообще и ослепительными душевными качествами президента Вильсона в частности и исполнять тому подобную текущую работу по укреплению «сердечных уз» между обоими народами.

А пока его помощникам велено было взяться за работу. Прежде всего взялись за скупку нейтральных паспортов. За скандинавские, испанские и другие паспорта помощник фон Папена Ганс фон Ведель платил около 10 долларов; за паспорта получше — до 25 долларов. За новенький паспорт США немцы платили до 30 долларов. К слову заметим, что «Третья империя» перешла теперь, как выяснилось недавно на процессе германских шпионов в США, к более экономному образу действий: американские паспорта в наши дни выделываются в Германии, а в Гамбурге, сверх того, изготовляются с идеальной точностью также и рекомендательные письма на соответствующих бланках Белого дома за подписью президента США, со всеми характерными его росчерками и завитушками. Но «Вторая империя» вообще не сразу способна была отрешиться от старомодных обычаев и зря потратила много долларов на покупку паспортов. Фальшивые паспорта были делом первой необходимости. Лишь в изобилии запасшись ими, можно было серьезно взяться за дело. Фон Папен отправил в Бельгию Горста фон дер-Гольца за инструкциями. На беду свою фон дер-Гольц на обратном пути, несмотря на идеальнейший по безукоризненной выделке паспорт, был арестован англичанами и не успел уничтожить «инструкцию», которую получил в Берлине: ему офи-

циально предписывалось в этой инструкции организовывать «восстания, стачки на заводах, изготовляющих военные снаряжения, нападения на суда, везущие припасы для союзников, и вообще нападения при помощи бомб» (стр. 19).

Не стало Горста фон дер-Гольца, но дело его было живо: «Необходимо во что бы то ни стало взорвать канадскую железную дорогу. Вероятно, следовало бы для этого пустить в ход ирландцев, так как почти невозможно немцам въехать в Канаду. Обсудите это дело с военным атташе. Строжайший секрет необходим». Такую телеграмму (конечно, зашифрованную) получил посол Бернсторф из Берлина 12 декабря 1914 г. за № 357. Очевидно, поиски нужных ирландцев затянулись, потому что уже 3 января 1915 г. Бернсторф получил вторую телеграмму от своего начальника Циммермана из Берлина за № 386: «Секретно. Генеральный штаб озабочен насчет сильных мер для разрушения канадской железной дороги в нескольких местах, чтобы причинить длительный перерыв в сообщениях. Капитан Бем, хорошо известный в Америке и который скоро туда вернется, снабжен информацией от экспертов по этому вопросу. Ознакомьте военного атташе с вышесказанным и снабдите суммами, нужными для этого предприятия. Циммерман».

Что было делать фон Бернсторфу и фон Папену, когда начальство так нервничает? Пришлось наскоро найти некоего Вернера Горна, которого удалось на сходных условиях принанять. Горн съездил в Уэнсборо и взорвал там всего только один железнодорожный мост. А взорвав, немедленно попался. А попавшись, рассказал прокурору, как было дело. Бернсторф, судя по всему, был очень недоволен тем, что его заставляют из Берлина так торопиться. Требовать от посла, чтобы он взорвал (да еще в нескольких местах!) железную дорогу, пересекающую всю Канаду — и при этом не дать ему даже времени поискать нужных дееспособных людей — это просто какое-то издевательство над личностью: Бернсторф был обижен и раздражен. В марте 1915 г. начались организованные фон Папеном и его людьми взрывы в штате Нью-Йорк. 1 апреля 1915 г. был взорван завод в Иллинойсе. 29 апреля 1915 г. был сожжен пароход «Крестингтон-Курт», 3 мая 1915 г. взлетела на воздух фабрика химических изделий в штате Нью-Джерси, в апреле-мае-июне до полутора десятка пароходов либо были сожжены, либо на них обнаружены бомбы. Фон Папен приискал и нанял специального агента Фая для этого дела: «После встречи и разговора с фон Папеном я начал изготовлять бомбы для транспортных пароходов, идущих с грузом для союзников»,— показал впоследствии арестованный Фай.

Но и после ареста Фая взрывы и пожары на отплывающих из США в Европу судах продолжались непрерывно. Это дело

перешло в искусные руки капитана германского военного флота Франца фон Ринтелена. Фон Ринтелен сказал фон Гельфериху и статс-секретарю Циммерману, благословлявшим его на шпионские подвиги при отправлении в США: *«Я куплю все, что смогу купить, и взорву все, чего не смогу купить»* (стр. 44).

Но перебить, перехватить товар у таких денежных покупателей, как Великобритания и Франция, смешно было и думать. Пришлось обратиться ко второй части крылатой формулы фон Ринтелена. Фон Ринтелен, получивший все полномочия от фон Папена и Бой-Эда, создал свою огромную организацию и агентуру. Взрывы и поджоги умножились в невероятной степени. Наконец, попался и он. Ловко отвертевшись на суде, фон Ринтелен был осужден только на четыре года каторжных работ. Его заместителем стал некий Шееле, очень много делавший, но и много воровавший у германского посольства. Ему удалось устроить взрывы подложенных бомб или простые поджоги на тридцати шести пароходах. Потом, когда и его, наконец, арестовали, он с горечью заметил, что ему бы удалось взорвать несравненно больше, если бы те сообщники из команды пароходов, которых он подкупал, были сколько-нибудь благородными и надежными людьми: ты даешь ему деньги и бомбу, а он деньги положит в карман, бомбу же выбросит в море, вместо того чтобы честно подложить ее под котел! И так поступали, по словам Шееле, 75 процентов его сообщников. Вот и верь после этого в человечество!

Наконец, долготерпение президента Вильсона лопнуло. Он потребовал у германского правительства убрать вон как фон Папена, так и Бой-Эда. Оба атташе выехали в Германию. По дороге англичане остановили пароход в Фальмуте и наложили арест на багаж фон Папена, который имел глупость повезти с собой секретнейшие бумаги. Из этих бумаг и выяснилась в деталях руководящая, инициативная роль германского посольства в бесчисленных уголовных преступлениях — поджогах, взрывах, актах саботажа на фабриках,— совершенных в США в 1914 и 1915 гг. Курьезно, что среди бумаг фон Папена, захваченных англичанами, была и такая записка посла Бернсторфа отъезжавшему фон Папену: «Ради самого бога, не берите с собой никаких компрометирующих документов!»

Исчезновение из США фон Папена и Бой-Эда не приостановило действий созданной ими и их помощниками громадной организации, занимавшейся как шпионажем, так и саботированием в области промышленной деятельности США. Мало того, их выступления дошли до неслыханной дерзости. В два часа ночи 30 июля 1916 г. в Нью-Йорке раздался страшный взрыв, от которого дрогнула земля («величайший взрыв за всю историю города Нью-Йорка»,— говорит наш автор). Взлетели

на воздух колоссальные склады огнеприпасов на островке «Черный Том», лежащем в Нью-Йоркской гавани. Страшные взрывы последовали почти мгновенно один за другим. Часть населения Нью-Йорка в панике выбежала из домов и толпилась на улицах. За первой серией взрывов последовали другие взрывы, грохотавшие в течение трех часов. «Черный Том» работал на союзников и был вконец уничтожен германскими агентами, поместившими на фабрику и на склад своих людей.

Не менее удачно германские агенты взорвали и сожгли 11 января 1917 г. (все еще во время «мира» США с Германией!) огромнейший завод и склад огнеприпасов близ Кингслэнда (в десяти милях от Нью-Йорка), причинив убытка на 17 миллионов долларов.

Одновременно поджоги и взрывы на фабриках, заводах, верфях, на грузовых пароходах продолжались и продолжались. При этих условиях раздражение в США все росло. Было ясно, что чем больше церемонятся с германскими шпионами и с их официальным начальством, тем наглее они становятся, и что чем скорее начать открыто войну против Германии, тем будет выгоднее для США.

Среди бумаг, перехваченных англичанами и немедленно ими опубликованных, оказалось следующее откровенное письмо германского морского атташе Карла Бой-Эда с исчерпывающим изложением истинной германской точки зрения на американцев и на их президента Вильсона, о возвышенных чувствах и гуманнейшем духе которого столько раз и с таким восхищением говорили публично и Бернсторф, и фон Папен, и этот же Бой-Эд, и Циммерман, и канцлер Бетман-Гольвег, и император Вильгельм: «дядя Сам — это большой, сильный болван, страдающий от усыхания мозга (shrivelling of the brain), которому вы должны в возвышенных выражениях говорить о прекрасных принципах, а затем отрицать все, особенно если вы в самом деле виноваты» (стр. 101).

Как известно, именно в полном согласии с этой оценкой Бой-Эда германское правительство решило объявить с 1 февраля 1917 г. беспощадную подводную войну, успокоить Вильсона «возвышенными выражениями» и отрицанием своей вины. Но на этот раз сорвалось... Вильсон сначала оборвал дипломатические отношения с Германией, а 6 апреля 1917 г. республика США вступила в войну с Германией. Только с этого момента, утверждает Генри Лэндау, началась настоящая, серьезная, суровая, грозная борьба против германского шпионажа и саботажа. И как по мановению волшебного жезла, шпионы в панике провалились сквозь землю, разбежались, укрылись. Их преступления перестали быть ежедневным, бытовым явлением.

Автор доводит свое изложение только до начала войны США с Германией, до 6 апреля 1917 г. Все те, кто склонен к беспечности, все, кто наивно находит, что «мирные отношения», «нормальные дипломатические связи» от чего-нибудь гарантируют, когда имеешь дело с противником, осмеивающим соблюдение законных дипломатических форм как «безмозглую глупость», должны читать эту книгу Лэндау и читать ее очень внимательно.

Ленинградская правда, 1938, 15 декабря. № 286.

ФРАНЦИЯ И ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

В первый раз отчетливо был поставлен вопрос о том, что такое Центральная Европа для Франции, в середине XVIII в. Были выдвинуты две определенные точки зрения: первая точка зрения, которая впоследствии получила название «колониальной», и вторая точка зрения, которая впоследствии была названа «континентальной».

Первая точка зрения, представителем которой являлся в XVIII в. Дюпле, в XIX в.— Жюль Ферри и другие колониальные деятели Франции, может быть выражена так: Франция в Европе является насыщенным государством; ей распространяться на запад мешает океан, а на восток — германский элемент, плохо ассимилируемый. Она свое будущее должна видеть в заморских владениях и прежде всего в Индии (вопрос так ставился в середине XVIII столетия); затем — в менее богатых местах, где можно бороться с Англией, где можно предупредить англичан или вытеснить их. В Европе же Франции достаточно укрепить свои границы, достаточно так или иначе поладить с центральными европейскими государствами, в особенности достаточно держать Центральную Европу в состоянии некоторой раздробленности, чтобы острие германской политики не могло быть направлено против безопасности Франции. Всю же агрессию мощной страны следует направить на заморские владения. Эта точка зрения в 30-х, 40-х и 50-х годах XVIII столетия как будто бы начинала преобладать. Когда Дюпле был генерал-губернатором Французской Индии, то английская буржуазия и английская аристократия, т. е. два правящих класса тогдашней Англии, трепетали, потому что ставился вопрос о том, кому будет принадлежать Индия.

И тут же, в середине XVIII столетия, последовал победоносный натиск представителей другой точки зрения, всецело одержавшей верх над колониальной точкой зрения. Это была континентальная точка зрения, представителем которой являлся министр Шуазель и все французские короли, в сущности, начиная с Людовика XIV и кончая Людовиком XVI. Эта континентальная точка зрения была радикально противоположна и враждебна первой точке зрения.

Точка зрения континентальная заключалась в следующем:

Франция жизненно заинтересована в том, чтобы в Центральной Европе не образовалось большого, объединенного, могущественного германского государства. Поэтому, поскольку Пруссия слаба,— пусть будет Пруссия. Поскольку Австрия сильна,— надо бороться с Австрией. Все нужно бросить, ни о каких Индиях не помышлять, пока в центре Европы Франция не достигнет раздробленности германских государств.

Кончилось дело победоносно для континентальной тенденции. В начале 50-х годов XVIII в. с английской стороны последовал один из необычайно ловких дипломатических шагов. Английское правительство объявило Франции, что она пойдет на любой союз с ней с целью изничтожения так называемого «великого» Фридриха Прусского с одним условием: чтобы Франция отозвала генерал-губернатора Дюпле. Остальное все уладится само собой. Дюпле чуть не силой посадили на корабль и отвезли во Францию. Но спустя полтора года англичане обманули Францию и стали на сторону Фридриха II.

Континентальная точка зрения, восторжествовавшая над колониальной, прочно овладела французской дипломатией.

Потом наступила революционная буря, пришел Наполеон. Когда Наполеон начал свой разгром феодальных монархий Европы в начале своей победоносной военной карьеры, он тоже считал, что достаточно будет как-то отделить от остального германского туловища Баварию, Вюртемберг, Баден и отдельные германские владения так, чтобы поставить их под свой протекторат, и остальная Германия будет совершенно не опасна. Но, как известно, головокружительные успехи всех его войн привели к тому, что церемониться ему было совсем не нужно. Он разгромил Австрию, затем Пруссию и говорил в Тильзите Александру I, что Пруссия «подлая страна с подлым королем», которая «не достойна существовать». Но вот кончилось это, как выражался Меттерних, длительное землетрясение. Кончился наполеоновский период, и в 20-х, 30-х и 40-х годах нужно было опять-таки ставить вопрос о Центральной Европе. Здесь точка зрения французской дипломатии при Наполеоне III формулировалась так: «Национального объединения Германии предотвратить нельзя (Наполеон III с этим согласился), нужно, быть может должно, позволить Пруссии объединить север Германии, но следует стараться, чтобы Бавария, Вюртемберг, Баден и Австрия остались бы вне прусского владычества».

Когда разразилась война 1870—1871 гг., то в этом победоносном натиске Бисмарку не сразу удалось до конца сделать то, к чему он стремился. И Вюртемберг, и Бавария, и Баден, и вся Южная Германия остались еще в 1867 г. в значительной мере самостоятельными. Был у них военный союз, но лишь с 1871 г. можно говорить об объединенной Германии.

Теперь, в течение всей первой стадии существования Третьей французской республики, эти две точки зрения — старая континентальная и, казалось бы, совершенно отошедшая на задний план колониальная — опять вступают в борьбу. Рассмотрим, каким образом воскресла колониальная точка зрения, когда Франция была разбита в 1871 г., когда взоры самых сильных классов во главе с буржуазией были обращены на «дыру в Вогезах», на отвоевание Эльзас-Лотарингии?

Этому помогла совершенно сознательно германская дипломатия. Дело было летом 1878 г. В один из дней берлинского конгресса, когда французский представитель сидел, не вмешиваясь в прения, и напрасно русские уполномоченные уповали на его помощь, Бисмарк, подойдя к нему, повел речь, смысл которой сводился к следующему. До него дошли слухи, что французы недовольны беспокойным соседством Туниса. Поэтому если французы пожелают забрать тунисский султанат, то он, Бисмарк, ручается, что в Европе никто не тронет Францию, пока она будет завоевывать Тунис. Посол сказал, что он должен дать знать в Париж. Через два года после этого разговора Тунис был завоеван французами.

Вторично Бисмарк заявил столь же категорически, что если французам угодно завоевать Индокитай, то он ничего против иметь не будет. Индокитай был завоеван.

Французская колониальная партия, которую искусственно как бы толкали на эти завоевания, воскресала. Если теперь посмотрите на карту и увидите эти громадные французские владения, вы должны вспомнить, что до 1871 г. $^{1}/_{12}$ часть того, что сейчас принадлежит Франции, была в руках Франции, а $^{11}/_{12}$ было завоевано при Третьей республике.

Зачем Бисмарк это делал — он не скрывал нисколько. Он стремился удовлетворить французов где-либо вне Европы, чтобы они оставили в покое Эльзас-Лотарингию, чтобы можно было, как он выражался, отдохнуть на западной границе.

Колониальная партия во Франции, поощряемая Бисмарком, неожиданно подняла голову. Одно колоссальное владение за другим становились собственностью Франции. Буржуазия Франции, та часть капиталистического класса, которая не знала, куда девать свободное золото, устремила свои миллиарды по этой линии наименьшего сопротивления.

Что же делали представители континентальной точки зрения, проявлялась ли эта точка зрения? Конечно, проявлялась. Во главе партии, которая тогда шла решительно против колониальных захватов, которая считала это страшной опасностью, стоял тогдашний вождь радикалов Жорж Клемансо.

Грянул 1914 год. Как обстояло дело с Центральной Европой в данном случае? Клемансо, в годы его второго министерства,

с самого начала выдвинул принцип, что с Австрией, если она согласна заключить сепаратный мир, можно хоть завтра его заключить,— Австрия этим спасается. Всем, вероятно, памятна таинственная, темная история с принцем Сикстом Бурбонским, братом австрийской императрицы Циты, который побывал в 1917 г. у Пуанкаре и привез ему письмо от императора австрийского Карла с предложением мира. Клемансо был тогда прав, когда заявил, что предложение мира последовало со стороны Австрии. Но он был неправ, когда утверждал, что французы никак не поощряли посылки этого письма. Теперь известно, что Карл написал письмо, когда ему дали знать, что Клемансо и Пуанкаре не прочь выслушать это предложение. И это весьма понятно, потому что и Пуанкаре и Клемансо хотели, чтобы в этом страшном катаклизме сгорела Германия, но не Австрия, ибо Австрия достаточно рыхлое и слабое государственное образование, которое именно и нужно для безопасности Франции. Центральная Европа была бы сохранена.

Германская империя так упорно сражалась, такие неслыханные усилия употребляла в борьбе против всего мира, так много лишней обузы взяла на себя, что когда она рухнула, то оказалась более раздавленной, чем желали ее враги, чем желали этого те же англичане. Французы же увидели, что не только их желание исполнилось, но что победа гораздо большая, чем им хотелось, потому что рухнула не только Германия, рухнула и Австрийская империя, рухнула Турция. Австрия не то что потеряла кусочек территории. От Австрии осталось, можно сказать, лишь воспоминание. Этого не желали и не ожидали ни Клемансо, ни кто-либо из представителей континентальной точки зрения.

Колониальные деятели были уже удовлетворены сверх меры. А политики континентальные, политики, которые говорили, что судьбы Франции связаны с Центральной Европой, разумеется, были в высшей степени встревожены полным исчезновением Австрии с лица земли. И вот начинается новая полоса дипломатической деятельности Франции. Опять-таки воскресает стародавняя мысль о необходимости что-то сделать из Центральной Европы, помешать ей объединиться с Германией.

Когда кончилась борьба, когда заключены были мирные трактаты, обнаружилось, что Германия осталась, правда, не в прежних границах, ибо многое потеряла, была сильно ослаблена. Вместо Австрии явилась, во-первых, Чехословакия, наиболее промышленная, наиболее богатая и наиболее могучая часть, во-вторых, южные области отошли к государству, которое для Франции не опасно, — к Югославии. В центре Европы оказались Польша и Чехословакия, остаток Австрии и Румыния. На этом базисе решено было вести «политику Центральной

Европы». Сначала эта политика была проведена чрезвычайно последовательно. Ее проводила «школа Клемансо», прежде всего министр Луи Барту. Когда Клемансо уже отошел от дел, остались его ученики, его последователи, из них первым был Барту. Он, как известно, заключил франко-советский пакт.

Для Барту вопрос стоял таким образом: Центральная Европа недостаточно сильна, чтобы обороняться от Германии. Ее надо поддержать чем угодно: трактатами, даже огнем и мечом, но поддержать, потому что опять-таки вековечный вопрос о Центральной Европе встал особенно остро. Пока существовала рыхлая Австро-Венгрия, слабая, но державшаяся, до тех пор это было безопасно. Теперь отдельные кусочки не могут не подпасть под власть Германии. Министру Барту указывали, что в Чехословакии живут три миллиона немцев. Барту ответил: «Да, да, я знаю, там живут три миллиона немцев, но что из этого следует? Значит надо отдать Чехословакию Германии?» — «До тех пор, пока есть у нас хоть один пулемет, хоть один аэроплан,— говорила пресса, поддерживая политику Барту,— мы не позволим Чехословакию тронуть. Если нас мало, чтобы ее защитить, если она слишком беззащитна рядом со своим соседом, мы заключим союз с Советской Россией и будем вместе с ней воевать за Чехословакию и за Польшу, если Польшу Германия захочет присоединить».

Но когда польская политика повернула в сторону Германии, когда безумная мысль о том, что при помощи Германии будто бы можно будет отхватить Украину и поживиться на этом, овладела Пилсудским и пилсудчиками, эта совершенно безумная авантюристская идея, которая им стоила уже позора 1920 г., то вывод был ясен. Центральная Европа не только польскими силами не обороняется, но сама Польша фактически вошла в эту орбиту.

Приводят ли последние события в такую историческую связь, в какую я старался привести вопрос? Конечно, приводят. Французы вспоминают о Шуазеле, они вспоминают и о Дюпле. Франция — это страна, интеллигенция которой наиболее осведомлена в истории своей родины. Они с этими национальными традициями, так называемыми принципами внешней политики, прекрасно ознакомлены. Они так и полагают, что тот самый вопрос, который беспокоил королей бурбонской династии, который беспокоил одно за другим все революционные правительства, начиная с Конвента и кончая Директорией, вопрос, который исчез с поля зрения при Наполеоне, но воскрес после Наполеона, при Реставрации и Луи-Филиппе и который сделался корнем ссоры Наполеона III с бисмарковской Германией, вопрос, который затем не переставал стоять перед деятелями Третьей республики, теперь внезапно оказался разрешенным против инте-

ресов Франции. Железная неуклонность французской политики в деле поддержки всех небольших или слабых государств Центральной Европы, чтобы они не стали добычей Германии, вдруг исчезла.

Отметим еще некоторые чисто внешние моменты, хотя бы историю с поздравительной телеграммой, посланной Фланденом Гитлеру. Появились статьи об этом факте, где говорилось, что либо мы, французы, стали совершенно другими людьми, либо весь мир переменился, если оказалось возможным то, что сделал Фланден. Даже представить себе нельзя, восклицает один из авторов таких статей, 60 лет тому назад появление известия, например, что Гамбетта послал Бисмарку поздравительную телеграмму по поводу того, что Бисмарк забрал какую-то территорию и присоединил ее к Германии.

А ведь Фланден не кто-нибудь, Фланден — вчерашний министр, он стоит в первых рядах правителей Франции. Если Фланден осмелился послать Гитлеру, палачу своего и окрестных народов, поздравительную телеграмму по поводу того, что Гитлер удачно присоединил Центральную Европу, т. е. удачно разрушил то, из-за чего столько бились поколения французских государственных деятелей, если он мог это сделать и остался на своих позициях, значит за ним кто-то стоит, кто-то его поддерживает.

Здесь я приведу мнение одного экономического органа Франции. Орган этот вспомнил очень любопытную историю по поводу передачи «французского подарка», как он это называет, Чехословакии Гитлеру, он вспомнил фразу, сказанную покойным Жоресом. Дело было в разгар дела Дрейфуса в 1899 г. Оглашено то, что было до той поры секретом полишинеля (т. е. о чем все знают, но никто вслух не говорит), а именно, что дом еврейских банкиров Ротшильдов со всем своим могуществом, со всеми своими неограниченными мировыми кредитами, поддерживает антидрейфусов и ведет антидрейфусовскую политику, финансирует направо и налево антисемитские органы, которые ведут кампанию против Дрейфуса. Жорес тогда сказал крылатую фразу: «Они жертвуют своей расой, своим народом, чтобы спасти свой класс».

Вот эту крылатую жоресовскую фразу по поводу частного случая с Ротшильдами, поддерживавшими антидрейфусовскую кампанию, и вспомнил цитируемый публицист.

Теперь уже прекрасно известно, как обстоит дело. Известно, что 28 и 29 сентября, когда правительству Бенеша на минуту показалось, что чехов, может быть, поддержат, оно моментально выгнало вон всех генлейновцев, и сам Генлейн ораторствовал по радиовещанию уже из Дрездена. Гитлер тогда и не думал трогаться с места, потому что воевать он не может, и это тоже

секрет полишинеля. Чехословакия была защищена горами, прекрасно использованными для военных целей, Чехословакия обладала колоссальными оружейными заводами Шкода, прекрасно оснащенной армией. Генерал Фоше (французский эксперт и представитель в Чехословакии) категорически заявлял, что Гитлер не посмеет двинуться, даже если Чехословакия будет лишена помощи Англии и Франции.

Германия сейчас во много раз слабее вильгельмовской Германии, и о настоящей большой войне не может быть и речи. И вот тогда полетели Даладье и Чемберлен успокаивать Гитлера, полетели, чтобы показать, что рубка деревьев на Елисейских полях, отмена отпусков и вся эта мнимая «мобилизация» так же, как передвижение британского флота, рассчитаны только на обывателя, чтобы его запугать, Гитлер успокоился, а когда успокоился, то потребовал от Чехословакии больше, чем он требовал до сих пор. Это было сделано с целью поддержать Гитлера в самой Германии. «Они жертвуют своей расой, своим народом, чтобы спасти свой класс». А так как Гитлер есть оплот, «плотина от коммунистического наводнения», то за это ему можно дать в награду даже Чехословакию. Что потом полмиллиона или миллион лишних французов погибнет вследствие именно этой уступки,— это дело далекое, а пока что — хоть день, да наш.

На этом перепутье французская внешняя политика и остановилась. Еще один вопрос: какова теперь позиция «колониальных политиков»? Они считают сближение Франции с Гитлером выигрышем. Опять-таки «хоть день, да их». Теперь можно спокойно заняться своим делом и нужно только заключить прочный и тесный союз с гитлеровской Германией, и тогда хотя и временно, но можно быть в безопасности и продолжать колониальные предприятия и, если понадобится, поссориться с Англией, потому что при поддержке Германии ссора с Англией не страшна. Леон Блюм попробовал было (весьма робко) выступить на защиту Центральной Европы от натиска германского фашизма, но быстро умолк, очевидно вспомнив завет Талейрана: «Никогда не поддавайтесь вашему первому душевному движению, потому что оно всегда благородное».

На этом сейчас обрывается французская внешняя политика.

Дело в том, что она признает, что мир все больше и больше делится по особому признаку, не делениями границ, а делением на два мира — мир капиталистический и мир социализма. Во имя защиты частной собственности, защиты капиталистического строя будут принесены какие угодно жертвы, вверх дном перевернется вся дипломатия, не только полетит прочь всякая традиция Центральной Европы, но и какие угодно традиции будут отметены прочь, пока два лагеря не станут окончательно

один против другого, пока полного объединения в лагере реакции, в лагере фашизма не установится.

Таким образом, мы присутствуем только при начале того исторического периода, который чреват самыми колоссальными и неожиданными событиями.

Все, что происходит за последнее время, в частности то обострение фашистских неистовств в Германии, свидетелями которых мы являемся, тоже не случайное явление. В «Таймсе» недавно промелькнула такая фраза, что последние события в Германии, т. е. фашистские неистовства, это есть прямое продолжение чехословацкой акции.

На этот раз «Таймс» совершенно прав. Гитлер увидел, что ему все сходит, и в связи с этим фашистский разгул продолжается и все больше и больше развертывается. При такой степени авантюризма, при такой степени полного затемнения сознания можно ожидать самых нелепых, самых диких, но и самых неожиданных для их авторов, последствий.

Что касается претензий итальянского фашизма к Франции, то может быть шантаж муссолиниевской прессы и политики отчасти не удастся. Но если Муссолини ничего не получит, то исключительно потому, что он не так нужен финансовому капиталу Англии и Франции, как Гитлер. Палачи германского рабочего класса «нужнее», чем палачи рабочего класса итальянского.

Сила фашистской агрессии в современной Европе не в том, что агрессоры могущественнее «демократических держав», а в том, что правители этих держав дружески расположены к агрессорам. Они боятся не Гитлера, а исчезновения Гитлера. И чтобы его поддержать, идут буквально на все. Расплачиваться своей кровью за все будут ведь в конце концов не они, а их народы. В Европе агрессоры еще пока не нарвались на свой Хасан.

Литературная газета, 1938, 31 декабря. № 72.

«ВОСТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» И ФАШИСТСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА[1]

I

В настоящей статье я хочу обратить внимание советского читателя на ту центральную, все собой определяющую роль, которую в политическом мышлении современного германского фашизма играет «порыв на Восток», т. е. мечта, или, лучше сказать, навязчивая идея о захвате территорий, лежащих к востоку от Германии. В связи с этим я отмечу, как эта идея одухотворяет целую наукообразную дисциплину, с таким жаром культивируемую в настоящее время в Германии: пресловутую «геополитику» в том виде, как ее подают читателям и преподают студентам.

Эту связь решительно необходимо отметить: идеологию врага следует знать как можно отчетливее.

Один из наиболее литературных, или, как предпочитает о них выражаться Генрих Манн, «наименее безграмотных» гитлеровских публицистов Эрих Цех-Иохберг в своей книге «Германская история», вышедшей в сентябре 1933 г., вполне точно и правильно выразил истинное отношение свое и своих хозяев к истории: «пишите не историю просто, и не *историю политики, а политику истории*». Они и пишут так «историю», чтобы она давала необходимые справки к очередным политическим вопросам и вместе с тем чтобы она *сама* «делала политику», аргументировала в пользу непосредственных действий, затеваемых нынешними германскими правителями.

«Если вам нравится чужая провинция и вы имеете достаточно силы, занимайте ее немедленно: как только вы это сделаете, вы всегда найдете достаточное количество юристов, которые докажут, что вы имели все права на занятую территорию». Таково было одно из любимых выражений Фридриха II.

Историки и «геополитики» в гитлеровской Германии с большим успехом заменяют, а во многом и превосходят юристов Фридриха, тем более что масштабы и аппетиты в XX столетии — не чета фридриховским, и любой из юристов, которые в свое время мгновенно доказывали «исторические права» прусского короля на Силезию, все-таки несколько затруднился бы доказать прусские «исторические права» на Украину и Урал.

Да это и не требуется. Гитлер уже давно, задолго до своего прихода к власти, выставил совершенно определенный и категорически формулированный тезис, основной тезис не только *желательной,* но, по его убеждению, единственно правильной внешней политики Германии в настоящем и предвидимом будущем. *Вся* германская историография последних лет в той или иной степени отразила в себе этот тезис. И нет ни малейшей надежды понять эту историографию, эту «политику истории», не усвоив вполне ясно, в чем состоит этот тезис и каковы его идеологические корни.

Дело идет о «приобретении европейского Востока» — не более и не менее. Это — факт общеизвестный. К сожалению, не все отдают себе отчет в том, какое всеопределяющее значение он имеет для всего политического мышления современной Германии.

«Предысторию» планов и установок Гитлера и гитлеровских «историков», геополитиков и просто политиков о «приобретении восточного пространства» (Ostraum) следует начинать издалека.

«Отец германского протекционизма», знаменитый Фридрих Лист (покончивший самоубийством в 1846 г.), первый из немецких экономистов обратил внимание на то, что «Германии удобнее, легче, безопаснее искать рынков сырья и сбыта, а также земли для колонизации не за морем, а на Балканском и Малоазийском востоке, т. е. на суше, не прерываемой от Германии до Персидского залива ничем, никакой «водяной преградой» («морская река» Босфор в счет не идет, конечно). Создание объединенной германской империи в 1871 г., последовавший вскоре тесный экономический и военно-политический союз с Францем-Иосифом, который всенародно объявил себя «часовым у палатки Гогенцоллернов», усиленное внедрение германского капитала в Турцию — все это дало стародавней идее Фридриха Листа новое содержание и чрезвычайно конкретный характер.

Через шестьдесят лет после смерти Фридриха Листа его мысль была подхвачена и подробно развита Науманом (в нашумевшей книге о «Серединной Европе») и его последователями.

А когда родившаяся 8 апреля 1904 г. франко-английская Антанта превратилась в августе 1907 г. в «Тройственное Согласие» путем включения в Антанту еще Российской империи, то мечты о «Серединной Европе» породили в кругах германского теоретического и практического империализма совершенно определенное, четко обозначившееся разногласие. В самом деле. После заключения англо-русского пакта в августе 1907 г., после свидания короля Эдуарда VII с царем в Ревеле весной 1908 г. в Германии укрепляется мысль, что Англия, с опозданием в

55 лет, решила ответить на предложения, сделанные в 1852 г. Николаем Павловичем лорду Сеймуру,— предложения, сводившиеся к разделу турецких владений между Англией и Россией. *Тогда* Англия ответила на это предложение Крымской войной, *теперь* наследники королевы Виктории и лорда Пальмерстона — король Эдуард VII и его министры — ответили полным согласием. Это было противопоставление, усердно повторявшееся в германской империалистской публицистике накануне мировой войны.

Раздел Турции стал, следовательно, только вопросом времени. Факты, как утверждали Рорбах, Ревентлов и др., не замедлили подтвердить это опасение. Разрушение Оттоманской империи, говорили они, по сигналу Антанты, уже началось в 1911 г. нападением Италии на Триполитанию, продолжалось нападением союза всех балканских держав на Македонию, на Албанию, на подступы к Константинополю в 1912—1913 гг. С указанной германской точки зрения было ясно, что из трех стран Антанты от раздела Турции выиграют больше всего Англия и Россия, но вовсе не Франция, вложившая также огромные фонды в Турцию, и что Франция довольно холодно относится к идее этого раздела. Но еще яснее было и то, что уж, конечно, не Франция будет помогать Германии в чем бы то ни было против России и Англии. Что же делать Германии? Спасать Турцию? Но для этого нужно круто перестроить всю свою политику, отказаться от мечтаний о великих заморских колониях. Бросить Турцию на произвол судьбы и изо всех сил продолжать строительство флота и погоню за африканскими и островными колониями? Сил на то и другое хватить не могло. Нужно было выбирать. И вот тут-то в военной и общей литературе вильгельмовской Германии поднялась полемика, которой тогда же было дано ходячее название: «Мольтке против Мэхэна» («Moltke gegen Mahan»).

Поясним это на первый взгляд непонятное выражение.

Дело в том, что еще в 1893 г. вышло первое (обработанное и полное) издание двухтомной книги американского военно-морского историка Мэхэна под названием «Влияние морской силы на французскую революцию и империю». Эта книга произвела уже в момент своего появления чрезвычайно сильное впечатление. Она много раз переиздавалась и с каждым новым изданием приобретала все более и более злободневный интерес именно для Германии.

Пресса адмирала фон Тирпица и основанный им «флотский союз» широко использовали сочинения Мэхэна для пропаганды необходимости спешной постройки первоклассного флота. Основная мысль книги Мэхэна заключалась в том, что если Англии удалось в конце концов одолеть Наполеона, то исключительно

потому, что у Англии был флот, а у Наполеона после Трафальгарской битвы 21 октября 1805 г. флота не было и выстроить новый ему не удалось.

Весьма понятно, что Мэхэн мог стать одним из идеологических вдохновителей тирпицевской пропаганды в *пользу* флота Но что же должен был обозначать этот новый лозунг: «Мольтке против Мэхэна», или, переводя на более понятный язык «Мольтке против Тирпица»? Этот лозунг и давал точное выражение тому раздвоению мысли, которое возникло среди германских империалистов примерно между 1901 и 1914 гг. и которое не окончилось даже и теперь, хотя Гитлер и гитлеровцы полагают, что спор, по крайней мере, чисто теоретический, по этому вопросу окончен.

Раздвоение мысли заключалось в следующем. Одни (во главе с Тирпицем и Бюловым, а потом Бетман-Гольвегом) продолжали всецело держаться теории Мэхэна: нужно строить большой флот, чтобы не повторить ошибки Наполеона в его борьбе с Англией. Другие — представленные в рейхстаге частью консерваторов, считавших себя наследниками заветов Бисмарка,— заявляли, что с Англией ссориться незачем, что она все равно не даст никогда перегнать себя в судостроении и что заводить заморские колонии и трудно и не имеет ни малейшего смысла: все равно связь этих новых владений с метрополией будет подобна тоненькой ниточке, которую британский флот перережет в любой момент по своему желанию. Нужно поэтому все те огромные суммы, которые тратятся на бесполезный флот, обратить на усиление армии, нужно, подкрепив и увеличив таким путем свои сухопутные силы, еще теснее соединиться с Австрией, установить свой политический и военный контроль над Балканским полуостровом, реорганизовать турецкую армию, в конечном счете, если понадобится, вооруженной рукой отбить Россию, когда она будет покушаться на уничтожение Турецкой империи. Так сделал бы старый Мольтке, говорили приверженцы этого взгляда, старый фельдмаршал, который, подобно Бисмарку и в противоположность Вильгельму II, считал, что будущее Германии не «на воде», но на суше, и только на суше.

Мэхэн прав насчет Наполеона, говорили приверженцы этого взгляда,— но почему? Потому, что Наполеон воевал одновременно против континента и против Англии, «против суши и против моря», но к Германии, если она не повторит этой ошибки Наполеона, теория Мэхэна не применима. Австрия, «Средняя Европа», Малая Азия — сплошная «суша», и от Гамбурга до Багдада можно проехать и провезти товары, ни разу не встретившись с англичанами и забыв о существовании британского флота. «Армия, а не флот, Мольтке, а не Мэхэн, европейский и ближнеазиатский Восток, а не заморские колонии!» — таков

был лозунг части германских империалистов уже накануне мировой войны.

К величайшему сожалению Гитлера (высказанному им в книге «Моя борьба»), когда в начале XX столетия стала дилемма: «сохранение германской нации — или сохранение всеми мерами мира», германская дипломатия предпочла второе.

Читатель спросит: как же она «предпочла» сохранение мира, когда налицо документы за июль и август 1914 г., не говоря уже о более ранних. Гитлера это ничуть не смущает: Германия, по его мнению, конечно, неповинна в войне! На нее напали! Ее обманули! Ее окружили! и т. д.

Вся вереница этих навязших в зубах лживых разглагольствований пропагандируется Гитлером как самая непреложная истина.

Глазам не веришь, знакомясь с этой сплошной, вполне сознательной ложью о германском разгроме 1918 г. Победа Германии совсем уже была якобы в руках, но вот марксистско-еврейские заговорщики, боявшиеся этой победы, все испортили, разложили «непобедимую» армию и привели к версальскому позору. Вся эта наглая фантасмагория преподносится в обычных для книги «Моя борьба» пошло-сентиментальных и театрально-гневных тонах. Человеку хотя бы с минимально развитым эстетическим вкусом читать это произведение противно Все дело было в том, что «император Вильгельм II протянул руку примирения вождям марксизма, не понимая, что у мошенников нет чести. Держа императорскую руку в своей, они другой рукой уже искали кинжал» (I, 217).

Первые успехи германского оружия во время мировой войны, хотя и прерывавшиеся уже тогда весьма чувствительными поражениями (первая Марна, занятие Львова русскими войсками и т. п.), весьма окрылили германскую крупную и среднюю буржуазию, и 20 мая 1915 г. канцлеру Бетман-Гольвегу была подана знаменитая записка «шести хозяйственных объединений» (центральный союз германских промышленников, промышленный союз, германско-имперский союз среднего сословия, союз сельских хозяев, германский крестьянский союз, правление христианских крестьянских союзов).

В этой записке требовались и обширные аннексии па западе за счет Бельгии и Франции, и колонии, и обширнейшие присоединения земель Российской империи. Имелось в виду не только оторвать от России наиболее хлебородные области, но и установить протекторат (!!) над немецкими колонистами на юге России и по Волге: «...установить связь бесправных германских крестьян в России с германским имперским хозяйством и (этим — *Е. Т.*) значительно повысить численность пригодного к обороне населения».

Эта «программа шести союзов» дополнялась такой же щедрой программой колониальных завоеваний в Африке, Индонезии и т. д. Все это писалось в 1915 г.

Но вот грянули Февральская, а затем и Октябрьская социалистическая революции в России; вместе с тем обнаружилось, что после вступления Соединенных Штатов Америки в войну надежды на окончательное сокрушение Англии весьма и весьма потускнели.

И тогда-то, в дни Брест-Литовского мира и в весенние и летние месяцы 1918 г., с новой силой воскресает лозунг: «Мольтке против Мэхэна», а осенью, в особенности после катастрофы германской армии 8 августа между Анкром и Авром, этот лозунг в исправленном и дополненном виде превращается в довольно стройную систему новой тактики германской дипломатии с целью добиться приемлемого мира.

О колониях уже ничего не говорится, и когда не весьма щедро одаренный умственными способностями Пауль Рорбах, засидевшийся в гостях у «гетмана» Скоропадского в Киеве, заикнулся о том, что французам следует предложить отказаться от Марокко и Алжира, то ему велено было из Берлина немедленно умолкнуть.

Нет, не в колониях дело: *все* уступим Англии и Франции на Западе и за морями, лишь бы они дали нам «свободу рук на Востоке» («freie Hand im Osten»).

Размеры статьи не позволяют привести образчики поистине бредовых фантазий, возникавших в германской буржуазной прессе в последние месяцы пред окончательной капитуляцией и разгромом Германии. Даже распределялись уже электростанции между Сименс-Гальске и другими фирмами: кому взять Томск, кому электрифицировать Ташкент. Уже высчитывалась нагрузка рельсопрокатных заводов Германии ввиду близкой необходимости дублировать сибирскую железную дорогу и т. д.

Кратковременное занятие русских территорий весной и летом 1918 г. имело поистине роковое значение для психологии вождей буржуазных партий Германии вообще, а реакционно-монархических и фашистских группировок в особенности: бóльшая часть их крепко и надолго уверовала в полную будто бы легкость аннексий на Востоке и в дальнейшем будущем.

Но наступает страшная для Германии осень 1918 г.: отпадение Болгарии, отпадение Австрии и Венгрии, разгром Турции — и, наконец, полная сдача самой Германии на милость победителей. Германские войска эвакуируют Украину, Польшу, балтийские земли, Литву. Затем 28 июня 1919 г. подписывается ужасающий для Германии Версальский мир. Отражается ли вся эта неслыханная катастрофа на отмеченной только что иллюзии? Нисколько! Буквально на другой день после поражения

Людендорф пресерьезно выступает со своим знаменитым предложением, переданным Жоржу Клемансо: он предлагает совместный поход французских и германских войск в Россию для низвержения Советской власти; верховным главнокомандующим пусть будет маршал Фош, а он, Людендорф, любезно берется быть начальником штаба. Этот план Клемансо назвал «бредом помешанного». Старому французскому «тигру» показался бессмысленным расчет Людендорфа на глупость французов, на то, что французы могут не понять, куда метит Людендорф! А мысль Людендорфа была весьма прозрачна: в награду за «спасение Европы от большевизма» Германии было бы позволено взять любые территориальные компенсации за счет земель Советского Союза. Эта глубокомысленная идея не прошла! Но прочно засевшая во многих головах мысль продолжала жить в Германии...

Да не подумает читатель, что эта мысль совершенно исчезла в годы после Рапалло, в годы руководства Штреземана внешней политикой и исправного действия Веймарской конституции. Когда Штреземан скончался, то в некоторых некрологах его похвалили за попытки «доверительно» убедить Бриана в необходимости «компенсировать» Германию на Востоке и этим создать возможность и предпосылки к «чистосердечному франкогерманскому примирению».

Но для кого мысль о возможности и легкости захватов на Востоке сделалась в самом деле какой-то патологической «неподвижной точкой»,— это для Гитлера и гитлеровцев, еще задолго до их воцарения в Германии.

Для «национал-социалистов» эта идея была тем более заманчива, что надежда на территориальные приобретения тут сопрягалась с упованием на сокрушение ненавистного советского строя.

Известно, до какой небывалой по наглости и наивности выходки дошел германский фашизм в эти первые «медовые» месяцы своего существования. Летом 1933 г. в Лондоне собирается конференция держав по вопросу об экономической ситуации и о способах ее поправить.

И здесь, в присутствии представителя Советского Союза, Гугенберг развивает мысль о необходимости «предоставить» Германии экономическую «свободу рук»... на Украине. После его выступления английские газеты писали, что участники конференции, по их собственному позднейшему признанию, ушам своим не верили, слушая Гугенберга. Ему дали, конечно, понять, что после его изумительной выходки дальнейшее его пребывание в Лондоне не является необходимым для конференции. Гугенберг вылетел из Лондона на самолете — и улетел безвозвратно: Берлин поспешил лживо удостоверить, будто его

выступление произошло по личному вдохновению. Конечно, это была не первая и не последняя официальная ложь германского фашизма.

Гугенберг только громогласно выразил сто раз повторенное западноевропейским державам «скромное» предложение гитлеровцев: немцы берут на себя вооруженную борьбу против «большевизма», а в награду просят Украину.

«С Англией — против России!» «По следам тевтонских рыцарей, вперед, на Восток!» «Если искать почвы в Европе, то это можно осуществить только за счет России!» (I, 147). Таковы нагло-откровенные призывы Гитлера.

Для подобной политики, глубокомысленно пишет Гитлер. у Германии в Европе есть лишь один возможный союзник. это — Англия. Гитлер с отчаянием вспоминает об «ошибке» германской дипломатии, отвергнувшей союз с Англией (в 1899—1901 гг.). «Мы в 1904 г. в десять раз сэкономили бы кровь. пролитую в 1914—1918 гг.», если бы Германия «взяла на себя роль Японии» (т. е. тогдашнего союзника Англии) против России.

Но вот англичане, например, никак не могут взять в толк. что если они не хотят отдать Германии колонии, то по крайней мере должны одобрить нападение на Чехословакию, Литву и Советский Союз. «Что делает разговор с англичанами таким бесконечно трудным (unendlich schwer), это основное свойство их пуританской натуры — все на свете события ставить перед судом своей совести. Вследствие этого свойства дискуссия постоянно отвлекается от деловых вещей к моральным оценкам»,— так жалуется Зонненголь на англичан, не понимающих, что нужно же Германии дать время усилиться за счет «европейского Востока» раньше, чем Гитлер «всерьез» заговорит о возвращении колоний. Самое любопытное, что гитлеровская публицистика несколько раз с обезоруживающей откровенностью объясняла печатно своим читателям явное и вопиющее противоречие, существующее между отчетливо выраженной мыслью Гитлера о несвоевременности для Германии активной погони за заморскими колониями и постоянно повторяемым теперь предъявлением к Англии требования возврата африканских колоний Германии. Оказывается, никакого противоречия нет, а это просто — «тактический прием»: чем чаще беспокоить Англию напоминанием об африканских колониях, тем легче последует со стороны Англии согласие, хотя бы молчаливое, на «приобретение восточного пространства» Германией в Европе, начиная с Австрии, продолжая Мемелем, Судетской Чехией и кончая Украиной.

Повторяя на все лады мысль об единоспасающем значении завоевания «европейского Востока», Гитлер не забывает, конеч-

но, об этом и в своем «политическом завещании» (politisches Testament), которое он заблаговременно составил — хотя отнюдь не собирается еще умирать! — и для пущей торжественности напечатал разрядкой во втором томе своей книги. «Заботьтесь о том, чтобы сила нашего народа покоилась не на основе колоний, но на почве европейского отечества. Не считайте никогда государство обеспеченным, если оно не может на столетия вперед обеспечить каждому отпрыску нашего народа собственную земельную недвижимость. Никогда не забывайте, что священнейшее право на свете — это право на землю, которую человек желает обрабатывать сам, а священнейшая жертва — это кровь, которую человек проливает за землю». И тут же эти слова, ни в малейшей степени не нуждающиеся в комментариях, поясняются с той назойливой многословной манерой, которая так характерна для самовлюбленного самоучки, впервые взявшегося за перо, если он располагает крайне ограниченным запасом основных мыслей. И снова многозначительно подчеркнуто: «Не западная и не восточная *ориентация* должна быть будущей целью нашей политики, но *восточная политика в смысле приобретения необходимой земельной площади*» (II, 330).

В 1936 г., в своей знаменитой речи в Нюрнберге на сентябрьском съезде национал-социалистической партии, Гитлер уточнил свою мысль. Оказалось, что если бы «приобрести» Украину, Урал и Сибирь (по другой версии — Украину, Урал и Кавказ), то «всякая германская хозяйка почувствовала бы, насколько ее жизнь стала легче». Следует, впрочем, заметить, что география вожделенного «европейского Востока» никогда не была самой сильной стороной, вообще говоря, скромной эрудиции фюрера.

Достаточно указать, например, на тот пересчет мест «кровавых сражений мировой войны», который он дает (II, 336): «Сомма, Фландрия, Артуа, Варшава, *Нижний Новгород*, Ковно и Рига». Нижний Новгород влетел сюда внезапно, как плод того же освобожденного от всяких пут вдохновения, которое заставило Урал поставить рядом с Украиной и тем самым указало германскому народу еще на одну заманчивую и обширную цель: овладение также территорией, отделяющей Украину от Урала, ибо иначе как же обеспечить сообщение между этими частями будущей «Великогермании» (Grossdeutschland)?

А создать эту «Великогерманию», проповедуют германские фашисты, и необходимо и неизбежно: в этом начало германской миссии, германского «посланничества» на земле.

В 1933 г. в Лейпциге вышла книга под любопытным названием: «О смысле современности. Книга о германском посланничестве» .

Книга полна той псевдоглубокомысленной мессианистской болтовни о призвании германского народа, которая успела так жестоко навязнуть в ушах всех слушающих, например, «радиодиффузию» Альфреда Розенберга, Адольфа Гитлера, Геббельса и прочих. Припев, конечный вывод *всегда* один и тот же и в толстых книгах и в скоропалительном радиовещании: «дорога к „Третьей империи" ведет через Ближний Восток. К этому приурочивается германская политика *своими ближайшими* задачами».

«Ближний Восток» — это, конечно, Рига, Ревель, Ковно. Киев — для начала. А там видно будет, где именно кончается «ближний» Восток и начинается более дальний. Судя по речи Гитлера в Нюрнберге в сентябре 1936 г., Урал, по-видимому, тоже входит в «ближний» Восток, и именно — подлежащий особому использованию со стороны «немецких хозяек» (die deutsche Hausfrauen).

Историк Эйбль много философствует о таинственном провиденциальном значении слова: «Австрия» (Oesterreich). Его восхищает то, что в самом этом слове есть что-то от востока (Ost, Osten). Австрия — это «восточная марка» «Третьей империи», это плацдарм и исходный пункт для овладения «Ближним Востоком». Это-то и делало вопрос об аннексии Австрии таким жгучим для всех гитлеровских политиков, историков и государствоведов.

С Австрии начато. А чем же кончить? Это будет видно. Зачем стеснять себя заранее?

Вообще неопределенность будущих границ «Третьей империи» является в сущности счастливейшим открытием гитлеровских «историков» (с их точки зрения). В самом деле, извольте, например, остановить германскую экспансию, если «вождь» пожелает «воссоединять» германские племена согласно, скажем, требованиям популярнейшего сейчас в Германии историко-археологического трактата Густава Коссины!

Оказывается, что германцы «влияли» и своим оружием и своими черепами (sic!) на финские племена, которые в начале книги понемножку начинают уже величаться «финно-индогерманскими», а к концу оказываются как две капли воды похожими на германцев. А так как некоторые филологи нашли финское влияние даже в звуке и составе слова «Москва», то вот и начало научного обоснования прав «Третьей империи» на Москву.

О балтийских странах и Финляндии — нечего и говорить! Сам Коссина о Москве, правда, не поминает, но о Балтике и Финляндии говорит определенно; так же, как — уж кстати! — и о Чехии. Москва лишь подразумевается: читателю самому предоставляется сделать вывод из «финно-индогерманских» рас-

селений на Востоке. А чтобы облегчить читателю эту работу мысли, автор печатает перед титульным листом книги фототипию (во всю страницу), изображающую Гинденбурга в 1915 г. на Мазурских озерах. А заключает он свою книгу изречением того же Гинденбурга, сказанным там же, по поводу раскопок этого патриотического археолога: «При взгляде на высоко стоящую старогерманскую культуру мы снова должны уяснить себе, что только тогда сможем остаться немцами, если мы всегда будем сохранять остроту нашего меча и блюсти боеспособность нашей молодежи». Эти слова маститого генерала-от-инфантерии напечатаны в конце последней страницы и являются окончательным и главным выводом всего названного «труда» по доисторической археологии.

Подобно всем дилетантам, Гитлер и его «историки» и «социологи» крайне охотно и без малейших затруднений оперируют «тысячелетиями». Гитлер пишет: «Еще никогда в отношении размеров территории и числа народонаселения Германия не была в таких невыгодных условиях сравнительно с другими нациями, как в начале нашей истории,— две тысячи лет тому назад,— и вот теперь, в настоящее время».

Первое тысячелетие истории германского народа гитлеровские историки начинают с кимвров и тевтонов, напавших на римскую империю (и, кстати сказать,— о чем эти историки забывают упомянуть! — жестоко поколоченных Марием). Второе тысячелетие начинается с избрания в 919 г. герцога саксонского Генриха I на германский престол. Наконец, третье тысячелетие «начинается *с одного* имени, с имени Адольфа Гитлера».

Первое тысячелетие дало, видите ли, «язык, народность и, по меньшей мере, представление о политической общности (Gemeinheit)»; второе тысячелетие принесло «политическое единство и высшую ступень культуры». Но это единство было незавершенным.

И вот наступило «германское чудо»: появился вышеназванный Адольф, который и употребит начинающееся третье тысячелетие (автор Франц Людтке тут несколько запутался стилистически и явно заврался) на великие дела, и прежде всего юношеский германский народ разобьет свои цепи, *создаст пространство на Востоке* (den Ostraum gestalten) и осуществит «Великогерманию» (Grossdeutschland).

Я привожу Людтке потому, что, во-первых, он необычайно типичен и, во-вторых, потому, что эта типичность сказывается именно в выпячивании проблемы военного захвата и экономического использования «европейского Востока» (читай: территории СССР) в теоретических и исторических фашистских работах, *какой бы общий характер они ни носили.*

II

Таков строй идей, породивший излюбленное чадо теоретизирующей фашистской мысли — геополитику.

Термин «геополитика» первым пустил в оборот шведский профессор Челлен (Kjellen), а популяризировал его Адольф Геттнер в своей книге «География. Ее история, ее существо и ее методы». Один из «теоретиков» новейшей «геополитики» Курт Фовинкель с гордостью признает, что он и его друзья занимаются не столько географией, сколько именно политикой, учением о государстве (Ja, wir treiben Staatskunde) .

Фовинкель дает с полной готовностью все уточнения, которые ни Челлену, ни даже Геттнеру и в голову не приходили: «Внешняя форма государства определяется жизненными проявлениями в недрах народного тела, выражением которых является история и культура,— а также она определяется данными того пространства, в котором государство имеет свои корни, и расовой волей, *олицетворенной в личности вождей*». И тут же — восторженная цитата из Гитлера. Суконный язык Фовинкеля все-таки нисколько не затемняет основной мысли автора: геополитика есть учение о том, почему современному германскому фашизму желательно урвать у соседей данные территории, какие из них следует урвать в первую, а какие — во вторую очередь, и как наиболее ловко и целесообразно подготовить идеологическую почву и благоприятную атмосферу для успешного проявления этой «расовой воли» к ограблению соседей.

«Геополитика» в ее нынешнем фашистском значении — это один из многочисленных псевдонаучных терминов, которые с давних пор применялись с большим или меньшим успехом германской националистической наукой. Эта манера была в ходу очень задолго до Гитлера. Достаточно вспомнить знаменитых «индогерманцев», под которыми, к изумлению французских, английских и других ученых, в один прекрасный день стали в Германии понимать индоевропейцев. «Геополитика» возникла, как и «индогерманцы», еще до Гитлера. Но только сейчас, в гитлеровской Германии, этот термин приобрел такое боевое политическое значение. По точному смыслу двух греческих слов, входящих в этот термин, геополитика есть политика, связанная с землей, т. е. с земельными приобретениями, с вопросом об овладении новой землей и заселением этой земли.

В понимании современных германских «геополитиков» этот термин не охватывает собой, например, всю колониальную политику, как следовало бы ожидать по прямому смыслу термина, но, напротив, обыкновенно *противополагается* колониальной политике если не в теоретических трудах, то в практическом словоупотреблении. В просторечии «геополитика» — это «нау-

ка» о политике, направляющейся к захвату «германской расой» земли по преимуществу в Европе, а не в заморских странах Генрих I, потом Генрих Лев, потом Фридрих «Великий» прусский — вот светила «геополитики» в прошлом. Альфред Розенберг и Адольф Гитлер — вот корифеи «геополитики» в настоящем.

Их геополитика гармонически соединяется со смелым новаторством: они полагают, что истинный «геополитик» должен стремиться к овладению именно только *землей*, а вовсе не населением, которое на этой земле живет. Это население должно быть без потери времени выведено в расход, ибо оно может в дальнейшем лишь испортить чистоту расы северных долихокефальных, светлокудрых германских победителей. Лозунг «ausrotten» («искоренить») автохтонов сопрягается с другим, многократно уже высказывавшимся лозунгом: «*не колонизовать, а заселить* завоеванные (в будущем — *Е. Т.*) земли».

Эти будущие завоевания должны быть не «колониями», а прямым *продолжением* Германии. Университетские преподаватели «геополитики» не перестают настаивать, что «геополитика» не только наука, но и искусство,— нечто вроде стратегии. И прежде всего это искусство должно быть испробовано «светлокудрыми Зигфридами» на Востоке. Для начала — в Прибалтике, Литве и на Украине, а там видно будет! Да не выступит против Зигфрида злобный карлик Гаген (der grimme Hagen)! И да не положит он предела его подвигам на Востоке!

Чтобы вникнуть в «дух» геополитического мышления, достаточно вглядеться в самое построение «политико-географических» курсов и учебников послевоенного времени. Возьмем одну из ранних книг этого типа, вышедшую в свет еще за одиннадцать лет до окончательной гитлеризации германской науки и являющуюся одним из самых объемистых и по-своему содержательных трудов этого типа. Я говорю о фашистской «Политической географии» Артура Дикса. Она дала фактический материал почти всем популярным книгам по политической географии, вышедшим в Германии в 1933—1937 гг., и уже поэтому заслуживает внимания. Вся эта книга (как подавно и все нынешние ее популяризации) построена больше как программа будущих желательных активных действий германской внешней политики, чем как систематическое изложение того, что существует на самом деле. У Артура Дикса и популяризирующих его маленьких Артуров Диксов работа мысли протекает — если применить к ним философские термины — не в категории действительности, а в категории долженствования. Достаточно привести самые характерные названия глав этой основоположной книги. «Стремление к источникам пропитания. Стремление к источникам сырья. Стремление к рынкам сбыта. Стремление

к местам вложения капитала. Стремление к господству над бассейнами рек. Стремление к морю. Стремление к морским подступам. Стремление к заморским странам. Стремление к пространственному расширению могущества. Стремление к этнографической связанности. Стремление к мировому государству. Стремление к обеспечению могущества. Учение о границах». Слово «стремление» (das Streben) начинает собой целый ряд самых характерных глав, а «учение о границах» сводится после долгих рассуждений к тому, что «естественные», т. е. стратегически наилучше защитимые границы Германии, к сожалению, запутаны этнографически, выражаясь яснее — они лежат в чужих государствах и далеко не совпадают с более скромными, *фактически* существующими границами Германии. Вывод ясен для самого недогадливого читателя.

«Геополитика» нынешней Германии есть лженаучная пропаганда целей, к которым германскому фашизму надлежит стремиться в области установления новых, широчайше отодвинутых во все стороны, но особенно — на восток, границ и в области захвата новых территорий в Европе и Азии. Африка и острова сравнительно очень мало интересуют «геополитиков».

Не столько учить тому, что было или что есть, сколько возбуждать стремление к тому, что желательно,— вот весь смысл этих книжонок по псевдоистории и псевдогеографии. А желательно прежде всего захватить, проявляя максимальную ловкость рук, соседние земли, которые окажутся «плохо лежащими». Захватить какими угодно средствами: разжигая внутреннюю рознь в этих странах, наводняя их шпионами, взрывая склады, создавая подсобные вооруженные банды из подходящих местных жителей (прежде в Австрии, теперь в Чехословакии, например), убивая министров, устраивая диверсии и, когда подвернется удобный случай, учиняя внезапные военные налеты и вторжения.

Ту же мысль о геополитике как о «науке», которая больше думает *о будущей* географии, чем о настоящей, *о будущих* «пространствах», которые «завоюет германский меч», а не о скромном «пространстве» нынешней Германии,— повторяют все, без единого исключения, нынешние «корифеи» этого любопытного псевдонаучного разветвления геббельсовской пропаганды, которое называется геополитикой.

Коллективный труд Гаусгофера, Отто Мауля и др. «Bausteine zur Geopolitik», бывший как бы манифестом новейшей фашизированной геополитики, вышел в 1928 г., еще за пять лет до официального установления диктатуры фашизма. Но только с 1933 г. геополитика была официально признана «*миросозерцанием* национал-социалистического государства». И время от времени Гаусгоферу поручается затевать научно-дипломатиче-

ские переговоры с иностранными державами, и его статьи именно вследствие их «высокоофициального» происхождения, которое ни для кого не тайна, обыкновенно внимательно обсуждаются в политической прессе на Западе.

Временем заложения основ боевой геополитики был конец 1933 и особенно 1934 г. В 1935—1938 гг. только развивались, варьировались, конкретизировались общие принципы, высказанные в 1933—1934 гг.

Этот по-своему любопытный, очень темпераментный генерал-майор Карл Гаусгофер, сверхзаведующий всей фашистской геополитикой и ответственный редактор-издатель центрального казенного журнала «Zeitschrift für Geopolitik», установил деление всех держав земного шара на две категории: державы *обновления* (die Mächte der Erneuerung) и державы упорствования (die Mächte des Beherrens). Эти достойные порицания «упорствующие» державы (Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки) именуются также «державами застоя и безопасности, покупаемой любой ценой». Именно прискорбное с точки зрения бравого генерал-майора пристрастие нефашистских держав к «застою» и миру и мешает гитлеровской «державе обновления» «обносить» свои границы на востоке. Особенную досаду этого «фельдфебеля в Вольтерах» возбуждает Англия именно потому, что она иной раз, кажется, вот-вот готова отказаться от «упорствования» и дать Гитлеру «свободу рук» на Востоке, и смотришь — опять погрузилась в свой «застой» и не желает слышать об обновлении германской восточной границы.

Тот же генерал-майор-от-геополитики в своем большом манифесте «Простор для дыхания, пространство для жизни, равноправие на земле!» торжественно обращается к четырем «крупным землевладельцам» на земном шаре: к двум «колониальным державам старого стиля» (т. е. к Англии и Франции), к Соединенным Штатам Америки и Советскому Союзу. Он грозит этим четырем владельцам земли (die Grossgrundbesitzer der Erde, как он их настойчиво называет), что «так или иначе, принудительно или добром, из соображений справедливости или из политической дальновидности», но Германия должна получить новое «пространство», а поэтому следует, не теряя золотого времени, приступить к «новому разделу (die Neuverteilung) земного пространства в зависимости от производительности труда и жизнеспособности».

Геополитики то прямо, то косвенно, но очень настойчиво предлагают трем *«крупным владельцам»* земного шара отвести от себя грозу, пожертвовав — уж так и быть! — четвертым владельцем, т. е. Советским Союзом. В этом и заключается вся дипломатическая мудрость геополитических теоретиков и

национал-социалистических практиков. Дальше этого они не шагнули ни в 1935, ни в 1936, ни в 1937, ни в 1938 г.

«Основа для работы и задач геополитики как науки... определяется тем фактом, что добываемые ею познания (ihre Erkentnisse) не останавливаются на настоящем, но ведут в будущее».

Идея патриотической «геополитики» настолько затейлива, что ее очень затруднительно выразить в нескольких точных определениях. Чтобы ее понять, нужно аккуратно читать любопытный «центральный орган» этой новой дисциплины: «Zeitschrift für Geopolitik», издающийся в Мюнхене уже поминавшимся профессором и генерал-майором Карлом Гаусгофером.

Самое характерное тут — это упорная и с жаром повторяемая мысль о том, что в географии не так важна статика, как динамика. Например, казалось бы, что можно себе представить более «статического», чем степные географические карты в школах? Но нет! И карты обязаны быть «динамичными». Не многое приходилось мне читать с таким любопытством, как статью одного из нынешних геббельсовских маститых геополитиков, Вальтера Янтцена, «Отпечаток германского народа на геополитических стенных картах», появившуюся в августовской книге только что названного журнала за 1937 г. Вот обозначение, которое дает автор: «Геополитическими стенными картами называются такие, которые выходят за пределы одного только изображения фактического положения — *статика* — и хотят обозначить движение и события в пространстве — *динамика*». Так как неискушенному читателю эта фраза может показаться очень похожей на галиматью, то ее автор поясняет дальше эту основную геополитическую идею заостренными критическими экскурсами и примерами. Вот, например, вышла в Лейпциге в средине 1937 г. стенная географическая карта профессора Макса Георга Шмидта. Вальтер Янтцен был бы ею доволен, если бы не некоторые досадные «оплошности» Макса Шмидта. Например, от Балтийского до Черного моря тянется громадная полоса, зачерченная сплошной зеленой краской, которая обозначает славянскую расу! «Не принят во внимание столь важный для германской истории мотив племенной, языковой и культурной пестроты (Buntheit) восточной и юго-восточной европейской зоны». Это ведь важно именно для «исторической динамики», если бы германская раса пожелала воспользоваться при случае балтийской и украинской «пестротой». Или, например, зачем Испанию обозначать как романскую страну, родственную Франции? Известно ведь, что генерал Франко нашел, что Испания ничего общего с Францией не имеет! Таким образом, подчеркивать на геополитической карте романский характер Испании сейчас «едва ли актуально» (kaum aktuell).

«Геополитик» Гайн строит свою книгу «Германское пространство» (Der deutsche Raum, 1935), как доказательство тезиса о будущем Германии на Востоке; другой геополитик, уже цитированный мною Шеперс пишет: «Разрешение германских восточных вопросов принадлежит к жизненным задачам „Третьей империи“, и в этом разрешении самая существенная основа для возрождения и величия после векового упадка».

Геополитика агитирует в пользу крепкого хозяйственного немецкого мужика-кулака, который призван завоевать и заселить Восток»: «...полем политической силы снова должна будет сделаться колониальная почва на Востоке», а «крестьянская сила» и будет орудием этой «колонизации» (die alte kolonisatorische Bauernkraft).

Ставка на «хозяйственного» крестьянина, крепко держащегося за свою землю, как хранителя «чистоты расы» — вообще характерная черта германского фашизма. Мужик-кулак противопоставляется ненавистному, «выросшему на асфальте» пролетарию города.

Борьба против увеличения городов, против усиления городского элемента, борьба за «сохранение германского коренного крестьянства» и против дальнейшего превращения сельского населения в горожан (die Verstädterung) — один из основных лейтмотивов германских публицистов и квазиисториков, прикрывающих и обосновывающих всю нагло-захватническую политику современных властителей Германии.

Так мыслит и сам великий философ от гитлеризма Альфред Розенберг.

«Наша историческая философия, наша историческая наука, наша социология — все это в пророческом творении Альфреда Розенберга!» — с восторгом вещал не так давно по радио некий Фрик из Мюнхена. Он имел в виду в самом деле крайне характерную для всей идеологии гитлеровщины работу Розенберга «Кризис и возрождение Европы», которая еще в 1933 г. была послана Розенбергом в Рим на «Европейский конгресс», затеянный по инициативе Муссолини Итальянской Академией наук. Эта «историческая философия», соединяющаяся, как всегда, у гитлеровских «историков» с вдохновенно-кликушескими прорицаниями *о ближайшем будущем,* крайне ясна и проста для понимания. Европа должна соединить все свои разнохарактерные расовые силы и противостать африканским и азиатским расам, возглавляемым «большевизмом». Какие же это разнохарактерные европейские силы? Их ровным счетом четыре, и каждой из них Альфред Розенберг великодушно отводит поле действий в будущем и добычу при победе над указанными африканско-азиатско-большевистскими супостатами: Италия пусть распространяется на юго-восток и восток, Великобритания — «на

морях» и за морями (über die Meere, без пояснений, что это означает!), Франция — на юг, а Германия, естественно,— на восток и на северо-восток. При этих условиях «четыре великих народа» устремят свои «мощные потоки» не друг против друга, а в разные стороны, и не только не передерутся на радость африканцам, азиатам и большевикам, но, напротив, будут еще помогать друг другу и будут общими усилиями превозмогать препятствия, которые возникнут пред любой из этих четырех наций. В этом и будет заключаться истинное единство Европы!

Кто мешает Германии в ее успешной гитлеризации, тот помогает враждебным Европе силам не только на Рейне, но и в Сингапуре и Калькутте. Такова проблема европейского «белого человека» и его спасения от цветных рас и от — правда, тоже белого, но более опасного, чем все цветные, вместе взятые! — большевика.

Заметим, что здесь — уже некоторое отклонение от «первоучителя»: ибо сам Гитлер полагает, что Франция уже слишком негризировалась, и признает удобным поэтому ее уничтожить. Розенберг, так и быть, включает Францию в Европу и дает этим ей возможность еще познать свои заблуждения и исправиться. Но ясно, что если она по-прежнему будет держаться за франко-советский пакт, то пусть пеняет на себя.

Восторженный биограф Розенберга Гарт заверяет читателя честным словом, что все эти счастливые «открытия» Розенберга основаны «на познаниях, почерпнутых из исторических исследований», каковые познания сделали Розенберга, однако, не «копающимся в мелочах ученым, но действующим политиком».

«Не Карл Великий, а Видукинд, не Фридрих Барбаросса, а Генрих Лев!» — восклицает Альфред Розенберг (именно он, Розенберг, первый дал этот тон современной гитлеровской медиевистике!). И не Габсбурги, а Фридрих II является предтечей спасения германской души, окончательно «спасенной», как известно, Адольфом Гитлером 30 января 1933 г.

Все это стоит в теснейшей связи с основным мотивом: и в прошлом, и в настоящем, и в будущем Германии дороги и нужны люди, которые вели ее на Восток, на завоевание «восточного пространства». И «душевная субстанция» германского народа самоутверждалась, как вещают нам фашистские «геополитики», и в будущем должна самоутверждаться именно в процессе «веселой, свежей, благочестивой войны против Востока» (ein frischer, frommer, fröhlicher Krieg). Именно такой войной и была, по гитлеровским историкам, война тевтонских рыцарей в Прибалтике. И может ли такая война не быть даже и *юридически* вполне справедливой и правомерной? Ответ и на это уже дан.

В апрельской книге «Nat.-soz. Monatshefte» за 1936 г. напечатана руководящая для всей гитлеровской «юриспруденции»

курьезнейшая статья доктора юридических наук Эрнста-Германа Бокгоффа под вопросительным названием: «Является ли Советский Союз субъектом международного права?» («Ist die Sovjet-Union ein Völkerrechtssubjekt?»). Ответ дается, конечно, отрицательный. Нет никакой надобности подробно останавливаться на этом наглом выпаде против СССР. Стоит только отметить вывод этого «доктора» гитлеровских наук: «Относительно Советского Союза не может существовать понятия о неправомерной интервенции».

«Всякая война против Советского Союза,— кто бы и почему бы ее ни вел,— вполне законна».

Таково новейшее «достижение» германского «международного права!»

Нечего и говорить, что и в прошлом войны Германии всегда были и «правомерны» и «геополитически необходимы». Взять хотя бы мировую войну 1914—1918 гг.

«С геополитической точки зрения мировая война была обороной средней Европы от западной и восточной Европы»,— глубокомысленно формулирует один из самых видных гитлеровских «геополитиков», Густав Пауль. Вся пустейшая болтовня, все ненужные тавтологии, вся философия вокруг выеденного яйца,— все эти характерные черты фашистской «геополитики» представлены с особой полнотой в тех частях этой, с позволения сказать, литературы, которые относятся к современному положению Германии, к ее истории во время и после мировой войны. Нас интересует вывод. В мировую войну произошло будто бы величайшее событие, подобное которому геополитические профессора усматривают только в спасении Европы в 1241 г. от монгольского завоевания. Это событие — битва под Танненбергом в августе 1914 г. Правда, спаситель «тевтонской расы» и земли генерал Людендорф на сей раз, по справедливости, должен был бы разделить славу с Ранненкампфом и особенно с полковником Мясоедовым, но не в этом дело: «геополитики» усматривают в этой победе капитальное по своим последствиям событие: спасение Германии от «монголизации». Но все-таки «геополитические» результаты мировой войны были плачевны для Германии: во-первых, именно «северные элементы» Германии, наиболее «радостно идущие в бой, больше всего и потерпели. Гвардейские полки потеряли 43—48% состава, студенчество потеряло 16 тысяч убитыми и т. д. Почему гвардейцы и студенты более «северная раса», чем другие части германского народа,— это тайна геополитических магов. Но даже и это, с их точки зрения, не так горестно, как уменьшение того самого «пространства», в обладании которым и геополитики и прочие политики гитлеровской Германии видят главный смысл и высшую цель истории: «Были потеряны: приобретения восточно-

германской колонизации, как, например, части Верхней Силезии и завоевания Германа фон Зальца в Восточной Пруссии; затем — приобретения Фридриха Великого по первому разделу Польши в 1772 г. (Познань и Западная Пруссия) и Фридриха Вильгельма II по второму разделу Польши в 1793 г. (Данциг и Торн). Потеряны были „обратные приобретения" (Rückgewinne) Бисмарка, „вернувшего" Германии ее былые земли: северный Шлезвиг и Эльзас-Лотарингию. Были потеряны еще Эйпен и Мальмеди и все колонии».

Но из всех «потерь» самые горестные — это потерянные земли на Востоке, и самое великое упование в будущем — это тоже приобретение земли на Востоке.

Любопытно отметить, что в этом хоре гитлеровских «историков», «географов», «геополитиков», «юристов» и т. д., на все лады доказывающих и историческую обоснованность, и географическую необходимость, и «геополитическую неизбежность», и юридическую правомерность захвата «восточного пространства», меньше всего звучит голосов из лагеря военных ученых. Ни для кого не тайна, что многие ученые генералы рейхсвера с большим неудовольствием и нескрываемой тревогой относятся (*и всегда* относились) к безответственной болтовне фашистских газетных клоунов «о войне против Коминтерна» и о походе, совокупно с польскими друзьями, на Украину. Польских друзей берлинский генштаб расценивает еще дешевле, чем друзей итальянских. Это было известно уже задолго до истории с генералом фон Бредовым (его имя, собственно, произносят: фон Бредау). В американской, а потом и в европейской прессе появились несколько времени назад известия о мнении германского генерала фон Бредова касательно наиболее вероятного результата столкновения один на один Советского Союза с Германией. Оказалось, что фон Бредов определенно полагает, что поражение Германии — гораздо более вероятно, чем ее победа. Это известие обратило на себя внимание и вызвало даже не весьма ясное и не очень уверенное опровержение: фон Бредов этого в точности, собственно, не сказал, а если говорил, то вовсе не так; и, может быть, даже вообще ничего никогда не говорил; и, может быть, и генерала такого вовсе нет; а если он есть, то он вовсе не такой, но, напротив, он известный патриот. Словом, после этого опровержения Америка и Европа окончательно удостоверились в правдивости первоначального сообщения. Не подлежит сомнению и общеизвестно (об этом печаталось черным по белому в германской прессе), что германские генштабисты считают Красную Армию несравненно более могущественной, чем была армия царской России. Не менее известно, какие тревожные выводы были сделаны в берлинских военных кругах из того факта, что японцы не осмелились напасть на Монголию, как они первона-

чально собирались это сделать. Крепость советских вооруженных сил, защищающих наш Дальний Восток, смело можно сказать, была учтена в Берлине ничуть не меньше, чем в Токио. Это не значит, что от той политической «главной квартиры», в которой начальниками штабов и генерал-квартирмейстерами являются Розенберги и Геббельсы и прочие люди «внезапного образа мыслей», нельзя ожидать самых изумительных сюрпризов.

Будем чаще вспоминать о том окружении, в котором в настоящее время живет Советский Союз...

В кн.: Против фашистской фальсификации истории. М.—Л., 1939, стр. 259—279.

КАК ПИШЕТСЯ ТЕПЕРЬ ИСТОРИЯ ИСПАНИИ

Davies R. T. The golden century of Spain 1501—1621. London, 1937. XI, 327 p.
Bertrand L. Histoire d'Espagne. Paris, 1938. 519 p.

Книга оксфордского профессора Дэвиса, посвященная истории Испании в XVI и первом двадцатилетии XVII в., имеет все внешние признаки если не специального исследования, то по крайней мере научного и самостоятельно выполненного обзора исторических событий за большой период. Дэвис привлекает и первоисточники и в громадных размерах специальную литературу; в особенности отметим в его книге ссылки на новейшую, послевоенную историографию. Никаких научных открытий Дэвис не делает, если не считать «открытий» совсем особого сорта, о которых речь будет дальше. В смысле богатства фактического материала работа Дэвиса значительно ниже вышедшего в 1934 г. большого труда французского историка Анри Озэ об этой же эпохе — «Испанского преобладания» [1]. Книга Дэвиса была, по-видимому, задумана не как простая популяризация, но как нечто более значительное по замыслу и более сложное по выполнению.

Внешняя политика Испании очерчена Дэвисом со знанием дела; есть особая глава об экономическом быте Испании в XVI в. Наряду с этим в книге много фактических неточностей и ошибок. Так, испанская армия вовсе не была «наилучшей в свете» (стр. 22): французская и даже временами отряды ландскнехтов Австрии и центрально-германских государств нередко ее бивали. Восстание плебейской массы против дворян в Валенсии в 1515 и следующих годах было вызвано вовсе не «покровительством», оказываемым дворянами маврам (стр. 50),— автор принимает тут предлог за причину. Хайреддин — Рыжая борода — вовсе не был «на службе» у «турка»: он был равноправным союзником султана, верховенство которого признавал лишь в религиозном, а не в политическом отношении вплоть до того момента, когда султан дал ему под команду весь турецкий флот. Да и после этого Хайреддин признавал султана своим «повелителем» больше на бумаге, чем в действительности. Если бы Дэвис действительно углубился в изучение средиземномор-

ских дел первой половины XVI в., он увидел бы свою ошибку. Французский король Франциск I знал, что делал, когда, минуя Стамбул, посылал послов непосредственно к Хайреддину и предлагал отважному корсару союз и дружбу.

Есть в книге Дэвиса прямо непозволительные пропуски. Так, в главах, где идет речь об отношениях между Испанией и Англией, ровно ничего не находим о таком центральном, важнейшем вопросе, как борьба англичан в течение всего XVI в., борьба систематическая и неизбежная — против последствий договора в Тор-де-Силла; нападения английских корсаров и покровительствуемых английским правительством пиратов на испанские галлионы, идущие из Нового Света в Испанию, вызывались не чем иным, как стремлением хоть таким, чисто разбойничьим способом урвать часть добычи, присвоенной себе испанцами и португальцами.

Есть и другие ошибки и пропуски в разбираемом труде Дэвиса. Но не в этом главное. В «научной» литературе капиталистических стран, которые уже достигли фашистского идеала или к нему устремляются, в обширнейших размерах ведется работа «пересмотра», точнее, сознательного извращения исторических фактов. Примером такой «работы» и является книга Дэвиса. Последнему и тем, для кого он пишет, в действительности интересна не Испания XVI в.: им важно доказать, что Испания была только тогда сильна и славна, когда в ней было живо религиозное чувство [2], и что лучшими ее временами были такие, когда ею управляла сильная рука диктатора, причем пишется: Филипп II, а понимать надо: Франко.

Вот почему подвергать эту книгу систематическому научному анализу не представляет ни малейшего интереса. Но познакомиться с тем, куда скатывается (а отчасти уже скатилась) буржуазная историография даже в тех капиталистических странах, которые не находятся под фашистским сапогом, в высокой мере поучительно.

Книга Дэвиса на обложке украшена портретом обожаемого автора героя — Филиппа II. Среди многих добродетелей, украшающих «оклеветанного» скептическим потомством «симпатичнейшего» Филиппа II, есть одна, особенно влекущая к нему сердце автора, это «учение о божественном происхождении королевской власти, так часто опорачиваемое и осмеиваемое историками в девятнадцатом веке» (стр. 121),— учение, вкус к которому всецело разделяет пишущий о Филиппе II в 1937 г. профессор Дэвис.

Исторические факты Дэвиса не стесняют. Достаточно, например, поглядеть, как он повествует об уничтожении Филиппом II всех стародавних арагонских вольностей, чтобы убедиться в этом.

Как известно, Арагон пытался бороться за свои давние права и привилегии, против деспотизма Филиппа II; король предательски и злобно расправился за это со всеми арагонцами, которых он счел ответственными, а вольности Арагона были им растоптаны в прах. Наш оксфордский Тацит, однако, судит обо всем этом так, как судил бы сам Филипп II: как и во всех прочих частях своей книги, Дэвис и тут подчеркивает, что в 1937 г. пора отрешиться от всех былых сантиментов буржуазного либерализма и начать судить совсем по-иному. Вот что он пишет: «Либералы XIX столетия глубоко вздыхали (sighed deeply) по поводу уничтожения арагонских вольностей. Они забыли, что есть огромная разница между „свободами“ немногих за счет многих — и свободой. Они также разделяли со многими английскими историками вечное заблуждение, что восстания против монархии неизбежно должны быть демократическими по своему характеру» (стр. 202).

Одним словом, непонятый доселе «демократ» Филипп II и помогавшая ему уже «вполне демократическая», «невинно оклеветанная» инквизиция (совершенно нелицеприятно и с одинаковой готовностью пытавшая и сжигавшая на костре как еретиков-дворян, так и еретиков-крестьян) должны быть, наконец, оценены теми благодарными представителями нынешнего поколения, которые с восхищением наблюдают молодецкие поступки Гитлера, Муссолини и Франко и учатся у них «истинному демократизму»!

Наш советский читатель очень ошибется, если подумает, что нынешняя буржуазная историография «демократических» стран шагнула назад только сравнительно с *либеральной* школой буржуазных историков середины XIX в.: дело обстоит совсем не так!

Нынешние историки Англии и Франции, наиболее читаемые, наиболее характерные представители современной исторической науки, все эти английские Дэвисы, французские Луи Бертраны и Гаксотты, давным-давно очень далеко отошли назад даже от умереннейшего консерватора Леопольда Ранке [3], творца новых научных методов исторического исследования, заслужившего себе благодаря этому славу отца буржуазной исторической школы. С точки зрения названных историков, и Ранке, даром, что он родился в 1795 г.,— тоже весьма подозрительная личность, ибо Ранке как-то из гроба норовит помогать своими работами «большевикам», а не Гитлеру и не Муссолини. «Многие современные писатели,— пишет Дэвис,— повторяли взгляд Ранке, что эти изменения превратили Арагон фактически в страну деспотизма» (стр. 201). Конечно, Ранке солгал! Никакого деспотизма в «реформе» Филиппа II не было! Напротив: «король хотел только придать центральному правительству достаточно силы,

чтобы обеспечить безопасность страны и покончить с наиболее вопиющими социальными несправедливостями».

Нечего и прибавлять, что даже и тени доказательства за всеми этими курьезнейшими выдумками и карикатурно-нелепыми утверждениями Дэвиса нет и быть не может.

Если, по Дэвису, хорош Филипп II, то совсем не плоха и инквизиция, историческая репутация которой была «испорчена» Вольтером только за несколько излишнее увлечение пытками и сожжениями еретиков на костре.

Оказывается, что инквизиция «стояла за социальную справедливость» (it stood for social justice). Дэвис скорбит: «Популярная традиция с таким трудом изживается, что необходимо все еще подчеркивать, что испанская инквизиция, если о ней судить с точки зрения тех времен, не была ни жестока, ни несправедлива в своем судопроизводстве и в налагаемых ею наказаниях» (стр. 13). Ценность услуг, оказанных инквизицией испанскому народу, заключается, между прочим, и в ограждении «чистоты расы». Дэвис с почтением воздает ей наивысшую в его устах хвалу, утверждая, что в шестнадцатом столетии ревность в ограждении чистоты расы достигала уровня национал-социалистов в нынешней Германии (in the XVI century zeal for purity of blood reached Nazi standards). Инквизиция помогала делу двумя способами: во-первых, сжигая очень деятельно на кострах мавров и евреев и, во-вторых, установив правило, что для карьеры на государственной службе требовалось доказать, что никто из предков данного лица не был осужден инквизицией.

Замечу, кстати, что оправдание и возвеличение инквизиции — одна из любимейших тем современной историографии на Западе. В качестве примера укажу хотя бы на огромный труд Жана Гиро [4], второй том которого, в 600 страниц с лишком, вышел в сентябре 1938 г. Гиро уверяет, что инквизиция была законнейшим орудием самозащиты церкви. Что же было делать папе римскому, если еретики утверждали, будто папы римские — обманщики и грабители? Пора, пора расстаться с традицией Вольтера, который так безжалостно оклеветал бедняжку инквизицию! Именно в связи с выходом в свет книги Жана Гиро еженедельник «Nouvelles littéraires» горячо призывал (в № 832 от 24 сентября 1938 г.) отрешиться, наконец, от вольтеровских ошибок. Таким образом, соответствующие страницы книги Дэвиса вполне гармонируют с тем стилем, в котором теперь принято в правобуржуазной историографии писать об инквизиции.

Дэвису для выполнения поставленного им себе задания необходимо было покончить и еще с одной традицией «либеральных историков XIX столетия» — с давным-давно и, казалось бы, пе-

поколебимо установившимся взглядом на нидерландскую революцию, низвергшую испанское владычество и создавшую Голландскую республику.

Это грандиозное и победоносное буржуазно-национальное вооруженное восстание против изуверского иноземного деспотизма, длившееся целые десятилетия и кончившееся освобождением Голландии от кровавого Филиппа II, от герцога Альбы и от других злодеев, которых Филипп посылал мучить, грабить и избивать несчастный народ, давно, еще со времени Фридриха Шиллера, занимало в мировой историографии совсем особое положение. И великого германского поэта и бесчисленных историков, поэтов и публицистов всех стран Европы всегда пленяли тени Эгмонта и Горна, великих борцов и мучеников нидерландской революции, казненных наместником Филиппа II, герцогом Альбой, а также Вильгельма Молчаливого, самоотверженного героя, убитого эмиссаром, подосланным Филиппом и инквизицией.

Дэвис и в данном случае распорядился с историческими фактами без малейшего стеснения. Никакой освободительной революции, «в сущности», не было, а разорившаяся нидерландская знать просто подстрекнула народ к восстанию, желая поправить свои дела. Вильгельм же Молчаливый был сибарит: много ел, много пил, вел распутную жизнь и возмутительно оклеветал в своем памфлете «благородного» короля Филиппа II. По-настоящему же восставать нидерландцам было не из-за чего.

О смерти же «лжеца», «обжоры» и «развратника» — Вильгельма Молчаливого — наш высокоморальный и правдивый оксфордский профессор упоминает только в одной строчке, при этом вскользь, очень торопясь и глотая слова: «Был убит пулей Бальтазара Жерара 9 июля 1584 г.» (стр. 207). И больше ни звука. Что Филипп II совершенно открыто приглашал всех, кто согласится за обильнейшее денежное вознаграждение и за милости для оставшейся семьи убийцы убить Вильгельма Молчаливого, что Бальтазар Жерар был подослан церковными и светскими агентами Филиппа II, об этом Дэвис делает вид, что знать не знает, ведать не ведает. Свалился просто неизвестно откуда какой-то Бальтазар Жерар (больше о нем ни слова не говорится) и выстрелил в Вильгельма. О том, что Вильгельм был вождем первой в истории новой Европы большой буржуазно-национальной революции, этой «деталью» в личности Вильгельма нисколько наш оксфордский правдолюбец не интересуется.

В своих усилиях идеализировать инквизицию и деспотизм английский профессор в некоторых отношениях пошел даже дальше такого первоучителя новейшей «послевоенной» реакционной историографии, как по-своему знаменитый французский академик Луи Бертран, книга которого, «Histoire d'Espagne», вышла новым, дополненным изданием в Париже, в мае 1938 г.

Об этом Луи Бертране, являющемся любопытной фигурой в современной западноевропейской буржуазной историографии, у нас знают очень мало, почти ничего. Все это в значительной мере вследствие стараний былых «руководств» журнала «Историк-марксист», начиная с М. Н. Покровского. Все эти «руководства» постарались, чтобы советская общественность не имела об этом писателе ни малейшего понятия, все они в меру своих сил и возможностей делали все, чтобы помешать ознакомлению наших историков с громадным размахом и поразительной активностью самой черной реакции на историческом фронте в Европе и Америке.

Последовательно проведенное разоблачение этого явления и достодолжный научный отпор фальсификаторам истории на Западе — непременная очередная задача советской научной журналистики. Перед советскими передовыми учеными стоит исторически важная и почетная задача — разоблачить этих рыцарей обскурантизма и антинауки. Пока же достаточно просто к слову помянуть этого новейшего «историка» Испании. Луи Бертран, в свое время скромный преподаватель риторики в среднеучебном заведении в далекой колониальной провинции — в городе Алжире,— пописывал изящным, хотя слишком уж прилизанным стилем разные, не весьма трудные книжки обо всем понемножку: и о «Сопернике дон Жуана» (1903), и о «Возлюбленном Пепете» (1904) и о «Саде смерти» (1905), и еще, и еще — скучноватые, серенькие, плачевно бездарные романчики, а также нехитрые путевые заметки, иногда, сравнительно редко, балуясь пером и в области истории. Так, в 1913 г. он выпустил в свет популярную, сплошь компилятивную, бойко написанную книжку о св. Августине.

Но вот грянула в России Октябрьская революция, и для изнывавшего от скуки бывшего алжирского гимназического учителя риторики и кропателя прочувствованных страниц о «Возлюбленном Пепете» и о страданиях «Мадемуазель Жессанкур» сразу открылось новое, высшее предназначение. Луи Бертран воспрянул духом. Луи Бертран примкнул к роялистам. Луи Бертран написал два тома о Людовике XIV, в которых без колебаний указал на все «бесценные преимущества» королевского абсолютизма перед демократией. Луи Бертран стал признанным главой реакционной историографии, и уже за ним пошли и Гульельмо Ферреро, и Мариюс Андре, и Гаксотт, и прочие, и прочие, и прочие.

Он первый проявил безудержную смелость в отрицании *всех* завоеваний исторической науки, сделанных в Англии, начиная с Гиббона, во Франции, начиная с Вольтера, в Германии, начиная с Леопольда Ранке. Ренессанс — первый шаг к большевизму! Вон его из истории! Реформа Лютера, Кальвина, Цвинг-

ли — второй шаг к большевизму! Французская революция — третий шаг к большевизму! Всемирная история получала, таким образом, очень стройный вид.

Школа Бертрана, конечно, делает свое дело умнее и изящнее, чем, скажем, гитлеровские подручные в Германии, но основная цель у них одна — реабилитация «стабильных», «прочных» режимов в истории, возвеличение испанских Филиппов, французских Людовиков, инквизиции, папства и т. д. и выявление гибельности всех тех шагов, которые за последние 400 лет своего существования сделало человечество, постепенно прогрессируя и тем самым удаляясь от средневекового папского мракобесия, или, как большие и маленькие Бертраны теперь выражаются, от «унифицированной веры в провидение».

Французская академия не могла, разумеется, остаться равнодушной к такой кипучей деятельности, и автор «Возлюбленного Пепета» был уже в 1925 г. сделан академиком. А в 1938 г. Луи Бертран, в свою очередь, сделал академиком редактора роялистской «Action française» Шарля Морраса, по-видимому, за доказанную основную заслугу этого маститого деятеля — за участие в организации убийства Жореса в 1914 г.

Так вот этот самый Луи Бертран в «постскриптуме» к своей вышедшей новым изданием в 1938 г. книге об Испании говорит по поводу нынешней гражданской войны в Испании: «Что касается националистов, то они прежде всего сражаются затем, чтобы остаться хозяевами у себя. И они говорят себе, что они потомки тех, которые победили ислам, спасли западную цивилизацию и открыли человечеству новый мир. Они снова берутся за свою вековую работу, которая теперь состоит в том, чтобы снова бороться для спасения европейской цивилизации и победить азиатское варварство в образе большевизма и марксизма» («Histoire d'Espagne», p. 531).

Но даже и Луи Бертран, при всем своем сердечном благорасположении к инквизиции, все-таки не идет так далеко, как его английский ученик и последователь Дэвис. Бертран признает «чудовищность» инквизиции, хотя потом, на протяжении многих страниц, и тратит немало красноречия, чтобы смягчить и даже свести к нулю этот эпитет и чтобы извинить и оправдать учреждение инквизиции. Дэвис же уже самым неприкрытым образом сочувственно трактует инквизицию. Вообще ведь англичане пишут гораздо прямее, простодушнее и топорнее, чем изящные французские академики. Что у Бертрана на уме, то у Дэвиса на языке. Конечно, Луи Бертран тоже безудержно смел и откровенен по существу. Но иногда язык у него как-то не поворачивается сказать все то, что ему хочется. Дэвис же в этом случае никаких затруднений не ощущает.

Оба автора, и английский и французский, одинаково сво-

бодно фальсифицируют историю. Например, оба стремятся изобразить дело так, будто конквистадоры, производя завоевания в Новом Свете, никогда не переставали беспрекословно подчиняться верховной, королевской, власти. Особенно налегает на эту тему Луи Бертран. Нельзя допустить, что он ничего не знает о том, как Фернандо Кортес отказался покинуть Мексику, несмотря на повеление Карла V, как Карл V выслал против него целое войско, как Кортес молодецки разгромил это королевское войско в открытом бою и остался благополучно на своем месте. Нельзя также предположить, что Луи Бертран не знает и еще десятка подобных же происшествий. Он их знает, но эти факты подрывают его рассуждения о крепости монархической власти, а потому он их отметает прочь и старательно замалчивает.

Излишний, конечно, труд — подвергать научной критике компилятивную книгу Луи Бертрана, в которой нет и одного факта, добытого собственным исследовательским трудом, нет ни одной мысли, которую читатель уже наперед не предугадал бы, зная, кто такой Луи Бертран и зачем он пишет историю Испании с «постскриптумом». Но отметить его книгу следует: за два года она была распространена в 44 тысячах экземпляров — тираж для Франции огромный. Руководящие идеи для систематической фальсификации истории Испании дает именно Луи Бертран. А Дэвис и ему подобные уже по его рецептам трудятся над монографической разработкой отдельных эпох и событий, снабжая свои книги «ученым» аппаратом и всей видимостью «научного» подхода к делу.

Таковы характерные явления в современной историографии двух «демократических» стран. Это еще не «интегральный фашизм» в науке, царящий в Германии и Италии, но нечто, как две капли воды, на него похожее. Есть, правда, некоторое отличие в стиле: отсутствует непечатная ругань, характерная для гитлеровских «историков»; сохраняется стремление хоть чисто внешне соблюсти известный «декорум» приличия и «беспристрастия». Но ведь нельзя уже сейчас требовать полного, даже чисто внешнего совпадения историографии «демократических» стран с историографией стран фашистских. Все это придет со временем. Лиха беда — начало, а оно уже давно положено.

Историк-марксист, 1939, № 1, стр. 165—170.

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

В текущем году все передовое человечество будет праздновать стопятидесятилетний юбилей Французской революции 1789 г.

Наука Советского Союза намерена живо отозваться на предстоящее празднование. Академия наук уже вынесла официальное постановление об устройстве особой сессии, посвященной истории Французской революции. Институт истории Академии наук предпринимает издание специального юбилейного тома, а, кроме того, институт берет на себя редактирование четырехтомника: «Царизм и Французская революция». Статьи будут написаны сотрудниками института и другими советскими историками. Ленинградское отделение института подготовило к печати огромный каталог французских редчайших революционных брошюр, находящихся в Ленинграде, Москве и других городах СССР.

Отозвалась на предстоящее чествование и Ленинградская публичная библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Главный библиотекарь рукописного отдела А. Д. Люблинская подготовила к печати интереснейшее описание не изданных и в большинстве своем не известных даже во Франции рукописей, имеющих прямое отношение к Бастилии и хранящихся в Ленинградской библиотеке.

Бастилия, эта угрюмая твердыня деспотической власти, грозно высившаяся в Париже у самого входа в рабочее Сент-Антуанское предместье и павшая под победоносным натиском революционного народа, приобрела навеки символическое значение.

Первый камень Бастилии был заложен 22 апреля 1370 г., а закончена была постройка в 1382 г. Огромная каменная твердыня простояла 400 лет, вплоть до 14 июля 1789 г., когда последний ее комендант де Лонэ сдал Бастилию революционному народу после нескольких часов вооруженной борьбы.

Первоначальной целью постройки этой крепости было желание обеспечить от неприятеля подступы к Парижу с севера и

северо-востока. С каких пор Бастилия стала служить также тюрьмой, сказать в точности мудрено. Первое документальное упоминание об этом во всяком случае относится к 1430 г.

Военное значение Бастилии в годы гражданских войн XV—XVI—XVII столетий было огромно. «Кто владел Бастилией — владел Парижем»,— говорят и документы и историки этой крепости. По мере роста и расширения Парижа в сторону Сент-Антуанского предместья Бастилия оказалась почти в центре столицы. Начиная с полного упрочения королевского абсолютизма при Людовике XIV Бастилия теряет свое стратегическое значение и становится исключительно государственной тюрьмой.

Попадали люди в Бастилию не по суду, а исключительно на основании подписанных королем личных приказов. Король давал такие приказы своим министрам, губернаторам провинций и т. д., иногда в порядке любезности — своей фаворитке или иному понравившемуся ему лицу. Обладатель такой бумажки вписывал туда имя, какое ему заблагорассудится, и отдавал полиции, которая обязана была немедленно арестовать данное лицо и отвезти его в Бастилию.

Бастильские рукописи очутились в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина следующим образом. Секретарь русского посольства в Париже Дубровский, служивший там в конце царствования Екатерины, вывез из Франции громадную коллекцию рукописей, имеющих большую ценность для западноевропейской истории. Он продал эту коллекцию императору Александру I, который и передал ее в библиотеку.

В общем набралось около 800 рукописей. Период, к которому относятся они,— это 1680—1787 гг. Французское правительство, прослышавшее об этом рукописном фонде нашей публичной библиотеки, еще в 1886 г. заказало копии некоторых документов, и эти копии сейчас находятся в Париже, в рукописном отделении «Библиотеки арсенала». Но громадное большинство документов остается все же в единственном экземпляре в Ленинградской библиотеке. Разумеется, документы не равноценны. Важны среди этих бумаг допросы заключенных, донесения следователей. Рядом с рукописями высокой исторической ценности, вроде бумаг, относящихся к заключению Вольтера, есть немало и таких документов, которые важны лишь, так сказать, в бытовом отношении.

Вольтер поссорился с молодым кутилой сомнительной репутации герцогом Роганом. Де Роган насмешливо спросил его: «Вы господин Аруэ? Или господин Вольтер? Как, собственно, ваше имя?» А Вольтер ответил: «Я — создаю свое имя, а вы, сударь, хороните ваше имя». Де Роган не нашелся, что сказать, и велел своим людям избить Вольтера палками. Вслед за тем

де Роган выпросил «приказ» против Вольтера, и Вольтер на полгода попал в Бастилию.

Среди документов есть, например, и такой. Французский тайный агент составил список иностранных колонистов, переселившихся в 1765—1766 гг. в Россию по предложению русского правительства. Большей частью эти колонисты были немцами, но между ними оказались и французы. Французские власти не желали переселения и установили слежку. Один вербовщик, который приискивал во Франции переселенцев для России, был арестован. При нем оказались документы, по которым можно установить любопытные факты, касающиеся интереснейшего явления экономической истории России: переселения иностранцев на русские земли в XVIII в.

На некоторых бумагах еще остались следы грязи из рвов Бастилии, куда народ, вторгшийся 14 июля 1789 г. в крепость, выбросил архив.

Конечный трагический миг кровавой борьбы и великой победы не отразился в наших документах. Но когда будущий исследователь станет перебирать эти бумаги, он вспомнит и то страшное место, где они так долго лежали под глухими каменными сводами, и тот ров, в грязи которого они очутились в шестом часу вечера 14 июля 1789 г.

Правда, 1939, 9 января, № 9.

КАРЛ МАРКС ЗА ИЗУЧЕНИЕМ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

Перед нами только что вышедший в свет пятый том «Архива Маркса и Энгельса», выпущенный Институтом Маркса — Энгельса — Ленина. Это — хронологические выписки, сделанные Марксом из разных исторических книг, которые он читал. В громадном рукописном наследии Маркса, еще ждущем разработки и опубликования, хронологических выписок сохранилось очень много. Предстоит со временем выход в свет еще трех таких томов. Публикация этих выписок очень важна для характеристики всей интеллектуальной организации, всей психики великого мыслителя. Судя по всем данным, хронологические выписки составлялись в последние 10—12 лет жизни Маркса.

Человек, увенчанный славой, стоящий в центре громадной, созданной им же политической организации, признанный руководитель, учитель, вдохновитель мирового рабочего движения, реформатор всей обширной области наук о человеческом обществе,— и вот он, учащий и ведущий целые поколения, садится с ученическим трудолюбием за исторические книги и своим мельчайшим почерком пишет (для себя, не для печати) обширные *томы,* сотни и сотни страниц конспектов и выписок. Маркс продолжает учиться, как он и до того учился всю жизнь. Он конспектирует прочитанное так подробно, с такой затратой времени и труда, что никакой, даже самый прилежный студент или молодой аспирант, готовящийся к очень серьезному экзамену, с ним не сравнится и за ним не угонится. Этот настоящий герой умственного труда лишний раз на собственном примере доказал, что гений и терпение, гений и способность к тяжелой черновой работе уживаются в одной и той же индивидуальности несравненно чаще, чем думают об этом дилетанты, полагающие, что научные достижения обусловливаются исключительно какими-то внезапными озарениями, вроде вспышек магния в темной комнате.

Вглядимся в эти выписки и конспекты из восемнадцатитомной «Всемирной истории» Шлоссера, из «Истории народов Италии» Карло Ботта.

Прежде всего бросается в глаза полное отсутствие всякой схематичности в мышлении автора. Да, он, конечно, с интере-

сом отмечает (например, на стр. 7) факты экономической истории — об индийской торговле императорского Рима через Египет, Пальмиру и Сирию и т. д.,— но в этих заметках нет даже и речи о втискивании фактов в какую бы то ни было заранее заготовленную формулу. И притом Маркса интересует не исключительно лишь общий ход исторического процесса: он приводит множество фактов из биографий действующих лиц. Его интересует и то, что остготский король Теодорих назначил своим преемником «мальчика, не достигшего 10 лет» (стр. 22), и то, почему не удался поход русского князя Ярослава I на Константинополь (стр. 80), и то, как дебоширит в Телльбашире крестоносец Жоселен (стр. 131); он возмущается гнусной свирепостью византийского императора Андроника (стр. 191), но тут же (совершенно справедливо) обращает внимание и на то, что эта «свирепость» была направлена главным образом только против высших классов, что этот император конца XII в. «защищает чернь столицы от жестокого обращения придворных, которых он, как Петр Великий, собственноручно наказывает палкой, если они вымогают у простолюдина какую-нибудь услугу бесплатно» (стр. 191).

Маркс возмущается предательством «скряги», владетеля Кремоны Буозо ди-Доара (в середине XIII в.), отмечает, что он умер «всеми ненавидимый и покинутый», и тут же вспоминает, что Данте поместил его «в часть ада, отведенную для предателей» (стр. 258). Неукротимый боевой темперамент Маркса сказывается постоянно в стиле этих выписок и конспектов,— и когда, например, речь идет о неаполитанцах, предательски покинувших Манфреда при Беневенте, а затем подпавших под иго Карла Анжуйского, то Маркс со мстительным гневом пишет: «Теперь неаполитанские собаки вздыхают о Манфреде! Их *личная свобода* также полетела к чорту» (стр. 259).

К слову сказать, эти выписки и конспекты Маркса можно читать подряд, ничуть не утомляясь, потому что буквально в каждом абзаце и в каждой строке чувствуется, как в каждый данный момент пишущий всецело поглощен тем фактом или тем лицом, о котором он пишет. Вот у кого поучиться бы искусству писания неудачливым авторам снотворных учебников, где чуется внутренняя зевота автора.

Маркс пишет свои конспекты и лаконичные фактические справки так, как другому не написать связную популярную статью. Необычайно интересно присмотреться, с какой широтой и свободой мысли Маркс подходит к историческим явлениям, как он умеет всегда безошибочно рассмотреть прогрессивную сущность изучаемого факта или характеризуемого лица, в каком бы внешнем обличии этот факт или это лицо перед ним ни являлись.

Полны интереса и необычайно сейчас злободневны высказывания Маркса об истинно разбойничьем немецком захвате прибалтийских стран в XIII в. Народы, жившие от Вислы до устьев Невы, пишет Маркс, «только *в XIII веке* вследствие *соприкосновения с немцами и скандинавами*... получали язву христианства... крепостное право, и их стали истреблять» (стр. 340).

Маркс не может равнодушно говорить именно об этих немецких насильниках и грабителях, опустошавших страны к востоку от Пруссии, о «паршивом бременском канонике» Альберте (стр. 341), о «*немецком вонючем монахе Христиане*» (там же), о неистовствах и негодяйских безобразиях немецких «рыцарей» (Маркс берет здесь это слово в кавычки). Маркс как будто забывает (и читатель вместе с ним), что он конспектирует далекую историю.

Читатель сразу вспоминает о Марксе — вожде пролетариев, с таким гневом и презрением к палачам писавшем об ужасах майской кровавой недели 1871 г. в Париже, с такой болью говорившем об ошибках Коммуны, повлекших за собой ее поражение; с такой страстностью он пишет о «литовцах и русских», которые не догадались вовремя соединиться, чтобы выгнать вон вторгшихся к ним немецких грабителей и разбойников. Если бы литовцы и русские, пишет Маркс, «были единодушны, то христианско-германская скотская культура была бы вышвырнута вон» (стр. 341).

Со страстью бойца Маркс следит умственным взором за перипетиями разбойничьего предприятия немецких «духовных орденов». Вот, например, его запись, относящаяся к 1236 г.: «Обнаглевшие *меченосцы*, рассчитывая... на стекающуюся со всех сторон крестоносную сволочь... предприняли *крестовый поход против Литвы»*, но «этих *псов жестоко отдули,* и сейчас же после поражения им грозило нападение со стороны *литовцев, датчан и русских»* (стр. 343).

Маркса восхищает Ледовое побоище: «*Александр Невский выступает против немецких рыцарей,* разбивает их на льду *Чудского озера,* так что прохвосты... были окончательно отброшены от русской границы» (стр. 344).

Гнусные насилия и опустошения, которым немецкие «рыцари» предавали несчастный край, вызывали время от времени отчаянный отпор и заслуженную месть со стороны угнетенных племен. Таково было восстание литовского племени пруссов в 1260 г.: «по приказу папы у них отнимали *их детей,* чтобы воспитывать из них „христианских янычар" и сохранять как *заложников.* Бедняги по закону возмездия совершали, конечно, „зверства"; тогда начался вой попов и слащаво-шарлатанская болтовня... по поводу „дикого варварства"» (стр. 344). Маркс не верит, чтобы германская «культура» заслуживала подражания.

и пишет, например, о польском короле Казимире Великом: «Но Казимир слишком подражает *немецкому образцу* (вот так образец!)» (стр. 348).

В этих немногих строках отмечена, разумеется, лишь самая малая часть того, что хотелось бы выделить из богатого содержания этой книги. Ее должны прежде всего изучать все работающие над исследованием Маркса и его творчества. Но к ней должны внимательно присмотреться и все занимающиеся историей, конечно, не затем, чтобы брать из нее фактический материал и излагать его, как у нас иногда делают люди, зараженные цитатоманией и думающие, в простоте душевной, что выдергивание цитат из классиков марксизма избавляет их от самостоятельного изучения и использования всего, что сделала историческая наука уже после Маркса и Энгельса. Совсем другому могут и должны учиться историки у Маркса, который больше всего ненавидел леность и робость мысли, стремление подменить компиляциями углубленное исследование фактов и оценку их.

Историки должны учиться у автора этих хронологических выписок уменью сочетать жажду накопления огромных фактических знаний со способностью сначала объективно установить и оценить исторические факты, а уж потом отнестись к ним с тем живым чувством, которое даже сквозь даль веков возбуждают в каждом мыслящем человеке гнет, страдание, насилие, борьба против насильников.

Не только историки, но и все люди умственного труда должны призадуматься над этой чудесной чертой величайшего гения — желанием учиться и учиться, не щадя времени и сил, накоплять новые и новые сокровища знаний.

Правда, 1939, 26 января, № 25.

ДНЕВНИК ПОЭТА

Поэзией Шевченко я увлекался особенно, когда был студентом Киевского университета, и всегда мне казалось, что придет время, когда и на Западе рано или поздно его поставят в ряд мировых поэтических творцов.

Тарас Шевченко, один из великих поэтов XIX столетия, только спустя несколько десятилетий после своей смерти начинает становиться сколько-нибудь известным в Европе. Удивляться тут нечему: чтобы переводить на другой язык великого поэта и переводить его так, чтобы он ничего не терял от перевода, нужно самому быть великим поэтом вроде Жуковского. Пушкина ведь тоже знают в Европе больше как автора «Пиковой дамы» и «Капитанской дочки», чем как «Евгения Онегина» или «Медного всадника». А передать всю поэзию шевченковских созданий, всю прелестную музыку его стиха, все чувство тоски, любви, гнева, страдания, проклятий, проникающее самые характерные произведения его творчества,— кто мог бы осилить эту задачу, кроме другого Шевченко? И зачем говорить о Европе, когда и русских переводов, достойных его поэзии, еще не существует?

Не очень знают в Европе и страдальческую жизнь украинского поэта, и поэтому хороший перевод замечательного шевченковского «Дневника» на один из европейских языков был бы большим событием в деле ознакомления Запада с украинским певцом.

Любопытна участь этого дневника! Одни его старались замалчивать, считая, очевидно, тяжким грехом автора, что он писал свой дневник по-русски; другие просто не поняли значения этой книги.

От некоторых частей этого дневника положительно нельзя оторваться: столько души, столько искренности, столько наблюдательности было в этом человеке. По-русски Шевченко пишет, как писали лишь лучшие русские стилисты. Нежные, задумчивые строки сменяются язвительными сарказмами, художественные картины чередуются с гневными обличениями безобразий, насилий, проявлений всяческого хамства, от которых он столько страдал при жизни. Кто-то в свое время сравнил «Дневник»

Шевченко с дневником Никитенко, очевидно, думая в простоте душевной сделать Шевченко комплимент этим сравнением! Шевченко как автора «Дневника» нужно сравнивать с Герценом, с братьями Гонкурами, с Гейне, а не с умеренным и аккуратным Никитенко, либеральным в первом томе и реакционным во втором томе чиновником николаевского цензурного ведомства.

Первые страницы «Дневника», относящиеся еще к подневольному, солдатскому периоду жизни Шевченко, могли бы напомнить читателю знаменитые мемуары итальянского революционера Сильвио Пеллико «Мои тюрьмы». Но какое же сравнение между тоном примирения и прощения, свойственным Сильвио Пеллико после пережитых им ужасов, и неукротимой, бушующей в сердце Шевченко, до конца дней не смягчившейся ненавистью к палачам и насильникам, укравшим у него лучших десять лет жизни, похоронившим его штрафным солдатом в оренбургской степи! Да и в чисто художественном смысле проза Шевченко стоит несравненно выше того, что дал итальянский страдалец.

Наступающие шевченковские торжества, вероятно, значительно оживят исследование жизни и творчества поэта, и нужно надеяться, что у нас и на Западе обратят больше внимания, чем делали до сих пор, на шевченковский «Дневник», один из настоящих перлов *русской* мемуарной прозы, созданный великим *украинцем*.

Литературный современник, 1939, № 3, стр. 218—219.

КОММУНА И ВЕРСАЛЬ

Вспоминая в нынешнем марте 1939 г. о положении Франции в марте 1871 г., невольно обращаешься мыслью к вопросу об обороне отечества, защите его от интервентов, от захватчиков, от беспощадного и алчного агрессора.

Уже после Седана и падения империи стало намечаться решительное расхождение между лагерем эксплуататоров и лагерем эксплуатируемых, между собственниками и пролетариями именно по вопросу о том, продолжать ли войну со вторгшимися германскими армиями или заключить мир. Ведь даже изменнические действия маршала Базена, клонившиеся к тому, чтобы вернуть Наполеона III на престол, были вызваны страхом перед возможностью революции в случае продолжения войны. И недаром капитуляция Базена 27 октября 1870 г. вызвала уже через четыре дня, 31 октября, сразу несколько попыток вооруженного восстания: в Париже, Марселе, Тулузе, Сент-Этьене. Это было начало. Оба лагеря, оба класса постепенно занимали каждый свои позиции. Изменник Базен был не единственный, кто опасался революционных потрясений; большинство буржуазии, лишь для приличия порицая измену Базена, на самом деле разделяло его опасения. Только революция могла дать шансы на успешную оборону от вторгшегося неприятеля, и именно этого-то и боялась буржуазия. Это-то и считали главнейшей смертельной опасностью собственники как городские, так и деревенские.

Буржуазия знала историю своей страны и помнила слова Наполеона об его ошибке, совершенной в 1815 г. во время Ста дней. «Моя система защиты ничего не стоила,— говорил Наполеон о Ста днях уже перед смертью,— потому что средства (борьбы — *Е. Т.*) были слишком недостаточны по сравнению с опасностью. Нужно было бы снова начать революцию, чтобы я мог получить от нее все средства, какие только революция могла создать. Без этого я уже не мог спасти Францию».

Да, в 1870—1871 гг. только революция могла еще надеяться справиться с нашествием германских интервентов, но именно ее-то и боялась буржуазия гораздо больше, чем нашествия. Перед глазами богачей, собственников, эксплуататоров стояла великая революционная война 1792 г., начатая в самых отчаян-

ных, тяжких условиях и приведшая тем не менее, пусть после долгих усилий, к полной победе Франции над коалицией сильнейших европейских держав. Но тогда было налицо углубление революции, способное удесятерить военную мощь народа; а что означало бы углубление революции в 1871 г.? Социальный переворот, угроза которого выявлялась еще в 1848 г.? Нет, лучше хоть десять договоров с Бисмарком, чем победа пролетариата. Так рассуждала французская буржуазия.

В течение ноября, декабря, января, вплоть до заключения перемирия, ведется эта скрытая борьба: буржуазия определенно хочет мира. Пролетарская же масса в столице и больших центрах приходит в бешенство от одной мысли о подчинении наглому победителю. Рабочие в Париже задолго до провозглашения Коммуны громко обвиняют «богачей, купцов, генералов» в измене, в тайных сношениях с неприятелем. Пролетарии говорят о том, что они согласны «издохнуть от голода, но не сдать Париж».

Так чувствовал и действовал пролетариат на заре своей революционной борьбы. Так чувствует и действует пролетариат сейчас, подлинный носитель патриотизма в наши дни. «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях»,— звучат памятные слова пламенного революционера, борца против фашизма Пасионарии.

28 января 1871 г. Париж был сдан, а 8 февраля 1871 г. происходят выборы в Национальное собрание. Борьба на выборах происходит под следующими лозунгами: за мир или за продолжение войны. При этом вся реакция, за ничтожным исключением, требует мира любой ценой, а все сколько-нибудь прогрессивные элементы, в частности все кандидаты, рассчитывающие на голоса пролетариев, высказываются за продолжение войны, вплоть до изгнания агрессора из пределов Франции. Побеждает реакция. Из 630 депутатов, съехавшихся 13 февраля в Бордо, около 400 — реакционеры.

«Не давать ему слова! Вон! Разбойник, флибустьер! Вон!»

Кому это кричат, кого это так позорят французские депутаты на своем первом заседании? Гарибальди, которого выбирали в прогрессивном округе, хотя он итальянец, а не француз, и выбирали за то, что он, не щадя жизни, добровольцем пошел сражаться за Францию.

«Если мы возьмем Гарибальди в плен, то мы влепим ему в лоб 12 пуль, потому что он не принадлежит к регулярной французской армии, и мы поэтому не будем считать его военнопленным!» — так заявляли немецкие генералы.

Но за что же этого самого Гарибальди так ненавидит и гонит французское Национальное собрание? Не только за то, что Гарибальди отлучен от церкви Пием IX, но также и за то, что

он своим участием в войне воодушевлял и поощрял к упорному сопротивлению. И его выгнали вон с Собрания.

Конечно, не бешеная ненависть к Гарибальди объединяет в единый союз французских реакционеров и германских генералов. Их объединяет ненависть к пролетариям, страх перед революцией, страх перед интернациональной солидарностью борцов за свободу. И разве не та же ненависть объединяет в наши дни итало-германских интервентов и их англо-французских пособников, душивших республиканскую Испанию, за которую дрались не только испанцы, но и герои-антифашисты — австрийцы, немцы, американцы, итальянцы, французы, англичане и другие?

Интернациональные бригады подняли на небывалую высоту знамя интернациональной солидарности. Величие подвигов этих героических потомков парижских коммунаров еще больше оттеняет низость предательства и измены потомков версальцев. Никакая сила не уничтожит этот интернационализм, сцементированный пролитой кровью лучших сынов различных народов.

18 марта 1871 г. восставший в Париже народ провозгласил правительство Коммуны. В сложных и глубоких социально-экономических причинах, вызвавших появление Коммуны 1871 г., сыграл свою роль и такой фактор, как негодование масс против предательства «богачей», сговорившихся за спиной французского народа с немецким агрессором.

Вместо революционной войны, которая могла бы найти в конце концов отклик в самом германском народе, вместо даже простой попытки продолжить сопротивление — капитуляция, расчленение территории в результате уступки двух богатых провинций, и все это для чего? Для сохранения толстых бумажников в карманах их обладателей.

Парижская Коммуна не возобновила, да и не могла возобновить войну. Сдавленная в городе, осажденная версальскими войсками, отрезанная от остальной страны, Коммуна погибла после геройского сопротивления, и палач Тьер через 30 тысяч трупов вошел в столицу.

Бисмарк и Вильгельм I, Горчаков и Александр II, Гладстон и Виктория не скрывали своего восхищения подвигами версальской армии, навеки памятуя кровавую неделю 21—28 мая, когда квартал за кварталом после отчаянной битвы переходил в руки разъяренной версальской офицерщины.

Да и как мог отнестись к побежденному пролетариату такой усмиритель Коммуны, как, например, генерал Сиссэ, тот самый, которого отправил предатель Базен к генералу Мольтке для окончательных переговоров о капитуляции крепости Метц?

«Капитулянт! Негодяй!» — кричали ему падавшие под пулями его солдат коммунары. Сиссэ неистовствовал. Капитулянты жестоко мстили, чинили кровавую расправу над теми, кто, жертвуя своей жизнью, спасал в окровавленном горящем Париже честь французского народа.

Бисмарк был в большей тревоге в течение 72 дней существования Коммуны, чем за все время франко-германской войны. Он пошел на все — на возвращение пленных французских корпусов, на возвращение оружия — лишь бы дать скорее возможность Тьеру покончить с парижским пролетариатом. Утверждения во Франции республики он не только не боялся, но определенно желал. Он знал, что свергать Гогенцоллернов во имя замены их монархии тьеровской республикой никому и никогда не может прийти в голову. А Коммуна страшна всему капиталистическому миру самим фактом своего существования.

Коммуна, осажденная со всех сторон, лишенная поддержки в тогдашней Европе, возникла и погибла, когда мировой пролетариат только начинал прислушиваться к словам «Коммунистического манифеста» Маркса и Энгельса, только еще начинал сознавать единство своих интересов.

Среди многих задач, к решению которых Коммуне не удалось приступить, была и грозная задача борьбы с внешним врагом. Коммуна не успела даже очистить Париж от бесчисленных шпионов как версальских, так и германских.

Трудящиеся Парижа самоотверженно защищали каждую пядь земли, но силы были слишком неравны. 21 мая версальцы проникли в город. Предательская рука шпиона открыла ворота врагу. И все же своей борьбой, своими действиями французский пролетариат Парижской Коммуны показал, что он был единственным классом в тяжелую годину нашествия, не пожелавшим мириться с германской военщиной и покориться ухищрениям насильнической дипломатии врага.

Версальская буржуазия сделала все, чтобы уничтожить Коммуну. Потомки этой буржуазии в наши дни, пресмыкаясь перед фашизмом, делают в свою очередь все, чтобы уничтожить демократию и затоптать в грязь свободу и независимость народов, лишь бы отстоять свои классовые привилегии. И разве не прямые потомки версальцев — нынешние мюнхенские «миротворцы», расчистившие своей политикой капитуляции и пресловутого «невмешательства» дорогу фашистской агрессии?

Но сейчас иные времена. Сейчас потомки парижских коммунаров — во всех странах мира — имеют перед глазами великую страну победившего социализма — Советский Союз, воплотивший в жизнь мечты парижских коммунаров, мечты лучших сынов человечества.

Правда, 1939, 18 марта, № 76

БОРЬБА С ИНТЕРВЕНЦИЕЙ

Французская буржуазная революция конца XVIII в. является водоразделом между феодальной и буржуазной эпохами, временем, открывающим долгую серию войн и потрясений, преобразовавших весь тогдашний мир. Никогда до 1789 г. ни при одной из предшествовавших больших революций, ни в Нидерландах в XVI в., ни в Англии в XVII в., ни в Северной Америке в XVIII в. не было столь радикальной ломки старых, отживших учреждений и порядков, какую проделала Французская буржуазная революция XVIII в. Гете почувствовал колоссальное историческое значение великого катаклизма, находясь по другую сторону баррикады, в лагере интервентов под Вальми. Но это у него было тогда скоропреходящим внезапным озарением, на мгновенье осветившим пред ним темное и далекое будущее. Гете потом временно забыл, что под Вальми он сам услышал поступь «начинающейся» новой истории («на этом месте, в этот день»). Он потом пытался иронизировать над революцией и, конечно, неудачно, потому что ее можно было любить или ненавидеть, но только ни в каком случае не осмеивать. «Сила никогда не бывает смешна», — заметил впоследствии Наполеон, а революция с первых же мгновений оказалась грозной, всесокрушающей силой.

Буржуазия, начав революцию, конечная целеустремленность которой была направлена к созданию нужных ей социально-экономических и политических форм, непременно должна была остановиться там, где революция могла сколько-нибудь серьезно повредить крепости принципа и прочности реального господства частной собственности. Эта остановка и произошла, и революционный календарь нам памятен не только днем 14 июля, когда пала Бастилия, но и термидором, когда была обезглавлена пламенно оборонявшая революцию якобинская диктатура, и жерминалем, когда Конвент Барраса и Тальена прогнал прочь голодавших и просивших у него хлеба плебеев, и кровавым прериалем, когда эти плебеи непрерывно, ежедневно в течение месяца гибли на гильотине за то, что всерьез поверили, будто буржуазная республика не допустит их до голодной смерти, и брюмером, когда военный деспот окончательно

раздавил железной пятой всякое воспоминание о революционной свободе. Все это было, всего этого из истории не вытравишь.

И все-таки память о величайшем из всех *до той поры* пережитых человечеством переворотов навсегда сохранилась у всех дальнейших поколений борцов за лучшее будущее. Старики, уцелевшие от термидора и от брюмера, от гильотины Тальена и от расстрелов Фуше, плакали потом, при Реставрации и при Луи-Филиппе, когда слушали запрещенную или полузапрещенную «Марсельезу», волновались и не могли успокоиться всякий раз, когда речь заходила о далеких, славных временах грозной борьбы якобинцев.

Но ведь не только эти старики, соучастники, герои и случайно уцелевшие жертвы так относились к пережитой ими великой очистительной грозе! А Герцен, писавший об этих стариках? А молодой Маркс, молодой Энгельс, не отрывавшиеся от революционных мемуаров, жадно поглощавшие все, что только попадало в их руки из литературы о великой революции? Почему Герцен утрачивал свой грустный скептицизм, почему Маркс и Энгельс с таким неустанным интересом всегда поминали о революции, которую ведь они уже в молодые свои годы так глубоко поняли и так точно и трезво определили как революцию буржуазную?

Значит, было что-то такое в этой непрерывной цепи грозных и грандиозных событий, чего они не могли найти никогда и нигде в любую другую изучавшуюся ими эпоху, кроме эпохи Парижской Коммуны, нашедшей в Марксе и Энгельсе пламенных защитников и пропагандистов. Это свойство Французской революции — даже в отдаленном потомстве возбуждать жгучий интерес — уже давно и многократно отмечалось и во Франции и вне Франции.

Плебейская масса вынесла на своих плечах оборону революции, но отрицать или недооценивать громадную роль вождей этой массы свойственно только людям, совершенно не понимающим самой сущности марксизма. Немало копий в свое время сломал еще Плеханов, полемизируя против народников, которые ложно приписывали марксизму отрицание роли вождей.

Народная масса и ее вожди во Французской буржуазной революции XVIII в., кто бы они ни были по происхождению и воспитанию, добивались решительной ликвидации отживших феодальных отношений.

В этой статье мы коснемся лишь одной черты, лишь одной из тех характерных особенностей Французской революции, которые так волновали всегда сердца целых поколений: Французская революция должна была целые годы вести неустан-

чую, ярую борьбу, которая в случае неудачи могла окончиться не только гибелью всех революционных завоеваний, но и разделом и уничтожением национальной самостоятельности. И революция геройски выдержала эту борьбу, которая была борьбой со всей монархической Европой, причем возглавляла и финансировала всех бесчисленных интервентов страна, экономически наиболее сильная и передовая в тогдашнем мире — Англия.

Разгром всех интервентов — вот что могущественно способствовало славе героической эпохи, потому что этот разгром показал колебавшимся мощь и несокрушимость революционных принципов.

Революция одержала внутри страны с первых же шагов такую решительную, бесповоротную победу над старым строем, что речи не могло быть о восстановлении рухнувшего абсолютистско-феодального режима силами одной только внутренней реакции. И ни королевские братья, покинувшие Францию сейчас же после взятия Бастилии, ни эмигранты, окружавшие их в Лондоне, в Кобленце, в Митаве, ни их тайные друзья и корреспонденты, оставшиеся во Франции, никогда и не рассчитывали, что Вандея или Нормандия, или Лион, или Тулон могут довести до победного конца контрреволюционное восстание, если им не помогут иностранцы, если их вовремя не спасет вооруженная интервенция.

Вспомним прежде всего тот факт огромного значения, что с первых же шагов старый режим, к полнейшей для себя неожиданности, оказался лишенным военной опоры и не мог располагать для борьбы ни одной войсковой частью. Солдатская масса без всяких колебаний перешла на сторону революции и французская гвардия брала 14 июля Бастилию вместе с восставшим народом. В Кобленце эмигрантский ничтожный отряд состоял из генералов и офицеров и каких-то темных проходимцев, разыгрывавших роль солдат. В конце сентября и начале октября 1789 г., когда королевский двор подтянул в Версаль «верные части», готовясь идти на Париж, то в этих «верных частях» оказались «верны» только офицеры, да и то лишь по части устройства банкетов и распеванья на этих банкетах песни «О мой король, все тебя покидают!» А когда разъяренные этими манифестациями голодающие женщины ворвались в Версаль и перевезли в Париж королевскую семью, то солдаты «верных частей» оказались верны революции и не пожелали проявить ни малейшего сопротивления. И так было повсюду во Франции.

Если все-таки контрреволюционеры годами не утрачивали надежд, «не распаковывали чемоданов», полагая, что не сегодня — завтра их пригласят вернуться в «раскаявшееся оте-

чество», если король в Тюильри упорно накладывал «вето» на решения народных представителей, а Карл д'Артуа и его собутыльники громко сулили перевешать всех участников революции, то все это объяснялось исключительно несокрушимой уверенностью в конечной победе монархической всеевропейской интервенции. Неутолимая, яростная народная ненависть к презренным изменникам, знавшим твердо, что их ненавидит весь народ, и именно поэтому призывавшим неприятельские войска, эта ненависть разгоралась с каждым годом все ярче и ярче. Контрреволюционеры сами поставили вопрос о беспощадной борьбе с ними, борьбе за право французского народа распоряжаться своей судьбой и владеть своей территорией.

Давно уже была высказана совершенно правильная мысль по поводу изображений террора в стиле Тэна и его последователей: представьте себе картину, которая показывала бы сцену жесточайшей, смертельной схватки двух бойцов; затем представьте себе далее, что фигуру одного из бойцов старательно замазали так, что эта фигура слилась с фоном и совсем исчезла с картины. Что получится? Пред вами будет метаться одинокая оставшаяся фигура какого-то буйного сумасшедшего, который с яростью бьет кулаками по воздуху, свирепо выкатив глаза, с гневом глядит в пустое пространство и напрягает все силы, чтобы одолеть какое-то несуществующее видение, порожденное его больным мозгом. Таков Комитет общественного спасения в интерпретации бесчисленных фальсификаторов истории Французской революции. Стоит только тактично помолчать о переписке Марии-Антуанетты с ее братом, австрийским императором, стоит игнорировать усиленные ежедневные и ежечасные призывы к интервенции, исходившие от эмигрантов, стоит забыть долгую войну, которую англичане вели на западе Франции руками вандейских крестьян, а на юге — руками роялистов города Тулона, словом, стоит закрыть глаза на тот факт, что для Франции готовилась, при деятельнейшем соучастии контрреволюционеров, участь Польши, разделенной соседями на три части, и тогда можно написать о Конвенте, о Комитете общественного спасения, о Марате и Робеспьере даже не сорок таких томов пасквилей, какие написали о них изящный великосветский сказочник Жорж Ленотр и подобные ему «историки», а в полном смысле слова «сорок сороков».

«Мы готовим розги, нужно будет пересечь всех тех, кого не перестреляют прусские и австрийские пули»,— громко заявляли эмигранты в Кобленце. «Те, которые выехали из Франции, решили, вернувшись, перевешать всех, кто там остался»,— с иронией и гадливостью говорили, посматривая на эмигрантов, некоторые из тех же их иностранных «союзников», которые были побрезгливее.

Когда стоявшие в городе Майнце в гарнизоне прусские офицеры хотели сказать любезность своим друзьям, французским эмигрантам, то они говорили: «Париж нужно сжечь целиком, с детьми, потому что каких детей могли породить якобинцы!» А эмигранты подхватывали эти слова и с восторгом повторяли за пруссаками: «Разве нам придется встретиться с якобинцами? Да они во всю прыть убегут от одного вида первой же нашей пушки!»

Разве можно было бы придумать более действенную пропаганду в пользу самой беспощадной революционной борьбы, чем все эти откровеннейшие высказывания? И эти проповеди привели к огромным последствиям, правда, совсем не тем, которые имелись в виду проповедниками из Майнца и Кобленца.

Еще в начале 1790 г. такой последовательный, неподкупный, бесстрашный революционер, как Робеспьер, полагал, что «революция кончилась», т. е. что больше не будет нужды в новых битвах за революционные приобретения и за их дальнейшее углубление и развитие. Но нет! Она вовсе не была окончена, она еще только начиналась, потому что побежденный лагерь возложил все свои упования на иноземное нашествие, на прусские и австрийские пули, на английские плавучие батареи, на далекие русские резервы. И тот же Робеспьер, который в начале революции внес в Учредительное собрание предложение об отмене во Франции навсегда смертной казни, стал беспощадно и неукротимо бить врагов и изменников, не различая, где фронт, где тыл. Бывают положения, когда фронт и тыл сливаются в одно неразрывное целое. Тулон, который роялисты *подарили* англичанам, что это: фронт или тыл? Тюильри, откуда император австрийский получил перед началом войны весь подробнейший план намеченных французскими военачальниками военных действий, что это: фронт или тыл? Негоцианты-негроторговцы города Нанта и города Бордо, выступавшие за сдачу французских колоний испанцам и англичанам, чтобы не дать неграм воспользоваться декретом об уничтожении рабства, где они действовали: на фронте или в тылу?

Долгие годы продолжалась эта упорнейшая борьба, долгие годы старый строй не хотел признавать себя безнадежно проигравшим сражение, мертвецы отказывались лечь в гроб. И долгие годы каждую весну, когда возобновлялась война с монархической Европой, в обозе армии интервентов вновь и вновь показывались эти «белые изменники» и раздавались их злобные вопли и ликующие возгласы о близкой победе. Спасти революцию, и прежде всего спасти Францию, могло только всенародное участие в борьбе.

Гибнущий класс, чем больше он убеждается в своей обреченности, тем с большей готовностью он вступает в союз и дружбу с внешним врагом, с державами, интервенция которых может еще вдохнуть надежду на спасение. Эту истину история контрреволюционных усилий и войн времен революции обнаружила с полной четкостью. И после этого образчика нас уже нисколько не затруднит и не покажется ничуть загадочным ни один из дальнейших аналогичных фактов XIX и XX вв.

Вот изгнанные снова в 1830 г. Бурбоны и их клевреты обивают пороги у Николая I, умоляя поскорее послать Дибича с армией усмирять Париж, и грязный негодяй Дантес, «верный рыцарь Бурбонов», будущий убийца Пушкина, втирается со своими товарищами в русскую гвардию, потому что, служа Николаю, он и его сподвижники тоже, как они уповают, примут участие в будущем восстановлении на прародительском престоле законного короля божьей милостью. Вот Дон Карлос испанский, продающий Испанию буквально всякому, кто согласится помочь ему восстановить феодально-клерикальное засилие в стране и обливающий шесть лет подряд кровью свою родину. Вот австрийские аристократические генералы, падающие на колени (не в переносном, а в физическом смысле) не только пред самим русским царем, но, за его отсутствием, пред его адъютантами, умоляя о помощи против революции... Все это лишь дополнительные и повторяющиеся иллюстрации к тому, чему научила человечество эпопея буржуазной Французской революции.

«Они жертвуют своей расой, чтобы спасти свой класс!» — воскликнул покойный Жорес, когда обнаружилось, что банкирский дом Ротшильда секретно финансирует антисемитские органы в период дела Дрейфуса. Что бы сказал Жорес, с таким негодованием говорящий в своей «Истории Французской революции» об изменниках и об интервентах, если бы он пережил 1938—1939 гг., если бы он видел, как полтора десятка парижских и провинциальных газет, публично *уличенных* в получении денежных взяток от фашистских правительств, продолжают с безмятежным спокойствием ежедневно отравлять политическое сознание сограждан именно так, как этого требуют их наниматели! Он бы, несомненно, повторил свою фразу, но уже применяя ее не к одному Ротшильду, а ко всей руководящей верхушке финансового капитала, жертвующего интересами нации.

«Что нам нужно сделать, чтобы некоторые французские газеты не поддерживали фашистских извергов, которые с трех сторон — из-за Рейна, из-за Альп, из-за Пиренеев — готовятся напасть на нас? Что делать против людей, продающих германским оружейным заводам французскую железную руду? Против

парижских парламентариев и журналистов, *радующихся* тому, что в руки Гитлера без единого выстрела попала чехословацкая „линия Мажино"? Что делать с бывшими французскими министрами, посылающими поздравительные телеграммы человеку, который торжественно провозгласил в печати уничтожение Франции как *основную и первейшую задачу* германской политики? Если вы в самом деле не знаете, что в таких случаях делать, то попробуйте прибегнуть к спиритическому сеансу и вызовите дух Робеспьера: он вам даст немедленно самый точный и исчерпывающий ответ». Так писал недавно один из публицистов, вовсе не принадлежащий ни к коммунистам, ни даже к социалистам. Его иронический совет был навеян именно приближающимся чествованием стопятидесятилетия революции.

Крупные капиталисты, отдавшие под германское фашистское иго значительную часть Средней Европы, не имеют даже того «оправдания», которое приводили 150 лет назад наемные перья монархических памфлетистов: нынешние французские друзья Гитлера и Муссолини предают Францию, хотят привести ее к поражению в будущей войне для того, чтобы иметь возможность ликвидировать у себя скромнейшие «уступки», полученные рабочим классом в недолгие годы существования народного фронта. Нет, мюнхенские миротворцы остерегутся «вызывать» дух Робеспьера и даже с большим беспокойством следят, не явится ли он во французском народе как-нибудь сам собой, без всякого специального приглашения. Наглые угрозы, доносящиеся до Франции из Рима и Берлина, нисколько не уступают тем угрозам и оскорблениям, которые неслись к ней из Майнца и Кобленца 150 лет тому назад. И ведь тогда тоже ответственные руководители французской дипломатии обнаруживали сначала примернейшую, истинно христианскую кротость и смиренномудрие, и все не могли никак сообразить, нужно ли обидеться или еще пока не стоит?

И какой разброд мыслей наблюдается сейчас во Франции у людей, которые, с одной стороны, всей душой ненавидят память о революции и явно сочувствуют своим духовным предкам, призывавшим вооруженных неприятелей в свою страну, чтобы утопить революционное движение в крови, а с другой стороны, именно теперь, после поднесения подарка фашизму в виде Австрии, Чехословакии и Испании, начинают беспокоиться: не слишком ли дорого они заплатили за отказ от политики народного фронта?

Недавно вышла в Париже курьезная и очень характерная книжка академика Жака Бэнвиля: «История двух народов, продолженная до Гитлера». Бэнвиль — реакционер и роялист, для которого «вегетарианец» Леон Блюм и пламенный друг народа Марат одинаково ненавистны. Но вот и его тоже Гитлер

стал в последние дни не так восхищать, как прежде. Да, полагает Бэнвиль, за Рейном нехорошо, создалась угроза для Франции, а кто виноват? Конечно, та же чествуемая теперь юбилеем Французская революция! Почему? Да очень просто: германизм вышел из идей Французской революции. От Жан-Жака Руссо пошел Гердер, от Гердера — германский национализм, а германский национализм породил Адольфа Гитлера. Чувствуя, что все-таки хватил через край, Бэнвиль подчеркивает: «Ведь ответственность *идей,* которая так же достоверна, как ответственность *людей,* проявляется в данном случае с совершенной очевидностью».

Все это в высшей степени характерно и показательно. И выходит, по Бэнвилю, что в создавшейся обстановке виновна Великая французская революция!

По всей линии консервативная, а отчасти и либеральная буржуазия отворачивается от революции, от той самой буржуазной революции, которая дала именно буржуазному классу победу.

Вот в чем великое значение этой буржуазной революции. Будь она поменьше, поскупее, поумереннее, без взятия Бастилии, без Робеспьера и Марата, без якобинцев и Бабефа, с каким бы чистым сердцем и с какой искренностью ее память чествовали бы теперь либералы, и, быть может, чего доброго, даже роялист Бэнвиль (если бы король Людовик XVI сохранился в свое время в цельном виде)...

Есть страна, где эта великая буря, пронесшаяся так давно и так далеко, будет вспоминаться и чествоваться более горячо и более искренне, чем, может быть, где бы то ни было во всем остальном мире. Это — страна, пережившая еще недавно более грандиозный переворот, чем тот, который потряс Францию в последние одиннадцать лет XVIII столетия: страна, которой тоже пришлось грудью встретить и победоносно отразить измену и интервенцию.

Французская революция была важнейшим историческим этапом. Где и когда свершится следующий этап? Этот вопрос ставился много раз — одними со стесненным сердцем, другими — с надеждой. В разной форме, прямо или косвенно, его ставили и Шатобриан во Франции, и Карлейль в Англии, и левые гегельянцы в Германии, и Огюст Бланки, полжизни просидевший в тюрьме, и Аристид Бриан, полжизни пробывший министром. Октябрь 1917 г. дал ответ. Великая Октябрьская социалистическая революция по своему необъятно огромному социальному содержанию открыла *совершенно новую главу* в истории человечества. Социализм овладел пол-Европой и пол-Азией.

Новая революция, завоевавшая сразу шестую часть земли,

пришла с лозунгом, которого не усвоила революция французская: с лозунгом полного уничтожения эксплуатации человека человеком. И этот лозунг разделил весь мир на два лагеря, гораздо более непримиримые, чем те, на которые разделила европейское общество Французская революция.

Воскрешая память о французском катаклизме, который низверг феодальный строй, мы сознаем, что 150 лет назад был сделан необходимый исторический шаг по пути прогресса.

Но то, что было прогрессивным тогда, 150 лет назад, теперь гниет, отживает свой век. Наступили сумерки капитализма. На смену ему идет новый строй — социалистический.

Мы вспоминаем с особенно живым, злободневным интересом о тех событиях, которые связаны с грозной борьбой французских плебейских масс и их вождей против полчища наглых насильников и грабителей, осмелившихся напасть на революционную страну и получивших жестокий отпор. Славная французская революционная эпопея показала, что́ может в такой борьбе сделать народ, научившийся побеждать. Славный юбилей настойчиво напоминает об этом уроке всем живущим в нашу великую и грозную эпоху.

Правда, 1939, 14 июля, № 193.

УРОКИ ПУБЛИЦИСТИКИ

Прекрасно разбиравшийся в сложнейшем лабиринте внешнеполитических отношений, Чернышевский занимает совершенно исключительное положение в истории русской публицистики. «Прекраснодушие», которое всегда так ненавидел Чернышевский, пустопорожнее морализирование, наконец, просто неумение оценить колоссальную важность международной политики и нежелание серьезно заняться ее изучением,— вот против чего и словом и делом боролся великий русский демократ.

«История знает различие между действиями, ведущими к предположенной цели или отнимающими возможность достичь ее»,— писал Чернышевский. И это — один из основных принципов его, как наблюдателя и аналитика и прошлых и текущих исторических событий. Он вовсе не отказывается от конечного произнесения приговора тем или иным историческим деятелям и деяниям с точки зрения идеала прогресса. Но прежде всего он рассматривает, целесообразно ли поступает тот или иной политик с точки зрения поставленных им себе самому задач, или нецелесообразно. «Не признак ли безрассудства порицать кого-нибудь за то, что он поступает, как требует его надобность?» — говорит Чернышевский в мае 1860 г., описывая действия неаполитанского правительства, накануне революции, которая навсегда с ним покончила. Конечно, несравненно важнее и плодотворнее показать всю неизбежность действий неаполитанского правительства, приведших его к столь же неизбежному падению, чем сентиментально возмущаться безнравственностью и негодяйством короля Франциска. Читателя может прямо поразить, как часто, как страстно и настойчиво Чернышевский по всякому поводу проводит эту, казалось бы, простую мысль.

Эти уроки великого демократа-революционера не очень хорошо учитывались и его современниками и его потомками. В наши дни великих сдвигов в области внешнеполитических отношений и поразительных побед советской дипломатии особенно отрадно вспомнить, какой зрелой, истинно государственной была мысль Чернышевского в вопросах международной борьбы, проходившей перед его глазами.

Мы знаем яркие и глубокие статьи Чернышевского, касающиеся истории революционных событий в Европе 1848 г., июльской монархии и т. д. Но какое изумительное политическое чутье проявляется в его статьях и заметках о текущей политике, в статьях Чернышевского-публициста! Три группы внешнеполитических фактов больше всего занимали его ум: Крымская война, все, что было связано с объединительным процессом, происходившим в Италии, и гражданская война в Америке.

О Крымской войне Чернышевскому удалось писать только в крепости, через восемь лет после падения Севастополя, писать «для себя», без надежды увидеть свою работу напечатанной. Его заметки были писаны в связи с переводом некоторых страниц из большого английского труда Кинглэка, участника и одного из первых по времени историков Крымской войны. Кинглэк, признавая Наполеона III одним из главных инициаторов войны, посвящает много места перевороту 2 декабря, и сообразно с этим в заметках Чернышевского также много говорится об этом событии. Заметки Чернышевского очень интересны и несравненно более глубоки, чем страницы Кинглэка. Но нас интересуют лишь высказывания Чернышевского о связи переворота 2 декабря с Крымской войной.

Чернышевский тесно связывает выступление Наполеона III с внутриполитическими мотивами и устремлениями императора. Но его больше всего интересует та легкость, с которой народы были ввергнуты в страшную бойню по прихоти нескольких авантюристов. Он приписывает это, между прочим, глубокому невежеству европейцев и полнейшему взаимному непониманию: «Если англичане очень умно сообразили, что мы — изверги, враги рода человеческого, то и мы, образованные русские, сообразили то же самое об англичанах. При такой догадливости можно ли было не начать англичанам и нам угощать друг друга ядрами, бомбами, картечью, пулями и палашами, в удовольствие г. Морни и г. Персиньи».

Чернышевский с ядовитой иронией, целя через голову Кинглэка в славянофилов, говорит о бреднях, приписываемых разными охочими людьми русскому народу, который якобы спит и видит, как бы ему завоевать Царьград и водрузить крест на св. Софии. С тонкой иронией Чернышевский говорит о гибельнейших ошибках, наделанных Николаем I в 1852—1853 гг. Но больше всего он останавливается опять-таки на беспомощности великих европейских народов и невозможности для них при существовавших в середине XIX в. социально-политических отношениях успешно противиться шайке поджигателей войны, если эта шайка почему-либо находит для себя выгодным зажечь пожар.

Вывод у него чисто революционный: «*Кто же пролил реки*

крови? Кто разорил весь юг России, истощил силы всех остальных частей России? — Кто?» Чернышевский считает, что виновны все те, кто в России не мог и не сумел воспротивиться Николаю, так же, как во Франции виновны в войне те, кто рабски подчинился Наполеону III. Чернышевский говорит не о народе, а лишь о правящих классах, о «публике», как он выражается. Он отрицает за «публикой» право негодовать на убийственные ошибки и гнусные преступления коронованных деспотов, бросающих миллионы людей на бойню, поскольку сама «публика» этим деспотам беспрекословно повинуется, даже не пытаясь бороться против их произвола.

Много внимания уделяется в хрониках и обозрениях Чернышевского делам итальянским. Установки его, по существу, те же, что в знаменитых статьях Добролюбова. Но Чернышевский гораздо отчетливее, чем Добролюбов, представляет себе все огромные размеры зловредного влияния Наполеона III на итальянские дела в 1860—1861 гг., гораздо больше и чаще говорит об этом, и общая картина у него оказывается поэтому более выпуклой и полной, хотя, конечно, неподражаемый литературный талант обеспечивает бессмертие статьям Добролюбова об Италии. Гарибальди, герой революционного метода в деле воссоединения Италии, приводит порой в решительное восхищение Чернышевского.

«Много оскорблений наносил Кавур Гарибальди до взятия Палермо, но напрасно было бы приписывать нынешнюю вражду между ними личным неприятностям,— это вражда двух партий, из которых одна полагает, что для создания итальянского единства и величия надобно действовать революционным путем, другая надеется держаться только с разрешения императора французов, только в пределах, допускаемых им». Мысль, проникающая все рассуждения Чернышевского о делах и людях объединяющейся Италии, заключается в том, что, пока в данном народе нет почвы и условий для возникновения могучего революционного подъема, до той поры этот народ в той или иной степени вынужден терпеть влияние чужой воли на его судьбы, сегодня Николая I, завтра Наполеона III, послезавтра лорда Пальмерстона или еще кого-нибудь.

Для Чернышевского Кавур интересен не только как характерная фигура либерала, противополагаемого революционерам, но и с другой стороны, которую оставил в тени Добролюбов в своей классической статье об итальянском министре. Чернышевский на примере Кавура хочет уяснить читателю, что, как правило, буржуазный дипломат, представляющий прежде всего интересы эксплуататорских классов, всегда будет склонен скорее предпочесть внешнюю поддержку и помощь, как бы дорого ни пришлось за это уплатить, чем искать опору в самостоятель-

ном революционном подъеме своего собственного народа. Вот почему Кавур предпочел опереться на Наполеона III, которому пришлось за это уплатить Савойей и Ниццей, но не идти до конца с Гарибальди, Мадзини и их товарищами: лучше подчиниться чужому деспоту, чем звать на помощь революционную стихию.

С неослабевающим интересом следил Чернышевский за долгой, кровавой драмой, разыгравшейся одновременно с итальянскими событиями за Атлантическим океаном. Война северян против рабовладельческого плантаторского мятежного Юга рисовалась Чернышевскому, как борьба двух классов, двух «сословий», по его выражению. «Вражда Юга к Северу — сословная вражда, ненависть патрициев к темным плебеям, вражда высшего сословия к республиканскому устройству»,— пишет он в мае 1861 г., в самом начале американской междоусобной войны. Следя за борьбой, Чернышевский боится не того, что южные бунтовщики-плантаторы будут сопротивляться с самой яростной энергией, а, напротив,— того, что они слишком скоро падут духом и смирятся. В первом случае — победители, к счастью, будут беспощадны, и рабство будет начисто искоренено; а во втором случае — победивший Север захочет проявить снисходительность к рабовладельцам, «и решение вопроса будет отсрочено». Чернышевский отмечает и дружественную рабовладельцам позицию Англии и стремление Наполеона III подбить Англию на вооруженное вмешательство в американскую войну в пользу рабовладельцев и поясняет, какими своекорыстными расчетами диктуются эти действия двух великих западноевропейских держав, выступивших так дружно и согласно на защиту плантаторского варварства.

Разбирая условия, вызвавшие североамериканскую междоусобицу, Чернышевский, как и всегда, стремится выявить, какие материальные интересы лежат и в основе конфликта и в мотивировке поведения европейских держав относительно обеих борющихся сторон. Он совершенно чужд сентиментальных возгласов и тирад, в которых изливали, по обыкновению, свою душу либеральные публицисты, а деловито и точно стремится учесть силы и шансы обоих лагерей и возлагает свои упования на ошибки в расчетах плантаторов и их английских и французских друзей.

Всякий, кто желает постигнуть во всей полноте огромную политическую и писательскую индивидуальность Чернышевского, непременно должен внимательно вчитаться в те страницы, где отчасти высказаны более полно, отчасти брошены вскользь, но по разным причинам недосказаны, его мысли о внешнеполитических проходивших перед его глазами событиях. Без этих страниц образ Чернышевского не целен.

Известия. 1939, 28 октября, № 250.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Советские школьники получили за последнее время новые, составленные лучшими нашими педагогами и научными работниками учебники по гражданской истории. Преподавание истории в советской школе перестает быть абстрактным схематическим. Молодежь знакомится с характеристиками исторических деятелей, с важнейшими историческими событиями и фактами в их хронологической последовательности. В живой, занимательной форме предстает перед нашей молодежью учебный материал, позволяющий правильно обобщать исторические события, подводящий учащихся к научному, марксистскому пониманию истории.

Тем более почетны и ответственны задачи авторов исторических рассказов, повестей, романов для детей и юношества. Новая советская историческая книга должна помочь правильно понять, образно, взволнованно почувствовать жизнь прошлого: дать полноценную картину эпохи, показать исторических героев, боровшихся за прогресс человечества, преодолевавших враждебные им силы. Историко-биографические произведения очень важны в деле коммунистического воспитания молодежи, если они красочно и увлекательно рассказывают о чувствах патриотизма, преданности интересам народа, о бесстрашии и храбрости передовых исторических деятелей.

История человечества, история народов Советского Союза дает для этого богатейший материал. Все дело в том, как использовать, как разработать этот материал. Здесь много подводных камней, о которые могут разбиться, и разбивались не однажды, самые добрые намерения. По европейской, особенно французской, литературе известны исторические писатели типа Ж. Ленотра, фальсифицировавшие историю. Там процветает так называемый «биографический роман», когда под видом изложения исторических фактов читателю преподносится явная выдумка. Вот почему историк с опаской берется за чтение исторических романов и повестей. Опасения были и у меня, когда за последнее время довелось приступить к чтению целой серии исторических книг, выпущенных в свет Издательством детской литературы ЦК ВЛКСМ для малышей и школьников среднего и старшего возраста.

Но оказалось, что в основном материал в этих книгах изложен вполне доброкачественно в смысле верности фактов, подлинности исторической действительности. Большинство прочтенных мною книг написано вполне литературно, нескучно, занятно. Начато серьезное, большое дело. И не только для детей. Историческую серию Детиздата с большой пользой читают взрослые: советские молодые техники, врачи, летчики, учившиеся в школе «по Покровскому» и поэтому мало знакомые с историей.

Но это не значит, что наши исторические книги для детей свободны от схематизма, от попыток вульгарно упростить, обескровить исторический факт. Во всяком случае в исторических книгах для младшего возраста эти недостатки еще очень разительны и требуют пристального внимания советской общественности.

Герой должен быть реальным. А вот в книгах С. Злобина «Степан Разин» и «Салават» Разин и Пугачев представлены уже очень достопочтенными государственными деятелями, этакими солидными дядями, всегда говорящими нечто мудрое, весьма рассудочное... Вспомним Пушкина, который под носом у Бенкендорфа сумел изобразить по-своему симпатичного, великодушного Пугачева, способного руководителя восстания, но склонного и к разбойничьим увлечениям. Пугачев Пушкина реален, ему веришь. Историческая судьба подняла Разина и Пугачева на большую высоту, они имели огромное значение в истории русского, да и не только русского, народа. Они отражали стихийное возмущение крестьянства, в них была большая простота, огромная, увлекающая массы эмоциональная сила, но были и разбойничьи элементы.

Дети очень чутки, и если пересахаришь героя, они это заметят и никогда не простят автору. Но таким получился у С. Злобина сподвижник Пугачева, герой башкирского народа Салават Юлаев. Я не знаю материалов о детстве Салавата, но по книжке он идеален — этакий примерный отрок, мальчик-пай. Хочется, чтобы он был веселым, бодрым, пусть озорным, и, несомненно, таким он и был в действительности. В прекрасной книге С. Вольского «Завоеватели» монах — продавец индульгенций — обязательно пузат. Это трафарет — городовой с страшными усищами и пузатый монах... А между тем за трафаретами зачастую пропадает реальный образ героя. Таким сусальным, отчасти обескровленным изображается в нашей литературе Шамиль. Шамиль был фанатиком. Ребенок не поймет слова «фанатик», но можно рассказать, например, о случае, когда мать Шамиля осмелилась передать ему мирное предложение. Шамиль велел бить свою мать плетьми за измену, а когда она упала в обморок после первых ударов, он подставил свою

спину: если не сама виновница, то представитель ее рода должен быть наказан. Шамиль был по собственному требованию жестоко избит. Это отнюдь не позорные факты, но, освещая их, даешь облик подлинного, исторического Шамиля. А он и по своему характеру и по своим действиям отнюдь не мог быть учтивым, изящным лордом Пальмерстоном.

Придирчивость историка отнюдь не означает, что надо лишить писателя права на художественный вымысел, на свою творческую трактовку образа исторического героя. Если из хорошей беллетристической книги дети поймут дух эпохи, характер исторического героя, это будет очень хорошо. О. Ровинский и Н. Дмитриев написали исторический рассказ «Битва при Гангуте». Рассказ читается с исключительным интересом, хотя авторы свободно, вымышленно описывают думы и речи своих героев. Вымысел авторов художественно и исторически оправдан: они прибавили то, чего не было, но что могло бы быть. Но с выдумкой надо обращаться очень осторожно.

Еще один недостаток, свойственный почти всем изданным историко-биографическим книжкам для школьников младшего возраста: герой в них оторван от эпохи, от исторической обстановки, от сил, против которых он борется. Маленькая, слишком маленькая книжка талантливого исторического писателя Г. Шторма «Полтава» упоминает о трудностях, которые преодолевал Петр I, но цельного, конкретного представления обо всем у читателей не остается. Нигде не показано отсутствие даже примитивной цивилизации во времена Петра I. Читает ребенок книги о XVI, XVII или XVIII вв. и ни из одной не узнает, как же путешествовали царские воеводы или Разин, курьерскими поездами или обыкновенными, и какие пароходы ходили по Волге-матушке... И почему все враги — шведы, татары и прочие предстают слабыми, только и ждущими, когда их разобьет герой, размахивающий дубинкой на страницах наших исторических книг?! Пушкин писал о высокой чести победы над суровым, грозным врагом:

Озарен ли честью новой
Русский штык, иль русский флаг?
Побежден ли швед суровый?
Мира ль просит грозный враг?

Полтавская победа Петра была победой над грозным врагом. И татары были отнюдь не такими дикими, как это изображалось когда-то историографами. Нашествие татар было очень зрело обдуманным предприятием. Забвение исторических условий борьбы того или другого героя приводит к ошибкам, весьма вредным для детей.

В этом отношении стоит поучиться у ряда авторов советских же исторических книг, которые выпущены Детиздатом для школьников среднего и старшего возраста. Они не лишены недостатков, но в массе — намного выше по качеству, чем книги для младшего возраста. Это полноценные художественные, исторически правдивые произведения. Без слащавости, без навязчивых поучений они подводят детей к пониманию доброго и злого, исторически прогрессивного и осужденного историей на смерть. Ряд таких книг надо систематически переиздавать, и Детиздату в этом деле не надо уподобляться скупому рыцарю!

Хорош роман о декабристах С. Голубова «Из искры — пламя». Он читается с увлечением, дает яркую, художественную картину эпохи, привлекает правдивыми образами Грибоедова, Лермонтова, лучших людей русского народа. Тем более огорчают в романе исторически неправильные изображения А. Ф. Орлова, ненужные, психологически осложненные, надуманные эпизоды с братьями Завалишиными и ряд других моментов. Для малышей и для старших издан исторический роман С. Григорьева — «Александр Суворов». В обоих вариантах он представляется блестящим. Эта книга нашла своего читателя не только среди детей, но и среди взрослых. Роман С. Григорьева — подлинно историческое, вдохновенное произведение большого мастера о любимом народном герое. С. Григорьев смело отверг весь тот анекдотизм, который процветал в старых биографиях Суворова. Но в дальнейшей работе над романом писателю надо более тщательно разработать материалы о времени и людях Екатерины II. Екатерининский двор, екатерининское окружение — это очень сложная машина, частью которой был и Суворов. И нельзя грубо описывать Потемкина, как лентяя, только фаворита, чуть ли не шалопая. Потемкин был человеком большой политической мысли, крупным администратором, устроителем огромной территории.

Острейший исторический момент завоевания Америки конквистадорами берет С. Вольский в своей книге «Завоеватели». На этой книге больше, чем на какой-нибудь другой, сравнительно обнаруживаются советские принципы исторической беллетристики. О покорении европейцами американского туземного населения писал на Западе свои романы Чарльз Кингслей, писала целая школа беллетристов. У них конквистадоры выступают, как белокурые, великолепные образчики человеческой породы, уничтожающие ничтожных ацтеков, инков и т. д. Это — глубоко античеловеческая литература, она чужда советским детям. С. Вольский показывает истинные качества конквистадоров — их ум, ловкость, храбрость, умение смело рисковать. Это исторически правильно. Автор не навязывает юному читателю нравоучений, когда рассказывает, как Писарро, храбрец из храбрецов,

оказывается в 50 лет нищим и все еще ждет, что будущее впереди... Но писатель показывает и то, что не было злодеяния, гнусности, предательства, которого не совершали бы конквистадоры по отношению не только к инкам, перуанцам, но и по отношению к своим товарищам по оружию.

К наиболее удавшимся книгам надо отнести серию в самом деле превосходных исторических романов Татьяны Богданович — «Соль Вычегодская», «Холоп-ополченец», «Горный завод Петра III». В западной детской литературе не найти таких книг, как книги С. Голубова, С. Григорьева, С. Вольского, Т. Богданович. Необходимо отметить и строго-исторический, четкий, ясный очерк о гайдамаках — «История одного восстания» Л. Чуковской. Эти взятые на выборку книги делают честь советской исторической литературе. К сожалению, исторические произведения выпускаются Детиздатом далеко не в достаточном количестве, самые книги издаются очень тощими.

К исторической серии Детиздата должно быть привлечено внимание советских историков и писателей. Нужно поставить в центре историю народов Советского Союза, познакомить наших детей с героями революционного движения, с такими отчаянно смелыми путешественниками, как Беринг или Дежнев, Пржевальский или Миклухо-Маклай, с такими страстными учеными, как Ломоносов, с такими изумительными гениями, как Лермонтов. В этом отношении на помощь детским писателям должны прийти писатели «для взрослых». У нас появились очень хорошие исторические книги и о Ломоносове (Г. Шторма), и о Чингис-хане (В. Яна) и много других ценных историко-биографических произведений. Их надо использовать для детских изданий. А какие интереснейшие книги можно создать, популяризируя научную литературу о Шампольоне, Диккенсе и т. д., это показывает, например, прекрасная биография Диккенса, написанная Е. Ланном. Успешно начатую работу над созданием новой советской исторической литературы для детей надо расширить, чтобы дать миллионам советских школьников книги, воспитывающие людей, преданных своей родине, своему народу, гордящихся своей страной, ее прошлым и настоящим и верящих в ее будущее.

Известия, 1940, 27 декабря, № 300.

Комментарии

ТАЛЕЙРАН

Глава II

[1] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 4, стр. 471.

[2] Герцен А. И. *Собрание сочинений в 30 томах*, т. 2. М., 1954, стр. 287.

[3] Там же, стр. 295.

[4] Например, Кавура, в главе «Былого и дум», озаглавленной «Горные вершины», Герцен иронически называет «маленьким Талейраном».

[5] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, 2 изд., т. 11, стр. 187.

[6] Sainte-Beuve C. A. *Monsieur de Talleyrand*. Paris, 1880, p. 141. Эти статьи Сент-Бева появились впервые в газете *Le Temps* в начале 1869 г.

[7] ...chaque jour diminue la sympathie pour Louis XVI dont M. Talleyrand a dit qu'il montra le courage d'une femme en couches. Stendhal. *Courrier anglais*, т. III. Paris, 1935, p. 76 (Paris, le 20 mai 1826).

[8] Талейран — княгине Ламбеск, 9 октября 1789. In: Lacour-Gayet. *Talleyrand*, т. IV. *Mélanges*. P., Payot, 1934, p. 26—28. Далее сокращенно: *Mélanges*.

[9] Lacombe B. *Talleyrand, évêque d'Autun. D'après des documents inédits*. Paris, Perrin, 1903, p. 197, 229.

[10] Старосельская-Никитина Ф. О. *Очерки по истории науки и техники периода французской буржуазной революции* 1789—1794. М., 1946, стр. 143.

[11] *Mémoires du baron de Vitrolles*, t. III. Paris, 1884, p. 451 (Notes).

[12] *Talleyrand in America as a financial promoter*. 1794—1796. *Unpublished letters and memoirs*, vol. II. Transl. and ed. by H. Huth and W. Pugh. Washington, 1942. У нас в руках был лишь один (второй) том этого трехтомного издания, но он начинается с момента прибытия Талейрана в Америку, а последние документы помечены уже началом 1796 г., так что неясно, каково содержание первого и третьего томов. Французский подлинник не издан до сих пор. Сборник — сплошь на английском языке.

[13] Там же, стр. 126.

[14] Dodd A. B. *Talleyrand. The training of a statesman*. N. Y., Putnam, 1927, p. 312—315.

[15] Stendhal. *Lucien Leuwen*, t. III. Paris, 1929, p. 61. Vous n'avez pas la peau assez dure pour ne pas sentir le mépris public. Mais on s'y accoutume, on n'a qu'à mettre sa vanité ailleurs. Voyez M. de N. [«modèle: prince de Talleyrand»]. On peut même observer à l'égard de cet homme célèbre que quand le mépris est devenu lieu commun il n'y a plus que les sots qui l'expriment.

[16] *Mélanges*, p. 215.

[17] Американцы назвали иронически этих *не названных* Талейраном

«обманщиков»: «икс, игрек и зет». Так и обозначается в американской историографии весь этот инцидент: «X. Y. Z.»

[18] Талейран — Оливу, 10 мая 1797 г.— *Mélanges*, p. 51—52.

[19] Lokke C. L. *Pourquoi Talleyrand ne fut pas envoyé à Constantinople.*— *Annales de la révolution française*, 1933, mars-avril, p. 153—159.

Глава III

[1] Его впервые опубликовал полностью в 1931 г. Лакур-Гайе (*Talleyrand*, t. III).

[2] Архив внешней политики России (АВПР). Ф. К. 1801. Д. 3712, л. 2. Reçu le 14 Mars 1801. ...Je dois vous exprimer la satisfaction, que j'éprouve de voir arriver le moment, où par les discussions franches et approfondies sur touts les objets d'intérêt commun, il sera possible de consolider la paix du continent et de préparer l'affranchissement des mers... (Paris, le 12 ventôse de l'an 9 de la République. A Son Excellence M. le comte de Rostopchin, ministre d'Etat et des affaires étrangères).

[3] Там же. 1802. № 3716, л. 4. Projet d'une lettre au ministre Talleyrand. № 3. Le 4 juillet 1802. Подписано: P-ce Alex. Kourakine: ...je partage vivement la satisfaction que vous me témoignez de l'heureux résultat de votre travail avec le C. de Morkoff sur les indemnités germaniques, mais j'éprouve une plus particulière encore de pouvoir vous annoncer que l'Empereur n'a fait aucune difficulté d'y donner son approbation.

Там же, л. 4 об.—5. ...ses instructions (даваемые командируемому в Регенсбург Бюлеру — *E. T.*) sont de se concerter pour tout ce qui peut avoir rapport aux indemnités avec le ministre de la République et de faire des démarches communes... pour obtenir l'effet de l'intervention de deux gouvernements et la consolidation des arrangements proposés. M. le C. de Morkoff est chargé de faire connaître au Premier Consul ce que l'Empereur désire encore en faveur du Duc de Meclenbourg-Schwerin et du Prince-Evêque de Lubec... Il me reste à désirer, citoyen Ministre, que le succès réponde à notre commune attente et on doit l'espérer et d'impartialité du plon et du poids attaché à une aussi puissante méditation.

[4] Paris, le 30 vendémiaire an XI (22 octobre 1802). *Mélanges*, p. 66.

[5] *Mélanges*, p. 70—72.

[6] Sainte-Beuve C. A. *Monsieur de Talleyrand*. Paris, Calmann-Lévy, p. 85. (Это перепечатка статей 1869 г. с добавлениями.)

[7] Stendhal. *Courrier anglais*, t. III. Paris, 1935, p. 65. M. de Talleyrand nous a habitués à mépriser les petites actions basses quand elles ne sont point absolument utiles.

[8] Stendhal. *Napoléon I. La vie de Napoléon*. Paris, 1929, p. 92—93.

[9] Там же, стр. 95.

[10] Там же, стр. 98.

[11] Талейран — Виалю (посланнику в Швейцарии).— *Mélanges* p. 80—81.

[12] Вяземский П. А. *Полное собрание сочинений*, т. VIII. Старая записная книжка. СПб., 1883, стр. 349. Вяземский был очень осведомлен обо всех парижских делах и отношениях времени Империи и Реставрации через близкого своего друга Александра Михайловича Тургенева, знавшего Париж, как Москву или Петербург (если не больше).

[13] Stendhal. *Napoléon I. La vie de Napoléon*. Paris, 1929, p. 123—124.

[14] Le comte Charles de Nesselrode à son père. La Haye le 13 janvier 1805.— *Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode*, t. III. Paris, s. a., p. 12.

[15] Там же, p. 139. Le comte Charles de Nesselrode à son père. La Haye, le 25 avril 1806.

[16] *Mémoires, documents et écrits divers... de Metternich*, t. II. Paris, 1880, p. 235—237. Metternich à Stadion. Paris, le 24 septembre 1808.

[17] Там же, стр. 261—262. Metternich à Stadion, № 130.

[18] *Lettres et papiers du comte de Nesselrode*, t. III, p. 225.

[19] Этот ценнейший документ (донесение Меттерниха австрийскому министру Стадиону) найден и впервые напечатан Emile Dard в журнале *Revue des deux Mondes* (1 mars 1934) и перепечатан Лакуром-Гайе в изданном им томе *Mélanges*, p. 99—100, а также в книге D a r d E. *Napoléon et Talleyrand*. Paris, Plon, Nourrit, 1935, p. 227.

[20] См. статью D a r d E. *La vengeance de Talleyrand.—Revue des deux Mondes*, 1934, 1 mars, p. 219. Эта статья с некоторыми редакционными изменениями перепечатана впоследствии автором в его *Napoléon et Talleyrand* и в немецком издании 1940 г. (*Napoleon und Talleyrand*).

[21] АВПР. France. Ministère. Réception. Talleyrand à S. M. l'Empereur, 1809, № 1. Собственноручное письмо Талейрана, le 10 février 1809. Sire, toutes les lettres de Votre Majesté Impériale ajoutent à ma reconnaissance, à mon attachement, à mon respect pour Elle. Je sens profondément les bontés, qu'elle accorde à mon neveu et à moi: je la supplie de me les continuer. Sire, j'admire votre noble et sage persévérance dans le projet de correspondance que vous avez conçu. Je propose à Mr. Speranski — M. Dupont qui par la variété des parties de l'administration dans lesquelles il a été employé me paraît l'homme le plus capable de suivre habilement la partie de la correspondance dont il me parle. C'est un homme de bien, fort instruit et susceptible d'un grand attachement... Mr. Speranski, si ce choix lui paraît convenable, aura la bonté d'écrire directement à M. Dupont pour lui faire connaître les intentions de Votre Majesté et le mettre à portée de les remplir. Sire, je ne puis mettre aux pieds de Votre Majesté Impériale rien qui soit au-dessus de mon respect et de mon dévouement. (Цит. по кн.: Е. В. Т а р л е. *Талейран*. 1948 г.)

[22] *Lettres et papiers du comte de Nesselrode*, t. III, p. 236—237.

[23] Там же, стр. 262 — 263.

[24] АВПР. Ф. К. 1809. № 3743. Письмо 9 мая 1809 г. Подписано: prince de Bénévent.

[25] Там же, л. 4—4 об. Подписано: P-ce de Bénévent. Paris, 23 Octobre 1809. Vous faites aussi une petite caresse aux anglais; elle montre que votre fidelité au sistème (sic — *E. T.*) continental n'exclut pas une sorte de bienveillance conciliatrice: par là vous entrouvrez chez les autres puissances une route à des idées plus libérales et vous indiquez que votre cabinet verrait avec plaisir qu'on y revint.

[26] Там же, л. 5.

[27] *Lettres et papiers du comte de Nesselrode*, t. III, p. 270—271.

[28] Там же, стр. 282—283.

[29] Там же, стр. 268—269.

[30] Там же, стр. 304—305.

[31] Там же, стр. 307 и др.

[32] Там же, стр. 313.

[33] Там же, стр. 316.

[34] Там же, стр. 298.

[35] Там же, стр. 318—319.

[36] Там же, стр. 338.

[37] Там же, стр. 341—342.

[38] Там же, стр. 362.

[39] АВПР, ф. К., д. 9046, Prince Kourakine à S. E. M. le comte de Romanzoff (sic — *E. T.*), Paris, le 12/24 mars 1812. (Цит. по кн.: Е. В. Т а р л е. *Талейран*. 1948 г.)

[40] Там же, № 2433. Paris, le 23 mars (4 avril) 1812. Le prince Alexandre

Kourakine à S. M-r le comte Romanzoff. (Цит. по кн.: Е. В. Тарле *Талейран*. 1948 г.).

[41] Там же. 1812, д. 9049, л. 289—291 об. Шифрованное донесение Куракина графу Салтыкову. Pavillon Coislin. Côteau de Bellevue. № донесения 318. Le 7 juin 1812. Получено 30 июня.

[42] *Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence*, t. II. Paris, Plon, 1933, p. 221.

[43] Там же, т. II, стр. 257; т. I, стр. 323.

[44] Там же, т. II, стр. 251.

[45] Там же, стр. 253.

[46] Там же, стр. 274.

[47] Там же, стр. 332.

[48] Этот отрывок из неизданных мемуаров Шарля Ремюза впервые напечатан Лакуром-Гайе в 1934 г. в сборнике документов *Mélanges*, стр. 113—114.

Глава IV

[1] По другим показаниям в действительности сенаторов явилось не 74, а 63.

[2] *Mémoires et relations politiques du baron de Vitrolles*, t. I. Paris, 1884, p. 119.

[3] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. I, стр. 531.

[4] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XI, ч. 2, стр. 589.

[5] Caulaincourt. *Mémoires*, t. III. Paris, 1934, p. 85—86.

[6] Герцен А. И. *Собрание сочинений в 30 томах*, т. 16. М., 1959, стр. 272.

[7] Stendhal. *Napoléon I. La vie de Napoléon.* Paris, 1929, p. 277—278. Это первый том Стендаля под общим названием: «Napoléon». Второй том под тем же общим названием имеет другой подзаголовок: «Mémoires sur Napoléon», его я цитирую в другом месте. Это лучшее, единственно полное научное издание этих обоих томов Стендаля, вышедшее под редакцией Louis Royer. Оба тома составляют часть полного собрания сочинений Стендаля в издании Champion (Paris, 1929).

[8] Stendhal. *Le Rouge et le Noir.* M. Desconoulis aura un nom dans l'histoire... il a fait la Restauration avec l'abbé de Pradt et M. de Talleyrand et Pozzo di Borgo. Paris, B-que de la Pléiade, 1932, p. 273.

[9] Stendhal. *Correspondance*, t. IV. Paris, 1934, p. 282. Paris, № 3, le 15 avril 1814. A sa sœur Pauline.

[10] Текст этого официального документа см. в *Correspondance* Стендаля, т. IV, стр. 281. № 571-C. Adhésion aux actes du Sénat. Paris, le 7 avril 1814. Подписано: De Beyle.

[11] АВПР, Ф. К., 1814, д. 1633, л. 5. Campagnes de France. Séjour de Paris. Le Prince de Bénévent. Подписано: Le P-ce de Bénévent, Paris, le 14 mai 1814.

[12] Там же, д. 1634, л. 3. Au prince de Bénévent. A Paris, le 8/20 mai 1814.

[13] Там же, 1814, д. 9052. Paris, Réception. Le Général Pozzo di Borgo, 1814.Поццо ди Борго—Александру I.Paris, le 25 juin 1814; Поццо ди Борго — Нессельроде, 18/30 avril 1814 и мн. др. в той же папке № 9052.

[14] Dupuis Ch. *Le ministère de Talleyrand en 1814*, t. II. Paris, 1920, p. 2.

[15] АВПР, Ф. К. 1814, д. 9052, л. 78. Pozzo di Borgo — Nesselrode, № 34 (красн. чернилами, № 31 — черн. чернилами). Paris, le 29 juin (10 juillet) 1814.

[16] Dupuis Ch. Цит. соч., т. II, стр. 98—99.

[17] Caulaincourt. *Mémoires*, t. III. Paris, 1934, p. 246.

[18] Прелиминарное соглашение состоялось еще 23 апреля.

[19] АВПР, Ф. К., 1814, д. 1633, л. 12. Campagnes de France: Séjour de Paris. Le Prince de Bénévent. Réception. 1814. Пометки на самом письме: СПб. ,Гл. Арх. М. И. Д. и цифра красн. чернилами: № 503. Дата в конце рукой Талейрана (как и все письмо): 13 juin 1814, Подписано: Veuillez agréer, Sire, avec Votre bonté accoutumée l'hommage du profond respect, avec lequel je suis, Sire, de Votre Majesté le plus humble et très obéissant serviteur le Prince de Bénévent. Это письмо приводил и Талейран в своих мемуарах и Шильдер в III томе своего труда об Александре I. Я пользовался подлинным текстом, от начала до конца, написанным, подписанным и датированным рукой Талейрана.

[20] Почти теми же словами Талейран отозвался на нелепый отказ Людовика XVIII принять в апреле 1814 г. герцога де Лианкура только потому, что герцог участвовал в знаменитом заседании Учредительного собрания в ночь на 4 августа 1789 г., когда было решено отменить сеньориальные права. Вот в какой редакции мысль Талейрана дошла до Литтона Бульвера: The King, you say, will look back on the past, but Nature has placed the eyes of men in the front of their heads, in order that they may look forward. (B u l w e r L u t t o n H. *Historical characters*, vol. II, p. 230.— *Talleyrand, the politic man*).

[21] Sire, je conviens que Vous avez vu à Paris beaucoup de mécontents; mais en écartant encore la promptitude de la dernière révolution, et la surprise de tant de passions, toutes agitées en même temps, qu'est-ce que Paris après tout? Rien qu'une ville d'appointement. La cessation seule des appointements a averti les parisiens du despotisme de Bonaparte. Si l'on avait continué de payer les gens en place, c'est en vain que les provinces auraient gémi de la tyrannie. Les provinces, voilà la vraie France, c'est là qu'on bénit réellement la maison de Bourbon et que l'on proclame votre heureuse victoire.

[22] Mais, Sire, que votre âme généreuse sache avoir un peu de patience! Vrai bon français que je suis, permettez moi de vous demander en vieux langage français de nous laisser reprendre *l'ancienne accoutumance* (подчеркнуто Талейраном.— *Е. Т.*) de l'amour de nos rois: ce n'est pas à vous à refuser de comprendre l'influence de ce sentiment sur une grande nation.

[23] Там же. D'ailleurs les principes libéraux marchent avec l'esprit du siècle, il faut qu'on y arrive et si votre majesté veut se fier à ma parole, je lui promets que nous aurons de la monarchie liée à la liberté, qu'Elle verra les hommes de mérite, accueillis et placés en France. Et je garantis à votre gloire le bonheur de notre pays.

[24] D u p u i s Ch. Цит. соч., т. II, стр. 170.

[25] Там же, стр. 172.

[26] Там же, стр. 202. Бомбелль — Меттерниху. Paris, le 15 Septembre, 1814.

Глава V

[1] Bellio au prince de Valachie (intercepta). Vienne, le 3 octobre 1814.— *Les dessous du Congrès de Vienne*, t. I. P., 1917, p. 218, № 269. Под этим названием изданы в двух больших томах донесения тайных австрийских агентов, которым Меттерних поручил секретное наблюдение над съехавшимися в Вене дипломатами.

[2] Hager à l'Empereur. Vienne, le 14 octobre 1814. Там же, стр. 271, № 344.

[3] Там же, стр. 279, № 355. Rapport à Hager. Vienne, le 13 octobre 1814. В 1917 г., накануне разгрома Габсбургской империи французам удалось добраться до секретных донесений австрийской тайной полиции, изо дня в день следившей за государями и дипломатами в течение всего

времени Венского конгресса. Эти интересные документы издал H. Weill в двух больших томах в Париже, в 1917 г. под названием «Les dessous du Congrès de Vienne».

[4] Schmidt à Hager. Vienne, le 17 octobre 1814. Там же, стр. 326, № 439.

[5] Там же, стр. 300, № 390. Vienne, le 15 octobre 1814. Перехваченное письмо (intercepta) к герцогине Цвейбрюкенской.

[6] Там же, стр. 304, № 397.

[7] Nota à Hager. Vienne, 30 septembre 1814. Там же, стр. 182, № 221. Они пишут не note, а по латыни: nota.

[8] Rapport à Hager. Vienne, le 1 octobre 1814. Там же, стр. 184, № 224.

[9] Rapport à Hager. Vienne, le 10 octobre 1814. Там же, стр. 200, № 329.

[10] Nota à Hager. Vienne, le 11 octobre, 1814. Там же, стр. 267, № 347.

[11] Hager. Vienne, le 7 octobre 1814. Там же, стр. 241, № 304.

[12] Nota à Hager Vienne, le 7 octobre 1814. Там же, стр. 240, № 302.

[13] Слова Талейрана принцу Антону Саксонскому. Nota à Hager. Vienne, le 6 octobre, 1814. Там же, стр. 235, № 294.

[14] Stendhal. *Courrier anglais. Lettres à Strich*, t. I. Paris, 1935, p. 19—20. M. le prince de Talleyrand, l'homme de France qui a l'esprit le plus vif et les passions les plus viles... C'est M. de Talleyrand qui inventa cette excellente mystification.

[15] Rapport à Hager. Vienne, le 9 octobre 1814.— Weill H. *Les dessous du Congrès de Vienne*, t. I, p. 258, № 325.

[16] Hager. Vienne, le 14 novembre 1814. Там же, стр. 525, № 767.

[17] Hager. Vienne, le 13 novembre 1814. Там же, стр. 522. № 762.

[18] АВПР. Ф. К. 1814, д. 9055, л. 3. Бутягин — графу Нессельроде. Paris, le 7/19 octobre 1814, № 107.

[19] Correspondance inédite du prince de Talleyrand et de Louis XVIII pendant le Congrès de Vienne, publ. sur les manuscrits conservés au Dépôt des affaires étrangères, avec préface, éclaircissements et notes par G. Pallain. 3 éd. Paris, Plon, 1881, p. 76—78. N XI.

[20] Hager. Vienne, le 26 novembre 1814. № 925. Эти донесения не имеют особых названий, а возглавляются фамилией начальника группы агентов, в данном случае фамилией Hager.— Weill H. *Les dessous du Congrès de Vienne*, t. 1, p. 212, № 925.

[21] Dupuis Ch. Цит. соч., т. II, стр. 204.

[22] Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII... Vienne, le 25 novembre 1814, № XXII, p. 148—149.

[23] Самое полное и научное издание документов Венского конгресса вообще, а бумаг за ноябрь и декабрь 1814 г., в частности, см. в редактированном Angeberg'ом издании документов: *Le congrès de Vienne et les traités de 1815*. Précédé et suivi des actes diplomatiques qui s'y rattachent. Avec une introd. historique par M. Capefigue. Paris, [1864]. Интересующие нас тут недели, предшествующие заключению секретного трактата 3 января 1815 г., см. в первом томе.

[24] Correspondance inédite du prince de Talleyrand et du roi Louis XVIII... Vienne, le 4 janvier 1815, p. 209, № XXXVI.

[25] *Traité sécret d'alliance défensive*, conclu à Vienne entre Autriche, la Grande-Bretagne et la France contre la Russie et la Prusse, le 3 janvier 1815. Полный его текст занимает три страницы (589—591) I тома собрания документов под редакцией Анжеберга: «Le congrès de Vienne et les traités de 1815...» Paris, [1864].

[26] АВПР. Ф. К. 1814, д. 9055, л. 7 об. Бутягин — графу Нессельроде (письмо № 110), Paris, le 14/26 octobre [1814].

[27] La Tour du Pin au marquis de Bonnay. Vienne, le 8 décembre 1814.— Weill H. *Des dessous du Congrès de Vienne*, t. I, p. 657, № 1010. Письмо, перехваченное австрийскими агентами.

[28] Cinquième protocole de la séance du 8 février 1815, des plénipotentiaires des cinq puissances. Annexe. *Le Congrès de Vienne et les traités de* 1815, t. I. P., [1864], p. 707—708. Заявление Гарденберга.

[29] Balzac H. de. *Le père Goriot*. Paris, Ed. Bibliothèque Larousse, p. 98. Русское издание: Бальзак О. де. *Собр. соч.*, т. II. М., Гослитиздат, 1938.

[30] АВПР. Ф. К., 1814, д. 8304. Naples. Réception. Le Comte Mocenigo. 1815. Шифр, перевод на франц. язык под шифром. Naples, le 27 juillet (8 août), 1815. Мочениго — графу Нессельроде, № 119.

[31] Там же, л. 45 об. шифр № 122. Naples, le 31 août (12 septembre), 1815. Мочениго — графу Нессельроде.

Неверная цифра, которую дают Баррас и Шатобриан (в своих мемуарах), 3 700 000 франков, была принята на веру Лакур-Гайе (*Talleyrand*, t. III, p. 439), не говоря уже о других биографах. Русский шифрованный документ никому из них не был известен. В этой документации важна, конечно, не цифра, но точное констатирование факта продолжавшейся все же зависимости неаполитанских Бурбонов от Франции уже после Венского конгресса, несмотря на усилия Меттерниха в пользу ориентации австрийской.

[32] *Mélanges*, p. 140.

[33] Там же, стр. 160.

[34] АВПР. Ф. К. 1815, д. 11812. C. de V. France. Réception. 1815. № 113. Prince de Talleyrand à M. le comte de Nesselrode. Vienne, le 13 mars, 1815.

[35] Там же. № 114. Prince de Talleyrand à M. le comte de Nesselrode. Vienne, le 21 Mars 1815.

[36] Caulaincourt. *Mémoires*, t. I, p. 191.

[37] Там же, стр. 192.

[38] АВПР. Ф. К. 1815, д. 1752, л. 63. Bruxelles, le 5/17 avril, 1816. (№ донесения 331). Поццо ди Борго — Нессельроде.

[39] Stendhal. *Courrier anglais*, t. III. Paris, 1929, p. 102.

[40] АВПР. Vienne — Congrès — Ministère, 1815, № 11781—11786. Нессельроде — Александру. Vienne, le 16 Mai 1815. (95—96). (Цит. по кн.: Е. В. Тарле. *Талейран*. 1948 г.).

Глава VI

[1] АВПР. Ф. К. 1814, д. 9052, л. 194. Pozzo di Borgo à Nesselrode, Paris, le 14/26 septembre 1814.

...Votre Excellence est déjà informée de la différence qui existe dans les éléments de sa composition. Le Prince de Talleyrand cherche constamment à s'attacher avec deux extrêmes sans se compromettre avec personne. Sa paresse et sa réserve lui permettent toujours de parler des choses lorsqu'elles sont faites et d'en parler dans le sens qui devient le dominant soit à la cour, soit dans le public sans avoir égard au mérite réel de l'affaire.

[2] Там же. 1815, д. 1752, л. 75—76. № донесения 338. Gand, le 21 Avril — 3 Mai 1815. Поццо ди Борго — графу Нессельроде.

[3] Там же, л. 189. Bruxelles, le 10/22 juin 1815 (донесение № 371). Поццо ди Борго — графу Нессельроде.

[4] Rochechouart. *Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration*. P., 1892, p. 395.

[5] «Où veux-tu que je me rétire, traître?» — «Où tu voudras, imbécile!» Это передал лично сам Фуше графу Рошешуару (Comte de Rochechouart, цит. соч., стр. 406).

[6] Pertz G. H. *Das Leben des Ministers Freiherrn von Stein*, Bd. IV. Berl., 1851, S. 549.

[7] Там же, стр. 563—564.

[8] Там же, стр. 550—551.
[9] Bulwer Lytton H. *Historical characters*, vol. II, p. 277. (*Talleyrand, the politic man*).
[10] Rochechouart. Цит. соч., стр. 411.

Глава VII

[1] *Mélanges*, p. 161.
[2] АВПР. Ф. К. 1816, д. 9062, л. 52—52 об. Поццо ди Борго — графу Нессельроде. № 79. Paris, le 25 Janvier (6 février) 1816.
[3] Там же, д. 9063, л. 260. Письмо № 203 (Красн. чернилами 145). Поццо ди Борго — графу Нессельроде. Paris, le 23 juin (5 juillet) 1816.
[4] Там же. 1817, д. 9067, л. 212 об.— 213. Донесение № 364. Поццо ди Борго — Нессельроде. Paris, le 2/14 février 1817.
[5] Там же, д. 9069, л. 317—318. Annexe au № 526 des dépêches du général Pozzo (sic — *E. T.*) en date du 21 septembre — 3 octobre. Réponses aux questions adressées au général Pozzo di Borgo par M. le comte de Capodistrias, de Franzesbrun en date du 28 août — 9 septembre 1817. Paris, le 28 septembre — 3 octobre 1817.
[6] Там же, д. 9067, л. 220 об. le 2/14 février 1817.
[7] Там же. Поццо ди Борго — графу Нессельроде. Paris, le 14/26 février 1817.
[8] Там же, л. 557. Донесение № 415. Поццо ди Борго — графу Нессельроде. Paris, le 8/20 avril 1817.
[9] Stendhal. *Courrier anglais. Lettres à Stritch*, t. I. Paris, Le Divan, 1935, p. 87: Ce discours, mémorable en politique, a pris rang sur-le-champ en littérature. L'opinion publique a dit: «L'on n'a rien vu d'égal depuis les beaux jours de Mirabeau».
[10] Stendhal. *Correspondance*, t. VI, p. 285, № 837-g. Versailles, le 10 janvier 1830.
[11] Stendhal. *Courrier anglais*, t. IV. Paris, Le Divan, 1936, p. 81 (le 1 février 1825): ...Cet homme d'État adroit, qui, depuis trente ans témoigne tant de clairvoyance politique en prévoyant les destins futurs de la France, a démontré aux ultras dans des mémoires divers qu'il est impossible de restaurer *l'ancien régime*.

Там же, стр. 99. Vieux et rusé Talleyrand qui malgré ses soixante-dix printemps est encore la meilleure tête en France... Mais les chefs actuels ont tellement conscience de leur propre insuffisance en présence du génie de Talleyrand qu'ils ont refusé de lui confier la direction de leurs affaires sous le ridicule prétexte qu'il est un des hommes les plus immoraux de France.

Там же, стр. 101: Les chefs des émigrés, les Montmorency, les Talaru etc. sont tout-à-fait dépourvus de capacité, aussi s'ils ne se laissent pas conduire par Talleyrand, le coquin le plus adroit d'Europe, ils ne feront qu'accumuler stupidement sottise sur sottise.

[12] Stendhal. *Lucien Leuwen*, t. II. Paris, 1929, p. 240—241. «Et que désirez-vous que je soie?» demanda Lucien d'un air simple. «Un coquin, reprit le père, je veux dire un homme politique, un Martignac, je n'irai pas jusqu'à dire un Talleyrand... Il me faut un premier ministre coquin et amusant, comme Walpole ou M. de Talleyrand» (там же, т. I, стр. 152).

Глава VIII

[1] Bulwer-Lytton H. *Historical characters*, vol. I. Lpz., Tauchnitz, 1868, p. 299.
[2] Puisque M. de Talleyrand — avait-il dit — se rattache au nouveau gouvernement français, ce gouvernement doit avoir nécessairement des chances de durée. Так читаем в мемуарах графа Моле.

Я искал, но не нашел в Архиве внешней политики России подтверждения точности слов, приписываемых Николаю I.

[3] АВПР. Copie d'une dépêche du comte Pozzo di Borgo au comte Matuszewiç, en date de Paris, du 3/15 septembre 1830. (Цит. по кн.: Е. В. Тарле. *Талейран.* 1948 г.).

[4] Там же. Copie d'une dépêche en chiffres du comte Pozzo di Borgo en date de Paris, le 11/23 septembre 1830, № 102. (Цит. по кн.: Е В. Тарле. *Талейран.* 1948 г.).

[5] *Mélanges* («Ecrits inédits de Talleyrand»), p. 275.

[6] Там же, стр. 190—192.

[7] См. отрывок из неизданной рукописи Ремюза, опубликованной в *Mélanges* на стр. 196—199.

[8] Sainte-Beuve C. A. *Monsieur de Talleyrand.* Paris, Calmann-Lévy, 1880, p. 229.

[9] Перевод поэта-революционера М. И. Михайлова, погибшего на каторге в 1865 г.

[10] Здесь слово «l'impatience» означает скорее «раздражение», чем «нетерпение».

[11] В очень хорошем переводе *Парижских писем*, изданном Гослитиздатом в Москве (1938), оно помещено на стр. 148—149.

[12] Le public de Paris,— ajoutait mon père,— s'il entend parler d'une bassesse ou d'une trahison utiles, s'écrie: Bravo, voilà un bon tour à la Talleyrand: et il admire. (Stendhal. *Lucien Leuwen*, t. I. P., 1929, p. 99).

[13] Там же, стр. 102. ...Je ne puis vivre avec des hommes incapables d'idées fines, si vertueux qu'ils soient. Je préférerais cent fois les mœurs élégantes d'une cour corrompue. Washington m'eût ennuyé à la mort, et j'aime mieux me trouver dans le même salon que M. de Talleyrand.

[14] Stendhal. *Correspondance*, t. V. Paris, 1934, p. 149. A baron de Mareste, le 22 avril 1818.

[15] Blanc L. *Histoire de dix ans*, 11 éd. t. V. Paris, (s. d.), p. 265.

[16] On heroes, hero-worship and the heroic in history. Книга Карлейля вышла в 1841 г. Она была переведена на русский язык под названием: «О героях и героическом в истории».

[17] Ferrero G. *Reconstruction. Talleyrand à Vienne* (1814—1815). Paris, Plon, 1940. 373 p.

[18] Герцен А. И. *Собрание сочинений в 30 томах*, т. 2. М., 1954, стр. 124.

[19] Там же, стр. 296.

[20] *Mémoires et relations politiques de baron de Vitrolles*, t. III. Paris, 1884, p. 458.

Проклятые вопросы и ученые ответы

[1] Чичерин Б. *Курс государственной науки*, т. II. Социология. М., 1896, стр. 60, 61, 63 etc.

[2] Кстати, я не понимаю конструкции этой фразы: как это «похвала» может заключаться в «сиденье»? Г. Чичерин, верно, хотел сказать, что в Риме высшая похвала для матроны заключалась в том, что о ней говорили: сидела дома, пряла шерсть.

[3] Ward L. *Dynamic sociology*, t. I, p. 81.

Раевский А. А. Законодательство Наполеона III о печати

[1] О верном произношении фамилии Troplong мог бы дать автору указание, между прочим, и Pieter's Konversations Lexikon. Bd. XII, S. 417 (изд. 1893 г.).

Неудавшийся компромисс

[1] Ollivier E. *L'Empire libéral.* Etudes, récits, souvenirs. Le ministère du 2 janvier, t. XII. Paris, 1908. 642 p.

[2] Название мемуаров — общее: *L'Empire libéral*, t. III—XII. Paris, 1898—1908. Первые два тома нас тут интересуют меньше: это нечто вроде исторического введения к эпохе Империи; хотя и они не лишены автобиографического значения.

[3] Delord T. *Histoire du second Empire*, т. II. Paris, 1870, p. 306.

[4] La presse est libre pour le bien, elle ne l'est pas pour le mal et cela doit suffire.

[5] Ollivier E. *L'Empire libéral*, t. V. Paris, 1900, p. 141.

[6] Там же, стр. 147.

[7] Там же, t. VI, стр. 504.

[8] Беджгот В. *Государственный строй Англии.* М., 1905, стр. 141.

[9] Ollivier E. *L'Empire libéral*, т. XI. Paris, 1907, p. 111.

[10] Там же, стр. 548.

Поль-Луи Курье

[1] Неестественно и совсем непохоже на «настоящие» письма Курье еще и то, что в этом письме *ни о чем* больше не говорится, нет решительно никаких обычных в его письмах мелких сообщений о себе, об обстановке, окружавшей его, и т. д.

[2] Lettre à M. Renouard, libraire (Tivoli, le 20 novembre 1810), в post-scriptum'е: Je vous avoue aussi que votre ambition m'alarmait. Si, pour m'avoir accompagné dans une bibliothèque vous disiez et vous imprimiez à Milan: *nous avons trouvé et nous allons donner un Longus complet*, n'était-il pas clair qu'une fois maître et éditeur de ce texte, vous auriez dit comme Archimède: *Je l'ai trouvé.* Vous et M. Furia vous alliez vous parer de mes plus belles plumes — et je restais avec ma tâche d'encre que personne ne me contestait.

[3] Chaque paysan presque possède ce que nous appelons goulée de benace, un ou deux arpents de terre... qui labourés, retournés, travaillés sans relâche font vivre la famille. C'est un grand mal que cela.

[4] Ср. дальше иронические слова. Mais on va y remédier. On va recomposer les grandes propriétés pour les gens qui ne veulent rien faire. La terre alors se reposera. Chaque gentilhomme ou chanoine aura pour sa part mille arpents, à charge de dormir; et s'il ronfle — le double.

[5] Намек на подозрительность Бурбонов к нижним чинам армии.

Статьи Добролюбова об итальянских делах

[1] Она имеется в Нац. библ. в Париже.

[2] Добролюбов: «Короли per grazia di Dio были почти всегда per disgrazia del popolo». Достовернее другая версия фразы: «I re per grazia di Dio furono sempre re per disgrazia del popolo» (ср. например, Giacometti G. *L'unité italienne.* P., 1896, стр. 25).

[3] В одном месте Добролюбов неправильно называет Гладстона лордом

Международный исторический конгресс в Лондоне

[1] Кроме указываемой автором статьи в *Revue historique*, см. статьи в *Historische Zeitschrift* (т. XV, вып. II, стр. 464—468), в *Česk čas. hist.* (вып. III за 1913 г., стр. 315—361, статья Т. В. Novák'а), в *Голосе минувшего* (май) и др.— Примеч. редакции *Научн. ист. журнала*.

Сто лет назад

[1] *Briefe von und an Friedrich von Gentz.* (Herausgeg. von F. C. Wittichen und Ernst Solzer.München und Berlin, 1913, 3 Bd. Erster Theil: Schriftwechsel mit Metternich. 1803—1819. 485 S. Zweiter Theil. 1820—1832 378 S. Предыдущие томы появились в печати: первый—в 1909 г., второй—в 1910 г.

[2] Там же, т. I, стр. 255.

[3] Там же, стр. 287. Ich bin in so grosser Thätigkeit begriffen und möchte so sehr keinen Augenblick verlieren, um jetzt auch mein Scherflein zum grossen Gemeingeschäft von Europa — dem Sturz des Tyrannen — beizutragen, dass ich nur hinzusetze, wie unveränderlich ich Sie liebe.

[4] Там же, т. III[1], стр. 59 (23 сент. 1806).

[5] Там же, стр. 63 (18 novembre, 1808): ...les pressentiments heureux dont je me berce...

[6] Там же, стр. 274.

[7] Там же, стр. 93 (17 авг. 1812).

[8] Там же, стр. 109.

[9] Там же, стр. 254—255.

[10] Там же, стр. 258.

[11] Там же, стр. 329, 22 Jan. 1816.

[12] Там же, т. III[2], стр. 429. Меттерних — Гентцу, 7 мая 1819 г.

[13] Речь шла об испуге германских правительств пред брожением в Германии.

[14] *Briefe von und an Friedrich von Gentz*, Bd. III[2]. S. 274. 23 июля 826 г.

Новое исследование по культурной истории Англии

[1] Petrarca F. *Epist. de rebus famil. et variæ... studio et cura Iosephi Fracassetti.* Vol. I, стр. 136—141 (lib. III, ep. 1).

[2] В подлиннике непереводимая ирония: Sed dum promissor ille meus abiisset... (138).

[3] Там же. ...ita mihi Thyle amicitia britannica nihil notior facta est...

[4] Несравненно ближе к истине Segre C. *Studi Petrarcheschi.* Firenze, 1903, p. 234), когда говорит о Ричарде Бери: ...ci si rivela andora docile seguace del movimento scolastico: per lui Aristotele à tutta la filosofia, e il campo del sapare è racchiuso da limiti teologici e religiosi.— В одном только отношении В. Э. Крусман более прав, чем Segre: в более справедливой общей оценке интеллекта и дарования Ричарда Бери.

[5] Salutati C. *Epistolario a cura di F. Novati*, t. III. Roma 1896, p. 360.

[6] Там же, т. III, стр. 498: unum continere non possum, quod nobilissimum et altum vindicte genus est parcere sepiusque cedibus et sanguine suspitiones et pericula crescere quam auferri; cujus rei vobis exemplo sufficiat rex depositus et extinctus.

[7] Rashdall H. *The universities of Europe in the middle ages* vol. II, p. 2. Oxford, 1895, p. 435.

Кн. Бисмарк и цареубийство 1 марта 1881 года

[1] Реферат, читанный в Историческом обществе при Петроградском университете 25 декабря 1918 г.

[2] Архив внешней политики России (АВПР). Berlin, 1881—III. Personnelle et secrète. Berlin, le 7/19 Mars 1881. A Son Excellence M. de Giers Подписано: Sabourow.

[3] Там же. Berlin, 1881—III. Télégramme secret de M. Sabourow à M. de Giers, le 6/18 Mars 1881. Bismark est tout disposé à une action politique avec nous contre les réfugiés nihilistes et socialistes. Prie d'attendre les suggestions que j'apporterai.

[4] Там же. № 157. Berlin, 1881—III. Projet de dépêche reservé à M. Sabourow à Berlin.

[5] Там же. Le 1 et 3 avril 1881. Berlin, 1881—III, № 168. Projet de circulaire aux Ambassadeurs. На полях рукой Александра III написано: Читал.

[6] Там же. Berlin, 1881—III, № 191, le 10 avril 1881. Projet de lettre à M-r Sabourow à Berlin.

[7] Там же. Berlin, le 13 avril 1881. (Cher Николай Карлович... подпись: Sabourow).

[8] Там же. J'en doute du moment ou l'Angleterre refuserait.

[9] Там же. № 199 (Berlin, 1881—III), le 14 avril 1881. Télégramme secret à M-r Sabourow à Berlin (la France... mettra sa police à notre disposition, expulsera réfugiés désignés par nous... L'Allemagne nous a soutenue énergiquement et loyalement).

[10] Там же. (Pourvu qu'elles soient sérieuses).

[11] Там же. (Berlin, 1881—III). Personnelle, A. M. E. M-r de Giers, Berlin, le 15/27 avril 1881.

[12] Там же. (Selon lui il est utile de laisser subsister à Londres comme à Paris impression qu'on pourra se réunir sans eux).

[13] Там же. № 242 (Berlin, 1881—III), le 13 mai 1881. Projet de lettre particulière à M. Sabourow à Berlin. Сверху карандашом пометка государя: Читал.

Гегемония Франции на континенте

[1] *Письма и бумаги Суворова*, т. I. Пг., 1916, стр. 85.

[2] Он мог бы ознакомиться с трактатомДюбуа либо в подробном изложении и выдержках Wailly (в *Mémoires de l'Académie des Inscriptions*, 1849, том XVIII, стр. 435—494), либо в бытность свою в Париже, с семьей гр. А. Г. Строганова, в 1842—44 гг. во время своей работы вотделении манускриптов Национальной (тогда королевской) библиотеки, где трактат Дюбуа хранится под шифром 6222 с. В этом не было бы ничего удивительного: Соловьев поражал своей неожиданной эрудицией в самых, казалось бы, далеких от него областях исторической науки и своим ненасытным научным любопытством.

[3] Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expiditionis et abbreviations guerrarum ac litium regni francorum.— К числу немногих фактов, известных нам из жизни Пьера Дюбуа, относится известие, что ему удалось послушать в Парижском университете Фому Аквината.

[4] Merveillouse est vostre coveitise car ceo qe vous tenez une foiz, ou en bone manere ou en malveise manere, james ne voletz lesser. Дословный перевод со старо-французского на новый французский язык был бы таков: Merveilleuse est votre convoitise, car ce que vous tenez, une fois ou en bonne manière, ou en mauvaise manière, jamais (vous) ne voulez laisser. Характерный документ, который я тут цитирую — донесение епископа Уинчестерского королю Эдуарду I о разговорах с папой, происходивших 21, 22 и 24 августа 1300 г. в поместье Sculcula близ гор. Ананьи. Напечатан этот документ полностью нашедшим его в Record Office архивариусом Джонсоном, в *English historical review*, 1902, July, стр. 518—527 под назв. Edward I and Gascony in 1300. Донесение писано по-старо-французски. Как известно, в это время французский язык был еще официальным и придворным языком в Англии (от самого норманского завоевания, т. е. с конца XI в.).

[5] Там же, стр. 523. ... pur ceo deit mult prendre garde qi ad affaire ove Franceis, qar qi ad affaire ove Franceis, ad affaire ove deable. (Дословный перевод на новый язык был бы таков: par ce(la) doit prendre garde beaucoup (celui) qui a affaire aux français car (celui) qui a affaire aux français, a affaire au diable).

[6] См. об этом явлении в моей книге *Падение абсолютизма в Западной Европе и России*, изд. 2. Пг., 1924, стр. 70 (наст. изд., т. IV — *Ред.*).

[7] Чаадаев П. Я. *Сочинения и письма*. Т. II. М., 1914, стр. 17 (вариант к № 38).

[8] «Статейной список посольства стольника и наместника Боровского, Петра Ивановича Потемкина, во Францию, в 1775 годе».— *Древняя Российская Вивлиофика*, ч. IV. Москва, 1788, стр. 560.

[9] *Revue des deux mondes*, 1923, 1 septembre (статья: L. Betrand. *Louis XIV*—любопытная, но неосновательная попытка апологии Людовика).

[10] Нац. арх., AF. IV. 1243. Séance du 20 janvier 1812 (протокол заседания Совета по управлению торговли и мануфактур).

[11] *Mémorial de Sainte-Hélène*, т. II. P., 1894, p. 625: Le système continental lui-même dans son étendue et sa rigueur n'était dans mes opinions, qu'une mesure de guerre et de circonstance.

[12] Наполеон — Шампаньи. Paris, 2 avril 1811. *Correspondance*, t. XXII, p. 9. № 17546.

[13] *Архив графов Мордвиновых*. Кн. IV. СПб., 1902, стр. 19. № 926. О снятии запрещения на выпуск хлеба. Октября 28 дня, 1810.

[14] *Revue des deux mondes*, t. 31, 1916, p. 793.

[15] Цитирую по неизданным письмам к Орлову (из б. походной канцелярии).

[16] Secunda pars summae rever. in Christo patris ac domini Antonini, archiep. florentini. Basileae, 1511. (ГПБ). О ростовщичестве *De usura sub formae sermonis* — трактуется на листах: La 5—7. Вот это характерное осуждение первой биржи и первых вкладов: platea est locus ubi multi conveniunt, locus latus et patens. Et lata est via, quae ducit ad perditionem. И дальше: In prima — ut est Florentiae platea dominorum ac platea fori novi — sunt nobiles qui nolunt laborare et ne pacunia eis deficiat paulatim consumendo tradunt eam mercatori vel trapecitae intendentes prinipaliter aliquid annuatim recipere ad discretionem lorum salvo tamen capitali. Et quamvis ipsi vocent depozitum.— tamen clare usura est,— La — VI, оборотная страница).

[17] ...the quick apotheosis of a Paul I. (См. брошюру 1809 г. *The state of Britain abroad and home*. Британский музей, № 8135, д. 33).

[18] В подлиннике: qui ratifiera tout agrandissement de la France (перевести тут по-русски термином «ратифицировать» было бы неверно).

[19] Nous savions, il est vrai, que l'agression n'était pas le fait de ce pays. Jouhaux L. *Le syndicalisme et la C. G. T.* P., 1920, p. 192.

[20] The heads of parties are like the heads of snakes carried on by the tails.

[21] *Revue des deux mondes*, t. 91, 1871, 1 janvier, p. 26.

Архивохранилище народного хозяйства, права, культуры и быта Ленинградского центрального исторического архива

Правда, зато провинциальные архивы во Франции гораздо богаче, чем наши провинциальные хранилища. Характеристику французских провинциальных архивов написал для *Архивного дела* выдающийся историк социально-экономического быта профессор Анри Сэ, статья которого, *Провинциальные архивы Франции со времени мировой войны*, напечатана в журнале *Архивное дело*, 1926, вып. 7, стр. 60—72.

² Небольшой, но очень важный для истории рабочего класса (особенно, за последние 15 лет перед войной) фонд совещания фабрикантов и заводчиков включен ныне в состав Архивохранилища Народного хозяйства, культуры и быта в Москве. Там есть документы огромного значения для истории предреволюционной эпохи.

³ До 1926 г. публикации материалов ограничивались небольшими сериями документов или отдельными документами:

1) *Переписка В. Н. Коковцова с Эд. Нецлиным* (1906—1909 гг.) — *Красный архив*, 1923, т. 4, стр. 131—156. 2) *Финансовые совещания союзников во время мировой войны.*— Там же, 1924, т. 5, стр. 50—81. 3) *Портсмут.* Переписка Витте и других лиц.— Там же, 1924, т. 6, стр. 6—47; т. 7, стр. 3—31. 4) *К переговорам Коковцова о займе в 1905—1906 гг.*— Там же, 1925, т. 10, стр. 3—35. 5) *9-е января 1905 г.*— Там же, 1925, т. 11—12, стр. 1—25. 6) *К характеристике Гапона.— Красная летопись*, 1925, № 2, стр. 37—48. 7) Романов Б. *Путиловский завод в январе — августе 1905 г. в освещении заводской администрации.— Красная летопись*, 1925, № 3, стр. 175—178. 8) *С. Ю. Витте, французская пресса и русские займы.— Красный архив*, 1925, т. 10, стр. 36—40. 9) *Борьба за восьмичасовой рабочий день в Петербурге в 1905 г.— Красная летопись*, 1925, № 4, стр. 116—135. 10) *Из истории борьбы предпринимателей с рабочими организациями в 1917 г.— Труд в России*, 1925, кн. 2—3, стр. 260—261.

Кроме того, материалы этих фондов использованы в следующих исследованиях, вышедших отдельным изданием: 1) Ванаг Н. *Финансовый капитал в России.* М., 1925. 192 стр. 2) Сеф С. Е. *Русская буржуазия в 1905 г.* По неизданным архивным материалам. Л., 1926. 128 стр. 3) Цвибак М. М. *Из истории капитализма в России.* Л., *Прибой*, 1925. 96 стр. 4) Ронин. С. *Иностранный капитал и русские банки.* М., 1926. VIII, 144 стр. В исследованиях и статьях в журналах: 1) Садиков П. *Из истории борьбы Павла I с идеями великой французской революции.— Дела и дни*, 1921, кн. 1. 2) Платонова Н. *К статистике горнозаводских рабочих* [в 1828 г.] — *Архив истории труда в России*, 1921, кн. 2, стр. 148—151. 3) Садиков П. *Разных художеств мастеровые люди.— Архив истории труда в России*, 1922, кн. 3, стр. 127—129. 4) Васенко П. *Условия быта промысловых рабочих Российско-Американской компании* (в начале XIX века).— *Архив истории труда в России*, 1922, кн. 4, стр. 27—28. 5) Васенко П. *Рабочие на постройке Уссурийских и Амурской ж. д. и участие каторжан в работах.*— Там же, 1923, кн. 6—7, стр. 155—160. 6) Любомиров П. *К истории Павловского промышленного района.— Труд в России*, 1925, кн. 1, стр. 218—220. 7) Пажитнов К. *О регламенте и работных регулах суконным и каразейным фабрикам.*— Там же, стр. 208—217. 8) Зак П. *Из истории вотчинной фабрики в первой половине 19 столетия.— Труд в России*, 1925, кн. 2—3, стр. 211—235. 9) Шатилова Т. *Из быта горнозаводского населения на Урале в начале 20-го столетия.— Труд в России*, 1925, № 1, стр. 135—142. 10) Любомиров П. *Первые десять лет существования Иркутской казенной суконной фабрики* (1793—1802).— *Труд в России*, 1925, № 1, стр. 54—270. 11) Шатилова Т. *К истории рабочего движения в провинции в начале 1905 г.— Труд в России*, 1925, № 1, стр. 171—179. 12) Рейхардт В. *Работодательские союзы в 1905—1906 гг.— Труд в России*, 1925, № 2—3, стр. 44—69. 13) Дмитриев *Н. Рабочее движение в Петербурге в конце 1905 и в 1906 гг.*— Там же, стр. 3—43. 14) Шатилова Т. *Буржуазия в борьбе с забастовками в конце 1905 г.— Красная летопись*, 1925, № 4, стр. 136—147. 15) Романов Б. *Витте и концессия на р. Ялу.* В кн.: *Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову.* Пб., 1922, стр. 425—459. 16) Романов Б. А. *Витте накануне русско-японской войны.* В кн.: *Россия и Запад.* Пг., 1923, стр. 140—167.
17) Романов Б. А. *Концессия на Ялу.* К характеристике личной поли-

тики Николая II. В кн.: *Русское прошлое*, кн. 1. Пг.— М., 1923, стр. 87—108. 18) Романов Б. А. *Лихунчанский фонд*. К истории русской империалистической политики на Дальнем Востоке.— *Борьба классов*, 1924, № 1—2. 19) Дмитриев Н. Н. *1-е мая и Петербургское общество заводчиков и фабрикантов* (1907—1914 гг.).— *Красная летопись*, 1926, № 2, стр. 51—81.

Документы этих фондов послужили для следующих крупных публикаций:

1) *Рабочий вопрос в комиссии В. Н. Коковцова в 1905 г.* С предисл. Б. А. Романова. [М.], 1926, XX, 284 стр.

2) *Русские финансы и европейская биржа в 1904—1906 гг.* Материал подготовлен к печати Б. А. Романовым. М.— Л., *Московский рабочий*. 1926. 400 стр.

3) Романов Б. А. *Россия о Манчжурии* (1852—1906). Л., 1928, 605 стр.

Архивное дело на Западе

[1] Стенограмма доклада на 2-й конференции архивных работников РСФСР 14 января 1927 г.

Речь ген. Скобелева в Париже в 1882 г.

[1] *Русский биографический словарь*, т. 18. СПб., 1904, стр. 582.

[2] *К. П. Победоносцев и его корреспонденты. Письма и записки.* С предисловием М. Н. Покровского. Т. 1. М., 1923, стр. 234.

[3] *Русская старина*, 1908, т. CXXXVI, стр. 696.

Исторические параллели

[1] Данная статья, как и две последующие, посвящена проекту Конституции СССР, опубликованному для всенародного обсуждения 12 июня 1936 г.— *Ред.*

Заметки читателя

[1] В последующих изданиях Сочинений А. С. Пушкина отрывок «Недвижный страж дремал...» датирован 1824 г.— *Ред.*

Неловкие увертки

[1] Предки Сведенборга были к тому же датчанами по происхождению, а у датчан вовсе и нет буквы «ш» и звука «ш».

[2] Покойный Модзалевский давно эту описку Пушкина отметил.

[3] В однотомнике 1936 г. этого безобразия в данном стихе мы уже не встречаем. Очевидно, кто-то урезонил Б. Томашевского.

Пушкин и европейская политика

[1] См. также стр. 683 наст. тома,— ср. А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 16 томах. Изд. АН СССР, т. 12, стр. 178. *Ред.*

От редактора
[Вступительная статья к т. I истории XIX в. под ред. Лависса и Рамбо. М., 1938].

[1] Энгельс Ф. *Роль насилия в истории.* [М.], Партиздат, 1937, стр. 7.

[2] Ленин В. И. *Сочинения*, т. 24, стр. 47.

[3] Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XV, стр. 552.

[4] См. наст. изд., т. VII.—*Ред.*

Новые показания о мировой империалистической войне

[1] *Константинополь и проливы*, т. 1. М., 1925, стр. 46.

[2] Адамов Е. Статья в журнале *Красный архив*, 1929, т. 3 (34), стр. 166 и сл.

[3] Lansing R. *War memoirs.* N. Y., 1936, p. 172.

Американский дипломат о японской агрессии в Китае

[1] Книга переведена на русский язык: Стимсон Г. Л. *Дальневосточный кризис. Воспоминания и наблюдения.* М., Соцэкгиз, 1938. XVI 196 стр.

«От предельного самохвальства к предельному позору»

[1] Клаузевиц. *1806 год.* 2 изд. М., Воениздат, 1938, 227 стр. Цена 4 р. С двумя картами.

Как пишется теперь история Испании

[1] Hauser H. *La prépondérance espagnole.* P., 1934. 596 p.

[2] Таким выводом Дэвис заканчивает свою книгу.

[3] Того самого Леопольда Ранке, к которому Маркс именно за его консерватизм относился резко отрицательно. См. Маркс К. и Энгельс Ф. *Сочинения*, т. XXIII, стр. 201—202.

[4] Guiraud J. *Histoire de l'inquisition au moyen âge.* P., 1938. IV, 626 p.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

ИЛЛЮСТРАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

ТАЛЕЙРАН

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ 1896—1910 гг.

Тарле
Евгений Викторович

Собрание сочинений, том XI

*

Составитель: *А. В. Паевская,*

*

Редактор издательства *К. А. Гусева*
Технический редактор *Т. П. Поленова*
Художник *Н. А. Седельников*

*

РИСО АН СССР № 24—7В. Сдано в набор 10/VIII 1960 г.
Подписано к печати 24/X 1960 г. Формат 60×92[1]/[16].
Печ. л. 55[1]/[2] + 1 вкл. Уч.-изд. л. 52,9. Тираж 27300 экз.
Изд. № 4921. Тип. зак. № 906

Цена 2 р.

Издательство Академии наук СССР.
Москва, Б-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография Издательства АН СССР
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

ОПЕЧАТКИ В X ТОМЕ

Стр.	Строка	Напечатано	Должно быть
99	13 св.	Кери	Керчи
348	23 св.	I'embrouillement	l'embrouillement
702	13 св.	Федер	Федор
763	5 св.	Sтhwedisch-gesinnten	Schwedisch-gesinnten

Цена 2 р.